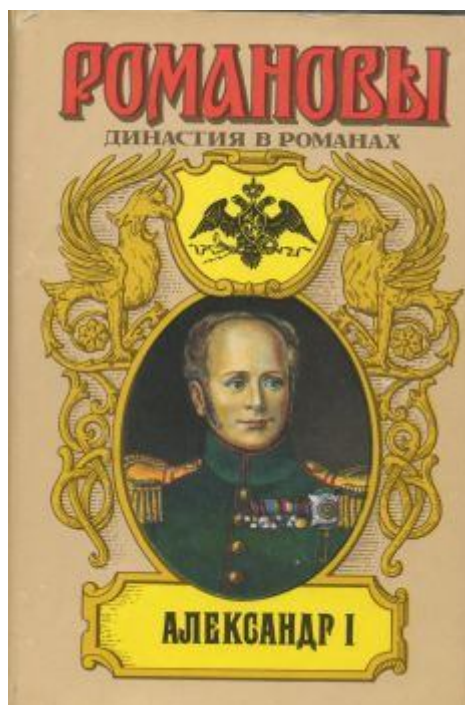


**А. Н. Сахаров (редактор)
Александр I**

Романовы. Династия в романах – 16



<http://reeed.ru/lib/>
«Александр I»: Армада; Москва; 1994
ISBN 5-87994-050-0

Аннотация

Царствование императора Александра I, пожалуй, одна из самых противоречивых эпох русской истории.

И вроде бы по справедливости современники нарекли императора Благословенным. Век Просвещения уже не стучался робко в двери России, на щёлочку приоткрытые Екатериной, он широко шагнул в российскую жизнь. Никогда ещё и русское оружие не покрывало себя такой громкой славой.

Но и скольким мечтам в России так и не суждено было сбыться...

В данный том вошли следующие произведения:

Д. С. Дмитриев – Два императора;

Д. С. Мережковский – Александр Первый.

**А. Сахаров (редактор)
АЛЕКСАНДР I
(Романовы. Династия в романах – 16)**

АЛЕКСАНДР I, император Всероссийский, сын Павла Петровича и императрицы Марии Фёдоровны, родился в С. – Петербурге 12 декабря 1777 г., вступил на престол 12 марта 1801 г., скончался в Таганроге 19 ноября 1825 г. Великая Екатерина не любила сына своего Павла Петровича, но заботилась о воспитании внука, которого для этих целей, однако, рано лишила материнского присмотра. Воспитание его императрица старалась поставить на высоту современных ей педагогических требований. Она написала «бабушкину азбуку» с анекдотами дидактического

характера, а в наставлениях, данных воспитателю великих князей Александра и (брата его) Константина графу (впоследствии князю) Н. И. Салтыкову при высочайшем рескрипте от 13 марта 1784 г., излагала мысли свои «касательно здоровья и сохранения оного; касательно продолжения и подкрепления умонаклонения к добру, касательно добродетели, учтивости и знания» и правила «приставникам касательно их поведения с воспитанниками». Наставления эти построены на началах отвлечённого либерализма и проникнуты педагогическими идеями «Эмиля» Руссо. Выполнение этого плана поручено было разным лицам. Добросовестный швейцарец Лагарп, поклонник республиканских идей и политической свободы, заведовал умственным образованием великого князя, читал вместе с ним Демосфена и Мабли, Тацита и Гиббона, Локка и Руссо; он сумел заслужить уважение и дружбу своего ученика. Лагарпу помогали Крафт, профессор физики, знаменитый Паллас, читавший ботанику, и математик Массон. Русский язык преподавал известный сентиментальный писатель и моралист М. Н. Муравьёв, а закон Божий – протоиерей А. А. Самборский, человек более светский, лишённый глубокого религиозного чувства. Наконец, граф Н. И. Салтыков заботился главным образом о сохранении здоровья великих князей и пользовался благорасположением Александра до самой своей смерти.

В воспитании, данном великому князю, не было сильной религиозной и национальной основы, оно не развивало в нём личной инициативы и предохраняло его от соприкосновения с русской действительностью. С другой стороны, оно было слишком отвлечённым для юноши 10–14 лет и скользило по поверхности его ума, не проникая вглубь. Поэтому хотя такое воспитание и вызвало в великом князе ряд гуманных чувств и туманных идей либерального свойства, но не придало ни тем, ни другим определённой формы и не дало молодому Александру средств к их осуществлению, следовательно – лишено было практического значения. В характере Александра сказались результаты этого воспитания. Им в значительной мере разъясняются его впечатлительность, гуманность, привлекательное обращение, но вместе с тем и некоторая непоследовательность.

Самое воспитание прервано было ввиду ранней женитьбы великого князя (16 лет) на 14-летней принцессе баденской Луизе, великой княгине Елизавете Алексеевне. С юных лет Александр находился в довольно тяжёлом положении между отцом и бабушкой. Нередко, присутствуя утром на парадах и учениях в Гатчине в неуклюжем мундире, он вечером являлся среди изысканного и остроумного общества, собиравшегося в Эрмитаже. Необходимость держать себя совершенно разумно в этих двух сферах приучала великого князя к скрытности, а то несоответствие, какое он встречал между внушёнными ему теориями и голой русской действительностью, вселяло в нём недоверие к людям и разочарование. Перемены, происшедшие в придворной жизни и общественном порядке по смерти императрицы, не могли благоприятно влиять на характер Александра. Хотя он в это время исполнял должность С. – Петербургского военного губернатора, был также членом Совета, сената, шефом лейб-гвардии Семёновского полка и председательствовал в военном департаменте, но не пользовался доверием императора Павла Петровича. Несмотря на тяжёлое положение, в каком находился великий князь при дворе императора Павла, он уже в то время обнаруживал гуманность и кротость в обращении с подчинёнными; свойства эти так прельщали всякого, что даже человек с каменным сердцем, по словам Сперанского, не мог бы устоять против такого обращения. Поэтому при вступлении Александра Павловича на престол 12 марта 1801 г. его приветствовало самое радостное общественное настроение. Трудные политические и административные задачи ожидали своего разрешения от молодого правителя. Ещё малоопытный в делах управления, он предпочёл держаться политических взглядов великой бабки своей, императрицы Екатерины, и в манифесте от 12 марта 1801 г. объявил о намерении своим управлять Богом вручённым ему народом по законам и «по сердцу» покойной государыни.

Базельский мир, заключённый между Пруссией и Францией, принудил императрицу Екатерину вступить вместе с Англией в коалицию против Франции. Со вступлением на престол императора Павла коалиция распалась, но снова возобновлена была в 1799 г. В том же году союз России с Австрией и Англией снова порвался; обнаружилось сближение между петербургским и берлинским дворами, завязались мирные сношения с первым консулом (1800 г.). Император Александр

поспешил восстановить мир с Англией конвенцией от 5 июня и заключил мирные договоры 26 сентября с Францией и Испанией; к тому же времени относится указ о свободном пропуске иностранцев и русских за границу, как было до 1796 г. Восстановив таким образом мирные сношения с державами, император первые четыре года своего царствования почти все свои силы посвятил внутренней преобразовательной деятельности.

Преобразовательная деятельность Александра прежде всего направлена была к уничтожению тех распоряжений прошлого царствования, которые видоизменяли общественный порядок, предначертанный великой Екатериной. Двумя манифестами, подписанными 2 апреля 1801 г., восстановлены были: жалованная грамота дворянству, городовое уложение и грамота, данная городам; вскоре затем вновь утверждён закон, освобождавший священников и дьяконов, наравне с личными дворянами, от телесных наказаний. Тайная экспедиция (впрочем, учреждённая ещё при Екатерине II) уничтожена манифестом от 2 апреля, а 15 сентября повелено учредить комиссию для пересмотра прежних уголовных дел; эта комиссия действительно облегчила участь лиц, «коих вины были неумышленны и более относились ко мнению и образу мыслей того времени, нежели к делам бесчестным и действительный государству вред наносящим». Наконец, уничтожены пытки, дозволено ввозить иностранные книги и ноты, а также открывать частные типографии, как было до 1796 г. Преобразования, однако, состояли не только в восстановлении того порядка, какой существовал до 1796 г., но и в пополнении его новыми распоряжениями. Реформа местных учреждений, состоявшаяся при Екатерине, не коснулась учреждений центральных; а между тем и они требовали перестройки. Император Александр принялся за выполнение этой нелёгкой задачи. Сотрудниками его в этой деятельности были: проникательный и знавший Англию лучше России граф В. П. Кочубей, умный, учёный и способный Н. Н. Новосильцев, поклонник английских порядков князь А. Чарторыйский, поляк по симпатиям, и граф П. А. Строганов, получивший исключительно французское воспитание.

Вскоре по вступлении на престол государь учредил вместо временного Совета Совет неперменный, рассмотрению которого подлежали все важнейшие дела государственные и проекты установлений. Манифестом от 8 сентября 1802 г. определено значение сената, которому поручено «рассматривать деяния министров по всем частям их Управлению вверенным и по надлежащем сравнении и соображении оных с государственными постановлениями и с донесениями прямо от мест до Сената дошедшими, делать свои заключения и представлять докладом» государю. За сенатом оставлено значение высшей судебной инстанции; административное значение сохранил лишь первый департамент. Тем же манифестом от 8 сентября центральное управление разделено между восемью вновь учреждёнными министерствами, каковы министерства: военно-сухопутных сил, морских сил, иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения. Каждое министерство находилось под управлением министра, к которому (в министерствах внутренних и иностранных дел, юстиции, финансов и народного просвещения) присоединён товарищ. Все министры были членами Государственного совета и присутствовали в сенате.

Преобразования эти, однако, осуществлены были довольно поспешно, так что прежние учреждения сталкивались с новым административным порядком, ещё не вполне определившимся. Министерство внутренних дел ранее других (в 1803 г.) получило более законченное устройство. Кроме более или менее систематической реформы центральных учреждений в тот же период (1801–1805 гг.) сделаны отдельные распоряжения касательно общественных отношений и приняты меры к распространению народного образования. Право владеть землёй, с одной стороны, и заниматься торговлей – с другой, распространено на разные классы населения. Указом от 12 декабря 1801 г. купечеству, мещанству и казённым поселянам дано право приобретать земли. С другой стороны, помещикам дозволено в 1802 г. производить заграничную оптовую торговлю с уплатой гильдейских повинностей, а также, в 1812 г., и крестьянам разрешено производство торговли от собственного имени, но лишь по годовому свидетельству, взятому из уездного казначейства, с уплатой требуемых пошлин. Император Александр сочувствовал мысли об освобождении крестьян; с этою целью предпринято было несколько важных мер. Под влиянием проекта об освобождении крестьян, поданного графом С. П. Румянцевым, издан был

закон о вольных хлебопашцах (20 февраля 1803 г.) По этому закону крестьяне могли вступать в сделки с помещиками, освобождаться с землёй и, не записываясь в другое состояние, продолжали называться вольными хлебопашцами. Запрещено также делать публикации о продаже крестьян без земли, прекращена раздача населённых имений, а положением о крестьянах Лифляндской губернии, утверждённым 20 февраля 1804 г., облегчена их участь.

Рядом с административными и сословными реформами продолжался пересмотр законов в комиссии, управление которой поручено было графу Завадовскому 5 июня 1801 г., и начал составляться проект уложения. Это уложение должно было, по мнению государя, завершить ряд предпринятых им реформ и «охранить права всех и каждого», но осталось невыполненным, кроме одной общей части (Code general). Но если административный и общественный порядок ещё не сведён был к общим принципам государственного права в памятниках законодательства, то, во всяком случае, одухотворялся благодаря всё более и более широкой системе народного образования. 8 сентября 1802 г. учреждена была комиссия (затем главное управление) училищ; она выработала положение об устройстве учебных заведений в России. Правила этого положения о заведении училищ, разделённых на приходские, уездные, губернские или гимназии и университеты, о распоряжениях по учебной и хозяйственной части утверждены 24 января 1803 г. В Петербурге восстановлена Академия наук, издан для неё новый регламент и штат, в 1804 г. основан педагогический институт, а в 1805 г. – университеты в Казани и Харькове. В 1805 г. П. Г. Демидов пожертвовал значительный капитал на устройство высшего училища в Ярославле, граф Безбородко сделал то же для Нежина, дворянство Харьковской губернии ходатайствовало об основании университета в Харькове и дало на это средства. Основаны технические заведения, каковы: коммерческое училище в Москве (1804 г.), коммерческие гимназии в Одессе и Таганроге (1804 г.); увеличено количество гимназий и школ.

Но вся эта мирная преобразовательная деятельность должна была вскоре прекратиться. Император Александр, не привыкший к упорной борьбе с теми практическими затруднениями, которые так часто встречались ему на пути к осуществлению его планов, и окружённый неопытными, молодыми советниками, слишком мало знакомыми с русской действительностью, вскоре охладел к реформам. А между тем глухие раскаты войны, надвигавшейся если не на Россию, то на соседнюю с ней Австрию, стали привлекать его внимание и открыли ему новое поле дипломатической и военной деятельности. Вскоре после Амьенского мира (25 марта 1802 г.) снова последовал разрыв между Англией и Францией (начало 1803 г.) и возобновились враждебные отношения Франции к Австрии. Недоразумения возникли также и между Россией и Францией. Покровительство, оказываемое русским правительством Дантрегу, находившемуся вместе с Кристеном на русской службе, и арест последнего французским правительством, нарушение статей тайной конвенции от 11 октября (н. ст.) 1801 г. о сохранении в неприкосновенности владений короля обеих Сицилий, казнь герцога Энгиенского (март 1804 г.) и принятие первым консулом императорского титула – повели к разрыву с Россией (август 1804 г.). Естественно было поэтому сближение России с Англией и Швецией в начале 1805 г. и присоединение к тому же союзу Австрии, дружеские сношения с которой начались ещё при вступлении императора Александра на престол.

Война открылась неудачно: позорное поражение австрийских войск при Ульме принудило русские силы, присланные на помощь Австрии с Кутузовым во главе – отступить от Инка в Моравию. Дела при Кремсе, Голлабруне и Шенграбеке были лишь зловещими предвестниками аустерлицкого поражения (20 ноября 1805 г.), при котором во главе русского войска стоял император Александр. Результаты этого поражения сказались: в отступлении русских войск к Радзивиллову, в неопределённых, а затем и враждебных отношениях Пруссии к России и Австрии, в заключении Пресбургского мира (26 декабря 1806 г.) и Менбруннского оборонительного и наступательного союза. До аустерлицкого поражения отношения Пруссии к России оставались крайне неопределёнными. Хотя императору Александру и удалось склонить слабого Фридриха-Вильгельма к утверждению секретной декларации 12 мая 1804 г. относительно войны против Франции, но уже 1 июня она нарушена была новыми условиями, заключёнными прусским королём с Францией. Те

же колебания заметны и после побед Наполеона в Австрии.

При личном свидании императора Александра с королём в Потсдаме заключена была Потсдамская конвенция 22 октября 1805 г. По этой конвенции король обязывался способствовать восстановлению нарушенных Наполеоном условий Люневильского мира, принимать военное посредничество между воюющими державами, а в случае неудачи такого посредничества должен был вступить в коалицию. Но Шенбруннский мир (15 декабря 1805 г.) и ещё более Парижская конвенция (февраль 1806 г.), утверждённые королём прусским, показали, как мало можно было надеяться на последовательность прусской политики. Тем не менее декларация и контр-декларация, подписанные 12 июля 1806 г. в Шарлоттенбурге и на Каменном острове, обнаружили сближение между Пруссией и Россией, сближение, которое закреплено было Бартенштейновской конвенцией (14 апреля 1807 г.). Но уже во второй половине 1806 г. разгорелась новая война. Кампания началась 8 октября, ознаменовалась страшными поражениями прусских войск при Иене и Ауэрштедте и закончилась бы полным покорением Пруссии, если бы на помощь пруссакам не явились русские войска. Под начальством М. Ф. Каменского, которого вскоре заменил Беннигсен, эти войска оказали сильное сопротивление Наполеону при Пултуске, затем принуждены были отступить после сражений при Морунгене, Бергфриде, Ландсберге. Хотя после кровопролитной битвы при Прейсиш-Эйлау русские также отступили, но потери Наполеона были настолько значительны, что он безуспешно искал случая вступить в мирные переговоры с Беннигсеном и поправил дела свои лишь победой при Фридланде (14 июня 1807 г.).

Император Александр не принимал участия в этом походе, может быть потому, что находился ещё под впечатлением аустерлицкого поражения, и лишь 2 апреля 1807 г. приехал в Мемель для свидания с королём прусским, лишённым почти всех владений. Неудача при Фридланде принудила его согласиться на мир. Мира желали целая партия при дворе государя и войско; к тому же побуждали двусмысленное поведение Австрии и недовольство императора относительно Англии; наконец, тот же мир нужен был и самому Наполеону.

25 июня происходило свидание между императором Александром и Наполеоном, который сумел очаровать государя своим умом и вкрадчивым обращением, а 27-го числа того же месяца заключён Тильзитский трактат. По этому трактату Россия приобретала Белостокскую область; император Александр уступил Наполеону Каттаро и республику семи островов, а Иеврское княжество – Людовику Голландскому, признавал Наполеона императором, Иосифа Неаполитанского – королём обеих Сицилии, а также соглашался признать титулы остальных братьев Наполеона, настоящие и будущие титулы членов Рейнского союза. Император Александр взял на себя посредничество между Францией и Англией и в свою очередь выразил согласие на посредничество Наполеона между Россией и Портой. Наконец, по тому же миру «из уважения к России» прусскому королю возвращены были его владения. Тильзитский трактат подтверждён был Эрфуртской конвенцией (30 сентября 1808 г.), причём Наполеон тогда же согласился на присоединение Молдавии и Валахии к России.

При свидании в Тильзите Наполеон, желая отвлечь русские силы, указывал императору Александру на Финляндию и ещё ранее (в 1806 г.) вооружил Турцию против России. Поводом к войне со Швецией послужили недовольство Густава IV Тильзитским миром и нежелание его вступить в вооружённый нейтралитет, восстановленный ввиду разрыва России с Англией (25 октября 1807 г.). Война объявлена 16 марта 1808 г. Русские войска, состоявшие под начальством графа Буксгевдена, затем графа Каменского, заняли Свеаборг (22 апреля), одержали победы при Алово, Куортане и особенно при Оровайсе, затем переправились в зиму 1809 г. по льду из Або на Аландские острова под начальством князя Багратиона, из Вазы в Умео и через Торнео в Вестработнию под предводительством Барклая де Толли и графа Шувалова. Успехи русских войск и смена правительства в Швеции способствовали заключению Фридрихсгамского мира (5 сентября 1809 г.) с новым королём, Карлом XIII. По этому миру Россия приобрела Финляндию до р. Торнео с Аландскими островами. Император Александр сам побывал в Финляндии, открыл сейм и «сохранил веру, коренные законы, права и преимущества, коими пользовалось дотоле каждое сословие в особенности и все жители Финляндии вообще по их

конституциям». В Петербурге устроен комитет и назначен статс-секретарь финляндских дел; в самой Финляндии исполнительная власть вручена генерал-губернатору, законодательная – правительствующему Совету, впоследствии получившему наименование Финляндского сената.

Менее удачна была война с Турцией. Оккупация Молдавии и Валахии русскими войсками в 1806 г. повела к этой войне; но до Тильзитского мира враждебные действия ограничились попытками Михельсона занять Журжу, Измаил и некоторые другие крепости, а также удачными действиями русского флота, под начальством Сенавина, против турецкого, потерпевшего сильное поражение при о. Лемносе. Тильзитский мир на время прекратил войну, но она возобновилась после эрфуртского свидания ввиду отказа Порты уступить Молдавию и Валахию. Неудачи князя Прозоровского вскоре исправлены были блестящею победою графа Каменского при Батыне (около Рущука) и поражением турецкой армии при Слободзее, на левом берегу Дуная, под начальством Кутузова, который назначен был на место умершего графа Каменского. Успехи русского оружия принудили султана к миру, но мирные переговоры тянулись очень долго, и государь, недовольный медлительностью Кутузова, уже назначил главнокомандующим адмирала Чичагова, когда узнал о заключении Бухарестского мира (16 мая 1812 г.). По этому миру Россия приобретала Бессарабию, с крепостями Хотин, Бендерами, Аккерманом, Килией, Измаилом, до реки Прут, а Сербия – внутреннюю автономию.

Наряду с войнами в Финляндии и на Дунае русскому оружию приходилось бороться и на Кавказе. После неудачного управления Грузией генералом Кноррингом главноуправляющим Грузией назначен был князь Цицианов. Он покорил Джаро-Белоканскую область и Ганжу, которую переименовал в Близаветополь, но при осаде Баку был вероломно убит (1806 г.). При управлении графа Гудевича и Тормасова присоединены Мингрелия, Абхазия и Имеретия, а подвиги Котляревского (поражение Аббаса Мирзы, взятие Ленкорани и покорение Тальшинского ханства) способствовали заключению Полистанского мира (12 октября 1813 г.), условия которого изменились после некоторых приобретений, сделанных генерал-лейтенантом Ермоловым, главнокомандующим Грузией с 1816 г.

Все эти войны хотя и закончились довольно важными территориальными приобретениями, но вредно отозвались на состоянии народного и государственного хозяйства. В 1801–1804 гг. государственных доходов собиралось около 100 миллионов ежегодно, ассигнаций в обращении насчитывалось до 260 миллионов, внешний долг не превосходил 47 1/4 миллиона рублей серебром, дефицит был незначителен. Между тем в 1810 г. доходы уменьшились в два, а потом и четыре раза. Ассигнаций выпущено было на 577 миллионов рублей, внешний долг возрос до 100 миллионов рублей, и оказался дефицит в 66 миллионов рублей. Сообразно с этим сильно упала ценность рубля. В 1801–1804 гг. на серебряный рубль приходилось по 1 1/4 и 1 1/5 ассигнациями, а 9 апреля 1812 г. положено считать 1 рубль серебром равным 3 рублям ассигнациями. Смелая рука бывшего воспитанника петербургской Александровской семинарии вывела государственное хозяйство из такого тяжёлого положения. Благодаря деятельности Сперанского (особенно манифестами 2 февраля 1810 г., 29 января и 11 февраля 1812 г.) прекращён выпуск ассигнаций, повышены подушный оклад и оброчная подать, установлены новый прогрессивный подоходный налог, новые косвенные налоги и пошлины. Монетная система также преобразована манифестом от 20 июня 1810 г. Результаты преобразований отчасти уже сказывались в 1811 г., когда поступило доходов на 355 1/2 миллиона рублей (что равно 89 миллионам рублей серебром), расходы простирались лишь до 272 миллионов рублей, недоимок числилось 43 миллиона, а долгу 61 миллион. Весь этот финансовый кризис вызван был рядом тяжёлых войн. Но эти войны после Тильзитского мира уже не поглощали всего внимания императора Александра. Неудачные войны 1805–1807 гг. вселили в нём недоверие к собственным военным способностям; он снова обратил свои силы на внутреннюю преобразовательную деятельность, тем более что теперь имел такого талантливой помощника, как Сперанский.

Проект преобразований, составленный Сперанским в либеральном духе и приводивший в систему мысли, высказанные самим государем, осуществлён был лишь в незначительной мере. Указом от 6 августа 1809 г. обнародованы правила производства в чины во гражданской службе и об испытаниях в науках для

производства в 8-й и 9-й классы чиновников без университетских аттестатов. Манифестом от 1 января 1810 г. прежний «постоянный» Совет преобразован в Государственный с законо-совещательным значением. «В порядке государственных установлений» Совет составлял «сословие, в коем все части управления в главных их отношениях к законодательству» соображались и через него восходили к верховной императорской власти. Посему «все законы, уставы и учреждения в первообразных их начертаниях предлагались и рассматривались в Государственном совете и потом, действием державной власти, поступали к предназначенному их совершению».

Государственный совет подразделялся на четыре департамента: в департамент законов входило всё то, что по существу своему составляло предмет закона; комиссия законов должна была представлять в этот департамент все первоначальные начертания законов, в ней составляемых. В департамент военных дел входили «предметы» министерств военного и морского. В департамент гражданских и духовных дел входили дела юстиции, управления духовного и полиции. Наконец, к департаменту государственной экономии принадлежали «предметы общей промышленности, наук, торговли, финансов, казначейства и счётов». При Государственном совете находились: комиссия составления законов, комиссия прошений, государственная канцелярия. Вместе с преобразованием Государственного совета манифестом от 26 июля 1810 г. к прежним министерствам присоединены два новых учреждения: министерство полиции и главное управление ревизии государственных счётов. Наоборот, дела министерства коммерции распределены между министерствами внутренних дел и финансов, а самое министерство коммерции упразднено.

Наравне с реформой центрального управления продолжались преобразования и в сфере духовного просвещения. Свечные доходы церкви, определённые на расходы по устройству духовных училищ (1807 г.), доставили возможность увеличить их количество. В 1809 г. открыта духовная академия в Петербурге и в 1814 г. – в Сергиевской лавре; в 1810 г. учреждён корпус инженеров путей сообщения, в 1811 г. основан Царскосельский лицей, а в 1814 г. открыта Публичная библиотека.

Но и второй период преобразовательной деятельности нарушен был новой войной. Уже вскоре после Эрфуртской конвенции обнаружились несогласия между Россией и Францией. В силу этой конвенции император Александр выставил 30-тысячный отряд союзного войска в Галиции во время австрийской войны 1809 г. Но этот отряд, состоявший под начальством князя С. Ф. Голицына, действовал нерешительно, так как явное стремление Наполеона восстановить или, по крайней мере, значительно усилить Польшу и его отказ утвердить конвенцию 23 декабря 1809 г., предохранявшую Россию от такого усиления, возбуждали сильные опасения со стороны русского правительства.

Возникшие несогласия усилились под влиянием новых обстоятельств. Тариф на 1811 год, изданный 19 декабря 1810 года, возбудил неудовольствие Наполеона. Ещё договором 1801 г. восстановлены были мирные торговые сношения с Францией, а в 1802 г. на 6 лет продлён торговый договор, заключённый в 1786 г. Но уже в 1804 г. запрещено привозить по западной границе всякие бумажные ткани, а в 1805 г. повышены пошлины на некоторые шёлковые и шерстяные изделия с целью поощрения местного, русского производства. Теми же целями руководилось правительство и в 1810 г. Новым тарифом повышены пошлины на вина, дерево, какао, кофе и сахарный песок; иностранные бумажные (кроме белых под клеймение), льняные, шёлковые, шерстяные и тому подобные изделия запрещены; русские товары, лён, пенька, сало, семя льняное, парусные и фламские полотна, поташ и смола обложены высшею отпускной пошлиной. Напротив, дозволен привоз сырых заграничных произведений и беспошлинный вывоз железа из русских заводов. Новый тариф вредил французской торговле и приводил в негодование Наполеона, который требовал, чтобы император Александр принял французский тариф и не принимал не только английских, но и нейтральных (американских) судов в русские гавани. Вскоре за изданием нового тарифа герцог Ольденбургский, дядя императора Александра, лишён был своих владений, а протест государя, циркулярно высказанный по этому поводу 12 марта 1811 г., остался без последствий.

После этих столкновений война была неминуема. Шарнгорет уже в 1810 г. уверял, что у Наполеона готов план войны против России. В 1811 г. с Францией

заключила союз Пруссия, затем Австрия. Летом 1812 г. Наполеон двинулся с союзными войсками через Пруссию и 11 июня перешёл Неман между Ковно и Гродно с 600-тысячным войском. Император Александр располагал военными силами втрое меньшими; во главе их стояли: Барклай де Толли и князь Багратион в Виленской и Гродненской губерниях. Но за этим сравнительно небольшим войском стоял весь русский народ, не говоря об отдельных лицах и дворянстве целых губерний, вся Россия добровольно выставила до 320 000 ратников и пожертвовала не менее сотни миллионов рублей. После первых столкновений Барклай под Витебском и Багратиона под Могилёвом с французскими войсками, а также неудачной попытки Наполеона зайти в тыл русским войскам и занять Смоленск Барклай стал отступать по Дорогобужской дороге. Раевскому, а затем и Дохтурову (с Коновницким и Неверовским) удалось отбить два приступа Наполеона на Смоленск; но после второго приступа Дохтурову пришлось оставить Смоленск и присоединиться к отступавшей армии. Несмотря на отступление, император Александр оставил без последствий попытку Наполеона завязать мирные переговоры, но принуждён был сменить непопулярного среди войск Барклая Кутузовым. Последний приехал в главную квартиру, в Царёво Займище, 17 августа, а 26-го дал битву при Бородине. Исход битвы остался нерешённым, но русские войска продолжали отступать к Москве, население которой сильно возбуждено было против французов, между прочим, афишками графа Ростопчина. Военный совет в Филях вечером 1 сентября решил оставить Москву, которая занята была Наполеоном 3 сентября, но вскоре (7 октября) оставлена ввиду недостатка в припасах, сильных пожаров и упадка военной дисциплины.

Между тем Кутузов (вероятно, по совету Толя) свернул с Рязанской дороги, по которой совершал отступление, на Калужскую и дал битвы Наполеону при Тарутине и Малоярославце. Холод, голод, беспорядки в войске, быстрое отступление, удачные действия партизан (Давыдова, Фигнера, Сеславина, Самуся), победы Милорадовича при Вязьме, атамана Платова на Вопи, Кутузова при Красном – привели французскую армию в полное расстройство и, после бедственной переправы через Березину, принудили Наполеона, не доезжая Вильны, бежать в Париж. 25 декабря 1812 г. издан был манифест об окончательном изгнании французов из России.

Отечественная война была кончена; она произвела сильные перемены в душевной жизни императора Александра. В тяжёлую годину народных бедствий и душевных тревог он стал искать опоры в религиозном чувстве и в этом отношении нашёл поддержку в государственном секретаре Шишкове, который теперь занимал место, опустевшее после удаления Сперанского ещё до начала войны. Благополучный исход этой войны ещё более развил в государе веру в неисповедимые пути Божественного Промысла и убеждение в том, что на долю русского царя выпала трудная политическая задача: водворить мир в Европе на началах справедливости, источники которой религиозно настроенная душа императора Александра стала искать в евангельском учении. Кутузов, Шишков, отчасти граф Румянцев были против продолжения войны за границей. Но император Александр, поддерживаемый Штейном, твёрдо решился продолжать военные действия.

1 января 1813 г. русские войска перешли границу империи и очутились в Пруссии. Уже 18 декабря 1812 г. Иорк, начальник прусского отряда, посланного на помощь французским войскам, вступил в соглашение с Дибичем о нейтралитете немецких войск, хотя, впрочем, не имел на то разрешения от прусского правительства. Калишским трактатом (15–16 февраля 1813 г.) заключён был оборонительно-наступательный союз с Пруссией, подтверждённый Теплицким трактатом (август 1813 г.). Между тем русские войска, под начальством Витгенштейна, вместе с прусскими потерпели поражение в битвах при Люцене и Бауцене (26 апреля и 9 мая). После перемирия и так называемых Пражских совещаний, результатом которых было приступление Австрии к союзу против Наполеона по Рейхенбахской конвенции (15 июня 1813 г.), военные действия возобновились. После удачной для Наполеона битвы при Дрездене и неудачных при Кульме, Бриенне, Лаоне, Арсис-сюр-Об и Фер Шампенуазе 18 марта 1814 года сдался Париж, заключён Парижский мир (18 мая) и низвержен Наполеон. Вскоре затем, 25 мая 1815 г., открылся Венский конгресс, главным образом для обсуждения вопросов польского, саксонского и греческого.

Император Александр во всё время похода находился при войске и настоял на занятии Парижа союзными войсками. По главному акту Венского конгресса (28 июня 1815 г.) Россия приобретала часть герцогства Варшавского, кроме гросс-герцогства Познанского, данного Пруссии, и части, уступленной Австрии, причём в польских владениях, присоединённых к России, введена была императором Александром конституция, составленная в либеральном духе. Мирные переговоры на Венском конгрессе прерваны были попыткой Наполеона снова завладеть французским престолом. Русские войска снова двинулись из Польши на берега Рейна, а император Александр выехал из Вены в Гейдельберг. Но стодневное правление Наполеона окончилось поражением его при Ватерлоо и восстановлением законной династии в лице Людовика XVIII по тяжёлым условиям второго Парижского мира (8 ноября 1815 г.). Желая водворить мирные международные отношения между христианскими государями Европы на началах братской любви и евангельских заповедей, император Александр составил акт Священного союза, подписанный им самим, королём прусским и австрийским императором. Международные отношения поддерживались конгрессами в Аахене (1818 г.), где решено было вывести войска союзников из Франции, в Троппау (1820 г.) – по поводу беспорядков в Испании, Лайбахе (1821 г.) – ввиду возмущения в Савойе и Неаполитанской революции и, наконец, в Вероне (1822 г.) – для усмирения возмущения в Испании и обсуждения восточного вопроса.

Прямым результатом тяжёлых войн 1812–1814 гг. было ухудшение государственного хозяйства. К 1 января 1814 г. значилось в приходе всего 587 1/2 миллиона рублей; долги внутренние доходили до 700 миллионов рублей, голландский долг простирался до 101 1/2 миллиона гульденов (что равно 54 миллионам рублей), а серебряный рубль в 1815 г. ходил по 4 рубля 15 копеек ассигнациями. Насколько продолжительны были эти последствия, обнаруживает состояние русских финансов десять лет спустя. В 1825 г. государственных доходов было всего 529 1/2 миллиона рублей, ассигнаций выпущено на 595 1/2 миллиона рублей, что вместе с голландским и некоторыми другими долгами составляло до 350 1/2 миллиона рублей серебром. Правда, что в торговом отношении замечаются более значительные успехи. В 1814 г. ввоз товаров не превосходил 113 1/2 миллиона рублей, а вывоз 196 миллионов ассигнациями; в 1825 г. ввоз товаров достигал 185 1/2 миллиона рублей, вывоз простирался на сумму в 236 1/2 миллиона рублей. Но войны 1812–1814 гг. имели и другой ряд последствий. Восстановление свободных политических и торговых сношений между европейскими державами вызвало и издание нескольких новых тарифов. В тарифе 1816 г. допущены были некоторые изменения сравнительно с тарифом 1810 г., тарифом 1819 г. сильно понижены запретительные пошлины на некоторые из иностранных товаров, но уже в распоряжениях 1820 и 1821 гг. и новом тарифе 1822 г. заметно возвращение к прежней охранительной системе.

С падением Наполеона рушилось им установленное взаимоотношение политических сил Европы. Новое определение их взаимоотношения принял на себя император Александр. Задача эта и отвлекала внимание государя от внутренней преобразовательной деятельности прежних годов, тем более что у престола в то время не стояло уже прежних поклонников английского конституционализма, а блестящего теоретика и приверженца французских учреждений, Сперанского, с течением времени заменил суровый формалист, председатель военного департамента Государственного совета и главный начальник военных поселений, бедно одарённый от природы граф Аракчеев.

Впрочем, в правительственных распоряжениях последнего десятилетия царствования императора Александра иногда всё ещё заметны следы прежних преобразовательных идей. 28 мая 1816 г. утверждён был проект эстляндского дворянства об окончательном освобождении крестьян. Курляндское дворянство последовало примеру эстляндских дворян по приглашению самого правительства, которое и утвердило такой же проект относительно курляндских крестьян 25 августа 1817 г. и относительно крестьян лифляндских 26 марта 1819 г. Вместе с сословными распоряжениями сделано несколько перемен в центральном и областном управлении. Указом от 4 сентября 1819 г. министерство полиции присоединено к министерству внутренних дел, от которого департамент мануфактур и внутренней торговли переведён в министерство финансов. В мае 1824 г. дела Святейшего синода отделены от министерства народного просвещения, куда они перенесены были по манифесту 24

октября 1817 г. и где остались одни дела иностранных исповеданий. Ещё ранее, манифестом от 7 мая 1817 г., учреждён совет кредитных установлений, как для ревизий и проверки всех операций, так и для рассмотрения и заключения всех предположений по кредитной части. К тому же времени (манифест от 2 апреля 1817 г.) относится замена откупной системы казённой продажей вина; управление питейными сборами сосредоточено в казённых палатах. Касательно областного управления сделана также вскоре затем попытка распределения великороссийских губерний по генерал-губернаторствам.

Правительственная деятельность продолжала также сказываться в попечениях о народном просвещении. При Санкт-Петербургском педагогическом институте в 1819 г. устроены публичные курсы, чем положено основание Петербургскому университету. В 1820 г. преобразовано инженерное училище и основано артиллерийское; в Одессе в 1816 г. учреждён Ришельевский лицей. Стали распространяться школы взаимного обучения по методу Беля и Ланкастера. В 1813 г. основано Библейское общество, которому государь выдал вскоре значительное денежное пособие. В 1814 г. открыта императорская Публичная библиотека в Петербурге. Частные лица следовали примеру правительства. Граф Румянцев постоянно жертвовал денежные средства на печатание источников (например, на издание русских летописей – 25 000 рублей) и учёных исследований. В то же время сильно развилась публицистическая и литературная деятельность.

Уже в 1803 г. при министерстве народного просвещения издавалось «периодическое сочинение о успехах народного просвещения», а при министерстве внутренних дел – «С. – Петербургский журнал» (с 1804 г.). Но эти официальные издания далеко не имели такого значения, какое получили: «Вестник Европы» (с 1802 г.) М. Каченовского и Н. Карамзина, «Сын Отечества» Н. Греча (с 1813 г.), «Отечественные записки» П. Свиньина (с 1818 г.), «Сибирский вестник» Г. Спасского (1818–1825 гг.), «Северный архив» Ф. Булгарина (1822–1828 гг.), впоследствии соединившийся с «Сыном Отечества». Учёным характером отличались издания Московского общества истории и древностей, основанного ещё в 1804 г. («Труды» и «Летописи», а также «Русские достопамятности» – с 1815 г.). В то же время действовали В. Жуковский, И. Дмитриев и И. Крылов, В. Озеров и А. Грибоедов, слышны были печальные звуки батюшковской лиры, уже раздавался могучий голос Пушкина и стали печататься стихотворения Баратынского. Между тем Карамзин печатал свою «Историю Государства Российского», а разработкой более частных вопросов исторической науки занимались А. Шлецер, Н. Бантыш-Каменский, К. Калайдович, А. Востоков, Евгений Болховитинов (митрополит Киевский), М. Каченовский, Г. Эверс.

К сожалению, это умственное движение подверглось репрессивным мерам, частью под влиянием беспорядков, происходивших за границей и отозвавшихся в незначительной степени и в русских войсках, частью благодаря всё более и более религиозно-консервативному направлению, какое принимал образ мыслей самого государя. 1 августа 1822 г. запрещены были всякие тайные общества, в 1823 г. не дозволено отправлять молодых людей в некоторые из германских университетов. В мае 1824 г. управление министерством народного просвещения поручено известному приверженцу старорусских литературных преданий адмиралу А. С. Шишкову; с того же времени перестало собираться Библейское общество и значительно стеснены цензурные условия.

Последние годы своей жизни император Александр проводил большей частью в постоянных разъездах по самым отдалённым углам России или же почти в полном уединении в Царском Селе. В это время главным предметом его забот был вопрос греческий. Восстание греков против турок, вызванное в 1821 г. Александром Ипсиланти, состоявшим на русской службе, и возмущения в Морее и на островах архипелага вызвали протест со стороны императора Александра. Но султан не верил искренности такого протеста, а турки в Константинополе перебили многих христиан. Тогда русский посол, барон Строганов, оставил Константинополь. Война была неминуема, но, задержанная европейскими дипломатами, разразилась лишь после смерти государя. Император Александр скончался 19 ноября 1825 г. в Таганроге, куда сопровождал супругу свою, императрицу Елизавету Алексеевну для поправления её здоровья.

В отношении императора Александра к греческому вопросу довольно ярко сказались особенности той третьей стадии развития, какую переживала созданная им политическая система в последнее десятилетие его царствования. Система эта первоначально выросла на почве отвлечённого либерализма; последний сменился политическим альтруизмом, который в свою очередь преобразовался в религиозный консерватизм.

Важнейшие труды по истории императора Александра I: М. Богданович, «История Императора Александра I». VI т. (СПб., 1869–1871 гг.); С. Соловьёв, «Император Александр Первый. Политика – дипломатия» (СПб., 1877 г.); А. Надлер, «Император Александр Первый и идея Св. союза» (Рига, IV т., 1885–1888 гг.); Н. Путята, «Обозрение жизни и царствования имп. Александра I» (в Историческом сборнике 1872 г., № 1, стр. 426–494); Шильдер, «Россия в её отношениях к Европе в царствование Императора Александра I, 1806–1815 гг.» (в «Русской Старине», 1888 г.); Н. Варадинов, «История министерства внутренних дел» (ч. I–III, СПб., 1862 г.); А. Семёнов, «Изучение исторических сведений о российской торговле» (СПб., 1859 г., ч. II, стр. 113–226); М. Семеvский, «Крестьянский вопрос» (т. 2, СПб., 1888 г.); И. Дитятин, «Устройство и управление городов в России» (т. 2, 1875–1877 гг.); А. Пыпин, «Общественное движение при Александре I» (СПб., 1871 г.).

Энциклопедический словарь.

*Изд. Брокгауза и Ефрона,
т. IА, СПб, 1890.*

Д. С. Дмитриев ДВА ИМПЕРАТОРА ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДОБЛЕСТНОМУ РУССКОМУ ВОИНСТВУ

Александр исполнил и другой обет свой – утвердить ненарушимое блаженство подданных охранением прав, законов, покровительством промышленности и образования. Среди непрестанных забот политических, под громом браней непрерывных, ему надлежало вникнуть во все части управления до самых мелких подробностей... Он трудился неутомимо, и двадцатипятилетие царствования его представляет непрерывную цепь мудрых учреждений, содействовавших внутреннему благоустройству, успехам промышленности, в особенности просвещению народному.

Н. Устрялов

Всё сочувствие славолюбивого народа должно было обратиться к войску и вождям его, и если один из этих вождей станет выше всех способностями и успехами, то в его руках будет судьба страны. Таким был Наполеон Бонапарт. Привычка действовать по инстинкту самоохранения развила в нём хищнические приёмы: притаиться, хитрить, плести пёстрые речи для того, чтобы обмануть, усыпить жертву и вдруг скакнуть, напасть на неприготовленных, напасть врасплох, поразить ужасом было его любимым занятием.

С. Соловьёв

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Европа, почти вся, за исключением России и Англии, была побеждена гением корсиканского выходца, который под громким именем императора Наполеона... властвовал не одной Францией, повелевал многими европейскими государствами и произвольно раздавал короны кому хотел, большею частию своим родичам... Европа изнывала, алчность Наполеона

не знала предела: он уже покушался на спокойствие и свободу России... но на страже русского государства находился величайший из людей император Александр, благословенный всеми народами. Ему-то суждено было смирить ненасытную гордыню Наполеона и спасти Европу от его ига.

Державный северный богатырь восстал... Наполеон пал... И «падение его было великое».

«Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут».¹ Война Наполеону объявлена, император Александр вступился за Пруссию, которую Наполеон со своими полчищами терзал на части...

Шёл 1805 год.

– Когда думаешь ехать в армию? – спросил князь Владимир Иванович Гарин своего сына Сергея, молодого, красивого кавалериста, расхаживая с ним по дорожкам своего огромного, по-английски разбитого парка.

– Завтра, – ответил офицер; в его тоне звучала едва заметная грустная нотка.

– Так скоро! Разве уже прошёл срок твоему отпуску?

– Отпуск окончится ещё не скоро, но объявлена война, и я должен явиться ко времени выступления армии в поход.

– Да, да. Разумеется. А не слышал, когда выступит наша армия?

– Вчера я получил письмо от Зарницкого: он пишет, что дней через десять.

– А кто такой этот Зарницкий? – спросил у сына князь.

– Мой товарищ по полку, brave ротмистр, честный, хороший человек, с которым мы очень дружны.

– Что же ты, Сергей, не привёз его с собою? Погостил бы.

– Он какой-то дикарь: никуда не ездит и в продолжение десятилетней службы ни разу не брал отпуска; живёт совершенным отшельником, холостяком.

– Он дворянин?

– Да, старинного дворянского рода.

– То-то! В дружбе всегда надо быть разборчивым, мой друг. Николая ты берёшь с собою?

– Он так просится. Чудак! Ему непременно хочется увидеть Наполеона.

– Наполеон, Наполеон! Глупые люди уже начинают бредить этим корсиканским выскочкой, его уже возвели чуть ли не в гении, а по-моему, это просто баловень счастья, слепой фортуны.

Князь не мог спокойно говорить о корсиканце и уже начинал кипеть.

– Но, отец, согласишься, что он заслуживает своей славы: он покорил почти всю Европу, войска его считаются образцовыми, его маршалы хорошие тактики, а дипломаты славятся своим искусством.

– Если бы ты знал, Сергей, откуда набрал он этих тактиков и дипломатов, ты бы так не рассуждал. Ведь это какой – то сброд, все его маршалы – выскочки чуть ли не из простых рядовых.

– Но, отец...

– Довольно, мне надоело говорить о Бонапарте. Одно скажу Наполеон, как и все ему подобные, рано ли, поздно ли, свернёт себе шею, когда звезда его счастья померкнет. Вспомнишь слова старого солдата, когда они сбудутся!

– Дай Бог, отец! Ты знаешь, как я обожаю нашего несравненного императора и родину.

– Да, Сергей! Род князей Гариных был искони верными слугами царя и родины. Я рад, что встречаю в тебе те же высокие и благородные чувства. Слушай же, сын мой! Ты скоро попадёшь на войну, понюхаешь впервые порохового дыма. Будь храбр и мужествен, поддерживай всеми силами славу нашего именитого рода. Помни, что ты несёшь великую службу. В битве не думай о смерти, у воина могут быть одни помыслы – о победе. Я, брат, старый солдат и не умею говорить по-модному. Сам знаешь, сколько раз бывал я в битвах с покойным великим полководцем Суворовым. Фельдмаршал терпеть не мог модников, во всём у него была простота. Вот и я говорю тебе попросту, по-солдатски: служи, сынок, и помни – за

¹ Еванг. от Луки, 26, 52.

Богом молитва, а за царём служба не пропадает. А главное, служи, да не прислуживайся. Терпеть не могу льстецов и низкопоклонников.

– Батюшка, в тебе я вижу для себя высокий пример.

– Вот и пошли у тебя модные фразы.

– Не фразы это, а прямое, честное слово.

– Ну, верю, верю! Добрый ты сын, Сергей, – таким и будь всегда. Так ты решил взять Николая? – меняя разговор, спросил у сына старый генерал.

– Если ты позволишь.

– Что же, возьми: здесь он не очень нужен, обойдёмся без него. Ты запишешь его в рядовые и возьмёшь под свою команду. Да вот он и сам, лёгок на помине.

К говорившим подошёл высокого роста молодой человек, красивый и статный. На нём была красная кумачная рубаша с косым шитым воротом, широкие бархатные шаровары, запряганные в щёгольские сапоги с отворотами. Загорелое мужественное лицо, чёрные как смоль, кудреватые волосы и жгучие чёрные глаза делали его похожим на цыгана или на сына дальнего юга.

Николай был приёмьш князя Гарина; годовалым младенцем подкинули его однажды летом к воротам княжеской усадьбы, с запиской, в которой просили дать приют «крещёному младенцу Николаю».

Владимир Иванович в то время проживал в своей усадьбе. Он взял на воспитание маленького Николая, отдал его на попечение одной дворовой бездетной бабы – Пелагеи и, когда подросток подкидыш, взял его в свой княжеский дом, в сверстники к своему сыну Сергею.

Княжич Сергей и приёмьш Николай были одних лет, росли они вместе; только к молодому князю был приставлен целый штат гувернёров и воспитателей иностранного происхождения, у подкидыша же был единственный учитель – сельский дьячок Петрович, пьяница, каких редко свет создаёт. Подросток Сергей, старый князь свёз его в Петербург, в одно из военных училищ, откуда через пять лет он вышел корнетом. Николай Цыганов, как прозвала его дворня за смуглый цвет лица, прожил всё это время безвыездно в усадьбе на положении дворовых, почти ничем не отличающийся от прочих слуг.

– Ваше сиятельство! Нарочный приехал из города от губернатора, – почтительно доложил Николай генералу.

– Пусть подождёт... Чай, с пустяками какими – нибудь.

– По важному, говорит, делу. Просил доложить.

– Знаю я эти важные дела. А ты, братец, я слышал, на войну хочешь, кровь свою за отечество проливать?

– Если позволите, ваше сиятельство, я с радостью, – ответил приёмьш.

– Что же, поезжай. Из тебя выйдет бравый солдат. Только смотри трусом не будь! Ведь на войне не то что у меня в усадьбе: там, братец, жарко будет; от порохового дыма зачихаешь.

– Помилуйте, ваше сиятельство!

– То-то! Надо молодцом быть! За храбрость и отвагу награду получишь, может быть, и чин дадут, и вернёшься ты с войны дворянином. Бывали примеры.

– Рад стараться, ваше сиятельство! – становясь во фронт, громко проговорил Николай.

– Молодец! Ступай, собирайся: завтра в путь поедешь вместе с князем Сергеем.

– Покорнейше благодарю, ваше сиятельство.

Цыганов молодцевато повернулся и ушёл.

Разговор старого князя с сыном происходил в его богатой костромской усадьбе Каменки. Широко раскинулась княжеская усадьба по обрывистому берегу Волги; каменный дом по своей величине и отделке, со своими башенками и бельведерами, походил на прекрасный дворец; лицевой фасад дома был украшен громадными колоннами; на воротах красовались львы; все службы, скотный и конюший двор были каменные, крытые черепицею и железом. Огромный парк, тянувшийся на несколько десятин, примыкал к дому, и через крытую террасу из внутренних комнат проходили прямо в парк. Прекрасно распланированный, со множеством статуй работы лучших итальянских мастеров, с красивыми мостиками, перекинутыми через ручейки и овраги, с чудной беседкой затейливой архитектуры, с резьбой и с цветными стёклами, парк этот был лучшим украшением усадьбы. Близ террасы устроен был большой

фонтан, окружённый всевозможными цветами и тропическими растениями; дорожки и клумбы были разбиты по-английски. Во всей усадьбе был образцовый порядок. На всём видна была рука хорошего хозяина. Князь Владимир Иванович, как истый русский барин, любил всё родное, но княгиня, жена его Лидия Михайловна, бывшая фрейлина блестящего двора Екатерины II, как и все придворные дамы, сохранила любовь к иностранной роскоши и тратила громадные деньги на парижские безделушки, картины и статуи. Благодаря влиянию княгини Лидии Михайловны и уступчивости мужа дом был на европейскую ногу.

Князь недаром гордился своей службой под командой фельдмаршала. Он сохранил в себе все характерные черты славного полководца; до бесконечности добрый, справедливый, это был человек откровенный и прямой, не боявшийся говорить правду всем в глаза. В военной службе он прослужил лет тридцать, участвовал в нескольких сражениях, не один раз был ранен и успел заслужить глубокое расположение фельдмаршала. Суворов уважал в князе Ггарине беззаветную храбрость, ценил его верную службу и любил его как человека. До самой смерти Суворова князь служил в армии. С новым главнокомандующим он уже не сумел сжиться, вышел в отставку в чине генерала и безвыездно поселился в Каменках. Князь жил на широкую ногу, задавал весёлые пиры и праздники, на которые чуть не со всей губернии съезжались гости, живя по неделям и больше в княжеских хоромах.

Охота была любимым развлечением князя. Его охотничья команда – все молодец к молодцу – состояла из пятидесяти человек. Владимир Иванович любил наезжать в свои непроходимые костромские леса и поохотиться на зверя. На дорогом скакуне, в бархатном казакине, обложенном соболем, с ружьём за плечами, окружённый многочисленными соседями и целым отрядом охотников из крепостных, одетых в одинаковые казакины, – князь был всегда центром этой блестящей группы. Охоте он отдавал преимущество пред всеми другими развлечениями.

Князь не следовал примеру своих богатых соседей, не держал при себе ни актёров и актрис, ни танцовщиц и не имел доморощенных музыкантов. «Глупая затея. Это для тех, кому делать нечего, а у меня мужики и бабы должны работать да хлеб добывать, а не на сцене плясать да скоморошествовать», – так говорил обыкновенно князь, когда Лидия Михайловна советовала мужу построить театр и обучить крепостных девок и парней театральному искусству. Видя непреклонность мужа, княгиня не настаивала больше; зато каждую зиму она оставляла князя в усадьбе, а сама ездила в Петербург, где наслаждалась шумной столичной жизнью.

ГЛАВА II

Была светлая, лунная ночь, тихая и тёплая. Дворовый сторож громко выбил по железной доске двенадцать часов и ушёл спать в свою конуру.

В Каменках давно уже все спали. Князь Ггарин ложился спать по-суворовски – рано, и вставал с петухами. Этому порядку подчинялись и все в доме.

Тихо отворилась калитка, выходящая со двора прямо в поле; вышел Николай Цыганов и быстро направился по едва заметной тропинке, которая вела в находившийся вблизи усадьбы лес; шёл он задумчиво, наклонив свою голову.

В лунную тёплую ночь особенно хорошо бывает в лесу; воздух чистый, оживляющий, исполинские деревья стоят не шелохнутся, кругом тихо, как будто вся природа спит крепким сном; вдруг эта лесная тишина прерывается криком какой-нибудь ночной птицы, раскатистым эхом пронесётся крик и замрёт где-то далеко в беспредельном пространстве.

Николай не обращал никакого внимания на окружающую природу. Он, видимо, спешил. Вот он вышел из лесу и пошёл по просёлочной дороге; направо и налево высокою золотистой стеною стояла колосистая рожь; пройдя несколько по дороге, он стал спускаться в овраг, поросший густым кустарником и мелким лесом; из оврага Цыганов выбрался на небольшую поляну, которую пересекала узкая извилистая речка, с ветхою деревянною плотиною и с полуразвалившейся мельницей. Почти рядом с ней стояла старая хибарка мельника в два окна, крытая соломой и достаточно покосившаяся уже набок.

Клок земли, на котором стояла мельница, составлял полную собственность старика

мельника Федота; прежде мельница эта, как и всё вокруг, принадлежала князю Гарину; Федот был его крепостным, но за какую-то особую услугу князь отпустил Федота на волю и подарил ему мельницу. И вот старик лет двадцать уже владеет ею. Но мужики избегали возить к нему хлеб на помол: суровый и нелюдимый Федот был не в славе; народ говорил, что старик знается с нечистою силою, и считал его колдуном.

Федот жил на мельнице не один – с ним была ещё дочь Глаша, чудная красавица, статная, полная, румяная, с огневыми глазами, с соболиными бровями и с длинною-предлинною, до самых пят, косою.

Она выросла у мельника совершенной дикаркой, почти никуда не показываясь с мельницы. Пробовала было Глаша в праздник ходить на село, но девки и бабы сторонились её и не принимали в хоровод, парни искоса посматривали и любовались редкой красотою дочки колдуна, но разговаривать с нею боялись. Так и коротала красавица свою невесёлую жизнь со стариком отцом. Глаша всё же не скучала.

Федот мало обращал внимания на дочь и предоставлял ей право жить, как она хочет.

Глаша, управившись ранним утром с небольшим хозяйством в доме, отправлялась на целый день в лес. Летом она проводила здесь всё время, собирая грибы и целебные травы. Не раз она встречалась здесь с чернокудрым Цыгановым; красивый парень прельстил девичье сердце. Глаша полюбила княжеского приёмыша глубоко и вся отдалась ему.

Подойдя к мельнице, Николай пронзительно свистнул. Как бы в ответ на этот свист быстро отворилась дверь хибарки, и красавица Глаша поспешила навстречу молодому парню.

– Здравствуй, милый! Пришёл-таки. Что так поздно? Ждала-ждала...

– Некогда было – в путь готовился, – сухо ответил Николай.

– Стало быть, едешь, Николай?

– Завтра вместе с молодым князем поедem на войну.

– Зачем тебе ехать?

– А что же мне тут делать? Надоело мне тут всё.

– И я надоела? – спросила девушка, не умея скрыть тревоги, давно охватившей её.

– И ты надоела! – нисколько не смущаясь, ответил Николай.

– Разлюбил, разлюбил!.. – Глаша горько заплакала.

– Будет... Помиловались с тобой – и довольно! Слышишь, девка, я другую полюбил.

– Бесстыжий ты человек, погубитель ты мой!

– Не сердись на меня, Глаша, не кляни: сам я не рад своей любви. Ведь кого полюбил – и вымолвить страшно. На пагубу себе полюбил... От этой любви я и на войну напросился, авось там шальная пуля или острая сабля прикончат дни мои! – грустно говорил Цыганов.

– Кого же ты полюбил? Кто разлучница моя, скажи?

– Не спрашивай. Умру и никому об этом не скажу. Да тебе не всё ли равно? Где отец твой? Мне бы его повидать.

– Дома, спит. Зайди в избу, я разбужу его.

– Не пойду – душно в избе. Лучше сюда пошли отца.

– Проститься-то зайдёшь? – с глазами, полными слёз, спросила Глаша.

– Приду, жди! Поговорим с отцом, и приду.

Глаша ушла в избу, и через несколько времени к ожидавшему Николаю вышел старый мельник. Сердито посмотрел он на парня и хриплым голосом спросил:

– Зачем пришёл на ночь глядя?

– Без дела не пришёл бы.

– Что ж дня-то для тебя не хватило? Зачем я понадобился?

– Слушай, старик! Говорят, ты знаешься с нечистой силою?

– Ну, а тебе какое дело? – крикнул мельник.

– Приворожи ко мне одну красотку, корня приворотного мне дай.

– Вот чего захотел!

– За такую услугу – жизнь свою отдам!

– Зачем мне твоя жизнь? Велика в ней корысть!

– Есть у меня два заветных червонца – возьми их, а мало – украду, так больше дам.

– Тороват ты, паренёк, нечего сказать! А Глаша стала уж не нужна? Разлюбил её? Другую

полюбил? – допрашивал мельник.

– Не волен я в своём сердце.

– Забыл ты, видно, паренёк, что отцом я Глашке прихожусь и тебе в обиду её не дам!

С этими словами Федот быстро опустил руку за голенище, вынул широкий нож и замахнулся им на Николая.

– Не стражай ножом: у меня припасён для тебя гостинец получше.

Николай быстро вынул из кармана своего кафтана небольшой пистолет, подаренный ему молодым князем, и прицелился в старика.

– Запаслив, дьявол! – злобно проворчал мельник.

– Что ж, испугался? Позови-ка своих чертей да ведьм на подмогу, – издевался Николай. – Что же, дашь приворотного зелья или нет?

– погоди, пёс, попадешься мне, узнаешь тогда мою месть! Заманю к себе да в омут, к водяному, к русалкам длинноволосым. Не минуешь моих рук! – хрипел в бессильной злобе мельник, уходя в своё логовище.

Николай, проклиная старого колдуна, зашагал домой, так и не простившись с Глашей.

Бедняжка долго ждала своего милого, но он был уже далеко.

Федот, вернувшись в избу, ни слова не сказал дочери и молча полез на печку.

Глаша вышла из избы, надеясь, что Николай ждёт её у мельницы. Напрасная надежда! Кругом была полная тишина. Вблизи не было ни одного живого существа.

– Ушёл, ушёл и даже проститься не зашёл! Разлюбил меня, над моею любовью чистой, девичьей надругался! Бог тебе судья! Моя слеза сиротская горячим камнем падёт тебе на сердце! – плакала Глаша. – Что же делать, куда с тоской деваться? Лучше в воду, в омут головой. Чего жить – мучиться, терзаться! В воду, скорее в воду...

Глаша побежала к речке.

– Господи, прости мне грех мой!

Глаша готова была броситься в быструю и глубокую реку. Старик мельник, следивший всё время за дочерью, подоспел как раз вовремя.

– Ты это что задумала? – схватив её крепко за руку, спросил мельник.

– Отец! – испуганно проговорила Глаша.

– Да, отец. А ты, безумная, что с собою хочешь делать? На что решилась?

– Невмоготу мне, батюшка, стало жить на белом свете.

– Жизнь прискучила, так ты к чёрту в лапы захотела! Одумайся! Кого ты удивишь своею смертью?

– Тошно жить на свете, батюшка! – плакала молодая девушка.

– Полно, глупая, а ты живи, живи для отместки своему врагу.

– Люблю я его, крепко люблю.

– А ты любовь-то да в ненависть обрати! Пойдём-ка в избу, там и подумаем, что делать, как беду изжить.

Глаша молча пошла за отцом в избу.

ГЛАВА III

У князя Гарина была ещё дочь Софья, восемнадцатилетняя красавица, недавно окончившая своё образование в Петербурге. Это была очень умная и начитанная девушка, обладавшая отцовским характером. Такая же добрая и ласковая, Софья считалась любимицей старого князя.

Княжна, вернувшись из Петербурга в «родное гнёздышко» – в живописные Каменки, с утра до вечера безвыходно жила в саду, а иногда уходила и в лес; несмотря на предостережение отца – не ходить в лес без сопровождения лакеев, княжна отправлялась только вдвоём со своей горничной, наперсницей Дуней. Дуня была очень молоденькая, хорошенькая девушка из дворовых; она жила в Петербурге с княжной во время её занятий в институте. Софья не разлучалась со своей любимицей и посвящала её в свои девичьи тайны.

Когда Софья уехала в Петербург, Николаю Цыганову было не более пятнадцати лет. Вернувшись после шестилетнего пребывания в институте домой, княжна с первого раза не

узнала Николая – так возмужал и похорошел он за это время. Софья встретила с Николаем в саду, гуляя по тенистым аллеям. Дуни на этот раз с ней не было. Николай учтиво поклонился княжне; та с удивлением и любопытством посмотрела на молодого человека.

– Не узнаете, княжна? – смутившись от пристального взгляда красавицы, робко спросил Николай.

– Неужели Николай?

– Он самый, ваше сиятельство.

– Оставьте «сиятельство» и называйте меня просто княжной.

– Слушаю – с!

– Как вы, Николай, переменялись. Я едва могла вас узнать.

– Шесть лет – время немалое.

– Да, да, шесть лет я не видала вас. Ну, как вы живёте, Николай? Довольны ли?

– Чем-с? – быстро спросил молодой человек.

– Ну, жизнью у нас в усадьбе?

– Ах, да-с. Очень, очень доволен. Их сиятельством князем, вашим родителем, и княгиней, вашей матушкой, премного доволен-с! Да и то сказать, разве я могу заявлять о своём неудовольствии?

– Почему же нет?

– Потому-с, человек я маленький.

– Вы маленький? Что вы! Вы очень рослый и видный мужчина, – засмеялась княжна.

– Смеяться изволите, ваше сиятельство.

– Опять «сиятельство»!

– Виноват-с, не буду-с.

– Какой вы странный, Николай!

– Чем-с?

– Вы так чудно говорите.

– Не от кого мне научиться хорошо говорить-с; с мужиками живу, в глуши-с.

– А разве вы у нас в доме не бываете? – с удивлением спросила молодая девушка.

– Как же-с, очень часто бываю, – больше для услуг их сиятельству.

– Разве только для услуг?

– А то для чего же? Ведь я на лакейском положении состою-с... Всё отличие моё от прочих лакеев то, что те крепостные, а я человек вольный. Не помня и не зная ни отца, ни матери, не понимая, что такое родительская ласка, я, как щенок, у ворот подобран; пригрели меня их сиятельство, ваш родитель, дали кусок хлеба – и я должен это помнить и век благодарить.

– Вас обучили? Дали образование?

– Как же-с, у дьячка курс кончил-с, у Петровича. Не изволите знать нашего дьячка? – иронизировал молодой человек.

– Нет, не знаю.

– Как же-с, особа учёная!.. Бывало, не столько учит, сколько колотушками угощает, – продолжал Николай в том же духе.

Княжна Софья заинтересовалась молодым, красивым парнем; они стали часто видаться в саду; разговаривали подолгу, она давала ему читать книги, доступные его пониманию. Николай чувствовал, что им заинтересованы. Ласковое обращение с ним княжны вскружило ему голову: он страстно, безумно полюбил княжну. Но мог ли он, подкидыш, нищий, без рода без племени, думать о взаимности! Княжне жаль было бедного малого – и только; ради его сиротства она и ласкала его. Но самолюбивому парню этого было мало – он хотел, чтобы Софья его полюбила так же, как он её любил; он старался всеми силами достичь этого.

В первый праздничный день Николай принарядился: на нём была голубая атласная рубашка, на плечах – бархатное полукафтанье, на голове была надета низенькая поярковая шляпа с павлиньим пером. Этот наряд подарила ему княгиня Лидия Михайловна в день его именин. Николай в нём был очень красив. Княжна невольно залюбовалась красавцем.

– Ты что это так нарядился? – спросила Софья.

– Нонче праздник. Вот-с ваша книга Покорно благодарю, я прочитал всю, – сказал

Николай, подавая книгу.

– Что же, тебе понравилась?

– Очень-с! В ней описывается, как некая царская дочь полюбила простого прислужника-с, произошло это в иностранном царстве-с, – краснея и не глядя на княжну, говорил молодой парень, – и прислужник сам крепко полюбил красавицу царевну.

– Ну и что же?

– А то-с, странно и чудно для меня, как это царевна могла полюбить простого человека-с?

– Любовь не разбирает.

– Это верно, верно изволили сказать – любовь не разбирает; для любви отличья нет-с.

– Однако оставим, Николай, про это говорить, – перебила княжна. Она заметила странный огонёк, блестевший в глазах Николая, да и горячность его ей не понравилась. Кроме того, они отошли далеко от дома и очутились в самой глуши сада.

– Нет-с, зачем же! Уж ежели начали говорить, так dokonчим-с, – настаивал Николай.

– Я не хочу говорить!

– Разговор наш не будет продолжительным, извольте выслушать, княжна.

В голосе влюблённого парня послышались даже повелительные ноты.

Софья широко раскрыла глаза и испуганно смотрела на него.

– Послушайте, княжна, я открою вам свою душу... Я полюбил, только не царскую дочь, а княжескую, да так полюбил, что ради своей любви на смерть готов идти, как на званный пир! – страстным голосом говорил Николай. – Что же молчишь, моя царевна, ответь, подари словом ласковым покорного раба! Скажи: жить ему или умирать?

Княжна молчала; её душили и гнев, и слёзы; она никак не ожидала признания от Николая – признания, которое жестоко оскорбило её и уязвило её самолюбие. Она быстро пошла по дороге к дому и ничего ему не сказала в ответ.

Николай загородил ей дорогу; глаза у него блестели, как уголья; он дрожал, пожираемый страстью.

– Я не пущу тебя, пока не дашь ответа!

– Прочь с дороги, дерзкий! – крикнула княжна, отстраняя рукой Николая.

В это время в саду послышался громкий оклик.

– Ау, ау, княжна! Где вы? – звала Дуня.

– Я здесь, иди сюда, Дуняша! А ты прочь с глаз моих. Чтобы завтра же тебя не было в усадьбе! Ты с ума сошёл, жалкий приёмыш! Помни, если ты не уберёшься, я скажу о твоём дерзком поступке отцу и брату, – тогда отсюда нагайками выгонят!

Княжна бросила презрительный взгляд на Николая и поспешила к Дуне.

– Обруган, оплёван за мою любовь! погоди, княжна, я полюбить тебя заставлю! Полюбишь, только надо выждать время! Поеду с молодым князем на войну – умру или вернусь героем. Тогда посмотрим, как ты оттолкнёшь меня, – проговорил вслед удалявшейся княжне Николай.

ГЛАВА IV

Настал день отъезда молодого князя Сергея в Петербург, а оттуда в действующую армию.

В княжеском доме, в огромном зале с колоннами, сельский священник в богатой парчовой ризе совершил напутственный молебен с водосвятием. Дьячок Петрович голосисто пел вместе с пономарём. По окончании молебна священник обратился к молодому князю с кротким, тёплым словом.

Княгиня Лидия Михайловна, всегда невозмутимо-спокойная, на этот раз не выдержала и, заключая в свои объятия сына, расплакалась.

– Серж, Серж, как тяжело, невыносимо тяжело мне с тобою расставаться! – сквозь слёзы говорила она.

– Прощай, Серёжа, укрепи тебя Господь! Будь храбр и мужествен, поддержи род Гариных! Святой архистратиг небесных воинств Михаил да укрепит тебя! – говорил старый князь, благословляя сына небольшой иконой святого Михаила Архангела. – Не расставайся с иконой, носи её на груди. Во многих битвах бывал я, и эта святая икона всегда была со мною;

меня так же, когда я в первый раз отправлялся на войну, благословил мой отец покойный.

– До свидания, Серёжа! – прощалась с ним княжна Софья. – Возвращайся к нам полковником. Милый, милый, я буду молиться за тебя!

Княжна осыпала поцелуями лицо брата.

Тут же, прижавшись к колонне, одиноким стоял Николай, одетый по-дорожному; с какою-то мучительной тоской смотрел он на эту семейную сцену; ему было не по себе. «Плачут, целуются, а я стою как оплётанный, ни от кого не слышу ласкового слова, доброго пожелания... Если бы и у меня были отец с матерью, они точно так же меня провожали бы на войну. Батюшка с матушкой, где вы, живы ли вы?» – думал молодой человек, смахивая слезу, выкатившуюся из его глаз.

– Подойди сюда, Николай! – вдруг раздался голос старого князя.

Николай поспешил исполнить приказание князя.

– Николай! У тебя нет ни отца, ни матери, некому тебя благословить, – сказал князь.

– Некому, ваше сиятельство! – печально ответил приёмный.

– Я благословляю тебя вместо отца.

Князь взял со стола небольшую икону Богоматери в золотом окладе и благословил Николая.

– Ваше сиятельство, благодетель мой, отец! – Николай плакал навзрыд, целуя руки у князя.

– Владычица небесная да сохранит тебя! – благословил его старый князь, обнял и поцеловал приёмного.

– Подойди и ко мне, Николай, я перекрещу тебя. – Лидия Михайловна истово перекрестила Николая. – С князем Сергеем не разлучайся и на войне будь всегда с ним; если что случится, пиши. Я на тебя надеюсь, ты нам не чужой.

– Князь, ваше сиятельство; и вы, княгиня – благодетельница, клянусь вам перед святой иконой, что я жизнь свою отдам для вас! Вот вы сейчас, как отец с матерью, меня благословили, ласкою одарили, не как безродного подкидыша, а как родного. Да за это я по гроб ваш верный слуга! – горячо проговорил молодой человек.

– Будьте всегда таким, Николай, какой вы теперь, – тихо промолвила княжна. – Таким хорошим, – добавила она.

– Простите меня, княжна! Может, мы никогда с вами не увидимся, – не смея смотреть в глаза княжне, чуть слышно сказал Николай.

– Простила, всё забыла.

Софья крепко пожала руку Николаю, обезумевшему от неожиданного счастья.

Тройка добрых коней, запряжённая в дорожный тарантас, давно уже ждала у крыльца. Все дворовые собрались проводить молодого князя и толпились около тарантаса. Сергей ещё раз крепко обнял отца, мать и сестру и быстро вышел на крыльцо. Он был сильно взволнован, слёзы виднелись на его красивых глазах. Сопровождаемый громкими пожеланиями, молодой князь сел в тарантас. Рядом с ним поместился Николай. На козлах с кучером сел денщик Михеев. Михеев уже лет пять состоял денщиком при молодом князе; Сергей успел привязаться к старому преданному денщику и не расставался с ним. Куда бы он ни поехал, Михеев повсюду его сопровождал.

Старый князь, княгиня и Софья до ворот проводили Сергея.

Владимир Иванович был молчалив и сосредоточен, Лидия Михайловна беспрестанно крестила уезжавшего сына, а Софья, с глазами, полными слёз, посылала брату воздушные поцелуи.

Вот выехали из усадьбы; кучер тряхнул вожжами, и добрые кони вихрем понеслись по утрамбованной дороге. Скоро тарантас скрылся из глаз княжеской семьи, и жизнь в усадьбе Каменки пошла обычным чередом.

ГЛАВА V

Путь молодого князя Гарина из Каенок до Петербурга был неблизкий – пришлось ехать не переставая несколько дней. Приехал Сергей в Петербург за три дня до выступления наших

войск в поход.

Первым делом князя было навестить своего приятеля и сослуживца Петра Петровича Зарницкого.

Ротмистр Зарницкий жил холостяком в своей небольшой квартирке на Невском, ему было лет тридцать пять, высокого роста, сутуловатый, с добрым, всегда смеющимся лицом, весёлый шутник, он был любим всеми в полку; солдаты называли Зарницкого отцом, он со всеми был добр и предупредителен. Зарницкий любил кутнуть, выпить, угостить на славу товарищей-сослуживцев, на это нужны были деньги; у Петра Петровича была только одна подмосковная вотчина, которая давала ему тысячи три в год, и на эти деньги должен был жить Зарницкий; подчас любил он широко пожить, и для этого пришлось закладывать подмосковную. Деньги, полученные от залога, недолго находились в руках ротмистра: по своей доброте Пётр Петрович готов был последним поделиться с товарищами. Происходя от знатного боярского рода, он нисколько этим не гордился, любил простоту, несмотря на хорошее образование, которое получил, всегда говорил «попросту» и терпеть не мог французских и немецких фраз и салонной болтовни.

– Если ты хочешь, брат, со мною вести знакомство или дружбу, ты все эти модные финтифлюшки брось, говори со мной попросту, без затей; «бонжуров» не подпускай – терпеть не могу иноземщины! – предупреждал Пётр Петрович тех офицеров, которые желали с ним сблизиться, сойтись.

Молодой князь Гарин сошёлся с Петром Петровичем, они жили искренними друзьями, а случай, происшедший с Сергеем, ещё более скрепил эту дружбу.

Однажды молодой князь и Зарницкий находились в товарищеском кругу, некоторые из офицеров играли в карты, другие курили и вели оживлённую беседу.

Сергей играл в карты редко, но когда садился за стол, то уж играл, как говорится, «вовсю», задорно по целым часам не выходя из-за стола. Однажды он, играя в карты, проиграл все деньги, но продолжал играть и проиграл ещё больше; при расчёте у него не хватило денег.

– Мы играли на наличные, а не в кредит, – резко заметил один из партнёров князю Сергею.

Тот побледнел и растерялся.

– Ты братец, считать не умеешь у тебя денег более, чем следует заплатить. Дай-ка я перечту, – сердито проговорил Пётр Петрович, стал считать и ловко и незаметно вложил свои деньги к деньгам князя.

– Как?! – удивился князь.

– Да так, ты проиграл тысячу а, у тебя их полторы. Не веришь? Пересчитай сам, – с торжествующей улыбкой проговорил ротмистр.

– Ты истинно благородный друг! – сказал с чувством Сергей, крепко пожимая руку товарища.

– Хорошо, что вчера староста деньги выслал, вот и пригодились.

Молодой князь вполне оценил благородный поступок Петра Петровича.

– Здорово, дружище! – радушно проговорил Пётр Петрович, вставая с дивана и обнимая приятеля. – Давно прибыл?

– Сегодня утром. Отдохнул немного, переоделся и прямо к тебе поспешил; ведь давно не видались.

– А ты, братец, пополнел на хороших харчах, – повёртывая молодого князя, говорил Зарницкий. – Ишь, какой бутуз стал.

– Скоро поход? – спросил у Зарницкого князь.

– Да, брат, скоро на Дунай гулять пойдём, с Бонапартом хороводы водить станем.

*Ах Дунай, ты мой Дунай,
Сын Иванович Дунай! –*

громко запел Пётр Петрович.

– Главнокомандующим назначен Кутузов.

– Ему и след быть нашим вождём: он хоть и сед, да хитёр. А знаешь, Сергей, я рад походу: живучи в гнилом Питере, заплесневел, обленился, лежебоком стал; видишь – рожато у меня даже обрюзгла от безделья; на Дунае проветримся... Слава государю нашему: не убоился он гения, как теперь величают Бонапартами хочет проучить его по-русски.

– Дерзость Бонапарта не знает предела. Наш добрый государь вынужден на войну: несчастная участь герцога Ангиенского вопиет о возмездии.

– За что это герцога расстрелял Бонапарт? – спросил Пётр Петрович у князя.

– Ни за что, без всякой вины. Принц спокойно жил в своих баденских владениях. Наполеон приказал его схватить и расстрелять. Вся Европа возмущена поступком Наполеона.

– Да, не надо давать воли этому корсиканскому орлу! Надо обрезать ему крылья! Уж больно высоко он залетел: из прапорщиков – да в императоры! Легко сказать!

– А что ни говори, Зарницкий, нельзя от Бонапарта и отнять гениальности: он искусный, гениальный полководец!

– Эх, если бы был жив наш старик Суворов! Задал бы он феферу этому гению! Всё, братец, счастье, удача, судьба счастливая – вот тебе и гений! Кому судьба – злая мачеха, а кому – любящая мать! Удалось Бонапарту усмирить французов, кой-кого поколотить на войне – и прокричали «гений». Придёт время – и Наполеон попадётся; его побьют – в ту пору и «гений» его отлетит. На земле, брат, ничего нет вечного. Эй, Щетина, подай-ка нам чайку, да рому не забудь! – крикнул Пётр Петрович.

– Зараз, ваше благородие! – откликнулся денщик из передней.

В комнату вошёл Щетина – так прозвали старика денщика Зарницкого за его усы, которые у него торчали щетиною. Денщик поставил на стол поднос с двумя стаканами чаю и маленький графинчик с ромом.

– Щетина, на войну хочешь? – спросил у денщика Зарницкий.

– Желаю, ваше благородие!

– Желаете? Отлично! Пойдём французов бить.

– Пойдёмте, ваше благородие!

– Рад походу?

– Очень рад, ваше благородие!

– Не боишься Бонапарта?

– Чего бояться! Плевать хотел я на него!

– Молодец, Щетина!

– Рад стараться, ваше благородие!

– Ну, пошёл на своё место!

– Слушаю, ваше благородие! – Старик денщик скорым шагом вышел из комнаты.

– Всё величие Бонапарта заключается в пушечном мясе. Да, да! Сколько пролито им крови, сколько несчастных жён и матерей плачут от этого гения? А сколько разорено им стран и народов?! – опять с жаром заговорил Пётр Петрович.

– Это жертвы всякой войны, – попробовал возразить князь.

– Жертвы войны? Прекрасно! Но эти жертвы приносит ваш хваленый Бонапарте, как мясник, засучив свои рукава. Со временем он сам утонет в крови. О, какая противоположность нашего императора с Наполеоном! В Александре – царственное величие, кротость, любовь; в Наполеоне – жестокость, самолюбие и коварство. Я преклоняюсь пред Александром и ненавижу Бонапарта.

– Всякий истинно русский так же любит и обожает императора и точно так же, как ты, презирает Наполеона. Но, как хочешь, Пётр Петрович, Наполеон – гениальный полководец, и этого от него никто не отнимет.

– Матушка-Русь разжалует его из гениев, и Александр смирит его гордыню! Поверь! – возразил ротмистр.

– Дай Бог! Теперь вся Европа возлагает на нашего императора свои надежды.

Приятель-гвардейцы до позднего вечера вели оживлённый разговор о предстоящей войне.

ГЛАВА VI

Прошло дня три.

В ясное сентябрьское утро 1805 года гвардия под начальством цесаревича Константина Павловича церемониальным маршем выступила из Петербурга, с распушенными знамёнами и с музыкой; шли молодцы-гвардейцы в поход на Дунай.

Множество народа со всех сторон Петербурга провожало гвардию счастливыми пожеланиями. В одном из эскадронов ехали рядом молодой князь Гарин и рядовой Николай. Командовал этим эскадронам Пётр Петрович Зарницкий. Он молодцевато сидел на статном коне, самодовольно поглядывая из стороны в сторону. Бравые солдаты были веселы, и, как только выехали за заставу, музыка сменилась ухарскою солдатскою песнью.

Русское войско спешило к Дунаю. «Бонапарт изумлял всех – и друзей, и врагов – своими победами; он твёрдою рукою взял кормила правления мятежной Франции, разрушил революцию, пресёк буйные замыслы анархистов, задушил безбожие, восстановил святыне алтари, успокоил, возвеличил Францию и примирил её с европейскими монархами. В лучах чистой, ничем не запятнанной славы, как великий полководец и мудрый правитель, стоял он перед судом самых строгих современников. Но, устраняя от Европы грозу революции, он готовил ей цепь рабства».²

Никому не ведомый, ничем особым не отличавшийся корсиканский офицер становится главнокомандующим. Но этим он не довольствуется: Бонапарт – могучий властитель Франции. Проходит пять лет – и он в короне, с императорскою порфиною на плечах, задумал завоевать всю Европу и предписывает ей законы. Тяжёлое ярмо наложил он на европейские народы, одним росчерком пера уничтожил независимость многих государств; покорённые государства он присоединяет к Франции, распространяя её пределы. Для достижения этих целей Наполеон ни перед чем не останавливается, для него не существует никаких прав. Его ненасытное честолюбие угрожает не только Европе, но и всему миру. Государства покорно склоняют свои головы пред завоевателем; только один император Александр Благословенный твёрдо стоит на страже не только своего народа, но и всей Европы.

Бонапарт завладел всей северной Италией, присоединил её к Франции. Не довольствуясь этим, он занял своими войсками Рим, Неаполь, Ганновер, утвердил своё владычество в Швейцарии и, вопреки всем правам народным, приказал схватить принца крови, герцога Ангийского, и по одному неосновательному подозрению приказал его расстрелять.

Добрейший из государей, Александр, узнав о несчастной участи герцога Ангийского,³ наложил по нём траур при дворе и потребовал от Наполеона объяснения, за что расстрелян герцог. Император французов ответил в грубом и оскорбительном тоне. Государь почёл необходимым прервать все сношения с Францией. Император Александр предложил Австрии, Англии и Пруссии вооружиться и общими силами спасти Европу от порабощения ненасытного Наполеона. Во главе дипломатии в Англии в то время был знаменитый Питт, ненавидевший Францию и её государя. Питт составил план общего союза. Договором, заключённым между Россией и Англией, было положено: при содействии Австрии, Пруссии и Швеции вооружить против Наполеона 500 тысяч солдат и сделать нападение на Францию со всех сторон – с моря и с суши, отнять все завоёванные Наполеоном земли и обеспечить спокойствие Европы.

«Этот человек (Наполеон) ненасытен; его честолюбие не знает границ; это бич вселенной! В Вене должны остановиться на этом событии. Я его предвидел, но никак не ожидал, чтобы Генуя была обращена во французскую провинцию в то самое время, когда хотели начать мирные переговоры с этим господином; он над нами смеётся, он хочет войны: ну, хорошо, он будет её иметь, и чем скорее, тем лучше».

Так говорил император Александр, когда узнал о присоединении Генуи к Франции.

² Устрялов Н. Г. Начертание русской истории для средних учебных заведений. СПб., 1845.

³ Луи-Антуан Анри де Бурбон, герцог Ангийский (Энгиенский) (1772–1804) во время французской революции командовал авангардом корпуса эмигрантов. После расформирования корпуса жил в герцогстве Баден. В 1804 г. после провала заговора Пишегрю Наполеон в назидание Бурбонам приказал арестовать герцога и привезти во Францию, где вскоре тот был казнён.

Австрия охотно согласилась примкнуть к союзу России и Англии; этим она хотела вернуть потерянную Ломбардию. Шведский король Густав-Адольф IV, лично оскорблённый Наполеоном, ненавидел его и презирал и охотно вступил в союз. Но Пруссия осталась нейтральной: малодушный министр граф Гаугвиц, вопреки общему желанию двора и народа, убедил прусского короля Фридриха-Вильгельма III не вмешиваться в войну с Францией. Нейтральная Пруссия много повредила союзникам, лишив их возможности напасть на Наполеона с севера. И неудачный план кампании дал Наполеону средство нанести союзникам удар при самом начале войны.

Австрийские генералы – князь Шварценберг и барон Макк – думали, что местом войны будет по-прежнему Италия. На военном совете с русским генералом бароном Винценгероде положили австрийские войска разделить на три части; одна, под начальством эрцгерцога Карла, должна была напасть на Италию, другая из Тироля вторгнется в Швейцарию, третья часть, в количестве 80 тысяч человек под начальством эрцгерцога Фердинанда, должна находиться в Баварии в оборонительном положении и ждать там прибытия русских войск.

Наполеон разом разбил все предположения Австрии: он с невероятною быстротою двинул свои войска из Франции прямо «в сердце Австрии» – в тыл главной её армии, без всякого сопротивления переправился через Рейн, склонил в свою пользу Баварию, Баден и Вюртемберг и, не обращая никакого внимания на нейтральную Пруссию, перешёл через её владения и сосредоточил всю свою многочисленную и храбрую армию на берегах реки Дунай, в окрестностях Ульма, предупредив соединение первой русской армии, шедшей под командою Кутузова, с австрийскою.

Силы были на стороне Наполеона, и австрийскому генералу Макку осталось одно – отступить заблаговременно к берегам реки Инн. Там уже появились русские колонны, и Макк с помощью Кутузова остановил бы стремление французов, но он не принимал никаких мер ни к отступлению, ни к обороне. Наполеон повёл свою армию ему в тыл, окружил австрийское войско со всех сторон и истребил его. Генерал Макк бросился в Ульм и после слабого сопротивления сдался с остатком своих солдат. Наполеон, разбив австрийскую армию, ринулся со всеми своими силами на русское войско, находившееся на берегах Инна. Французское войско втрое своею численностью превосходило русское. Кутузову не оставалось ничего более, как отступить в Моравию, для соединения там с другою русскою армией, которая шла от берегов Вислы под начальством Буксгевдена. Кутузову предстоял трудный, тяжкий подвиг: в ненастное, холодное осеннее время надо было пройти триста шестьдесят вёрст в борьбе с врагами, сильными, искусными, которые преследовали его.

Старый русский вождь храбро отражал нападение и при Кремсе переправился на левый берег Дуная; здесь его встретило французское войско под начальством Мортье, который хотел перекрыть путь Кутузову в Моравию. Несмотря на то, что у Мортье было больше войска, чем у русских, храбрый Кутузов разбил Мортье наголову, так что сам маршал едва не попался в плен.

За победу при Кремсе главнокомандующий Кутузов получил от императора Франца орден Марии Терезии 1-й степени, а также многие генералы и офицеры получили награды. Император Александр удостоил Кутузова следующим рескриптом: «Сражение при Кремсе есть новый венец славы для российского воинства и для того, кто оным предводительствовал. Моих слов недостаёт выразить вам и всему корпусу, под вашим начальством состоящему, то удовольствие и ту признательность, которую я ощущал с получением сего приятного известия. С нетерпением ожидаю ваших рапортов об отличившихся, как в сём деле, так и в предыдущих. На вас возлагаю объявить также всему корпусу чувства, изъяснённые в сём рескрипте мною».

ГЛАВА VII

Накануне битвы при Кремсе на левом берегу Дуная расположилась бивуаками русская армия. Был конец октября, и по причине сильного холода зажгли несколько костров. Солдаты грелись около пылающего огня и вели между собою такой разговор:

– Этот самый, теперича, Полеон Бонапартый, французский ампирактор – колдун! – внушительно говорил старый унтер с седыми усами и с такими же баками, греясь у одного из костров с другими солдатами.

– Как, дядюшка, колдун? – с удивлением тараща глаза на старого служивого, спросил молодой солдат.

– Как – во всей форме колдун!

– Неужто, дядюшка, колдун?

– Говорят тебе, стало быть – правда.

– Ну! – удивляются и другие солдаты.

– Вы, теперича, то поймите: можно ли из прапорщиков да в ампираторы? – задаёт вопрос товарищам унтер.

– Где, разве можно!..

– А Бонапартий попал, и всё это, братцы, колдовство на войне. Теперича, ни пуля, ни сабля его не берёт. Заколдован, значит, – ему всё нипочём.

– Расставаясь со мной, братцы мои, обняла меня Груняха да как зальётся горячими слезами, и почала причитать: на кого, говорит, милый друг, покидаешь наших малых детушек, несмышлёных младенчиков? Уж она причитала, причитала. Жена перестала – мать-старуха принялась, так самого слёзы проняли, – рассказывал у другого костра молодой солдат. – И посейчас больно вспоминать про то время. Нелегка разлука, куда нелегка! – с глубоким вздохом добавил солдат и незаметно стряхнул слезу, выкатившуюся из глаз.

– Как по нас и не плакать нашим жёнам и матерям – ведь на войну идём, а не на званый пир. Вернёмся живы с войны или нет – один Бог ведает! – сказал другой солдат.

– Все под Богом ходим, – глубокомысленно заметил третий.

У костра на разостланной медвежьей шкуре лежали Пётр Петрович и князь Гарин. Николай и Щетина хлопотали около медного чайника, в котором кипела вода. Михеев хлопотал тут же.

– А чертовски холодно. Я думал, только у нас на севере холода, да и здесь не тепло, – промолвил Зарницкий, повёртываясь к огню ещё ближе. – Ну, Щетина, скоро ли ты нам приготовишь чай? – спросил он у денщика.

– Зараз, ваше благородие! Кипит.

– Подавай, да рому в чайник влей – вкуснее будет Ты что, юнец, там ворочаешься? – спросил у Николая Зарницкий.

– Помогаю чай готовить, – ответил тот, повёртывая своё раскрасневшееся от жара лицо к ротмистру.

– Посмотри, Сергей, сколько жизни и молодости в этом юноше. От него так и пышет силою и здоровьем, а завтра, может, шальная пуля или сабля острая уложат его навеки спать в сырую могилу, – грустно промолвил Пётр Петрович.

– У тебя, Зарницкий, сегодня какое-то грустное настроение.

– Может, перед смертью...

– Полно, Пётр Петрович, зачем на войне думать о смерти. Надо думать о победе.

– Верно, товарищ, вот люблю! Я и сам не знаю, с чего я кислятничаю. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Вот и чай с ромом несут: сия оживляющая влага и мои мысли оживит. – Зарницкий с жадностью стал пить чай с ромом. – А ты что же не пьёшь? – спросил Пётр Петрович у Николая.

– Я после успею.

– Зачем после, бери стакан и присаживайся к нам. Ты мне нравишься, юноша, за твою отвагу и смелость. Тебя ждёт награда: я говорил с генералом – он обещал довести до сведения главнокомандующего про твою храбрость.

– Как мне вас благодарить, Пётр Петрович!

– Не за что – ты заслужил награду.

Вдруг по берегу Дуная пошёл какой-то гул и крики, крики – всё ближе и ближе.

– Что это значит? – вскочив, проговорил Гарин, смотря вдаль.

– Не знаю. Верно, главнокомандующий, – ответил Пётр Петрович, тоже поспешно вставая.

Он не ошибся: князь Кутузов, окружённый свитой, объезжал бивуаки на маленькой сытой лошади. Шагом ехал тучный старик, несмотря на холод, в одном мундире. На простом ремне через плечо висела нагайка. Плешистая голова, с редкими седыми волосами, прикрыта была

солдатской фуражкой.

Зорко посматривал главнокомандующий своим одним глазом на солдат и офицеров, беспрестанно останавливал свою лошадь и с ласковым словом обращался к ним; старческое лицо князя было весело:

– Здорово, ребятки – солдатики, здорово!

– Здравия желаем, ваше сиятельство! – гремели ряды солдат.

– Озябли? Ничего! Завтра погреемся около французов.

– Рады стараться, ваше сиятельство!

– Постарайтесь, ребята, постарайтесь для батюшки царя, для родной земли. С нами Бог и правда!

– Умрём за царя и за родину, ура!

– Добрый вечер, господа офицеры! Завтра битва. Поддержите имя русское, славное. Помните: на нас смотрит теперь вся Европа и надежды свои возлагает! – подъезжая к кучке офицеров, говорит громко старый вождь.

– Ура! Рады стараться! Ура!

И мощный, радостный голос русских воинов далеко несётся по Дунаю и раскатистым эхом замирает над славной большой рекой.

ГЛАВА VIII

Австрийская столица в то время оставалась без всякой защиты, и Наполеону не составило большого труда взять Вену: комендант не сумел вовремя разобрать мост на Дунае. Три французских корпуса, под начальством Мюрата,⁴ Сульта⁵ и Ланна,⁶ перешли на левый берег Дуная и при Шенграбене, лежавшем на пути в Моравию, отбросили русских. Кутузов послал князя Багратиона с шеститысячным корпусом занять Шенграбен и держаться там до последней крайности. Храбрый русский генерал должен был отражать с шестью тысячами воинов нападение шестидесяти тысяч, под начальством искусных маршалов Наполеона. Багратион с мужеством сражался, принудил их остановиться и дал время Кутузову отступить на дальнейшее расстояние. Герой Багратион сражался как лев и, окружённый со всех сторон неприятельскими колоннами, штыками очистил себе дорогу. Своим геройством Багратион удивил даже французов, которые считали гибель его неизбежною.

В Моравии Кутузов расположился в Ольмюце;⁷ всей армии под его начальством было восемьдесят тысяч, в том числе пятнадцать тысяч австрийцев; здесь находилась и главная квартира императоров русского и австрийского; тут же стоял и великий князь Константин Павлович с гвардейским корпусом.

Отъезд в действующую армию молодого и всеми горячо любимого государя произвёл в Петербурге большое беспокойство. Народ русский молился о здравии и благоденствии монарха, все церкви были переполнены молящимися.

Народ с нетерпением ждал известий из армии. Это дошло до императора; тронутый народною любовью, он обратился к петербургскому главнокомандующему Вязьмитинову с таким рескриптом:

«Со всех сторон доходят до меня известия о неоднократных изъявлениях

⁴ Мюрат, Иохим Наполеон (1771–1815) – маршал Франции, король Неаполитанский. В описываемое время – командир кавалерийского корпуса.

⁵ Сульта де Дье, Никола-Жан (1769–1851) – маршал Франции, командир пехотного корпуса. После реставрации Бурбонов был военным министром.

⁶ Ланн, Жан (1769–1809) – герцог де Монтебелло. Маршал Франции, командир 5-го пехотного корпуса.

⁷ Ольмюц (ныне Оломоуц) – город в Моравии в 70 км от Брно.

привязанности ко мне публики петербургской и вообще всех жителей сего любезного мне города. Не могу довольно изобразить, сколь лестно для меня сие чувство! Изъявите от имени моего искреннюю и чувствительную мою признательность. Никогда более не наслаждался я честью быть начальником столь почтенной и отличной нации. Изъявите равномерно всем, что единое моё желание есть заслужить то звание, которое я на себе ношу, и что все мои старания к сему одному предмету обращены».

Наполеон, видя собирающиеся отовсюду войска, числом своим превосходившие французское войско, не решался атаковать русскую армию в крепкой позиции под Ольмюцем. Наполеон хотел вступить в переговоры и послал следующее письмо императору Александру:

«Посылаю моего адъютанта, генерала Савари,⁸ поздравить Ваше Величество с прибытием к армии, выразить всё моё уважение к особе Вашей и желание найти случай доказать Вам, сколь много дорожу я приобретением Вашей дружбы. Удостоите принять посланного с свойственною Вам благосклонностью и верьте, что более, нежели кто другой, желал бы я сделать Вам угодное. Молю Бога, да сохранит Вас под святым покровом Своим».

Наш император ответил Наполеону следующим:

«С признательностью получил я вручённое мне генералом Савари письмо и спешаю выразить Вам всю мою благодарность. Все мои желания состоят в восстановлении общего мира на основаниях справедливых. Также хочу иметь случай сделать лично для вас приятное. Примите уверение в том, а равно и в моём совершеннейшем уважении».

Государь в письме не называл Наполеона императором. Это лишило Наполеона надежды на примирение, но всё-таки он пытался опять склонить нашего государя к миру: он решился послать в другой раз генерала Савари и просил, чтобы государь назначил личное свидание между авангардами и прекратил на сутки военные действия. Император не согласился на свидание с Наполеоном и послал к нему генерал-адъютанта князя Долгорукова.⁹ Князь Долгоруков приехал в передовую цепь французской армии; туда же скоро прибыл и Наполеон; увидя князя, он сошёл с лошади и ласково спросил:

- Вы от императора Александра?
- Мой государь уполномочил меня вести с вами переговоры, – ответил Долгоруков.
- Долго ли мы будем драться? – воскликнул Наполеон, идя по дороге с нашим послом.
- На это слишком трудно ответить.
- Скажите, генерал, чего от меня хотят? За что воюет со мною император Александр? Что он требует? – спрашивал Наполеон.
- Мой государь желает мира для Европы.
- Пусть ваш император распространяет границы России за счёт своих соседей, особенно турок, – тогда все ссоры русских с французами окончатся.
- Мой император не ищет приобретений для России и не питает вражды против Франции. Государь уважает французов и желает им счастья. Государь вооружился против зависимости

⁸ Савари, Анн-Жан-Мари-Рене, герцог де Ровиго (1774–1833) – французский политический деятель. Начинал карьеру как адъютант Наполеона, затем был его агентом по особым поручениям. Начальник тайной полиции в 1802–1804 гг., посол в России в 1807–1808 гг., участник войн против Австрии, Пруссии и Испании, сменил Фуше на посту министра полиции в 1810 г. После Июльской революции 1830 г. – завоеватель Алжира, где прославился крайней жестокостью.

⁹ Долгоруков (Долгорукий) Пётр Петрович, князь (1777–1806). Генерал-адъютант, приближённый Александра I, вёл от его имени ряд важных переговоров с европейскими державами. Считается, что он склонял императора дать сражение при Аустерлице.

Европы, – ответил князь Долгоруков. В разговоре он не называл Наполеона «вашим величеством».

Наполеон злился и морщился.

– России надо следовать совсем другой политике, помышляя о своих собственных видах, – резко сказал Наполеон.

– Император Александр, повторяю вам, желает прочного мира для всех держав, – возразил Долгоруков.

– Стало быть, мне нет надежды на сближение с императором Александром?

– До тех пор, пока вы не оставите в покое Европу и не вознаградите покорённые вами государства, до тех пор не может быть и речи о сближении, – твёрдо проговорил князь.

– Итак, будем драться! – громко сказал Наполеон и пошёл к лошади.

Долгоруков, не говоря больше ни слова, тоже сел на лошадь и, не поклонившись Наполеону, быстро поехал с ответом к государю.

Наполеон смотрел вслед удаляющемуся послу и громко выразился:

– Странные люди! Хотят, чтобы я отдал им без выстрела все наши завоевания и отступил за Рейн, а они не в силах отнять у меня Вены.

Наполеон собрал все свои силы в окрестностях Брюна. Он с нетерпением ждал решительной битвы, хотя положение его было не совсем хорошее: в тыл французскому войску грозил король прусский Фридрих-Вильгельм. Король оскорбился нарушением нейтралитета и спешил собрать войско. Император Александр лично был в Берлине и склонил Вильгельма вступить в союз. В Потсдаме русский император и король прусский, при свете факелов, окружённые свитой, спустились под надгробные своды дворца и на могиле Фридриха Великого поклялись друг другу в вечной дружбе. С другой стороны экс-герцог Карл,¹⁰ поразив французского генерала Массену¹¹ в северной Италии, спешил с многочисленной армией к пределам Венгрии, где готовилось поголовное ополчение. От берегов Вислы шла третья русская армия. Наполеон хотел решительной битвы, а союзники медлили – они выжидали прусской и третьей русской армий. Но австрийский генерал Вейротер¹² торопился дать сражение; он уверял главнокомандующего и обоих императоров, что при Брюне у Наполеона мало войска, что разбить его легко и что победа союзного войска почти обеспечена. Генерал Вейротер жестоко ошибся: у Наполеона армии было не меньше союзной. На военном совете положили напасть на французскую армию в занятой ими позиции. Главнокомандующий Кутузов двинулся вперёд и расположил свою армию в боевой порядок в виду неприятеля при Аустерлице.

Накануне сражения Наполеон целый день осматривал позиции, а вечером расположил свою главную квартиру в тылу центра своей армии. В этой местности не было ни одного строения, кроме полуразвалившейся риги; туда поставили большой стол, заваленный планами и картами; здесь на время остановился Наполеон. Было девятнадцатое ноября; мороз сковал землю, хотя снегу совсем не было; рядом с ригею расположили большой костёр. Наполеон задумчиво стоял и грелся у костра, потирая красные от холода руки; какая-то особая сосредоточенность виднелась на его суровом лице. Тут же стояли маршалы и свита, молча окружив своего императора.

– Завтра всё должно решиться, – задумчиво проговорил как бы сам с собою Наполеон.

– Завтра вас ждёт, ваше величество, славная победа! – нерешительно ответил кто-то из маршалов императору.

¹⁰ Карл-Людвиг-Иоанн (1771–1847) – австрийский эрцгерцог. Фельдмаршал, с 1805 г. – военный министр, возглавлял австрийскую армию в Италии.

¹¹ Массена, Андре (1758–1817) – маршал Франции, противостоял войскам Суворова и австрийцам в Италии. В 1805 г. командовал правым крылом главной армии Наполеона.

¹² Вейротер (Бейнротер), Франц (1755–1806) – генерал-майор австрийской армии. Генерал-квартирмейстер союзных войск в 1805 г.

- Вы думаете? – круто повернувшись к нему, спросил Наполеон.
- Так думает вся ваша славная победоносная армия.
- Посмотрим. А теперь, господа, я хочу объехать наши бивуаки.

Луны не было совсем; ночь тёмная, холодная. Наполеон, окружённый свитой и маршалами, шагом объезжал свою многочисленную армию. Конные егеря, состоявшие при Наполеоне, ехали впереди и факелами освещали путь. Французы восторженными криками приветствовали своего императора и с горящими головнями бежали за ним.

Наполеон накануне Аустерлицкого сражения издал следующий приказ:

«Солдаты! Русская армия выходит против вас, чтоб отомстить за австрийскую ульмскую армию. Это те же батальоны, которые вы разбили при Галлабруне¹³ и которые вы с тех пор преследовали постоянно до этого места. Позиции, которые мы занимаем, выгодны, и пока русские будут идти, чтобы обойти меня справа, они выставят мне фланг. Солдаты! Я сам буду руководить вашими батальонами. Я буду держаться далеко от огня, если вы, с вашею обычною храбростью, внесёте в ряды неприятельские беспорядок и смятение; но если победа хоть одну минуту будет сомнительна, вы увидите вашего императора, подвергающегося первым ударам неприятеля, потому что не может быть колебания в победе, особенно в тот день, в который идёт речь о чести французской пехоты, которая так необходима для чести, своей нации. Под предлогом увода раненых не расстраивать ряды. Каждый да будет вполне проникнут мыслью, что надо победить этих наёмников Англии, воодушевлённых такой ненавистью против нашей нации. Эта победа окончит наш поход, и мы можем возвратиться на зимние квартиры, где подойдут к нам новые войска, которые формируются во Франции, и тогда мир, который я захочу, будет достоин моего народа, вас и меня».

Сколько хвастовства и самоуверенности в приказах Наполеона! Он даже не переставал хвастать и тогда, когда его «образцовая» армия в 1812 году гибла от храбрости русских, от холода и голода.

ГЛАВА IX

Утро двадцатого ноября было как-то особенно холодное и пасмурное, небо заволочлось серыми тучами; на бивуаках русской армии горели ещё костры; солдаты очень исправно жгли разные ненужные вещи. В бараке, сколоченном из тёсу, за столом сидели ротмистр Зарницкий, князь Гарин и Николай. Они поспешно пили чай.

– Надо подкрепиться, дело будет жаркое, – проговорил Пётр Петрович, отрезая себе толстый кусок солонины. – А ты что, юноша, уткнувши нос сидишь? – обратился он к Николаю. – Что не закусываешь?

– Рано – не хочется.

– Уж не влюбился ли ты в какую-нибудь Гретхен?

– Что вы, Пётр Петрович! – вспыхнул молодой человек.

– Чего доброго!

– До того ли теперь, Пётр Петрович! Смерть на носу.

– Сколько раз говорил я тебе, что на войне не надо думать о смерти. Или трусишь?

– Что вы, Пётр Петрович, помилуйте!

– То-то, брат! Терпеть не могу трусов и неженков!

– А знаешь, Зарницкий, – тактика австрийского генерала Вейротера мне не нравится. Боюсь я, не ошибся бы он в расчётах, – сказал князь Гарин.

– Я, брат, сам ненавижу немецких тактиков, а вся наша армия поставлена будет по диспозиции Вейротера в боевом порядке – так решено на военном совете.

¹³ Галлабрунн – город в 70 км от Вены, рядом с которым, у деревни Шенграбен, 4/16 ноября 1805 г. аррьергард Багратиона сдержал корпус Мюрата.

- А наш старик, главнокомандующий? – спросил князь.
- У него даже и не спрашивали мнения, – ответил ротмистр.
- Хорошего ждать нечего.

Зарницкий и Гарин вышли из барака. Рассветало; костры догорали и дымились; солдаты тоже подкреплялись перед сражением; они жевали сухие, как камень, сухари и запивали их водой. Австрийские офицеры сновали между русскими солдатами. Вот раздались громкие голоса командиров:

- Стройся!

Офицеры стали поспешно обходить свои ряды. Солдаты суежились, прятали свои трубочки за голенища, подправляли мундиры, как будто шли на смотр, брали ружья и становились во фронт. Полковые командиры и адъютанты садились на лошадей.

- Выступайте.

Солдаты стали усердно креститься и шли, не видя, куда идут: дым от костров и туман застилал свет. Туман в тот день был так силен, что в десяти шагах ничего не было видно. Стройно шли русские колонны; солдаты были веселы, они шли на смертный бой, как на весёлый пир. Вследствие тумана произошла путаница. Вожатые сбились с дороги и не знали, куда вести армию.

Русские полки стали на флангах под командою князя Багратиона и Буксгевдена;¹⁴ в центре стала австрийская армия и часть русской под командою генерала Коловрата.¹⁵ При войске находился император Александр, австрийский император Франц¹⁶ и главнокомандующий. По плану Вейротера, генерал Буксгевден должен был обойти неприятеля левым флангом и тем же решить сражение.

Но в этом расположении войска сделана ошибка: армию растянули на большое пространство, фланги потеряли взаимную связь, центр ослабел. Армия была вытянута на три линии: спереди кавалерия, сзади артиллерия, далее пехота.

Император Александр, в конногвардейском мундире, в треугольной шляпе, объезжал армию вместе с австрийским императором и с великим князем Константином Павловичем. На приятном лице государя видна была задумчивость и сосредоточенность; он обратился с милостивым словом к офицерам и солдатам; громкое, нескончаемое «ура» было ему ответом.

Государь в сопровождении генерала Сухтелена,¹⁷ Аракчеева и других генералов подъехал к Кутузову и спросил:

- Михайло Илларионович, почему вы не идёте вперёд и не начинаете сражения?
- Я поджидаю, государь, чтобы все колонны собрались, – ответил главнокомандующий.
- Ведь мы не на Царицынском лугу – это там не начинают парада, пока не придут все полки, – с ноткой неудовольствия возразил император.
- Государь, потому я и не начинаю, что мы не на Царицынском лугу, – ответил Кутузов. – Но если ваше величество приказываете, я начну! – добавил главнокомандующий и отдал приказание к битве. Было девять часов утра; туман отчасти рассеялся, огневое солнце выплыло из-за облаков и ослепляющим блеском осветило поля, по которым нескончаемою вереницею тянулись войска.

Началось жестокое и кровопролитное Аустерлицкое сражение. Наполеон со всею силою

¹⁴ Буксгевден Фёдор Фёдорович (1750–1811) – граф, генерал от инфантерии, командующий Волынской армией. При Аустерлице командовал войсками левого крыла русско-австрийских войск.

¹⁵ Коловрат, Иоганн Карл (1748–1816) – герцог Краковский, генерал-лейтенант, позже фельдмаршал австрийской армии.

¹⁶ Франц (Франциск I), Иосиф Карл (1768–1835) – с 1792 г. австрийский император, до 1806 г. также последний император так называемой Священной Римской империи германской нации.

¹⁷ Сухтелен фон, Пётр Корнилович (1751–1836) – граф, инженер-генерал, член Военного совета при Александре I.

ударил на центр нашего войска, находившегося под командою генерала Коловрата, смял его и овладел всеми выгодными пунктами позиции, разрезав союзную армию надвое, и стремительно напал на оба фланга. Корпуса Даву, Бернадота¹⁸ и Сульта жестоко теснили наше войско. Русские, несмотря на значительный урон, стояли твёрдо и храбро отражали неприятеля, не уступали ни шагу, но, лишённые центра и разделённые на две армии так, что одна часть русских солдат не могла помочь другой, не могли выдержать страшного нападения и смешались.

Цесаревич Константин Павлович, командуя императорскою гвардиею, хотел остановить напор французских войск, но тщетно.

Император Александр сам вводил полки в битву, подвергая опасности свою драгоценную жизнь; под дождём пуль и картечей он скакал от одного полка к другому, воодушевляя солдат своим присутствием. Но сражение было проиграно, союзная армия расстроилась и в большом беспорядке отступила к пределам Венгрии, оставив под Аустерлицем десять тысяч убитыми и столько же ранеными; много, кроме того, попало в плен. Многие из русских бросились в болота, которые прилегали к прудам, но французская пехота преследовала их. Солдаты стали переходить по льду замёрзших прудов, но лёд был тонок, обломился, и многие утонули. Наконец, много русских погибло на озере Сочанском;¹⁹ лёд на этом озере был довольно толст, и тысяч пять солдат уже достигли середины озера, когда Наполеон отдал бесчеловечный приказ – стрелять ядрами в лёд... Разумеется, лёд раскололся, раздался страшный треск и стоны, солдаты, лошади, повозки и пушки – всё погрузилось в пучину. Этот поступок чёрным пятном падает на память о Наполеоне. Нелегка была и французам победа; множество убитых и раненых оставили они под Аустерлицем.

Отдав приказание преследовать русских по всем направлениям, счастливый и довольный император французов отправился на свою главную квартиру, расположенную на Ольмюцкой дороге.

На другой день после битвы Наполеон верхом объезжал позиции, где происходило сражение; за ним следовали маршалы и свита. Картина, представившаяся их глазам, была ужасна. Обширное поле, залитое кровью, множество истерзанных, изувеченных воинов валялись повсюду; некоторые из них ещё были живы и, истекая кровью, мучились в предсмертных судорогах; их душераздирающие стоны могли тронуть самую чёрствую натуру – но гордый, тщеславный Наполеон оставался хладнокровным зрителем этой потрясающей картины. Ни один мускул на его сухом, бледном лице не дрогнул.

– А славное было дело! – заговорил Бонапарт, останавливая свою лошадь.

– Эта славная победа под Аустерлицем влетит в ваш венок неувядаемые лавры, ваше величество! – почтительно заметил Даву.

– Но я ею много обязан вам, любезный Даву! Кроме того, маршалы Султ и Бернадот были тоже молодцами в этом сражении. Вас, господа, ждёт от меня щедрая награда.

– Ваше величество, я обязан жертвовать своей жизнью на благо Франции, не думая при этом о награде.

– Да, господа, могу похвастаться победой! Аустерлицкое солнце я буду долго помнить. И наши враги, надеюсь, не позабудут, как сражаются французы, – это им хороший урок.

Наполеон поскакал к берегам озера Сочанского, которое погребло в своих холодных объятиях не одну тысячу несчастных русских солдат. Наполеон остановил своё внимание на следующем: в нескольких шагах от плотины он заметил большую и крепкую льдину, на которой лежал русский молодой унтер-офицер в гвардейском мундире с Георгиевским крестом на груди; из правого его плеча струилась кровь. Очевидно, он был ранен и не мог ничего предпринять для своего спасения; гибель солдата была неизбежна, он мог каждую минуту

¹⁸ Бернадот, Жан-Батист-Жюль (1763–1844) – маршал Франции, с 1810 г. наследный принц, а затем и король Швеции и Норвегии (под именем Карла XIV Иоанна). В описываемое время – командующий 1-м пехотным корпусом французов.

¹⁹ Сочанское озеро (или пруд) находилось немного западнее Аустерлица, у местечка Сотчау.

упасть со льдины или сама льдина могла наскочить на какое-либо препятствие и разбиться вдребезги ... Бедняга, увидев Наполеона и его блестящую свиту, приподнялся на льдине и крикнул, насколько позволяли ему ослабевшие силы:

– Спасите!

– Что он кричит? – спросил Наполеон. Между свитскими генералами был один, хорошо знавший русский язык.

– Он просит помощи, ваше величество, – перевёл генерал.

– Так надо его спасти! – громко сказал Наполеон.

Несколько человек французских солдат и два штабных офицера бросились исполнять приказание императора. Найдя на берегу два толстых бревна, они толкнули их в воду и, усевшись на них верхом, думали добраться до льдины, подталкивая брёвна движением ног; но едва они отплыли на сажень от берега, как все они потеряли равновесие и полетели в воду. Спасители чуть сами не утонули, и только благодаря близости берега они вышли из воды. Наполеон нахмурился. Неудача, как всегда, действовала на него самым удручающим образом. Чтобы разогнать это скверное впечатление, два штабных офицера, несмотря на страшный холод, решились раздеться донага и бросились в воду спасать утопающего русского. Достичь его было, однако, нелегко. Лёд покрывавший озеро, был во многих местах пробит ядрами и картечью; кое-где озеро покрылось новым тонким слоем льда, и смелым пловцам приходилось его разбивать собственными усилиями; лёд до крови царапал им грудь и руки. Офицеры совершенно выбились из сил, наконец они достигли льдины, на которой стонал русский. Осторожно стали они подталкивать её к берегу. Кто-то догадался бросить им с берега верёвки, они обвязали солдата и таким образом дотащились до берега. Русский солдат был спасён. Офицеры дрожали от холода; их подвели к горящему костру, обтёрли и одели в сухое платье. Наполеон лёгким кивком головы поблагодарил самоотверженных смельчаков и обратил своё внимание на спасённого русского, которому успели уже перевязать раненное плечо, дали несколько глотков рому и одели.

– Вы русский? – спросил у него Наполеон через переводчика.

– Русский, – тихо ответил Николай Цыганов (это был он).

Во время несчастья на озере Николай каким-то чудом не погиб и спасся на льдине, на которой он провёл длинную, мучительную ночь.

– За что вы получили крест? – опять спросил у него император.

– За дело при Кремсе,²⁰ – чуть слышно ответил Николай, которого сильно била лихорадка.

– О, да, в этом сражении Кутузов отличился, но я отомстил ему при Аустерлице. Он слаб, отправьте его на перевязочный пункт и постарайтесь, чтобы этот храбрец выздоровел, – обратился Наполеон к своим приближённым. – Когда вы оправитесь и выздоровеете, надеюсь вас увидеть в рядах моей армии, – сказал Николаю на прощанье Наполеон.

– Я русский, ваше величество, и не изменю присяге, хотя я и обязан вам спасением моей жизни. Лучше отнимите у меня жизнь и прикажите снова бросить в озеро, но не требуйте от меня невозможного, – смело ответил Николай.

– Мне нравится его смелый ответ. Русские славная и храбрая нация, господа! – весело сказал Наполеон и поскакал от озера.

Николая повели на перевязочный пункт. Там, исполняя приказание Наполеона, употребили все усилия, чтобы русский храбрец поскорее оправился от своей раны.

ГЛАВА X

Сражение под Аустерлицем давно окончилось. На обширном поле, где несколько часов назад царил смерть, было почти тихо и безмолвно. Наступила ночь, и все ужасы битвы исчезли в темноте. Только осенний ветер завывал на разные лады над ранеными и убитыми,

²⁰ Кремсе – город на Дунае несколько выше Вены, около которого 30 октября 1805 г. Кутузов разбил корпус маршала Мортье.

распростёртыми на земле; изредка кое-где раздавались стоны. Раненых предоставили их горькой судьбе; некому было подобрать их и оказать хоть малейшую помощь. Прошла ужасная ночь, стих бушующий ветер, рассеялся туман, и бледное солнце тускло осветило обширное поле. О, какое ужасное зрелище! Целые груды убитых, сколько раненых, с душераздирающими стонами сисящихся приподняться. Бедные, несчастные, они завидуют убитым: те спят вечным, покойным сном, а они – брошенные, забытые, истекают кровью в предсмертных муках.

Вот из среды раненых с трудом поднимается молодой офицер в гвардейском мундире, с измученным, бледным лицом: в нём трудно было узнать князя Гарина. Молодой офицер геройски сражался и, раненный в плечо, упал без чувств вместе с убитой лошадей. От большой потери крови он был целую ночь почти без сознания, и только с восходом солнца пробудилась в нём жизнь. Князь силился освободиться из-под трупа лошади, которая всей своей тяжестью придавила ему ногу; с большим трудом ему удалось высвободить ногу из стремени, и, придерживаясь здоровой рукою, он немножко приподнялся. Из правого плеча опять стала сочиться кровь; князь не обращал на это внимания и рад был тому, что сумел хоть подняться. Несколько минут Гарин не мог отвести глаз от ужасной панорамы, раскинувшейся вокруг него. Голод и жажда мучили его ещё больше, чем рана. Мысли, одна мрачнее другой, быстро сменялись в голове несчастного офицера.

«Мне надо скорее уйти отсюда, – прошептали наконец его бледные губы. – Нужно спастись, пока есть хоть сколько-нибудь силы, иначе я умру здесь голодной смертью. Боже! Поддай мне силы, спаси меня!»

Князь горячо молился, подняв свои глаза к небу. Осторожно ступая, покачиваясь во все стороны, он пошёл вперёд между рядами убитых и раненых, встречая на пути таких же несчастных, как и он, но ещё более обессиленных от потери крови. Видеть их умоляющие взоры, слышать их просьбы о помощи было невыносимо, – но чем мог им помочь Гарин, сам едва державшийся на ногах!

– Ваше благородие! Прикончите со мною, – обратился к нему какой-то тяжело раненный солдатик, метавшийся в страшных мучениях.

– Ваше благородие, хоть бы глоточек водицы, уж очень жжёт! – слабо умолял другой.

Слёзы лились по лицу бедного Гарина, медленно пробиравшегося между грудой этих несчастных. От всей души хотел бы он помочь им – но чем? Запёкшиеся губы его дрожали и шептали молитву; он едва выбрался из этого страшного места; теперь уже ему реже попадались убитые и раненые. На дороге валялись исковерканные лафеты, обломки пушек и ружья. Гарин наткнулся на окровавленную саблю. Этой находке он очень обрадовался, поднял саблю и, опираясь на неё, пошёл далее.

«Если попадутся мне французы, я дёшево не продам свою жизнь: левая рука у меня ещё владеет», – думал он про себя.

Гарин уже прошёл порядочное расстояние, жажда стала ещё мучительнее.

«О, хоть бы каплю воды, губы мои совершенно запеклись», – простонал несчастный.

Ещё немного – и он увидел красивый домик, одиноко стоявший у опушки леса. Гарин радостно поспешил к жилищу, подошёл к окнам и попросил по-немецки:

– Будьте сострадательны, дайте мне немного воды и кусок хлеба.

Ответа не было; кругом была мёртвая тишина.

«Не отвечают. Дальше идти я не могу; войду в дом, может быть, здесь я вымолю себе пристанище».

Гарин с трудом добрался до сеней и отворил незапертую дверь. Страшный беспорядок был замечен повсюду; все окна были настежь растворены, стёкла выбиты, мебель взломана, изрублена, сундуки, комоды открыты, имущество разбросано по полу, посуда перебита.

Очевидно, обитатели этого дома скрылись от неприятеля, не успев ничего захватить с собою.

«Ниоткуда нет помощи!» – с грустью осматривая царивший беспорядок в комнате, убедился князь. Он вошёл в другую комнату, – и здесь всё было так же разрушено.

«Зачем ушёл я с поля битвы, зачем меня не убили! Лучше бы умереть! Тогда я пал бы славною смертью. Тяжело умирать всеми покинутым, одиноким. Матушка, сестра, отец! Знаете ли вы о моей несчастной судьбе? Будьте счастливы!» Губы раненого судорожно затряслись,

смертная бледность покрыла его лицо, в глазах всё закружилось, забегало.

«Смерть, смерть!» – прохрипел он и без чувств повалился на пол.

В комнате опять настала тишина.

Солнце поднималось всё выше и выше; яркие лучи его проникли в окно комнаты и весело заиграли на эполетах гвардейца, лежавшего без чувств.

Спустя некоторое время около дома слышались спешные шаги, дверь отворилась – и седой как лунь старик, представительной наружности, с добрым, приятным лицом, вошёл в комнату. Старик был не один: его сопровождала девушка, с лицом, цветущим здоровьем, молодостью и красотой.

– Побывали и в моём укромном жилище наши враги. Посмотри, Анна, что французы сделали с нашим жилищем, – грустно жаловался старик.

– Отец, отец! Посмотри! – с испугом и удивлением проговорила молодая девушка, указывая на распростёртого на полу князя Гарина.

– Это русский офицер, я узнаю по мундиру. Он мёртвый, – сказал старик, нагибаясь над Гариным.

Красавица стала на колени и приложила свою руку к сердцу и потом к голове молодого человека.

– Отец! Он жив, дышит, – обрадовалась Анна. – Надо его положить на кровать.

Молодая девушка поспешно приготовила постель и помогла отцу положить раненого офицера.

– Я попробую привести его в чувство, – сказал старик. Он достал из кармана небольшую бутылку с крепким вином, налил немного в стакан, разжал стиснутые зубы раненого и влил ему в рот несколько капель; потом он стал растирать ему виски и лоб.

Живительная влага произвела своё действие; по всему телу князя пробежала дрожь, он открыл глаза и с удивлением посмотрел на молодую девушку и старика.

– Где я? – слабым голосом спросил он.

– У добрых людей, успокойтесь, – ответил ему по-русски старик.

– Пить, ради Бога, один глоток воды!

– Сейчас, сейчас. – Молодая девушка быстро вышла из комнаты и вернулась с кружкой свежей воды.

Раненый жадно глотал воду.

– Спасибо вам, добрая! Скажите, где я? Я ничего не помню, как я сюда попал. Кто вы? так хорошо говорите по-русски, а судя по одежде – вы, должно быть, австрийцы.

– Господин офицер, прежде всего вам нужен покой, говорить вам вредно. Обо всём вы узнаете после. Я промою и перевяжу вам плечо. Анна, нагрей скорее воды, – суетливо распорядился старик.

– Мне есть хочется.

– О, это хороший признак! Вы скоро поправитесь. У нас есть холодное мясо и яйца – моя дочь сейчас приготовит для вас завтрак.

– Как мне благодарить вас! Ведь я обязан вам жизнью.

Гарин благодарно посмотрел и на доброго старика и на его милую дочь.

– Не волнуйтесь, вам вредно волноваться. Мы обязаны заботиться о вас – вы русский и за нас проливали кровь свою.

Старик искусно промыл рану и крепко забинтовал её. Сергей сильно стонал, но потом ему стало легче.

Анна нарезала мяса, очистила яйцо и поднесла это скромное блюдо к постели раненого.

– Пища подкрепит вас, господин офицер, – сказала молодая девушка.

– Скажите, как зовут вас и вашу прекрасную дочь?

– Я австриец Карл Гофман, а дочь мою звать Анной.

Князь Гарин проглотил несколько кусков мяса и запил вином. Силы его подкрепились, на бледном лице его стал заметен румянец.

– О, как мне теперь хорошо, легко! – весело сказал Гарин и взглядом поблагодарил красавицу. Анна вспыхнула и опустила свою чудную головку с вьющимися пепельными локонами.

– Теперь вы усните, молодой человек, сон для вас будет благодетелен, – укрывая тёплым одеялом князя, участливо сказал старик.

– А французы? – спросил Гарин.

– Не бойтесь, наши враги далеко ушли, – успокоил его старик.

Сергей скоро заснул, хотя спал тревожным сном.

– Ах, отец, если бы нам удалось спасти его! – сказала Анна.

– Он скоро поправится: молодость возьмёт своё, – ответил отец.

– Какой он красивый! У него такое доброе, приятное лицо. Он выздоровеет, отец, не правда ли?

– Надеюсь! За ним нужен только хороший уход.

– О, я буду хорошей ему сиделкой.

– Ах, проклятая война! Сколько сделала она несчастных, сколько невинной крови пролито на этой бойне. Да падёт кровь многих жертв на голову гордого победителя! И слёзы несчастных, осиротевших детей, оставленных отцов, матерей и жён вопиют о мщении!

Старик печально опустил седую голову и сидел в глубокой задумчивости.

Анна не смела прервать размышлений отца; она тоже молча сидела, порою посматривая любовно и ласково на спавшего офицера.

Опять наступила тишина в домике, прерываемая тяжёлым дыханием раненого.

ГЛАВА XI

Австрийский подданный Карл Гофман приехал в Петербург в конце царствования Великой Екатерины. В качестве хорошо образованного человека он поступил гувернёром в один из аристократических домов, где познакомился с одной бедной, очень хорошенькой девушкой. Она жила в том же доме из милости. Немец полюбил эту девушку, женился на ней и зажил счастливо, добывая средства педагогическим трудом; учеников у него было много, так что он зарабатывал хорошие деньги. У Гофмана родилась дочь, хорошенькая, как херувим; ей дали имя Анна. Мать воспитывала свою дочь в религиозном направлении, в духе православия. На пятнадцатом году только что начинавшая распускаться красавица Анна лишилась горячо любимой матери. Гофман горько оплакивал потерю жены; скорбь его была так велика, что в несколько дней он поседел как лунь. Похоронив жену, Гофман не остался больше в Петербурге и уехал на родину – в Австрию. Невдалеке от Аустерлица, ещё ожидавшего только своей крупной славы места знаменитого сражения, он купил небольшую ферму и в тиши и уединении предался сельскохозяйственному труду, отдавая свободные минуты своему любимому занятию – чтению книг. Анне он дал прекрасное образование: она отлично говорила по-русски, по-французски и по-немецки. На ферме они вели совершенно одинокую, замкнутую жизнь; единственным развлечением в долгие зимние вечера служили для них книги. Старый Гофман с увлечением читал произведения великих мыслителей и посвящал свою дочь во всю глубину и мудрость немецкой философии. Летом они целый день проводили в труде. Анна отлично хозяйничала, помогала отцу, и таким образом им удалось создать образцовое хозяйство. Так жили они, довольно счастливые, до тех пор, пока Наполеон – этот новый Аттила²¹ – не вторгся с несметными полчищами в пределы Австрийской империи. Столица империи – Вена – находилась уже в руках завоевателя. Сражение при Аустерлице тяжело отозвалось на Гофмане и на его дочери: все работники, кроме одного – Иоганна, – разбежались. Старый Гофман вместе с дочерью и Иоганном, единственным своим преданным слугою, принуждены были искать себе приют и спасение в непроходимом лесу; что могли, они захватили с собой; сюда же они увели

²¹ Аттила (Эцель, видимо, от кельтск. «этцель» – «отец») – царь гуннов. После смерти в 433 г. дяди Ругиласа принял власть на гуннами (индоевропейским племенем, которое часто путают с тюрками-хунну, не покидавшими своей родины в Восточной Азии). После убийства брата Бледы правил единолично. Покорил Северное Причерноморье, Центральную Европу, разорил балканские провинции Восточноримской империи, обложив их данью. После поражения на Каталаунских полях от римско-вест-готских войск под началом Аэция смог, однако, ещё совершить набег на Аппенины, вскоре после чего, в 453 г., по преданию, был убит своей новой женой бургундкой Ильдикой. За свои набегы получил в летописях прозвище «бич Божий».

лошадей и коров. Французские солдаты не забыли, конечно, навестить ферму Гофмана и вволю на ней похозяйничали. Когда французское войско, преследуя союзников, далеко ушло от места сражения, Гофман вернулся в своё жилище и нашёл у себя нечаянного гостя, князя Гарина.

Немалых трудов стоило Гофману и его дочери привести в порядок свой домик после погрома.

Когда Гарин проснулся, старого Карла в комнате не было: он хлопотал на дворе с работником; в комнате сидела одна Анна и читала какую-то книгу.

– Вы уже проснулись! Не дать ли вам пить? – поднимая на князя свои красивые голубые глаза, спросила молодая девушка.

– Как вы добры! У меня страшно пересохло в горле, – дайте, пожалуйста, воды.

– У нас есть чай. Не хотите ли, я сейчас приготовлю.

– Какая вы добрая, Анна Карловна!

– Зачем вы так меня называете? Зовите меня просто Анна. Я сейчас принесу вам чай.

Анна быстро вышла и вернулась со стаканом горячего чая.

– Пейте, чай очень вкусный и подкрепит вас!

– Из ваших прелестных рук, Анна, всё будет вкусно, – сказал князь.

Молодая девушка вспыхнула от неожиданного комплимента.

– Не вставайте, не вставайте, вы можете повредить плечо. Я сама напою вас, – сказала Анна, когда заметила, что раненый хотел привстать.

– Какая вы, Анна, хорошая! А где же ваш батюшка?

– Он на дворе хлопочет с Иоганном, французы ведь всё у нас переломали и разрушили.

– Где же вы, Анна, укрывались от французов?

– В лесу. Недалеко отсюда есть очень большой и густой лес, там, в землянке, которую соорудил отец, мы и укрывались и пробыли там, пока французы здесь хозяйничали.

Вошёл Гофман и очень обрадовался, видя Гарина, спокойно разговаривавшего с дочерью.

– Вы просто молодцом! – весело сказал он – Анна, дай и мне чаю, я озяб и устал.

– Сейчас, отец.

– Теперь, господин офицер, я удовлетворю ваше любопытство и скажу, почему я и моя дочь так хорошо говорим по-русски, – сказал старый Карл.

– О, пожалуйста! – обрадовался Гарин.

Гофман подробно рассказал князю о своей жизни в Петербурге, со слезами на глазах он вспоминал о своей покойной жене:

– Двадцать лет прожил я с женою, как двадцать счастливых радостных дней. Она умерла и в Петербурге не осталось у меня ничего дорогого; я уехал с Анною сюда и, как видите, сделался тоже жертвою войны. Французы нанесли мне жестокий урон в моём хозяйстве. Теперь не скоро поправишься, – закончил старик свой рассказ – Теперь, господин офицер, скажите и вы своё имя, – попросил Гофман.

– Как? Разве до сих пор я не сказал? Какой же я рассеянный. Я – князь Сергей Гарин.

Титул произвёл своё впечатление, добрые люди были очень польщены присутствием в их доме одного из представителей истой русской аристократии.

Совершенно неожиданно вбежал в комнату Иоганн; он был бледен как полотно.

– Французы, французы! – кричал он в сильном испуге.

– Как, где? – в один голос спросили все бывшие в комнате.

– Невдалеке отсюда. Я было пошёл в город, а французы мне навстречу, я и вернулся вам сказать.

– И хорошо сделал, добрый Иоганн. Надо спасаться, князь, иначе дело будет плохо.

– Куда? Где же мне искать спасения: я едва могу ходить. Я останусь здесь, я не боюсь их и дорого продам свою свободу.

– Нет, князь, мы так вас не оставим, мы поможем вам встать, а я найду, где укрыться.

В доме Гофмана в задней комнате был сухой подвал. Дверцы его были так хорошо устроены, что их совершенно нельзя было заметить. Старик с помощью работника помог сойти в подвал раненому князю, затворил дверцы и заставил их тяжёлой колодой.

– Ты, Анна, беги немедленно в лес, Иоганн тебя проводит.

– А ты, отец? – спросила молодая девушка, не менее перепуганная, чем все в доме.

– Я останусь здесь и постараюсь выпроводить непрошенных гостей. Я никак не предполагал, что французы не все ушли отсюда. Иди же, Анна; в лесу тебе бояться нечего, ты скроешься в землянке и будешь в безопасности.

– Не за себя я боюсь, отец, а за тебя и за князя. Боже мой, что с вами будет!

– Успокойся, дочь моя, с мирными жителями французы не воюют, и меня они не тронут.

– А князь?

– Князя они, поверь, не найдут, до него трудно добраться. Спешите же, Анна.

– Прощай, отец, храни вас Бог!

Анна крепко поцеловала отца, оделась и поспешно выбралась из мирного домика.

Не прошло и получаса, как ферма Гофмана была окружена со всех сторон французскими солдатами.

Пожилой французский офицер в сопровождении пяти солдат, гремя шпорами и саблей, вошёл в комнату и, окинув презрительным взглядом Гофмана, грубо спросил у него по-немецки:

– Кто вы?

– Австриец Карл Гофман – к вашим услугам, государь мой! – с достоинством ответил старик.

– С кем же вы здесь живёте? – подозрительно осматривая комнату, спросил офицер.

– С работниками, – ответил Гофман.

– Где же они?

– Разбежались! Завидя приближение вашего отряда, они все покинули меня.

– Глупцы! Мы не трогаем мирных жителей.

– Надеюсь, господин офицер! Иначе это было бы недостойно Франции, – польстил старик.

– А всё-таки я должен тщательно осмотреть ваш дом, не скрыты ли здесь русские. Идите и показывайте нам все ваши комнаты.

– К вашим услугам, государь мой, – нисколько не растерявшись, согласился Гофман и повёл французского офицера и солдат по всему своему дому.

Находясь в подвале, бедный князь слышал, как над его головой ходили солдаты и стучали об пол прикладами своих ружей; он уже решил, что, если его найдут неприятели, он дёшево не продаст свою жизнь и будет защищаться до последней крайности.

«Лучше смерть, чем постыдный плен», – думал он.

Но французы не догадались о существовании подвала и, тщательно осмотрев весь дом и двор, ушли. На этот раз они даже ничего не тронули из имущества. Впрочем, ничего ценного у Гофмана уже не оставалось.

Ещё долго после ухода французов старик не выпускал из подвала Гарина; он боялся, чтобы неприятели не вернулись.

– Посидите ещё немного, князь, я боюсь этих проклятых французов: они, как волки хищные, рыскают по дорогам и, того гляди, заберутся сюда снова. Знаю, вам неудобно в подвале, но что делать? Уж посидите! – убеждал добрый немец, переговариваясь с Гариным сквозь приотворённые дверцы.

К ночи вернулась с работником и Анна.

Бледная как смерть, она с замиранием сердца подходила к своему жилищу: её тревожила участь молодого князя.

«Что если его убили или увели в плен?» – думала она, переступая порог отцовского дома.

Счастью и радости её не было конца, когда она увидела Гарина, сидевшего на постели рядом с отцом.

– Вы живы, спасены! Господи, благодарю тебя! Отец, милый отец! Как я счастлива, – с увлечением говорила молодая девушка. – Ах, князь, как я за вас страдала! Как я боялась!

– Чего вы боялись? – спросил у Анны князь Гарин.

– Я... я думала, вас найдут французы...

– Анна, какая вы добрая, славная... Вам и вашему отцу я обязан многим.

– Что за счёты, князь! – промолвил старик Гофман.

– Чем я отблагодарю вас и вашу дочь, – с чувством проговорил князь Гарин, крепко сжимая руку у Гофмана.

– Оставим, князь, про это говорить. Я теперь так счастлив.
Молодая девушка расплакалась, но это были слёзы радости.

ГЛАВА XII

Русских пленных отправили ночевать в Позоржиц, где находилась главная квартира французского императора. В числе пленных находился и ротмистр Зарницкий, попавший сюда со своим денщиком Щетиною. Пётр Петрович был слегка контужен. Его эскадрон храбро сражался, окружённый в десять раз превосходившим его по числу неприятелем; Зарницкий изумлял своим героизмом даже французов. На его несчастье, под ним была убита лошадь: ротмистр упал вместе с убитым животным и был придавлен всей его тяжестью. Этим-то моментом воспользовались неприятели, и герой был взят в плен. Эскадрон Зарницкого был весь перебит, осталось в живых человек пять, не более. Пётр Петрович в первые минуты был в каком-то исступлении; он проклинал тот момент, когда шальная пуля уложила его верного коня, и своё бессилие. Щетина тоже попался в плен. Оба они шли рядом, под конвоем, разделяя общую горькую участь.

– Ваше благородие, – тихо шепнул Щетина своему «барину».

Зарницкий шёл печально, опустив голову, и не слышал зова своего слуги; думы, одна другой мрачнее, не давали ему покоя.

– Ваше благородие! – повторил денщик.

– Ну, что ты?

– Стало быть, ваше благородие, мы в плен попали.

– Попали, брат Щетина, – со вздохом ответил Пётр Петрович.

– Нехорошо, ваше благородие!

– Что хорошего! Хуже смерти.

– А вы, ваше благородие, не отчаивайтесь, можно побег учинить, – таинственно сообщил Щетина.

– Побег – ну, брат, навряд! Зорко стеречь будут – не убежишь.

– Убежим, ваше благородие, надо только время выждать.

– Ну, станем ждать.

– Император, император! – заволновались вдруг конвойные, завидя Наполеона, ехавшего навстречу пленным.

– Кто из вас старший? – останавливая лошадь, спросил Наполеон у пленных.

Старшим по чину в этой партии пленных был ротмистр Зарницкий; он выступил вперёд.

– Кто вы? – в упор смотря на ротмистра, спросил Наполеон.

Зарницкий назвал свой чин и полк, в котором служил.

– Знаю, слышал. Ваш полк честно исполнил свой долг, а вы, господин ротмистр, оказывали чудеса храбрости. Я слышал.

– Я дорожу похвалою великого полководца, – вежливо ответил Зарницкий, кланяясь Наполеону.

– Вы заслужили, господин ротмистр, гораздо большего!

Наполеон приказал отвести пленных на бивуаки и позаботиться о них: устроить им ночлег, перевязать раненых.

Приказание было в точности выполнено; раненых повели в шалаши, выстроенные при главной квартире Наполеона. Французы очень радушно приняли наших. Ротмистра Зарницкого с его денщиком поместили в отдельном шалаше, где поставили походную кровать, стол и стул. Зарницкому перевязали рану. Измученный и голодный, он, исправно поужинав, выпил добрую порцию вина и, повалившись на кровать, скоро заснул богатырским сном.

Щетина не спал, он обдумывал план побега. Он вышел из шалаша, но сейчас же вернулся: около шалаша стоял на карауле французский солдат с ружьём на плече.

«Ведь ишь, дьявол, всё «маршует». Прихлопнул бы его, да как? Пожалуй, хуже будет: из шалаша-то убежишь, а у цепи попадёшься, ни за что пристрелят тебя», – рассуждал Щетина.

Полночь. В главной квартире императора погасили все огни; всё давно спало, только караульные мерно расхаживали каждый на своём посту. Едва пробило полночь, как солдат,

стоявший у шалаша Зарницкого, ушёл спать. К русским пленным французы относились нестрого: не было особенно сильного надзора, потому что они были уверены, что уйти пленным трудно. Да и куда бы они ушли в холодное зимнее время, не зная дороги? Если бы кто и убежал из плена, он рисковал замёрзнуть, заблудиться и попасть снова в руки неприятеля.

Щетина вышел из шалаша и осмотрелся кругом. Ни души; тишина как в могиле.

«Вот когда убежать-то надо», – подумал денщик; он поспешил в шалаш и стал будить крепко спавшего ротмистра.

– Ваше благородие, а ваше благородие! Ведь ишь спит – пушкою не разбудишь.

Зарницкий не просыпался.

– Эко горе! Никак его не разбудишь. Да проснись! Говорят тебе! – с сердцем крикнул Щетина, трясая за рукав своего барина.

– Ты что! Или время на парад? – спросил Зарницкий, протирая глаза. Благодетельный сон перенёс его снова к себе на квартиру, в Петербург, и он совершенно забыл печальную обстановку, в которой находился теперь.

– Какой там парад! Бежать надо.

– Как бежать, куда? зачем?

– Эх, ваше благородие! Да вы проснитесь, – с укоризною сказал Щетина.

– Ах да, мы в плену! – К Зарницкому вернулась память, и незавидная действительность вырисовалась со всею яркостью.

– Надо бежать – благо время подходящее, – снова напомнил Щетина.

– А часовой? – спросил Зарницкий.

– Ушёл. Кругом ни души не видно.

– Ты говоришь, часового нет?

– Да, ушёл! Бежим, ваше благородие!

– А как попадёмся, расстреляют.

– Не попадёмся, ведь глухая полночь, все спят.

– Стыдно мне, Щетина! Русскому офицеру бежать из плена! Если хочешь, беги, а я останусь.

– Эх, ваше благородие, что за стыд – убежать из плена? Стыд, когда вы знаете, что наши бьются с врагом, а вы тут в плену ничего не делаете, службы не несёте, – а служба ваша нужна батюшке-царю и родной земле! – с жаром говорил старик.

– А ведь ты прав, Щетина! Ей-богу, прав! При нужде чего не делают. Бежим!

– Вот и давно бы так! – обрадовался Щетина.

– Воля, брат, дороже всего на свете!

– Известно, так, ваше благородие!

– А если нападут на нас французы, нам даже защищаться нечем.

– А кулаками, ваше благородие.

– Молодец, Щетина!

– Рад стараться, ваше благородие!

Зарницкий и Щетина тихо вышли из шалаша и стали пробираться к опушке видневшегося леса.

Ночь была морозная. Порывистый ветер бушевал в поле, вихрем кружил снег и хлестал прямо в лицо беглецам.

– Ну и мороз! – сказал Пётр Петрович.

– А у нас, в России, много холоднее, ваше благородие, – ответил Щетина. – Только бы нам до леса добраться, – добавил он.

– А что же в лесу – то?

– Там место безопасное.

– Ох, Щетина, замёрзнем мы или под вражью пулю угодим.

Ротмистр и денщик подошли почти к самой цепи; стали уже видны неприятельские солдаты, но благодаря счастливому случаю французы не заметили беглецов. Зарницкий и Щетина очутились за цепью; лес от них был в нескольких шагах.

– Фу! Теперь можно вздохнуть! Опасность миновала! Мы на свободе, – весело проговорил ротмистр.

Они вошли в лес; снегу в лесу было мало – высокие сосны и ели стояли зелёными. Они шли быстро по узкой лесной дороге.

– Куда идёт эта дорога? – спросил Зарницкий.

– А кто её знает, ваше благородие!

– Может, к жилью.

– Может, и к жилью.

Предположение Зарницкого оправдалось: дорога шла к жилью, и, пройдя несколько, наши беглецы очутились около небольшого чистого домика, в котором жил лесничий с двумя своими помощниками.

– Мы спасены – жильё! – радостно воскликнул ротмистр.

– Благодарение Господу! – Старик денщик усердно перекрестился.

Пётр Петрович подошёл к двери и постучался.

– Кто там? – послышался в ответ недовольный голос.

Зарницкий хорошо знал немецкий язык, хотя редко на нём говорил.

– Русский офицер со старым денщиком чуть не гибнут в лесу от голода и холода... Просим приюта до утра! – ответил по-немецки Зарницкий.

Прошло несколько минут, дверь открылась, и со свечой в руках встретил их сам лесничий, которого называли Франц Гутлих. Это был рослый, здоровый австриец средних лет, с открытым приятным лицом.

– Русский офицер всегда найдёт в моём доме радушный и братский приём, – ласково встретил их лесничий, крепко пожимая руку ротмистра.

Ротмистр и денщик дрожали от холода; первым делом лесничего было их согреть; он приказал скорее приготовить чай и ужин.

Наши беглецы напились горячего чая с ромом и сытно поужинали, изрядно выпив. В подвале у лесничего оказалось хорошее вино; за ужином Пётр Петрович и лесничий выпили за здоровье русских и австрийских воинов. Поблагодарив хозяина, Пётр Петрович лёг на мягком диване, а Щетина расположился на полу. Оба скоро крепко и сладко заснули.

Русские пленные, благодаря длинной ноябрьской ночи и тому, что французская армия разбросана была на несколько вёрст, уходили поодиночке и по несколько человек вместе; одни присоединились к нашей армии, а иные через Богемию, Силезию и другими путями пробирались в Россию.

«При поражении союзных армий в неудаче обвиняет обыкновенно одна другую. Так случилось и после Аустерлица. Отдавая справедливость мужеству русского войска, австрийцы приписали поражение нашему неумению маневрировать, неловкости нашей пехоты, тяжести наших ружей. Но разве за шесть лет перед аустерлицким сражением, когда русские вместе с ними одерживали победы в Италии, ружья наши были легче, войска подвижнее и в манёврах искуснее? Причина побед в Италии заключалась в том, что главнокомандующим союзною армиею был Суворов, а под Аустерлицем руководили действиями австрийцы. Здесь ключ успехов в 1799 году и неудачи 1805 года. Заготовление магазинов лежало на австрийцах, ибо войну вели в их земле, но не было ни хлеба, ни фуража. Австрийцы привели русскую армию на места, хорошо им знакомые, где они производили ежегодно учебные манёвры. Оказалось, по собственному признанию их, что они ошиблись даже в исчислении расстояний. Не зная пространства, занимаемого полем сражения, они растянули армию на четырнадцать вёрст, не озаботились составлением резерва и, наконец, до того растерялись, что и по окончании войны не вдруг могли дать себе отчёт в своих распоряжениях. Через шесть недель после Аустерлицкой битвы император Франц говорил нашему послу, графу Разумовскому:²² «Конечно, вас удивит, что до сегодняшнего дня я ещё не знаю плана аустерлицкого сражения».²³

²² Разумовский Андрей Кириллович (1752–1836) – граф. С 1790 по 1807 г. был посланником в Австрии.

²³ Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном 1805 г. СПб., 1844.

Аустерлицкое сражение нисколько, однако, не помрачило славы русского оружия и храбрости русских солдат.

Сам Наполеон впоследствии говорил, что под Аустерлицем русские оказали более храбрости, чем в других битвах с ним.

Наш главнокомандующий Кутузов справедливо слагал с себя всю вину за аустерлицкое поражение.

– Я умываю руки, вина не моя, – говорил он на другой день после битвы.

Император Александр нисколько не винил Кутузова.

– В аустерлицком походе я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что там надо действовать иначе, но ему следовало быть в своих мнениях настойчивее.

Так говорил император Александр по прошествии нескольких лет после аустерлицкой битвы.

Кутузов советовал не давать сражения под Аустерлицем – но его не слушали.

Говорят, Кутузов накануне сражения пришёл к обер-гофмаршалу, графу Толстому,²⁴ и сказал ему:

– Уговорите государя не давать сражения: мы его проиграем.

– Моё дело знать соусы да жаркие. Война – ваше дело, – ответил ему на это Толстой.

Между тем австрийцы настаивали, чтобы битва непременно была под Аустерлицем.

«Теперь легко представить положение императора Александра, русского главнокомандующего и всех русских: австрийцы желают сражения; русские, пришедшие к ним на помощь, знаменитые своею храбростью, вдруг станут уклоняться от битвы, требовать отступления, обнаружат трусость пред Наполеоном! Всякий должен чувствовать, что в таком положении ничего подобного нельзя было требовать от Александра и окружавших его».

После аустерлицкого сражения наша армия шла в Годьежицу; туда же ехал и император Александр, во время сражения находившийся «в огне, распоряжавшийся под ядрами, картечами и пулями».

В селении Годьежице с трудом нашли для государя приличную комнату, где бы он мог хоть немного отдохнуть. Пробыв тут недолго, он отправился далее. Его величество ехал верхом: в Годьежице никак не могли найти царской коляски. Государь уже несколько дней чувствовал себя нездоровым, он только крепился и не хотел своею болезнью пугать приближённых и армию; но, проехав семь вёрст, принуждён был остановиться в селении Уржице, в простом крестьянском домике. На скамью положили соломы, и это послужило постелью для больного монарха. Государь был в сильном жару, голова его горела; приём опиума несколько его успокоил. Государь заснул тревожным сном. Проспав часа три, перед рассветом он встал и поехал в Чейч,²⁵ где было сборное место для армии. Объезжая свои войска, государь старался скрыть свою болезнь, так как был распушен ложный слух, что государь ранен. «Быстро распространившись, эта ложная молва усугубляла горестные впечатления претерпенного накануне поражения».²⁶ Все спрашивали о государе, и, когда увидали его здоровым, радости и ликования солдат не было конца.

Когда императоры Александр и Франц прибыли в Голич, Наполеон прислал сказать австрийскому императору, что он желает с ним видеться. Император Франц поехал в авангард и встретился с Наполеоном между передовыми цепями армии.

Разговор императора австрийского с Наполеоном продолжался два часа и имел следствием прекращение военных действий между Францией и Австрией. Наполеон предложил императору Францу не впускать в его владения иностранных войск и потребовал, чтобы

²⁴ Толстой Пётр Александрович (1761–1844) – граф, генерал от инфантерии, управляющий генеральным штабом.

²⁵ Чейч – местечко в 25 км юго-восточнее Аустерлица, куда после сражения отошли союзные войска.

²⁶ Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном 1805 г. СПб., 1844.

русская армия возвратилась обратно в Россию.

Желая узнать мнение нашего государя, Наполеон послал к нему генерала Савари, император же Франц уполномочил с этой же целью генерала Стутергейма.²⁷

Несмотря на раннее время – было всего только пять часов утра, – послы застали государя уже одетым, он принял прежде Стутергейма, который от имени своего императора просил согласия на требование Наполеона.

– Я привёл мою армию на помощь Австрии и отправлю её назад, если ваш монарх желает обойтись без моей помощи, – сухо ответил император Александр.

Государь приказал пригласить посла от Наполеона и заявил ему, что возвращает своё войско в Россию.

Наполеон, получив такой ответ государя, немедленно послал приказ о прекращении передвижения армии. Объявлено было перемирие. Оно заключено было 26 ноября 1805 года, «с условием договориться немедленно о мире, а если мир не состоится, не возобновлять военных действий, не предварив о том друг друга за пятнадцать дней».

Двадцать седьмого ноября государь дружелюбно простился со своим союзником, императором Францем, и отправился в Петербург, приказав Кутузову вести армию в Россию.

За день до отъезда нашего государя Наполеон опять попытался сблизиться с императором Александром. С этой целью он вызвал к себе пленного князя Репнина²⁸ и сказал ему:

– Вы, князь, свободны – перемирие заключено. Поезжайте к своему государю и скажите ему, что я вновь предлагаю ему мир. Воевать нам с ним нечего. Ещё скажите императору Александру, что, если бы он принял моё приглашение и приехал на свидание со мною, я покорился бы прекрасной душе его; выслушав мысли его о способах восстановить мир в Европе, я во всём согласился бы с ним. Вместо себя он прислал молодого человека, который наговорил мне дерзостей, и где? Среди моих колонн! Что же вышло? Мы сразились, и теперь я имею право объявлять предложения. Но я думаю, что мы ещё можем сблизиться.

– Все ваши слова я передам моему государю, ваше величество.

– Да, да, князь, передайте. Повторяю моё желание сойтись с императором Александром. А знаете ли, отчего вы проиграли сражение под Аустерлицем?

– Нет, ваше величество! – ответил Репнин.

– Что за странная мысль пришла в голову вашим главнокомандующим растянуть армию на огромное пространство и разобщить колонны? Надо держать армию вместе, сплочённою, так сказать, в кулаке, чтобы при первом же моменте бросить всю её в лицо неприятелю. Впрочем, император Александр должен был проиграть сражение. Здесь его первая, а моя сороковая битва, – самодовольно проговорил Наполеон. – Прощайте, князь! Не забудьте передать мои слова вашему государю, – добавил он и протянул на прощанье князю Репнину руку.

ГЛАВА XIII

Ротмистр Зарницкий встал поздно, но был бодр и весел. Лесничий напоил его и Щетину чаем, и они стали собираться в путь.

– Боюсь удерживать вас, господин ротмистр, в нашей местности бродят ещё французские солдаты, и ничто им не мешает заглянуть и ко мне. Но скажите, куда вы намерены идти? – задал он вопрос.

– Хотелось бы догнать нашу армию, – ответил ротмистр.

– Это нетрудно сделать, если вы, господин ротмистр, знаете дорогу.

– В том-то и беда, что я совсем не знаю здесь дороги, – ответил Пётр Петрович.

– А ваш денщик?

– Он и подавно не знает.

²⁷ Стутергейм (Штутергейм), Фридрих Генрих фон (1770–1811) – барон, австрийский генерал-майор.

²⁸ Репнин-Волконский Николай Григорьевич (1778–1845) – брат декабриста С. Г. Волконского, князь, в 1805 г – полковник.

– В таком случае я дам вам проводника, – предложил лесничий.

– Я просто не нахожу слов, как вас благодарить!

– Не за что. Австрия и так многим обязана русской армии. Больше всего мы должны ценить ваше самопожертвование.

Зарницкий простился с лесничим и с неизменным Щетиною и проводником отправился догонять русскую армию. Франц Гутлих снабдил их на дорогу провизией и подарил ему на память пистолет редкой работы.

– А мне, добрейший господин Гутлих, нечем вас отблагодарить: у меня ничего нет! Но по приезде в Петербург моим первым долгом будет прислать вам сувенир, – крепко пожимая руку лесничего, говорил ротмистр, прощаясь.

Провожатый скоро вывел их из леса на большую дорогу, по которой накануне в беспорядке шли русские солдаты, преследуемые неприятелем. Теперь на этой дороге не было никого.

– Идите прямо по этой дороге, и вы непременно догоните свою армию, – посоветовал проводник.

Ротмистр поблагодарил его и быстро зашагал вперёд. Щетина не отставал.

– А как думаешь, Щетина, жив Гарин? – спросил ротмистр у своего денщика.

– Навряд, ваше благородие, уж очень храбро они сражались: своими глазами видел, как их сиятельство рубил французские головы.

– Да, да, сражался он как герой и пал с честью... Я лишился искреннего приятеля. Пока я жив, буду о нём всегда помнить. Жаль его, Щетина, очень жаль мне его, – грустно сказал ротмистр.

– Как не жалеть: человек молодой и дельный! Михеев, денщик княжеский, сказывал мне, как с князем прощались отец с матерью. Уж очень больно, говорит, они плакали и убивались, отпуская княжича на войну, особенно сама княгиня.

– А об нас с тобою, Щетина, кто плакал, когда мы на войну отправлялись?

– Никто, ваше благородие!

– И убьют нас – некому будет поплакать, некому вспомнить о нас!

– Некому, ваше благородие! – печально вторил старик.

– Живы мы – хорошо, а умрём – тужить по нас некому. Вот видишь, и одному быть тоже нехорошо. Правда, Щетина?

– Истинная правда, ваше благородие!

– Ты тоже одинок, Щетина?

– Как перст, ваше благородие!

– И никогда женатым не был?

– Всё было, ваше благородие! Жена была, детки были, да все умерли, все на погосте спят и меня, старого, поджидают.

– Ничего, Щетина, мы ещё с тобою поживём на белом свете, на ратном поле врагов царя и родной земли побьём. Так, что ли? – ударяя по плечу взгрустнувшего денщика, переменил тон ротмистр.

– И правда, ваше благородие, – побьём супостатов!

Оба – и молодой и старый – приободрились и быстрее зашагали по безлюдной дороге. Наконец они догнали задние ряды нашей армии. Теперь они были в безопасности.

Пётр Петрович отправился прямо к командиру полка. Тот знал, как много храбрости выказал ротмистр в последнем сражении, принял его очень ласково и приказал выдать ему лошадь.

– Вы, господин ротмистр, достойны награды... Я сам был свидетелем вашей храбрости и при первой возможности донесу о вас главнокомандующему, – проговорил генерал, пожимая руку Петра Петровича.

– Я не найду слов, как мне вас благодарить, генерал.

– Благодарность тут ни при чём, повторяю, вы вполне заслужили награду.

– Смею спросить у вашего превосходительства, не можете ли вы сообщить мне что-либо о князе Гарине?

– К сожалению, ротмистр, ничего; я только и знаю, что в списке убитых князь Гарин не

значится; в числе раненых его тоже не видать. Не взят ли князь в плен?

– О, избави его Бог от этого. По-моему, плен хуже смерти, – со вздохом проговорил ротмистр Зарницкий.

Печальным вернулся он от генерала; неизвестность участи молодого князя Гарина заставила призадуматься Петра Петровича...

Он любил и уважал своего товарища.

ГЛАВА XIV

Вернёмся в Каменки. Посмотрим, что здесь произошло в отсутствие князя Сергея.

Князь Владимир Иванович несколько дней после отъезда сына ходил мрачным и задумчивым; княгиня Лидия Михайловна чаще стала запирается в образную и выходила оттуда с заплаканными глазами; княжна Софья тоже молилась за брата.

Вскоре после отъезда брата княжна однажды, в сопровождении своей наперсницы Дуни и лакея, отправилась в лес за грибами. Они долго ходили по лесу, набрали грибов целую корзину и совершенно случайно подошли к мельнице старика Федота.

На мельнице было тихо. Мельника не было дома, и княжну встретила Глаша, измученная тоской и печалью, с не высохшими ещё от слёз глазами. За последнее время Глаша очень переменилась. Она осунулась и похудела: разлука с милым, его грубое признание тяжело отозвались на Глаше. Княжна заметила эту перемену и ласково спросила:

– Что с тобою, Глаша? Здорова ли ты?

– Я здорова. Ничего.

– Ты так переменилась! Тебя просто узнать нельзя – прежде была такая красавица.

– А теперь я подурнела, княжна?

– Не подурнела, а похудела. Скажи, Глаша, что с тобой? Ты знаешь, я так люблю тебя.

– Покорно вас благодарю, княжна.

– Уж не обидел ли тебя отец? – продолжала допрашивать княжна.

– Обидел меня – только не отец, княжна!

– Кто же? Кто обидел? – допытывалась Софья.

– Зачем вам об этом знать, ваше сиятельство? Ведь для вас всё равно.

– Как «всё равно»? Ты меня обижаешь, Глаша!

– Княжна, голубушка, не сердитесь на меня, неразумную, глупую. Пожалейте меня, я стою жалости... – Глаша горько заплакала.

– Успокойся, Глаша, не плачь, пойдём в горницу. Я, кстати, отдохну – я очень устала, – а вы подождите меня здесь, – сказала княжна Дуне и лакею.

Софья села в избе у стола и рядом с собою посадила Глашу.

– Ну, кто же тебя обидел, моя милая, скажи?

– Ох, княжна, тяжело мне про это говорить-то. Ну, да всё равно – слушайте: обидел меня приёмыш...

– Николай?! – с удивлением спросила Софья.

– Да, он! Насмеялся надо мною, горемычною, надругался над любовью моею. А как я любила его, княжна, да и посейчас люблю! И рада бы не любить обидчика, рада бы вырвать любовь из сердца, да не могу, не могу разлюбить его! – плакала Глаша.

Она рассказала княжне, как они слюбились, как она безотчётно отдалась Николаю; рассказала и о том, как Николай перед отъездом на войну приходил к ней и что он тогда говорил.

– Разлюбил, погубил меня; другую полюбил, а меня забыл. Краше меня нашёл, пригоже! – по-прежнему плакала Глаша.

Рассказ произвёл на княжну сильное впечатление. Ей было и больно, и стыдно за Николая.

«Так вот он такой! Теперь я понимаю, за что он разлюбил Глашу: я понравилась ему – меня он посмел полюбить! А я ещё жалела его! Нет, он не стоит сожаления», – думала в это время Софья.

– Успокойся, Глаша, – сказала она вслух, – если он вернётся с войны, то непременно на тебе женится.

– Нет, нет, княжна! Николай мне прямо в глаза сказал, что разлюбил и больше любить меня не может.

– Я скажу папе, он заставит его жениться.

– Нет, зачем же, неволей не надо. Какой он будет мне муж? Без любви не жизнь у нас будет, а каторга. Пусть его по сердцу выберет себе жену.

– Да, ты права, Глаша! Без любви не будет счастья. Но чем же тебе помочь, моя бедная?

– Спасибо, княжна-голубушка, на ласковом слове! Ведь что вам скажу: напала на меня такая тоска, что руки хотела на себя наложить. Жизни не рада. Да, спасибо, отец отвёл. А то бы с собою порешила.

– Глаша, Глаша, что ты? А про грех забыла?

– В ту пору, как топиться шла, про всё забыла.

– И думать, Глаша, об этом страшно!

– Теперь, княжна, я и не думаю. Что делать, видно, терпеть надо! Такова моя судьбина горькая.

– Ты, Глаша, заходи ко мне почаще. Как-нибудь и разгоним тоску.

Княжна Софья вернулась домой очень опечаленной, всю дорогу думала она о бедной Глаше и об её горькой участи. Она решила во что бы то ни стало женить Николая, отцовского приёмыша, на дочери мельника.

ГЛАВА XV

Прошло лето. Наступила ненастная осень. Потянулись длинные осенние вечера. Подул холодный северный ветер, посыпал снежок и покрыл поля и луга. А там застучал мороз. Наступила зима.

В одно декабрьское морозное утро князь Владимир Иванович сидел в своём кабинете у пылавшего камина; на мягком турецком диване уютно устроились княгиня Лидия Михайловна с дочерью. Все трое вели оживлённый разговор. Они только что получили известие об Аустерлицком сражении и о заключённом после него перемирии. Старый князь горячился, выходил из себя, ругал на чём свет стоит Наполеона.

– Нет! это невозможно, положительно невозможно, – негодовал князь. – Русская победоносная армия потерпела поражение – и от кого же? От этого корсиканца, лишь благодаря проискам выскочившего в короли.

– Даже в императоры, папа! – заметила Софья.

– Ну, это он сам себя так назвал, наш государь и другие государи Европы императором его не признают, и хорошо делают.

– Всё-таки его успех растёт. Вот сообщают, папа, что многие владетельные особы стали вассалами Наполеона.

– Хороши владетельные особы! У меня больше крепостных и земли, чем у любого германского владетельного герцога.

– Ах, не говори, Софи, – встала и княгиня своё слово.

– Да, если бы на этого ужасного человека наслат покойного фельдмаршала Суворова, – задал бы он ему трезвону.

– Пишут, что наши войска идут в Россию. Стало быть, скоро вернётся и Серж? – спросила Лидия Михайловна у мужа.

– Да, если он жив, то вернётся скоро, – резко ответил князь.

– Что ты говоришь! – упрекнула княгиня мужа.

– Правду говорю. Аустерлицкое сражение было одним из самых жестоких. С обеих сторон убито более двадцати тысяч. Ничего удивительного не будет, если и наш сын убит.

– О, это было бы ужасно! – Лидия Михайловна заплакала при одной мысли, что с Сергеем могло случиться несчастье.

– По-моему, гораздо ужаснее смерти, если мой Сергей попался в плен к Бонапарту. Да нет! Многие из князей Гариных убиты в битвах, но ни один не был в постыдном плену. Они умирали героически под неприятельскими пулями и саблями, но живыми не сдавались! – с гордостью сказал князь.

Горячая речь князя была прервана быстро вошедшим в комнату лакеем.

– Позвольте доложить, ваше сиятельство: приехал Николай Цыганов.

– Один?! – почти крикнули в один голос побледневшие женщины.

– Один-с! – с грустью в голосе ответил лакей.

– Боже! Боже мой! Что же с Сержем?! Его, верно, убили. – Бедная Лидия Михайловна чуть не упала в обморок.

– Успокойся, Лида! Нельзя прежде времени предаваться отчаянию! Соня, уведи маму к себе. Я узнаю, расспрошу Николая – и всё расскажу вам потом.

Софья с помощью лакея увела княгиню к себе в комнату.

Спустя некоторое время в кабинет князя вошёл brave гвардейский унтер-офицер с Георгиевским крестом на груди.

– Здравствуй, братец. Вернулся георгиевским кавалером. Похвально! Подойди, я обойму тебя. Очень рад! – похвалил князь Николая. – А Сергей? Убит?! – дрогнувшим голосом спросил старик.

– Не знаю, ваше сиятельство, – ответил Николай.

– Как не знаешь? Не скрывай, говори правду!

– В списке убитых князя Сергея Владимировича нет, я справлялся, сам искал его между убитыми.

– Ну и что же? – нетерпеливо перебил его князь.

– Одно из двух, ваше сиятельство: или князь Сергей Владимирович утонул в озере, или...

Тут Николай смешался и замолчал.

– Ну, что же? Договаривай!

– Попался в плен.

– Ну, это, братец, ты врешь! Сергей предпочтёт смерть плену – я хорошо это знаю! – сердито сказал князь и быстро заходил по своему кабинету.

– Если бы он был в плену, то ведь его бы выпустили из плена во время перемирия. Вероятно, отпустили русских пленных? – останавливаясь вдруг перед Николаем, спросил князь.

– Отпущены, но не все. Многие офицеры бесследно пропали, ваше сиятельство! Когда я вернулся с войны, то в Петербурге встретил приятеля князя Сергея Владимировича, ротмистра Зарницкого, – он тоже наводил тщательные справки о князе, делал розыски, но ничего не добился.

– Где ты расстался с моим сыном? Ведь на войне вы вместе были?

– Как же! Почти рука об руку я сражался с князем. Дозвольте, я вам всё подробно расскажу.

– Расскажи, пожалуйста. Да что же ты стоишь? Садись и рассказывай.

– Не беспокойтесь, ваше сиятельство, я постою.

– Садись, говорю. Да ты с дороги-то, вероятно, проголодался? Ступай в столовую, прикажи себе подать завтрак и чай. Я сейчас сам туда приду – там мне и расскажешь.

Николай подробно рассказал князю про Аустерлицкое сражение вплоть до того момента, когда он чуть не погиб на льдине и только благодаря Наполеону спасся.

Князь с большим вниманием слушал его бесхитростный рассказ и, когда Николай кончил, сказал ему:

– Ну, ты, братец, устал, ступай отдохни, а к вечернему чаю приходи к нам: расскажешь княгине всё это. Она, бедная, очень страдает от неизвестности.

Николай, взятый со льдины по приказу Наполеона, пролежал несколько дней в лазарете, и как только поправился, его в силу перемирия отпустили на все четыре стороны. Он с большим трудом добрался до русской армии, возвращавшейся в Россию. В армии встретился он с ротмистром Зарницким. Пётр Петрович очень обрадовался встрече и осыпал молодого человека расспросами о Гарине. Но Николай мало мог удовлетворить его любопытство.

Делая разные предположения об участии князя Гарина, оба – Зарницкий и Николай – порешили, что, вероятнее всего, князь убит или утонул.

По возвращении в Петербург раненые солдаты и офицеры получили награду и отпуск для поправления своего здоровья. Николай тоже получил отпуск и денежное вспомоществование. Он поспешил в Каменки.

С каким нетерпением считал он вёрсты! Ему бы хотелось вихрем туда лететь... С того времени, как он полюбил княжну, Каменки стали дороги ему. Николай мечтал о счастье; он не переставал надеяться на взаимность. Когда ехал на войну, княжна сама согрела в нём эту надежду.

Поехал он почти простым дворовым человеком, а вернулся героем: его грудь украшает крест святого Георгия!

Но все мечты Николая разрушились сейчас же по приезде: княжна встретила его холодно, избегая с ним говорить. Молодой человек опешил от такого приёма.

«Что это значит? За что сердится на меня княжна? Она не только говорить, даже смотреть на меня не хочет! А я ещё мечтал о взаимности! Зачем я сюда приехал? Лучше бы остался в полку. Да разве гордая княжна может полюбить меня – без имени, без положения, почти нищего?»

Так думал Николай, идя в княжескую столовую, где приготовлен был вечерний чай. За столом сидела уже княгиня Лидия Михайловна. Она, очевидно, была встревожена. Еле сдерживая слёзы, княгиня попросила Николая рассказать ей всё, что он знал про молодого князя. Рассказ ещё более расстроил княгиню, так что скоро она ушла в свою комнату. Князь пошёл проводить жену. В столовой остались Николай и княжна.

– У нас в саду устроены горы. Приходите завтра – будем кататься с гор... Кстати, мне нужно с вами поговорить, – сказала Софья, вставая из-за стола. – Придёте?

– За счастье почту, княжна!

– Приходите же, – повторила княжна и поспешно вышла из столовой.

Николай чуть не прыгал от радости: он не верил и не ждал этого счастья.

Ему княжна назначила свидание!

«Что же это? Княжна сама назначила мне свидание... Поговорить со мной хочет... Вот, счастье же приплыло ко мне недуманно-негаданно».

Цыганов с нетерпением стал ждать следующего дня.

ГЛАВА XVI

Катанье с гор в зимнюю пору, излюбленное удовольствие и забава наших прадедов, существует и до настоящего времени. Кататься на салазках с ледяных гор любили не одни ребятишки, а нередко и степенные пожилые бояре и боярыни вихрем летали на разрисованных санях с ледяных гор. Особенно эта забава была в большом ходу на масленице и на святках. В былое время почти всякий почитал за неперменный долг устроить у себя в саду или на дворе ледяную гору; делалось это обыкновенно для подростков и малолеток, а также и для красных девиц, – но не отказывали себе в этом удовольствии и старшие.

В Каменках в княжеском саду устроена была огромная ледяная гора. На самой вершине горы стояла большая беседка причудливой архитектуры, расписанная в разные колера. По обеим сторонам горы густой аллеею были воткнуты зелёные ёлки и сосны; между ёлками стояли длинные шесты с разноцветными флагами.

Княжна Софья любила катанье; у неё были особые сани заграничной работы, обитые бархатом; на этих саночках-самокаточках каталась с гор княжна-красавица.

День был праздничный, морозный, ясный; яркие солнечные лучи бриллиантами играли по льду и по снегу. Княжна, Дуня и Глаша, а также несколько дворовых девушек с весёлым криком и смехом катались с гор; все они раскраснелись с морозу и стали ещё пригожее, ещё милее.

Особенно хороша была княжна, с разгоревшимся лицом, в бархатной, на собольем меху телогрее, в шапочке, опушённой соболем, и в высоких козловых сапогах с отворотами, с серебряными подковками. Нельзя было не заглядеться на эту чудную красавицу. Рядом с ней стояла Глаша, грустная, печальная. Княжна нарочно за ней посылала на мельницу.

– Да полно, Глаша, не горюй. Какая ты бледная – и мороз тебя не берёт! – говорила Софья.

– Сердце у меня, княжна, замирает.

– С чего?

- Боюсь я, княжна.
- Да чего ж ты, моя бедная, боишься?
- Его боюсь, княжна, встречи с ним боюсь.
- Что ты, что ты, Глаша, – любишь и боишься!
- Да, княжна, люблю его и боюсь.
- Вот он идёт, идёт.

Николай с сияющим лицом вошёл в княжеский сад. С каким нетерпением он ждал свидания с княжной, как бесконечно долго тянулась для него ночь! Настало утро. Княжна с отцом и матерью в большой парадной карете отправились в церковь к обедне. Каждый праздник князь Гарин со своим семейством бывал за обедней. После завтрака княжна пошла на горы. Князь Владимир Иванович в дорогой собольей шубе и в высокой меховой шапке, с тростью в руках, вышел посмотреть на «девичье катанье» с гор. Но недолго оставался князь в саду – он прозяб и ушёл в свой жарко натопленный кабинет писать в Петербург письмо к одному очень влиятельному человеку, которого князь просил разузнать об участии своего сына Сергея.

При князе Николай не входил в сад, а выждал, когда он уйдёт. Князь ушёл. Молодой человек, с замиранием сердца и с надеждой на счастье, поспешил в княжеский сад и, удивлённый неожиданностью, остановился как вкопанный: он никак не ожидал здесь встретить Глашу.

«Зачем она здесь? Что ей надо?» – подумал он.

– Подойдите же ближе! Вы сегодня какой-то дикарь! – Софья засмеялась. – Надеюсь, знакомы с Глашей? – спросила она совсем растерявшегося молодого человека.

– Как же, знакомы-с, – процедил он сквозь зубы.

– Что же вы так холодно встречаетесь? Протяните же друг другу руки. Вот так! Глаша, поздравь своего жениха: он теперь Георгиевский кавалер.

– Позвольте, княжна, Глаша мне не невеста, – весь красный, проговорил Николай.

– Как не невеста? Ведь вы же хотели на ней жениться?

– Я? Вы ошибаетесь, ваше сиятельство.

– Нехорошо, Николай, вы дали ей слово и обязаны исполнить!

– Даже обязан? – едко спросил молодой человек.

– Да, да, обязаны, если вы честный человек!

– Без любви, княжна, не женятся.

– Ведь ты же любил меня? Говорил, что любишь больше жизни, – тихо сквозь слёзы промолвила Глаша. Она в продолжение всего разговора княжны с Николаем молчала.

– Любил прежде, – грубо ответил Николай.

– А теперь полюбил другую? – спросила Глаша.

– Узнала. Ещё скажу тебе: женою мне ты никогда не будешь. Помни!

– Вы дурной человек, – вспыхнув от гнева, промолвила княжна.

– Княжна, видно, вы знаете?... – Николай не договорил.

– Да, я всё знаю и удивляюсь вашей дерзости!

– Она успела вам очернить меня? – показывая на плакавшую Глашу, грубо спросил Николай у княжны.

Гневом сверкнули глаза у красавицы.

– Я не могу с вами говорить, вы забываете приличие. – Софья отвернулась от него и стала всходить на гору.

– Зачем ты рассказала княжне? Зачем? Или, думаешь, силою заставят на тебе жениться? – злобно проговорил Николай плакавшей Глаше.

– Зачем ты мне? Я сама теперь за тебя не пойду, а за мою обиду ты Господу ответишь, и мои горькие слёзы сторицею отольются.

– Я не только не люблю тебя, а ненавижу! Ты ехидная разлучница моя! – Молодой парень быстро пошёл к выходу из сада.

Дворовые девушки во всё время разговора княжны, Глаши и Николая заняты были катаньем с горы; они ничего не слыхали, а только удивлялись, про что это княжна с Цыгановым разговаривает.

И долго из княжеского сада раздавался весёлый крик и смех. До позднего вечера княжна резвилась со своими сенными девушками на ледяных горах.

Только одна Глаша не принимала участия в их девичьем веселии. Не до того было ей. Несколько раз принималась добрая княжна утешать дочку мельника. Но что значит утешение скорбной измученной души? Бессильно подчас людское участие.

«Делать здесь, в усадьбе, нечего, оставаться незачем. Надсмеемся надо мною княжна. А всему виною дочь мельника, она, змея, всё пересказала княжне. Женить меня на Глаше хочет! Нет, зачем? Не то думал я. Скорее уехать. Теперь мне в Каменках всё, всё противно. Завтра буду проситься у князя, чтобы в Питер отпустил».

Так говорил сам с собою Николай, вернувшись из княжеского сада. Он быстро ходил по своей комнате.

– Вас князь к себе требует, – входя в комнату, проговорил ему лакей.

– Князь зовёт? – с удивлением спросил молодой человек.

– Да, их сиятельство требуют вас к себе в кабинет, – важно проговорил лакей и вышел.

«Что князю нужно? Зачем зовёт меня?» – думал Николай, поспешно проходя по длинному ряду роскошно отделанных комнат.

Когда Николай вошёл в кабинет, князь сидел у стола и писал. Отвечая лёгким наклоном головы на низкий поклон молодого человека, князь сказал:

– Подожди, братец, я сейчас. Садись.

– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство.

– Ну как хочешь.

Князь вложил написанную бумагу в конверт, запечатал своею печатью с гербом и обратился к Николаю.

– Вот видишь ли, братец, я хочу послать тебя опять в Петербург.

– В Петербург! – не скрывая своей радости, сказал молодой человек.

– Да, ты обрадовался, что я посылаю тебя?

– Нет, ваше сиятельство, я так-с.

– Ты можешь ещё погостить в усадьбе дня три, за это время отдохнёшь, а там и в путь.

– Слушаю, ваше сиятельство.

– Но это ещё не всё. Из Петербурга ты поедешь в Австрию: там постарайся узнать об участии князя Сергея, наведи справки... На все расходы ты получишь от меня крупную сумму денег. Твои хлопоты даром не пропадут, будь уверен! Я награжу тебя.

– Ваше сиятельство, я обязан, не думая о награде, делать всё, что вы изволите мне приказать.

– Спасибо! Ты добрый малый – постарайся! Я и княгиня будем тебе благодарны. В Австрии, может, что – нибудь узнаешь о Сергее, тогда поспеши нас о том известить.

– Слушаю-с, ваше сиятельство! Ваши приказы и желания для меня закон.

– Перед отъездом мы ещё с тобой поговорим. Ступай.

Николай стал готовиться к отъезду.

Назначенные князем три дня прошли; за всё это время молодой человек ни разу не видал княжны: она избегала встречи с ним. Князь, отпуская его в Петербург и в Австрию, вручил ему на расходы порядочную сумму и просил, не жалея денег, ехать скорее. Неизвестная участь князя Сергея тяжело отзывалась на Владимире Ивановиче, а в особенности на самой княгине. Николай поехал на паре княжеских лошадей, запряжённых в маленькие сани с верхом вроде кибитки. На облучке саней сидел Игнат-кучер. Игнату приказано от князя доставить Николая до Москвы, а самому вернуться в Каменки. Из Москвы до Петербурга Николай должен был ехать на перекладных.

В пяти верстах от княжеской усадьбы дорога пошла лесом. Николай, укутавшись в лисью шубу, которую велел ему дать князь в защиту от сильного мороза, ехал молча, а возница мурлыкал какую-то песню. Вот видит Игнат, что им навстречу идёт какая-то женщина и машет рукой.

«Что ей надо? Что она рукой-то машет?» – подумал Игнат, приостанавливая лошадей.

– Ты что остановился? – спросил Николай.

– Да какая-то баба на дороге стоит.

– Что ей надо?

– А кто её знает! Тётка, тебе что?

– Николай! куда ты едешь? – подходя к саням, спросила Глаша. Это была она, бледная, встревоженная.

Николай невольно вздрогнул от неожиданности.

– А тебе что за дело, куда бы я ни ехал! – грубо ответил он молодой девушке.

– Возьми меня с собою.

– Что ты, или очумела? Пошла!

– Возьми, возьми, Николай, сжался над горемычною, пожалей меня, ведь я исстрадалась, измучилась!

– Прочь с дороги! Я смотреть на тебя не хочу! – крикнул на плакавшую девушку Николай.

– Что я тебе сделала?

– Зачем ты рассказала княжне про нашу любовь?

– Кому же и сказать мне, с кем своим горем поделиться? Княжна добра ко мне...

– Прочь, говорю, с дороги, задавлю!

– Дави, злодей, дави, я не тронусь с места, – проговорила Глаша задыхающимся голосом.

– Поезжай, Игнат! – с бешенством крикнул кучеру Николай.

– Куда же я поеду? Давить, что ль, её, сердечную, – грубо промолвил Игнат: ему стало жаль бедную девушку.

– А коли так... – крикнул Николай.

Он быстро выскочил из саней, схватил Глашу и, отбросив её с дороги, вскочил опять в сани, хлестнул кнутом по лошадям, те рванулись и понеслись что есть духу, забрасывая снегом дорогу.

– Ускакал, злодей! Будь ты проклят! Теперь в моём сердце не любовь к тебе, обидчику, а месть да злоба! Недаром называют меня дочерью колдуна – я сумею отомстить тебе, проклятому! Сумею за себя постоять! И за всю мою муку, за все мои слёзы ты заплатишь мне сторицею!.. – громко кричала девушка вслед уезжавшему Николаю и в бессильной злобе ломала свои руки.

Беспредельно, безотчётно любила она Николая, а теперь эта любовь обратилась в страшную ненависть. Если бы она осилила, то, кажется, задушила бы его своими руками.

Злоба и гнев бушевали в груди красавицы. Но бессильны были теперь её злоба и гнев.

Николай уехал.

Послав ему вслед ещё несколько проклятий, бедная девушка с истерзанным сердцем вернулась к своему отцу на мельницу.

ГЛАВА XVII

«Я сделал всё, – писал император Александр, – что зависело от сил человеческих. Если бы Макк не растерял армии под Ульмом,²⁹ если бы король прусский объявил войну немедленно после нарушения французами нейтралитета его, если бы король шведский не затруднял движения войск на севере, если бы англичане пришли вовремя на театр войны и вообще лондонский двор оказал бы более деятельности с той минуты, когда ему нечего было опасаться высадки французов, то мы удержали бы Бонапарта, не позволили бы ему сосредоточить против нас все свои силы, и дела приняли бы другой оборот».³⁰

Государь никак не хотел вступать с Наполеоном в перемирие и готов был, несмотря на наши потери под Аустерлицем, снова вступить с ним в бой.

²⁹ Макк, Карл (1752–1828), барон фон Лейберих – австрийский фельдмаршал. Будучи начальником австрийского генштаба и исполняющим обязанности главнокомандующего, капитулировал перед французами под Ульмом в 1806 г. За это приговорён судом к смертной казни, но помилован.

³⁰ Высочайшее повеление графу Воронцову (Воронцов Семён Романович (1744–1832) – граф, посол в Англии до 1806 г.) из Галича, 24 ноября 1805 года.

Хитрый Наполеон, при свидании с австрийским императором Францем, уверял его, что предложит Австрии самые выгодные условия мира; но едва только русские войска выступили из австрийских пределов, как Наполеон уже заговорил по-другому и предложил Австрии самые тяжкие условия: в число требуемых от неё областей включил Венецию. Беззащитная Австрия, занятая победоносной армией, не имея ни арсеналов, ни запасов, принуждена была согласиться на мир; он был заключён с Наполеоном в Пресбурге. Австрия признавала все присвоения Наполеона в Италии, уступила ему Тироль, Венецию и несколько владений в Германии, которые переходили к Франции, и, кроме того, двести миллионов франков контрибуции.

«Я поступил с Австриею, как с завоёванной крепостью, которую для дальнейшей безопасности надлежало если не скрыть совсем, то, по крайней мере, обезоружить» – так говорил про Австрию Наполеон.

Император Франц, уведомляя нашего государя о заключённом мире, между прочим, писал следующее:

«Пресбургский договор – капитуляция с неприятелем, который воспользовался всеми выгодами своего положения. Я был принуждён отказаться от некоторых областей, чтобы удержать остальные, я должен покориться силе обстоятельств. Но я ещё не всего лишился, если мне останется дружба вашего величества и вы сохраните соединяющие нас связи».

Наполеон возвёл курфюрстов баварского и вюртембергского в короли³¹ – «в награду за их ко мне дружбу и преданность», – писал он в бюллетене; а короля неаполитанского лишил престола³² и всячески поносил его супругу-королеву, родную сестру австрийского императора Франца... Наполеон называл её «женщиною преступною», он мстил королю и королеве неаполитанским за ненависть, которую они питали к гордому завоевателю. Не было примеров подобному дерзновенному посягательству на святость сана монаршего: приказом по армии он осыпал ругательствами королеву, отнимал престол, в награду раздавал венцы царские. И сколько ещё позора предстояло монархам, если бы Александр не спас их, не сломил Наполеона. Наполеон с торжеством возвращался с своей победоносной армией во Францию; на пути он вошёл в родственные сношения с баварским и баденским дворами, составил рейнский союз и положил основание своему владычеству в Германии, сделав эту страну данницею Франции. Направо и налево рассыпал он награды по армии, в приказе он говорил; что «нет у него довольно чинов, орденов и денег для достойного возмездия храбрым». По возвращении в Париж ему устроена была блестящая встреча с овациями. Наполеон почтил память павших на войне воинов, признал их осиротевших детей «своими детьми» и, чтобы увековечить Аустерлицкую битву, приказал построить на Сене грандиозный мост и назвал его Аустерлицким. Наполеон мечтал уже о покорении Константинополя и об изгнании англичан из Индии.

Замечательно: когда храброе русское воинство в 1814 году взяло Париж, тогда императору Александру, покорителю непобедимого Наполеона, предложили взорвать Аустерлицкий мост.

Наш государь ответил такими словами на это предложение:

«Не надо трогать его – для нас довольно, если в истории напишут, что русские войска проходили по Аустерлицкому мосту».

Ответ достойный великого и великодушнейшего из людей, императора Александра.

ГЛАВА XVIII

Вернёмся к молодому князю Гарину, которого мы оставили на ферме Гофмана. Припомним, что внезапное нашествие французов на ферму заставило его укрыться в подполье. Но лишь только французы ушли, старик Гофман помог князю выбраться из невольной засады.

³¹ Это произошло по условиям Пресбургского мира, в январе 1806 г.

³² В феврале 1806 г. Жозеф Бонапарт занял Неаполь и провозгласил себя королём, отстранив от власти Фердинанда I и его супругу Каролину.

Несколько часов, проведённых в душном, холодном подвале, а также и волнение, испытанное раненым, не прошли для него даром: снова вернулась слабость и лихорадочное состояние. К вечеру он впал в беспамятство.

Бедная Анна переживала страшные минуты; исход болезни тревожил её, и она всё время проплакала, моля Бога об исцелении Гарина. В таком состоянии она провела всю долгую зимнюю ночь, ни на минуту не отходя от постели больного.

Утром отец пришёл сменить её.

– Ты не спала, Анна? – заботливо спросил он.

– Нет, отец! До сна ли! Князь так плох. О Господи! Неужели он умрёт!

Слёзы снова показались на чудных глазах девушки и старик поспешил её утешить.

– Не плачь, Анна! Я всё-таки надеюсь на благоприятный исход, молодость возьмёт своё.

Князь немного простудился в подвале, но это пройдёт. Сегодня же я пойду в город и позову доктора.

– В таком случае не откладывай и поезжай сейчас.

– Я пришёл сменить тебя. Пойди усни немного, а я посижу у больного и потом пойду в город.

– Нет, отец! Обо мне не думай. Ради Бога, поезжай сию минуту за доктором!

Старик пристально посмотрел на свою дочь. Он понял её настойчивость.

– Анна, ты любишь князя? – прямо задал он ей вопрос.

– Да, отец! – вся вспыхнув, ответила Анна.

– А князь? Он тебя любит?

– Не знаю

– Но можешь ли ты рассчитывать на взаимность? Он князь и богат, а мы с тобой, Анна, бедные люди, и кроме этого домишка, у нас ничего нет.

– Зачем нам богатство?

– Мне оно не нужно, но тебе не худо бы иметь приданое.

– Зачем мне? Я не пойду замуж.

– А князь?

– Князь мне не пара, отец! Я люблю его, но всеми силами постараюсь скрыть от него свои чувства. Ступай же, отец, за доктором. Посмотри, как он страдает.

– И ты, я вижу, Анна, страдаешь!

– Если он умрёт, я не переживу этого. Помни, что его смерть – моя смерть.

Старик не возражал дочери; он только печально опустил голову и украдкой утёр слезу, скатившуюся из глаз.

– Прости, прости, дорогой мой, мои слова тебя оскорбили. Но что же мне делать? Ведь я так люблю его! – горько плакала Анна, обнимая отца.

Гофман отправился в город и вернулся с доктором. Тот тщательно осмотрел больного, всё время сохраняя самое серьёзное выражение лица и по временам сомнительно покачивая головой.

– Доктор, что вы находите? – с замиранием сердца спросила Анна.

– Утешительного мало, – серьёзно ответил доктор.

– Как? Неужели? – Анна побледнела как смерть.

– Чего вы испугались? Болезнь не безусловно смертельна. Он может выздороветь – требуется только уход за больным, и уход самый тщательный.

– О, в этом, доктор, положитесь на меня!

– Кроме раны, у него ещё сильная нервная горячка. Болезнь продолжительная и серьёзная...

– Боже, Боже мой! – с отчаянием ломала руки молодая девушка.

– Этот русский офицер ваш жених? – спросил у неё доктор.

Она не ожидала этого вопроса и растерялась.

– Я постараюсь спасти вам жениха, – продолжал доктор, к которому вернулась уверенность.

– Спасите его, доктор, и я буду вам обязана всей своей жизнью!

Доктор уехал, дав обещание сейчас же прислать лекарство.

Почти две недели князь Гарин находился между жизнью и смертью. Молодость всё-таки взяла своё: он стал поправляться. Хороший уход и заботы опытного врача сделали своё дело. Во всё время болезни князя Анна не отходила от его постели, просиживая у его изголовья дни и ночи, молясь и веруя, что Бог совершит чудо. И чудо совершилось. Угасавшая жизнь снова зажглась в больном теле. После долгого беспмятства Сергей открыл наконец глаза; память к нему вернулась, он вспомнил все обстоятельства, предшествовавшие его болезни.

Первыми его словами была глубокая благодарность молодой девушке.

– Вы снова спасли меня! – слабым голосом проговорил он, поднося к своим пересохшим губам руку Анны. – О, как я вам благодарен! Я так много причинил вам хлопот! Но почему вы плачете, о чём?

– От радости: вы спасены.

– И спасли меня вы?

– Вас Бог спас, князь! Его благодарите!

– Но что с вами, Анна? Вы так похудели и побледнели.

В самом деле, её едва можно было узнать: пережитые волнения, бессонные ночи, проведённые около больного, страшно её изменили.

– Вы всё обо мне, князь! Берегите себя и не волнуйтесь, не говорите: вам и то, и другое вредно.

Гарин спросил есть. С какою радостью Анна подала ему чашку крепкого бульона.

После еды Сергей скоро заснул.

Приехал доктор. Молодая девушка сияла от радости. Она рассказала ему, как князь наконец пришёл в себя и попросил поесть.

– Теперь я могу вас поздравить: ваш жених спасён, – громко сказал доктор, очень обрадованный исходом болезни.

Анна только теперь вспомнила, что не разуверила тогда доктора.

– С чего вы, доктор, взяли, что князь мой жених?

– Как, разве этот русский не жених ваш?

– Нет, доктор! Только ради Бога, говорите тише: он только что уснул.

– Сон его крепок, мы его не разбудим. Так вы не невеста? Тогда скажу вам, что вы его любите. Вы удивлены, как я узнал эту тайну вашего сердца? Хотите, скажу?

– Говорите!

– Так ухаживать, как вы ходили за этим русским, может только или нежно любящая мать, или невеста, горячо любящая жениха. Эти многие ночи, которые вы провели без сна около него, ясно говорят о вашей преданной любви. Я должен ещё к этому прибавить: помните, что всякая услуга может быть оценена, но вашей – цены нет. Я уйду теперь – мне у вас делать больше нечего.

– А лекарства, господин доктор, вы не пришлёте? – спросила Анна.

– Зачем? Больному теперь нужен безусловный покой и хорошая пища, выздоровление пойдёт своим чередом. Впрочем, завтра я у вас ещё побываю, поговорю с больным, и на этот раз уже о вас, Анна.

– Нет, нет! Ради Бога, обо мне ни слова!

– Как хотите.

– Вы даёте, доктор, слово, что не будете говорить с князем обо мне?

– Анна, вы редкая, святая девушка! – Доктор крепко пожал её руку и вышел.

Анна вышла проводить его.

Между тем Гарин не спал и слышал весь разговор, происходивший между доктором и Анной. Заинтересованный разговором, он притворился спящим и не проронил ни одного слова.

«О, милая, добрая! Да, да, ты – моя невеста! Напрасно ты разуверила, в этом доктора. С первого взгляда на тебя сердце подсказало мне, что ты будешь моей женой. Доктор прав: твоя услуга не имеет цены! Я увезу тебя далеко отсюда, и мы никогда не расстанемся...»

Князь Сергей предавался своим первым сладким мечтам.

– Вы уже проснулись, князь? – входя, спросила Анна.

– Я не спал, Анна, – с какою-то особой торжественностью ответил Сергей. – Я слышал всё, моя милая, дорогая невеста.

Анна была в сильном замешательстве. Обрадовалась и... испугалась.

– Нет, князь! – сказала она. – Вы шутите. Какая же я вам невеста?! Мы слишком далеки друг от друга. У вас есть всё – у меня ничего. Да и ваши родители никогда не согласятся на этот брак.

– Об этом не беспокойся, Анна! Отец и мать меня любят и согласятся на мой выбор. Как только я поправлюсь, мы уедем отсюда в Петербург, а оттуда в Каменки – в нашу усадьбу. Там и повенчаемся.

– Я сильно боюсь, что этот прекрасный план расстроится, – вздохнула Анна.

Вошёл старик Гофман.

– Господин Гофман, отдайте мне свою дочь, – встретил старика Гарин.

– Я вас не понимаю, князь! – удивился Гофман.

– Я хочу жениться на вашей дочери.

– Вы не шутите? – с волнением спросил старик.

– Этими вещами не шутят.

– Господь да благословит и утвердит ваш союз! – с чувством проговорил Гофман, обнимая князя и дочь.

В этот день в одиноком домике старика Гофмана царила большая радость.

ГЛАВА XIX

Князь Гарин скоро поправился настолько, что мог ходить по комнате, и стал готовиться в дорогу. Гофман с дочерью должны были ему сопутствовать. Нелегко было старику расставаться с фермой – он так привык к своему углу. Зато Анна счастливой и весёлой ехала в Россию, где ожидал её брачный союз с милым, ненаглядным женихом.

У Гофмана была тройка сытых лошадей. Он приказал работнику Иоганну запрячь их в крытые сани; сюда они положили всё необходимое в дороге и втроём – Гофман с дочерью и князем – тронулись в путь. Своё хозяйство старик сдал в аренду одному из своих соседей-фермеров.

Без особых приключений наши спутники доехали до Петербурга. Князь нанял для Гофмана и Анны на время небольшую квартирку, а сам поселился на своей старой. Первым делом его было явиться к своему полковому командиру. Старый боевой генерал принял князя очень ласково.

– А мы, князь, отчаялись видеть вас в живых и думали, что вы или убиты, или утонули. Главнокомандующий наводил о вас справки; от вашего батюшки, князя Владимира Ивановича, я получил письмо, в котором он просит меня сообщить о вас, но, к сожалению, я и сам ничего не знал до настоящего времени, – сказал генерал, крепко пожимая руку Гарина.

Генерал попросил князя рассказать о том, где он находился в последнее время. Гарин удовлетворил его любопытство, умолчав только о своей любви к Анне.

– Вы, князь, геройски сражались и состоите в списке георгиевских кавалеров, с чем вас от души и поздравляю, – сообщил ему полковой командир, когда Гарин окончил свой рассказ.

Князь поблагодарил генерала и отправился к своему приятелю, ротмистру Зарницкому, которого и застал лежащим на диване, с длинною трубкою в зубах.

– Ба, ба, приятель! Да ты откуда? С того света, что ли?

Пётр Петрович быстро встал с дивана, бросил в угол трубку и заключил в могучие объятия своего закадычного друга и сослуживца.

– Не ждал, не гадал тебя видеть, ей-богу! Уже хотел панихиду по тебе отслужить. Ну, садись, рассказывай.

– Сейчас, дай отдохнуть.

– Отдохни, голубчик! Да как ты, брат, переменился, похудел – тебя не узнаешь.

– Долго болен был, – ответил князь.

– Не томи, рассказывай. Впрочем, погоди, за завтраком расскажешь. Эй, Щетина, завтрак, живо!

– Зараз, ваше благородие, зараз! – просовывая голову в дверь, ответил старый денщик.

– Не забудь бутылочку винца принести.

– Не забуду! На радостях надо выпить, ваше благородие! На что я – и то для такого дня маленько клюкну.

– Клюкни, Щетина! Разрешаю!

– Покорно благодарю, ваше благородие!

– Ну, пошёл, неси завтрак!

– Зараз, ваше благородие.

Спустя немного Щетина принёс на подносе завтрак и бутылку дорогого вина. За завтраком князь Гарин рассказал своему приятелю, как он попал на ферму к старому Гофману, как полюбил его дочь. Сергей ничего не скрыл от друга и с жаром описывал, как Анна во время его тяжёлой болезни ходила за ним, как она просиживала у его постели долгие ночи.

– Ах, Зарницкий, если бы ты знал, как я люблю её!

– Вижу, брат, вижу; по твоим словам, девушка хорошая, добрая.

– Ах, как она хороша, как хороша!

– Знаю, дурную не полюбишь, у тебя вкус хороший. Надеюсь, меня познакомишь со своей невестой?

– Конечно, конечно, мы завтра утром поедem к ней.

– А что ты намерен делать: остаться в Петербурге или увезёшь невесту к отцу, в Каменки? – спросил Пётр Петрович у приятеля.

– Прежде я в усадьбу один поеду, предупрежу моих стариков.

– Ах, брат, я и забыл сказать: ведь тебя Николай Цыганов недавно разыскивал; его твой отец за этим нарочно прислал. Николай собирался ехать в Австрию.

– Это всё в поиски за мною?

– Всё за тобою.

– Я постараюсь увидеть Николая. Скажи, Пётр Петрович, не слыхал ли ты чего про моего денщика Михеева?

– Не только слышал, а недавно даже видел его.

– Как, он жив? – обрадовался князь.

– Здравствует, в казармах живёт, всё по тебе охает да сокрушается. Он уверен, что ты убит, и не раз по тебе, брат, панихиды справлял.

– Надо и его поскорее увидеть.

– Порадуй старика, поезжай к нему в казармы.

Князь Гарин не стал медлить, простился с приятелем и поехал в казармы полка, в котором служил.

Михеев плакал, как ребёнок, когда увидал своего «барина» живым и невредимым. Старик-денщик думал, что князь убит, и горько оплакивал его.

Радость вышла общая; возвратившиеся с войны товарищи князя Сергея очень обрадовались его возвращению и затеяли весёлую пирушку.

Перед своим отъездом в Каменки Сергей зашёл проститься с невестой и застал Анну с заплаканными глазами.

– Что с тобою, милая? Ты плакала? – участливо спросил у молодой девушки Гарин.

– Скучно мне с тобою расставаться.

– Полно, Анна! Не надолго мы расстаёмся: не далее как через месяц я буду опять здесь. За тобой приеду, милая.

– Приедешь ли?

– Анна, как тебе не стыдно так говорить? – с лёгким укором сказал князь.

– Прости, милый, я сама не знаю, что говорю. Одного я боюсь: твои родители, пожалуй, не дадут тебе согласия на нашу свадьбу.

– Я люблю тебя – и для них довольно этого. Мой отец и мать стоят выше предрассудков.

– Поезжай, мой дорогой! Храни тебя Господь! Береги себя, Серж!

Простившись с невестой, князь Гарин поехал домой; несколько ранее, по приезде в Петербург, он случайно на Невском встретился с Николаем; тот не очень обрадовался этой встрече. Поездка его в Австрию должна была, таким образом, не состояться. А Николаю хотелось попутешествовать на княжеские деньги, а теперь эти деньги он волей-неволей должен был отдать обратно князю. Николай отказался ехать с князем Сергеем в Каменки, несмотря на

то, что тот действительно звал его.

– Ведь ты имеешь продолжительный отпуск: что же тебе прожиться в Петербурге?

Поедем в Каменки.

– Нет, ваше сиятельство, увольте!

– Почему ты не едешь? Уж не влюблён ли ты? – шутил князь.

– Уж где мне, ваше сиятельство, что я за человек, – весь вспыхнув, проговорил Николай.

– Не скромничай. Ты георгиевский кавалер и должен этим гордиться. Произведут в корнеты, и тогда у тебя откроется широкий путь.

– Какой уж путь у подкидыша, ваше сиятельство! Вот извольте получить, – сказал Николай и вручил князю пакет.

– Это что такое? – спросил князь.

– Деньги-с, которые изволил мне вручить их сиятельство, князь Владимир Иванович, на поездку в Австрию. Теперь ехать мне незачем.

– Оставь у себя – ведь тебе надо на что-нибудь жить?

– Не извольте беспокоиться: на прожитие у меня есть деньги. Благодарю вас.

– Возьми, братец, деньги никогда не могут быть лишними.

– Благодарю, ваше сиятельство, я не имею нужды...

– Ну, как хочешь, Николай, а отцовских денег у тебя я не возьму... – решительным голосом проговорил князь Сергей, и, простившись с Цыгановым, он на другой день выехал в Каменки.

ГЛАВА XX

Я не стану описывать радость встречи молодого князя Сергея Гарина с отцом и матерью и с сестрою. В этот день в княжеском доме царила одна только радость – да и не в одном княжеском доме, а в каждой избе большого села Каменки. По случаю счастливого приезда сына старый князь приказал управляющему объявить крестьянам о снятии с них недоимок и о сокращении дней барщины, а бедным и неимущим мужикам он велел выдать по рублю и отпускать им бесплатно рожь из княжеских запасов. Князь Владимир Иванович имел добрый характер и гуманно обходился со своими крестьянами: он не морил их на барщине, как делали другие помещики, из своих заповедных рощ и лесов приказывал давать крестьянам дрова и лес на постройку. Немного бедняков-горемык было в Каменках; большею частью мужики были денежные и жили хорошо.

Спустя неделю после приезда Сергея старый князь задумал дать блестящий бал и праздник в своих огромных хоромы. Созывать гостей на этот бал послано было несколько верховых к соседним помещикам и в город.

Ближние соседи стали съезжаться рано утром, чтобы успеть к обеду. В сельской церкви утром началась обедня, а по окончании – благодарственный молебен. Небольшая каменная церковь была полна молящимися. Из простого народа немногие попали в церковь – стояли на паперти и на лестнице. В роскошной карете, запряжённой в шесть лошадей, приехали князя Гарины и встречены были радостными, единодушными криками и счастливыми пожеланиями; и по окончании богослужения крестьяне приветствовали своих «добрых господ».

Из церкви длинною вереницею поехали к княжескому дому; большой гурьбой туда же направились и крестьяне. Для своих крепостных князь приказал устроить угощение в обширных людских помещениях, где накрыты были столы с пирогами, с бараниной, с гусями и с другими съестными припасами, а вино, брага и мёд находились в разукрашенных бочонках, в кадках и ушатах.

Перед началом обеда князь Владимир Иванович с сыном и дочерью сошли в людскую. Старый князь и Сергей взяли по бокалу с янтарным мёдом и, выпив за здоровье всех собравшихся крестьян, пожелали им веселиться.

В огромной зале с колоннами накрыт был обеденный стол, украшенный тропическими растениями и цветами из оранжерей; в роскошных вазах из редкого хрусталя лежали фрукты; несмотря на сильный мороз, на столе красовались крупная клубника и земляника. Сервировка была роскошная, выписанная из-за границы, и стоила огромных денег. В старину наши бояре

любили широко пожить и пышностью обстановки удивляли иностранцев. Князь Владимир Иванович редко давал балы, а уж если давал, то на удивление всей губернии. Не скоро забывались эти балы, и долго про них говорили. В устройстве таких вечеров много помогала князю жена его, Лидия Михайловна. Она хорошо помнила блестящий золотой век Екатерины Великой, присутствовала на всех придворных балах, как во дворце, так и у великолепных вельмож императрицы, и старалась делать из своих «деревенских» балов нечто подобное.

Множество лакеев в напудренных париках, в ливреях, украшенных княжескими гербами, стояли в ряд по широкой лестнице, уставленной тропическими растениями, и принимали гостей с низкими поклонами. Сам князь, в полном генеральском мундире с орденами, находился при входе в зал и радушно встречал гостей; с ним рядом стоял и молодой князь, в блестящем гвардейском мундире.

Княгиня Лидия Михайловна и красавица Софья, роскошно одетые, украшенные редкими бриллиантами и крупным жемчугом, находились в гостиной и принимали приезжавших гостей. На княгине блестела звезда св. Екатерины: она была кавалерственной дамой.

Гости робко входили в гостиную, низко кланялись княгине и Софье и целовали у них руки; некоторых избранных гостей княгиня удостоивала поцелуем в лоб и в щёку.

Когда все гости собрались, главный камердинер князя; в ливрее, расшитой золотом, громко провозгласил:

– Кушать подано!

По окончании обеда мужчины отправились в кабинет старого князя, а некоторые – на половину князя Сергея. Дамы и барышни в отведённых им комнатах стали поправлять свои туалеты и готовиться к предстоящему вечернему балу. Из всех гостей выделялась по своей чудной красоте и роскошному туалету дочь костромского губернатора Сухова Ирина Дмитриевна, семнадцатилетняя девушка; первая невеста во всей губернии по красоте и богатству.

Губернатор, генерал Сухов, был очень богат: у него в нескольких губерниях находились огромные усадьбы, а единственной наследницей старого отца была Ирина. Старый князь был в дружбе с губернатором – когда-то оба они служили в одном полку, – и заветною мечтою стариков было породниться.

Красавица Ирина воспитывалась в Смольном монастыре и, окончив с успехом курс, приехала к отцу в Кострому. Князь Сергей видел её десятилетней девочкой, а в продолжение образования в монастыре ни разу не видел, и, увидя Ирину в доме своего отца, он поражён был её чарующей красотой и грацией.

– Здравствуйте, князь! – протягивая свою хорошенькую ручку Сергею, весело проговорила красавица.

– Ирина Дмитриевна!

– Что, не узнали? И немудрено: ведь семь лет не виделись!

– Как вы похорошели!

– Что это, комплимент? – вся вспыхнув, сказала Ирина Дмитриевна.

– Не комплимент, а истина!

– Я не замечаю.

– Вы скромны.

– Надеюсь, вы танцуете со мною? – спросила Ирина.

– За счастье почту – мы откроем бал.

– А где ваша сестра? Что её не видно?

– В гостиной, занимает гостей.

– Дайте вашу руку и пойдёмте к ней. Ах да, вы должны мне рассказать про войну.

– Здесь, на балу? – улынулся князь Гарин.

– Зачем здесь? Приезжайте к нам. Ведь вы герой! Папа говорил мне про вашу храбрость.

– Это для меня большая честь!

– Представьте, князь, все мы считали вас убитым. Да, да, папа так жалел вас.

– А вы? – спросил Сергей.

– И я, – тихо ответила красавица.

Блестящий бал открыт был менуэтом; в первой паре шли молодой князь и Ирина

Дмитриевна, во второй – губернатор с княжной Софьей, в третьей – князь Владимир Иванович с женою. Хороший оркестр музыки, выписанный из Москвы, играл на хорах; под его чарующие звуки начались танцы.

Старый князь и генерал Сухов, утомлённые балом, уединились в маленькой диванной, отделанной в мавританском вкусе; в диванной никого не было. Князь Владимир Иванович уселся на низком мягком диване; рядом с ним поместился губернатор; лакей поставил к дивану маленький столик и принёс чаю с ромом.

– Ты заметил, Дмитрий Петрович, как Сергей много танцевал с твоею дочерью? – спросил князь у приятеля.

– Как же, заметил – хорошая парочка!

– Что ты сказал? – переспросил князь.

– Говорю, твой сын и моя дочь – хорошая парочка...

– Да, да, правда, все гости любят их ими.

– Какой красавец и молодчина твой сын, князь! – сказал Дмитрий Петрович.

– А твоя дочка так хороша, как сказочная «царевна-красавица».

– А знаешь что, князь Владимир Иванович: пусть твой сын, «писанный королевич», женится на моей «царевне-красавице», – шутливым голосом сказал губернатор, вопросительно поглядывая на князя. Выдать дочь за князя Сергея было его заветною мечтою.

– Что ж, я не прочь с тобою, Дмитрий Петрович, породниться, – немного подумав, ответил князь.

– Я, князь Владимир Иванович, откровенно скажу тебе, давно этого желаю: мы с тобой с давних пор приятели, моя дочь, почитай, на твоих глазах росла, состоянием Господь не обидел, наследников, кроме Ирины, у меня никого нет: умру – всё ей достанется.

– Напрасно, Дмитрий Петрович, про это ты завёл речь! Мой сын в приданом нужды не имеет – сам богат.

– Ну, вот богатство да к богатству – и хорошо! Я и княгиня давно желаем с тобой сватями быть. Не раз про это говорили.

– Спасибо, князь, спасибо! Стало быть, наши мысли одни и те же были. Спасибо, друг! Дозволь обнять тебя. – Князь и губернатор крепко обнялись.

– Теперь дело осталось за Сергеем, – сказал князь Владимир Иванович.

– Да, за ним, князь! У дочери и спрашивать нечего: по всему заметно, что князь Сергей ей нравится.

– А всё же, Дмитрий Петрович, спроси!

– Знаю, спрошу, неволить не буду. Я у дочки спрошу, а ты у сына. Так по рукам, князьинька?

– По рукам, по рукам. Я с сыном буду говорить.

– А я с дочерью. Устрой, Господь, в добрый час!

Генерал Сухов усердно перекрестился.

Бал продолжался до самого утра; во всю длинную ночь весело пировали гости, радушно угощаемые добрым хозяином. Танцы почти не прерывались; князь Сергей весь вечер танцевал с одной Ириной на зависть другим барышням и на пересуды их маменек и бабушек.

– Посмотри – ка, Анна Ивановна, как молодой князь увивается около губернаторской дочки, – ехидно говорит полная некрасивая дама, мать шести дочерей, слегка толкая локтем свою соседку, сухопарую даму.

– Смотрю и удивляюсь, Татьяна Фёдоровна, – улыбаясь, отвечает та.

– Впрочем, удивляться нечему, – это так понятно.

– Вы думаете, молодой князь женится на ней?

– Натурально! Невеста завидная – ведь губернатор миллионы имеет.

– И что хорошего нашёл он в этой девочке?

– Не понимаю, какая-то сухопарая...

Вот двое молодых людей, провинциальные львы, одетые по-парижскому, ведут между собою такой разговор:

– Я просто завидую князю! – говорит один.

– Ещё бы не завидовать! – отвечает другой.

- Красавица и миллион приданного.
- А что для тебя лучше, Пьер, – красота или миллион?
- Понятно, миллион.
- А князь будет обладать и миллионом, и красотой.
- Военным счастье!

Почти перед утром накрыли ужин, тоже роскошно сервированный.

После ужина гости стали разъезжаться – кому близко было до дому; многие остались ночевать и в отведённых им комнатах расположились спать на мягких диванах и постелях. Мужчины – на половине князя, а женщины – на половине Лидии Михайловны.

Опустела великолепная зала; музыканты тоже ушли отдохнуть – в продолжение дня и ночи они почти без отдыха играли. Огни везде погашены, и в огромном княжеском доме настала тишина. Всё спало крепким сном.

ГЛАВА XXI

Сергей, по приезде в Каменки, рассказал отцу и матери всё, что с ним случилось на войне; он с большим чувством и жаром описывал, как на ферме доброго австрийца Гофмана нашёл себе радушный приём и как молодая девушка, Анна, ухаживала за ним во время болезни, заботилась и не отходила от него.

– Я много, много обязан Гофману и его милой дочери! Они спасли меня от смерти, – такими словами закончил молодой князь свой рассказ.

– О, если бы мне увидеть Анну – я бы её расцеловала! – громко проговорила Софья, со вниманием выслушав рассказ брата.

Старый князь ничего не сказал; он встал и стал задумчиво ходить по комнате.

– Что же, за их уход надо послать им денег, – сказала княгиня, зорко посматривая на сына; она догадалась, что Сергей если не влюблён, то увлечён этой «немкой».

– Мама, что ты говоришь? – с укором сказал Сергей.

– А что, мой друг? Это в порядке вещей.

– Она не примет от меня денег.

– Полно, Серж! Вероятно, старик немец и его молоденькая дочь, немочка, узнали, что ты богат, знатен, – ну и приложили все свои труды, в надежде получить с тебя щедрую награду, – хладнокровно сказала Лидия Михайловна.

Слова матери покорили Сергея; он побледнел и, не сказав ни слова, сердито вышел из комнаты; Софья тоже вышла вслед за братом.

– Ты понял? – спросила у мужа княгиня.

– Понял: «немочка» увлекла.

– Не только увлекла – он влюблён.

– Что же нам делать?

– А вот что, князь: скорее женить Сергея... А если мы будем медлить, то он женится без нашего спроса на этой сентиментальной немочке.

– Избави Бог! Я никогда не назову немку своей невесткой!

– Пожалуй, не называй... Может, ихняя дружба так далеко зашла, что он принуждён будет назвать её женою.

– Лида, что ты говоришь!

– Полно, князь, не притворяйся непонимающим! Лучше поговорим, как спасти Сергея.

– Но как, как?

– Через несколько дней мы дадим бал в честь Сергея. На этот бал, конечно, приедет Сухов с Ириной?

– Разумеется, он первый мой гость.

– Красавица Ирина, надеюсь, своею прелестью очарует Сергея, а мы с тобой, князь, – пожалуй, и сам Сухов – давно считаем её невестой нашего Сержа.

– Лучшей партии я и не желаю для сына. Ах, Лида, если бы наше предположение сбылось!

– И сбудется, только надо действовать осторожно.

– Я во всём, княгиня, полагаюсь на тебя – ты на эти дела тонкий дипломат, – сказал князь Владимир Иванович и с чувством поцеловал руку у своей жены.

– Мы упросим Ирину погостить у нас: скоро святки, начнутся гаданья, веселье, молодёжь поедет кататься, Ирина пококетничает с Сержем – и, поверь, он забудет свою сентиментальную немку и полюбит Ирину, я уверена. Только не надо раздражать Сержа и по возможности во всём с ним соглашаться. Я несколько горячо поступила, мои слова его рассердили – не надо бы так резко выражаться.

– Верно, ты пересолила, – засмеялся князь.

– Что за выражение!

– Прости, – так с языка сорвалось.

Между тем княжна позвала своего брата к себе. Половина княжны состояла из трёх комнат, небольших, но мило отделанных и с большим вкусом обставленных; усаживая брата на мягкое кресло и садясь с ним рядом, она у него спросила:

– Серж, ты любишь Анну?

Князь посмотрел на сестру, в её чудные, добрые глаза; он прочёл в них беспредельные к себе сочувствие и любовь.

– Да, да, люблю, – тихо ответил он, – люблю больше жизни, больше всего на свете!

– И она тебя тоже любит?

– Любит, любит...

– Вы говорили, объяснились?

– Да. Я приехал просить согласия на мою свадьбу.

– Согласия? – испугалась Софья.

– Да, чего же ты испугалась?

– Я? Нет, нисколько, я только думаю, Серж, что нелегко будет испросить тебе согласия.

– Попробую.

– Вот что, голубчик, не спеши. Ты знаешь, Серж, я люблю тебя, и твоё счастье для меня так же дорого, как и для тебя.

– Верю, милая, верю.

– Скажу, Серж, что поступаешь ты честно, благородно; но папа и мама – люди старого убеждения, и знатное происхождение у них прежде всего. Нелегко их убедить! Вот я и говорю, Серж, не спеши, надо папу и маму подготовить.

– Какая ты милая, добрая, Соня, какое у тебя хорошее сердце! – Молодой князь обнял и поцеловал свою сестру. – Я исполню твой совет и не стану спешить просить согласия на мой брак с Анною. Ты права, надо стариков к этому раньше подготовить.

– Непременно, Серёжа.

– Да, да, я подготовлю их и потом скажу... Я уверен, что отказа мне не будет.

Молодой князь Гарин решил до времени ничего не говорить отцу с матерью про свою любовь к Анне.

ГЛАВА XXII

Наступили святки, весёлая, разгульная пора; смех, разные святочные игры, гаданье, песни подблюдные, вещие – не умолкают с утра до позднего вечера в княжеском селе Каменки. Эти песни и смех вырываются сквозь окна и двери на широкую улицу и замирают где-то вдали на морозном воздухе. Любят красные девицы и парни молодое разгульное святочное время – да и нельзя не любить: тут для молодёжи полное раздолье! Игры, гаданье, песни без конца, без усталости. Большой гурьбой крестьянские девицы гадают о своих суженых, о своих ряженных: ходят подслушивать свою судьбину у чужих дверей, у чужих окон, и которые посмелей – ходят и к церковной паперти. С каким ужасом и страхом, озираясь по сторонам, подходят красавицы-девицы к церковному помосту! Ни одна из них не решается первой приложить ухо к церковной двери: хорошо, если услышит молитву венчальную, стих святой, радостный, – а ну как вдруг услышит песнь печальную, похоронную. Робуют девицы, прижимаются друг к другу, «узнать свою судьбину» хочется, да боязно. А тут какой-нибудь лихой парень-потешник притаится у паперти да как ухнет, крикнет нечеловеческим голосом... С громким криком и

визгом бросятся девицы врассыпную, перепуганные до смерти...

Святочная песня глубоко связана с народной жизнью; свято и глубоко верит молодёжь деревенская, воспитанная на народных преданиях, которые передаются из рода в род, в неотразимую силу и правду святочных предсказаний. «Что верится, то сбудется, не минуется», – поют в подблюдной песне.

В княжеских хоромах рождественский праздник всегда встречался торжественно. В ночь на Рождество Христово все залы освещались множеством свеч; перед иконами, горевшими дорогими окладами с драгоценными камнями, ярко теплились лампы. С вечера в княжеской моленной совершалась всенощная, на которой присутствовали родные и близкие, соседи князя Гарина. После ранней обедни в зале обыкновенно накрывался стол со всевозможными закусками и холодными кушаньями; за этим столом «разговлялся» князь в кругу своих близких. Днём назначался приём лиц, приезжавших поздравить князя. В обширных людских тоже накрыты были столы для «разговенья» дворовым. Князь Владимир Иванович был русский боярин-хлебосол – он заботливо относился не к одним своим гостям, которые на его «харчах» проживали по неделям, – он любил, чтобы и его дворовые были сыты и ни в чём не имели нужды.

Со второго дня праздника в княжеской усадьбе начиналось веселье. На этот раз особенно было весело в княжеских хоромах: молодой князь Сергей, красавица Ирина, дочь губернатора, весёлая, находчивая, резвая, княжна Софья и ещё две молоденькие девушки, дочери помещиков, подруги княжны, с утра до поздней ночи справляли святки по русскому коренному обычаю – пели, гадали, резвились, катались с гор; старый князь придерживался старины, и в былое время сам он, несмотря на своё высокое положение, руководил святочными играми и забавами. Княгиня Лидия Михайловна хмурилась на дочь, которая предавалась святочному веселью, «мужицкому», но всё-таки её не останавливала. Бывшая фрейлина блестящего двора Екатерины хорошо помнила, как великая императрица, мудрейшая из женщин, не гнушалась русского святочного обычая – и проводила вечера на святках в кругу своих вельмож, и сама рядилась в различные костюмы, гадала и нередко заставляла петь подблюдные песни, и каталась с ледяных гор на золочёных «саночках-самокаточках».

Сергей и несколько молодых людей – соседей, гостивших в усадьбе князя, принимали участие в играх с Софьей, Ириной и другими барышнями. Они рядились в различные святочные костюмы и на лихих тройках с бубенцами, с разудалою песнею ездил по соседям, где и веселились до упаду.

А то молодёжь устраивала катанье наперегонки по большой, широкой улице княжеского села. Красавица Ирина сидела в маленьких саночках, бойкою лошадию правил Сергей; рядом с их лошадию ехало несколько других.

– Ирина Дмитриевна, вы любите катанья? – поворачивая голову к молодой девушке, спросил князь.

– О да, князь, быстрая езда – моя страсть! Я люблю так кататься, чтобы дух захватывало.

– И не боитесь?

– Нет, я не робкая.

– Хотите, Ирина Дмитриевна, мы перегоним всех.

– Пожалуйста, это так приятно.

– Только крепче сидите. Не выскочите из саней! – предостерёг молодой князь молодую девушку и пустил лошадь, тряхнув вожжами. Сильный конь взвился, понёсся вихрем; лошадь Сергея перегнала других и далеко оставила их за собою.

– Хорошо ли? – спросил Сергей молодую девушку.

– Чудно хорошо! – задыхающимся от удовольствия голосом ответила Ирина. От быстрой езды и мороза лицо у неё разгорелось, красивые глаза сверкали. Она была обворожительно хороша. Сергей пустил лошадь шагом, повернулся к молодой девушке и стал любоваться её красотой; Ирина это заметила и опустила глаза.

– Что вы так на меня смотрите? – тихо спросила она.

– Восхищаюсь вашей красотой!

– Будто я так хороша? – лукаво посматривая своими чудными глазами на князя, спросила Ирина.

– Обворожительны! – страстно ответил князь.

Уже признание готово было сорваться с его языка. Да и кто бы мог устоять против такой красавицы?! Сергей увлёкся ею, но только увлёкся, а не полюбил. В нём заговорила совесть, он вспомнил Анну.

– Ну, пора домой.

Он направил лошадь к дому.

– Так рано? Давайте ещё кататься.

– Извините, Ирина Дмитриевна, я устал, у меня болит голова.

Ирина с удивлением посмотрела на князя: она удивлялась перемене, происшедшей с ним.

– Куда же вы, неужели домой? – крикнула брату Софья. Она каталась с подругами на лихой тройке; лошадьми правил один из гостей, красивый молодой человек.

– Домой, – ответил ей Сергей.

– Ирина, идите к нам, мы ещё покатаемся, – позвала Софья молодую девушку.

– Нет, я довольно каталась, – ответила Ирина и поехала с молодым князем к дому.

Чуть не до ночи каталась молодёжь, со смехом и визгом обгоняя друг друга.

– Ну, что, моя резвушка, весело ли каталась? – ласково спросила княгиня красавицу Ирину, когда она вошла в кабинет Лидии Михайловны.

– Ах, княгиня, так весело, так весело! – ответила молодая девушка, целуя княгиню.

– Что рано вернулись?

– У князя разболелась голова – он и вернулся.

– Ты не сердись на него, Ирен. Сергей ещё не совсем оправился от болезни.

– Что вы, княгиня, разве я сержусь на князя?

– Ты, кажется, моя прелесть, и сердиться-то не умеешь?

– Вы правы, княгиня, – не умею. Когда хочется посердиться, не умею.

– Счастливый у тебя характер.

– Говорят, я в маму – сама я на неё похожа, и характером.

– Я не знала твою покойную матушку: ведь она так давно умерла.

– Давно, пятнадцать лет. Мне тогда было всего два года, – печально проговорила молодая девушка, наклонив свою головку. – Сиротой я росла... – со слезами добавила она.

– Даст Бог, и сиротой не будешь – замуж выйдешь.

– Я не скоро выйду.

– Скажи, Ирен, откровенно – желаешь, чтобы я была твоею мамою? – спросила у красавицы княгиня, зорко на неё посматривая.

– Как мне это понять, княгиня?

– Очень просто, моя прелесть: хочешь быть женою князя Сергея? – Княгиня хотела узнать, любит ли она молодого князя.

– Княгиня, что вы говорите? – Молодая девушка вся вспыхнула.

– Скажи откровенно – Сергей произвёл на тебя впечатление?

– Знаете, княгиня, я не умею хитрить и скажу вам правду: мне очень нравится князь Сергей. Я... я рада быть его женою – но князь меня несколько не любит.

– Что ты говоришь, Ирен!

– Да, да, княгиня, – со вздохом проговорила молодая девушка.

– Это я узнаю – мне нужно было узнать, любишь ли ты сына. Теперь узнаю, любит ли он тебя.

– Узнайте, княгиня, – мне папа говорил, вы желаете назвать меня дочерью?

– О, да, Ирен, это сердечное наше желание – за откровенность я плачу тебе тем же. Сегодня же буду говорить с Сергеем, и, думаю, он не откажется обладать таким сокровищем.

– Княгиня, мама моя, дорогая мама! – Молодая девушка стала обнимать и целовать княгиню.

Спустя немного после описанного старый князь позвал к себе в кабинет сына. Когда Сергей вошёл к отцу, он застал там и княгиню... С первого на них взгляда Сергей догадался, о чём будут с ним говорить.

– Садись, Сергей, мне и матери нужно с тобою поговорить.

– Я рад вас слушать.

- Ты видишь, что мы становимся всё старше и старше, жить нам осталось недолго.
 - Зачем ты это говоришь?
 - Слушай и не перебивай меня. При жизни нам хочется порадоваться на твоё счастье. Ну, одним словом, мы нашли тебе невесту – красавицу и богатую.
 - Благодарю вас обоих. Позвольте же и мне сказать.
 - Говори, говори!
 - У меня есть невеста, – твёрдым голосом проговорил князь Сергей.
- Князь и княгиня никак не ожидали такого решительного ответа; они растерялись.
- Вот как! А дозволю узнать, кто она? – сердито спросил у сына Владимир Иванович.
 - Вероятно, та немочка, которая так усердно за ним ходила во время болезни... – с иронией заметила княгиня.
 - Вы не ошиблись, мама: моя невеста – Анна.
 - Ну, так знай, я и твоя мать никогда не назовём немку своей дочерью. Ты на ней не женишься.
 - Отец!
 - Да, да. Так знай. Пока я жив – я не допущу тебя до этого безумства! – горячился старый князь.
 - Но я люблю Анну. Я дал ей слово. Я должен жениться!
 - Только не на немочке. Мы нашли тебе подходящую партию: Ирен прекрасная девушка.
 - Я с этим согласен... но моею женою она не будет.
 - Вот как ты поговариваешь!
 - Разве Ирен тебе не нравится? – спросила княгиня плаксивым голосом.
 - Напротив, такая красавица понравится всякому.
 - Почему же ты не женишься за ней?
 - Мама, я уже говорил вам, что я дал слово Анне – она ждёт меня, я приехал за вашим согласием!
 - И никогда его не получишь! – крикнул князь.
 - Я настаивать не буду – подожду.
 - Моей смерти подождёшь?
 - Я не то хотел сказать!
 - Своенравный, непокорный, – сердился князь.
 - Оставь, князь, упрёки и брань! Это ни к чему не поведёт, – вставая, сказала княгиня. – Ты знаешь, Сергей, как я люблю тебя и забочусь о твоём счастье, – но знай, что я сумею также вырвать эту любовь из своего сердца! И если ты женишься на немке против нашего желания, я... не буду признавать тебя своим сыном, хоть и нелегко это мне сделать. Помни! Я всё сказала! – Лидия Михайловна величавой походкой вышла из кабинета мужа.
 - Отрасль славного рода Гариных – и жениться на простой немке! Никогда не бывать этому! – крикнул князь.
 - Прости, отец, ты в возбуждённом состоянии, с тобою нельзя говорить. Я лучше уйду.
- Сергей вышел. На другой же день он велел Михееву укладывать свои вещи и стал собираться обратно в Петербург. В продолжение всего дня он не выходил из своей комнаты; однако к вечернему чаю вышел в столовую и между прочим сказал, что завтра утром уезжает.
- Ни отец, ни мать ни слова на это ему не сказали, а находившаяся в столовой Ирина побледнела.
- Разве твой отпуск окончился? – спросила Софья. Ей жаль было расставаться с братом.
 - Да, мне надо быть. Держится упорный слух, что война скоро опять возобновится, – отвечал Сергей.
 - Опять с Наполеоном?
 - Да, с ним. После Аустерлицкого сражения он ещё более возгордился и опять покушался своим хищничеством нарушить строй европейских государств.
- После чая старый князь и княгиня, а также и Софья умышленно поспешили уйти из столовой и оставили Сергея наедине с Ириною.
- Вы уезжаете, князь? – печально спросила молодая девушка.
 - Да, Ирина Дмитриевна, еду завтра утром. Прощайте! Будьте веселы и счастливы, –

крепко пожимая руки красавице, сказал князь Сергей.

- Моё веселье и счастье для меня потеряны, – с глазами, полными слёз, ответила Ирина.
- Да что с вами? Вы встревожены?
- А вы как будто не знаете причины моих слёз?
- Ирина Дмитриевна! – заговорил было Сергей.
- Довольно, князь! К чему объяснения? Прощайте, будьте счастливы!

В голосе молодой девушки слышно было рыдание; она, чтобы не расплакаться, поспешила оставить столовую. Сергею было жаль её. Но что он мог сказать ей в утешение?

На другой день, ранним утром, он собрался в дорогу. За несколько минут до отъезда к нему в комнату вошёл старый князь. Волнение и тревога видны были на добром лице Владимира Ивановича.

- Едешь? – отрывисто спросил он.
- Еду...
- А с матерью простился?
- Мама спит, я не хочу её тревожить.
- Эх, Сергей...

Князь хотел что – то ещё сказать и не сказал.

- Прощай, отец!
 - Прощай, будь здоров! Ты за вчерашнее на меня не сердись.
- Старый князь крепко обнял сына; на его глазах видны были слёзы.

Слёзы отца тронули Сергея; он поспешил выйти на крыльцо – там его дожидались Софья и Ирина: они вышли его проводить. Сергей обнял сестру, сердечно простился с Ириной и поспешил в сани. Михеев сел с кучером.

Лошади рванулись и скоро скрылись из глаз молодых девушек.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Молодой князь Гарин спешил в Петербург: он знал, с каким нетерпением дожидалась его возвращения Анна.

Посмотрим, что в отсутствие своего жениха делала молодая девушка и что с ней произошло.

Николай Цыганов, отказавшись от поездки в княжеские Каменки, остался в Петербурге не без умысла; потеряв надежду на взаимность любви княжны Софьи, нравственно испорченный молодой человек не задумался теперь поухаживать за невестой своего благодетеля. Перед отъездом в Каменки князь Сергей, ничего не подозревая, познакомил его с Анной и её отцом. Цыганов чуть не всякий день стал бывать в квартире Гофмана. Там его ласково принимали; старик Гофман и его дочь смотрели на него как на близкого к князю Сергею человека. Николай старался приходить к Гофманам, когда самого Гофмана не было дома. Молодой ловелас пытался всеми способами увлечь Анну. Он по целым часам рассказывал ей про своё геройство и самоотверженность на войне. Молодая девушка слушала его рассказы как-то рассеянно; она не переставала думать о своём женихе, которого так страстно любила.

Как-то раз Николай, рассказывая с увлечением о битве под Аустерлицем и о своём «геройстве», был прерван следующими словами молодой девушки:

- Князь Сергей под Аустерлицем тоже оказал чудеса храбрости: под ним была убита лошадь, и сам он ранен в плечо.
- Может быть, – с неудовольствием ответил Николай.

Он в душе ненавидел молодого князя Гарина, хотя и скрывал это. Последняя поездка в Каменки разбила все его самолюбивые мечты. Теперь Николай презирал Гариных; его страстная, кипучая любовь к Софье обратилась в злобу и ненависть.

– Послушайте, Николай, вы как будто недовольны князем, – пристально посматривая на Цыганова, спросила Анна.

– Я недоволен? Что вы! Я должен быть доволен князем Сергеем Владимировичем: он мой благодетель.

– Вы неоткровенны, Николай. В вашем голосе слышно какое-то недовольство, недружелюбие.

– Что вы, Анна Карловна!..

– Да, да... я вижу, вы не любите князя.

– А вы, Анна Карловна, его любите?

– Да, я люблю, люблю больше жизни!

– Вот как – с!.. Напрасно это вы делаете.

– Что это?.. Что вы говорите?..

– А то – с, что из вашей любви хорошего ничего не будет.

– Как вы смеете так говорить! – хмуря брови, чуть не крикнула молодая девушка.

– Правду говорю... Вас жалея...

– Я не нуждаюсь в вашей жалости, слышите ли вы?..

– Напрасно-с; теперь не нуждаетесь, впоследствии понуждаетесь.

– Никогда!..

– Не зарекайтесь, Анна Карловна, судьба переходчива-с. Вы уверены, что князь Сергей на вас женится?..

– Разумеется. Он мой жених.

– Женихом вашим он может быть, а мужем не будет.

– А вы это знаете, знаете? Как вы смеете так говорить! Оставьте меня, уйдите! Вы злой человек...

– Молодому князю не велят на вас жениться – его отец и мать слишком горды: они свой род считают старейшим из всех княжеских родов. Вы на меня не сердитесь, Анна Карловна.

– Как же на вас не сердиться! Вы своими словами меня убиваете, на части режете моё сердце – и говорите, чтобы я на вас не сердилась. За что вы мучаете меня? Что я вам сделала?

Анна горько заплакала; Цыганов стал её утешать, но молодой девушке противен, гадок был Николай; она, не говоря ни слова, ушла в свою комнату и заперлась. И когда на следующий день Цыганов, по обыкновению, пришёл к Гофману, его не приняли; он пришёл на другой день – его опять не приняли. Николай понял, что между ним и Анною произошёл разрыв. Им пренебрегают, ему отказывают. Самолюбие его было задето; он поклялся отомстить молодой девушке, добиться её любви. Для достижения своей цели он был готов на всё, ни перед чем не останавливаться. Николай стал обдумывать план.

Спустя несколько дней после описанного Цыганов остановился около подъезда квартиры, занимаемой Гофманом, и позвонил.

Молодая красивая горничная отперла дверь и, не впуская Николая, насмешливо проговорила:

– Господ нет дома.

– Ты врешь, моя милая, господа твои дома.

– Ну, дома, да не приказали вас принимать, – откровенно созналась горничная.

– Скажи барышне, что мне очень нужно её видеть, и она меня примет.

– Я не смею.

– Надеюсь, теперь будешь сметь. – Николай дал горничной рубль, та побежала доложить; спустя немного вернулась и с сияющим лицом проговорила:

– Пожалуйста.

Горничной удалось уговорить Анну принять Цыганова. В это время старика Гофмана не было дома.

– Что вам надо? Зачем пришли? – встретила Анна молодого человека.

– Не гоните меня, Анна Карловна!

– Говорите, что вам угодно?

– У меня есть доказательство...

– Какое доказательство?

– Словам моим – что они правдивы-с.

– Я вас не понимаю, говорите ясней.

– Я говорил вам, что князь и княгиня Гарины не позволят князю Сергею на вас жениться. Так и вышло-с! – с торжествующей улыбкой проговорил Николай и подал молодой девушке какое-то распечатанное письмо.

– Это что? – спросила Анна, не дотрагиваясь до письма.

– Письмо-с. Извольте прочитать.

– Письмо адресовано не ко мне, а чужих писем я не читаю.

– Ничего-с. Извольте прочитать. Письмецо довольно интересное для вас.

– Кто писал?

– Молодой князь. Извольте взглянуть, его подпись.

Анна хорошо знала почерк Сергея Гарина, взглянула на подпись и узнала его руку. Молодую девушку стало подстрекать любопытство прочитать письмо.

– Письмецо это написал князь, ваш жених, своему приятелю, и совершенно случайно оно попало ко мне в руки-с.

Анна взяла письмо и стала читать; смертная бледность покрыла её красивое лицо.

«Добрый мой друг Пётр Петрович! – начиналось письмо. – Пишу тебе из Москвы. Болезнь удерживает меня, а то бы я давно был в Петербурге. Доктора не пускают. И болезнь моя, скажу тебе, приключилась от семейной неприятности. Тебе известно, поехал я в Каменки с целью испросить разрешение и благословение на мою женитьбу с Анной; мои старики – люди предрассудка – отказали мне: они считают, что брак мой с Анной принесёт бесчестие «имени, дому, роду князей Гариных». Они нашли мне невесту по своему вкусу, с громким именем и с миллионным приданым, впрочем, очень хорошенькую и очень миленькую, и настаивают, чтобы я на ней женился. Но тебе известно моё отношение к Анне: никто, кроме неё, не будет моею женою. Я дал ей слово и сдержу его во что бы то ни стало! Бедная Анна! Что я скажу ей? Она ждёт меня, думает – я привезу согласие. Грубый отказ моих отца с матерью убьёт её, голубку. По получении моего письма сходи, пожалуйста, к Анне, навести её – я давно не пишу ей. Да и что мне писать, чем её порадовать!»

Далее следовала подпись Сергея Гарина.

А как это письмо очутилось у Цыганова – мы сейчас объясним. Как-то Николай зашёл к ротмистру Зарницкому и не застал его дома. Он хотел дождаться возвращения Петра Петровича, пошёл в его кабинет, уселся в кресло и стал от нечего делать в сотый раз осматривать находившиеся в кабинете предметы; его взгляд совершенно случайно упал на распечатанное письмо, лежавшее на письменном столе. Цыганов как-то машинально взял его и стал читать. И представьте его радость, когда он ознакомился с содержанием этого письма: оно было от князя Сергея Гарина к ротмистру! Молодой человек не так бы обрадовался находке в несколько тысяч рублей, как этому письму; он дрожащими от радости руками спрятал письмо в карман и поспешил уйти, не дождавшись ротмистра. Доказательство в его руках; скорее к гордой и неприступной красавице.

«Посмотрим, как теперь ты не поверишь мне. Что, помертвела и позеленела! Видно, от злости на своего князька! Любит тебя он, да вот горе – любить-то ему не велят!» – злорадствовал Цыганов, поглядывая на отчаяние молодой девушки.

– Я не спрашиваю, как это несчастное письмо попало к вам в руки, – мне всё равно. Но всякая услуга, какая бы она ни была, оплачивается; вот, возьмите и, прошу, оставьте меня, – немного успокоившись, промолвила Анна, подавая кошелёк с серебряной монетой молодому человеку.

– Как, вы даёте мне деньги?! – растерянным голосом, покраснев, сказал Цыганов.

– А что же вам? Вы заслужили это.

– Вы оскорбляете меня.

– И вы ещё можете оскорбляться! Я догадываюсь, как это письмо попало к вам в руки: вы его украли.

– Вы ошибаетесь – я... я нашёл это письмо.

– Нет, вы его украли!

– Анна Карловна! – позеленев от злости, крикнул Николай.

– Да, да, украли, и сделали это с целью. Подите вон, я вас презираю! Ненавижу!

– Молчать, немка! Я научу тебя!

Николай вне себя выхватил из ножен саблю.

– В ножны саблю, мальчишка, не то застрелю тебя, как курицу! – раздался громкий голос позади Николая.

Он быстро повернулся. В дверях стоял бледный, взволнованный старик Карл Гофман; правую рукою он прицеливался в Николая из пистолета.

– Я... я готов дать вам удовлетворение, – как-то растерянно проговорил молодой человек.

– Что такое? Мне драться с мальчишкой! Вон! – крикнул Гофман.

Цыганову не оставалось ничего больше делать, как уйти.

Старик пришёл вовремя; он видел происшедшую сцену между дочерью и Николаем, снял со стены пистолет и взвёл курок. Старик убил бы Цыганова, если бы тот не поспешил убраться...

– Отец, отец, какая я несчастная! – кладя свою хорошенькую головку на плечо отца, со слезами проговорила Анна.

– Что у вас здесь случилось? Расскажи, Анна.

Молодая девушка показала отцу письмо.

– На, отец, прочти.

Гофман прочитал и задумчиво опустил свою седую голову.

– Отец, оставаться в Петербурге больше нам нечего.

– Ты права, Анна, нам надо ехать не мешкая, не дожидаясь возвращения князя.

– Мне хотелось бы с ним проститься...

– Зачем, Анна? Этим ты и себя, и его расстроишь. Мы завтра выедем.

– Так скоро?

– Чем скорее, тем лучше. Пойми, Анна, князь Сергей не может быть твоим мужем: гордые аристократы никогда не примут тебя в свою семью. Имей самолюбие, дочь моя, – пусть князь женится на той аристократке, о которой он так увлекательно пишет.

– Ты винишь Сергея, отец?!

– Оставим, Анна, про это говорить. Одного я тебе желаю: скорее забыть князя.

– Отец, отец! – со слезами упрекнула старика молодая девушка.

– Да, да, Анна, постарайся его забыть.

– Ах, разве это можно! Я до самой смерти буду помнить Сергея!

– Это твоё дело – запретить тебе любить князя я не в состоянии, – но знай: ты должна прервать с ним всякие отношения. Почитай, Анна, себя счастливой, что ваша любовь не зашла так далеко.

– Что ты говоришь, отец! – вспыхнув, сказала красавица.

Отец и дочь стали поспешно собираться в путь; сборы их были невелики, и на следующее утро они выехали из Петербурга в дорожном тарантасе, запряжённом тройкой лошадей.

Нелегко было молодой девушке уезжать, покинуть дорогой ей дом, где она так часто встречала своего возлюбленного. Ей дорог был и Петербург по своим воспоминаниям. По его широким улицам и по тенистым бульварам она часто гуляла с красавцем князем. Сколько было надежд, счастливых, радостных, светлых! И по воле злой судьбы теперь всё, всё рушилось.

«Пусть он будет счастлив с другой, а меня забудет, но я всю жизнь буду его помнить», – думала молодая девушка. Она хотела было оставить письмо князю Сергею, но отец запретил ей это. Анна сильно страдала.

Они выехали за заставу; лошади бежали быстро по утрамбованной шоссейной дороге; скоро Петербург совсем скрылся из глаз наших путников; только высокий шпиль Адмиралтейства виден был, да блестел на солнце своею позолотой крест на Исаакиевском соборе. Но вот и их стало не видно.

ГЛАВА II

Разрыв с отцом и матерью не прошёл бесследно для впечатлительного и нервного князя Сергея Гарина; к этому ещё присоединилась лёгкая простуда в дороге. Морозы стояли очень

суровые, а князю пришлось подряд ехать несколько суток. В Москве он принуждён был пробыть больше обыкновенного; лечивший его доктор посоветовал не торопиться с выездом и хорошенько отдохнуть. Волей-неволей князь покорился необходимости и три недели пробыл в Москве. Он снял на время квартиру у знакомого на Арбате, а как только почувствовал себя здоровым, приказал неразлучному своему денщику Михееву готовиться в путь.

По приезде в Петербург князь отправился в квартиру, которую занимали Гофманы. Но каково же было его удивление и испуг, когда их квартира оказалась пустой.

– Где же Гофман, его дочь? – растерянным голосом спрашивал князь Сергей у дворника.

– Выехали, давно выехали, – подучил он ответ.

– Как выехали, куда?

– А куда выехали, не знаю. Чего не знаю, врать не хочу. Только уж ден десять будет, как немцы выехали в тарантасе, тройкой, значит.

– И не оставили никакого письма?

– Письма не было, не оставляли. Сам-то немец ничего, а дочь его уж очень больно печалилась, и глаза у неё были заплаканы. Я видел, как они усаживались в тарантас, – рассказывал словоохотливый дворник.

«Что же это значит, куда уехали? Зачем? Даже письма не оставили. Это неспроста! Не понимаю, как всё случилось! Поеду скорей к Зарницкому – может, от него узнаю», – думал молодой князь, направляясь к своему приятелю.

Пётр Петрович очень обрадовался возвращению своего товарища и не меньше Сергея удивился, когда тот рассказал ему о неожиданном отъезде из Петербурга Гофмана с дочерью.

– Уехали, ничего не сказав, не дождавшись тебя? Нет, тут что-нибудь да есть. Да и куда они могли выехать! – говорил Пётр Петрович, размахивая руками.

– Вероятно, в Австрию, – ответил печально Сергей.

– Как это вдруг, неожиданно! Нет, воля твоя, князь, тут есть что-то неладное.

– Не услышала ли Анна, что мои старики не хотят назвать её своею дочерью? – догадался князь Гарин.

– Но от кого они могли узнать?

– Может, ты не проговорился ли, Пётр Петрович?

– Вот, дурака нашёл! Да я, как получил твоё письмо, всё собирался к ним зайти.

От Зарницкого Сергей отправился разыскивать Николая Цыганова. Князь надеялся хоть от него узнать что-либо о Гофмане и его дочери.

Цыганов жил в казармах, поэтому найти его не представляло затруднения.

Сергей засыпал вопросами Николая; он искусно притворился удивлённым, когда Сергей, ничего не подозревая, рассказал ему об отъезде Гофмана и Анны из Петербурга.

– Может ли быть, ваше сиятельство? Я был у господина Гофмана не далее недели назад и ничего не слышал: ни он, ни его дочь даже не собирались ехать, – говорил Николай.

– А вот уехали.

– Довольно странно это, ваше сиятельство!

– Я сам не меньше твоего удивляюсь. В моё отсутствие ведь ты бывал у них?

– Как же, даже очень часто-с.

– Ну, что же Анна? – спросил у Цыганова князь.

– Да ничего-с. Первое время поскучала по вас, ваше сиятельство.

– А далее?

– А там – утешилась барышня и скучать перестала, – как-то загадочно говорил Николай.

– Ты говори ясней – я плохо тебя понимаю, – хмуря брови, резко сказал молодой князь. –

Если есть что сказать, то говори прямо!

– Извольте, ваше сиятельство, вы знаете мою к вам преданность и послушание.

– Да говори же! – крикнул на него Сергей.

– В последнее время стал я встречать в квартире господина Гофмана молодого офицера армейского. Виноват-с, не припомню его фамилию, мудрёная фамилия – он из немцев.

– Кто же это такой? – меняясь в лице, спросил Сергей.

– Не знаю, ваше сиятельство-с! Только сам старик Гофман и барышня с этим офицером обходились очень ласково-с и предупредительно.

Мстительный Цыганов нарочно придумал эту сказку, чтобы возбудить в князе ревность и подозрение; этого он достиг.

– Что ты этим хочешь сказать? – громко крикнул на него князь Сергей, рассерженный таинственными намёками Цыганова.

– Не извольте, ваше сиятельство, на меня гневаться, – что я видел, то и говорю.

Князь Гарин не стал ни о чём больше расспрашивать Николая; ревность запала ему в сердце и не давала покоя.

«Неужели Анна забыла меня и мою любовь променяла на любовь какого-то немца – офицера? Да нет, быть не может! Я верю Анне, верю в её любовь! Но зачем же так скрытно она уехала, не написав мне ни слова? Что же мне делать? Где искать её? Что это за таинственность, намёки Цыганова? Я во что бы то ни стало увижу Анну. Где бы она ни была, я найду её и объяснюсь!» Молодой князь, возвращаясь из казарм к себе на квартиру, был сильно встревожен, и ревность и досада не давали ему покоя.

Он решил окончательно ехать в Австрию к своей возлюбленной; только лёгкое нездоровье его удерживало в Петербурге; он уже приказал укладываться в дорогу своему денщику Михееву, как неожиданное обстоятельство разбило его план.

– А ведь в Австрию, к невесте, тебе, дружище, ехать не придётся, – громко проговорил Пётр Петрович, входя в комнату князя Сергея.

– Как? Почему? – удивился тот.

– Начинается опять война с Наполеоном.

– Неужели?

– Я от верного человека слышал, на этих днях объявлен будет поход... Наш государь, тронутый несчастьем Пруссии, хочет за неё вступить...

– Опять война с Наполеоном?

– Да, князь... Алчность Наполеона возмутила нашего доброго императора.

– Когда же окончатся эти войны? – со вздохом проговорил молодой князь Гарин.

– Тогда, когда не будет Наполеона, когда смирят его гордыню, заставят его вложить обогранный кровью меч в ножны...

– Когда же это будет?

– Когда-нибудь да будет. Припомни, князь, евангельские слова: «ибо все взявшие меч мечом погибнут».

Ротмистр Зарницкий говорил правду: поход был объявлен.

Наше храброе войско не с ропотом, а с радостью шло к границам Пруссии, которую безжалостно терзал Наполеон...

Князь Сергей Гарин примкнул к своему полку, ему пришлось волей-неволей на время забыть свою возлюбленную, не искать с ней свидания... Долг офицера обязывал его находиться в рядах армии.

ГЛАВА III

Война императора Александра Первого с Наполеоном в 1805 году ознаменовалась неудачами нашего и союзного войска и громкими победами Наполеона под Ульмом и Аустерлицем. Император Александр должен был на время отложить своё благое намерение – силою остановить завоевания Наполеона и положить предел его могуществу. Австрийское государство уступило Франции свои обширные области; Пруссия заключила с ней дружеский договор, и в полную зависимость Наполеона были преданы: Италия, Голландия, Швейцария, все области немецкой земли от Рейна до Инны и Везера. Только Россия, Англия, Швеция и Неаполитанское королевство не изменили своих неприязненных отношений к Наполеону.

В 1806 году император Александр держался такой политики: «Находиться в сильном оборонительном положении, имея армии, готовые идти на помощь соседям, если они будут атакованы Наполеоном, сохранять самые тесные связи с Англиею, удержать Австрию и Пруссию от излишней покорности Наполеону».

Так, между прочим, писал государь своим послам в Лондон и в Вену. Миротворительный и добрейший государь не прочь был вступить в переговоры с Наполеоном о мире, если этот

договор не будет противен чести и сохранит достоинство России. Император французов предложил свои условия. Наш государь не согласился на этот договор и нашёл его «противным чести и обязанностям России в рассуждениях союзников её, безопасности государства и общему спокойствию Европы».

«Мы удостоверены, что верные наши подданные, всегда движимые любовью к отечеству, всегда водимые честью и мужеством, окружённые великими примерами отечественной ревности, соединят усилия свои с нами, как скоро безопасность России, глас славы и веления наши призовут их действовать на пользу общую.

В сей твёрдой уверенности на помощь Божию и на усердие верных наших подданных мы признали нужным предварительно сим известить их о намерениях наших, дабы тем дать им новое свидетельство, что во всех предприятиях наших не расширения наших пределов и не тщетной славы преходящих побед мы ищем, но желаем и действуем во утверждение общей безопасности, в хранение наших союзов и в ограждение достоинства Империи нашей».

Этот манифест произвёл большое впечатление между всем русским народом. Читали его со слезами умиления и со страхом о безопасности государственной.

Правительствующий сенат, как бы в ответ на манифест государя, поднёс ему прочувствованный доклад, такими сердечными словами законченный:

«Всеавгустейший монарх! Все сословия, Тобою только благодетельственные, все народы, населяющие пространную Империю Твою, готовы, по единому мановению десницы Твоей, принести на жертву любезному отечеству и достояние своё, и самую жизнь. И кто из царей земных может от подданных своих ожидать толикой ревности и усилий, если не Ты, который с вожделенного для России дня вошествия на престол не перестаёшь изливаться благодеяниями на все народы, скипетру Твоему подвластные, и мудрыми установлениями раскрывал все отрасли народного благосостояния, предоставляешь и позднешему потомству наслаждаться плодами великих дел Твоих и благословлять возлюбленное имя Александра».

Между тем дерзость счастливого завоевателя не знала предела. Он не стеснялся с мелкими государствами и присоединял их к Франции или отдавал королевства своим братьям и родственникам. Так, одного своего брата Наполеон провозгласил голландским королём, другого – неаполитанским, шурина своего – герцогом бергским, а сёстрам дал владения в Италии; он составил под своим покровительством из мелких княжеств южной Германии «Рейнский союз»,³³ не предварив об этом ни Австрию, ни Пруссию. Могущество Наполеона на правом берегу Рейна заставило Пруссию призадуматься, и король прусский, дотоле безмолвный свидетель действий Наполеона, принуждён был для безопасности своего государства вооружиться против сильного завоевателя. Король прусский Фридрих-Вильгельм обратился за помощью к императору Александру. Император отвечал готовностью помогать Пруссии и отдал приказ русскому генералу Беннигсену,³⁴ находившемуся с шестидесятитысячным корпусом у Гродно, «быть в повелениях прусского короля и идти, куда от него приказано будет».

Пруссия, надеясь на твёрдую опору России, заявила Наполеону требование, чтобы он вывел французское войско из немецкой земли. Наполеон был в Париже, когда получил это требование. Он горделиво отверг его и послал в главную квартиру французского войска следующий приказ:

³³ Рейнский союз – существовавшее в 1806–1813 гг. объединение германских государств (Бавария, Вюртемберг, Саксония и т. д.), созданное под протекторатом Наполеона и участвовавшее в войнах на его стороне.

³⁴ Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745–1826) – барон, позже граф. Уроженец Ганновера, с 1773 по 1818 г – на русской службе. Известен своей оппозицией Кутузову.

«Пруссаки требуют возвращения нашего за Рейн. Безумные! Да познают они, что в тысячу раз легче разрушить великую столицу нашу, Париж, нежели помрачить честь великого народа, коего гнев ужаснее бурь океана. Разве мы переносили непостоянство и зной Египта и побеждали соединённую против нас Европу для того, чтобы оставить наших союзников и возвратиться во Францию беглецами, обремененными укором, будто орёл французский улетел, устрашённый, завидя пруссаков?»

Прусский народ радовался войне с Наполеоном; но эта радость была мимолётна. Наполеон со своею образцовою армией заставил Пруссию смириться, и прежде чем русское вспомогательное войско достигло берегов Вислы, армии Фридриха-Вильгельма уже не существовало.

Вступая в борьбу с сильной французской армией, Пруссия сделала большую ошибку: начала военные действия, не подождав прихода русского войска. Прусская армия в числе ста тысяч человек под начальством Фердинанда,³⁵ герцога Брауншвейгского, была вся уничтожена при Йене и Ауэрштедте.³⁶ Одна половина этой армии легла на полях битвы или попала в плен, другая, не имея возможности продолжать неравную битву, обратилась в бегство и, настигнутая неприятелем, сложила оружие. Король прусский в один день потерял всё своё войско и даже королевство. Поражение при Йене было для Пруссии громовым ударом; весь народ прусский оцепенел от ужаса. Самые знаменитые крепости, неприступные своими твердынями, как-то: Эрфурт, Штеттин, Магдебург и другие – сдались победителю на капитуляцию. Только Данциг, где заперся храбрый генерал Лесток с двадцатитысячным корпусом, да Кенигсберг, куда удалился Фридрих-Вильгельм, не сдались победителю столицы Пруссии. Берлин с покорностью встретил Наполеона. Сто тысяч пленных, четыре тысячи орудий и множество знамён были трофеями йенской победы.

Король прусский, умоляя о помощи императора Александра, между прочим, писал ему следующее:

«Из всей моей многочисленной и храброй армии остаются теперь только слабые обломки, столь рассеянные, что до сих пор я не знаю величины своей потери. Во всяком случае, она несметна. Вероятно, французы уже заняли Берлин. К довершению ужасного моего положения, лишён я средств противиться неприятелю. Ожидая известий от моих генералов, сколько войска успеют они перевести за Одер. В глубокой горести, с коею пишу письмо сие, утешаюсь одним убеждением, что, во всяком случае, могу положиться на помощь Вашего Величества. Никогда более, как в настоящую минуту, не знал я цены чувствований Ваших ко мне».

Император Александр, чуткий ко всякому человеческому горю, спешил своею храброю армией помочь злополучной Пруссии.

Таким образом, война русских с Наполеоном опять возгорелась. Наше войско спешило к границам Пруссии.

Император Александр, предвидя возможность вторжения Наполеона в пределы России, обратился к чрезвычайным мерам и манифестам и повелел собрать ополчение, состоящее из шестисот двенадцати тысяч ратников, взятых из всех губерний. Это ополчение назвали «внутреннею временною милицией»; по миновании надобности обещано было распустить милицию. Все сословия в государстве вызваны были к пожертвованию деньгами, хлебом, амуническими вещами и оружием. Весь народ спешил со своею посильною помощью, особенно московское дворянство. Пожертвования были огромны.

³⁵ Фердинанд (Карл-Вильгельм-Фердинанд) – герцог Брауншвейгский, умер от ран, полученных при Ауэрштедте.

³⁶ Йена и Ауэрштедт – два города на реке Заале, где 14 октября 1806 г. были разбиты войска герцога Фердинанда и князя Гогенлоэ.

В милицию поступали мещане, крестьяне, однодворцы и другие сословия; брали обыкновенно не моложе семнадцати лет и не старше пятидесяти; учить ратников военным приёмам назначались регулярные войска; особенного мундира, кроме офицеров и генералов, у ратников не было – каждый носил свою одежду; бороды ратники не брили и волос не стригли; вооружены были ружьями, а большая часть ратников, за неимением ружей, – пиками и копьями.

Святейший синод послал своё благословение ополчению и предписал духовенству «внушать прихожанам, что православная наша церковь, угрожаемая нашествием неприятеля, призывает верных чад своих к временному ополчению, что не искание тщетной славы, но безопасность пределов государства, собственное, личное благосостояние каждого влагает им в руки оружие». Таким образом Александр оградил государство вооружёнными силами и гласом веры. Главнокомандующим русским войском против Наполеона назначен был старый вождь – граф Михаил Каменский,³⁷ а в помощники ему – генералы Беннигсен, Эссен 1-й³⁸ и граф Буксгевден. Государь удостоил главнокомандующего милостивым рескриптом, где, между прочим, говорилось: «вверяю вам славу российского оружия, безопасность Империи и спокойствие моих подданных. Доверенность моя неограниченная, а потому считаю за лишнее снабжать вас здесь каким – либо предписанием».

Войска стали быстро готовиться к походу, и полк, в котором служил Сергей Гарин, первым должен был выступить из Петербурга. Недавно вернувшиеся с войны солдаты опять охотно шли на бой с французами.

Молодой князь в спешных приготовлениях к походу забыл на время гнетущее его горе, и накануне выступления в поход князь Гарин зашёл в Казанский собор помолиться. Выходя из храма, он заметил большую толпу народа, собравшегося около соборного портика. Седой как лунь старик, по одежде напоминавший купца, с добрым, приятным лицом, громко и с чувством читал какую-то бумагу. Народ безмолвствовал и со вниманием слушал старика: он читал манифест императора Александра к народу от 16 ноября 1806 года.

«Манифестом нашим, в 30-й день августа изданным, возвестили Мы о положении дел наших с французским правительством, – внятно читает старик. – В сём неприязненном положении Пруссия была ещё преградою между нами и французами, в разных частях Германии преобладавшими. Но вскоре огонь войны возгорелся и в пределах Пруссии. После разных неудач и важных с её стороны уронов ныне собственные наши пограничные владения им угрожаются».

– Ах, басурман проклятый! Слышите, православные, слова нашего царя – батюшки? Наполеон угрожает и нам; Пруссию, значит, в пух и прах разбил, теперь и до нас добирается, – переставая читать, проговорил старик, обратясь к народу.

– Где ему! Только пугает. До нас высоко. Придёт – так сумеем встретить француза, и от этой встречи солоно ему придётся, – ответил кто – то из толпы.

– У нашего царя сила, рать великая! А случись что, мы все поголовно пойдём! – раздался другой громкий голос из толпы.

– Вот как: шапками басурмана закидаем! Да я один на десятерых поджарых «хранцузов» пойду! – храбрился какой-то мастеровой-здоровяк в дублёном полушубке.

«Россиянам, обыкшим любить славу своего отечества и всем ему жертвовать, нет нужды изъяснять, сколь происшествии сии делают настоящую войну необходимою. Меч, извлечённый честию на защиту наших союзников, колико с большею

³⁷ Каменский Михаил Федотович (1738–1809) – граф, генерал-фельдмаршал. Участник войн с Турцией, некоторое время петербургский военный губернатор.

³⁸ Эссен 1-й Иван Николаевич (1759–1813) – генерал-лейтенант, каменец-подольский военный губернатор, командир русского экспедиционного корпуса в Голландии в 1799 г. В 1806 г. – командир корпуса, затем дежурный генерал армии.

справедливостию должен обратиться в оборону собственной нашей безопасности. Прежде нежели сии происшествия могли приблизиться к нашим пределам, мы заранее приняли все меры встретить их в готовности. Повелев заблаговременно армии нашей двинуться за границу, мы поручили нашему генералу-фельдмаршалу графу Каменскому, предводительствуя ею, действовать против неприятеля всеми вверенными ему силами. Мы удостоверены, что все наши верные подданные соединят с нами усердные их молитвы к Всевышнему, судьбою царств и успехами браней управляющему, да примет Он праведное дело наше в свою всемогущую защиту, да предаст Его победоносная сила и благословение оружие русскому, подъемлемому на отражение общего врага Европы».

Дрогнул голос у старика, и слёзы выкатились из его глаз.

– Поняли ли, православные? Наш дорогой император просит молитв к Богу, к Царю царей, да дарует Он победу нашему храброму воинству – на супостата. Что за слова царские! Так за сердце и берут! Слеза меня пробила. Дочитал бы, да не смогу, – вот барин дочитает. Ваше благородие! Будь друг, дочитай-ка нам словеса-то государевы, – обратился старик к князю Гарину, который протискался поближе к читавшему.

Сергей охотно согласился и стал читать:

«Мы удостоверены, что верные наши подданные пограничных губерний в настоящих обстоятельствах особенно усилят опыты их преданности и усердия к благу общему и, не колеблясь ни страхом, ни тщетным обольщением, пойдут с твёрдостиюю же стезёю, на коей, под сенью законов и кроткого правления, сретали они доселе спокойствие, незыблемую собственность и разделяли благоденствие всей Империи и общее. Наконец, Мы удостоверены, что все сыны отечества, полагаясь на помощь Божию, на храбрость наших войск, на известную опытность их предводителя, не пощадят ни жертв, ни усилий, каких любовь к отечеству и безопасность его потребовать могут».

– Ничего, ничего мы не пожалеем для тебя, наш государь, и для родной земли! Есть у меня три взрослых сына – всех троих записал я в милицию, пусть их послужат царю и родине, – проговорил старик, когда князь Сергей окончил чтение.

– Что говорить, не только добра, а жизни своей не пожалел, только бы живы были государь – отец и матушка Русь! – крикнул за всех мастеровой.

«Велик русский человек, силен своею любовью к царю и родине, и никакая сила не сломит наш народ», – так думал Сергей Гарин, возвращаясь к себе на квартиру.

ГЛАВА IV

Совершилось необычайное, неслыханное: сын простого корсиканского адвоката, по воле судьбы став императором могучего народа, разбил некогда сильную и дисциплинированную прусскую армию, заставил её бежать и теперь с триумфом гордого победителя въезжал в резиденцию королей прусских. 24 октября 1806 года Наполеон прибыл в Потсдам; ему покорно были отворены королевские ворота замка. Он – властитель не только Пруссии, но и всей Германии.

Но и в эти дни, в дни счастья, Наполеон оставался совершенно спокойным, как и в дни бедствий. Громкие победы как будто не производили на него никакого впечатления.

В сопровождении блестящей свиты проходил он по залам дворца.

– Послушайте, Дюрок!³⁹ – обратился он к своему маршалу.

– Я слушаю вас, государь, – ответил тот, подходя ближе к Наполеону.

– Если не изменила мне память, год тому назад в этом дворце был император Александр.

³⁹ Дюрок, Жерар-Кристоф (1772–1813) – великий маршал двора Наполеона, участник его боевых походов. Убит на исходе Бауценского сражения.

– Ваше величество не ошиблись: действительно, в прошлом году приезжал в Потсдам русский государь.

– Я желаю жить в тех самых комнатах, которые занимал император Александр. Скажите, чтобы было всё приготовлено.

– Слушаю, ваше величество!

Дюрок поспешил отдать гофмейстеру нужные приказания.

Наполеон вошёл в огромный зал, стены которого были украшены портретами, изображавшими лиц прусского королевского дома. Он стал внимательно рассматривать портреты.

– Не правда ли, господа, все они почитали себя за великих? – обратился Наполеон к окружавшим его маршалам и генералам. – И все они гордились своим высоким происхождением, своей королевской короной, – но смерть и их обратила в прах. А я обращаю в прах всю Пруссию, уничтожу и растопчу её! – резко добавил он и отошёл от портретов. – Да, да, на земле нет ничего прочного и вечного! Пруссия похоронена на полях Йены и Ауэрштедта! – Наполеон искоса посмотрел на свою свиту и, заложив за спину руки, стал задумчиво расхаживать по портретной зале.

– А где портрет короля Фридриха-Вельгельма Третьего? – вдруг спросил Наполеон, ни к кому не обращаясь.

– Вот, ваше величество, портрет ныне царствующего короля, – тихим и робким голосом ответил находившийся тут гофмаршал прусского короля.

– Ныне царствующего короля! Как это громко! – с саркастической улыбкой сказал император и повернулся спиной к портрету. – Дюрок, проводи меня в комнаты, где останавливался император Александр.

Наполеон слегка кивнул головою маршалам и генералам и пошёл за Дюроком. Они проходили рядом пышных зал.

– Однако эти короли умеют жить хорошо, – улыбаясь, заметил Наполеон.

– Вот, государь, те комнаты, которые занимал император Александр. Мне здешний гофмейстер сказал, что всё оставлено здесь в том виде, в каком было во время посещения императора.

– Знаешь, Дюрок, мне хочется сойтись с русским государем. Только он один твёрдо стоит на страже своего народа. Он законный государь. А законность, Дюрок, больше могущества! Это меч, которым я не могу овладеть со всеми моими пушками.

– Государь, вы могущественный властелин почти всей Европы! – польстил Наполеону Дюрок.

– Почти верно! Да, да, я верю, Дюрок, в мою счастливую звезду – и буду обладать всей вселенной. Я... я низвергну все троны, прогоню всех законных властителей. И будет один только трон – это мой! Я буду основателем новой династии! – кичливо сказал император.

– Вы не забудете, государь, и ваших покорных приверженцев! – раболепно изгибаясь, промолвил тихо Дюрок.

– Я хочу основать новую династию и быть наполеоновской династии родоначальником! – говорил Наполеон. – Разумеется, если у меня будет сын, законный наследник. Я очень, очень сожалею, что нет у меня сына от Жозефины.⁴⁰

– Об этом сожалеет, ваше величество, вся Франция.

– Не моя вина будет, если обстоятельства заставят меня развестись с Жозефиной...

– Как, государь, вы хотите расстаться с императрицей? – быстро спросил Дюрок у Наполеона.

– Я никогда, никогда не забуду её, – со вздохом ответил Наполеон; на этот раз его сухое, холодное лицо приняло печальное выражение. – Я буду любить Жозефину всегда – она этого заслуживает. Для меня слишком тяжело расстаться с ней.

– Не делайте этого, государь! Императрица не переживёт разлуки, она будет страдать.

– Поверь, Дюрок, я буду страдать не менее её. Если будет она плакать – то не обо мне, а о

⁴⁰ Богарнэ, Жозефина (1763–1814) – первая жена Наполеона I, французская императрица.

потерянной власти, а я буду оплакивать женщину, которую так горячо любил.

– Вы несправедливы, государь! Императрица любит вас одного. Что ей до власти! Вспомните, ваше величество, она плакала, когда вы возлагали на неё корону, и будет плакать о супруге, которого боготворит, а не о потерянной короне.

– Однако, Дюрок, какой ты верный и хороший защитник императрицы! Если бы я не был в тебе уверен, я бы подумал, что Жозефина тебя подкупила! – Наполеон весело засмеялся.

– Послушайтесь, государь, моих преданных советов, не отталкивайте императрицу от вашего сердца. Она ваш ангел-хранитель! Императрица принесла вашему величеству счастье.

– Ошибся, любезный маршал! Я сам составил себе счастье. Я буду стремиться туда, куда влечёт меня судьба! Мои планы ещё не окончены и не приведены в порядок. Я буду ждать: мне нужно время, чтобы привести в исполнение всё задуманное мною. Я дал себе слово завоевать целый свет – и сделаю это. Повторяю, я буду властелином всего мира! И тогда мне будет нужен законный наследник, тогда я расстанусь с Жозефиной и женюсь на другой. А до того времени я буду жить с Жозефиной. Но довольно об этом, я устал, и мне надо отдохнуть...

Он подошёл к постели, украшенной бархатным балдахином, и растянулся на роскошной кровати, отделанной золотом и слоновой костью.

Спустя три дня после описанного Наполеон торжествующим победителем въехал в Берлин. Огромная толпа народа, походившая на бушующее море, встретила его. По обеим сторонам улиц, по которым проезжал французский император, шпалерами стоял народ; окна, крыши, деревья – всё усыпано было народом. Эта многотысячная толпа безмолвствовала, на лицах видна была печаль; не слышно было ни говора, ни смеха; жители Берлина покорились своей участи и не столько с любопытством, сколько со злобой и презрением смотрели на гордого завоевателя. Дамы были в глубоком трауре, с чёрными вуалями.

С колокольным звоном и пушечною пальбою въезжал Наполеон в Берлин в сопровождении своих маршалов. Бледное, суровое лицо властелина выражало ледяное спокойствие; он ехал в поношенном мундире, без всяких орденов; простая треугольная шляпа покрывала его голову. Гордо и величественно сидел он на великолепной лошади; по временам проницательно оглядывал он народ, изредка кивал головою. Уличные мальчишки да переодетые французы громко кричали:

– Да здравствует император!

С любопытством смотрел народ и на блестящую армию Наполеона; лица солдат-французов были тёмно-коричневого цвета; глаза у них горели каким-то диким огнём; на них надеты были тёмные куртки, шитые золотом, широкие красные шаровары, сбоку висели кривые сабли, на головах надеты разноцветные тюрбаны; это были сыны степей – мамлюки императора. Вот другой отряд, с длинными бородами, с загорелыми лицами, в высоких медвежьих шапках; сбоку у них прицеплены огромные топоры – это сапёры; сзади сапёров ехали знаменитые гренадеры; потом ехали егеря в зелёных мундирах.

В берлинском дворце для встречи императора собраны были все именитые граждане и сановники. Император мало обратил внимания на высокопоставленных лиц Пруссии и, сказав им несколько холодно-вежливых слов, направился во внутренние комнаты дворца.

Побеждённый прусский король поторопился прислать Наполеону письмо, в котором, между прочим, писал:

«Брат мой! Когда я сам просил у вас мира, то я немного задумался над вашими предложениями. Теперь же я желаю во что бы то ни стало и как можно скорее заключить его. Я снова желаю вступить с вами в дружественные отношения... Я очень доволен и счастлив, что вы обитаете в моих дворцах».

– Я в столице Пруссии. Теперь король согласен на мои предложения. Он принуждён на это согласиться. Я победил её, – самодовольно сказал Наполеон, обращаясь к своим маршалам.

ГЛАВА V

Французская армия, в количестве ста пятидесяти тысяч, быстро приближалась к Висле. На

равнинах древней Мазовии и восточной Пруссии русское храброе воинство, невзирая на все невыгодные обстоятельства, на превосходство неприятельских сил, на ошибки своих генералов и на недостаток продовольствия, целые шесть месяцев оспаривало победу у великого полководца, привыкшего одним ударом сокрушать царства.

Была глубокая ненастная осень. Русские чуть не тонули в непроходимых болотах Мазовии; на берегах рек Вкры и Нарева ждали встречи с Наполеоном. Князь Гарин, пожалованный в старшие адъютанты к генерал-фельдмаршалу графу Каменскому, лежал больной в сколоченном из досок бараке; его мучила лихорадка. Неизменный его денщик Михеев приготавливал для князя чай; он время от времени с сожалением и любовью посматривал на похудевшего князя.

– Ваше сиятельство! – тихо позвал Сергея вошедший в барак Николай Цыганов. Он, как ни в чём не бывало, выехал вместе с князем в действующую армию и служит под его начальством.

– Что? – повёртываясь к Николаю, спросил князь.

– Вас желает видеть какой-то молодой казак.

– Какой казак? Зачем? – удивился Гарин.

– Не могу знать-с, только убедительно просил меня доложить вашему сиятельству.

– Пусть войдёт, пусть.

В барак молодецкато вошёл молодой казак, почти мальчик, широкоплечий, с высокой грудью и с бледным продолговатым лицом; светло-русые волосы подстрижены в кружок; умные чёрные глаза с чёрными, густыми бровями составляли резкий контраст с матовою белизною лица; на казаке был синий суконный чекмень, перетянутый чёрным кушаком; на голове высокий кивер с красным верхом; на широких шароварах резко выделялся красный широкий лампас; на боку висела длинная казацкая сабля, а через плечо на ремне – толстая нагайка.

Князь Гарин встал и с удивлением стал смотреть на вошедшего казака; во всей его фигуре видно было что-то нежное, не мужское.

– Чем могу служить? – ласково спросил князь.

– Вы, князь, состоите адъютантом у главнокомандующего графа Каменского, – тонким, несколько робким голосом заговорил казак.

– Да, что же вам нужно?

– Я хочу, князь, испросить дозволения у главнокомандующего участвовать в действующей армии; прошу, чтобы меня приписали к какому-нибудь полку.

– Вы, вы хотите участвовать в сражении? – ещё более удивился князь Сергей.

– Да, ваше сиятельство. – Казак смутился и покраснел.

– Но ведь вы почти мальчик.

– Мне, князь, двадцать три года.

– Извините, я не знал; на взгляд вы совершенный мальчик. Вы дворянин?

– Да, князь.

– Ваше имя и фамилия?

– Александр Дуров, – смело ответил казак.

– Генерал-фельдмаршал ещё не приезжал, но мы ждём его с часу на час, и как только приедет, я доложу об вас. А вы оставьте мне ваши документы.

– У меня их нет, князь.

– Как нет? – Гарин с недоумением посмотрел на Дурова.

– Надо вам сказать, князь, я... я тайком уехал от отца, он запрещал мне вступать в ряды действующей армии.

– Всё это довольно странно.

– Верьте мне, князь, я говорю правду.

– Скажите, что заставляет вас покинуть отца и поступить в армию? Неужели погоня за славою! Прослыть героем? – спрашивал князь Сергей молоденького казака.

– Нет, князь, нет...

– Что же? Скажите.

– Это моя тайна.

- А! Ну, это другое дело. Вот что, молодой храбрец, я могу для вас сделать: я попрошу ротмистра Зарницкого, он возьмёт вас в свой эскадрон.
- О, я так буду вам благодарен, князь!
- Зайдите ко мне часа через два, я устрою вас.
- Слушаюсь, ваше сиятельство.
- По-военному отдав честь князю, казак-мальчик вышел из барака.
- Спустя часа два он опять пришёл к Гарину.
- Пойдёмте, я сведу вас к ротмистру, – сказал князь Дурову.
- Они вышли из барака, казака дожидался сильный, красивый черкесский конь.
- Это ваша лошадь? – спросил с удивлением у Дурова князь.
- Да, это мой неразлучный Алкид.
- Хороший конь, породистый.
- Знаете ли, князь, я пятилетним мальчуганом скакал по родным полям и лугам на этом коне.
- И вам позволяли?
- Я без позволения, тихонько. Бывало, у нас ещё спят, а я уже на коне, в одной рубашонке, – самодовольно рассказывал молодой казак.
- Удивляюсь! Лошадь горячая; обуздать её нужна сильная, опытная рука.
- Мой Алкид, кроме меня, никого не слушает. Алкид, иди за мной!
- Красивая лошадь посмотрела своими умными глазами на казака и пошла за ним.
- А, это тот герой, про которого ты мне говорил, князь? – спросил ротмистр Зарницкий у Сергея, показывая на Дурова.
- Да, Пётр Петрович, прошу, прими его под своё покровительство, – с улыбкою ответил Гарин.
- Служить хотите? Кровь за отечество проливать? Похвально! Только как это вы от тятеньки с маменькой ушли, то есть убежали? Ну если они проведуют, где вы находитесь, да вас вытребуют? – насмешливо спросил у казака Зарницкий.
- Я совершеннолетний, господин ротмистр.
- Виноват, на взгляд вам не больше лет пятнадцати. Что же, я готов, юный герой, принять вас в мой эскадрон.
- Постараюсь заслужить, господин ротмистр, ваше доверие.
- Может, мне за это и достанется от начальства: ведь у нас делается по форме, а у вас никаких документов нет – кто вы и что вы? Один Господь ведает.
- Я дворянин, звать меня Александр, а фамилия Дуров.
- Ну, так и запишем. Слушайте, юнец, когда у вас вырастут усы?
- Скоро, господин ротмистр, – покраснев, ответил казак.
- То-то, а то вдруг герой и без усов.
- Больше для него чести, – вступил в разговор Гарин.
- Больно руки-то у вас малы да нежны, боюсь – сдержат ли они саблю острую?
- Не беспокойтесь, господин ротмистр, мне не привыкать, не одну сотню французских голов снесу.
- Молодец! Право, молодец! А Наполеона не боитесь?
- Чего бояться! Он такой же человек; мне увидеть его хочется!
- Зачем? Он съест вас! – добродушно засмеялся Пётр Петрович.
- Подавится!
- Он прожорист – целую Пруссию съел и не поморщился. Да и не одну Пруссию, а всю неметчину, – смеялся Зарницкий.
- А русским подавится! – говорил Дуров, стараясь попасть в тон с ротмистром.
- Молодчина! Люблю!
- Прошу, господин ротмистр, любить и жаловать.
- Ну, любезный друг, жаловать буду не я, а батюшка-царь да высшее начальство! А ты понравился мне, юноша. Смел и за словом в карман не полезешь. Я таких люблю.
- Ваше благородие! – позвал Щетина ротмистра, когда из барака вышли Гарин и Дуров.
- Ну, – откликнулся Пётр Петрович своему денщику.

- А ведь он девка!
- Что?
- Девка, говорю, ваше благородие, – утвердительно промолвил старик денщик.
- Щетина, ты рехнулся!
- Верно говорю, девка.
- Пошёл вон, ты с ума сошёл! Казака принял за девку!
- Рожа-то у казака девичья, вы всмотритесь-ка, ваше благородие.
- Это, пожалуй, и так: лицо у казака очень нежное, похоже на девичье.
- Девка, ваше благородие. Как есть девка, во всей, значит, форме.
- Врёшь, Щетина!
- Не вру, узнаете сами!
- Врёшь, говорю!..
- Слушаю, ваше благородие. А только казак – девка.
- Молчать! Старый дурак!..

Спор ротмистра с денщиком, может, продолжался бы и ещё, если бы в барак не вбежал Николай Цыганов и громко проговорил:

- Пётр Петрович, фельдмаршал приближается!..
- Как? Едет? – Ротмистр стал быстро застёгиваться.
- Недалеко; меня князь к вам послал известить вас.
- Спасибо, спасибо, я сейчас...
- Спешите, Пётр Петрович, все офицеры в сборе...
- Сейчас, сейчас...

Зарницкий пристегнул саблю и быстро вышел из барака.

ГЛАВА VI

Генерал-фельдмаршал граф Каменский-первый, шестидесятилетний полуслепой старик, приехал в действующую армию с большою властью. Армию застал фельдмаршал далеко не в завидном положении: фуража было немного, оружия тоже; кроме того, в рядах русских солдат находилось много больных, да и сам фельдмаршал был болен. Продолжительная езда и тревожное состояние надломили здоровье старика. Ещё из Вильны граф Каменский, между прочим, доносил императору:

«Я лишился почти последнего зрения: ни одного города на карте сам отыскать не могу и принуждён употреблять к тому глаза моих товарищей. Боль в глазах и голове; неспособен я долго верхом ездить; пожалуйста мне, если можно, наставника, друга верного, сына отечества, чтобы сдать ему команду и жить при нём в армии. Истинно чувствую себя неспособным к командованию столь обширным войском».

Подъезжая к Пултуску, где собрана была наша армия, граф Каменский, подражая великому Суворову, из удобного дорожного экипажа пересел в простую тележку и прибыл в ней в главную квартиру; встреча была ему восторженная; солдаты громкими радостными криками приветствовали своего маститого вождя. Фельдмаршал ласково смотрел своими больными глазами на солдат и поклонами отвечал на их приветствие.

Приняв предводительство над армией, граф Каменский оставил в занимаемых ею позициях: генерала Беннигсена у Пултуска, графа Буксгевдена у Остроленска, Эссена 1-го у Бреста и Лестока у Страсбурга. В авангарде стояли: Остерман,⁴¹ Барклай де Толли и другие. Французские корпуса были так расположены: маршалы Бернадот, Ней⁴² у Торна, Сульт и

⁴¹ Остерман-Толстой Александр Иванович (1770–1857) – граф, генерал-лейтенант, позже – генерал от инфантерии.

⁴² Ней, Мишель (1769–1815) – герцог Энгийенский, маршал Франции.

Ожеро⁴³ у Плоцка; императорская гвардия и большая часть кавалерийских резервов были в предместьях Варшавы, а маршал Даву⁴⁴ – вблизи Модлина.

В тот же день, когда русская армия встречала своего вожда, Варшава устроила пышную встречу непобедимому Наполеону, мнимому воскресителю Польши. Громкая музыка, звон колоколов, пушечная пальба, громкие крики приветствия не умолкали в течение целого дня. Поляки торжествовали, говорили приветственные речи Наполеону. Он недолго пробыл в Варшаве и спешил к своей армии, которою он сам руководил.

Одиннадцатого декабря французы подошли к реке Вкре и начали переправляться через реку на другой берег. Наши солдаты открыли по французам сильный огонь и заставили их вернуться назад. Три раза неприятель покушался перебраться на другой берег и три раза с большим уроном возвращался назад; часть французов успела переправиться через реку в другом месте; они укрепились здесь и наскоро стали строить мост. Барклай де Толли приказал ротмистру Зарницкому со своим эскадроном атаковать французов. Пётр Петрович блестяще выполнил этот приказ – смял и рассеял неприятелей. В этой схватке особенно отличался своим мужеством и неустрашимостью молодой казак Дуров: он на своём Алкиде делал просто чудеса храбрости и рубил своею тяжёлою саблей направо и налево.

– Ну, юноша, удивил ты меня! Ещё одно такое молодецкое дело – и ты георгиевский кавалер. Молодец! О твоём подвиге я донесу начальству, – говорил Зарницкий, дружелюбно хлопая по плечу казака-мальчика. – Я думал, ты в обморок упадёшь от страха, а ты, братец, герой... Да ты не ранен?

– Нет, господин ротмистр, – весь сияя от радости, ответил Дуров.

– А дело было жаркое и бесполезное.

– Как? – удивился казак.

– Да так, французы всё-таки перейдут через реку.

– Мы не допустим.

– Ох, храбрец, или забыл пословицу: «сила ломит солому». Наполеон – сила, и большая сила.

Предсказание ротмистра сбылось: французы всё больше и больше переходили на наш берег. Поражаемый пушечным и ружейным огнём и видя готовившуюся против него атаку с фланга, Барклай де Толли приказал 3-му егерскому полку отступать. Французы кинулись на редут и взяли шесть пушек, первые трофеи их в настоящем походе. Командовавший орудиями капитан Лбов, с отчаяния от потери орудий, лишился ума. Таков был дух русских офицеров в описываемую нами войну. Особенно в этой схватке отличился командир 1-го егерского полка Давыдовский: его отряд был атакован со всех сторон, но, несмотря на это, Давыдовский со своими солдатами отбивал все покушения неприятеля к переправе через реку Вкру. Несмотря на убийственный огонь со стороны французов, Давыдовский стал писать Барклаю де Толли донесение, положив бумагу на спину барабанщику; он слегка был ранен в ногу – герой не обращал внимания на рану и продолжал писать; пуля скользнула по виску Давыдовского, кровь потекла по его лицу, он зажал перчаткою рану и не переставал писать; наконец, бедный барабанщик, убитый наповал пулею, упал. Давыдовский не испугался града сыпавшихся пуль и, не сходя с моста, дописал рапорт; в этом рапорте он уверял Барклая де Толли, что он отразит врагов и удержит переправу неприятеля. Вскоре Давыдовскому привезли приказ немедленно отступить.

– Ну, делать нечего, воля начальства, а иначе не перепустил бы я французов на наш берег. Ещё пример самоотвержения:

⁴³ Ожеро, Пьер Франциск-Карл (1757–1816) – герцог Кастильонский, маршал и пэр Франции. После описываемых событий командовал французским наблюдательным корпусом в Берлине.

⁴⁴ Даву, Людовик-Никола (1770–1823) – герцог Экмюльский, маршал Франции, командир пехотного корпуса. В кампанию 1812 г. его нерешительность позволила соединиться 1-й и 2-й русским армиям. При отступлении Наполеона из Москвы командовал арьергардом французской армии.

«Подполковник 3-го егерского полка Першин, раненный в бок пулею навывлет, не оставил своего батальона и, поддерживаемый двумя егерями, хладнокровно распоряжался, пока не получил приказания отступить. Наградой Першину был Георгиевский крест».

Таковы подвиги наших воинов в неравной борьбе с гениальным полководцем, каким был Наполеон. «Несколько батальонов долго удерживали быстрое нападение целых корпусов неприятельских», – писал Барклай де Толли в донесении государю.

Сами французы удивлялись стойкости и беспримерной храбрости русских воинов.

А Наполеон говорил:

– О, если бы император Александр был моим союзником, я победил бы весь мир, потому что русские солдаты удивительно храбры и неустрашимы, они умеют сражаться.

ГЛАВА VII

– Вы говорите, дело было жаркое? – спросил граф Каменский, обращаясь к генералу Беннигсену, который доносил фельдмаршалу о молодцеватом деле наших егерей при реке Вкре.

– Беспримерной храбростью себя покрыли, ваше сиятельство.

– А всё-таки, ваше превосходительство, французы переправились на другой берег.

– Принуждены были отступить, ваше сиятельство: сила на стороне неприятеля. Я покорнейше прошу, ваше сиятельство, награды лицам, которые поименованы в этом списке. – Беннигсен подал бумагу с именами храбрых офицеров, участвовавших в деле при реке Вкре.

– Это что? – спросил граф, принимая список; он рассеянно слушал генерала.

– Наградной список, ваше сиятельство.

– А, список!.. Хорошо, хорошо. Я посмотрю, посмотрю. Знаете ли, генерал, я болен и принуждён сложить с себя звание главнокомандующего; ну, куда мне старику воевать, мне впору на печи лежать.

– Что вы говорите, ваше сиятельство! – Лёгкая, насмешливая улыбка пробежала по губам храброго Беннигсена.

– То говорю, что чувствую. Я стану просить государя снизойти на мою просьбу и уволить меня, старика; глаза у меня стали больно плохи; вот я разговариваю с вами, генерал, а хорошо вас не вижу, в тумане вы мне кажетесь, право!

– Мы – ваши верные помощники, ваше сиятельство!

– Спасибо, генерал! А всё-таки без своих глаз плохо: свой глазок – смотрок. Да и поясница ломит, едва на коне сижу. Состарился я, ваше превосходительство.

«И этой развалине поручена участь нашей многотысячной армии!» – думал Беннигсен, смотря не то с презрением, не то с жалостью на старого фельдмаршала.

В комнате главнокомандующего водворилось молчание; сам фельдмаршал, тяжело дыша, согнувшись, ходил задумчиво; Беннигсен тоже задумался; он думал о том, кто будет новым главнокомандующим, если старик откажется от начальства: «Кутузова не пришлют – он после Аустерлица почти в опале. Кто же будет? Кто займёт этот важный и ответственный пост? Неужели Буксгевден?»

– Да, был конь, да изъездился! – громко проговорил граф Каменский, подходя к Беннигсену и взяв его за пуговицу мундира.

– Что изволисте говорить, ваше сиятельство? – спросил генерал.

– Говорю, генерал, был конь, да изъездился! В своё время и граф Каменский послужил родной земле и матушке-царице, умел с врагом сражаться, жизнью жертвовать на благо родине! – Старик выпрямился во весь свой рост и окинул Беннигсена горделивым взглядом; он как будто проник в его душу и узнал его сокровенные мысли и желания. – Теперь устарел, на покой пора, послужил и довольно! Военачальство думаю Буксгевдену сдать; граф Буксгевден заслужил, вполне заслужил.

– Ваше сиятельство, как государь на это взглянет.

– Наш государь правдив и милостив, он простит меня, слабого старика.

Граф Каменский решил окончательно сложить с себя звание главнокомандующего.

В ночь на четырнадцатое декабря свирепствовала страшная буря, дул порывистый, пронизывающий до костей ветер; с многих барачных были сорваны крыши, снесены палатки. Вообще буря произвела сильное опустошение на бивуаках, как русских, так и французских. Солдаты дрожали от страшного холода.

Повсюду горели костры, и солдаты около огня отогревали свои окоченелые руки. В бараке ротмистра Зарницкого старик денщик раздувал уголья, положенные на железный лист; сам ротмистр и казак Дуров отогревали себя крепким чаем с ромом; но это плохо согревало их; особенно прохватывал холод молодого казака.

– Что, юноша, видно, цыганский пот пробирает?..

– Холодно, господин ротмистр, – ответил Дуров. – Холодно и скучно: который день без дела сидим.

– погоди, скоро будет и дело: Бонапарт примолк не перед добром, гляди, обдумывает, с какой стороны на нас напасть. Хитёр француз, ну да и русак не простак, сам сдачи сдаст.

– Что, Пётр Петрович, говорят, нас покидает главнокомандующий? – спросил у ротмистра Дуров.

– Говорят, сам я слышал. Да какой он вояка! Уедет, хуже не будет. А ты, юноша, не скучаешь? – меняя разговор, спросил Зарницкий.

– Нет, по ком мне скучать?..

– Может, по тятеньке с маменькой?..

– Вы всё смеётесь, Пётр Петрович.

– Что же, по-твоему, плакать?.. А знаешь, юноша, мой Щетина ведь принял тебя за девицу. «Это, – говорит, – ваше благородие, не парень, а девка переряженная». Не веришь, хоть его спроси.

Пётр Петрович весело засмеялся.

Дуров покраснел и низко опустил свою голову.

– Что же вы? Вы, надеюсь, за девицу меня не принимаете? – запинаясь, спросил он.

– Прежде, братец, смутили меня слова Щетины; каюсь, сам я думал, не переряженная ли ты барышня, ведь чем чёрт не шутит!.. А как увидел твою отвагу в деле с неприятелем – ну и...

– Ну, и что же, господин ротмистр?

– Обругал себя, что дураку поверил. Разве девица так хорошо умеет ездить на коне, да на каком коне! Ведь твой Алкид – чёрт. Право! А как ты махал своею саблею: что ни взмах, то француз. Если бы собрать наших девиц да показать им, как сражаются, с ними бы сейчас обморок. Уж знаю я девичью храбрость: курицу повар станет резать, а с девицей сейчас истерика.

– Не все такие, Пётр Петрович, есть и храбрые.

– Храбры они с горничными ругаться, – протестовал Пётр Петрович.

В барак вошёл Сергей Гарин, он был чем-то встревожен.

– Что ты такой кислый, или лимон съел? – встретил его ротмистр.

– Главнокомандующий уехал, – хмуро ответил князь.

– Как, когда? – почти в один голос спросили молодой казак и Зарницкий.

– Да недавно, собрался, сел в телегу и уехал.

– Прощай, значит, счастливо оставаться. Стало быть, теперь мы без главнокомандующего? – спросил ротмистр.

– Каменский передал своё начальство графу Буксгевдену, – ответил Гарин.

– Стало быть, наш старик тю-тю...

– Отъезд фельдмаршала поразил и удивил всю армию, – сказал князь Сергей.

И он сказал правду: все удивлены были, начиная с солдата и кончая генералом. Не пробыв в армии недели, граф Каменский покинул её в самую трудную минуту. Что заставило его это сделать? «С самого приезда своего в армию фельдмаршал Каменский, никого в ней не зная, никому не доверяя, входил в самые мелкие распоряжения, лично отправлял курьеров, своеручно писал маршруты и заносил копии повелений своих в журнал исходящих дел, ездил от одной дивизии к другой, давая встречаемым на пути полкам повеления мимо прямых начальников их. Бремя забот и ответственности, усугубляемое частыми порывами гнева,

подавило старца, лишило его сна и доверенности к самому себе».⁴⁵

Несмотря на просьбы и протесты некоторых генералов, главнокомандующий ночью выехал из главной квартиры, говоря, что не хочет потерять прежней славы своей и умывает себе руки и оставляет армию.

Фельдмаршал уехал в Остроленск и оттуда, между прочим, писал императору: «Увольте старика в деревню, который и так обесславлен остался, что не мог выполнить великого и славного жребия, к которому был избран. Всемилоостивейшего дозволения Вашего о том ожидать буду здесь при госпитале, дабы не играть роль писарскую, а не командирскую при войске. Отлучение меня от армии ни малейшего разглашения не произведёт, что ослепши отъехал от армии; таковых, как я, в России тысячи».

Граф Каменский получил дозволение от государя ехать в деревню.

Беннигсен остался в Пултуске, несмотря на повеление главнокомандующего идти обратно в Россию. Храбрый генерал решил ожидать неприятеля в занятой им позиции. Корпус Беннигсена состоял из сорока тысяч и примыкал левым крылом к Пултуску. Четырнадцатого декабря Беннигсен жестоко поразил маршала Лана, который хотел выбить его из занятой им позиции.

Так же славен был подвиг князя Голицына при Голымыне.⁴⁶ Голицын со своим отрядом застигнут был врасплох главными силами Наполеона, под его личным предводительством. Голицын не потерялся и вступил в упорный бой. Сражение продолжалось целый день «среди снежного вихря» и отразило французов, которые вчетверо превосходили русских своею численностью. Неприятель разбит был на всех пунктах. Этой победой рушился план Наполеона – не допускать отступления русских.

Французские войска, страшно утомлённые, нуждались в отдыхе. Волей-неволей пришлось Наполеону возвратиться в Варшаву на зимние квартиры.

А русское войско стройно и не спеша отступило к Остроленску, ожидая нового вождя. Государь назначил Беннигсена главнокомандующим, пожаловал ему крест св. Георгия второй степени, а князю Голицыну – третьей.

Таким образом, русские ознаменовали достопамятный день четырнадцатого декабря уничтожением предположений, с коими двинул Наполеон армию в Пултуск и Голымин. Причинами неуспеха действий его было мужество русских войск и превосходство наше в артиллерии.

Наполеон, победивший Австрию, Пруссию, Италию и другие государства, нашёл сильный отпор в русской армии. «Войска Александра праздновали воскресение славы своей, минутно поблѣкшей под Аустерлицем». Русский штык заставил призадуматься победителя многих государств!

ГЛАВА VIII

Князь Владимир Иванович Гарин в начале зимы покинул свои Каменки, со всею семьёю переехал в Москву и поселился в огромном каменном доме на Поварской. Дом этот, только что купленный князем, отличался своей затейливой архитектурой, с колоннами, бельведерами и лепными фресками; он стоял в углублении большого мощёного двора; к дому вели двое ворот с каменными львами и с чугунной решёткой. Дом князя Гарина походил скорее на дворец.

Князь не любил шумной столичной жизни и предпочитал свои Каменки; на этот раз он уступил желанию княгини Лидии Михайловны, купил в Москве дом и зажил широкой боярской жизнью.

⁴⁵ Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном 1806–1807 гг. СПб., 1846.

⁴⁶ Голицын Сергей Фёдорович (1749–1810) – князь, генерал от инфантерии, командовал русским корпусом в Галиции; 14 декабря 1806 г. его корпус потерпел поражение от французов при Голымыне в Польше, результатом чего был отход основной армии.

Старый князь не остался равнодушным к войне: он составил из своих крепостных целый полк и обмундировал их на свой счёт. Владимиру Ивановичу предлагали занять место командира, но он отказался, ссылаясь на свою старость и нездоровье; после раздора с сыном он стал прихварывать и редко куда выезжал, больше сидел в своём уютном, хорошо обставленном кабинете и занимался или чтением разных научных книг, или стоял за токарным станком. Князь искусно точил из заграничного дерева и из кости разные фигуры и безделушки.

Однажды князь проснулся позднее обыкновенного и позвонил.

Вошёл старик Федотыч, любимый камердинер князя, с бритым, добродушным лицом, вечно улыбающимся. Федотыч лет пятьдесят служил верой и правдой князю Гарину и всей своей простой душой был ему предан. Князь ценил службу старика, во всём доверял и не раз предлагал ему вольную.

– И! Ваше сиятельство, зачем мне она – вольная-то? Куда я с ней пойду? Да и зачем? Разве мне плохо жить с вами? Вашим крепостным я родился, крепостным и умру. Дозвольте ручку вашу княжескую облобызать, сердечно вас поблагодарить, а вольной мне не давайте. Не надо! – говорил старик Федотыч, отклоняя от себя увольнение из крепостной зависимости.

– Заспались, ваше сиятельство, – нежно поглядывая своими добрыми глазами на князя, сказал старик. – Чаю или кофею прикажете?

– Подай кофе – в горле пересохло. Скверно спал. Голова болит.

– С чего же это, ваше сиятельство, вы плохо почивать изволили?

– Думы, братец, разные не давали спать.

– Что же думать вам, ваше сиятельство? Про что?

– Про сына думал, про Сергея.

– Да, вот что! Знамо, как не думать про сына кровного, – отцовское сердце. Теперь наш княжич с врагом отечества сражается, кровь свою на поле ратном проливает.

– Сон про него мне приснился нехороший, боюсь – не перед добром этот сон.

– И, князьенька, куда ночь, туда и сон. Страшен сон, да милостив Бог!

– Уехал он из Каменок озлобленный. Жалею я, жалею, что не остановил его.

– Напрасно, ваше сиятельство, вы пошли против женитьбы княжича. Что бедна невеста, рода незнатного? Так что же? Будучи женою князя Сергея Владимировича, она стала бы и богатой, и знатной. Наделили бы счастьем и сына кровного, и её, сиротливую.

– Эх, Федотыч, ведь в роду у нас нет, чтобы Гарины женились на немках.

– Какая же она немка, ваше сиятельство! Православная она, мать у неё русская, православная.

– Я бы, пожалуй, согласился, но княгиня... Она решительно отказала.

– Конечно, моё дело холопское. Я должен помнить и чувствовать, что ваше сиятельство удостоиваете меня, раба, своим разговором.

В кабинете князя водворилась тишина; князь молча пил кофе, а Федотыч почтительно поглядывал на своего господина.

– Вот уже три месяца – и ни одного письма не прислал Сергей, – опять заговорил Владимир Иванович.

– Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что князь Сергей Владимирович, по приезде в Москву из Каменок, хворали.

– Что? Хворал? Ты почём знаешь?..

– А где молодой князь остановиться изволил, на Арбате, в доме Глебова, так дворецкий господина Глебова мне сказывал.

– Долго Сергей хворал?

– Да чуть не с месяц, ваше сиятельство.

– И ни одной строчки отцу!..

– Человек молодой, характерный.

– Да, да, весь в меня – огневой. Пойду сообщить об том княгине. От расстройства Сергей хворал! Бедный, как мне его жаль!

Князь Владимир Иванович поспешил на половину княгини. Лидия Михайловна спокойно выслушала рассказ мужа о Сергее, о том, что он долго болел в Москве.

– Что же ты хочешь этим сказать? – спросила она у князя.

– Как что? Пойми, ведь он захворал от неприятности. Его расстроил наш отказ.

– Я поняла и, поверь, не меньше твоего сожалею о сыне. Но повторяю, я никогда, никогда не соглашусь на его неравный брак.

– Наше упрямство сделало Сергея больным.

– Ну, этому я мало верю, мой друг, – холодно проговорила княгиня, вынимая из ридикюля работу. – Сергей не сентиментальная барышня, нервы его крепки. Если он и хворал, то, поверь, от простуды, а ты приписываешь это нашему несогласию на его свадьбу.

– Да, да, он так был расстроен, немудрено и захворать, – возразил князь Владимир Иванович.

– Я вижу, князь, ты, кажется, не прочь женить Сергея на какой-то немке, – хмурия брови, сказала Лидия Михайловна.

– Я... я не говорю этого.

– А я вот что скажу тебе, князь: пока я жива, этой свадьбе не бывать.

– Вот как!

– Я никогда немку не назову своею дочерью – это моё последнее слово!

– Но ты забываешь: Сергей совершеннолетний, он обойдётся и без нашего согласия.

– Может быть, но тогда я отрекусь от него, я забуду, что он мне сын. Поверь, князь, у меня достанет твёрдости вырвать из моего материнского сердца любовь к нему, – сухо проговорила княгиня.

Владимир Иванович ничего не возразил своей жене. По доброте своего сердца он бы давно согласился на брак сына с Анной, но предрассудок, фамильная гордость останавливали князя. Породниться с каким-то немцем, бывшим гувернёром, ему, именитому князю!

– Оставим про это говорить, князь. А лучше скажи мне, что ты думаешь о частых визитах к нам Леонида Николаевича Прозорова? – пытливо посмотрев на князя, спросила Лидия Михайловна.

– Что? Ну, понравилось ему у нас бывать, вот он и ездит, – ответил князь.

– И только?

– Чего же ещё?

– Ну, князь, недальновиден же ты! – упрекнула мужа Лидия Михайловна.

– Ты думаешь? – хмурился, спросил князь.

– Да, думаю. Ты полагаешь, что красивому молодому человеку нужно наше общество?

– Если он к нам ездит, то...

– Постой, постой, князь, ты, кажется, совсем забыл, что у нас есть дочь, – об ней, друг мой, тоже надо подумать. В Москву приехала я не без цели. Здесь скорее найдёшь подходящего для Софи жениха. И я не ошиблась – жених нашёлся.

– Вот как!

– Да, я уверена. Леонид Николаевич получил хорошее воспитание, богат, имеет большие связи и притом столбовой дворянин.

– Он мне нравится, но что скажет Софья: может, ей не по сердцу Прозоров? – проговорил князь.

– Об этом не беспокойся: Софи умная девушка, и, как мне кажется, Прозоров заинтересовал её.

– Что же, я рад. Род Прозоровых исстари известен.

– Притом у Прозорова большие поместья. Итак, князь, если Леонид Николаевич сделает предложение Софи, то ты ничего не будешь иметь против этого? – спросила у Владимира Ивановича княгиня.

– Повторяю, я рад.

– И отлично! Предложение от Прозорова надо ожидать на этих днях: наша дочь вскружила ему голову.

– Ты слишком самоуверенна, Лида! Может, Прозоров и не думает о предложении.

– Вот увидишь.

– Но, предупреждаю тебя, если Прозоров не понравится Софи, то...

– Успокойся, князь, ей нравится Леонид Николаевич.

– Ты и это знаешь, Лида? – спросил у жены князь.

– Да, знаю...

– Что же, Софи сама тебе сказала?

– Нет, она ничего не говорила, но я догадываюсь.

– Дай Бог, Прозоров завидная партия для нашей дочери.

– Если Леонид Николаевич сделает предложение, свадьбу мы отложим до весны. К тому времени, может, вернётся и Сергей, – проговорила Лидия Михайловна.

– Наверяд, – возразил князь.

– Почему?

– Потому что война затянется надолго. Да если Сергей и вернётся с похода, то к нам, в Каменки, навряд ли приедет.

– Полно, князь. Вероятно, Сергей теперь уже забыл свою немочку и сожалеет, что не женился на красавице Ирине.

– Ты так думаешь? – сердито сказал князь.

– Не только думаю – я уверена.

– В чём ты уверена? В чём?

– В женитьбе нашего сына на Ирен!

– Посмотрим, посмотрим. А я вот что скажу тебе, Лида: если Сергей кого полюбит, то уж не скоро разлюбит.

– Я не хочу с тобою спорить, князь, лучше оставим этот разговор, – с ноткой неудовольствия проговорила княгиня Лидия Михайловна.

Княгиня не ошиблась в своём предположении: Леонид Николаевич Прозоров был страстно влюблён в красавицу княжну и чуть не каждый день ездил к Гариным.

Прозоров, красивый молодой человек, владел огромным богатством; его большие усадьбы находились в нескольких губерниях. Прозоров жил в огромном своём доме на Арбате со старушкой матерью, которая любила сына безграничной материнской любовью. Леонид Николаевич, не отличаясь хорошим здоровьем, не пошёл по стопам своего отца, бывшего генерала, избрал себе не военную, а гражданскую службу в одном из учреждений; молодой человек, благодаря своим связям и усердному отношению к службе, быстро пошёл в гору; имея всего двадцать пять лет, он был уже в чине статского советника. Познакомился Прозоров с Софьей на одном из балов; в то время Москва славилась своими роскошными балами, которые устраивали родовитые бояре, не жалея денег на угощение. Балы эти обыкновенно чередовались, и съезжалась на них вся интеллигентная Москва.

По приезде в Москву княгиня Лидия Михайловна стала вывозить свою дочь. У Гариных было большое знакомство; их наперерыв приглашали на балы и вечера; хотя Москва и славилась своими красавицами, но Софья своею редкою красотою затмила их всех. Костюмы её были дороги и изысканны. Князь не жалел на них денег. У княжны явился целый полк поклонников. Между ними первое место, бесспорно, занимал Прозоров; своим светским обращением и ухаживанием он заставил обратить на себя внимание красавицы. Леонид Николаевич умел хорошо говорить, в разговоре он избегал модных фраз – этим он ещё более нравился Софье. Она, в противоположность другим барышням, не любила пустых комплиментов. Лидия Михайловна пригласила Прозорова бывать у них: это приглашение было большою радостью для Леонида Николаевича. Он полюбил Софью.

Наступили рождественские праздники, Софья почти всякий день выезжала с матерью на балы. Старый князь не любил выездов и сидел дома, предоставив княгине и дочери полную свободу. Владимир Иванович сделал только исключение для Прозорова. Как-то Леонид Николаевич пригласил Гариных к себе запросто к чаю; князю неловко было отказаться, он поехал с женою и дочерью.

У Прозорова, кроме Гариных, никого не было; сам он и его старушка мать Анна Власьевна встретили «дорогих» гостей на верху лестницы. Дом Прозорова отделан был более чем роскошно; огромные залы были обставлены дорогою мебелью, стены обиты атласом и шёлковой материей, канделябры и люстры – из литой бронзы и серебра, бархатные персидские ковры, картины итальянской и фламандской школы в дорогих золочёных рамах, мраморные статуи. Леонид Николаевич любил искусства и был хороший знаток в картинах; он сам хорошо рисовал, картины его заставляли удивляться Софью и Лидию Михайловну.

– Да вы художник, Леонид Николаевич, ваши картины прелестны. Какая кисть! – рассматривая в золотую лорнетку картины, говорила княгиня. – Сколько жизни и правды, какие пейзажи! Это с натуры?..

– Да, княгиня, это вид в моей саратовской усадьбе, я рисовал его с натуры.

– Неужели ваша усадьба обладает такими прелестными уголками? – спросила у Прозорова Софья, любуясь летним видом картины.

– Там, княжна, есть места ещё красивее и живописнее.

– Ведь это Швейцария, просто Швейцария! Наши Каменки тоже живописны, но не так.

– Хорошо вы устроились, Леонид Николаевич, очень хорошо! – пожимая руку Прозорова, промолвил князь Владимир Иванович.

– Вы добры ко мне, князь!

– У вас такой порядок, вы хороший хозяин.

– Не угодно ли взглянуть вам портретную? – предложил Прозоров Гариным и повёл их в высокую, в два света залу, стены которой увешаны были фамильными портретами Прозорова.

– Это ваш отец? – спросила Софья, останавливаясь перед изображением старика в генеральском мундире екатерининского времени; лицо старика напоминало Леонида Николаевича.

– Да, княжна, портрет моего отца. Вы находите со мною сходство, не правда ли?

– О да, большое.

– Эта дверь ведёт в зимний сад. В нём есть очень редкие тропические растения. Не хотите ли, княжна, взглянуть? Сад освещён.

Покуда князь и княгиня рассматривали портреты, Прозоров с Софьей направились в сад.

Этот сад заставил мысленно княжну перенестись под знойное небо тропических стран. Высокие пальмы, огромные кактусы, бананы, целые аллеи лавровых деревьев, цветущие розы и другие редкие цветы... Посреди сада огромный фонтан с золотыми рыбками и морскими животными, несколько мраморных статуй, искусственные гроты, мостики и китайская беседка – всё это освещено было множеством разноцветных фонариков, давало саду какой-то фантастический вид.

– Как здесь хорошо, как хорошо! – невольно восторгалась красавица. – Это рай!..

– В раю, княжна, много лучше! – самодовольно улыбнулся счастливый Прозоров.

– Прелесть как хорошо!

– Хорошо у меня, княжна, правда. Только, знаете, одного недостаёт.

– Чего же? – повернув свою красивую головку к Прозорову, быстро спросила Софья.

– Хозяйки, – тихо ответил тот.

– А ваша матушка?

– Она слишком стара для хозяйства. Княжна, если бы... если бы я мог надеяться, – запинаясь и краснея, говорил Леонид Николаевич. – Я так полюбил вас, княжна!

– Пойдёмте в портретную.

– Вы, княжна, не хотите сказать мне?

– Что? – срывая одну розу и ощипывая лепестки, спросила красавица.

– Могу ли я надеяться на ваше расположение? Я не говорю – на любовь: я должен заслужить.

– И заслужите.

– О, княжна, для этого я не пожалею своей жизни! Клянусь вам! – с чувством проговорил влюблённый Прозоров.

– Зачем клятва? Я... я верю вам. Верю в вашу любовь.

Счастливый Леонид Николаевич осыпал жаркими поцелуями руки красавицы.

– Вот вы где, – сказала вошедшая в сад Лидия Михайловна, пристально посматривая на дочь.

– Здесь так хорошо, мама! – обнимая и целуя мать, ответила раскрасневшаяся княжна.

– О да! Какие растения, какие цветы! Ну, Леонид Николаевич, вы образцовый хозяин.

– Вы ко мне слишком добры, ваше сиятельство! – почтительно целуя руку у княгини, тихо промолвил Прозоров.

Гарины сидели у Прозорова до полуночи; хлебосольный хозяин не отпустил «дорогих

гостей без хлеба-соли». В большой столовой накрыт был роскошный ужин; серебряная и хрустальная сервировка украшена была живыми цветами и тропическими растениями; тонкие кушанья запивались дорогими винами. За ужином как хозяин, так и гости были необычно веселы и вели оживлённый разговор.

По приезде домой княгиня проводила дочь до её комнаты. Княжна со слезами радости рассказала матери о признании в любви Прозорова.

– Как, уже? Впрочем, надо было этого ожидать... Не волнуйся, Софи, скажи, чувствуешь ли ты симпатию к Леониду Николаевичу?

– Да, мама, я... я люблю его.

– Ну, благослови вас Господь! – Княгиня перекрестила дочь и вышла.

На другой день Прозоров сделал официальное предложение Софи; оно было принято: княжна стала невестой. Свадьбу решили отпраздновать на Красную горку в княжеской усадьбе Каменки.

ГЛАВА IX

Однажды князь Владимир Иванович, прогуливаясь по Тверской улице, неожиданно повстречался с Николаем Цыгановым. Во время Пултусского сражения Николай был ранен в бок и замертво отнесён в перевязочный пункт, где долго болел; но молодость и крепкое сложение спасли его от смерти – он выздоровел. К военной службе он был уже неспособен, вышел в «чистую» отставку с чином армейского прапорщика, ему дали денежное вспомоществование. Николай вернулся в Петербург, а оттуда поспешил в Москву. Его какая-то неведомая сила тянула в Каменки – он не забыл Софьи.

– Кого я вижу! Николай! – с удивлением посматривая на своего приёмыша, радостным голосом проговорил князь.

– Здравия желаю, ваше сиятельство! – немного растерявшись, ответил Цыганов; он не знал, что Гарины поселились в Москве, и не ожидал встречи со старым князем.

– Откуда ты?

– Прямо с войны я, ваше сиятельство, в чистой отставке: рана в бок сделала меня калекой.

– Молодчина, герой! Дай обнять. Поздравляю, по мундиру вижу – ты произведён в офицеры. Рад, братец, очень рад. Ну, а что Сергей, как?

– Князь Сергей Владимирович до дня моего отъезда из армии находился в вожделенном здравии и получил повышение.

– Какое? – радостным голосом спросил князь.

– Назначен в адъютанты к главнокомандующему, – ответил Цыганов.

– Да кто теперь у вас главнокомандующий? И не поймёшь: одни говорят – Каменский, другие – Беннигсен.

– Граф Каменский, согласно прошению, уволен, а назначен Беннигсен. Князь Сергей Владимирович состоит теперь главным адъютантом Беннигсена.

– Ну, слава Богу, рад за него. Пойдём, братец, ко мне, мы живём недалеко – на Поварской. Я дом купил – хотим пожить в Москве. Пойдём, кстати расскажешь княгине и Софье про Сергея.

– За счастье почту, ваше сиятельство!

Старый князь и отставной прапорщик направились к Поварской улице.

Через несколько минут они подошли к воротам дома. Князь провёл Николая прямо в гостиную.

– Вот вам и гость, прошу любить да жаловать! – весело проговорил князь, обращаясь к жене и дочери.

– Николай! – с удивлением проговорила княгиня Лидия Михайловна, осматривая с ног до головы молодого человека.

– Раненый офицер – произведён! Поздравьте – герой, французов рубил! Молодец!

– Давно ли вернулись? – спросила княжна, поднимая свои лучистые глаза на офицера.

– В Москве, княжна, только второй день.

– Что Серж? Расскажите, что вы про него знаете.

– С удовольствием, княжна.

Цыганов рассказал Гариным всё, что знал про молодого князя, про его боевые подвиги, и несколько преувеличил; он знал, что своим рассказом сделает удовольствие княгине и Софье.

Цыганов выглядел не тем робким и покорным молодым человеком, каким он поехал на войну. Получив чин, он стал другим; его нельзя было узнать – ни робости, ни застенчивости в нём не стало теперь; он самостоятелен, ни от кого не зависим. Цыганов добился того, к чему так давно стремился; у него есть имя и положение. Офицерский мундир и крест св. Георгия украшают грудь некогда безродного подкидыша.

– Ты где же остановился? – спросил князь у Цыганова, когда он окончил свой рассказ о молодом Гарине.

– На постоялом дворе, ваше сиятельство.

– Ну, больше там ты не будешь: сегодня же, братец, приезжай ко мне в дом. Места хватит.

– Вы так добры ко мне, князь! Мне совестно, я могу вас стеснить.

– В таком большом доме! Полно, братец! Решено – ты будешь жить у нас.

– Разумеется, живите у нас, – как-то неохотно и лениво промолвила Лидия Михайловна.

– Я просто не найду слов, как благодарить ваше сиятельство!

– Ну, что за благодарность! Ты расскажешь княгине про Наполеона и про войну: она страстная охотница слушать. Особенно про Наполеона. Этот корсиканец – её кумир.

Владимир Иванович добродушно засмеялся.

– Оставь, князь, говорить глупости! Я не настолько глупа, чтобы преклоняться пред этим бездушным, бессердечным истуканом! Что такое Наполеон? Раздутый гений – не больше...

– Тут, княгиня, я с тобою согласен, но только не забывай и того, что этот раздутый, как ты говоришь, гений завладел почти всей Европой и протягивает свои длинные руки к нашей России, – проговорил Владимир Иванович.

– Поверь, мой друг, русские отсекут ему длинные руки! – возразила мужу княгиня.

– Дай Бог! Ты знаешь, я ненавижу и презираю Бонапарта, но, к моему сожалению, должен сознаться, что он умеет сражаться. Аустерлицкое и другие сражения...

– Но позвольте, князь, Пултусское сражение доказало, что и русские умеют постоять за себя! – твёрдо сказал Цыганов.

– О да! Пултусская битва не дала восторжествовать Наполеону. Этой победой русское войско праздновало воскресение своей славы, минутно поблѣкшей под Аустерлицем. Этим сражением руководил Беннигсен? – спросил у Николая князь.

– Так точно, ваше сиятельство, и, как говорят, Беннигсен сделал это вопреки распоряжениям главнокомандующего графа Каменского.

– Хвала и честь Беннигсену. Ведь он подвергал себя большой ответственности, отступая от приказаний главнокомандующего, – сказал князь.

– А ты забыл, мой друг, что сказала Великая Екатерина? – пылливо посматривая на мужа, спросила Лидия Михайловна.

– «Победителей не судят», – ответил князь. – Наш добрый государь вполне оценил заслуги Беннигсена и в пример другим наградил его крестом св. Георгия второй степени и пятью тысячами червонцев.

В продолжение всего разговора Софья молча сидела и старательно вышивала по канве.

– Что же ты, Софья, молчишь и не принимаешь участия в нашей беседе? – обратилась княгиня к дочери.

– Ты знаешь, мама, я так мало понимаю в военном деле, что не решаюсь и говорить про это, – ответила с улыбкой красавица.

В гостиную вошёл Леонид Николаевич Прозоров; в руках у него был большой букет роз. При входе красивого молодого человека княжна радостно побежала к нему навстречу. Владимир Иванович и Лидия Михайловна встали и радушно приветствовали вошедшего.

После обычных приветствий князь познакомил Цыганова с Леонидом Николаевичем.

– Очень приятно, я уже кое-что слышал о вас от Софьи и от Лидии Михайловны, – пожимая руку у Цыганова, проговорил Прозоров. – Вы с войны? Наверное, расскажете нам о действиях нашей армии...

– Я совсем забыл, братец, – поздравь Софи: Леонид Николаевич её жених, – проговорил

князь.

– Как?! Что вы сказали, ваше сиятельство? – менясь в лице, спросил Цыганов.

– Поздравь, говорю, жениха и невесту, – повторил князь, показывая на Прозорова и Софью.

– Вот как. Я... я не знал... Поздравляю, княжна Софья Владимировна, и вас, Леонид Николаевич! – Голос у Николая дрожал, он то краснел, то бледнел.

– Что с тобою, братец? – всматриваясь в Цыганова, спросил князь.

– Извините, ваше сиятельство, мне... мне нездоровится.

– Понятно, ты ещё не совсем оправился от раны. Ступай, братец, отдохни. Пойдём, я скажу, чтобы для тебя приготовили комнату.

– Вы так добры, ваше сиятельство!..

Князь и Цыганов вышли из гостиной. Николаю отвели в нижнем этаже просторную, чистую комнату, хорошо обставленную, а для услуг к нему приставили одного из лакеев.

Когда Цыганов остался один в своей комнате, он чуть не со стоном бросился на кровать.

«Замуж выходит! А я было, дурак, надеялся, спешил сюда! Думал заслужить любовь княжны! И заслужил. Эх, судьба, судьба, когда ты перестанешь быть мачехой?! А как хороша, как хороша! Зачем я сюда приехал? Вдали от неё любовь во мне молчала! А как увидел... Да что я? Не завтра её свадьба, ещё времени много. Погоди, барин, без боя я не уступлю тебе красотку!»

В продолжение всего дня Николай не выходил из комнаты; князь присылал узнать о его здоровье.

– Скажи князю, что мне легче. Я никакой боли не чувствую, только слабость, но это скоро пройдёт.

– Обедать сюда подать или пойдёте в столовую? – спросил лакей.

– Я не хочу есть. Поблагодари их сиятельство.

– Слушаю, – злобно улыбаясь, проговорил лакей.

«Ишь, тоже персона! В баре вышел!» – подумал он про себя.

Дворовые князя не привыкли смотреть на Цыганова как на барина, а смотрели как на равного себе и завидовали ему.

Все давно спали в княжеском доме, только не спал один Цыганов, он быстро расхаживал по своей комнате, мрачные, чёрные думы отуманили его голову. Долго он что-то обдумывал. Сальная свеча отекла и горела тускло, но молодой человек не обращал на это внимания.

«Так жить нельзя! Одна мука! Надо решиться! Я – или он, мой разлучник. А нам двоим не жить на белом свете».

Часы пробили полночь; свеча обгорела и погасла, распространяя смрадный запах. Николай лёг, но благодетельный сон бежал от него; только к рассвету заснул он лихорадочным, тревожным сном.

ГЛАВА X

Наступил 1807 год. Русские и французские войска, утомлённые сражениями, отдыхали; боевые схватки на некоторое время прекратились.

Новый год наши приятели – ротмистр Зарницкий и князь Сергей Гарин – встретили на окраине России, почти в виду неприятельских войск. С Зарницким неразлучно находился и молодой казак Александр Дуров. Пётр Петрович полюбил храброго и отважного юношу, да не он один, а все офицеры и солдаты эскадрона, к которому приписан был Дуров, привязались к этому неустрашимому казаку. Некоторые из солдат, смотря на белизну и нежность лица и рук Дурова, разделяли мнение старика Щетины и говорили, что молодой казак – непременно «переряженная девка».

– Эх хватили! – возражали другие. – Будь казак девка, разве бы он так храбро сражался? У девки какая сила! Она гораздо веретеном вертеть, а не саблей острой. Нет, братцы, казак – богатырь!

– Только он не из простых.

– Из дворян, говорят.

- То-то очень он бел, руки такие махонькие, да и голосок больно тонок.
- Заговорит – ровно девка, ей-богу!
- Может, и вправду девка.
- Ври!
- Чего врать! Ведь наш унтер сказывал, что были примеры.
- Какие?
- А такие: девки и бабы рядились в солдатскую амуницию и шли на сражение.
- Куда оне годны? Разве пушки ими затыкать!

Так переговаривались солдаты насчёт молодого казака Дурова; эти слова доходили и до него самого, но молодой храбрец мало обращал на это внимания. Наконец слухи дошли и до главнокомандующего. Беннигсен потребовал к себе Дурова.

– Мне много говорили о вашей храбрости, господин Дуров, и мне самому захотелось на вас взглянуть, познакомиться, – пристально оглядывая с ног до головы казака, встретил его главнокомандующий.

– Рад стараться, ваше высокопревосходительство! – вытянувшись и опустив руки по швам, молодецкато сказал Дуров.

– Я доволен вашей храбростью, молодой человек, и готов вам покровительствовать. Но должен предупредить, что если ваши родные узнают о вашем пребывании, то ведь они могут потребовать вас к себе. Я и то отступил от закона, разрешив вам быть в рядах армии.

– Не хочу скрывать от вашего превосходительства, что я на войне против желания моего отца.

– Знаю, слышал... И притом эти слухи. Многие уверяют, что вы девица переряженная, – тихо проговорил главнокомандующий, продолжая пристально смотреть на Дурова. – положим, этим слухам я мало верю и Жанной д'Арк вас не признаю. Вы знаете, молодой человек, кто была Орлеанская дева?

– Как же, ваше превосходительство! Жанна д'Арк помогала французам победить англичан.

– Представьте! Меня уверяют, что вы в некотором роде Жанна д'Арк.

Генерал весело засмеялся; молодой казак растерялся и покраснел.

– Что вы краснеете, уж не в самом ли деле вы девица?..

– Ваше высокопревосходительство... я... смею вас уверить.

– Вы герой, я одно только это знаю, и будьте всегда таким...

Главнокомандующий отпустил Дурова и обещал ему своё покровительство.

ГЛАВА XI

Главнокомандующий Беннигсен спешил оправдать доверие императора отважным подвигом. Левое крыло французской армии находилось под начальством маршала Бернадота и расположено было в окрестностях Эльбинга; этот отряд потерял связь с главной армией. Беннигсен решил истребить его и с своими корпусами двинулся на Бернадота. Наполеон, узнав об этом, принуждён был в жестокий мороз подняться с зимних квартир и устремить всю свою многочисленную армию в тыл русским, угрожая отрезать их от пределов России. Беннигсен, к счастью, узнал о намерении Наполеона, оставил Бернадота в покое и поспешно отступил к Прейсиш-Эйлау.

Наполеон, приготавливаясь к наступательным действиям, в то же время обеспечивал и тыл, и фланги; он приказал генералу Савари держаться между Броком, наблюдать за русским генералом Эссеном и не допускать его соединиться с Беннигсеном, а также, несмотря на зимнее время, продолжать укрепление в Пултуске; генералу Шасселу⁴⁷ – усилить оборону Праги⁴⁸ и

⁴⁷ Шассел (Шастель), Пьер-Луи-Эме (1774–1826) – французский генерал-лейтенант, участник похода в Египет. Собираатель древностей.

⁴⁸ Прага – предместье Варшавы.

оставить временные укрепления около Варшавы; маршалу Лефевру – укрепиться в Торне. «Воздвигая против войск Александра твердыни на Висле, Буге и Наре, в большом расстоянии от Парижа, мог ли Наполеон вообразить, что через семь лет потом будет он горько, но безвозвратно раскаиваться, зачем против Александра не укрепил он Парижа!» – говорит по этому поводу военный историк.

Гвардия Наполеона тоже выступила из Варшавы с зимних квартир; в Варшаве жилось им хорошо и весело: поляки и красивые польки ухаживали за старыми гвардейцами, закалёнными в битвах.

Двадцатого января 1807 года Наполеон прибыл к своей армии и хотел атаковать русскую и удалить от пределов России. Но, к счастью, операционный план Наполеона и его приказы попали в руки храброму генералу Багратиону; этот план Багратион отослал к главнокомандующему. Узнав замысел Наполеона, Беннигсен отдал приказ всем корпусам немедленно и быстро собираться у Янкова, а Барклаю де Толли по возможности замедлять наступление французов; храбрый Багратион и Барклай де Толли двое суток старались удерживать французский авангард. «Достойны похвалы, – писал Барклай де Толли в донесении, – как великая стойкость и послушание войск, так и хладнокровие и присутствие духа начальников. Атакуемые неприятелем, вчетверо сильнее, они везде встречали его храбро».

Велико было удивление французского императора, когда дошло до него известие, что русская армия сосредоточена у Янкова и готова к бою. Наполеон принуждён был переменить план атаки.

Ограничась перестрелками и простояв почти два дня друг против друга, русская армия ночью покинула янковскую позицию и направилась тремя колоннами на кенигсбергскую дорогу.

«Глубокий снег, узкие дороги и леса затрудняли ночной марш: пехота и конница перемешались с обозами и артиллерией; орудия и повозки цеплялись за деревья; канонеры и обозные принуждены были рубить лес, увязая в снегу до пояса». Прикрытие движения нашей армии возложено было на князя Багратиона; он был назначен начальником арьергарда.

Вот как характеризует Багратиона Михайловский-Данилевский: «Сон Багратиона был краткий: три – много четыре часа в сутки. Каждый присылаемый к нему с приказаниями или донесениями, а равно кто возвращался с разъездов – должен был будить его. На войне Багратион любил жить роскошно, но только для других, а не для себя, ведя жизнь самую умеренную. Он был одет днём и ночью. Одежда его состояла тогда из сюртука с Георгиевскою звездою, шпаги, подаренной ему Суворовым в Италии, на голове картуз из серой смушки,⁴⁹ в руке нагайка. В зимнем походе не соблюдал формы, а надевал что более грело».

Многочисленная армия Наполеона напирала на тыл Багратиона; неприятели посылали колонны в обход его, стараясь перехватить ему дорогу, – но герой Багратион везде разгонял французов. Русское войско, дойдя до Эйлау, тут остановилось и стало готовиться к битве.

Грозная будущим ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое января застала Наполеона и Беннигсена в приготовлениях к сражению. Целью Беннигсена было соединение с Лестоком и защита Кенигсберга; предметом Наполеона – разгром русских, если они примут бой.

Русская армия при Эйлау, в количестве шестидесяти восьми тысяч человек, расположена была по холмистой равнине, покрытой снегом; на этой равнине находилось несколько замёрзших озёр, представлявших собою плоскости, удобные для действия пехоты и конницы.

У Наполеона под Эйлау было до восьмидесяти тысяч солдат. Едва стало рассветать, как русское войско стояло «в ружьё». Было морозное утро; костры ещё не потухли и курились.

Наполеон выехал из города и с горы обозревал свою армию; бледное лицо его было мрачно; он хмурил брови и был чем-то недоволен; окружавшая его свита безмолвствовала, робко поглядывая на своего властелина.

– Вся выгода на стороне русских. Я не надеюсь на хороший исход сражения! – ни к кому

⁴⁹ Смушка, шкурка ягнёнка (в возрасте до 3 сут), имеющая завитки шерсти, разнообразные по размерам, блеску и рисунку. Наиболее ценны смушки от ягнят каракульской породы.

не обращаясь, громко проговорил Наполеон.

– Армия вашего величества привыкла побеждать, – льстивым голосом сказал кто-то из свиты.

– Вы так думаете? Посмотрим!

– Вы победите, государь, несомненно! – сказал Дюрок; этими словами он хотел развлечь императора.

– Я сам бы не сомневался в победе, если бы корпус маршала Бернадота был здесь. Но, увы, его нет в такой решительный день! Содействие этого корпуса дало бы мне верную победу.

– Не отчаивайтесь, ваше величество!

– Что ты сказал, Дюрок? Я отчаиваюсь? Ты с ума сошёл! Повторяю, я верю в мою счастливую звезду. Скажите к Даву и к Нею и моим именем скажите, чтобы они спешили к назначенным местам, в тыл русским, – обратился Наполеон к своим адъютантам. Те понеслись с приказаниями.

Потом Наполеон призвал маршалов Сульта, Ожеро и Мюрата и каждому из них распределил, где он должен занять позицию.

Лично себе Наполеон оставил командование гвардией.

Французские войска стали строиться. Наш главнокомандующий отдал приказ открыть огонь, и шестьдесят орудий грянули в неприятелей, выходивших из Эйлау; ответом на это был огонь восьмидесяти пушек со стороны французов. Земля дрогнула от этого адского грома. Пушечные выстрелы всё усиливались. Открылась страшная канонада.

– Что, юноша, как тебе нравится этот пушечный концерт? – спросил ротмистр Зарницкий у Дурова, с улыбкой на него посматривая; ротмистр и молодой казак стояли вместе во главе эскадрона.

– Ничего, господин ротмистр, – не моргнув глазом, ответил Дуров.

– Голова не кружится? Уши не заложило?

– Нисколько!

– Молодчина, во всей форме молодчина! Трусости в тебе нет.

– Зачем трусить? На войне об этом не думают.

– Герой ты, Дуров! Право, герой!

«Врёт старый дурак Щетина: на казака говорит – девица переряженная. От такого адского грома и шума на что у меня – и то голова кругом ходит, а он и глазом не моргнёт, ровно на парадном смотре стоит!» – думал Пётр Петрович, с удивлением и любовью поглядывая на отважного молодого человека.

– Глянь-ка, ребята, на казака-то.

– А что?

– Ну и мальчонка! Ни робости в нём, ни страха.

– А глаза-то так и горят, видно, и пушка ему нипочём.

– Ещё улыбается. Право слово, смеётся!

– Ну, чудо! Вот так казак! Мал, да удал.

– И конь, братцы, под ним. Страсти!

– Лихой конь! Каков наездник, таков и конь!

– Видал я, братцы, храбрецов «ироев», а такого, как наш казак, не приходилось.

– Где! Одно слово – воин-богатырь!

– Ровно Бова-королевич.

Так переговаривались солдаты, находившиеся вблизи Дурова. Они удивлялись его отваге, да и было чему: молоденький, безусый воин не страшится этого ада; перед его глазами сотнями падают люди, истерзанные, окровавленные. Белый снег пропитывается кровью и становится красным. Повсюду крики, стон, адская пальба; пороховой дым туманит воздух, застилает глаза. От этой поистине ужасной картины ни один мускул не дрогнет на нежном лице казака; он смело глядит в глаза смерти.

Около трёх часов продолжался ужасный огонь из нескольких сот орудий. Но в ходе сражения ничего особенного не случилось.

В десятом часу утра корпус Даву стал приближаться к русским. Только тронулись французы, закрутилась большая метель; снег валил хлопьями; пронзительный ветер бил им

прямо в лицо. Воздух померк.

Французы под командою маршала Ожеро сбились от снежной метели с пути, очутились перед нашими батареями и были встречены картечью. Французы оцепенели от неожиданности; маршал Ожеро и два дивизионных генерала пали, тяжело раненные, и отнесены были назад. В мгновение ока несколько тысяч русских полков кинулись на французов в штыки. Произошла страшная, дотоле не виданная схватка. Более двадцати тысяч человек с обеих сторон вонзали трёхгранное остриё друг в друга, резались без пощады. Частями французы рвались вперёд, хватались за наши орудия, мгновенно овладевали ими и выпускали дух под штыками, прикладами и банниками. Груды тел падали, осыпаемые свежими грудями. Наконец корпус Ожеро был опрокинут и, преследуемый пехотою и конницею, потерял несколько знамён.

Эскадрон Зарницкого опередил другие и, преследуя французов, явился в ста шагах от Наполеона.

Старая гвардия императора французов ринулась на храбрых гусаров и рассеяла их с небольшим уроном.

Пётр Петрович и Дуров спаслись от неприятельских пуль и сабель.

– Что, юноша, видел Бонапарта? – спросил ротмистр у Дурова.

– Видел, Пётр Петрович, хорошо видел...

– Не испугался?

– Помилуйте, чего бояться?..

– А многие, юноша, его боятся – он повелевает миллионами.

– Не таким, господин ротмистр, воображал я Наполеона.

– А каким же?

– Я думал, этот гениальный человек имеет гениальное лицо, величественную осанку, облачён в воинские доспехи. И что же?.. Вижу небольшого роста человечка с сухим несимпатичным лицом, сутуловатый, в каком-то поношенном мундире и в простой шляпе. И это гений?..

– Да, мой милый, покоритель полмира. Величие не в наружности, – возразил Дурову ротмистр.

Наполеон, видя незавидное положение своих дел, поспешил приказать Мюрату с резервною конницею выручать атакованный русскими корпус Ожеро. Мюрат кинулся на помощь и опрокинул русских.

Но взятые во фланги нашею кавалерией французские драгуны были обращены назад с большим для них уроном. Успех наших был очевиден: от корпуса Ожеро остались одни только обломки. На некоторое время кровопролитие прекратилось. Обе враждующие армии устраивались. Наш главнокомандующий подкреплял боевые линии большею частью резерва генерала Дохтурова.⁵⁰ По всему протяжению армий, как русской, так и французской, гремела канонада.

По прошествии некоторого времени война разгорелась с новою силой. Русские ни на шаг не отступали, несмотря на то, что французов было более. Теснимый нашим войском, Даву принуждён был отступить. Наше войско умножилось новыми резервами; Наполеон, видя это, обратился к начальнику главного штаба Бертье⁵¹ с такими словами:

– Знаете ли, Бертье, – повторяю, я начинаю сомневаться в успехе. Посмотрите, как храбро сражаются русские.

– Но, ваше величество, французы не уступают им в храбрости.

– Да, к русским пришли подкрепления, а у нас боевые снаряды почти истощились. Ней не является, а Бернадот далеко; я думаю, лучше идти им навстречу.

Идти навстречу – значит идти назад, отступать; но слово «отступление» Наполеон не

⁵⁰ Дохтуров (Докторов) Дмитрий Сергеевич (1756–1816) – генерал от инфантерии. В кампанию 1812 г. герой сражений при Бородине и Малоярославце.

⁵¹ Бертье Александр (1753–1815) – князь Невшательский и Ваграмский, начальник французского главного штаба.

произносил, ожидая, что предпримет Беннигсен: двинется ли вперёд или остановится.

Главкомандующий отдал приказ графу Остерману готовиться к атаке. Русские солдаты охотно шли к атаке, колонны формировались, но по причине вечера Беннигсен должен был отменить свой приказ. Избавясь от преследований и натиска, Даву продолжал канонаду до позднего вечера. Все селения по окружности пылали, небо от сильного зарева сделалось багровым.

Как русские, так и французы были страшно утомлены. Повсюду зажигались костры, несчастные раненые, полузамёрзшие, старались подползти к кострам; некоторые, истекая кровью, умирали.

Главкомандующий, удостоверившись, что наш правый фланг, находившийся под начальством Тучкова,⁵² пострадал несравненно меньше других войск, приказал ему идти вперёд.

Маршал Ней старался обойти корпус Тучкова и открыл пальбу в тыл нашим. Эскадрон Зарницкого находился здесь.

– Мы обойдены! – закричал какой-то офицер.

– Что же, пробьёмся! Чего вы испугались, господин офицер? – хмуря брови, сердито спросил Пётр Петрович.

– Я не испугался, господин ротмистр, а хотел только предупредить вас. Слышите, какую пальбу открыли французы!

Между тем Ней обходил наши полки. Это побудило Беннигсена отложить ночное нападение, которое, по свидетельству французов, могло иметь для Наполеона пагубные последствия, и стал отступать к Кенигсбергу.

На войне под Прейсиш-Эйлау убито и ранено двадцать шесть тысяч человек русских: в числе раненых было девять генералов. Французов убито не менее наших; у них одних убитых насчитывалось восемнадцать тысяч; но некоторые очевидцы-французы говорили об убыли гораздо значительнейшей. Корпус Ожеро пострадал до такой степени, что его расформировали, и оставшиеся в живых солдаты поступили в другие корпуса.

Наши трофеи состояли из нескольких знамён, мы же не потеряли под Эйлау ни пушек, ни знамён.

О битве под Эйлау вот что пишет г. Михайловский-Данилевский:

«Обе воевавшие стороны приписали себе победу под Эйлау... С какою целью дано было Наполеоном эйлауское сражение? Он хотел корпусами Нея и Даву окружить русскую армию и отрезать её от Кенигсберга и России, – но достиг ли он цели? Ней не поспел к сражению, а нападение Даву кончилось безуспешно. Где же победа? Если бы Наполеон одержал её действительно, он преследовал бы отступающего неприятеля, и ему легко было бы отнять у разбитых Кенигсберг – город, в военном и политическом отношениях тогда важности великой. Наполеон не принадлежал к числу полководцев, останавливающихся после победы, упускающих плоды выигранного сражения. Но эйлаускою битвою не приобрёл он ни малейшей существенной выгоды, потерял знамёна, не отбив ни одного, и должен был несколько дней стоять на одном месте. Армия его, как истрелянный линейный корабль с подбитыми снастями, колыхаюсь, была неспособна не только к нападению, но даже к движению и бою: на каждое орудие оставалось только по семи зарядов. Эйлауское сражение было самое упорное и кровопролитное из битв своего времени и надолго оставило глубокое впечатление на французах».

ГЛАВА XII

Эйлауское сражение произвело сильное впечатление между всем русским народом. Особенно радостно принято было известие о сражении в Петербурге; там возили отбитые французские знамёна с музыкой кавалергарды; народ густой толпой с радостными криками

⁵² Тучков Николай Алексеевич (1765–1812) – генерал-лейтенант, участник войн с Польшей, Швецией и Францией. Скончался от ранений, полученных в Бородинском сражении.

бежал за знамёнами.

Император Александр щедро награждал полководцев и солдат: главнокомандующий Беннигсен получил орден Андрея Первозванного, другие генералы, участвовавшие в сражении, получили кресты св. Георгия и св. Владимира. Ротмистр Зарницкий и князь Сергей Гарин произведены были в подполковники и награждены крестами св. Георгия 4-й степени; молодой казак Дуров за примерную храбрость и отвагу пожалован крестом св. Георгия и офицерским чином; все участники сражения не были забыты, все получили награды.

Русская армия продолжала отступать к Кенигсбергу. Войска были покрыты бивачным дымом, оледенелым инеем, в простреленных киверах и шинелях.

Французская армия не преследовала наших солдат, ей было не до того. Усталые, измученные французы сидели без продовольствия. Если бы наша армия в это время атаковала неприятеля, то победа наших была бы несомненна, французы ждали нападения со стороны русских. Только Наполеон уверял своих маршалов, что Беннигсен не в силах возобновить сражения.

– Не ждите нападения, господа, Беннигсену не до того, солдаты его изнурены и нуждаются в отдыхе, – говорил он.

Наполеон говорил это против своего убеждения, чтобы подкрепить дух, упавший в его маршалах после Эйлауского сражения.

– Но, государь, русские отступают так медленно, – заметил кто-то из маршалов.

– Медленно отступают... что же, солдаты устали, – ответил Наполеон, сердито хмуря брови; он отвёл своего любимца Дюрока в сторону и тихо сказал ему: – Знаешь ли, Дюрок, я сам боюсь нападения. Если Беннигсен возобновит битву, то наша армия пропала.

– Что вы говорите, ваше величество! – испуганно ответил Дюрок.

– Да, да, победа будет на стороне русских, – утвердительно сказал Наполеон.

Генерал Савари, преданный Наполеону, его любимец, пишет в своих мемуарах:

«Огромная потеря наша под Эйлау не позволила нам на другой день предпринять никакого наступательного действия. Совершенно бы были мы разбиты, если бы русские не отступили, но атаковали нас, да и Бернадот не мог соединиться с армией ранее двух дней».

Начальник арьергарда князь Багратион, дав Беннигсену отвести армию от поля сражения на довольно большое расстояние, сам отступил, не преследуемый неприятелем. Наполеон запретил «завязывать дело».

Наш главнокомандующий вступил двадцать девятого января в Кенигсберг и расположил армию впереди города, в позиции, наскоро укрепленной. Наполеон же со своею армией остался в Эйлау и его окрестностях; он приводил своих солдат в порядок, присоединял к армии какие можно было войска и приказал подвозить к Эйлау оружие и снаряды, «растрата коих в сражении была несметна».⁵³

Остановка нашей армии у Кенигсберга была для неё необходима и благотворна. Пруссаки отнеслись к нашим солдатам сочувственно и доброжелательно и снабжали, чем могли. Для пользования наших раненых король прусский прислал докторов и своего лейб-медика. Сама Пруссия находилась в это время в самом бедственном положении, все области её от Вислы до Везера были заняты и нещадно разоряемы французской армией.

Одна только восточная Пруссия ещё находилась под властью короля Фридриха-Вильгельма, но и тут кипела ожесточённая война. В побеждённой Пруссии не было даже места формировать новые резервы, состоявшие только из двенадцати тысяч человек; король прусский просил нашего государя о дозволении перевести резервы в Россию, в город Ковно, а также все драгоценные вещи: «казна, жемчуги, бриллианты, золотые и серебряные сосуды были отправлены за прусским конвоем в Россию, где и находились в продолжение

⁵³ Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном 1806–1807 гг. СПб., 1846.

войны. Также были переведены в Россию лучшие лошади казённых конских заводов. В несчастьи поддерживала короля только уверенность в заступлении императора Александра и в мужестве русской армии».⁵⁴

Вот до чего доведена была Пруссия опустошительною войною, что бедный король не находил места, где бы мог хранить остаток казны и драгоценные вещи; сам Фридрих-Вильгельм со своим двором находился в Мемеле; он рассчитывал на помощь русского царя и его храброй армии.

Тщеславный завоеватель Наполеон – и тот поколебался и стал изыскивать средства к миру. Твёрдость наших солдат пугала его, он желал прекратить войну и предложил Беннигсену перемирие. И получил отказ: наш главнокомандующий не согласился на перемирие.

Главная квартира главнокомандующего находилась на время в Данциге, в большом, красивом доме, который отвели ему прусские власти; одну из комнат этого дома занимал адъютант главнокомандующего – князь Сергей Гарин.

Однажды в тёплое весеннее утро молодой князь задумчиво сидел у открытого окна. Красавица Анна ни на минуту не покидала его воображения, – ни кровопролитное сражение, ни тревожная походная жизнь не заглушили в нём любви; он ещё сильнее, ещё пламеннее любил Анну; мысль, что она навсегда потеряна для него, ужасала его. На поле сражения Сергей Гарин искал смерти, под градом сыпавшихся пуль и картечей он скакал от одного корпусного генерала к другому с приказаниями главнокомандующего. Около него сотнями падали солдаты, сражённые неприятельскими пулями. Смерть страшно косила людей, но молодой князь уцелел каким-то чудом: ни пуля, ни сабля не коснулись его.

«Уже шесть месяцев прошло, как мы расстались с Анной. Где она? Что с ней? Может, вышла замуж, меня забыла, мою любовь забыла? А я мечтал о счастье. Зачем я вместе с Анной не поехал в Каменки? Зачем я её оставил в Петербурге?» – упрекал себя Сергей Гарин.

– Ваше сиятельство! А ваше сиятельство! – поспешно входя в комнату, позвал князя Михеев. Старик денщик неразлучно находился с князем, делил с ним и горе, и радость; он знал причину печали своего «княжича» и теперь спешил порадовать его неожиданностью.

– Ну, что ты? – откликнулся денщику князь.

– Немец-то ведь пришёл, вас спрашивает.

– Какой немец? Да что с тобой, Михеев?

– Да тот, что с дочерью в Питере жил; фамилию его не припомню.

– Гофман?! – не спросил, а громко крикнул князь.

– Он вас спрашивает.

– Так веди, веди его скорее. Вот неожиданность! Я сам пойду ему навстречу.

Гарин радостно кинулся к дверям и на пороге встретился со стариком Гофманом. Большая печаль видна была на его добром, откровенном лице. За последнее время Гофман так переменялся, похудел, осунулся; при первом взгляде князь едва мог его узнать.

– Господин Гофман! Вы ли? – Гарин хотел обнять старика, но он холодно отстранил это и только пожал руку князя.

– Вы не узнаёте меня, князь?

– Нет, нет, я вас сразу узнал. Но вы так переменялись! Что с вами, мой дорогой?

– Со мной ничего. А вы спросите про дочь, про мою милую Анну. Князь, вы совсем её забыли? – В голосе старика слышны были и слёзы, и упрёк.

– Что вы? Я... я забыл Анну! И вы это мне говорите, господин Гофман?

– Забыли, забыли мою бедную девочку!

– Не говорите этого, не говорите! Одна только смерть заставит меня забыть вашу дочь! Ну что же вы молчите, господин Гофман, что молчите? Да говорите же! Что Анна?

– Умирает, – тихо ответил Гофман.

– Что? Что вы сказали?! – меняясь в лице, крикнул Сергей.

⁵⁴ Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном 1806–1807 гг. СПб., 1846.

– Моя дочь умирает...

– Умирает, умирает!! – Князь упал на стул и закрыл лицо руками.

– Она послала меня, князь, сказать вам своё последнее «прости».

Голос у старого немца дрогнул, и по его исхудалому лицу потекли слёзы.

– Но слезами и отчаянием не поможешь. Садитесь, успокойтесь, господин Гофман, расскажите мне всё, всё расскажите.

Гарин страдал не менее старого немца, но он превозмог себя и сам, глотая слёзы, старался успокоить Гофмана.

– Скоротечная чахотка угрожает моей дочери смертью.

– Чахотка! Но с чего, с чего?

– От разбитой любви, от погибшего счастья, князь.

– Я вас не понимаю, Гофман! От какой разбитой любви? – спросил с недоумением молодой князь.

– Не понимаете, ваше сиятельство? А понять не трудно: моя дочь любила и любит вас своим чистым и незлобивым сердцем. А вы, князь... – Старик не договорил и печально поник своею головою.

– А я... что же я? Договаривайте, прошу вас!

– Вы безжалостно разбили её сердце, князь.

– Я... я! Да что вы говорите?!

– Вы любите мою дочь? – пристально смотря прямо в глаза Сергею, спросил старик.

– И вы ещё спрашиваете! Больше себя самого, больше жизни!

– Вы говорите правду? Я должен вам верить, князь?

– Я дворянин, господин Гофман! – гордо ответил князь.

– Извините, князь, я... я верю вам. Но это письмо, которое и меня, и дочь так убило...

– Какое письмо, какое?

– А то, которое вы из Москвы написали ротмистру Зарницкому, вашему приятелю. Вы, князь, в том письме писали, что вам отец с матерью не позволяют жениться на Анне, что вам сватают богатую красавицу... Вы с таким увлечением, ваше сиятельство, описали красоту этой барышни, что я и Анна могли подумать...

– А, теперь я понимаю. Но как это письмо попало к вам? – спросил у Гофмана Гарин.

– Как попало – об этом, князь, после.

– Нет, я хочу знать, какой негодяй передал вам это письмо. Надеюсь, не Зарницкий?

– О нет, князь, письмо доставил Цыганов.

– Николай! – с удивлением воскликнул князь.

– Да, он. Я сейчас всё подробно расскажу вам, князь. Вы назвали Цыганова негодяем, – более того, он подлец.

Старик Гофман рассказал князю, с каким нетерпением дожидалась Анна его возвращения из Каменок, как она считала дни и часы, когда он приедет. Сказал и о том, как к ним часто ходил Николай и как уверял Анну, что князю Сергею не позволяют отец с матерью на ней жениться, и в удостоверение своих слов принёс письмо, писанное рукою князя к Зарницкому.

– Этот подлец дошёл до того, что осмелился обнажить свою саблю на мою дочь. Я не знаю, как я не убил его.

– Успокойтесь, господин Гофман, мерзавец кровью поплатится мне за это! – с гневом сказал Сергей Гарин.

Он никак не воображал, что Николай Цыганов, безродный приёмыш его отца, станет ему смертельным врагом. Сергей обходился с ним всегда ласково и предупредительно; он был его благодетелем; благодаря содействию молодого князя Николай получил офицерский чин и пенсию. И что же? Вместо благодарности и преданности «жалкий подкидыш» отплачивает ему подлостью, становится ему соперником, смеет рассчитывать на любовь Анны!

«Если бы он был здесь, я убил бы его как собаку, я задушил бы гадину своими руками! О, моя милая, дорогая Анна! Я жестоко отплачу и за тебя, и за себя этому подлецу. И вот благодарность за все мои старания! Гадкий, презренный подкидыш, ты будешь раскаиваться в своей подлости! Я заставлю тебя раскаться», – думал Сергей Гарин, слушая Гофмана.

– По приезде на нашу ферму Анну совсем узнать было нельзя: куда девалась её весёлость?

Хмурая стала, печальная. Об вас, князь, она скучала, плакала, – дрожащим голосом рассказывал старик Гофман. – Всё вас вспоминала... Стала моя дочь худеть, чахнуть, появился удушливый кашель – предвестник чахотки; я, сколько мог, утешал Анну. Но что значит моё утешение! Наконец Анна слегла. Я пригласил того доктора, который лечил вас, князь. Он хороший, опытный доктор, осмотрел Анну... – тут старик смолк и задумался.

– Ну, и что же доктор? – нетерпеливо спросил Гарин.

– Нашёл у дочери скоротечную чахотку и приговорил её к смерти.

– Неужели нет исхода? Я всё брошу, поеду к ней, приглашу известных, знаменитых врачей...

– От смерти, князь, может излечить один Бог! А врачи тут ни при чём. «Если она переживёт весну, то доживёт до осени, не далее», – вот что сказал доктор.

– Но как же, Гофман, вы оставили больную дочь и решились сюда приехать? – спросил князь.

– Я должен был исполнить волю Анны. Она так просила меня, умоляла отыскать вас, князь. Если... если можно, то прошу вас, князь, к ней поехать: хочется ей на вас взглянуть, проститься с вами! Князь, во имя всего святого, прошу, заклинаю вас – поедemте! Исполните желание умирающей, она так горячо любит вас. «Отец, поезжай, найди князя и привези его: тогда я умру спокойно», – сказала мне Анна. И – поехал; немало трудов и времени стоило мне, князь, вас найти. Вы, вы поедете, поедете?.. Я... я на коленях буду просить вас!..

– Я готов ехать хоть сейчас, сию минуту, я брошу всё и поеду с вами.

– О, за это Господь вас вознаградит, князь!

Сергей Гарин хоть и решил ехать на ферму к Гофману, но не легко было это сделать. Об отпуске во время военного действия и думать было нечего. Князь посоветовался с Петром Петровичем и решил обратиться к главнокомандующему с просьбой откровенно объяснить с ним. Добрый и мягкий Беннигсен участливо отозвался на просьбу своего адъютанта и отпустил его на две недели в отпуск.

Этого времени достаточно было для князя, чтобы побывать на ферме старого Гофмана.

Не мешкая ни одной минуты, князь Гарин и Гофман поехали в Австрию.

ГЛАВА XIII

В Зимнем дворце, в кабинете императора Александра, как-то необычайно тихо; сам государь с задумчивым, печальным лицом медленно ходил по своему кабинету. Государь только что выслушал донесение флигель-адъютанта Ставицкого,⁵⁵ присланного Беннигсеном с донесением о сражении при Эйлау. Известие о русских убитых и раненых произвело на молодого императора сильное впечатление.

– Боже, сколько жертв! Сколько крови! Это ужасно! Приняты ли меры к облегчению несчастных раненых? – спросил государь у полковника.

– Раненых так много, ваше величество, что хирурги и доктора не успевали. Прусский король изволил прислать своего лейб-хирурга, а с ним целый штат докторов и хирургов приехали в Кенигсберг, тогда дело пошло быстрее, – почтительно ответил посланный главнокомандующего.

– Спасибо королю! Этого я не забуду.

– Вообще, ваше величество, жители Кенигсберга так сердечно и заботливо ухаживают за нашими солдатами и снабжают их всем необходимым.

– Свезите моё спасибо жителям Кенигсберга, господин полковник!

– Слушаю, ваше величество!

– А как мне жаль, как жаль моих солдат, убитых в сражении! Сколько осталось после них несчастных матерей, жён, детей! И за всё несчастье, принесённое моему народу, ответит мне Наполеон. Да падёт на его голову невинно пролитая кровь! Этот человек, кажется, для того и

⁵⁵ Ставицкий Максим Фёдорович (1778–1841) – участник войн с Наполеоном, с 1806 г. флигель-адъютант. Тяжело ранен в сражениях при Бородине и под Бриенном. Генерал-лейтенант, сенатор.

родился, чтобы упиваться кровавыми победами.

– Осмелюсь доложить вашему величеству, наше войско при Эйлау билось мужественно и храбро, несмотря на то, что неприятель превосходил наши силы. Доказательством вашему величеству служат знамёна, отбитые у французов, – проговорил Ставицкий.

– О, я уверен! Храбрость солдат мне хорошо известна. И непобедимый Наполеон едва ли осилит нас, хоть мне сердечно жаль проливать кровь, но я не положу оружия и буду биться. Делаю это я не из своего личного самолюбия или из тщеславия. Нет, нет! Избави Боже от этого! Я люблю Русь и народ, стараюсь о его спокойствии и благосостоянии. Счастье народа мне дорого.

– Ваше величество, народ прославляет вас и называет своим ангелом-хранителем.

– Вся моя жизнь будет посвящена исключительно моим подданным! Поезжайте, господин полковник, к главнокомандующему, свезите ему моё благоволение, а солдатам скажите моё спасибо! Уверьте участников славного боя при Эйлау, что всех их ждёт награда.

– Государь, царское спасибо для вашей армии выше чинов и орденов, – ответил Ставицкий.

– Затем скажите Беннигсену, чтобы он приложил все заботы о солдатах, в особенности о раненых. До меня дошёл слух, что в действующей армии сильный недостаток фуража и провианта. Этот слух ужасен! Бедные солдаты принуждены сражаться голодные, в рваной амуниции, в худых сапогах. Это зимой-то!

– Не смею утаить правды от вашего величества: нерадивое отношение провиантских чинов...

– С них строго взыщется, они будут судимы военным судом.

Откланявшись императору, флигель-адъютант Ставицкий вышел.

Государь подошёл к окну, выходившему на дворцовую площадь, и задумчиво стал смотреть; проходивший площадью народ, увидя в окне государя, стал останавливаться и низко ему кланяться. По прошествии некоторого времени собралась большая толпа; взоры всех устремлены были на окно, в котором виднелась величественная, прекрасная фигура обожаемого монарха. Государь, заметив народ, быстро направился к выходу; накинув на плечи шинель и накрыв голову треугольной шляпой с перьями, он вышел на крыльцо.

Громкое, радостное «ура» раздалось в морозном воздухе; народ ринулся к крыльцу и окружил императора; некоторые посмелее взобрались на ступени и стали почти рядом с императором.

– Господа, поздравляю с победой! – раздался громкий, мелодичный голос императора. – У французов отбито нашими солдатами несколько знамён! Вы их увидите. Я прикажу эти знамёна возить по улицам. Но я должен вам сказать, что победа при Эйлау недёшево нам досталась: несколько тысяч храбрецов легли на поле сражения. Помолится же за убитых и позаботимся об их сиротах!

Александр снял шляпу и стал усердно креститься; находившийся на площади народ последовал примеру своего обожаемого государя. Энтузиазм толпы был неописуем; громкие крики радости потрясали воздух. Народ толпился около Александра, некоторые целовали у него одежду. Государь был тронут народной любовью; на его прекрасных глазах виднелись слёзы.

– Спасибо вам, спасибо! – взволнованным голосом говорил император. – Вижу, вы любите меня.

– Государь-батюшка, да кого же нам и любить, как не тебя! Ведь ты нам отец, а мы детки твои! – всхлипывал какой-то старик, прижимая к своим рукам державную руку монарха.

– Прикажи, царь, мы все ляжем костями за тебя и за родную Русь! Все пойдём на врагов. Животы наши в твоих руках! – говорил какой-то здоровенный детина в барашковой шубе. – Да воскреснет Бог и расточатся враги твои!

Государь видел любовь своих подданных; его выразительное лицо блестело каким-то особым, неземным счастьем.

– Ах, Волконский, как я счастлив! – возвратившись к себе в кабинет, говорил император своему приближённому, генерал-адъютанту князю Волконскому. – Народ меня любит, а в этом большое счастье!

– Не только любит – обожает вас, государь.

– Да, да, я вижу. Я посвящу, князь, всю жизнь на счастье моего народа!

– Народ, государь, сознаёт, что вами благодетельствован.

– Я желал бы, чтобы все мои подданные были счастливы. Но, увы! – к сожалению, этого сделать я не в состоянии. Счастье на земле так превратно... Наполеон тоже верит в свою счастливую звезду...

– Верьте, ваше величество, звезда его счастья скоро померкнет.

– Ты думаешь? – спросил у Волконского государь.

– Ещё два таких сражения, какое было при Эйлау, – и от великой армии Наполеона не останется и следа.

– Да, да, дело при Эйлау указало Наполеону, что и русские умеют сражаться. Если бы не ночь, французы понесли бы ещё больший урон.

– Правда, ваше величество, если бы Беннигсен в деле двадцать седьмого января атаковал французов, то они были бы разбиты наголову, – сказал князь Волконский.

– К счастью для неприятеля, ночь помешала главнокомандующему выполнить атаку. Беннигсен – не Иисус Навин: он не мог сказать: «стой солнце и не двигйся луна». Я ниоткуда не вижу помощи, Англия и Австрия медлят откликнуться на мой призыв; одному русскому войску трудно победить Наполеона и положить предел его могуществу. Россия будет всегда иметь достаточно сил для защиты своих границ, но не для продолжительной наступательной войны. Я уже написал в Лондон графу Воронцову, чтобы он всеми силами старался вооружить Англию против Наполеона. Австрийцы боятся Наполеона и не хотят идти против него. Но они в этом раскаются, – сказал император и сел к письменному столу за работу.

Наш государь старался всячески поддержать злополучную Пруссию и её короля; он просил для Пруссии в Англии «значительного денежного вспоможения».

«Что станет с Великобританией? – между прочим, писал он своему послу в Лондон. – Если Наполеон сокрушит державы твёрдой земли, то потому только, что они не получили пособия от Англии. Для неё чрезвычайно важно счастливое окончание настоящей войны, чтобы лишить Бонапарта возможности распространять свои беспредельные хищения. Англию нельзя будет извинить, если она продолжит своё бездействие в такое время, когда должно удвоить усилия совокупно со мною. Не делается ли она виновною в тех самых ошибках, за которые прежде сего осуждала Пруссию и в которых ныне виновата Австрия?»

Государь убеждал Австрию «к союзу с нами», напомнил ей пример Пруссии, погибшей от нейтралитета, которого Пруссия держалась в 1805 году, и выставлял свою армию, которая в войне с Наполеоном делала чудеса храбрости, и если французское войско победит русское, тогда вся Европа будет «безусловно жертвою Наполеона».

Государь советовал Австрии ударить в тыл Наполеону.

И ответом со стороны венского двора было: «Ежели Австрия объявит войну Наполеону, он перенесёт театр действий с берегов Вислы и Нарева в недра Австрии и раздавит её».

Также и старания прусского короля побудить Австрию к войне с Наполеоном были безуспешны.

Итак, императору Александру одному пришлось изыскивать все средства одолеть Наполеона.

Наполеон, простояв на поле Эйлауского сражения более недели, наконец отступил на левый берег реки Пассарги. Храбрый генерал Платов, начальствовавший за отъездом князя Багратиона в Петербург нашим авангардом, следовал за французами. «Весь путь их был усеян брошенными обозами, умершими, издыхавшими солдатами и лошадьми. Торопливость в отступлении дошла до того, что страдальцев оставляли французы на произвол; казаки находили многих неприятельских солдат, лежавших на снегу, без покрова и одежды». Наш главнокомандующий с отдохнувшими в Кенигсберге солдатами и с вновь пришедшими полками направился по следам Наполеона, но внезапная оттепель остановила войско на неделю в стране, «совершенно опустошённой». Города Эйлау, Ландеберг и окрестные селения были буквально разграблены и выжжены французами. Тысячи убитых всё ещё лежали

непогребёнными на промёрзлой земле. Наполеон приказал хоронить своих убитых солдат, но мёрзлая земля и снег затрудняли выполнение его приказа. Трупы наших убитых солдат также некоторое время были не погребены, и не только солдатам или офицерам, но и генералам пришлось останавливаться на бивуаках, потому что в домах невозможно было жить от гниения неубранных трупов.

Наполеон, перейдя за Пассаргу, перенёс свою главную квартиру в Остероде, а русский главнокомандующий расположился со своею главною квартирою в Бартенштейне, поставив армию вокруг Гейльсберга. По желанию прусского короля Беннигсен отрядил в Данциг князя Щербатова с тремя гарнизонными батальонами и три полка донских казаков; король повелел считать князя Щербатова вторым военным губернатором Данцига и не заключать без его согласия никаких сделок и условий с Наполеоном. С конца февраля до мая обе враждующие армии бездействовали; только на левом крыле происходили небольшие стычки. Почему в такой долгий промежуток времени не было сражения? Потому что как русское войско, так и французское нуждалось в продолжительном отдыхе, – войска были изнурены после зимнего похода; кроме того, обе армии надо было устроить и пополнить.

Император Александр, желая лично удостовериться в положении дел на войне, поехал в действующую армию шестнадцатого марта через Ригу и Митаву; государя сопровождали обер-гофмаршал граф Толстой, министр иностранных дел барон Будберг,⁵⁶ генерал-адъютанты граф Ливен⁵⁷ и князь Волконский. Двадцать пятого марта император прибыл в Мемель и радушно был встречен королём прусским. Александр на время остановился в Мемеле, где жил и король. Государю воздавали высшие почести. Пруссак смотрели на него как на заступника несчастной Пруссии. Пробыв в Мемеле два дня, Александр, король и королева прусские отправились ранним утром в Юрбург на смотр прибывшей туда гвардии. Молодцы-гвардейцы отправились из Петербурга в половине февраля и шли при сильном морозе усиленными маршами; после блестящего смотра гвардия из Юрбурга выступила к нашей главной армии. В первых числах апреля государь и король прусский отправились в Бартенштейн, главную квартиру нашей армии. Александр милостиво принял Беннигсена, оказал ему большое доверие, приказал ему действовать по усмотрению и велел отдать следующий интересный приказ по армии:

«Победы под Пултуском и Прейсиш-Эйлау, одержанные генералом Беннигсеном над неприятелем, оправдали и увеличили доверенность, возложенную на искусство его. Прибытие его императорского величества к храброй своей армии не вводит ни в каком отношении ни малейшей перемены в образ действий начальства, под которым общее благо Европы столь ощутительно начинает уже возникать. Все повеления выходят по-прежнему от одного главнокомандующего – генерала Беннигсена, равно как и рапорты доставляются прямо к нему».

Государь, сделав смотр всей армии, возвратился в главную квартиру и заключил с королём прусским договор, имевший целью «упрочить в Европе общий и твёрдый мир, обеспеченный ручательством всех держав».

Александр желал одного – спокойствия и безопасности всех европейских государств; он хотел заставить Наполеона возвратить Пруссии и другим государствам их земли, которые были отняты французским императором.

Наш государь осуществил бы свой план, если бы другие венценосцы откликнулись вовремя на его призыв.

⁵⁶ Будберг, Андрей – Эберхард (Андрей Яковлевич) (1750–1812) – барон, генерал от инфантерии. Воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей, в 1806–1807 гг. министр иностранных дел.

⁵⁷ Ливен Христофор Андреевич (1774–1838) – граф, в 1806 г. начальник походной канцелярии, позже князь, дипломат.

ГЛАВА XIV

За несколько дней до своего отъезда в Австрию князь Сергей Гарин был откомандирован главнокомандующим в Мемель к прусскому королю Фридриху-Вильгельму с одним из донесений, в котором Беннигсен излагал королю ход дел. Король очень милостиво принял князя.

– Вы приехали, князь, очень кстати, – сказал король ему, – моей аудиенции дожидается адъютант Наполеона, присланный ко мне с письмом. Я сейчас приму его, и вы будете свидетелем моего разговора с доверенным французского императора.

– Вы очень ко мне милостивы, ваше величество, – с низким поклоном ответил Гарин.

– Вы будете здесь, за портьерой, – проговорил Фридрих-Вильгельм, показывая князю на комнату, находившуюся рядом с кабинетом короля.

Гарин поспешил в указанную комнату; король опустил за ним тяжёлую бархатную портьеру и, улыбнувшись, сказал:

– До свидания, князь! Надеюсь, не будете скучать...

Затем король приказал впустить посла французского императора.

Побеждая Пруссию, Наполеон, вместе с тем, сгорал желанием войти в союз с её королём Фридрихом-Вильгельмом. Его устрашали русские войска: битва при Эйлау доказала Наполеону храбрость и отвагу наших солдат. И когда последует мир с Фридрихом-Вильгельмом, тогда русская армия должна будет оставить пределы Пруссии.

Наполеон послал к прусскому королю собственноручное письмо с своим адъютантом – генералом Бертраном.⁵⁸

Фридрих-Вильгельм принял посла холодно, но вежливо.

– Могу ли я вручить вашему величеству письмо моего императора? – с низким поклоном проговорил Бертран, подавая письмо королю.

Фридрих-Вильгельм отстранил от себя это письмо и небрежно сказал:

– К сожалению, я плохо разбираю почерк Наполеона. Прошу вас, распечатайте и прочтите сами.

– Государь, я не могу, я не имею права распечатать письмо, адресованное вашему величеству, – растерянным голосом ответил генерал.

– Я даю вам на это право. Между вашим императором и мною не может быть секретов. Я думаю, письма Наполеона составляют просто продолжение его бюллетеней, которые он выпустил из Берлина и Потсдама. А такие письма должны быть достоянием света и истории. Пусть все знают и судят наши поступки! – резким голосом сказал Фридрих-Вильгельм. – Читайте же!

– Вы приказываете, ваше величество, – я должен повиноваться.

Бертран дрожащими руками сломал печать и стал тихо читать:

«Ваше величество получит это письмо через моего адъютанта – генерала Бертрана, который пользуется особым моим доверием. Поэтому вы можете вполне ему довериться, и я думаю, что его приезд будет вам приятен. Бертран сообщит вам мой взгляд насчёт положения ваших дел. Я хочу назначить границы вашему несчастью и как можно скорее дать организацию прусской монархии, могущество которой нужно для спокойствия Европы. Бертран сообщит вам также идею, как можно этого достигнуть, и я надеюсь, что ваше величество дадите мне ответ, что вы намерены делать. Вам необходимо принять меры, которые я предлагаю. Поверьте мне, ваше величество, что я желаю восстановить между нами прежнее расположение. Я не прочь от мира с Россией и Пруссией, если только они согласятся его принять. Я сам бы себя ненавидел, если б был виновником ещё большего пролития крови. Но что же мне делать? Мир находится в руках вашего величества, и я считал бы тот день, в который вы примете предлагаемый мир, счастливейшим в моей жизни.

⁵⁸ Бертран, Анри-Гратьен (1773–1844) – великий маршал двора Наполеона, участник боевых действий в Европе. Сопровождал Наполеона в изгнание на о. Эльбу и о. Св. Елены.

Наполеон».

– Вам, генерал, нужно ещё словесно сообщить мне некоторые предложения вашего императора? – спросил король, когда Бертран окончил чтение письма.

– Мой император уполномочил меня, ваше величество, повторить вам, что он желает с вашим величеством возобновить прежние дружеские отношения, с радостью протягивает вам руку и желает, чтобы вы по-прежнему царствовали.

– Царствовал как вассал Наполеона? – с иронией спросил прусский король.

– Нет, государь, вы будете ни от кого не зависимы.

– Что же? Для этого мне нужно быть союзником Наполеона?

– Да, ваше величество, но вы будете независимы, свободны. Император желает вашей дружбы, он надеется, что в войне с Россией вы будете на стороне Франции. Тогда император Наполеон соединёнными силами в самое короткое время принудит русского государя к миру. И Пруссия снова займёт своё прежнее место между европейскими державами. И как скоро мир будет заключён, все наши крепости и провинции опять перейдут к вам, и французское войско оставит ваши владения.

– Вы кончили, генерал? – спросил Фридрих-Вильгельм.

– Да, ваше величество, я кончил и жду вашего ответа.

– Ответ мой будет короток: я не принимаю ни мира, ни союза с вашим императором! – громко и резко ответил Фридрих-Вильгельм.

– Вы не принимаете, государь? – с удивлением проговорил адъютант Наполеона.

– Да, не принимаю! Вы этим удивлены, генерал? Пожалуй, я объясню вам причину моего отказа: я не могу принять этого мира потому, что он для меня постыден. Если бы я принял, то унизил бы себя. Я король по милости Божией и по праву рождения и не хочу быть вассалом Наполеона. Я начал войну ради моей чести и чести моего народа. До сих пор счастье было на вашей стороне, но придёт время – всё, что вы от нас отняли, мы опять присоединим к себе. Ни я, ни моя армия не нуждаемся в великодушии вашего императора.

– Ваше величество, подумайте: если вы откажетесь от мира, то император сделается вашим заклятым врагом и уничтожит всю Пруссию. Вспомните, государь, у вас почти нет ни армии, ни крепостей, – как бы с участием проговорил Бертран.

– Нам принадлежит ещё Данциг.

– Если ваше величество отвергнет мир, то первым делом моего императора будет – взять Данциг штурмом.

Фридрих-Вильгельм как бы не слышал этих слов и после некоторого молчания заговорил:

– Ещё вот почему я не принимаю мира: если я вступлю в союз с Наполеоном, то пойду против императора Александра, а он мой искренний друг и союзник. Я и Александр поклялись у гроба Фридриха Великого действовать совокупно в делах политики. Я никогда не буду клятвопреступником. Я король и держусь моего слова! – проговорил Фридрих-Вильгельм. – Я кончил, генерал. Скажите своему императору, что ни интриги, ни угрозы, ни обещания не заставят меня отказаться от союза с Россией, – добавил король и встал с кресла; этим он дал знать посланному Наполеоном, что переговоры окончены и он может удалиться.

Бертран откланялся и вышел из кабинета прусского короля.

Едва затворилась дверь за Бертраном, как король позвал Гарина.

– Вы слышали, князь, всё, что я говорил? – спросил у него Фридрих-Вильгельм.

– Слышал, ваше величество!

– Поезжайте и скажите генералу Беннигсену, как я ответил на предложение мне мира Наполеоном. Повторяю, я душевно предан императору Александру, я имею честь называть его искренним другом и постараюсь сохранить эту дружбу навсегда! Как велика моя любовь к Александру, так сильна ненависть к Наполеону...

Прусский король протянул князю Гарину руку и любезно с ним простился.

ГЛАВА XV

В замок Финкенштейн, где имел пребывание Наполеон, пришло неожиданное и радостное

для него известие: Данциг, давно осаждаемый французским войском, наконец сдался⁵⁹ «со всем гарнизоном». Ни к чему не повело геройское мужество осаждённых пруссаков, коменданта генерала Колькрета и князя Щербатова⁶⁰ с храбрыми солдатами и казаками. Напрасно было пролито много крови и разрушено домов: французский генерал Лефебр⁶¹ стеснял Данциг всё более и более; к французам на подмогу почти каждый день приходили свежие полки, между тем как число осаждённых уменьшалось ежечасно. Только сильная помощь могла спасти город от падения, но эта помощь ниоткуда не приходила. Комендант Данцига надеялся, что Англия, которая наконец соединилась с Россией и Пруссией, пришлёт помощь Данцигу. Правда, англичане прислали один корвет, вооружённый двадцатью двумя пушками с боевыми снарядами, но около города корвет сел на мель и был взят французами. Наш главнокомандующий на помощь Данцигу прислал семитысячный отряд, но маршал Удино⁶² не допустил его до города; половина нашего отряда была взята в плен, а другая отступила. В этой схватке участвовал и Зарницкий со своим отрядом. В отряде был также и молодой юнкер Александр Дуров. При отступлении одна шальная пуля скользнула по плечу Дурова, он побледнел и зашатался.

– Ты ранен? – участливо спросил у него Пётр Петрович.

– Да, слегка, – превозмогая себя, чтобы не застонать, ответил Дуров.

– Какое слегка – ты бледен как смерть!

– Успокойтесь, Пётр Петрович, ничего, спасибо за участие. Это пройдёт. – Дуров зашатался и наклонился к седлу.

– Ах, бедняга, да ты даже сидеть не можешь.

Зарницкий приказал двум уланам поддерживать юнкера. Рана в плечо, хоть и лёгкая, но всё-таки причиняла ему жестокую боль.

По прибытии в свой барак Зарницкий хотел осмотреть рану Дурова.

– Снимай скорее мундир, – сказал он юнкеру.

– Зачем? – весь вспыхнув, ответил тот.

– Как зачем? Надо осмотреть рану: я сейчас пошлю за фельдшером.

– Не надо, Пётр Петрович, это не рана, а скорее царапина.

– Однако кровь всё идёт.

– Перестанет. Я пойду на перевязочный пункт, там мне и забинтуют.

– До перевязочного пункта не близко. Я сам перевяжу рану не хуже любого фельдшера.

Эй, Щетина, полотенце и корпии, – крикнул денщику Зарницкий.

– Зараз, ваше высокоблагородие! – ответил тот.

– Не делайте этого, Пётр Петрович, не надо, – тихо проговорил Дуров, готовясь уйти из барака.

– Как не надо? Да что с тобой, братец? – с удивлением посматривая на юнкера, спросил Зарницкий.

– Я не сниму мундир, – твёрдо ответил Дуров.

– Да ты рехнулся! Или меня стыдишься? Может, ты и правду не мужчина, а красная девица?

– Я не сниму мундир, – повторил юнкер; он покраснел ещё более и ещё ниже опустил голову.

⁵⁹ Это произошло в мае 1807 г.

⁶⁰ Щербатов Алексей Григорьевич (1776–1848) – князь, шеф Костромского мушкетёрского полка, в 1806 г. генерал-майор.

⁶¹ Лефебр (Лефевр), Франсуа-Жозеф (1755–1820) – герцог Данцигский, маршал Франции, командующий старой гвардией Наполеона, в декабре 1812 г. взят в плен при Вильно.

⁶² Удино, Никола-Шарль (1767–1847) – маршал Франции, командующий гренадерским корпусом в 1805–1807 гг. В 1812 г. действовал на петербургском направлении.

– Не снимешь? Странно!

Пётр Петрович пристально посмотрел на Дурова и быстро проговорил:

– Ты... вы женщина? Так? Я угадал?

– Да, угадали... До свидания...

Молодая женщина, Надежда Андреевна, дотоле известная под именем Александра Дурова, медленно вышла из барака подполковника Зарницкого.

– Вот так штука! Не ожидал! Женщину за казака принял! Да не один я, а все. Чудо! – с удивлением говорил сам с собой Пётр Петрович, поражённый неожиданностью. – Чудо из чудес.

– Вот, ваше высокоблагородие, полотенце и корпия, – поспешно входя, проговорил старик денщик.

– Не надо, можешь унести назад.

– Как? А раненый юнкер? Ему надо?

– Пошёл вон! Говорю, не надо.

– А где же юнкер? – оглядываясь, спросил Щетина. – Куда он подевался?

– Вон, говорю!

– А как же, ваше высокоблагородие, насчёт раны? – невозмутимо продолжал спрашивать денщик.

– Вон, чёрт! – выходя из себя, крикнул Пётр Петрович на денщика.

Щетина поспешно ретировался.

«А ведь он даром старик, а догадливее меня: сразу отличил девицу от парня. А я? Срам – да и только. Догадлив, нечего сказать! Женщину за мужчину принял. Фу! В пот бросило! Ну и женщина! Какое присутствие духа, какая неустрашимость! Жаль, Гарина нет... Приедет – вот удивится! Непременно надо с Дуровым поговорить... то есть не с ним, а с ней. Только не теперь. Приди она сейчас ко мне, я просто сгорю со стыда. А женщина она редкая!» – так раздумывал Зарницкий, маршируя по своему барaku с длинным чубуком в руках.

– Ваше высокоблагородие, юнкер пришёл, – доложил Щетина своему барину.

– Какой юнкер?

– Да наш юнкер, Дуров.

– Ну!

– Ну, пришёл. Доложи, говорит, подполковнику.

– А, понимаю; пусть войдёт, – засуетился Пётр Петрович и быстро стал застёгиваться на все пуговицы и охорашиваться.

– Слушаю, – как-то насмешливо промолвил денщик и вышел.

Вошла Дурова; плечо её было перевязано; она взволнованным голосом тихо проговорила:

– Господин подполковник... я... пришла просить вас...

– Готов, готов служить... Прошу садиться, – показывая на простую табуретку, растерявшись, сказал Зарницкий.

– Разумеется, наши отношения теперь не могут быть прежними?

– Да. Верно-с, теперь не то, как можно!

– Но я надеюсь, по-прежнему вы останетесь мне другом.

– Другом это можно-с, с радостью! Потому вы чудная женщина, чудная! – немного оправившись, ответил Пётр Петрович.

– Спасибо вам, господин подполковник! Я прошу вас, Пётр Петрович, никому не открывать, что я женщина.

– Как же это?

– Вы добрый, честный! Смотрите на меня по-прежнему как на вашего подчинённого...

– Этого, к сожалению, я не могу: прежде я почитал вас за юношу, а теперь...

– И теперь смотрите на меня как на юнкера.

– Удивительная вы женщина! Позвольте узнать ваше имя.

– Звать меня Надежда Андреевна, а фамилию вы знаете: я не меняла её. Итак, Пётр Петрович, при других вы будете обращаться со мною по-прежнему.

– Трудненько, барынька, трудненько.

– Прошу вас, мой добрый! Ведь вы не скажете, что я женщина, никому не скажете?

- Не скажу-с.
- И виду не подадите?
- Вы того желаете – я повинуюсь.
- Спасибо вам, мой дорогой, спасибо! Я... Я многим вам обязана, многим!

Дурова с чувством пожала своей нежной, маленькой ручкой большую, мускулистую руку подполковника.

- Только странно, как это вы в казаках-то очутились?
- Я, Пётр Петрович, как-нибудь вам всё подробно расскажу.
- Очень рад буду вас послушать... Знаете ли, Надежда Андреевна, я и теперь не могу прийти в себя от удивления... в нашем полку женщина-воин, она сражается, да как ещё, любому герою не уступит!.. Храбрость необычайная.

– Вы преувеличиваете, господин подполковник, – скромно заметила Зарницкому кавалерист-девица.

– Нисколько, нисколько... О вашей храбрости говорят все солдаты... Вы чудная, необыкновенная женщина; я готов это сказать хоть целому миру! – с чувством проговорил Зарницкий, провожая Дурову из своего барака.

ГЛАВА XVI

Познакомимся же покороче с этой необычайной, феноменальной женщиной, которая на удивление всем в начале текущего столетия храбро и отважно сражалась в рядах русского войска и своею неустрашимостью заслужила офицерский чин и крест св. Георгия. О Дуровой, об этой «кавалерист-девице», много писали и говорили и до настоящего времени удивляются её храбрости, отваге и предприимчивости. Имя этой женщины облетело всю Россию. Дурову, как мы увидим далее, вытребовал император Александр I, обласкал её, пожаловал корнетом и, снисходя на её просьбу, разрешил ей поступить в Мариупольский гусарский полк, под фамилией Александрова.

Отец Надежды Дуровой, Андрей Васильевич, служил в армии ротмистром и тайком женился на дочери богатого полтавского помещика Александровича против его желания; старик Александрович никак не хотел, чтобы его дочь вышла за «москаля». Молодые венчались в одной из сельских церквей и после венца уехали в Киев; Марфа Тимофеевна – так звали жену Дурова – много писала своему отцу, просила у него прощения, но своенравный старик не сдавался и не отвечал дочери и только тогда смиростивился, когда у неё пошли дети. Первенцем молодой четы была Надежда, будущая храбрая девица-кавалерист.

С самого рождения мать невзлюбила маленькую Надю; ей хотелось первенцем иметь сына, а не дочь; зато малютка стала любимицею отца. Наде было только ещё четыре месяца, когда отец отдал на попечение свою дочь фланговому гусару, старику. Ахматов – так звали гусара – становится нянькой Нади. «Целые дни он таскал её на руках, носил в конюшню, сажал на лошадей. И девочка, не умея ещё ходить, делается вполне уже военным ребёнком, дочерью полка; её окружают все впечатления войны; сабли, ружья, пистолеты становятся её игрушками; военная музыка, утренние зори нежат её детский слух вперемешку с громкими криками: «Эскадрон! налево кругом, марш!» Девочка так привыкает к этим звукам, что они делаются ей приятны, как привычная песня няни, баюкающая слух в раннем детстве. Будучи четырёх месяцев, она уже испытала прелести походной жизни: отец из Киева переходил с полком в Херсон, за ним в карете следовала и молодая семья. Ни кукол, ни детских игр, ни мирных забав не помнит Надежда Андреевна в раннем детстве. Ружья, пистолеты, лошади, гусар Ахматов – добрый, тихий солдат, её нянька и воспитатель, – вот что воспоминает она из времён детства».⁶³

Благодаря такому воспитанию в девочке остались навсегда все наклонности к военной жизни, все гусарские привычки, манеры, симпатии; маленькая Надя как-то и держит себя по-гусарски. Её мать, изнеженная в богатом барском доме, ужасается, смотря на грубые манеры

⁶³ Некрасов Н. Биография Н. А. Дуровой.

и привычки дочери. Она сердится на неё, ругает, даже бьёт, но этим не исправляет гусарских привычек дочери. Больших трудов стоило бедной матери усадить свою дочь за азбуку или за какое-нибудь рукоделье: лишь только мать куда отвернётся, Надя или в саду, или в лесу лазит по деревьям, прыгает через канавы, а то, раздобыв отцовское ружьё или пистолет, выкидывает разные военные артикулы. Провинившуюся в этом дочку поймают, приведут к матери; раздражённая, нервная женщина набрасывается на дочь с целым потоком брани и упрёков; её запирают в комнате – Надя прыгает в окно, бежит в конюшню, выводит страшного черкесского жеребца Алкида и как ни в чём не бывало водит его по двору, а то вскарабкается на Алкида и, придерживаясь за гриву, скачет на нём.

Мать, видя, что ни брань, ни побои – ничто не исправляет дочери, отправила её в Малороссию к бабушке. Наде в это время было уже тринадцать лет. Там ей предоставили свободу бегать, играть, читать, но запретили даже и думать о ружьях и лошадях. От богатой бабушки она едет гостить к тётке; та старается перевоспитать племянницу, приучить к деликатному обращению, одевает её в хорошие платья, вывозит на балы и вечера; Надя мало-помалу начинает забывать свои гусарские замашки, она интересуется нарядами, книгами, охотно бывает в гостях, занимается собою и из «дочери полка» делается молоденькая барышня, правда, с некрасивым, но симпатичным лицом. Вот что пишет она про своё лицо в «Записках»: «Лицо моё было испорчено оспою, черты неправильны, а беспрестанное угнетение свободы и строгость обращения матери, а иногда и жестокость, напечатлели на физиономии моей выражение страха и печали».

В шестнадцать лет Надя не прочь была и пококетничать с сыном одной помещицы и дарить ему на память колечко. Тётка узнаёт это и после строгого выговора опять увозит её к бабушке; но там пробыла она не много: Надю вытребовала мать домой, в город Сарапул.

Поехала она из родной семьи, что называется, девочкой «сорвиголова», каким-то грубым солдатёнком в юбке, а вернулась благовоспитанной девушкой. Но по приезде домой в ней опять проснулась прежняя Надя; всё то, что она усвоила у богатых родных, чему от них научилась – было забыто. Невесело и нерадостно потекла жизнь молодой девушки в родном доме; отец, удручённый большою семьёю, бедствовал, мать по целым дням ворчала на Надю или плакала, жалуясь на свою судьбу. У матери с отцом произошёл разрыв; молодая девушка сторонилась своей матери и по-прежнему стала любимицею отца; он подарил ей своего бешеного коня Алкида, сшил ей черкесский бешмет и стал обучать верховой езде, стрельбе в цель и другим воинским приёмам.

Надя, восемнадцати лет, уступая настойчивым требованиям отца и матери, сделалась женою чиновника Василия Чернова. В 1801 году, октября двадцать пятого, отпразднована была в Сарапуле её свадьба. Но пылкая, эксцентричная натура Нади была не способна к тихой семейной жизни. Да и любила ли она своего молодого мужа? Родившийся сын не привязал её к мужу. Она ушла, бросила мужа. Но куда ей деваться? Где найти угол? В доме отца посыпались на неё упрёки, брань; её хотели насильно отправить к нелюбимому мужу. Надя простилась и с домом отца. Осенью в 1806 году она, переодетая по-мужскому, ночью, в день своих именин, тайком уехала из дома на Алкиде, а своё женское платье оставила на берегу реки Камы.

«Итак, я на воле! Свободна и независима! Я взяла мне принадлежащее – мою свободу! Свободу – драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку», – писала она в своих «Записках».

Надежда Андреевна пристала к отряду казаков, которые посланы были на Каму для усмирения разбойничьей шайки татар; потом, благодаря небольшим деньгам, которые у неё водились, молодая женщина без особых приключений добралась до нашей действующей против Наполеона армии и поступила в уланский полк рядовым.

ГЛАВА XVII

Анна во время продолжительного путешествия из Петербурга в Австрию сильно простудилась; следствием простуды была чахотка; к этому присоединилось ещё сердечное потрясение; она так глубоко, так нежно любила Сергея Гарина. Быть женою князя составляло для неё большое счастье. Теперь это счастье она считала погибшим; Анна думала, что Сергей

для неё навсегда потерян.

– Он женится на другой, меня совсем забыл. Зачем я князю? У него есть невеста – красавица, богатая. А я, глупая, мечтала о счастье, думала о любви!

Отец понимал страдание дочери и желал помочь ей. Но чем? Он видел, что она безнадежно любит князя и не переживёт разлуки с ним.

Анна захворала неизлечимой болезнью; эта болезнь в какие-нибудь три недели так её изменила, что Анну с трудом могли узнать даже близкие ей люди. Знакомый Гофману доктор употреблял все усилия спасти молодую девушку от ужасной болезни, но его опытность, знание и наука оказались бессильными в борьбе с злокачественной чахоткою.

– Доктор, неужели нет никакой надежды? – спрашивал старик Карл с замиранием сердца у доктора. – Прошу вас, скажите мне прямо. Что делать? Что делать?

– Молиться и не отчаиваться. Бог воскрешает мёртвых.

Во время разговора Гофмана с доктором Анна спала тревожным, лихорадочным сном. Отец все дни и ночи проводил около больной дочери. Горе старика было велико, безысходно; в ней он видел всё своё счастье, он жил ею; мысль, что ему придётся лишиться дочери, приводила старика в оцепенение.

– Ты плакал? – с любовью посматривая на отца, тихо спросила у него проснувшаяся Анна.

– Нет, Анна, нет. Зачем я стану плакать?

– Ты плакал, отец, глаза твои красны от слёз.

– Да нет же, милая, – старался успокоить Гофман свою больную дочь.

– Знаешь, отец, сегодня мне так легко, хорошо, – у меня ничего не болит. Только вот противный кашель. Ах, отец, как мне хочется увидеться с князем, поговорить с ним! Но это невозможно, невозможно.

– Почему невозможно? Хочешь, Анна, я поеду в действующую русскую армию? Я увижу князя и привезу его к тебе.

– Милый, дорогой, как ты меня любишь! – Молодая девушка стала целовать у отца руки.

– Чтобы сделать тебе приятное, я на всё готов идти, я ни перед чем не задумаюсь.

– Спасибо, отец, спасибо!

– Если тебе и завтра будет так хорошо, то я поеду, разыщу князя Гарина и привезу к тебе.

– Он не поедет...

– Я стану его просить. Он должен, должен со мною ехать.

Разговор утомил её, она сильно закашлялась; удушливый кашель мучил её.

– Я завтра поеду, Анна, и даю тебе слово, привезу князя.

Старый Гофман выполнил своё обещание: на другой день, уверившись, что его дочери лучше, он на наёмных лошадях поспешил к границам Пруссии, оставив дочь на попечение своей дальней родственницы, Марты. Марта – ещё не старая женщина, недавно овдовевшая, – любила и глубоко уважала доброго, честного Карла Гофмана и его дочь. В отсутствие старика Марта своими нежными заботами и хорошим уходом много способствовала выздоровлению молодой девушки; она стала понемногу поправляться. Искусство опытного доктора или хороший уход, а может, и молодость взяли своё: Анна, приговорённая к смерти, осталась жить. Сам доктор удивился происшедшему в ней перелому болезни.

– Ну, молодец вы, Анна, право, молодец! Вразрез с наукой пошли... – смеялся доктор после тщательного осмотра больной девушки.

– Доктор, неужели я останусь жить, поправлюсь? – радостным голосом спросила Анна.

– О, да... Теперь есть надежда на ваше выздоровление. Но предупреждаю – как будете в состоянии ходить, я прогоню вас на юг.

– Как, разве это необходимо?

– Да, милая барышня! Даже более чем необходимо. Наш климат вам вреден; поезжайте в Италию – ваши лёгкие ещё не совсем в порядке. Пожалуй, можете прихватить с собою и жениха, – улыбнулся доктор, лукаво посматривая на покрасневшую девушку.

– У меня нет жениха.

– А русский князь?

– Он мне не жених.

– Ох, барышня, неправда! А зачем же вы за ним послали отца?

– Я думала, что скоро умру, мне хотелось проститься с князем.
– Вы, Анна, пожалуйста, не волнуйтесь – это вам вредно. Вот приедет ваш отец, тогда мы всё устроим, всё уладим. Главное, надо восстановить ваше здоровье.
– Вы, доктор, говорите, я скоро поправлюсь? – радостным голосом спросила Анна.
– Да, да... если только станете меня слушать...
– Я стану, доктор, вас слушать, вы добрый... Я думала, что умру...
– Умирать в такие годы и такой красавице... Нет, зачем... Я собираюсь пировать на вашей свадьбе, а вы умирать собираетесь, – с улыбкой проговорил доктор.
– Моей свадьбы, добрый доктор, вы не дождётесь...
– Увидим, увидим... Ну, до свидания... Берегите своё здоровье.
Доктор уехал, сделав несколько наставлений Марте относительно ухода за молодой девушкой.

ГЛАВА XVIII

Прошло более недели после отъезда Карла Гофмана в русскую действующую армию. Однажды, в летний жаркий день, Анна сидела в покойном кресле у открытого окна. Теперь больная без посторонней помощи могла ходить по комнате. Но как она переменилась! Некогда чудная красавица – теперь с трудом можно было её узнать: она похудела, побледнела; только одни светлые, лучистые глаза по-прежнему приветливо и ласково смотрели. Бледный, чуть заметный румянец покрывал её впалые щёки. Но, несмотря на худобу, Анна всё-таки была хороша.

– Марта, сколько прошло дней, как уехал отец? – спросила молодая девушка у своей родственницы, которая сидела рядом с Анной с чулком в руках.

– Пошёл уже десятый, – ответила добрая Марта.

– Как быстро летит время! – задумчиво заметила молодая девушка.

– Теперь Гофман должен скоро приехать...

– Да, хоть бы скорее приезжал...

– И привезёт вам молодого князя.

– Что ты говоришь, Марта?

– Правду говорю, милая Анна.

– Нет, нет, не утешай меня, Марта, – отец один вернётся.

– Нет, не один, вот увидишь.

– Зачем поедет князь?

– Как зачем? Видеть тебя, с тобой говорить. Ведь князь тебя любит! Ах, Анна, зачем ты так дурно думаешь о князе?

– Знаешь, Марта, если бы он только приехал!

– И приедет, поверь!

– О, тогда я совсем выздоровею, совсем. Это будет такая радость! – волнуясь, проговорила молодая девушка.

– А ты не волнуйся, Анна, – тебе это вредно.

– Мне сегодня так хорошо, Марта! Я... я не чувствую никакой боли.

Послышался стук подъехавшего экипажа.

– Слава Богу!.. Кто-то подъехал к воротам.

Марта встала и посмотрела в окно.

– Кто, кто приехал? – меняясь в лице, спросила больная.

– Анна, Анна, ведь это твой отец вернулся и с ним какой-то красавец офицер. Это, верно, князь...

Марта не ошиблась: с приехавшим домой стариком Гофманом был князь Сергей Гарин. Они без особых приключений благополучно доехали до фермы.

– Князь мой, Сергей! – Анна хотела встать и броситься навстречу приехавшим, но от волнения она бессильно опять опустилась на кресло.

– Анна, милая, дорогая моя Анна!

Князь чуть не плача целовал исхудалые руки молодой девушки.

А старый Гофман и Марта тихо плакали.

– Ты опять, опять со мной, милый! – отвечая на ласки молодого князя, счастливым голосом говорила Анна.

– Да, да, голубка, я опять с тобою. Теперь уже нас никто не разлучит!

– Отец, ты плачешь? Зачем слёзы?

– От радости, Анна. Я так рад, так рад твоему выздоровлению.

– Ах, Серёжа, как я подурнела! Эта болезнь состарила меня.

– Напротив, милая, напротив.

– Ах, мои милые, мои добрые! Я так рада, так беспредельно счастлива! Вы все, близкие моему сердцу, со мною. Сергей и ты, отец, и Марта... Вот так и прожить бы всю жизнь с вами, не расставаясь. Господи, как хорошо! – говорила молодая девушка, попеременно обнимая своего жениха, отца и Марту.

– Мы и не расстанемся, – ответил князь.

– Нет, князь, – я знаю, тебе скоро надо вернуться опять в армию: война... Я и то удивляюсь, как тебя отпустили.

– Есть верные сведения, что война скоро окончится. Будет заключён мир, и тогда, моя дорогая, мы навеки с тобой соединимся.

– Не поздно ли, милый?

– Анна, что ты говоришь!

– Говорю, что чувствую; ведь ты и сам знаешь – чахотка неизлечима. Я только поправились на время...

– Полно, полно, Анна! Я увезу тебя на юг, в Италию, будем лечить, и ты окончательно выздоровеешь.

– А мне, Сергей, так не хочется теперь умирать, когда я узнала, что ты меня любишь...

– Анна, могла ли ты сомневаться?

– Прости, милый, но Цыганов так уверял меня. Он дурной человек...

– И ты могла поверить этому мерзавцу?

– Нет, я ему плохо верила. Но это письмо!.. Оставим вспоминать про старое. Теперь я счастлива, безмерно счастлива. Я увидела тебя. Ведь ты меня любишь?

– Зачем спрашиваешь!

– Да, да, я вижу, мне этого довольно; что будет впереди – я не знаю, но теперь, повторяю, я счастлива.

Не много князю Гарину пришлось побыть на ферме старого Гофмана; он торопился обратно в армию: срок, данный ему главнокомандующим, истекал. Анна не удерживала его: она понимала святость долга каждого верноподданного.

– Поезжай, милый, ты нужен на война Я буду просить Бога, стану молиться. Бог тебя сохранит на войне, – говорила молодая девушка, кладя свою руку на плечо князя. – Осенью с отцом мы едем в Италию.

– Да, да, Анна, непременно поезжай; тёплый климат для тебя необходим. Ты моя невеста, и я на правах жениха хочу вручить тебе денег на это путешествие.

– Зачем? У отца есть деньги.

– Я хочу, милая, чтобы ты ехала на мои деньги. Ты не откажешь, да?

Гарину нелегко было упросить Анну; наконец она согласилась.

– Жаль, что здесь нет близко русского священника! Он бы нас благословил, – проговорил князь Сергей.

– Нас, милый, Бог благословил!

– И как только окончится война, я прямо приеду к тебе, в Италию. Ты позволишь? – любовно поглядывая на свою больную невесту, спросил князь.

– Что спрашиваешь! Знаешь ли, милый, ведь до твоего приезда я чуть не умерла – так была я плоха. Но мысль, что ты приедешь, воскресила меня. Я стала поправляться.

– Ты выздоровеешь, Анна, я надеюсь.

– Если мне суждено быть твоею женою, то выздоровею!

Перед отъездом князь Сергей Гарин долго говорил с Гофманом; он просил старика как можно лучше беречь дочь, не жалеть денег для её излечения, употреблять все усилия к

восстановлению её здоровья.

– Напрасно, князь, вы об этом просите: Анна мне дочь, и я её так глубоко люблю. Её смерть отнимет у меня всё. Но я надеюсь – Бог правосуден и не захочет лишить меня единственной отрады.

Сергей Гарин горячо простился со своею невестою и с её отцом. При расставании Анна не плакала – она надеялась на скорое с ним свидание.

– До свидания, Серёжа; я не говорю «прощай», надеюсь скоро с тобою свидеться... Я буду ждать тебя, милый, – говорила молодая девушка, обнимая своего жениха. – Буду считать дни и часы...

Жди, дорогая Анна, я скоро за тобой приеду... Увезу тебя, голубка, в Россию, обвенчаемся...

– О, если бы это так было!.. Быть твоей женой, ведь это такое счастье... Такое счастье...

– Мы оба будем счастливы, Анна. Нас ожидает большое счастье...

Князь Сергей Гарин уехал.

Анна стала быстро поправляться от тяжёлой болезни, и на ферме старого Гофмана потекла жизнь обычным чередом.

ГЛАВА XIX

Наполеон находился в замке Финкенштейн и задумчиво сидел у открытого окна. Несмотря на радостное известие о взятии Данцига, лицо его было пасмурно, и он бесцельно смотрел на расстилавшийся перед ним красивый ландшафт. Он отошёл от окна и позвал своего любимца Дюрока.

– Вы звали, государь? – спросил, подходя, Дюрок.

– Да, Дюрок, ты видишь, мне скучно.

– Вижу, ваше величество, и сердечно сожалею об этом.

– Ты догадываешься о причине моей скуки?

– Смерть маленького Наполеона так вас растрогала, государь!

За день перед этим Наполеон получил печальное известие о смерти восьмилетнего племянника, сына своего брата Людовика, которого он думал объявить наследником французской империи.

– Ты отчасти прав, Дюрок. Маленький Наполеон был моим любимцем, я привык считать его своим наследником – он был одной со мной крови. Я возлагал на него надежды. Безжалостная смерть унесла его.

– Ваше величество, вероятно, императрица Жозефина имеет более причин сожалеть о маленьком Наполеоне. Я думаю, государь, его смерть будет для неё очень печальным событием, потому что ваше величество теперь увидите необходимость иметь законного наследника. А императрица бездетна...

– Ты слишком проникателен, мой милый, – прерывая своего любимца, громко проговорил Наполеон.

– Государь, вся Франция любит и обожает императрицу. Все привыкли к её доброте и великодушию.

– О, я знаю, Дюрок, ты принадлежишь к приверженцам Жозефины! – воскликнул император. – Она хорошая, добрая, я это знаю, и если бы она дала мне наследника, я бы никогда, никогда с ней не расстался. Но сама судьба идёт против неё. Однако, милый Дюрок, оставим говорить про то, что будет; надо говорить о настоящем.

– Я слушаю, ваше величество!

– Знаешь ли ты, мне надоела война.

– Но, государь, вы ещё не dokonчили ваши победы.

– Ты прав, тысячу раз прав. У прусского короля осталась ещё одна крепость, которую надо непременно взять... Да, мы не окончили ещё наши победы, и наши храбрые солдаты, погребённые под снегом Эйлау, должны быть отомщены. Знаешь ли ты, Дюрок, чего я хочу? – быстро спросил у своего любимца Наполеон, смотря ему прямо в глаза.

– Нет, государь, – тихо ответил тот.

– Я... я хочу, чтобы солнце Аустерлица и Йены осветило скучные русские поля и равнины. Я хочу смирить Александра! Я покажу ему, что значит угрожать мне и со мной не соглашаться! Я уверен, что моё знамя будет развеяться над Московским Кремлём! Свет принадлежит мне! И горе тому, кто станет на моём пути. Как червяка, я раздавлю его! – хвастливо крикнул Наполеон и быстро зашагал по своему кабинету.

Вошёл первый министр императора – Талейран.⁶⁴ Когда-то был он католическим священником, потом сделался министром республики, а далее стал приближённым Наполеона.

– А, ты кстати, Талейран. Мы говорили с Дюроком про войну, – встретил его Наполеон.

– Вы хотите сказать, государь, про ваши победы?

Хитрый Талейран знал, что Наполеон любит лести, и при всяком удобном случае старался превозносить его военный гений; он выставлял Наполеона каким-то полубогом.

– Талейран, ты мне льстишь! Но это в сторону. Слушай, я не хочу прекращать войну. Пруссия у моих ног. Одна только Россия не хочет передо мною смириться. Но я заставлю! Мои храбрые солдаты помогут мне. И Россия так же, как и Пруссия, будет у моих ног.

– В этом, государь, никто не сомневается. И тогда, ваше величество, будете победителем всей Европы, – сказал Талейран.

– А Англию я сотру с лица земли. И тогда, господа, вернёмся мы отдыхать в Париж, в эту всемирную столицу, увенчанные лаврами, – хвастливо проговорил Наполеон и, приказав подавать лошадей, поехал в сопровождении Дюрока и Талейрана к своим солдатам.

ГЛАВА XX

На обоих берегах реки Алле, вблизи Гейльсберга, двадцать девятого мая 1807 года произошло сражение между русской армией и французской. В этом сражении беспримерной храбростью отличился Багратион; под ним была убита лошадь, пули и картечи дождём сыпались вокруг героя. Атакованный Мюратом с фронта и обходимый Сультом, князь Багратион принуждён был отступить. Французы быстро преследовали наших, но были остановлены батарейным огнём. Далее произошёл жестокий рукопашный бой; французы, несмотря на то, что ими руководил сам Наполеон, не выдержали и побежали назад и были атакованы с фронта князем Горчаковым и генералом Дохтуровым. Почти весь батальон наполеоновских гвардейцев был убит. Один из французских полков принуждён был уступить русским свой полковой орёл; много пленных французов было взято нашим войском. У Наполеона выбыло из строя тринадцать тысяч человек убитых и раненых; но не легко досталась нам победа под Гейльсбергом: раненых и убитых насчитывали до шести тысяч человек; в том числе был убит храбрый генерал Варнек и ранено несколько генералов.

В этом сражении участвовал и Пётр Петрович, а также и Надежда Андреевна Дурова; несмотря на «жестокое дело», они не были ранены. В атаке один кавалерист-француз подскочил к Дуровой и занёс над её головой свою тяжёлую саблю, но Зарницкий подоспел и убил из пистолета француза.

– Пётр Петрович, вы мой спаситель! Я обязана вам жизнью, – с чувством благодарности проговорила отважная женщина, крепко пожимая руку подполковника.

– Ну, вот ещё выдумали... На войне это не принимается в расчёт... Всякий на моём месте сделал бы то же самое.

– Я буду этот день помнить во всю мою жизнь.

– Что же, помните, ваше дело...

По окончании сражения Дурова зашла в барак Зарницкого, чтобы ещё раз благодарить его за спасение жизни; она застала Петра Петровича лежащим с длинным чубуком в руках; при входе Дуровой он быстро вскочил с кровати и стал оправлять свой мундир.

– Пётр Петрович, ваше обращение совсем переменялось. Вы стали меня чуждаться. А я хотела бы, чтобы вы, мой добрый, были со мной по-прежнему, – проговорила Дурова.

⁶⁴ Талейран-Перигор, Шарль – Морис (1754–1838) – князь, сначала католический священник, затем якобинец. При Наполеоне и после Реставрации долгие годы руководил французской внешней политикой.

– Этого нельзя-с, – ответил ей Зарницкий. – Теперь смотрю я на вас как на женщину, – добавил он, подвигая Дуровой табуретку.

– Теперь разве я не могу считать вас за моего лучшего друга? Вы не хотите моей дружбы, Пётр Петрович?

– Я этого не говорю-с. Быть другом такой женщины, как вы, – большое счастье.

– Никак вы пустились в комплименты?

– Я отроду никому не говорил комплиментов.

– А мне сделали исключение? – улыбнулась Дурова. – Спасибо вам, – добавила она, крепко пожимая руку у Зарницкого.

– Я говорю то, что чувствую.

Беседа их была прервана приходом ординарца князя Багратиона; ординарец подал Петру Петровичу приказ немедленно выступить с своим эскадроном к Фридланду и вытеснить оттуда неприятеля.

– Скажите князю, что будет исполнено, – проговорил Зарницкий и стал готовиться.

– Разрешите мне, Пётр Петрович, участвовать в этом деле, – обратилась к нему Дурова.

– Помилуйте, как же это?

– Пожалуйста, Пётр Петрович!

Но вы забываете всю опасность, – возражал ей Зарницкий.

– Вы сами знаете: я опасностей не боюсь.

– Знаю-с, вы – герой. Согласен, можете ехать. Извольте приготовиться.

– Вот спасибо, дорогой Пётр Петрович! – обрадовалась Дурова. – Что вы на меня так смотрите?

– Удивляюсь вашей храбрости... Вы не женщина – вы герой!

– Я так часто слышу от вас это, дорогой мой Пётр Петрович!

– Я готов тысячу раз повторять это... Вы заслуживаете похвалы.

Беннигсен с армиею продолжал своё движение к Фридланду. Город был занят французами. Зарницкий с пятью эскадронами улан должен был вытеснить из Фридланда неприятеля. Храбрый подполковник первым устремился в город; от него не отставала и кавалерист-женщина Дурова. Лишь только Пётр Петрович въехал на мост, во главе эскадрона, как увидел, что мост в середине разобран; град пуль посыпался на него с другого берега, пока поправляли мост. Зарницкий положил на отверстие доску и в сопровождении трубача и нескольких улан перебежал на ту сторону моста; мост был поправлен, и храбрецы-улань ворвались в город и после кровавой схватки выбили из Фридланда французов, взяв в плен несколько офицеров и солдат. Русские войска расположились вблизи Фридланда, на левом и на правом берегу реки Алле. Наш главнокомандующий был болен и по совету врачей, чтобы хоть немного успокоиться, поехал ночевать в Фридланд. Это было накануне большого сражения при Фридланде, которое решило и кровавую войну.

ГЛАВА XXI

На шестой неделе Великого поста князь Владимир Иванович Гарин с княгиней и дочерью отправился в Каменки. Туда же на Пасху обещал приехать жених княжны Софьи – Леонид Николаевич Прозоров. Николай Цыганов не поехал в княжескую усадьбу, несмотря на приглашение старого князя; он отговорился тем, что не может оставить Москвы по причине одного денежного предприятия.

– Я, ваше сиятельство, намерен заняться торговым делом.

– Ты? – удивился князь.

– Так точно-с, магазинчик подыскал на Никольской, хочу торговать-с.

– Но ведь на это, мой милый, нужны деньги.

– Один богатый купец хочет отпустить мне товару-с в кредит, – как-то запинаясь, ответил Цыганов.

– Деньги, пожалуй, я могу тебе дать.

– Покорнейше благодарю, ваше сиятельство, я и то вами благодетельствован.

– Ты, братец, не стесняйся, бери.

Князь Гарин ссудил Николаю порядочную сумму на торговое предприятие, но отставному прапорщику нужны были деньги вовсе не для этого. В его душе таилась другая цель.

Николай до заставы провожал князя Гарина и его семейство. Сам князь и Лидия Михайловна с ним радушно простились. Княжна холодно, но вежливо на прощание протянула ему свою хорошенькую ручку.

Она не могла простить Цыганову его поступок с бедной Глашей.

– Ты смотри же, братец, на Пасху не успеешь к нам приехать, приезжай на свадьбу, – ведь на Красную горку у нас будет свадьба. Непременно приезжай! – прощаясь с Цыгановым, сказал Владимир Иванович.

– Если позволите, ваше сиятельство.

– Прошу, приезжай.

– За счастье почту, ваше сиятельство!

– Приезжай, братец, приезжай. Рады будем. Софи, что же ты не приглашаешь к себе на свадьбу? – с лёгким упрёком обратился князь к дочери.

– Приезжайте, – как-то нехотя промолвила княжна.

Этот зов тяжело отозвался на молодом человеке; он побледнел и от сильного волнения закусил себе губы.

Это не ускользнуло от проницательного взгляда княжны; она быстро спросила у Николая:

– Что с вами?

– Извините, раненое плечо часто даёт себя знать, ужасная боль, – немного растерявшись, ответил молодой человек.

– А ты, братец, берегись, весною в Москве плохое житьё, как раз простудишься. То ли дело у нас в Каменках! Скорее приезжай к нам.

– Несказанно благодарен вашему сиятельству.

Прозоров, жених Софьи, не провожал Гариных: его не было в Москве; Леонид Николаевич получил командировку в Тверь недели на две.

По той самой дороге, по которой ехал князь Гарин со своим семейством в свою усадьбу Каменки, по прошествии пяти дней ехала пара сытых лошадей, запряжённая в простой телеге с верхом, сделанным из клеёнки; в телеге сидел Николай Цыганов с какими-то двумя оборванцами подозрительного вида.

Один из оборванцев, с красным, отёкшим от перепоя лицом, с рыжей включенной бородой, с зверским взглядом, сидел рядом с Николаем; другой оборванец на козлах правил лошадьми; по смуглому цвету лица и по волосам, чёрным как смоль, он походил на цыгана; рыжего звали Петрухой, а чёрного – Кузьмой.

Николай был задумчив и мало говорил в дороге со своими спутниками.

Наконец рыжему Петрухе надоело ехать молча, и он обратился к молодому человеку:

– Ваше благородие, а ваше благородие!

– Ну, что тебе? – откликнулся недружелюбно Николай.

– Да скоро ли мы приедем?

– А ты, верно, соскучился ехать?

– Знамо, соскучился. И дорога, будь она проклята!

– Чем тебе, Петруха, не нравится?

– Да как же, ваше благородие, кабаков мало по дороге.

– А тебе бы, пьяница, всё вино лопать! – огрызнулся на рыжего Цыганов.

– В дороге, ваше благородие, вино улада. Потому скучища, а вино веселье сердцу придаёт. Напьёшься, ну и долгий путь покажется коротким.

– Ну, на кабаки, рыжая образина, ты не рассчитывай.

– А почему так?

– Потому пьянствовать тебе не дам.

– Ты-то, ваше благородие, мне пьянствовать не дашь? – нахально спросил Петруха у Цыганова.

– Хоть бы я!

– Ну, барин, это ты оставь, на тебя я не посмотрю.

– Силою заставлю! – крикнул на рыжего молодой человек.

– Ну, барин, не ври, я сильнее тебя!

– А вот этого гостинца хочешь? – Николай быстро вынул из дорожной сумки небольшой двуствольный пистолет.

– Ох, барин, не пугай – этой штуки я боюсь! – присмирив, покорным голосом проговорил Петруха.

– Ну, то-то же! Смотри! До тех пор, пока мы не кончим дело, пьянствовать ни ты, ни Кузьма не будете! Сделаете мне дело, за которым я вас везу в княжескую усадьбу, тогда опейтесь, мне всё равно!

– Зачем опиваться! Мы только вдосталь винца на радостях отведаем, а опиваться зачем?

– Там уж вы как хотите, а до тех пор ни-ни!

– Да уж ладно, мол.

– Ты молчи, Петруха, потерпи. Недолго осталось – скоро приедем. Обделаем барину дельце – тогда и гулять станем, – вставил своё слово дотоле не принимавший участия в разговоре черномазый Кузьма.

Не доезжая несколько десятков вёрст до княжеской усадьбы Каменки, Николай Цыганов остановился на ночлег на постоялом дворе; он не хотел ночевать в избе – там было душно и жарко, а лёг спать в телеге. Рыжий Петруха и черномазый Кузьма расположились на сеновале.

Ночь была апрельская, светлая. Голубое, безоблачное небо усеяно было миллионами звёзд. На дворе светло, как днём. Не спалось что-то Николаю; ему наскучило лежать в телеге – он встал и пошёл к сеновалу; ему захотелось узнать, спят ли Петруха и Кузьма.

Кругом было тихо. Вот он у сеновала. Николай ясно слышит разговор двух оборванцев.

– Право бы, его ухлопать. Давай, Кузьма, чего зевать? – тихо говорит Петруха.

– А почём знаешь, есть ли у него деньги?

– Вона! Разве в дорогу едут без денег? Это не мы с тобой, – чай, сам знаешь, по сто целковых нам обещал, если устроим дела. Стало быть, деньги с ним.

Цыганов стал слушать внимательнее; он понял, что дело касается его.

– А как его ухлопаешь? А пистолет забыл? – возразил Петрухе черномазый Кузьма.

– Эх, Кузька, какой ты дурень, право! Чай, он спит. С дороги-то его пушкой не разбудишь.

– Гляди, Петруха, боязно!

– Ишь, чёрт! Ровно девка красная! Или отвык? – смеётся рыжебородый.

– От тебя, Петруха, не отстану.

– Вот и давно бы так! Чай, деньги-то станем поровну делить. Ну, думать нечего, пойдём прихлопнем его, оберём, коней отвяжем да верхом опять в Москву.

– А ну поймают!

– Вона! Ведь мы не пешком, не скоро изловишь, – лови ветра в поле!

Петруха заворочался, приготавливаясь встать с сена. Но каково было их удивление и испуг, когда около них, как «по щучьему веленью», очутился Николай с двуствольным пистолетом в руках; лицо его было искажено гневом и злобою.

– Ни с места, дьявол, не то уложу! – крикнул он не своим голосом, прицеливаясь в Петруху.

– Помилуй, барин, за что ты убить нас хочешь? – испуганно отозвался рыжебородый.

– За то, разбойник, что убить меня собирался!

– Так ты слышал? Что же, мы только собирались.

– И убили бы, если бы я не услышал ваш разговор!

– Это, барин, всё он, Петруха, – он меня уговаривал, – откровенно сознался черномазый Кузька.

– Убить я не убью, а созову сейчас народ, прикажу вас в цепи заковать и в город представить.

– Помилосердствуй, барин!

– Не погуби!

– Отпусти!

– Дай покаяться! – почти в один голос, чуть не плача, говорили оборванцы, стоя на коленях перед молодым человеком.

– Как вас помиловать! Прости вас – вы опять задумаете убить!
– Волоса с головы твоей не тронем!
– Волос-то, пожалуй, вы не тронете, а голову снесёте! – Николай не мог не улыбнуться, смотря на плаксивые рожи оборванцев.
– Возьми с нас клятву! – предложил Кузька.
– Что для вас, разбойников, клятва?
– Разве мы разбойники? – обиделся было Петруха.
– А кто же? Честные люди? На сонного с ножом идёте! Ну да чёрт с вами! На этот раз я вас прощаю, потому что вы мне нужны.
– По гроб твои слуги верные!
– Это вы-то, вы? – Цыганов расхохотался.
– Ну и барин ты! – проговорил Петруха.
– А что? – самодовольно спросил молодой человек.
– Орёл!
– А вы коршуны! Смотрите, молодцы, пистолет всегда при мне! Я во всякое время успею разmozжить вам головы! Ну, рассветает, спать теперь не время. Пора в путь. Пошли запрягать коней! – распорядился Цыганов, и не прошло часа, как из ворот постоянного двора выехала телега с нашими путниками.

Петруха и Кузьма были хмуры и мрачны; оба они молча сидели на телеге; зато весел был Николай Цыганов; он во всю дорогу острил и насмехался над оборванцами.

ГЛАВА XXIII

– Ваше сиятельство, несчастье! – задыхаясь от волнения, проговорила Глаша, бледная как смерть, вбегая в гостиную княжеского дома, где за чаем сидели князь и княгиня.
– Что? Что такое, Глаша? – в один голос спросили муж и жена, меняясь в лице.
– Ох, дух не переведу – бежала.
– Да что такое, говори хоть ты? – спросил князь у горничной, с которой вошла Софья.
– Княжну похитили, ваше сиятельство! – собравшись с духом, ответила молодая девушка.
– Как похитили? Что ты врёшь, глупая!
– Сушью правду говорю вашему сиятельству
– Она правду говорит, князь: в лесу напали на нас разбойники и княжну схватили и унесли, – задыхаясь, проговорила Глаша.

С Лидией Михайловной случилась сильная истерика. Князь и прислуга бросились приводить в чувство княгиню; её снесли в спальную и положили на кровать.

Один верховой поскакал в город за доктором, а другой к губернатору с известием о постигшем князя несчастье.

– Ваше сиятельство, распорядитесь сейчас же послать верховых в погоню. Может, догонят, – посоветовала Глаша растерявшемуся князю Владимиру Ивановичу.

– Ах, да, да! Федотыч, Федотыч! – позвал князь своего любимого камердинера. – Сейчас распорядись послать погоню за негодяями! Обещай дворовым мою милость, скажи им: я всё, всё отдам, только бы вернуть дочь. – Голос у старого князя дрогнул.

– Дозволь и мне старику, ехать на розыски, ваше сиятельство!

– Поезжай, Федотыч, поезжай вместо меня. Господи, какое несчастье, какое несчастье!

Старик слуга пошёл исполнять приказание своего господина.

– Ваше сиятельство, в этом деле не без греха Николай Цыганов, – сказала дочь мельника.

– Что? Что ты говоришь? – удивился князь.

– Истинную правду говорю, ваше сиятельство! Дело это рук Николая.

– Да объяснись, ради Бога!

– Извольте выслушать, ваше сиятельство!

Глаша рассказала князю, как она видела за несколько дней до происшествия Цыганова, ехавшего вместе с теми бродягами которые в лесу на них напали.

– Дело Николая, он подговорил похитить княжну Софью Владимировну, – закончила свой рассказ молодая девушка.

– Боже, новый удар! Но зачем? С какой целью он сделал это?

– Думается мне, ваше сиятельство, Николай влюблён в княжну, – покраснев, тихо ответила Глаша.

– Этого недоставало, чтобы подкидыш, безродный, приёмыш полюбил мою дочь! Один удар за другим! О, если это правда, Николай получит должное наказание!

– Я, ваше сиятельство поеду с дворовыми – я укажу им место, где напали на нас бродяги.

– Да, Глаша, поезжай, похлопочи – ведь Софья так тебя любила!

– Я отыщу княжну. Мне Бог поможет.

– Глаша, от моего имени вели запрячь тарантас и возьми себе человека три дворовых. Поезжай. Помоги тебе Боже! А я не могу, я так ослаб. Да и княгиню одну оставить нельзя...

Дочь мельника поехала в тарантасе, запряжённом тройкою, по дороге к мельнице; кроме кучера, с нею были трое дворовых, вооружённых ружьями и пистолетами, а человек двадцать тоже дворовых верхами под предводительством старика Федотыча, вооружённые с ног до головы, быстро выехали из княжеской усадьбы и, разделившись на четыре отряда, поскакали в равные стороны.

Приехал доктор; он нашёл Лидию Михайловну всё ещё без памяти. Наконец она очнулась, и первым её словом было:

– Где дочь? Нашли?

– Нет, Лида, но ты успокойся. По всем дорогам посланы верховые. Её найдут, – успокаивал князь свою жену.

По прошествии суток дворовые князя Гарина вернулись в усадьбу. Много вёрст объехали они, расспрашивали попадавшихся о княжне, ходили в деревнях и сёлах по избам, разыскивали в лесу, но нигде не нашли и следа похищенной девушки.

– Что, Федотыч, не нашли? – спросил князь у вернувшегося с поисков камердинера.

– И следа нигде не видно, князь! Ох, видно, за грехи Господь послал нам наказание! – чуть не плача, ответил верный слуга.

– Что будет с княгиней? Что я скажу ей? – с отчаянием говорил князь, закрывая лицо руками.

– А вы, ваше сиятельство, не отчаивайтесь; найдётся наша княжна.

– Одна надежда на Глашу! Может, ей удастся напасть на след злодеев.

– Может, и найдёт. Девка она шустрая, пронырливая.

– Дай Бог! Неизвестность участи Софьи убьёт и меня, и княгиню.

В Каменки прибыл из Костромы генерал-губернатор Сухов с двумя чиновниками.

– Какое несчастье, какое несчастье! – обнимая Владимира Ивановича, с участием проговорил губернатор. – Но, князь, ты не сокрушайся, злодеев найдут, – добавил он.

– Найдут ли?

– Непременно будут разысканы: у меня полиция образцовая – я отрядил целый штат в поиски за этими негодяями, и вот увидишь, князь, их отыщут.

– Спасибо тебе, Дмитрий Петрович!

– Как же, как же! Как только получил от тебя известие, я всю полицию поднял на ноги. Ведь это неслыханная дерзость!

– О, если бы только нашлась Софья!

– Поверь, князь, найдётся. Не будь я губернатор, если не отыщу похитителей твоей дочери!

– Помоги, друг Дмитрий Петрович, – крепко пожимая руку губернатора, взволнованным голосом проговорил старый князь.

Губернатор Сухов лично отобрал показание от горничной, которая находилась с княжной во время нападения на них оборванцев, списал их приметы, написал новый приказ городничим о розыске похитителей княжны, не мешкая отправил приказ с одним из чиновников, а с другим отправился в лес, где произошло нападение. Губернатора сопровождал сам князь с несколькими дворовыми.

ГЛАВА XXIV

Едва занялась заря второго июня, как завязалась сильная перестрелка в передовых цепях у Фридланда, на берегах маленькой жалкой речонки Алле. Две враждующие армии сошлись здесь. Силы были неравны. Неприятельскою армией командовал гений, «великан мира» – нашими солдатами руководил больной, усталый полководец Беннигсен, страдавший каменной болезнью; от страшной боли он едва мог сидеть на лошади.

Едва стало рассветать, Наполеон, в своём неизменном сюртуке и в треуголке, в сопровождении опытных маршалов Сульта, Ланна, Мюрата и других, объезжал позиции. Громко приветствовали солдаты своего императора.

Наполеон делает распоряжение, и начинается жаркая, кровопролитная битва. Особенно горячо было сражение на нашем левом крыле, у густого леса.

Не располагая атаковать неприятеля, Беннигсен не хотел и отступать. Он считал отступление противным достоинству русской армии, имея против себя, как он думал, неприятеля малочисленного.

В полдень Наполеон отдал приказание торопиться к самому Фридланду.

Наполеон удивился невыгодному расположению нашей армии.

– Не понимаю, чего Беннигсен хочет? Конечно, в каком-нибудь месте скрытно стоят у него другие войска. Надо разузнать, – проговорил Наполеон и послал свитских офицеров в разные стороны для обозрения местности.

Канонада началась с трёх часов утра.

«Кажется, наступает генеральное сражение. Оно может продлиться два дня. Оставьте Сульта против Кенигсберга и спешите к Фридланду с резервной конницей и корпусом Даву. Если я замечу, что русская армия многочисленна, то, может быть, в ожидании вас, ограничусь канонадою».

Так писал Наполеон Мюрату и сам руководил армией и показывал ей места.

– Ваше высокопревосходительство, неприятель приближается! – доносили Беннигсену офицеры; они поставлены были для наблюдения на одной из Фридландских высот.

– Что же, пусть их приближаются, мы их встретим, – хладнокровно ответил главнокомандующий.

«Беннигсен бездействовал, невзирая на получаемые им донесения о скоплении против нас больших сил». Главнокомандующий не выезжал из Фридланда и, наконец, убедившись в опасности своего положения, отдал приказ отступить на правый берег Алле. И, согласно распоряжению Беннигсена, князь Багратион приказал задним войскам отступить. Едва только наши солдаты тронулись, как страшный залп из двенадцати пушек потряс воздух. Это был сигнал маршалу Нею начать атаку. Багратион переменял фронт левым крылом назад. Русские батареи грянули картечью. Неприятель дрогнул и смешался. Багратион подвигался вперёд, пользуясь минутным успехом. Но положение дел вдруг переменялось: французская артиллерия открыла страшный, убийственный огонь. Посланная на помощь русская конница была осыпана огнём из неприятельских батарей, принуждена была обратиться назад и тем умножила смятение нашего войска. Картечь рвала ряды наши, а между тем французские колонны вышли вперёд одна за другою, восклицая: «Да здравствует император!»

Наши генералы Багговут⁶⁵ и Марков⁶⁶ были сильно ранены.

«Князь Багратион обнажил шпагу, что он делал очень редко. Московский гренадерский полк теснился вокруг героя, желая заслонить его от смерти. Не о личном спасении думал Багратион. Он напомнил гренадерам Италию и Суворова. При его голосе, при воззвании

⁶⁵ Багговут Карл Фёдорович (1761–1812) – генерал-лейтенант, командир 2-го пехотного корпуса русской армии. Убит в сражении при Тарутине в октябре 1812 г.

⁶⁶ Марков (Морков) Ираклий Иванович (1750–1829) – граф, генерал-лейтенант. В 1812 г. начальник московского ополчения.

великого имени Суворова, москвичи бросались вперёд, но без единства, и погибали. Сила всё ломала. До какой степени был губителен неприятельский огонь, направленный на войска князя Багратиона, видно из показаний французов: они пишут официально, что было выпущено под Фридландом две тысячи пятьсот шестнадцать боевых снарядов, триста шестьдесят два с ядрами, все другие были картечные». ⁶⁷

Герой Багратион наконец вошёл в Фридланд, зажёл предместье и стал переправлять войска за реку Алле.

– Боже, сколько крови, – говорила Надежда Дурова, в числе прочих переправляясь через мост из Фридланда.

– Пожар, мост горит! – крикнул кто-то.

К несчастью присоединилось другое. Мосты через реку Алле, по которым должны были переходить наши солдаты, были зажжены по ошибочному приказанию, привезённому одним адъютантом начальнику мостов.

– Что, барынька, невесело! – сказал Дуровой Пётр Петрович, подсакивая к ней.

– Ужасно! Это какой-то ад! – ответила она.

– Хорошо распоряжение! Мосты подожгли! Это чёрт знает что такое! Эй, не напирай! Кто мостом, кто вплавь! – громко кричал Зарницкий своим уланам. – Вы, барынька, от меня не отставайте! А то как раз утонете! – обратился он к Дуровой.

Мостов уже не было – они сгорели; произошёл страшный беспорядок; солдаты кидались в реку, стараясь переплыть на другую сторогу; офицеры отыскивали брод. Много народу потонуло.

Наконец брод был найден. Войска устремились в реку под рёв батарей французских и наших, поставленных на правом берегу Алле.

Наполеон выиграл сражение под Фридландом, но не легко досталась эта победа. Свидетель боя, английский генерал Вильсон говорит следующее: «Мне не достанет слов описать храбрость русских войск. Они победили бы, если б только одно мужество могло доставить победу. Офицеры и солдаты исполняли свой долг самым благородным образом. В полной мере заслужили они похвалы и удивление каждого, кто видел фридландское сражение».

Под Фридландом убито и ранено до десяти тысяч человек убит генерал Мазовский, ⁶⁸ а генералу Сукино ⁶⁹ оторвало ногу.

Наша армия, по окончании сражения, переправилась через реку Алле и грустно двинулась к Велау.

ГЛАВА XXV

В конце Пасхи в Каменки приехал Леонид Николаевич Прозоров с матерью. Он застал старого князя в страшном горе. Уже два дня прошло, как княжна Софья была похищена злоумышленником, и тщательные розыски ни к чему не привели – княжна как в воду канула.

– Скажите, князь, что случилось? Где же княжна? – спрашивал Леонид Николаевич.

– Не спрашивайте лучше, Леонид Николаевич! Софьи уже два дня как нет: на неё в нашем лесу напали какие-то разбойники и увезли, – чуть не плача, ответил Владимир Иванович.

– Что вы говорите, князь! Что вы говорите! – побледнев как смерть, воскликнул Прозоров.

Князь рассказал молодому человеку о постигшем их несчастье.

– Надо было сейчас же за негодьями послать погоню.

– Несколько отрядов было послано.

⁶⁷ Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном 1806–1807 гг. СПб., 1846.

⁶⁸ Мазовский (Мозовский) Матвей Николаевич – генерал-майор, командир дивизии.

⁶⁹ Сукино (Сукин) Александр Яковлевич (1764–1837) – комендант С.-Петербурга, генерал от инфантерии, позже член Государственного совета.

– Ну и что же?

– Посланные возвратились с ответом, что похитителей и след простыл, – печально ответил старый князь.

– Боже, что же делать! – с отчаянием проговорил Прозоров, закрывая лицо руками.

Он так спешил в Каменки, думал, что ждёт его счастье. Свадьба их назначена была после Пасхи, на Красную горку. И вдруг почти накануне свадьбы княжну похищают! Все надежды Прозорова рушились. Горе молодого человека было велико; его старушка мать, сама плача, старалась утешить и успокоить любимого сына.

– Ваше сиятельство! Глашутка вернулась, – радостным голосом проговорил Федотыч, входя в столовую, где находился князь с приехавшими гостями.

– Приехала? Одна? – с замиранием сердца спросил Владимир Иванович.

– Нет, ваше сиятельство, не одна, а с двумя бродягами, с теми, вишь, какие напали на нашу голубушку княжну.

– О, теперь легче узнать, куда они дели Софью.

– Где же негодяи? – спросил у Федотыча Прозоров.

– Да в людской, – ответил тот.

– Пойдёмте, Леонид Николаевич! Ваш приезд счастлив: Софья найдётся.

Обрадованный князь в сопровождении Прозорова поспешил в людскую.

Там дожидалась князя дочь мельника. На красивом лице молодой девушки видна была радость. С ней рядом стояли, понуря головы, Петруха и Кузька. Руки были у них крепко скручены.

Как попались оборванцы в руки молодой девушки?

Глаша поехала на розыски в сопровождении трёх княжеских дворовых и кучера. Она заехала на мельницу, простилась с отцом и отправилась в путь с надеждою напасть на след похищенной княжны. Почти сутки плутала она по окрестным местам княжеской усадьбы, побывала во всех сёлах и деревнях по окрестности, расспрашивала попадавшихся ей, не видели ли они или не слышали о княжне? Но ни розыски, ни расспросы не помогли. Молодая девушка уже отчаивалась, как совершенно случайно, проезжая большим торговым селом, она увидела, что около кабака на лужайке какие-то два оборванца бойко пляшут под гармонь, на которой играл молодой парень в кумачной рубашке и в суконном кафтане, накинутом на плечи. Глаша взглянула на плясунов и сразу узнала Петруху и Кузьку; они были пьяные и, не обращая никакого внимания на подъехавший тарантас, продолжали выплясывать разные коленца.

– Ребята, вот разбойники, что напали на нас в лесу! Вяжите их скорее! А если не сладите, позовите народ! – крикнула молодая девушка своим провожатым, показывая на плясунов.

– Вона, не сладим!

Княжеские дворовые ловко сшибли с ног Петруху и Кузьку и, прежде чем те успели опомниться, крепко их скрутили. Игравший на гармонии парень и собравшиеся посмотреть на плясунов мужики протестовали было против этого, но когда они узнали, что были за люди плясуны, сами ещё помогали крутить разбойников. Произошло это верстах в двадцати от Каменков.

Петруху и Кузьку силою ввалили в тарантас; Глаша поспешила в княжескую усадьбу. Бродяги почти в продолжение всего пути крепко и беззаботно спали. По приезде в усадьбу их растолкали и заставили выйти из тарантаса; связанные оборванцы с удивлением посматривали на себя; они забыли происшедшее с ними.

– Петруха, а ведь нас скрутили! – толкая товарища, опомнился первый Кузька.

– Чай, видишь, чёрт, чего спрашиваешь? – огрызнулся рыжеволосый.

– Как это нас угораздило попасться?

– Не знаю, не помню.

– И я ничего не помню.

– Дай срок, под палкою вспомнишь, – вмешался кто-то из дворовых.

Оборванцев ввели в людскую.

– Разбойники, вы похитили мою дочь? – крикнул на них князь Владимир Иванович.

– Никак нет, мы ничего не знаем! – как ни в чём не бывало ответил Петруха.

– Врёшь, негодяй, я заставлю тебя сознаться! Я прикажу бить тебя палками!

– Что же, нам не привыкать, – нахально ответил Кузька.

– Успокойтесь, князь, я прикажу заковать их в цепи и отправить в город. Там заставят их говорить правду! – спокойно сказал Прозоров.

– Зачем в город? Что же, пожалуй, повинимся: наш грех, мы напали на княжну.

– Зачем вы это сделали? С какой целью? – спрашивал Леонид Николаевич.

– Подкупил нас барин, – хмуро ответил Кузька.

– Какой барин?

– А кто его знает! Из Москвы нас за этим привёз, похож на военного.

– Куда же девали вы княжну?

– Ему сдали, барину, он на поляне с лошадьми дожидался.

– Ну, а куда он княжну повёз? – совершенно спокойно продолжал расспрашивать Прозоров попавшихся оборванцев.

– Не знаем.

– Говорите правду. Искреннее сознание смягчает наказание.

– Правду, барин, говорю – не знаем.

– Если скажете, где дочь моя, то я прикажу вас отпустить, – сказал князь.

– Сказали бы, ваше сиятельство, да не знаем: барин, что подрядил нас выкрасть княжну, положил её на телегу и от нас уехал.

– И деньги не все, что следовало, заплатил, дьявол! – прибавил Петруха.

– А дорогу, по которой негодай повёз княжну, вы можете указать?

– Отчего не указать. С нашим удовольствием! Мы сами будем рады, если вы его изловите! Но только поймать его трудно: хитёр, анафема! – откровенничал черномазый Кузька.

В лес, не мешкая, отправились старый князь, Прозоров, Глаша и два оборванца под строгим караулом, состоящим из нескольких дворовых, вооружённых ружьями.

– Барин, а барин! Вели маленько отпустить верёвку, страсть больно! Не убежим, – обратился Петруха с просьбой к Прозорову; тот приказал совсем развязать им руки и вести их на верёвке.

– При первой попытке бежать вы будете расстреляны! – погрозил князь оборванцам.

– Уж куда бежать! Попали – теперь не убежишь, – проговорил хмуро Петруха.

Оборванцы показали ему поляну, на которой их дожидался Цыганов, а также и дорогу, по которой он поехал.

– Князь, я сейчас же поеду по этой дороге; возьму с собою человека три дворовых. Может быть, и нападу на след разбойника, который похитил у меня невесту, – вызвался Леонид Николаевич.

– Поезжайте! Храни вас Бог! – обнимая Прозорова, промолвил старый князь.

– А этих разбойников отправьте в город, в острог, – показывая на Петруху и Кузьму, посоветовал Прозоров.

– Да, да, я сейчас же пошлю.

Прозоров простился с князем и поехал по показанной ему дороге в сопровождении трёх дворовых; они не забыли захватить с собою и ружья.

В тот же день связанные Петруха и Кузька отправлены были в город.

ГЛАВА XXVI

Император Александр находился близ Юрбурга, где делал осмотр 17-й дивизии, пришедшей из Москвы; здесь он получил донесение от Беннигсена о Фридландском сражении. Кратко излагая ход битвы, Беннигсен доносил, что «он отступает за Прегель, где будет держаться оборонительно до прихода ожидаемых им подкреплений». Главнокомандующий считал далее необходимым вступить в переговоры с Наполеоном, чтобы этим выиграть время для вознаграждения потерь, понесённых армией.

Нашему государю не хотелось вступать в переговоры с Наполеоном; несмотря на советы приближённых, он хотел продолжать войну. Министр иностранных дел барон Будберг считал если не мир, то перемирие необходимым; он представил императору письмо, полученное им от

главного дипломатического чиновника Цизмера,⁷⁰ находившегося при нашей армии: «С душою, растерзанною бедственным зрелищем, коего я имел несчастье быть свидетелем, доношу о постигшем нас злополучии, ибо генерал Беннигсен, не желая огорчить императора, пишет ему не всё». Описав сражение, Цизмер заканчивает своё письмо такими словами: «Если подчинённый смеет откровенно говорить начальнику, то доложу, что нам остаётся одно средство: как можно скорее предложить перемирие или вступить в переговоры о мире, пока армия и идущие к ней подкрепления станут за Прегелем и можно будет получить выгоднейшие условия мира. Наша потеря в людях и артиллерии несметна. Беннигсен изобразил императору Фридландскую битву в несравненно меньшем мрачном виде, нежели как была на самом деле». Прочтя это письмо, государь с грустью проговорил:

– К чему было скрывать? Мне нужно знать правду.

– Беннигсен не хотел опечалить вас, государь, – сказал барон Будберг.

– Не хотел опечалить! Слабая отговорка. Скажу вам, мне очень-очень не хотелось начинать переговоры с Бонапартом. Но если это необходимо...

– Необходимо, ваше величество!

– Ну, тогда надо покориться необходимости.

Вскоре после этого государь послал на имя Беннигсена рескрипт следующего содержания:

«Вверив вам армию, прекрасную, явившую столь много опытов храбрости, весьма удалён я был ожидать известий, какие вы мне ныне сообщили. Если у вас кроме перемирия нет другого средства выйти из затруднительного положения, то разрешаю вам сие, но с условием, чтобы вы договаривались от имени вашего. Отправлю к вам князя Лобанова-Ростовского,⁷¹ находя его во всех отношениях способным для скользких переговоров. Он донесёт вам словесно о данных ему мною повелениях. Переговоря с ним и с Поповым,⁷² отправьте его к Бонапарту. Вы можете посудить, сколь тяжко мне решиться на такой поступок».

Князь Лобанов с высочайшим повелением начать переговоры о мире приехал в главную квартиру Беннигсена.

Наполеон для переговоров назначил маршала Бертье. Князь Лобанов был любезно принят в Тильзите маршалом Бертье.

Заговорив о перемирии, наш доверенный предупредил, что при всём желании мира император Александр не примет оскорбительных достоинств его условий и тем более не потерпит самонадеянного изменения в границах России.

Бертье уверил Лобанова, что об этом не может быть и речи. После переговоров постановили перемирие на месяц, полагая границею обеим армиям берег Немана, а от Бреста по Бугу.

Это перемирие было подписано в доме Наполеона; князь Лобанов был приглашён императором французов к обеду. Вот что об этом доносит Лобанов государю:

«Наполеон, спросив шампанского вина, налил себе и мне, и мы ударились вместе рюмками и выпили за здоровье вашего величества. По окончании стола почти до девяти часов вечера оставался я с Наполеоном один. Он был весел и говорлив до бесконечности, повторял мне не один раз, что всегда был предан и чтит ваше императорское величество, что польза взаимная обеих держав всегда требовала союза

⁷⁰ Цизмер Яков Иванович – чиновник 1-й экспедиции министерства иностранных дел.

⁷¹ Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758–1838) – князь, генерал от инфантерии, министр юстиции, в 1812–1813 гг. командующий Резервной армией.

⁷² Тайный советник, доверенное лицо государя, находился в действующей армии (прим. автора).

Попов Василий Степанович (1745–1822) – действительный тайный советник, секретарь кабинета Екатерины II, в 1812 г. председатель комиссии прошений.

и что ему собственно никаких видов на Россию иметь нельзя было. Он заключил тем, что истинная и натуральная граница российская должна быть река Висла».

Наполеон с Пруссией тоже заключил перемирие. Тяжело было согласиться на это злополучному Фридриху-Вильгельму.

С Наполеоном заключено было перемирие.

Но не радовались наши храбрые офицеры и солдаты этому. Они сгорали желанием отомстить французам за своих павших в бою товарищей.

Провидению угодно было отсрочить кровавую расплату ещё на пять лет, то есть до отечественной войны.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Бедная княжна не скоро пришла в себя. Нежданное нападение сильно на неё подействовало. Цыганов между тем гнал лошадей, что называется, вовсю... Очнувшись, Софья с удивлением увидала, что она лежит в телеге, а лошадьми правит Николай.

– Николай, это вы? – спросила она слабым голосом.

– Я, я, княжна, – полуоборачиваясь, ответил молодой человек.

– Куда вы меня везёте?

– Я и сам не знаю.

– Странно! А те злодеи, что напали на меня в лесу?

– Мне удалось вырвать вас, княжна, из рук злодеев.

– Что вы говорите?

– Извольте меня выслушать.

– Говорите, говорите. Я просто ничего не понимаю!

– А вот поймёте. Из Москвы я выехал на этих лошадях, ехал без кучера; не доезжая вёрст десять до Каменков, я увидел, как двое каких-то оборванцев везут вас в простой деревенской телеге. При взгляде на вас, княжна, у меня упало сердце. Я крикнул злодеям, чтобы они остановились, но они меня не слушали и руганью отвечали на моё требование. Тогда я выстрелил в одного негодя и убил его наповал, другой соскочил с телеги и бросился бежать в лес... Я поспешил положить вас на своих лошадей, – не моргнув глазом, врал Цыганов.

– Стало быть, вам я обязана своим освобождением? – прерывая Николая, спросила княжна.

Софья мало верила ему; она вспомнила рассказ Глаши: дочь мельника уверяла её, что за несколько дней до нападения в лесу она видела Николая с двумя оборванцами.

– Да, княжна. Я очень счастлив, что мне удалось вас спасти.

– Вы говорите правду?

– Неужели вы мне не верите? – хватило дерзости у Николая спросить у княжны.

– Ведь вы везёте меня в Каменки?

– Нет, княжна, – сознался молодой человек.

– Почему? Я хочу ехать домой.

– Как видите, день клонится к вечеру, а до Каменков более двадцати вёрст... Я боюсь, на нас могут напасть разбойники, их много – бродяг – по этим лесам.

– Остановите лошадь, я одна пойду.

– Что вы! Разве можно! Тут близко есть в лесу хибарка, в ней живёт старуха; вот вы и переночуете в этой хибарке; а завтра утром я отвезу вас в усадьбу.

Софья не стала возражать; она хорошо знала, что угрозою не заставит Цыганова везти её домой, а одной идти, не зная дороги, ночью невозможно. Они въехали в густой, непроходимый лес. Наступил тихий тёплый вечер. Яркое солнце давно скрылось за горизонт... Стало темно.

Проехав несколько лесом, Николай остановился около маленькой, вросшей в землю избёнки, которая одиноко стояла на небольшой поляне; с проезжей лесной дороги в избушку

вела узенькая извилистая дорога; на паре лошадей по такой дороге ехать было невозможно, а потому молодой человек отпряг одну лошадь, привязал её к тарантасу и поехал на одной.

– Вот, княжна, здесь найдёте на время себе пристанище, а я ночую у избёнки, в тарантасе.

Из избёнки вышла какая-то старуха с грубым, изрытым оспою лицом; седые волосы космами торчали из-под рваной головной повязки; на старухе был синий посконный⁷³ сарафан.

– Ну ты, лесная красавица, встречай дорогую гостью! – крикнул ей Цыганов.

– И то, вишь, встречаю, – грубо ответила старуха. – Ну, гостьюшка желанная, жалуй в мою хибарку.

Княжна с отвращением посмотрела на неё и не пошла в избу.

Сычиха – так звали старуху – лет тридцать жила в избе посреди большого леса. Жила она одна, кругом вёрст на пять не было жилья. Не боялась старуха жить в лесу, она свыкла с тёмным лесом. Прежде Сычиха жила в этой избе со своим мужем – лесником; умер у неё муж, и некоторое время она справляла обязанности лесника, охраняла лес от порубок, каждое деревце стерегла, зорко следила за «господским добром»; мужики все боялись Сычихи; беда, если кого застанет она в барском лесу с топором: скрутит тому руки и к приказчику на расправу предоставит. Неумолима была Сычиха на мужицкие просьбы. А когда она стала стареть, то оставила должность лесника, а жить по-прежнему осталась в сторожке. Барин, кому принадлежал лес, в благодарность за её услугу дозволил до смерти жить в сторожке, а провизия ей шла с барского двора бесплатно. Мужики не любили Сычиху и называли её колдуньей, хоть Сычиха никаким колдовством не занималась. Николай Цыганов, во время своего путешествия из Москвы в Каменки с Петрухой и Кузьмой избегал ехать большой дорогой, а выбирал просёлочную; проезжая ночью лесом, он случайно увидел Сычиху, спросил у неё, далеко ли до жилья. Старуха предложила ночевать у неё в избёнке. Николай с радостью согласился, так как жилья поблизости не было.

Единственное жилище Сычихи на поляне, окружённой частым вековым лесом, недоступность дороги к избёнке – всё это породило мысль у Николая припрятать княжну у Сычихи на первое время. Он посулил старухе деньги, если она будет стеречь княжну и также будет молчать. Сычиха, жадная до денег, охотно согласилась.

– Что же, сударка, стала? Входи в избу. Хоть моя избёнка и не красна углами, зато красна пирогами! – ехидно ухмыляясь, проговорила старуха.

– Я не пойду! – не трогаясь с места, сказала Софья.

– Что же, аль в лесу заночуешь? Гляди, моя сударка, как раз в зубы волку али медведю угодишь!

– Не бойтесь, княжна, входите! – сказал и Цыганов.

– Я ничего не боюсь. И если кто вздумает меня обидеть, то сумею за себя постоять!.. – резко сказала Софья.

– Избави Боже, никто, княжна, не посмеет вас обидеть, никто!

Княжна вошла в избу.

Изда Сычихи была тесная, низенькая, без пола, с одним очень маленьким оконцем, с закоптелым потолком и стенами; половину избы занимала большая печь. Передний угол украшала икона; тут стоял дубовый стол со скамьями.

– Прошу покорно, сударушка, в красный угол, на место почётное. Присаживайся. Чем угощать прикажешь?

– Мне ничего не надо, – ответила княжна.

– Что так? А ты не спесивься, откушай, яйца есть, а то молока не хочешь ли? Молоко-то свежее, хорошее. И хлеб мягкий, ноне испекла.

– Оставь меня, мне ничего не надо!

– Ох, сударка, и спесива же ты!

– Ну, а ты, старуха, пошла! Чего княжне надоедаешь? – прикрикнул на Сычиху Цыганов.

⁷³ Посконь, мужские растения конопля. В отличие от женских (матерки) менее облиственные, раньше созревают, содержат больше волокна. Посконина: 1) Домотканый холст из поскони. 2) Одежда, изготовленная из такого холста.

Та поспешила выйти из избы.

– Княжна, не прикажете ли чего? – заискивая, спросил он.

– Нет, мне ничего не надо.

– Позвольте, я принесу вам ковёр и постелю на скамью.

Лёгким наклоном головы княжна его поблагодарила.

– Мне можно уйти?

– Да, ступайте.

Николай вышел. Княжна слышала, как он заложил дверь снаружи засовом.

«Что же это? Я в плену, меня запирают! Теперь я уверена, что злодеи, которые на меня напали, были им подкуплены. Глаша права. Не думает ли этот жалкий подкидыш добиться моей любви? Посмотрим, что будет завтра!» – проговорила она, подошла к двери и заперла её на крючок.

В избе было душно и мрачно. Софья отворила оконце и стала жадно вдыхать лесной весенний воздух. Это несколько укрепило расстроенные нервы молодой девушки; она стала спокойнее, усердно помолилась Богу, легла на скамью и скоро крепко заснула.

ГЛАВА II

Был уже день, когда проснулась княжна. Яркие солнечные лучи весело играли на стенах избёнки; она спала долго.

– Уже день! Однако я поспала! – оглядывая своё жилище, проговорила молодая девушка; она подошла к двери, подняла крючок, но дверь была заперта снаружи; княжна стала стучать.

– Что надо? – спросила у неё Сычиха.

– Отвори дверь!

– Она заперта.

– Отопри!

– И отперла бы, да на замке, и ключ у барина.

– У какого барина?

– А у того, что тебя вчера, сударка, привёз.

– Что это значит? – крикнула молодая девушка.

– А то и значит, что попала ты, ровно птичка, в западню и сиди теперича в ней... – прехладнокровно ответила старуха.

– Отопри!.. Иначе я дверь выломаю!

– Ох, сударка, не выломать тебе двери: крепка она, засов-то железный, а замок большущий.

– Что же это, зачем он меня запер, зачем?

Молодая девушка заплакала.

– А ты полно! Чего убиваешься! Слезами не пособишь.

– Слушай, старуха, выпусти меня, выпусти!

– И выпустила бы, да не могу! Выпусти – барин убьёт меня, а избёнку сожжёт.

– Какой он барин! Он жалкий подкидыш, негодяй презренный... Мой отец и брат были его благодетели. Хорошо отблагодарил их!.. – с горечью и со слезами говорила княжна. – Моё несчастье ему даром не пройдёт! Мой отец сумеет его наказать...

– А кто твой отец будет? – спросила Сычиха.

– Зачем тебе? Кто бы он ни был.

– Что же, не говори, пожалуй, тебе же хуже.

– Мой отец – князь Гарин.

– Как Гарин! Это что живёт в Каменках? – с удивлением воскликнула старуха.

– Ну да, Каменки наша усадьба. Ты отпусти меня, старуха, мой отец за это даст тебе много денег.

– Да, да, надо подумать – держать тебя взаперти не приходится. Я не знала, что ты княжья дочка. Хоть и называл тебя барин-то княжною, да я думала, что он так тебя зовёт. Не знала я!..

– Ну и выпусти.

– А ты, голубка, потерпи немного, выпущу, держать княжью дочь взаперти не буду – в

большом ответе за тебя, пожалуй, будешь...

– Ты только говоришь, а не выпускаешь, – упрекнула княжна старуху.

– Говорю, погоди!.. Сейчас нельзя.

– Почему?..

– А потому, твой недруг-то здесь бродит, и кони его здесь в овраге припрятаны. Пойдешь – опять ему попадешься. А ты, княжья дочь, погоди до ночи, ночью-то и подумаем, что делать.

– Ты говоришь, ключ от замка у него? – спросила Софья.

– У него, у него, с собою унёс. Да замок что!.. Стукну раза два топором – и замок сшиблен!..

– Так ты меня ночью выпустишь? – радостным голосом спросила княжна.

– Помалкивай, мы барина-то надуем. А ты вот поешь ситничка да яичек, ещё вот крынка молока.

Сычиха подала в оконце молодой девушке ситного, яиц и молока.

Обещание старухи успокоило княжну; она стала с нетерпением дожидаться ночи.

Спустя немного Цыганов вёл вполголоса разговор с Сычихой.

– Что, проснулась? – спрашивал он.

– Давно, – ответила старуха.

– Говорила с тобой?

– Нет, ничего не говорила, только жаловалась на свою хворость, – приврала Сычиха.

– Как, разве она нездорова? – испуганно спросил молодой человек.

– Головы не поднимает, лежит. Я ей и яиц, и ситного – ничего не ест, сердечная!

Наказывала её не беспокоить.

– Ну, так я к ней не пойду – беспокою.

– Не ходи, барин, отложи – пусть отдохнёт.

– Да, да, пусть. Я пойду поброжу по лесу.

– Что ж, барин, поди прогуляйся! Погодушка хорошая!..

Прошёл долгий весенний день, настал вечер, а там и ночь.

Уже совсем стемнело, когда к избе Сычихи подошёл измученный, усталый Цыганов; он заблудился в большом лесу и несколько часов подряд путался и едва вышел на поляну, где находилась Сычихина изба; ему страшно хотелось есть. Утолив свой голод молоком и яйцами, он растянулся на траве под деревом, в нескольких шагах от хибарки, предварительно наказав старухе снести корма и питья его лошадям, которые стояли в неглубоком овраге привязанными к дереву; там находилась и телега с кибиткою.

Цыганов не спешил объясняться с княжною, он избегал или медлил с объяснением. Честь в нём была ещё не совсем потеряна, ему совестно было взглянуть в глаза Софье, с ней заговорить. Николай сознавал большую вину перед нею. Он раскаивался в своём бесчестном поступке и, услышав от Сычихи о мнимой болезни княжны, хотел уже отвезти её обратно в Каменки. Но страсть его не допустила до этого.

«Моя или ничья! – думал Цыганов, лёжа под деревьям. – Попала в руки, моею и будет! Во что бы то ни стало, а её любви я добьюсь! Пусть немного поживёт у Сычихи, а там уговорю со мною ехать в какой-нибудь отдалённый город. Не поедет – силою увезу, там и повенчаемся. Волей или неволей, а сиятельные князь и княгиня зятем меня должны назвать. Что же, теперь я не простой, сам в дворянстве состою!»

Наконец сон стал одолевать Николая и он скоро заснул крепким, богатырским сном.

Глубокая полночь; тишина в лесу могильная, вся природа как будто тоже погрузилась в тихий сон. Высокие деревья стоят не колышутся, и только один соловей нарушает лесное безмолвие, его музыкальные трели несутся в ночной тишине раскатистым эхом по густому лесу и замирают где-то далеко-далеко...

Старая Сычиха осторожно, оглядываясь по сторонам, подошла к своей избе и, тихо стукнув в оконце, спросила:

– Не спишь, княжна?

– Нет! До сна ли? Я жду тебя.

– Опасно нам бежать-то: твой недруг здесь.

– Ведь он спит?

– Крепко спит, а всё же боязно. Ну проснётся? беда!

– Как же нам быть?

– Боюсь, начну замок сшибать, услышит Ах, постой, может, я достану ключ. Ключ-то у него на кушаке привязан, срежу – он крепко спит, не услышит.

Сычиха осторожно подкралась к спавшему Цыганову; на нём надет был суконный казакин,⁷⁴ подпоясанный красным кушаком; на кушаке висел ключ.

В руках у старухи был острый ножик. Она очень ловко срезала ключ и поспешила с ним к двери; замок был отперт, и княжна очутилась на свободе.

– Скорей к оврагу, там стоят кони.

– Так темно, я ничего не вижу.

– Давай, сударка, руку, я поведу.

Они скоро добрались до оврага. Сычиха привычною рукою впрягла одну лошадь, а другую привязала позади телеги.

– Ты садись, а я выведу лошадей.

Софья села в кибитку. Она дрожала, как в лихорадке. Старуха повела под уздцы лошадь. Дорога из оврага была глинистая, плохая.

Наконец они выбрались из оврага и выехали на широкую лесную дорогу; по такой дороге свободно было ехать парой. Сычиха впрягла и другую лошадь, села на облучке, взмахнула вожжами, и сытые кони быстро понеслись.

– Ну, прощай, барин! Счастливо оставаться, домовничай в моей избёнке! – весело сказала Сычиха.

– Как мне благодарить тебя, добрая женщина! Ты спасла меня! – проговорила княжна.

– А ты погоди, сударка: вот предоставлю тебя в Каменки – тогда и отблагодаришь.

– А как звать тебя?

– Зови Сычихой.

– Таких имён я не слыхала.

– Да это не имя, а прозвище, а звать меня Аксиной.

– Господа, как я, Аксиныя, рада! Я на свободе...

– Ещё бы не радоваться! Всяк человек свободе радуется.

– Далеко до Каменков? – спросила княжна.

– Десятка два вёрст будет, – ответила старуха, погоняя лошадей.

– Господи, как далеко!

– А ты, княжна, не бойся, дорога мне известна, скоро доедем.

– Страшно ночью в лесу!

– Чего бояться? В нашем лесу тихо, и злых людей в нём не водится.

Между тем Цыганов спал часов пять подряд, и когда проснулся, было уже совершенно светло; он с удивлением посмотрел на свой перерезанный кушак, валявшийся на траве; Николай хватился ключа – его не было; нетрудно было догадаться, что ключ срезали. Он вскочил и вне себя от гнева и злобы бросился к избёнке: дверь открыта, в избе никого не было.

– Проклятие! Убегла, верно, подговорила старую чертовку – вместе и убегли. О, если бы мне их поймать!..

Цыганов побежал к оврагу за лошадьми – ни лошадей, ни кибитки не было.

– Всё, всё пропало! Обманули, провели! И я, дурак, церемонился с этой куклой! А ты, проклятая хрычовка, за всё ответишь мне. Попадись, я задушу тебя, гадину! – кричал Цыганов, посылая проклятия и княжне, и Сычихе.

Он поджёл хибарку старухи и любовался, как огонь пожирал ветхое жилище и убогое добришко старухи; через час и следа не осталось от избы; только печной остов одиноко стоял на поляне.

– Куда теперь идти? Надо подальше скрыться из здешних мест: теперь искать меня будут. Не везёт мне в жизни... Пойду куда-нибудь. Деньги у меня водятся. Э, как ни жить, лишь бы жить...

⁷⁴ Казакина, м. (от слова казак) (устар.). Мужское верхнее платье в виде кафтана на крючках со сборками сзади.

И, успокоившись от душившего гнева и злобы, Цыганов быстро замаршировал по дороге к Москве.

ГЛАВА III

– Что это, Пётр Петрович: я замечаю большую перемену в твоём обращении с Дуровым, что это значит? – как-то раз спросил князь Сергей у своего приятеля.

Тот как-то поморщился и тихо ответил:

– Тебе так кажется: никакой перемены. Я с Дуровым хорош по-прежнему.

– Не говори! Ты даже, как я заметил, нередко говоришь с ним на «вы», называешь его не Дуровым, а господином офицером. Скажи, Пётр Петрович, ты чем-нибудь им недоволен?

– С чего, князь, взял? Я очень, очень доволен молодым офицером! Он исправен по службе, храбр, старателен – единственный пример для всех.

– Уж и единственный! Ты преувеличиваешь, друг сердечный!

– Я преувеличиваю? Нисколько. Она, то есть он, удивительный человек!

– Опять-таки преувеличиваешь!

– Молодая женщина оставляет всё дорогое, любящее и решается сражаться в рядах нашей армии! Своим героизмом и отвагою служит примером всем нам... – с жаром говорил Пётр Петрович. Он в своём увлечении забыл данное слово Дуровой никому не открывать, что она женщина. – Это идеальная, беспримерная женщина! В сражении кругом ад кровешный, кровь рекою льётся, от стонов и криков голова кружится, а она и бровью не моргнёт

– Постой, постой! Про кого это, приятель, ты с таким увлечением рассказываешь? Кто эта идеальная женщина? Я не понимаю. Ведь я с тобою говорю про Дурова! – с удивлением поглядывая на Зарницкого, сказал Гарин.

– И я говорю... то есть нет, – я сам не знаю, что болтаю, чёрт возьми!

Пётр Петрович растерялся и не знал, как вывернуться.

– Я говорю про Дурова.

– Ну, и я про неё.

– Про неё? Кто это «она»?

– Тьфу, чёрт! Опять спутал. Князь, чего ты меня сбиваешь? – рассердился Зарницкий.

– Помилуй, я и не думаю.

– Ну чего ты лезешь ко мне с этим Дуровым!

– Послушай, Пётр Петрович, этот Дуров – не Дуров, а Дурова?... не мужчина, а женщина?

– Что ты ещё выдумал? – Зарницкий покраснел и опустил голову.

– Ты сам себя выдал, приятель!

– Я, я? – переспросил бедный Пётр Петрович.

– Да, ты. Проговорился, голубчик!

– Ну, ну, проговорился, что же из этого?

– Ничего особенного. Я и сам подозревал в этом молодом человеке женщину.

– Подозревал – и только? По нежному сложению он точно напоминал женщину, но по своему мужеству и героизму – твёрдого, закалённого в битвах воина. Да что! – и не одни мы с тобою, а вся армия, все приняли её за мужчину!

– Ну, были исключения. Твой денщик Щетина первый не хотел признать Дурову за Дурова.

– Да, братец, он оказался дальновиднее нас.

– Расскажи, пожалуйста, Пётр Петрович, как ты проник в эту тайну? Ведь Дурова так хорошо себя замаскировала.

И едва только полковник Зарницкий окончил свой рассказ, как ему удалось открыть, что храбрый молодой офицер не мужчина, – дверь в барак открылась, и вошла Надежда Андреевна Дурова.

– Я не помешал? – спросила она, поглядывая на растерявшихся друзей.

– Нисколько, нисколько, очень рады! – вставая и кланяясь, проговорил князь Гарин.

– Вы легки на помине: мы только что с князем про вас говорили. Прошу садиться.

Водворилось молчание; Зарницкий и Гарин не знали, о чём заговорить с Дуровой; она

тоже молчала. Наконец Пётр Петрович откашлянулся и заговорил:

– Видите ли, милая барынька, я... я проговорился и открыл князю, кто вы. Вы на меня не сердитесь. Сделал это я, право, без всякого умысла, но это ничего: князь – мой, как вы знаете, искренний друг. Он вас не выдаст, ведь так?

– Разумеется, разумеется, – поспешил ответить Гарин.

– Благодарю вас, князь! – вся вспыхнув, тихо сказала Надежда Андреевна.

– Да, да, вы можете на меня рассчитывать, на мою скромность.

– Я прошу вас, князь! Скоро, говорят, последует мир с Наполеоном, и тогда я прощусь с вами, господа. А теперь пусть для всех по-прежнему я буду мужчиной.

– Я, право, не знаю, Надежда Андреевна, зачем вы скрываете?.. Вы героиня, вторая Жанна д'Арк!.. Вы единственная из женщин. Перед вашей храбростью и отвагой должны преклониться, – опять увлёкся Зарницкий.

– Что вы, что вы?.. Я такая же, как и все, – скромно проговорила Дурова.

– Ну, нет, это вы оставьте! Вы необыкновенная женщина.

Князь Гарин с глубоким уважением смотрел на эту эксцентричную женщину; он дал ей слово, что будет молчать.

Чиновник Чернов – муж Дуровой, а также её отец с матерью так и решили, что их дочь утонула в реке Каме. Поплакали по ней родные, погоревали; не одну панихиду отслужили за упокой «утопленницы». Вдруг, недуманно-негаданно, отставной ротмистр Андрей Васильевич Дуров получает от дочери письмо, в котором она пишет любимому отцу, что жива и здорова и служит в уланском полку, в который поступила под именем Александра Дурова. Отец приходит в страшное беспокойство – и рад, и испуган, сам не знает, что делать! Оказывается, что дочь жива; он хотел поделиться своею радостью с женою Марфой Тимофеевной, которая в то время была больна. Но письмо дочери было для матери роковым: узнав, где и что её дочь, она так этим поразилась, что, прочитав письмо, тут же скончалась.

Похоронив жену, Дуров остался с большой семьёй на руках без хозяйки. Он стал повсюду разыскивать свою дочь и подал прошение на высочайшее имя в 1807 году о возвращении ему «несчастной дочери Надежды, по мужу Черновой, которая по семейным несогласиям принуждена была скрыться из дома».

Государь повелел навести справки о Дуровой и если таковая окажется в действующей армии, то вытребовать её в Петербург.

В силу этого повеления Надежде Андреевне нельзя было скрывать тайну, что она женщина. Да теперь уже эта тайна была открыта: все знали, что в рядах армии в гусарском мундире скрывается женщина. Князь Сергей Гарин по приказу главнокомандующего потребовал к себе Дурову для объяснения.

– Надежда Андреевна, тайна ваша открыта, и вам придётся немедленно ехать в Петербург, – встретил он кавалериста-женщину.

– Как? Зачем? – испугалась и удивилась она.

– По высочайшему приказанию: государь пожелал вас видеть.

– Боже, но как узнали?

– По прошению вашего отца, поданному на высочайшее имя, – ответил князь. – Но вы успокойтесь, Надежда Андреевна, худого вам ничего не будет: наш император справедлив и милостив.

– Я виновата, я! Зачем было мне писать письмо отцу? Зачем? Пусть бы думали, что я утонула в Каме. Разнежилась, соскучилась по семье – вот теперь и кайся! – взволнованным голосом говорила Дурова. – Зачем я им? Довольно мытарили! Только отца жалко, один он меня любил. На него бы я взглянуть желала!..

– Поезжайте в Петербург: может, там и увидите, – сказал Гарин.

К князю вошёл Пётр Петрович. Он был мрачен.

– Едете? – спросил он у кавалериста-девицы.

– Еду, Пётр Петрович, принуждена ехать.

– Государь требует... А всё ваш отец настроил!

– Он хочет вернуть меня в семью, в дом...

– А вы, Надежда Андреевна, лучше к нам скорее вернитесь. Мы... мы к вам привыкли, – взволнованным голосом говорил Зарницкий. Как видно, нелегко было ему расстаться с ней.

– Я буду просить у государя, как милости, чтобы он мне разрешил вернуться в армию. Здесь, между вами, мои друзья, и мой дом, и моя семья! – пожимая руки и князю, и Петру Петровичу, чуть не со слезами сказала она.

На другой день Дурова выехала из армии в Петербург. Зарницкий и Гарин далеко проводили её; она сердечно с ними простилась.

– Приезжайте скорее, ждём! – крикнул ей вслед подполковник Зарницкий.

– Только бы отпустили – приеду!

С тоской покинула она армию.

«Неужели меня домой отправят? – думала она. – Что я буду делать дома? Так рано осудить меня на монотонные занятия хозяйством? Надобно сказать всему прости – и светлому мечу, и доброму коню... друзьям... весёлой жизни... скачке, рубке, всему конец! Всё затихнет, как не бывало, и одни только незабвенные воспоминания будут сопровождать меня, где бы я ни была. Минутное счастье, слава, опасности!.. Шум!.. Клик!.. Жизнь, кипящая деятельностью!.. Прощайте!»

Так печально думала кавалерист-девица, отъезжая из армии в Петербург.

ГЛАВА IV

В Петербурге Надежду Андреевну ожидал отец её, Андрей Васильевич. Свидание его с дочерью после долгой разлуки было трогательно. Отставной ротмистр плакал как ребёнок, обнимая свою дочь.

– Мы с тобой, Надинька, теперь никогда не расстанемся! Ведь так? Ты, моя голубка, поедешь со мною домой? Да как ты переменилась, возмужала!.. Тебя не узнаешь! – говорил он дочери, с восторгом глядя на неё.

– А ты похудел, отец, состарился.

– Плохие дела хоть кого состарят!

– Разве твои дела так плохи? – спросила у отца кавалерист-девица.

– На что хуже, Надинька! Совсем расстроился... Ещё при матери был хоть порядок в дому, а как она умерла – и пошло: дети малые, хозяйство вести некому. Ты, Надинька, заменишь мать, на тебя все надежды.

– Нет, отец, на меня не рассчитывай.

– Как?! Что ты сказала? – меняясь в лице, спросил Андрей Васильевич.

– Хоть мне и больно сказать тебе, но домой, на Каму, я не поеду.

– Как не поедешь?

– Я буду просить государя, чтобы он разрешил мне остаться при армии.

– Что ты, Надя! А зачем же мы хлопотали? Ведь я нарочно в Петербург приехал... прошение подавал...

– Я сама не знаю, зачем ты это сделал.

– Как зачем? Чтобы вернуть тебя. Не забывай, что у тебя есть муж.

– Я забыла про него, навсегда забыла...

– Ах, Надинька, Надинька! Подумай, что ты говоришь, – с лёгким упрёком проговорил Андрей Васильевич.

– Вы насильно выдали меня за Чернова. Я никогда не любила его.

– А Василий Степанович так тебя любит! Как он, сердечный, убивался и плакал, когда твою одежду нашли на берегу Камы. Да и все мы тогда от слёз глаза не осушали. Думали – утонула! И хитрая же ты, дочка, право, хитрая, ловко нас обманула!

– Вспомни, отец, мою жизнь дома... Легко ли мне было? От нелюбимого мужа я ушла, потому что жизнь с ним казалась хуже каторги... Не выдержала, домой ушла – и дома было мне не легче... Мать с утра до ночи пилила меня, грозила силою отправить к постылому мужу. Кто меня в семье любил? Только один ты, мой добрый!.. У тебя с матерью происходили частые сцены, и причиною ссоры была я...

– Ну, Надинька, оставь! Что вспоминать про старое!

– Ты с малолетства заставил меня полюбить военную службу. Я спала и видела быть в полку. Представился случай – и я очутилась в рядах армии. Там у меня явилась новая семья – меня полюбили, как храброго, отважного товарища.

– Ещё бы, ещё бы! Ты у меня герой, храбрая, неустрашимая кавалерист-девица... – проговорил отставной ротмистр, обнимая свою дочь. – А всё-таки домой ты поедешь. Упрошу – и поедешь.

– Нет, отец, не поеду. Теперь у меня есть другой дом – это мой полк; там ждут меня.

– Эх, Надя! Не забывай, говорю, у тебя есть муж: он имеет право против твоего желания вытребовать тебя к себе.

– Не поеду к нему я, не поеду! Я буду просить у государя. Наш обожаемый государь правдив и милостив – он позволит мне вернуться в полк.

– Не думал я, дочка, не думал, что ты меня позабудешь и свою семью! Бог с тобой!

Андрей Васильевич прослезился.

– Полно, отец, пристали ли тебе слёзы! Полно, ты хорошо знаешь, что я люблю тебя. И как скоро последует мир, я к тебе приеду надолго. А теперь не иди против моего желания.

– Пожалуй, поезжай в полк, храни тебя Бог!..

– Вот и спасибо, мой добрый! – Надежда Андреевна крепко обняла и поцеловала отца.

– По мне... поезжай! Вот только Василий Степанович...

– Я буду просить, хлопотать, мне дадут развод и наш брак расторгнут.

Оправившись с дороги, кавалерист-девица была представлена императору в Зимнем дворце. Государь принял её в своём кабинете.

С каким благоговением и чувством вступила Надежда Андреевна в кабинет обожаемого всем народом монарха и преклонила пред ним колени.

– Встаньте, я рад вас видеть, познакомиться, – раздался тихий, ласковый голос Александра.

– Государь, ваше величество!..

Дурова хотела что-то сказать, но слёзы мешали. То были слёзы радости и восторга. Видеть великого из монархов, говорить с ним составит радость всякому.

Она опустилась на колени.

– Встаньте! – Государь протянул Дуровой руку, чтобы помочь ей встать.

– Я слышал, вы – не мужчина? Это правда?

– Правда, ваше величество, – тихо ответила государю Надежда Андреевна.

– Расскажите мне всё подробно: как поступили вы в полк и с какою целью, – проговорил государь.

Он говорил с Дуровой стоя, опёршись рукою о стол.

Надя дрожащим голосом в кратких словах рассказала государю историю своей жизни и причину своего поступления в уланский полк.

Император слушал со вниманием; когда она окончила, государь стал хвалить её неустрашимость.

– Вы – первый пример в России; ваше начальство о вас отзывается с большой похвалой. Храбрость ваша беспримерна, и я желаю сообразно этому наградить вас и возратить с честью в дом вашего отца.

– Будьте милостивы ко мне, ваше величество, не отправляйте меня домой, – проговорила Дурова голосом, полным отчаяния, и снова упала к ногам государя. – Не заставляйте меня, государь, сожалеть о том, что в сражении не нашлось ни одной пули, которая бы прекратила дни мои.

– Встаньте и скажите, чего вы желаете.

– Милосердный государь, дозвоьте мне носить мундир и оружие. Это – единственная награда, которую вы можете мне дать... другой не надо. Государь, я родилась в лагере! Трубный звук был моей колыбельной песней... я страстно люблю военную службу и чуть не с колыбели её полюбила; начальство признало меня достойной носить мундир и оружие. Признайте и вы это, великий государь, и я стану вас прославлять, – тихо проговорила Дурова, смотря на государя глазами, полными слёз.

– Если вы полагаете, что одно только позволение носить мундир и оружие может быть

вашею наградой, то вы её получите, – после некоторого молчания проговорил государь.

– Ваше величество! – с радостью воскликнула Надежда Андреевна.

– Вы будете носить моё имя, то есть называться Александром; но не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно быть бесспорочно и что я не прошу вам никогда и тени пятна на нём... Теперь скажите мне, в какой полк хотите вы быть помещены? – спросил император Александр Надежду Андреевну.

– Куда вы, ваше величество, соблаговолите меня назначить.

– Назначаю вас офицером в Мариупольский гусарский полк – этот полк один из храбрейших. Я прикажу зачислить вас туда; завтра вы получите от генерала Ливена денег, сколько вам надо будет на обмундировку.

Государь подошёл к столу, взял с него крест святого Георгия и собственноручно вдел его в петлицу мундира счастливой Нади.

Она вспыхнула от радости, в замешательстве схватила обе руки государя и стала их с благоговением покрывать поцелуями.

– Ваше величество! Мой всемилостивейший монарх!.. – заговорила было Дурова, но слёзы радости и счастья мешали ей говорить.

– Надеюсь, что этот крест будет вам напоминать меня в важнейших случаях нашей жизни, – проговорил государь.

«Много заключается в словах сих! Клянусь, что обожаемый отец России не ошибётся в своём надеянии; крест этот будет моим ангелом-хранителем! До гроба сохраню воспоминание, с ним соединённое; никогда не забуду происшествия, при котором получила его, и всегда, всегда буду видеть руку, к нему прикасавшуюся!» – так пишет Дурова в своих «Записках».

Несмотря на просьбы своего отца, Надежда Андреевна с ним не поехала, а отправилась в полк, назначенный ей государем.

ГЛАВА V

Вернёмся в княжескую усадьбу. Было утро. Едва только проснулся князь Владимир Иванович, как в его кабинет не вошёл, а вбежал впопыхах старик Федотыч.

– Князь, ваше сиятельство, вставайте скорее, радость нам Господь послал! – задыхаясь от волнения, проговорил старик.

– Радость? Какую? – с удивлением посматривая на камердинера, спросил князь.

– Большую радость, князь.

– Неужели Софья?

– Приехала, ваше сиятельство!

– Господи, благодарю Тебя! Где же она? Где моя дочь?

– Я здесь, здесь, папа!

Софья вбежала в кабинет отца.

– Соня, дочь моя! – Старый князь зарыдал, как ребёнок, обнимая княжну.

– Папа, дорогой папа...

– Скорее к матери, порадуем её.

– Мне сказали, мама больна, я боялась её беспокоить...

– Пойдём к ней, твой приезд исцелит её.

Лидия Михайловна во всё отсутствие дочери не вставала с постели; она сильно страдала. Увидя свою дочь, которую, по мнительности своего характера, не считала в живых, княгиня обмерла от радости, крепко сжимая в своих объятиях молодую девушку.

В этот счастливый день царила радость не в одном княжеском доме; ликовало всё село Каменки. Все крепостные любили добрую и приветливую Софью.

Расстояние от хибарки Сычихи до Каменков княжна проехала без особых приключений. Сычиха хорошо знала дорогу и скоро доставила Софью в княжескую усадьбу. Когда первый порыв радости прошёл, княжна рассказала, как она спаслась, благодаря Сычихе, из заключения.

– О, если бы мне отыскать этого мерзавца, дорого бы поплатился он! – проговорил князь. – Какая неблагодарность, какая неблагодарность!

– А ты хотел, мой друг, благодарности от подкидыша! – проговорила княгиня.

– Где же та женщина, которая помогла тебе уйти? – спросил князь.

– Она, папа, в людской.

– Пусть, пусть войдёт сюда, мы должны её поблагодарить, она возвратила нам дочь! – сказала княгиня.

Сычиху щедро наградили и отвели ей на время в усадьбе небольшой чистенький домик; старуха боялась возвратиться в свою лесную избёнку: она не знала, что от её избёнки остались одни головни.

Скоро вернулся с поисков и Леонид Николаевич, напрасно объехав несколько десятков вёрст. Какова же была его радость, когда он услышал, что невеста его возвратилась! Счастью молодого человека не было конца; он обнимал и целовал всех, а на долю Сычихи выпала со стороны Прозорова щедрая награда.

– За что жаловать изволишь, сударь? – кланяясь ему, говорила старуха.

– Как за что, старая? Пойми, ты ведь невесту возвратила мне. Да за это тебя всю золотом осыпать надо!

– И, сударь, я и так получила вдоволь, на мою жизнь хватит. Немного мне надо – вот погощу у вас, благодетелей, недельку-другую, а там и в путь.

– Куда же ты пойдёшь? – спросила у Сычихи княгиня.

– По святым монастырям и обителям пойду. Грехи свои большие замаливать стану. Много, много нагрешила я на своём веку. Пора, господа милостивые, подумать и о покаянии. Не знаешь свой смертный час, а не покайся – страшно умирать!.. – проговорила задумчиво старуха и поникла своею седою головой.

Назначенную после Пасхи свадьбу Прозорова и Софьи отложили по причине болезни Лидии Михайловны и потому ещё, что ждали приезда с войны молодого князя; упорно держался слух, что скоро последует мир с Наполеоном. Леониду Николаевичу не больно нравилось затягивать свадьбу, но он принуждён был покориться и ждать.

Прогостив недели две в Каменках, Прозоров стал собираться в Москву.

– Куда вы спешите, дорогой Леонид Николаевич? Погостите! – упрашивал князь своего наречённого зятя.

– Нельзя, князь, – служба.

– Ну, побудьте ещё неделю: ведь в Москве теперь душно, пыльно. Да и Софья скучать будет без вас.

– Я недели через две-три опять приеду.

– Приезжайте, ждать будем.

– Князь, я хотел поговорить с вами относительно Цыганова: ведь этого подлеца нельзя оставить безнаказанным! – проговорил Леонид Николаевич.

– Я с вами вполне согласен, негодяя надо наказать. Предать в руки правосудия... Николай хитёр, его не скоро разыщешь.

– На то есть сыщики. По дороге я заеду к губернатору Сухову и попрошу его принять меры к розыску.

– А я попросил бы вас этого не делать, Леонид Николаевич, – проговорил князь.

– Почему? – удивился молодой человек.

– Губернатору вы, пожалуй, можете сказать – он мой хороший приятель – но до суда дело доводить не следует. Пойдут переговоры, пересуды... В этом деле фигурирует Софья.

– Ах да, вы, князь, совершенно правы. Таких подлецов, как Цыганов, не судят – их только бьют.

Софья нежно простилась со своим женихом и взяла с него слово, что он скоро опять приедет в Каменки.

С добрыми пожеланиями счастливого пути Леонид Николаевич выехал из княжеской усадьбы; князь Владимир Иванович и Софья далеко за Каменки провожали его.

ГЛАВА VI

Наполеон предложил нашему государю свидание. Приглашение было принято; местом свидания двух императоров назначен Неман. На этой реке, немного ближе к левому берегу, приказал Наполеон построить на плоту два четырёхугольных павильона, обтянутые белым полотном, украшенные коврами и национальными флагами. Один павильон назначался для императоров, другой, поменьше, – для свиты. На фронтонах было зелёной краской нарисовано обращённое к нашей стороне огромное «А»; с другой, обращённой к Тильзиту, – «N». Не на земле, пропитанной кровью, должны были встретиться два могучих императора: вода должна была быть нейтральным местом их свидания. Свидание назначено было на тринадцатое июня.

Был чудный, ясный день; ни одного облачка не видно было на голубом небесном своде; ровная поверхность реки Неман блестела как зеркало; вода в реке катилась спокойно и светло. По берегам Немана расположены были русская и французская армии; на одном берегу стояла гвардия Александра, на другом – Наполеона. Мундиры и оружие ярко блестели на солнце. За солдатами теснились тысячи народа. Около одиннадцати часов утра прибыл император Александр; на нём преображенский генеральский мундир, в шарфе и в Андреевской ленте через плечо; на голове треугольная шляпа с чёрным султаном и белым плюмажем по краям, на ногах – белые лосины и короткие ботфорты.

С государем прибыли цесаревич Константин Павлович; король прусский Фридрих-Вильгельм и блестящая свита; тут были главнокомандующий Беннигсен, князь Багратион, князь Лобанов, граф Ливен и другие приближённые лица государя.

Вот на той стороне Немана раздались громкие крики приветствия – это французская армия приветствовала своего императора. Наполеон, с пышным конвоем, в ленте Почётного легиона скакал между двух рядов своей гвардии. Дюрок, Коленкур и другие быстро следовали за ним.

В одно и то же время оба императора сошли с коней и сели в разукрашенные коврами и флагами лодки.

Когда обе лодки отчалили от берега, громкие восторженные крики раздались на обоих берегах Немана. «Величие зрелища, ожидание мировых событий взяли верх над всеми чувствами».

На прекрасном лице государя видна была задумчивость, сосредоточенность. Наполеон стоял в лодке, сложа на груди руки, и горделиво посматривал по сторонам.

– Какая торжественная минута, какая торжественная минута! – проговорила с увлечением Надежда Андреевна, обращаясь к Зарницкому, который находился с ней рядом.

– Могу сказать! От сотворения мира Неман не удостоивался такой чести, – ответил Пётр Петрович.

– Чем кончится свидание?

– Разумеется, миром.

– Бедный король прусский ждёт решения своей участи! – со вздохом промолвила Дурова.

– Да, нелегко ему, бедняге.

– Ах, Пётр Петрович, как императоры не походят друг на друга: Александр – воплощение доброты, кротости, справедливости, а Наполеон – воплощение хитрости, гордости и лицемерия.

Почти в одно время оба императора подплыли к павильонам и почти в одно время взошли на плот, на котором поставлен был императорский павильон. Наполеон и Александр бросили друг на друга вопрошающие взгляды, подали друг другу руки и вошли в павильон, двери за ними плотно затворились.

Теперь умолкли радостные крики и громкая музыка. Армия и народ стали с напряжением дожидаться выхода из павильона императоров.

Войдя в роскошный павильон, Наполеон и Александр несколько минут молчали; наконец Наполеон заговорил первый.

– Зачем мы сражаемся, ваше величество? – спросил император французов, протягивая руку Александру.

– Это правда! – тихо ответил государь. – Да, да, зачем мы сражаемся? Если в этом виновата Англия, то здесь препятствия скоро могут быть устранены.

– О, если так, то всё может устроиться, и мир между мною и вами решён! – быстро

проговорил Наполеон. – Одна только Англия препятствовала нашему миру. И вы, ваше величество, ей доверяли. Это государство соблюдает только свои выгоды.

– Да, я ошибся в Англии.

– Ваше великодушие и благородство союзники употребили во зло! Они хорошо знали, ваше величество, что стоит вам, молодому герою, показать ратное поле – и вы обнажите меч. Ах, ваше величество, зачем мне не суждено сражаться вместе с вами, быть вашим союзником? О, тогда бы мы покорили весь мир! И победные лавры украшали бы вас. Кто были ваши союзники? Король без земли и без солдат. Вы думали, что союз с Пруссией и Англией будет полезен для России. И кому вы помогали? Немцам и торгашам англичанам? А вы призваны Богом для славного дела! У вас такая храбрая армия. Откровенно скажу вам, ваше величество, я и мои маршалы удивляемся храбрости ваших солдат... Они сражались героически.

– Я ценю похвалу вашего величества! – проговорил Александр.

– Я нисколько не преувеличиваю: ваши солдаты делали чудеса храбрости. И если вы, ваше величество, соединитесь со мною, то вас ждёт счастье и слава!

– Я и то счастлив, народ меня любит – и этим я горжусь! – проговорил Александр.

Наполеон повёл государя к круглому столу, который стоял посреди павильона; стол был завален разными картами, планами и бумагами.

– Ваше величество, обратите внимание на карту Европы, – проговорил Наполеон, показывая на большую генеральную карту. – Поглядите на это собрание государств и земель, разбросанных между Россией и Францией. Почему бы нам не владеть теми маленькими государствами? Если Россия будет союзницей Франции, то мы придадим Европе другой вид. На востоке и на западе будут два императора. И мы с вами, ваше величество, будем давать законы всему миру...

Говоря это, Наполеон увлёкся, и дотоле сухое, холодное его лицо теперь блистало каким-то особым вдохновением, его выразительные глаза сверкали огнём. Государь с удивлением смотрел на этого гениального человека.

– Я не стремлюсь к завоеваниям, мои владения и так, по милости Божией, слишком обширны, – возразил государь.

Наполеон закусил губы и замолчал на несколько секунд.

– Я должен сообщить вашему величеству, – опять заговорил он, – сегодня я получил верные сведения из Турции: мой союзник султан Селим пал от руки убийцы.

– Да, и я это слышал...

– Со смертью султана мои обязательства с Портой прекратились. И я думаю, теперь надо покончить с этим полуазиатским государством, прежде чем Турция своим падением увеличит могущество Англии, – говорил французский император. – Мне Турция не нужна, она слишком далеко отстоит от моих владений. А вы, ваше величество, близкий сосед её. Присоединяя Турцию к своим владениям, вы выполните заветную мечту императора Петра Первого и Екатерины Второй. И опять на величественном храме святой Софии водрузится крест. Но об этом мы будем говорить после. Теперь же, ваше величество, я прошу вас сделать Тильзит вашей резиденцией. Мы будем жить с вами близко. Тильзит будет объявлен нейтральным.

– Я согласен и хоть сегодня же переселюсь в Тильзит. Но я также прошу вас, ваше величество, предложите гостеприимство и несчастному королю Фридриху-Вильгельму. Он мой союзник, и я поклялся быть с ним в вечной дружбе, – проговорил государь.

– Поклялись при гробе Фридриха Великого? – с улыбкою спросил Наполеон.

– Прусский король находится в моей главной квартире и ждёт решения своей участи. И я должен, ваше величество, обезопасить и короля, и его корону.

Наполеон нахмурился.

– Его земля принадлежит мне, а корону ему, пожалуй, я оставлю. Пусть он живёт в Мемеле, – проговорил Наполеон. – Впрочем, для вашего величества я готов примириться с моим злейшим врагом, – добавил он.

– Об этом я вас прошу.

– А я для вас, ваше величество, готов на всякую жертву! Я хотел совсем уничтожить Пруссию и оставлю её только потому, что вы этого желаете. А для вас, повторяю, я готов на всё...

Государь крепко пожал руку Наполеона; по своему великодушию и доброте он верил ему.

– Для переговоров завтра я приеду к вам с Фридрихом-Вильгельмом, – проговорил Александр.

– Я с нетерпением буду ждать свидания с вашим величеством.

– Свидания и с королём прусским? – заметил добродушно государь.

– Вы желаете – и я повинуюсь.

Беседа императоров продолжалась почти два часа, и когда оба монарха вышли из павильона, снова раздалась громкая музыка и оглушительные, радостные крики солдат и народа.

Тут император Наполеон представил императору Александру своих приближённых и свиту; наш государь, в свою очередь, представил Наполеону главнокомандующего и свиту.

– А, здравствуйте, мой злой соперник! Рад вас видеть! Надеюсь, теперь мы не будем, генерал, с вами враждовать? – ласково проговорил Беннигсену Наполеон.

– Ваше величество!.. – растерялся Беннигсен.

– Я всегда удивлялся вашему благоразумию, но, повторяю, вы, генерал, были очень злы под Эйлау.

Своим живым, ласковым обращением Наполеон расположил к себе императора Александра и приобрёл его доверие.

Во всё время пребывания императоров в павильоне злополучный король прусский стоял на берегу Немана, грустный, печальный; с ним находился князь Волконский. Фридрих-Вильгельм в роковой час, когда решался жребий его монархии, устремлял взоры и слух на плот, как будто желая вслушаться в разговоры обоих императоров. Один раз он даже поехал с берега в реку и остановился, когда вода была по пояс его лошади.

Простившись с Наполеоном, государь поспешил к Фридриху-Вильгельму и, посматривая на его бледное, встревоженное лицо, сказал ему:

– Что с вами? Успокойтесь. Наполеон почти уже согласился на мои условия.

– Ваше величество, я переживал страшные минуты, когда вы находились с Наполеоном в павильоне. Я страдал ужасно! – со слезами на глазах ответил прусский король.

– Больше страдать вы не будете, ваше величество! Завтра вы и я снова сюда приедем для окончательного договора с Наполеоном.

– Ваше величество, я многим обязан вашему великодушию, вашей дружбе. Что бы было с бедной Пруссией, если бы не вы, благороднейший и великодушнейший государь? – крепко пожимая руку Александра, проговорил король.

– Я всё готов сделать для вас и для Пруссии!

Император Александр, в сопровождении Фридриха-Вильгельма, цесаревича Константина Павловича и свиты, отправился в свою главную квартиру.

Второе свидание государя с Наполеоном происходило тоже на Немане; тут находился и король прусский. Повинуясь судьбе, король предстал перед победителем, не забывая своего высокого сана.

Наполеон предложил императору Александру объявить Тильзит нейтральным и просил переехать туда для ведения переговоров о мире; предложение было принято, Тильзит разделили на две равные части; одну заняли русские, другую – французы. Комендантом русской части государь назначил полковника Козловского, а французской Наполеон назначил Балли.

Пятнадцатого июня император Александр прибыл в Тильзит и радушно был встречен Наполеоном на берегах Немана; вместе с государем прибыл цесаревич Константин Павлович, министры, приближённые особы государя и свита.

Первое время Наполеон не соглашался на жительство в Тильзите Фридриха-Вильгельма; наконец согласился, по желанию нашего государя, который всячески старался облегчить участь своего друга.

Оба императора жили вблизи друг друга. Каждое утро обер-гофмаршалы, граф Толстой и Дюрок, приходили осведомляться: первый – о здоровье Наполеона, второй – о здоровье нашего государя. В пятом часу Александр и Наполеон ездили прогуливаться или на смотры и ученья французских войск, расположенных близ Тильзита в красивых лагерях. По окончании смотров и прогулок государь постоянно обедал у Наполеона. На эти обеды иногда приглашали

прусского короля и цесаревича Константина Павловича. За обедом императоры вели оживлённый разговор, но Фридрих-Вильгельм мало вмешивался в их разговор; у короля было великое горе: ни обеды, ни прогулки, ни смотры не радовали его. Он видел, что страшная гроза, которая долго висела над Пруссией, скоро разразится и всё разрушит. Наполеон хотел отомстить Пруссии, оставить несчастному королю одну только корону, а землю его отдать кому-нибудь из своих приближённых друзей. Фридрих-Вильгельм, испуганный этим планом Наполеона, искал помощи у императора Александра.

Наполеон часов в девять вечера приходил к нашему государю пешком без всякой свиты, совершенно один, в своей исторической шляпе и в сером простом сюртуке; два монарха оставались вдвоём далеко за полночь: они совещались о мире; о том же, между прочим, вели переговоры князь Куракин и Лобанов, а со стороны Франции – Талейран. Но сановники эти были только исполнителями решений, определяемых Александром и Наполеоном в вечерних беседах.

Двадцать пятого июня 1807 года Тильзитский мир был подписан, а двадцать седьмого – ратифицирован. Главные статьи договора состояли из следующего: 1) Из польских областей, принадлежащих Пруссии, составлено Варшавское герцогство, отданное в полную собственность саксонского короля. 2) Для постановления сколь можно естественных границ между Россиею и Варшавским герцогством присоединена к России область Белостокская. 3) Данциг объявлен вольным городом, под покровительством королей прусского и саксонского. 4) Герцогам Кобургскому, Ольденбургскому и Мекленбург-Шверинскому возвращены владения их с тем, что гавани двух последних герцогов будут заняты французскими гарнизонами до примирения Англии с Францией. 5) Император Александр принимал на себя посредничество в примирении Англии с Наполеоном, на условии, что оно будет принято Англией в продолжение месяца, считая срок со дня размена ратификаций Тильзитского мира. 6) Император Александр признавал братьев Наполеона королями: Иосифа – неаполитанским, Людовика – голландским и Иеронима – вестфальским; равномерно признавал он Рейнский союз, титулы членов, которые присоединятся к союзу. 7) Император Александр уступал голландскому королю в полную собственность и обладание Иеверское княжество в Ост-Фризе. 8) Наполеон принимал на себя посредничество в примирении России с Портою; русским войскам не занимать сих областей до окончательного мира между Россией и Портою. 9) Император Александр и Наполеон взаимно ручались за целостность владений своих. 10) Церемониал дворов с. – петербургского и тюильрийского, как между ними, так и в рассуждении послов, министров и посланников, которых они один у другого аккредитуют, установлен на правилах совершенного равенства.

Подлинные акты Тильзитского договора тем замечательны, что на них сделано три собственноручных изменения императором Александром и Наполеоном. Кроме того, императоры Александр и Наполеон заключили между собою тайный союзный договор, обязывающий обоих императоров «воевать заодно на море и на суше во всех войнах, которые Россия или Франция будут вести против какой-либо европейской державы».

Когда договоры были утверждены, императоры Александр – в ленте Почётного легиона, Наполеон – в Андреевской, верхами, окружённые блестящей свитой, поехали по улицам Тильзита, по которым расставлены были батальоны гвардии.

– Ваше величество, позвольте мне орден Почётного легиона надеть на храбрейшего из ваших солдат, на того, который в теперешнюю войну сражался храбрее других, – проговорил Наполеон нашему государю, останавливаясь против гвардейцев Преображенского полка.

– Прежде, ваше величество, дозвоьте мне о том посоветоваться с командиром полка, – ответил ему государь.

Александр подозвал к себе Козловского и спросил:

– Кто храбрее всех у вас в батальоне?

– Ваше величество, все солдаты одинаково храбры!

– Знаю, но надо одного, на которого Наполеон хочет возложить орден.

Тогда полковник Козловский вызвал первого по ранжиру солдата Лазарева.

Наполеон снял с себя орден Почётного легиона и надел его на Лазарева, приказав ему ежегодно давать пенсию в тысячу двести франков.

Наш государь послал крест святого Георгия храбрейшему из французских солдат.

В тот же день, по приказанию Наполеона, батальон его гвардейцев давал обед батальону Преображенского полка. Сервировка была почти вся серебряная, и подле каждого нашего гвардейца сидел гвардеец Наполеона, радушно угощая русского. Наши молодцы-преображенцы ни слова не понимали по-французски и тихонько посмеивались, когда французы принимались заговаривать с ними на своём природном языке.

Спустя два дня после заключения мира с Наполеоном состоялся также мир с королём прусским.

Главные статьи договора заключались в следующем: Пруссия лишилась более четырёх миллионов жителей, платила Наполеону с лишком пятьсот миллионов франков контрибуции, до взноса коих предоставляла французским гарнизонам занимать Кюстрин, Штеттин и Глогау, и обязывалась не содержать более сорока тысяч войска.

Тяжкий мир для Пруссии, однако, сохранил её существование, дарованное ей Наполеоном только по настоянию императора Александра.

В четвёртой статье Тильзитского договора по этому поводу сказано следующее:

«Император Наполеон из уважения к императору Всероссийскому и во изъявление искреннего своего желания соединить обе нации узами доверенности и непоколебимой дружбой соглашается возвратить королю прусскому, союзнику его величества императора Всероссийского, все те завоёванные страны, города и земли, кои ниже сего означены».

Итак, Пруссия спасена только благодаря Александру Благословенному, который «не допустил в Тильзите уничтожения Пруссии».⁷⁵

Что было в то время с несчастной Пруссией, если бы за неё не вступился император Александр?

Исключительно ему одному обязана Пруссия своею независимостью, хоть условия мира и тяжелы были; но всё-таки прусское королевство оставлено, Наполеону не пришлось окончательно его уничтожить.

ГЛАВА VII

Мир объявлен, и наше войско стало быстро готовиться к выступлению на родину.

Пётр Петрович, произведённый в полковники, тоже готовился ехать в Петербург. За несколько дней до выступления он был чем-то взволнован. Быстрыми шагами расхаживал он по своей комнате, останавливался, поправлял мундир и опять принимался маршировать.

– Эй, Щетина! – громко крикнул Пётр Петрович.

– Тут, ваше высококородие! – откликнулся денщик, входя в комнату.

Но Зарницкий забыл, зачем звал денщика, и не обратил на него внимания.

– Ты что здесь торчишь? – крикнул он на Щетину.

– Вы звали, ваше высококородие!

– Врёшь, старый чурбан!

– Звать изволили, ваше высококородие!

– Врёшь, говорят тебе! Зачем ты мне? Зачем? – наступал на денщика Пётр Петрович.

– Не могу знать, ваше высококородие! – тараща глаза на полковника, робко ответил Щетина.

– Ну, вон пошёл!

– Слушаю, ваше высококородие!

«Надо объясниться, думать нечего! Была не была, объяснюсь... Ведь какой характер: смерти не боюсь – на носу висла – и не боялся; а с женщиной объясниться робею. Фу, глупо! Жаль, Гарина нет; с ним бы посоветовался!..»

Едва мир был объявлен, как князь Сергей Владимирович Гарин поспешил взять продолжительный отпуск и поехал в Австрию на ферму Карла Гофмана.

– Ваше высококородие! Их благородие пришли, – поспешно доложить полковнику денщик.

– Надежда Андреевна? – обрадовался тот.

– Она самая, дожидается.

⁷⁵ Михайловский-Данилевский А. И. Описание похода во Францию в 1814 году. СПб., 1836.

- Проси, скорей проси! – засуетился Пётр Петрович.
- Слушаю!
- Можно войти, господин полковник? – проговорила Дурова, останавливаясь в дверях.
- Что это за официальный тон? Входите, рад, душевно рад.
- Я пришла с вами проститься, Пётр Петрович: я завтра еду.
- Слышал-с... Едете? Куда?
- Поеду к отцу погостить, а потом в Мариупольский полк.
- Вы окончательно решили ехать?
- Еду. Как же иначе, Пётр Петрович? По воле государя я получила назначение в другой полк.

– Знаю-с.

– Я упростила главнокомандующего дать мне разрешение остаться в вашем полку, Пётр Петрович, до окончания войны. Война окончена, и я принуждена ехать.

– Положим, вы... вы можете остаться...

– Как это? – с удивлением спросила Дурова.

– Остаться вы можете...

– Не могу, Пётр Петрович!

– А я говорю, можете. Не спорьте!

– Не понимаю.

– Скажу – поймёте.

– Сделайте одолжение!

– Извольте-с... Выходите за меня замуж, – как-то вдруг проговорил Пётр Петрович, красный как рак; он сам испугался своих слов и быстро отошёл в сторону от Дуровой.

Надежду Андреевну эти слова поразили. Она никак не ожидала их и первое время сама так растерялась, что не знала, что отвечать.

– Вы молчите-с? Не отвечаете? – искоса посматривая на Дурову, тихо сказал полковник.

– Позвольте, дайте оправиться, я так удивлена!

– Удивлены-с?

– Не только удивлена, поражена...

– Стало быть, я вам не пара, стар...

– Не то, совсем не то! Вы забыли, мой дорогой, у меня есть муж.

– Ах, чёрт возьми, про это я и забыл!

– Положим, с мужем я не живу и жить с ним никогда не буду!.. По приезде домой я стану хлопотать о разводе.

– Ну, вот и отлично-с! – обрадовался полковник.

– Но я должна вам откровенно сказать, замуж я ни за кого не пойду... Вы знаете, дорогой мой, как я вас глубоко и искренно уважаю. Быть вашей женой составит большое счастье всякой. Вы честный, благородный. Вы герой! Вам преданным вечным другом я с радостью буду, но не женой! – проговорила девица-кавалерист, крепко пожимая руку Петра Петровича.

– Благородный отказ! Дружбу предлагает...

– И надеюсь ей пользоваться, Пётр Петрович!

– Так-с!

– Мы расстанемся друзьями?

– Конечно-с, конечно.

– Я поеду завтра и приду ещё с вами проститься.

«Нарвался! Видите ли, что задумал, – жениться! Да на ком ещё? На идеальнейшей из женщин... На женщине, которая в храбрости нас заткнёт за пояс! Фу! Ну и блажь же пришла мне в голову! А ведь это от безделья: который месяц сидим без дела. Жениться? Хорош, нечего сказать! Голову надо мне облить холодной водой. Лучше пойду проветрюсь».

И Пётр Петрович поспешил выйти из своей комнаты и пошёл бродить по берегу Немана.

В день отъезда Надежды Андреевны Дуровой Пётр Петрович был сам не свой, мрачнее чёрной тучи. Нелегко было ему расставаться с кавалерист-девицей. Встал Пётр Петрович ранее обыкновенного, долго ходил по своей комнате, заложив руки за спину и низко опустив голову.

Его старик денщик несколько раз заглядывал в дверь, но, видя мрачное настроение

полковника, не смел с ним заговорить.

Заметив Щетину, Пётр Петрович крикнул:

- Что тебе? Что ты мне кажешь свою глупую образину!..
- Кипит, ваше скородие, – скороговоркой проговорил денщик.
- Кто кипит? Что?..
- А чайник.
- Ну и чёрт с ним, пусть кипит.
- Чай я давно заварил.
- Ну и пей.
- Я для вас, ваше скородие.
- Что для меня? Что?
- Приготовил чай.
- Убирайся к чёрту с своим чаем!..
- Слушаю, – хмуро ответил Щетина.

Он быстро скрылся за дверью, но спустя немного опять приотворил дверь и так же просунул в дверь свою седую голову.

- Ты опять! – крикнул на него Пётр Петрович.
- Да я всё насчёт чаю, какое ваше будет приказание?
- Слушай, старый кикимора, уйдёшь ты?..
- Что же, уйду, а всё-таки жалко чай выливать, уж очень крепко...
- Вон! – выходя из себя, крикнул полковник.

Щетина исчез.

Пётр Петрович всё продолжал маршировать по своей комнате; наконец он накинул на плечи плащ и отправился к бараку, где жила Дурова; он застал её совсем готовой в дорогу; у барака уже дожидался небольшой тарантасик, запряжённый парой лошадей, а лихой конь кавалерист-девицы был крепко привязан позади тарантаса. Алкиду, видно, было это неприятно: он бил копытами землю и сильно ржал.

- Едете? – упавшим голосом спросил Зарницкий у Дуровой.
- Еду, Пётр Петрович, – так же грустно ответила она.
- Час добрый!
- Спасибо, мой дорогой.

– Вы вот что, барынька, забудьте мои слова, которые я вчера вам говорил, – глупы они и необдуманны.

- Не говорите так, Пётр Петрович.
- Не поминайте меня лихом, барынька.

– И не грех вам это говорить! Не лихом буду я вас вспоминать, а добром; вы многое для меня сделали, и скажу вам, полковник, я, кроме глубокого к вам уважения, люблю вас, как отца, как брата. И то время, которое мы с вами провели здесь на кровавом пиршестве, стану помнить до могилы, – с чувством проговорила молодая женщина, крепко пожимая руку Петра Петровича.

- Вы поедете к отцу? – спросил у ней Зарницкий.

– Да, я обещала ему приехать погостить – надо же потешить старика, он так меня любит. Погосту немного в родимом гнёздышке, а там опять скажу прости и отцу, и родимому дому, и всем родным.

- И опять в полк?

– Да, Пётр Петрович, в полк, только, к сожалению, не в ваш.

– А славно бы, чёрт возьми, если бы вы опять к нам приехали.

– И приехала бы, дорогой мой, да нельзя: сам государь назначил мне Мариупольский гусарский полк.

Настало время отъезда. Проводить Дурову собралось много офицеров, и со счастливыми пожеланиями простились они со своим боевым товарищем-женщиной.

Прощаясь с Петром Петровичем, Дурова не стеснялась собравшихся офицеров и крепко обняла его; на её красивых глазах видны были слёзы; не выдержал и Пётр Петрович: по его загорелому, мужественному лицу тоже скатилась предательская слеза... Надежда Андреевна

уехала, и Зарницкий, понуря голову, побрёл в своё жилище.

ГЛАВА VIII

С каким нетерпением ехал князь Сергей Владимирович Гарин на ферму Карла Гофмана! Несмотря на то, что лошади ехали быстро, езда казалась ему медленной, он беспрестанно понукал ямщика. С молодым князем ехал и его денщик, несменный Михеев.

Во всё пребывание своё в действующей армии князь не получил ни одного письма ни от Анны, ни от старого Гофмана, да и слишком много труда было бы переслать эти письма, едва ли они дошли бы по назначению по случаю войны. С тех пор прошло уже более пяти месяцев, как Гарин был у своей невесты. Это время молодому человеку казалось целой вечностью. Князь Сергей считал часы и минуты, ему скорее хотелось быть на ферме, там он надеялся встретить свою возлюбленную; князь был уверен, что Анна по времени должна была воротиться с юга, куда, по совету доктора, поехала для поправления своего здоровья.

Вот показалась и черепичная крыша фермы старого Гофмана. Лошади стали у ворот; с замиранием сердца молодой князь переступил порог – его никто не встретил, кругом – тишина, как будто на ферме нет ни одного живого человека. Сергей прошёл в другую комнату, и там никого не было.

«Странно, где же Гофман, где Анна? Может, они ещё не вернулись с юга? Да нет, не может быть! Они должны давно вернуться, – думал князь, оглядывая комнату. – Вот портрет Анны, писанный акварелью. Но что это значит, портрет завешен чёрным флёром?» Князь дрожащею рукою сорвал флёр, устремил глаза на портрет; на фоне портрета были написаны рукою старика Гофмана следующие роковые слова: «Её не стало 2 мая 1807 года» Бедный князь побледнел как смерть и упал без чувств.

Когда князь очнулся, то около него стояли денщик и Карл Гофман.

– Что значат эти слова? – дрожащим голосом спросил Гарин у старика, показывая на портрет – Что же вы молчите? Говорите! Да говорите же!

– Успокойтесь, князь, – тихо проговорил Гофман.

– Мне успокоиться, мне! Господи, неужели моя Анна...

– Она там, на небесах, и молится за вас, князь.

В голосе старика слышалось рыдание.

– Умерла, умерла! – простонал бедный молодой человек.

– Её последним словом было: «прощай, Серёжа».

– Вы лжёте, лжёте! Анна жива! Зачем вы меня мучаете? Что я вам сделал? – Князь громко зарыдал. Слезы несколько успокоили беднягу; он попросил старика Гофмана рассказать ему о последних днях своей невесты.

Вскоре после отъезда с фермы князя Анна со своим отцом поехали в Италию, где и пробыли около месяца, но, несмотря на тёплый климат и на искусство врача, на заботы и уход отца, молодая девушка стала опять прихварывать. К этому ещё присоединилась простуда, болезнь обострилась. Скоро не стало никакой надежды на её выздоровление, несчастная девушка быстро приближалась к смерти.

Сознавая своё положение, Анна стала просить отца, чтобы он отвёз её домой, на родную ферму, ей хотелось умереть там.

– Вези меня, отец, домой, скорее вези. Дни мои сочтены. Не хочу я умереть здесь, – говорила она убитому горем отцу.

Почти умирающую повёз Гофман свою дочь из Италии домой.

По приезде на ферму Анна прожила только неделю... Смерть подточила её вдруг: в день смерти ей было несколько легче, так что она без посторонней помощи дошла до кресла, которое стояло у открытого окна.

День был не только тёплый, но даже жаркий; солнце весело играло на голубом небесном своде, озаряя землю своим ослепительным блеском, кругом тихо-тихо. И в этой тишине вдруг послышался громкий предсмертный вздох; старик Гофман в это время находился подле своей дочери.

– Анна, что с тобой? – с замиранием сердца спросил он.

- Прощай... отец – умираю...
 - Анна, дитя моё, – громко зарыдал бедный отец.
 - Слезы... зачем? Прощайте... все... прощай, Серёжа.
- Умиравшая вздохнула раз, другой, и её не стало...

Потеря дочери страшно отразилась на Гофмане; он так постарел и изменился, что его просто нельзя было узнать; горе его было тяжёлое, безысходное...

- Не хотите ли, князь, помолиться на её могиле? Она схоронена здесь, близ фермы.

В нескольких саженьях от фермы, на небольшом холме, в тени густых деревьев, находился бугорок, покрытый дёрном, с простым деревянным крестом; это была могила так рано похищенной смертью молодой девушки.

Без слов, без слёз припал князь Сергей к дорогой его сердцу могиле; он старался сдерживать душившие его рыдания.

- Этот крест поставил я на время, скоро будет готов мраморный роскошный памятник, – как бы утешая Гарина, проговорил старик Гофман.

Князь ничего на это не сказал; он встал, перекрестился, ещё несколько минут молча постоял у могилы, а потом тихо побрёл обратно на ферму.

Три дня молодой князь пробыл на ферме, и большую часть этого времени проводил он на могиле Анны, под его наблюдением могилу усадили красивыми цветами; на месте погребения своей невесты Гарин задумал соорудить каменную часовню и все расходы по постройке принял на себя, уговорился с архитектором, который и нарисовал план небольшой, но очень красивой часовни в византийском вкусе, с орнаментами. Князь выписал из Вены русского священника, который на могиле совершил панихиду. И когда старец священник дрожащим голосом провозгласил вечную память «девице Анне», князь не выдержал и громко заплакал.

В тот же день Сергей Владимирович простился со стариком Гофманом и уехал в Россию.

Из Австрии он проехал прямо в Москву и остановился в доме своего отца на Поварской. Со смертью невесты князь совсем переменялся, он сделался задумчивым, сосредоточенным, неразговорчивым. Редко улыбка появлялась на его лице; он никуда не выезжал и никого к себе не принимал, большую часть дня сидел в своём кабинете и читал. Потеря любимой невесты тяжело на нём отразилась.

Старик Михеев, поглядывая на своего княжича, качал головою и с глубоким вздохом говорил:

- Теперь его не скоро утетишь. Смерть невесты унесла и всё счастье и весёлость княжича, сам он тает, сердечный, как свеча воска ярого.

Дворецкий старого князя, управлявший в Москве домом, не преминул письменно известить Владимира Ивановича о молодом князе, о его пребывании в доме, а также не умолчал и о смерти княжеской невесты, и о том, как князь Сергей Владимирович «изволит убиваться по своей невесте и по целым дням не выходит из кабинета, задумчиво изволит сидеть за книгою».

Получив такое известие, старый князь немедленно написал сыну письмо, в котором выражал своё соболезнование о его потере и просил не мешкая ехать в Каменки, где все ждут его с нетерпением, особенно больная мать.

Получив письмо от отца, князь Сергей, жёлчно улыбаясь, проговорил:

- Теперь сожалеют, а когда была жива моя Анна, то злословили её, гордость мешала им назвать эту чистую, святую девушку моей невестой!.. Не поеду я в Каменки, зачем я им? Мне и тут хорошо.

Князь Сергей не поехал и остался в Москве, несмотря на то, что вскоре после первого письма он получил несколько других. Во всех письмах Владимир Иванович убедительно звал сына в усадьбу. Но он остался непреклонен и по-прежнему сидел запершись в своём кабинете.

Как-то раз князь Сергей сидел в своём кабинете и по обыкновению скучал.

– Ваше сиятельство, господин Прозоров желает вас видеть, – доложил ему вошедший камердинер.

- Кто? – переспросил князь.

– Леонид Николаевич Прозоров, ваше сиятельство.

– Что ещё от меня ему нужно? Проси, – с неудовольствием проговорил князь; из писем отца он знал, что Прозоров состоит женихом Софьи, но знакомства с ним почему-то избегал.

По приезде князя Сергея в Москву Прозоров несколько раз приезжал к нему, но князь не принимал его под разными предлогами; на этот раз он решился принять Леонида Николаевича.

– Здравствуйте, Сергей Владимирович! Давно желал с вами познакомиться, ведь теперь мы не чужие, – дружелюбно пожимая руку князя, говорил Прозоров. – Я несколько раз к вам заезжал.

– Знаю, я не мог вас принять.

– Да, да, я очень сожалел, скажу, князь, откровенно: не видя и не зная вас, я уже полюбил вас, как брата, как друга. Ваша сестра так много про вас говорила.

– С Софьей мы большие друзья, она хорошая девушка, вы, господин Прозоров, счастливый жених...

– О да, я очень счастлив.

– Когда же свадьба? – спросил князь.

– Теперь скоро. Мы ждали вас.

– Меня? – удивился Гарин.

– Да, мы думали венчаться после Пасхи, но ваше отсутствие и происшествие с княжной заставили отложить свадьбу.

– Какое происшествие? – спросил Сергей.

– Как, разве вы ничего не слыхали?

– Ничего, что такое? Расскажите, пожалуйста.

Прозоров подробно рассказал Сергею о нападении на княжну Софью в лесу, сделанном подкупленными сообщниками Николая Цыганова, о том, как тот держал Софью в лесной сторожке и как Сычиха привезла её в Каменки.

– И вы говорите, сделал это Цыганов, наш приёмный? – не веря своим ушам, спросил удивлённый Гарин.

– Он, он, князь.

– Где же этот подлец?

– Не знаю, вероятно, где-нибудь шатается.

– И вы не отыскиали этого негодяя и не убили его, как собаку!.. – упрекнул князь Прозорова.

– Сделать это князь, нелегко: Цыганов слишком хитёр.

– Впрочем, возмездие подлецу оставлю я за собою. Я отплачу ему с лихвою и за себя, и за сестру, и за мою невесту.

– Ах, князь, поверите ли, я так сожалел о вас, так сожалел! – с участием проговорил Леонид Николаевич, в его голосе было столько искренности и простоты, что это заставило Сергея переменить своё мнение о Прозорове.

«Это искренний радушный человек, ему можно рассказать своё горе», – думал он, посматривая на Прозорова, и затем рассказал ему про свою несчастную любовь.

– С потерей моей милой Анны я потерял и всё своё счастье. Теперь я не живу, а прозябаю... – такими словами закончил князь свой невесёлый рассказ.

– Бедный, бедный! Я не утешаю вас, князь, да что значит моё утешение против вашего великого горя.

– Всё радостное, счастливое схоронено, и у меня осталась одна только никому не нужная жизнь, – с тяжёлым вздохом проговорил Гарин.

– Что вы говорите, Сергей Владимирович, как никому не нужна?.. Вы забыли свою семью, у вас есть близкие, которые вас так любят.

– О да. Любовь отца с матерью хорошо отразилась на моей измученной, разбитой жизни, – с саркастической улыбкой проговорил Гарин.

– Простите им, князь, ведь они не хотели причинить вам несчастья. Они вас так любят, любовь скрадывает недостатки. Кстати, я дней через пять еду в Каменки, надеюсь, и вы со мною поедете!..

– Нет, не поеду.

– Как? Вы не хотите ехать на свадьбу своей сестры?..

– Да, не поеду. Будьте счастливы. И вам, Леонид Николаевич, и моей милой сестре я желаю полного счастья, но быть на вашей свадьбе я не могу. Где веселье и радость, тут я

лишний.

– Но вы, князь, хоть немного развлечётесь.

– Вы думаете? Нет, господин Прозоров, горе моё слишком велико, никакие развлечения не помогут.

Леонид Николаевич на этот раз не стал слишком настаивать, он хотел выбрать к тому более удобное время; своею любезностью и предупредительностью он сумел расположить к себе молодого князя, и в конце концов тот подружился с Прозоровым. Леонид Николаевич послал к старому князю письмо, в котором писал, что он будет скоро в Каменки, да не один, а с Сергеем Владимировичем, которого он надеется уговорить с ним вместе ехать.

Прозоров не ошибся. Сергей, после долгих отговорок, наконец дал слово ехать к отцу в усадьбу.

ГЛАВА IX

Война наших войск с французами окончилась; армия спешила домой, в Россию.

Император Александр, возвещая народу о прекращении войны и о Тильзитском мире, издал манифест, в котором высказывал своё благоволение и благодарность народу и войску. В высочайшем манифесте, между прочим, говорилось:

«Везде, куда глас чести призывал войска, все опасности битв перед ними исчезали. Знаменитые их деяния в летописях народной славы пребудут незабвенны, и благородное отечество, в пример потомству, всегда вспоминать их будет. Дворянство, шествуя по следам своих предков, знаменовало себя не только жертвами имущества, но и совершенною готовностью положить жизнь за славу отечества. Купечество и все другие состояния, не щадя ни трудов, ни стяжаний, несли с радостным чувством бремя войны и готовы были всем жертвовать безопасности государства».

Добрый государь император обратил всё своё внимание на раненых и оставшихся после убитых на войне вдов и сирот; он повелел выдать вдовам убитых в сражениях или умерших от ран генералов и обер-офицеров полное жалованье их мужей вместо пенсионов; после смерти вдов пенсион выдавали их детям до совершеннолетия. Раненых штаб – и обер-офицеров увольняли в отставку с полным окладом содержания; нижних чинов раненых помещали в инвалидные дома, учреждаемые в Петербурге, Москве, Киеве и в других больших городах, а тем, которые не желали жить в инвалидных домах, выдавали полное жалованье и прогоны до места жительства. Кроме чинов и орденов, наиболее храбрым выдавали и денежные награды. Никто не был забыт императором Александром: все участники войны получили щедрые награды, начиная от генерала до рядового.

Государь, недовольный Беннигсеном, не стал его более удерживать в армии и принял его отставку. На место Беннигсена назначен был, по воле государя, генерал Буксгевден, находившийся в то время в Риге. Его вызвали в Тильзит. По обоюдному условию императора Александра и Наполеона, русские пленные получали одежду и вооружение от французского правительства и немедленно отпускались в Россию. Положение русских, взятых в плен французами в войнах 1805, 1806 и 1807 годов, было тяжёлое. Наполеон принуждал их угрозами и лишениями всякого рода, «доводившими наших до нищеты, вступать во французскую службу. Несчастных, согласившихся изменить святости присяги и стать под знамёна Наполеона, определяли в полки Латур д'Овернь⁷⁶ и принца Изенбургского,⁷⁷ из коих первый

⁷⁶ Полки, точнее, бригада гренадеров, названная в честь генерала Теофила-Мало де Латур д'Овернь (1743–1800), прославившегося своей храбростью.

⁷⁷ Изенбургский-Бирштейн, Карл фон – глава одноимённого княжества недалеко от Кобленца, присоединился в 1808 г. к Рейнскому союзу, за что получил от Наполеона ряд соседних с княжеством земель. После Венского конгресса княжество отошло к Австрии.

был отправлен в Неаполь, второй в Испанию, где почти весь погиб». ⁷⁸

Ратники, или милиция была распущена, им оказано много разных льгот, а вдовам убитых на войне ратников выдавали вспоможение.

После трёхнедельного пребывания в Тильзите император Александр дружески простился с Наполеоном, дав ему слово посетить его в Париже, и 28 июня отправился в Петербург; проводив русского государя, Наполеон на другой день тоже покинул Тильзит: он спешил в Париж. Возвращался Наполеон с большим триумфом, «на всём пути торжественно встречаемый дворами и народами». ⁷⁹

ГЛАВА X

За день до своего отъезда из Москвы в Каменки князь Сергей Гарин был удивлён и обрадован неожиданностью. К нему в кабинет, как снег на голову, ввалился его закадычный друг и сослуживец Пётр Петрович Зарницкий.

– Друг, брат, тебя ли я вижу? – не веря своим глазам, говорил взволнованным голосом князь, крепко обнимая своего приятеля.

– Что, брат, не ждал! Я хотел удивить тебя своим неожиданным приходом и, кажется, достиг цели... ты удивлён! – весело говорил полковник. – Твой денщик пошёл было тебя предупредить, но я остановил его.

– Вот не ожидал видеть тебя здесь, в Москве. Как ты отыскал меня?

– Язык до Киева доведёт!

– Ну, обрадовал ты меня, Пётр Петрович, вот обрадовал...

– Я ведь к тебе, князь, запросто, надолго приехал и Щетину привёз.

– Очень рад, скоро тебя я не отпустил бы.

– Ну, а как ты, видел невесту? А может, с собою привёз? – спросил Зарницкий у князя.

– Её нет больше в живых!.. – упавшим голосом ответил Сергей.

– Как! Умерла! Царство ей небесное! Хорошая была девица, примерная. Жалко... очень жалко! – Весёлость Петра Петровича быстро пропала; он задумчиво опустил голову.

– Несчастный я человек! А как я любил Анну, как любил... Зачем, зачем она умерла?

– Видно, Богу нужны хорошие люди! Ну, полно, князь, не унывай, что делать! Смерть – участь каждого. Одни умирают ранее, другие позднее – этой дорожки никто не минует!..

– А как я спешил к ней на ферму, думал увезти мою Анну в Россию, обвенчаться. И что же, безжалостная смерть отняла у меня всё счастье... – чуть не плакал бедный князь, закрывая лицо руками.

– Что делать, брат, моя судьба с твоею почти одинакова, – печальным голосом проговорил Зарницкий.

– Как, и ты?! – удивился князь.

– Да, брат, и я на старости лет влюбился, да ещё как, и, к сожалению, моя невеста...

– Умерла? – спросил Сергей.

– Да, брат, для меня всё равно что умерла!..

– Да объяснись, Пётр Петрович; я плохо тебя понимаю.

– Изволь, – тебе всё скажу, как попу на исповеди, всё открою.

Пётр Петрович рассказал про свою любовь к кавалерист-девице, как он сделал ей предложение и получил отказ.

– Так, братец ты мой, и расстроились все мои планы о тихой семейной жизни. Видно, не наше счастье; а как я любил эту женщину! Да что, и посейчас её люблю, и до самой смерти любить стану, – так закончил свой рассказ Зарницкий. Его рассказ несколько рассеял Гарина.

⁷⁸ Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном 1806–1807 гг. СПб., 1846.

⁷⁹ Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном 1806–1807 гг. СПб., 1846.

– Куда же уехала Дурова? – спросил князь.

– К отцу, а оттуда в свой полк... Ну, оставим про это говорить; скажи, давно не был у тебя Цыганов? – спросил Пётр Петрович.

Он ничего не знал о поступке Николая и очень удивился, когда Сергей, при одном имени Цыганова, побледнел и со злостью спросил:

– А разве ты видел этого подлеца?

– Да, дня три тому я видел его в Кремле. Да что тебе сделал Цыганов, за что ты на него так озлобился?

– А вот послушай и узнаешь, что он за гадина.

Гарин всё подробно рассказал Зарницкому о Николае Цыганове и его поступках.

– Да, так вот он какой! Ну, жалею, что я не приказал скрутить этого молодца, – выслушав рассказ, промолвил Пётр Петрович.

– Так он в Москве? Я найду его! И моя расправа с ним будет жестокая! Ведь из-за него Анна уехала в Австрию; там схватила она чахотку... Будь она в Петербурге, может, была бы жива... Своё несчастье я приписываю ему, и всё своё горе и муку я вымещу на этом подлеце, – покраснев от злобы, говорил князь. – Я до тех пор не уеду из Москвы, пока его не отыщу.

– Ну, брат, нелегко это сделать: Цыганов хитёр, как дьявол... – возразил князю Зарницкий.

– А вот посмотрим. Навряд он уйдёт от моей мести.

Князь Сергей Гарин был так озлоблен на Цыганова, что, несмотря на убедительные просьбы Леонида Николаевича, отложил свою поездку в Каменки и стал повсюду разыскивать Николая; но все его поиски ни к чему не привели. Молодой прапорщик как в воду канул. Князь навёл о нём справки, но Цыганов на жительстве в Москве не значился.

– О, если бы только мне его найти, – говорил Гарин, быстро расхаживая по своему кабинету, обращаясь к Петру Петровичу.

– Говорю, не найдёшь: он хитёр.

– Подкидыш безродный! Мы его взяли, пригнали, в люди вывели, и что же?!

– Эх, князь, сколько волка ни корми, он всё в лес глядит.

– Правда, вырастили мы, выкормили волка хищного.

– Брось ты о нём говорить, ведь только себя расстраиваешь; чёрт с ним, лучше собирайся в Каменки, – сказал приятелю Пётр Петрович.

– Я туда поеду, только не иначе как с тобою.

– Ну, я-то зачем? С какой стати?

– Как зачем? Ведь ты мой единственный друг, близкий товарищ.

– Спасибо, но, право, мне как-то совестно.

– Полно, Пётр Петрович, ты меня обижаешь.

– Ну, что с тобой делать? Пожалуй, поедем.

– Вот и отлично! Погостим в Каменках до осени, на охоту будем ходить, ты там скучать не будешь, будем вместе гулять. Решено, завтра выезжаем, приедем прямо к свадьбе, – сказал князь Сергей.

– Вот только что меня стесняет: ведь в Каменках твои родители живут аристократически, а я, сам знаешь, к аристократическим манерам не приучен, обращение моё солдатское, твоей матери, пожалуй, и не понравится: невзначай бухну какое-нибудь словцо! Ну, и нехорошо!

– Полно, Пётр Петрович, мы будем с тобою особняком, в отдельном флигеле жить.

– Разве так... А то, право, боюсь ехать. Да и недолголюбиваю я такие дома, где ходят по нотам, говорят по нотам и едят по нотам. Я солдат и к деликатностям не привык.

Вошедший лакей прервал разговор двух друзей. Он каким-то таинственным голосом проговорил, обращаясь к князю:

– Ваше сиятельство, Николай пришёл.

– Какой Николай?

– Наш Николай, Цыганов-с.

– Что, что ты сказал? – не спросил, а крикнул удивлённый князь; он никак не мог допустить, чтобы Цыганов осмелился переступить порог княжеского дома.

– Докладываю вашему сиятельству, что Цыганов пришёл-с. В передней дожидается.

– Пусть, пусть войдёт.

– Слушаю-с.

Лакей вышел.

– Пётр Петрович, что же это? Как понимать? Я разыскиваю этого негодяя, чтобы избить его, как собаку, а он сам приходит? – с недоумением проговорил Гарин.

– Не понимаю, ничего не понимаю! Цыганов хитёр, бестия, может, задумал вывернуться как-нибудь.

– Ну, это навряд ему удастся.

Вошёл Николай Цыганов, не робким шагом приниженного человека, сознающего свою вину, а горделивой поступью. Не раскаяние было видно на его лице, а твёрдая сила воли и сознание своего собственного достоинства.

– Здравствуйте, князь, – громко проговорил он.

На это Гарин ничего ему не ответил. Наглость Цыганова просто его обезоружила.

– Вы удивлены, князь, моему приходу?

– Признаюсь, не только князь, а и я поражён твоею дерзостью; после твоих грязных поступков ты ещё осмелился сюда явиться!.. – сердито проговорил Пётр Петрович.

– А, и вы здесь, господин полковник.

– Я-то здесь, а вот ты-то как смел переступить порог этого дома?

– А вы разве хозяин этого дома? – резко спросил Цыганов у Петра Петровича.

Эти слова рассердили Зарницкого.

– Молчать, мальчишка! – громко закричал он.

– Потише, господин полковник! Я такой же дворянин, как и вы.

– Пётр Петрович, скажи, чтобы он убирался вон! Иначе я не отвечаю за себя, – глухо проговорил Сергей.

Наглость Цыганова бесила его.

– Неласковы же вы, князь.

– Вон! Или я позову людей и прикажу вышвырнуть тебя за окно! – крикнул князь.

– Вы этого не сделаете, – невозмутимо ответил Цыганов.

– Эй, люди! Михеев!

Гарин задыхался от бешенства.

– Оставьте, князь, не срамите перед людьми своего брата, – загадочно промолвил Николай.

– Что ты сказал? Ты мой брат? – меняясь в лице, спросил князь.

– Да, я сын вашего отца, только незаконный., а всё же вам брат.

– Новая ложь! Новая гадость! Вон! Не верю...

– У меня есть доказательства.

– Говори, какие?

Князь просто не верил своим ушам.

– Одно из них, и очень веское, это письмо князя Владимира Ивановича к моей матери. Хотите прочитать? – насмешливо проговорил Николай, показывая князю письмо, написанное на синей потёртой бумаге. – Письмо с лишком двадцать лет тому назад написано; но оно сохранилось, и подпись князя ясно видна; вы ведь хорошо знаете руку отца? Посмотрите, я не вру...

Князь не взял, а вырвал письмо из рук Николая и стал быстро его читать. Письмо было следующего содержания:

«Маша, письмо твоё я получил; ты пишешь, что скоро сделаешься матерью и соболезуешь о своей участи. Знай, ты и наш ребёнок будете от меня обеспечены на всю жизнь. Усыновить ребёнка, конечно, я не могу; сама ты умная женщина и знаешь моё положение. Усынови ребёнка – выйдет ужасный скандал. С мельником Федотом посылаю тебе денег и золотой крест для нашего будущего ребёнка, на кресте вырезаны две буквы В. и М. Прости, обнимаю тебя, моя голубка».

Подпись князя была инициалами: «В. И. Г.» Молодой князь, прочитав письмо, бессильно

опустил руки. Он был этим ошеломлён, поражён; у него есть брат, в жилах которого течёт кровь князей Гариных; «жалкий подкидыш», который рос вместе с дворовыми мальчишками, потом служил при доме отца – почти наравне с прочими лакеями, смеет называть себя братом князя Сергея Гарина, храброго боевого полковника. Цыганов имеет на это право, у него есть доказательства неоспоримые, верные.

Не менее князя был поражён этим открытием и Пётр Петрович. Он, сознавая своё неловкое положение быть свидетелем продолжения разговора между князем Сергеем и Николаем Цыгановым, хотел выйти из комнаты, но Гарин знаком его остановил. Князь, обратившись к молодому прапорщику, тихо спросил:

– Чего же ты хочешь? Своих прав, имени?

– Зачем мне права, а имя я уже имею: благодаря своей боевой службе я заслужил это имя, хоть и не громкое, – так же тихо ответил Цыганов.

– Что же тебе надо? Денег?

– Мне не надо денег. Пользуйтесь вы, князь, и богатством, и громким титулом.

– Что же тебе нужно? – с удивлением спросил ещё раз князь.

– Не обходитесь со мною так презрительно, не смотрите на меня как на жалкого подкидыша.

– А ты забыл свои поступки – грязные, чёрные?

– Поступки мои простительны, это порывы молодости, увлечения. Вы влюбляетесь, увлекаетесь – и у меня есть тоже сердце. Я лишён права, имени, но это не мешает мне любить, увлекаться. Я молод! Вижу, князь, вы сильно встревожены, у вас уязвлено самолюбие, вам тяжело примириться с тем, что приёмыш доводится вам братом. Успокойтесь, никому не открою этой тайны, останусь для вас по-прежнему Цыгановым-подкидышем – и только. Простите, я зайду в другой раз, – проговорил Николай и такой же горделивой походкой вышел из кабинета своего брата.

ГЛАВА XI

Вернёмся несколько назад и расскажем, как Цыганов узнал тайну своего происхождения.

Мы знаем, что он сжёг избёнку Сычихи и отправился по дороге к Москве; отойдя вёрст сорок от княжеской усадьбы, он встретил странницу или богомолку, одетую в посконный сарафан; голова у неё была низко прикрыта чёрным платком, на ногах лапти, в руках длинная, суковатая палка, а за плечами сумка, прикрытая клеёнкой. Эта странница была ещё не старая женщина, и, несмотря на худобу и утомление, черты лица были правильны и красивы; особенно хороши у неё были чёрные глаза, которые хотя и начинали уже потухать, но всё ещё ласкали, нежили; густые соболиные брови ещё более придавали красоты этой прохожей богомолке; с лица она очень походила на Цыганова.

– Здорово, господин честной, – низко кланяясь Николаю, тихим приятным голосом проговорила она.

Николай посмотрел на странницу и, поражённый сходством своего лица с её, остановился как вкопанный.

Странница тоже остановилась и, пристально посмотрев на Цыганова, сама не менее его удивлялась этому сходству.

– Куда ты идёшь? – продолжая смотреть на странницу, спросил Цыганов.

– В Кострому, милостивец, на богомолье. Чудотворному образу Пресвятой Девы поклониться, что находится в Ипатьевском монастыре. Не знаешь ли, далеко ли до Костромы?

– Вёрст полсотни будет, – ответил молодой человек.

– Ох, далёконько мне ещё идти-то, отдохнуть присяду, ноги разломило; много шла, устала.

Богомолка сняла с плеч котомку, положила рядом с собою и села на траву.

Цыганов тоже сел почти рядом с богомолкой; его тянула к ней какая-то сила, он задумал подробно разузнать, кто она. Сходство лиц смущало молодого человека; навело на раздумье и странницу.

– А из Костромы ты куда пойдёшь? – спросил у ней Цыганов.

– В Каменки думала пройти.

– В Каменки?

– Да, в Каменки, ведь по дороге.

– Это в усадьбу князя Гарина? – с удивлением спросил молодой человек.

– Да, господин честной, Каменки принадлежат князю Гарину, – задумчиво, с глубоким вздохом ответила богомолка. Она печально наклонила свою голову. – А ты знаешь разве княжескую усадьбу? – спросила она, поднимая на Цыганова свои глаза.

– Да... Знаю, – сквозь зубы ответил Николай.

– Жил там, что ли?

– Жил с малолетства. До войны безвыездно в Каменках жил.

– Что же ты, сродни князьям-то приходишься? – допытывалась у Николая странница.

– Нет, я чужой им.

– Видно, из дворовых будешь?

– И не из дворовых... приёмыш я княжеский.

– Как?... Как ты сказал? – вся встревоженная, переспросила странница.

– Приёмыш, говорю я; меня младенцем к княжеским воротам подкинули, – пояснил ей

Цыганов.

– А звать тебя как?... Звать-то? – бледнея, спрашивала его задыхающимся голосом богомолка, не спуская с него глаз.

– Николаем, – ответил молодой человек.

– Николаем... Николаем... Господи, неужели это он... он... мой Николюшка, – не говорила, а шептала странница; её волнение было так велико, что она задыхалась.

Цыганов это заметил.

– Что с тобою, ты нездорова? Дрожишь.

– Крест, крестик покажи мне... покажи.

– Какой крестик?

– Твой – что на тебя при крещении надели.

– Что ты, зачем? – удивился молодой человек.

– Покажи, Христом Богом прошу покажи.

– Ну, вот. Смотри, пожалуй...

Цыганов расстегнул пуговицы сюртука и достал свой тельный небольшой золотой крест, на нём были вырезаны две буквы *В* и *М*.

Странница пристально осмотрела этот крест и крик радости вырвался у ней из груди:

– Сын мой, Николюшка. сыночек! – она крепко обняла молодого человека и замерла, не выпуская его из своих материнских объятий.

– Постой, постой, может ты ошибаешься – стараясь высвободиться из объятий странницы, сказал Николай.

– Я-то ошибаюсь? Разве сердце матери может ошибиться? Ты мой сыночек, Николюшка! Двадцать лет тебя не видала, трудно признать, всё-таки признала, сердце на тебя указало. Ведь материнское сердце – вещун. Родной ты мой!

– Матушка, матушка!

И молодой человек бросился обнимать свою мать. Её слёзы он смешал со своими слезами. Когда первый порыв радости прошёл, Николай обратился к матери с такими словами:

– Матушка, кто же мой отец?

– Не спрашивай, сынок, не спрашивай.

– Почему же? Мне хочется знать – жив ли он?

– Жив, Николюшка, жив твой отец.

– А кто он, матушка?

– Важный барин. Да не спрашивай сынок, не растравляй мою сердечную рану: спросы твои тяжелы. Я теперь так счастлива, так счастлива!.. Ведь более двадцати годов прошло, как я с тобою рассталась, тогда ты был младенец махонький, а теперь ишь какой вырос! Хороший ты мой, пригожий!..

Счастливая мать любовно и весело посматривала на своего сына, она своею загорелою рукою гладила его по голове ласкала, миловала.

Николай сидел, понуря голову он что-то обдумывал.

– А зачем, матушка, меня ты бросила у княжеских ворот? – спросил он, пристально поглядывая на мать.

– Не я это сделала, а другие за меня. Разве у меня поднялись бы руки на такое дело? Ведь матери с дитём своим расстаться – что с жизнью! Да ты, Колюша, дороже жизни мне!

– Матушка зачем же ты в ту пору отдала меня, зачем меня подкинули?

– И не отдала бы, сынок, да сильно в ту пору хворала, без памяти, слышь, была; не помнила, как тебя отняли от моей материнской груди.

– Так не скажешь, матушка, кто мой отец?

– Теперь не скажу сынок, время придёт – сам узнаешь.

– Мучительно мне это. родная больно мучительно!

– Что, Николюшка, что? – с беспокойством спросила мать у молодого человека.

– А эта безвестность – мать я нашёл, а отца?

– Отца ты, дитятко, никогда не найдёшь забудь про него – он важный барин, где ему об нас помнить. Стара стала Марья, не нужна, а в былое времечко твой отец-то, важный барин, у меня, простой мужички, чуть руки не целовал, голубушкой, любой своей звал. Ну что былое вспоминать, что было, то давно давно прошло.

– А любил тебя мой отец? – спросил у матери Цыганов.

– Любил, говорю чуть руки мои не целовал, крепко любил! Из-за той его любви греховной много я горя лютого перенесла, много слёз горячих выплакала, Ох, грешница, великая я грешница! Но меня ты, сынок, не суди!

– Я не судья тебе, матушка

– Ведь не девкой я с ним спуталась, я была мужняя жена. Мужа своего через ту любовь грешную погубила. Да, да, погубила, погубила.

– А кто у тебя был муж?

– Простой дворовый – тихий был парень, умный, а как меня любил, как голубил, ведь души моей не чаял. Берёг меня, да от князя не сумел сберечь.

– Матушка! Мой отец князь Гарин? – чуть не крикнул молодой человек, прерывая свою мать. Он догадался, о каком князе речь.

– Как? Разве я тебе про то сказала? – испугалась Марья – так звали мать Цыганова.

– Да, да, матушка, ты сейчас сама проговорила.

– Ну, если проговорила, что же – отпираться не буду. Да, сынок, твой отец – князь Владимир Иванович Гарин.

– Боже, я сын князя, матушка, матушка, мы счастливые с тобою люди. Захотим – мы богаты; только есть ли у тебя доказательства, что я сын князя?

– Есть, есть! Крест, что у тебя на груди, – подарок князя; вот, посмотри, – видишь? На кресте вырезаны буквы, это значит *Владимир* и *Марья*. Ещё хранятся у меня княжеские письма, ведь я грамотная, читать и писать умею. Да чему ты обрадовался, сынок? Про какое богатство говоришь?

– Про княжеское, ведь князь очень богат.

– Что же мне до его богатства? У него я не возьму денег; да и тебе не посоветую. Полюбила я князя не из-за денег, не из-за корысти.

– За что же, родная, ты его полюбила?

– По нраву мне пришёлся, ну и полюбила.

– Теперь, матушка, я тебя никуда не отпущу, – сказал Николай, – в Москву тебя повезу, там мы и жить с тобою будем. Я займусь торговлей, денег у меня малая толика есть.

– Погостить у тебя, в Москве, сынок, я погощу, а жить совсем не останусь.

– Почему же?

– Такое обещание дала я Господу: до самой смерти своей по святым местам ходить, по обителям и монастырям. И должна я выполнить своё обещание. Грехи свои я замаливаю; а грехов у меня много, и не замолить мне свои грехи большие. Ну, теперь я отдохнула, Николюшка, пойдём! – проговорила, вставая, Марья.

– Куда же мы пойдём? – спросил у неё Цыганов.

– Куда поведёшь, туда и пойду.

– Ведь ты хотела в Каменки пройти?

– Хотела прежде, когда тебя не видала; думала, в княжеской усадьбе тебя увижу, хоть одним глазком погляжу. А теперь мне туда не нужно. Ты, сынок, со мною, вот я и счастлива, и богата...

– А на князя взглянуть не хочешь?

– Нет, забыла его: ведь более двадцати годов не видала, Бог с ним!

В первой попавшейся деревне Цыганов нанял до Москвы подводу, и без особых приключений, благополучно доехали они до Белокаменной.

В Москве, в самой глухой части города, снял он небольшой домик и поселился в нём вместе с матерью. Цыганов очень полюбил свою мать и обходился с ней предупредительно и ласково. С младенчества он не знал матери, думал, что её давно нет в живых, и теперь глубоко обрадовался, когда так неожиданно встретил свою мать.

Цыганов был счастлив, он нашёл свою мать и знает, кто у него отец. Теперь он не безродный... не без имени.

ГЛАВА XII

Первое время Цыганов просто не расставался со своею любящею матерью. Для него началась как будто новая жизнь. Он переродился и старался забыть всё своё неприглядное прошлое, забыл людскую вражду и стал другим челоюком. Нежные ласки матери благотворно действовали на молодого человека. Материнская любовь хоть какое загрубелое сердце в состоянии сделать мягким и отзывчивым. Однажды, беседуя с матерью, Цыганов обратился к ней с такими словами:

– Матушка, ты посулила мне рассказать свою жизнь, если тебе вмоготу – то Расскажи, а если тяжело вспоминать бывое, то не надо.

– Что же, можно, Расскажу, – с глубоким вздохом ответила Марья.

– Вижу тебе нелегко, лучше не говори! Я боюсь, матушка, от Рассказа ты встревожишься.

– Нет сынок, всё скажу, всё поведаю. Откроюсь тебе, как попу на исповеди, не тяжелее мне с того Рассказа будет, а легче.

– Готов тебя слушать, родная.

– Жила я на княжеском дворе, красивая, пригожая была я девка, от женихов отбою мне не было, – так начала свой Рассказ мать Николая Цыганова, – да не больно я гналась за теми женихами. Сама себе выбрала я парня по душе да по сердцу. Никита, садовник княжеский, по нраву мне пришёлся, и красив был парень – статный, румяный, кудреватый! Повенчались мы и счастливо зажили в любви да в согласии. Счастью тому думали-гадали, конца не будет. Жила я с Никитой в отдельном небольшом домике; хорошо жилось, привольно, муж мой был мужик достаточный и крепко любил меня и голубил. Князь в то время жил с семейством в Питере, редко приезжал, и то ненадолго. Управлял нами доверенный приказчик, человек он был правдивый, хороший, нас не теснил, хорошо за ним жилось мужикам и дворовым. Пошёл у нас слух, что жить в усадьбу приедет сам князь с семьёй. Пошли спешные приготовления. Приехал князь, с его приездом отлетело Никитино счастье и моё. Как-то раз увидал меня князь в своём княжеском саду, пристально посмотрел на меня, заговорил, спрашивал, чья я жена. Такого ласково со мною говорил. После того раза частенько стал он встречаться со мною. Однажды, помню, в глухую осень... Княгиня в усадьбе в ту пору не была, в Питере она жила зимой и осенью. Позвал меня к себе в гости Федот-мельник, чай, его ты знаешь? – переставая Рассказывать, спросила Марья у сына.

– Знаю, – сквозь зубы ответил тот.

– Позвал меня мельник с умыслом. Сижу это я у Федота, речь веду с его женою. Вдруг, слышим, лошадиный топот, бубенцы да колокольцы. Сам князь сиятельный пожаловал на мельницу. С честью да с поклонами мы встретили его. Я собралась было идти домой, но князь такими словами меня остановил: «Погости, красавица, куда спешишь?» Я в ответ: «Поздно, мол, а путь не близок» – «Мои кони довезут тебя». Осталась я, принуждена была остаться. Мельник с женою повышли, оставили меня вдвоём с князем. Стал князь ласкать меня, сладкие слова говорить, не устояла я, злополучная... С той поры частенько повадился князь на

мельницу ездить. Приедет, а я уж его там дожидаясь. Полюбила я князя, крепко полюбила. Про эту любовь греховную проведаль мой Никитушка; сам ли он догадался или кто ему шепнул – только вижу, следить стал за мною. Я на мельницу – и он туда же. Куда я пойду, и муж следом идёт за мною. Стал спрашивать меня, полюбовницу княжескую. Во всём я ему повинилась. Никита пальцем не тронул, словом бранным не обидел. Только стал мужик вянуть, сохнуть. Вижу – чахнет муж не по дням, а по часам, ходит сердечный, ровно к смерти приговорённый. Не вынес Никитушка своего горя, моего позора – руки на себя наложил.

Марья замолчала, горькие слёзы текли по её исхудалому лицу, тяжело было ей вспомнить о прошлом. Николай тоже молчал, понуря свою голову.

– Из реки вытащили моего Никиту посинелым, опухшим; вишь, с неделю в реке-то он пробыл, кафтан его и шапку да сапоги на берегу нашли. По христианскому обряду отпели утопленника. Наш поп и не хотел его отпевать, как самоубийцу, да князь приказал. Сам и на отпевании изволил быть, и помин по грешной Никитиной душеньке устроил. Похоронили Никитушку, на его могилке деревянный крест поставили. Ох, сынок, сынок, нелегко в ту пору мне было!.. на части терзалось моё сердце. Кто знал мою связь с князем, прямо в глаза мужниной погубительницей называл; все сторонились меня, как зачумлённой. Все любили Никиту за его хороший нрав податливый и жалели его, сердечного. А меня, мужнину погубительницу, чуть не кляли. Всякий Божий день ходила я на мужнину могилушку. Припав лицом к сырой земле, подолгу я молилась. Помолюсь – и легче мне станет. А тут сынок, затяжелела я. Мои свидания с князем на мельнице у Федота приостановились. Княгиня из Питера в усадьбу приехала. Боялся князь, чтобы про его связь со мною княгиня не узнала. Всё у нас было шито да крыто. Стала я прихварывать. Роды были трудные, сильно болела я. Думала, не встану, совсем к смерти меня приговорили. А жила я в ту пору не в усадьбе, а верстах в тридцати от Каменков, в селе Никольском: то село было тоже княжеское. Князь приказал построить для меня новый домик, как игрушечку довольством всяким окружил меня. Сам ко мне не ездил – боялся пересудов; а письма писал и денег высылал мне на прожитие. Родился ты; тут я и про своё горе забыла, с радости себя не помнила. Но недолго дали мне пожить с тобою, оторвали тебя от груди моей. Захворала я, при смерти лежала недели три, без памяти. Старуха, с которой я жила, взяла тебя годовалого и подкинула к княжеским воротам. Зачем это она сделала – я не знаю. Пришла в память – тебя хватилась. Старуха-то мне и скажи: «Твой, – говорит, – ребёнок помер, на погосте лежит». Господи, как я плакала, как убивалась по тебе... Поверила я в ту пору, так и князю написала, что помер ты и похоронен. Хитрая старуха и на погост меня водила, будто на твою могилу. В то злое времечко я все слёзы выплакала. Оправившись от хворости, задумала я по святым обителям ходить, свои грехи замаливать. Вольную мне князь прислал и много денег на дорогу. И пошла я странствовать; старуха тоже со мной пошла. Во святом граде Иерусалиме не раз я бывала, во стольном Киеве и у соловецких чудотворцев, и всё пешком ходила.

– Как же, матушка, ты узнала, что я жив? – прерывая рассказ матери, спросил Николай.

– А вишь как, сыночек: годов десять старуха по богомолью со мной ходила. Стала она прихварывать, смерть её застигла на одном постоялом дворе; тут перед смертью она и повинилась мне, что подкинула тебя к воротам княжеской усадьбы. Стала я расспрашивать, зачем это она сделала? Не смогла старуха мне больше ответить – язык у ней отнялся. Похоронила я её и пошла в Каменки; тебя, Николушка, хотелось мне увидеть. Пришла я в княжескую усадьбу, попрошайкой притворилась. На княжеский двор меня не пустили, и я сквозь садовую решётку тебя увидела. И как сейчас вижу: на тебе была кумачная рубашечка, на ножках сапоги, с другими дворовыми мальчонками ты бегал, таким весёленьким мне показался. Порадовалась я на тебя, заочно благословила и прочь отошла от садовой решётки. В ту пору обнять тебя, сынок, хотелось, расцеловать, да не посмела. В Киев пошла и там в Фроловской женской обители десять годов выжила, неся строгое монастырское послушание. Хотела в той обители до гробовой доски дожить. Да не вытерпела, в родные Каменки потянуло – на тебя ещё хоть разочек взглянуть захотелось. И послал мне Господь Бог великое утешение: с тобою встретила. Вот и весь мой рассказ. Теперь хочешь – суди меня, сынок, хочешь – милуй.

Страница Марья замолчала; Цыганов подошёл к матери, крепко её обнял и проговорил:

– Родная, не судить тебя я буду, а любить! Матушка, ты обновила мою жизнь невесёлую;

теперь я стану другим человеком. У князя Гарина в Москве есть дом, живёт в нём сын князя, с войны он вернулся. Вот я и пойду к нему.

– Зачем, сынок?

– Как зачем?! Скажу ему, кто я, ведь я по отцу-то ему родной брат. Всю мою жизнь смотрели на меня как на подкидыша безродного. Теперь пусть посмотрят по-другому.

– Не ходи, Николюшка, зачем?

– Нет, родная, не останавливай, пойду. Да ты не думай, матушка, денег просить я не буду. Не деньги мне дороги, а хочется мне, матушка, их княжескую гордость побороть.

– Твоя воля, сын, делай как хочешь! – проговорила Марья.

– Не выгонит меня молодой князь, по отцу я братом ему прихожусь, ведь так, матушка?

– Так, так, Николюшка.

– Теперь меня не назовут «подкидышем безродным» – у меня есть мать, отец, есть имя...

Николай Цыганов ещё раз побывал в княжеском доме. Пришёл он накануне отъезда Сергея в Каменки. На этот раз молодой князь принял своего побочного брата ласково и стал расспрашивать об его матери.

– Где живёт твоя мать?

– Со мною, – ответил Цыганов, он назвал улицу где они жили.

– В такой глуши!

– Что делать, там жизнь много дешевле.

– Найми приличное помещение, здесь на Поварской есть недорогие квартиры. Если у тебя нет денег, то скажи: мой отец и я дадим тебе.

– Благодарю вас, но денег ни от вас, ни от князя Владимира Ивановича я не приму.

– Это почему? – удивился князь.

– Я молод и могу сам своим трудом прокормить себя и свою мать, – с достоинством ответил Цыганов.

– Я не узнаю тебя, Николай. Откуда такая перемена?

– На это, князь, я вам так отвечу: я нашёл свою мать, а материнские ласки и заботы хоть кого исправят.

– Радуюсь за тебя. Я завтра еду в Каменки.

– Счастливый вам путь, князь.

– Не будет ли от тебя каких поручений к моему отцу? Может, ты хочешь у него что-нибудь попросить?

Молодой князь слово «моему» подчеркнул – он ещё никак не мог примириться с тем, что у него есть брат.

– Никаких поручений и никаких просьб от меня не будет. Я отдаю на вашу волю известить князя Владимира Ивановича, что тот жалкий приёмыш, который долгие годы жил в его усадьбе наравне с прочими дворовыми, – его сын... – с горькою усмешкой проговорил Николай.

– Я никогда не возьмусь за такое поручение к отцу; сказать, что ты его сын, невозможно, – тихо промолвил Сергей Гарин.

– Почему же? – спросил Николай.

– А потому, что такие слова могут дурно повлиять на здоровье отца, и мне слишком щекотливо говорить с ним... Да и не время: ты, вероятно, слышал про свадьбу?

– Как же, слышал: княжна Софья Владимировна выходит замуж.

– За Леонида Николаевича Прозорова, – добавил князь Сергей.

– Конечно, в такое время до меня ли! – В голосе молодого прапорщика слышна была ирония.

– Ты, кажется, обиделся?

– Я не смею обижаться, ведь я незаконный сын вашего отца. Без прав, без имени. Вам, родовитому князю, стыдно назвать меня братом, даже здесь, когда мы только вдвоём, – сказал Цыганов, в его словах слышны были и упрёк, и слёзы.

Молодой князь смутился и не нашёлся что ответить.

– Ты не упрекай меня – я привык смотреть на тебя как... как...

– Как на дворового, как на раба?

– Я этого не говорил.

– Да, но вы хотели сказать. Повторяю, князь, я никому не скажу, что вы мой брат Будьте вполне спокойны.

– Я знаю, ты умный и рассудительный человек.

– Прощайте, князь, – сказал Цыганов, приготавливаясь уйти.

– Куда же ты?

– Домой, меня ждёт мать.

– Знаешь, Николай, мне бы хотелось взглянуть на твою мать.

– Зачем?

– Как зачем! Ну, поговорить с ней...

– Она простая женщина и разговаривать с вами не умеет.

Сергей холодно простился с Цыгановым. Его очень злила заносчивость последнего.

«Он слишком обидчив и ловит каждое слово. С ним просто невозможно разговаривать. А с одной стороны он прав. У нас с ним один отец, но разные положения. Да, судьба его не баловала! Сказать отцу, что у него есть сын и что этот сын двадцать лет жил в усадьбе, в числе других дворовых слуг, – ведь это убьёт его. Нет, я ничего не скажу, да и сам Николай не хочет своих прав». Так думал молодой князь по уходе Цыганова.

ГЛАВА XIII

За два дня до венчания княжны Софьи прибыл в Каменки князь Сергей со своим приятелем, Петром Петровичем Зарницким.

Старый князь, Лидия Михайловна и Софья очень обрадовались приезду Сергея. Княгиня, обнимая сына, несколько раз принималась плакать.

– Серёжа, голубчик, ты не сердись на меня, старуху. Я знаю, что моё упорство причинило тебе много горя... Но что делать! Ведь я так тебя люблю. Я... я... хотела, чтобы твоя жена была тебя достойна, – говорила Лидия Михайловна, нюхая спирт.

– Матушка, прошу не вспоминайте; мне это очень, очень тяжело!..

Старый князь, в свою очередь, обратился к сыну с такими словами:

– Откроюсь тебе, Сергей, глупость я сделал, большую глупость, что послушал жены и не настоял, чтобы она тебя благословила с Анной... жаль, очень жаль!..

– Но мне помнится, отец, и ты был против моего брака.

– Я что... Попроси меня хорошенько... я бы тебе не отказал. А всё княгиня...

– Серёжа, милый, какой ты печальный! Ты очень любил свою невесту? – спрашивала княжна Софья, оставшись вдвоём с братом.

– Софья, перестанем об этом говорить.

– Бедный, бедный! А как я плакала, когда услышала, что умерла твоя невеста. Мне так было её жаль... Я молилась за умершую Анну и каждый день молюсь.

– Добрая ты, добрая, хорошая.

– И Ирен тоже жалеет твою невесту.

– Ей-то с чего жалеть? – с улыбкой спросил у сестры князь Сергей.

– Не знаю, Серёжа, с чего. А только она очень, очень жалела. Ведь Ирен тебя любит.

– Полно, Софи!..

– Любит, любит!

– Ну, почём ты знаешь?

– Сама сказала. Не веришь? Она полюбила тебя с того раза, помнишь, как в прошлом году ты на святках был в Каменках. Ещё ты вместе с Ирен катался на тройке... Помнишь?

– Да, да, помню...

– Послушай, Серёжа! С чего ты скучаешь?

– Будто ты не знаешь причину моей грусти.

– Ах да, да, ты не можешь забыть потери твоей невесты.

– И никогда не позабуду...

– Смотря на тебя, мне самой становится скучно. Хоть во время моей свадьбы не тоскуй. Я сознаю, Серёжа, твоё горе; но ведь не вернёшь.

- Оттого-то я и скучаю, что не вернёшь похороненного счастья.
 - Как? Разве ты навсегда похоронил своё счастье? – спросила Софья.
 - Навсегда, – с тяжёлым вздохом ответил сестре молодой князь.
- Молодая девушка печально опустила головку.

Полковник Зарницкий был очень ласково и дружелюбно встречен в Каменках.

Князь и княгиня засыпали похвалами его геройство: они много слышали от Сергея про храбрость и отвагу Петра Петровича на войне с Наполеоном. Княжна, а также и её жених Леонид Николаевич скоро сошлись с Петром Петровичем и своим простым обращением заставили его забыть, что он в аристократическом доме. Теперь уже Зарницкий не дичился, не подбирал модных фраз, до которых был не охотник, и говорил с Гариными и с их гостями попросту.

Свадьба княжны Софьи с Прозоровым была отпразднована более чем скромно, кроме родных и близких знакомых никто не был приглашён, хотя многие надеялись получить приглашение. Но Леонид Николаевич избегал шумных пирушек и просил своего князя-тестя не делать бала. Отлагая свадебный бал до зимы, князь Владимир Иванович хотел показать этим своему сыну, что он принимает близко к сердцу потерю его невесты.

Во время венчания большая церковь в Каменках едва могла вместить желавших взглянуть на княжну и на её жениха.

В церковь не возбранён был вход и крестьянам, их набралось такое множество, что в храме, как говорится, негде было яблоку упасть. Крестьяне любили княжну и пришли помолиться об её счастье.

По окончании венчания, когда молодые выходили из церкви, Леонида Николаевича остановил крестьянин старик, дед Аким; в руках у него было расписное деревянное блюдо с караваем хлеба и резная солонка.

– Прими от нас, барин, хлеб и соль и Божью милость. Пошли вам Бог с молодой женой всякого богатства и счастья! – низко кланяясь, промолвил дед Аким.

– Спасибо, старик, спасибо. И вам всем спасибо, – ответил Прозоров, кланяясь княжеским крестьянам.

– Береги, барин, свою жену-боярину – добрая она, хорошая, наша радельница. Береги, мол, – наставительным тоном говорил дед Аким.

– Постараюсь! – Леонид Николаевич улыбнулся.

– Денно и ночью молим мы за неё Бога. Ох, увезёшь её, голубку, от нас, увезёшь..

– Увезу, дед, в Москву увезу.

– Жаль нам с ней расставаться. Ну, да что поделаешь.

В княжеском саду были накрыты огромные столы с разным кушаньем, пироги и калачи, целые бочки с пивом и вином – это было угощение для крестьян, а деревенских девушек и ребят угощали крепким мёдом, пряниками, леденцами, орехами и прочими сладостями.

Молодые – сияющие, счастливые – в сопровождении князя отправились в сад. «Молодой» и «молодому» на подносе старик Аким поднёс две чарки с янтарным мёдом. Прозоров и его молодая жена немного отпили мёду за здоровье крестьян. Громкое и единодушное «ура» было ответом.

Все в тот день были веселы и счастливы. Только один Сергей по-прежнему был печален. Он очень любил свою сестру и рад был её счастью, но образ умершей любимой девушки не покидал его, и, смотря на Прозорова и на сестру, он думал: «И я был бы так же счастлив, если бы жива была моя Анна! Но, увы, она умерла и унесла с собой в могилу всё моё счастье».

На свадьбе чуть не первыми гостями были костромской губернатор генерал Сухов с красавицей дочерью. Ирен в лёгком белом платье, с роскошным венком на голове была обворожительно хороша.

Князь Сергей с нею давно не видался и невольно загляделся на красавицу, Ирен это заметила. Самодовольство и счастье отразилось на её лице: молодая девушка любила князя, любила с первой с ним встречи, любила его и тогда, когда он считался женихом другой. Но теперь он свободен, любимая им невеста умерла.

– Ирен, ты заметила, как мой Сергей посмотрел на тебя? – спросила тихо княгиня Лидия Михайловна у молодой девушки.

– Разве? я, право, не заметила, – схитрила Ирен.

– Да, Сергей тобою интересуется.

– Полноте, княгиня, князь такой печальный, он не может забыть своей умершей невесты...

И, кажется, никогда её не позабудет... – со вздохом проговорила молодая девушка.

– Пустяки, на свете всё скоро забывается. И всякое горе по времени проходит, – возразила ей княгиня.

– Вы думаете, и князь забудет Анну?

– Разумеется! Похандрит немного, похмурится, а там и утешится.

– Если бы так было...

– Поверь, будет Сергей полюбит тебя.

– Что вы, что вы, княгиня, – вся зардевшись, проговорила красавица.

– Да, да. И сделает тебе предложение. Может быть, и не скоро, а всё-таки я назову тебя моей дочерью.

– Мама, мамочка! – И молодая девушка бросилась обнимать княгиню. Между тем губернатор Сухов и старый князь вели между собой такой разговор:

– Да, я совсем позабыл вам сказать, ведь Цыганов как ни хитёр, а попался, – сказал князь Владимиру Ивановичу губернатор Сухов.

– Как попался? – удивился князь.

– Мои сыщики в Москве напали на его след, арестовали и вчера привезли в Кострому. Я отдал приказ посадить его на гауптвахту.

Разговор этот происходил в кабинете князя; тут же был и Сергей.

– Как, Цыганова вы посадили на гауптвахту? – меняясь в лице, спросил Сергей.

– Посадил – я не стану церемониться, он заслужил строгое наказание.

– Да, да, конечно, конечно.

– А знаешь что, Дмитрий Петрович: ты поддержи под арестом этого подлеца несколько времени и выпусти, чёрт с ним! Я не хочу чтобы его гнусные дела предавались гласности, – проговорил губернатору старый князь.

– Едва ли возможно теперь это сделать, так как делу дан известный ход.

– Ну в таком случае поступай как знаешь. Софья замужем, её имя теперь не может пострадать.

Губернатор вышел.

– Ты должен спасти Николая, понимаешь – спасти! – сказал отцу князь Сергей, оставшись с ним вдвоём.

– Сергей, ты меня удивляешь говоришь, я должен спасти от правосудия негодяя? – с удивлением посматривая на сына, промолвил князь Владимир Иванович.

– Да, да, отец, не только должен, даже обязан. Во что бы то ни стало. Николай должен быть на свободе.

– Ты говоришь так загадочно, что я не понимаю – объяснись.

– Ничего не спрашивай отец, а скорее принимай меры к освобождению Цыганова.

– Да ты просто с ума сошёл. Негодяй заслужил наказание, а ты просишь об его освобождении. Странно!

– Пойми, отец, Николай должен быть освобождён, должен! – настойчиво проговорил молодой князь Гарин.

– Объяснись – я ничего не понимаю...

– Теперь не время... всякие объяснения теперь излишни... у нас в доме такая большая радость... И эту радость я ничем не хочу помрачить... Однако меня ждут гости. Относительно Николая скажи Сухову, чтобы он как-нибудь замял дело Цыганова... Он не откажет... – Проговорив эти слова, князь Сергей поспешно вышел из кабинета.

ГЛАВА XIV

На следующий день после свадьбы Сергею едва удалось переговорить с отцом: в этот день Софья уезжала с мужем в Москву. Надо было их провожать. Улучив минуту, молодой князь обратился к отцу с такими словами:

– Отец, ты говорил с губернатором?

– Насчёт чего?

– Относительно Николая.

– Отстань, пожалуйста. Мне теперь не до того.

– Как не до того? Если бы ты знал...

– Ничего я не знаю и знать не хочу! Поделом вору и мука – пусть посидит. Ещё не то бы с ним надо сделать, – горячился Владимир Иванович, – столько хлопот, а ты ко мне пристаёшь. Ах, Боже мой, я совсем забыл распорядиться об укладке приданого.

И старый князь поспешил на двор. Там уже запрягали лошадей, выносили и укладывали вещи молодых.

«Что же мне делать? Что делать? Открыть отцу, кто Николай? Это невозможно, а между тем нужно чем-нибудь его убедить; пожалуй, по злобе Николай скажет, кто он. Тогда срам, позор! Вот положение-то!» – быстро расхаживая по кабинету, думал князь Сергей.

К нему вошёл Пётр Петрович.

– Ты что это маршируешь? – спросил он у князя.

– Представь, Николай пойман и сидит под арестом на гауптвахте.

– Как?

– Как он угодил под арест, я подробно не знаю, знаю только, что его забрали сыщики в Москве...

– Надо постараться его освободить. А то, чёрт возьми, неловко!

– Вот в том-то и дело, что трудно!

– Губернатор приятель твоему отцу, попроси, он, наверное, освободит.

– Просил: говорит, что нельзя. Для отца бы губернатор сделал, но он не хочет просить, ссылаясь на виновность Николая.

– Виновен он точно, но всё-таки нельзя же оставлять его под арестом.

– Я вот о чём хочу просить тебя, Пётр Петрович: я еду провожать сестру и вернусь в Каменки дней через пять. Съезди, пожалуйста, ты в Кострому и повидайся с Николаем, расспроси его подробно обо всём.

– А меня допустят? – спросил у князя Пётр Петрович.

– Я напишу губернатору, он разрешит тебе свидание с Николаем.

– А когда мне ехать?

– Поезжай завтра. Прикажи запрячь себе тройку и поезжай.

– Как это – прикажи? Я тут не хозяин.

– Полно, Пётр Петрович, в доме моего отца всё к твоим услугам. Распоряжайся как хочешь...

Софья уехала со своим мужем в Москву, князь Сергей поехал провожать их. Проводить молодых собрались также почти все крестьяне из Каменков; провожали их с хлебом и солью и с пожеланиями счастья. Старый князь и княгиня со слезами несколько раз принимались крестить свою дочь.

– Леонид Николаевич, любите мою дочь, она стоит вашей любви, – крепко пожимая руки Прозорова, взволнованным голосом говорил князь Владимир Иванович. – Берегите её, голубчик, прошу вас.

– Напрасно просите: для счастья Софьи я готов отдать свою жизнь, – с чувством ответил Прозоров.

Тихо ехал экипаж «молодых» по княжескому двору, двор весь был запружён крестьянами, которые пришли проститься со своею «радельницей», некоторые бабы плакали и причитали. Так велика была любовь крепостных князя Гарина к Софье.

– Тише вы, что под лошадей-то лезете! – кричал на мужиков кучер, осаживая лошадей. – Сторонись, задавлю! Сторонись!

Народ расступился, кучер ударил по лошадям вожжами, те рванули и понеслись по утрамбованной мелким камнем дороге к Москве.

В тот же день в княжеской усадьбе произошло нечто особенное. Едва только проводили «молодых» и старый князь, усевшись в своём кабинете, стал читать какую-то книгу, как к нему вошёл старик Федотыч и тихо проговорил:

– Князинька, баба какая-то пришла и убедительно просила о себе доложить вашему сиятельству.

– Какая баба? – удивился князь.

– Кто её знает, лицо у ней что-то мне знакомо. Я видал её, князинька, а где – не припомню.

– Что ей надо?

– Не рассказывает, только просит о себе доложить.

– Странно! Не из крепостных она? – задумчиво спросил князь у Федотыча.

– Нет, князинька, не из наших, вишь, дальняя она, из Москвы.

– Ну,пусти её, Федотыч.

В кабинет князя вошла Марья, мать Цыганова, бледная, встревоженная, с опухшими от слёз глазами. Она робко остановилась у двери, опустив свою голову.

Князь её не узнал: более двадцати лет не видал он Марьи, легко забыть в такое время. Когда он расстался с Марьей, она была молодая, черноокая красавица, а теперь перед ним стоит какая-то исхудалая женщина с истомлённым лицом, с глазами, выражающими страдание; во всей фигуре Марьи виднелось много горя и отчаяния.

Прозоров хоть и обещал старому князю не начинать дело о поисках Николая Цыганова, но по дороге в Москву заехал в Кострому к губернатору Сухову и просил его распорядиться о розыске Цыганова; губернатор обещал отыскать. Он знал, что Леонид Николаевич занимает в Москве довольно видное место, и постарался перед ним выслужиться, показать свою энергию в распорядительности. Он отрядил несколько сыщиков в Москву; тем удалось напасть на след молодого человека, жившего с матерью в окрестностях города, в маленькой квартирке. Сыщики, имея предписание от костромского губернатора о немедленном аресте Цыганова, просили у московской полиции содействия к поимке и аресту преступника; в глухую полночь нагрянули к Николаю Цыганову в гости и, не мешкая, увезли под конвоем в Кострому. Бедная Марья чуть не лишилась ума от горя. Она, стоя на коленях, со слезами просила не отрывать от её сердца единственного сына. Но сыщики и полицейские были неумолимы; сознавая, что слёзы матери не тронут их чёрствое сердце, она стала упрашивать хоть сказать ей, за что арестуют её сына; один из сыщиков, вероятно тронутый несчастьем матери, сказал ей следующее:

– Он у важного князя Гарина выкрал дочь и держал её взаперти, за это твоего сына предадут суду, а если ты хочешь спасти его от наказания, иди к князю Гарину и проси у него милости.

Это для бедной женщины было новым ударом. Её сын, вся её надежда, оказался преступником. Его может спасти один только князь Гарин, отец Николая.

Марья, не мешкая, отправилась в Каменки. Сколько выстрадала она, переступая порог княжеского дома...

«Господи, подкрепи меня, дай мне силы! Что я скажу князю? Как посмотрю на него? Он, чай, давно меня забыл. Как стану просить его за Николая? Неужели я должна сказать князю, что мой сын – и его сын? Если и скажу, то поверит ли? Пусть не верит, только бы спас сынка-то; чай, в острог посадили; ему, сердечному, острог-то хуже смерти кажется», – так думала Марья, идя за Федотычем по роскошным залам княжеского дома.

– Что тебе надо? – ласково спросил у Марьи князь.

– Князь, ваше сиятельство, спаси мне сына, – захлёбываясь слезами, сказала бедная женщина, опускаясь на колени перед князем.

– Встань, я не люблю поклонов.

– Не встану, ваше сиятельство, до тех пор, пока ты не скажешь мне милостивого слова.

– Встань и расскажи, какого сына спасти?..

– Моего, князь, сына – Николая.

– Какого Николая? – не догадываясь, спросил у Марьи князь.

– Того, что жил в твоей княжеской усадьбе.

– Как, Цыганов твой сын? – с удивлением воскликнул князь.

– Сын, единая моя отрада – спаси его, ваше сиятельство!

– А знаешь ли ты, что он сделал?

- Знаю, князь, всё знаю, вот и пришла я просить у тебя милости!
- Напрасно просишь, я не потатчик негодяям: он примет должное ему наказание.
- Смилуйся, ваше сиятельство!
- И не проси! Да я и не могу, он в руках у властей. Иди в суд и проси. А я ничего не могу для тебя сделать.

– Не можешь, ваше сиятельство, не можешь! – не сказала, а простонала бедная Марья.
– Да, не могу.
– Не хотела я говорить, а придётся. Вышли, князь, старика из горницы, – твёрдым голосом проговорила Марья.

– Это зачем?
– Так надо, ваше сиятельство, слово у меня к тебе есть, такое, что при других его сказать нельзя, зазорно будет.

– Ступай, Федотыч, нужен будешь – позову.

Старик камердинер тихо вышел.

– Ну, говори же, что у тебя за слово до меня?

– Сейчас, ваше сиятельство, сейчас. Господи, подкрепи, помилуй... – Марья усердно перекрестилась. Князь с удивлением на неё посмотрел и сказал:

– Мне недосуг, если есть что говорить, говори!

– Николай-приёмьш – твой сын, князь, – чуть слышно сказала Марья.

– Что, что такое? Повтори! – не веря своим ушам, спросил князь.

– Говорю, Николай – твой сын.

– Ты или полоумная, или злая обманщица, пройдоха! Кто ты? Говори! – выходя из себя, крикнул Владимир Иванович.

– Не узнал, князь?

– Я совсем тебя не знаю.

– Видно, за двадцать годов много переменилась. Эх, ваше сиятельство, постарела я, не признал ты Марью...

– Марью... Тебя звать Марьей? Неужели!.. – князь не договорил, он задыхался от волнения.

– Марья, князь, та, что была женой твоего садовника Никиты, припомни.

– Теперь вспомнил; ты Марья, а Николай?..

– Наш сын, ваше сиятельство.

– Постой, постой, я помню, ты писала, что наш сын умер и похоронен; я это хорошо помню.

– Схоронен не он, а другой, ваше сиятельство, а Николая подкинули к твоим княжеским воротам.

– Боже, Боже! Я думал, ты и наш сын давно померли. Я просто не могу прийти в себя! Николай, приёмьш – мой сын, тот самый Николай, который хотел силою жениться на Софье, на своей сестре. Что же это? Я просто с ума сойду. Ты – Марья. Да, я теперь тебя узнал. Что же ты в двадцать лет не дала ни одной о себе весточки?..

– Зачем, князь?

– Как зачем? Я... я любил тебя. Я верю тебе, твои глаза не могут лгать. Я освобожу Николая... нашего сына. Сейчас же иди... поезжай в Кострому Я тоже поеду. Я хочу видеть Николая, – прерывистым голосом говорил князь.

– Спасибо, ваше сиятельство, Господь тебе воздаст.

Марья вышла из кабинета князя с радостью на сердце. Князь обещал возвратить ей сына: что может быть больше радости для её материнского сердца? Она в Каменках подрядила подводу до Костромы. А князь Владимир Иванович, между тем, сильно волновался и быстро расхаживал по кабинету. Да и было с чего ему волноваться! Сын, которого он считал умершим, нашёлся. Двадцать лет Николай жил в Каменках, и князь не знал, что это его сын. В продолжение этого долгого времени он не многим отличал Николая от прочих дворовых, а в его жилах тоже течёт кровь князей Гариных.

– В продолжение долгих лет я чуть не всякий день видел Николая и не знал, что он мой сын; хоть многим он отличался от других моих дворовых, но я не мог его отличить. Николай

одарён природным умом, пылким сердцем, он герой – за храбрость получил чин и крест. А его поступок с Софьей надо приписать увлечению, пылкому сердцу. Он весь в меня, и я, в былое время, не прочь был поухаживать... Я постараюсь исправить несправедливость и свою ошибку, я окружу довольством и Николая, и его мать. А как переменялась Марья... Я бы её не узнал, если бы она не сказала; хорошая она, добрая, покорная... – говорил старый князь.

Вошёл камердинер Федотыч.

– Федотыч, чтобы сейчас была готова тройка. Я еду в Кострому.

– Слушаю, князинька.

– Знаешь ли, старый, кто сейчас у меня был? – спросил у старика князь.

– Знаю, ваше сиятельство: Марья была, – не моргнув глазом, ответил старик.

– Узнал, старый, узнал! Мы с тобой думали – она померла, а она живёхонька.

– Только уж больно она переменялась, не скоро признаешь. Куда подевалась её краса писаная? С первого раза и я не признал её, ваше сиятельство, а как заговорила она, тут только и догадался, что за гостя.

– А красавица в своё время была Марья!

– Что говорить, баба красоты писаной.

– Пожил с ней я всласть... Есть чем былое вспомнать!..

– Как сейчас помню наши поездки на мельницу к Федоту. Вы, князинька, бывало, в горницу к мельнику, а там давно голубка ждёт, а я дремлю на козлах.

– Хорошее было житьё, старина! Теперь не то, постарели мы с тобой, Федотыч!

– Постарели, князинька, – с вздохом отвечает князю его верный слуга.

– Умирать, старина, надо.

– Смерть придёт – умрём, ваше сиятельство.

– И похоронят нас, словом добрым помянут; а может, и слезой горячей.

– Помянут, князинька: всяк человек, зная вашу доброту беспримерную, помянет вас молитвою к Господу и добрым словом!

Спустя несколько времени после того князь Владимир Иванович выехал на тройке лихих коней в Кострому. Его сопровождал старик Федотыч.

Chapter

ГЛАВА XV

Император Александр Павлович возвратился из Тильзита в Петербург десятого июля. Встреча императору была восторженная; все улицы были запружены народом, глубоко любившим добрейшего из людей – Александра; экипаж государя едва мог проехать в толпе, лошади ехали тихо. Государь, стоя в коляске, ласково кланялся, махая шляпой с перьями.

На другой день государь принимал во дворце всех высокопоставленных лиц, приехавших поздравить государя с благополучным возвращением.

В кругу своих приближённых император Александр говорил следующее про войну с Наполеоном:

«Руководствовался я постоянно неизменными правилами справедливости, бескорыстия, непреложною заботливостью о моих союзниках. Я не пренебрёг ничем для поддержания и защиты их. Независимо от ведённых, по моему повелению, дипломатических сношений я два раза вступал в борьбу с Наполеоном, и, конечно, не будут меня упрекать в каких-либо личных видах. Усматривая постепенное разрушение начал, составлявших в продолжение нескольких веков основание спокойствия и благоденствия Европы, я чувствовал, что обязанность и сан русского императора предписывали мне не оставаться пассивным зрителем такого разрушения. Я сделал всё, что зависело от сил человеческих. Но в этом положении, до которого, по неосмотрительности других, доведены были дела, когда мне одному пришлось сражаться с Францией, подкреплённую огромными силами Германии, Италии, Голландии, даже Испании, когда я был совершенно оставлен союзниками, наконец, увидев границы моего государства подверженными опасности от сцепления ошибок и обстоятельств, которых мне нельзя было тотчас отвратить, я имел полное

право воспользоваться предложениями, несколько раз сделанными мне в течение войны Наполеоном. Тогда и я в свою очередь решился предложить ему перемирие, после чего вскоре последовал мир».⁸⁰

Что нам принесла эта война с Наполеоном? Кроме присоединения к нам Финляндии и Бессарабии были обеспечены Петербург и «полуденные пределы нашего отечества». В этой войне из русских генералов многие прославились своим героизмом, «дотоле малоизвестные». Вот некоторые из героев: Беннигсен, Багратион, Дохтуров, Барклай де Толли, Сакен, Раевский, Тучков, Багговут, Пален, Щербатов, Кульнев, Каменский, Орлов-Денисов и другие. «Вообще, в военном отношении, вторая война императора Александра с Наполеоном покрыла русское воинство блистательною славою. Куда ни обращал Наполеон удары свои, всюду находил он неодолимый отпор. Великий полководец истощался в соображениях гениальных, войска его истощались в порывах высокого мужества, но в течение полугода нигде не мог он сокрушить русскую армию – свидетельством: Пултуск, Голымин, Эйлау, Гейльсберг. Полководец Александра, противопоставленный Наполеону, принадлежал к числу искуснейших генералов своего времени, однако ж, хотя далеко уступал в дарованиях своему сопернику, был им побеждён однажды, в Фридланде, когда изнемогал под бременем тяжёлого недуга. В продолжение всего похода русские постоянно удерживали за собою первенство над французами в ратном деле. Изнуряемые голодом, выдерживая нападения превосходного в числе неприятеля, ведомого Наполеоном, перед которым в несколько дней исчезали австрийские и прусские армии, могли ль бы наши, в противном случае, устоять в упорных битвах, ознаменовавших войну 1806 и 1807 годов?»⁸¹ Император Александр, по доброте и благородству своего сердца «никогда не терявший веры в добрые начала человека», думал, что нашёл в Наполеоне достойного союзника и сотрудника в царственных заботах о счастье и благоденствии народа, но государь скоро разочаровался. Кроме лицемерия, хитрости и тщеславия, он ничего не нашёл в Наполеоне. Скоро этот властолюбец изменил данным в Тильзите «обетам единомыслия к общему благу». И тогда император Александр, в праведном своём гневе на Наполеона, обратился на него грозой и победил непобедимого, чем и водворил спокойствие в Европе.

ГЛАВА XVI

Арест для Николая Цыганова был так неожидан, что на него нашёл какой-то столбняк. Молодой человек никак не мог понять, что с ним происходит, за что его арестуют. Ему сказали, чтобы он собирался в дорогу.

- Куда вы меня повезёте? – спросил он у полицейских.
- В Кострому, по месту вашего преступления, – невозмутимо ответил полицейский.
- Преступления? Разве я сделал какое-нибудь преступление?
- Да, сделали.
- Какое же?
- Вы должны знать сами.
- Никакой вины я за собой не знаю.
- Об этом вы скажете на суде.

Бедную Марию едва могли оторвать от любимого сына; она крепко обняла его и никак не хотела с ним расстаться.

Николая Цыганова посадили в простую телегу, запряжённую парой лошадей. Один солдат и сыщик сели с ним рядом, а другой солдат поместился на козлах вместе с кучером.

По приезде в Кострому его свели прямо в губернаторский дом; первый допрос делал сам губернатор, генерал Сухов.

⁸⁰ Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны Александра с Наполеоном в 1805 г. СПб., 1884.

⁸¹ Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны Александра с Наполеоном в 1805 г. СПб., 1884.

– Кто вы? – было первым вопросом губернатора, хотя он хорошо знал Николая Цыганова. Николай назвал себя.

– Вы отставной прапорщик?

– Да. К чему эти вопросы, господин губернатор!

– Как к чему? Закон того требует.

– За что меня арестовали и, как разбойника, везли под конвоем?

– Что вы притворяетесь? Вы хорошо знаете свою вину.

– Уверю вас, господин губернатор, я не знаю за собою никакой вины.

– А разбойническое нападение в лесу на дочь князя Гарина, её похищение вы не ставите себе в вину? – не сказал, а крикнул на Цыганова губернатор.

– Да, вот за что! Меня будут судить?

– Да, судить. И вас присудят к лишению чинов и орденов и сошлют на поселенье, – проговорил губернатор и отдал приказ посадить Цыганова на гауптвахту, под строгий караул.

Молодой человек очутился в заключении; его посадили в маленькую квадратную каморку с едва заметным оконцем; для спанья стояла узкая скамья, простой стол и стул; кроме хлеба и воды, ему ничего не давали.

«Так вот оно, возмездие-то! Вот когда я должен отдать отчёт в моих поступках. Нет, не везёт мне в жизни! Неласкова ко мне судьба. Если бы не жаль было матушки, наложил бы на себя руки. Что жить? Когда в жизни одно несчастье, одно горе», – так раздумывал Цыганов, лишённый свободы. Молодой человек сидел уже на гауптвахте дня три. За всё это время его ещё один раз вызвали в канцелярию губернатора, где с него снова сняли допрос; его поставили на очную ставку с Петрухой и Кузьмой; этих оборванцев всё ещё держали в остроге.

В этот раз допрос производил не губернатор, а его чиновник «по особо важным делам».

– Знаете ли вы этих молодцов? – показывая Николаю на Петруху и Кузьму, спросил у него чиновник.

– Знаю, – тихо ответил молодой человек; он не стал запираяться, потому что запирательство ни к чему бы не привело.

– Вы подкупили их сделать нападение в лесу на дочь князя Владимира Ивановича Гарина?

– Да.

– С какою целью вы это сделали?

– Для вас это всё равно, – с неудовольствием ответил Цыганов.

– Для меня всё равно, это правда, но для суда не всё равно. И вы обязаны сказать.

– Больше я вам ничего не скажу.

– Что же, не говорите. Для вас же хуже. – Чиновник наклонился и стал что-то писать; потом повернулся к Петрухе и Кузьме и спросил их, показывая на Николая: – Вы его знаете?

– Пора не знать, – приятели, – сострил Кузька, ухмыляясь и почёсывая затылок.

– Дрянь человек он: рядился за плату, а рассчитал по другой, – не скрывая своей злобы, проговорил Петруха.

– Он подрядил вас напасть в лесу на княжну? – спросил чиновник.

– Знамо, он, кому другому; рядил, мол, за сто рублей, а не заплатил и пяти десятков, сквалыга, – не переставал ругаться рыжий Петруха.

– Ну, не ругайся, разбойник, здесь присутствие, – крикнул на него чиновник.

Петруха смолк и насупился.

Чиновник опять стал писать какую-то бумагу; писал он долго, потом обмакнул большое гусиное перо в чернильницу, дал подписаться Цыганову; тот машинально подписался; его опять увели на гауптвахту.

Измученный и нравственно, и физически, Николай Цыганов хотел немного хоть успокоиться; он лёг на скамью и старался заснуть; но сон-благодетель его бежал. Молодой человек был в страшном отчаянии: он не столько боялся суда, сколько предстоящего ему позора, срама, – боялся он и за себя, и за свою бедную мать.

«Как убийцу, как грабителя, повезут меня на площадь на позорной колеснице. Да нет, нет, старый князь не допустит до этого, ведь я его сын; и князь Сергей вступится за меня. Пусть лишат дворянства, пусть снимут крест, данный мне за храбрость. Пусть всего лишают и сошлют в Сибирь, только бы не везли меня на позорной колеснице. Я не переживу такого

позора. Лучше смерть», – так думал Николай Цыганов. Наконец он заснул. Скрип двери и громкий говор заставил его проснуться, и когда он открыл глаза, то увидел, что перед ним стоят его мать и князь Владимир Иванович; молодой человек не верил своим глазам. Он думал, что видит сон.

– Николюшка, голубчик! – обрадовалась Марья.

– Матушка, неужели это ты?

– Я, родной, я...

– Как же ты очутилась здесь?

– Приехала, стосковалась я по тебе, сынок, крепко стосковалась... – Марья кинулась обнимать своего сына.

Старый князь молча смотрел на эту сцену.

– И вы, князь, вы тоже приехали?

– Да, Николай, я приехал, чтобы освободить тебя.

– Спасибо, ваше сиятельство!

– Ты знаешь, Николай, кто я тебе? – тихо спросил у Цыганова князь.

– Знаю, ваше сиятельство, – так же тихо ответил молодой человек.

– Зови меня отцом.

– Как! Мне звать вас отцом? – обрадовался Николай.

– Ты мой сын.

– Господи, Господи! У меня есть отец, мать! О, я так счастлив! – Молодой человек плакал слезами радости; он обнимал и князя и свою мать.

Князь Владимир Иванович сам был тронут, он не сопротивлялся ласкам сына и сам крепко его обнимал.

Князю не составило больших трудов освободить из заключения сына. Губернатор, по его просьбе, остановил следствие и отдал приказ выпустить из гауптвахты Николая Цыганова, а Петруху и Кузьму как соучастников преступления этапным порядком отправить на поселение.

Мы уже знаем, что Пётр Петрович, по просьбе приятеля, тоже отправился в Кострому; он хотел увидеть Николая, но его почему-то не допустили к заключённому. В Костроме Зарницкий встретился с князем Владимиром Ивановичем, и вот в квартире полковника, которую он нанял на несколько дней, собрались сам князь, полковник, Цыганов и его мать для семейного совета. На этом совете положили, что Николай с матерью будет жить в Москве, в купленном на княжеские деньги доме; князь обещал положить на имя Николая в опекуном совете порядочную сумму денег для обеспечения как молодого человека, так и его матери; при этом Марья и её сын должны держать в строгом секрете, что он побочный сын князя Владимира Ивановича Гарина, и не предъявлять никаких прав.

Князь обещал не забывать ни Марью, ни её сына и при удобном случае их навещать в Москве; но ни Цыганов, ни его мать не должны ходить в княжеский дом, чтобы не было пересудов.

– Я не отказываюсь – ты мой сын, и говорю это при постороннем человеке, – сказал князь, показывая на Петра Петровича, – но ты, Николай, не должен этого разглашать.

– Зачем? Я и так безмерно счастлив. Вы называете меня сыном, – с чувством проговорил Цыганов, целуя у князя руку.

– Да, да, ты мой сын.

– Господи, какая неожиданная радость. Какая радость, теперь для меня настанет новая жизнь... Князь, ваше сиятельство, вы подарили меня таким счастьем...

– Зачем, Николай, называешь меня князем, зови отцом.

– Вы позволяете?

– О, понятно.

– Батюшка милый, дорогой батюшка...

Полковник Зарницкий был тронут до слёз, будучи свидетелем этой трогательной сцены.

В тот же день Цыганов с матерью радушно простились с князем и с Зарницким и поехали по дороге к мельнице Федота, а старый князь, в сопровождении Петра Петровича, направился в свою усадьбу Каменки.

Недружелюбно встретил старик мельник Николая и его мать.

- Что надо? Зачем приехал? – сурово спросил он у молодого человека.
- Мириться с тобою, дед, приехал.
- Плохой у нас будет мир.
- Что так! Плохой мир, а всё лучше доброй ссоры. Где дочь-то, что её не видно? – спросил

Цыганов у мельника.

- А тебе зачем?
- Если спрашиваю, стало быть, надо!
- В лесу... Чай, скоро придёт.
- Подождём...

Старик Федот пристально посматривал на Марью; он не узнал её и, обращаясь к Николаю, спросил:

- А это кто с тобою?
- Мать.
- Как мать... Разве отыскалась твоя мать?
- Отыскалась, дед, отыскалась.
- Чудо... Право, чудо! – удивлялся старик. – А как звать-то тебя? – спросил он у Марьи.
- Марьей, – тихо ответила та; ненавистен был ей этот старик. Вспомнила она давно

прошедшее, вспомнила про свои свидания с князем на мельнице. Николай рассказал матери про свою любовную связь с дочерью мельника, не умолчал и о положении бедной девушки.

– Нехорошо, сынок, нехорошо... обидел девицу, прикрой грех венцом, – с лёгким упрёком говорила Марья; она настояла, чтобы сын женился на Глаше; Николай Цыганов, уступая желанию матери, согласился. И с этой целью приехал он на мельницу.

- Марьей тебя звать, Марьей...

Старик мельник хотел что-то припомнить, лицо Марьи было ему знакомо. Он часто видал эту женщину, но где и когда – не вспомнит.

- Что, дед, или я знакома тебе?
- Видал я тебя... видал... Давно это было, давно, не припомню.
- А я, дед, в первый раз тебя вижу.

Марья не хотела говорить старику, кто она; согласно воле князя она и её сын должны были это скрывать.

«Не признал, и хорошо; меньше, разговору, меньше пересудов», – думала она.

Вошла Глаша; её удивлению и радости не было конца; молодая девушка никак не думала встретить у себя Николая, которого она ещё любила, хотя и хотела побороть свою любовь к нему.

- Николай... ты ли?
- Здравствуй, Глаша!
- Постой, постой, прежде скажи, зачем пожаловал? – сухо спросила красавица, отстраняя молодого человека, который хотел её обнять.
- За тобой, Глаша, приехал.
- За мною... Что-то чудно! Зачем тебе я?
- Жениться на тебе хочу...
- Вот как... Не поздно ли, парень, хватился. Было время, сама я за тобою гонялась, а теперь ты мне не надобен.

- Что ты, Глаша!

– Надругался над моею любовью, насмеялся. Верно, лучше не нашёл... так я пригодилась! Ошибся, парень! Ты лучше ступай, покажись князю. Князь наш давно тебя разыскивает, – со злобою в голосе говорила молодая девушка. – Хорош ты стал: на честных девушек в лесу, как разбойник, нападаешь!

- Подожди, Глаша, упрекать меня, а ты скажи – хочешь быть моей женой?..
- Былое, красавица, что вспоминать, а ты вот сынку-то ответ дай, – проговорила дотоле молчавшая Марья.

- Как! Разве Николай твой сын? – удивилась Глаша.
- Сын, красавица, а ты дочкою моею будешь.
- Как же это? Ведь его маленьким подкинули к княжеским воротам?

- Об этом, Глаша, узнаешь потом. Говори, я жду; молви: люб ли тебе я.
- Любила тебя я, Николай, пуще жизни любила.
- А теперь? – спросил у неё Николай.
- Теперь разлюбила я.
- Неправда, и по глазам вижу, что любишь! Ведь так, узнал я?
- Узнал... – тихо ответила красавица.
- Стало быть, согласна быть моею женою?
- А как же князь? Ведь он на тебя озлоблен.
- С князем я давно примирился. Теперь он на меня не сердится.
- Так ли, парень? – усомнился старик Федот.
- Что же? Или божиться заставишь? Поди сам спроси князя.
- И то, пойду.
- А теперь нас благослови.

– До тех пор не благословлю, пока мне князь разрешения не даст на это, – проговорил упрямый старик. Федот не замедлил побывать в княжеской усадьбе и вернулся оттуда с весёлым лицом.

Князь Владимир Иванович не препятствовал жениться своему побочному сыну на дочери мельника, даже был рад этому: князь знал Глашу как умную, рассудительную девушку и хорошую хозяйку; Владимир Иванович не сказал, разумеется, старику Федоту, что Николай ему сын, а только обещал быть и жениху, и невесте посажёным отцом.

Теперь мельник с радостью благословил свою дочь и Николая.

Свадьбу решили сыграть осенью. Так и сам князь советовал; к тому времени мельник с дочерью должны были приехать в Москву.

ГЛАВА XVII

Князь Сергей, проводив сестру до Москвы, поторопился вернуться в Каменки – его с нетерпением ждал Пётр Петрович.

- Ну, брат, заждался я тебя, – такими словами встретил полковник своего товарища.
- Что, соскучился?

– Без тебя – скучища страшная – собрался было ехать домой, да князь Владимир Иванович не отпустил.

- Ну, скажи, Пётр Петрович; видел ты Николая или нет? – спросил Сергей у Зарницкого.
- Как же, видел. Всё, брат, хорошо устроилось.

Пётр Петрович рассказал молодому князю о том, как его отец сам ездил в Кострому и хлопотал об освобождении Николая; не умолчал и о том, как мать Цыганова приходила в усадьбу и просила старого князя о своём сыне.

- Отец ещё не знает, что Николай его сын?
- Как не знает, знает. Всё знает. Марья ему сказала.
- Ну, что же отец? – меняясь в лице, спросил у приятеля князь Сергей.

– Да ничего особенного. Поволновался старик первое время, разнежился, плакал... Ну, а далее отлично устроил Николая и его мать, вполне их обеспечил.

- Молодец отец, честно поступил!

– Ну, а ты что думаешь делать? – спросил у молодого князя Пётр Петрович. – Не думаешь жениться?

- На ком? Что ты!
- А на губернаторской дочке.
- Не говори глупостей, Пётр Петрович.
- Какие глупости, любезный друг, барышня по тебе с ума сходит! Разве ты не замечаешь?
- Нет, не замечаю.
- Напрасно. Ирина Дмитриевна прекрасная девица, благовоспитанная, собой красавица.
- Да ты, Пётр Петрович, не записался ли в сваты? – с улыбкой проговорил Гарин.
- Женись, девица она примерная.
- Никак ты всерьёз советуешь мне жениться?

– Разумеется, а ты полагал, шучу?

– Ну, вот что скажу тебе, как лучшему моему другу: я никогда не женюсь на Суховой.

– Что же, она не нравится тебе? – хмуря свои брови, спросил у приятеля полковник.

– Напротив, Ирина Дмитриевна мне нравится; откровенно скажу – она мне очень, очень нравится.

– И прекрасно. Женись на ней!

– Я дал слово на могиле моей Анны не жениться и постараюсь сдержать это слово.

– Как трогательно... на могиле! Глупости, братец.

– Оставим про это говорить!

– Что же, оставим... мне всё равно, как хочешь.

Пётр Петрович обиделся на приятеля.

– Я скоро еду за границу, – после некоторого молчания проговорил князь Сергей.

– Надолго? – сквозь зубы спросил у него полковник.

– На несколько лет. Я устал, и мне необходимо отдохнуть. Смерть невесты совсем разбила моё здоровье.

– Ты, кажется, намерен о ней думать всю жизнь.

– До самой смерти буду помнить мою Анну!

Вскоре после этого и старый князь заговорил с сыном про дочь губернатора. Он так же, как Пётр Петрович, хвалил молодую девушку и предложил сыну на ней жениться.

Но Сергей заметил отцу, что про это говорить нечего и что он вовсе не думает жениться.

Наступила осень, потянулись скучные, дождливые дни. В княжеском доме шли спешные приготовления к отъезду в Москву; княжеское семейство торопилось оставить Каменки.

Накануне отъезда князь Сергей вышел в сад; несмотря на осень, день выдался хороший, ясный, не опавшие ещё, но пожелтевшие листья на деревьях теперь опадали; садовые дорожки не были прометены, и сухие листья валялись на них кучами. Некоторые редкие деревья для тепла были обшиты рогожами, статуи убраны, беседки заколочены, сад запустел. Молодой князь тихо шёл по кедровой аллее. Какая-то гнетущая дума виднелась на его похуделом, но всё ещё красивом лице. Пройдя несколько шагов, он остановился: ему навстречу шла красавица Ирина. Молодая девушка как будто ждала этой встречи, на её лице видно было удовольствие, радость; дочь губернатора всё ещё гостила в Каменках. Лидия Михайловна так полюбила Ирину, что не хотела её отпустить ранее осени.

– Я вашу Ирен полюбила как дочь, генерал, она во многом заменяет мне Софи. Вы, пожалуйста, не берите её от меня, мне просто тяжело с ней расстаться; пусть Ирен гостит до дня нашего отъезда в Москву; вы, наверное, приедете нас проводить, Дмитрий Петрович? – проговорила княгиня генералу Сухову.

– За счастье почту, княгиня, – ответил губернатор.

– Ах, Дмитрий Петрович, как бы я желала назвать вашу прелестную Ирен своею дочерью.

– А моё страстное желание, ваше сиятельство, назвать князя Сергея Владимировича затем.

Но, к сожалению, в этом я отчаялся.

– Зачем отчаиваться, генерал... наши желания могут осуществиться.

– Едва ли, княгиня, – на князя Сергея Владимировича моя дочь, кажется, не произвела никакого впечатления.

– Теперь да... но Ирина в состоянии заставить всякого в себя влюбиться – и поверьте, сын непременно полюбит вашу дочь.

– Повторяю, княгиня, – это моя заветная мечта. Бедняжка Ирен так любит вашего сына...

– Знаю. Мы сделаем так что Сергей непременно будет вашим зятем.

– Дай Бог!

– Только надо выждать... Пусть он позабудет свою умершую невесту... и тогда...

– Едва ли скоро князь её забудет... Говорят, он так любил эту немку...

– Полноте, генерал, по времени всё забывается, и как ни велико горе, а оно забудется.

Разговор этот между княгиней Лидией Михайловной и губернатором Дмитрием Петровичем происходил за несколько дней до отъезда Гариных в Москву.

И встреча Ирины с князем Сергеем была не случайная – молодая девушка видела, как он пошёл в сад, Ирина тоже поспешила и незаметно, по другим садовым дорожкам, вышла ему

навстречу.

– Ирина Дмитриевна, и вы вышли в сад, – проговорил молодой князь.

– Я уже давно, князь, в саду, – солгала Ирина, – неправда ли, какая сегодня хорошая погода!

– Да, но погода скоро переменится, и вместо ясных дней наступят мрачные, скучные.

– Вы, князь, едете в Москву?

– Да, завтра, в Москве пробуду я недолго... Я еду за границу, еду надолго.

– Слышала, князь, слышала... – Молодая девушка тяжело вздохнула.

Князь Сергей заметил это и сказал:

– У вас, Ирина Дмитриевна, тоже есть горе?

– Да, князь, есть большое горе, – тихо ответила красавица.

– Могу ли я узнать?

– Зачем вам?

– Вам печалиться? Вы так молоды, хороши, у вас впереди целая счастливая, хорошая жизнь.

– А между тем я, князь, скучаю – у меня есть горе.

– Полноте, Ирина Дмитриевна.

– Да, да... я... я несчастна, князь... я очень несчастна... – чуть не плача, говорила молодая девушка.

– Вы несчастны! Я этого не знал! – удивился Гарин.

– Да, да... жизнь моя разбита.

– Вы пугаете меня, Ирина Дмитриевна, кто же осмелился разбить вашу жизнь?

– Человек, которого я так горячо люблю...

– А он... тот человек вас не любит?

– Да... – чуть слышно ответила красавица.

– Кто же он? Если можно, скажите.

– Вы... – ещё тише ответила Ирина. Она вся вспыхнула и тяжело дышала.

– Я?... – не веря своим ушам, переспросил князь, он никак не ожидал, чтобы Ирина сделала ему признание, хотя молодой князь и знал, что им интересуется дочь губернатора; но это он приписывал больше кокетству, чем любви. – Вы меня любите?

– Да, люблю... вы это, князь, знаете.

Молодая девушка быстро проговорила эти слова и так же быстро направилась из сада.

На другой день князя Гарины простились с Каменками и выехали в Москву.

На их проводы приехал губернатор и почти вся губернская знать.

Князь Сергей, прощаясь с Ириной, крепко пожал ей руки и с волнением проговорил:

– Не говорю вам прощайте, а до свидания! Надеюсь скоро с вами свидеться.

– Приезжайте скорее, – с глазами, полными слёз, проговорила князю красавица.

Старая княгиня, обнимая Ирину, плакала, она так к ней привыкла, полюбила.

– Ирен, ты приедешь к нам в Москву, приедешь? – сквозь слёзы спрашивала Лидия Михайловна молодую девушку.

– Да, да, княгиня, непременно.

– Не обмани, Ирен, – я ждать буду Генерал, вы отпустите к нам свою дочь? – обратилась старая княгиня к губернатору.

– За счастье почту.

– Спасибо, мой родной, я так полюбила Ирен... без неё буду скучать... Не пришлось, генерал, нам породниться, – тихо проговорила Сухову Лидия Михайловна.

– К сожалению, нет, княгиня.

– Но я не теряю надежды, генерал.

Князя Гарины уехали.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ГЛАВА I

Прошло немало времени после описанного в предыдущих главах нашей повести. Шёл грозный 1812 год. Наполеон, нарушив условие мира, перешёл реку Неман и вторгнулся со своими многочисленными полчищами в пределы нашего отечества.

Император Александр выпустил знаменательный манифест в котором, между прочим, говорилось:

«Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие в глубь России, надеясь силою и соблазнами потрясти спокойствие великой державы... Мы призываем на помощь Бога, поставляем в преграду войска наши, кипящие мужеством...»

Этот манифест заканчивался такими возвышенными словами:

«Да найдёт он, Наполеон, на каждом шагу верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не вникая никаким его лукавствам и обманам. Да встретит он в каждом дворянине – Пожарского, в каждом гражданине – Минина. Благородное дворянское сословие! Ты во все времена было спасителем отечества. Святейший синод и духовенство! Вы всегда тёплыми молитвами своими призывали благодать на главу России. Народ русский! Храброе потомство храбрых славян, ты неоднократно сокрушал зубы устремляющихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все с крестом в сердце и с оружием в руках, и никакие силы человеческие вас не одолеют».

Читая эти возвышенные призывные слова императора Александра, народ русский откликнулся на них. Все, кто только мог носить оружие, готовились ко встрече незваного-непрошеного гостя. На нужды войны и войска посыпались миллионы – миллионы эти составлялись из жертвованных денег дворянства, купечества и простого народа. Всяк нёс свою лепту на «благое великое дело». В то великое время готов был жертвовать каждый русский не только деньгами или имуществом, но даже и своей жизнью. Отечественная война была не к урону, а к славе и величию русского народа.

Наполеон перешёл Неман и вступил на русскую землю. Произошло это в ночь с 11 на 12 июня, а ровно через месяц после того, то есть 12 июля, ночью, златоглавая Москва встречала своего возлюбленного монарха Александра Павловича.

Густой толпой двинулись москвичи за Дорогомиловскую заставу, на Большую Смоленскую дорогу, по которой должен был приехать из Вильны в Москву государь.

Ровно в полночь прибыл государь на Поклонную гору, находящуюся в четырёх верстах от Москвы, за Дорогомиловской заставой. Престарелый священник села Покровского встретил государя с крестом, а дьякон с горящей свечой.

Император, завидя священника, вышел из коляски, поцеловал святой крест и бросил свой скорбный взор по направлению к Москве, тяжело вздохнул и, склонив свою венценосную голову, снова сел в коляску.

Проснувшаяся Москва заликовала, узнав, что государь в Кремле. Кремль был битком набит народом; все взгляды устремились на красное крыльцо, которым император должен был пройти в собор.

Пробило девять часов. На Ивановской колокольне загудел большой колокол, и среди народа появился Александр Первый, с сияющей кроткой улыбкой на своём открытом добром лице.

Оглушительный звон колоколов и громкие восторженные крики народа огласили воздух. Народный энтузиазм был велик и не знал себе пределов.

- Отец наш, православный царь! Живи навеки!
- Мы готовы пролить за тебя нашу кровь, веди нас на войну!
- Дай нам умереть за тебя!
- Ты наша надежда!

Народ восторженно кричал со всех сторон, теснясь около своего царя, не давая ему

свободной дороги; полицейские хотели очистить путь, но государь остановил их словами:

– Не троньте их, не троньте, я пройду.

В дверях Успенского собора преосвященный Августин встретил государя со святым крестом и приветствовал его прекрасной речью, закончив её такими вещими словами: «Царю! Господь с тобою: Он гласом Своим повелит буре, и станет в тишину и умолкнут воды потопные! С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог»!

Слёзы радости и умиления текли из глаз императора.

Пятнадцатого июля всё дворянство и именное купечество в девять часов утра собралось в слободской дворец, разместившись отдельно в двух огромных залах дворца.

Государственный секретарь Шишков прочитал манифест императора Александра Павловича об объявлении войны России с Францией. Московский генерал-губернатор граф Ростопчин громогласно проговорил:

– Господа, наш государь предоставил составить нам ополчение.

– Ополчение необходимо! Надо составить!

– Мы готовы сами идти на врага!

– Все, все поголовно пойдём!

– Умрём за родину и за царя!

Когда государю донесли о желании дворян составить ополчение, он почтит собрание своим высоким присутствием.

– Никогда я не сомневался в усердии дворянства, но рвение его превзошло мои ожидания... – взволнованным голосом проговорил государь.

– Государь, оттуда польются миллионы, – произнёс граф Ростопчин, показывая рукою на зал, где собралось купечество, – а наше дело не щадить себя.

Государь прошёл в купеческий зал. Городской голова того времени – Куманин – от полноты своих чувств громко произнёс, преклоняя колени пред обожаемым монархом:

– Государь, мы все готовы жертвовать тебе жизнью и имуществом!

Все наперерыв бросились к подписному листу и вмиг покрыли его подписями. Пожертвованы были миллионы. Дворянство – одно московское дворянство – выставило 80 тысяч ратников, избрав начальником ополчения князя Михаила Илларионовича Кутузова.

Старый князь Гарин, как дворянин и патриот, не отстал от других: составил из своих крепостных целый полк, одел и вооружил ополченцев на свои деньги и лично сам принял над ними начальство. Его сын, князь Сергей, прожил за границей четыре года и вернулся в Россию ещё до объявления войны, а как только война была объявлена, он вступил в ряды войск и принял командование над гусарским полком. На этот раз князь Сергей Гарин сражался не вместе со своим другом Петром Петровичем.

Полковник Зарницкий во время Отечественной войны командовал драгунами и находился со своим полком в Вильно, а полк князя Гарина, с прочими нашими войсками, спешил к Смоленску.

Император французов со своими солдатами был у стен древнего Смоленска. Наполеону нужно было перехватить дорогу на Москву. Русские, под начальством Барклая де Толли, отступили, стараясь заманить неприятеля внутрь России. Солдатам не нравилось отступление, они не понимали умной тактики своего главнокомандующего, на него поднялся ропот. Русские остановились, приготовились к сражению и сожгли мост через Днепр, чтобы помешать французам перейти через реку.

Накануне праздника Преображения Господня с неприятельской стороны началась страшная канонада. Несколько сот смертоносных гранат и ядер было пущено французами в Смоленск. Сражение было ужасное. От густого порохового дыма днём было темно как ночью, земля дрожала от пушечных выстрелов, повсюду стоны и крики; церкви, дома – всё пылало страшным пламенем. Смоленск пал. Барклай де Толли отдал приказание отступать. Наше войско пошло по дороге к Москве.

Шестого августа гордый Наполеон вступил в развалины Смоленска. Унылым и мрачным ехал он по улицам всё ещё пылавшего города, в Смоленске надеялся он найти полные магазины съестных припасов и жестоко ошибся. Кавалерия Наполеона от сильного недостатка страдала день ото дня и приходила в самое плачевное состояние.

Солдаты питались чем попало, и лошадиное мясо было у французов в большом употреблении, только одна гвардия покуда исправно получала фураж. Наполеон как мог утешал своих солдат, выпускал приказы, в которых сулил им золотые горы. «Взятие Смоленска решило участь Москвы, – писал Наполеон. – В Москве ждут нас тёплые квартиры, сытный, хороший стол и много денег». Так мечтали легковёрные французы. Но им пришлось скоро и жестоко разочароваться.

Наполеон спешил к Москве, и на всём его пути города, сёла и деревни представляли одно разрушение – всё предано было огню и мечу. Эта «великая нация» врывается в наши церкви, грабита и расхищала церковную утварь, глумилась и кощунствовала над святыми иконами. Горели храмы Божии – французы освещали себе путь страшными пожарами. Над всей землёй русской широко расстиралось огневое зарево. Нашествие Наполеона напоминало нашествие Батыя.

В защиту родной земли восстал поголовно весь русский народ. Забыто было и различие происхождения, нравов, религии. Вся Русь поднялась для одного общего дела: спасти отчизну и побороть супостата.

Появились конные и пешие отряды из крестьян, в рядах которых нередко встречались дряхлые старики и малые ребятишки; даже бабы шли войною на «хранцуза» с рогатинами, ухватами и косами. Днём эти отряды укрывались в лесах, а к ночи выходили на дорогу, поджидали «супостата» и с криком и гиканьем нападали на него.

Примеров самоотвержения между простым русским народом было множество. В ту великую годину каждый русский нёс службу родной земле. Любовью к царю и к родине спаслась в 1812 году русская земля!

Отставной прапорщик Николай Цыганов не остался в долгу перед родиной. Он собрал человек сто охотников «сразиться с супостатом», на свои деньги купил им ружей и сабель, простился с матерью и с молодой женой – красавицей Глашей и со своим маленьким отрядом пристал к храброму партизану Давыдову.

ГЛАВА II

Москва, слыша о приближении Наполеона, стала быстро пустеть, несмотря на уверение графа Ростопчина, московского генерал-губернатора, «что французов и близко не допустят к Москве». Ростопчин каждый день выпускал свои оригинальные афиши, писал, что враги ещё далеко, а придёт Наполеон – тут в Москве ему и сгинуть. «Побойчее твоих французов были: поляки, татары и шведы, да и тех наши отпотчивали, что по сию пору круг Москвы курганы, как грибы, а под грибами-то их кости. Ну и твоей силе быть в могиле. Да знаешь ли, что такое наша матушка Москва? Ведь это не город, а царство».

Но москвичи плохо верили этим афишам и спешили оставлять город. Москва пустела. Император Александр внял общему неудовольствию, что командует русским войском не русский, православный вождь, а немец, и назначил главнокомандующим князя Кутузова, любимого солдатами. Передавая ему свою армию, государь сказал ему:

– Идите спасать Россию!

И маститый вождь оправдал неограниченное к нему доверие государя. Он отдал Наполеону Москву, но спас Россию.

В своём рескрипте государь, между прочим, писал:

«Избирая вас для сего важного дела, я прошу Всемогущего Бога, да благословит Он деяния ваши к славе русского оружия и да оправдаются тем счастливые надежды, которые отечество на вас возлагает».

Рассказывают, что князь Кутузов, когда приехал в действующую армию и стал объезжать полки, а солдаты громкими криками радости приветствовали нового маститого вождя, то вдруг над его головой, покрытой сединами, взвился большой орёл.

Кутузов снял фуражку и громко крикнул:

– Ура! С нами Бог! Мы победим врага!

Главнокомандующий и солдаты неожиданное явление орла приняли за знамение победы.

Князь Кутузов, приняв начальство, продолжал со своею армиею отступать и, дойдя до обширного Бородинского поля, сказал:

– Теперь ни шагу назад.

Нашим храбрым солдатам надоело отступать, они рвались в бой, на это кровавое дело шли с радостью, как на весёлый пир.

Накануне Бородинского сражения, беспримерного в летописях по своим кровавым жертвам, в нашем лагере царила торжественная тишина, прерываемая молитвами; солдаты молились, готовясь умереть за родную землю, за батюшку-царя.

А у французов эту ночь проводили совсем по-другому: в их лагере звучали скабрёзные песни, дикий, циничный хохот, громкий говор и звон стаканов – французы, по своему легковерию, пили за предстоящую победу. Они надеялись победить нас при Бородине. Тогда дорога в Москву была бы открыта, а златоглавая Москва казалась им обетованною землею.

Наступило утро, и огневое солнце величаво выплыло из-за горизонта и своими яркими лучами осветило Бородинское поле. Наполеон, объезжая ряды своего войска, радостно сказал, поглядывая на солнце:

– Смотрите, ведь это аустерлицкое солнце!..

Перед каждым полком громко читали хвастливое воззвание Наполеона к солдатам, где, между прочим, говорилось:

«Солдаты, поступайте так, как вы поступали под Фридландом, под Смоленском, под Витебском, – и позднейшее потомство будет твердить о ваших подвигах, оказанных в этот день. О каждом из вас будут говорить, он был в знаменитом сражении под стенами Москвы».

В нашем лагере главнокомандующий, окружённый корпусными и резервными генералами, тихо говорил им:

– Пожалуйста, господа, сохраняйте резервы, у кого целы резервы – тот ещё не побеждён; старайтесь наступать колоннами и быстро действуйте штыками. Сами помните и скажите солдатам: за нами Москва...

Посреди нашего лагеря в дорогом киоте находилась чудотворная икона Смоленской Божией Матери. Священники безостановочно служили молебны.

– Пресвятая Богородица, спаси нас! – тихо и трогательно пели певчие-солдаты и с благоговением и с тёплой молитвой смотрели на святой лик Богоматери.

Престарелый вождь опустил на колени перед святой иконой и усердно молился. По лицу старца струились слёзы.

– Пойдите за царя, за Русь и за матушку Москву, ребятушки! – громко говорил Кутузов солдатам.

– Ура! Рады стараться! – кричали ему в ответ.

Началось Бородинское сражение. «Французы со штыками наперевес перешли за реку Колочу, и вдруг раздался ужасный гром из нескольких сот огнедышащих французских жерл; наши отвечали тем же. Пошла страшная трескотня канонады; казалось, что грома небесные уступили место своё громам земным. Войска сшиблись, и густые клубы дыма, сквозь который прорывались снопы пламени, закутали их. Огненные параболы гранат забороздили небо, понёсся невидимый ураган свинца и чугуна. Столкновение противников было самое ожесточённое. Очевидцы рассказывают, что многие из сражавшихся, побросав своё оружие, сцеплялись друг с другом, раздирали друг другу рты, душили друг друга в тесных объятиях и вместе падали мёртвыми. Здесь бился Восток со всем Западом; здесь бился Наполеон за всю свою будущность. Артиллерия скакала по трупам, как по бревенчатой мостовой, втискивая их в землю, упитанную кровью, и всё это происходило на пространстве одной квадратной версты! Многие батальоны перемешались между собою так, что нельзя было различить неприятелей от своих. Люди и лошади, ужасно изуродованные, лежали в разных группах; раненные, куда могли, брели к перевязкам, начальников несли на плащах. Стойкость русских, хотя их было и менее числом, нежели французов, остановила бешеные порывы врагов; пронзаемые штыками и

поражаемые картечью, воины до того спёрлись, что, умирая, не имели места, где упасть на землю; ядра сталкивались между собою и отскакивали назад. Чугун и железо, пережившие самое время, отказались служить мщению людей; раскалённые пушки не могли выдерживать действия пороха и лопались с треском, поражая заряжавших их артиллеристов; ядра, с визгом ударяясь о землю, взбрасывали вверх кусты и разрывали поля, как плугом; пороховые ящики взлетали на воздух. Крики командиров и вопли отчаянья на десяти разных языках смешивались с пальбою и барабанным боем. С обеих сторон более нежели из тысячи пушек сверкало пламя и гремел оглушительный гром, от которого дрожала земля на несколько вёрст; ядра залетали далеко последними прыжками или катились на излёте, батареи переходили из рук в руки. Чудное и ужасное зрелище представилось тогда: над левым крылом нашей армии висело густое облако от дыма огнестрельных орудий; смешавшись с парами крови, оно совершенно затмило дневной свет, солнце покрылось кровавою пеленою; перед центром пылало Бородино, облитое огнём, а правый фланг наш освещён был ярким солнцем. Так в одно и то же время представлялись день, вечер и ночь».⁸²

Земля взмокла, напилась кровью и почернела. Канонада с обеих сторон продолжалась до вечера; с наступлением мрака она стала ослабевать – прежде у неприятелей.

По окончании битвы и при наступлении вечера, прибавляют очевидцы, солнце, закатываясь в этот день за горизонт, отбрасывало на землю самые багровые лучи, будто обмакнутые в лужах крови; луна, как лик покойника, тускло осветила на Бородинском поле более ста тысяч трупов!.. Около взорванных зарядных ящиков вокруг была выжжена земля, а люди и лошади разбросаны, обгорелые... Обширное и вместе тесное кладбище! Французы называли эту битву битвою генералов, по причине множества убитых высших чинов с обеих сторон; наши солдаты говорили тогда: «Такова была жарня и побоище, что у самого чёрта тряслась борода, лес пел и вода говорила; мы не сдвинулись с места ни на шаг: где начали, там и покончили». Присутствие духа и врождённая весёлость не оставляли русских солдат; они гранаты называли хлопушками, а картечь – катышками.

– Эх, брат, ногу-то отстегнули у тебя, – сказал один раненый другому.

– Так что ж такое, – отвечал безногий, поморщиваясь от боли, – для меня же лучше: теперь только один сапог придётся чистить.

Бесспорно, что французов при Бородине было больше, но русские не уступали им, трофеи с обеих сторон были равные: не взято ни одного русского знамени, ни одного французского орла.

Подобной битвы со времени изобретения огнестрельного оружия не было ещё в Европе; как же не назвать её генеральною, по множеству убитых генералов с обеих сторон?.. Про геройское самоотвержение нашего войска нечего говорить, о нём хотя безмолвно, но красноречиво высказывает памятник – эта каменная летопись, поставленная на Бородинском поле. Здесь смертельно ранен князь Багратион; ему хотели отнять ногу.

– Оставьте, – сказал он, предчувствуя кончину, – эта рана за Москву. Боже, спаси отечество!

Там пали: молодой герой Кутайсов,⁸³ разорванный ядром, когда он вместе с Ермоловым вёл в штыки полк на батарею, Тучков (о нём писали, что он действовал с полком своим, как на ученье; он был убит в то самое время, когда скомандовал полку своему «Вперёд!») и многие другие. Нельзя обойти молчанием храбрость и находчивые распоряжения в этой битве Барклая де Толли: потрясённый душевным недугом от того, что никто не оценил его благоразумных действий во время командования им 1-ю армиею, он искал смерти; он являлся в самых опасных местах сражения. Очевидцы рассказывают, что он хладнокровно останавливался под градом пуль, оправлял свой мундир, нюхал табак и вдруг, дав своей лошади шпоры бросался на врагов.

На другой день после сражения солнце как будто отказалось осветить поразительную

⁸² Любецкий С. М. Рассказы из отечественной войны 1812 г. М., А. Л. Васильев. 1889

⁸³ Кутайсов Александр Иванович (1784–1812) – граф, генерал-майор, начальник артиллерии 1-й Западной армии. Погиб при Бородине.

картину смертного побоища: тучи серыми ключьями носились по небосклону, посыпался дождь и загудел сильный ветер.

Наполеон медленно на белом статном арабском коне своём, Евдорате (подаренном ему персидским шахом), выехал осмотреть обширное поле сражения, изрытое ядрами, на котором в разных положениях лежали трупы людей и лошадей. Там победитель умирал на побеждённом, живой погребался под мёртвым, там виднелись разломанные пороховые ящики, подбитые лафеты и разное оружие, выпавшее из мёртвых рук; светлые кирасы потеряли свой блеск, закопчённые порохом или обрызганные кровью, раненые ползали по земле со стоном, некоторые из сострадания добивали друг друга. Между ними бродили истощённые голодом солдаты, отыскивая себе пищу в ранцах убитых своих товарищей. Заметно было, что вопли несчастных проникли до глубины души Наполеона – он, приказав, по возможности, облегчить их участь, повернул лошадь свою в сторону.

С высокого кургана следил за сражением князь Кутузов, к нему то и дело являлись с донесениями курьеры и адъютанты. Вот прискакал один с горестным известием:

- Ваша светлость, князь Багратион ранен, – печально проговорил гонец.
- Неужели? Господи! Куда ранили? – дрогнувшим голосом спросил главнокомандующий.
- В ногу, ваша светлость.
- Опасно?
- Опасно, ваша светлость.

– Скажите моим именем генералу Дохтурову, чтобы он принял командование над багратионовскими укреплениями. Ещё скажите, чтобы князю Багратиону оказана была немедленная помощь, жизнь его дорога для России; скажите, чтобы доктора употребили всё искусство к излечению князя.

Гонец ускакал. Но князю Багратиону, герою своего времени, не суждено было оправиться от раны, и, несмотря на тщательный уход, он умер в Ярославле и там же погребён.⁸⁴

За Бородинское сражение князь Кутузов произведён был в генерал-фельдмаршалы и, кроме того, ему было пожаловано сто тысяч рублей. Добрый император Александр не забыл никого: своею царскою милостию и щедро награждал всех – от солдата до генерала. Наполеон ничего не выиграл; только более пятидесяти тысяч солдат из его армии осталось на Бородинском поле. Ему ничего не досталось, наши солдаты не оставили ему ни одного трофея. Русские показали беспримерную храбрость.

Битва кончилась, и наше войско начало стройно отступать к Москве.

ГЛАВА III

В Бородинском сражении князь Сергей Гарин был тяжело ранен: пуля раздробила ему плечо; хотя пуля была извлечена, но рана причиняла молодому князю ужасную боль, от которой он или впадал в беспамятство, или громко стонал. На паре деревенских кляч, запряжённых в простую телегу, везли раненого князя в Москву; на облучке, рядом с мужиком-возчиком, сидел старик Михеев. Он был угрюм и мрачен: ему крепко было жаль своего «княжича», которого «шальная пуля так угостила».

Верный и преданный денщик не покинул князя во время жаркого сражения, и когда пуля сразила князя, старик не потерялся, кинулся к нему и на своих плечах, под градом пуль, стащил его на перевязочный пункт и со слезами просил усталого, измученного хирурга осмотреть рану князя. Громкая фамилия и чин заставили хирурга заняться тщательно раненым. Пуля была вынута, плечо забинтовано. Немалых трудов стоило Михееву найти лошадей, чтобы довести раненого до Москвы; за большую плату подрядил старик мужика; ехали шагом: быстрая езда причиняла раненому мучительную боль. Впереди и позади подводы шли наши солдаты, тут же вели и некоторых других раненых.

⁸⁴ В 1839 году император Николай Павлович повелел поставить на Бородинском поле великолепный памятник в честь павших героев 1812 года. Тело князя Багратиона было перенесено сюда и погребено у самого подножия памятника, поставленного на том самом месте, где был ранен Багратион.

– Эй, Михеев, ты ли это? – обгоняя подводу, спросил подскакавший к телеге полковник Зарницкий.

– Я, я, ваше высокородие. – Старик денщик обрадовался и велел мужику приостановить лошадей.

– Кто это? Боже, Сергей! Сильно ранен? – меняясь в лице, спросил Пётр Петрович, узнав в раненом своего друга.

– Так сильно, что не знаю, перенесёт ли мой княжич: ведь без памяти, сердечный, – ответил денщик; в его глазах видны были слёзы.

– Куда же ты его везёшь?

– В Москву, а оттуда в Каменки; хоть бы живым довести княжича до дому.

– Спешу, старик, ведь французы следом за нами идут.

– Пусть идут, не боюсь я их, проклятых! Сгубили, окаянные, моего княжича... Будь они прокляты, прокляты! Отольётся им сторицею пролитая кровь христианская. Дай-кося, вот придёт зимушка-зима студёная, подохнут они, ровно мухи!

Полковник Зарницкий слез с лошади, наклонился над князем Сергеем, поцеловал его в запёкшиеся, посинелые губы и тихо проговорил:

– Прости, товарищ, друг, прощай! Не знаю, суждено ли нам с тобою увидаться на этом свете? Прости, приятель. – Дрогнул голос у Петра Петровича, по исхудалому загорелому лицу одна за другой текли слёзы. Дрожащею рукой он перекрестил своего раненого друга и низко-низко поклонился ему.

– Кланяюсь тебе я от всей Русской земли и от себя.

Проговорив эти слова, храбрый полковник вскочил на своего коня и быстро поскакал вперёд, за своим полком.

– Ну ты, сиволдай, трогай! Да не гони своих кляч, а ровно поезжай, – не совсем учтиво толкнув локтем мужика-возчика, проговорил старик Михеев.

Лошадёнки тронулись. Ехали почти без остановки, останавливались только для корма лошадей.

Стали подъезжать к Москве. Вот с Поклонной горы ярко заблистал крест на колокольне Ивана Великого. Москва близко.

– Стой, мужлан, стой! – сердито крикнул на мужика-возчика Михеев.

– Чего стоять-то? – приостанавливая своих кляч, спросил у старика возчик.

– Разве ты не видишь, чурбан, Москву-то!

– Знамо, вижу, так что же?

– А то – молись, Господа проси, чтобы Он, милосердый, спас Москву от полона, от супостата... – Проговорив эти слова, старик денщик сошёл с телеги, опустил на колени и стал усердно молиться на видневшиеся вдали московские храмы.

Мужик-возчик охотно последовал примеру Михеева.

При въезде Михеева в Москву навстречу ему попадались многочисленные обозы, тянувшиеся по улицам. Это жители покидали город, забрав необходимые пожитки. Москва с каждым днём всё более и более пустела; как ни старался граф Ростопчин успокоить и уговорить москвичей – ему никто не верил. Жители буквально бежали из города; многие отправили своё имущество по реке на барках в Нижний, Казань и в другие волжские города. Повозки и лошади страшно вздорожали, а некоторые из жителей закапывали свои ценные вещи в садах и в огородах или замуравливали их в каменные стены; находились и такие, которые ломали свою мебель, били зеркала и стёкла, чтобы они не достались французам.

Ростопчин, с согласия преосвященного Августина, архиепископа Московского, готовился идти с крестным ходом на три горы для благословения войска и народа на упорную битву.

«Вооружитесь, кто чем может, конные и пешие, – писал он в своём воззвании к москвичам, – возьмите только на три дня хлеба, идите с крестом, возьмите хоругви из церквей и с сим знаменiem собирайтесь тотчас на трёх горах, я буду с вами – и вместе истребим злодея».

Около одной телеги, на которой полулежала больная женщина с двумя малолетними детьми, шёл, понуря голову, не старый ещё человек привлекательной наружности, в длинном сюртуке и в поярковой шляпе; это был учитель Иванов. Его небольшой домик находился рядом с огромными палатами князя Гарина; старик Михеев знал учителя и часто вёл с ним беседу,

посиживая на скамеечке у ворот княжеского дома. Учитель был человек словоохотливый и не гнушался водить знакомство с княжеским денщиком; старик Михеев побывал со своим княжичем во всех почти европейских государствах, многое видал, многое слышал и своими рассказами часто интересовал учителя.

– Барин, ты куда собрался? – слезая с телеги и подходя к Иванову, проговорил Михеев.

– А, дед, здравствуй и прощай.

– Куда, мол?

– И сам ещё не знаю – куда еду и куда приеду.

– А зачем собрался?

– Как зачем! Или ты, старик, не видишь, что пустеет Москва первопрестольная, покидают её, сиротливую, граждане – покидают ради страха. Будь я один, не оставил бы я Москву, положил бы свои кости здесь. Но не один я, жена у меня больная, двое деток, и вот хочу я укрыть их от ненасытного, кровожадного Наполеона, – печальным голосом проговорил учитель Иванов.

– А ты думаешь, Москву Наполеон в полон возьмёт?

– Ох, возьмёт, супостат, – не пройдёт недели, как он будет хозяйничать в златоглавой.

– А на что же у нас фельдмаршал Кутузов, на что храбрые солдаты: не допустят они, не отдадут в полон Москву, – возразил Иванову старик денщик.

– Старик Кутузов благоразумный вождь, он не станет жертвовать кровью солдат: он сбережёт армию, а в армии вся сила.

– Но как же это? Москва в полоне – невозможное это дело, – не соглашался Михеев.

– А ты вот что, дед, помни – хоть и возьмёт Наполеон Москву, но недолго он погостит в ней. Да воскреснет Бог и расточатся все врази Его! Разорённая, угнетённая Москва снова воскреснет и зацветёт лучше прежнего – жив Бог, и жива святая Русь! – с воодушевлением проговорил учитель; он дружески простился с Михеевым и поехал далее, а Михеев с больным князем остановился у ворот княжеского дома.

Но что это значит? На обширном дворе никого не видно. Куда же подевались дворовые? Да и ворота на заперты.

Старик денщик стал стучать в калитку; на его зов вышел Игнат-дворник.

– Кто стучит? – не отпирая калитки, спросил он. – А, Михеев, ты? – посматривая сквозь железную решётку, радостно сказал дворник и поспешил отворить ворота.

– Что это? неужто молодой князь? Кажись, мёртвый, – чуть слышно спросил Игнат.

– Жив ещё наш ласковый князь; он без памяти – вот так всю дорогу, ровно мёртвый, лежит.

– Доконали, супостаты?

– Под Бородином плечо расшибло сердешному – уж не знаю, довезу ли я его живым до Каменок?

– Неужто, дед, повезёшь?

– Знамо, повезу, а не брошу здесь на волю супостатов, вишь, скоро в Москву французы придут.

– Говорят. И я про то слышал.

– А где же дворовые-то? Что их не видать?

– Да, видишь, дед, никого нет.

– Как так?

– Да так. Наш дворецкий собрал всех дворовых, приказал запрячь с полсотни подвод; наложил на подводы княжеское добро и отправил всё в Каменки, туда и дворовых послал.

– Неужто ты один остался? – удивился старик.

– Петруха-сторож и я – только вдвоём остались. Нам дворецкий беречь и хранить княжий дом наказывал и добро, что здесь осталось.

– А лошади есть? На чём мне княжича в Каменки везти? – спросил Михеев.

– Оставил дворецкий двух лошадей, затем оставил, что лошади старые, – ответил дворник.

– А повозка или тарантас есть?

– Карета осталась большая, старая.

– И славно: я в карете-то княжича и повезу.

Михеев с помощью дворника и сторожа перенёс с телеги в комнаты князя Сергея, всё ещё находившегося в забытии. Старый денщик умел искусно перевязывать раны и бинтовать, он забинтовал плечо князя, а на голову положил полотенце, намоченное в холодной воде. Князь открыл глаза и тихо спросил:

– Где я?

– Дома, князинька, дома, в Москве, – не помня себя от радости, что князь очнулся, ответил старик.

– Дома? А где же мать и отец?

– Княгиня и князь, чай, в Каменках живут.

– В Каменках! И мне бы туда хотелось.

– Повезу, князинька; завтра утром поедem в Каменки.

– Что же – вези.

– Покушать не хочешь ли? – заботливо спросил денщик у князя.

– Пить бы мне... чаю...

– Сейчас, князинька, сейчас.

Михеев заварил чаю, добыл из княжеского подвала крепкого рома, влил ром в чай и подал князю Сергею. Тот жадно отпил несколько глотков, румянец заиграл на побледневших щеках князя, ром подкрепил и немного восстановил его силы. Князь Сергей уснул и спал долго. Сон благотворно на него подействовал: проснувшись утром, он попросил есть, и Михеев приготовил ему куриного бульона.

Стали готовиться к отъезду в Каменки. В карету положили пуховую перину и несколько подушек и на них раненого князя; Петруху-сторожа посадили на козлы вместо кучера, и карета выехала из ворот княжеского дома по совершенно опустелым улицам.

ГЛАВА IV

Москва оставлена. Москва отдана на произвол неприятелю. Москва в плену.

Престарелый главнокомандующий на генеральном совете в Филях своим властным голосом громко сказал:

– Властью, вручённою мне моим государем и отечеством, приказываю отступление!

Роковые слова произнесены. Первопрестольная Москва, сердце России, оставляется на произвол, покидается без боя, и священный Кремль, эта скрижаль истории, без кровавого боя отдаётся во власть врагам. Народ, солдаты, генералы и сам главнокомандующий Кутузов плакали, расставаясь с златоглавою Москвою.

– Москва потеряна, но спасена армия. Да, да, потеря Москвы спасёт Россию, – утешал себя старый вождь, проезжая на простых дрожках через Москву позади шедшей армии. Он видел и понимал косые взгляды, которые бросали на него солдаты и народ; он читал на их лицах упрёки:

– Эх, князь, князь-батюшка, мы надеялись на тебя, думали, не покинешь ты Москву-матушку, не дашь на расхищение злым врагам, а ты...

«Москву отдал, спас Россию», – как бы в ответ им думает престарелый вождь.

Москва в руках Наполеона – он «торжественно» въезжает в древнюю столицу, у Дорогомиловской заставы встречают победителя депутаты, состоящие из французских и немецких булочников, сапожников, портных. Отрёпанные, с опухшими от водки лицами, они сполупьяну бормочут какое-то приветствие Наполеону.

– Гоните эту сволочь! – кричит Наполеон, взбешённый такой депутацией, его душит злоба, он нервно то наденет перчатку, то снимет.

– Где же депутация? Где Ростопчин, где комендант, где ключи от Кремля? – сердито спрашивает он своих приближённых. Те стоят понуря свои головы. – Что же вы молчите? Где депутация, где московские власти, наконец, где же народ?

– Власти все разъехались, народ тоже. Москва пуста, ваше величество, – осмелился кто-то ответить Наполеону.

– Проклятие! Эти северные медведи не понимают приличия... О, я научу их, они будут знать у меня приличие...

Наполеон вскочил на лошадь и быстро поехал по дороге к священному Кремлю.

Между тем старик Михеев, не подозревая, что французы уже вступили в Москву, не торопился ехать; он знал, что быстрая езда причинит боль князю, приказал Петрухе ехать шагом, и только что они выехали на Арбат, как им навстречу показалась блестящая свита Наполеона.

– Дядя, а дядя, глянь, ведь это хранцузы, – показывая кнутовищем на скакавших, робко проговорил Петруха.

– Ври! – сердито ответил Михеев.

– Право, дяденька, они, вон, вон – ишь, скачут, черти... Батюшки, да прямо нам навстречу...

– И то, и то... Беда!..

Теперь Михеев сам разглядел французов.

– Стало быть, мы с тобою, дядя, попали.

– Что мы – велика в нас корысть французу; княжича жаль, его, сердечного, пожалуй, потревожит супостат.

– Ох, дядя, пиши пропало: задавит нас хранцуз; глянь, ведь скачет прямо на нас.

Сторож Петруха не ошибся: передовой отряд гвардии Наполеона окружил карету с раненым князем Гариным.

Петруха приостановил лошадей и робко посматривал на французов.

Французский полковник обратился к Михееву с вопросом: кто он и куда везёт раненого. Окно кареты было открыто, и французам видно было бледное лицо князя Сергея; разумеется, Михеев ничего не понял – полковник спрашивал денщика князя Гарина по-французски.

– Ишь, залопотал! Я не понимаю, не трудись, ваше благородие, – такими словами ответил старик Михеев на все вопросы французского полковника.

А Петруха, как ни робок был, не утерпел, чтобы не фыркнуть – ему показался очень смешным французский язык. К карете подъехал сам Наполеон.

– Кто этот раненый и куда его везут? – хмуро спросил он, показывая на спавшего в карете раненого князя.

Один из свитских офицеров хорошо знал русский язык. Он подошёл к Михееву и спросил:

– Скажи, старик, кого ты везёшь и куда?

– Своего князя – он ранен под Бородином, – нехотя ответил старый денщик.

– Как фамилия твоего князя?

– Гарин.

– Куда его везёшь?

– В его княжескую усадьбу.

Офицер всё передал своему императору.

– Ваше величество, прикажите окружить карету конвоем; русский князь – наш военнопленный.

С такими словами обратился маршал Дюрок к своему императору.

– К чему? Посмотри на лицо раненого: он умрёт; а мертвецы нам не нужны, и кроме того, Дюрок, храбрость я глубоко уважаю даже в моих врагах и должен тебе сознаться, мой любезный, русские очень, очень храбры и они умеют драться за свою родину, за свою независимость! И повторяю тебе: император Александр счастлив, обладая таким народом!

Наполеон отдал приказание не задерживать князя Гарина и до заставы велел сопровождать его карету отряду гвардейцев.

Первое время Михеев и Петруха думали, что их взяли в плен, но когда они выехали за заставу, начальник отряда жестом показал, что они свободны и могут ехать куда хотят, а сам повернул со своим отрядом обратно в Москву.

– Дядя, а дядя, значит, нас не забрали в полон? – радостно спросил у Михеева сторож Петруха, который занимал место кучера.

– Эх, дурень! Зачем мы с тобой французам!

– А всё же, дяденька, эти хранцузы народ ничего – жалостливый, словоохотливый.

– Молчи, дубина! Ишь, вздумал хвалить врагов своего отечества! По военной субординации за эти твои слова тебя расстрелять надо! – крикнул Михеев на Петруху; тот

прикусил язык и стих.

Проехав несколько вёрст от Москвы, Михеев принуждён был остановиться в одной подмосковной деревушке на ночлег, потому что усталые лошади чуть тащили ноги, да и настал вечер, а вечером ехать неудобно.

Едва только смерилось, как багровое зарево покрыло небосклон и стало распространяться всё шире, всё багровее. Это горела полонённая Москва.

От страшного зарева было светло, как днём.

Раненый князь проснулся, ему видно было багровое небо.

– Что это? – спросил он у Михеева, показывая на зарево.

– Зарево, князинька: Москва горит первопрестольная, сиротливая, – в голосе старика слышались слёзы.

– Москва горит... Боже, спаси, помилуй землю русскую, – посинелыми губами шептал молитву князь Гарин, и слёзы градом текли по его впалым щекам. Петруха и тот горько плакал, смотря на московское пожарище.

ГЛАВА V

– Ваше величество, вот мы и в стенах Московского Кремля, в центре России, – заискивающим голосом проговорил Наполеону маршал Дюрок. Император французов въехал в осиротелый Кремль в простом сером сюртуке и в своей исторической треуголке. Громко играла военная музыка. Наполеон ехал на белой, богато убранной арабской лошади, окружённый блестящею свитою, состоящей из маршалов и генералов; все они были в богатых, парадных мундирах. Наполеон был не в духе. Дюрок видел это и хотел льстивым разговором развлечь своего повелителя.

– Что ты сказал, Дюрок? – переспросил у него Наполеон.

– Я говорю, государь, к вашим победным лаврам присоединилась ещё одна победа... Москва у ваших ног, ваше величество!.. В стенах исторического Кремля... Рим, Вена, Берлин и Москва...

– А знаешь, Дюрок, где бы я желал скорее быть, как можно скорее?

– Не знаю, государь.

– В Париже, моём милом Париже... Мы далеко зашли... от Москвы до Парижа слишком далеко... и я боюсь... Впрочем, оставим говорить про будущее... Да, да, мы в Кремле. Отсюда я предпишу императору Александру мир такой, какой я хочу... Он согласится... его столица в моих руках, – хвастливо проговорил Наполеон. Он приказал напечатать следующее известие:

«Великая битва седьмого сентября (нов. ст.), то есть Бородинская, поставила русских вне возможности защитить Москву, и они оставили свою столицу. Теперь, в три с половиной часа, наша победоносная армия вступает в Москву, император сейчас прибыл сюда».

Это известие разослано было с курьерами по всей Европе.

Но недолго торжествовал Наполеон. Опустошительные пожары угрожали и Кремлю. Москва горела со всех концов, в какие-нибудь три-четыре дня она превратилась в груды камня, пепла и развалин.

Красивая, утопавшая в садах Москва теперь представляла одно общее пожарище. Величавые храмы, вековые монастыри, роскошные дома – всё сделалось жертвою пламени.

Ужасный пожар Москвы начался в самый день вступления французов. Ещё утром второго сентября показался огонь над Гостиным двором: купцы сами поджигали свои лавки с товаром, чтобы врагам ничего не досталось из оставленного добра. Едва только Наполеон въехал в Кремль, как вдруг запылали масляные лавки и москательные⁸⁵ ряды, а там загорелось Зарядье и Балчуг, занялись лесные склады около Остоженки, далее загорелся Каретный ряд с

⁸⁵ Москатель (устар.) Некоторые химические вещества (краски, клей, масла и т. п.) как предмет торговли.

неубранными экипажами, огонь показался и в Новой слободе.

«Полонённая Москва» запылала более чем в десяти местах: всепожирающее пламя страшно свирепствовало, уничтожая дома, церкви и имущество.

В ночь на шестое сентября запылало красивое, утопавшее в садах Замоскворечье, со всех концов охвачено было оно пламенем; мосты на реках, даже барки с хлебом – всё это горело, целое море огня бушевало в покинутой Москве. Сильный северо-восточный ветер помогал огненной лаве в её страшном распространении; несчастные москвичи, застигнутые пламенем, с громкими криками и плачем бегали около пылавших жилищ.

Треск огня, вопли народа, детский плач, колокольный набат, резкий барабанный бой, шум, грохот падающих стен, гудящий ветер; всё это слилось в одну адскую гармонию.

Вот где-то на колокольне сгорели балки, на которых висели колокола, и они с глухим звоном упали; пылающие брёвна, головни перекидывались из улицы в улицу, из дома в дом. Искры падали огненным дождём, от страшно пылавших сальных заводов и винного казённого двора потекли по улицам огненные реки. Голуби и другие птицы кружились над огнём, выбивались из сил и падали в огненное море; лошади с диким ржанием, собаки с воем и другие домашние животные бегали по горевшим улицам, ища себе пристанища, и, не находя его, погибали в пламени. А москвичи с искажёнными от несчастья и испуга лицами, бледные, опалённые огнём, задыхаясь от дыма, без всякого сознания метались из стороны в сторону.

Картина ужасная и потрясающая!

Каменных домов в 1812 году было в Москве до пожара 2567, осталось только 526, деревянных – 6521 дом, осталось 2100, лавок каменных – 6324, осталось 989, деревянных – 2197, осталось 379; из 237 церквей более половины обгорело, а 12 церквей совсем сгорели. Уцелевшие от пламени дома и церкви были разграблены. Некоторые улицы буквально выгорели, так что на них не осталось ни одного дома. Замоскворечье тоже почти всё выгорело. Нечего говорить о дальних концах Москвы, они были выжжены и ограблены. Уцелели только те дома, в которых помещались французские генералы и другие чиновные лица.

Красивая златоглавая Москва в какие-нибудь три-четыре дня превратилась в груды камней, в пепелище: повсюду дымились головни; величавые храмы и монастыри представляли собою смрадное пожарище; на улицах, между обгоревшими предметами, то здесь, то там лежали трупы животных, погибших от пожара. Обгорелые дома после пожара, без крыш, долго ещё дымились; над ними возвышались чёрные, закоптелые трубы, остовы развалившихся печей; дома, уцелевшие от пожара, стояли пустыми, с разбитыми стёклами, закоптелыми стенами.

Французы с ужасом смотрели на пожарище, они думали поживиться имуществом москвичей, но всё оно сделалось достоянием пламени. Не имея пожарных инструментов, они сунулись было тушить пожар, но безуспешно – пламя всё усиливалось, так что Наполеону от жары и смрада пришлось в конце концов выехать из Кремля. Наполеон мрачно наблюдал в окно из Кремлёвского дворца багровое зарево горевшей Москвы и несколько раз выходил на террасу, обращённую к Москве-реке. С ужасом смотрел он на море огня, пожиравшее Москву.

– Отчего произошёл пожар? – в сотый раз спрашивал он у своих приближённых.

– От поджога, государь, – отвечали ему.

– Кто смеет поджигать? – нервно крикнул Наполеон.

– Русские, ваше величество.

– Расстреливать и вешать поджигателей! – приказывает он, в сильном волнении расхаживая по залам дворца. – Послать немедленно Мортье с большим отрядом войска тушить пожар, – снова приказывает он. – Какое варварство, сжечь собственное своё имущество, но вместе с тем какое самоотвержение! Да, да, я принуждён согласиться, что русская нация – великая нация! – со вздохом проговорил Наполеон.

Пребывание его в Кремле становилось всё более и более опасным; в самом дворце лопались стёкла и летели головни, от дыма воздух был смраден и удушлив. Наполеон выехал в Петровский дворец, который со всех сторон окружили пушками, и старая гвардия Наполеона поселилась на Ходынском поле. У каждой из застав расставлено было множество часовых.

Кто сжёг Москву – русские или французы? Это ещё до нашего времени остаётся малоизвестным, вернее – первые, потому что французы не имели ни малейшей надобности

предавать Москву пламени; напротив, они хотели пожить в полное своё удовольствие, понадеялись на хлебосольство москвичей, думали иметь покойные квартиры и сытную пищу. Пожар Москвы, вернее всего, дело русских, но за это никто не осмелится упрекнуть их: они не хотели, чтобы врагу родины досталось их достояние.

– Пусть лучше сгорят наши дома, наше имущество.

Москва хотя и была в плену у врагов, но она спасла Россию.

«О Сионе, Сионе, граде Божий! От тебя изыде спасение Израилево и вся земля», – сказал преосвященный Августин в своей проповеди, когда французы оставили Москву.

Ещё до Бородинской битвы граф Ростопчин, между прочим, писал князю Багратиону: «Народ здешний решительно умрёт у стен московских, и когда в благом предприятии Бог ему не поможет, то, следуя русскому правилу – «не доставайся злодею» – обратит город в пепел, и Наполеон получит, вместо добычи, только место, где была добыча». Так оно и случилось. Москвичи оставили французам не Москву богатую, населённую, а пустынную, выжженную.

«Гори, Москва, но живи, Россия» – таково было общее мнение тогдашних русских людей, решивших принести французам последнюю жертву.

Французы с ужасом смотрели на пожарище. Этот пожар был предвестником их гибели.

Недостаток провианта и фуража давал себя знать французам, к этому ещё присоединилась суровая осень. Солдаты, голодные, полураздетые, вслух роптали на своего императора.

Ожесточённые французы стали вымещать свою злобу на оставшихся в Москве жителях: они грабили, врываются в дома, разбивали лавки, рылись в пепле обгорелых домов, и на улице, среди белого дня, разували и раздевали жителей, на которых, как на лошадей, навьючивали награбленное имущество; врываются в церкви, кощунствовали и превращали святые храмы в конюшни и в поварни; в святые иконы вбивали гвозди и вешали на них свои мундиры и конскую сбрую. Почти все московские храмы, уцелевшие от пожара, не уцелели от грабежа и осквернения.

Наполеон думал устроить жителей казнями и хотел тем остановить поджоги; стали ловить и правых, и виноватых и без суда их расстреливать; не было пощады даже тем, которые перебегали от одного горевшего дома в другой.

Хитрый Наполеон, сознавая безвыходность своего положения, пустился на хитрость: посредством своих прокламаций, в которых обещал москвичам разные льготы, он старался с ними сблизиться; но верные царю и родине москвичи с презрением оттолкнули от себя хвастливое обещание завоевателя и мстили врагам отечества, как только могли.

Час возмездия гордому Наполеону наставал; пролитая им кровь многих тысяч людей вопияла о мщении. Счастливая звезда его гения стала тускнеть. Теперь опомнился Наполеон, но было уже поздно...

ГЛАВА VI

Император Александр со скорбью узнал, что его первопрестольная столица отдана без боя: государь заплакал при этом роковом известии и не скрывал своих слёз от приближённых.

– За Москву, князь Михаил Илларионович, ты дашь мне ответ! Ты мне ответишь! – говорил император; слова эти относились к главнокомандующему князю Кутузову; государь не думал, чтоб Кутузов решился без боя отдать Москву Наполеону.

Наполеон употреблял всю свою хитрость, чтобы войти в переговоры с государем о мире, который теперь был более чем необходим для Наполеона.

В ответ на это император Александр сказал следующие великие слова:

– Я скорее уйду в Сибирь, отращу себе бороду, буду ходить в простом кафтане, но не заключу мира с Наполеоном.

Вскоре после известия о занятии Москвы французами был выпущен высочайший манифест:

«С крайнею и сокрушающей сердце каждого сына отечества печалью сим возвещается, что неприятель второго сентября вступил в Москву, но да не унывает от сего великий народ российский. Напротив, да поклонётся всяк и каждый, да воскипит

новым духом мужества, твёрдости и несомненной надежды, что всякое наносимое нам врагами зло и вред обратятся напоследок на главу их. Боже Всемогущий! Обрати милосердые очи Твои на молящуюся Тебе с коленопреклонением российскую церковь. Даруй поборающему по правде, верному народу Твоему бодрость духа и терпение. Сим да восторжествует он над врагом своим, да преодолеет его и, спасая себя, спасёт свободу и независимость царей и царств».

Между тем наша армия всё отступала по старой Калужской дороге; дойдя до Тарутина, на правом берегу реки Нары, престарелый главнокомандующий твёрдо сказал:

– Теперь ни шагу назад; станем ждать французов.

Здесь собралась сильная русская армия.

Наполеон прислал к Кутузову своего генерала Лористона⁸⁶ со следующим собственноручным письмом:

«Князь Кутузов! Посылаю к Вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров с Вами о многих важных предметах. Прошу Вашу светлость верить всему, что он Вам скажет, особенно когда станет выражать Вам чувства уважения и особенного почтения, питаемого к Вам с давнего времени. За сим молю Бога о хранении Вас под Своим священным кровом. Москва, тридцатого октября 1812 г.

Наполеон».

Главным поручением от Наполеона своему посланному было вести переговоры о мире.

– Нет, генерал, о мире и речи быть не может. Мы только начинаем воевать. Так и передайте вашему императору.

Такими словами ответил наш главнокомандующий генералу Лористону.

Опытный военачальник хорошо знал, что Наполеону не осталось ничего более, как просить мира. Наполеон очутился в ловушке, в которую он попал со своей армией.

Скоро зимние вьюги и морозы заставили Наполеона подумать о выходе из Москвы.

К двенадцатому октября Москва очистилась от французов: они выступили на Калужскую дорогу.

Мюрат, неаполитанский король, был наголову разбит под Тарутином: множество повозок, орудий и пленных досталось нам.

Оставляя Москву, неприятель хотел взорвать наш священный Кремль: под Кремль были сделаны подкопы, туда вкатили бочки с порохом – и что созидалось веками, то мстительный враг хотел уничтожить в один час. Но Господь сохранил Кремль. «Дивен Бог во святых Его! Стены кремлёвские и почти все здания взлетели на воздух, а соборы и храмы, вмещающие мощи святых, остались целы и невредимы, в знамение милосердия Господня к царю и царству русскому», – так писал генерал Иловайский⁸⁷ от двенадцатого октября 1812 года. Он первый со своими казаками въехал в оставленную неприятелем Москву.

И вот, спустя дня три после выхода французов, утром с колокольни Страстного монастыря раздался торжественный звон в большой колокол. Ему вторили и другие колокола с уцелевших колоколен.

Шесть недель пробыли французы в Москве, и за всё это время ни разу не оглашалась Белокаменная колокольным звоном. Москва освобождена! Москва воскресла!

Наши солдаты расположились бивуаком в Тарутине; они с нетерпением ждали сразиться с Наполеоном и с лихвою отомстить ему за Москву. Наше войско было сыто, обуто и одето, а злополучная французская армия находилась в самом ужасном положении: голодная,

⁸⁶ Лористон, Жак-Александр-Бернар-Лоу (1768–1828) – маршал Франции, в 1811–1812 гг. посол в Петербурге. В августе 1812 г. присоединился к армии Наполеона.

⁸⁷ Из прославившихся в Отечественную войну почти двух десятков Иловайских здесь имеется в виду Иловайский 4-й, Иван Дмитриевич (1767–1826), генерал-майор, командир Донского казачьего полка.

изнурённая, прикрытая лохмотьями. Некоторые, за неимением одежды, кутались от холода в женские куцавейки, в телогрейки, в юбки, в шали. Жалкий вид представляла эта некогда великая армия.

Покидая Москву, Наполеон ещё, видно, не терял надежды и хвастливо сказал своим солдатам:

– Я поведу вас на хорошие зимние квартиры, и если на дороге попадутся мне русские, то я уничтожу их.

Это были одни только слова: французскому войску суждено было погибнуть в России. Немногие уцелели и вернулись на родину. Большая часть французов нашла себе могилу в снегах России.

Однажды полковник Зарницкий, едва только вышел из своего барака и направился к полку, который расположен был в Тарутине вместе с другими полками, увидел идущего ему навстречу молодого гусарского офицера с Георгиевским крестом на груди.

– Здравствуйте, господин полковник, – отдавая честь Петру Петровичу, проговорил офицер.

– Боже! Неужели это вы! – радостным голосом воскликнул полковник, крепко пожимая руку молодого офицера.

– Узнали?

– Ещё бы мне не узнать вас! Да вы так мало переменились.

– А ведь давно мы с вами не видались, Пётр Петрович.

– Да, да, почти шесть лет прошло. Да что же мы тут разговариваем, ко мне в барак милости прошу.

Зарницкий вернулся в свой барак и привёл с собою гостя, или, скорее, гостью – молодой гусарский офицер был Надежда Андреевна Дурова, которая служила в Мариупольском гусарском полку под фамилией Александрова.

– Прошу садиться. Щетина, скорее чаю! – суетился Пётр Петрович.

– Зараз, ваше высокородие!

– Здорово, Щетина! – проговорила Дурова старику денщику.

– Здравие желаю, ваше благородие! – ответил тот, вытянувшись в струнку

– Узнал, старина?

– Ну как не узнать – хорошо помню.

– Спасибо за память – вот тебе на табак, – кавалерист-девица протянула денщику руку с червонцем.

– Покорнейше благодарю, ваше благородие.

– Ну садитесь, моя дорогая, рассказывайте, как это вы попали к нам в Тарутин.

– Сегодня к армии присоединились ещё три полка, в том числе и мой. Я очень обрадовалась, когда узнала, что вы находитесь здесь, в Тарутине, – ответила полковнику Дурова.

– Да, сидим мы здесь и ждём погоды. А ваш полк, Надежда Андреевна, откуда пришёл? – спросил у неё Пётр Петрович.

– С юга. Спешили к Москве – узнали, что Москва в руках французов – повернули к вам.

– Да, в Белокаменной хозяйствует теперь Наполеон со своими солдатами, но недолго ему придётся там похозяйствовать. Голод да холод выгонят его из Москвы.

– Жаль Москву, Пётр Петрович, крепко жаль!

– Что говорить!.. Кажется, я неслезлив, а верите ли, плакал, как баба, проезжая Москву, после решения главнокомандующего отдать её неприятелю без боя.

– Говорят, в войске был сильный ропот на это решение?

– На старика Кутузова роптали и солдаты, и народ.

– Ну, а вы, Пётр Петрович, одобряете решение главнокомандующего?

– Видите... Он поступил очень обдуманно и дальновидно!.. России нужны солдаты... Под Бородином выбыло из строя около пятидесяти тысяч человек... И если бы произошло сражение под Москвою, то, пожалуй, убили бы ещё столько же, а всё-таки Наполеон вошёл бы в Москву, потому что армия у него больше... Кутузов спас солдат, и этим он оказал России громадную услугу.

– Поймут ли это, Пётр Петрович? Многие упрекают главнокомандующего...

– Не поймут теперь – потомство поймёт и оценит услугу князя Кутузова... Оставим говорить про это... лучше скажите, как вы живёте, служите... Довольны ли начальством? – спросил у Дуровой полковник Зарницкий.

– О, я очень довольна... начальство меня балует, поощряет.

– Так и должно... Вы такая чудная женщина... Ну, а что ваш муж?

– Мы разошлись с ним навсегда.

– Стало быть, вы свободны?

– Свободна, Пётр Петрович... Как ветер в поле, свободна!..

Долго ещё беседовали Пётр Петрович и кавалерист-девица; стали бить зорю, резкий звук барабанов раздался в русском лагере – тогда только Дурова простилась с полковником и отправилась к своему полку.

ГЛАВА VII

Что стало с Москвой? Куда девалась её краса? Выжжена, ограблена, разрушена, как будто над Москвой пронёсся страшный ураган и своею силою всё разрушил, всё сокрушил. Сердце москвичей, возвращавшихся на своё пепелище, обливалось кровью... горькие слёзы душили их при взгляде на родной город.

Было октябрьское морозное утро. Несмотря на то что зима ещё не наступала, стояли такие холода, как среди зимы; эти холода и поторопили французов выйти из Москвы.

По выжженной и опустошённой Никольской улице шли две женщины: одна цвела здоровьем и молодостью, другая была болезненная, исхудалая; это были Марья, мать Николая Цыганова, и его жена Глаша.

Во время занятия Москвы французами обе женщины укрывались в Сокольническом лесу; там, у лесничего, в полуразвалившейся хибарке, приютились Марья со своей невесткой; хлеб добывали они в находящейся вблизи Сокольнического леса деревушке, и как только проведали, что французы оставили Москву, обе женщины поспешили в город, где на Остоженке у них был небольшой, но красивой архитектуры домик, хорошо обставленный, который купил Николаю и его матери князь Владимир Иванович Гарин и где тихо и мирно жили они до рокового 1812 года. В этот тяжёлый год Николай пошёл в ополченцы, а его мать и жена укрылись от неприятеля в лесу; всё, что составляло ценность, взяли они частью с собою, а частью зарыли глубоко в своём саду. Теперь, когда миновала лихая пора, Марья и Глаша возвращались в своё жилище; шли они тихо, робко оглядываясь по сторонам; Марья от усталости едва волочила ноги.

– Матушка, устала ты, сердечная? – с участием спросила у Марьи молодая женщина.

– Устала, Глаша, ноги болят, и сердце что-то сильно щемит, замирает, – ответила Марья, тяжело дыша.

– Это, родная, от усталости. Давай вот тут присядем, отдохнём, – сказала Глаша и села на обгорелые брёвна.

Марья последовала её примеру.

Улица, по которой они шли, была завалена обгорелыми брёвнами, мусором, железом, изломанною мебелью. По правую сторону улицы находились торговые ряды, и буквально все лавки были ограблены; чего французы не могли унести с собою, то выкидывали на улицу и предавали уничтожению, то есть рвали, коверкали, ломали.

– Цел ли, матушка, наш дом-то? – тихо спросила у свекрови молодая женщина, поглядывая на всеобщее пожарище и разрушение.

– Где уж – чай, одни стены остались, – печальным голосом ответила Марья.

– Что ж, о том много печалиться нечего – не нас одних постигло несчастье. А на людях, матушка, и смерть красна.

– Где сын, где Николушка, жив ли он?

– Про то один Бог знает, родимая.

– Поди, его убили супостаты – ох, боюсь, даром стосковалось моё сердце.

– Родимая, не говори так – мне и подумать о том страшно!

– Много супостаты пролили христианской крови – и за это злодейство Господь воздаст им сторицею!

– Немало, матушка, и французов наши побили.

– Все, все погибнут они – с мечом вошли они в землю русскую, от меча и погибнут.

Немного отдохнув, Марья с Глашей подошли к осиротелому Кремлю. Жалкую картину представлял собою священный Кремль: он завален был разным мусором, кирпичами, поломанною мебелью, сеном, соломой, человеческими и лошадиными трупами, поломанными экипажами, а также и иконами, которые французы повыкидывали из церквей. Некоторые иконы были расколоты на несколько частей. У колокольни Ивана Великого громоздились целые горы кирпичей и камней разрушенного от подкопа здания; тут же лежали два больших колокола, упавшие от взрыва с Ивановской колокольни.

Великий Успенский собор был в страшном запустении; остальные соборы и монастыри тоже были осквернены и ограблены.

Марья и Глаша не могли проникнуть в Кремль. Спасские ворота были заперты и завалены, а Никольские – загромождены обломками взорванной стены; ворота эти были почти все разрушены от взрыва, только та стена, где находился образ св. Николая, совершившимся чудом была сохранена; обе женщины спустились под горку и пошли по Неглинной. Скоро добрались они и до Остоженки, вот и их домик; он уцелел от пожара, но почти все оконные стёкла были перебиты.

– Невестушка, дай руку, не то упаду, – проговорила Марья, опираясь на руку молодой женщины.

– Матушка, да что с тобой, ты равно смерть побледнела?

– Ох, сердце замерло – хоть бы глоток водицы! – Марья задыхалась от волнения.

Они вошли во двор своего дома, а потом и в комнаты; везде царил страшный беспорядок: мебель была вся поломана, зеркала побиты, иконы сорваны со стен и брошены. Очевидно, французы не забыли побывать и в доме Николая Цыганова, но дом уцелел от пожара.

Марья, при виде ограбления и разорения своего жилища, всплеснула руками и горько заплакала.

В выбитые окна нанесло много снега, так что Марья и Глаша с трудом могли отворить дверь из одной комнаты в другую; пройдя переднюю и залу, они вступили в небольшую комнату, которая служила спальней Николая; и едва только переступили они порог этой комнаты, как наткнулись на замёрзший труп какого-то ополченца. Крик ужаса и страшного отчаяния вырвался у Марьи и Глаши: в этом посинелом трупе они узнали Николая; его суконный кафтан был залит запёкшейся кровью, на левой стороне груди, у сердца, зияла страшная рана; пальцы левой руки крепко стиснули рукоятку шпаги.

Во время Бородинского сражения Николай принимал участие в битве, следуя со своим отрядом ополченцев позади армии, вступил в Москву и не утерпел, чтобы не завернуть к себе в дом: он думал, что его любимая жена и мать дома, но не застал их. Усталый и сильно ослабевший Николай остался у себя отдохнуть, где, вероятно, и был убит ворвавшимися в его дом французами.

Нельзя описать страшного, безысходного горя матери и жены Николая: они попеременно обнимали и покрывали поцелуями заоченелый труп его, громко над ним причитали и называли его самыми нежными именами.

Когда первый порыв горести прошёл, Марья с невесткой стали готовиться к похоронам; мать своими руками сколотила из досок для сына простой гроб – другого, более пышного, в то время достать было негде; обмыли покойника, прибрали и положили в гроб; где-то разыскали старика священника, оставшегося в Москве во время пребывания французов, и привели его в дом; священник облачился в ветхие ризы и приступил к отпеванию «новопреставленного воина Николая, за царя и отчизну живот свой положившего».

Глаша подрядила двух каких-то оборванцев выкопать на церковном погосте могилу.

В этой могиле нашёл себе успокоение молодой, пылкий прапорщик. На небольшом холмике-могиле поставлен был простой деревянный крест с надписью: «Здесь погребено тело убитого воина Николая».

Всякий день нежная мать и любящая жена приходили молиться на дорогую им могилу.

Вернувшийся в Москву старый князь Гарин, узнав о смерти Николая Цыганова, на его могиле поставил богатый памятник и дал в церковь щедрый вклад на помин души «воина Николая».

ГЛАВА VIII

Отступая от Москвы, Наполеон задался мыслью проникнуть на юг России, но это ему не удалось. Наше войско двинулось к Боровску; генералы Дохтуров и Дорохов⁸⁸ с десятью тысячами солдат спешили к Малоярославцу; к ним примкнул генерал Платов со своими казаками. Но Малоярославец был уже занят французами. Между нашим войском и французским завязалась ожесточённая битва, роковая для неприятеля: некогда победоносная армия потерпела сильное поражение и, к своему стыду, принуждена была отступить на Смоленскую дорогу; наши заняли Малоярославец, и главнокомандующий отдал приказ, чтобы войска «полным параллельным маршем преследовали французов».

Наполеон с остатками своей армии с позором бежал из наших пределов.

Нашим солдатам много помогали партизаны и крестьяне: мужики, вооружённые кто чем попало, с гиканьем и криком выскакивали из леса и кидались на французов. Острый штык и казацкая пика сильно вредили неприятелю; наши храбрецы солдаты помнили пословицу: «пуля дура, штык молодец» – и усердно угощали французов штыком.

Отступали французы по разорённой дороге: негде было достать ни провианта, ни фуража; неприятель терпел сильный голод, к этому ещё присоединился сильный мороз, и несчастные французы погибали тысячами. Ропот на Наполеона становился всё сильнее, его солдаты питались всякой гадостью и падалью. К голоду присоединился ещё мороз и снеговые выюги; бушевал резкий холодный ветер; на бивуаках французы стояли по колено в снегу; дисциплина и порядок исчезли: голодные, полузамёрзшие солдаты бросали свои ружья, полки мешались; солдаты не хотели слушать начальников, подчиняться; всякий думал лично о себе. Обессиленные от голода и холода французы не шли, а ползли по дороге, едва двигая своими окоченелыми членами... Картина ужасная!.. Непредвиденная, победоносная армия, побывавшая с своим победным мечом почти во всех странах света, – теперь эта армия гибла благодаря ошибке гениального полководца.

Под городом Красным наша армия настигла Наполеона; сражались три дня, и, несмотря на сильное сопротивление, французы были побеждены; они понесли ужасную потерю убитыми и ранеными, и всё, что награбили в Москве, перешло опять в руки русских. Мучимые голодом и холодом французы сами приходили в наш стан и со слезами просили, чтобы их взяли в плен.

– Во имя Христа, дайте кусок хлеба, дайте какую-нибудь одежду, мы страдаем. Вы, русские, справедливы – окажите помощь нам, своим врагам... И мы будем вас благословлять, – говорили французские солдаты.

Наши охотно принимали и кормили несчастных.

При реке Березине Наполеон опять потерпел неудачу и чуть сам не попал в плен.

Он составил план для скорейшей переправы через эту реку; пробиться силою через русскую армию он не мог, нужно было употребить хитрость: Наполеон хотел обмануть русское войско – оставить его в заблуждении о месте своей переправы. Он немедленно распорядился послать маршала Удино, приказав ему стараться всеми силами остановить войско адмирала Чичагова,⁸⁹ завладеть Борисовским мостом, а если этот мост уничтожен, то отыскать место для постройки нового моста. Удино быстро напал на авангард Платова, находившийся по эту сторону Березины, у Борисова; французское войско превосходило в несколько раз свою численностью русский авангард; русские были смяты и принуждены с левого берега

⁸⁸ Дорохов Иван Семёнович (1762–1815) – генерал-лейтенант, командир 1-й кавалерийской дивизии, партизан. Тяжело ранен в сражении при Малоярославце.

⁸⁹ Чичагов Павел Васильевич (1767–1849) – адмирал, в 1807–1809 гг. министр морских сил, в 1812 г. командующий Дунайской (Молдавской) армией.

перебраться на правый, где они соединились с корпусом Чичагова. Маршал Удино, не теряя времени, открыл брод у стоянки, велел строить там мост и в то же самое время приказал делать приготовления к ложной постройке моста ниже Борисова, чтобы обратить на это внимание русских; введённый этим в заблуждение, Чичагов стянул всё своё войско к этому месту, то есть на нижнюю Березину, и стал там ожидать переправы Наполеона и его войска. Русские надеялись, что при этой переправе войско неприятеля будет разбито и сам Наполеон попадёт в плен. Наполеон с радостью узнал, что Чичагов не соединился с армией Витгенштейна; он поспешил ночью прибыть со своею гвардией в Борисов, за ним тихо следовали все войска, назначенные к переправе через Березину. На рассвете четырнадцатого ноября Наполеон подъехал к деревне Студянке, где французы поспешно наводили два моста. Присутствие Наполеона ободряло строивших мосты – работа кипела; к большой радости Наполеона, на противоположном берегу не видно было русского войска. Для лучшего обеспечения своей переправы он приказал поставить у Студянки сорокапушечную батарею и открыть с этой батареи сильный огонь по подоспевшему туда славному русскому отряду под командою Корнилова. Разумеется, конная рота солдат не могла воспрепятствовать движению неприятельского войска. Наполеон сам руководил работами, и мосты не были ещё готовы, как он уже послал кавалерию генерала Корбина⁹⁰ вплавь через Березину. Около полудня мосты были готовы, и французские войска перебрались на другую сторону реки. Но хотя и утвердились они на правом берегу, всё-таки не могли совершенно отеснить отряд Корнилова, и, несмотря на это, переправа продолжалась почти всю ночь. Утром пятнадцатого ноября наконец на правый берег Березины перешёл и сам Наполеон со своею неизменной гвардией; на левом берегу остался с двумя дивизиями генерал Виктор. Около вечера к старому Борисову прибыл со своим корпусом генерал Витгенштейн; он с сожалением узнал, что помешать переправе Наполеона через Березину не может, и обратил свои действия на оставшиеся по эту сторону реки французские корпуса: окружив одну дивизию, заставил её сдаться.

Граф Платов с Сеславиным⁹¹ заняли город Борисов; адмирал Чичагов с той стороны приказал навести понтонный мост и поспешил соединиться с Витгенштейном, они условились на следующий день сделать нападение на французскую армию.

Ранним утром шестнадцатого ноября, едва показался рассвет, с обеих сторон началось жестокое сражение. На правом берегу реки отряды Платова и Ермолова открыли жестокий огонь против маркиза Нея, который защищал береговой путь, генерал Витгенштейн напал на корпус Виктора и теснил его к самому мосту; страшная канонада не умолкала ни на минуту. Наполеон лично сам наводил орудия против храбрых наших солдат. Сражение окончилось только ночью. Переправа неприятеля через Березину была ужасна: французские отряды, гонимые Витгенштейном, спешили переправляться по мосту; они бежали в невозможном замешательстве, смертоносные ядра, пускаемые с русских батарей, валили французов целыми сотнями, – смешанное, поражённое французское войско в это время не признавало никакой дисциплины: «сильные, не разбирая чинов, переступали через груды тел, пробивались сквозь слабых; иные прочищали себе путь штыками, многие были толкнуты в воду. Генералы Витгенштейн и Чичагов теснили французскую армию с боков, а с тылу пиками и штыками угощал их граф Платов. Ужасна была картина переправы французов через Березину: преследуемые со всех сторон русскими войсками, неприятельская артиллерия, обозы, конница и пехота смешались около моста и на самом мосту, иные в толкотне попадали под копыта лошадей или под колёса пушек и были раздавлены ими; иные бросались вплавь чрез реку; иные силились перебраться чрез нёсшиеся по ней льдины и, сжатые ими, тонули... Наконец бой закипел на обоих берегах, на мост посыпались ядра и свистящие пули, загрохотал адский гром

⁹⁰ Корбин (точнее, Корбино), Жан-Батист-Ювеналь (1776–1848) – граф, позже пэр Франции, генерал от кавалерии. Участник всех походов Наполеона и всех главных сражений. В одном из них, под Бриенном, он спас своего императора, когда тот едва не был захвачен казаками.

⁹¹ Сеславин Александр Никитич (1780–1858) – генерал-лейтенант. В 1812 г. капитан гвардейской артиллерии, партизан, за победу под Ляховом в октябре того же года произведён в полковники.

пушек; громко и раскатисто раздался он и в прибрежном лесу, наполненном неприятелями; высокие сосны, раздробленные ядрами, падали с треском и обломками своими убивали многих. С самого утра второго дня переправы поднялась метель с гудящим северным ветром, сильная вьюга залепляла сражавшимся глаза инеем и снегом, сделалось сумрачно, только блеск выстрелов освещал окрестность, каждое ядро поражало людей, лошадей или опрокидывало повозку. К довершению ужаса и безвыходного положения неприятелей вдруг один мост, раздробленный ядрами и отягощаемый войсками и артиллерией, обрушился с шумом. В одно мгновение всё, что на нём двигалось и толпилось, было поглощено волнами сердито ропщущей реки. Все оставшиеся на левом берегу спешно, сплошной толпой, бросились на другой мост, но и там уже зарядные ящики, взорванные гранатами, с треском летели по воздуху; артиллерийские лошади с опрокинутыми передками и вьючные, вырвавшиеся из рук вожатых своих, пронзительно ржали, бегая по мосту взад и вперёд. Уцелевшие из отряда Виктора, делая ряд траншей из мёртвых тел, горами наваленных на мосту, только к утру перешли на другой берег. Французские военачальники, надрывая грудь, осиплым голосом кричали, понуждали своих солдат скорее перебраться чрез мост, но изнурение и ужас неприятелей были так велики, что они насилу могли двигаться.

Перед другим мостом, по эту сторону реки, после несчастной переправы чрез неё французской армии, осталось ещё множество усталых, безоружных, раненых и нестроевых неприятелей. Одному французскому офицеру приказано было, пропустив через мост беглецов, тотчас зажечь его, чтоб остановить преследование русских; но он не спешил исполнить этого поручения, давая возможность перебежать чрез него отсталым; когда же вслед за неприятельскою армией показалась наша мчащаяся кавалерия и на возвышенном берегу блеснули русские штыки, тогда офицер должен был скорее исполнить приказание своего начальства – и вот явилась новая, потрясающая картина: мост запылал, на нём загорелись повозки, люди и лошади, раздался вопль отчаянных голосов... Многие с пронзительными криками, объятые смертельным ужасом, как и с первого моста, стали бросаться в реку – и скоро Березина запрудилась трупами; из воды торчали морды утонувших лошадей, ноги и головы людей с обмёрзлыми волосами; это было ледяное кладбище... Долго после того запрещено было брать и пить воду из этой реки».⁹²

Разбитый наголову маршал Виктор, не имея сил защищаться, очистил деревню Студянки, а прикрывать мост на Березине оставил немного солдат; этим маршал обрёк их на верную смерть – все эти несчастные солдаты, похожие скорее на мертвецов, чем на живых людей, посинелые, окоченевшие от холода, почти без признака одежды, голодные, с помутившимися, воспалёнными глазами, вместо того, чтобы бежать без оглядки, стали из разных обломков строить себе лачуги и разводить огонь, чтобы хоть несколько согреть своё окоченелое тело, – и русская артиллерия беспрестанно громила этих жалких солдат; они не бежали от смерти – жизнь их была так несчастна: холод, голод и жажда казались им ужаснее смерти. Многие, обессиленные, голодные, падали в сугробы снега, засыпали, чтобы никогда не просыпаться.

«Неужели меня оставляет счастье, о нет, и тысячу раз нет! Я верю ещё в свою счастливую звезду... Свою ошибку я поправлю, дам отдохнуть моим солдатам и ударю снова на Россию – и горе, горе тогда императору Александру и его народу...» Так думал император Наполеон, от реки Березины с жалкими остатками своей армии направляясь к Вильне. Когда он входил в пределы России, он имел 600 тысяч разнородных солдат, теперь же было менее 40 тысяч; и этих несчастных солдат Наполеон оставил на произвол судьбы, а сам через Варшаву поспешил в Париж.

В Вильне французы надеялись отдохнуть и расположились там на квартирах, но к городу стали подходить русские солдаты. Произошло страшное смятение, французы бросились бежать куда глаза глядят. Наше войско их настигло, остатки «великой армии» были разбиты наголову, и немногие уцелевшие французы с проклятием Наполеону вернулись на свою родину.

Французы совершенно были изгнаны из пределов земли Русской. Слова императора Александра оправдались: наше оружие не было положено до тех пор, пока ни одного

⁹² Любецкий С.М. Рассказы из отечественной войны 1812 г. М., А. Л. Васильев, 1880.

неприятеля не осталось в России, только одни пленные ещё гостили у нас. Россия вздохнула полною грудью. Неприятель, готовивший ей погибель, погиб сам.

Двадцать пятого декабря 1812 года, в самый день великого праздника Рождества Христова, император Александр издал два манифеста. Один из них был следующего содержания:

«Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами, совершённое в шесть месяцев всех их истребление, так что при самом стремительном бегстве едва сама малейшая только часть оных могла уйти за пределы наши, явно излившая на Россию благодать Божия – есть поистине достопамятное происшествие, которое не изгладят века от бытописаний. В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и отечеству, какими в эти трудные времена превознёс себя народ российский, и в ознаменование благодарности нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа; подробное о сём постановление возведено будет в своё время. Да благословит Всевышний начинание наше! Да совершится оно! Да простоит сей храм многие века, и да курится в нём пред святым престолом кадило благодарности поздних родов вместе с любовию и подражанием к делам их предков».

Того же числа государь обратился к своей армии с приказом, в котором призывал солдат в поход за границу «не для завоеваний или внесения войны в землю соседей наших, но для достижения спокойствия и прочной тишины», далее государь предостерегал солдат, чтобы они «во время переходов и пребывания мирных землях вели себя по-христиански и не следовали бы французам, расхитившим дома невинных поселян». Приказ заканчивался такими словами: «Воины! Сего требуют от вас ваша Православная Вера, ваше Отечество и Царь ваш!»

Первого января 1813 года наша славная армия, во главе с императором Александром, с музыкой и с распущенными знамёнами перешла через границу России.

ГЛАВА IX

Михеев благополучно довёз своего раненого княжича до Каменок; самого князя Владимира Ивановича в усадьбе не было: он командовал отрядом ополченцев, которых содержал на свой счёт. Княгиня Лидия Михайловна жила в усадьбе с дочерью губернатора Ириною Дмитриевною. Она так привязалась к молодой девушке, что просто не расставалась с ней. Обе они с радостью и вместе с тем со скорбью встретили князя Гарина: они радовались его возвращению и скорбели о его тяжкой болезни. Сергей был ещё очень слаб и требовал тщательного ухода; продолжительность путешествия от Москвы до Каменок дурно подействовала на раненого, так что он большею частью находился в забытьи и плохо узнавал окружающих. Княгиня немедленно выписала из Костромы доктора, который в продолжение нескольких дней безотлучно находился при больном.

– Что, доктор, как вы находите моего сына? – дрожащим голосом спросила княгиня.

– Не хочу скрывать от вас, княгиня: болезнь слишком серьёзна, даже опасна; но при тщательном уходе можно надеяться на благоприятный исход. Только предупреждаю, ваше сиятельство, – князю необходим безусловный покой, малейшее волнение может слишком дурно отразиться на нём, – предупреждал доктор.

– Если князь умрёт, мама, я не переживу, – со слезами говорила молодая девушка Лидии Михайловне; она звала её мамой по желанию самой княгини. Красавица Ирина всё ещё продолжала любить князя Сергея, несмотря на почти пятилетнюю с ним разлуку.

Во время пребывания молодого князя за границей за Ирину сватались многие богатые и родовитые женихи... Но молодая девушка не хотела никому принадлежать, кроме князя, да и княгиня советовала ей не торопиться с замужеством и подождать возвращения из-за границы Сергея... Когда началась Отечественная война, молодая девушка переселилась из города в Каменки и всё время жила неразлучно с княгиней, которая любила её, как родную дочь...

Рыдания душили Ирину при взгляде на некогда цветущего здоровьем и молодостью князя;

теперь его трудно было узнать – болезнь его сильно изменила: Сергей был так худ, что напоминал собою скелет, обтянутый кожей, а бледность лица и посинелые губы делали его похожим на мертвеца.

– Не отчаивайся, Ирина, – доктор уверял меня, что есть надежда на выздоровление.

– Я стану молиться, мама... Бог услышит мою молитву. Он исцелит князя.

– Да, да, молись, дитя моё! Бог воскрешает мёртвых!

– Доктор говорит, что за князем необходим хороший уход. Я все дни и ночи буду просиживать у его постели... Надеюсь, мама, вы позволите?

– Милая, дорогая моя девочка! Как велика твоя любовь к моему сыну, – с чувством проговорила Лидия Михайловна, крепко обнимая и целуя молодую девушку.

– Ах, мама, я так люблю князя, так люблю!

– Вижу, милая, вижу. Только бы выздоровел Сергей, он поймёт и оценит твою любовь.

Молодость, тщательный уход и опытность врача помогли князю Сергею: он стал поправляться, хотя и медленно.

Было ненастное сентябрьское утро, моросил мелкий и частый дождик.

Князь Сергей спал; сон его был теперь хороший, не тревожный, дыхание ровное, на бледных ввалившихся щеках играл лёгкий румянец. Шло к полному его выздоровлению.

Ирина заметила это и была счастлива и довольна. Она сидела около князя, ожидая его пробуждения.

Сергей проснулся, открыл глаза и посмотрел на молодую девушку. В его взгляде Ирина прочла беспредельную к себе благодарность и ещё что-то другое, что заставило её покраснеть и опустить свою хорошенькую головку.

– Ирина Дмитриевна, вы давно сидите здесь, около меня? – тихо спросил больной.

– Да, князь, часа два будет. Я давно встала, – так же тихо ответила Ирина.

– А который час?

– Семь.

– Так рано, когда же вы спите?

– Оставьте, князь, говорить обо мне. Скажите, как вы себя чувствуете?

– Теперь мне хорошо, совсем хорошо.

Слава Богу! – молодая девушка перекрестилась.

– Ирина Дмитриевна, как мне вас благодарить?

– За что, князь?

– За те бессонные ночи, которые вы проводили здесь, ухаживая за мной, – с волнением проговорил Сергей, крепко пожимая руку Ирины.

– Не волнуйтесь, князь, вам вредно.

– Чем мне отплатить вам, Ирина Дмитриевна, за вашу доброту?

– Полноте, князь.

– Вы чудная, святая девушка! Я с вами никогда, никогда не расстанусь. – Князь покрывал горячими поцелуями руки молодой девушки. – Ведь вы любите меня, любите? – вырвалось вдруг у него.

– Князь... – Ирина заплакала от счастья.

– Вижу, любите, к чему слёзы. Поцелуйте меня, Ирина, как своего жениха, я люблю вас...

Молодая девушка с сияющим от счастья лицом поцеловала князя в лоб и выбежала из комнаты.

– Мама, мамочка, он любит меня, любит; сейчас сам сказал об этом, – быстро входя в уборную княгини, промолвила Ирина. – Мама, вот счастье-то, дождалась, наконец... – и молодая девушка стала обнимать и целовать Лидию Михайловну.

ГЛАВА X

За широкою рекой Неманом появилась русская армия. Засверкали штыки, заколыхались знамёна. Император Александр ведёт своих солдат, желая наказать тщеславного Наполеона за погром земли русской и желая освободить Европу от деспота и водворить мир и спокойствие.

Каждый шаг императора Александра и его солдат ознаменовывался славными победами;

многие города сдавались великодушному монарху без боя.

– Да здравствует Александр! да здравствуют русские! – кричали радостно народы Запада, полные благодарности к северному самодержцу, избавившему их от тяжёлого ига завоевателя.

Весь 1813 год ознаменован был блестящими победами русского войска. От Наполеона после его неудачного похода в Россию отложились почти все германские союзники, и первую показала пример Пруссия: генерал Йорк,⁹³ главный начальник вспомогательного прусского корпуса, едва только французы были выгнаны из пределов России, поспешил заключить конвенцию с русскими генералами, по которой он, генерал Йорк, со своим корпусом должен был оставаться нейтральным. Первое время прусский король Фридрих-Вильгельм поступком своего генерала остался недоволен, но потом, сознавая бессилие Наполеона и могущество императора Александра, стал искать расположения русского государя и вскоре вступил с ним в тесный союз. Прусский король издал воззвание к своему народу о добровольном вооружении. Это воззвание произвело сильное воодушевление между пруссаками – они почти поголовно взяли за оружие, чтобы отомстить за унижение своего отечества, которое нанёс им французский император. Со всех сторон приносились пожертвования на военные издержки; молодёжь с патриотическим жаром вступала в ряды армии и составляла отряды волонтёров.

Во главе прусской армии находились храбрые генералы: Блюхер,⁹⁴ Бюлов,⁹⁵ Гейсенау⁹⁶ и другие. Двадцатого февраля русские передовые отряды графа Витгенштейна,⁹⁷ под командою генералов Чернышёва и Бенкендорфа,⁹⁸ вступили в Берлин, а на другой день прибыл туда же и князь Репнин со своим отрядом. Жители Берлина с большим восторгом встретили наше войско.

– Да здравствует император Александр, да здравствует русское войско! – с радостью кричал народ.

Вступило наше войско в Берлин ранним утром, когда было совершенно ещё темно, и по улицам прусской столицы, блестяще иллюминированным, с распущенными знамёнами и с музыкой проходили наши солдаты. «Никогда ещё Берлин не был так великолепно освещён, как двадцатого февраля 1813 года; на улицах было светло, как в полдень», – так рассказывают очевидцы. Французское войско, угнетавшее Берлин, было выгнано из этой столицы и разбито.

Император Александр прибыл в город Бреслау и здесь имел свидание с прусским королём Фридрихом-Вильгельмом. Затем последовал высочайший приказ по армии, в котором говорилось о дружественном и неразрывном союзе с Пруссией.

Силы союзной армии были разделены на три части: главная, или богемская, армия сосредоточилась в Богемии под начальством австрийского фельдмаршала князя Шварценберга.⁹⁹ Австрия, Пруссия и другие германские королевства присоединились к

⁹³ Йорк, фон Вартенбург, Ганс Давид Людвиг (1756–1828) – прусский генерал-фельдмаршал, в 1812 г. командующий прусскими войсками в составе французского корпуса Макдональда.

⁹⁴ Блюхер, Гебхард Леберехт – (1742–1819) – князь Вальштатт, прусский генерал-фельдмаршал. Военный теоретик, прозванный «маршал Вперёд». В 1813 г. командующий русско – прусской Силезской армией, в 1815 г. командующий прусской армией при Ватерлоо.

⁹⁵ Бюлов, Фридрих Вильгельм (1755–1816) – прусский генерал от инфантерии. За победы над французами под Мекерном и Денневицем награждён графским титулом. При Ватерлоо командовал авангардом корпуса Блюхера.

⁹⁶ Гейсенау (Гнейзенау), Август (1760–1831) – прусский генерал-фельдмаршал, военный теоретик. В 1813 г. генерал-квартирмейстер и начальник штаба Силезской армии.

⁹⁷ Витгенштейн Пётр Христианович (1768–1842) – граф, впоследствии князь, фельдмаршал. В 1812 г. генерал-лейтенант, действовал с корпусом на петербургском направлении. После смерти Кутузова некоторое время был главнокомандующим союзной армией.

⁹⁸ Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844) – барон, полковник, позже генерал от кавалерии, шеф жандармов и начальник 3-го отделения, граф.

⁹⁹ Шварценберг, Карл Филипп (1771–1820) – князь, командующий 12-м (австрийским) корпусом армии

русской армии; в Силезии соединённые русско-прусские войска составляли собою вторую армию – силезскую; у этой армии главнокомандующим был генерал Блюхер; в Бранденбурге была северная армия, состоящая из русских, пруссаков и шведов. Эти три союзные армии со всех сторон стали теснить Наполеона, который со своим войском укрепился в Дрездене. Наполеон отразил нападение богемской армии, но в то же время его маршалы были разбиты: Удино и Ней при Грос-Берене и Деневице, а французский генерал Вандам с целым своим корпусом взят в плен русскими и прусскими войсками при Кульме в Богемии; маршал Даву разбит был графом Витгенштейном. Наполеон принуждён был оставить Дрезден и сосредоточил все свои силы около Лейпцига; русское войско под командою барона Корфа¹⁰⁰ церемониальным маршем вошло в город Дрезден и было встречено чинами городского магистрата и жителями. Пройдя через город, наши солдаты расположились в городских предместьях, главная же квартира корпусного начальника находилась в самом городе. Городские жители, напуганные нелепыми рассказами о русских солдатах, первое время прятались от них, но видя, что русское войско ведёт себя с завоёванными народами гуманно и в нужде помогает даже врагам, они подружились с нашими солдатами.

Около Лейпцига произошла ужасная и беспримерная по своим размерам четырёхдневная битва, известная в истории под названием «битвы народов». Союзного войска было 300 тысяч; у Наполеона – около 200 тысяч. Сражение происходило четвёртого, пятого, шестого и седьмого октября в разных местах. Союзные войска – русские, прусские и австрийские – атаковали неприятеля на всех позициях, канонада была ужасная: кажется, сама земля стонала от пушечных выстрелов с батарей. Сильный ружейный огонь, сабельные удары, удары штыков и пик, страшный крик, шум, грохот составляли собою настоящее подобие ада. Наполеон напрягал всю силу своего военного гения, весь свой военный ум – но увы, у него не было прежних старых солдат, привыкших к победам: его старое, преданное ему войско погребено было в снегах России, теперешняя же его армия состояла из новобранцев, не привыкших к войне; и ещё притом несколько немецких полков, находившихся во французской армии, покинули французов и перешли на сторону союзного войска. К концу третьего дня победа стала клониться на сторону союзной армии. Наполеон, оберегая свою армию, принуждён был отступить и двинулся в пределы Франции. Австрийцы и баварцы пытались было загородить ему дорогу, но потерпели поражение. Урон неприятеля был велик, место сражения было завалено трупами, немало также было убито и солдат союзной армии. Сражение при Лейпциге было беспримерное. Никогда с начала мира не было столько войск, собранных в одном месте: сражались 500 тысяч человек, 2 тысячи пушек каждую секунду выбрасывали смертоносные ядра. Почти все европейские нации сражались в этой битве. В продолжение четырёх дней сражение не прерывалось ни на минуту; только темнота ночи прекращала кровопролитие. Победа осталась за союзной армией и доставила ей бессмертную славу: одних французских генералов взято было более 30 человек, несколько сот штаб – и обер-офицеров и 30 тысяч солдат; 300 пушек и 200 тысяч ружей, множество знамён, пороховых ящиков и разного багажа и провианту были трофеями победителей.

По окончании сражения император Александр, окружённый союзными государями, генералами и блестящей свитой, торжественно въехал в город Лейпциг; народ радостными криками приветствовал венценосного победителя и его союзников и устилал путь их цветами.

О таком радостном событии государь седьмого декабря 1813 года известил свою державную мать Марию Фёдоровну таким письмом:

«Промыслом Всевышнего Творца одержаны всеми союзными армиями блистательнейшие победы над всеобщим врагом Европы 4, 5, 6 и 7 числа сего октября пред стенами Лейпцига, где при поражении неприятеля отбито более 300 орудий, в

Наполеона. Позже командовал корпусом на стороне союзников.

¹⁰⁰ Корф Фёдор Карлович (1774–1823) – барон, генерал-лейтенант русской армии. В 1812 г. командовал 2-м кавалерийским корпусом.

плен взято с лишком 30 тысяч рядовых, множество корпусных, дивизионных и бригадных генералов, в числе коих находится Лористон, тот самый, который был послом в С.-Петербурге; а при том множество также всех званий штаб – и обер-офицеров и прочих всякого рода, которых продолжают беспрестанно приводить из передовых корпусов; маршал же, князь Понятовский,¹⁰¹ будучи ранен, потонул с лошадью под самым Лейпцигом в реке Плейс, желая спастись вплавь.

Подобно также много погибло в сей реке и прочих чинов всякого звания. Генерал же Латур-Мобюр¹⁰² умер от ран, и сам король саксонский взят военнопленным; причём целые полки вюртембергские, саксонские, вестфальские, баденские и прочие во время сражений перешли к союзным армиям со всем оружием и артиллериею и обращали оное тот же час противу французов. Храбрость союзных войск нельзя описать: от генерала до последнего солдата все покрыли себя в сии достопамятные четыре дня сражений бессмертною славою. Единая десница Всевышнего всем управляла, всё устроила. Кто Бог великий, яко Бог наш! Ты еси Бог, творяй чудеса!»

Это известие произвело между русскими всеобщую радость.

ГЛАВА XI

Двадцать шестого декабря 1813 года часть союзной армии, в количестве ста восьмидесяти тысяч, переправилась под Базелем и в других разных местностях через Рейн и вступила во французские владения, и выстрелы русских орудий загрели на левом берегу Рейна, предвещая Наполеону скорый расчёт за вторжение в Россию.

Наполеон в это время был в Париже; он приехал из своей действующей армии в столицу для набора солдат. Император французов был в мрачном настроении и только что вышел из своего роскошного кабинета, собираясь ехать на заседание «законодательного собрания», как его почтительно остановил один из его свитских генералов.

– Что вам нужно? – сурово спросил у него Наполеон.

– Дурное известие, ваше величество: русское союзное войско перешло на левый берег Рейна и вступило в пределы Франции.

– Не может быть! – меняясь в лице, громко проговорил Наполеон.

– К сожалению, это так, государь, – печальным голосом подтвердил генерал.

– Если бы мне дали только два месяца, то неприятели не перешли бы через Рейн! – уже твёрдо заговорил Наполеон, обращаясь к своей блестящей свите. – Это может иметь вредные последствия, но я один ничего не в состоянии сделать, я погибну, если мне не помогут: тогда увидят, что не против одного меня воюют.

– Ваше величество! Опасность ещё не так велика, – утешая своего императора, проговорил один из генералов.

– Нет, генерал, опасность большая. Но можно эту опасность уничтожить, если мой народ мне поможет. Мне нужно войско и деньги – и тогда я покажу императору Александру и его союзникам, что я не разучился ещё воевать и побеждать.

– И войско, и деньги у вас будут, государь.

– О, тогда плохо придётся союзникам, и они раскаются в том, что перешли наши границы. Я заставлю их с позором уйти из нашей страны! – сердито крикнул Наполеон, топнув ногою.

Своими хвастливыми словами он тешил себя и своих приближённых; дела Наполеона и всей Франции были в самом критическом положении. Страна бедствовала, проклинала войну и

¹⁰¹ Понятовский Иосиф (1763–1813) – князь, племянник польского короля Станислава-Августа, главнокомандующий польской армией во время восстания 1792 г., позже военный министр герцогства Варшавского. В 1812–1813 гг. командовал польским корпусом в составе армии Наполеона. После Лейпцигского сражения, едва получив от Наполеона маршальский жезл, утонул в реке во время отступления французов.

¹⁰² Латур-Мобюр (Латур-Мобург), Мари-Виктор-Николай (1767–1850) – маркиз, французский генерал, командующий кавалерийским корпусом. В битве под Лейпцигом потерял ногу, но остался жив.

её зачинщика.

Префекты, которым вверено было управление департаментами, почти все покинули свои города и увозили с собою казённые деньги.

Услыхав, что наши войска перешли Рейн, они обещали жителям остаться с ними и защищаться до последней крайности; но едва наши лёгкие войска приближались к городам, как чиновники спешили уехать внутрь Франции, подальше от театра войны, оставляя на произвол судьбы и жителей, и города. Покинутые жители принуждены были отворять ворота и с почётом встречать союзные войска. Небезынтересно будет познакомиться с предписанием Наполеона своим префектам о том, как им следует поступать во время нашествия союзных войск: «Предписывается вам при появлении неприятелей оставлять им одну землю, без жителей, подобно тому, как это делалось во многих государствах. Если невозможно будет вывести всех обывателей, то не упустите никакого средства и внушения, чтобы по крайней мере достаточные семейства оставляли дома свои, когда неприятели приблизятся; ибо те из верноподданных, которые согласятся жить под их, хотя временным, владычеством, изменят своей присяге. Чиновникам всех вообще ведомств прикажите увозить с собою дела. Надобно всячески скрывать от неприятелей бумаги, на которых они могли бы основать управление краем, а особенно взимание продовольствия. Что касается лично до вас, то вам запрещается уезжать из вашего департамента до тех пор, пока будет оставаться в нём хотя одна деревня, не занятая неприятелем. Вы последний должны выехать из вверенного вам императором департамента, и если бы всё его пространство было завоёвано, за исключением какой-либо крепости, то его величеству угодно, чтоб вы заперлись в эту крепость и при первой возможности вышли из неё для того, чтобы по-прежнему вступить в управление».

На это предписание никто не обратил внимания, всякий думал о сохранении своей жизни и своего имущества.

Тридцать сенаторов разосланы были Наполеоном в области Франции для возбуждения к всеобщему восстанию против союзного войска. Но народ равнодушно внимал голосу своего государя – измученный народ желал одного мира. Почти четверть часть Франции была покорена союзниками без кровопролития – города и народ сдавались без выстрела.

Продолжать ли начатую войну с Францией или довольствоваться приобретёнными успехами и заключить с Наполеоном мир, которого он давно искал? Император Александр утверждал, что необходимо продолжать войну и что ещё не пришло время говорить о мире; и, согласно с мнением русского императора, положено было продолжать наступление и вместе с тем вступить в переговоры с Наполеоном о мире. Назначен был конгресс в городе Шатильоне на Сене;¹⁰³ этот конгресс состоял из уполномоченных. От России был уполномоченным граф Разумовский, от Австрии – граф Стадион,¹⁰⁴ от Пруссии – барон Гумбольд,¹⁰⁵ от Англии – лорд Кашкарт,¹⁰⁶ от Франции – герцог Коленкур.¹⁰⁷

¹⁰³ Конгресс союзных держав в Шатильоне-на-Сене состоялся с 5 февраля по 19 марта 1814 г. Помимо перечисленных Д. С. Дмитриевым лиц, немаловажную роль в нём играли и другие, в частности, министр иностранных дел Англии У. Кестльри.

¹⁰⁴ Стадион, Иоганн Филипп Карл Йозеф фон (1763–1824) – граф, австрийский дипломат, министр иностранных дел, уступил этот пост Меттерниху после неудачной войны 1809 г., на которой он настаивал. После 1814 г. – министр финансов.

¹⁰⁵ Гумбольдт, Фридрих Вильгельм фон (1767–1835) – барон, лингвист, прусский политический деятель. Старший брат знаменитого путешественника, друг Шиллера и Гёте. После войны недолгое время занимал посты министра просвещения и внутренних дел.

¹⁰⁶ Кашкарт (Каткарт), Вильям Шау (1755–1843) – английский лорд, генерал, в 1812 г. посол Англии в Петербурге, в 1813–1814 гг. находился при свите Александра I.

¹⁰⁷ Коленкур, Арман-Огюст-Луи (1772–1821) – герцог Винченцы, французский дипломат, до 1810 г. посол в Петербурге. Участник похода в Россию (его брат, генерал, погиб при Бородине), министр иностранных дел в 1813–1814 гг. и во время «Ста дней».

«Наставления уполномоченным заключались в том, чтобы они действовали от лица всей Европы, а не от имени четырёх держав, от коих были посланы и которые ручались, что прочие государства, не имевшие представителей на конгрессе, приступят к его мероположениям. Уполномоченным было предписано ограничиться только двумя предметами: во-первых, будущими границами Франции и, во-вторых, общим положением дел в Европе. Что касалось до первой статьи, то Наполеону предложили, чтобы он возвратил все завоевания, сделанные Францией с 1792 года; относительно второй от него требовали: 1) признать независимость Германии, Швейцарии, Италии и Голландии, которая, с некоторым распространением границ её, должна была принадлежать Орлеанскому дому; 2) возвращения Испании под скипетр Фердинанда VII; 3) сдачи в определённые сроки крепостей в землях, которые были завоёваны французами; 4) само собою разумелось, что вместе с различными предложенными Наполеону уступками, взамен которых Англия возвращала завоёванные ею французские колонии, надлежало ему отказаться от названий короля италийского и покровителя рейнского союза и Швейцарии».¹⁰⁸

Но конгресс ни к чему не привёл, и семнадцатого января присланный генералом Толем офицер донёс, что Наполеон открыл наступательные действия.

Наполеон медлил со своим отъездом из Парижа в свою армию, он выжидал прибытия войск из Италии, но, всякий день получая неутешительные известия, что союзное войско всё дальше и дальше подвигается внутрь Франции, ему пришлось ехать в армию, хотя приготовления к войне не были ещё окончены. Он назначил свою супругу правительницей государства, а брату Иосифу поручил военное начальство в Париже; уезжая из своей столицы, Наполеон, в первый раз по достижении им верховной власти, приказал во всех церквях служить молебны о ниспослании ему от Бога победы. Надменный, гордый своими победами, Наполеон забыл Бога. Но Господь в своём справедливом гневе напомнил ему о своём всемогуществе – счастье покинуло Наполеона. Он смирился, но было уже поздно...

Союзная армия приближалась к Парижу; на дороге пришлось вынести ещё несколько сражений. Особенно важна была Кроанская битва, где наше войско под предводительством графа Воронцова одержало блестящую победу. Это есть один из знаменитейших подвигов русского оружия. Сражаясь целый день против французской армии, своей численностью много превосходившей нашу и руководимой лично Наполеоном, граф Воронцов не уступил ему ни шагу земли до тех пор, пока не получил повеление отступать уже в третий раз; он не оставил в руках сильного врага ни одного пленного, ни одной пушки, ни даже зарядного ящика – и единственными трофеями французов в этой битве происходившей двадцать третьего февраля, остались трупы наших храбрых солдат. Граф Воронцов за свою беспримерную храбрость награждён был крестом св. Георгия 2-й степени. Наполеон, разбитый фельдмаршалом Блюхером двадцать пятого и двадцать шестого февраля при Лионе, оставил реку Эн и со своею главною силою подступил к городу Арси; немедленно приказал выстроить своё войско в боевой порядок и несколько раз отражал нападения союзных войск. Наполеон в этом сражении поступил геройски – вот что про него пишет один из очевидцев во французском манускрипте того времени:

«Он не избегал опасностей, но напротив того, казалось, искал их. Граната падает к его ногам; он ждёт взрыва и вскоре исчезает в облаке пыли и дыма. Мы думаем, что он погиб, но он встаёт, бросается на другую лошадь и снова становится против неприятельских батарей: смерть ещё не ждала сей жертвы».

Сражение было жаркое, день уже клонился к вечеру; города Арси и Торси были объаты пламенем, гром орудий потрясал воздух. Наш государь и король прусский следовали за резервами, за государями следовали лейб-казацкий полк и прусские гвардейцы; следом шло войско с музыкой и песнями, смешивавшимися с громом пушек и с жужжанием летавших ядер

¹⁰⁸ Михайловский-Данилевский А. И., Описание похода во Францию в 1814 году. СПб., 1836.

и пуль. Селение Торси несколько раз переходило из рук в руки. Ночью битва была прекращена, и император Александр отправился на ночлег в Пужи; в продолжение всего дня государь чувствовал лихорадочное состояние. Припадки лихорадки были так сильны, что во время самого сражения государь принуждён был сойти с лошади и на разостланном ковре ложился на землю от изнеможения и принимал лекарство.

В Пужи государь занял маленький домик и, позвав лейб-медика, обратился к нему с такими словами:

– Скажите, доктор, от моей лихорадки вы не видите никаких дурных последствий?

– Ровно никаких, государь.

– Прошу, доктор, говорите мне правду. Если есть опасность, вы должны предупредить меня. Вы знаете, что это необходимо... Не думайте, что я испугаюсь; я не боюсь смерти, но не хочу умереть, не отомстив Наполеону за его погром моей земли и моего народа. Я искренно люблю мой добрый народ и, пока жив, не перестану о нём заботиться.

– Поверьте мне, ваше величество, что ваша болезнь скоро пройдёт; только мой долг, государь, просить вас отдохнуть дня два – война слишком вас утомила. И два дня довольно для поправления вашего, дорогого для России, здоровья, – проговорил почтительно лейб-медик.

– Два дня пробыть без дела – это нельзя: моё присутствие необходимо в армии.

– Но болезнь вашего величества... – возражал доктор.

– Ведь вы говорите, что моя болезнь ничего не представляет опасного?

– Да, государь, но смею повторить: вашему величеству необходим отдых. Болезнь может осложниться.

– Довольно, любезный доктор. Возьмём Париж, заключим выгодный мир с французами, тогда я поеду отдыхать в мою дорогую Россию... Для счастья моего народа я готов всем пожертвовать...

Доктор откланялся и вышел из комнаты государя.

Сражение под Арси девятого марта кончилось в нашу пользу; тут Наполеон дал промах: найдя главную армию сосредоточенною, он не успел в своём намерении разбить её по частям и принуждён был отступить и выбрать новый путь.

Арсиская битва замечательна ещё тем, что здесь в последний раз встретились на поле сражения император Александр и Наполеон, и французскому императору пришлось уступить поле сражения русскому.

Наши герои солдаты во главе со своим августейшим вождём очутились около стен Парижа.

Эта всемирная столица красивым ландшафтом раскинулась перед глазами нашей армии.

– Париж, Париж! – было общим радостным криком всех солдат.

«Забыты были трудности похода, – пишет один из очевидцев, – раны, павшие друзья и братья, – вдали виднелся Париж».

«Воспоминание об этой незабвенной минуте столь сильно, что, помышляя о нём, невольно предаёшься восторгу, который нас тогда наполнял. Если мы, простые офицеры, были, так сказать, отуманены радостью, то что же должны были чувствовать два монарха, из которых над одним шесть лет тяготела железная рука кичливого завоевателя, а другой ещё недавно в уединении тенистых аллей Каменного острова скрывал снедавшую его грусть при известии о взятии Москвы».

После кровопролитного, но непродолжительного сражения под стенами Парижа, защита которого поручена была двум корпусам, руководимым маршалами Мармоном¹⁰⁹ и Мортье,¹¹⁰

¹⁰⁹ Мормон (Мармон), Огюст-Фредерик-Луи Вьес де (1774–1852) – герцог Рагузский, маршал Франции. Командовал французскими силами в Португалии, в 1813–1814 гг. руководил 6-м пехотным корпусом главной армии. Во время «Ста дней» был на стороне Бурбонов. Автор обширных мемуаров.

¹¹⁰ Мортье, Эдуард-Адольф (1768–1835) – герцог Тревизский, маршал Франции, командующий «молодой гвардией». Во время оккупации Москвы – её губернатор.

дано было сражение на высотах Монмартра. Французы принуждены были уступить превосходству союзной армии, и, чтобы спасти столицу от приступа, маршалы послали просить пощады у русского императора и отдали ему Париж на капитуляцию.

ГЛАВА XII

Составлена была капитуляция, по которой Париж сдавался союзному войску; она состояла в следующем: первое – маршалы обязывались на другой день, утром, в семь часов, со своими корпусами очистить Париж; второе – военные действия не могли начаться ранее двух часов по выступлении французов из города; третье – арсеналы и магазины будут сданы в том состоянии, в котором находились до капитуляции; четвёртое – национальная гвардия и жандармы отделяются от линейных войск и по усмотрению союзников будут распущены или по-прежнему оставлены для отправления гарнизонной и полицейской службы; пятое – раненые и остальные, которых найдут после десяти часов утра, признаются военнопленными; и, наконец, шестое – Париж поручается великодушию монархов.

В то самое время, когда составлялась капитуляция, Наполеон прибыл в местечко Жювизи, которое отстояло от Парижа всего в пятнадцати верстах. Он уже не смел показаться в свою столицу, да и зачем было ему ехать в Париж: французы его уже не почитали за своего императора. Но Наполеон на что-то ещё надеялся: он послал генерала Жирардена с поручением, чтобы он постарался воспламенить войско и народ к защите Парижа и словесно приказал взорвать пороховой магазин на Гревской площади. И если бы это варварское приказание было исполнено, то погибло бы множество несчастных жителей и многие бы здания были разрушены; начальник пороховых запасов, полковник Лескур, потребовал письменного подтверждения, но у генерала не было его, – и этим была спасена жизнь многих.

Было часов десять вечера семнадцатого марта; Наполеон вышел из почтового домика, который он занял на несколько времени в местечке Жювизи. Вдруг ему послышался отдалённый шум приближавшегося войска. Это были французские передовые отряды, вышедшие из Парижа.

– Это наше войско? – всматриваясь в приближавшихся солдат, спросил Наполеон у своего адъютанта, полковника Визе.

– Так точно, государь.

– Но куда они идут? Подите узнайте.

Адъютант вскочил на лошадь и поскакал навстречу шедшим солдатам. Спустя немного он явился к Наполеону с ответом.

– Ну, что, узнали? – нетерпеливо спросил у него Наполеон.

– Узнал, ваше величество: наше войско идёт из Парижа.

– Как! Что вы врётесь?!

– К несчастью, это правда, государь, – печально ответил полковник Визе. – Париж сдаётся на капитуляцию, – глухим, слезливым голосом добавил он.

– Париж... Париж сдаётся! – громовым голосом крикнул Наполеон. – Вам неправду сказали, французы этого не сделают! Я ворочу солдат и вместе с ними со стыдом прогоню завоевателей, или мы умрём у стен Парижа. Подать мне лошадь!

– Не делайте этого, государь, – умоляющим голосом проговорил Бизе.

– Как?! Почему? – резко спросил Наполеон.

– Вам, государь, возбранён въезд в Париж, – чуть слышно ответил полковник.

– А, вот что, – меняясь весь в лице и от волнения дрожа всем телом, промолвил Наполеон. – Мне воспрещён въезд, стало быть, я больше не император. Развязка очень скорая, я не предвидел этого.

Наполеона окружила его свита и несколько преданных ему генералов; все старались успокоить своего некогда великого императора, а теперь побеждённого русскими войсками и даже отвергнутого своим народом.

– Император Александр жестоко отомстил мне за Москву. О, я тысячу раз проклиная себя за несчастный поход в Россию, но что делать, надо покориться обстоятельствам.

Наполеон отдал приказание остановиться своим войскам в Эссене и немедленно послал

герцога Коленкура к нашему государю с полномочием согласиться на все предложения и на все условия, которые поставит император Александр, а сам с небольшою свитою поехал в Фонтенбло.

Император Александр не вошёл ни в какие переговоры с Наполеоном. Наш государь уже не признавал его императором французов. Ещё в роковую годину войны 1812 года император Александр сказал:

– Я или Наполеон, он или я, но вместе мы царствовать не можем.

Тогда Наполеон был ещё гордым завоевателем. Его имя, как военного гения, гремело во всём мире. Теперь же произошла перемена – Александр стал победителем, а Наполеон был побеждён. Мог ли наш государь допустить, чтобы Наполеон, некогда громивший Россию, оставался на престоле Франции?

И русский император произнёс окончательный приговор над императором французским. Французский сенат, руководствуясь прокламацией русского императора, изданной в день занятия Парижа союзными войсками, сделал постановление, которым сенат лишил Наполеона престола, и все правительственные места спешили признать это постановление. И когда французские сенаторы представлялись государю, он проговорил им следующие слова, записанные в журнале и обнародованные для всеобщего сведения:

– Человек, – говорил император Александр, – называвшийся моим союзником, напал на моё государство несправедливым образом, а посему я веду войну с ним, а не с Францией. Я друг французов. Настоящий ваш поступок, коим вы лишили престола Наполеона и его семейство, ещё более связует меня с вами. Благоразумие требует, чтобы во Франции учреждено было правительство на основаниях, твёрдых и согласных с настоящим просвещением сего государства. Союзники мои и я будем покровительствовать свободе ваших заседаний. В доказательство прочной связи, которую я намерен заключить с вами, возвращаю всех французских пленных, находящихся в России; временное правительство уже просило меня об них, но я уступаю их сенату, в уважение сделанного им сегодня определения.

Эти исторические слова нашего государя были напечатаны в нескольких тысячах экземпляров и расклеены по улицам на стенах домов и на заборах, с припечатанными от французского сената следующими словами:

«Воздадим вечную благодарность за великодушнейший поступок, о котором летописи мира когда-либо упоминали. Император Всероссийский утешает двести тысяч семейств, даруя свободу несчастным французам, коих жребий войны предоставил во власть Его, и Его Величество ускоряет ту счастливую минуту, в которую мы увидим братьев, друзей и сыновей наших».

Между тем Наполеон расположил свою пятидесятитысячную армию у Фонтенбло; авангардом начальствовал маршал Мармон, он занял Эссен. Союзная армия, за исключением гвардии, которая занимала караулы в Париже, выступила на позиции у Жювизи и простояла в боевом порядке около двух недель, ожидая нападения со стороны Наполеона. Сколько ни придумывал Наполеон разных планов, сколько ни работал он своею умною головою, но всё-таки судьба заставила его преклониться перед русским монархом, утраченного могущества было уже ему не вернуть.

Определение сената о низложении Наполеона дошло и до его армии: маршал Мармон со своим корпусом оставил своего императора и перешёл с покорной головой к союзной армии. И прочие генералы и маршалы Наполеона, один за другим, стали оставлять его. Не видя никакой возможности к дальнейшему сопротивлению, Наполеон послал в Париж с предложением, что он отказывается от престола в пользу своего сына. Ему и в этом отказали. От него требовали, чтобы он не только отказался от царствования, но и навсегда уехал бы из Франции. Наполеон принуждён был покориться своей участи, и двадцать девятого марта он подписал отречение и принял без всякой оговорки остров Эльбу и несколько миллионов дохода для себя и для своих родственников.

И бывший некогда могущественный император, повелевавший почти всем миром, теперь принял правление над маленьким бедным островом, находящимся на Средиземном море к югу

от Ливорно. Наполеону сопутствовал до его нового жилища граф Шувалов.¹¹¹ Во время пути Наполеона на остров Эльбу французский народ, озлобленный несчастьем своего отечества, которое причинил их бывший император, несколько раз покушался на его жизнь. Но граф Шувалов не допускал до него народную месть; дорогою Наполеону несколько раз приходилось надевать шинель русского генерала и его каску, чтобы его не могли узнать, – тем он только и мог сохранить свою жизнь.

ГЛАВА XIII

Было прекрасное мартовское утро. Солнце ярко блестело, играя на штыках и ружьях входивших в Париж солдат союзной армии. Армия шла церемониальным маршем, с музыкой и с распущенными знамёнами. Император Александр ехал на превосходной серой лошади, которую называли Марсом. Почти рядом с ним ехал король прусский, а за ними на некотором расстоянии шла гвардия. Прекрасное, выразительное лицо государя было необычайно весело, добрая, ласковая улыбка виднелась на его губах, рядом с государем ехал наследник цесаревич Константин Павлович, тут же ехал фельдмаршал Барклай де Толли с многочисленным генеральным штабом.

Громадные толпы народа наполняли все улицы, по которым ехали государи. Кажется, весь Париж поднялся на ноги: на крышах, на заборах, в окнах – везде видны были люди. Первое время бедные французы как будто чего-то робели; они тихо спрашивали у наших офицеров:

– Скажите, где государь?

– А вот; вот он снял шляпу, кланяется.

– Неужели это Александр? О, какое доброе, прекрасное у него лицо.

– Слушайте, слушайте: государь что-то говорит.

– Вот он остановил лошадь.

– Ах, как он милостиво разговаривает.

– Он улыбается нашему восторгу! Какая чарующая у него улыбка.

– Что-то неземное видно на лице у государя. Это ангел, просто ангел.

Так разговаривали парижане, смотря на нашего императора.

– Я вступаю в Париж не врагом, а возвращаю вам мир и спокойствие, – громко говорил государь, ласково кланяясь приветствовавшему его народу.

– Мы уже давно ожидали прибытия вашего величества, – проговорил один из сановников Франции, низко кланяясь государю.

– Я бы прибыл к вам ранее; обвиняйте в моей медленности храбрость вашего войска, – улыбаясь, отвечает государь.

– Царствуйте над нами! – с восторгом кричали одни.

– Или дайте нам монарха, похожего на вас! – вторили им другие.

Народ теснился около государя, несколько раз император Александр принуждён был останавливать свою лошадь; на восторженные крики народа он кланяется и машет своею треугольною шляпою с перьями.

И от одного конца Парижа до другого слышны крики:

– Да здравствует Александр, наш избавитель! Да здравствуют русские!

«Смело можно сказать, – писал очевидец, – что едва ли какой государь в свете так встречался был покорёнными народами, как Александр I, оружием тиранию победивший и великодушный – упорное ослепление европейских народов. Это не Траян, вступающий в Рим с триумфом¹¹² и корыстями чуждых племён, не Генрих IV, возвращающийся в добрый город

¹¹¹ Шувалов Павел Андреевич (1774–1823) – граф, генерал-адъютант, участник итальянского похода Суворова.

¹¹² Траян (53 – 117 гг. н. э.) – римский император с 98 г., прославился успешными походами на Балканы и в Азию, окончание которых отмечалось пышными празднествами.

Париж после междоусобий,¹¹³ – это великий Александр, который, прощая всецело разорения, нанесённые французами и бывшими союзниками их столице его и целым провинциям, вступает в столицу Франции как отец и покровитель, несущий врагам мир и благоденствие».

Встреча нашему государю и его войску была не такова, как встреча Наполеону и его полчищам в Москве: мрачный, недовольный ехал Наполеон по опустелым улицам Москвы, никто его не встречал, никто ему не попадался на пути – и никакой встречи ему не устраивали. Оставшиеся в Москве жители смотрели на него из-за углов своих домов и посылали ему проклятия.

А Париж встречал Александра не так: весь народ с радостью кричал: «Да здравствует Александр!» Французы воображали, что русские – полудикие люди, изнурённые и усталые от продолжительного похода, говорящие на каком-то ужасном языке, в странном одеянии. Но увидели русское войско и не верили своим глазам: красивые мундиры и блеск оружия; весёлые, здоровые лица наших офицеров, очень недурно говоривших по-французски, – всё это удивляло их и поражало.

– Да русские ли вы? – с удивлением махали белыми платами и радостными криками приветствовали наших воинов.

Император Александр со своими союзниками, проезжая мимо великолепных зданий и памятников, воздвигнутых во славу французского оружия, достиг Елисейских полей. Здесь наш государь остановился и стал смотреть на проходившие церемониальным маршем войска. Французы со всех мест спешили сюда, чтобы насладиться новым зрелищем.

«Француженки, – пишет очевидец, – просили нас сойти с лошадей и позволить им встать на сёдла, чтоб удобнее видеть государя. Сначала шли австрийцы. Жандармы никак не могли удержать народ, чтоб он не входил в ряды войск; любопытные парижане теснили австрийские взводы. Но когда показались русские гренадеры и пешая гвардия, французы были так поражены их воинственною осанкою, что не нужно было говорить им, чтоб они сторонились: все единодушно, как бы по некоторому тайному согласию, отступили гораздо далее черты, назначенной для зрителей. Они взирали с безмолвным удивлением на гвардейский и гренадерский корпуса и сознались, что армия их, в блистательное время французской империи, не была в столь цветущем положении, как наши корпуса после трёх бессмертных походов».

Смотр войска окончился в пятом часу, и государь отправился в дом Талейрана: в этом доме государь первое время имел своё пребывание. Одна часть войска заняла караулы, а другая часть отправилась на отведённые для солдат квартиры. А спустя несколько часов после въезда императора Александра и его союзников в Париж объявлена была прокламация нашего государя к французскому народу; содержание прокламации было таково:

«Войска союзных держав заняли столицу Франции.

Союзные государи приемлют желания французской нации. Они объявляют, что если, для обуздания честолюбия Бонапарта, необходимо нужно было поставить в условиях мира твердейшие ручательства, то ныне условия сии должны быть благоприятнейшие, когда Франция, готовая возвратиться к правительству мудрому, представит сама себя залогом спокойствия.

Посему союзные монархи объявляют, что они не будут иметь дела с Наполеоном Бонапарте, ни с кем-либо из его фамилии; что они признают целость древней Франции в том виде, как она была при законных её королях; что они могут даже больше сделать, поелику они всегда основываются на том правиле, что для счастья Европы нужно, чтобы Франция была велика и сильна, и что они готовы признать и гарантировать ту конституцию, которую даёт себе французская нация.

Вследствие сего они приглашают сенат назначить временное правительство, которое бы имело попечение об управлении государства и составило бы конституцию, приличную французскому народу.

Всё, Мною здесь объявленное, совершенно согласно с мыслями и намерениями

¹¹³ Генрих Наваррский, будучи гугенотом, принял католичество, после чего вступил в Париж (обронив знаменитую фразу: «Париж стоит мессы») и был коронован как Генрих IV (1594 г.).

других союзных государей».

Девятнадцатого марта русский государь со своим победоносным войском ночевал в стенах покорённого Парижа.

Россия отомщена. Наполеон пал...

И французский сенат, руководствуясь прокламацией нашего государя, изданною в день занятия Парижа союзными войсками, постановил лишить Наполеона престола.

Сколько ни придумывал Наполеон разных планов, но всё-таки ему пришлось покориться. Своё могущество он утратил навсегда.

Определение сената поразило Наполеона.

– Неужели всё, всё потеряно? и звезда моего счастья навсегда померкла? Александр победил меня. Где моя гвардия, где мои маршалы? Один, всеми покинут. Делать нечего – надо покориться судьбе.

На престол Франции призван был брат Людовика XVI¹¹⁴ граф Прованский, который обер-прокурор XVIII,¹¹⁵ и таким образом династия Бурбонов была восстановлена.

Но весною 1815 года Наполеон попытался восстановить своё значение и с несколькими сотнями приверженных ему солдат сел на суда и пристал к южному берегу Франции; его встретил сильный королевский отряд, и когда уже готова была завязаться между двумя отрядами битва, Наполеон пустил в ход следующую хитрость: он скрестил на груди руки, смело подошёл к королевским солдатам и сказал им:

– Солдаты! Разве есть между вами такой, который решится убить своего императора?

Поднятые ружья моментально опустились, и солдаты ответили ему единодушным криком:

– Да здравствует император!

Дальнейший поход Наполеона был целым триумфальным шествием; посланный против него маршал Ней перешёл на его сторону. Наполеон шёл к Парижу; король Людовик поспешил удалиться в Бельгию со всем семейством. Наполеон торжественно вступил в Париж, но его попытки войти в сношения и переговоры с европейскими державами были отвергнуты. Пруссия двинула свои войска во Францию, чтобы оружием снова низложить французского императора; Наполеон со своим войском решил предупредить соединение союзной армии, и, прежде чем с Пруссией соединились русские и австрийцы, он напал на пруссаков, находившихся в Бельгии. Счастье как будто снова вернулось к императору: он разбил пруссаков, находившихся под начальством Блюхера, потом двинулся на Веллингтона, английского главнокомандующего, который занял позицию при деревне Ватерлоо. Здесь одиннадцатого июня 1815 года произошло знаменитое сражение: оно было последним сражением Наполеона. Битва была отчаянная и продолжалась целый день. Наполеон победил бы англичан, если бы им на подмогу не подошли пруссаки. Тогда французы дрогнули, на них напал панический страх, и они бросились бежать. Наполеон, видя свою армию бегущей, бросился в средину неприятеля: он искал смерти. Маршалы и генералы почти силою увлекли его с опасного места.

Пруссаки и англичане после победы при Ватерлоо спешили к Парижу; Наполеон отправился в западные провинции, хотел сесть там на корабль, чтобы отправиться в Америку, но это было невозможно; английские фрегаты зорко стерегли берега Франции. Наполеон не хотел, чтобы его взяли в плен на суше, он сам явился на один из английских фрегатов и отдался под покровительство Англии, но с ним обошлись как с пленником и отправили на пустынный остров св. Елены. Таким образом окончилось его вторичное владычество во Франции, известное в истории под именем «ста дней».

На острове св. Елены бывший император Франции прожил ещё около пяти с половиною лет, находясь под строгим надзором англичан. Скончался Наполеон I, бывший император

¹¹⁴ Людовик XVI – французский король с 1774 г., казнён по приговору революционного суда в 1793 г.

¹¹⁵ Людовик XVIII (1755–1824), Станислав-Ксаверий – граф Прованский. Был коронован как Людовик XVIII, поскольку Людовиком XVII считался сын казнённого короля Карл, умерший в малолетнем возрасте в заключении (в 1795 г.).

французов, в 1821 году¹¹⁶ в изгнании, среди океана, на небольшом островке, всеми забытый, всеми покинутый...

Так закончил дни свои этот величайший полководец, чуть было не сделавшийся властителем всей Европы.

ГЛАВА XIV

Прошло более десяти лет после описанного в предыдущих главах нашей повести. За это время много перемен произошло в княжеской усадьбе: престарелый князь Владимир Иванович Гарин, а также и его жена Лидия Михайловна давно покоились в фамильном склепе сельского погоста в Каменках. Всеми поместьями после отца владел его сын князь Сергей Владимирович, который безвыездно жил со своею женою Ириной Дмитриевной в Каменках; князь Сергей, в чине генерал-майора, вышел в отставку и зажил счастливой семейной жизнью. К нему в усадьбу часто приезжал гостить боевой генерал Пётр Петрович Зарницкий с неизменным денщиком стариком Щетиною. Сестра князя Сергея, Софья Владимировна, с мужем часто бывали в Каменках и подолгу там гостили. Леонид Николаевич дослужился до больших чинов и жил очень счастливо со своей женой-красавицей.

Марья, мать Николая Цыганова, и его молодая жена Глаша после его смерти обе приняли иноческий чин и навсегда затворились в Новодевичьем монастыре. Заветная мечта Марьи сбылась: она приняла полный постриг с именем Мелании и вела суровую, подвижническую жизнь, проводя время в посте и молитве; Глаша во всём следовала примеру своей свекрови и тоже приняла пострижение.

Однажды в ноябрьский морозный вечер в кабинете князя Сергея у пылавшего камина сидели: сам он, его жена и недавно приехавший погостить в Каменки генерал Зарницкий. За последнее время Пётр Петрович сильно постарел и как-то осунулся: почти непрерывная тяжёлая бивуачная жизнь отозвалась и на его крепкой натуре.

Друзья вели оживлённый разговор. Князь приказал подать в кабинет чаю и рому. За чаем незаметно летело время. Их разговор прерван был приходом лакея, который почтительно доложил:

- Господин Александров желает видеть ваше сиятельство.
- Какой Александров? – спросил князь.
- Не могу знать, ваше сиятельство... Он только что приехал и просил доложить.
- Странно! В такое время! Не слыхал, откуда приезжий?
- Из Москвы, говорит, ваше сиятельство.

– Прими его, а я, чтобы не мешать вам, пойду к себе, – проговорила молодая княгиня мужу и вышла из кабинета.

Спустя немного в кабинет князя вошёл какой-то господин в статской одежде.

– Что угодно? Чем могу служить? – показывая рукою на кресло, спросил князь у вошедшего.

– Не узнали меня, князь? И вы здесь, Пётр Петрович? Здравствуйте! – протягивая обе руки генералу Зарницкому, сказал вошедший незнакомец.

– Здравствуйте! Только я не имею чести вас знать.

– Как, и вы, и вы не узнали меня, мой дорогой? Впрочем, и немудрено. Ведь более десяти лет мы с вами не видались, а с князем Сергеем Владимировичем и того больше.

– Лицо ваше очень знакомо, я где-то вас видал. А где – не припомню.

– Всмотритесь в меня, Пётр Петрович, может, и припомните своего старого боевого друга.

– Господи, неужели Надежда Андреевна? – обрадовался Пётр Петрович. Наконец он узнал в вошедшем господине кавалерист-девицу Дурову,¹¹⁷ с которой он не виделся более десяти

¹¹⁶ В 1840 году прах Наполеона был перевезён в Париж и положен в Доме Инвалидов.

¹¹⁷ Надежда Андреевна умерла 28 марта 1866 года, 83 лет от рождения, в уездном городе Елабуге Вятской губернии, где и погребена.

лет.

Князь и Пётр Петрович очень радушно поздоровались с Надеждой Андреевной, усадили её к камину и засыпали вопросами.

– Какими судьбами, Надежда Андреевна, вы собрались в мои Каменки? – спросил у неё князь.

– Еду в Кострому; вспомнила, что у вас есть в этой стороне усадьба, – ну и завернула проведать вас, князь, да кое-что поразузнать о Петре Петровиче, а он и сам тут на лицо, – ответила князю Дурова. – Рады неожиданной гостье?

– Так рады! Просто для нас ваш приезд радостная неожиданность!

– Вы так мало переменились, всё такая же, какую были и десять лет назад, – проговорил Пётр Петрович. – Но что это вы будто чем встревожены? – всматриваясь в печальное лицо Дуровой, спросил он.

– Не одна я встревожена, Пётр Петрович, а вся наша необъятная Русь тоскует и печалится. Не стало императора Александра, отлетел наш кроткий ангел на небеса, – со слезами ответила кавалерист-девица.

Эти слова как громом поразили и князя, и его приятеля.

– Боже, Боже, какое несчастье, какая тяжёлая утрата! – Князь закрыл лицо руками и тихо плакал; а Пётр Петрович опустил на колени перед образами и стал усердно молиться за почившего императора.

Император Александр Павлович тихо угас в Таганроге в 1825 году, девятнадцатого ноября. Вся Русь, как один человек, оплакивала своего державного государя, оплакивала непритворными, искренними, тёплыми слезами...

Не стало Александра Благословенного! Миротворителя, освободителя Европы от Наполеона. «Европа была спасена неутомимой деятельностью Александра, Агамемнона среди царей, пастыря народов: названия эти сохранятся за ним в истории», – пишет наш знаменитый историограф Соловьёв. Вечная слава императору Александру Первому и вечная ему память!

Вечная память и павшим в бою русским доблестным воинам.

Д. С. Мережковский АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Очки погубили карьеру князя Валерьяна Михайловича Голицына.

– Поди-ка сюда, карбонар! За ушко да на солнышко. Расскажи, чего напроказил? Что за история с очками? А? Весь город говорит, а я и не знаю, – сказал, подставляя бритую щёку для поцелуя князю Валерьяну, дядя его, старичок лысенький, кругленький, катавшийся как шарик на коротеньких ножках, всё лицо в мягких бабьих морщинах, какие бывают у старых актёров и царедворцев, – министр народного просвещения и обер-прокурор Синода, князь Александр Николаевич Голицын.¹¹⁸

Когда князь Валерьян после двухлетнего отсутствия (он только что вернулся из чужих краёв) вошёл в министерскую приёмную, большую мрачную комнату с окнами на

¹¹⁸ Голицын Александр Николаевич (1773–1844) – князь, обер-прокурор Святейшего синода, в 1816–1824 гг. министр народного просвещения и министр духовных дел, глава Российского библейского общества. Отрешённый от этих постов под давлением группы архимандрита Фотия, графа Аракчеева и др., тем не менее сохранил значительное влияние и при дворе Николая I.

Михайловский замок, так и пахло на него запахом прошлого, вечною скукою повторяющихся снов.

На том же месте опустилась под ним ослабевшая пружина в старом кожаном кресле. Так же на канцелярском зелёном сукне стола лежали запрещённые духовною цензурою книги; «О вреде грибов» – прочёл он заглавие одной из них: грибы постная пища, догадался, нельзя сомневаться в их пользе. Теми же снимками со всех изображений Спасителя, какие только существуют на свете, увешаны были стены приёмной: лик Господень превращён в обойный узор. Так же рдела в глубине соседней комнаты-молельни тёмно-красная лампада в виде кровавого сердца; так же пахло застарелым, точно покойническим, ладаном.

– Помилосердствуйте, дядюшка! Вы уже двадцатый меня об этом сегодня спрашиваете, – сказал князь Валерьян, глядя на старого князя из-под знаменитых очков с тонкою усмешкою на сухом, жёлчном и умном лице, напоминавшем лицо Грибоедова.

– Да ну же, ну, говори толком, в чём дело?

– Дело выеденного яйца не стоит. На вчерашнем дворцовом выходе в очках явился; отвык от здешних порядков: из памяти вон, что в присутствии особ высочайших ношение очков не дозволено...

– Поздравляю, племянничек! Камер-юнкер в очках! И свой карьер испортил, и меня, старика, подвёл. Да ещё в такую минуту...

– Из-за очков падение министерства, что ли?

– Не шути, мой друг, не доведут тебя до добра эти шутки...

– Что за шутки! Завтра к Аракчееву¹¹⁹ явиться. Ежели в крепость или в тележку посадят с фельдъегерем, – только на вас и надеюсь, дядюшка!

– Не надейся, душа моя! Я от тебя отступился: советов не слушаешь, сам лезешь в петлю. Думаешь, не знает начальство, какая у вас каша заваривается? Всё знает, мой милый, всё. Погоди-ка, уж выведут вас на чистую воду, господа карбонары... А письмо-то, письмо? Это ещё что такое? Откровенничать вздумал по почте? Уж если так приспичило, можно бы, чай, и с оказией...

В перехваченном тайной полицией и представленном государю письме князь Валерьян называл Аракчеева гадиной. Князь Александр Николаевич ненавидел Аракчеева, не кланялся с ним даже во дворце, в присутствии государя. Князь Валерьян знал, что за это письмо дядя готов простить ему многое.

– Я всегда полагал, ваше сиятельство, – проговорил он с ещё более тонкой усмешкой на слегка побледневших губах, – что заглядывать в частные письма всё равно что у дверей подслушивать.

Старик зашикал, замахал руками.

– Если желаете, сударь, продолжать со мною знакомство, извольте выбирать выражения ваши, – сказал он по-французски.

– Виноват, ваше сиятельство, но, право, мочи нет! Вся кровь в желчь превращается. Я понимаю, что можно здоровому человеку привыкнуть жить в жёлтом доме с сумасшедшими, но честному с подлецами в лакейской – нельзя.

– Вы очень изменились, мой милый, очень изменились, – покачал головою дядюшка. – И скажу прямо, не к лучшему эти заграничные знакомства, вам не впрок.

«Успели-таки донести, мерзавцы!» – подумал князь Валерьян. Заграничное знакомство был вольнодумный философ Чаадаев,¹²⁰ с которым он сблизился во время своего пребывания в Париже.

– Я вижу, дорогой мой, вы всё ещё не можете освободиться от самого себя и обратиться в то ничто, которое едино способно творить волю Господню, – проговорил дядюшка и завёл глаза

¹¹⁹ Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) – барон, позднее граф, генерал от артиллерии. Председатель департамента военных дел и начальник военных поселений.

¹²⁰ Чаадаев Пётр Яковлевич (1794–1856) – корнет лейб-гвардии гусарского полка, адъютант генерала И. В. Васильчикова, философ, писатель. Член Северного общества декабристов.

к небу. – Как блудный сын, покинули вы отчий дом и рады питаться свиными рожками на полях иноплеменников.

«Свинные рожки – конституция», – догадался князь Валерьян.

Долго ещё говорил дядюшка об Иисусе, сладчайшем, о совлечении ветхого Адама и воскрешении Лазаря, о состоянии Марии, долженствующем заменить состояние Марфы, о божественной росе и воздыханьях голубицы.

Князь Валерьян слушал с тоскою. «Тюлевый бы чепчик с рюшками тебе на лысину – и точь-в-точь Крюденерша-пророчица!¹²¹» – думал он, глядя на старого князя.

– Всякая власть от Бога. Христианин и возмутитель против власти, от Бога установленной, есть совершенное противоречие, – кончил старик тем, чем кончались все подобные проповеди.

– А ведь я и забыл, ваше сиятельство, – успел, наконец, вставить князь Валерьян, – поручение от Марьи Антоновны...

Взял со стола свёрток, развязал и подал, не без камер-юнкерской ловкости, шёлковую подушечку – из тех, какие употреблялись для коленопреклонений во время молитвы, с вышитым католическим пламенеющим сердцем Иисусовым.

– Собственными ручками вышита изволили. Пусть, говорят, будет князю память о друге верном всегда, особенно же ныне, в претерпеваемых им безвинно гонениях.

– Ах, милая, милая! Вот истинная дочь Израиля! – умилился дядюшка. – Будешь у неё сегодня на концерте Вьельгорского?¹²²

– Буду.

– Ну, так скажи ей, что завтра же приеду расцеловать ручки.

В любовных ссорах государя с Марьей Антоновной Нарышкиной князь Александр Николаевич Голицын был всегдашним примирителем, за что злые языки называли его старою своднею. «Тридцатилетний друг царёв, угождая плоти, миру и диаволу, князь всегда был заодно с царём в таких делах, о них же нельзя и глаголати», – обличал его архимандрит Фотий.¹²³ – И ещё порученьице, дядюшка: узнать о министерских делах, о кознях врагов.

– Сам расскажу ей... А впрочем, вы, может быть, там больше нашего знаете? Ну-ка, что слышал? Рассказывай.

– Много ходит слухов. Говорят, министерства вашего дни сочтены; в заговоре будто отец Фотий с Аракчеевым...

– И с Магницким.¹²⁴

– Быть не может! Магницкий – сын о Христе возлюбленный... А ведь говорил я вам, дядюшка: берегитесь Магницкого. Шельма, каких свет не видал, – помесь курицы с гиеною.

– Как, как? Курицы с гиеною? Недурно. Ты иногда бываешь остроумен, мой милый...

– А помните, ваше сиятельство, как исцеляли бесноватого? – спросил князь Валерьян.

– Да, представь себе, кто бы мог подумать? Мошенники... Ну, да что Магницкий! Бог с ним. А вот отец Фотий, отец Фотий, – какой сюрприз!

Сбежал в кабинет и вернулся с двумя письмами.

¹²¹ Имеется в виду Крюденер (урожд. Фитингоф), Варвара Юлия (1764–1825) – баронесса, автор сентиментальных романов, а затем проповедница мистических учений. Она оказала заметное влияние на Александра I после их знакомства в 1815 г.

¹²² Вьельгорский Михаил Юрьевич (1788–1856) – граф, придворный обер-шенк, с 1827 г. директор управления императорских театров. Композитор-любитель, музыкант, как и его брат Матвей, известный виолончелист. Меценат, близкий знакомый Пушкина.

¹²³ Фотий (в миру Пётр Никитич Спасский) (1792–1838) – с 1822 г. архимандрит, настоятель Юрьевского монастыря. Пользуясь покровительством графини А. А. Орловой-Чесменской, вошёл в окружение Александра I, на которого оказал большое влияние в последние годы царствования.

¹²⁴ Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1855) – попечитель Казанского учебного округа в 1819–1826 гг., вошёл в историю как «гонитель просвещения».

– Читай.

«Ваше сиятельство, высокочтимый князь! Ты и я – как тело и душа. Сердце одно мы. Христос посреди нас есть и будет», – кончалось одно письмо, от Фотия.

Другое – черновик, ответ Голицына:

«Высокопреподобный отче Фотий! Свидания с вами жажду, как холодной воды в жаркий день. Орошаюсь слезами и прошу у Господа крыл голубиных, чтобы лететь к вам. Воистину Христос посреди нас».

– Ах, дядюшка, дядюшка, погубит вас доброе сердце! – едва удержался князь Валерьян от злорадного смеха.

– Бог милостив, мой друг! Сколько люди меня ни обманывают, а я в дураках не бывал. Так вот и нынче. Министерство отнять хотят. Да я радёшенек! Только того и желаю, чтобы на свободе подумать о спасенье души...

Опять завёл глаза к небу

– У государя – вот у кого доброе сердце, – вздохнул с умилением. – Ну тот этим и пользуется...

«Тот» был Аракчеев: старый князь так ненавидел его, что никогда не называл по имени.

– Подойдёт тихохонько, склонив голову набок, и пригорюнится: «Государь-батюшка, ваше величество, одолели меня, старика, немощи, увольте в отставку...»

Князь Валерьян взглянул на дядюшку и замер от удивления: мягкие бабьи морщины сделались жёсткими, глаза потухли, щёки впали, лицо вытянулось – живой Аракчеев. Но исчезло видение, и опять сидел перед ним благочестивый проповедник; только где-то в самой глубине глаз искрилась шалость.

Вспомнился князю Валерьяну рассказ, слышанный от самого дядюшки, как однажды в юности, ещё камер-пажом, побился он об заклад, что дёрнет за косу императора Павла I. И действительно, стоя за государевым стулом во время обеда, изловчился – дёрнул; государь обернулся. «Ваше величество, коса покривилась, я исправил». – «А, спасибо, дружок!»

– Так-то, мой милый, – продолжал дядюшка. – Говоря между нами, это министерство просвещения у меня вот где! Сыт по горло. Не министерство, а гнездо демонское, которого очистить нельзя, – разве ангел с неба сойдёт. Все училища – школы разврата. Новая философия изрыгнула адские лжеумудрствования и уже стоит среди Европы с поднятым кинжалом. Кричат: науки, науки! А мы, христиане, знаем, что в злохудожную душу не внидет премудрость, ниже обитает в телеси, повинном греху. И что можно сделать доброго книгами? Всё уже написано. Буква мертвит, а дух животворит... Я бы, мой друг, все книги сжёг! – закончил он с тою же резвостью, с которой, должно быть, дёргал императора за косу.

«Ах, шалун, шалун, – думал князь Валерьян. – Сколько зла наделал, а ведь вот невинен, как дитя новорождённое».

– Ты что на меня так уставился? Аль не по шёрстке? Ничего, брат, стерпит, слюбится. Ты ещё вернёшься к нам...

Посмотрел на часы.

– В Синод пора, два архиерея ждут. Ну, Господь с тобой. Дай перекрещу. Вот так – теперь не бойся, ничего тебе тот не сделает. А право же, возвращайся-ка к нам, блудный сынок!

– Нет уж, дядюшка, куда мне? Горбатого разве могилка исправит.

– Не могилка, а девица Турчанинова.

– Какая девица?

– Не слышал? Удивительно. Исцеляет взглядом горбатых и глухонемых. Я собственными глазами видел сына генерала Толя, с одной ногой короче другой, и – представь себе! – через месяц ноги сравнялись. Силу эту уподобить можно помпе или – как это? – насосу, что ли, извлекающему из натуры магнетизм животный... Сейчас некогда, потом расскажу. Хочешь к ней съездить?

– С удовольствием. Может быть, и меня выправит?

– А ты что думал? Богу всё возможно. Или не веришь?

– Верю, дядюшка! А только знаете, что мне иногда в голову приходит: если бы Сам Христос стал творить чудеса и проповедовать на Адмиралтейской или Дворцовой площади, тут и до Пилата не дошло бы, а первый квартальный взял бы его на съезжую. И архиереи ваши не

заступились бы...

«Ни вы, ни вы, ваше сиятельство!» – едва не сорвалось у него с языка – и, не дожидаясь ответа, выбежал из комнаты.

Старый князь только пожал плечами:

– Беспутная голова, а сердце доброе. Жаль, что скверно кончит!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вскоре после Аустерлица появилось в иностранных газетах известие из Петербурга: «Госпожа Нарышкина победила всех своих соперниц. Государь был у неё в первый же день по своём возвращении из армии. Доселе связь была тайной; теперь же Нарышкина выставляет её напоказ, и все перед ней на коленях. Эта открытая связь мучит императрицу».

Однажды на придворном балу государыня спросила Марью Антоновну об её здоровье:

– Не совсем хорошо, – ответила та – я кажется, беременна.

Обе знали от кого.

«Поведение вашего супруга возмутительно, особенно маленькие обеды с этой тварью, в собственном кабинете его, рядом с вами», – писала дочери своей, русской императрице, великая герцогиня Баденская.¹²⁵ Шла речь о разводе.

Но за двадцать лет к этому все привыкли, и уже никто не удивлялся. Марья Антоновна была так хороша, что не хватало духа осудить её любовника.

«Разиня рот, стоял я в театре перед её ложей и преглупым образом дивился красоте её, до того совершенной, что она казалась неестественной, невозможной» – вспоминал через много лет один из её поклонников.

«Скажи ей, что она ангел, – писал Кутузов жене, – и что если я боготворю женщин, то для того только, что она – сего пола: а если б она мужчиной была, тогда бы все женщины были мне равнодушны».

*Всех Аспазия милей
Чёрными очей огнями,
Грудью пышною своей.
Она чувствует, вздыхает,
Нежная видна душа,
И сама того не знает,
Чем всех боле хороша, –*

пел старик Державин.

Никто не удивлялся и тому, что у мужа Марьи Антоновны, Дмитрия Львовича Нарышкина,¹²⁶ две должности: явная – обер-гофмейстера и тайная – «снисходительного мужа» или, как шутники говорили, «великого мастера масонской ложи рогоносцев».

Добродетельная императрица Мария Феодоровна писала добродетельной супруге Марье Антоновне: «Супруг ваш доставляет мне удовольствие, говоря о вас с чувствами такой любви, коей, полагаю немногие жёны, подобно вам, похвалиться могут».

Любовник, впрочем, был не менее снисходителен, чем муж. Однажды застал он Марью Антоновну врасплох со своим адъютантом Ожаровским.¹²⁷ Но она сумела убедить государя, что ничего не было, и он поверил ей больше, чем глазам своим. Следовали другие,

¹²⁵ Матерью императрицы Елизаветы Алексеевны была Амалия, принцесса Гессен-Дармштатская.

¹²⁶ Нарышкин Дмитрий Львович (1764–1838) – был придворным обер-егермейстером.

¹²⁷ Ожаровский Адам Петрович (1776–1855) – граф, генерал от кавалерии, член Государственного совета царства Польского. В Отечественную войну – командир корпуса, после Бородинского сражения награждён золотой шпагой за храбрость.

бесчисленные, большею частью из молоденьких флигель-адъютантов.

Обе дочери государя от Елизаветы Алексеевны умерли в младенчестве. Первая дочь от Марьи Антоновны умерла тоже. Вторая, Софья, осталась в живых, но с детства была слаба грудью. Опасались чахотки. Этот последний и единственный ребёнок, которого государь считал своим, о чём, однако, спорили, – маленькая Софочка – была его любимицей.

Благодаря дяде своему, старому другу дома, князь Валерьян Михайлович принят был у Нарышкиных как родной. Софья любила его как сестра. Он её – больше, чем брат, хотя сам того не знал. Надолго разлучались, – Софью часто увозили на юг, – как будто забывали друг друга, но сходились опять как родные.

– Лучшего жениха не надо для Софьи, – говорила Марья Антоновна.

Но на Веронском конгрессе¹²⁸ государь представил ей другого жениха, графа Андрея Петровича Шувалова,¹²⁹ только что зачисленного в коллегию иностранных дел, молодого дипломата меттерниховской школы.¹³⁰

Как все Шуваловы, граф Андрей был искателен, ловок и вкрадчив, втируша, тихоня, ласковый телёнок, который двух маток сосёт. Такие, впрочем, государю нравились.

Старая графиня, мать жениха, долго жившая в Италии, перешла в католичество. Римские отцы иезуиты начали свадьбу, а парижские шарлатаны кончили. Месмерово лечение¹³¹ тогда входило в моду. Принялись лечить и Софью. Граф Андрей магнетизировал её, по предписанию ясновидящих. Пятнадцатилетняя девочка, почти ребёнок, отдала ему руку свою, как отдала бы её первому встречному, по воле отца, сама не зная, что делает.

Князь Валерьян, тоже бывший тогда в Вероне, только утратив Софью, понял, как её любил. Он уехал в Париж к Чаадаеву. Беседы с мудрецом не утешили его, но дали надежду заменить любовь к женщине любовью к Богу и к отечеству.

Года через два, с дозволения ясновидящих, Софью привезли в Петербург, где назначена была свадьба. Зимой начались обычные среды у Нарышкиных, на Фонтанке, близ Аничкина моста.

Урождённая княжна Святополк-Четвертинская, Марья Антоновна была ревностной полькой и собирала вокруг себя польских патриотов. Уверяли, будто конституцией Польша обязана ей. И русские либералы видели в ней свою заступницу. Салон её был единственным местом в Петербурге, где можно было говорить свободно не только о вреде взяток, но и о самом Аракчееве, которого она ненавидела.

По средам, в Великом посту, у Нарышкиных давались концерты. В ту среду, в которую собрался к ним князь Валерьян, в первый раз по возвращении своём в Петербург, назначен был концерт знаменитого музыканта-любителя графа Михаила Вьельгорского.

Когда князь Валерьян вошёл в белый зал с колоннами и огромным, во всю стену зеркалом, отражавшим портрет юного императора Александра Павловича, первая половина концерта кончилась, и последний звук виолончели замер, как человеческое рыдание. Послышались рукоплескания, шум отодвигаемых стульев, шорох дамских платьев и жужжащий говор толпы. Раззолоченные арапы высоко подымали над головами гостей подносы с мороженым; поправляли восковые свечи в жирандолях.

Голицын увидал издали своего приятеля, лейб-гвардии полковника князя Сергея

¹²⁸ Веронский конгресс состоялся 20 октября – 14 декабря 1822 г.

¹²⁹ Шувалов Андрей Петрович (1802–1873) – граф, дипломат, позже придворный церемониймейстер и камергер, член Государственного совета.

¹³⁰ Меттерних-Виннебург, Клеменс Венцель Лотар (1773–1859) – в 1809–1821 гг. был министром иностранных дел Австрии, а затем её канцлером.

¹³¹ Месмер, Фридрих Антон (1734–1815) – австрийский врач, практиковавший в Париже. Автор учения и метода «животного магнетизма».

Трубецкого,¹³² директора Северной управы тайного общества, и хотел подойти к нему, чтобы переговорить окончательно о своём, уже почти решённом, поступлении в члены общества, но раздумал: решил – потом.

Опять, как давеча, в приёмной у дядюшки, пахнуло на него знакомым запахом прошлого, вечною скукою повторяющихся снов.

Всё так же, как два года назад: так же воскликнула, повторяя, видимо, заученную фразу, пожилая дама с голыми костлявыми плечами:

– Граф Михаил играет как ангелы на концертах у Господа Бога!

Так же склонился и шепчет что-то на ухо графине Елене Радзивилл отец Розавенна,¹³³ иезуит, молодой, красивый итальянец, идол петербургских дам, похожий в своей шёлковой чёрной сутане на чёрного, гладкого кота, который, выгнув спину, ласково мурлычет; нельзя понять, любезничает или исповедует; с одинаковым искусством передаёт любовные записочки и причащает из тайной дароносицы тут же, на великосветских раутах, своих поклонниц, новообращённых в католичество. «Ушком» прозвали графиню Елену за то, что она краснела не лицом, а одним из своих прелестных, как перламутровые раковинки, ушек. И теперь под ласковый шёпот отца Розавенны недаром у неё краснеет ушко: может быть, по примеру хорошенькой графини Куракиной, сожжёт себе пальчик на свечке, чтобы уподобиться христианским мученицам. А девяностолетняя бабушка Архарова, в пунцовом халдейском тюрбане с ярко-зелёными перьями, нарумяненная, похожая на свою собственную моську, которая вечно храпит у неё на коленях, смотрит ехидно в лорнет на эту парочку – отца иезуита с графиней Ушком – и, должно быть, готовит злую сплетню.

На своём обычном месте, поближе к печке, сидит баснописец Крылов. Видно, как пришёл – завалился в кресло, чтобы не вставать до самого ужина: «Спасибо хозяйшке-умнице, что место моё не занято; тут потеплее». В поношенном, просторном, как халат, фраке табачного цвета с медными пуговицами и потускневшей орденской звездой, эта огромная туша кажется необходимою мебелью. Руки упёрлись в колени, потому что уже не сходятся на брюхе; рот слегка перекошен от бывшего два года назад удара; лицо жирное, белое, расползшееся, как опара в квашне, ничего не выражающее, разве только – что жареного гуся с груздями за обедом объелся и ожидает поросёнка под хреном к ужину, несмотря на Великий пост: «У меня, грешного, – говаривал, – по натуре своей желудок к посту неудобен». Дремлет; иногда приоткроет один глаз, посмотрит из-под нависшей брови, прислушается, усмехнётся не без тонкого лукавства – и опять дремлет.

*Не движась, я смотрю на суету мирскую
И философствую сквозь сон.*

А подойдёт к нему сановник в золотом шитье: «Как ваше драгоценное, Иван Андреевич»? – и дремоты как не бывало: вскочит вдруг с косолапою ловкостью, лёгкостью медведя, под барабан танцующего на ярмарке, изогнётся весь, рассыпаясь в учтивостях, – вот-вот в плечико его превосходительство чмокнет. Потом опять завалится – дремлет.

Так и пахнуло на Голицына от этой крыловской туши, как из печки, родным теплом, родным удушьем. Вспоминалось слово Пушкина: «Крылов – представитель русского духа, не ручаюсь, чтобы он отчасти не вонял; в старину наш народ назывался смерд». И в самом деле, здесь, в замороженном приличии большого света, в благоуханиях пармской фиалки и

¹³² Трубецкой Сергей Петрович (1791–1860) – князь, полковник лейб-гвардии Преображенского полка. Накануне 14 декабря 1825 г. избран «диктатором» восстания, но на Сенатскую площадь не явился. Осуждён по 1-му разряду и по конфирмации приговорён к вечной каторге, сокращённой затем до 15 лет.

¹³³ Розавенна (Розавен) Иоанн Антонович (Жан-Луи де Лейсепо) (1772–1851) по происхождению был французским дворянином. Окончил иезуитский коллеж в Риме и с 1804 г. поселился в России, где обратил в католичество многих представителей высшей знати. В начале 1816 г. выслан вместе с другими иезуитами из Петербурга, а затем и из России. Проживая затем в Риме, пользовался большим вниманием папы Льва XII. Автор антиправославных сочинений.

буке-а-ля-марешаль, эта отечественная непристойность напоминала запах рыбного садка у Пантелеймонского моста или гнилой капусты из погребов Пустого рынка.

– Давно ли, батюшка, из чужих краёв? – поздоровался Крылов с Голицыным, проговорив это с такою ленью в голосе, что, видно было, его самого в чужие края калачом не заманишь.

– В старых-то зданиях, Иван Андреевич, всегда клопам вод, – продолжал начатый разговор князь Нелединский-Мелецкий,¹³⁴ секретарь императрицы Марии Феодоровны, директор карточной экспедиции, маленький пузатенький старичок, похожий на старую бабу, – вот и в Зимнем дворце, и в Аничкином, и в Царском – клопов тьма-тьмушая, никак не выведут...

Почему-то всегда такие несветские разговоры заводились около Ивана Андреевича.

– Да и у нас, в Публичной библиотеке, клопов не оберёшься, а здание-то новое. От книг, что ли? Книга, говорят, клопа родит, – заметил Крылов.

– Была у меня в Москве, у Харитонья, фатерка изрядненькая, – улыбнулся Нелединский приятному воспоминанию, – и светленько, и тёпленько – словом, всем хорошо. А клопов такая пропасть, как нигде я не видывал. «Что это, говорю хозяйскому приказчику, какая у вас в доме нечисть?» А он: «Извольте, говорит, сударь, посмотреть – на стенке билет против клопов». Велел принести: какое-нибудь, думаю, средство или клоповщика местожительство. И что же, представьте себе, на билете написано: святому священномученику Дионисию Ареопагиту¹³⁵ молитва!

– Н-да, точно, Ареопагит клопу изводчик, – промямлил Крылов, зевая и крестя рот. – Ежели который человек верит, то по вере ему и бывает...

– А меня почечуй, батюшки, замучил, – не расслышав, о чём говорят, зашамкал другой старичок, сенатор, дряхлый-предряхлый, с отвислой губой. – И ещё маленькие вертижцы...

– Какие вертижцы? – спросил Нелединский с досадой.

– Вертижцы... когда голова кругом идёт... Помню, во дни блаженной памяти Екатерины-матушки... – начал он и, как всегда, не кончил: его никто не слушал; со своим почечуем – геморроем он лез ко всем, даже, по рассеянности, к дамам.

– Опять разболтал! И какой тебя чёрт за язык дёргает? – выговаривал князь Вяземский¹³⁶ Александру Ивановичу Тургеневу.¹³⁷ – Ну можно ли такие письма в клубе показывать? Разблагостят по городу, попадёт в тайную полицию – и поминай Сверчка как звали...

Голицын прислушался. Он знал, что Сверчок – арзамасское прозвище Пушкина. Вместе с Тургеневым и Вяземским случалось ему не раз хлопотать у дядюшки за ссыльного коллежского секретаря Пушкина.

– Слышали, князь? – обратился к нему Вяземский.

– Нет. Какое письмо?

– А вот какое, – зашептал ему Тургенев на ухо знаменитые строки, которые так часто повторял, что затвердил их наизусть; – «Ты хочешь знать, что я делаю. Беру уроки чистого афеизма. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная».

– Ну, посудите сами, князь, неужели за такой вздор...

– Да ты где живёшь, братец, на луне, что ли? – опять загорячился Вяземский. – Будто не

¹³⁴ Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752–1829) – тайный советник, сенатор. Писатель, секретарь императрицы-матери Марии Фёдоровны.

¹³⁵ Дионисий Ареопагит – знатный афинянин, обращённый в христианство апостолом Павлом; христианский святой, с VI в. получили известность сочинения, написанные якобы от его имени.

¹³⁶ Вяземский Пётр Андреевич (1792–1878) – князь, литературный критик, поэт, близкий друг Пушкина.

¹³⁷ Тургенев Александр Иванович (1784–1845) – русский общественный деятель, историк, литератор. В указанное время – директор департамента духовных дел иностранных исповеданий, камергер. Брат декабриста Н. И. Тургенева.

знаешь, что нынче в России за какой угодно вздор...

– Ну не ворчи, полно, не буду... А Сверчок-то, говорят, опять в пух проигрался?

– Мало ли врут? Вот распустили намеренно слух, будто застрелился...

– Ну нет, не застрелится, – усмехнулся Тургенев, – словечко-то его помнишь: «Только бы жить!» Кто другой, а Пушкин небось не застрелится...

Подошёл хозяин, Дмитрий Львович Нарышкин; одетый по-старинному, в пудре, в чулках и башмаках с красными каблукками – настоящий маркиз Людовика XV;¹³⁸ иногда судорога дёргала лицо его, так что он язык высовывал, точно поддразнивал; но всё же величествен, как старый петух, хотя и с продолбленной головой, а шагающий с важностью.

– А ваш-то пострел Пушкин опять пресмешные стишки сочинил, слышали? – сказал он, присоединяясь к собеседникам.

– А ну-ка, ну? – залюбопытствовал Тургенев и подставил ухо с жадностью.

По знаку Дмитрия Львовича головы сблизились, и он прошептал с игривой улыбкой прошлого века:

*Свобод хотели вы – свободы вам даны:
Из узких сделали широкие штаны.*

– Да это не Пушкина! – рассмеялся Вяземский. – Сказал бы я вам стишки, да боюсь, не прогневались бы, ваше высокопревосходительство: уж очень вольные...

– Ничего, ничего, князь, – ободрил его Дмитрий Львович. – Я вольные стишки люблю. Ведь и мы, сударь, небось в наше время наизусть Баркова¹³⁹ знали...

Глядя на портрет государя с таким вольномысленным видом, как будто делал революцию, Вяземский прочёл:

*Воспитанный под барабаном,
Наш... был бравым капитаном,
Под Аустерлицем он бежал,
В двенадцатом году – дрожал;
Зато был фрунтовой профессор,
Но фронт герою надоел;
Теперь коллежский он ассессор
По части иностранных дел.*

Нарышкин тихонько захлопал в ладоши и высунул язык от удовольствия: был верноподданный и сердечный друг царя, но недаром, видно, учился у Баркова вольномыслию.

– А доктор говорит, одышка от гречневой каши, – жаловался Нелединский Крылову. – И так я от этих удуший ослаб, так ослаб, что надо бы за мной приставить маму...

– А у меня всё маленькие вертижцы... – зашамкал опять старичок.

– Плюнь-ка ты на докторов, князенька! – вдруг оживился Крылов, даже оба глаза раскрыл. – Возьми с меня пример: чуть задурит желудок – вдвое наемся, а там он себе как хочешь разведывайся. У Степаниды Петровны, на масленой, перед самым обедом, – рубцы и потрох у неё готовят ангельские, – так подвело, что хоть вон беги. Да вспомнил, что на Щукином – грузди отменные. Только что доложил о том, Степанида Петровна, матушка, сию ж минуту – пошли ей Господь здоровья, кормилице, – спосылала на Щукин верхом, и грузди поспели к жаркому. Принял я порцию, в шести груздях состоящую, и с тех пор свет увидел. А ты говоришь – доктора...

¹³⁸ Людовик XV (1710–1774) – с 1715 г. французский король, при котором государством фактически управляли его многочисленные фавориты и любовницы.

¹³⁹ Барков Иван Степанович (или Семёнович) (1732–1768) – русский поэт, писатель, переводчик. Прославился стихотворениями с ненормативной лексикой.

Вяземский вольнодумничал уже не в стихах, а в прозе, говорил о «затмении свыше», о цензурных неистовствах, которые дошли до того, что нельзя сказать «голая истина», потому что непристойно лицу женского пола являться голым; о запрещении Филаретова катехизиса;¹⁴⁰ об изуверствах Магницкого, который предлагал разрушить до основания Казанский университет и заставил профессоров похоронить весь анатомический кабинет, трупы, скелеты и человеческих уродцев, потому что находил «мерзким и богопротивным употреблять человека, образ и подобие Божие, на анатомические препараты», вследствие чего заказаны были гробы, в коих поместили препараты и, по отпении панихиды, в торжественном шествии понесли их на кладбище.

Слушая одним ухом Крылова, другим Вяземского, Голицын сравнивал обоих, и ему казалось, что пылающий свободомыслием Вяземский лопнет, как мыльный пузырь, а чугунный дедушка Крылов не поколеблется. «Неужели же это лицо – опара, из квашни расплзшаяся, – лицо всей России?» – думал он со смехом и ужасом.

Но перестал думать, увидя на другом конце залы Марью Антоновну с графом Шуваловым.

На ней – всегдашнее простое белое платье, туника с прямыми складками, как на древних изваяниях; старая мода, а на ней – новая, вечная; никаких украшений, только вместо пряжки на плече – камей-хризолит, подарок императрицы Жозефины, да гирлянда незабудок в чёрных волосах. Лет за сорок, а всё ещё пленительна. Сегодня – особенно. Не вторая, а двадцатая молодость. Глубокая ясность осенних закатов, душистая зрелость осенних плодов.

*Всех Аспазия милей
Чёрными очей огнями.*

Сегодня – чернее, огненнее, чем когда-либо. «Минерва в час похоти» – назвал её кто-то. Ресницы стыдливо опущены, и во всех движениях – тоже стыдливость, опущенность, как в томном трепете плакучих ив.

«Что с нею?» – удивлялся Голицын. Он знал её хорошо, недаром был почти влюблён в неё когда-то; знал, что такой, как сегодня, она бывает всегда, когда меняет любовника. Кто ж теперь?

Вгляделся пристальней в Шувалова. Лицо красивое до наглости, как у Платона Зубова,¹⁴¹ героя «постельных услуг». По этому лицу хотелось верить ходившим о нём слухам, будто брал он деньги у старых женщин и отказался от поединка за дело чести. Безукоризненный английский фрак с преувеличенно узкой, по последней моде, талией; точёные ножки, затянутые в чёрный атлас; галстучек, завязанный небрежно, по-шатобриановски; хохолок, взбитый тщательно, по-меттерниховски. «А хорошо бы поддержать у барьера, под пистолетом эту смазливую рожицу!» – подумал Голицын с ненавистью.

И вдруг показалось ему, что на слишком ласковый блеск в глазах Марьи Антоновны глаза Шувалова ответили таким же блеском.

«Так вот кто! – промелькнула у Голицына мысль, которая ему самому показалась нелепой. – Мать – с женихом дочери!.. С ума я схожу, что ли?»

Насильно он отвёл глаза в другую сторону и увидел Софью. Она разговаривала с князем Трубецким. Для неё одной пришёл сюда Голицын, но как будто испугался – спрятался от неё за колонну, и по тому, как забилося у него сердце, как не хотел давеча говорить с Трубецким о тайном обществе, вдруг понял, что всё ещё не исполнил советов мудреца Чаадаева – не заменил любви к женщине любовью к отечеству.

¹⁴⁰ Филарет (Василий Михайлович Дроздов) – будущий митрополит Московский, в то время был ректором Петербургской духовной академии и активным деятелем Библейского общества. Его «Христианский катехизис» (1823 г.) подвергся нападкам консерваторов, что не помешало, однако, этому сочинению до 1917 г. служить учебным пособием в школах и семинариях.

¹⁴¹ Зубов Платон Александрович (1767–1822) – светлейший князь, знаменитый фаворит Екатерины II.

– Принимая вещи даже в самой строгой скептике, должно, полагаю, согласиться, что в России не может быть хуже того, что есть, – заговорил князь Козловский, отвечая Вяземскому, в постепенно расширяющемся круге собеседников.

Козловский, бывший посланник в Сардинии, «за неосновательность поступков» от службы уволенный, был полуполяк, тайный католик и, по слухам, даже иезуит, но в то же время человек вольного образа мыслей в политике. Наружностью не то Бурбон, не то Фальстаф... Дородства не меньшего, чем дедушка Крылов, но живой, бойкий, подвижный. Когда говорил о политике, не только лицо его, но и вся тюленья туша трепетала, как будто искрилась умом. В такие минуты влюблялись в него даже молоденькие женщины.

– Освободили Европу, Россию возвеличили! С нами Бог! А у князя Меттерниха на посылках бегаем. Каланчой пожарной сделалась российская политика: стережём, не загорится ли где, и скачем, высуня язык, по всей Европе, с конгресса на конгресс, заливая чужие пожары собственной кровью. Революция здесь, революция там. Уж не ошиблись ли народы, низложив Бонапарта? Вместо одного великого тиана – сотни маленьких. Льва свалили и достались волкам на добычу...

– Зато, говорят, правление нынче законное, – поддразнил его Вяземский.

– Законное? Где? Видели, князь, на Литейном вывеску «Комиссия составления законов»? Буква «с» выпала: комиссия... оставления законов. Не вернее ли так? Не пора ли оставить законы? К чему они, когда скрижали их о первый камень самовластья разбиваются?..

Ударил жирным кулаком по жирной ладони с демократической яростью. Фальстаф превратился в Мирабо.¹⁴² А дамы слушали с такой же приятностью, как давеча Вьельгорского: второй концерт не хуже первого.

– Да, сударь, в России нет законов! – гремел Козловский, как с трибуны. – Указы, то от любимца-истопника исходящие, то от курляндца-берейтора, то от турка-брадобрея, то от Аракчеева, нельзя считать законами: это только право сильного, анархия, где лучше задушить, чем быть задушенным. Мы как Дон-Кишот действуем: освобождая других, сами стонем под ненавистным игом...

– Да за это, батюшка, на съезжую! – прошипела Архарова, и зелёные перья на пунцовом токе грозно заколебались, моська на её коленях проснулась с ворчанием.

Крылов тоже проснулся, зашевелился с таким видом, что откуда-то сквозняк. А пан Вышковский, и пан Хлоповский, и пан Храповицкий, и пан Салтык хлопали в ладоши, как на Варшавском сейме: «Bravo! bravo! bravissimo!» Тургенев наклонил голову, загнув ухо ладонью руки, чтобы не пропустить ни слова, запомнить и разнести по городу. Вяземский наслаждался и завидовал. Ушко графини Елены пылало. О, Розавенна решил о Козловском по Жозефу де Местру:¹⁴³ «университетский Пугачёв». Дмитрий Львович высовывал язык от восхищения, а Марья Антоновна улыбалась, как добрая хозяйка, радуясь, что гости довольны.

Голицын смотрел на Софью. Она тихонько подошла, присела на кончик стула, положила на колени худенькие детские ручки, – казалось, пальцы должны быть в чернилах, как у школьницы, – и, вытянув шею, никого не видя, вся замерла, недвижная, устремлённая, как стрела на тетиве. Глаза – ясновидящей. «Человек с нечистой совестью не мог бы в них смотреть», – сказал однажды Голицын об этих глазах. Вся не от мира сего; слишком хрупкая, тонкая, прозрачная; кажется, душа видна сквозь тело, как огонь сквозь алебастр: вот-вот не выдержат стенки лампы, огонь разобьёт их и вырвется наружу.

Голицыну вспомнилось то, что он слышал о ней: как тринадцатилетняя девочка носила пояс, вываренный в соли, разъедавшей тело; стояла на солнце, пока кожа на лице не трескалась, хотела убежать в монастырь, принять пострижение и странствовать в мужской одежде, под именем умершего юного послушника Назария.

Для таких, как она, от слова до дела – только шаг. И теперь для неё одной в этой толпе

¹⁴² Мирабо, Оноре-Габриэль Рикетти (1749–1791) – граф, знаменитый оратор и политический деятель эпохи французской революции.

¹⁴³ Местр, Жозеф де (1754–1821) – французский политический деятель, писатель.

речь Козловского – не музыка, а проповедь.

– Суровость покойного императора Павла, без обмана, без лести, не в тысячу ли раз сноснее того, что мы терпим в наши дни? – продолжал Козловский всё вдохновеннее. – Не вздыхаем ли о временах Павловых, терпя, чего терпеть без подлости не можно? Всякий день оскорбляется у нас человечество, правосудие, просвещение – всё, что мешает земле превратиться в пустыню или вертеп разбойничий. Когда видишь все мерзости, на каждом шагу в России совершающиеся, хочется бежать за тридевять земель...

Бабушка Архарова встала, гневная, собираясь уходить; моська на руках её, поджав хвост, залаяла. Крылов тоже привстал, но, должно быть, вспомнив об ужине, снова опустился в кресло и только рукой махнул. У Нелединского сделалась одышка хуже, чем от гречневой каши. Старичок вертижцами, казалось, готов был упасть в обморок. А паны повскакали и захлопали неистово – видно было по лицам их: «Ещё Польша не згинела».

Но звук виолончели раздался – и всё затихло, успокоилось, словно кто-то пролил масло на бурные волны.

Вьельгорский играл духовный концерт Гайдна. Слышался ангельский хор. И рабство, свобода, Россия, политика – всё земное вдруг сделалось ничтожным. Казалось, по хрустальной лестнице, звенящей и поющей, как солнечный дождь, златокрылые, с золотыми вёдрами восходят и нисходят ангелы.

Голицын подошёл к Софье. Но она не заметила его, погружённая в мысли свои или музыку.

– Софья Дмитриевна...

Обернулась, вздрогнула.

– Вы... здесь? А я и не знала, Господи!..

Вся покраснела от радости. На вопрос его о здоровье ответила по-французски, совсем как большая светская барышня:

– Не надо о моём здоровье, ради Бога! Расскажите-ка лучше о ваших очках...

А глаза, полные детским восторгом, говорили другое, родное, милое, старое.

Несмотря на модную, сложную причёску, на парижское длинное платье попелинового серо-серебристого газа с вышитым зелёным вереском, – видно было по глазам, что она всё та же маленькая девочка в коротеньком белом платьице, в соломенной шляпке-мармотке, голубоглазая, пепельнокудрая, с которой он бегал в горелки в селе Покровском, подмосковной Нарышкиных, удил пескарей в пруду, за теплицами, и читал «Людмилу» Жуковского.

*Ах, невеста, где твой милый,
Где венчальный твой венец?
Дом твой – гроб; жених – мертвец... –*

прочла непонимающим детским голоском и вдруг задумалась, как будто поняла, – выронила книгу, побледнела, закинула ему тоненькие руки на шею и вся прижалась доверчиво: «Как страшно!..» Тогда в первый раз поцеловал он её не как брат сестру:

*О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!*

Всё та же, родная, любимая, вечная, Богом данная – сестра и невеста вместе. А Шувалов? Ну что ж, пусть Шувалов. «А ну её к чёрту, эту парикмахерскую куклу!» Знал, что её не отнимут у него сорок тысяч Шуваловых.

Отошли вместе на другой конец залы и сели рядом у большого зеркала, против портрета юного императора: семнадцатилетний улыбающийся мальчик похож был на голубоглазую, пепельнокудрую девочку. Говорили шёпотом, под музыку, под певучие звоны солнечного ливня, который лили на землю золотые вёдра ангелов, восходящих и нисходящих по хрустальной лестнице. Чувствовали оба, что не говорили бы так, если б не музыка.

– Правда, что вы карбонаром сделались?

– Что значит «карбонар», Софья Дмитриевна?

– Какая Софья Дмитриевна? – поправила она с ребяческим кокетством в улыбке и строгою ласкою в глазах. – Забыли Верону? Забыли Покровское? Забыли всё?

– Ничего не забыл, Софочка... Ах, если б вы знали... Ну да что говорить? Вы же знаете...

– Что значит «карбонар»? – перебила она его, с детским усилием мысли сдвинув тонкие брови. – Карбонары – те, кто против Бога и царей? Мне ещё наемни Михаил Евграфыч объяснил...

Михаил Евграфович Лобанов¹⁴⁴ был Софьин учитель русского языка, ревностный поклонник Магницкого.

– А разве нельзя быть против царей с Богом? – усмехнулся Голицын.

– Не знаю, – задумалась она. – Нет, нельзя... у нас в России нельзя. Спросите нянюшку Прокофьевну, и Филатыча-дворецкого, и дедушку Власия, покровского пчельника, – помните, он такой умный, – и самого дедушку Крылова, – он ведь тоже умница... Ну чего вы смеётесь? Я сказать не умею. Но это так: все скажут, что в России царь от Бога.

– А почему же правда, что все говорят? И разве одна Россия на свете?.. По-итальянски карбонары значит угольщики. Это простые добрые люди, которые в Бога веруют не меньше нашего и хотят свободы отечеству от чужеземного ига...

– Да разве у нас чужеземное иго?

– А слышали, что говорил Козловский?

– Козловский – поляк; они все ненавидят Россию, готовы сделать ей всякое зло. А ведь вы её любите?

– Не знаю, люблю ли, но можно и любя ненавидеть. И чья вина, что наша любовь похожа на ненависть?.. Только лучше не надо об этом, милая, право, не надо... Посмотрите-ка на дедушку Крылова. Вот кто чужеземного ига не чувствует! Когда его спросили однажды, какое по-русски самое нежное слово, он ответил, не задумавшись: «кормилец мой». Какая рожа, Господи! А умён, ещё бы! Может быть, умнее нас всех... Только вот никак не решит:

Не больше ли вреда, чем пользы, от наук?

– Зачем вы?. Не надо, не смейтесь.

– Да я не смеюсь, Софья! Мне страшно...

– Слушайте, Валя, голубчик, скажите, скажите мне всё, что думаете! Со мной никто никогда не говорит об этом, а мне так нужно, если бы вы знали, так нужно!..

– Что сказать?

– Всё, всё! Почему в России чужеземное иго? Почему любовь похожа на ненависть? Почему вам страшно?..

Он взглянул на неё и опять, как давеча, увидел в лице её недвижную стремительность: стрела на тетиве, слишком натянутой. Понял, что от того, что скажет, будут зависеть их общие судьбы. Душа её обнажена перед ним, беззащитна, и, может быть, слова его пройдут её, как меч: будут подобны убийству. Но нельзя молчать.

И он заговорил уже не под музыку, а против музыки: она – о небесном, он – о земном, о великой неправде земли, о человеческом рабстве.

Говорил о русских помещиках-извергах, которые раздают борзых щенят по деревням своим для прокормления грудью крестьянок. Не все ли мы эти щенки, а Россия раба, кормящая грудью щенят? Говорил о барине, который сёк восьмилетнюю дворовую девочку до крови, а потом барыня приказывала ей слизывать языком кровь с пола. Не вся ли Россия эта девочка? О княгине-помещице, которая велела старосте отбирать каждый день по семи здоровых девок и присылать на господский двор; там надевали на них упряжь, впрягали в шарабан; молоденькая княжна садилась на козлы, рядом с собой сажала кучера, брала в руки вожжи, хлыст и отправлялась кататься; вернувшись домой, кричала: «Мама! Мама! Овса лошадям!» Мама выходила, приносили кульки орехов, пряников, конфет, насыпали в колоду и подгоняли девок;

¹⁴⁴ Лобанов Михаил Евстафьевич (а не Евграфович, как у Мережковского) (1787–1846) был библиотекарем Императорской публичной библиотеки, писателем, поэтом ложноклассического стиля, биографом И. А. Крылова.

они должны были стоять у колоды и есть. Не всё ли величие России, её победоносное шествие – катанье на семёрке баб?

Он говорил – и с жалобным звоном хрустальная лестница рушилась, и в чёрную пропасть падали ангелы. Он видел, как лицо Софьи бледнеет, но уже не мог остановиться; чувствовал восторг разрушения, насилия, убийства. Вечная правда земли – против вечной правды небес.

– Почему же государю не скажете? – прошептала Софья, когда он умолк. – Ведь не вы один так думаете?

– Не я один.

– Ну так вы должны сказать ему всё...

Он взглянул на портрет государя, такой похожий на неё, – и вдруг ему обоим стало жалко, страшно за обоих. Но опять небесная музыка, опять хрустальная лестница – и восторг святого разрушения, святого насилия, святого убийства.

– А вы, Софья, почему государю не скажете?

– Разве он меня послушает? Я для него ребёнок...

– Ну так и мы все ребята, щенята: сосём рабью грудь и пищим, а когда надоест наш писк, удавят, как щенят...

Последний звук виолончели замер; последние осколки хрустальной лестницы рухнули – и наступило молчание, мрак; и во мраке – белое, жирное, как опара, из квашни расплзшаяся, – лицо Крылова – лицо всей рабьей земли: «Долго ли до поросёнка под хреном?»

В лице Софьи было такое страдание, такой ужас, что Голицын сам ужаснулся тому, что сделал.

– Софочка, милая...

– Нет, оставьте, не надо, не надо, молчите! Потом... – проговорила она, ещё больше бледнея; быстро встала и пошла от него. Он хотел было идти за ней, но почувствовал, что не надо, – лучше оставить одну. Ужаснулся. Но радость была сильнее, чем ужас; радость о том, что теперь любовь к Софье и любовь к свободе для него – уже одна любовь.

Захотелось играть, шалить, как школьнику. Подсел к дедушке Крылову и шепнул ему на ухо с таинственным видом:

– Все ли с огурцами, дедушка?

– Ну, ну, чего тебе? Каких огурцов? – покосился тот недоверчиво.

– Из вашей же басни, Иван Андреевич! Помните, «Огородник и философ»:

*У Огородника взошло всё и поспело,
А Философ –
Без огурцов.*

Это ведь о нас, глупеньких. А вы, дедушка, умница – единственный в России философ с огурцами...

– Ну ладно, ладно, брат, ступай-ка, не замай дедушку...

– А только как бы и вам без огурцов не останься? – не унимался Голицын. – У дядюшки-то моего, в министерстве, знаете что? На баснописца Крылова донос...

И рассказал, немного преувеличивая, то, что действительно было. Филарет московский, составитель катехизиса, предлагал запретить большую часть басен Крылова за глумление над святыми, так как в этих баснях названы христианскими именами бессловесные животные: Медведь – Мишкой, козёл – Васькой, кошка – Машкой, а самое нечистое животное, свинья, – Февроньей.

Крылов остолбенел, вытаращил глаза, и рот у него перекосялся так, что казалось, вот-вот сделается с ним второй удар. Голицын уже и сам не рад был шутке своей.

Подошла Марья Антоновна и, когда узнала, в чём дело, рассмеялась:

– Крылышко, миленький, как же вы не видите, что он пугает вас нарочно? Никакого доноса нет, а если б и было что, разве мы ваг в обиду дадим?

– Матушка!.. Марья Антоновна!.. Кормилица! – лепетал Крылов, и целовал её руки и готов был повалиться в ноги.

Долго ещё не мог успокоиться, всё крестился, чурался, отплёвывался:

– Ахти, ахти!.. Грех-то какой!.. Февронья-Хавронья... А мне и невдомёк... Господи, Матерь Царица Небесная!..

Наконец позвали ужинать. Только войдя в столовую и увидев поросёнка, который, оскалив мордочку, улыбнулся ему ласково, как внучек дедушке, Иван Андреевич успокоился окончательно, выпил рюмку водки, подвязал салфетку, и опять воцарилась на лице его ясность невозмутимая:

*А мне что говорить ни станут
Я буду всё твердить своё:
Что впереди – Бог весть, а что моё – моё.*

Уходя от Нарышкиных. Голицын встретился на лестнице с князем Трубецким и сказал ему, что о своём поступлении в тайное общество завтра, после свидания с Аракчеевым, даст решительный ответ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Милый друг Софа, сегодня я не приду к вам, как обещал. Я устал на заупокойной обедне, и хотя ноге моей лучше, но она всё-таки даёт себя чувствовать. Штофреген¹⁴⁵ говорил мне, что вы опять больны. Он жалуется, что вы недостаточно бережётесь. Если б вы знали, как это огорчает меня. Прошу вас, дитя моё, исполняйте советы медиков в точности: всякая неосторожность в здешнем климате может быть для вас пагубна. Будьте же умницей, слушайтесь докторов и лечитесь как следует. Только что выберу свободную минуту, приеду к вам и надеюсь видеть вас уже здоровой. Государыня целует вас. Медальон с её портретом почти готов, я сам привезу его вам. Храни вас Бог.

*11 марта 1824 г.
С.-Петербург»*

Это письмо государя написанное по-французски, передала Софье старая няня Василиса Прокофьевна. Когда Софья прочла его, ей захотелось плакать.

– Ну хорошо, ступай, – проговорила она, едва удерживая слёзы.

– Лекарство принять извольте, барышня!

С решительным видом Прокофьевна взяла склянку с лекарством и ложку.

– Не надо, оставь. Потом. Сама приму... Ступай же!

– Давеча не приняли и теперь не хотите!..

– Ах, няня, няня! Господи, какая несносная... Да ступай же, говорят тебе, ступай!.. – прикрикнула на неё Софья, и слёзы детского упрямства, детской обиды задрожали в голосе.

Но старушка не уходила и, налив лекарство в ложку, продолжала ворчать:

– Доктор небось велел аккуратно, а вы что? И маменьке обещали, и папеньке...

Поднесла к самым губам её ложку.

– Сейчас принять извольте.

Ложка дрожала в старых руках, вот-вот расплещется. Когда Софья представила себе, что проглотит мутно-жёлтую густую жидкость с отвратительно знакомым вкусом, вкусом болезни, ей показалось, что её стошнит. Склонённое над нею, с поджатым, ввалившимся ртом, сморщенное лицо старушки, назапамятно-родное, милое, всё, до последней морщинки нежно любимое, вдруг сделалось ненавистным, тошным, как вкус лекарства. Ей казалось, что она больна не от болезни, а от няни, от мамы, от доктора, от Шувалова, от всех, кто к ней пристаёт, мучит её. Злобно оттолкнула протянутую руку. Ложка упала на пол, лекарство пролилось.

– Матерь Царица Небесная! – взахалась Прокофьевна. – Ковёр залили! Ужо Филатыч увидит... Что же это такое, Господи? Что за ребёнок! Ни лаской, ни сердцем! Погоди-ка,

¹⁴⁵ Штофреген – придворный лейб-медик.

сударыня, вот ужо скажу папеньке...

«Какому папеньке?» – подумала Софья. Няня называла когда-то Дмитрия Львовича папенькой, теперь – государя, а прежнего папеньку – дяденькой или просто барином, его превосходительством; только иногда путалась и стыдилась. Разве она маленькая? Разве не знает всего? Чего ж стыдиться? Два так два.

Старушка вышла. Слава Богу, теперь можно подумать, поплакать. Но только что уселась поудобнее, поджала под себя ноги, закуталась в старенький нянин платок и начала думать – слышались старческие, шаркающие шаги. Прокофьевна вернулась с полотенцем. Кряхтя, опустила на олени, вытерла пол и опять начала наливать лекарство в ложку. Софья вскочила, вырвала у неё склянку, бросила её в камин – бутылка разбилась вдребезги, лекарство зашипело на горящих углях, – и закричала, затопала:

– Вон! Вон! Вон!

– Воля ваша, Софья Дмитриевна, а только как заболете опять, сляжете – хуже будет. Бог вам судья, не жалеете вы папеньку...

– И не жалею, и заболелю, и слягу, и умру, умру, подохну... И пусть! Так мне и нужно. Оставьте меня, оставьте! Ради Бога! Не мучьте... Не могу я больше, не могу! Уходи же! Уходи! Уходи!

Бросилась лицом в подушку зарыдала, худенькие плечи задёргались от разрывающей судороги кашля.

Когда успокоилась и подняла лицо, няни уже не было в комнате. На носовом платке увидела привычное алое пятнышко. Надо будет спрятать от няни, от маменьки, от папеньки, от доктора, от всех. А то опять пойдут разговоры: кровью кашляет, на юг везти. А лучше умереть, чем уехать сейчас.

Жаль няню. За что обидела? Где-нибудь плачет теперь. Пойти помириться. Но когда встала – почувствовала, что нога подкашиваются, в глазах темнеет. А может быть, это день такой тёмный? На дворе бесконечная мартовская оттепель с мокрым снегом.

Опять опустилась на диван, поближе к огню, уселась «какорою», как говорила няня, подобрала ноги, руками обняла колени, съёжилась вся, сделалась маленькой, с головой закуталась в платок.

Перечла письмо, поцеловала то место, где сказано о государыне. Вспомнила свои редкие, словно запретные и влюблённые, встречи с нею – то в церкви, то во время прогулки на набережной, в Летнем саду или на Крестовском острове; вспомнила её усталое, почти старое, но всё ещё прекрасное, не женское, а девичье лицо; благоуханную свежесть, как будто не духов от платья, а от неё самой, как от цветка; торопливые, словно тоже запретные и влюблённые, ласки; тепло поцелуев и слёз её на лице своём и робкие взоры, которыми оглядывалась императрица, как будто боялась, чтобы их не увидели вместе; и почти безумный, жадный, страстный шёпот: «Девочка моя милая, любишь ли ты меня хоть чуточку?» – и свой ответный такой же безумный, страстный шёпот: «Люблю, маменька, маменька!» – и такое при этом счастье, какое бывает только во сне. Тогда, ребёнком, сама не понимала, что говорит; потом поняла. Да, другая настоящая мать, как другой настоящий отец. Два отца, две матери. Но она ведь знает, что настоящая мать одна. Так почему же? Нет, – лучше об этом не думать. Страшно.

Хотелось опять кашлять, но удерживалась, а то будет кровь; если много, то не спрячешь. Вспомнилась крошечная обезьянка Тинька, её любимица, которая не вынесла петербургской зимы, простудилась, долго кашляла, дрожала от озноба, вся скорчившись и сидя тоже какорою, поближе к огню; глядела на всех жалкими детскими глазами, странно, по-птичьему языком щёлкала и наконец умерла от чахотки.

Тинькой её прозвала няня, потому что несколько похожа была на эту обезьянку Софьиная француженка, мадам д'Аттиньи; няня звала её тоже Тинькой, недолюбливала обеих – мартышку, похожую на чёрта, и мадам, похожую на ведьму. Ходили слухи, будто в ранней молодости, ещё во время Великой революции, мадам д'Аттиньи была первосвященницей Авиньонского тайного общества, основанного графом Фаддеем Грабянкою,¹⁴⁶ который

¹⁴⁶ Грабянка Фаддей (Тадеуш) (ум. 1807) – польский граф, мистик, последователь Эммануила Сведенборга. Созданное им «Авиньонское общество», или «Общество Нового Израиля», представляло собой один из

занимался чёрной магией. Через него мадам д'Аттиньи, «великая мать богов, Геката, Диана, царица неба и ада, современная хаосу», как называли её adeпты, поступила гувернанткой к Нарышкиным. Умерла в глубокой старости; перед смертью впала в детство, сморщилась, ссохлась и сделалась ещё больше похожа на обезьяну.

Всю ночь сегодня в бреду Софье снилась Тинька, не то мадама, не то мартышка: бегают будто, прыгает по комнате, языком щёлкает: «Я – Геката, я – Диана, я – великая мать богов!» Потом вдруг вскочила ей на грудь, стала душить. Снилось также, что дедушка Крылов сечёт маленькую девочку до крови и кричит ей: «Тинька, Тинька, слижи кровь языком!» – и девочка, ползая на карачках по полу, сморщивается, ссыхается, становится Тинькою и языком слизывает кровь. А потом – будто множество маленьких, чёрненьких полущенят-полумартышек присосалось к белым, толстым грудям бабы Ненилы, покровской скотницы. Вот и сейчас, кажется, забралась к ней Тинька под платок и холодной лапкой щекочет ей горло, так что хочется кашлять до крови.

Очнулась: с усилием открыла глаза; поняла, что бредит. Неужели и правда заболела, сляжет опять, как в прошлом году, до самого лета, – так и не увидит «настоящей маменьки»? Нет, вздор, не надо поддаваться болезни. Вот угрелась – и прошёл озноб; только жарко, душно под платком. Скинула его, встала, подошла к окну.

Окно зеркальное, в полукруглом балконе-фонарике, выходящем на Фонтанку. Посмотрела в обе стороны, к Симеоновскому мосту и к Невскому: не промелькнёт ли знакомая тёмно-синяя карета с бородатым кучером Ильёю? Намедни тоже папенька писал, что не будет, а потом приехал. Кареты не было, а тянулись похоронные дроги с маленьким гробиком, сосновым, белым, парчой не прикрытым; вместо парчи – серый мокрый снег. За гробиком шёл старый, плешивый, красноносый чиновник в куцей шинелишке, похожей на женский салоп, шатался, как пьяный, не то от горя, не то от водки; крошечная девочка вела его за руку, должно быть, сестрица покойника. По ухабам и ямам раскачивались дроги так, что вот-вот гробик свалится в грязь.

Небо мутно-жёлтое с тёмно-серыми пятнами. И сыплется оттуда изморось – не то льдистый дождь, не то мокрый лёд. Оттепельный, чёрный, страшный город похож на труп, с которого сорвали саван. И трупным запахом проникает мутно-жёлтый, удушливо-едкий туман сквозь окно в комнату, сжимает горло, саднит грудь так, что нечем дышать. А на другой стороне Фонтанки, на челе казённого здания, Екатерининского института, парит с распростёртыми крыльями двуглавый орёл. Над чёрной петербургской слякотью, над чёрным оголённым трупом кажется он зловещим и нелепо торжественным.

Опять подкосились ноги, потемнело в глазах. Оперлась о подножие бюста. Это был снимок с Торвальдсенова мрамора¹⁴⁷ – изваяние императора Александра I.

Когда прошла темнота в глазах, взглянулась в мрамор. Он ей не нравился: родное лицо казалось чужим; напоминало виденных в музеях древних римских императоров: Траяна, Антонина, Марка Аврелия, та же печально-покорная, как бы вечерняя, ясность и благодать в чертах. Пухлые бритые щёки с ямочками; короткий, тупой, упрямый нос; плешивый крутой лоб; на лбу суровая, почти жестокая морщинка, а на извилистых, тонких, немного вдавленных, как будто старушечьих, губах – недвижно-любезная улыбка.

Взглянула, сравнивая, на висевший в той же комнате портрет императрицы Екатерины. Да, у обоих, у внука и у бабушки, одна улыбка. Двусмысленно противоречие между этою слишком ласковой улыбкой губ и жестокой морщиною лба.

Вспомнилось, как, бывало, ребёнком, когда долго не видала отца и соскучивалась по нём, – тайком от всех подходила к бюсту, взбиралась на стул, становилась на цыпочки и, закрыв глаза, целовала холодный мрамор, пока не теплел он, – как будто отвечал на её поцелуй

многочисленных в то время масонских орденов. Что было не очень характерно тогда для масонов, в этот орден допускались и женщины, одной из которых была упомянутая Мережковским Лемер д'Аттиньи.

¹⁴⁷ Торвальдсен, Бертель (1768–1844) – выдающийся датский скульптор. Президент Римской академии Св. Луки и Академии художеств в Копенгагене.

поцелуем.

Так и теперь прижалась к нему жаркой щекой. Но тотчас отняла её; озноб пробежал по телу, как холод смерти; в мутно-жёлтом свете дня желтизна мрамора напоминала тело покойника. Слепыми белыми зрачками смотрела на неё страшная кукла с двусмысленной улыбкой.

Софья закрыла глаза, стараясь увидеть живое лицо его, но не могла. Сделалось так больно, что казалось, умрёт, если не увидит его, живого, сейчас.

Внизу, у крыльца, слышался стук кареты. «Папенька! Папенька!» Бросилась к окну. Но это была карета Шувалова. Он вошёл в подъезд. Неужели сюда, к ней? Прислушалась.

По далёкому хлопанью дверей поняла, что прошёл к маменьке. Слава Богу!

Продолжала смотреть на улицу, всё ещё надеясь. Там громыхали только телеги мясников, должно быть, с бойни; из-под мокрых рогож торчали окровавленные раскоряченные туши. Ей казалось, что она слышит запах сырого мяса, видит, как тёплая красная кровь капает на чёрную грязь.

Зажмурила глаза, чтобы не видеть. С трудом волоча ноги, вернулась на диван у камина, повалилась в изнеможении, но не закрывала глаз, чтобы опять не начался бред, смотрела пристально сквозь открытые двери в соседнюю белую залу с колоннами, где вчера давался концерт. Почти против двери – большое зеркало, в котором отражался портрет юного императора. Из таинственной, зеркально-тёмной, как будто подводной, глубины улыбался ей всё той же вечной двусмысленной улыбкой голубоглазый пепельнокудрый мальчик.

О чём уже давно хотела подумать? Да, о Шувалове и Голицыне. Почему граф Андрей, непонятный, ненужный, далёкий, – её жених, а не Валя, родной, близкий? Дурочкой была, когда согласилась: ничего не знала; теперь знает, что значит быть замужем.

В прошлом году в Париже, во время укладки вещей, – маменьки не было дома, – попалась ей в руки маленькая золотообрезная книжечка в пергаменте, антверпенское издание с непристойными картинками. Долго рассматривала их, удивлялась, ужасалась, но не понимала. Вдруг поняла всё или почти всё; поняла, почему, много лет назад, когда раз нечаянно вошла в комнату, тогдашний маменькин друг, молодой генерал-адъютант Ожаровский, вскочил, испуганный, красный, растрёпанный, похожий на непристойную картинку, и маменька на неё закричала, едва не прибила неизвестно за что; поняла, почему и другие бесчисленные маменькины друзья, чужие люди, становились как будто родными; сажали её, Софочку, к себе на колени, ласкали, называли своею дочкою, а ей было скучно, страшно от этих ласк. Вспомнила рассказ в старинном московском «Журнале для милых»: как Аглантин и Аннушка купались вместе в речке, подобно Адонису и Венере; а потом, когда Аннушка горько о чём-то заплакала, Аглантин её утешал: «Я тебя уверяю, мой друг, что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное»...

Тогда, после тех антверпенских картинок, заболела от ужаса и отвращения к матери, к Шувалову, к себе, ко всем людям, ко всему миру. Один Валя казался ей чистым, и она была уверена, что он бы понял её. «Натуральное наслаждение!» Если такова натура и Сам Бог устроил так, то она не хочет мира, не хочет Бога. Ей казалось, что она больна и, может быть, умрёт – не от болезни, а от этого.

В соседней белой зале слышались приближающиеся голоса: Шувалов, маменька. Софья вскочила, чтобы убежать: не могла их видеть сейчас. Но вдруг остановилась, окаменела, глядя широко раскрытыми глазами в глубину зеркала. Опять бредит, что ли? Нет, слишком ясно видит то, что видит: Шувалов целует Марию Антоновну, и у обоих такие лица, как тогда, когда Софья вошла нечаянно в комнату, где Ожаровский делал что-то с маменькой. Непристойная картинка. Жених – с матерью. А голубоглазый мальчик улыбался им двусмысленной улыбкою.

С тихим стоном, протянув руки вперёд, как будто защищаясь от привидения, Софья упала навзничь на диван. Всё помутилось, поплыло в глазах её, и сама она плыла, утопала в бездонной глубине.

Очнулась. Увидела над собой лицо матери и опять лишилась чувств.

Но матери уже не было в комнате, когда очнулась во второй раз, окончательно. Слышались шаркающие шаги Прокофьевны – и вдруг вблизи знакомый голос:

– Да скоро ли доктора?

– Папенька! Папенька!

Он обернул к ней лицо, испуганное, бледное, бросился к дивану, стал на колени и, наклонившись над ней, поцеловал её в лоб.

– Ну слава Богу, слава Богу! – перекрестился. – Софочка, милая, вот напугала-то!..

Обвив ему шею руками, она вся прижималась к нему, цеплялась за него, как утопающая.

– Папенька! Папенька! Папенька!

Немного приподнялась, отстранилась и всего оглядывала, ощупывала, как будто желала убедиться, что это он. Да, он, живой, настоящий, не холодная мёртвая кукла, не древний римский император, а живой, родной, тёплый, настоящий папенька. Оглядывала, ощупывала, трогала пальцами. Вот пухлые бритые щёки с ямочками, с двумя полосками золотистых бакенов, и мягкий раздвоенный подбородок, и гладкий плешивый лоб с остатками белокурых выющихся волос, начёсанных кверху, и между нависшими бровями – морщинка, не гневная, а только грустная, жалкая; и жалкие, грустные, детские прозрачно-голубые глаза; и на губах, прелестно очерченных, юных, улыбка не лукавая, а пленительно-нежная, тоже детская, беспомощная. И сутулые плечи, немного наклонённые вперёд; и тучный, но всё ещё стройный стан, затянутый в узкий тёмно-зелёный кавалергардский мундир с серебряными погонами; и стройные, словно изваянные, ноги в лакированных ботфортах с острыми кончиками. Да, весь родной, любимый, возлюбленный.

Опять прижалась к нему, полужакрыв глаза, улыбаясь.

– Ну вот видишь, дружок, не надо было вставать; доктор правду говорил: лежала бы – ничего бы не было...

– Да ничего и нет, папенька! Я совсем здорова. Маленький жар, пройдет.

– Ну где же здорова? Вон кашляешь, голова горячая, и руки как лёд. Будь умницей, пойдем-ка, ляг: сейчас доктор придет.

– Зачем доктор? – заговорила она по-французски, изредка вставляя русские слова, как обыкновенно говорила с ним. – Я не буду больна, не буду кашлять. Только не уходите, ради Бога, не уходите! Не могу я без вас. Если бы вы знали, как страшно, как страшно...

– Да что тут было? Что такое? Скажи...

– Нет, не надо. Не говорите, не спрашивайте! Ничего не надо. Только бы так с вами долго, долго, всегда. И всё хорошо будет, всё пройдет. И никого не надо. Только вы и маменька... ох, нет, нет... не та, а другая, настоящая маменька...

Он думал, что она бредит, но, взглядевшись в лицо её, понял, что это не бред.

– Что ты, дружок? Господь с тобой! Разве можно так о матери?..

– Не мать! Не мать! Не могу я больше, не могу, не хочу!.. Страшно, гадко... папенька, папенька, возьми меня отсюда! Разве не видишь, что я не могу...

Зарыдала и, бросившись к нему на шею, опять охватила его руками, уцепилась за него, как утопающая.

– Ну полно же, полно, дружок! О чём ты? Ведь я же тебе обещал: когда выйду в отставку, уедем с тобой и будем вместе, всегда вместе...

– Да, папенька, ты обещал, помнишь? Только когда же, Господи?..

Заглянула ему в глаза пристально. Увидела, что он думает сейчас о другом, о своём, – может быть, таком страшном, как и то, что было с нею. О чём же? Вдруг вспомнила: 11 марта, годовщина смерти императора Павла I. Знала, какой это день для него; знала, что дедушка умер не своею смертью и что отец всегда об этом думает, мучается этим, хотя никогда ни с кем не говорит. Если и не знала всего, то угадывала. Сколько раз хотела заговорить, спросить, но не смела. И теперь не посмела; только повторила вслух:

– Одиннадцатое марта, одиннадцатое марта...

Он смотрел на неё так же пристально, как она, и по лицу его пробежала тень; появилось, как в мраморном лице, двусмысленное противоречие между слишком суровою морщиною лба и слишком ласковой улыбкою губ.

– Вы сегодня в церкви, папенька... заупокойная обедня длинная... устали, измучились?.. А тут ещё я... И нога болит? Ведь болит, а?

– Нет, ничего.

– Ну зачем приехали? Сидели бы дома... Нет, нет, нет, хорошо, что приехали! Ох,

хорошо, Господи! Я бы тут умерла без тебя...

Он больше не расспрашивал. Оба чувствовали, что между ними то, о чём нельзя говорить: лучше понимать и жалеть молча. Он был так же одинок и беспомощен, как она; так же за неё цеплялся, как утопающий. Одной рукой держал её голову, другой – тихонько гладил волосы, – качал, баюкая.

Опять, улыбаясь, полузакрывает глаза, дышала всё тише и тише, но заснуть боялась, чтобы не ушёл во сне. И сквозь дремоту казалось ей, что в селе Покровском, у пруда, за теплицами, тринадцатилетняя девочка в коротеньком белом платье вместе с братом-женихом возлюбленным – читает старую, страшную, милую сказку:

*Кончен путь; ко мне, Людмила!
Нам постель – темна могила,
Завес – саван гробовой.
Сладко спать в земле сырой...*

– Папенька... Валенька... – шептала в полусне.

И кто – отец любимый, кто – жених возлюбленный, уже не могла отличить. Оба – одно. И любит вместе обоих.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Свиданье с Аракчеевым было страшно князю Валерьяну Голицыну, хотя он и смеялся над этим свиданием.

Знал, что у государева любимца – белые листы бумаги, бланки за царскою подписью; он мог вписать в них что угодно: чины, ордена или заточение в крепость, ссылку, каторгу. Мог также оскорбить, ударить – и чем ему ответить?

«Я друг царя, – говаривал, – и на меня жаловаться можно только Богу».

Несколько лет назад прошёл слух, будто сочинителя Пушкина высекли розгами в тайной полиции; лучшие друзья поэта передавали об этом с добродушной весёлостью. «Может ли быть?» – сомневались одни. «Очень просто, – объясняли другие, – половица опускается, как на сцене люк, куда черти проваливаются; станешь на неё и до половины тела опустишься, а внизу, в подполье, с обеих сторон по голому телу розгами – чик, чик, чик. Поди-ка жалуйся!»

Да что поэт или камер-юнкер, когда великие князья трепетали перед змием. Преображенским офицером, стоя на карауле в Зимнем дворце, князь Валерьян увидел однажды, как Николай Павлович и Михаил Павлович, тогда ещё совсем юные, сидя на подоконнике, ребячились, шалили с молодыми флигель-адъютантами; вдруг кто-то произнёс шёпотом: «Аракчеев!» – и великие князья, соскочив с подоконника, вытянулись, как солдаты, руки по швам.

Да, страшно; но под страхом – надежда.

Года два тому назад Голицын подал государю записку об освобождении крестьян и о конституции как о близком будущем, воле самого императора, с высоты престола объявленной.

О записке с тех пор ни слуху ни духу, как в воду канула. Да он уже и сам не верил в мечты свои, знал, что надеяться не на что; а всё-таки надеялся: что если государь пожелает видеть его, – он скажет ему всё – и тот поймёт.

Вспоминал портрет юного императора: белые, в пудре, выющиеся волосы, цвет кожи бледно-розовый, как отлив перламутра, тёмно-голубые глаза с поволокою, прелестная, как будто не совсем проснувшаяся улыбка детских губ. Похож на Софью, как брат на сестру.

Иногда Голицыну снилось это лицо, и не знал он, чьё оно, – отца или дочери, – но во сне влюблён был в обоих вместе, как некогда влюблена была вся Россия в прекрасного отрока.

– Я желал бы видеть всюду республики: это единственная форма правления, сообразная с правами человечества, – говаривал государь с этой детскою улыбкою. А потом, после

чугуевской бойни,¹⁴⁸ где проводили людей сквозь строй по двенадцати тысяч раз, – плакал на груди Аракчеева: «Я знаю, чего это стоило твоему чувствительному сердцу!»

Отец Софьи и друг Аракчеева, республика и шпицрутены, ожидание чуда и ожидание розог – всё смешалось, как в бреде, в мыслях Голицына. Чтобы отвязаться от них, лёг спать.

Дурной сон приснился: похоронное шествие; в открытых гробах – скелеты и уродцы в банках со спиртом; всё знакомые лица – старые приятели, члены тайного общества; он и сам плавает в спирту, похожий на бледную личинку, – гомункул в очках.

Проснувшись, долго не мог понять, что это было; наконец понял: профессора Казанского университета хоронили анатомический кабинет по предложению Магницкого.

Когда на следующий день, в назначенное время, к шести часам вечера, князь Валерьян вошёл во флигель-адъютантскую комнату Зимнего дворца, находившиеся там генерал-адъютанты Уваров,¹⁴⁹ Закревский,¹⁵⁰ князь Меншиков,¹⁵¹ Орлов¹⁵² приветствовали его особенно ласково.

– За твоё здоровье, князенька, свечку пудовую: обругал подлеца как следует! – сказал, пожимая ему руку, Меншиков.

– Воистину – *гадина*! – воскликнул Орлов.

– Змий! – добавил Закревский.

– Ну какой змий? Просто *ночанка*! – возразил Уваров и рассказал, как у одного мужика в Грузии нашли в платье засушенную летучую мышь, «ночанку», которую носил он при себе для того будто бы, чтобы извести колдовством Аракчеева; а тот засёк его до смерти, приговаривая: «Буду я тебе сам ночанкою!» Так вот и для всей России ночанкою сделался.

– И неужели же никого не найдётся, чтобы открыть государю глаза на этого изверга? – заключил Уваров.

Из приотворённой двери высунул голову с плоским, деревянным кукольным лицом адъютант Аракчеева, немец Клейнмихель.¹⁵³

– Пожалуйте, князь!

Голицын вошёл в секретарскую, большую тёмную комнату с окнами на дворцовый двор.

У стола, крытого зелёным сукном, сидел Аракчеев. Перед ним стоял старый генерал, может быть, один из боевых генералов двенадцатого года, сподвижников Багратиона и Раевского в тех славных боях, в которых царский любимец не принимал участия «по слабости нервов». Слушая выговор, как школьник, виновато горбил он спину и вбирал голову в плечи; не видя лица его, – он стоял к нему спиною, – Голицын видел по гладкой и красной, как личико новорождённого, лысине, по вздувшейся над воротником сине-багровой складке шеи, что старик ни жив ни мёртв.

– Не думаете ли вы, сударь, отлынять от службы, видя, что у меня камер-юнкерствовать

¹⁴⁸ Имеется в виду бунт военных поселенцев в г. Чугуеве Харьковской губернии в 1819 г.

¹⁴⁹ Уваров Фёдор Петрович (1773–1824) – герой Отечественной войны, позже член Государственного совета, генерал-адъютант.

¹⁵⁰ Закревский Арсений Андреевич (1783–1865) – граф, генерал-адъютант, позже генерал от инфантерии. Участник Отечественной войны, позже, при Николае I, министр внутренних дел, московский генерал-губернатор.

¹⁵¹ Меншиков (Меншиков) Александр Сергеевич (1787–1869) – генерал-адъютант, позже адмирал, начальник Главного морского штаба, командующий русской армией в Крыму на первом этапе Крымской войны.

¹⁵² Орлов Алексей Фёдорович (1786–1861) – граф, впоследствии князь, государственный деятель и дипломат. Участник Отечественной войны (получил семь ранений при Бородине), генерал-адъютант с 1820 г. Будучи братом декабриста Михаила, принял, однако, активное участие в подавлении выступления 14 декабря, первым из командиров полков присягнув Николаю. С 1856 г. – председатель Государственного совета.

¹⁵³ Клейнмихель Пётр Андреевич (1793–1869) – генерал-адъютант, начальник штаба военных поселений, затем главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями.

не можно? – говорил Аракчеев гнусавым, ровным, тихим, почти шёпотным голосом: нельзя говорить громко в покоях государевых. – Предписание за номером тысяча восемьсот семьдесят третьим, которое поставило будто бы вас в невозможность исполнять обязанность вашу в точности, совсем не требует от вашего превосходительства никаких невозможностей, коих, впрочем, по службе и быть не должно...

Видно было, что может говорить так, не переводя духа, не изменяя выражения лица и голоса, час, два, три – сколько угодно.

Голицыну случалось видеть Аракчеева; но теперь вглядывался он с особенным любопытством, как будто видел его в первый раз.

Лет за пятьдесят. Высок ростом, сутул, костляв, жилист. Поношенный артиллерийский тёмно-зелёный мундир; между двух верхних пуговиц – маленький, как образок, портрет покойного императора Павла I. Лицо – не военное, а чиновничье. Впалые бритые щёки, тонкие губы, толстый нос, слегка вздёрнутый и красноватый, как будто в вечном насморке. Ни ума, ни глупости, ни доброты, ни злобы – ничего в этом лице, кроме скуки. Полуоткрытые над мутными глазами веки делали его похожим на человека, который только что проснулся и сейчас опять заснёт.

– Я люблю, чтобы все дела шли порядочно – скоро, но порядочно; а иные дела и скоро делать вредно. Всё сие дано нам от Бога на рассуждение, ибо хорошее на свете не может быть без дурного, и всегда более дурного, чем хорошего...

За окном шёл мокрый снег. В комнату вползали серые, как паутина, сумерки. И в серой паутине сумерек, в серой паутине слов была скука нездешняя, которой, должно быть, в гробах своих скачуют мёртвые; страшно было от скуки.

Аракчеев кивнул головой в знак того, что аудиенция кончена. Пыхтя и отдуваясь, потный и красный, как из бани, генерал вышел из комнаты.

Голицын подошёл к столу.

– Князя Александра Николаевича племянничек?

– Точно так, ваше сиятельство!

– Ну, князь, два дела к вам... Первое: за ношение очков в присутствии особ августейших государь повелел сделать вам замечание строжайшее. Второе – касательно записки вашей...

Подавал ему бумагу, на которой большими буквами, красным карандашом, его, Аракчеева, собственной рукой написано было с тремя ошибками в пяти словах: «Возвратить бумаги сии по ненадобию в оных».

– Вы уж на меня, старика, не погневайтесь, – посмотрел ему не в глаза, а в брови (никогда не смотрел собеседнику прямо глаза), и лицо его вдруг сделалось ехидно-ласковым. – Я человек простой, неучёный; как бедный новгородский дворянин, совершенно по-русски воспитан; у дядьки учился грамоте, по Часослову; мудрено ли, что мало знаю? Вот и в записке вашей – при простом уме моём никак в толк не возьму – о какой конституции писано? Сколько лет на свете живши, о том не слыхал и полагал доселе, что у нас в России правление самодержавное...

Опять нескончаемая паутина слов; опять страшно, скучно нездешнюю скукою.

Вдруг встал, перешёл от стола к камину и поманил Голицына пальцем: не хотел, должно быть, чтобы адъютант слышал. Когда Голицын подошёл, взял его за пуговицу и зашептал почти на ухо, ещё ласковей, вкрадчивей:

– Я всегда, ваше сиятельство, в оном несчастлив, что обо мне дурно публика думает. Ну, да ведь и то сказать, один умный человек спрашивал: сколько дураков нужно, чтобы составить публику? Посему и не весьма опасаясь санкт-петербургского праздноголаголания: собака лает, ветер носит. Была бы совесть чиста... Вещица сия, изволите видеть, как называется?

– Экран, ваше сиятельство!

– Экран, да-с! Ну так вот и ваш покорный слуга всё равно что экран; за моей спиной что ни делается, а моим лицом всё покрывается. Валят на меня, как на мёртвого. И ругают за всё: Аракчеев – злодей, Аракчеев – изверг, Аракчеев – гадина. А вся-то вина моя, что никому не льщу, по прямому моему характеру, да волю государя императора исполняю в точности. Что велит, то и делаю. Хоть конституцию, хоть самую республику велит – сделаю... Мне что?

«А ведь не глуп, – удивился Голицын. – Только что ему от меня надо?»

– Вот и дядюшка ваш, князь Александр Николаевич, меня, старика, не жалуёт: а я зла

никому не помню, по закону евангельскому: любите ненавидящих вас. И в тебе, голубчик, князь Валерьян Михайлович, уверен, что ты меня полюбишь, видя, что я с тобой обхожусь как истинный христианин...

Умолк – и веки, над мутными глазами полузакрытые, закрыл совсем, как будто забыл о собеседнике и, угревшись у камина, стоя задремал. Голицын тоже молчал, рассматривая лицо его вблизи; заметил неожиданную в этом лице странную, мягкую на раздвоенном подбородке ямочку и почему-то не мог отвести от неё глаз. Вспомнилось ему «чувствительное сердце» Аракчеева, которого пожалел государь после чугуевской бойни; вспомнилась также дворовая девка Настасья Минкина, которая в минуту нежности целовала Аракчеева, должно быть, в эту самую ямочку.

А тот вдруг медленно-медленно приоткрыл один глаз, как будто исподтишка подмигивая, и посмотрел опять не в глаза, а в брови.

– А что, князь, давно ли вы членом тайного общества?

– О каком тайном обществе, ваше сиятельство, говорить изволите? – ответил Голицын с таким спокойным недоумением, что сам себе удивился; но сердце у него упало, – подумал: «Начинается!»

– Не знаете? Ну а мы всё знаем, всё знаем, и не только о вас, но и о дядюшке...

– Дядюшка – в тайном обществе! – не удержался Голицын, и хотя спохватился тотчас, но было поздно.

– Что же так удивились, если ничего не знаете? А может, и знаете что, да забыли? А?

– Если бы и знал что, ваше сиятельство, то не мог бы ничего сказать, не быв подлецом и доносчиком! – ответил Голицын, бледнея уже не от страха, а от злобы.

– Ну полно, князь, полно! Не хочешь, и не надо. Я ведь с тобой как отец говорю, тебе же добра желаю, чтобы сделать из тебя, по уму твоему, государю человека полезного. Очки – пустое, а ты на хорошем счету: по Веронскому конгрессу помнит тебя государь вместе с графом Шуваловым, женихом Софьи Дмитриевны, и всегда отзываться изволит милостиво. Сегодня – камер-юнкер, завтра – камергер. Ни за что я, дружок, тому не поверю, что есть такой на свете камер-юнкер, который не желал бы камергером сделаться... Подумай, князь, подумай хорошенько. Утро вечера мудренее. Да приезжай-ка в Грузино – там потолкуем. Посети старика, милости просим, я очень желаю видеть ваше сиятельство у себя в Грузинской пустыне...

«Твоим вниманием не дорожу, подлец!» – вспомнился Голицыну рылеевский стих, когда к двум протянутым пальцам Аракчеева – знак редкой милости – прикоснулся он, чувствуя, что этою ласкою хуже, чем розгою, высечен.

Приём кончился. Клейнмихель ушёл.

Аракчеев, подойдя на цыпочках, словно крадучись, к двери в первую из двух зал, которые отделяли секретарскую от кабинета государева, приотворил дверь осторожно и позвал шёпотом:

– Ефимыч? А Ефимыч?

– Здесь, ваше сиятельство! – тем же осторожным шёпотом ответил государев камердинер Мельников.

– Не звал государь?

– Никак нет.

– Никого не было?

– Никого.

Всё также крадучись, на цыпочках, прошли обе пустынные залы. Когда половица скрипнула под ногой Мельникова, Аракчеев замахал замахал на него руками. Во всех движениях его была бесшумно-шуршащая мягкость летучей мыши – ночанки.

Остановившись у двери кабинета, затаив дыхание, как будто умирающий был там, за дверью, прислушались. Сперва Мельников, потом Аракчеев наклонился привычно ловким движением к замочной скважине и приложил к ней глаз: государь сидел один, читая книгу. Переглянулись молча.

Опять вернулись в секретарскую.

– Проводи отца Фотия, чтоб никто не видал.

- Слушаю-с, ваше сиятельство!
- Князевой кареты с набережной не было?
- Не было.
- А с Эрмитажа?
- И оттуда не было. Везде люди поставлены: не пропустят.
- Смотри же: если что, сейчас доложи.
- Будьте покойны, ваше сиятельство!
- Да кучеру Илье скажи, не забудь: ежели государь на Фонтанку поедет – курьера ко мне на Литейную тотчас же.

На Фонтанку – значило к министру духовных дел князю Александру Николаевичу Голицыну.

Аракчеев вынул из кармана золотую табакерку и сунул в руку Мельникова. Тот не понял, открыл её, понюхал с таким благоговением, как будто к мощам приложился, и хотел отдать.

– Возьми, Ефимыч, на память.

– Ваше сиятельство! И так милостями осыпан... Не знаю, как за вас Бога молить! – проговорил, целуя ему руку, Мельников.

– Смотри же, братец, чтоб всё в аккурате было.

– Будьте покойны, ваше сиятельство!

Когда камердинер ушёл, Аракчеев сел в кресло у камина и вынул из портфеля письмо.

«Любезный мой отец и благодетель, батюшка, ваше сиятельство! Нет вас – нет для меня веселья и утешенья, кроме слёз: всё плачу да плачу; воображаю, мой отец, что выходите из спальни и целуете меня за сюрприз. А подумаю, что вас нет, – так слезами и зальюсь. Если вы останетесь ещё долго там один, то лучше уж прямо к вам на Литейную в тележке приеду, чем представлять вас каждую минуту с растерзанным сердцем. А у нас, батюшка, на мызе благополучно. Люди здоровы, а также скот и птицы. Только в молошнике разбил крышку фарфоровую Матюшка, и я его за то высекла; и Нефёда, и Финогена повара, по вашему, отец, приказу, также высекла хорошенечко. А Французенка и Осенняя Фаворитка отелились на прошлой неделе. В оранжерейных рамах стёкла вставили. А солёной телятины две кадушки попортились; я людям на кухню сдала. Поберегите себя, душа моя, ради Христа! В сырую погоду не выходите. На молоденьких не заглядывайся, дружок. Часто в вас сомневаюсь, зная ваш характер непостоянный, но всё вам прощаю, по любви моей: ежели мне вас не любить, то недостойна я и по земле ходить. Вашего сиятельства по гроб жизни своей слуга вечная, Настя. И за галстучек тоже целую».

Закрыв глаза, представил себе, как она целует его за галстук и в подбородок, в самую ямочку. Задремал: послышалась музыка ветра в эоловой арфе на одной из грузинских башен, и в этой музыке – баюкающий голос Настеньки: «Почивайте, батюшка, покойно – вашему слабому здоровью нужен покой...»

Вздрыгнул, очнулся. Неровен час – пропустит Голицына.

Чтобы отогнать дремоту, принялся считать в уме, сколько нужно метёлок для грузинской мызы: в кухню господскую по 2 в неделю – 104 штуки в год; в службы людские по 5 – 260 в год; в оранжереи, конюшни, флигеля – всего 1890 в год; на 5 лет – 9450, на 25 – 47250.

Задача была слишком простая; придумал посложнее: сколько надо щёбёнки для шоссейной дороги от Грузина до Чудова.

В каждой куче: в вышину – 3 аршина 7 вершков; в окружности – 6 аршин 13 вершков; по откосу – 4 аршина 9 вершков. Трудно было сосчитать в уме; взял клочок бумаги, карандашик обгрызенный и начал делать выкладки, ставя цифры как можно теснее, так, чтобы всё уместилось на одном клочке: был скуп на бумагу.

Хорошо стало, тихо, спокойно, безгорестно-безрадостно, как в вечности.

Вдруг, в самой середине выкладок, когда расчёт подходил уже к миллионам кубических вершков, приотворилась дверь из флигель-адъютантской.

– Ваше сиятельство, от его высочества, великого князя, – доложил Клейнмихель.

– Я тебе, чёртов сын, говорил: в шею гони! – произнёс Аракчеев, бросился на него, выругался нехорошим словом и поднял руку.

Клейнмихель не шелохнулся, подставляя бесчувственно-кукольное лицо своё: казалось,

удар прозвучит по лицу, как по дереву.

Аракчеев опустил руку и только прибавил неистовым шёпотом:

– Вон!

Вернулся в кресло у камина; но уже не мог продолжать счёт; помешали; огорчился, почувствовал сердцебиение и расстройство нервов.

– О Бог мой, Бог мой! – тяжело вздыхал. – Минутки не дадут покоя...

Принял миндально-анисовых капель; отдохнул, успокоился и опять погрузился в выкладки.

Опять хорошо стало, тихо-тихо, безрадостно-безгорестно, как будто никогда ничего не было, нет и не будет, кроме совершенно тождественных, правильных, единообразных каменных куч, уходящих по обеим сторонам шоссейной дороги в бесконечную даль.

После свидания с Аракчеевым князь Валерьян поехал к своему приятелю, князю Сергею Петровичу Трубецкому, директору Северной Управы тайного общества, объявил ему о своём решении поступить в члены общества и через несколько дней был принят.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Прекрасная Юлия, вздыхая о возлюбленном своём Лиодоре, бродит кротчайшими шагами, бледная, унылая, с поникшей головой, в мрачной пустоте берёзовой рощи, где осенний Борей осыпает землю пожелтевшими листьями; картина осени вливает в состав растерзанного существа её нечто мрачнейшее, нежели самая мрачная меланхолия...»

«Лиодор и Юлия, или Награждённая постоянность – сельская повесть». Бывало, во дни императора Павла, сидя под арестом на Гатчинской гауптвахте в долгие осенние вечера, от скуки читывал Александр Павлович такие же точно романы и повести. Потом уже было не до книг; иногда целые годы ничего, кроме газетных вырезок да военных реляций, в руки не брал. Но во время последней болезни опять пристрастился к чтению.

Чем романы скучнее, глупее, стариннее, тем успокоительней, как старые детские песенки. Пожелтевшие страницы шуршат, как пожелтевшие листья осени, и осенью пахнет от них – сладостно-унылым запахом прошлого – того, что было юностью и стало стариной почти незапамятной. Двадцать пять лет, а как будто два с половиной столетия – так всё изменилось, так постарело всё – постарел он сам.

«Прошла зима, и возлюбленный Лиодор вернулся к прекрасной Юлии, отдыхая, при корне черёмух благоухающих, обоняли они весенние амбры. Кроткая луна плавала в эмалированной гемисфере.

– Коль восхитителен феатр младых прелестей природы! – восклицала Юлия, в объятиях своего Лиодора, предаваясь живейшей томности.

– О, священная природа, – отвечивал Лиодор, – токмо в храме твоём человек добродетельный может существенно блаженствовать. Хотел бы я с чувствительностью прижать весь мир к моему меланхолическому сердцу, так же как прижимаю тебя, о Юлия!...»

Читал, сидя в покойном кресле и протянув больную ногу на подставку с мягким сафьянным валиком – устройство, придуманное государыней.

Рожистое воспаление на левой ноге была первая за всю его жизнь опасная болезнь. Язва доходила до берцовой кости, и врачи одно время опасались антонова огня. Теперь зажило всё; но надо было беречься; нога всё ещё болела иногда, опухала после долгого стояния, как сегодня в церкви, во время заупокойной обедни. Сегодня – двадцать третья годовщина смерти императора Павла I; 11 марта 1801 – 11 марта 1824 года.

«Одной ногой в могиле», – усмехнулся он, глядя на свою протянутую ногу, той грустной усмешкой над самим собою, которая являлась у него в последнее время всё чаще.

От слишком долгой неподвижности нога затекала, немела. Надо было переменить положение. Но встать, пошевелиться – лень.

В пять назначил себе приняться за работу; пробило пять, половина шестого, шесть, а он всё откладывал.

Теперь, после болезни, часто находила на него эта лень, желание сидеть так целыми часами, не двигаясь, уставив глаза в одну точку, ничего не делая, ни о чём не думая, только

чувствуя, что душа затекает, немеет, как отсиженная нога, и бегает в уме, как мурашки в теле, маленькие мысли, случайные слова, Бог весть когда и где слышанные, прилипшие к памяти, назойливые. Всё одна и та же, бесконечно, однозвучно тикает да тикает в ушах, как маятник, глупая песенка. Один стих забыл, старался вспомнить и не мог; выходила бессмыслица:

*Но на счастье прочно
К розе, как нарочно,
Привилась полынь.*

Какая рифма на полынь? Простынь? пустынь? аминь? Нет, бессмыслица. Но чем бессмысленней, тем прилипчивей.

Или ещё другое. Давеча, когда государыня советовала ему вместо скучных русских романов читать Вальтер Скотта, вспомнился ему анекдот Константина Павловича, большого любителя таких вздоров: как уездная барыня-старушка, слушая разговор о Вальтер Скотте, удивилась: «Конечно, господин Вольтер большой вольнодумец, но, право же, скотом нельзя его назвать». Вальтер Скотт, Вольтер скот, Вальтер Скотт, Вальтер скот – если повторять быстро, с ударением на первом слоге, выходит в самом деле похоже.

«А воспаление-то сделалось там, где нога уже болела раз», – подумал вдруг и вспомнил, как года три назад на кавалерийских манёврах шальная лошадь зашибла ему ударом копыта это самое место – берцовую кость левой ноги. Так и в душе больное место, Кажется, совсем зажило, а потом вдруг опять заболит: ушиб на ушиб, рана на рану – хуже всего: может антонов огонь сделаться. Нет, не надо, не надо об этом; уж лучше – Вальтер Скотт, Вольтер скот.

*Но на счастье прочно
К розе, как нарочно,
Привилась полынь.*

Встал, потянулся и медленно-медленно, судорожно, до боли в скулах, зевнул. «Иногда бывает тяжелее зевать, чем плакать, – пришла ему давняя мысль, – кто знает, может быть, в аду – не плач и скрежет зубов, а только зевота, скука – вечность скуки?»

Часы опять пробили. «Который час? – Вечность». – Кто это сказал? Да, сумасшедший поэт Батюшков, – наемни Жуковский рассказывал... Час на час, вечность на вечность, рана на рану – 11 марта, 11 марта... Нет, не надо, не надо...»

Подошёл к столу, сел, хотел начать работу; но заметил пыль на малахитовой чернильнице. Слугам не позволял сметать пыль со столов, чтоб не рылись в бумагах. Стёр замшевой тряпочкой. Заметил также, что один из двух канделябров по обеим сторонам часов на камине снят. Нарушенный порядок в комнате мешал ему работать. Отыскивая недостающий канделябр, оглядывал комнату близорукими глазами в лорнет, старенький, простенький, черепаховый, всегда хранившийся за обшлагом рукава.

Кабинет был угловая зала окнами на Неву и Адмиралтейство. Ни резьбы, ни позолоты: серые голые стены; на потолке – тёмно-зелёною краской живопись в древнеримском вкусе: крылатые победы, трофеи, колесницы, всадники. Мебель красного лака, с бронзою, наполеоновской империи; при малейшем пятнышке или царапине заменялась новою; вся в чехлах, дешёвеньких, бланжевых с розовыми полосками, три раза в год мытых. Паркет гладкий и скользкий, как лёд. Большой письменный стол – в простенке между окнами, а посередине – столики маленькие, вроде ломберных, крытые зелёным сукном, как в канцеляриях; на каждом – дела особого ведомства, одинаковые чернильницы и одинаковые пачки гусиных перьев, очиненных заново: перо, употреблённое раз, хотя бы только для подписи, заменялось новым; за этим следил камердинер Мельников, получавший три тысячи в год за чинку перьев. И под каждым столом одинаковый коврик, красный с голубыми разводами. Всюду чистые платки и замшевые тряпочки для сметания пыли. Два камина, один против другого, тоже одинаковые: бюст Паллады – на одном, бюст Юноны – на другом; часы с бронзовым Ахиллесом и часы с бронзовым Гектором; канделябры здесь и канделябры там. Всё одинаково, правильно, соответственно, единообразно. «Я люблю единообразие во всём», – говорил Аракчеев и

повторял государь.

Отыскал, наконец, канделябр на круглом шахматном столике в дальнем углу; отнёс и поставил на место.

Вдруг вспомнил недостающий стих:

*Но на счастье прочно
Всяк надежду кинь:
К розе, как нарочно,
Привилась полынь.*

Это удовлетворило его так же, как поставленный на место канделябр; теперь всё в порядке. Опять сел за стол.

Перед ним лежали две записки члена Государственного совета адмирала Мордвинова¹⁵⁴ – о смертной казни и о кнуте.

«Прошло более семидесяти лет, как смертная казнь отменена в России, – писал Мордвинов. – Восстановление оной казни в новоиздаваемом уголовном уставе, при царствовании императора Александра I, приводит меня в смущение и содрогание. Я не дерзаю и помыслить, что казнь сия, при благополучном его величества правлении, сделалась нужнее, нежели в то время, когда была отменена...»

«Да, нужнее, – подумал, – если будет суд над ними».

Сморщился, как от внезапной боли, поскорее отложил записку о казни и стал читать другую – о кнуте.

«С того знаменитого для человечества времени, когда все народы европейские отменили пытки, одна Россия сохранила у себя кнут, что даёт повод народам иностранным заключать, что отечество наше находится ещё в состоянии варварском. Кнут есть мучительное орудие, которое раздирает человеческое тело, отрывает мясо от костей, метает по воздуху брызги крови и потоками оной обливает тело; мучение лютейшее из всех известных, ибо все другие менее бывают продолжительны; тогда как для двадцати ударов кнута нужен целый час; при многочисленности же ударов мучения продолжаются от восходящего до заходящего солнца». Предлагалось «уничтожить навсегда кнут, орудие казни, несоответственной настоящей степени просвещения и благонравия русского народа».

Семь лет назад по высочайшему повелению, предложено было Государственному совету уничтожить кнут; в семь лет ничего не сделано, и если опять предложить – пройдёт ещё семь лет, и ничего не сделают.

Не проще ли взять перо, обмакнуть в чернила и написать тут же, на полях записки: «Быть по сему»? Уж если нельзя и этого, то на что самодержавие? А вот нельзя. Быть по сему, быть по сему – и ничему не быть.

Что Аракчеев скажет? То, что уже говорил: «Доложу вам, батюшка: Мордвинов – пустой человек. Поговорю с ним, но наперёд знаю, что ничего доброго не услышу». А старички сенаторы, столпы отечества, во всех углах зашушукают: «Нельзя России быть без кнута!» Если их послушать, то конец кнута – начало революции.

Вспомнил указ о снятии шлагбаумов, никому не нужных, кроме пьяных инвалидов, чтобы кланчить на водку с проезжих да срывать верхи с колясок. Указ готов был к подписи, но государь подумал и не подписал. «Как ни мудри, всё будет по-старому», – говорит Аракчеев и прав. Стоит ли ворошить кучу?

«Покрасили бы комнату», – сказал кто-то баснописцу Крылову, увидев сальное от головы его пятно на стене. «Эх, братец, выведешь одно, будет другое. Не наклеишься».

Так и он: ни сальных, ни кровавых пятен уже не мечтает вывести; мечтал об отмене самодержавия – и вот не отменил шлагбаумов, не отменит кнута. «Как ни мудри, всё будет по-старому».

¹⁵⁴ Мордвинов Николай Семёнович (1754–1845) – адмирал, член Государственного совета, председатель с 1823 г. Вольного экономического общества, в 1834 г. возведён в графское звание. Известный либерал.

Но верил же когда-то, что всё будет по-новому. «Что бы ни говорили обо мне, я в душе республиканец и никогда не привыкну царствовать деспотом». Если не отрёкся от самодержавия тотчас же, как вступил на престол, то только потому, что раньше хотел, даруя свободу России, произвести лучшую из всех революций – властью законною. Помешало Наполеоново нашествие. Но, по освобождении от врага внешнего, не вернулся ли к мысли об освобождении внутреннем? Что же такое Священный Союз, главное дело жизни его, как не последнее освобождение народов? Евангелие – вместо законов; власть Божия – вместо власти человеческой. Верил: когда все цари земные сложат венцы свои к ногам единого Царя Небесного, да будет Самодержцем народов христианских не кто иной, как Сам Христос, – тогда, наконец, совершится молитва Господня: да приидет царствие Твоё, да будет воля Твоя на земле, как на небе.

Да, верил и доныне верит. Но, как ни мудри, всё будет по-старому.

«Болтовня безобидная, памятник пустой и звонкий», – говорил Меттерних о Священном Союзе.

Евангелие – Евангелием, а кнут – кнутом. Пусть же брызги крови по воздуху мечутся, мясо от костей отрывается, – в час двадцать ударов, в три минуты удар, – и так от восходящего до заходящего солнца. Может быть, и сейчас, пока он думает...

Но если не отменить, то хоть смягчить?.. Смягчить кнут? «Кнут на вате» – вспомнилось ему из доносов тайной полиции чьё-то слово о нём. Любил подслушивать и собирать такие словечки – посыпать солью раны свои.

Вспомнил и то, как, приготавливаясь к речи о конституции на польском сейме, учился красивым движениям тела и выражениям лица, точно актёр перед зеркалом, – и вдруг вошёл адъютант. Теперь ещё, вспоминая, краснеет. Когда потом называли Польскую конституцию¹⁵⁵ «зеркальной», он знал почему.

«Господин Александр по природе своей великий актёр, любитель красивых телодвижений», – говорила о нём Бабушка.

Неужели – так? Неужели всё в нём – ложь, обман, красивое телодвижение, любовование собой перед зеркалом? И последняя правда – то, что сейчас подступает к сердцу его тошнотой смертною, – презрение к себе?

Хоть бы – ужас; но ужаса нет, а только скука – вечность скуки, та зевота, которая хуже, чем плач и скрежет зубов.

А может быть, и лучше, покойнее так? Вернуться бы в кресло, усесться поудобнее, протянуть больную ногу на подушку и приняться опять за «Лиодора и Юлию»; или уставиться глазами в одну точку, ничего не делая, ни о чём не думая, пока душа опять не затечёт, не онемееет, как отсиженная нога, и маленькие мысли в уме, как мурашки в теле, не забегают: «Вальтер Скотт, Вольтер скот»...

С неимоверным усилием встал, торопливо, как будто боясь, что не хватит решимости, подошёл к столу в простенке между окнами, торопливо-торопливо отпер ящик и вынул бумаги.

То был донос генерала Бенкендорфа и его, государя, собственная записка о тайном обществе.

Донос подробнейший: вся история общества; его зарождение, развитие, разделение на две Управы: Северную в Петербурге и Южную в Тульчине, Василькове, Каменске; имена директоров и главных членов; цели: у Северных – ограничение монархии, у Южных – республика; способы действия: у одних – тайная проповедь, у других – военный бунт и революция с цареубийством.

Легко было по этому доносу схватить всех заговорщиков и уничтожить заговор: протянуть руку и взять, как гнездо птенцов.

Четыре года назад был подан донос, и четыре года лежал в столе нетронутый: прочёл его, положил в ящик, запер на ключ и не вынимал с тех пор, как будто забыл. Ничего не сделал, никому не сказал. Бенкендорфа избегал, в глаза ему не смотрел, точно гневался, а тот не мог понять, за что немилость.

¹⁵⁵ Конституция была дарована Царству Польскому указом Александра I 15 (27) ноября 1815 г.

Как будто забыл – но не забывал. Как преступник, не думая о своём преступлении, чувствует его во сне и наяву; как неизлечимо больной, не думая о своей болезни, никогда её не забывает, так не забывал и он за все эти четыре года ни на один день, ни на один час, ни на одну минуту.

Тогда же, при первом чтении, начал было составлять записку для себя самого, чтобы успокоить, отдалить и выяснить свои собственные слишком страшные, близкие и смутные мысли, а также для Аракчеева, которому хотел сказать всё; тогда хотел, потом уже не мог. Но едва начал писать, как почувствовал, что нет сил: думать трудно, а говорить и писать невозможно.

Перечёл донос и взглянул на первые слова неоконченной записки:

«Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается между войсками. Заражение умов генеральное...»

И ещё в другом месте по-французски:

«Эти господа хотят меня застрашать; они обладают большими средствами: кого угодно могут возвысить или уничтожить. Дело идёт об изыскании средств для борьбы с так называемым *духом времени* – духом сатанинским, распространяющим господство зла быстро и тайно, как в Европе, так и в России. Один только Спаситель может доставить это средство Своим божественным словом. Воззовём же к Нему из глубины наших сердец, да ниспошлёт Он нам Духа Своего Святого. Карбонары рассеяны всюду. Но, с помощью Божественного Промысла, я буду посредником для ограждения Европы, а следовательно, и России от язвы революции...»

И теперь, так же как тогда, почувствовал, что продолжать записку нет сил. Надо терпеть, молчать, скрывать от всех эту страшную и постыдную язву.

Он знал, что делает; знал, что ни дня, ни часа, ни минуты медлить нельзя; что за эти четыре года заговор неимоверно усилился; что он, бездействуя, потворствует злу, губит Россию и за это даст ответ Богу, – всё знал и ничего не делал.

И чем утешал себя, чем оправдывал?

Всегда носил в кармане записную книжку, подарок князя Меттерниха, главного советника своего в борьбе с революцией; на первой странице – вместо заглавия: *Не давать ходу* – и далее в азбучном порядке – список лиц подозрительных в Европе и в России. Меттерних начал, Александр продолжал. Когда представляли ему новое лицо, справлялся о нём по *Сибиллиной книге*,¹⁵⁶ как называла её Марья Антоновна, и если находил имя – не давал ходу, преследовал тайно или явно. Были в списках и члены тайного общества; за четыре года много имён прибавилось, которых в доносе Бенкендорфа не было. И вот чем утешался: «Все они, – думал, – у меня в руках, когда наступит время, уничтожу всех».

Так и теперь попробовал утешиться: достал из кармана книжку, перечёл список; на букву «Г» прибавил: «Камер-юнкер Голицын – в очках».

«Вот бы с кем поговорить. Он Софьин друг; не может быть и мне врагом. Обличить, пристыдить, довести до раскаяния! Сначала его, а потом и других. Кто знает, может быть, преувеличено? Никакого заговора нет, а только детская шалость? Подождать – само пройдёт».

Утешался, но не утешился. Похоже было на то, как если б кто-нибудь, видя чумной нарыв на теле своём, говорил себе; это ничего, так, прыщик, само пройдёт. Теперь уже знал, что само не пройдёт и что эта книжечка – против тайного общества – тряпочка с маслом на чумной нарыв.

И Крылов, опять Крылов, лентяй – лентяю вспомнился. Над самым диваном, где обыкновенно сидел Крылов, большая, в тяжёлой раме, картина висела наискось: с одного гвоздя сорвалась и на другом едва держалась.

«Берегитесь, Иван Андреевич, – убьёт». – «Небось по закону механики, кривую линию опишет, падая: как раз мимо головы пролетит».

«Пролетит мимо», – думал когда-то и он о заговоре; но теперь знал, что не мимо.

¹⁵⁶ Сибиллина книга – сборник предсказаний сибилл (сивилл), легендарных прорицательниц эллинистического и римского мира.

Во время болезни, ожидая смерти, понял, что нельзя оставлять России такого наследства, и дал себе клятву, если выживет, решить, наконец, что-нибудь о тайном обществе; что-нибудь сделать. И вот именно сегодняшний день, самый для него святой и страшный – 11 марта, – назначил себе, чтобы решить.

Что же? Суд? Казнь?

«Не мне их судить и казнить: я сам разделял и поощрял все эти мысли, я сам больше всех виноват», – сорвалось у него с языка при первых слухах о тайном обществе, которые сообщил ему, ещё раньше доноса Бенкендорфова, генерал Васильчиков.¹⁵⁷

Да, первый и главный член тайного общества – он сам. «Негласный комитет», собиравшийся здесь же, в покоях Зимнего дворца, – пять молодых заговорщиков: Чарторыйжский,¹⁵⁸ Новосильцев,¹⁵⁹ Кочубей,¹⁶⁰ Строганов¹⁶¹ и он, государь, – вот колыбель тайного общества.

К Бенкендорфову доносу приложен был устав Союза Благоденствия. Цели союза: ограничение монархии, народное правительство, уничтожение крепостного права, гласность судов, свобода тиснения, свобода совести – всё, чего желал он сам.

Сколько раз говорил: желал бы сделать то и то – но где люди? Кем я возьмусь? Вот кем. Вот люди. Сами шли к нему, но он их отверг; и если пойдут мимо, против него, – кто виноват?

Говорил – слышали; учил – учились; повелел – исполнили. Он изменил тому, во что верил; они остались верными. За что же их судить? За что казнить? Если им на шею петлю, то ему – жёрнов мельничный за соблазн малых сих. Судить их – себя судить; казнить их – себя казнить.

Он – отец; они – дети. И казнь их будет не казнь, а убийство детей. Отцеубийством начал, детоубийством кончит. Взошёл на престол через кровь и через кровь сойдёт: 11 марта – 11 марта.

Так вот ужас, который он звал, – пробуждение от страшного смертного сна. Что ещё жива душа его, он только и знал по этому ужасу.

Нет, никогда ничего не решит, ничего не сделает. Будь что будет – молчать, терпеть, скрывать до конца страшную и постыдную язву.

Собрал бумаги, положил их опять в тот же ящик стола и запер с таким чувством, что уже никогда не вынет.

На самом дне заметил отдельный листок очень старой пожелтевшей бумаги – чьё-то письмо. Знал, чьё, к кому, о чём; хотел было перечесть, но раздумал, решил – потом, оставил в ящичке, только положил на виду, сверху, так, чтобы найти тотчас, когда надо будет.

Подошёл к окну, посмотрел. Прояснило – должно быть, подморозило. Мокрый снег перестал. Слышался железный скрежет скребков: счищали снег с набережной – знакомый петербургский звук, напоминающий весеннюю оттепель. Посыпали гранитные плиты жёлтым песком: государь любил весенние прогулки по набережной. Через белую скатерть Невы перевоз, подтаявший, с наклонёнными ёлками, уже чернел по-весеннему. Светлый шпиль Петропавловской крепости пересекал тёмно-лиловые полосы туч и бледно-зелёные полосы неба, тоже весеннего; а там, на западе, над многоколонною биржею, похожей на древний храм,

¹⁵⁷ Васильчиков Илларион Васильевич (1776–1847) – генерал от кавалерии, позже председатель Государственного совета.

¹⁵⁸ Чарторыйжский (Чарторийский) Адам Юрий (Ежи) (1770–1861) – князь, польский и русский государственный деятель, после Отечественной войны – попечитель Виленского учебного округа.

¹⁵⁹ Новосильцев Николай Николаевич (1761–1836) – граф, сенатор, государственный деятель.

¹⁶⁰ Кочубей Виктор Павлович (1768–1834) – граф, затем князь, в конце царствования Александра I – министр внутренних дел.

¹⁶¹ Строганов Павел Александрович (1770–1817) – граф, сенатор, дипломат.

небо ещё бледнее, зеленее, золотистее, – бездонно-ясное, бездонно-грустное, как чей-то взор. Чей?

«Не надо, не надо...» – хотел сказать ещё раз, но уже не мог, – вспомнил всё.

То был последний накануне страшной ночи семейный обед императора Павла I; все они, жена и дети, думали, что он сумасшедший; а он, отец, думал, что они – убийцы. Но ели, пили, говорили, шутили как ни в чём не бывало. Только на прощание Павел подошёл к Александру, обнял его, поцеловал, перекрестил, положил ему обе руки на плечи и посмотрел прямо в глаза, долго-долго, с такой любовью, как никогда. Один миг казалось обоим, что они друг другу скажут всё и всё простят.

И вот опять бледно-зелёное небо смотрит ему прямо в душу, бездонно-ясное, бездонно-грустное, как тот последний взор. Но теперь уже нельзя сказать, нельзя простить.

И кажется, тот миг и этот – один; между ними нет времени, как будто время шло не вперёд, а назад: наступало прошлое, наступило, пришло – и уже никогда не уйдёт. И двадцать три года жизни – Наполеон, пожар Москвы, взятие Парижа, победы, слава, величие – всё исчезло как сон – ничего не было, а было, есть и будет одно – вот этот вечный миг.

Теперь только понял, почему не может судить и казнить заговорщиков. Не он – их, а они его будут судить и казнить. Божий суд над ним, Божья казнь ему – в них. Кровь за кровь. Кровь сына за кровь отца.

Повалился на стул и закрыл лицо руками.

Кто-то постучался в дверь. Вздрогнул, обернулся, побледнел так, как в ту страшную ночь.

Откликнулся не сразу. Но когда через несколько минут вошёл камердинер Мельников со свечами – уже стемнело – и с докладом об архимандрите Фотии, государь сидел опять в кресле, как давеча, протянув больную ногу на подушку, с книгой в руках, и лицо его было так спокойно, что никто не догадался бы, что он сейчас думал и чувствовал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дежурный камердинер Мельников доложил государю об архимандрите Фотии. Государь велел принять.

Потайной Zubовской лестницей, такой тёмной, что среди дня ходили по ней с огнём, введён был Фотий во дворец.

В былые годы раздавалось по ночам на этой лестнице мяуканье, которым фрейлины звали юного кота к дряхлой кошурке, Платона Zubова – к Бабушке; а потом к внуку пробирались тайком на духовные беседы статская советница Татаринова – хлыстовка, Крюденерша-пророчица, придворный лакей Кобелев – посол скопческого бога Селиванова,¹⁶² и граф Жозеф де Местр – посол римского папы, и английские квакеры, и русский юрод, и барабанщик Никитушка, и ещё много других.

Идучи по лестнице, Фотий крестился и крестил все углы, переходы, и двери, и стены дворца, помышляя, что «тьмы здесь живут сил вражьих».

Когда вошёл в кабинет государя, тот встал навстречу ему и хотел подойти под благословение. Но Фотий как будто не видел его; искал глазами по углам, перебегая взором от мраморной Паллады над каминным зеркалом к триумфальным колесницам и крылатым победам на потолке. Там, под ними, в углу, нашёл, наконец, образок. Истово, медленно перекрестился и тогда только взглянул на государя.

Тот понял: сначала Богу поклонись, царю небесному, а потом – земному. Понравилось.

– Благословите, отец Фотий!

– Во имя Отца, и Сына, и Духа Святаго. Благослови тебя Господи!

Тем же истовым широким крестом перекрестил его так, как простых мужиков крестит сельский священник. Опять понравилось.

¹⁶² Селиванов Кондратий (173? – 1832) в начале 1770-х основал секту «скопцов», с 1797 г. – в Петербурге, где пытался вести пропаганду и среди верхов общества. Сослан в суздальский Спасо-Евфимьевский монастырь, где и умер.

Государь поцеловал руку монаха, и тот не отдернул её, как будто даже нарочно сунул, почти с грубостью. Этого учить не придётся, как прочих, чтоб не кланялся в ноги царю, – скорее сам потребует, чтобы ему поклонился царь.

Страхом расширенными глазами смотрел Фотий на государя; но то был страх не человеческий; продолжал, как давеча на лестнице, крестить себя, крестить во все стороны воздух: ещё большие тьмы вражьих сил живут здесь, близ царя, а может быть, и в нём самом.

– Прошу вас, присядьте, ваше преподобие...

Государь запнулся: не был уверен, что архимандрита зовут преподобием; не твёрд был в церковных чинах, как и в русском языке вообще, когда речь шла о предметах духовных: привык говорить о них по-французски и по-английски.

Фотий сел, но не там, где государь указывал, рядом с собой, а поодаль, у окна, неловко, на самый край стула.

– Я очень рад вас видеть, – продолжал государь, затрудняясь и не зная, с чего начать. – Я много слышал о вас от князя Голицына... и от графа Аракчеева, – поспешил прибавить, вспомнив, что Фотий Голицыну враг. – Я давно желал поговорить с вами о делах церкви, которые, к душевному прискорбию моему, не так идут, как следует. Об одном прошу вас: говорите всю правду... Если бы вы знали, отец, как редко слышу я правду и как в этом нуждаюсь, – заключил с искренним чувством.

– Государь всемилостивейший, ваше императорское величество! – начал было Фотий торжественно, видимо, заранее приготовленную речь, но вдруг остановился, как будто забыл всё, что хотел сказать; вытер платком пот с лица, растерянно махнул рукою, приподняв полу ряссы, открывая высокий мужичий сапог, и вынул из-за голенища пачку листков, мелко исписанных.

– Тут всё, всё, – забормотал, торопясь и оглядываясь. – Если хочешь знать всё, государь, слушай... Тут всё, по Писанию, до точности...

И прочёл заглавие: *«План разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо»*.

Государь плохо слышал – был туг на ухо – и думал о другом: вспоминал рассказы Голицына о Фотии.

Сын бедного сельского причетника, родился на соломе, в хлеву, как оный Младенец в яслях вифлеемских. Всю жизнь был в бедах, ранах, болезнях, биениях, потоплениях многократно; нищ, наг, хладен и гладен. Когда учился в Петербургской семинарии, бегал по праздникам из Лавры на Васильевский, к тётке, за концом пирога или пятачком на сбитень. Служа в Первом кадетском корпусе законоучителем, вступил в борьбу с масонами, иллюминатами, мистиками и прочими слугами антихристовыми. Исполнившись Ильиною ревностью, необязненно голос свой, как трубу, возвышал; как юрод, ходил всюду; вопиал, обличал, хотел взять штурмом крепость вражью. На корпусном дворе, в присутствии кадет, собрав кучу книг еретических, сжёг в огне с громогласной анафемой. Подкупал слуг в домах, где происходили сборища мистиков; слуги проламывали стены под потолком, просверливали дыры, и он наблюдал за тем, что творилось внизу, а потом доносил митрополиту или обер-полицеймейстеру. Наконец враги обещали будто бы миллион за убийство Фотия. Он бежал от них при помощи кадет, выскочив ночью в одной рубахе через окно в сад и через стену сада на улицу. Боролся с бесами, которые являлись ему в страшных подобию телесных, били его и таскали за волосы до бесчувствия или, в образе ангелов светлых, искушали хитрою лестью: «Преподобный отче Фотий, сотворил бы ты некое чудо – перешёл бы у дворца по Неве, яко по суху». Был девственник, плоти истязатель, великий постник; носил железные вериги, спал в гробу; целыми неделями питался одним липовым цветом с мёдом, как божья пчела, даже чая не имел у себя в келье, пил укропник. Так ослабевал от поста, что едва стоял на ногах и шатался, как тень. Дрожал в вечном ознобе и летом ходил в шубе. Страстную же седмицу желудок его в ореховую скорлупу сжимался, и потом, чтобы привыкнуть к пище, постепенно увеличивая приёмы, развешивал их, как лекарство, на аптекарских весах.

Вспоминая всё это, государь с любопытством вглядывался в лицо Фотия.

Худенький, сухонький, востренький, будто весь колючий, с колючими, как рыбы косточки, быстро сверкающими серыми глазками, хищными, как у хорька, с пушистыми,

рыжими, как хорьковый мех, волосами и рыжей бородкой; сквозь прозрачно-восковую бледность кожи проступает синева пятнами, как на лице покойника. Не посидит на месте, всё шевелится, боязливо оглядываясь, тоже как дикий хорёк в клетке. Но в этой дикости – что-то жалкое, детское, что внушало невольное желание погладить и приручить его – только бы не укусил.

Фотий продолжал читать, бормоча себе под нос, невнятно, быстрым задыхающимся шёпотом, – отдельные слова долетали до государя, похожие на бред.

– Число звериное 666. Сё – тайна последних времён, тайна великая. На 1836 год готовится царство Зверя... Пароль на всё наложен: раскопать алтари и разрушить престолы... Под видом тысячелетнего царствования, феократического правления – Новая религия во грядущего антихриста... всемирная революция...

– Прошу вас, отец Фотий, – остановил его государь, – я плохо слышу на левое ухо, пересядьте сюда поближе.

Фотий вздрогнул и дико воззрился, но тотчас пересел; продолжал читать. Государь слушал и не верил ушам своим: Священный Союз – революционный заговор.

– Как же так, отец Фотий? О тысячелетнем царствии святых на земле не молится ли сама церковь?

Это слышал он от Голицына; тот именно так объяснял Священный Союз, о котором, при заключении его, объявлено было торжественно во всех церквах Российской империи.

– Чего молиться? Всё исполнилось, – проворчал Фотий сердито.

– Когда же? Где?

– Со дней святого Константина Равноапостольного – в церкви православной, католической; иного же царства не будет... Так отцы предали, так и мы веруем. А что сверх сего, то от лукавого...

Государь не возражал более, но покачал головою сомнительно: войны, смуты, революция, разделение церквей, братоубийственная ненависть народов – это ли царство Божие на земле, как на небе?

– Тут всё у меня, всё по Писанию, до точности. Вот слушай...

Опять засуетился, отыскивая нужные листки, лазил за голенища, за отвороты рукавов и за пазуху; весь был обложен доносами, как воин доспехами.

Государь испугался, что чтение никогда не кончится.

– Знаете что, отец Фотий, оставьте мне ваши записки, я прочту уже внимательно, а теперь поговорим. Скажите мне всё, что на сердце у вас...

Фотий начал было снова суетиться, креститься, но вдруг положил листки на стол, привстал, наклонился, вытянул шею, приблизил губы к самому уху царя и зашептал уже внятным шёпотом:

– Как пожар, в России вскоре разгорится революция; уже дрова подложены и огонь подкладывают... Министерство духовных дел, Библейское общество, иллюминаты, масоны и прочих мистиков сволочь зловедная – один всеобщий заговор. Готовится вдруг всегубительство. Торжественно о том опубликовано, дабы мечи взять и всех заколоть нечаянно... А всему причина главная, всем злодеям злодей – знаешь кто?

– Кто?

– Голицын.

– Что вы, отец? Я князя Александра Николаевича знаю вот уже тридцать лет: вместе росли; люблю, как родного. Да если он, то и я...

– И ты, и ты, государь благочестивейший, помазанник Божий, сам себе, по неведению, изрываешь ров погибели. Если не покаешься, будешь и ты в сетях дьявольских!..

Вскочил и, весь дрожа, как лист, глядя на него горящими глазами, закричал неистово:

– С нами Бог! Господь сил с нами! Что сделает мне человек? Ты, царь, можешь всё: наступишь на меня, яко путник на мравия, – и нет меня... Казни же, убей, возьми душу мою! Ничего не боюсь! На всех врагов Господних – анафема!..

В поднятой руке его что-то блеснуло, как нож: то был крест. Государь тоже встал и невольно отступил. «Сумасшедший!» – промелькнуло в голове его.

– Да воскреснет Бог и да расточатся врази его! Яко тает воск перед лицом огня, да

исчезнут! – потрясал Фотий крестом, как ножом. – Если и ты, царь, не слушаешь, одно осталось: взять в одну руку Евангелие, в другую – крест и на площадь пойти, возгласить в народ: «Православные, ратуйте!» И вся Россия узнает... Многие вступятся... Революция так революция! С нами Бог! Господь сил с нами! Пошли, Боже, громы твои, блесни молнией и разжени врагов! О Господи, спаси же! О Господи, поспеши же!..

С воплем, ломая руки, упал к ногам государя; трясся весь, как в припадке.

– Встаньте же, встаньте, прошу вас, не надо... – старался его поднять государь.

Но Фотий не вставал, ухватившись за него руками судорожно, как утопающий:

– Спаси, защити, помилуй, царь мой, Богом данный, возлюбленный! Я тебе верный слуга, яко Богу... Хочешь, всё скажу, всё?.. Как план революции вдруг уничтожить тихо и счастливо?

И опять зашептал ему на ухо:

– Было мне от Господа видение: шли мы строим по воде, яко по суху, – я, ты и он...

– Кто он? – с каким-то суеверным страхом спросил государь.

– Граф Аракчеев, – ответил Фотий. – Граф Аракчеев – столп отечества, муж преизящнейший. Яко Георгий Победоносец явится; верен, правдив, церковь Божию истинно любит; ему можно всё поверить – всё сделает... И я с ним. Я, ты и он. Вместе строим по воде, яко по суху... Государь-батюшка, ваше величество, в двенадцатом году победил ты Наполеона телесного; самого же антихриста – Наполеона духовного – победить можешь ныне в три минуты, одной чертою пера! Только указ подпиши: общество Библейское закрыть, Голицына удалить, министерство духовных дел упразднить – и в три минуты, в три минуты одной чертою пера уничтожишь всю революцию!..

Встал, но не удержался на ногах и в изнеможении, почти в беспамятстве, упал на стул; рыжие волосы прилипли к потному лбу; смотрел в одну точку бессмысленно, как будто ничего не видел и не сознавал, где он, что с ним. Синева проступала ещё больше сквозь трупную бледность лица; кончик носа заострился, как у мёртвого.

«Сумасшедший? – думал Александр. – Почему сумасшедший? Потому ли, что красно говорить не умеет, не царедворец в рясе, а простой мужик, неучёный, немудрый, как те галилейские рыбаки, коих избрал Господь, дабы пристыдить мудрых века сего? И не всё ли почти правда, что он говорит? Не в Голицыне же дело. А что сам я служил духу своеволия безбожного, духу революции сатанинскому и теперь ещё, быть может, служу по неведению, – разве не так? И откуда он знает, как будто прочёл в сердце моём? Полно, уж не он ли муж Господень в духе и силе, для моего спасения посланный?..»

Фотий очнулся, зашевелился и с трудом, через силу встал на ноги: должно быть, понял, наконец, что нельзя сидеть, когда царь стоит; понял также, что беседа кончена. Торопливо достав откуда-то забытый листок, приложил к остальной пачке на столе государевом. И опять что-то было детское, жалкое в этом движении, от чего государь ещё сильнее почувствовал, что обидел его.

– Отец Фотий, – проговорил он, взяв его за руку, – обещаю вам обо всём, что вы мне сказали, подумать, и верьте, всё, что могу, сделаю... А если что не так сказал – простите, Бога ради! И помолитесь за меня, прошу вас, очень прошу...

Как это часто с ним бывало, умилился и растрогался от собственных слов.

Медленным движением, морщась от боли в ноге – но чем больнее, тем приятнее, – опустился на колени перед Фотием; красоту смиренного величия своего тоже почувствовал, как будто увидел себя в зеркале, – и ещё больше растрогался; что-то подступило к горлу, защекало привычно-сладостно.

Вот кому исповедаться во всём, сказать всё, как самому Христу Господню, – самое страшное, тайное – об этой вечной муке своей – о пролитой крови отца: уж если он простит, разрешит на земле, то будет разрешено и на небе.

И о красоте не думая, почти не сознавая, что делает, государь поклонился в ноги Фотию.

Упоительней, чем запах мускуса от чёрных кружев баронессы Крюденер, был запах дёгтя от мужичьих сапог. И так легко стало, как будто кровавая тяжесть венца, которая всю жизнь давила его, вдруг спала на одно мгновение.

Радость засверкала в глазах Фотия, и он положил руки на голову царя, как на свою добычу.

– Благослови тебя Господи!

Потом наклонился и ещё раз шепнул ему на ухо:

– Помни же, помни, помни: вместе, втроём – я, ты и он!

Уходя в одну дверь, Фотий увидел в другой, чуть-чуть приотворённой, глаз Аракчеева: он подслушивал и подглядывал. Когда Фотий ушёл, дверь приотворилась шире, и Аракчеев, не входя, просунул голову.

– Алексей Андреич, ты? – позвал государь тем осторожным голосом, которым говорил с ним одним: так любящий говорит с тяжелобольным любимым другом. – Войди.

Аракчеев вошёл.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Давняя вражда двух царских любимцев, Аракчеева и Голицына, в последнее время так усилилась, что самому государю от них житья не стало. Надо было сделать выбор и кем-нибудь из двух пожертвовать. Но в обоих нуждался он одинаково: в Аракчееве для дел земных, в Голицыне – для дел небесных.

Голицын обратил государя в христианство: вместе молились, вместе читали Писание, вместе издавали сочинения мистиков, устраивали Библейское общество и Священный Союз, мечтали о царствии Божиим на земле, как на небе. А без Аракчеева, как без рук и без ног, – пошевелиться нельзя.

И хуже всего было то, что Аракчеев, как подозревал государь, вступил в заговор против Голицына с митрополитом Серафимом¹⁶³ и Фотием. Голицына всё духовенство ненавидело, но скрывало ненависть, покорялось и терпело молча. Когда же явился Фотий, то осмелело и взбунтовалось.

– Голицын патриархом стал, всё священство разрушил, всё себе в руки забрал! – вопил Фотий, и повторяли за ним другие. – Из Святейшего Синода министерскую канцелярию сделал и един, просто сказать, нечистый заход...

Между Синодом и министерством началась такая свара, что хоть святых вон выноси. Но государь надеялся, по своему обыкновению, примирить непримиримое, сделать так, чтоб и овцы были целы, и волки сыты.

Об этом и хотел говорить с Аракчеевым. Но слишком скрытны были оба, чтобы начать сразу; говорили о другом, ходили вокруг да около, притворялись, точно в жмурки играли; высматривали и ощупывали друг друга, как бойцы перед битвою.

Государь хвалил Фотия; Аракчеев поддакивал.

– Святой человек, ваше величество, батюшка, воистину святой. Таких только два и есть у нас: отец Фотий да отец Серафим, подвижник Саровский...

Как все глухие, государь был застенчив и мнителен: не любил, когда говорили слишком громко, – это напоминало ему глухоту; а когда тихо – боялся не расслышать. Один Аракчеев умел говорить, не возвышая голоса, но так внятно, что государь слышал каждое слово.

– Как же нам, Алексей Андреич, с Голицыным быть? – начал он с притворной беспечностью, убедившись, наконец, что Аракчеев об этом первый ни за что не начнёт; но, взглянув исподлобья, украдкой, – по лицу его, сразу окаменевшему, понял, что дело плохо.

– Уж не знаю, право, как быть, – продолжал государь боязливо и вкрадчиво, – все дела стали, просто беда... Съездил бы ты к митрополиту, поговорил бы с ним – может, и помирятся? Устроил бы как-нибудь... Сделай это для меня, голубчик...

– Рад стараться, ваше величество! Как повелеть изволите, так и сделаю, – ответил Аракчеев по-солдатски, сухо, почти грубо, и лицо его ещё больше окаменело.

– Только не подумай чего, ради Бога, Алексей Андреич! Я ведь только так... Если ты... если тебе... – начал государь и умолк под каменным безмолвием своего собеседника – вдруг

¹⁶³ Серафим (в миру Стефан Васильевич Глаголевский) (1757–1843) был митрополитом Новгородским, Петербургским, Эстляндским и Финляндским. Последний председатель Библейского общества, сам предложивший царю упразднить его.

испугался, растерялся окончательно; уже не рад был, что заговорил.

Долго молчали оба, не глядя друг на друга.

– Ваше величество, – произнёс, наконец, Аракчеев тем глухим, уныло-торжественным, как будто замогильным, голосом, которого боялся государь пуще всего, – почитаю себя в обязанности, по долгу верноподданного, говорить всю правду вашему величеству: вы столько были ко мне милостивы, что сами приучили меня к тому. И ныне, боясь гнева Божьего...

– Да нет же, нет, Алексей Андреич, я не о том, – тщетно пытался государь остановить его.

– ...И ныне, боясь гнева Божьего, – продолжал Аракчеев неумолимо, – скажу вам всю правду, как перед Богом истинным. Я ничьих дел не знаю, а только, видя на опыте, что злых людей больше, чем добрых, и всегда худого больше на свете, чем хорошего, поставил себе неперменным правилом никакого не иметь ни с кем знакомства и единственно своею заниматься должностью. Но грешно мне было б не открыть того, что знаю, вашему величеству. Князь Александр Николаевич Голицын...

Голос его оборвался, визгливый, пронзительный, плачущий. Государь слушал, уже не пытаясь остановить, покорно наклонив голову, с таким же виноватым лицом, как давеча тот старый генерал, которому Аракчеев делал выговор.

– Князь Голицын – царю и отечеству враг, злодей государственный. Появление книг богоотступных пронзает горестью сердца благомыслящих подданных. Уже и в подлом народе от чтения рассылаемых повсюду Библий о вольности толки рождаются. Далеко ли до бунта? Заражение умов есть генеральное... неблагонамеренность, разврат и революция...

Со страхом ждал государь, что он заговорит о тайном обществе. Но и теперь, как всегда, Аракчеев говорил так, что нельзя было понять, знает он или не знает, держал угрозу, как меч, над головой царя.

– Впрочем, буди воля вашего величества, а я изъяснил мысли мои, по слабому моему разумению; молчать и повиноваться не стать мне учиться в пятьдесят один год от роду, с самых юных лет жизни моей приобыкнув к сему. Как прикажете, так и сделаем, – заключил он, вставая и вытягиваясь, как во фрунте: руки по швам.

– Алексей Андреич, Алексей Андреич! – воскликнул государь горестно. – Ты знаешь, как я тебе... – хотел сказать: предан, – как я тебя люблю... Сколько лет вместе! И вот неужели же, неужели теперь?..

Что теперь будет – предвидел: хотя по давнему опыту мог знать, что ничего не будет, но при каждой ссоре боялся, что Аракчеев уйдёт от него – и он пропал.

– Я, ваше величество, батюшка, знаю, что как милостей ко мне ваших нет примера, так и преданности моей нет пределов. Ни разума столько, ни слов не имею, чтобы изъяснить вам всю благодарность мою. Но, чувствуя слабость здоровья, должен просить увольнения. Старость пришибла, кости болят; час от часу слабею, таю как воск. Пора на покой, надобно и честь знать. Прошусь совсем прочь от дел, кои мне наскучили и здоровье моё тяготят, по прямому моему характеру... Пусть уж другие, а я не могу, не могу... Нет лести на языке моём... Правдивая душа в Бозе почивающего благодетеля моего, государя императора Павла I, призывает с горних и одобряет чувства, меня одушевляющие...

Поднял глаза к небу и начал всхлипывать, сперва тихо, потом всё громче и громче. Государь смотрел на него с возрастающим ужасом: слёз его не мог вынести.

– Алексей Андреич! Алексей Андреич! – повторял с мольбою. – Что же это такое? За что? Господи, Господи!..

И всплёскивал руками, и протягивал к нему руки, и хватался за голову.

– Увольте, увольте, батюшка, – вдруг зарыдал Аракчеев, закашлялся, задохся, затрясся весь, как в припадке, повалился на стул и сквозь кашель и плач завизжал каким-то не своим, тонким, страшным, бабьим голосом: – На покой, на покой! В Цуруканскую крепость! Плац-майором! По шапке дурака старого! Аракчеев – изверг! Аракчеев – змий! Аракчеев – гадина!..

Государь вскочил, весь бледный, дрожащий, и, пока тот отхаркивал мокроту в платок, – смотрел, не будет ли крови: давно уже пугал его Аракчеев своим кровохарканьем. Вдруг, отчаянно махнув рукою, государь тоже повалился в кресло, упёрся локтями в стол, стиснул руками голову и закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать.

Аракчеев высморкался оглушительно, мало-помалу затих, посмотрел на него украдкой долго, спокойно и проницательно, как бы решая, готов ли он; решил – готов. Тихонько встал и, весь изогнувшись, крадучись на цыпочках, подошёл – чёрная тень на серой стене промелькнула, как тень исполинской ночанки. Опустился на колени, на коленях подполз.

– Прости, батюшка! Огорчил я тебя, прости старика глупого, ради Христа...

Тихонько взял руку его и поцеловал. Государь вздрогнул, обернулся, с боязливой улыбкой, как будто не веря своему счастью, посмотрел на него и вдруг весь просиял, заплакал, бросился к нему на шею. Лицо у него было в эту минуту такое же, как у Софьи, больной девочки, когда она к нему ласкалась давеча.

– Алексей Андреич, дружочек миленький... ты меня прости за всё!.. И не надо больше, не надо об этом. Ну разве я... Боже мой, Боже мой, разве я могу без тебя? Да если б ты от меня...

– Не уйду, батюшка, не уйду небось! Куда мне? Только ты да Бог – больше никого не имею на свете...

– А Голицына, – лепетал государь, торопясь и захлёбываясь от радости, – Голицына, будь покоен... я и сам хотел... Голицына завтра же не будет!

– Нет, государь, оставь Голицына, не тронь. Ужо к митрополиту съезжу, даст Бог, уладим всё.

– Ну хорошо, хорошо. Всё, как ты... как вместе решим... только бы вместе – и всё хорошо будет! – проговорил он, глядя на него с блаженной, сквозь слёзы, почти влюблённой улыбкой. – Да побереги ты себя, голубчик, ради Бога, о своём здоровье подумай. Ведь кашляешь-то как опять! Простудился, должно быть... А молоко кобылье пьёшь?

– Пью, батюшка, пью. Только не молоко, а милость твоя мне лучше всех бальзамов целительных... ничего больше не надо – умереть бы у ног твоих, как псу, издохнуть...

Положил голову на колени государя, прижавшись к руке его мокрою от слёз щекою, и смотрел снизу вверх, в самом деле как старый верный пёс.

– Одни мы с тобою, одни на свете, батюшка! Сироты бедные. Никто-то нас не любит, никто не жалеет... Вот в отставку выйдем вместе уж, уедем в Грузино, – лепетал как в бреду, – по полям, по лесам будем гулять, цветки собирать, песенки петь, два брата названные... Только нас двое всего, ты да я, да вот он ещё, он промеж нас двух – третий...

Указал на медальон императора Павла I, висевший у него на груди. Всегда в этот день – 11 марта, единственный день в году, – вместо портрета царствующего надевал портрет покойного императора. Поднёс его к губам благоговейно, перекрестился и поцеловал, как образ.

– Прильпни язык мой к гортани моей, аще не помяну ты во все дни живота моего! – прошептал молитвенным шёпотом. – Как ручки-то наши соединил, помнишь?

Александр кивнул головою молча. В день восшествия своего на престол император Павел I в Зимнем дворце, рядом с комнатой, где умирала императрица Екатерина, соединяя руки Александра и Аракчеева, сказал: «Будьте вечными друзьями».

– А рубашечку помнишь?

Государь кивнул опять с нежной улыбкой. В тот же памятный день, когда прискакавший из Гатчины на фельдъегерской тележке под проливным дождём и промокший весь до нитки Аракчеев должен был переменить бельё, Александр дал ему свою рубашку; и он завещал похоронить себя в ней.

– Во сне-то нынче опять видел его, – шептал всё тем же благоговейным шёпотом.

– Опять?

– Опять, батюшка! Каждый год в эту самую ночь. Марта 1 каждый год. В прошлом-то году – будто смутненький такой, тёмненький и личико всё отворачивает, шляпочку низко надвинул – лица не видать, вот как в гробу лежал. А нынче будто с открытым личиком, только весь жёлтенький, жалкенький такой, и на височке на левом малое чёрное пятнышко...

– Не надо! Не надо! – простонал Александр почти в беспамятстве, закрывая лицо руками.

– Не буду, батюшка, небось не буду. Прости меня, глупого...

– Нет, говори, говори всё. Как же нынче?

– А нынче будто всё шейкою вертит. «Что это говорит, какой галстух тугой? Не умеют впору и галстуха сделать!» И сердится будто. А потом о тебе говорит: «Смотри, говорит,

Алексей Андреич, чтоб и с ним того же не было. Береги его, будь ему в отца место!»

Александр слушал, содрогаясь, холодея весь, как будто доносилась к нему в этом шёпоте нездешняя весть.

– «В отца место», – повторил, рыдая, и прильнул губами к портрету Павла I на груди Аракчеева: ему казалось, что он целует живого отца. Было дальше, дальше детство в прикосновении жёстких, бритых щёк и в запахе старого зелёного мундирного сукна – знакомый казарменный гатчинский запах, запах отца. Последнее убежище, где ему уютно, покойно и ничего не страшно ни в прошлом, ни в будущем, – только здесь, на груди Аракчеева, на груди отца, как будто оба – одно, и он уже не различает их.

Плакали оба, и слёзы их смешивались. Аракчеев гладил волосы его, ласкал, как маленького мальчика. И государю казалось, что ласкает его, прощает отец.

Опомнился, когда Аракчеев кашлянул; затревожился.

– Горяченького бы тебе, дружок? Малины хочешь аль пуншику?

– Чайку бы! – простонал Аракчеев болезненно.

Государь любил чай, и с Аракчевым особенно. Захлопотал, засуетился, позвонил камердинера. Знал, что государыня ждёт; привыкла во время болезни его пить с ним чай, дорожила этим единственным временем, когда были они вместе. Но послал ей сказать, что не придёт, – не задумался пожертвовать ею «другу любезному».

Сам заварил чаю, особого, зелёного, аракчеевского, из свежего цибика; перемыл чашки, полотенцем вытер тщательно; налил не жидко, не крепко, а впору как раз. Колол для прикуски мелкие кусочки сахара: знал все его привычки и прихоти. Ухаживал, потчевал.

– Крендельков анисовых? Любимые твои. Сливочек?

– Сырых не пью, батюшка.

– Варёные. Ефимыч знает: сырых не подаст. Видишь, пеночка. Ты с пеночкой любишь?

– Люблю с пеночкой, – вздохнул Аракчеев жалобно; и, жалобно дую губами, сложенными в трубочку, смиренно пил с блюдечка. Государь смотрел на него с умилением, как мать на больного ребёнка.

Беседовали о мелочах военной службы – предмет излюбленный, неиссякаемый и всегда успокоительный.

Рассматривали нового образца щёточку для солдатских усов и дощечку для чищения пуговиц. Тут же сделали пробу: вычищенные на мундире Аракчеева пуговицы заблестели как жар. И щёточка оказалась восхитительной.

Потом заговорили о новом указе: «Дабы по всей армии делали шаги в аршин, тихим шагом по 75 в минуту, а скорым, той же меры, по 120 шагов; и отнюдь бы с оной меры и кадансу не отступать¹⁶⁴».

О военном параде на Марсовом поле. В лейб-гвардии сапёрном батальоне тишины надлежащей в шеренгах не было, много колен согнутых, игры в носках мало, и во фронте кашляют.

– Ну а зато измайловцы утешили, батюшка, – заметил Аракчеев. – Ах, хороши, молодцы измайловцы! Уподобить должно стенам движущимся: не маршируют, а плывут – Заглядение! Кажись, вели на руки вверх ногами стать, и то пройдут!

– Недурны, – скромничал государь, краснея от удовольствия при этой похвале своему полку любимому. – А всё-таки жаль, что, когда стоят на месте, приметно дыхание, – видно, что люди дышат...

Вспомнили одного ординарца времён павловских, который выучен был носить стакан воды на кивере, не расплёскивая; теперь уже не выучишь: не те люди, не те времена.

Наконец погрузились в бесконечное рассуждение о том, как на обшлагах нового мундира егерского вместо зубчатой вырезки клапана сделать прямую и вместо трёх пуговиц пять.

Лицо у государя было как в детстве, когда играл он в солдатики. И в этой беседе – то же родное, милое, гатчинское, как будто опять между ними двумя – третий – он, отец. И хорошо, тихо-тихо, безрадостно, безгорестно, как в вечности. Кажется, что ничего не было, нет и не

¹⁶⁴ Каданс (фр. cadence) – такт, музыкальный размер.

будет, кроме плутонг, шеренг, эшелонов, баталионов, правильных, тождественных, единообразных человеческих куч, уходящих, подобно щебённым кучам, по обеим сторонам дороги в бесконечную даль.

На часах пробило десять. Государь опять затревожился: Алексею Андреичу спать пора; поздно ляжет – не заснёт. Прекратил беседу на полуслове, велел ему уходить, напомнил о кобыльем молоке, чтоб на ночь выпил. Обнялись на прощанье, перекрестили друг друга.

Когда Аракчеев ушёл, государь начал тоже собираться ко сну. Обряд неизменный. Прочёл по одной главе из Ветхого Завета, Евангелия, Апостола. Много лет читал вместе с Голицыным одни и те же главы по расписанию на целый год; иногда, в походах, в путешествии, чтобы не сбиться со счёту глав, присылал к нему курьеров за справками из-за тысячей вёрст.

Перешёл в спальню рядом с кабинетом; стал на молитву; стоял недолго, потому что нога болела; а прежде от этих стояний, вечерних и утренних, мозоли на коленях делались. Умылся, подошёл к окну, отворил форточку минут на десять: к «воздушным ваннам» приучила его с детства Бабушка по совету философа Грима.¹⁶⁵

Лёг. Постель односпальная, узкая, жёсткая, походная, с Аустерлица всё та же: замшевый тюфяк, набитый сеном, тонкая сафьянная подушка и такой же валик под голову. Обыкновенно засыпал тотчас, как ляжет: повернётся на левый бок (спал всегда на левом боку), перекрестится, подложит левую руку под щёку, закроет глаза и уже спит таким глубоким сном, что, бывало, дежурный камердинер с камер-лакеями тут же рядом, в спальне, прибирая платье, ходят, стучат, кричат, как на улице, потому что знают, что государя, «хоть из пушек пали, не разбудишь».

Но после болезни начались бессонницы. Так и теперь – уже засыпал, вдруг слышались голоса, голоса и шаги бегущих людей по гулким переходам и лестницам, приближающиеся – вот-вот войдут, как в ту страшную ночь. Вздрыгнул и проснулся с тяжело бьющимся сердцем. Чтобы успокоиться, стал думать о правильных, подобных движущимся стенам, шеренгах, о пяти пуговицах вместо семи на обшлага мундира и начал забываться опять. Но Аракчеев зашептал ему на ухо: «Жёлтенький-жёлтенький, жалкенький такой... и на височке будто на левом малое чёрное пятнышко...» Опять вздрогнул, проснулся, широко раскрыл глаза в ужасе – сна как не бывало; почувствовал, что не заснёт во всю ночь.

Встал, надел шлафрок, пошёл в кабинет, отпер ящик стола, где лежали бумаги о тайном обществе, взял отдельный, старый, пожелтевший листок, положенный давеча сверху, и стал читать. То было письмо князя Яшвиля, одного из цареубийц 11 марта. По-французски написано.

«Государь, с той самой минуты, как злополучный отец ваш вступил на престол, решился я пожертвовать собою, если нужно будет для блага России, которая со времён Петра I сделалась игрушкой временщиков и, наконец, жертвой безумца. Отечество наше находится под властью самодержавной, участь миллионов зависит от великости ума или сердца одного... Бог правды знает, что руки наши обагрились кровью царя не из корысти; да будет же бесполезна жертва! Поймите, государь, призвание ваше, будьте на престоле человек и гражданин. Знайте, что для отчаяния есть всегда средства, и не доводите отечество до гибели. Человек, который жертвует жизнью, вправе вам это сказать. Я теперь более велик, чем вы, потому что ничего не желаю, и если бы нужно было для вашей славы, которая для меня так дорога только потому, что она – Слава России, я готов был бы умереть на плахе. Но это не нужно; вся вина падает на нас – вы же чисты; и не такие преступления покрывает царская порфира. Удаляясь в свои поместья, потщусь воспользоваться кровавым уроком и пещись о благе подданных. Царь царствующих простит или покарает меня в мой смертный час; молю его, дабы жертва моя была бесполезна. Прощайте, государь. Перед государем я – спаситель отечества; перед сыном – отцеубийца. Прощайте. Да будет благословение Всевышнего на Россию и на вас, её земного кумира, – да не постыдится она его вовеки».

«...Теперь мы увидим, кто Александр, – похититель престола или сын отечества, готовый

¹⁶⁵ Барон Фридрих Мельхиор Гримм (1723–1807), французский писатель-энциклопедист, долгое время был корреспондентом Екатерины II, а затем её дипломатическим агентом.

на великую жертву?...» – вспомнил государь из другого письма – лифляндского дворянина фон Бока, который за эти слова посажен был в Шлиссельбургскую крепость и там сошёл с ума.

Как сам сходил с ума – тоже вспомнил. В Москве, во время коронации, просиживал целые дни, запершись в комнате, уставившись глазами в одну точку, так же как и теперь часто сиживал, ни о чём не думая, только чувствуя приближающийся ужас безумия, трусливый, животный, отвратительный, от которого холодеют и переворачиваются внутренности. Потом прошло, – думал, навсегда, но вот опять начинается.

Граф Палён, глава заговорщиков, двадцать три года живущий безвыездно на своей курляндской мызе Эккау в полном душевном спокойствии, когда речь заходит об 11 марта, говорит: «За что другое, а за это я сумею дать ответ Богу!» Так говорит, а сам каждый год в эту ночь напивается мертвецки пьян.

С него, что ли, взять пример, чтобы как-нибудь провести эту ночь?

Вернулся в спальню, достал пузырьёк с опиумом, накапал в рюмку с водой, выпил и опять лёг.

Опять голоса, голоса и шаги бегущих людей по гулким переходам и лестницам, приближающиеся: вот-вот войдут, как в ту страшную ночь. И на левом виске жёлтенького, жалкенького личика малое чёрное пятнышко растёт, растёт, ширится, углубляется чернотой бездонною, в которую он, как в яму, проваливается.

А в это же время по тёмным залам дворца пробиралась женщина в сером платье, в сером платке, на лицо опущенном, похожая на изваяние древних плакальщиц или надгробный памятник. В её движениях видно было то, что она сама о себе говорила: «Я всю жизнь пробираюсь по стенке». Так и теперь пробиралась по стенке, крадучись, как воровка, которая боится быть пойманной, или привидение души нераскаянной.

У входа в государевы покои два часовых взяли ружья на караул; молодой офицер, дремавший в кресле, едва успел вскочить, отдал ей честь обнажённою шпагою и, когда она прошла, опустив низко голову, закрывая лицо платком, посмотрел ей вслед с благоговейною жалостью: узнал императрицу Елизавету Алексеевну.

Государь, пока был болен, требовал, чтобы она не отходила от него; когда же выздоровел, она сделалась ненужной. Так всегда: в горе – с ним, без горя – одна. Не смея зайти к нему проститься на ночь, приходила тайком и целовала сонного: он был ей ближе так.

Вошла в спальню, наклонилась, перекрестила и поцеловала спящего в лоб.

*Амуру вздумалось Психею,
Резвяся, поймать, –*

вспомнилась державинская ода новобрачным, пятнадцатилетнему мальчику и четырнадцатилетней девочке. Теперь плешивого Амура целовала старая Психея.

И опять по тёмным залам пошла назад, всё так же пробираясь по стенке, крадучись, как воровка, которая боится быть пойманной, или привидение души нераскаянной.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Быть или не быть России, вот о чём дело идёт!

– Россия» какова сейчас, должна сгинуть вся!

– Ах, как всё гадко у нас, житья скоро не будет!

– Давно девиз всякого русского есть: чем хуже, тем лучше!

– А вот уж революцию сделаем – и всё будет по-новому...

Это ещё из передней, входя к Рылееву, услышал князь Валерьян Михайлович Голицын.

Один из директоров тайного общества, отставной подпоручик Кондратий Фёдорович

Рылеев, жил на Мойке, у Синего моста, в доме Российско-Американской компании,¹⁶⁶ где служил правителем дел. По воскресеньям бывали у него «русские завтраки». Убранство стола – скатерть камчатная, ложки деревянные, солонки петушьими гребнями, блюда резные – так же, как напитки и кушанья – водка, квас, ржаной хлеб, кислая капуста, кулебяка, – всё было знамением древней российской вольности. «Мы должны избегать чужестранного, дабы ни малейшее к чужому пристрастие не потемняло святого чувства любви к отечеству: не римский Брут, а Вадим новгородский¹⁶⁷ да будет нам образцом гражданской доблести», – говаривал Рылеев.

Окна – в нижнем этаже с высокими чугунными решётками. Квартира маленькая, но уютная. Хозяйкин глаз виден во всём: кисейные на окнах занавески, белые как снег; горшки с бальзамином, бархатцем и под стеклянным запотелым колпаком лимончик, выросший из семечка; клетка с канарейками; пол, свежую мастикой пахнущий; домашнего изделия половички опрятные; образа с лампадками и пасхальными яйцами.

Солнце било прямо в окна, кидая на пол косые светлые четырёхугольники с чёрною тенью толстых, как будто тюремных, решёток. Канарейки заливались оглушительно. И казалось, что всё это – не в Петербурге, а в захолустном городке, в деревянном домике: такое простенькое, весёленькое, невинное, именинное или новобрачное.

Гостей много – все члены тайного общества. Сидели, стояли, ходили, беседуя, закусывая, покуривая трубки. Чтоб освежить воздух, открыли форточку: с улицы доносилось весеннее дребезжание дрожек, детски-болтливая капель и воскресный благовест.

Хотя уже с месяц как Голицын был принят в общество, но на собраниях почти не бывал. Софья после разговора с ним на концерте Вьельгорского тяжело заболела. Он целые дни проводил у Нарышкиных в тоске и тревоге, считая себя виновником её болезни. Тем сильнее была радость выздоровления: накануне доктор сказал, что опасность миновала.

Голицын решил пойти к Рылееву, куда уже давно звал его Трубецкой.

– А что, Нева ещё не тронулась? – сказал кто-то среди наступившего молчания, когда они вошли с Трубецким.

– Нет, а скоро, должно быть: лёд потемнел, полыньи большие, мостки сняли, мосты развели.

Такое же весеннее, весёлое почудилось Голицыну в этих словах, как и в тех, при входе услышанных: «А вот уж революцию сделаем – и всё будет по-новому».

С любопытством вглядывался в лица – не похожи на лица заговорщиков: все молодые, тоже весенние, весёлые. «Милые дети», – думал он. Или как пьяному кажется, что все пьяны, так ему, счастливому, – что все счастливы»

Трубецкой познакомил его с Рылеевым.

Лицо смуглое, худое, скуластое, мальчишеское: тонкие, насмешливо-дерзкие губы; большие прекрасные глаза, спокойно-печальные, но в минуту страсти загоравшиеся таким огнём, что становилось жутко. Одет щёголем, но чуть-чуть безвкусно: плюсовый¹⁶⁸ фрак, шитый, видимо, русским иностранцем с Гороховой; слишком пёстрый жилет со стеклянными пуговицами; кружевные рукавички, слишком узкие. И в нём самом, так же как в квартире, – что-то простенькое, весёленькое, невинное, именинное или новобрачное. Беленький батистовый галстучек повязан тщательно, должно быть, жениными ручками, потрепавшими его при этом по щеке с обычною ласкою: «Ах ты моя пышечка, пульпушечка!» Волосы причёсаны и напмажены гладко резедовой помадой, а один вихор на затылке торчит, непокорный: видно,

¹⁶⁶ Российско-Американская компания была создана в 1798 г. путём слияния компаний Голикова – Шелихова и иркутского купца Мыльниковой для «торговли и промыслов на американских островах» и прекратила свою деятельность после продажи Аляски Соединённым Штатам в 1867 г.

¹⁶⁷ Брут – знаменитый глава заговора против Кая Юлия Цезаря. Вадим, по свидетельству некоторых летописей, вождь восстания в Новгороде в 860-х гг. против утвердившегося там князя Рюрика.

¹⁶⁸ Плюсовый – устар., тёмно-коричневый.

мальчик – шалун, только притворился паинькой.

– А я вас помню, князь, по ложе Пламенеющей Звезды,¹⁶⁹ и ещё раньше, в четырнадцатом году, в Париже, – сказал Рылеев Голицыну, – вы, кажется, служили в Преображенском, а я в первой артиллерийской бригады конной роте подпрапорщиком.

– Да, только вы очень изменились, я и не узнал бы вас, – сказал Голицын, который вовсе не помнил Рылеева.

– Ещё бы, за десять-то лет! Ведь совсем дети были...

«И теперь дети», – подумал Голицын.

– Русские дети взяли Париж, освободили Европу – даст Бог, освободят и Россию! – восторженно улыбнулся Рылеев и сделался ещё больше похож на маленького мальчика. – А вы у нас десятый князь в обществе, – прибавил с тою же милою улыбкой, которая всё больше нравилась Голицыну. – Вся революция наша будет восстание варяжской крови на немецкую, Рюриковичей на Романовых...

– Ну какие мы Рюриковичи! Голицыных как собак нерезаных – всё равно что Ивановых...

– А всё-таки князь и камер-юнкер, – продолжал Рылеев с немного навязчивою откровенностью, как школьный товарищ с товарищем. – Люди с положением нам весьма нужны.

– Да положение-то прескверное: Аракчеев намерен сделать выговор; хочу в отставку подать...

– Ни за что не подавайте, князь! Как можно, помилуйте! У нас такое правило: службу не покидать ни в коем случае, дабы все места значительные по гражданской и военной части были в наших руках. И что ко двору вхожи – пренебрегать отнюдь не следует. Если там услышите что, уведомить нас можете. Вон Федя Глиночка – мы Глинку так зовём¹⁷⁰ – правителем канцелярии у генерал-губернатора, так он сообщает нам все донесения тайной полиции, этим только и спасаемся...

– Да я ещё не знаю, принят ли в общество, – удивился Голицын тому простодушию, с которым Рылеев делал его своим шпионом. – Не нужно разве обещания, клятвы какой, что ли?

– Ничего не нужно. Прежде клялись над Евангелием и шпагой; пустая комедия, вроде масонских глупостей. А нынче просто. Вот хоть сейчас: даёте слово, что будете верным членом общества?

Голицын удивился ещё больше, но неловко было отказывать, и он сказал:

– Даю...

– Ну вот и дело с концом! – крепко пожал ему руку Рылеев. – А насчёт княжества – не думайте, что я из тщеславия... Хотя я и дворянский сын, а в душе плебей. Недаром крещён отставным солдатом – бродягой и нищим. Кондратом, мужичьим именем, назван, по крёстному. Оттого, должно быть, и люблю простой народ...

Прислушались к общей беседе.

– В наш век поэт не может не быть романтиком; романтизм есть революция в словесности, – говорил драгунский штабс-капитан Александр Бестужев,¹⁷¹ молодой человек с тою обыкновенною приятностью в лице, о которых отзываются товарищи: «Добрый малый» – и барышни на Невском: «Ах, душка-гвардеец!» Тоже на мальчика похож: самодовольно пощупывал тёмный пушок над губою, как будто желая убедиться, растут ли усики. Говорил тёмно и восторженно.

¹⁶⁹ Ложа «Пламенеющей звезды» («Etoile flamboyante») – масонская ложа в Петербурге в 1810-1820-х гг.

¹⁷⁰ Глинка Фёдор Николаевич (1786–1880) – гвардии полковник, поэт, позже председатель Общества любителей российской словесности.

¹⁷¹ Бестужев Александр Александрович (1797–1837) – штабс-капитан лейб-гвардии драгунского полка. Поэт, писатель (псевд. Марлинский), издавал вместе с Рылеевым альманах «Полярная звезда». Декабрист, осуждён по 1-му разряду, по конфирмации получил 20 лет каторги, с 1828 г – по высочайшему повелению переведён в армию на Кавказ рядовым, где и погиб в сражении.

– Неизмеримый Байрон – вот истинный романтик! Его поэзия подобна Эоловой арфе, на которой играет буря...¹⁷²

– Романтизм есть стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах! – воскликнул молодой человек в штатском платье, коллежский ассессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер, или попросту Кюхля, русский немец, белобрысый, пучеглазый, долговязый, как тот большой вялый комар, которого зовут *караморой* ; лицо странно перекошенное, слегка полоумное, но, если взглянуть, пленительно доброе.

– Прекрасное есть заря истинного, а истинное – луч Божества на земле, и сам я вечен! – вдохновенно махнул он рукою и опрокинул стакан: был близорук и рассеян, на всё натыкался и всё ронял.

Заспорили о Пушкине. Как будто желая перекрычать споривших, канарейки заливались оглушительно; должны были накрыть клетку платком, чтоб замолчали.

– Пушкин пал, потому что не постиг применения своего таланта и употребил его не там, где следует, – объявил Бестужев, самодовольно пощупывая усики.

– Предпочитаешь Булгарина?¹⁷³ – усмехнулся князь Одоевский,¹⁷⁴ конногвардейский корнет, хорошенький мальчик, похожий на девочку, весёлый, смешливый, любивший дразнить Бестужева, как и всех говорунов напыщенных.

– А ты что думаешь? – возразил Бестужев. – Фаддей лицом в грязь не ударит. Погоди-ка, Иван Выжигин¹⁷⁵ будет литературы всесветной памятник... А Пушкин ваш – милая сирена, прелестный чародей, не более. Аристократом, говорят, сделался, шестисотлетним дворянством чванится, – маленькое подражание Байрону? Это меня рассмешило. Ума настоящего нет – вот в чём беда. «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата» – о себе, видно, сказал... Зашёл к нему как-то приятель: «Дома Пушкин?» – «Почивают». – «Верно, всю ночь работал?» – «Как же, работал! В картишки играл...»

– Талант ничто, главное – величие нравственное, – уныло согласился Кюхля, любивший Пушкина, своего лицейского товарища, с нежностью.

– «Будь поэт и гражданин!» – добил Бестужев Пушкина рылеевским стихом. – Предмет поэзии – полезным быть для света и воспалить в молодых сердцах к общественному благу ревность.

Одоевский поморщился, как от дурного запаха, и уставился на своего противника со школьническим вызовом.

– А знаешь, Бестужев, что сказал Пушкин своему брату Лёвушке?

– Блёвушке-пьянице?

– Ему самому. «Только для хамов – всё политическое. Tout ce qui est politique n'est fait que pour la canaille»...

– Так значит, и мы хамы, потому что занимаемся политикой?

– Хамы все, кто унижает высокое! – сверкнул на него глазами Одоевский, и в эту минуту был так хорош, что Голицыну хотелось его расцеловать.

– Что выше блага общего? – самоуверенно пожал плечами Бестужев. – И чего ты на стену лезешь? Святой ваш Пушкин, пророк, что ли?

– Не знаю, пророк ли, – вступился новый собеседник, всё время молча слушавший, – только знаю, что все нынешние господа сочинители мизинца его не стоят...

¹⁷² Эол, владыка острова Эолия из «Одиссеи» Гомера, повелевал ветрами и бурями.

¹⁷³ Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) – писатель, журналист, редактор ряда изданий.

¹⁷⁴ Одоевский Александр Иванович (1802–1839) – князь, корнет лейб-гвардии конного полка, поэт. Декабрист, осуждён к 8 годам каторги и последующей ссылке на Кавказ.

¹⁷⁵ «Иван Выжигин» – роман Ф. В. Булгарина (перв. изд. 1829 г.).

С простым и тихим лицом, с простою и тихою речью, Иван Иванович Пущин¹⁷⁶ между этими пылкими юношами казался взрослым между детьми. Тоже лицейский товарищ Пушкина, покинул он блестящую службу в гвардейском полку для должности губернского надворного судьи, веруя, что малые дела не меньше великих и что в самом ничтожном звании можно сохранить доблесть гражданскую. Голицын чувствовал в тишине и простоте его что-то иное, на остальных непохожее, невесторженное и правдивое, пушкинское; как будто не случайно было созвучие имён Пущин и Пушкин.

– Мы вот всё говорим о деле, а он сделал, – сказал Иван Иванович тихо, просто, но все невольно прислушались.

– Да что же, что сделал? – начинал сердиться Бестужев. – Заладили: Пушкин да Пушкин – только и света в окошке. Ну что он такое сделал, скажите на милость?

– Что сделал? – ответил Пущин. – Научил нас говорить правду.

– Какую правду?

– А вот какую.

Всё так же просто, тихо прочёл из только что начатой третьей главы «Онегина» разговор Татьяны с нянею. Когда кончил, все, точно канарейки под платком, притихли.

– Как хорошо! – прошептал Одоевский.

– Да, стих гладок и чувства много, но что же тут такого? – начал было Бестужев и не кончил: все молча посмотрели на него так, что и он замолчал, только презрительно пощупал усики.

Рядом со столовой была гостиная, маленькая комната, отделённая от супружеской спальни перегородкою. Как во всех небогатых гостиных – канапе с шитыми подушками, круглый стол с вязаной скатертью, стенное овальное зеркало, плохонькие литографии Неаполя с извержением Везувия, хрустальные кенкеты с восковыми свечами, ковёр на полу с арапом и тигром. У окна пальцы с начатой вышивкой, голубая белка со спиной в виде лесенки. Плющевой трельяж и клавесин с открытыми нотами романса:

*Места, тобою украшенны,
Где дни я радостьми считал,
Где взор, тобой обворожённый,
Мои все чувства услаждал...*

Накурено смолкою, но капуста и жуков табак из столовой заглушают смолку.

Наталя Михайловна, жена Рылеева,¹⁷⁷ – совсем ещё молоденькая, миловидная, слегка жеманная, не то институтка, не то поповна. И от неё, казалось, как от мужа, пахнет новобрачной или именинной резедой. Платице – домашнее, но по модной выкройке; бережевый шарфик тру-тру, должно быть, задёшево купленный в Суровской линии. Причёска тоже модная, но не к лицу – накладные, длинные, вдоль ушей висящие букли. Натали – вместо Наташи. Но по рукам видно: хозяйка; по глазам – добрая мать.

Голицын, Пущин и Одоевский перешли в гостиную. Здесь Наталя Михайловна читала вслух, краснея от супружеской гордости, «Литературный Листок» Булгарина:

«Издатели имели счастье поднести по экземпляру Полярной Звезды их императорским величествам, государыням императрицам и удостоились высочайшего внимания: Кондратий Фёдорович Рылеев получил два бриллиантовых перстня, а Александр Александрович Бестужев – золотую, прекрасной работы табакерку».

– Ну чего ещё желать? – усмехнулся Пущин. – Бывало, Тредьяковский, поднося оду императрице, от дверей к трону на коленях полз, а нынче сами императрицы подносят нам

¹⁷⁶ Пущин Иван Иванович (1798–1859) – судья Московского надворного суда, декабрист. Осуждён по 1-му разряду, по конфирмации приговорён к вечной каторге, позже заменённой поселением.

¹⁷⁷ Рылеева Наталя Михайловна (ум. 1853) – урожд. Тевяшева, с 1819 г. жена К. Ф. Рылеева, в 1833 г. вышла замуж вторично за поручика Г. И. Куколевского.

подарочки.

Наташа не поняла, покраснела ещё больше, не вытерпела, принесла показать футляр с перстнями; хвастала и жаловалась:

– Атя такой чудак, право! Ни за что не хочет носить, а какие алмазы-то! – любовалась игрой камней на солнце.

– Не к лицу республиканцу, что ли? – продолжал усмехаться Пущин.

– Да почему же? Я и сама республиканка, а царскую фамилию боготворю. Особенно императрицы – такие, право, добрые, милые...

– Республика с царскою фамилией?

– А что же? – подняла Натали брови с детским простодушием. – Кондратий Фёдорович сам говорит: республика с царём вместо президента, как в Северо-Американских Штатах...

– Натали, не болтай вздора! – крикнул издали Рылеев.

В столовой спорили о двухпалатной системе, о прямых и косвенных выборах в будущий русский парламент. Рылеев что-то доказывал и кричал, стучал кулаками по столу.

– Ну вот, опять! Ах, несносный какой! – оглянулась на него Натали с насмешливой нежностью. – Намедни так же вот заспорил, закричал, застучал кулаками, не захотел ничего слушать да без шапки на двор по морозу и выбежал. Просто беда!

– О чём же? О республике с царской фамилией?

– Не помню, право. Всё о пустяках: выеденного яйца не стоит, а он горячится...

Улыбка Пущина сделалась печальной и кроткой.

– А что, Настенька всё ещё кашляет?

– Нет, слава Богу, прошло. А уж боялась-то я как! Коклюш, говорят, по городу ходит. Сегодня гулять вышла. Трофим обещал из деревни живого зайчика. Ждём не дождёмся, – ответила уж не пустенькая Натали, а умная и добрая Наташа.

В укромном уголку за трельяжем беседовала парочка: капитан Якубович¹⁷⁸ и девица Теляшева, Глафира Никитична, чухломская барышня, приехавшая в Петербург погостить, поискать женихов, двоюродная сестра Наташина.

Якубович, «храбрый кавказец», ранен был в голову; рана давно зажила, но он продолжал носить на лбу чёрную повязку, щеголял ею, как орденской лентою.

Славился сердечными победами и поединками; за один из них сослан на Кавказ. Лицо бледное, роковое, уж с печатью байронства, хотя никогда не читал Байрона и едва слышал о нём.

Перелистывая Глашенькин альбом с обычными стишками и рисунками. Два голубка на могильной насыпи:

*Две горлицы укажут
Тебе мой хладный прах.*

Амур, над букетом порхающий:

*Пчела живёт цветами,
Амур живёт слезами.*

И рядом – блёклыми чернилами, старинным почерком: «О, природа! О, чувствительность!...»

– Вы, господа кавалеры, считаете нас, женщин, дурами, – бойко лепетала барышня, – а мы умом тонее вашего: веку не станет мужчине узнать все наши женские хитрости. Мужчину в месяц можно узнать, а нас никогда...

– Ваша правда, сударыня, – любезно говорил капитан, поводя чёрными усами, как жук. –

¹⁷⁸ Якубович Александр Иванович (1792–1845) – корнет Нижегородского драгунского полка, прославился множеством дуэлей (в том числе с А. С. Грибоедовым). Декабрист, приговорён к вечной каторге. Умер на поселении в Енисейске.

Вся натура женская есть тончайший флёр, из неприметных филаментов сотканный. Легче найти философский камень, нежели разобрать состав вашего непостоянного пола...

– Почему же непостоянного? И мы умеем верно любить. Хотя наш пол, разумеется, не то что ваш: всякая женщина должна обвиваться вокруг кого-нибудь, вот как этот плющ, а без опоры вянет, – вздохнула Глафира, указывая на трельяж и томно играя узкими калмыцкими глазками с пушистыми ресницами, кидавшими тень на розово-смуглое личико. Ей двадцать восемь лет; ещё год-другой – и отцветёт; но пока пленительна тою общедоступною прелестью, на которую так падки мужчины.

– Ну полно! Расскажите-ка лучше, капитан, как вы на Кавказе сражались...

Якубович не заставил себя просить: любил порассказать о своих подвигах. Слушая, можно было подумать, что он один завоевал Кавказ.

– Да, поела-таки сабля моя живого мяса, благородный пар крови курился на её лезвии! Когда от пули моей падал в прах какой-нибудь лихой наездник, я с восхищением вонзал шашку в сердце его и вытирал кровавую полосу о гриву коня...

– Ах, какой безжалостный! – млела Глашенька.

– Почему же безжалостный? Вот если бы такое беззащитное создание, как вы...

– И неужели не страшно? – перебила она, стыдливо потупившись.

– Страх, сударыня, есть чувство, русским незнакомое. Что будет, то будет – вот наша вера. Свист пуль стал для нас, наконец, менее, чем ветра свист. Шинель моя прострелена в двух местах, ружьё – сквозь обе стенки, пуля изломала шомпол...

– И все такие храбрые?

– Сказать о русском «он храбр» – всё равно что сказать «он ходит на двух ногах».

*Не родился тот на свете,
Кто бы русских победил! –*

патриотическим стишком подтвердила красавица.

Одоевский, подойдя незаметно к трельяжу, подслушивал и, едва удерживаясь от смеха, подмигивал Голицыну. Они познакомились и сошлись очень быстро.

– И этот – член общества? – спросил Голицын Одоевского, отходя в сторону.

– Да ещё какой! Вся надежда Рылеева. Брут и Марат вместе, наш главный тираноубийца. А что, хорош?

– Да, знаете, ежели много таких...

– Ну *таких*, пожалуй, немного, а *такого* много во всех нас. Чухломское байронство... И каким только ветром надуло, чёрт его знает! За то, что чином обошли, крестика не дали,

*Готов царей низвергнуть с тронов
И Бога в небе сокрушить, –*

как говорит Рылеев. Скверно то, что не одни дураки подражают и завидуют Якубовичу: сам Пушкин когда-то жалел, что не встретил его, чтобы списать с него Кавказского пленника...

Подошли к Пущину. Когда тот узнал, о чём они говорят, усмехнулся своею тихою усмешкою.

– Да, есть-таки в нас во всех эта дрянь. Болтуны, сочинители Репетиловы: «шумим, братец, шумим!» Или как в цензурном ведомстве пишут о нас: «упражняемся в благонравной словесности». А господа словесники, сказал Альфиери,¹⁷⁹ более склонны к умозрению, нежели к деятельности. Наделала синица славы, а моря не зажгла...

И прибавил, взглянув на Голицына:

– Ну да не все же такие, есть и получше. Может быть, это не дурная болезнь, а так только, сыпь, как на маленьких детях: само пройдёт, когда вырастем...

Все трое вернулись в столовую. Там князь Трубецкой, лейб-гвардии полковник, рябой,

¹⁷⁹ Альфиери, Витторио (1749–1803) – граф, итальянский поэт и драматург.

рыжеватый, длинноносый, несколько похожий на еврея, с благородным и милым лицом, читал свой проект конституции:

– «Предложение для начертания устава положительного образования, когда его императорскому величеству благоугодно будет»...

– После дождичка в четверг! – крикнул кто-то.

– Слушайте! Слушайте!

– «...благоугодно будет с помощью Всевышнего учредить Славяно-Русскую империю.

Пункт первый: опыт всех народов доказал, что власть неограниченная равно гибельна для правительства и для общества; что с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка не согласна она, русский народ, свободный и независимый, не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства...»

С первым пунктом согласны были все; но по второму, об ограничении монархии, заспорили так, что Трубецкому уже не пришлось возобновлять чтения. Все говорили вместе, и никто никого не слушал: одни стояли за монархию, другие – за республику.

– Русский народ, как бы сказать не соврать, не поймёт республики, – начал инженерный подполковник Гаврила Степанович Батенков.¹⁸⁰

Он ещё не был членом общества, собирался вступить в него и всё откладывал. Но ему верили и дорожили им за редкую доблесть: в походе 1814 года, в сражении при Монмиле, так долго и храбро держался на опаснейшей позиции, что окружён был неприятелем, получил десять штыковых ран, оставлен запертво на поле сражения и взят в плен. В штабном донесении сказано: «Потеряны две пушки с прислугой от чрезмерной храбрости командовавшего ими офицера Батенкова». Был домашним человеком у Сперанского, который любил его за отличные способности; служил у Аракчеева в военных поселениях, но хотел выйти в отставку. Превосходный инженер, глубокий математик. «Наш министр», – говорили о нём в обществе.

Сутул, костляв, тяжёл, неповоротлив, медлителен, в тридцать лет старообразен и, подобно Пушкину, в этом собрании как взрослый между детьми. Высокий лоб, прямой нос, выдающийся подбородок, сосредоточенный, как бы внутрь обращённый взгляд. Говорил с трудом, точно тяжёлые камни ворочал. Курил трубку с длинным бисерным чубуком и, усиленно затягиваясь, казалось, недостающие слова из неё высасывал.

– Русский народ не поймёт республики, а если поймёт, то не иначе, как боярщину. Одни церковные ектеньи¹⁸¹ не допустят нас до республики... Да и не впору нам никакие конституции. Императрица Екатерина II правду сказала: не родился ещё тот портной, который сумел бы сшить кафтан для России...

– Говорите прямо: вы против республики? – крикнул Бестужев, который побаивался и недолюбливал Батенкова.

– Да, значит, того... как бы сказать не соврать, – опять заворочал свои тяжёлые камни Батенков, – по особливому образу мыслей моих, я не люблю республик, потому что угнетаются оные сильным деспотичеством законов. А также, по некоторым странностям в моих суждениях, я воображаю республики Заветом Ветхим, где проклят всяк, кто не пребудет во всех делах закона; монархии же – подобием Завета Нового, где государь, помазанник Божий, благодать собою представляет и может добро творить, по изволению благодати. Самодержец великие дела безнаказанно делает, каких никогда ни в какой республике по закону не сделать...

– Если вам самодержавие так нравится, зачем же вы к нам в общество вступили?

– Не вступил, но, может, и вступлю... А зачем? Затем, что самодержавия нет в России, нет русского царя, а есть император немецкий... Русский царь – отец, а немец – враг народа... Вот уже два века, как сидят у нас немцы на шее... Сперва немцы, а там жида... С этим, значит,

¹⁸⁰ Батенков (Батеньков) Гавриил Степанович (1793–1863) – подполковник корпуса инженеров путей сообщения, декабрист. Осуждён по 1-му разряду и по конфирмации приговорён к 20 годам каторги, которую отбывал в основном в Петропавловской крепости. Поэт, автор воспоминаний.

¹⁸¹ Ектеньи (греч. «распространение») – название ряда молитвенных прошений (ектеньи великая, малая, просительная, сугубая и т. д.).

того, как бы сказать не соврать, прикончить пора...

– Верно, верно, Батенков! Немцев долой! К чёрту немцев! – закричал Кюхельбекер восторженно.

– Да ты-то, Кюхля, с чего, помилуй? Сам же немец... – удивился Одоевский.

– Коли немец, так и меня к чёрту! – яростно вскочил Кюхельбекер и едва не стащил со стола скатерть со всею посудой. – А только в рожу я дам тому, кто скажет, что я не русский!..

– Поймите же, государи мои, ход Европы – не наш ход, – выкатил насилиу Батенков свой самый тяжёлый камень, – история наша требует мысли иной; Россия никогда ничего не имела общего с Европою...

– Так-таки ничего? – улыбнулся Пущин.

– Ничего... то есть в главном, значит, того, как бы сказать не соврать, в самом главном... ну, в пустяках – о торговле там, о ремёслах, о промыслах речи нет...

– И просвещение – пустяки?

– Да, и просвещение – перед самым главным.

– Всё народное – ничто перед человеческим! – заметил Бестужев.

Батенков только покосился на него угрюмо, но не ответил.

– Да главное-то, главное что, позвольте узнать? – накинулись на него со всех сторон.

– Что главное? А вот что, – затянулся он из трубки так, что чубук захрипел. – Русский человек – самый вольный человек в мире...

– Вот тебе на! Так на кой нам чёрт конституция? Из-за чего стараемся?

– Я говорю вольный, а не свободный, – поправил Батенков. – Самый рабский и самый вольный; тела в рабстве, а души вольные.

– Дворянские души, но не крепостные же?

– И крепостные, всё едино...

– Вы разумеете вольность первобытную, дикую, что ли?

– Иной нет; может быть, и будет когда, но сейчас нет.

– А в Европе?

– В Европе – закон и власть. Там любят власть и чтут закон; умеют приказывать и слушаться умеют. А мы не умеем, и хотели бы, да не умеем. Не чтим закона, не любим власти – да и шабаш. «Да отвязись только, окаянный, и сгинь с глаз моих долой!» – так-то в сердце своём говорит всякий русский всякому начальнику. Не знаю, как вам, государи мои, а мне терпеть власть, желать власти всегда были чувства сии отвратительны. Всякая власть надо мной – мне страшилище. По этому только одному и знаю, что я русский, – обвёл он глазами слушателей так искренно, что все вдруг почувствовали правду в этих непонятных и как будто нелепых словах. Но возмущались, возражали...

– Что вы, Батенков, помилуйте! Да разве у нас не власть?..

– Ну какая власть? Курам на смех. Произвол, безначалие, беззаконие. Оттого-то и любят русские царя, что нет у него власти человеческой, а только власть Божья, помазанье Божье. Не закон, а благодать. Этого не поймут немцы, как нам не понять ихнего. А это – главное, это – всё! Россия, значит, того, как бы сказать не соврать, только притворилась государством, а что она такое, никто ещё не знает... Не правительство приват у нас, а Никола Угодник...

– И Аракчеев?

– Аракчеев с благодатью?

– Не оттого ли и служите в военных поселениях, что там благодать?

Но Батенков не замечал насмешек, как будто не слышал; тяжело и неповоротливо следовал только за собственной мыслью; разгорался медленно, и казалось, что перед этим тяжёлым жаром лёгкий пыл прочих собеседников – как соломенный огонь перед раскалённым камнем.

Помолчал, задумался, затянулся, набрал дыму в рот и выпустил кольцами.

– Всё, что в России хорошо, – по благодати, а что по закону – скверно, – заключил, как будто любясь окончательною ясностью мысли: видно было – математик.

– Какая подлость, какая подлость! – послышался вдруг негодующий окрик.

Там, в углу у печки, стоял молодой человек с невзрачным, голодным и тощим лицом, обыкновенным, серым, точно пыльным лицом захоластного армейского поручика, с надменно

оттопыренной нижней губой и жалобными глазами, как у больного ребёнка или собаки, потерявшей хозяина. Поношенный чёрный штатский фрак, ветхая шейная косынка, грязная холстинная сорочка, штаны обтрёпанные, башмаки стоптанные. Не то театральный разбойник, не то фортепианный настройщик. «Пролетар» – словечко это только что узнали в России.

В начале спора он вошёл незаметно, почти ни с кем не здороваясь; с жадностью набросился на водку и кулебяку, съел три куса, запил пятью рюмками; отошёл от стола и как стал в углу у печки, скрестив руки по-наполеоновски, так и простоял, не проронив ни слова, только свысока поглядывая на спорщиков и усмехаясь презрительно.

– Кто это? – спросил Голицын Одоевского.

– Отставной поручик Пётр Григорьевич Каховский.¹⁸² Тоже тираноубийца. Якубович – номер первый, а этот – второй.

Когда Каховский крикнул: «Какая подлость!», все оглянулись и наступила тишина. Думали, Батенков обидится. Но он проговорил спокойно и задумчиво, как будто продолжая следовать за своею собственною мыслью:

– Правильно, сударь, заметить изволили: превеликою сие может быть подлостью; подлость одна и есть нынче в России. Но не всегда же было так. Для того и нужна революция, чтобы снова неподлым стало...

– Ну чего, брат, канитель-то тянуть, – возмутился, наконец, Рылеев. – Скажи-ка лучше попросту: за царя ты, что ли?

– За царя? Нет, то есть, значит, того, как бы сказать не соврать, если и за царя, то не за такого, как нынешний. Истинный-то царь – всё равно что святой; душу свою за народ полагает; страстотерпец и мученик; сам от царства отрекается. Богу всю власть отдаёт, народ освобождает... А этот что?

– Да ведь и этот, – возразил Рылеев, – в Священном-то Союзе, помнишь. «Все цари земные слагают венцы свои у ног единого царя Христа небесного...»

– Великая, великая мысль! Величайшая! Больше сей мысли и нет на земле и не будет вовеки. Только исподлили, изгадили мерзавцы так, что разве самому Меттерниху или чёрту под хвост. За это их убить мало! – потряс он кулаком с внезапною яростью, и по лицу его в эту минуту видно было, что он мог потерять всю команду с пушками от чрезмерной храбрости.

– А коли так, – засмеялся Рылеев, – нам всё равно: царь так царь. Кто ни поп, тот и батька. Только бы революцию сделать!

Батенков умолк и сердито выбил пепел из потухшей трубки, как будто сам потух; увидел, что никто ничего не понимает.

Одни смеялись, другие сердились.

– Темна вода во облацех!

– Министр-то наш, кажется, того, сбрендил!

– Какие-то масонские таинства!

– Уши вянут!

– Ермалафия!

– За царя, да без царя в голове! Этак и вправду, пожалуй, революции не сделаешь...

– Шпион, как же вы, господа, не видите? Просто аракчеевский шпион! – шептал соседям на ухо Бестужев, сам не веря и зная, что другие не поверят.

А между тем все продолжали чувствовать, что есть у Батенкова что-то, чего не победишь смехом.

Один только Голицын понял: парижские беседы с Чаадаевым о противоположном подобии двух вечных двойников – русского царя и римского первосвященника – вспомнились ему, и вдруг со дна души поднялось всё тайное, страшное, что давно уже мучило его, как бред. Знал, что говорить не надо, – всё равно никто ничего не поймёт... Но что-то подступило к горлу его, захватило неудержимым волнением. Он встал, подошёл к Батенкову и проговорил слегка дрожащим голосом:

¹⁸² Каховский Пётр Григорьевич (1797–1826) – отставной поручик, декабрист, смертельно ранивший 14 декабря 1825 г. петербургского генерал-губернатора М. А. Милорадовича. Осуждён вне разрядов и казнён 13 июля 1826 г.

– Давеча Каховский назвал это подлостью; но это хуже, чем подлость...

– Хуже, чем подлость? – посмотрел на него Батенков, опять без обиды, только с недоумением и любопытством.

– Что может быть хуже подлости? – спросил кто-то.

– Кошунство, – ответил Голицын.

– В чём же тут, как бы сказать не соврать, полагаете вы кошунство? – продолжал любопытствовать Батенков.

– Царя Христом делаете, человека – Богом. Может быть, и великая, но чёртова, чёртова мысль! Кошунство кошунств, мерзость мерзостей!..

Вдруг замолчал, оглянулся, опомнился. Губы скривились обычною усмешкою, злою не к другим, а к себе; живой огонь глаз покрыли очки мёртвенным поблескиванием стёклышек; сделался похож на Грибоедова в самые насмешливые минуты его. «С чего это я?» – подумал с досадою. Было стыдно, как будто чужую тайну выдал.

А Батенков в меньшем волнении, чем он, опять задвигался, зашевелился неуклюже-медлительно, как будто тяжёлые камни ворочал.

– Может быть, тут и правда есть, как бы сказать не соврать... Я и сам думал... Ну да мы ещё с вами потолкуем, если позволите.

Хотел что-то прибавить, но не успел: поднялся общий говор и смех.

– Неужели вы о чёрте серьёзно? – спросил Бестужев.

– Серьёзно. А что?

– В чёрта верите?

– Верю.

– С рогами и с хвостом?

– Вот именно.

– Тут, по-вашему, он и сидит?

– Пожалуй, что так.

– Ну поздравляю, чёрта за хвост поймали!

– Договорились до чёртиков!

Из гостиной вышел Якубович, прислушался и вдруг вспыхнул неизвестно на кого и на что; должно быть, как всегда, обиделся умным разговором, в котором не мог принять участия.

– Нам о деле нужно, а мы чёрт знает о чём...

– Слушайте! Слушайте!

– О каком же деле?

– А вот о каком. Государь всему злу есть первая причина, а посему, ежели хотим быть свободными...

– Ну полно, брат, полно. Знаем, что ты молодец, – успокаивал его Рылеев.

– Закройте хоть форточку, а то квартальный услышит! – смеялся Одоевский.

– Ничего, – подумает, что мы переводим из Шиллера, упражняемся в благой словесности.

– Если хотим быть свободными, – продолжал Якубович, не слушая и выкрикивая с таким же неестественным жаром, как давеча о своих кавказских подвигах, – то прежде всего истребить надо...

– Папенька! Папенька! Лёд пошёл! – закричала, вбегая в комнату с радостным визгом, Настенька, маленькая дочка Рылеева, такая же смугленькая и востроглазая, как он. – На Неве-то как хорошо, папенька! Мосты развели, народу сколько, пушки палат, лёд пошёл! Лёд пошёл!

Так и не досказал Якубович, кого надо истребить. Все занялись Настенькой. Батенков наклонился, расставил руки, поймал её, обнял и защекотал.

– Сорока-воровка, кашку варила, на порог скакала, гостей созывала, этому дала, этому дала...

– А вот и не боюсь, не боюсь! – отбивалась от щекотки Настенька. – Батя, а Батя, спой-ка Совочку...

Батенков присел перед ней на корточки, съёжился, нахохлился, сделал круглые глаза и запел сначала тоненьким, потом всё более густым, грубым голосом:

*Сидит сова на печи,
Крылышками треплючи;
Оченьками лоп-лоп:
Ноженьками топ-топ...*

И хлопал себя руками по ляжкам, точно крыльями, и притопывал ногами тяжело, неповоротливо, медлительно, так что в самом деле похож был на большую птицу.

Настенька тоже прыгала, топала и хлопала в ладоши, заливаясь пронзительно-звонким смехом.

Когда кончил песенку, схватил её в охапку, поднял высоко над головой – сова полетела – и опустил на пол. Девочка прижалась к нему ласково.

– Дядя – бука! – указала вдруг на Якубовича, который свирепо поправлял чёрную повязку на лбу, неестественно вращал глазами, делал роковое лицо и действительно был так похож на «буку», что все расхохотались.

Якубович ещё свирепее нахмурился, пожал плечами и, ни с кем не прощаясь, вышел.

Рылеев увёл Голицына в кабинет.

– Ну что, как? Нравится вам у нас?

– Очень.

– А только молодо-зелено? Детки шалют, деток – розгою? Так, что ли?

– Я этого не говорю, – невольно улыбнулся Голицын тому, что Рылеев так верно угадал.

– Ну всё равно думаете, признайтесь-ка... Да ведь что поделаешь? Русский человек, как тридцать лет стукнет, ни к чёрту не годен. Только дети и могут сделать у нас революцию. А насчёт розги... Вы где воспитывались?

– В пансионе аббата Никола.

– Ну так, значит, берёзовой каши не отведали. А нас, грешных, в корпусе как сидоровых коз драли. Меня особенно: шалун был, сорванец-мальчишка. А ничего, обтерпелся. Лежишь, бывало, под розгами, не пикнешь – только руки искусаешь до крови, а встанешь на ноги и опять нагрубишь вдвое. Убей – не боюсь. Вот это бунт так бунт! Так бы вот надо и с русским правительством... Вся революция в одном слове: дерзай!

– А у вас лампадки везде, – сказал Голицын, заметив здесь, в кабинете, так же как в столовой и гостиной, затепленную лампадку перед образом.

– Да, жена любит. А что?

Голицын ничего не ответил, но Рылеев опять угадал.

– Мне всё равно – лампадки. Я в Бога не верую. А впрочем не знаю. Мало думал. Что за гробом, то не наше. Но кажется, есть что-то такое... А вы?

– Я верю.

– То-то вы о чёрте давеча... А зачем?

– Что зачем?

– Да вот верить?

– Не знаю. Но кажется, без этого нельзя ничего...

– И революцию нельзя?

– И революцию.

– Ну а я хоть не верю, а вот вам крест – через два года революцию сделаем!

Жуткий огонь сверкнул в глазах его, а упрямый на затылке хохол торчал всё так же детски-беспомощно, как у сорванца-мальчишки в корпусе.

– Зайчик! Зайчик! Зайчик! – послышался опять из столовой радостный Настенькин визг.

Староста Трофимыч принёс на кухню обещанного зайчика. Он вырвался у Настеньки, игравшей с ним, и побежал по комнатам. Она ловила его и не могла поймать. Спрятался в столовой под стол. Поднялась суматоха. Кюхля ползал по полу длинноногой караморой, залез под скатерть, задел за ножку стола, едва не опрокинул, растянулся, а зайчик, перепрыгнув через голову его, убежал в гостиную и шмыгнул под Глашеневкин подол. Она подобрала ножки и завизжала пронзительно. В суматохе свалилась шаль с клетки; канарейки опять затрещали неистово, как будто стараясь перекрыть и оглушить всех. В открытую форточку слышался воскресный благовест, как песнь о вечной свободе – весенний, весёлый звон разбитых льдов.

«Милые дети! – думал Голицын. – Кто знает? Может быть, так и надо? Вечная свобода – вечное детство?..»

Солнце кидало на пол косые светлые четырёхугольники окон с чёрною тенью как будто тюремных решёток. И ему казалось, что свобода – как солнце, а рабство – как тень от решёток: через неё даже Настины детские ножки переступают с лёгкостью.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Рылеев и Бестужев, сидя у камелька в столовой, той самой, где происходили русские завтраки, разговаривали о делах тайного общества. Дрова в камельке трещали по-зимнему, и зимний ветер выл в трубе. Из окон видно было, как на повороте Мойки, у Синего моста, срыгает он шапки с прохожих, вздувает парусами юбки баб и закидывает воротники шинелей на головы чиновников.

Первый ледоход, невский, кончился, и начался второй, ладожский. Задул северо-восточный ветер; всё, что растаяло, замёрзло опять; лужи подёрнулись хрупкими иглами; замжилась ледяная мжица, закурилась низким белым дымком по земле, и наступила вторая зима, как будто весны не бывало. Но всё же была весна. Иногда редели тучи, полыньями сквозь них голубело, зеленело, как лёд, прозрачное небо; пригревало солнце, таял снег; дымились крыши; мокрые, гладкие, лоснились лошадиные спины, точно тюлени. И уличная грязь сверкала вдали серебром ослепительным. Всё – надвое, и канарейки в клетке чирикали надвое: когда зима – жалобно, когда весна – весело.

– Никто ничего не делает, – говорил Рылеев в одном из тех припадков уныния, которые бывали у него часто и проходили так же внезапно, как наступали. – А ведь надо же что-нибудь делать. Начинать пора...

– Да, пора начинать, – сказал Бестужев, потягиваясь и удерживая зевоту. Не выспался: сначала – карты в клубе, потом – тройки в Екатерингоф, и в Жёлтом кабачке-всю ночь с цыганками. Не о делах бы теперь, а выпить с похмелья да порассказать о ночных похождениях.

Бестужев был добрый малый: в самом деле, добрый товарищ, храбрый офицер и остроумный писатель, сотрудник «Полярной Звезды». Но в заговор попал, как кур во щи, – из мальчишеского ухарства, байронства, подражания Якубовичу; играл в заговорщики, как дети играют в разбойники. Но начинал понимать, что игра опасна; всё чаще подумывал, как бы, не изменяя слову, выйти из общества; летом женится в Москве и уедет за границу.

«Теперь ещё куда ни шло, буди воля Божья, – мечтал наедине, – но если женюсь, ни за что не останусь в обществе, хоть расславь меня по всему свету чем хочешь!»

– Да, пора начинать! – повторил он с особенным жаром под испытующим взглядом Рылеева, отвернувшись, поправил щипцами огонь в камельке и торопливо, деловито прибавил: – А Пестель, говорят, уже здесь...

– Пестель? Быть не может! Чего ж он прячется, глаз не кажет? – удивился Рылеев.

– Боится, что ли? – продолжал Бестужев. – Следят за ним очень. У самого государя на примете. Да и за нами, чай, следят. Проходу нет от шпионов. Глиночка-то наемни, помнишь, говорил: «Смотрите в оба!» А ведь вот и Пестель начинает торопить: в южной армии дела будто в таком положении, что едва можно удерживать: довольно одной роте взбунтоваться, чтобы само началось. Предлагает нам соединиться с южными...

– Было бы кому соединяться! – горько усмехнулся Рылеев.

– Да, людей мало, – подтвердил Бестужев и с тем же преувеличенным жаром прочёл стихи Рылеева:

*Всюду встречи безотрадные;
Ищешь, суетный, людей, –
А встречаешь трупы хладные
Иль бессмысленных детей.*

– Да, трупы хладные, – вздохнул Рылеев и опустил голову. – Ты что думаешь, Саша: других обличаю, а сам?.. Нет, брат, знаю: и сам – подлец! За жену, за дочку, за тёплый угол да

за звучный стих отдам всё – все свободы. А Якубович – тот за свою злобу. Каховский – за свою славу, Пущин – за свою честь, Одоевский – за свою шалость...

– А я?

– А ты – за картишки, за девчонок, за аксельбанты флигель-адъютантские... Ну да что говорить, все хороши! В Писании-то, помнишь, сказано: никто же, возложав руку свою на рало¹⁸³ и зря вспять, управлен есть в царствие Божие. А мы всё зрим вспять. Щелкопёры, свистуны, фанфаронишки; наговорим с три короба, а только цыкни – и хвост подожмём... Эх, Саша, Саша, знаешь, брат?.. всё мне кажется: осраимся, в лужу сядем, ничего у нас не выгорит, ни чёрта лысого! Не по силам берём, руки коротки. Наделала синица славы, а моря не зажгла – правду говорит Пущин...

Положил руку на плечо Бестужева и произнёс торжественно, с тем невольным актёрством, в которое все они впадали, как бы ни были искренни:

– И на твоём челе, Александр, я читаю противное благу общества!

– Да ну же, полно, брось, говорят! Это ведь, душа моя, из «Разбойников» Шиллера. И что на меня-то валить, с больной головы на здоровую? Вы все – мечтатели, а я – солдат: гожусь не рассуждать, а действовать. Начинать так начинать. По мне, хоть сейчас! – с тем же актёрством ответил и Бестужев.

И не хотел, и знал, что не надо говорить, да само говорилось. Но если лгал, то не совсем: как хорошему актёру, стоило ему вообразить, что он что-нибудь чувствует, для того чтобы действительно почувствовать; а иной раз бывали и чувства противоположные, и он сам тогда не знал, какое настоящее.

– Нет, сейчас нельзя, – начал Рылеев уже другим, повеселевшим голосом: как всегда, облегчив сердца в жалобе, ободрился. – Сейчас нельзя. А вот будущей весной, на майском параде или на петергофском празднике, летом, что ли?.. Якубовича бы можно хоть сейчас с цепи спустить – у него рука не дрогнет. Да боюсь: беды наделает, сразу вооружит всех против общества...

– Берегись, Рылеев: твой Каховский хуже Якубовича. Намедни опять в Царское ездил...

– Врёшь!

– Спроси самого... Государь нынче, говорят, всё один, без караула, в парке гуляет. Вот он его и выслеживает, охотится. Ну долго ли до греха? Ведь ни за что пропадём... Образумил бы его хоть ты, что ли?

– Образумишь, как же! – проговорил Рылеев, пожимая плечами с досадой. – Намедни влетел ко мне как полоумный, едва поздоровался да с первого же слова – бац: «Послушай, говорит, Рылеев, я пришёл к тебе сказать, что решил убить царя. Объяви Думе, пусть назначит срок...» Лежал я на софе, вскочил как ошпаренный: «Что ты, что ты, говорю, сумасшедший! Верно, хочешь погубить общество...» И так и сяк. Куда тебе! Упёрся, ничего не слушает. Вынь да положь. Только уж под конец стал я перед ним на колени, взмолился: «Пожалей, говорю, хоть Наташу да Настеньку!» Ну, тут как будто задумался, притих, а потом заплакал, обнял меня: «Ну, говорит, ладно, подожду ещё немного...» С тем и ушёл. Да надолго ли?

– Вот навязали себе чёрта на шею! – проворчал Бестужев. – И кто он такой? Откуда взялся? Упал как снег на голову. Уж не шпион ли, право?

– Ну с чего ты взял, какой шпион! Малый пречестный. Старой польской шляхты дворянин. И образованный: к немцам ездил учиться, в гвардии служил, французский поход сделал да за какую-то дерзость переведён в армию и подал в отставку. Именьице в Смоленской губернии. В картишки продул, в пух разорился. На греческое восстание собрался, в Петербург приехал, да тут и застрял. Всё до нитки спустил, едва не умер с голоду. Я ему кое-что одолжил и в общество принял...

Раздался звонок в передней, голос Каховского и казачка Фильки:

– Дома барин?

– Дома, пожалуйста.

– Никак, он? – прислушался Рылеев. – Он и есть, лёгок на помине.

¹⁸³ Рало – устар. Орудие пахоты; соха, плуг.

Ещё более голодный, испитой, оборванный, чем в день русского завтрака, вошёл Каховский и поздоровался, по обыкновению молча, свысока, двумя пальцами, как будто из милости. Присел к огню; грел озябшие руки и сушил на каминной решётке свои рваные, облепленные грязью сапоги рядом с щёгольскими, лакированными флигель-адъютантскими ботфортами Бестужева.

– Что, Петя, озяб? Хочешь закусить? – прервал неловкое молчание Рылеев.

Каховский не ответил, только сердито и болезненно, как от озноба, передёрнул плечами.

– Еду завтра. Прощайте.

– Куда?

– В Смоленск.

– С чего ты вздумал?

– А что мне тут с вами? Как собака живу, голодаю, побираюсь, обносился весь, сапог вон купить не на что. А вы когда-то ещё...

– Скоро, Петя, скоро. Только не от нас ведь это зависит...

– От кого же?

– От Верховной Думы. Как она решит...

– Невидимые Братья?

– Ну да, и они. Мы ведь с тобою не более как рядовые в обществе, сам знаешь.

– Ничего не знаю и знать не хочу! Наплевать мне на Думу! Секреты какие-то масонские. Невидимые Братья! Людей только морочите, за нос водите... Да чем я хуже ваших Невидимых Братьев, чёрт их дери! Что отставной армеец, голоштанник, нищий, пролетар – так и чести нет, что ли? Да, пролетар! – ударяя себя в грудь, повторил он это новое словечко с особенной гордостью. – Пролетар, а честью моей дорожу не менее ваших сопливых дворянчиков, гвардейских шаромыжников, князьков да камер-юнкеров, придворной сволочи?

– Чего же ты ругаешься? Никто твоей чести не трогает. А уходить вздумал, ну и с Богом, держать не будем, и без тебя много желающих. Ты вот всё о чести, а найдутся люди, которые для блага общего не только жизнью, но и честью пожертвуют...

– Кто же это? Кто? – побледнел и вскочил Каховский как ужаленный. – Уж не Якубович ли?

– А хотя бы и он...

– Шут гороховый!

– Ты так завистлив, душа моя, что осуждаешь всё, чего сам не можешь.

– Не могу – низости...

– Какая же низость?

– Мщенье оскорблённого безумца – низость, подлость! А под видом блага общего – ещё того подлее. Пойти убить царя не штука, на это всякого хватит. Но надо право иметь, слышишь, право!

– Право на убийство?

– Не убийство тут, а другое... может быть, и хуже убийства, да совсем, совсем другое... Только не понимаете вы... Никто ничего не понимает. О Господи, Господи...

Вдруг опустился на стул, закрыл глаза, и лицо его помертвело.

– Что с тобою, Петя? Нездоровится?

– Нет, ничего, пройдёт. Голова кружится. Дай воды или стакан вина...

Как всегда перед завтраком, в столовой Рылеева пахло чем-то вкусным, жареным. Каховского тошнило от голода и от этого запаха.

Рылеев догадался, сбегал на кухню, принёс тарелку шей с мясом и графин водки. Когда тот кончил есть – повёл его в кабинет.

– Послушай, Петя, ну как тебе не стыдно: голодаешь, а денег не берёшь, ну разве так друзья поступают, а?

Отпер конторку.

– Если не хочешь обидеть меня... вот тут, кажется, двести... – совал ему в руку синенькую пачку ассигнаций.

– Куда мне столько? – отвёртывался Каховский; оттопыренная нижняя губа ещё дрожала. – Хозяйке бы только, да в лавочку, да вот ещё портному Яухци. Пристаёт жид

проклятый, каждый день шляется, в яму посадить грозит...

Портному Яухци заказан был военный мундир; по настоянию Рылеева Каховский согласился поступить снова на службу и подал прошение в Елецкий пехотный полк.

Наконец взял деньги, не считая, и торопливо, неловко сунул пачку в боковой карман брюк, точно кiset с табаком.

– Мундир-то готов? – спросил Рылеев.

– Готов.

– Ну и ладно. Не к лицу тебе фрак: в мундире будешь виднее, и легче действовать... А насчёт крестьян как же? – прибавил, подумав. – Продам бы их, что ли? По пятисот нынче за душу. Тринадцать-то душ – деньги тоже, на улице не валяются. Я бы тебе живо устроил: у меня и в палате заручка...

– Да нет, где уж... Заложены, процентов давно не платил, уж, чай, и просрочены, – солгал Каховский и покраснел мучительно: не заложил, а проиграл эти последние тринадцать душ родового наследия в карты какому-то шулеру на Лебедянской ярмарке.

– Ну так, значит, мир, Петя, голубчик, а? Не сердишься? – сказал Рылеев, пожимая ему руку и заглядывая в лицо со своею милою, мальчишескою улыбкою.

Но тот всё ещё отвёртывался, не смотрел ему в глаза и думал: «Где уж сердиться, коли деньги взял?» Каждый раз, когда брал их, испытывал такое чувство, как будто собственную душу свою чёрту проигрывал.

– Не сержусь, Атя, нет... За что же?... А только скверно, иной раз так на душе скверно, что хоть пулю в лоб. Не могу я больше, не могу, мочи моей нет!..

– Ну полно, полно, – видимо о другом думая, утешал его Рылеев, – ведь уж недолго теперь, потерпи как-нибудь... А в Царское зачем ездил?

– В Царское? Сам знаешь... Эх, брат, ведь только прицелиться. В десяти шагах. Один-одинёшенек. Точно дразнит...

– Да ведь сам говоришь: убить не штука, а надо, чтобы...

– Ну да уж знаю, знаю. А только не могу больше... Господи! Господи! Когда же?

– Да говорю же – скоро. Ну вот, ей-Богу, вот тебе крест! – перекрестился Рылеев на образ точно так же, как намерен в беседе с Голицыным. – Ты, ты один – и больше никого! Так и знай. И Думу о том известим и срок назначим. Ты достоин... я же знаю, Петя, милый, ты один достоин.

В глазах Каховского загорелось что-то, как блеск отточенной стали. А Рылеев смотрел на него, как точильщик, который пробует нож: остёр ли? Да, остёр.

Бестужев при начале беседы вышел в гостиную, чтобы не мешать; потом, когда они ушли в кабинет, вернулся в столовую, присел к огню, закурил было трубку, но уронил её на пол и задремал. Видел во сне, будто мечет банк, загребает кучи золота, а цыганка Малярка сидит у него на коленях, щекочет, смеётся, путает игру. Проснулся с досадою, не кончив приятного сна, когда вышли из кабинета Каховский с Рылеевым. Рылеев посмотрел на часы: ему надо было зайти в правление Российско-Американской компании перед завтраком. Собрался и Бестужев, вспомнив о предстоящем визите тётушке-имениннице.

– Подвезти вас, Каховский?

– Благодарю, я привык пешком. Да и не по дороге нам.

Бестужев отвёл его в сторону, так, чтобы Рылеев не слышал.

– Прошу вас, поедemте, мне нужно с вами поговорить о делах общества.

– Ну что ж, поедem, – сказал Каховский, посмотрев на него с удивлением: они друг друга недолго любили и о делах никогда не говорили.

Вышли вместе. Каховский надел широкополую чёрную карбонарскую шляпу и странный, лёгкий, точно летний, плащ-альмавиву, сделавшись в этом наряде ещё более похож не то на театрального разбойника, не то на фортепианного настройщика.

У подъезда ждала флигель-адъютантская коляска Бестужева, щёгольская английская, на высоком ходу; кучер лихой, в шляпе с павлиньими перьями; пристяжная лебёдкою, двоим тесно; Бестужев сел боком, неловко: «гвардейский шаромыжник» уступал место «пролетару» с почтительной любезностью. Попросил позволения завезти корректуры «Полярной Звезды» в типографию.

Выглянуло солнце, но под ним – ещё пустынное, однообразнее однообразная пустыньность улиц, широких, как площади, с рядами сереньких, низеньких, точно к земле приплюснутых домиков да пожарной каланчой, одиноко кое-где торчащую, и бледно-жёлтая под бледно-зелёным небом унылая охра казённых домов ещё унылее.

Выехали на Невский. От Полицейского моста до Аничкина насажен бульвар из липок по приказу императора Павла в тридцать дней, среди лютой зимы, так что приходилось рубить ямы топорами и разводить в них костры, чтобы оттаять мёрзлую землю. Теперь под ледоходным ветром эти чахлые липки, зябко дрожавшие голыми сучьями, похожи были на больных детей, и казалось – никогда не распустятся. Но уже весеннее гулянье началось на бульваре. Проходили военные в треуголках с петушьими перьями, чиновники во фризových¹⁸⁴ шинелях, купцы в длиннополых сибирках,¹⁸⁵ и у Гостиного двора из карет ливрейные лакеи высаживали дам в русских меховых салопах и парижских ярких, как цветы, весенних шляпках. Проносились барские шестёрки цугом с нескончаемым «и-и-и!» – сокращённым «пади!», которое тянули тончайшим дискантом мальчишки-форейторы. На почтовой тележке фельдъегерь скакал сломя голову, и, дребезжа и подпрыгивая по булыжным арбузам, плелись извозчицы дрожки-гитары, на которых сидели верхом, как на сёдлах, держа кучера за пояс, а на спине у него болталась жестяная бляха с номером. Перед взводом марширующих солдат играла военная музыка.

И в однообразии движущихся войск, в однообразии белых колонн на жёлтых фасадах казённых домов веял дух того, кто сказал: «Я люблю единообразие во всём». Казалось: весь этот город – большая казарма или плац-парад, где под бой барабанов вытянулось всё во фронт, затаило дыхание и замерло.

Бестужев что-то говорил Каховскому, но тот не слушал, глядел на толпу и думал: вот никто в этой толпе не знает о нём; но близок час, когда все эти люди, вся Россия, весь мир узнает и содрогнётся от ужаса, от величия того, что он совершит.

– Пришлю вам статейку, прочтите...

– Какую статейку?

– Да мою же: «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 года»...

Бестужев говорил о своей статье, о своей лошади, о своей тётушке, о своей цыганке с таким весёлым видом, как будто не могло быть сомнения, что это для всех интересно.

– Впрочем, литература – только ничтожная страничка жизни моей... Я, как Шенье у гильотины, могу сказать, ударяя себя по лбу: «Тут что-то было!» Моё нервное сложение – золова арфа, на которой играет буря...

Это сказал он однажды о Байроне и потом стал повторять о себе.

Каховский посмотрел на него угрюмо:

– Вы, кажется, хотели говорить со мной о делах?

– Да, да, о делах, как же! Но не совсем удобно, знаете, на улице... Кучер может услышать. За нами очень следят. Я не уверен даже в собственных людях, – прибавил он по-французски. – А вот если бы вы позволили к вам на минутку?..

– Милости просим, – ответил Каховский сухо.

Заехав по дороге в Милютины ряды,¹⁸⁶ Бестужев купил закусок и шампанского. Каховский не спрашивал зачем: всю дорогу молчал насупившись.

Жил в Коломне, в доме Энгельгардта, в отдельном ветхом, покосившемся деревянном флигеле.

Крутая, тёмная, пахнувшая кошками и помоями лестница. Бестужев должен был

¹⁸⁴ Фриз – здесь: толстая, весьма ворсистая байка.

¹⁸⁵ Сибирка – верхняя одежда, короткий кафтан в талию, со сборами, без разреза сзади и со стоячим воротником (устар.)

¹⁸⁶ Милютины ряды – торговые здания на Невском проспекте, выстроенные в 1735 г. графом Алексеем Яковлевичем Милютиным.

наклониться, снять кивер с белым султаном, чтобы не запачкаться, проходя под сушившимся на верёвке кухонным тряпьем. Две старухи, выскочив на лестницу, ругались из-за пропавшей селёдки, и одна другой тыкала в лицо ржавым селёдочным хвостиком. Тут же из-за двери выглядывала простоволосая нарумяненная, с гитарой в руках, девица, а вдали осипший бас пел излюбленную канцеляристами песенку:

*Без тебя, моя Глафира,
Без тебя, как без души,
Никакие царства мира
Для меня не хороши.*

Комната Каховского на самом верху, на антресолях, напоминала чердак. Должно быть, где-то внизу была кузница, потому что окленные голубенькой бумажкой, с пятнами сырости, дощатые стенки содрогались иногда от оглушительных ударов молота. На столе, между Плутархом и Титом Ливием во французском переводе XVIII века, стояла тарелка с обглоданной костью и недоеденным солёным огурцом. Вместо кровати – походная койка, офицерская шинель – вместо одеяла, красная подушка без наволочки. На стене – маленькое медное распятие и портрет юного Занда,¹⁸⁷ убийцы русского шпиона Коцебу; под стеклом портрета – засохший, верно, могильный, цветок, лоскуток, смоченный в крови казнённого, и надпись рукою Каховского, четыре стиха из пушкинского «Кинжала»:

*О, юный праведник, избранник роковой,
О Занд! твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался след в казнённом прахе.*

Войдя в комнату, он сделался ещё угрюмее, – должно быть, стыдился своей нищеты. Сел на койку и предложил гостю единственный стул. Оба молчали. Бестужев держал на коленях кулёк с вином и закусками, не зная, куда его девать; наконец положил под стол.

– Послушайте, Каховский, – начал он вдруг, торопясь и тоже, видимо, стесняясь, – вам Рылеев ничего не говорил о Думе?

– Ничего.

– Не понимаю, право, что он таится? Такому человеку, как вы, можно бы открыть всё... Никакой, впрочем, Думы и нет, вся она – в одном Рылееве...

– А как же Трубецкой, Пущин, Одоевский? – спросил Каховский, притворяясь равнодушным, а на самом деле с жадным любопытством ожидая ответа Бестужева.

– Пешки в руках Рылеева; он берёт всё на себя и объявляет мнения свои волею диктатора; обманывает всех и себя самого. Революция – точка его помешательства. Недурной человек, но весь в воображении, в мечтах, ну, словом, поэт, сочинитель, как и все мы, грешные. Годится только для заварки каш, а расхлёбывать приходится другим...

Помолчал и прибавил:

– Ну так вот, я счёл своим долгом вас предостеречь. Ни обманывать, ни в западни ловить я никого не желаю. Пусть он, а я не желаю. Надобно, чтобы всякий знал, что делает и на что идёт... Не говорил ли он вам, что цареубийство не должно быть связано с обществом?

– Говорил.

– Ну так в этом вся штука. Он готовится вас быть ножом в его руках: нанесёт удар и сломает нож. Вы – лицо отверженное, низкое орудие убийства, жертва обречённая... Впрочем, все эти Невидимые Братья...

– Он из них?

– Из них. Ну так эти господа, говорю я, все таковы: чужими руками жар загребают... Так

¹⁸⁷ Занд, Карл – немецкий студент, убивший в 1819 г. прусского государственного деятеля и писателя, агента России, А. Коцебу.

же вот и с вами: кровь падёт на вашу голову, а они умоют руки и вас же первые выдадут. Якубовича – того берегут для украшения общества: кавказский герой. Ну а вы... Рылеев полагает, что вы у него на жалованье – деньги берёте... наёмный убийца...

– Я... я... Рылеев... деньги... не может быть! – пролепетал Каховский, бледнея.

– Да неужто вы сами не видите? А я-то, признаться, думал... – начал Бестужев, но не кончил, взглянув на собеседника Тот закрыл лицо руками и долго сидел так, не двигаясь, молча. Снизу доносились удары кузнечного молота и ему казалось, что это удары его собственного сердца. Вдруг вскочил, с горящими глазами, с перекошенным от ярости лицом.

– Если я нож в руках его, то он же сам об этот нож уколется! Скажите это ему...

Схватился за голову и забегал по комнате.

– Я чести моей не продам так дёшево! Никому не лягу ступенькой под ноги... Я им всем, всем... О, мерзавцы! мерзавцы! мерзавцы!

Опять в изнеможении опустился на койку.

– Что же это такое, Бестужев?.. А я-то верил, дурак... не видел преступления для блага общего, думал – добро для добра, без возмездия... пока не остановится биение сердца моего, – отечество дороже мне всех благ земных и самого неба...

Отчаянно взмахнул руками над головой, как утопающий.

– Отдал всё – и жизнь, и счастье, и совесть, и честь... А они... Господи, Господи!.. Не за себя оскорблён я, Бестужев, пойми же, а за всё человечество... Какая низость, какая грязь – в человеке, сыне небес!

Говорил напыщенно, книжно, как будто фальшиво, а на самом деле искренно.

Бестужев развязал кулёк, вынул вино и закуски; вертя в руках бутылку, искал глазами штопора. Не нашёл; отбил горлышко, налил в пивной стакан и в глиняную кружку с умывальника.

– Ну полно, мой милый, полно, – сказал, потрепав его по плечу уже с развязностью. – Даст Бог, перемелется – мука будет... А вот лучше подумаем вместе, что делать... Да выпьем-ка сначала, это прочищает мысли.

Выпил, подумал и снова налил.

– А знаете что? – проговорил так, как будто это пришло ему в голову только что. – Уничтожить бы общество да начать всё сызнова; вы будете главным директором, а я вам людей подберу. Хотите?

Не создать новое, а уничтожить старое – такова была его тайная мысль; и так же, как Рылеев, думал он сделать Каховского своим орудием. Но тот ничего не понимал и почти не слушал.

– Нет, зачем? Не надо, – сказал, махнув рукою. – Никого не надо. Я один. Если нет никого, нет общества – я один за всех. Пойду и совершу. Так надо... Всё равно, будь что будет. Теперь уже никто не остановит меня. Так надо, надо... я знаю... я один...

Говорил как в бреду; пил с жадностью стакан за стаканом; с непривычки быстро хмелел. Бестужев предложил ему выпить на ты. Выпили, поцеловались; ещё выпили, ещё поцеловались.

– Знаешь, Бестужев, – вдруг начал Каховский, уже без гнева, с неожиданно ясной и кроткой улыбкой. – Может быть, и к лучшему всё? Я сирота в этом мире. Ни друзей, ни родных. Всегда один. От самого рождения печать рока на мне. Обречённый, отверженный... Ну что ж? Видно, быть так. Один, один за всех! Не нужно мне ничего – ни счастья, ни славы, ни даже свободы. Я и в цепях буду вечно свободен. Силён и свободен тот, кто познал в себе силу человечества! Умереть на плахе или в самую минуту блаженства – не всё ли равно? О, если бы ты знал, Александр, какая радость в душе моей, какое спокойствие, когда я это чувствую, как вот сейчас!

«Эк его, Шиллера, куда занесло!»-думал Бестужев с досадою. Понял, что делового разговора не будет: поплачет, подует, а кончит всё-таки тем, что вернётся к Рылееву: сам чёрт, видно, связал их верёвочкой. Долго ещё беседовали, но уже почти не слушали друг друга и не замечали, что говорят о разном.

– Без женщин, mon cher, не стоило бы жить на свете! – воскликнул Бестужев после второй бутылки, а после третьей выразил желание «потонуть в пламени любви и землекрушения». После четвёртой Каховский рассказывал, как рвал цветы и плакал на могиле Занда, а Бестужев

восклидал, подражая Наполеону-Якубовичу: «Моя душа из гранита – её не разрушит и молния». И уже слегка заплетающимся языком продолжал рассказывать о своих любовных победах:

– На постоях у польских панов волочились мы за красавицами. Что за жизнь! Пьянствуем и отрезвляемся шампанским. *Vogue la galere!*¹⁸⁸ Цимбалы гремят, девки пляшут. Чудо! Да ты, Петька, монах, мизантроп? Ещё, пожалуй, осудишь?.. Но что же делать, брат? Натура меня одарила не кровью, а лавой огнедышащей. Бешеная страсть моя женщин палит, как солому. Поверишь ли, в Чёрных Грязях дамы чуть не изнасиловали. Стоило свистнуть, чтоб иметь целую дюжину... Я, впрочем, всегда презирал то, что называется светом, потому что давно знаю, как легко его озадачить; я не создан для света; сердце моё – океан, задавленный тяжёлой мглой...

Бестужев говорил ещё долго. Но Каховский опять замолчал и нахохлился: чувствовал, что слишком много выпито и сказано; мутило его не то от вина, не то от речей нового друга; казалось, что это от них, а не от Лимбургского сыра такой скверный запах.

Бестужев вспомнил наконец о своей тётушке-именинице.

– Ещё, пожалуй, рассердится, старая ведьма, если не приду поздравить, а сердить её нельзя: к моему старикашке имеет протекцию...

Старикашка был герцог Виртенбергский,¹⁸⁹ у которого он служил во флигель-адъютантах.

– А старая ведьма с протекциейкой иной раз лучше молоденьких? – усмехнулся Каховский уже с нескрываемой брезгливостью, но Бестужев не заметил.

– Протекцией, *mon cher*, ни в каком случае брезгать не следует; это и у нас в правилах тайного общества...

Полез целоваться на прощание.

«И как я мог открыть сердце этому шалопаю?» – подумал Каховский с отвращением.

Когда гость ушёл, открыл форточку и выбросил недоеденный Лимбургский сыр. Смотрел в окно через забор на знакомые лавочные вывески: «Продажа разных мук», «Портной Иван Доброхотов из иностранцев». Со двора доносились унылые крики разносчиков:

– Халат! Халат!

– Точи, точи ножики!

А внизу, на лестнице – гитара:

*Без тебя, моя Глафира,
Без тебя как без души...*

И опять:

– Точи, точи ножики!

– Халат! Халат!

Отошёл от окна и повалился на койку; голова кружилась; кузнечные молоты стучали в висках; тошнота – тоска смертная. Вся жизнь как скверно пахнувший Лимбургский сыр.

Достал из-под койки ящик, вынул из него пару пистолетов, дорогих, английских, новейшей системы – единственную роскошь нищенского хозяйства, – осмотрел их, вытер замшевой тряпочкой. Зарядил, взвёл курок и приложил дуло к виску: чистый холод стали был отраден, как холод воды, смывающей с тела знойную пыль.

Опять уложил пистолеты, надел плащ-альмавиву, взял ящик, спустился по лестнице, вышел на двор; проходя мимо ребятишек, игравших у дворницкой в свайку, кликнул одного из них, своего тёзку, Петьку. Тот побежал за ним охотно, будто знал, куда и зачем. Двор кончался дровяным складом; за ним – огороды, пустыри и заброшенный кирпичный сарай.

¹⁸⁸ Была не была! (фр.)

¹⁸⁹ Виртенбергский (Вюртембергский) Александр (1771–1837) – генерал-лейтенант, управляющий путями сообщения.

Вошли в него и заперли дверь на ключ. На полу стояли корзины с пустыми бутылками. Каховский положил доску двумя концами на две сложенные из кирпичей горки, поставил на доску тринадцать бутылок в ряд, вынул пистолеты, прицелился, выстрелил и попал так метко, что разбил вдребезги одну бутылку крайнюю, не задев соседней в ряду; потом вторую, третью, четвёртую – и так все тринадцать по очереди. Пока он стрелял, Петька заряжал, и выстрелы следовали один за другим почти без перерыва.

Прошептал после первой бутылки:

– Александр Павлович.

После второй:

– Константин Павлович.

После третьей:

– Михаил Павлович.

И так – все имена по порядку...

Дойдя до императрицы Елизаветы Алексеевны, прицелился, но не выстрелил, опустил пистолет – задумался.

Вспомнил, как однажды встретил её на улице: коляска ехала шагом; он один шёл по пустынной Дворцовой набережной и увидел государыню почти лицом к лицу; не ожидая поклона, первая склонила она усталым и привычным движением свою прекрасную голову с бледным лицом под чёрною вуалью. Как это бывает иногда в таких мимолётных встречах незнакомых людей, быстрый взгляд, которым они обменялись, был ясновидящим. «Какие жалкие глаза!» – подумал он, и вдруг почудилось ему, что почти то же, почти теми же словами и она подумала о нём: как будто две судьбы стремились от вечности, чтобы соприкоснуться в одном этом взгляде, мгновенном, как молния, и потом разойтись опять в вечности.

Не тронув «Елизаветы Алексеевны», он выстрелил в следующую по очереди бутылку.

Когда расстрелял все тринадцать, кроме одной, поставил новые. И опять:

– Александр Павлович.

– Константин Павлович.

– Михаил Павлович.

Стёкла сыпались на пол с певучими звонами, весёлыми, как детский смех. В белом дыму, освещаемом красными огнями выстрелов, чёрный, длинный, тощий, он был похож на привидение.

И маленькому Петьке весело было смотреть, как Петька большой метко попадает в цель – ни разу не промахнётся. На лицах обоих – одна и та же улыбка.

И долго ещё длилась эта невинная забава – бутылочный расстрел.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Столько народу ходило к Рылееву, что, наконец, в передней колокольчик оборвали. Пока мастер починит, расторопный казачок Филька кое-как связал верёвочкой. «Не беда, если кто и не дозвонится: за пустяками лезут!» – ворчал хозяин, усталый от посещений и больной: простудился, должно быть, на ледоходе.

Однажды в конце апреля, просидев за работой до вечера в правлении Русско-Американской компании, вспомнил, что забыл дома нужные бумаги. Правление помещалось на той же лестнице, где он жил, только спуститься два этажа. Сошёл вниз, отпер, не звоня, входную дверь ключом, который всегда имел при себе. Филька спал на сундуке в прихожей. Не запирая двери, хозяин прошёл в кабинет, отыскал синюю папку с надписью «Колония Росс в Калифорнии» и хотел вернуться в правление. Но, проходя через столовую, услышал голоса в гостиной. Удивился; думал, что никого дома нет: жена давеча вышла; Глафира собиралась с нею. Кто же это? Подошёл к неплотно запертой двери, прислушался: Якубович с Глафирой.

Давно уже Рылеев замечал их любовные шашни. Просил жену спровадить гостью от греха домой, в чухломскую усадьбу к тётянкам. Якубович не жених, а осрамить девушку ему нипочём. На то и роковой человек. Ещё недавно была у Рылеева дуэль из-за другой жениной родственницы, тоже обманутой девушки. Неужто ему снова драться из-за дурищи Глафирки?

– Я – как обломок кораблекрушения, выброшенный бурей на пустынный берег, – говорил Якубович. – Ах, для чего убийственный свинец на горах Кавказских не пресёк моего бытия... Что оно? Павший лист между осенними листьями, флаг тонущего корабля, который на минуту веет над бездною...

– Любящее сердце спасёт вас, – томно ворковала Глашенька.

– Нет, не спасёт! – простонал Якубович. – Душа моя как океан, задавленный тяжёлой мглой...

Рылеев удивился: вспомнилось, что эти самые слова об океане говорил и Бестужев. Кто же у кого заимствовал?

Слова замерли в страстном шёпоте; послышался девственный крик:

– Ах, что вы, что вы, Александр Иванович! Оставьте, не надо, ради Бога...

Рылеев отворил дверь и увидел Глашеньку в объятьях Якубовича; по тому, как он её целовал, ясно было, что это уже не в первый раз.

Глафира взвизгнула, хотела упасть в обморок, но так как не шутя боялась *брatца* . – так называла она Рылеева, – предпочла убежать в кухню и там спрятаться в чулан, как пойманная с кадетом шестнадцатилетняя девочка.

Рылеев взял Якубовича за руку и повёл в столовую.

– Ну что ж, поздравляю. Честным пирком да за свадебку?

Якубович молчал.

– Отвечайте же, сударь, извольте объяснить ваши намерения...

– Я, видишь ли, друг мой, почёл бы, разумеется, за счастье... Но ты знаешь мои обстоятельства: не могу я жениться, не вправе связать жизнь молодого существа...

– А вправе обесчестить?

– Послушай, Рылеев, кажется, Глафира Никитична не маленькая...

– Ещё бы маленькая! Старая девка. Но пока она в моём доме, я никому не позволю...

– Да что ты горячишься, помилуй? У нас ведь ничего и не было...

Если бы случилось это на Кавказе, Якубович принял бы вызов; у него была храбрость тщеславия, и он стрелял превосходно, а Рылеев плохо; но здесь, в Петербурге, на виду государя, поединок грозил новою ссылкой, окончательным расстройством карьеры, а может быть, и раскрытием тайного общества – и тогда неминуемой гибелью.

– Ты знаешь, душа моя, я не трус и всегда готов обменяться пулями – но на тебя рука не подымется. Да и не за что, право...

– А, так ты вот как, подлец! – закричал Рылеев, и вихор поднялся на затылке его, угрожающий, как бывало, в корпусе, перед дракою. – Так не будешь, не будешь драться?..

Ещё в начале разговора послышался в прихожей звонок; потом второй, третий, четвёртый, – всё время звонили; испорченный колокольчик дребезжал слабо и, наконец, в последний раз глухо звякнув, совсем умолк: верно, опять оборвался.

«Э, чёрт! Кого ещё принесла нелёгкая? А Филька, подлец, дрыхнет», – думал Рылеев полусознательно, и это усиливало бешенство его.

– Так не будешь, не будешь?.. – наступал на противника, бледнея и сжимая кулаки.

Росту был небольшого и довольно хил; Якубович перед ним силач и великан. Но в тонких, сжатых, побледневших губах Рылеева, в горящих глазах и даже в мальчишеском вихре на затылке что-то было такое неистовое, что Якубович потихоньку пятился; и если бы в эту минуту Рылеев взгляделся в него, то, может быть, понял бы, что «храбрый кавказец» не так храбр, как это кажется.

– Кондратий Фёдорович Рылеев? – произнёс чей-то голос.

Тот обернулся и увидел незнакомого молодого человека в армейском тёмно-зелёном мундире с высоким красным воротником и штаб-офицерскими погонями.

– Прошу извинить, господа, – проговорил вошедший, поглядывая с недоумением то на Рылеева, то на Якубовича, – не дозвонился: должно быть, испорчен звонок, дверь отперта...

– Что вам, сударь, угодно? – крикнул хозяин.

– Позвольте представиться, – продолжал гость с едва заметной усмешкой, – полковник

Павел Иванович Пестель.¹⁹⁰

– Пестель! Павел Иванович! – бросился к нему навстречу Рылеев, и лицо его просветлело с тем внезапным переходом от одного чувства к другому, который был ему свойствен.

– Прошу вас, господа, не стесняйтесь. Я в другой раз... – начал было Пестель.

– Нет, что вы, что вы, Павел Иванович! Милости просим, – засуетился Рылеев, пожимая ему руки и отнимая шляпу; о Якубовиче забыл. Тот прошмыгнул мимо них в прихожую, торопливо оделся и выбежал.

Хозяин повёл гостя в кабинет, продолжая суетиться с преувеличенной любезностью.

– Не угодно ли трубочку?

– Спасибо, не курю.

– Ну слава Богу, наконец-то залучили вас! – опять засуетился Рылеев, сбиваясь и путаясь. – А я уж, признаться, думал, что так и уедете, не повидавшись.

– За мною следят, надо было выждать, – заговорил Пестель чистым русским говором, но слишком правильно, отчётливо, и в этом виден был немец. – Я приехал с генералом Киселёвым,¹⁹¹ начальником штаба. Государь обо мне спрашивал. Надо быть весьма осторожным... А это кто у вас?

– Якубович.

– А, знаю... Дверь, кажется, не заперли? Ваш мальчик спит.

– Ах, в самом деле, – спохватился Рылеев. Сбегал, запер, растолкал Фильку, приказал ждать барыню и вернулся в кабинет.

– Ну что, как у вас в Южном обществе? – видимо, затруднялся он, с чего начать; вглядывался в Пестеля.

Ему лет за тридцать. Как у людей, ведущих сидячую жизнь, нездоровая, бледно-жёлтая одутловатость в лице; чёрные, жидкие, с начинающейся лысиной волосы; виски по-военному наперёд зачёсаны; тщательно выбрит; крутой, гладкий, точно из слоновой кости точёный, лоб; взгляд чёрных, без блеска, широко расставленных и глубоко сидящих глаз такой тяжёлый, пристальный, что кажется, чуть-чуть косит; и во всём облике что-то тяжёлое, застывшее, недвижимое, как будто окаменелое. Говорили о сходстве его с Наполеоном; но если и было сходство, то не в чертах, а в чём-то другом. Росту ниже среднего; мешковат, сутул, одно плечо выше другого, как у людей много пишущих. Одет небрежно; длиннополый мундир сшит плохо, должно быть, каким-нибудь уездным жидом; зелёное сукно на спине выгорело; золото погон потемнело. Ордена св. Владимира с бантом, св. Анны, Пурлемерит¹⁹² и золотая шпага за храбрость: герой Двенадцатого года.

«А ведь и в самом деле, пожалуй, Наполеона из себя корчит!» – подумал Рылеев, почему-то сразу насторожившись с безотчётною враждебностью.

Пестель, не затрудняясь, приступил к делу.

– Я приехал в Петербург, дабы предложить вам соединение Северного общества с Южным, – начал он, глядя на Рылеева в упор своим пристальным, как будто косящим взглядом. – А для сего нам нужно бы знать с точностью ваши намерения, как всей Директории здешней, так и лично ваши, Кондратий Фёдорович: я хотел бы знать, какой именно образ правления полагаете вы для России удобным?

Беседа длилась больше двух часов. Пестель предлагал по очереди – Северо-Американскую республику. Наполеоновскую империю, революционный террор, английскую, французскую, испанскую конституции; выхвалял достоинства каждого из этих

¹⁹⁰ Пестель Павел Иванович (1793–1826) – полковник, командир Вятского пехотного полка. Глава Южного общества декабристов, автор конституционного проекта «Русская правда». Казнён 13 июля 1826 г.

¹⁹¹ Киселёв Павел Дмитриевич (1788–1872) – генерал-лейтенант, начальник штаба 2-й армии, впоследствии министр госимуществ, дипломат.

¹⁹² «За заслуги» (от фр. *pour le merite*) – прусский орден, учреждённый в 1740 г. и существующий в двух вариантах: военном и гражданском.

правлений, а когда Рылеев указывал на недостатки, торопливо соглашался и переходил к следующему. Похоже было не то на судебный допрос, не то на школьный экзамен.

– У вас метод сократовский, – заметил Рылеев, давая понять неприличие допроса.

– Да, я люблю древних, – не понял или не пожелал понять Пестель и продолжал экзамен.

Рылеев злился, и чем больше злился, тем больше себя выдавал; но в то же время наслаждался беседою, как умною книгою, от которой нельзя оторваться. «Умный человек в полном смысле этого слова», – вспомнился ему отзыв Пушкина о Пестеле. Что бы ни говорил он, приятно было слушать: в самом звуке голоса была чарующая уветливость, и логика пленяла, как женская прелесть.

Время летело так быстро, что Рылеев удивился, заметив, что уже темнеет: казалось, прошло не два, а полчаса. И ещё казалось, что, слушая Пестеля, впадает он в какой-то магнетический сон, жуткое и сладкое оцепенение – как змея под музыкой. А может быть, и лихорадка начиналась к вечеру; иногда пробегал по телу лёгкий озноб, как бывает в самом начале жара, похожий на чувство уютной сонности.

– Послушайте, Пестель, – попытался он стряхнуть чару – у вас всё ясно и просто, как дважды два четыре, но политика – не математика, люди – не цифры и чувства – не выкладки...

– О, разумеется! – согласился Пестель. – Политика не умозрение отвлечённое, а плоть и кровь, сама жизнь народов, сама история. Обратимся же к истории...

«И, начав от Немврода,¹⁹³ – рассказывал впоследствии Рылеев, – медленно переходил он через все изменения законодательств; коснулся Греции, Рима, показывая, сколь мало понята была древними вольность, лишённая представительства народного; пронёсся быстро мимо средних веков, поглотивших гражданскую вольность и просвещение; приостановился на революции французской, не упуская из виду, что и оной цель не достигнута; наконец, пал на Россию и меня в свою республику».

– Должно сознаться, что все предшественники наши в преобразовании государств были ученики, да и сама наука в младенчестве! – воскликнул Рылеев с восхищением.

Но Пестель, пропустив мимо ушей похвалу, продолжал экзамен.

– Итак, мы с вами согласны?

– Да, во всём!

– Какое же ваше мнение насчёт меры приступления к действию? – проговорил Пестель медленно, упирая на каждое слово.

Рылеев давно уже предчувствовал этот вопрос; видел его сквозь магический сон, как змея видит чарующий взор своего заклинателя. Понял, что Пестель – не то, что все они, – романтики, словесники, мечтатели; для него понять – значит решить, сказать – значит сделать. И впервые показалось Рылееву всё лёгкое в мечтах – на деле грозным, тяжким, ответственным.

– Не знаю, – невольно потупился он, но и не видя чувствовал на себе тяжёлый взгляд, – мы ещё не готовы, не решили многого...

– Не решили? Не знаете? У вас тут Никита Муравьёв всё пишет конституции. А нам не перьями действовать... Да, от размышления до совершения весьма далече... Так как же, Кондратий Фёдорович?

– Что вы меня всё спрашиваете, Павел Иванович? – поднял Рылеев глаза и вдруг почувствовал, что вот-вот разозлится окончательно, наговорит ему дерзостей. – А вы-то сами как?

– Как мы? – ответил Пестель тотчас же с готовностью, тихо и как будто задумчиво. – Мы полагаем – всех...

– Что всех?

– Истребить всех, начать революцию покушением на жизнь всех членов царской фамилии. *Les demimesures ne valent rien; nous voulons avoir maison nette...* Вы по-французски говорите?

– Нет, но понимаю.

– Полумеры ничего не стоят; мы хотим – дотла, дочиста, – на всякий случай перевёл он и прислушался к шагам в соседней комнате.

¹⁹³ Немврод (Нимрод) – по Библии, внук Хама, легендарный основатель Вавилона.

– Кто это?

– Жена моя.

– При ней можно?

– Можно, – невольно усмехнулся Рылеев. – Впрочем, если вы беспокоитесь...

– Нет, помилуйте. Я, кажется... извините, Бога ради, я иногда бываю очень рассеян: о другом думаю, – улыбнулся Пестель неожиданной простодушной улыбкой, от которой лицо его вдруг изменилось, помолодело и похорошело.

«Чудак!» – подумал Рылеев, и ему показалось, что как ни пристально глядит на него Пестель, а не видит лица его, смотрит поверх или сквозь него, как сквозь стекло.

Шаги затихли.

– О чём бишь мы? – продолжал Пестель. – Да, всех или не всех?.. Так вы не решили, не знаете?

– Знаю одно, – опять хотел возмутиться Рылеев, – ежели всех, то вся эта кровь на нас же падёт. Убийцы будут ненавистны народу, и мы с ними. Подумайте только, какой ужас подобные убийства произвести должны! Мы вооружим всю Россию...

– О, конечно, мы об этом подумали и решили принять меры. Избранные к сему должны находиться вне общества; когда сделают они своё дело, оно немедленно казнит их смертью, как бы отмщая за жизнь царской фамилии, и тем отклонит от себя всякое подозрение в участии. Нам надобно быть чистыми от крови. Нанеся удар, сломаем кинжал.

Рылеев вспомнил, что почти теми же словами думал он о Каховском; но это была его самая тайная, страшная мысль, а Пестель говорил так просто.

– Сколько у вас? – спросил он так же просто.

– Сколько чего?

– Людей, готовых к действию.

– Двое.

– Кто?

– Якубович и Каховский.

– Надёжные?

– Да... Впрочем, не знаю, – замялся Рылеев, вспомнив давешний свой разговор с «храбрым кавказцем». – Якубович, тот, пожалуй, не совсем. Каховский надёжнее...

– Значит, один-двое. Мало. У нас десять. С вашими двенадцать или одиннадцать. И то мало...

– Сколько же вам?

– А вот считайте. – Сжал пальцы на левой руке, готовясь отсчитывать правою. – Ну-с, по одному на каждого. Сколько всех?

Держа руки наготове, ждал.

Ночь была светлая, но от высокой стены перед самыми окнами темно в комнате; и в темноте ещё белее белая рука с алмазным кольцом, которое слабо поблёскивало в глаза Рылееву. Опять чарующий взор заклинателя, опять магический сон.

– Ну что ж, называйте, – как будто приказал Пестель.

И Рылеев послушался, стал называть:

– Александр Павлович.

– Один, – отогнулся большой палец на левой руке.

– Константин Павлович.

– Два, – отогнулся указательный.

– Михаил Павлович.

– Три, – отогнулся средний.

– Николай Павлович.

– Четыре, – отогнулся безымянный.

– Александр Николаевич.

– Пять, – отогнулся мизинец.

Темнело ли в глазах у Рылеева, темнело ли в комнате, но ему казалось, что Пестель куда-то исчез и остались только эти белые руки, отделившиеся от тела, висящие в воздухе, призрачные. И пальцы на них шевелились, проворные, как белые кости на счётах. Он всё

называл, называл; пальцы считали, считали, и казалось, этому конца не будет.

– Этак и конца не будет! – проговорил из темноты чей-то голос, тоже призрачный. – Если убивать и в чужих краях, то конца не будет; у всех великих княгинь – дети... Не довольно ли объявить их отрешёнными? Да и кто захочет такого окровавленного престола? Как вы думаете?

Рылеев хотел что-то сказать, но не было голоса: душная тяжесть навалилась на него, как в бреду.

– А знаете, ведь это ужасное дело, – заговорил опять из темноты тот же призрачный голос. – Мы тут с вами как лавочники на счётах, а ведь это кровь...

Мысли у Рылеева путались; не знал, кто это – он ли сам думает или тот говорит.

– Да ведь как же быть? С филантропией не только революции не сделаешь, но и шахматной партии не выиграешь. Редко основатели республик отличаются нежной чувствительностью... Не знаю, как вы, а я уже давно отрёкся от всяких чувств, и у меня остались одни правила. И в Писании сказано: никто же, возложь руку свою на рало и зря вспять, не управлен есть в царствие Божие...

Рылееву вспомнилось, как эти самые слова говорил он Бестужеву. Да кто же это? Пестель? Какой Пестель? Откуда взялся? Вошёл прямо с улицы. Может быть, совсем и не Пестель, а чёрт знает кто?

Рылеев с усилием встал и пошёл к двери.

– Куда вы?

– За лампою. Темно.

Вернулся в кабинет с лампою. При свете Пестель оказался настоящим Пестелем. Опять заговорил о чём-то. Но Рылеев уже не отвечал и почти не слушал; думал об одном: поскорей бы гость ушёл. Голова кружилась; когда закрывал глаза, то мелькали белые руки по красному полю.

– Нездоровится вам? – наконец заметил Пестель.

– Да, немного, голова болит... Ничего, пройдёт. Говорите, пожалуйста, я слушаю.

– Нет, зачем же? Я вас и так утомил. Лучше зайду в другой раз, если позволите. Да мы, кажется, переговорили уже обо всём.

Вышли в столовую.

– Не знаете ли, Кондратий Фёдорович, – сказал Пестель, прощаясь, – где бы тут у вас в Петербурге шаль купить?

– Какую шаль?

– Обыкновенную, турецкую или персидскую. Для подарка.

– Не знаю. Надо жену спросить. Натали, поди сюда, – крикнул он в гостиную.

Вошла Наталья Михайловна. Рылеев представил ей Пестеля.

– Вот Павел Иванович спрашивает, где бы турецкую шаль купить.

– А вам для кого, для пожилой или молоденькой? – спросила Наталья Михайловна.

– Для сестры. Ей семнадцать лет.

– Ну тогда не турецкую, а кашемировую, лёгонькую. Я намерен у Айбулатова, в Суконной линии, видела прехорошенькие бле-де-нюи,¹⁹⁴ со звёздочками. Нынче самые модные...

Пестель спросил номер лавки и записал в книжечку.

– Только смотрите, торговаться надо. Умеете?

– Умею. В английском магазине намерен эшарп *тру-тру*¹⁹⁵ купил за двадцать пять и блондовых¹⁹⁶ кружев по девяти с полтиной за аршин. Не дорого?

¹⁹⁴ Цвета «ночная лазурь».

¹⁹⁵ Шарф с дырочками.

¹⁹⁶ БЛОНДЫ (от франц. blonde – золотистая, рыжеватая, русая, белокурая), кружево из шёлка-сырца золотистого цвета (при сохранении естественного цвета сырья), а также белого или чёрного цвета. В 18 в., ко времени широкого распространения кружева в России, блонды наряду с женщинами носили и мужчины в качестве жабо, манжет, галстуков, отделки рубашек.

– Ну и не дёшево, – засмеялась Наталья Михайловна, – мужчинам дамских вещей покупать не следует.

Помолчала и прибавила с любезностью:

– Сестрица с вами живёт?

– Нет, в деревне. У меня их две. Уездные барышни. Петербургских гостинцев ждут не дождутся. Каждой надо по вкусу – вот по лавкам и бегаю...

– Избаловали сестриц?

– Что поделаешь? Они у меня такие красавицы, умницы. Особенно старшая. Мы с нею друзья с детства. Меня вот всё в полку женить хотят. А по мне, добрая сестра лучше жены...

– Ну влюбитесь – женитесь.

– Да я уж влюблён.

– В кого?

– Да в неё же, в сестру.

– Ну что вы, Бог с вами! Разве можно?..

– Ещё как! – улыбнулся Пестель, и опять лицо его помолодело, похорошело.

Но Рылееву почудилось в этой улыбке что-то робкое, жалкое, как в улыбке тяжелобольного или бесконечно усталого. Понять – значит решить, сказать – значит сделать, – полно, так ли? Счёт убийств по пальцам и эшарп *тру-тру*. чувств не имеет, а в сестрицу влюблён. Не такой же ли и он мечтатель, как все они, – только лжёт искуснее? Не говорит ли больше, чем делает? «Наполеон без удачи...» – усмехнулся Рылеев и решил окончательно: «Он враг; или я, или он».

Пестель ушёл. Подали ужин. Рылеев ричего не ел и лёг спать. Наталья Михайловна проверила счёт по хозяйству, помолилась и тоже легла.

Как всегда перед сном, говорила мужу о делах: о продаже сена и овса в подгородной деревушке Батове, Рождествене тож, о переводе мужиков с оброка на барщину, о недоимках, о мошеннике старосте, о взносе семисот рублей процентов в ломбард, о взятке секретарю в Сенате по тяжёлому делу матушки. Наконец заметила, что он её не слушает.

– Спишь, Атя?

– Нет, а что?

– Как что? Я говорю, а ты не слушаешь... Так вот всегда! Ни до чего тебе дела нет, кроме общества. Но если тебе общество дороже всего, так и скажи прямо. Ведь ты не один. «Конституция, революция, республика» – а мы-то с Настенькой чем виноваты?..

Говорила плачущим голосом; подождала, не ответит ли. Но он молчал.

– Ну подумай, Атя: ведь если что, не дай Бог, случится с тобой, я не вынесу! Так и знай, погубишь и меня, и Настеньку...

– Наташа, – сказал он, сердито переворачиваясь с боку на бок, – сколько раз просил я тебя не говорить пустяков. Ну какое там общество! Одни разговоры... Можешь быть спокойна: ничего со мной не будет... Ну полно же, полно, дружок, не мучай себя, не расстраивай, спи с Богом.

– Ах, Атя, Атечка, родненький!.. Ну что тебе, что тебе это общество? Ведь сколько можно и так добра сделать. Ведь какой ты у меня умница, какие стихи пишешь, как начальство любит тебя! Ушёл бы совсем от них. Зажили бы тихо, смирно, счастливо. Ну чего ещё нужно, Господи!..

Он обнял её молча, с нежностью. Затихла, ещё несколько раз тяжело вздохнула, как маленькие дети, когда засыпают, наплакавшись, и скоро услышал он знакомый, смешной, тоненький храп. В первые дни после свадьбы, когда он восхвалял её в стихах:

*Краса природы, совершенство,
Она моя! она моя! –*

удивлял и огорчал его этот храп; а теперь сладко баюкал, как старая детская песенка.

Но сегодня и под эту песенку долго не мог уснуть. Было душно от натопленной печи, от

пуховиков двуспальной постели, от собственного жара и жаркого тела Наташи, от этих милых, слабых, сонных рук, которые обвили его, сковали, как тяжкие цепи.

Мне нет преграды, нет законов.
И чтоб её не уступить,
Готов царей низвергнуть с тронов
И Бога в небе сокрушить! –

писал когда-то. А вот теперь наоборот: чтоб *их* низвергнуть, надо *её* уступить.

Наконец задремал, но тотчас же проснулся; видел во сне что-то страшное, не мог вспомнить что и только повторял про себя в ужасе: «Что это? что это?..»

Часы в столовой тикали; зелёная лампадка теплилась; слышался тоненький храп. Всё как всегда. Но во всём – новое, страшное – наяву, как во сне. Что это? Что это?

Вдруг понял что. На одно мгновение с ослепляющей ясностью, какая бывает только у внезапно проснувшихся ночью, совершенной тишине, в совершенном одиночестве, – понял, что не когда-то, где-то, а тут же, сейчас – вот она, смерть. Готов ли он? Не права ли Наташа? Не уйти ли, пока ещё не поздно?

Но мгновенье прошло, смерть отступила, уже перестал он её понимать и подумал с обычной ложью, с обычной лёгкостью: «Нет, поздно... Ну что ж, смерть так смерть!»

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Свадьба Софьи Нарышкиной с графом Шуваловым назначена была летом. Уже привезли из Парижа с особым курьером великолепное подвенечное платье, но невеста отказалась наотрез примеривать его, как ни упрашивала мать; а потом уже не могла, потому что опять заболела. Улучшение, которому так радовался князь Валерьян, оказалось обманчивым. Во время ледохода болезнь усилилась, и началось кровохарканье. Государю врачи объявить не решались, но про себя знали, что дни больной сочтены.

Софья была слишком слаба, чтобы везти её за границу или на юг России. Врачи советовали ей переехать за город.

Весна была ранняя, дружная; дни лучезарные. В тени лесных оврагов лежал ещё снег, а на солнечных дорогах уже пахло летнею пылью. Небо целыми днями – безоблачно-синее, как синее лампадное стекло с огнём внутри; а если долго смотреть в него, то казалось тёмным, дневное – ночным, как в глубине колодца. И за всей этой чрезмерной ясностью – темнота, пустота зияющая.

Дача Нарышкиных по петергофской дороге – настоящий маленький дворец с бельведером, откуда виден Финский залив, Петербург и Кронштадт; с плоским зелёным куполом и белыми столбами римского портика. Английский стриженный сад со шпалерами, лабиринтами и усыпанными жёлтым песком дорожками; одна только высокая аллея старых плакучих берёз.

В покоях – тяжёлое великолепие павловских времён: расписные потолки, штофные обои, золочёная мебель, тусклые зеркала, в которых лица живых – как лица покойников. Но несколько комнат отделала Марья Антоновна в новом, весёленьком французском вкусе, особенно комнату больной на втором этаже, окнами на море. Обои, нарочно из Парижа выписанные, – серебристо-белый атлас с бледно-алыми гвоздичками; лёгкая дачная мебель лакированного светлого тополя; балкон, уставленный цветущими помаранцами в оранжерейных кадках. «Настоящее гнездышко любви – *nid d'amour* – для моей бедненькой, бедненькой девочки», – говорила Марья Антоновна. Но на весёленькой мебели, как на тычке, больной ни присесть, ни прилечь. «Ох, болят мои старые косточки!» – горестно шутила Софья. Белый атлас напоминал ей ненавистное подвенечное платье, которое теперь она как будто вечно примеривала; алые гвоздички утомляли глаза, как мелькание бреда.

Софья переносила болезнь мужественно; только что становилось легче, вставала, бродила по комнате и уверяла, что уже почти совсем здорова. Но Валерьяну Голицыну, который опять проводил с ней целые дни, казалось, что она рада болезни и не хочет выздороветь. Лекарств не

принимала, докторов не слушалась.

Однажды утром, вскоре после переезда на дачу, чувствуя или вообразив, что чувствует себя бодрее, перешла с постели на кресло, старое-престарое, с рваною кожею и торчавшею кое-где из дыр волосяной набивкою, – родное среди этой чуждой мебели; из городского дома вытребовала его нарочно, потому что только на нём и могла сидеть.

Утро было ясное, как все эти дни; небо лампадно-синее; тишина, какая бывает только раннею весною на пустынных дачах: щебет птиц, скрежет граблей, далёкий-далёкий топор, – должно быть, рыбак чинит лодку на взморье, – тишина от этих звуков ещё беспредельнее. Открыта дверь на балкон; запах весеннего утра, берёзовых почек смешивался с душным запахом лекарств.

Стоя перед Софьей на коленях, Голицын кормил её с ложечки предписанной врачами молочной овсянкой. Софья, только из его рук соглашалась глотать её, как лекарство, по ложечке. Старая няня Василиса Прокофьевна вдали у двери, пригорюнившись, глядела на «кормление зверя», как называла больная свой утренний завтрак.

Отдыхая между двумя ложками, Софья наклонилась к Голицыну и разглядывала лицо его с внимательною улыбкою.

– А ну-ка, погодите, сделайте лицо серьёзное. Нет, ещё, ещё серьёзнее... Да ну же, ну! Больше не можете?

– Не могу:

– А морщинка осталась.

– Какая морщинка?

– Вот здесь, около губ. Как будто всегда усмехаетесь. Помните мраморного дедушку Вольтера в нашей библиотеке? Вот и у вас, пожалуй, такая же усмешка будет к старости... Над чем вы смеётесь, ваше сиятельство?

– Не знаю, милая... Над собою разве?

– А очки вам не к лицу. И не думайте, пожалуйста: вовсе не карбонар, а просто немецкий профессор в отставке. Ну зачем вы их носите? Из упрямства, что ли? Государь прав, что терпеть не может очков... Ну будет, не хочу больше, – оттолкнула она ложку. – Это которая?

– Восьмая, а вы обещали двенадцать.

– Нет, не могу... Няня, голубушка, позволь больше не есть. Нельзя же человека, как каплуна, откармливать...

– Что это, право, сударыня, точно маленькая! – заворчала старушка. – Да хоть совсем не ешьте. Оттого и больны, что докторов не слушаете.

Прокофьевна отвернулась, чтобы не заплакать, но не уходила, как будто ждала чего-то.

– Так вот и будет стоять, пока не выгоню, – шепнула Софья по-французски Голицыну. – Как мучает, если бы вы знали, как она меня мучает, Господи! А всё оттого, что любит... Злейшие враги – любящие. Разве не так?

– Так-то так, да уж очень зло... пожалуй, злее усмешки Вольтеровой.

– У меня теперь всё такие злые мысли, острые. Больно от них, как если иголку раскалить на огне и воткнуть в тело. Вот и в вас втыкаю, бедненький, вижу, как от боли корчитесь...

– Ничего, только бы вам полегче, – проговорил он, целуя прозрачно-бледную, с голубыми жилками, руку её, такую мёртвую, такую детскую.

– Ну давайте овсянку кончать, а то ни за что не уйдёт, – оглянулась Софья на Прокофьевну. – Одним духом. Девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая... Уф! Уберите скорей эту гадость. Ну, няня, видишь, – кончила. Не сердись же, не плачь, глупенькая! Мне лучше. Ну, право, совсем хорошо. Ступай с Богом. Князь почитает, а я отдохну...

Голицын начал читать «Светлану» Жуковского.

– Нет, не надо, не надо, лучше другое! – остановила Софья. – Помнишь, в Покровском у пруда за теплицами?

Где, невеста, где твой милый?

Где венчальный твой венец?

Дом твой – гроб, жених – мертвец.

Помнишь, как я тогда испугалась, а ты меня утешал:

*О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!*

А вот узнала-таки!.. О, какие страшные, страшные сны, Валенька! Как давно, Господи! Какие мы старые, древние! Кажется, не семнадцать, а семьдесят лет... Душно здесь, лекарствами пахнет; пойдём на балкон.

Он поднял её на руки. Каждый раз, как подымал, – чувствовал, что всё легче и легче ноша, как будто она в руках его таяла. Перенёс на балкон и усадил в кресло. Луч солнца скользнул по золотистой пряди волос и бессильно повисшей руке; ещё бледнее бледная рука, ещё голубее голубые жилки на солнце.

Софья прижалась лицом к лицу его и болезненно щурила глаза от света.

– Как хорошо! Какое море! Какие паруса! Куда они плывут? Может быть, далеко-далеко.

А когда доплывут...

«Когда доплывут, меня уже не будет», – угадал он, как угадывал все её мысли.

– Душа бессмертна, говорят... Ты веришь?

– Верю.

– А я не знаю... Если только душа – зачем?.. Я хочу, чтобы и там всё, всё как здесь... Чтобы так же, как вот сейчас, разрытую землёю от цветочных грядок пахло и берёзовыми почками. Вон комар жужжит. Пусть и комар тоже. Паучок, видишь, ползёт, маленький, красненький. Пусть и он. И бородавку над губой у няни тоже хочу. Всё как здесь...

– И меня в очках?

– Нет, очков не надо. Ведь я их не люблю. И морщинки, которая смеётся, не надо. Да где она? Пропала? Нет, вот... Только другая стала, – бедная. Ну, такую ничего, пожалуй, – можно. Всё, что люблю, пусть и там, как здесь... А если только душа, то не надо, ничего не надо. Смерть так смерть. Один конец... Ну, устала я что-то. Холодно. Пойдём.

Он перенёс её в комнату и опять усадил в кресло; укутал потеплее, потому что начинался озноб; обложил подушками; думал – задремлет, хотел отойти, но она подозвала его.

– А что у вас? Как дела? Давно не рассказывал...

Он понял, что она спрашивает о тайном обществе. Знала о нём; он долго не хотел рассказывать, – боялся, как бы не проговоришься государю, не выдала нечаянно; но, наконец, рассказал, только не называл никого по имени. Не мог скрыть: она всё о нём знала, как и он о ней, вещим знанием. И потом, здесь, в комнате больной, может быть, умирающей, тайное общество, революция, республика казались ему игрушками, которыми он тешил её, как больное дитя. Но иногда чувствовал с ужасом, что она понимает больше, чем он говорит, и что игрушки эти опасные: не одна ли из них – тот острый нож, которым он ранил её до смерти?

Так и теперь начал рассказывать что-то, думая только об одном: как бы развлечь и не ранить – подальше спрятать нож.

– Зачем не говоришь всего? – вдруг остановила она и заглянула ему в глаза пристально. – У тебя революция точно детская сказочка: Серый Волк – тиран, а свобода – Красная Шапочка. Но ведь это не так. Не так было – не так будет. Я же знаю...

О стыд! О ужас наших дней!

Как звери, вторглись янычары;

Падут бесславные удары –

Погиб увенчанный злодей!

Вот как, а не Красная Шапочка... Ты эти стихи знаешь?

– Знаю. А ты откуда? Кто тебе дал?

– Дядя, Дмитрий Львович. Добренький он. Всё, что хочу, с ним делаю. Вот и дал, только велел никому не показывать, а то ему достанется... Это об убийстве императора Павла Первого. И няня тоже рассказывала...

Помолчала и вдруг шепнула ему на ухо:

– А как ты думаешь, он знал?

Опять заглянула ему в лицо ещё пристальней.

Голицын понял: спрашивала, знал ли государь-наследник Александр Павлович о том, что заговорщики хотят убить отца его, императора Павла I.

– Что же ты молчишь? Говори...

– Не надо, Софья! Зачем? Кто может судить, кроме Бога?

– Нет, надо. Я хочу знать всё, что ты думаешь. Говори же, только не скрывай, не обманывай. Знал ли он?

– Я думаю, всего не знал, – ответил он чрез силу.

– А если бы знал, – продолжала она, – если бы знал, то всё-таки... Ведь нельзя иначе? Ведь император Павел злодеем был, извергом?

– Какой изверг! Просто больной, несчастный...

– Всё равно – сумасшедший.

*Ты – ужас мира, стыд природы,
Упрёк ты Богу на земле.*

Пятьдесят миллионов людей в руках сумасшедшего – разве можно это терпеть? Надо было убить. Никто не виноват, никто не может судить, кроме Бога. Сам Бог устроил так, что убивать надо. Умирать и убивать. Уж лучше бы не было Бога!.. И ты, и ты убил бы, если бы надо?.. Молчишь? Не хочешь сказать? Ну, всё равно, я знаю, что ты думаешь...

И вдруг опять зашептала ему на ухо:

– Намедни-то что мне приснилось. Будто входим с тобой в эту самую комнату, а у меня на постели кто-то лежит, лица не видать, с головой покрыт, как мертвец саваном. А у тебя в руках будто нож, убить хочешь того на постели, крадёшься. А я думаю: что, если мёртв? Живых убивать можно, но как же мёртвого? Крикнуть хочу, а голоса нет; только не пускаю тебя, держу за руку. А ты рассердился, оттолкнул меня, бросился, ударил ножом, саван упал... Тут мы и увидели, кто это... Знаешь кто? Знаешь кто?.. – повторяла она задыхающимся шёпотом, и он слышал, как зубы у неё стучат. – Ох, Валенька, Валенька, знаешь кто?

Он знал: её отец!

– Не надо, Софья, не надо! – сказал он, закрывая лицо руками. – Ведь это только сон, дурной сон от болезни. Пройдёт болезнь – и не будет страшных снов...

– Опять лжёшь? Опять скрываешь? Не говоришь всего? Я хочу знать всё, слышишь, всё! Я же понимаю, что от крови – Шапочка Красная. Знаешь, от чьей? Думал ты о крови, когда шёл к ним? Можно ли идти на кровь во имя Господа?.. Что вы всё о крови думаете? Что? Говори...

– Не надо! Не надо! – повторял он одно только слово, ломая руки в отчаянье.

– Убивать надо, а говорить не надо?.. Нет, говори! Я больше не могу, не хочу! Говори же, не лги! Я знаю всё, не обманешь! – проговорила она и отняла руки насильно от лица его, посмотрела на него в упор – в этом взгляде был острый нож, ранящий до смерти. – Говори: его убить хотите?

– Что ты делаешь, Софья...

– Что делаю? Иглу раскалённую втыкаю в тебя – острый нож в живого, а не в мёртвого. Что, больно? Ну ничего, потерпи, не мне же одной от боли корчиться...

Злоба засверкала в глазах её, и от этой злобы стало ему ещё жальче.

– Не со мною, а с собою что делаешь, Господи! Ну зачем?

– Нет, не я, а ты, что ты со мной сделал?.. Ничего я не знала, была глупая девочка, ребёнок; спокойна, счастлива. Ты пришёл и разрушил всё, возмутил, соблазнил... Помнишь, на концерте Вьельгорского? От этого я и больна, умираю. Ведь об этом сказано: *лучше бы мельничный жёрнов на шею* ... Я же тебя не спрашивала. Начал – так и кончай... И чего теперь испугался? Что донесу, что ли? А может, и донесу... Знаю всё, не обманешь, знаю, чего вы хотите... И за что? Что он вам сделал? Как у вас рука на него подымется? И у тебя, Валенька родненький, любимый мой, единственный! На него, на отца моего! Уж лучше бы ты меня!..

Он встал с мёртвенно-бледным, но как будто спокойным лицом.

– Бог тебе судья, Софья! Думай, как хочешь: злодеи, убийцы, изверги... А может быть, глупые дети, – я ведь иногда и сам думаю: ничего не сделают, никого не спасут, только себя погубят. А всё-таки правда Божья у них. И пусть недостоин я, пусть беру не по силам, не

вынесу, а уйти от *них* не могу, даже если тебя, Софья...

Голос его оборвался, лицо исказилось, и, закрыв его руками, он только повторял сквозь рыдания:

– Не уйду, не уйду! И если тебя потеряю, от *них* не уйду!

– Да кто тебя держит? – усмехнулась она с тою же злобою, как давеча. – Ступай к ним! Ступай! Ступай!

Упала навзничь на подушки и вся затрепетала, забилась, как раненая птица, сначала в неистовых рыданиях, потом в раздирающем кашле. Ему казалось, что она задохнётся, умрёт сейчас на его руках.

Наконец кашель затих; но долго ещё лежала с лицом блее белых подушек и с закрытыми глазами, как мёртвая. Он думал, не позвать ли на помощь. Но пошевелилась, открыла глаза.

– Ты здесь? Не ушёл! Ничего, не бойся, прошло. Дай воды... Как руки у тебя дрожат! Не бойся же, мне хорошо. Только не уходи, побудь со мною...

Вдруг наклонилась и стала целовать руки его; плакала, но лицо было ясное, тихое; тихая, ясная улыбка.

– Прости меня, Валя, голубчик! Это в последний раз, больше не будет. Только прости, не уходи, не покидай меня, я без тебя не могу...

Он упал перед ней на колени; она обняла голову его, гладила и целовала ему волосы.

– Ничего, ничего, полно, не плачь, всё хорошо будет. Я знаю, Господь нам поможет. Мне будет полегче. Вот уже теперь так легко, так хорошо с тобою... Только обещай, что возьмёшь меня к себе. Я не могу здесь больше, не могу, не хочу! Я должна быть с тобою. Где ты, там и я. Если надо будет, убежим... Да? Далеко, далеко от всех... А потом и он будет с нами. Он ведь мне обещал оставить всё и жить со мною. Вот и будем втроём: он, ты да я... И тогда всё ему скажет. Он поймёт, сделает! Ведь и он того же хочет, что вы? Ты сам говорил, что он хочет того же... И не будет крови. Не надо крови... А если надо, то он сам отдаст свою кровь, вместе с вами, за вольность, за счастье России! Так будет, Валя, будет, да? Скажи, что будет! – повторяла как безумная.

– Будет! Будет! – повторял и он, чувствуя, что в этом безумье – пророчество: когда-то, где-то, может быть, в мире нездешнем, – но так будет.

Вдруг оба прислушались. На мосту у ворот застучали копыта; песок садовой аллеи заскрипел под колёсами. Голицын выбежал на балкон.

– Он? – спросила Софья, когда Голицын вернулся в комнату.

– Да, прощай...

– Нет, погоди. Слышишь: к маменьке прошёл. Успеешь... Постой же, я хотела ещё что-то сказать... Да, может быть, и лучше, если умру? Помирю вас, мёртвая, скорее, чем живая... Но, живая или мёртвая, всегда с тобою! И гнать будешь, не уйду – оттуда приходиться буду. Помни же: куда ты, туда и я. И если Бог тебя осудит, то пусть и меня... Но не осудит Бог! Ну, дай благословлю. Сохрани, помоги, помилуй вас всех Господи! Спаси, Матерь Пречистая!

Перекрестила и поцеловала его с тою же тихой, ясною улыбкою.

– Ну ступай, ступай скорее!

Он выбежал из комнаты. Но было поздно: шаги государя слышались на лестнице; Голицын встретился с ним; посторонился с низким поклоном. Государь посмотрел на него, как будто хотел что-то сказать, но молча нахмурился, кивнул головой и прошёл мимо.

Давно уже просил он Марью Антоновну не принимать Голицына. Софья, под предлогом болезни, не пускала к себе на глаза жениха своего, графа Шувалова, а Голицын проводил с нею целые дни. Это казалось государю неприличным; к тому же заметил он, что беседы эти вредно влияют на её здоровье, волнуют её, расстраивают. Решил ей самой это высказать.

Но когда увидел её, забыл о своём решении: такая перемена произошла в ней за два дня, что он испугался, как будто теперь только понял, что она смертельно больна.

Обрадовалась, ласкалась к нему, как всегда. Но оба чувствовали, что разделяет их какая-то неодолимая преграда. Обнимая, целовала его; но в лице двусмысленное противоречие между слишком нежною улыбкою губ и жестокой морщиною лба опять поразило её, так же как некогда в Торвальдсеновом мраморе; вдруг вспомнилось ей, как в детстве обнимала, целовала она этот мрамор и как теплел он под её поцелуями, казался живым.

И стало страшно: как бы теперь, когда целовала живого, не показалось, что целует мёртвого.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В первых числах мая назначено было у Рылеева собрание тайного общества, чтобы выслушать предложение Пестеля.

В маленькой квартире всё было перевёрнуто вверх дном. Ненужную мебель вынесли; открыли двери настежь в кабинет и гостиную; Наташа с Настенькой уехали ночевать к знакомым.

Заседание назначено в восемь часов вечера, а сходиться начали к семи. Это было редкостью: обыкновенно опаздывали или не приходили вовсе. На лицах – тревога и торжественность. Многие явились в орденах и мундирах. Говорили вполголоса; курить выходили на кухню. Ожидали Пестеля; каждый раз, как открывалась дверь, оборачивались: не он ли?

Никита Михайлович Муравьёв,¹⁹⁷ капитан гвардейского генерального штаба, лет тридцати с небольшим, – бледно-жёлтый, геморроидальный цвет лица, бледно-жёлтые редкие волосы, бледно-жёлтые, точно полинялые, от света прищуренные глаза, – настоящий петербургский чиновник, – сидя за столом, поодаль от всех, читал бумаги и делал на полях отметки карандашом. Только что кончик тупился – чинил торопливо и тщательно: мог писать только самым острым кончиком, подобно Сперанскому, которому поклонялся и подражал во всём. Напишет два-три слова и чинит, каждый раз привычным движением подымая бумагу к близоруким глазам и сдувая кучку графитовой пыли с таким озабоченным видом, как будто судьба предстоящего собрания зависела от этого. Сочинитель Северной конституции, главный противник Пестеля за его республиканские крайности, – готовился ему возражать, но волновался и не мог сосредоточиться.

Друзья считали Муравьёва единственным в обществе умом государственным: что Сперанский для нынешней России, то Муравьёв для будущей. Кабинетный учёный, осторожный и умеренный, он составлял законы Российской конституции так же кропотливо, как часовщик собирает под лупою пружинки, колёсики, винтики. Работал в тайном обществе, как в министерской канцелярии. Написанное казалось ему сделанным. Признавал необходимость революции, но втайне боялся её, как всякой чрезмерности. Пестель шутил, что Муравьёв похож на человека, который просит ваты заткнуть себе уши, чтобы не надуло, когда его ведут на смертную казнь. Действовать в революции мешала ему эта вечная вата в ушах, и геморрой, и жена: чуть что, она увозила его в деревню и там держала под замком, пока всё успокоится.

Чиня карандаши, невольно прислушивался к мешавшим ему разговорам.

В ожидании Пестеля говорили о нём. Рассказывали об отце его, бывшем сибирском генерал-губернаторе – самодуре и взяточнике, отрешённом от должности и попавшем под суд; рассказывали о самом Пестеле – яблочко от яблони недалеко падает, – как угнетал он в полку офицеров и приказывал бить палками солдат за малейшие оплошности по фронту.

Бить-то их бьёт, а они его всё-таки любят: лучшего, говорят, командира не надо.

«Годится на всё: дай ему командовать армией или сделай каким хочешь министром – везде будет на месте», – приводили отзыв графа Витгенштейна, главнокомандующего второю армией.

– Государь на Тульчинском смотре был особенно доволен полком Пестеля. «Превосходно, точно гвардия!» – изволил сказать и три тысячи десятин ему пожаловал. А как узнал, что Пестель в тайном обществе, испугался, говорят, не на шутку...

– Государь вообще боится нас, – усмехнулся Бестужев, самодовольно поглаживая усики.

– «Умный человек во всём смысле этого слова», – напоминали отзыв Пушкина о Пестеле.

¹⁹⁷ Муравьёв Никита Михайлович (1796–1843) – капитан гвардии, правитель Северного общества декабристов. Осуждён по 1-му разряду, отбывал каторгу на Нерчинских рудниках, умер на поселении.

– Умён, как бес, а сердце мало, – заметил Кюхля.

– Просто хитрый властолюбец: хочет нас скрутить со всех сторон... Я понял эту птицу, – решил Бестужев.

– Ничего не сделает, а только погубит нас всех ни за денежку, – предостерегал Одоевский.

– Он меня в ужас привёл, – сознался Рылеев. – Надобно ослабить его, иначе всё заберёт в руки и будет распоряжаться как диктатор.

– Знаем мы этих армейских Наполеошек! – презрительно усмехался Якубович, который успел в общей ненависти к Пестелю примириться с Рылеевым после отъезда Глафиры в чухломскую усадьбу.

– Наполеон и Робеспьер вместе. Погодите-ка уж, доберётся до власти – покажет вам кузькину мать! – заключил Батенков.

Слушая как сквозь сон, князь Валерьян Михайлович Голицын смотрел в окно на вечернюю звезду в золотисто-зелёном небе и вспоминал глаза умирающей девочки. Её спасение или спасение России – что ему дороже? Ну, пусть революция, а ведь всё-таки – смерть. И почему судьба человека меньше, чем судьба человечества? Что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Перед смертью, перед вечностью не прав ли тот, кто сказал: «Политика только для черни»? И как не похоже то, что говорят эти люди, на вечернюю звезду в золотисто-зелёном небе и на глаза умирающей девочки.

Не похоже, *не соединено*. В последнее время всё чаще повторял он это слово «не соединено». Три правды: первая – когда человек один; вторая – когда двое; третья – когда трое или много людей. И эти три правды никогда не сойдутся, как всё вообще в жизни не сходится. «Не соединено».

– Он! Он! – пронёсся шёпот, и все взоры обратились на вошедшего.

Однажды на Лейпцигской ярмарке, в музее восковых фигур, Голицын увидел куклу Наполеона, которая могла вставать и поворачивать голову. Угловатую резкостью движений Пестель напомнил ему эту куклу, а тяжёлым, слишком пристальным, как будто косящим взглядом – одного школьного товарища, который впоследствии заболел падучею.

Уселись на кожаные кресла с высокими спинками, за длинный стол, крытый зелёным сукном, с малахитовой чернильницей, бронзовым председательским колокольчиком и бронзовыми канделябрами – всё взято напрокат из Русско-Американской компании; зажгли свечи, без надобности, – было ещё светло, – а только для пышности. Хозяин оглянул всё и остался доволен: настоящий парламент.

– Господа, объявляю заседание открытым, – произнёс председатель, князь Трубецкой, и позвонил в колокольчик, тоже без надобности, было тихо и так. – Слово принадлежит Директору Южной Управы полковнику Павлу Ивановичу Пестелю.

– Соединение Северного общества с Южным на условиях таковых предлагается нашей Управой, – начал Пестель. – Первое: признать одного верховного правителя и диктатора обеих управ; второе: обязать совершенным и беспрекословным повиновением оному; третье: оставя дальний путь просвещений и медленного на общее мнение действия, сделать постановления более самовластные, чем ничтожные правила, в наших уставах изложенные, понеже сделаны были сии только для робких душ, на первый раз, и, приняв конституцию Южного общества, подтвердить клятвою, что иной в России не будет...

– Извините, господин полковник, – остановил председатель изысканно-вежливо и мягко, как говорил всегда, – во избежание недоумений, позвольте узнать, конституция ваша – республика?

– Да.

– А кто же диктатор? – тихонько, как будто про себя, но так, что все услышали, произнёс Никита Муравьёв, не глядя на Пестеля. В этом вопросе тайлся другой: «Уж не вы ли?»

– От господ членов общества одного лица избрание зависеть должно, – ответил Пестель Муравьёву, чуть-чуть нахмурившись, видимо, почувствовав жало вопроса.

– Не пожелает ли, господа, кто-либо высказаться? – обвёл председатель глазами собрание. Все молчали.

– Прежде чем говорить о возможном соединении, нужно бы знать намерения Южного

общества, – продолжал Трубецкой.

– Единообразие и порядок в действии... – начал Пестель.

– Извините, Павел Иванович, – опять остановил его Трубецкой так же мягко и вежливо, – нам хотелось бы знать точно и определительно намерения ваши ближайшие, первые шаги для приступления к действию.

– Главное и первоначальное действие – открытие революции посредством возмущения в войсках и упразднения престола, – ответил Пестель, начиная, как всегда в раздражении, выговаривать слова слишком отчётливо: раздражало его то, что перебивают и не дают говорить. – Должно заставить Синод и Сенат объявить временное правление с властью неограниченною...

– Неограниченную, самодержавною? – опять вставил тихонько Муравьёв.

– Да, если угодно, самодержавною...

– А самодержец кто?

Пестель не ответил, как будто не слышал.

– Предварительно же надо, чтобы царствующая фамилия не существовала, – кончил он.

– Вот именно, об этом мы и спрашиваем, – подхватил Трубецкой, – каковы посему намерения Южного общества?

– Ответ ясен, – проговорил Пестель и ещё больше нахмурился.

– Вы понимаете?!..

– Разумею, если непременно нужно выговорить, – цареубийство.

– Государя императора?

– Не одного государя.....

Говорил так спокойно, как будто доказывал, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым; но в этом спокойствии, в бескровных словах о крови было что-то противоестественное.

Когда Пестель умолк, все невольно потупились и затаили дыхание. Наступила такая тишина, что слышно было, как нагоревшие свечи потрескивают и сверчок за печкой поёт уютную песенку. Тихая, душная тяжесть навалилась на всех.

– Не говоря об ужасе, каковой убийства сии произвести должны и сколь будут убийцы гнусны народу, – начал Трубецкой, как будто с усилием преодолевая молчание, – позволительно спросить, готова ли Россия к новому вещей порядку?

– Чем более продолжится порядок старый, тем менее готовы будем к новому. Между злом и добром, рабством и вольностью не может быть середины. А если мы не решили и этого, то о чём же говорить? – возразил Пестель, пожимая плечами.

Трубецкой хотел ещё что-то сказать.

– Позвольте, господин председатель, изложить мысли мои по порядку, – перебил его Пестель.

– Просим вас о том, господин полковник!

Так же как в разговоре с Рылеевым, начал он «с Немврода». В речах его, всегда заранее обдуманых, была геометрия – ход мыслей от общего к частному.

– Происшествия 1812, 13, 14 и 15 годов, равно как предшествовавших и последовавших времён, показали столько престолов низверженных, столько царств уничтоженных, столько переворотов совершённых, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобствами совершать оные. К тому же имеет каждый век своей признак отличительный. Нынешний – ознаменован мыслями революционными: от одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая Англии и Турции, сил двух противоположностей, дух преобразования заставляет всюду умы клекотать...

Говорил книжно, иногда тяжёлым канцелярским слогом, с неуклюжею заменою иностранных слов русскими собственными изобретениями: революция – *превращение*. тиранство – *зловластье*. республика – *народоправление*. «Я не люблю слов чужестранных», – признавался он.

«Планщиком» назвал Пушкин стихотворца Рылеева; Пестель в политике был тоже планщик. Но в отвлечённых планах горела воля, как в ледяных кристаллах – лунный огонь. Говорил, как власть имеющий, и очарование логики подобно было очарованию музыки или

женской прелести.

Одни пленялись, другие сердились; иные же пленялись и сердились вместе. Но чувствовали все так же, как наемни Рылеев, что бывшее далёкою мечтою становится близким, тяжким, грозным и ответственным.

Перейдя к разбору муравьёвской конституции, не оставил в ней камня на камне. С неотразимою ясностью обнаружил сходство её с древнею удельною системою, от коротой едва не погибла Россия, – «ужасное вельможество и аристокрацию богатств».

– Сии аристокрации, главная препона благоденствия общего и главное утверждение зловласти, одним только республиканским образованием правления устранены быть могут.

Муравьёв хотел произнести свою речь, когда Пестель выскажет всё до конца, но сидел как на иголках и, наконец, не выдержал:

– Какая же аристокрация, помилуйте! Ни в одном государстве европейском не бывало, ни в Англии, ни даже в Америке, такой демократии, каковая через выборы в нижнюю палату Русского Веча, по нашей конституции, имеет быть достигнута...

– У меня, сударь, имя не русское, – заговорил вдруг Пестель с едва заметною дрожью в голосе, – но в предназначение России я верю больше вашего. Русскою Правдою назвал я мою конституцию, понеже уповаю, что правда русская некогда будет всесветною и что примут её все народы европейские, доселе пребывающие в рабстве, хотя не столь явном, как наше, но, быть может, злейшем, ибо неравенство имуществ есть рабство злейшее. Россия освободится первая. От совершенного рабства к совершенной свободе – таков наш путь. Ничего не имея, мы должны приобрести всё, а иначе игра не стоит свеч...

– Bravo, bravo, Пестель! Хорошо сказано! Или всё, или ничего! Да здравствует Русская Правда! Да здравствует революция всесветная! – слышались рукоплескания и возгласы.

Если бы он остановился вовремя, то увлёк бы всех, и победа была бы за ним. Но его самого влекла беспощадная логика, посылка за посылкой, вывод за выводом – и остановиться он уже не мог. В ледяных кристаллах разгорался лунный огонь, – совершенное равенство, тождество, единообразие живых громадах человеческих.

– Равенство и всех и каждого, наибольшее благоденствие наибольшего числа людей – такова цель устройства гражданского. Истина сия столь же ясна, как всякая истина математическая, никакого доказательства не требующая и в самой теореме всю ясность свою сохраняющая. А поелику из одного явствует, что все люди должны быть равны, то всякое постановление, равенству противное, есть нестерпимое зловластие, уничтожению подлежащее. Да не содержит в себе новый порядок ниже тени старого...

Математическое равенство, как бритва, брило до крови; как острый серп – колосья, срезывало, скашивало головы, чтоб подвести всех под общий уровень.

– Всякое различие состояний и званий прекращается; все титулы и самое имя дворянина истребляется; купеческое и мещанское сословия упраздняются; все народности от права отдельных племён отрываются, и даже имена оных, кроме единого, великороссийского, уничтожаются...

Всё резче и резче режущие взмахи бритвы. «Уничтожается», «упраздняется» – в словах этих слышался стук топора в гильотине. Но очарование логики исполинских ледяных кристаллов с лунным огнём подобно было очарованию музыки. Жутко и сладко, как в волшебном сне, – в видении мира нездешнего. Града грядущего, из драгоценных камней построенного Великим Планщиком вечности.

– Когда же все различия состояний, имуществ и племён уничтожатся, то граждане по волостям распределятся, дабы существование, образование и управление дать всему единообразное – и все во всём равны да будут совершенным равенством, – заключил он общий план и перешёл к подробностям.

Цензура печати строжайшая; тайная полиция со шпионами из людей непорочной добродетели; свобода совести сомнительная: православная церковь объявлялась господствующей, а два миллиона русских и польских евреев изгоняются из России, дабы основать иудейское царство на берегах Малой Азии.

Слушатели как будто просыпались от очарованного сна; сначала переглядывались молча; затем слышались насмешливые шёпоты и, наконец, негодующие возгласы.

– Да это хуже Аракчеева!
– Военные поселения, а не республика!
– Мундир бы завести для всех россиян одинаковый, с двумя параллельными шнурами в знак равенства!

– Не русская правда, а немецкая!
– Самодержавие злейшее!

А Пестель, ничего не видя и не слыша, продолжал говорить, как будто наедине с собою.

Голицын вглядывался в него, и маленький человек со спокойным лицом, в треуголке и сером плаще вспоминаясь ему на высотах Шевардинского редута, в пороховом дыму и в огне, над горами убитых и раненых, ходивший взад и вперёд шагами такими тяжёлыми, что, казалось, не от пушечных выстрелов, а от этих шагов дрожит и стонет земля. Маленький человек похож был на свою собственную куклу, автомат в музее восковых фигур. Неземная тяжесть, роковая одержимость. Как будто не сам он движется, а кто-то двигает, дёргает его, как Петрушку за ниточку.

Пестель вынул из портфеля перечерченную военную карту Российской империи, разложил её на столе и начал объяснять разделение областей будущей Российской республики, с новою столицею, соединяющей Европу с Азией, Нижним Новгородом, под названием Владимира, в честь св. Владимира. Карта приложена была к Русской Правде.

– Неубитого медведя шкуру делим, – заметил кто-то.

– А Польша где?

– Здесь, – указал Пестель на карту.

– Как здесь? За рубежом?

– Да, отделена от России.

– Не знаю, как вы, господа, – вдруг побледнел и вскочил Рылеев, – а я никому не позволю разыгрывать в кости судьбу моей Родины!

Повскакали и другие, закричали в ярости:

– Не позволим! Не позволим!

– Вот они, Южные, вот куда гнут!

– Кромсать Россию! Да чёрт вас дери с вашею республикою!

– Предатели!

– Враги отечества!

Неистовый Кюхля схватил карту и разорвал её пополам. Председатель изо всей силы звонил в колокольчик, но долго ещё шум не унимался.

– Я полагаю, господин полковник, что отторжение столь коренных областей, как Польша, от державы Российской многим не понравится, – начал было Трубецкой примирительно, когда стало потише.

– А я полагаю, господин председатель, что мы исповедуем либеральные взгляды не для того, чтобы нравиться людям, из коих большинство глупцы, – усмехнулся Пестель так высокомерно, что даже кротчайшего Трубецкого передёрнуло.

– А главное, хамы все; не от огня или потопа, а от хамства погибнет земля! – выпалил вдруг доселе безмолвный Каховский и опять замолчал на весь вечер.

– С одним не могу никак согласиться, – заключил Рылеев, – в республике вашей смертная казнь уничтожается, а вам без неё не обойтись, гильотина понадобится, да ещё как: нам же первым головы срубите...

– Не гильотина, а пестелина! – крикнул Бестужев.

Одоевский закорчился и закашлялся от смеха так, что должен был выйти в другую комнату.

Голицыну казалось, что все, навалившись кучею, бьют спящего или пьяного.

Заранее предчувствуя победу, Муравьёв попросил слова. Заговорил – и с отрадою почувствовали все, как вещи, сдвинутые Пестелем, возвращаются на старые места; опять становится всё нетяжким, негрозным, неотвественным; режущая бритва окутывалась ватой; ледяные кристаллы таяли и превращались в тёплую воду.

Муравьёв доказывал необходимость медленного действия.

– В самой натуре постепенное течение времени даёт жизнь, рост и зрелость всему;

крупные же и быстрые события производят вихри, бури, землетрясения и разрушения. Точно так же народу, пребывавшему века без сознания вольности гражданской, дарование оной располагаемо должно быть с постепенностью. Поставлять же внезапно и насильственно на место правления законного самовластия временных диктаторов – людей, никому не ведомых, – есть дело безрассудное. Уверены будучи в том, – заключил оратор, – что Россия не может быть иначе управляема, как монархом законным и наследственным, отвергает Северное общество всякую мысль о республиканском образе правления и единственной целью своей полагает конституцию монархическую.

– Браво, браво, Муравьев! – закричали и захлопали ему те же, кто давеча кричал и хлопал Пестелю.

– Не бывать республике!

– Да здравствует монархия!

– Да здравствует конституция Северная!

Голицын давно уже видел, как лицо Пестеля бледнело, искажалось и в тускло-чёрных глазах загорался тяжёлый, припадочный блеск. Вдруг ударил он изо всей силы кулаком по столу.

– Так будет же республика!

Все на минуту притихли. Но тотчас же опять поднялся неистовый крик:

– Долой диктаторов!

– Долой Пестеля!

– Второго Бонапарта!

– Второго самодержца!

– Павла Второго!

Пестель, как будто просыпаясь, обвёл всех медленным взором.

– Господа, – заговорил он изменившимся голосом, с тихим и грустным недоумением в потухших глазах, – я ни на какие личности отвечать не буду. Я пришёл сюда не с тем. Ежели обидел кого, прошу извинить... Но стыдно будет тому, кто подозревает личные виды. Последствие покажет, что таковых не было. Впрочем, если я один мешаю всему, я готов удалиться из общества.

Остановился, помолчал и вяло, рассеяннo, точно о другом думая, потёр лоб рукою:

– Я хотел ещё что-то... ну, да всё равно...

В лице и в голосе его что-то было такое простое, правдивое и печальное, что все на мгновение опомнились и так же, как давеча, затаили дыхание, потупились, не глядя друг на друга. И тихая душная тяжесть опять навалилась на всех. Почувствовали, что не надо было говорить того, что говорили, и что не в нём, а в самих себе они что-то унизили.

Голицын встал и подошёл к Пестелю.

– Я хочу вам сказать при всех, Павел Иванович! Со многим я не согласен, но главное верно у вас, и я того же мнения до корня: низвержение династии, провозглашение республики. Что бы ни говорили, это так, и без этого ничего не будет, ничего не будет!

Пестель посмотрел на Голицына с удивлением, как будто всё ещё не понимая, но вдруг улыбнулся простодушною улыбкою, тою же самой, с которой спрашивал намерения Рылеева о персидской шали для сестры и от которой лицо его сразу молодело, хорошело до неузнаваемости.

– Спасибо вам... я не знаю вашего имени.

– Князь Валерьян Михайлович Голицын.

– Ну спасибо, спасибо вам, князь! – сказал, крепко, до боли пожимая ему руку.

Голицын заглянул в глаза Пестелю и тоже улыбнулся, – почувствовал, что может полюбить его, как брата. Но в то же мгновение увидел глаза умирающей девочки.

Пестель, собираясь уходить, складывал в портфель бумаги, листки Русской Правды и половинки разорванной карты Российской республики, – верно, дома склеит тщательно. Никто его не удерживал.

Зелёное сукно, взятое напрокат из Русско-Американской компании, сняли со стола, чтобы не запачкать, и покрыли стол белой скатертью. Потушили свечи, зажгли ананасовый пунш; сахарная голова запылала в голубых волнах спиртового пламени; захлопали пробки, полилось

шампанское. Пир в складчину: с каждого гостя по двадцати рублей ассигнациями.

От грозной и душной Пестелевой тяжести с наслаждением возвращались к обыденной лёгкости, как будто, проснувшись, потягивались, расправляли члены и торопились наверстать упущенное. Говорили о последнем параде, о чинах и производстве, о танцовщице Истоминой и закулисных шалостях гвардейцев, о Семёновой, которая провалилась намеренно в лобановской «Федре»; спорили о цыганках Фешке и Малярке, кто лучше поёт, – почти с таким же увлечением, как только что о республике и монархии.

*Чимбияк-чимбияк-чимбияшечки!
С голубыми вы глазами, мои душечки! –*

пел Бестужев, подражая Фешке. Затянули хором:

*Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами...*

Кюхля пошёл плясать казачка и растянулся при общем хохоте. Якубович произнёс речь:

– Господа, я не хочу принадлежать ни к каким тайным обществам, чтобы не плясать по чужой дудке. По моему мнению, один человек решительный полезнее всех обществ. Я жестоко оскорблён государем. Разве вы не знаете, зачем я проживаю в Петербурге? Разве не написана на лбу моём кровавая причина?

Сорвал повязку с головы и, вынув из бокового кармана полуистлевший листок, штабный приказ по гвардии, с чином капитана вместо полковника, помахал над головой:

– Вот пилюля, которую восемь лет ношу у ретивого; восемь лет жажду мщения. Ему не ускользнуть от меня... Тогда пользуйтесь случаем, делайте что хотите, созывайте ваш Великий Собор и дурачьтесь досыта!

Выслушали молча и заговорили тотчас о другом: где бы провести остаток ночи, в Красный ли кабачок закатиться на тройках или по соседству в Фонарный, к «дамочкам». Но говорили уже вяло, со скукою; сразу устали, опьянели и отяжелели. Веселье потухало, как бледно-голубое пламя пунша в бледно-зелёной тусклости утра.

Затянули ещё раз на прощанье, но тоже со скукою:

*Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей...*

И опять:

*Чимбияк-чимбияк-чимбияшечки!
С голубыми вы глазами, мои душечки!*

Один в кабинете, забившись в угол дивана и закрыв лицо руками, сидел Одоевский. Голицын подошёл к нему. Тот услышал и отнял руки от лица.

– А знаете, князь, – проговорил он, и Голицыну казалось, что слёзы у него на глазах, – ведь Пестель-то прав: стыдно, Боже мой, как стыдно и гадко всё! Ничего не будет. Болтуны несчастные: наделала синица славы, а моря не зажгла...

Голицын молча простился и вышел на улицу.

Светло, тихо, пусто. Внизу – опрокинутое в Мойке белое небо, иверху – оно же, белое, слепое, как остекленевший глаз покойника; серая каланча над серою съезжею; у полосатой будки сонный будочник; грохочущие телеги со смрадными бочками; ругань двух пьяных гуляк у трактира с красным фонариком и гул барабана вдали, – должно быть, на гауптвахте бьют

зорию.

На углу Вознесенской нагнал его Рылеев. Долго шли молча.

– Ну что, как? – начал было Голицын, но тот замахал на него руками:

– Да уж не говорите. Скверно...

И опять молча пошли по светлой, тихой и пустой, точно вымершей, улице с белым небом вверху.

Вдруг оба вздрогнули. Могучий звук прокатился одиноко в мёртвой тишине, задрожал, как задетая у самого уха струна, и медленно замер. Первый, второй, третий – и весь воздух наполнился медленно-мерными медными гулами. У Вознесения благовестили к заутрене.

Остановились, прислушались.

– Да, ничего не будет, ничего не сделаем, – заговорил Рылеев, как будто повторяя то, что говорил блавест, – а всё-таки надо начать! Раздастся глас свободы и разбудит спящих...

Говорил, как всегда, высокопарно, торжественно; но не в словах, а в лице и голосе его что-то было такое же простое, правдивое, как давеча у Пестеля.

Голицын положил ему руки на плечи и заглянул в лицо, бледное в бледной тусклости утра, точно мёртвое.

– Да, начать надо, – произнёс и он, как бы отвечая на то, о чём спрашивал колокол. – Хотя вы и не верите в Бога, а помощи вам Бог!

Обнялись и поцеловались молча.

Когда Рылеев ушёл, Голицын долго ещё слушал блавест, потом снял шляпу и перекрестился с молитвою, с которой благословила его Софья: «Сохрани, помоги, помилуй нас всех, Господи! Спаси, Мать Пречистая!»

На следующий день у Полицейского моста на Невском встретил он Пестеля; лица не видел – шёл сзади, – но узнал тотчас же. У Пестеля под мышкой был свёрток, должно быть, персидская шаль, подарок сестре. Нагнав его, Голицын пошёл рядом; но Пестель не замечал его и продолжал идти, не глядя по сторонам. Лицо безжизненное, взор невидящий, шаг размеренный: кажется, будь на дороге яма – не остановился бы, как пущенный в ход автомат.

Солнце пекло уже по-летнему; тощие липки бульвара, едва распускавшиеся, кидали слабую тень. Пестель присел на скамейку, снял фуражку и вытер платком пот со лба; всё ещё не узнавал или не видел Голицына, присевшего рядом.

– Здравствуйте, Павел Иванович!

– Ах, Валерьян... – видимо, с трудом вспомнил он имя. – Валерьян Михайлович, извините, я очень рассеян, никого не узнаю...

Голицын заговорил о вчерашнем, но Пестель едва слушал и отвечал неохотно, как будто думал о другом, не рад был встрече и о своей вчерашней благодарности забыл.

– А нехорошо у вас в Петербурге, – вдруг среди разговора оглянулся он и поморщился. – Жара, пыль, вонь... Я, впрочем, весны не люблю. То ли дело осень, особенно в деревне, самая глухая осень в самой глухой деревне. Читали вы «Утехи меланхолии»?

– Нет, что это?

– Книжечка такая, старинная. Мне нравится. Давеча по Невскому шёл, всё вспоминал. Погодите, как это? «Счастливый уголок безмятежности, уединённое сельцо, мирное лоно твоё в шуме осенних бурь нежит скорбный дух мой; любезная пустынька питает меланхолию...» Не правда ли, чувствительно? Глупо, но чувствительно. Точно перевод с немецкого. Потому, должно быть, мне и нравится... А к памятнику Петра пройти как? – спросил он, вставая.

– Тут недалеко. Я проведу вас, если позволите.

Пошли вместе. По дороге Пестель опять вычитывал ему из «Утех меланхолии»:

– «Среди октябрьских непогод в дико-густейшей мгле, при порывистых вихрях, приветствуемый мерцанием дружественной Цинфии...» Что такое Цинфия? Из мифологии, что ли? А дальше не помню...

– Как вы и это-то запомнили? – рассмеялся Голицын.

– С матушкой читал, давно ещё, мальчиком, а потом с сестрой. Бывало, в осенние сумерки всё ходим по берёзовой аллее над озером – у нас большое озеро в парке, оттуда вид прекрасный, – жёлтые листья под ногами шуршат, и читаем Ламартина, Шатобриана или вот эту самую меланхолию.

– Вы и стихи любите?

– Нет, стихов не люблю... впрочем, не знаю, мало читал, только вот с сестрою. Одному некогда и скучно.

– А Пушкина?

– И Пушкина мало знаю.

– Вы, кажется, встречались?

– Да, в Кишинёве раз, давно. Всю ночь проговорили о политике и о бессмертии души.

– Ну и что же?

– Ничего. Как всегда, каждый при своём остался. Он доказывал, что Бога и бессмертия нет, а я ему – что этого доказать нельзя; тут всё надвое: по сердцу – Бога нет, а по разуму – есть. *Mon coeur est materialiste, mais ma raison sy refuse...*

– Наоборот, казалось бы? – удивился Голицын.

– Нет, у меня так, – немного нахмурился Пестель, и в глазах его появилось выражение, которое и раньше заметил Голицын, как будто перед носом любопытного гостя захлопнулась дверь во внутренние комнаты хозяина; и тотчас заговорил о другом, рассказал, как Пушкин хотел к ним в общество, да его нельзя – ненадёжен.

По новому Адмиралтейскому бульвару вышли на Сенатскую площадь, к памятнику Петра.

Пестель обошёл его, разглядывая с простодушным любопытством, потом остановился, приложил лицо к решётке и, глядя в лицо изваяния, как в лицо живого человека, долго молчал, словно забыл о собеседнике; наконец сказал по-французски шёпотом:

– А ведь тут пропасть: если конь опустит копыто, Всадник полетит к чёрту...

– Да, костей не соберёт...

– И мы с ним?

– Разве мы – с ним?

– А где же?

– Вот змея под копытами лошади – крамола, революция...

– Вы думаете? А Пушкин говорит, что с него-то, – кивнул Пестель на памятник, – с него и началась революция в России.

– И самодержавие с него же, – заметил Голицын.

– Да, крайности сходятся... Ну так как же: мы-то с ним или против него? – опять помолчав, спросил Пестель.

– Не знаю, – усмехнулся Голицын, – не знаю, как мы, Павел Иванович, а вы, наверное, с ним.

– Почему я?... – проговорил Пестель, но уж опять рассеянно, как будто о другом думая, – дверь во внутренние комнаты захлопнулась, – и, не дожидаясь ответа, внезапно простился, кликнул извозчика и уехал.

Голицын, оставшись один, долго ещё вглядывался с тем же вопросом в лицо Медного Всадника: против него или с ним?

Ответа не было, и наконец решил: «А всё-таки надо начать – с ним или против».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Фотий в гробу полёживал с приятностью.

В доме графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской¹⁹⁸ на Дворцовой набережной, где гостил по целым месяцам, он устроил себе подземную келью. В тёмный подвал, освещаемый только огнями неугасимых лампад, вела узкая лестница; пол мраморный, чёрными

¹⁹⁸ Орлова-Чесменская (1785–1848) – дочь убийцы Петра III А. Г. Орлова-Чесменского, камер-фрейлина. Покровительница архимандрита Фотия, прославилась монашеским образом жизни.

и белыми шашками; иконостас, блистающий золотом и драгоценными камнями. Он любил их: в детской простоте, не зная цены деньгам, принимал в подарок от Анны блюдо рубинов или яхонтов, как блюдо земляники. Посередине кельи – гроб. Фотий спал в нём ночью, а иногда и днём отдыхал.

Анна сперва ужасалась, а потом привыкла, и гроб стал ей казаться диваном, тем более что надоевшую чёрную обивку заменил он светлою, серебряным глазетом снаружи и белым атласом внутри, «дабы гроб светел был и приятен». Когда в одеянии подобнохимническом, нарочно сшитом по его заказу, как святые на иконах пишутся, лежал он в этом весёлом гробу, Анна любовалась на него с умилением:

– Ах, отец, отец, как он мил!

Весь день провёл Фотий в хлопотах и разъездах по делу Голицына; устал, измучился; вернувшись домой, завалился в гроб отдыхать. Выпить бы горячего укропника, – укропник пил вместо чая, зелья бесовского. Но никто, кроме Анны, не умел варить, а её дома не было, уехала с визитами.

Фотий сердился, ругался. Держал её в строгости, помыкал, как последнюю дворовую девкою. А всё-таки с приятностью полёживал в гробу своём, благодушествовал, вспоминая последнее свидание митрополита с Аракчеевым.

Аракчеев исполнил обещание, данное государю: поехал к митрополиту и сделал попытку помирить его с князем Голицыным, но ничего не вышло. Сняв с головы белый клубук, митрополит бросил его на стол:

– Граф, донеси царю, что видишь и слышишь. Вот ему клубок мой. Я более митрополитом быть не хочу, с князем Голицыным не могу служить, как явным врагом церкви, престола и отечества!

«Аракчеев смотрел на сие, как на вещь редкую», – вспоминал впоследствии Фотий. Воистину редкая вещь в России после Петра I, – белый клубук, венец православия, спорящий с венцом самодержавия.

Митрополита Серафима Фотий называл «мокрою курицею». Однажды, готовясь произнести проповедь, в присутствии императора Павла, преосвященный так оробел, что не мог произнести ни слова и должен был удалиться в алтарь. А наемни, собираясь в Зимний дворец, по делу Голицына, трижды входил и трижды выходил из кареты; наконец Фотий захлопнул дверцы и крикнул кучеру: «Ступай!» А Магницкий поехал сзади на дрожках, и когда замечал, что кучер, по приказанию владыки, заворачивает в сторону, приказывал от себя ехать прямо во дворец. Вернулся владыка домой, весь мокрый от пота, «как бы из водопада был облит, – по слову Фотия, – такой у него был пот от страха царёва».

Мокрой курице не бывать орлом, митрополиту Серафиму – Никоном. «От Фотия потрясётся весь град святого Петра» – было пророчество. Не оно ли исполняется? Не потрясётся ли Россия, вселенная от *патриарха* Фотия?

Прислушался к стуку подъезжавшей кареты. Не раздеваясь, в салопе, шляпке и вуали, запыхавшаяся, испуганная, вбежала в подземную келью графиня Анна.

Лицо плоское, круглое, красное, веснушчатое, как у деревенской девушки. Росту большого, – гренадер в юбке. Лет под сорок, а умом ребёнок. «Мозги птичьи», – говаривал Фотий. Но в глазах чистых, как вода ключевая, сквозь глупость ума ум сердца светился. Готовилась к тайному постригу; носила власяницу под шёлковым фрейлинским платьем; всю жизнь замаливала грех отца, графа Алексея Орлова, злодеяние ропшинское – убийство Петра III.

Ходили слухи о блудном сожителстве Фотия с Анной, но это была клевета.

«Я, в мире пребывая, ни единожды не коснулся плоти женской, не познал сласти, – говорил Фотий, – чадо моё о Господе есть девица непорочная во всецелости. Сам Господь мне её в невесты нескверный дал».

– Не моя вина, батюшка, – залепетала Анна бестолково и растерянно, вбегая в келью, – княгиня Софья Сергеевна без чая отпустить не хотела, о патере Госнере сказывала. Ах, отец, отец, если бы вы знали, какие новости!..

Княгиня Софья Мещерская, одна из духовных дочерей Фотия, – большая сплетница, а патер Госнер – заезжий «проповедник Антихриста, сатана-человек, – по мнению Фотия, –

публично изрыгавший хулу на Богородицу». При помощи Магницкого и обер-полицеймейстера Гладкова заговорщики выкрали из-под станка листы печатавшейся книги Госнера, и Фотий сочинял по ним донос, желая приплести это дело к делу Голицына. В другое время о новостях расспросил бы с жадностью, но теперь пропустил мимо ушей: очень сердился.

Долго лежал, не открывая глаз, не двигаясь, точно покойник в гробу; наконец посмотрел на Анну в упор и спросил:

– Где пропадала, подол трепала, чёртова девка? На гульбище небось?

– Да, – потупилась Анна, краснея; лгать не умела. – Один только разок прошлась...

Весеннее гулянье в Летнем саду, куда изредка езжала Анна тайком от Фотия, называл он сатанинским гульбищем.

– Женишка не подцепила ли? Много их нынче там, по весне-то, кобелей бесстыжих, военных да штатских, за вашей сестрой, сукою, задравши хвосты, бегают.

– Ну что вы, батюшка! У меня и в мыслях нет, сами знаете...

– Знаю, что знаю. А ты бы хоть то рассудила, что уже не молода и красоты не имеешь плотской; то богатства токмо рада женихи-то подманивают, а денежки вытрясут – и поминай, как звали.

Поднял ногу из гроба, и с привычною ловкостью Анна стащила с неё смазной, подбитый гвоздями, мужичий сапог.

– Ох, мозоли, мозолюшки! Ноют что-то, верно, к дождику, – кряхтел он, подымая другую ногу.

На светлых перчатках у Анны – второпях не успела их снять – от смазных голенищ остались пятна дёгтя.

– Думаешь, не знаю, девонька, что у тебя на уме? – усмехнулся вдруг Фотий язвительно. – Знаю, голубушка, всё вижу насквозь: вот, мол, какая особа, миллионщица, Орлова-Чесменского дочь, графиня светлейшая, ручки изволят марать о сапоги мужичьи поганые! А только мне на графство твоё наплевать и на миллионы тоже. Тридцать миллионов – тридцать сребреников – цена крови. Знаешь, чья кровь? Грех отца знаешь? Ну чего молчишь? Говори, знаешь?

– Знаю, – прошептала Анна, бледнея и опуская голову.

– А коли знаешь – кайся, отца духовного слушай. Аль отца по плоти взлюбила больше, чем отца духовного? Послушание паче поста и молитвы. Вот скажу тебе: «Анна, скажу, обругай отца!» Ты и обругать должна...

Она отвернулась и молча горько заплакала. Готова была терпеть всё; но чтобы он над памятью отца её ругался – не могла вынести.

– Ну чего нюни распустила, дура? Любя говорю.

– Простите, батюшка! – сказала она, припадая к руке его и уже забыв обиду.

– Бог простит. Ступай завари-ка укропничку.

Послышался стук в дверь.

– Кто там?

– Его сиятельство, князь Александр Николаевич Голицын, – доложил келейник.

Анна заторопилась, хотела бежать навстречу гостю.

– Стой! Куда? – удержал её Фотий. – Ничего, подождёт, не велика птица. Давай сапоги.

Надел их опять с помощью Анны, встал из гроба, подошёл к аналою, зажёл свечу, положил Евангелие, поставил чашу с Дарами, взял в руки крест, делая всё нарочно медленно; наконец велел позвать Голицына. Анна побежала за ним.

«Входит князь и образом, яко зверь-рысь, является», – рассказывал впоследствии Фотий.

– Благословите, отче!

– В бохохульной и нечестивой книжице, «Таинство Креста» именуемой, под твоим надзором, княже, опубликовано: «духовенство есть зверь». А понеже и аз, грешный, из числа онаго есмь, то благословить тебя не хочу, да тебе и не надобно.

– Ну что ж, – сразу вспыхнул Голицын, – пожалуй, и лучше так: война так война! Довольно хитростей, довольно лжи...

– Какая ложь? Какая война? О чём говоришь, князь, не разумею.

– Не разумеете? Ну так я вам скажу, извольте! я знаю всё, отец Фотий: знаю, как с негодяем Аракчеевым вступили вы в союз; как государю на меня клевете; одной рукой

обнимаете, а другой точите нож; предаёте лобзанием иудиным; говорите: «Христос посреди нас», – а посреди нас диавол, отец лжи. Листы печатные из-под станка выкрали, – да ведь это мошенничество! Как вам не стыдно, отец? Погодите, уже обо всём доложу государю. Посмотрим, кто кого!

Фотий молчал. Оба хитрые, хищные, стояли они друг против друга, два маленьких зверька, готовые сцепиться в смертном бое, – рысь и хорёк.

– Убойся Бога, князь, – заговорил, наконец, Фотий. – За что на меня злобствуешь? От личности твоей я чист, зла на тебя не имею, Господь с тобою...

– Не лгите, хоть теперь-то не лгите! Во второй раз не обманете. Дурак я вам дался, что ли? Говорите лучше прямо: что вам от меня нужно?

– Покайся, останови книги богопротивные, в коих сеется разврат и революция, – начал было Фотий.

– Да сколько же раз мне вам повторять: не могу я ничего остановить! Не меня обвиняйте, а государя.

– Ну так поди к царю, стань перед ним на колени и скажи, что сам делал худо и его...

– Как вы смеете, – вдруг закричал Голицын и затопал ногами, – как вы смеете говорить так о государе императоре? В революции других обвиняете, а сами же – революционист отъявленный...

– Аз есмь раб Господа моего, Иисуса Христа, послан тебя обличить, да покаешься! – закричал и Фотий. – Горе тебе, княже! горе, нечестивче! горе, богохульниче! Предстану с тобою на Страшном суде, обличу, сокрушу, осужу в геенну огненную!

Оба кричали, Анна слушала из-за дверей в ужасе: «Ох, подерутся!»

– Ну с вами, отец, не сговоришь, – попятился Голицын к лестнице, думая уже только о том, как бы уйти от греха. – Нога моя здесь больше не будет, так и доложу государю. Честь имею кланяться...

– Стой, погоди! Так не уйдёшь, не отвертишься! Сё, аз простираю руку мою...

– Пустите же, пустите! – кричал Голицын в испуге, стараясь вырвать руку, но Фотий не пускал: одной рукой держал князя, другою поднял крест, и так страшно было лицо его, что вдруг показалось Голицыну, что он сейчас ударит его крестом, как ножом, – убьёт.

– Сё, аз руку мою простираю к небу, и суд Божий изрекаю на тя и на всех! Много ли вас? Тьмы ли тем бесчисленные? Выходите все! Да поразит вас всех Господь! Отлучаю! Извергаю! Проклинаю! Анафема!

Голицын побледнел. «Сумасшедший!» – промелькнуло в голове его, точно так же, как намерении у государя. Последним отчаянным усилием вырвал он руку и пустился бежать; вверх по лестнице и через все покои дома бежал так быстро, что на груди его орденская звезда прыгала и фразные фалды развевались.

Фотий гнался за ним: лицо искажённое, глаза горящие, волосы дыбом – хорёк бешеный.

Келейник разинул рот и присел от ужаса. Синодский чиновник Степанов, похожий на старого сома (это он корректурные листы Госнеровой книги выкрал), остолбенел и глаза выпучил. А когда бежали они через большую парадную залу с портретами царских особ, то казалось, что и они все – от Петра I, который начал, до Павла I, который завершил плен церкви властью мирской, – смотрели с удивлением на невиданное зрелище: как обер-прокурор Синода, око царёво, от церкви отлучается.

– Анафема! – гремел Фотий вслед убежавшему. – Будь ты проклят! Бога не узришь, снидётся во ад! И все с тобою, все прокляты! Анафема! Анафема! Анафема всем!

Анна бежала за Фотием и ловила его за полы.

– Отец! Отец!

Уже Голицын добежал до сеней. Фотий не отставал: казалось, готов был выскочить на улицу. Но Анна успела его догнать, охватила руками, повисла у него на шее.

В последний раз закричал, завизжал он осипшим голосом: «Анафема!» – и повалился на руки подскочивших слуг, которые перенесли его в залу и усадили в кресло, бьющегося в припадке, рыдающего и хохочущего.

Совершилось пророчество; от Фотия потрясся весь град св. Петра: анафема Голицыну, обер-прокурору Синода, тридцатилетнему другу царёву, – анафема самому царю.

Все ожидали: что-то будет? Ходили слухи, что царь гневен. Анне казалось, что вот-вот схватят Фотия и сошлют в Сибирь. Заболела от страха.

– Небошь, Аннушка! Что мне обер-прокурор? Блоха, её же убивает пёс трясением ушей. С нами Бог! Господь сил с нами! Кто против нас? – храбрился Фотий, но тоже робел.

Мая пятнадцатого, в день Вознесения, сидел он у постели больной Анны и утешал её, советовал, не прибегая к помощи медиков, немцев поганных, натереть с молитвою всё тело оподельдоком.¹⁹⁹

– Помни, в зелёных банках худой, а самый лучший – в белых. Натрёшься – всё как рукой снимет.

Говорил также, чтобы развлечь её, о колоколе большом, в 2000 пуд весом, во имя Купины Неопалимой, который собирался отлить для Юрьевской обители из дешёвой краденой меди.

– Сколь приятен будет звон и утешителен!

Но Анна не слушала, думала всё об одном: как придут, схватят и увезут батюшку.

Постучался келейник у двери и подал письмо.

– От кого? – спросила Анна.

– От митрополита, – ответил Фотий, распечатывая дрожащими пальцами.

У Анны сердце захолонуло: уж не о ссылке ли указ? Вдруг Фотий вскочил, захлопал в ладоши и запел по-церковному:

– Аллилуйя! аллилуйя! аллилуйя! Слава Тебе, Христе Боже слава Тебе! Ад сокрушён, сатана побеждён! Пало мирское язычество над церковью! Министр наш един – Иисус Христос! Слава Фотию! Слава Господу! Слава Аракчееву!

Анна смотрела и не верила глазам своим: батюшка поднял рясу и притопывал, как будто собираясь плясать.

– Восстань, дочь, – воскликнул он, схватив её за руку, – ничего, небошь поясница пройдёт и оподельдока не надобно, – вот оподельдок наш божественный! – махал письмом. – Восстань с одра, пойд, пляши, девонька!

– Что вы, что вы, отец! Я же не одета...

– Бог простит, не стыдись, пляши во славу Господа!

– Да что, что такое, батюшка миленький, что с вами? – говорила, бледнея от ужаса, Анна: ей казалось, что он сошёл с ума.

– А вот что, – бросил ей Фотий письмо, – читай!

Митрополит извещал его о только что подписанном указе: обер-прокурор Св. Синода, князь Голицын, отставлен от должности; министерство духовных дел уничтожено; Синоду быть по-прежнему.

И опять всё затаило дыхание, притихло, пришипилось. От государя ни слуху ни духу, как будто забыл он о Фотии.

Наконец 13 июня, поздно вечером, пришло в Лавру высочайшее повеление явиться Фотию на следующий день в Зимний дворец.

Не знал он, что ожидает его – в архиереи ли посвятят или в Сибирь сошлют; на всякий случай исповедался и причастился.

Так же, как в первый раз, вошёл Фотий с камердинером Мельниковым потайною Зубовской лестницей, днём с огнём, так же, идучи по ней, крестился и крестил все углы, переходы, двери и стены дворца, помышляя, что «тьмы здесь живут сил вражьих». А войдя в кабинет государев, сначала медленно, истово перекрестился и потом уже взглянул на государя. Государь принял благословение и усадил Фотия за свой письменный стол. Но тут уже пошло всё по-иному. Взглянув на лицо государя, Фотий сразу понял, что дело плохо, и как начал дрожать мелкою дрожью, так уже не переставал до конца свидания. Рассказывал впоследствии, будто бы на теле его, во время этой беседы, выступил кровавый пот.

– Я пригласил вас, отец, для того, чтобы узнать, правда ли, что вы князя Александра Николаевича Голицына предали анафеме?

– Ваше величество, не я, а Сам Господь с небесе рече...

¹⁹⁹ Оподельдок – ломотная мазь, из мыльного и нашатырного спирта с камфорой.

– Извольте отвечать, о чём спрашивают! – прикрикнул на него государь, и в голосе его послышались те же визгливые звуки, как у императора Павла, когда он гневался. – Правда или неправда? Отвечайте!

– Правда.

– Какою же властью вы это сделали?

Фотий молчал, дрожал, смотрел в окно и крестился маленькими, частыми крестиками.

Лицо государя было гневно; сперва хотел он только пострашать его, но потом увлёкся, – как актёр, вошёл в свою роль и заговорил почти искренно.

– Какою властью вы это сделали? – повторил, возвышая голос. – Кто вас поставил судить между мной и церковью, между мной и Богом? И за что вы все напали на Голицына? Из-за чего бунтуете? Чего хотите? Свободы церкви от власти мирской? Да не вы ли сами поработились мирскому владычеству? Много мы, государи, всякой низости видим, но такой, как у вас, господа духовные, Богом свидетельствуюсь, я нигде не видывал. Когда главою церкви, вместо Христа, объявили самодержца Российского, человека сделали Богом, – кощунство из кощунств, мерзость из мерзостей! – где вы были тогда, где была свобода ваша? Всё предали, всему изменили, надругаться дали над святынею. Не все ли вы, от первого до последнего, пастыри церкви Российской, припадали к ногам моим, кричали: «Осанна!», как самому Христу Господню? Не я ли должен был повелевать указами, чтобы не было сего, чтобы с Богом меня не равняли, Благословенным, Бессмертным не называли? Вспомнить, выговорить стыдно и страшно, но у вас, отцы, давно уже ни страха, ни стыда в глазах... А туда же, бунтовать вздумали! О свободе церкви говорить смее... Ну что ж, не захотели Голицына, – будет вам Аракчеев. А вы, отец Фотий, – я думал, что вы лучше других, поверил вам, – и вот чем отплатили вы! Бог вам судия. Но понимаете ли, понимаете ли, что вы сделали?..

Встал и быстрыми шагами ходил по комнате. Как всегда в гневе, не всё лицо его, а только лоб краснел; и он закрывал его платком, как будто вытирал пот.

А Фотий по-прежнему глядел в окно на небо, молчал, дрожал и крестился.

– Понимаете ли? – повторил государь, остановившись перед ним, и, взглядевшись в лицо его, увидел, что он ничего не понимает и никогда не поймёт: всё – как горох об стену.

Государь опустил в кресло и вдруг почувствовал, что весь гнев его потух.

– Ну что же вы молчите? Говорите, отвечайте же.

– Что мне тебе сказать, государь? – робко взглянул на него Фотий. – Аще бы не токмо князь Голицын, но ангел, шед с небесе, глаголал учению церкви противное и о царе злое, я сказал бы: анафема!

– И мне сказал бы?

Фотий молчал.

– Ну ничего, говорите, говорите, я слушаю, – усмехнулся государь едва уловимой, брезгливой усмешкой.

– Что делать мне, дано было свыше, яко послал меня Бог возвестить правду царю моему, то я и сделал, – уже смелее взглянул на него Фотий. – Видя, что вся святыня испровергается, едина злоба возвещается, ужели я молчать должен, поверив, что всё сие зло ты, царь, сотворил, чему верит Голицын, да и меня хотел научить веровать? Святой Николай Чудотворец на вселенском соборе заушил нечестивого Ария...

Подав государю выданный из жития листок – рассказ о том, как отцы Никейского собора за пощёчину Арию присудили св. Николая архиерейского сана лишиться.

– Вот видите, что со святым Николаем сделали, – произнёс государь, не дочитав листка.

– Неправильно сделали.

– Как неправильно?

– Чти до конца: отцы осудили угодника Божьего, Господь же, явившись Сам, подал ему святое Евангелие, а Матерь Божия – омофор,²⁰⁰ во знамение, что свыше сила небесная защитит его имеет всегда...

Долго ещё говорил Фотий, постепенно возвышая голос, и наконец, так же, как в первое

²⁰⁰ Омофор – верхнее облачение архиерея.

свидание, закричал, завопил, занеистовствовал, начал вытаскивать бесчисленные листки из-за рукавов, из-за голенищ, из-за пазухи – весь был обложен ими, как воин доспехами.

Государь слушал молча, со скукою.

Доставая один из листков, Фотий распахнул рясу; хотел закрыть, но государь не дал ему, наклонился, раздвинул складки и увидел под железными веригами, на голой груди его, страшную, железом натёртую, до костей зияющую рану.

– Что дивишься, царь? – воскликнул Фотий. – Гляди, когда хочешь, и знай, что, себя не жалеючи, никого не пожалею ради Господа!

Государь отвернулся; лицо его болезненно сморщилось. Жалко было Фотия, но и себя жалко; жалко и стыдно. Вспомнил, как в первое свиданье поклонился ему в ноги, готов был видеть в нём своего избавителя, посланника Божьего. Не то одержимый, не то помешанный, – вот за кого ухватился, как утопающий. Быть смешным боялся больше всего на свете, а с Фотием был смешон; этого никому никогда не прощал, – не простил и ему.

А тот продолжал неистовствовать.

Государь встал, налил стакан воды и подал ему.

– Успокойтесь, отец, выпейте. Я зла против вас не имею: что сказал, то сказал, и больше ничего не будет. Я всегда рад вас видеть, а теперь прошу меня извинить, – дела неотложные.

И позвонил Мельникова.

То было последнее свидание государя с Фотием.

Торжество его, впрочем, как будто продолжалось. Патер Госнер по высочайшему повелению выслан был за границу, и книга его сожжена в печах кирпичного завода Александро-Невской лавры; жгли три часа, в двадцати печах, и при этом присутствовал Фотий, возглашая анафему. Аракчеев исходатайствовал ему панагию²⁰¹ «за торжество православия».

«Порадуйся, старче преподобный, – писал Фотий симоновскому архимандриту Герасиму, – нечестие пресеклось, армия богохульная диавола паде, ересей и расколов язык онемел; общества все богопротивныя, якоже ад, сокрушились. Министр наш один – Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. – Молись об Аракчееве: он явился, раб Божий, за св. церковь и веру, яко Георгий Победоносец».

Но этим торжество и кончилось. Внезапно, точно сговорившись, все отшатнулись от Фотия. Долго не понимал он – за что; когда же понял, что милостям царским – конец, то пал духом, заболел, едва не умер и, только что оправился, уехал из Петербурга, «бежал из града, яко из ада», в свой новгородский Юрьевский монастырь добровольным изгнанником, вместе с Анною.

Министром же духовных дел оказался не Иисус Христос, а граф Аракчеев. Все доклады по делам Св. Синода представлялись государю через него. Сразу ввёл он порядок военный в духовном ведомстве: святые отцы при нём пикнуть не смели, стали тише воды ниже травы. И пожалели о Голицыне.

В Андреевском соборе села Грузина появился в те дни новый образ – Спаситель, держащий на деснице Евангелие; образ покрыт был литою серебряною ризою; ежели открыть стеклянную раму, то можно увидеть, что один из серебряных Листов Евангелия на едва заметном шарнире отгибается, и под этим листом – другой образок: Аракчеев – в парадном генеральском мундире, со всеми орденами, сидящий на облаках, как бы грядущий со славою судить живых и мёртвых.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Государь похож на того спартанского мальчика, который, спрятав под плащом лисицу, сидел в школе и, когда зверь грыз ему внутренности, терпел и молчал, пока не умер».

Так думал князь Александр Николаевич Голицын, когда в беседах с ним государь бывал откровенен и, казалось, вот-вот заговорит о главном, единственном, для чего, может быть, и начинал разговор, – о лисице, грызущей ему внутренности, – о тайном обществе; но вдруг

²⁰¹ Панагия (греч. «всесвятая») – нагрудный знак архиерея, ящичек или икона с изображением Божией Матери.

умолкал, и собеседник чувствовал, что если бы он заговорил о том первый, это ему никогда не простилось бы и тридцатилетней дружбе наступил бы конец.

– Ты на меня не сердишься, Голицын?

– За что же, ваше величество? Сами знать изволите, я уж давно собирался в отставку...

– Правда, не сердишься? Ни капельки, ни чуточки? – допытывался государь с той милой улыбкой, за которую некогда Сперанский назвал его «сущим прельстителем».

– Ну, право же, ни чуточки! – невольно улыбнулся и Голицын.

Если в тайне сердца был обижен, то не отставкой, не анафемой Фотия и даже не тем, что предали его, тридцатилетнего друга, негодяю Аракчееву, а тем, что лукавят с ним и не верят ему.

– Бог лучше нашего знает, что для нас нужно; предадимся же воле Его и будем надеяться, что всё к лучшему, – произнёс Голицын тем пустым голосом, которым подобные изречения всегда произносятся.

– Да, всё к лучшему, всё к лучшему, – согласился государь с такою безнадёжностью, что Голицын, уже забыв обиду, взглянул на него, как добрая няня на больного ребёнка, – Что ты на меня так смотришь? Что думаешь?

– Позвольте быть откровенным, ваше величество?

– Прошу тебя.

– Думаю, как многие, должно быть, глядя на ваше величество, думают: не стоит ли он на высоте могущества? Спаситель России, освободитель Европы, Агамемнон между царями:

*Александр, о ангел мира!
Щедрый дар благих небес,
Щит царей – твоя порфира,
Меч – орудие чудес, –*

как пели мы некогда, встречая Благословенного. Чего же ему ещё надобно? Что с ним? О чём он грустит?..

Беседа эта происходила в министерском доме, на Фонтанке, против Михайловского замка, в маленькой комнатке, рядом с домовою церковью Духа Святого. Единственное окно закладено было наглухо, так что ни один луч дневной не проникал сюда и ни один звук, кроме церковного пения; а когда службы не было, – тишина могильная. Над плащаницей, перед большим деревянным крестом, вместо лампы висело огромное сердце из тёмно-красного стекла, с огнём внутри, как бы истекающее кровью.

– Я и сам не знаю, что это, – продолжал государь после молчания. – Когда астрономии учила нас Бабушка, то давала смотреть на солнце сквозь стекло закопчённое. Так вот и теперь, как сквозь тёмное стекло, гляжу на всё tout a une teinte lugubre autour de moi,²⁰² – точно затмение. Знаешь молитву: не отверже мене от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от мене. Кажется, молитва моя не исполнилась: Он отверг меня...

– Не говорите так, ваше величество, не искушайте Господа!

Государь взглянул на Голицына: угодливая ласковость в мягких морщинах, как у доброй няни или старой сводни; не камень, на который можно опереться, а подушка, в которую можно плакать, кричать от боли, – никто не услышит.

– Я не ропщу, Голицын, сохрани меня Боже! Мне ли забыть о милостях Его неизречённых? «Ангелам своим заповесть о тебе», – помнишь, как мы загадали и нам открылся этот псалом, когда Наполеон переступал через Неман? Исполнилось пророчество: ангелы понесли меня на руках своих, и было мне так спокойно среди страхов и ужасов, как младенцу на руках матери. Господь шёл впереди нас; Он побеждал врагов, а не мы. И какие победы, от Москвы до Парижа! Какая слава, – не нам, не нам, а имени Твоему, Господи! Когда на площади Согласья служили мы молебен, очищая кровавое место, где казнён Людовик XVI, и вместе с нами преклонила колени вся Европа, – я дал обет довершить дело Божье: призвать все народы к

²⁰² Всё помрачнело кругом (фр.).

повиновению Евангелию; закон божественный поставить выше всех законов человеческих; сложить все скипетры и венцы к ногам единого Царя царей и Господа господствующих, – вот чего я хотел, вот для чего заключил Священный Союз...

Говорил, спеша и волнуясь; встал и ходил по комнате. Несмотря на красный свет лампы, видно было, как лицо его бледно. Потом опять сел и, упёршись локтями в колени, опустил голову на руки.

– В чём же вина моя? Ищу, вспоминаю, думаю: что я сделал? что я сделал? за что меня покинул Бог?..

Голицын хотел что-то сказать, но почувствовал, что говорить не надо, нельзя утешать; только тихонько, взяв руку его, поцеловал её и заплакал.

Оба – грешники, оба – мытари; но правда Божья была в том, что грешник над грешником, мытарь над мытарем сжалился.

– Спасибо, Голицын! Я знаю, ты любишь меня, – проговорил государь сквозь слёзы, целуя склонённую лысую голову. – Не я, не я один, ваше величество: вся Россия, пятьдесят миллионов верноподданных ваших...

– Ну, верноподданных лучше оставим, – поморщился государь с брезгливостью. – Чего стоит их любовь, я знаю. В Москве, во время коронации, толпа меня стеснила так, что лошади негде было ступить; люди кидались ей под ноги, целовали платье моё, сапоги, лошадь; крестились на меня, как на икону. «Берегитесь, – кричу, – чтоб лошадь кого не зашибла!» А они: «Государь батюшка, красное солнышко, мы и тебя, и лошадь твою на плечах понесём, – нам под тобою легко!» А в двенадцатом году, в Петербурге, в день коронации, когда пришла весть о пожаре Москвы, – с минуты на минуту ждали бунта. В Казанский собор к обедне надо было ехать; и вот, как сейчас помню: всходили мы с императрицами по ступеням собора между двумя стенами толпы, и такая тишина сделалась, что слышен был только звук наших шагов. Я не трус, Голицын, ты знаешь, но страшно было тогда. Какие взоры! какие лица! Никогда не забуду... А потом, при первой же удаче, опять: «Государь батюшка, красное солнышко!» Но я уже знал, чего любовь их стоит. Люди подлы, и народы иногда бывают так же подлы, как люди...

– Не будьте несправедливы, ваше величество: слава ваша – слава России. Не встала ли она, как один человек, в годину бедствия?

– И медведица на задние лапы встаёт, когда выгоняют её из берлоги, – сказал государь, пожимая плечами опять с тою же брезгливостью. – Ну да что об этом? Им подо мною легко, да мне-то над ними тяжело – тяжело презирать своё отечество. Веришь ли, друг, такие бывают минуты, что разбить бы голову об стену!

Что-то промелькнуло в глазах его, от чего опять показалось Голицыну, что вот-вот заговорит он о звере, грызущем его внутренности; но промелькнуло – пропало, и заговорил о другом.

– Помнишь, что я тебе сказал, когда подписывал акт о престолонаследии?

– Помню, ваше величество.

– Ну так понимаешь, к чему веду?

Манифест об отречении Константина Павловича от престола и о назначении Николая наследником подписан был осенью в Царском Селе. На запечатанном конверте государь сделал надпись: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до моего востребования, а в случае моей кончины открыть прежде всякого другого действия». Знали о том только три человека в России: писавший этот манифест Голицын, Аракчеев и Филарет, архиепископ московский. Тогда же произнёс государь несколько загадочных слов о своём собственном возможном отречении от престола. Голицын удивился, испугался и понял, что слова на конверте «до моего востребования» означают это именно возможное отречение самого императора Александра Павловича.

– Понимаешь, к чему веду? – повторил государь.

– Боюсь понять, ваше величество...

– Чего же бояться? Солдату за двадцать пять лет отставку дают. Пора и мне. О душе подумать надо...

Голицын смотрел на него с тем же испугом, как тогда, в Царском Селе: отречение от

престола казалось ему сумасшествием.

– Давно уже хотел я тебе сказать об этом, – продолжал государь, – ты так хорошо написал тогда; попробуй, может, и теперь удастся?

– Увольте, – пролепетал Голицын в смятении. – Могу ли я? Подымется ли у меня рука на это? И кто поверит? Кто согласится? Да если только, Боже сохрани, народ узнает о том, подумайте, ваше величество, какие могут быть последствия...

– А ведь и вправду, пожалуй, – усмехнулся государь так, что мороз пробежал по спине у Голицына: вспомнилась ему усмешка императора Павла, когда он сходил с ума. – Не поверят, не согласятся, не отпустят живого... Как же быть, а? Мёртвым притвориться, что ли? Или нищим странником уйти, как те, что по большим дорогам ходят, – сколько раз я им завидовал? Или бежать, как юноша тот в Гефсиманском саду, оставив покрывало воинам, бежал нагим? Так, что ли? А?..

Говорил тихо, как будто про себя, забыв о Голицыне; вдруг взглянул на него и провёл рукой по лицу.

– Ну что? Испугался, думаешь, с ума сошёл? Полно, небось пошутил, мёртвым не прикинусь, голым не убегу... А об отречении подумай. Да не сейчас, не сейчас, не бойся, может, ещё и не скоро. А всё же подумай... И спасибо, что выслушал. Некому было сказать, а вот сказал, – и легче. Спасибо, друг! Я тебя никогда не забуду.

Встал, обнял его и что-то шепнул ему на ухо. Голицын отпер потайной шкапик в подножье кресла, вынул золотой сосудец, наподобие дароносицы, и плат из алого шёлка, наподобие антиминса.²⁰³ Разложил его на плащанице и поставил на него дароносицу.

Поцеловались трижды с теми словами, которые произносят в алтаре священнослужители, приступая к совершению таинства:

– Христос посреди нас.

– И есть, и будет.

Опустились на колени, сотворили земные поклоны и стали читать молитвы церковные, а также иные, сокровенные. Читали и пели голосами неумелыми, но привычными:

*Ты путь мой, Господи, направишь,
Меня от гибели избавишь,
Спасёшь создание своё, –*

любимую молитву государя, стихи масонской песни, начертанные на образке, который носил он всегда на груди своей; пели странно-уныло и жалобно, точно старинный романс.

– Не отверже мене от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от мене! – воскликнул государь дрожащим голосом, и слёзы потекли по лицу его, в алом сиянье лампы, точно кровавые. – Не отыми, не отыми! – повторял, стуча лбом об пол с глухим рыданием, в котором что-то слышалось, от чего вдруг опять мороз пробежал по спине у Голицына.

Голицын встал и благословил чашу её словами, которые возглашал иерей во время литургии, при освящении Даров:

– Приимите, идите: сие есть Тело Моё, за вас ломимое...

И причастил государя; потом у него причастился.

Если бы в эту минуту увидел их Фотий, то понял бы, что недаром изрёк им анафему.

Священник из города Балты, уроженец села Корытного, о. Феодосий Левицкий,²⁰⁴ представил государю сочинение о близости царствия Божьего. Государь пожелал видеть о. Федоса. На фельдъегерской тележке привезли его из Балты в Петербург, прямо в Зимний дворец. Он-то и научил государя этому сокровенному таинству внутренней церкви вселенской,

²⁰³ Антиминс (греч. «всепрестолие») – четырёхугольный плат с изображением положения Христа в гроб. На антиминсе совершается освящение святых Даров.

²⁰⁴ Левицкий Феодосий (1791–1845) – священник Свято-Никольской церкви г. Балты Подольской губернии. Писатель-мистик, приближённый А. Н. Голицына, в 1822–1827 гг. жил в С. – Петербурге.

обладающему большею силою, нежели евхаристия, во внешних поместных церквях совершаемая. И государь предпочитал, особенно теперь, после анафемы Фотия, это сокровенное таинство – явному, церковному.

Причастившись, прочли молитву, которой научил их тоже о. Федос, о спасении всего рода человеческого, о исполнении царства Божьего на земле, как на небе, о соединении всех церквей во единой церкви вселенской.

– Спаси, Господи, мир погибающий! – заключалось каждое из этих прошений.

Поцеловавшись трижды поцелуем пасхальным: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!», – заперли в шкафчик дароносицу с антиминсом и вышли в кабинет.

Холодный свет дневной ослеплял после алого тёплого сумрака, как будто перешли они из того мира в этот. И лица изменились: вместо таинственных братьев церкви невидимой опять – царь и царедворец.

Заговорили о делах житейских.

– А кстати, Голицын, просил я наемни Марью Антоновну не принимать князя Валерьяна, племянника твоего. Не знаю, о чём они говорят с Софьей, но беседы эти волнуют её, а ей покой нужен. Скажи ему, извинись как-нибудь, чтоб не обиделся.

– Помилуйте, ваше величество! Смеет ли он?

– Нет, отчего же?.. Кажется, добрый малый и неглупый; а только с этим нынешним вольным душком, а?

– Ох, уж не говорите, государь! Наградил меня Бог племянничком. Сущий карбонар. Волосы дыбом встают, как этих господ послушаешь. Вы себе представить не можете, на что они способны. В Сибирь их мало!

– Ну полно, за что в Сибирь? Жалеть надо. Наши же дети, и с нас, отцов, за них взыщется...

Опять промелькнуло что-то в глазах его; опять показалось Голицыну, – вот-вот заговорит он о главном, единственном, для чего, может быть, и весь разговор этот начал.

Но промелькнуло – пропало, и Голицын понял, что никогда ничего не скажет он, хотя бы страшный зверь загрыз его до смерти, – будет терпеть и молчать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Князь Александр Николаевич Голицын передал племяннику своему, князю Валерьяну, волю государя о том, чтобы он перестал бывать у Нарышкиных. Но Марья Антоновна, узнав об этом, объявила, что не хочет лишать свою больную, может быть, умирающую дочь последней радости, и просила князя бывать у них по-прежнему, обещая взять на себя перед государем всю ответственность. С женихом Софьи, графом Шуваловым, поссорилась и говорила, что если бы даже Софья выздоровела, то государь как себе хочет, а она ни за что не выдаст дочь за этого «проходимца»: во вражде своей была столь же внезапна и неудержима, как в любви.

Так решила Марья Антоновна, так и сделалось, князь Валерьян продолжал посещать Софью, стараясь только не встречаться с государем. Избегая этих встреч, уезжал в Петербург, где проводил большую часть времени с новым другом своим, князем Александром Ивановичем Одоевским; из членов тайного общества сошёлся с ним ближе всех.

Двадцатилетний корнет, красавец – розы на щеках, лёгкие пепельные, точно седые, кудри, голубые глаза, всегда немного прищуренные с улыбкою, – «красная девица», говорили о нём в полку. Казалось бы, ему не заговорщиком быть, а в пятнашки играть и бабочек ловить с такими же детьми, как он.

– Я от природы беспечен, ветрен и ленив, – говорил сам о себе, – никогда никакого не имел неудовольствия в жизни; я слишком счастлив.

*Сорвём цветы украдкой
Под лезвием косы,
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы, –*

это о таких, как я, сказано.

Среди пламенных споров о судьбах России, о вольности, о «будущем усовершенствовании человечества» молчал, усмехался, потом вдруг вскакивал, хватал свой кивер с белым султаном. «Куда ты?» – «На Невский». И гремел по тротуару саблею с таким легкомысленным видом, как будто, кроме гуляний да парадов, ничего для него не существует. Или сладкими пирожками объедался в кондитерской, как убежавший с урока школьник.

Но под этой детскостью горел в нём тихий пламень чувства.

Мать любил так, что когда она умерла, едва выжил. «Матушка была для меня вторым Богом, – писал брату. – Я перенёс всё от слабости; я был слаб – слабее, нежели самый слабый младенец». Она снилась ему часто, как будто звала к себе, и он этот зов слышал: иногда вдруг, в самые весёлые минуты, загрустит, и уже иная песня вспоминается:

Как ландыш под серпом убийственным жнеца...

После матери больше всего на свете любил музыку.

– Все слова лгут, одна только музыка никогда не обманывает.

И речи о вольности для него были музыкой. Всякая ложь в них оскорбляла его, как фальшивая нота, оставляла смутный след на душе, как дыхание на зеркале.

– Вы стремитесь к высокому, я тоже: будем друзьями! – предложил он Голицыну чуть ли не на второй день знакомства.

Тот усмехнулся, но протянул ему руку. С тех пор, когда находили на Голицына сомненья в себе, в других, в общем деле, – стоило вспомнить ему о милом Саше, о тихом мальчике – и становилось легче, верилось опять.

Друзья вели беседы бесконечные; начинали их дома и продолжали на улице или за городом, где-нибудь на островах.

На Крестовском, по аллее, усыпанной жёлтым песком, с белыми, новою краскою пахнущими тумбами, прохаживались чинно молоденькие коллежские секретари с тросточками и старые статские советники с жёнами и дочками в соломенных шляпках и блондовых чепчиках. Слушали роговую, церковному органу подобную, музыку с великолепной дачи «Мон-Плезир» на Аптекарском острове и наслаждались «бальзамическим воздухом». Тут же на траве, под вечернее кваканье лягушек в болотных канавах и уныло-весёлые звуки: «Ах, мейн либер Аугустин, Аугустин», немецкие мастеровые выплясывали гротеска. ²⁰⁵ Пахло свежей травой, смолистыми ёлками из лесу и жареными сосисками, жжёным цикорием из «Новой Ресторации», где пикировали скрипки, визжали цыганки и гвардейские офицеры, подвыпив, буянили. На Крестовском острове царствовала вольность нравов, как в золотом веке Астреев: даже курить можно было везде, тогда как на петербургских улицах забирала полиция курильщиков на съезжую. Гостинодворские купчики катались по Малой Невке на яликах, заезжали на тони, варили уху, орали песни и спорили об игре актёра Яковлева в Дмитрие Донском. А старые купцы со своими купчихами, сидя на прибрежных кочках, поросших мхом и брусникою, попивали чай с блюдечек, за самоварами, такими же, как сами они, толстопузыми, медно-красными на заходящем солнце.

В сосновых рощах сдавались внаём избы чухонцев и строились редкие дачки, карточные домики, где любители сельской природы могли утешаться колокольчиками стада и берестовым рожком пастуха на туманных зорях: «совсем как в Швейцарии».

Здесь, в «Новой Ресторации», за шатким столиком с бутылкою пива или сантурина, два друга вели беседы о таких предметах, что если бы кто и подслушал, – не понял бы. Голицын рассказывал Одоевскому о своих парижских беседах с Чаадаевым и под уныло-весёлые звуки «Аугустин» шептал ему на ухо те слова молитвы Господней, которым суждено было, как верил Чаадаев, сделаться осанной грядущей свободной России: *Adveniat*

²⁰⁵ Гротеска, гротескертанц (нем., букв. «дедушкин танец») – шуточный семейный или свадебный танец с пением.

regnum tuum,²⁰⁶ – так не по-русски о русской вольности звучали эти слова для самого учителя. Больше всего занимала Одоевского мысль Чаадаева о том, что без Бога нет свободы, без церкви вселенской нет для России спасения.

– Да, это главное, главное! – повторял тихий мальчик, весь волнуясь и краснея от стыдливой радости. – Это главное всего! А ведь никто не поймёт...

– А ты понял? – вдруг спросил Голицын, взглянув на него с тою внезапною усмешкою, которой немного побаивался Одоевский; сходство с Грибоедовым, тоже другом его, именно в этой, всегда внезапной и как будто недоброй усмешке, давно заметил он в Голицыне, и оно не нравилось ему, но почему-то никогда не говорил он об этом сходстве, только смутно чувствовал в нём что-то жуткое. – А ты понял?

– Не знаю, может быть, и не понял, – покраснел Одоевский и застыдился ещё больше, – я насчёт философии плох, умом не понимаю многого, ну да ведь не всё же одним умом...

– Нет, Саша, тут и умом надо, тут один волосок отделяет истицу от лжи, вольность от рабства. Две пропасти: сорвёшься в одну – не удержишься, до дна докатишься. Надо выбрать одно из двух. Ты выбрал? Понял? А может быть, и понял, да не так?

– Не так, как кто?

– Как я, как мы с Чаадаевым.

– А может быть, и вы не так?

– Ну, значит, мы самих себя не поняли...

– А ты что думаешь? Иногда и себя самого не поймёшь.

В тот же день на Елагином острове с государем встретились.

Он ехал верхом один – только дежурный флигель-адъютант следовал издали – по лесной алее-просеке от нового Елагинского дворца ко взморью. Остановились. Камер-юнкер снял шляпу, офицер отдал честь. Государь поклонился им с той милостивой улыбкой, с которой он один умел кланяться, – для всех одинаковой и для каждого особенной, единственной.

– Что ты? – спросил Голицын Одоевского, который смотрел вслед государю, с лицом, сияющим от радости.

– Ничего... так... – как будто опомнился тот и опять покраснел, застыдился. – Сам не знаю, что со мною делается, когда вижу его... Как посмотрел-то на нас, улыбнулся!

– Так любишь его?

Одоевский молчал, всё больше краснея.

«Зачем же ты в тайном обществе?» – хотел было спросить Голицын, но тот сам, без вопроса, ответил:

– Если бы он только знал, чего мы хотим, то первый бы с нами был...

– Как же с нами? Против себя самого?

– Ну да. Не пожалел бы и себя для блага отечества, отдал бы всё за счастье, за вольность России. Ежели царь – отец, то как может он желать, чтоб народ, дети его, были рабами. Помнишь в Писании: сыны суть свободны...

– Да ведь это не о царе, а о Боге.

– Всё равно.

– Нет, не всё равно...

Замолчали и посмотрели друг на друга с тем удивлением, которое слишком поспешной дружбе свойственно, как будто впервые друг друга увидели.

– За что же мы его убить хотим? – вдруг усмехнулся Голицын опять давешней жуткой усмешкой.

– Убить? – воскликнул Одоевский. – Эх, душа моя, мало мы, что ли, вздору мелем, сами на себя врём? Да если кто и вправду пойдёт на убийство, то увидит лицо его, глаза, улыбку, – вот как давеча нам улыбнулся, – и рука не подыметься, сердце откажет! Изверга такого нет, чтоб не полюбил его и не был бы рад сам за него умереть. Сказать не умею, а только знаешь, как простой народ говорит: «государь батюшка, красное солнышко!» У кого *этого* нет, тот не русский. А ведь мы русские; у нас у всех это есть, да забыли, а вспомним когда-нибудь.

²⁰⁶ Да приидет царствие Твоё (лат.).

– Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик; один – царя, другой – вольность, – рассмеялся Голицын, – но нельзя же царя и вольность вместе любить...

– Отчего нельзя?

– Ну, вот видишь, недаром я спрашивал давеча, так ли ты понял.

– Не то, не то...

– Нет, Саша, то самое.

Опять посмотрели друг на друга с удивлением и, как часто бывает в дружбе, почувствовали, что любят, но не знают друг друга. Да уж полно, любят ли? Не поторопились ли дружбой?

Вернулись на Крестовский, наняли лодку и выехали на взморье.

Была белая ночь, светло как днём, но краски все полиняли, выцвели; осталось только два цвета – белый да чёрный, как на рисунке углём: белая вода, белое небо, пустое – одна лишь последняя, прозрачная, с востока на запад тянувшаяся гряда перламутровых тучек; и чёрная полоска земли, как будто раздавленная, расплюснутая между двумя белизнами – воды и воздуха; чёрная тоня, избушка на курьих ножках; чёрные тростники на отмелях, а дальше – всё плоско-плоско, бело-бело, не отличить воды от воздуха. Тишина мёртвая. Рыба всплеснёт вблизи; вдали на барке топор застучит; пироскаф Берда, идущий в Кронштадт, первый и единственный пароход в России,²⁰⁷ по воде, невидимый, зашлёпает колёсами, – и тишина ещё беспредельнее.

Бросили вёсла; лодка, как люлька, качаясь, баюкала.

Разговор зашёл о Грибоедове.

– Когда граф Завадовский дрался с Шереметевым²⁰⁸ из-за танцовщицы Истоминой,²⁰⁹ Грибоедов был секундантом, – рассказывал Одоевский. – Без него и дуэли бы не было; оба шли на мировую, да Грибоедов опять их стравил. «Для чего, – говорит, – и сам не знаю, чёрт меня дёрнул!» Шереметев упал, раненный насмерть, и заметался по снегу, а другой секундант, гусар Каверин,²¹⁰ пьяница, но добрый малый, подбежал к нему, присел на корточки, хлопнул себя руками по ляжкам и закричал: «Вот тебе, Вася, и репка!» Когда Грибоедов об этом рассказывал, то смеялся, знаешь как всегда он смеётся, точно сухие кости из мешка сыплутся, а на самом лица нет. Тоска, говорит, на него нашла ужасная, места себе не найдёт: всё перед ним раненый по снегу мечется, и кровь на снегу...

Одоевский умолк, как будто задумался. Потом вдруг спросил, глядя на Голицына в упор:

– А что, князь, подумал ты давеча, как о царе говорили, что подлецом могу я сделаться, предателем?

– Нет, Саша, не за тебя я боюсь, а за нас всех. Мечтатели мы, романтики...

– «Любители того, чем от самовара пахнет», – это он же, Грибоедов, сказал о романтиках, – рассмеялся Одоевский. – А ведь хорошо сказано?

– Да, хорошо. От угара-то этого когда-нибудь нас всех стошнит – вот чего я боюсь... Правда твоя, что много врем лишнего, болтаем зря. Ну вот, поболтаем, помечтаем, а как до дела дойдёт – в лужу и сядем. А может, и то правда, что всё ещё любим царя, верим, что от Бога царь. «Благочестивейшего, самодержавнейшего...» с этим и Крови Господней причащаемся, это и в крови у нас у всех. Куда уйдёшь? Сами того не знаем, забыли, а как вспомним, тут-то вот подлецами и окажемся, ослабеем, перетрусим, как малые дети, нюни распустим: «государь батюшка, красное солнышко!» – и в ножки бух. От всего отречёмся, во всём покаемся, всё

²⁰⁷ Имеется в виду «Елизавета», первый русский пароход (1815 г.).

²⁰⁸ Речь идёт о знаменитой «четверной дуэли» 1818 г., где граф А. П. Завадовский, чиновник коллегии иностранных дел, смертельно ранил В. В. Шереметева, а затем А. И. Якубович прострелил руку Грибоедову.

²⁰⁹ Истомина Евдокия Ильинична (1799–1848), в замужестве Якунина – знаменитая петербургская балерина.

²¹⁰ Каверин Пётр Павлович (1794–1855) – участник Отечественной войны, в то время был поручиком лейб-гвардии гусарского полка.

предадим. Унизим великую мысль. И никогда, никогда это нам не простится! Будем и мы по кровавому снегу метаться, прокричит и над нами чёрт отходную: «Вот тебе, Вася, и репка!»

– Ох, страшно, как страшно ты это сказал, Валерьян! Сохрани, Боже, Матерь Пречистая! – проговорил Одоевский и перекрестился набожно.

И опять замолчал, как будто задумался. Обоим хотелось ещё что-то сказать, но тишина заглушала слова; только под кормою струйки звенели, звенела в ушах тишина. Лодка качалась, как люлька, – баюкала. Одоевский лёг на дно и, закинув руки за голову, смотрел в небо.

– А знаешь какой мне намедни сон приснился удивительный, – вдруг улыбнулся детски-радостно, – сижу будто зимою, рано, когда ещё темно на дворе, в деревне у брата Володи, а он у окна, при лампе, книгу какую-то немецкую читает, философа Шеллинга,²¹¹ что ли. «Ну, говорю, будет глаза слепить, а скажи-ка лучше, в Бога Шеллинг твой верует?» – «Верует». – «И в Матерь Божью?» – «И в Неё, говорит, верует». – «А что же, говорю, такое, по-вашему, Пречистой Матери Покров?» Перелистал книгу, отыскал страницу, строку и пальцем указывает. «Читай», говорит. Я и прочёл: «Es herrscht eine allweise Gute über die Welt. Премудрая Благость над миром царствует». – «Это, говорит, по-немецки, а по-русски: *Пречистой Матери Покров*. Понял?» – «Понял». И светло-светло вдруг сделалось, будто от солнца, – от чашечек зелёных с ободками золотыми: детьми, бывало, молоко из них пили, в деревне, у матушки на антресолях с полукруглыми окнами прямо в рощу берёзовую, всегда я эти чашечки в счастливых снах вижу: золотые, зелёные, как солнце сквозь лист берёзовый. И светло-светло от них, как от солнца. И будто уже не Володя, а какая-то музыка или матушкин голос шепчет мне на ухо: «Верь, Саша, будет всё, чего вы хотите, – и правда, и счастье, и вольность, – только верь, что над вами, надо всеми – Пречистой Матери Покров». Тут я и проснулся...

Последние струйки под кормой отзвенели; последние тучки в небе растаяли – и пусто-пусто в нём, бело-бело, как будто и неба вовсе нет, ни земли, ни воды, ни воздуха, ничего нет – пустота, белизна беспредельная. Только там, где Петербург, светлеет игла Петропавловской крепости да чернеют какие-то точки, как щепочки, что на отмель водой нанесло, водой унесёт. Пустота, белизна остеклевшая, как незакрытый глаз покойника. И тихо-тихо, душно-душно, как под смертным саваном. Это ли Пречистой Матери Покров?

– Саша, а Саша! – позвал Голицын, только бы услышать чей-нибудь голос.

Но тот не ответил, – уснул. Может быть, опять снились ему золотые, зелёные чашечки, и мама, и музыка.

А Голицыну страшно стало; хотелось крикнуть, как давеча но голоса не было, и если б и крикнул, то, кажется, не он сам, а из него – ночной, пустой, белый чёрт: «Вот тебе, Вася, и репка!»

Вернувшись в город, нашёл у себя на квартире посланного с письмом от Марьи Антоновны: она писала ему, что Софье худо, и просила его приехать немедленно.

Он понял, что она умирает.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Что Софья умирает, государь знал, и что с этой смертью порвётся для него последняя связь с жизнью – тоже знал. Но, по обыкновению, скрывал своё горе от всех. Никому не жаловался, не оставлял занятий, не изменял привычек. Жил, как всегда в летние месяцы, то на Каменном острове, то в Царском и Красном, где готовились большие манёвры, на которых он должен был присутствовать. Но где бы ни был, два-три раза в день фельдъегеря привозили ему известия о больной, и сам он ездил к ней почти каждый день.

Большую часть сидел у её постели молча или читал, всё равно что, – она почти не слушала, лежала без движения, закинув голову, закрыв глаза, вся вытянувшись и вытянув худые руки, прозрачно-бледные, с голубыми жилками. Одеядо сбрасывала (всё казалось ей тяжёлым, как это бывает перед концом у чахоточных) и лежала под одной простынёй, так что

²¹¹ Шеллинг, Фридрих Вильгельм Иозеф (1775–1854) – немецкий философ.

от маленьких ножек до едва обозначенной детски-девичьей груди видно было всё тело, облитое белой тканью, как будто обнажённое, изваянное, тонкое, острое, стройное, стремительно-недвижное – стрела на тетиве, слишком натянутой.

Иногда открывала глаза и смотрела на него подолгу, всё так же молча; и тогда казалось ему, что он в чём-то виноват перед нею и что надо сказать, сделать что-то, чтобы искупить вину, пока не поздно; казалось также, что она уходит от него в недостижимую даль, погружается в глубину бездонную, – и вдруг исчезала боль, – уже не страшно, не жалко, только завидно: хотелось туда же, за нею.

В середине июня дни стояли жаркие, с грозowymi белыми тучами, с тёмно-яркою, влажною, точно мышьякового зелёною трав, с душною, пахнущею мхом, болотною сыростью, с тихим, сонным ворчанием грома и бессонным трепетаньем зарниц по ночам.

Однажды в послеполуденный час, когда он читал ей вслух Евангелие, она открыла глаза, и по лицу её он понял, что она хочет что-то сказать. Наклонился, подставил правое, лучше слышавшее ухо к самым губам её, и она прошептала чуть слышным шёпотом, подобным шелесту сухих ночных былинок:

– Сенокос, папа?

– Да, как бы только не пропало сено – всё дожди.

– Хорошо теперь в поле, – шептала она, – лечь в траву, с головой укрыться, уснуть. Хорошо, свежо. А здесь жарко, душно, нечем дышать... а по ночам Атька...

– Какая Атька?

– Обезьянка. Разве не помнишь?

– Ах да, как же, помню...

Говорили, думая о другом, только бы сказать что-нибудь, прервать молчание, слишком тяжёлое.

– А маменька тоже больна?

Маменькою называла она императрицу Елизавету Алексеевну, он к этому привык и сам при ней называл её так.

– Скажи ей, что снилось мне намерении, будто вместе живём где-то далеко, у моря, в Крыму, что ли... – сказала Софья.

Он часто говорил с ней о том, как, отрёкшись от престола, выйдя в отставку, купит Ореанду, своё любимое местечко на Южном берегу, построит маленький домик у самого моря, в лесу, и там будет жить с нею и с маменькой.

– В Крыму? – удивился он. – А ведь и маменьке тоже снилось намерении, будто вместе живём в Ореанде.

Но Софья не удивилась.

– Да, вместе скоро... – проговорила так тихо, что он не расслышал.

Продолжал читать Евангелие:

– «Кто бо от вас хотяи столп создати, не прежде ли сед расчтёт имение, аще имать, еже есть на совершение, да не когда положит основание и не возможе совершити, вси видящие начнут ругатися ему, глаголюще: сей человек начат здати и не може совершити».

Остановился, посмотрел на неё: лежала, закрыв глаза, как будто спала.

Задумался, вспомнил давешний разговор свой с Голицыным об отречении от престола. Не о таких ли, как он, это сказано? Не начал ли он строить башню, положил основание и не мог совершить? Не вся ли жизнь его – развалина недостроенного здания? Мечтал о великих делах – о Священном Союзе, о царствии Божьем на земле, как на небе, а единственное малое, что мог бы сделать, – дать счастье хоть одному человеку, вот ей, Софье, – не сделал. Зачем её родил? Дал ненужную муку, непонятную жизнь, непонятную смерть? Чем искупить? Что сказать, что сделать, пока ещё не поздно? Или уж поздно?

Софья открыла глаза, посмотрела на него молча, пристально, как смотрела все эти дни, и вдруг показалось ему, что она о том же думает, – всё видит, всё обличает, – судит его, как равная равного.

– Не надо, папенька, милый, – опять зашептала, когда наклонился он к ней, – не думай, не бойся. Всё хорошо будет, всё к лучшему, ты же сам всегда говоришь: всё к лучшему...

В недостижимо-далёкой, чуждой улыбке была ясность и мудрость, как будто насмешка над

ним: если бы над грешными людьми смеялись ангелы, у них была бы такая улыбка.

Что-то ещё шептали, шелестели сухие губы, сухие ночные былинки, – но он уже не слышал, хотя слушал с усилием, нагнув свою лысую голову, вытянув шею, так что жилы вздулись на ней и выпучились бледно-голубые близорукие глаза.

«Смешные глазки, совсем как у телёночка!» – вдруг вспомнилось ей, как смеялась она маленькой девочкой, ласкаясь, шалая и целуя эти бледно-голубые глаза с белокурыми ресницами; вспомнилась также подслушанная в разговоре старших давнишняя шутка Сперанского, который однажды в письме к приятелю, перехваченном тайной полицией, назвал государя «белым телёнком»: «наш Вобан – наш Воблан». Вобан – знаменитый французский инженер, строитель крепостей²¹² (государь в то время осматривал крепости); а Воблан по-французски: veau blanc, белый телёнок. Государь за эту шутку так разгневался, что в первую минуту хотел расстрелять Сперанского. Софья не поняла тогда, за что: «Ну да, белобрысенький, лысенький, розовенький весь, прехорошенький телёночек. Что же тут обидного?» Ей казалось иногда, что от него и пахнет молочным телёнком. Видела раз в церкви Покровской, на падуге свода, херувима золотого, шестикрылого, с ликом Тельца; он был похож на папеньку: такое же в обоих – кроткое, тихое, тяжкое, подъяремное.

Всё это промелькнуло теперь в улыбке её, полной нездешней ясностью, нездешней мудростью, когда шептала она детскую ласку предсмертным шёпотом:

– Телёночек беленький!

Слов не расслышал он, но понял, и сердце заныло от жалости; чтоб не заплакать, вышел из комнаты.

На площадке лестницы увидел Дмитрия Львовича Нарышкина. Часто стоял он так, в тёмном углу, у двери, не смея войти, прислушиваясь, и тихонько плакал. Обманутый муж, над которым все смеялись, любил чужое дитя, как своё.

Увидев государя, сделал лицо спокойное.

– Ну что? Как? – спросил шёпотом, но не выдержал, высунул язык и всхлипнул детски-беспомощно.

Государь обнял его, и оба заплакали.

Два дня не приезжал он к Софье: много было неотложных дел. 18 июня назначены манёвры. Накануне весь день провёл на даче Нарышкиных. Приехав, узнал, что больная причащалась; испугался, подумал, что конец. Но нет, всё по-прежнему; только очень слаба; почти не говорила, не открывала глаз, лежала в забытии. Когда наклонялся он к ней, спрашивала:

– Ты здесь? Не уехал? Не уезжай, не простившись. Если буду спать, разбуди...

Видно было, что ей страшно чего-то; и ему сделалось страшно. Каждый раз, уходя, думал: что, если приедет завтра и не застанет её в живых? Сегодня страшнее, чем когда-либо. Уж не остаться ли? Не отложить ли манёвров и всех прочих дел? Остаться совсем, подождать конца, – ведь уж недолго?

Но стыд, который столько раз в жизни делал его, любящего, страдающего, наружно бесчувственным, нашёл на него и теперь: неодолимый стыд, отвращение, нежелание выставить горе своё напоказ людям; чувство почти животное, которое заставляет больного зверя уходить в берлогу, чтобы никто не видел, как он умирает. И чем сильнее боль, тем стыд неодолимее.

Решил уехать и вернуться завтра, тотчас после манёвров; утешал себя тем, что такие же припадки слабости бывали у неё и раньше, но проходили: даст Бог, и этот пройдёт.

Только что решил, больная затревожилась, зашевелилась, проснулась, подозвала его взглядом, спросила:

– Который час?

– Девятый.

– Поздно. Поезжай скорее. Вставать рано, – устанешь. Нет, погоди. Что я хотела? Всё забываю... Да, вот что.

²¹² Вобан, Себастьян (1633–1707) – французский маршал, инженер-фортификатор, мастер осадного дела.

Он приподнял голову её и положил к себе на плечо, чтобы ей легче было говорить ему на ухо.

– Вы князя Валерьяна очень не любите? – заговорила по-французски, как всегда о важных делах.

– Нет, отчего же? За что мне его не любить?.. – начал он и не кончил; по тому, как спрашивала, почувствовал, что нельзя лгать.

– Я его мало знаю, – прибавил, помолчав, – но, кажется, не я его, а он меня не любит...

– Неправда! Если меня, то и вас любит, будет любить, – проговорила, глядя ему в глаза тем взглядом, который, казалось ему, видел в нём всё и всё обличал.

– А ты что о нём вспомнила?

– Хотела просить: позовите его, поговорите с ним.

– Сейчас?

– Нет, потом...

Он понял, что «потом» значит: «когда умру».

– Сделайте это для меня, обещайте, что сделаете.

– О чём же нам с ним говорить?

– Спросите, узнайте всё, что он думает, чего хочет... чего *они* хотят для блага России. Ведь и вы того же хотите?

– Кто они?

– Ты знаешь, – кончила по-русски, – не спрашивай, а если не хочешь, не надо, прости...

Да, он знал, кто *они*. Какая низость! Восстанавливать дочь против отца, ребёнка больного, умирающего делать орудием злодейских замыслов. Вот каковы они все! Ни стыда, ни совести. Травят его, как псы добычу, окружают, настигают даже здесь, в последней любви, в последнем убежище.

А она всё ещё смотрела ему в глаза тем же светлым, всевидящим взором; и вдруг почувствовал он, что наступила минута что-то сказать, сделать, чтоб искупить вину свою, – теперь, сейчас или уже никогда – поздно будет.

– Хорошо, – сказал он, бледнея, – поговорю с ним и всё, что могу, сделаю.

Радость блеснула в глазах её, живая, земная, здешняя, как будто из недосыгаемой дали, куда уходила, она вернулась к нему на одно мгновение.

– Обещаешь?

– Даю тебе слово.

– Спасибо! Ну, теперь всё, кажется, всё. Ступай...

В изнеможении опустилась на подушки, вздохнула чуть слышным вздохом:

– Перекрести.

– Господь с тобою, дружок, спи с Богом! – поцеловал он её в закрытые глаза и почувствовал, как под губами его ресницы её слабо шевелятся – два крыла засыпающей бабочки.

Подождал, посмотрел, – дышит ровно, спит, – пошёл к двери, остановился на пороге, оглянулся: почудилось, что она зовёт. Но не звала, а только смотрела ему вслед молча, широко раскрытыми глазами, полными ужаса; и ужасом дрогнуло сердце его. Не остаться ли?

Вернулся.

– Ещё раз... обними... вот так! – прильнула губами к губам его, как будто хотела в этом поцелуе отдать ему душу свою. – Ну ступай, ступай! – оторвалась, оттолкнула его. – Не надо, полно, не бойся... скоро вместе, скоро...

Не договорила, или не расслышал он, только часто потом вспоминал эти слова и угадывал их недосказанный смысл.

Выйдя из комнаты, велел Дмитрию Львовичу, если что случится ночью, послать за ним фельдъегеря. Сел в коляску, давно у крыльца ожидавшую, и уехал в Красное.

На следующее утро проснулся поздно. Посмотрел на часы: половина восьмого, а манёвры в девять. Позвонил камердинера, спросил, не было ли за ночь фельдъегеря. Не было. Успокоился. Напился чаю в постели. Торопливо умылся, оделся, вышел в уборную, где ожидали бывший начальник главного штаба, многолетний друг и спутник его во всех

путешествиях, князь Пётр Михайлович Волконский,²¹³ старший лейб-медик, баронет Яков Васильевич Виллие, родом шотландец, и лейб-хирург Дмитрий Клементьевич Тарасов, который приступил к обычной перевязке больной ноги государевой.

Вглядываясь украдкой в лица, государь тотчас догадался, что от него скрывают что-то.

– Quomodo vales?²¹⁴ – заговорил он с Тарасовым по-латыни, шутливо, как всегда это делал во время перевязки.

– Bene valeo, autocrator,²¹⁵ – ответил тот.

– А на дворе, кажется, ветрено? – продолжал государь с тою же притворною беспечностью, переводя взор с лица на лицо, всё тревожнее, всё торопливее.

– К дождику, ваше величество!

– Дай Бог. Посвежеет – людям легче будет.

И, быстро обернувшись к Волконскому, который стоял у двери, опустив голову, потупив глаза, спросил его тем же спокойным голосом:

– Какие новости, Пётр Михайлович?

Тот ничего не ответил и ещё ниже опустил голову. Виллие странно-внезапно и неуклюже засуетился, подошёл к государю, осмотрел ногу его и сказал по-английски:

– Прекрасно, прекрасно! Скоро совсем здоровы будете, ваше величество!

– До свадьбы заживёт? – усмехнулся государь, вдруг побледнел и, всё больше бледнея, посмотрел на Виллие в упор.

– Что такое? Что такое? Да говорите же...

Но и Виллие также не ответил, как и Волконский. В это время Тарасов надевал осторожно ботфорт на больную забинтованную ногу государя. Государь оттолкнул его, сам натянул сапог, вскочил, схватил Виллие за руку и тихо вскрикнул:

– Фельдъегерь?

– Точно так, ваше величество, только что прибыл...

И с решительным видом, с каким во время операции вонзал нож, подтвердил то, что уже прозвучало в безмолвии:

– Всё кончено: её не существует.

Государь закрыл лицо руками. Тарасов перекрестился. Волконский, отвернувшись в угол, всхлипывал.

– Ступайте, – проговорил государь, не открывая лица.

Все вышли. Думали, манёвры отменят. Но через четверть часа послышался звонок из уборной. Туда и назад и опять туда пробежал камердинер Мельников, неся государеву шпагу, перчатки и высокую треугольную шляпу с белым султаном. Минуту спустя государь вышел в приёмную, где ожидали все штабные генералы, начальники дивизий, батальонные командиры, чтобы сопровождать его на военное поле. Вступив с ними в беседу, он предлагал вопросы и пояснял ответы с обычною любезностью.

«Я наблюдал лицо его внимательно, – вспоминал впоследствии Тарасов, – и, к моему удивлению, не увидел в нём ни единой черты, обличающей внутреннее положение растерзанной души его: он до того сохранял присутствие духа, что, кроме нас троих, бывших в уборной, никто ничего не заметил».

В двенадцатом году в Вильне, когда государь танцевал на балу, уже зная, что Наполеон переступил через Неман, было у него такое же лицо: совершенно спокойное, неподвижное, непроницаемое, напоминавшее маску или Торвальдсенов мрамор, ту холодную белую куклу, которую маленькая Софья когда-то согревала поцелуями.

На часах било девять, когда он сошёл с крыльца и сел на лошадь.

²¹³ Волконский Пётр Михайлович (1776–1852) – светлейший князь, начальник Главного штаба, позже министр двора и уделов.

²¹⁴ Как дела? (лат.).

²¹⁵ Хорошо, самодержец (лат.).

Начались манёвры. Обычным бравым голосом, от которого солдатам становилось весело, выкрикивал команду «*товсь!*» («к стрельбе изготавсь!»); с обычным вниманием замечал все фронтовые оплошности: качку в теле, шевеление под ружьём, неравенство в плечах и версты за две, в подзорную трубу, – султаны не довольно прямые; у одного штаб-офицера – уздечку недостающую, у другого – оголовие на лошади неформенное. Но вообще остался доволен и милостиво всех благодарил.

Когда манёвры кончились, вернулся во дворец, отказался от полдника, переоделся наскоро, сел в коляску, запряжённую четвернёй по-загородному, и поскакал на дачу Нарышкиных.

Кучер Илья, всё время понукаемый, гнал так, что одна лошадь пала на середине дороги, и в конце, при выезде на Петергофское шоссе, – другая.

Что произошло на даче Нарышкиных, государь не мог потом вспомнить с ясностью.

Тёмный свет, как во сне, и незнакомо-знакомые лица, как призраки. Он узнавал среди них то Марью Антоновну, которая бросалась к нему на шею с театрально-неестественным воплем: «Alexandre!» – и с давнишним запахом духов противно-приторных; то Дмитрия Львовича, который хотел плакать и не мог, только высовывал язык неистово; то старую няню Василису Прокофьевну, которая твердила всё один и тот же коротенький рассказ о кончине Софьи; умерла так тихо, что никто не видел, не слышал; рано утром, чуть свет, подошла к ней Прокофьевна, видит – спит, и отойти хотела, да что-то жутко стало; наклонилась, позвала: «Софенька!» – за руку взяла, а рука как лёд; побежала, закричала: «Доктора!» Доктор пришёл, поглядел, пощупал: часа два, говорит, как скончалась.

В комнате, обитой белым атласом с алыми гвоздичками, открыта дверь на балкон. Пахнет после дождя грозowymi цветами, земляною сыростью и скошенными травами. Вдали освещённые солнцем белые, на чёрно-синей туче, паруса. От ветра колеблется красное пламя дневных свечей, и лёгкая прядь волос, из-под венчика выходящая, на лбу покойницы шевелится. В подвенечном платье, том самом, которого не хотела примеривать, лежала она в гробу, вся тонкая, острая, стройная, стремительная, как стрела летящая.

Он прикоснулся губами к холодным губам, увидел на груди её маленький портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, из золотого медальона вынутый, – нельзя класть золота в гроб, – и глаза его встретились с глазами князя Валерьяна Михайловича Голицына, стоявшего у гроба с другой стороны: Софья была между ними, как будто соединяла их – любимого с возлюбленным.

Но тёмный свет ещё потемнел, дневные огни закружились зелёно-красными пятнами, и захрапела, как на дороге давеча, уткнувшаяся в пыль лошадиная морда с кровавою пеною на удилах и с глазами такими же кроткими, как у императрицы Елизаветы Алексеевны.

– Ничего, ничего, маленький отлив крови, сейчас пройдёт, – услышал государь голос лейб-медика Римана, одного из двух докторов, лечивших Софью; а другой – лейб-медик Миллер – подавал ему рюмку с водою, мутною от капель.

Зубы стучали о стекло, и с виноватою улыбкою старался он поймать губами воду.

И опять едет. Туда или оттуда? Вперёд или назад? И всё, что было, не было ли сном? Опять равнина бесконечная, ни холмика, ни кустика, только однообразные кочки торфяных болот да на самом краю неба, где тучи ровно, как ножницами, срезаны, – заря медно-жёлтая. И кажется, он едет так уже давно-давно и никогда никуда не приедет.

– Тпру, тпру! – кричал Илья, натягивая вожжи. Коляска накренилась, едва не опрокинулась. Одна из двух лошадей, загнанных давеча, лежала на дороге. Живые испугались мёртвой, взвились на дыбы, шарахались, пятились. Каркая, поднялась стая воронов с падали и полетела, чёрная, к жёлтой заре.

Илья, соскочив с козел, налаживал сбрую и вытаскивал колесо из рытвины. Заглянул в коляску: но государя не видно, не слышно. Спит?

Нет, не спит: откинулся в тёмный угол; лицо побледнело, исказилось от ужаса и широко раскрытыми глазами смотрит на дорогу, где нет никого.

Вернулся не в Красное, а в Царское. Не велел о своём приезде докладывать, хотя знал, что государыня ждёт и тревожится, потому что он обещал приехать.

Прошёл к себе в спальню; вспомнив, что не ел с утра, почувствовал тошноту от голода;

велел подать чаю. Спать хотелось так, что едва стоял на ногах, но лёг не сразу, а написал два письма. Одно – к императрице (часто переписывался с нею из комнаты в комнату). Записочка в одну строку, по-французски: «Elle est morte. Je regois le chatiment de tous mes egarements. – Она умерла. Я наказан за все мои грехи».

Другое письмо к Аракчееву:

«Не беспокойся обо мне, любезный друг, Алексей Андреевич. Воля Божья, – и я умею покоряться ей. С терпением переношу моё сокрушение и прошу Бога, чтобы он подкрепил силы мои душевные. Ожидаю удовольствия с тобою видиться завтра и надеюсь, что поездка моя и предметы, коими в оной заниматься буду, рассеют несколько печальные мои мысли.

Навек тебя искренно любящий Александр».

Лёг. Уже засыпал – вдруг, как от внезапного толчка, проснулся. Вспомнил о том, что видел на дороге давеча, когда стая воронов, каркая, летела, чёрная, к жёлтой заре.

Старичок, похожий на тех нищих странников, что ходят по большим дорогам, собирают на построение церквей. Лысенький, седенький, с голубыми глазками, – «бедненькие глазки, совсем как у телёночка», – как у него самого в зеркале. Он уже видел его раз, вскоре после смерти отца, когда казалось, что сходит с ума; не узнал тогда, теперь знает это он сам, государь, от престола отрёкшийся и сделавшийся нищим-странником.

Видеть себя – к смерти. «Ну что ж, – подумал, – ведь смерть тоже отречение, и, может быть, лучшее. Всё к лучшему!» усмехнулся с неожиданной лёгкостью, повернулся на привычный левый бок, положил щёку на руку и тотчас же заснул.

На следующий день отправился осматривать военные поселения вместе с Аракчеевым.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Российское воинство подвигами своими не токмо отечество, но и всю Европу спасло и удивило: да вкусит же сладкую награду», – сказано было в манифесте об окончании войны двенадцатого года; этою сладкою наградой и были военные поселения.

Мечты о грядущем Иерусалиме, о теократическом правлении, о царстве Божьем на земле, как на небе, привели к Священному Союзу в Европе и к военным поселениям в России.

«Государь иногда делает зло, но всегда желает добра», – сказал о нём кто-то. И, учреждая поселения, желал он добра. Если ошибался, то не он один. Сперанский сочинил книгу «О выгодах и пользах военных поселений»; Карамзин полагал, что «онные суть одно из важнейших учреждений нынешнего славного для России царствования»; генерал Чернышёв писал Аракчееву: «Все торжественно говорят, что совершенства поселений превосходят всякое воображение. Иностранцы не опомнятся от зрелища для них столь невиданного».

И государь этому верил. Когда же доносился до него плач народа: «Защити, государь, крещённый народ от Аракчеева!» – недоумевал и решал делать до конца добро людям, не ожидая от них благодарности. «Мы, государи, знаем, – говорил, – что так же редка на свете благодарность, как белый ворон».

Выехав из Царского, провёл девять дней в осмотре поселений, расположенных по берегам Волхова.

Но в первые дни путешествия поглощён был горем и старался только оглушить себя быстрым движением: что оно успокаивает, знал по давнему опыту.

Отрадна была ему также близость к Аракчееву. Как всегда в горе, искал у него помощи, жался к нему, точно испуганное дитя к матери.

Едучи с ним в одной коляске, оправлял на нём шинель: только что повеет холодком или сыростью, укутывал его, застёгивал; от комаров и мошек обмахивал веткою.

На девятый день утром переехали на пароме через Волхов. Отсюда начиналась Грузинская вотчина. Мужики, крепостные Аракчеева, поднесли государю хлеб-соль.

– Здравствуйте, мужички!

– Здравия желаем, ваше величество! – крикнули те по-военному, становясь во фронт.

– Нигде я не видывал таких здоровых лиц и такой военной выправки, – заметил государь по-французски спутникам. «Чудесные красоты поселений» начинали на него оказывать своё обычное действие.

– По всему видно, что поселяне блаженствуют, – согласился генерал Дибич,²¹⁶ новый начальник главного штаба.

Дорога шла высокою дамбою, обсаженною берёзами; слева – плоская равнина, справа – мутный Волхов. День пасмурный, тихий и тёплый. Небо с тесными рядами сереньких туч, как будто деревянное, из ветхих брёвен сколоченное, подобно стенам новгородских изб. Вдали – белые башни Грузина. Шоссе великолепное: колёса по песку едва шуршали.

– А что, брат, какова дорожка?

– Не дорога, а масло, ваше величество! Везде бы такие дороги – и умирать не надо! – проговорил кучер Илья, оборачиваясь к государю и лукаво усмехаясь в бороду: знал, чем угодить; знал также, что по этой чудесной дороге никто не смел ездить: чугунными воротами запиралась она, от которых ключи хранились у сторожа в Грузине; а рядом – боковая, общая, с ухабами и грязью невылазной.

Продолжали осмотр поселений Грузинской вотчины второй и третьей дивизий гренадерского корпуса. Тут порядок ещё совершеннее; такая правильность, тождественность, «единообразие» во всём, что трудно отличить одно селение от другого.

Одинаковые розовые домики вытянулись ровно, как солдаты в строю, на две, на три версты, так что улица казалась бесконечною; одинаковые аллеи тощих берёзок, по мерке стриженных; одинаковые крылечки красные, мостики зелёные, тумбочки белые. Всё чисто, гладко, глянцеvито, точно лакировано.

Правила точнейшие на всё: о метёлках, коими подметаются улицы; о стёклах оконных – «битых отнюдь бы не было, понеже безобразие делают, а с трещинкой дозволяется», о свиньях: «свиней не держать, потому что животные сии роют землю и, следовательно, беспорядок делают; если же кто просить будет позволения держать свиней с тем правилом, что оные никогда не будут ходить по улице, а будут всегда содержаться во дворе, таковым выдавать билеты; а если у такого крестьянина свинья выйдет на улицу, то брать оную в гошпиталь и записать виновного в штрафную книгу».

Все работы земледельческие – тоже по правилам: мужики по ротам расписаны, острижены, обриты, одеты в мундиры; и в мундирах, под звук барабана, выходят пахать; под команду капрала идут за сохою, вытянувшись, как будто маршируют; маршируют и на гумнах, где происходят каждый день военные учения.

«Обмундирование детей с шестилетнего возраста, – доносил Аракчеев государю, – по распоряжению моему, началось в один день, в шесть часов утра, при ротных командирах, в четырёх местах вдруг; и продолжалось, таким образом, к центру, из одной деревни в другую, причём ни малейших неприятностей не было, кроме некоторых старух, которые плакали. Касательно же обмундированных детей, то я на них любовался: они стараются поскорее окончить работы, а, возвратясь домой, умывшись, вычистив и подтянув мундиры, немедленно гуляют кучами, из одной деревни в другую, а когда с кем повстречаются, то становятся сами во фронт». Так и теперь, завидев государя, маленькие солдатики вытягивались во фронт и тоненькими голосками выкрикивали:

– Здравия желаем, ваше величество!

– Ангелочки! – умилялся Дибич.

На улицах тишина мёртвая: кабаки закрыты, песни запрещены; дозволялось петь лишь канты духовные.

Внутри домов – такое же единообразие во всём: одинаковое расположение комнат, одинаковая мебель, крашенная в дикую краску; на окошке за номером четвёртым – занавеска белая коленкоровая, задёргиваемая на то время, пока дети женского пола одеваются.

²¹⁶ Дибич Иван Иванович (1785–1831) – барон, генерал-адъютант, позже генерал-фельдмаршал, главнокомандующий армией в русско-турецкую войну и при подавлении польского мятежа. Возведён в графское звание с прибавкой к фамилии «Забалканский».

Здесь тоже правила на всё: в какие часы открывать и закрывать форточки, мести комнаты, топить печки и готовить кушанье; как растить, кормить и обмывать младенца – 36 параграфов. Параграф 25-й: «Когда мать рассердится, то отнюдь не должна давать груди младенцу»; 36-й: «Старшина во время хождения по избам осматривает колыбельки и рожки. Правила сии должны быть хранимы у образной киоты, дабы всегда их можно было видеть».

Для совершения браков выстраивались две шеренги, одна – женихов, другая – невест; опускались в одну шапку билетки с именами женихов, в другую – невест и вынимались по жребию, пара за парой. А если кто заупрямится, то резолюция: «согласить».

– У меня всякая баба должна каждый год рожать, – говорил Аракчеев. – Если родится дочь, а не сын, – штраф, и если баба выкинет, тоже штраф, а в какой год не родит, представь 10 аршин холста.

Государь и спутники его восхищались всем.

– Ах, ваше сиятельство, избалуete вы мужичков! – всплеснул руками Дибич, увидев на печных заслонках чугунных амуров, венчавших себя розами и пускавших мыльные пузыри.

К обеду во всех домах подали такие жирные щи и кашу такую румяную, что генерал-майор Угрюмов, отведав, объявил торжественно:

– Нектар и амброзия!

Когда же появился поросёнок жареный, то все убедились окончательно, что поселяне блаженствуют.

– Чего им ещё надобно?

– Не житьё, а масленица!

– Век золотой!

– Царствие Божие!

Слёзы навернулись на глазах у генерала Шкурина,²¹⁷ а деревянное лицо Клейнмихеля так преобразилось, как будто созерцал он не деревню Собачьи Горбы, а Иерусалим Небесный.

Осмотрели военный госпиталь. Здесь прекраснейшего устройства ватерклозеты изумили лейб-хирурга Тарасова.

– Отхожие места истинно царские! – доложил он государю не совсем ловко.

– Иначе здесь и быть не может, – заметил тот не без гордости и объяснил, что английское изобретение сие введено в России впервые именно здесь, в поселениях.

Аракчеев на минуту вышел. В это время один из больных потихоньку стал с койки, подошёл к государю и упал ему в ноги.

Это был молодой человек с полоумными глазами и застывшим испугом в лице, как у маленьких детей в родимчике; опущенные веки и раздвоенный подбородок с ямочкой придавали ему сходство с Аракчеевым.

– Встань, – приказал государь, не терпевший, чтоб кланялись ему в ноги. – Кто ты? О чём просишь?

– Капитон Алилуев, графа Аракчеева дворовый человек, живописец. Защити, спаси, помилуй, государь батюшка! – завопил он отчаянным голосом; потом затих, боязливо оглянулся на дверь, в которую вышел Аракчеев, и залепетал что-то непонятное, подобное бреду, об иконе Божией Матери, в подобии великой блудницы, прескверной девки, Настьки Минкиной, и о другой иконе самого графа Аракчеева; о бесах, которые ходят за ним, Капитоном, мучают его и не далее, как в эту ночь, задерут его до смерти; о тайных злодействах Аракчеева, «сатаны в образе человеческом», которого, однако, называл он почему-то «папашенькой».

Государь заметил, что от него пахнет водкою; как достают водку в больницах, не любопытствовал, только поморщился. И все немного сконфузились, как будто пробежала тень по золотому веку Собачьих Горбов.

Вошёл Аракчеев и, увидев Капитона Алилуева, тоже как будто сконфузился, но сделал знак, и больного схватили, потащили в другую палату. Отбиваясь, кричал он диким голосом:

– Черти! Черти! Черти вас всех задерут! И тебя, папашенька!

²¹⁷ Шкурин Павел Сергеевич, генерал-адъютант с 1824 г.

Государю объяснили, что это пьяница в белой горячке. Он велел Тарасову осмотреть больного и оказать ему врачебную помощь.

Сам из простого звания, сын бедного сельского священника, Дмитрий Клементьевич Тарасов знал и любил простых людей. Они тоже верили ему, чувствовали, что он свой человек, и охотно отвечали на его расспросы.

Оставшись в больнице, по отъезде государя, узнал он вещи удивительные.

Капитон Алилуев, приёмш и воспитанник грузинского протоиерея о. Фёдора Малиновского, по слухам, незаконный сын Аракчеева, взят был в графскую дворню, обучался мастерству живописному, а также снимке планов и черчению карт у военного инженера Батенкова. Писал одновременно, по заказу Аракчеева, святые иконы в соборе и непристойные картины в одном из павильонов грузинского парка. Был набожен, с детства собирался в монахи. Кошунственные образа считал грехом смертным. Совесть его замучила; начал пить и допился до белой горячки. Хотел утопиться; вытащили, высекли. Пуще запил и однажды в исступлении бросился на икону Божией Матери, написанную им, Капитоном, с лицом Настасьи Минкиной, чтобы изрезать её ножом; а когда схватили его, объявил, что и живую Настьку зарежет. «Высечь хорошенько и показать», – велел Аракчеев. Это значило: показать спину, хорошо ли высечен. Палачи сжалились, облили ему спину кровью зарезанной курицы, как это иногда делали в подобных случаях, и этим спасли его от смерти. Но всё же полумёртвого после экзекуции отправили в госпиталь.

Узнал Тарасов кое-что и о военных поселениях.

Больницы прекрасные, а всюду в деревнях – горячки поварные, цинга, кровавый понос, и люди мрут, как мухи; полы паркетные, но больные не смеют по ним ходить, чтобы не запачкать, и прыгают с постели прямо в окна; учёные бабки, родильные ванны, а беременную женщину высекли так, что она выкинула и скончалась под розгами; тридцать шесть правил для воспитания детей, а мать убила дитя своё: если, говорила, отнимают дитя у матери, то пусть лучше вовсе не будет его на свете.

Чистота в домах изумительная, но чтобы приучить к ней, потребляются воза шпицрутенгов. Мужики метут аллеи, а в поле рожь сыплется; стригут деревца по мерке, а сено гниёт. Печные заслонки с амурами, а топить нечем. К обеду поросёнок жареный, а есть нечего; один шалун из флигель-адъютантов государевых отрезал однажды поросёнку ухо в первой избе и приставил на то же место в пятой: пока государь переходил из дома в дом по улице, жаркое переносилось по задворкам. Кабаки закрыты, а посуду с вином провозят в хвостах лошадиных. Все пьют мёртвую, а кто не пьёт – мешается в уме или руки на себя накладывает. Целые семейства уходят в болота, во мхи, чтобы там заморить себя голодом.

«Спаси, государь, крещёный народ от Аракчеева!» – готов был воскликнуть Тарасов, слушая эти рассказы. Любил царя, знал доброе сердце его и не понимал, как может он обманываться так. Или прав Капитон, что тут наваждение бесовское?

А государь въехал в Грузино с тем чувством, которое всегда испытывал в этих местах: как будто усталый путник возвращался на родину; вот где всё позабыть, от всего отдохнуть, успокоиться. «Я у тебя как у Христа за пазухой!» – говаривал хозяину.

Было и другое чувство, ещё более сладостное: вспоминая «рай земной» военных поселений, вкушал отраду единственную, которая оставалась ему в жизни, – будучи самому несчастным, делать других счастливыми.

С этой отрадой в душе уснул так спокойно в ту ночь, как уже давно не спал.

У Аракчеева бывали бессонницы: ляжет, потушит свечу, закроет глаза, но вместо того, чтобы заснуть, начнёт думать о смерти и почувствует тоску, сердцебиение, расстройство нервов и совершенную бессонницу.

Такой припадок случился с ним и в эту ночь. Долго с боку на бок ворочался; принял миндально-анисовых капель с пырейным экстрактом, – не помогло. Встал, надел серый длиннополый сюртук, вроде шлафрока, который всегда носил в Грузине, – щёгольства не любил, и пошёл бродить по комнатам.

Искал, чем бы заняться, чтоб рассеять скуку. Проверял висевшие на стенах инвентари вещей в каждой комнате, с предостерегающей надписью: «Глазами гляди, а рукам воли не давай». Осматривал, всё ли в порядке, расставлены ли вещи как следует, не пропало ли что, нет

ли где изъяна – паутины, грязи, пыли; мочил слюною платок, ложился на пол, подлезал под мебель и пробовал, чисто ли выметен пол, не потемнеет ли платок от пыли. Но пыли не было. Кряхтя и охая, подымался опять на ноги и начинал бродить.

Уставал, присаживался, перебирал лежавшие на столах презенты и сувениры; нашёл стихи поэта Олина²¹⁸ к портрету графа Аракчеева:

Как русский Цинциннат ²¹⁹, в душе своей спокоен,
Венок гражданский свой повесил он на плуг,
Друг Александра, правды друг,
Нелестный патриот, он вечных броне достоин.

Стихи не утешили. Просматривал счётные книги, в которые мельчайшим почерком заносились домашние расходы: когда сахарная голова куплена и на куски изрублена; сколько вышло бутылок вина, ложек постного масла в тёртую редьку людям на ужин, миткалю²²⁰ дворовым девкам на косынки, пестряди кучерам на рубахи. Расходы непомерные: этак и разориться не долго! Лучше не думать, а то ещё больше расстроишься.

Принялся читать *винные книжки*, в которых вины и штрафы записаны: кому за какую вину сколько розог. Вспомнил у дежурного мальчика незавитые волосы; записал и начал воображаемый выговор воображаемому дворецкому: «Предписываю тебе строгое за оным смотрение иметь, а то спина твоя долго заживать не будет...»

Начав говорить, не мог остановиться: ровным, гнусавым и тягучим голосом выматывал душу незримому слушателю:

– Люди должны делать всё, что нужно, а если дурно будут делать, то на оное розги есть. Мне очень мудрёно кажется, будто людей нельзя содержать так, чтобы всё аккуратно делали...

То хныкал жалобно:

– Огорчил ты меня, старика, а всякое огорчение меня убивает и приближает к концу дней моих, к чему и готовлюсь. Знаешь мой мнительный характер, что со мною нужно обходиться ласково...

То гневно покрикивал:

– В Сибирь не сошлю, а лучше сам забью!

И повторял много раз тихим, замирающим, как будто ласковым, шёпотом:

– Высечь хорошенечко! Высечь хорошенечко!

Опомнися, оглянулся, увидел, что никого нет, махнул рукою безнадёжно и опять пошёл бродить; не находил себе места: такая скука, что хоть плачь; стонал и охал от скуки, как от боли. Не зайти ли к Настеньке? Нет, не хочется. Кваску бы – в горле что-то смякло? Нет, и кваску не хочется. Ничего не хочется. Скука смертная, пустота зияющая, которой ничем не наполнить. С ума сойти можно. Испугался, опять принял капель, опять не помогло.

Сам не помнил, как очутился внизу, в библиотеке; тут же арсенал и застенок; кадки с рассолом, в котором мокнут свежие розги. Попробовал на языке одну: солонка ли как следует.

Взглянул на корешки любимых книг, на особую полку отставленных, единственных, которые читал: «Молодой дикий, или Опасное стремление первых страстей». – «Дикий человек, смеющийся учёности и нравам нынешнего света». – «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами». – «Великопостный конфет». – «Путь к бессмертному сожитию ангелов». – «Египетский оракул, или Полный и новейший гадательный способ». – «Опыт употребления времени и самого себя».

²¹⁸ Олин Валериан Николаевич (1788–1841) – писатель, переводчик, издатель. За обилие посредственных произведений Кюхельбекер назвал его «горе-богатырь русской поэзии».

²¹⁹ Цинциннат, Люций Квинций – легендарный римский диктатор.

²²⁰ Миткаль, (араб. mitkal, букв. мера веса). Самая простая и дешёвая хлопчатобумажная ткань, ненабивной ситец.

Попробовал читать «Опыт». Нет, скучно, да и темно. Заглянул в рисунки шлагбаумов и будок; на минуту заняло; но сделалось душно, запахло от книг мышами и сыростью, от мочёных розог – банным веником. Захотелось на свежий воздух: не полегчает ли хоть там?

Надел вязаный шарф и кожаные калоши; носил их даже в сухую погоду: неровен час, дождик пойдёт, ноги промочишь, простудишься, горячку схватишь, – много ли человеку надо?

Проходя в передней мимо зеркала, увидел нечаянно лицо своё, – испугался ещё больше: худ, бледен, зелен – «шкелет шкелетом». Отвернулся и плюнул с досадою.

Вышел в сад. Белая, жаркая, душная ночь. Тишина – только комары жужжат да лягушки квакают. Серая, в сером свете, зелень, как пепел. Туман как банный пар. Берёзовым веником пахнет и здесь, как мочёною розгою. Дышать нечем. И нельзя понять, есть ли тучи на небе, – такое оно ровное, белое, пустое: кажется, и там, в небе, как в нём, пустота зияющая, скука бездонная.

Осматривал дорожки, чисто ли выметены. Чистоты в саду требовал такой же, как в комнатах: кто бы ни прошёл по аллее, – дежурный садовник заметал след метлою.

Множество памятников, надгробных плит: «Милой Дианке», «Верному Жучку», «Сын в память родителям». Похоже на кладбище, и сам он как могильный выходец: может быть, умер давно, встаёт из гроба, ходит по кладбищу и будет ходить так до скончания века.

Вернулся к дому. На крыльце у бокового флигеля кто-то сидел. Место глухое; тут и днём редко ходят: слева – дремучие кусты акации, справа – стена нежилого флигеля. Кто это? Серый, страшный, похожий на призрак. Капитон Алилуев, сумасшедший. В сером больничном халате и белом колпаке, сидит на завалинке, высматривает, как будто ждёт кого-то. Уж не его ли? «Зарежет», – подумал Аракчеев и хотел шмыгнуть в кусты, но было поздно: тот увидел его и закивал головою, поманил пальцем. Без голоса, только по движению губ, видно было, шепчет:

– Папашенька! Папашенька!

И тихо смеётся.

За углом флигеля парадное крыльцо; там часовые под окнами спальни государевой. Закричать бы, да голоса нет; побежать бы, да ноги не слушают. А тот всё манит да манит, как будто знает, что он от него не уйдёт. И вдруг потянуло к нему Аракчеева. Подошёл, опустился рядом на завалинку. Капитон молча глядел на него, смеялся, кивал головою, – и на белом колпаке качалась кисточка.

– Что ты, что ты здесь, Капитоша, делаешь, а? – произнёс Аракчеев осторожно, хитро и ласково.

– Государя жду, – подмигнул ему сумасшедший с таким лукавством, что видно было, перехитрить его не так-то легко.

– А зачем тебе государь?

– Донос имею.

– На кого?

– На вас, папашенька!

– А как ты сюда из больницы пришёл?

– Черти принесли; всё черти носят, а скоро и совсем унесут, задерут до смерти.

– Ох, Капитоша, миленький, не говори лучше о них на ночь, не накликай!

– Чего накликать? И так всегда с вами. Вишь, их сколько! Бес Колотун на плече, бес Щекотун на пупе, бес Болтун на языке, – три больших, а десять маленьких. Свербей Свербеичей, на каждом пальчике...

Аракчеев хотел перекреститься, но рука не поднялась.

– А за что же они тебя задерут, Капитошенька?

– За иконы бесовские: девки поганой Настьки во образе Владычицы да Аракчеева изверга во образе Спасителя. Только вы не думайте, папашенька: не меня одного – и вас. Вместе на суд предстанем!

Опять помолчали, глядя друг на друга так, что казалось, уже не один, а два сумасшедших.

– За что же ты на меня государю жаловаться хочешь?

– Будто не знаете? За кровь неповинную! За утопленных, удушенных, расстрелянных, запоротых, за детей, за жён, за стариков, за весь народ православный, за всю Россию! И за самого государя! И за мою, за мою кровь...

Послышался стук барабана, бившего зорю вдали, на гауптвахте, и вблизи, по дороге, шаги часовых.

– Караул! – хотел крикнуть Аракчеев, но крик его был слабым шёпотом.

В последний раз погрозил ему сумасшедший кулаком и вдруг пустился бежать, – замелькали только полы серого халата в сером сумраке.

– Караул! – закричал Аракчеев уже во весь голос. – Лови! Лови! Лови!

Прибежали часовые; долго не могли понять, что случилось. Наконец растолковал он кое-как. Начали искать; обыскали, обшарили всё и никого не нашли. Алилуев исчез; как будто сквозь землю провалился или, в самом деле, черти его унесли.

Вернувшись домой, Аракчеев вошёл в спальню, лёг не раздеваясь и погрузился не то в сон, не то в обморок.

Встал поутру больной, разбитый; но никому не говорил о том, что было ночью, – должно быть, стыдился.

После утреннего чая повёл государя в сад показывать новые затеи – цветники, дорожки, беседки.

Увидев кошку, подозвал дежурного мальчика-садовника: велено кошек в саду ловить и вешать, чтоб соловьёв не пугали; Аракчеев был так чувствителен к соловьиному пению, что иногда, слушая, плакал. В другое время высек бы мальчика, но при гостях совестно; только взял его за ухо, ущипнул и спросил:

– Кошечка?

– Виноват, ваше сиятельство!

– А знаешь, какая разница между трутом и мальчиком?

– Не знаю.

– Ну так я тебе скажу, дусенька: трут прежде высекут, а потом положат, а мальчика сперва положат, а потом высекут. Помни!

Спустились к пруду, сели в лодку и переправились на островок с беседкою-храмом, посвящённым памяти генерала от артиллерии Мелиссино,²²¹ у которого граф начал свою карьеру. В беседке находились непристойные картины, писанные Капитоном Алилуевым, скрыты под зеркалами, которые открывались на потайных пружинах.

Хозяин, первый, вошёл посмотреть, всё ли в порядке.

– Он! Он! Он! Не входите! Зарежет! – закричал он, выбегая, в ужасе и повалился на руки государю, почти без памяти.

Гости бросились в беседку. В ней было темно от высоких деревьев, заслонявших окна. В самом тёмном углу, между двух зеркал, стоял кто-то; не видно было, что он там делает.

Дибич подошёл, увидел посиневшее лицо, выпученные глаза и высунутый язык; протянул руку, дотронулся и тотчас отдёргнул её; стоявший качнулся, как будто хотел на него упасть.

– Удавился кто-то, – сказал Дибич.

– Выньте же из петли скорее! – велел государь, входя в беседку. – Осмотри-ка, Тарасов, нельзя ли в чувство привести.

Самоубийцу сняли с петли, – он висел так низко, что согнутые ноги почти касались пола, – и положили на пол. Государь наклонился и узнал Капитона Алилуева.

– Умер?

– Точно так, ваше величество, – ответил Тарасов. – Должно быть, ещё в ночь повесился.

– Что это? – указал государь на бумагу, которую сжимал мертвец в окоченевшей руке так крепко, что Тарасов едва мог вынуть её, не разорвав. Запечатанный конверт с надписью: «Его императорскому величеству, секретно».

Тарасов подал письмо государю. Тот хотел передать Клейнмихелю, но подумал, сунул за обшлаг рукава.

Аракчеев не входил в беседку, сидя на крыльце, стонал, охал и пил воду из ковшика, который подавали ему солдаты гребцы. Почти на руках снесли его в лодку и отвели домой под руки. От испуга сделалось у него сильнейшее расстройство желудка. Государь встревожился,

²²¹ Мелиссино Пётр Иванович (1724–1797) – грек по происхождению, генерал от артиллерии, известный масон.

но Тарасов успокаивал его, что болезнь пустячная, велел пить ромашку и поставить промывательное. Государь весь день не отходил от больного, ухаживал за ним, заваривал ромашку и собственными руками готов был ставить клистир.

Ночью, оставшись один, распечатал письмо Алилуева; но, увидев донос на Аракчеева, не стал читать, только заглянул в начало и конец.

«Ваше императорское величество, государь премилостивейший! Единая мысль о военных поселениях наполняет всякую благомыслящую душу терзанием и ужасом...»

А в конце:

«Военные поселения суть самая жесточайшая несправедливость, какую только разъярённое зловластье выдумать могло...»

«Нет, это не он писал, куда ему, пьянице, – подумал государь, – кто-нибудь сочинил для него. Уж не из *них* ли кто?»

Они всегда и везде были члены тайного общества.

Взял свечу, зажгёт бумагу и бросил в камин.

Спал так же спокойно, как в прошлую ночь.

На следующий день назначен был отъезд государя. Аракчееву сразу полегчало, когда доложили ему, что мёртвое тело Алилуева, зашитое в мешок с камнем, брошено в Волхов. Перекрестился и начал играть с Клейнмихелем в бостон по грошу: значит, выздоровел.

В центре Грузинской вотчины, в деревне Любуни, на пригорке, стояла башня, наподобие каланчи пожарной. Отсюда видно было всё как на ладони. На верхушке башни – золотое яблоко, сверкавшее, как огонь маяка, и Эолова арфа с натянутыми струнами, издававшими под ветром жалобный звук. Поселяне, проходя мимо под вечер, шептали в страхе:

– С нами сила крестная!

На башню эту пригласил хозяин гостей своих в день отъезда, чтобы в последний раз полюбоваться Грузином.

Поднялись на вышку, устали подзорную трубку и начали обозревать с высоты птичьего полёта селенья: Хотитово, Модню, Мотылье, Катовицу, Выю, Графскую слободку. Не сельский вид, а геометрический чертёж: правильно, как по линейке и циркулю, расположенные поля, луга, сенокосы, пашни, – каждый участок за номером; прямые шоссе, прямые канавы, прямые просеки и уходящие вдаль бесконечными прямыми линиями сажени дров – каждая сажень тоже за номером. Там, где росли когда-то сосны мачтовые, теперь и трава не растёт, всё вырублено, выровнено, вычищено, как будто надо всем пронёсся вихрь опустошающий. На лице земли – неземная скука, такая же, как на лице Аракчеева.

Вспомнился Тарасову слышанный в больнице рассказ о том, как производится военная нивелировка местности: солдаты сносят целые селенья, разрушают церкви, срывают кладбища и воющих старух стаскивают с могил замертво, а старики шепчут друг другу на ухо: «Светопреставление, антихрист пришёл!»

Но, кроме Тарасова, все восхищались, а государь больше всех. Он готов был верить в давнюю мечту свою – распространить на всю Россию военные поселения: одинаковые повсюду деревни-казармы, одинаковые розовые домики, белые тумбочки, зелёные мостики; прямые аллеи, прямые канавы, прямые просеки; и везде мужики в мундирах, за сохой марширующие; везде к обеду поросёнок жареный: на заслонках амуров чугунные, ватерклозеты «истинно царские». Никаких революций, никаких тайных обществ. Рай земной, Царствие Божие, Грядущий Сион. По Писанию: всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся; кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими.

– Любезный друг, Алексей Андреевич, – сказал государь, обнимая Аракчеева, – благодарю тебя за все твои труды.

– Рад стараться, ваше величество! Всё для вас, всё для вас, батюшка, – всхлипнул Аракчеев и упал на грудь государя. – Повелеть извольте – и всю Россию военным поселением сделаем...

А на Эоловой арфе струны гудели жалобно, и казалось, плачет в них душа Капитона Алилуева вместе с душами всех замученных:

– Антихрист пришёл!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗАПИСКИ КНЯЗЯ ВАЛЕРЬЯНА МИХАЙЛОВИЧА ГОЛИЦЫНА

1824 года, генваря 1. «Государи Российские суть главою церкви». Изречение сие находится в акте о престолонаследии, читанном в Москве, в Успенском соборе, при восшествии на престол императора Павла Первого. Разговор о том с Чаадаевым весьма примечательный. Поставление царя земного главою церкви на место Христа, Царя Небесного, не только есть кощунство крайнее, но и совершенное от Христа отпадение, приобщение же к *иному*, о коем сказано: «Иной приидет во имя своё: его примете».

1824 года, июля 2. Более года, как записки сии в Париже начаты и оставлены. Тот разговор с Чаадаевым последний. Приехавши в Россию, не до записок было.

Теперь опять пишу на досуге; болезнь досужим делает. Болен, а чем – не знаю. Полковой штаб-лекарь Коссович,²²² старичок добренький, сущая божья коровка, который пользует меня, говорит надвое: то ли меланхолия, от расстройства печени, то ли скрытая горячка нервическая.

– Вам, – говорит, – надобно пьавки поставить.

– Ну что ж, – говорю, – ставьте, будут пьавки на пьавку...

Испугался он, думает – брежу.

– Как это, – говорит, – пьавки на пьавку?

– Да вы же, доктор, сами говорили давеча, что люди, одно худое во всём видящие, цирюльничьим пьавкам подобны, сосущим кровь негодную. В этом и болезнь моя. Помогите, если можете...

– Нет, – говорит, – лекарства наши от этого не пользуют: тут иное потребно лечение, духовное.

– Философия, что ли?

– Зачем философия? Светильник оной в буре бедствий человеческих озаряет менее, чем одна малая лампада перед образом Девы Святой...

– Благодарю покорно, с меня и дядюшкиных лампадок довольно: нынче постное масло дешёво. Лучше уж пьавки!

Рассмеялся я; преглупый и прегадкий смех, а не могу удержаться; иной раз плакать хочу, а смеюсь.

А старичок мой рассердился и сделался похож на сердитую божью коровку. Тоже ведь мистик, тоже член тайного общества (не мы одни на свете), Филадельфийской церкви госпожи статской советницы Татариновой.

Июля 3. Третья неделя с кончины Софьи. Если бы я плакать мог, – и пьавок не надо бы, да вот не могу.

Софьиная няня, Василиса Прокофьевна, на панихиду всё чашку с водою на подоконник ставила: «Чтоб душеньке омыться было в чём», – говорила с такою уверенностью, как бы живой умыться давала. А для нас, дряхлого дедушки Вольтера дряхлых внучков, «мнения о бессмертии души – не без некоторого мрака», как родной мой дедушка, вольтерьянин, сказывал. «Увидимся, если не сшалим», – он же говаривал: сшалить значит умереть. А мы, дедушкины внуки, и сшалить не умеем как следует.

Недаром, видно, Софья остерегала, что оный поганый смешок и у меня к старости будет. А чай, и теперь уже есть?

Не в Премудрую Благость, которая над миром царствует, по Шеллингу, а в *Обезьяну* по Гольбаховой системе,²²³ веруем. «Представь себе судьбу в виде огромной обезьяны. Кто её посадит на цепь? Ни ты, ни я. Значит, делать нечего и говорить нечего», – писал Пушкин

²²² Коссович Фёдор Андреевич (1793 –?) – штаб-лекарь Семёновского полка.

²²³ Гольбах, Поль-Анри (1723–1789) – французский философ.

Вяземскому, когда у того ребёнок умер. Делать нечего, и плакать нечего. А смеяться можно; видеть во всём дурное, смешное и наливаться, как пьявка, чёрной кровью.

Сумасшедшие сами с собой разговаривают: кажется, записки сии – такой разговор сумасшедшего.

Июля 4. Письмо от тётушки; в деревню зовёт. Нет, не поеду. Мне и здесь хорошо, в пустой квартире, в старом Бауеровом доме, у Прачешного моста. Окна мелом замазаны; зеркала и мебели в чехлах, пустые комнаты, по которым ходить можно взад и вперёд, а когда устанешь – о Кульмской битве реляции читать на пожелтевшем листке Сенатских Ведомостей, – ваза в них, на столике в углу, завёрнута; или, на диване лёжа, уткнуться носом в заплатку старого чехла; столько, глядячи на неё, передумано, что заплатка сия будет мне памятна. А если жарко, – окно открыть; тогда из Фонтанки тухлою рыбою пахнет, дёгтем с торцовой мостовой, которую чинят, и сосновыми дровами, что барочники возят в тачках по узеньким доскам на набережной. А иногда вдруг из Летнего сада повеет медовою свежестью лип, и старые липы покровские вспомнятся, у пруда, за теплицами, где читали мы с Софьей «Людмилу» Жуковского.

*Кончен, кончен путь, Людмила!
Нам постель – темна могила,
Завес – саван гробовой.
Сладко спать в земле сырой...*

Сладко спать – если бы только не страшные сны. Всё Атька-мартышка снится, в виде той Обезьяны, о которой писал Пушкин Вяземскому; на лицо мне мохнатою шерстью навалится, душит; а тут же где-то, точно комарик, жужжит мне на ухо мой милый Саша, мой тихий мальчик: «Премудрая Благость над миром царствует».

И я смеюсь, и я во сне смеюсь; кажется, и умирать буду с этим поганым смехом.

Июля 8. Сочинитель Грибоедов живёт у Одоевского. Они – друзья. А я не люблю Грибоедова. Иные ножом, иные – пулей, иные – петлёй, а он смехом себя убивает.

Я, говорят, на него похож. Не дай Бог! Неужели и у меня такой же смех, – точно мёртвые кости из мешка сыплутся?

Намедни читал он «Горе от ума» в большом обществе. Сел за стол, положил рукопись. А Василий Михайлович Фёдоров,²²⁴ старичок простенький, плохой сочинитель плохой драмы «Лиза, или Следствие обольщения и гордости», подошёл, взял рукопись и взвесил её на руке.

– Ого, – говорит, – тяжёленька: стоит моей «Лизы»!

Грибоедов посмотрел на него из-под очков и процедил сквозь зубы:

– Я не пишу пошлостей.

Фёдоров сконфузился.

– Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич. Я не только не хотел вас обидеть сравнением со мной, но право, готов первый смеяться...

– Вы над собой смеяться можете, а я никому не позволю.

– Ну право же, я вовсе не думал...

– О, я уверен, что вы сказали не подумавши!

Хозяин видел, что дело плохо; подошёл к Фёдорову и взял его за плечи.

– А вот мы в наказание Василия Михайловича в задний ряд кресел посадим.

– Сажайте куда угодно, но я при нём читать не буду, – объявил Грибоедов, встал и начал ходить по комнате, куря сигарку.

Фёдоров краснел, бледнел, чуть не плакал, бедненький; наконец взял шляпу.

– Очень сожалею, Александр Сергеевич, что невинная шутка моя была причиной такой неприятности, но чтобы не лишать хозяина и гостей удовольствия слышать вашу комедию, я

²²⁴ Фёдоров Василий Михайлович – чиновник гражданских ведомств, драматический писатель и поэт первой четверти XIX в.

ухожу.

Одоевский говорит: «Узнать Грибоедова значит полюбить». Может быть, я не люблю его, потому что себя не люблю, боюсь его как двойника своего.

Июля 9. У Одоевского завтракал. Голова разболелась. Хозяин уложил меня в свой кабинет, опустил шторы и обвязал мне голову полотенцем с уксусом. Задремал я. Проснулся от разговора в соседней комнате.

– Сочинитель Фамусова и Скалозуба, следовательно, весёлый человек. Тьфу, злодейство! Да мне вовсе не весело, скучно, несносно, отвратительно. Завиваюсь чужим вихрем, живу не в себе. А время летит; в душе горит пламя, в голове рождаются мысли. Отчего же я нем, нем как гроб? Гожусь ли я на что-нибудь, умею ли писать, – право, для меня всё ещё загадка. Душа черствеет, рассудок затмевается; впереди темно, тоска неизвестная... Воля твоя, если это ещё долго меня промучит, я никак не намерен вооружиться терпением, – пусть оно останется добродетелью тяглого скота... Саша, Саша, голубчик, ну, помоги, ради Христа, скажи, что мне делать, чем избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди...

«Вот тебе, Вася, и репка!» – вспомнилось мне словцо секунданта Каверина над убитым Шереметевым.

Жутко стало, как будто подслушал я двойника своего, который мне же обо мне рассказывал.

Одоевский утешал Грибоедова, но тот, уже не слушая, сел за клавесин и начал играть. Играл долго. Так целыми часами может импровизировать, забыв обо всём. Кажется иногда, что настоящее призвание его не литература, а музыка.

Я опять задремал и не слышал, как собрались наши. Говорили, должно быть, о делах тайного общества. Проснулся оттого, что музыка умолкла и мёртвые кости из мешка посыпались: Грибоедов смеялся.

– Ну, полно, господа, вздор молоть!

– Почему вздор?

– Сто человек прапорщиков хотят в России сделать революцию!

– Не сто человек, а весь народ...

– Ну, народ лучше оставьте.

Я вошёл в комнату. Грибоедов сжал свои тонкие губы, посмотрел из-под очков и прибавил уже без смеха, с неизъяснимой горечью:

– Народу до нас дела нет. Он разрознен с нами навеки. Господа и крестьяне в России – двух разных племён. И каким чёрным волшебством это сделалось, что мы чужие между своими? Изверги, шуты гороховые, хуже, чем немцы. Петрушкины дети...

– Какой Петрушка?

– Да он же, любимчик ваш, Пётр Великий, чтоб ему...

Выругался, засмеялся опять и забренчал одним пальцем по клавишам рылеевскую песенку:

*Ах, где те острова,
Где растёт трын-трава,
Братцы?*

– Ну, право же, господа, поедemте-ка лучше в Шустер-клуб. Сколько там портеру и как дёшево! Зададим тринкену, и к чёрту политику!

Идучи домой с Иваном Ивановичем Пуциным, напомнил я ему, как наемни Грибоедов звал нас в церковь: «В храмах Божьих, – говорит, – собираются русские люди, думают и молятся по-русски. Мы – русские только в церкви».

Пуцин задумался.

– Что ж, – говорит, – а ведь это, пожалуй, и правда?

– Какая правда? Вы-то сами, – говорю, – в церковь ходите?

– Хожу.

- И за царя молитесь?
- Нет; да ведь это не главное.
- Как же не главное, когда царь – глава церкви?
- Не царь, а Христос.
- У кого Христос, а у нас царь.
- Почему у нас?
- А потому, что *государи российские суть главою церкви*.
- Вы это откуда?

Я сказал откуда. Удивился он.

- Чудно. Как же этого никто не знает?

– Да, – говорю, – самодержавие свергаем, а на чём оно стоит, не знаем.

Помолчали.

– Так-то, – говорю, – Иван Иванович. Уж лучше в Шустер-клуб, чем в церковь. А то ведь – кошунство: что для народа – святыня, то для нас – трын-трава, по рылеевской песенке...

- Или сухая курица, – усмехнулся Пущин.

- Как это, – говорю, – сухая курица?

– А в Москве, – объясняет, – такой человек был: нарочно ездил в Киев, чтобы отвесть мощи, и на вопрос, какого они вкуса, отвечал: «Точно сухая курица, – ни сока, ни вкуса»...

Я не понял было, а потом рассмеялся так, что задохся, а Пущин посмотрел на меня с удивлением.

- Вот именно, святые мощи, как сухую курицу жуём!

Июля 11. Булгарин и Греч²²⁵ – издатели подлейших «Литературных Листков». Об этой парочке в «Сумасшедшем доме» Воейкова:²²⁶

*Тут кто? Гречева собака
Забегала вместе с ним:
То Булгарин забияка
С рылом мосичьим своим.*

Собаки – оба, Греч и Булгарин: гадят при всех и глядят на всех невинными глазами.

- Правда, что Греч служит в тайной полиции? – спросил наемный Рылеев.

- Вздор! Он предлагал себя, да его не взяли, – ответил Булгарин.

А подвыпив, начал обнимать и целовать Греча.

– Гречик мой, Гречишечка моя, я ведь понимаю, что ты, как верноподданный, обязан доносить обо всём; но мне, старому другу, признайся, чтобы я мог принять свои меры...

– Когда будет революция, мы тебе, Булгарин, на твоих «Литературных Листках» отрубим голову! – пугает его Рылеев.

– Помилуйте, господа, за что же? Ведь я либерал, не хуже вас. Отец мой – республиканец, по прозвищу Шальной, сослан в Сибирь за польское восстание, а я Фаддеем назван в честь Костюшки...

- И всё ты врешь, Фаддей!

- Клянусь же сединами матери!

- А вчера говорил, что мать твоя умерла?

- Ну, всё равно, тенью матери!

Грибоедов называет Булгарина своим Калибаном²²⁷ и ласкает его с нежностью.

²²⁵ Греч Николай Иванович (1787–1867) – писатель, журналист, редактор журнала «Сын Отечества» и др. изданий.

²²⁶ Воейков Александр Фёдорович (1777–1839) – поэт, критик, издатель.

²²⁷ Калибан – персонаж комедии Шекспира «Буря».

– Я ведь знаю, душа моя, что ты каналья, но люблю тебя за то, что ты умница.

Помирает со смеху, когда «великий сочинитель» рассказывает, как он спас Наполеона при переправе через Березину.

Намедни у Булгарина за ужином, нагрузившись Клико под звёздочкой, пели мы сначала похабные, а потом революционные песни. Квартира в нижнем этаже, на Офицерской, недалеко от съезжей. Булгарин то и дело выбегал в соседнюю комнату посмотреть, не взобрался ли на балкон квартальный подслушивать.

– Я не трус, коханные, я доказал это под Лейпцигом, где ранен был...

– Куда?

– В грудь.

– А не в зад?

– Нет, в грудь, клянусь сединами матери! Я не трус, а только двух вещей на свете боюсь: синей куртки жандармской да тантиной красной юбки...

«Танта», не то теща, не то жена тётка, старая сводня, бьёт его так, что синие очки приходится ему частенько носить на подбитых глазах.

С этими двумя негодями у нас такая дружба, что водой не разольёшь. Одного не хватает, чтоб и они вступили в тайное общество.

И как только втёрлись к нам? И за что мы их полюбили? Пущин говорит, что это особое русское свойство – любовь к свинству.

Когда один мой приятель сходил с ума, то всё казалось ему, что дурно пахнет; так и мне кажется всё, что пахнет Булгариным.

Сорок тысяч Булгариных не разубедят меня в том, что есть у нас правда; но мы унижаем её, себя унижая.

Грибоедов, в дни юности, служа в гусарах в Брест-Литовском, забрался однажды в иезуитский костёл на хоры. Собрались монахи, началась обедня. Он сел к органу, – ноты были раскрыты, – заиграл; играл чудесно. Вдруг смолкли священные звуки и с хоров зазвучала камаринская.

Как бы и нам, начав обедней, не кончить камаринской?

Шли на кровь, а попали в грязь.

Июля 12. А из грязи – опять в кровь.

Вчера собрание у Пущина. Рылеев представлял нам кронштадтских моряков, молоденьких лейтенантов и мичманов. У них образовалось будто бы своё тайное общество, независимо от нашего.

Сущие ребята, птенцы желторотые; все на одно лицо – Васенька, Коленька, Петенька, Митенька.

– Как легко, – говорит Митенька, – произвести в России революцию: стоит только разослать печатные указы из сената...

– Ежели, – говорит Коленька, – взять большую книгу с золотою печатью, написать на ней крупными буквами: Закон, да пронести по полкам, то сделать можно всё, что угодно...

– Не надо и книги, – говорит Петенька, – а с барабанным боем пройти от полка к полку – и всё полетит к чёрту!

По низложению государя предлагали объявить наследником малолетнего великого князя Александра Николаевича²²⁸ с учреждением регенции; или поднести корону императрице Елизавете Алексеевне, – она-де, по известной доброте своей, согласится на республику; или же, наконец, основать на Кавказе отдельное государство с новой династией Ермоловых, а потом завоевать Россию. Но главное, не теряя времени, завести тайную типографию в лесах и фабрику фальшивых ассигнаций.

Я уже хотел уйти, вспомнив изречение графа Потоцкого, когда предлагали ему удить рыбу: «Предпочитаю скучать по-иному». Но Рылеев оживил собрание, произнеся речь о цареубийстве.

²²⁸ Александр Николаевич (1818–1881) – великий князь, затем император Александр II.

– Стыдно, – говорит, – чтобы пятьдесят миллионов страдали от одного человека и несли ярмо его...

– Верно! Верно! – закричали в один голос Коленька, Петенька, Васенька, Митенька. – Мы все так думаем, все пылаем рвением! Надобно истребить зло и быть свободными!

– Купить свободу кровью!

– Последнюю каплю крови с весёлым духом пролить за отечество!

– Как Курций, броситься в пропасть, как Фабий, обречь себя на смерть!

– Господа, я за себя отвечаю, – выскочил вдруг самый молоденький мальчик; голубые глазки, как васильки, румяные щёчки с пушком, как два спелых персика, одет с иголочки, – видно, маменькин сынок. – Я готов быть *режисидом*,²²⁹ но хладнокровным убийцею быть не могу, потому что имею доброе сердце: возьму два пистолета, из одного выстрелю в *него*, а из другого – в себя: это будет не убийство, а поединок насмерть обоих...

А другой, постарше, точно весёлую игру объяснял с такой улыбкой, которой сто лет проживу не забуду.

– Нет, – говорит, – ничего легче, как убить государя во дворце на выходе: сделать в рукоятке шпаги пистолетик маленький и, нагнув шпагу, выстрелить.

Взял карандашик, бумажку и нарисовал рукоятку шпаги с отверстием, в которое вкладывается пистолетик игрушечный, наподобие тех, что детям на ёлку дарят.

– Пулька тоже маленькая, но можно хорошенько прицелиться, прямо в глаз либо в висок; а то сильным ядом отравить пульку, – тогда и царапины довольно, чтобы ранить насмерть.

И опять заговорили все вместе: убить одного государя мало, – надо всех.....

– Всех изгубить, не щадя ни пола, ни возраста!

– Уничтожить всех без остатка!

– И самый прах развеять по ветру!

– Славные ребята! – начал хвастать Рылеев, когда они ушли. – Вот бы из кого составить *обречённую когорту* ...

– Здрав рубашонки, розгой бы их как следует! – проворчал Каховский. – Молоко на губах не обсохло, а уже о крови мечтают...

– А вы что думаете, князь? – спросил меня Рылеев.

– Знаете, – говорю, – как называется то, что мы делаем?

– Как?

– Растление детей.

Он, кажется, не понял; по уходе моём спрашивал всех, за что я на него сердит.

Да, растление детей. Убивать гнусно, а говорить об убийстве, зная, что не убьёшь, ещё гнуснее.

Убить государя ничего не стоит: в Царском Селе – на разводах, на выходах, на улице – всегда один, без караула; пожалуй, и вправду из игрушечного пистолетика убить можно, а вот не убьём: «Рука не подыметься, сердце откажет».

Труссы, что ли? Нет, не трусы. В полку у нас был храбрый капитан: под картечью и ядрами – как за шахматной партией, а в спальне полотенце убирал на ночь, чтобы мертвеца не увидеть. Так и вот мы с царём: не знаем, полотенце или привидение?

И Софьин страшный сон вспоминается мне, как бросился я с ножом убить мёртвого. И лицо *его*, над гробом её, – живое, но мертвее мёртвого.

Выйти из общества – подлю, а оставаться в нём с такими мыслями – ещё подлее. Я не хочу святые мощи как сухую курицу жевать; не хочу растлевать детей; не хочу обедню с камаринской, кровь с грязью смешивать.

Июля 13. Объявил Рылееву, что выхожу из общества. Он хотел всё обратить в шутку, а когда увидел, что я шутить не намерен, – вспылал, объяснения потребовал, наговорил дерзостей. Я уже было надеялся, что кончится вызовом, но вмешался Пущин и уладил всё. Да и

²²⁹ Режисид (от фр. regicide) – цареубийца.

сам Рылеев как-то вдруг затих, присмирел, замолчал и отошёл от меня, опечаленный, точно пришибленный.

Мне жаль его: видит, что дела идут скверно, а всё бодрится, бедняжка. «Ежели и все оставят общество, – объявил намеренно, – я не перестану полагать оное существующим во мне одном».

Может быть, он и прав: блажен, кто верует.

Июля 14. Коссович рассказывал мне о духовном Союзе Татариновой.

– Я, – говорит, – буду хранить в сердце моём ясное свидетельство, что пророческое слово Екатерины Филипповны есть дар Святого Духа Утешителя. Господь дал ей надо мною власть: немощи мои несёт, питает и животворит меня. Истинно, мать моя, Богом данная. Чувствую, что в отеческий дом пришёл, как дитя к матери.

Катерине Филипповне был вещий сон обо мне, грешном; велела передать своё благословление.

Он зовёт меня к ней: одно-де маменькино словцо исцелит вас лучше всех лекарств.

Может быть, пойду. Не всё ли равно куда, в Английский клуб, на ужин к Булгарину или в Филадельфийское Общество?

Июля 15. Ездил с Коссовичем к Татариновой.

На краю города, за Московской заставой, у соснового бора, три деревянные дачи; ворота на запоре, собаки на цепях, высокий тын с острыми брёвнами; не то острог, не то скит. Внутри – тёмные переходы и лесенки. Комнаты имеют вид моленных: иконы, хоругви, паникадила, ставцы со свечами. В большой зале – изображение Духа Св., в виде голубя на потолке, и Тайная вечеря, во всю стену, картина академика Боровиковского.²³⁰

Госпожа Татаринова приняла нас в шальне, тесной келийке, где пахло лекарствами, ладаном и мускусом. Несмотря на июль месяц, натоплено и народу множество. Кого тут только не было: тайный советник, директор департамента в бывшем дядюшкином министерстве, Василий Михайлович Попов;²³¹ статский советник, директор Человеколюбивого Общества, Мартын Степанович Пилецкий; штабс-капитан Гагин; отставной поручик, племянник генерал-губернатора, мой бывший соперник на танцовщице Истоминой, Алёша Милорадович; командир лейб-гвардии егерского полка, генерал-майор Головин;²³² и какой-то старенький приказный, Лохвицкий,²³³ в сюртучке мухояровом, так называемое кувшинное рыло; и девица Пипер, госпожи Загрязской ключница; и прачка Лукерья; и Прасковья Убогая, должно быть, нищенка с церковной паперти.

Но любопытнее всех – Никитушка. Солдат, бывший музыкант Первого кадетского корпуса, а ныне титулярный советник (в сей чин возведён за пророчества), Никита Иванович Фёдоров – после маменьки первый у них наставник и пророк; старичок плюгавый, в засаленном фраке, со Станиславом в петлице и медною серьгой в ухе; похож на старого будочника; малограмотен, буквы с нуждою ставит, а музыкант отменный: слагает священные гимны на голос русских песен.

Никитушка сидел у маменькиных ног на низенькой скамеечке и перебирал тихонько струны на гуслицах.

²³⁰ Боровиковский Владимир Лукич (1757–1825) – знаменитый художник.

²³¹ Попов Василий Михайлович (1771–1842) – секретарь С.-Петербургского библейского общества, директор департамента народного просвещения, в 1837 г. за изуверские истязания собственной дочери сослан в монастырь.

²³² Головин Евгений Александрович (1782–1858) – генерал-майор, во время выступления декабристов помешал выходу Финляндского полка на Сенатскую площадь, позже генерал от инфантерии, варшавский, прибалтийский губернатор.

²³³ Лохвицкий Кондрат Сергеевич – чиновник адмиралтейской коллегии.

Госпожа Татаринова полулежала, больная, в спальнях кожаных креслах. Лицо измождённое, сухое, смуглое; на верхней губе усики; похожа не то на старую цыганку, не то на Божью Матерь Одигитрию, чей образ тут же висел, в головах над постелью. Глаза – прозрачно-жёлтые, должно быть, в темноте как у кошек светятся. Никогда я не видывал у женщины таких мужских глаз, и это мужское в женском весьма привлекательно.

Обращение светское: урождённая баронесса Буксгевден, воспитанница Смольного; говорит по-французски лучше, чем по-русски.

– Если вам не понравятся в нашем Филадельфийском Обществе, – сказала мне с достоинством, – покорнейше просим только не рассказывать: мир имеет и без того довольно предметов для осуждения.

И потом – на ухо, с таким ласковым видом, как будто мы с нею старые друзья:

– Я знаю, у вас большое горе; но имейте надежду на Господа...

Я боялся, что заговорит о Софье; кажется, тотчас же встал бы и ушёл. Но, должно быть, поняла, что нельзя об этом говорить, замолчала и потом прибавила:

– Сердце человеческое подобно тем древам, кои не прежде испускают целебный бальзам свой, пока железо им самим не нанесёт язвы...

Наконец спросила прямо, просто, почти грубо, – но и грубость сия мне понравилась: верю ли в Бога? И когда я сказал, что верю:

– Не знаю, – говорит, – как вы, князь, а я давно заметила, что никто не отвергает Бога, кроме тех, кому не нужно, чтобы существовал Он.

– Или, быть может, – добавил я, – кому нужно, чтобы не существовал Он.

– Вот именно, – сказала, наклонив голову, как бы в знак совершенного согласия нашего.

Заметив, что я удивляюсь, как Никитушка с генералом Головиным обходится вольно, а тот с ним – почтительно, сказала по-французски, не без тонкой усмешки:

– Не надобно удивляться тому, что действия духовные открываются в наше время преимущественно среди низшего класса, ибо сословия высшие, окованные прелестью европейского просвещения, то есть утончённого служения миру и похотям его, не имеют времени предаваться размышлениям душеспасительным; наконец, при самом начале христианства, на ком явились первые знаки действия Духа Божьего? Не на малозначащих ли людях, в народе презренном и порабощённом, минуя старейшин, учителей и первосвященников?

И заключила по-русски, положив руку на голову Никитушки с материнскою нежностью:

– Непостижимый Отец Светов избрал некогда рыбарей и простых людей; так и ныне изволит Он обитать с ними. Ты что думаешь, Никитушка?

– Точно так, маменька; ручку позвольте, ваше превосходительство! Немудрое избрал Бог, дабы постыдить мудрых века сего! Как и в песенке нашей поётся:

*Дураки вы, дураки,
Деревенски мужики,
Ровно с мёдом бураки!
Как и в этих дураках
Сам Господь пребывает, –*

запел вдруг голосом тонким, перебирая струны на гуслицах.

И прачка Лукерья, и Прасковья Убогая, и девица Пипер, и приказный, кувшинное рыло, и статский советник Пилецкий и тайный советник Попов, и генерал-майор Головин – все подпевали Никитушке.

Вспомнились мне слова Грибоедова о том, что простой народ разрознен с нами навеки; а ведь вот не разрознен же тут? Полно, уж не это ли путь к спасению, к соединению несоединённого?

– Ну что, как? – спросил меня Коссович, выходя от маменьки.

– Умна, – говорю, – чрезвычайно умна!

Старичок покачал головой.

– Вы, – говорит, – князь, приписываете уму то, что проистекает из Премудрости

Божественной...

От Бога ли, не знаю, а только и впрямь вещая баба.

Июля 19. Повадился я к маменьке. Думал, будет смешно, – нет, жутко. И всё ещё не знаю, что это, премудрость или безумие, святыня или бесовщина? А может быть, то и другое вместе! Как в Никитушкиных песенках, – слова святые, а музыка такая, что плясать бы ведьмам на шабаше. А ведь и маменькины детки пляшут, *радеют* под эту музыку.

– Радение есть радование, – говорит Коссович, – как бы духовный бал, в коем сердце предвкушает тот брачный пир, где ликуют девственные души. Сам царь Давид пред Кивотом Завета плясал. Пляшем и мы, яко младенцы благодатные, пивом новым упоённые, попирая ногами всю мудрость людскую с её приличиями. И вот что скажу вам, князь, как медик: святое плясанье, движение сие, как бы в некоем духовном вальсе, укрепляет нарочито здоровье телесное, ибо производит в нас такую транспирацию, после коей чувствуем себя, как детки малые, резвыми и лёгкими...

Так-от всё так, – а жутко.

Престранную запел наемни Никитушка песенку:

*На седьмом на небеси
Сам Спаситель закатал!
Ах, душки, душки, душки!
У Христа-то баимачки
Сафияненькие,
Мелкостроченные!*

В словах сих, почти бессмысленных, некий священный восторг сочетался с кабацкой удалью. А у тайного советника Василия Михайловича Попова, вижу, и руки и ноги вдруг зашевелились, задёргались, – кажется, вот-вот пойдёт плясать, как на Лысой горе.

И смех, и ужас напал на меня, – *хлад мраза тонка* . как говорят мистики.

Июля 20. Тайный советник Попов наемни при всех объявил:

– Я, маменька, имею намеренье сапоги чистить, что принимаю за совершенную волю Божью, – только стыжусь...

– Чего же ты стыдишься, дружок?

– А Прощка что скажет?

– А ты, Вася, смирись, – посоветовал Никитушка.

– Были мы в субботу в баньке с Мартыном Степановичем, – продолжал Попов, – окатились холодной водою трижды, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. А Мартын Степанович и говорит: «Дай, говорит, Вася, я тебя ещё раз окачу». Взял шайку и во имя Святой Девы Марии вылил на меня воду, и тотчас же как бы разверзлась некая хлябь из внутреннего неба моего и чистейшею рекою всего меня потопила. И ощутил я, что Матерь Господа пременяет звёздное тело души моей на лунное своё тело и в ночи Сатурна открывает свет премудрости...

И Мартын Степанович Пилецкий всё это подтвердил в точности.

А с приказным, кувшинным рылом, тоже на днях было чудо.

– Сижу я, – говорит, – у именинника, головы купеческого, Галактиона Ивановича, и вижу, штаны у меня худы, в дырах; устыдился, хотел закрыть, а внутренний глас говорит: «Не закрывай, сё слава твоя!» И внезапно приятным ужасом исполнился я, так что всё бытие моё трепетало...

Потом о новоявленных мощах преподобного Феодосия Тотемского заговорили.

– Вот, – говорит штабс-капитан Гагин, – премудрый Невтон, соединивший математику с физикой, умер и сгнил, а наш русский простячок, двести лет в земле лёжа, не сгнил..

Тут все глумиться начали над суетным разумом человеческим, коего свет подобен-де свету гнилушки.

А Попов покосился в мою сторону. Лицо у него бескровно-бледное, бледно-голубые глаза

«издыхающего телёнка» (так сказала одна дама о Сперанском), а огоньки ведьмины в них так и прыгают.

– Многие, – говорит, – нынче стали смердеть учёностью и самым смердением сим похвалиться. Пятачок бы им поджарить, предать плоть во измождение, да спасётся дух...

Уж не заболел ли я и вправду белой горячкой? Маменька – умная женщина. Как же терпит она? Или ей на руку?

*Дураки вы, дураки,
Ровно с мёдом бураки...*

Должно, однако, согласиться, что есть в меду сём ложка дёгтю.

Июля 21. Алёша Милорадович изъяснял мне таинственное учение о бесстрастном лобзании.

– Человек сообщает в оном магическую тинктуру для зачатия потомства, как некогда Адам в раю, и хотя уже ныне тинктура сия сообщается через грубый канал, но в небесной любви состояние сверхнатуральное вновь достигается, в коем деторождение происходит не по уставу естества, от плотского смешения, а от лобзания бесстрастного...

Бедный Алёша! Сверхнатуральное состояние довело его до злой чахотки.

Денщиком своим, рядовым Федулом Петровым, обращён был в скопчество, влюбился в ихнюю богородицу, девку распутного поведения, Лебедянскую мещанку Катасонову, и сам едва не оскотился.

Когда узнали о том при дворе, – взбеленились наши кумушки: лейб-гвардии поручик, генерал-губернатора племянник, красавец Алёша – скопец! Дело дошло до государя, и Кондратия Селиванова, учителя скопцов, из Петербурга выслали.

Филадельфийская церковь многое от них заимствует: сама, говорят, маменька была у них на выучке. «Господи, если бы не скопчество, то за таким человеком пошли бы полки за полками!» – говорил Попов о Селиванове.

Когда кончил Алёша о бесстрастном лобзании:

– И вы, – говорю, – во всё это верите?

– Верю. А что? Разве мало и в христианских таинствах уму непостижного?

– Да, конечно... А помните, Алёша, Истому? Помните балы у Вяземских? Как чудесно танцевали вы мазурку!

– Что, – говорит, – вспоминать безумства?

Потутился, а потом вдруг поднял глаза, улыбнулся прежней улыбкой, и на бледных щеках зардели два алые пятнышка.

– Нет, – говорю, – я не жалею о прошлом. Вот, князь, вы говорите: балы, а знаете, раденья лучше всяких балов...

Бедный Алёша!

Июля 22. Не влюблены ли и мы в маменьку, как Алёша в свою богородицу?

– Маменька! Голубица моя! Возьми меня к себе, – стонет, как томная горлица, краснорожий, толстобрюхий штабс-капитан Гагин.

– Малюточка моя, – утешает маменька, – жалею и люблю тебя, как только мать может любить своё дитяtko. Да будет из наших сердец едино сердце Иисуса Христа!

А генерал-майор Головин, ведавший некогда фанагорийцев в убийственный огонь Багратионовых флешей, теперь у маменьких ног, лев, укрощённый голубкою.

Старая, больная, изнурённая, более на мертвеца, чем на живого человека, похожая, а я понимаю, что в неё влюбиться можно. Страшно и сладостно сие утончённое кровосмешение духовное: детки, влюблённые в маменьку.

Только дай себе волю – и затоскуешь о жёлтеньких глазках, как пьяница о рюмочке.

Июля 23. Хорошо сказал о мистиках мистик Лабзин:²³⁴ «Господа сии заходят к Богу с заднего крыльца». И ещё: «От ихней премудрости божественной – *человечиною* пахнет».

Июля 24. Никитушке было пророчество:

*Что же делать? Как же быть?
Надо кровью Русь омыть.*

И Прасковье Убогой тоже:

*Я великого царя
В сыру землю уложу...*

Должно быть, заметил Коссович, когда мне сказывал о том, как я побледнел.

Какой царь? Какая кровь?

А что, если пророчество исполнится? Соединение двух тайных обществ?

Июля 25. Говоря о гонениях, на Филадельфийскую церковь воздвигнутых, генерал-майор Головин объявил:

– Сам дьявол поселился ныне в сердцах всех лиц высшего правительства.

А у меня и уши на макушке: недаром, думаю, мечтали некогда издатели «Сионского Вестника» о конституции Христовым именем.

Заговорил я о политике. Но не тут-то было, – маменька остановила меня.

– Мы, – говорит, – надежды наши простираем за пределы сего ничтожного мира, где бедствия полезней радостей, а посему и не входим ни в какие суждения о делах политических...

Из одного тайного общества – в другое: в одном – люди без Бога, в другом – Бог без людей; а я между сих двух безумств, как между двух огней.

Опять – *не соединено*.

Июля 26. Жара, пыль, вонь. Скверно в Петербурге летом. Из лавочек кислую капустою несёт, из строящихся домов – сыростью и нужником: каменщики где строят, там и гадят. Ломовые везут железные полосы с оглушающим грохотом. С лесов белая извёстка сыплется. А голубое небо – как раскалённая медь.

Брожу по улицам, точно во сне; иногда очнусь и не знаю, где я, что я, куда и откуда иду; голова кружится, ноги подкашиваются – вот-вот свалюсь.

Намедни, в Шестилавочной, вижу, пьяный маляр висит в люльке на верёвках, красит стену, поёт что-то весёлое, а когда опускают люльку, – качается, вертится в ней, точно пляшет; гляжу на него и смеюсь так, что прохожие смотрят; вспомнился тайный советник Попов, под Никитушкину песенку пляшущий:

*Ай, душки, душки, душки!
У Христа-то башмачки
Сафияненькие,
Мелкостроченные!*

Смеюсь, смеюсь, а пожалуй, и вправду досмеюсь до белой горячки.

Июля 27. Художник Боровиковский – старый добрый хохол, кажется, горький пьяница. Затащил меня намедни в ресторанцию «пить с ромом», то есть чай с ромом.

Подвыпив, доказывал, что «Божество есть высшая красота» и что он в художестве

²³⁴ Лабзин Александр Фёдорович (1766–1825) – вице-президент Академии художеств, масон, мистик, издатель журнала «Сионский вестник».

красоты этой служит, да никто его не понимает. На Филадельфийских братьев жаловался:

– Ни одного нет искреннего ко мне и любящего, а где нет любви, там всё ничто. Да вот хоть Мартына Степановича взять: сей господин Пилецкий, как пилой, пилит сердце моё, отчего прихожу в крайнее уныние и безнадёжность. А тайный советник Попов...

Тут рассказал он такое, что не знаю, верить ли; а вспоминаю жёлтенькие глазки, что в темноте как у кошки светятся, – и, пожалуй, верить готов.

Дочь Попова, Любенька, пятнадцатилетняя девочка, чувствует омерзение к Филадельфийским тайнствам и маменьку в глаза ругает старую ведьмою, а кроткий изувер Попов, полагая, что дочь его одержима бесами, для изгнания оных истязует её, запирает в чулан, морит голодом и сечёт розгами так, что стены чулана обрызганы кровью, – того и гляди засечёт до смерти. И всё это будто бы по приказанию маменьки, полученному от Бога.

Без Бога – цареубийство, с Богом – детоубийство; от крови ушёл я и к крови пришёл. Несоединенного соединения, двух тайных обществ основание едино – кровь.

Нет, тут уж не *человечиной* пахнет.

Белая горячка! Белая горячка!

Полно, будет с меня. Пока не поздно – бежать.

Июля 28. Нельзя бежать, надо испить чашу до дна, понять чужое безумие, хотя бы самому рассудка лишиться.

Алёша Милорадович поведал мне учение скопцов о Царе Христе.

Кондратий Селиванов есть государь император Пётр Третий; он же второй Христос. Царь над всеми царями и Бог над всеми богами; вскоре воцарится на российском престоле, и весь мир признает его Сыном Божиим.

Так вот что значит «государи российские суть главою церкви»! Вот кого хотели мы убить из игрушечного пистолетика! Это уже не полотенце, которое привидением кажется, а оно само.

Что в парижских беседах с Чаадаевым видели мы смутно, как в вещем сне, то наяву исполнилось; завершено незавершённое, досказано недосказанное, замкнут незамкнутый круг.

Бежать от этого – бежать от истины.

Я попросил Алёшу сводить меня к скопцам.

Июль 31. Был у скопцов. Спасибо дядюшке, Александру Николаевичу Голицыну: они считают его своим благодетелем, и меня как родного приняли.

– Ну, князенька, да ты, никак, *приведён* ? – сказал мне уставщик ихний, Гробов.

«Приведён» – значит обращён в скопчество.

Когда же я от сей чести отказался, он усмехнулся лукаво.

– Я сквозь тебя вижу, ваше сиятельство; вам не скрыть, не стаить, за спиной не схоронить: вы, благодетели наши, того же хотите...

– Чего мы хотим?

– А чтоб Господь на земле самодержавно царствовал.

Августа 1. На Васильевском острове, на углу 13-й линии и Малого – трактир купца Ананьева; в нижнем этаже заведение или, попросту, кабак, а в верхнем – горницы «чистые», хотя тоже довольно грязные. В одной из них происходят беседы наши.

Солнце бьёт в окна, мухи жужжат. На столе – самоварище; пар такой, что запотело зеркало. Скопцы любят чай: за одну беседу выпивают самоваров полдюжины; а когда распарятся, пахнет от них потом, – запах, напоминающий выхухоль. Лица – жёлтые, сморщенные, точно водянойкой раздутые. Жутко мне было сначала, а потом ничего, привык. Люди как люди; без бород, без усов и без прочего, но не без ума. Природные философы.

Ещё большая здесь демократия, чем у маменьки. Сам хозяин трактира, купец Ананьев, Милютин, Ненастьяев, Солодонилов – все миллионщики, – и тут же саечный разносчик мещанин Курилкин, беглый солдат артиллерийского гарнизона, фейерверкер Иван Будылин; рядовой Федул Петров тот самый, что обратил Алёшу в скопчество; и канцелярист Душечкин, во фраке, с медалью 12-го года; а самая важная особа – придворный лакей Кобелев. Сослан в Соловецкий монастырь, бежал оттуда и проживает в столице по фальшивому паспорту. Старичок

слепенький, глухенький; шамкает невразумительно. В Ропше был в 1762 году и «своими глазами видел всё». Свидетельствует, что Кондратий Селиванов есть государь император Пётр Третий.

Мы с Алёшею сидим на диване, скопцы на стульях, по стенке, а посередине комнаты уставщик Гробов читает наизусть, как дьячок, «Страданий света истинного государя батюшки оглашение» – повесть о том, как российский самодержец «пошёл волей на страды».

Сын пренепорочной девы, императрицы Елизаветы Петровны, воспитан и оскроплен в Голштинии. Супруга его императрица Екатерина Вторая, предавшись *лепости* – похоти, задумала убить мужа, когда узнала, что он не способен к сожителству брачному. Но тот бежал из Ропшинского дворца в платье убитого за него часового. В Москве схвачен обер-полицеймейстером Архаровым, бит кнутом и сослан в Сибирь на каторгу, где скован кандалами поножно с разбойником Иваном Блохою, первым исповедником Сына Божиего. Опять бежал; укрывался в падёжной яме, во ржи, в подполье, в свином корыте. «Так было мне, Богу Всевышнему, небо – свиное корыто», – говорит искупитель; и опять схвачен: шейку железом оковали, ротик рвали, били плетью, окровавили рубашечку, из тюрьмы в тюрьму волочили. «Я, – говорит, – сто тюрем обошёл и вас, детушек, нашёл».

– Так страдал творец от твари! – заключает Гробов, и слушатели все вздыхают:

– Столько-то наш государь-батюшка изволил страдать, а мы за него не хотим!

От умиления плачут и ещё больше потеют, – такая в воздухе выхухоль, что мне почти дурно.

А из кабака снизу пьяные песни доносятся. «У меня-де, отца, много детушек ещё за кабаками валяется, а мне и пьяниц-то жаль!» – говорит искупитель.

Уставщик продолжает читать «Оглашение» и открывает последнюю тайну Царя-Христа. Белый Царь – значит *убелённый* . оскропленный:

*Как Христом пелена,
Наша плоть убелена.*

«Ныне-де порфира царская – от крови алая, но кровью Агнца убедится паче снега, – тогда и будет Белый Царь. Белым станет красное солнышко, – и весь мир убелится».

«И тогда, – говорит искупитель, – соберу я всех детушек под единый кров. И вся земля мне поклонится; все цари земные повергнут скипетры и венцы к стопам моим, и будет царствие моё на земле, как на небе».

Безумство, бред, – а что-то знакомое слышится: не мечта ли императора Александра Благословенного – феократия, царство Божие, монаршею волей Объявленное, – Священный союз?

И ещё иная мечта (об этом никто не знает, а я слышал от Софьи) – отречение государя от престола – не те же ли *страды* ? Не мечта ли всей России – страдающий царь, страдающий Бог?

Августа 2. «В русском царе – сам Бог Саваоф и с ручками, и с ножками», – говорят скопцы и смотрят невинно, как дети. Тоже растление детей.

Кто это сделал? Кто виноват?

Не всей ли России вина – на малых сих, и не даст ли ответ за них Богу вся Россия?

Августа 3. Намедни беглый солдат Иван Будылин показывал старинный серебряный рубль и полтину.

– Знаете, – говорит, – детушки, чьи портреты?

– Знаем: батюшкин и матушкин.

И, крестясь, целовали на рубле изображение Петра Третьего, а на полтине – Елизаветы Петровны, – Христа и Божьей Матери.

Августа 4. Оскропляют себя, лишают естества мужского, дабы пламенеть любовью женственной к Царю, Жениху единому.

Августа 5. Не всё у них бред, не всё сказка – есть и быль.

В 1805 году, осенью, перед Аустерлицким походом, император Александр I посетил Кондратия Селиванова, долго беседовал с ним наедине, и тот будто бы предсказал ему неудачу похода.

О свидании том в ихних песнях поётся:

*Как во Питере, во граде,
Чудеса тут претворились:
Не два солнца сокатились,
Прииёл явный государь
Ко небесному в алтарь.*

«Я всего отрёкся и всё Алексаше отдал», – говорит искупитель.

У дядюшки моего, министра, видел я секретную записку Магницкого, поданную государю в прошлом 1823 году: «План воспитания народного». «В России в основное начало народного воспитания должно положить две религии – первого и второго величества». Слова сии тогда же, у дядюшки, я выписал. И далее: «Верный сын церкви православной истинным помазанником, Христом Божиим, не можем признать никого, кроме Помазанного на царство церковью православною».

Так вот что значит *религия двух величеств* : одно величество – Христос, Царь Небесный; другое – Христос, царь земной, самодержец российский:

*Прииёл явный государь
Ко небесному в алтарь.*

Завершено незавершённое, досказано недосказанное, замкнут незамкнутый круг.

Августа 6. Алёша Милорадович достал у придворного лакея Кобелева прожект скопца-камергера, статского советника, Алексея Михаловича Еленского об учреждении в России феократического образа правления. В 1804 году, незадолго до свидания «двух величеств», прожект подан государю через товарища министра юстиции, Николая Николаевича Новосильцева.

Для успешной борьбы с Наполеоном камергер Еленский предлагал учредить *Божественную Канцелярию* из православных иеромонахов и скопцов-пророков. Иеромонахи должны быть учёными, а пророки – «простячками», потому что «вся благодать в простячках». По одному иеромонаху с пророком на каждый военный корабль и в каждую дивизию действующей армии, дабы секретно пророческим гласом совет предлагать. Сам камергер Еленский с двенадцатью пророками обязан всегда находиться при главном военном штабе, «а наш Настоятель Богодухновенный Сосуд (Кондратий Селиванов) – при лице самого государя императора». Когда всё это будет исполнено, то «и без великих сил военных победит Господь всех врагов и защитит возлюбленную Россию Свою, да познает весь мир, яко с нами Бог».

Камергер Еленский заточён в Суздальскую крепость, а через десять лет прожект исполнен, учреждена, под видом Священного Союза, Божественная Канцелярия.

Августа 7. Видел Рылеева издали на улице.

Как давно, как далеко, точно в мире ином!

Я перешёл на другую сторону, как будто испугался, застыдился. Чего же? Разве я в чём виноват перед ними и разве не совсем ушёл от них?

А как бы им надо знать то, что я теперь знаю. Если бы поняли! Да нет, не поймут.

Августа 8. На раденье у скопцов – с шести часов вечера до шести утра. Шатаюсь, как пьяный; горячка, должно быть, начинается. Ну что ж, слава Богу! Надо же, чтоб всё это чем-нибудь кончилось.

Горний Сион – дом купца Солодовникова, в Хлебном переулке, Литейной части, у

Лиговки, одноэтажный, деревянный, окружённый садом, с горенкой вверху, где жил икупитель. Над дверями горенки золотыми буквами: Святый Храм. Стены выкрашены небесно-голубою краскою; потолок расписан херувимами; на полу ковёр с вытканными ангелами и архангелами. Высокое ложе с кисейным пологом и золотыми кистями. Здесь, на пуховиках, как на облаках небесных, возлежал некогда царь-батюшка, сам Бог Саваоф. Тут же на стене – портрет его: древний старик, похожий на бабу; на голове и бороде волосы тонкие, редкие, седина с желтизной; острижен по-крестьянски. Одет в богатый левантиновый²³⁵ шлафрок.²³⁶ На коленях белый, с голубыми и красными цветочками, платок – «Божий покров». Скопцы прикладываются к портрету, как к образу, крестясь и приговаривая: «Здравствуй, государь-батюшка, красное солнышко!» Многие чувствуют при сём теплоту, как от живого тела, и благоухание.

Радение происходило внизу, в двух больших горницах с гладким липовым полом; одна – для мужчин, другая – для женщин. Комнаты разделены узким проходом с двумя широкими и низкими, почти вровень с полом, окнами-дверьми, одно против другого – в мужскую половину и в женскую. Здесь ставилось высокое ложе царское, с коего батюшка благословлял радеющих.

Мужчины в длинных белых рубахах-саванах; женщины в белых сарафанах сидели на лавках чинно; в левой руке – белый платок, а в правой – зажжённая восковая свеча; ноги босы.

Среди женщин – та самая лебедянская мещанка, девица Катасанова, матушка Акулина Ивановна, богородица, в которую влюблён Алёша. Красавица, а по лицу видно, что могла сделать то, что о ней говорят: девке Фёкле из ревности выжгла сосцы раскалённым железом, «до косточки».

Запели голосами протяжными, глухими, как бы далёкими:

Царство, ты царство, духовное царство, –

песню, коей всегда начинается радение.

В мужской половине на середину комнаты вышел старичок благообразный, на скопца непохожий, отставной солдат инвалидной команды, Иван Плохой, вестник от заточённого в Суздале государя-батюшки. Все встали, крестясь обеими руками (птица не летает об одном крыле, а молитва есть полёт *белого голубя*); поклонились ему трижды. Он ответил земным поклоном и начал раздавать из кулька батюшкины гостинцы: от царского стола корочки, сухарики, жамочки, финифтяные образки и «части живых мощей» – ладанки с волосами и обрезками ногтей, пузырёк с водою, в которой батюшка мыл ноги, и лоскутки его, государевых, подштанников. По тому, как принимаются дары сии, видно, что он для них воистину Бог, «и с ручками и с ножками».

Потом громким голосом, так что слышно было в обеих горницах, вестник проговорил слова, которые велел сказать батюшка:

– «Я, – говорит отец, – весел и только телом в неволе, а духом всегда с вами, детушки! Не оставлю вас; вы мои последние сироты!»

Дальше старичок от умиления говорить не мог – заплакал, и все начали плакать. Плач перешёл в вопль, в рыдание и в песню, пронзительно-унылую, подобную тем, коими причитают бабы в деревнях над покойником:

*Ах, ты, свет, наше красно-солнышке,
Государь ты наш, родимый батюшка!
Укатило наше красно-солнышко
Ты во дальнюю сторонушку!*

²³⁵ Левантин: старинная одноцветная – иногда полосатая – шёлковая ткань, затканная золотом и цветами.

²³⁶ Шлафрок (шлафор) (нем. Schlafrock), длинный просторный домашний халат, подпоясанный обычно витым шнуром с кистями.

Расстройство ли нервов, действие ли звуков сих, хватающих за сердце, но я едва удерживался от слёз. Как бы истина во лжи мне слышалась: всё та же молитва – *adveniat regnum tuum* – из преисподней возглашённая.

Наконец рыдание стихло, и зашептали все друг другу на ухо тайную весть:

– Батюшка родимый от нас недалече, из темницы выведен и скоро явится...

– Явится! Явится! – пронёсся радостный шёпот в толпе, как в лесу весенний шум.

Лица просветлели, и вдруг плясовая, весёлая песня грянула:

*Как у нас на Дону
Сам Спаситель во дому!*

Пели и хлопали в ладоши, ударяли себя по коленям, по ляжкам; топали ногами в лад и тяжело, отрывисто дышали, все враз, как один человек.

*Как у нас на Дону
Сам Спаситель во дому!
И со ангелами,
Со архангелами.*

Вдруг смолкли, и в тишине зазвенел один женский голос, чудесный – сама Каталани²³⁷ позавидовала бы; то пела Катасонова:

*Мой сладимый виноград –
Паче всех земных отрад.
Сокол с неба сокатился,
Дух Небесный встrepенился!*

Мороз пробежал у меня по спине; раскалённое железо, коим сосцы у девки Фёклы выжжены, послышалось мне в этом голосе.

И опять все слова слились торжественно, дико и грозно, как голоса налетающей бури:

*Претворилися такие чудеса,
Растворилися седьмые небеса,
Сокатилися златые колёса,
Золотыя, ещё огненные...*

И вдруг что-то покатилося, закружилось, белое. Трудно было поверить, что это человек: ни лица, ни рук, ни ног – только белый вертящийся столб, как столб снега в метели, а там и другой, и ещё, и ещё, и ещё – вся комната наполнилась белыми вихрями. Рубахи-саваны, вздувшись от воздуха, образовали эти столбы. Вертятся, вертятся, вертятся – и ветра вой, свист, визг, как от снежной бури в степи.

Я глядел, и голова у меня кружилась; иногда забывался, как будто терял сознание, и казалось мне, что вместе со всеми лечу и я; иногда опоминался и видел, как плясуны, изнеможённые, остановившись, выжимали мокрые от пота рубахи, вытирали полотенцами лужи пота на полу, и знакомый острый запах душил меня, как выхухоль; но тотчас же опять забывался я.

Испытывал чувство неизъяснимое: сквозь ужас – восторг, подобный тому, который я испытывал уже много раз, много лет назад, когда на Лейпцигском поле, перед сражением, мимо нашей дивизии проскакал на коне государь император, и с пятидесятитысячною громадою войск кричал я «ура!» и готов был, умирая, сказать царю моему, Богу моему: «Здравствуй,

²³⁷ Каталани Анжелика (1780–1849) – итальянская оперная певица, в 1823–1825 гг. выступала в Москве и Петербурге.

государь-батюшка, красное солнышко!»

Тогда – красное, а ныне – белое. И с белой метелью к белому солнцу лечу...

Сентября 9. Возобновляю записки сии через месяц, в Царском Селе, в Китайском домике, куда перевёз меня дядюшка.

Я был болен, дней десять лежал без памяти, едва жив остался. Поправляюсь медленно, но всё ещё слаб.

Дни тихие, тёплые, точно весенние. Жёлтые листья кружатся, как золотые бабочки; паутинки летают осенние в хрустально-чистом воздухе; томно бледнеют астры, ярко темнеют георгины печальные. А из голубого неба журавлей невидимых крики доносятся, как будто зовут они в страну, откуда путник не возвращается.

Сентября 10. Царское Село опустело. Государь уехал шестнадцатого августа в восточные губернии. Императрица Елизавета Алексеевна живёт во дворце одна, её почти не видно и не слышно.

Государь перед отъездом обо мне спрашивал дядюшку, желал видеть меня и, когда узнал, что я болен, послал ко мне лейб-медика Штоффрегена, который, говорят, спас мне жизнь: Коссович залечил бы до смерти. Так вот отчего был так заботлив дядюшка: не ему, а государю обязан я спасением жизни.

Штоффреген говорит: «Скоро молодцом будете». Да, тело здорово, жив, – а жить нечем.

Сентября 12. Николай Михайлович Карамзин – мой сосед по Китайскому домику. Мы с ним знакомцы давние: встречались у Олениных²³⁸ и Вяземских. Дядюшка поручил меня заботам Катерины Андреевны Карамзиной;²³⁹ она ко мне добра; Николай Михайлович тоже: знает, конечно, и он о государевой милости; намекает на камергерство моё в скором будущем.

Милый старик – весь тихий, тишайший, осенний, вечерний. Высокого роста; полуседы волосы на верх плешивой головы зачёсаны; лицо продолговатое, тонкое, бледное; около рта две морщины глубокие: в них *Бедная Лиза* – меланхолия и чувствительность. Смеяться не умеет: как маленькие дети, странно и жалобно всхлипывает; зато улыбка всегдашняя – скромная, старинно-любезная, – так теперь уже никто не улыбается. Орденовая звезда на длиннополой бекеше, тоже старинной; и пахнет от него по-старинному, табачком нюхательным да цветом чайного деревца. Тихий голос, как шелест осенних листьев.

Гуляем в парке; Штоффреген позволил мне прогулки недолгие. Шагами тихими и ровными ходим, оба опираясь на палочки, как старики-ровесники.

Царскосельские кущи в багреце и золоте осени; бледные мраморы статуй, как бледные призраки, жёлтые листья, под ногами шуршащие; лебединые клики с туманных озёр в наступающих сумерках – всё наводит ту меланхолию сладкую, коей некогда был Карамзин певцом столь пленительным.

А когда вижу императрицу издали, в вечерней тени, как тень, проходящую, то кажется, – все мы трое – тени, отошедшие в царство теней, в безмолвный Элизиум.

Сентября 18. Жизнь Карамзина единообразна, как маятника ход в старинных часах английских. Утром работа над XII томом «Истории Государства Российского». «В хорошие часы мои, – говорит, – описываю ужасы Иоанна Грозного». Потом – прогулка пешком или верхом, даже в самую дурную погоду. «После такой прогулки, – говорит, – лучше чувствуешь приятность тёплой комнаты». Обед непременно с любимым рисовым блюдом. Трубка табаку, не больше одной в день. Нюхательный французский – всегда у Дазера покупается, а чай с

²³⁸ Оленин Алексей Николаевич (1763–1843), президент Академии художеств, и его жена Елизавета Марковна (1768–1838) – хозяйка известного в 1820–1830-е гг. петербургского литературного салона.

²³⁹ Карамзина Екатерина Андреевна, урожд. Колыванова (1780–1851) – с 1807 г. жена Н. М. Карамзина.

Макарьевской ярмарки выписывается, каждый год по цибику.²⁴⁰ На ужин – два печёных яблока и старого портвейна рюмочка.

Екатерина Андреевна ещё не старая женщина: прекрасна, холодна и бела, как снежная статуя, настоящая муза важного историографа. Когда благонравные детки собираются вокруг маменьки вечером, за круглым чайным столом, под уютной лампою, и она крестит их перед сном: «*Bonne nuit, papa! Bonne nuit, maman!*²⁴¹» – залюбоваться можно, как на картинку Грезову. Потом жена или старшая дочь читает вслух усыпительные романы госпожи Сюза. Николай Михайлович садится спиной к лампе, сберегая зрение, и в чувствительных местах плачет. А ровно в десять, с последним ударом часов, все отходят ко сну.

– Лета и характер, – говорит, – склоняют меня к тихой жизни семейственной; день за днём, нынче как вчера. Усердно благодарю Бога за всякий спокойный день.

– Ваше превосходительство, – говорю, – вы мастер жить!

А он улыбается тихой улыбкой.

– Счастье, – говорит, – есть отсутствие зол, а мудрость житейская – наслаждаться всякий день, чем Бог послал. В тихих удовольствиях жизни успокоенной, единообразной хотел бы я сказать солнцу: «Остановись!» Теперь главное моё желание – не желать ничего, ничего. Творца молю, чтоб Он без всяких прибавлений оставил всё, как есть...

Может быть, он и прав, а только всё мне кажется, что мы с ним давно уже умерли и в царстве мёртвых о жизни беседуем.

Сентября 19. Золотая осень кончилась. Дождь, слякоть, холод. Осенний Борей шумит в оголённых ветвях, срывает и гонит последний жёлтый лист.

У Катерины Андреевны флюс; у Андрюши горло подвязано; у маленькой – кашель – не дай Бог, коклюш. Николай Михайлович на ревматизмы жалуется, брюзжит:

– Повара хорошего купить нельзя, продают одних несносных пьяниц и воров. Отослал наемни Тимошку в полицию для наказания розгами и велел отдать в рекруты.

Я молчу. Он знает, что я решил отпустить на волю крестьян, и не одобряет, хочет наставить меня на путь истины.

– Не знаю, – говорит, – дойдут ли люди до свободы гражданской, но знаю, что путь дальний и дорога не гладкая.

Я всё молчу, а он смотрит на меня исподлобья, нюхает табак и тяжело вздыхает.

– Бог видит, люблю ли человечество и народ русский, но для истинного благополучия крестьян желаю единственно того, чтобы имели они добрых господ и средства к просвещению.

Встал, подошёл к столу, отыскал письмо к своим крестьянам в нижегородское имение Бортное и, как будто для совета с Катериной Андреевной, а на самом деле для моего наставления, прочёл:

– «Я ваш отец и судия; я вас всех люблю, как детей своих, и отвечаю за вас Богу. Моё дело знать, что справедливо и полезно. Пустыми просьбами не докучайте мне, живите смиренно, слушайте бурмистра, платите оброки, а если будете буянствовать, то буду просить содействия военного генерал-губернатора, дабы строгими мерами принудить вас к платежу исправному».

И в заключение приказ: «Буянов, если не уймется, высечь розгами».

А вечером над романом госпожи Сюза опять будет плакать.

Сентября 20. Хвалит Аракчеева:

– Человек государственный, – заменить его другим нелегко. Больше лиц, нежели голов, а душ ещё меньше.

Бранит Пушкина:

– Талант действительно прекрасный; жаль, что нет мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия. Ежели не исправится, – будет чёртом ещё до отбытия своего в ад.

²⁴⁰ Цыбик (устар.) – ящик или пакет с чаем, весящий от 40 до 80 фунтов.

²⁴¹ Спокойной ночи, папа! Спокойной ночи, мама! (фр.).

Октября 10. Опротивел мне Китайский домик. Иногда хочется бежать куда глаза глядят от этого милого старика, от любезной улыбки его и прилизанных височков, от белоснежной Катерины Андреевны и благонравных деток, от черешневой трубки (не больше одной трубки в день) и макарьевских цибиков чая, от слезливых романов госпожи Сюза, и писем бурмистру о розгах, и двенадцати томов истории, в коих он –

*Доказывает нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.*

Николай Михайлович, кажется, знает, что я – член тайного общества, и душу у меня выматывает разговорами о политике.

– Основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание. Не так ли?

Я соглашаюсь, а он продолжает:

– Я хвалю самодержавие, а не либеральные идеи, то есть хвалю печи зимою в северном климате. Свободу нам даёт не государь, не парламент, а каждый из нас самому себе с помощью Божьей. Я презираю либералистов нынешних и люблю только ту свободу, которую никакой тиран у меня не может отнять...

Я опять соглашаюсь, а он опять продолжает:

– Пусть молодёжь ярится; мы, старики, улыбаемся: будет чему быть – и всё к лучшему, когда есть Бог. Моя политика – религия. Не зная для чего, знаю, что всё должно быть, как есть...

А я молчу, молчу, – мне всё равно, только бы отпустил душу на покаяние.

Но иногда кажется, что этот старик, милый, умный, добрый, честный, опаснее самых отъявленных злодеев и разбойников. Если погибнет Россия, то не от голода, труса и мора, а от этой тишайшей мудрости: всё должно быть, как есть.

Октября 13. Николай Михайлович любит жить на даче до первого снега. Вот и дождались: сегодня зареяли белые мухи, а к вечеру повалил снег хлопьями и на чёрную землю опустился белым саваном. Все звуки заглохли, как под мягкой подушкой; только откуда-то далёкий-далёкий, точно похоронный, доносится колокол.

Сажу у камелька, гляжу на пепел гаснущий и вспоминаю о том, что было в жизни, – как, должно быть, вспоминают мёртвые.

Я знал когда-то, что *всё не должно быть, как есть*; я и теперь знаю, что те, от кого я ушёл, члены тайного общества, правы правотою вечною перед людьми и перед Богом. Белой горячкой, которой больна вся Россия, мне надо было самому переболеть, чтобы это узнать; зато знаю теперь, как никогда ещё не знал, что правы они. И пусть всё, что делают, – безумство, ничтожество, кровь и грязь: но всё, чего они хотят, – истина, и сейчас для России иной истины нет, нет иного спасения от буйного бреда белой горячки и от оной тишайшей мудрости: всё должно быть, как есть.

И пусть их подвиг не свершение, а только возвешенье, пророчество, но если не будет оно услышано, – погибнет Россия.

Да, все это знают, как знают мёртвые. Я изменил, ушёл от крови и грязи. Вот и чист, – чист и мёртв.

Чёрная земля под белым саваном, тишина могильная, похоронный колокол. Конец всему: «Не зная для чего, знаю, что всё должно быть, как есть».

Октября 14.

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла.
О, друг, я всё земное совершила:

Я на земле любила и жила.
Нашла ли их, сбылись ли ожидания?
Без страха верь: обмана сердцу нет,
Сбылося всё: я в стороне свиданья,
И знаю *здесь*, сколь ваш прекрасен свет.
Друг! на земле великое не тщетно!
Будь твёрд, а здесь тебе не изменят.
О, милый, здесь не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.

Стихи Жуковского. Зачем я их выписал?

Я думал, Софья хочет, чтоб я ушёл из тайного общества, и когда уйду, она вернётся ко мне. Но вот не вернулась. И мне теперь кажется, что, уходя от *них*, я от неё ушёл.

Октябрь 15. Что это было? Сон, призрак, виденье – не знаю. Знаю только, что было. Исполнила она своё обещание предсмертное: «Всегда с тобою, и оттуда приходить буду».

Проснувшись, я плакал от радости. Отчего эта радость, не помню; помню только, что Софья велела мне вернуться к *ним*. мои же слова мне напомнила: «Ничего не сделают, никого не спасут, только себя погубят, а всё-таки правда Божья у *них*. И пусть недостоин я, пусть беру не по силам, а от них не уйду...»

Только теперь понял я, что эти слова значат. И пусть будет опять страх, смех, уныние, отчаянье, кровь и грязь, но того, что понял, я уже никогда не забуду.

*Друг! на земле великое не тщетно!
Будь твёрд, а здесь тебе не изменят.
О, милый, здесь не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.*

Опять могу плакать, могу молиться, как сегодня я с нею молился.

«Сохрани, помоги, помилуй нас всех, Господи! Спаси, Матерь Пречистая!»

Октября 16. Переехал в Петербург, к Одоевскому. Сказал Пушкину, что хочу вернуться в тайное общество: примут ли? не считают ли изменником? Он молча обнял меня и поцеловал, как брат.

Октября 17. Видел всех. Обрадовались мне. Рылеев кинулся на шею и заплакал. Кюхля замахал руками так, что опрокинул бутылку и разбил стакан. Батенков возобновил разговор о монархическом и республиканском правлении, за шесть месяцев начатый, как будто ничего не случилось. А Каховский всё так же стоял у печки, скрестив руки на груди по-наполеоновски, и усмехался презрительно.

Милые, родные! Полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Хороши или плохи, они у меня единственные и других не будет.

Октября 24. Предлагают мне для переговоров с Южными ехать в Васильков к Сергею Муравьёву и в Тульчин к Пестелю. Я готов ехать сейчас.

Октября 26. Нет, сейчас не поеду. Вчера вернулся государь, и дядюшка говорит, что обо мне спрашивал. Подожду свидания с государем: так Софья хочет.

Ноября 5. Пущин показывал «Православный Катехизис» для возмущения войск и простого народа, Сергеем Муравьёвым составленный. В «Катехизисе» сказано:

«— Для чего русский народ и русское воинство несчастны?

— Для того, что похитили... у него свободу.

— Что же святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству?

– Раскаяться в долгом раболепии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться, да будет всем един Царь на небеси и на земли – Иисус Христос».

Точнее, прямее нельзя сказать – и доколе этого не скажут все, в России свободы не будет.

Я думал, что я один не знаю; но вот уже не один.

И пусть мы только знаем, только скажем другим, а сами ничего не сделаем, – когда другие сделают, то вспомнят и о нас.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Императрица Елизавета Алексеевна, стоя перед зеркалом, надевала головной убор с райскою птичкою, мужнин подарок. Такие уборы были в моде лет десять назад; но то, что ему, государю, нравилось, было для неё вечною модою.

Наряжалась, как влюблённая девочка; подумала об этом и покраснела, глядя в зеркало.

«Ну разве такая может нравиться? Старая, злая немка. Вот и кончик носа красный, как у всех старых плакс. Это оттого, что, когда плачу, слишком часто сморкаюсь. И губы поджаты с видом жертвы, – как это по-русски? Да, *подскима* ...»

Отвернувшись с досадою от зеркала и перешла в свой кабинет. Здесь, у камина, в уютном уголке из мягкой мебели, столиков и ширмочек, приготовлен был чайный прибор: ждали государя к вечернему чаю. Осмотрела, всё ли в порядке: заварен ли чай как следует; есть ли крендельки с анисом, варенье, – всё, что он любит; а на другом столике – шашки, бирюльки, карты: иногда в экарте или мушку игрывал. Переменила на лампе розовый щиток на зелёный – его любимый цвет.

Присела к камину, задумалась.

Теперь, когда не смотрелась в зеркало, лицо её было прекрасно. Психеей называли её в юности. Тогда у неё были детски удивлённые глаза, детски падающие плечи и, под слишком тяжёлым золотом волос, шея детски тонкая, как стебель, гнущийся под бременем цветка. Та юная прелесть увяла. Но теперь – иная, неувядаемая: если тогда была музыка, то теперь тишина после музыки.

Думала, зачем в последнее время государь так часто с нею видится. Знала по опыту, что, когда ему хорошо, она не нужна, и привыкла к этому так, что каждый раз, как он приближался к ней, спрашивала себя: «Зачем? что с ним?» – и всегда угадывала. Но теперь не могла угадать, только чувствовала, что есть что-то страшное для них обоих. Вспомнилась кроткая, как будто стыдливая, улыбка его во время последней болезни, когда он говорил:

– Не знаю, оттого ли, что я очень болен, или уже года не те, но я не имею силы бороться с болезнью.

Вспоминалось и то, что сказал он князю Васильчикову, когда выздоравливал:

– Я дёшево отделался, но в сущности был бы не прочь сбросить это бремя короны, страшно тяготящей меня.

Рад был бы сбросить её вместе с жизнью.

Чем больше думала об этом, тем больше боялась; знала, что он сам никогда не заговорит, а спросит – как бы хуже не было.

Услыхав его шаги, покраснела опять, как влюблённая девочка. Он вошёл и поцеловал руку её, а она его – в голову.

– Уф, едва вырвался! Семейный обед в Аничковом, – заговорил он по-французски, как всегда с ней говорил. – Сегодня маменька весь день за мной по пятам. В последнюю минуту послал им сказать, что не буду, а то не отпустили бы... Ну а вы как?

– Ничего, лихорадки днём, кажется, не было, и меньше кашляю.

– Слава Богу! Только берегитесь, не выезжайте, погода ужасная; слякоть, ветер с моря. Вода поднялась; пожалуй, наводнение будет...

Пили чай, играли в шашки; говорили о маленьких придворных событиях и сплетнях. Она старалась казаться весёлою.

Зашла речь о последней семейной сваре из-за фрейлины Протасовой, полоумной старухи, которую императрица-мать взяла под своё покровительство, в пику государыне.

– Ах, если бы вы знали, мой друг, как я устала от этих дрызг! Маменька, Нике, Мишель, Александрин – все против меня. Настоящий заговор...

– Полно, Lise, оставьте, не думайте. Ну что вам до них? Вы же знаете, чем они хуже к вам, тем лучше я...

– Этого-то и не могут мне простить! Готовы на всё, чтобы повредить мне в ваших глазах. Особенно – маменька. И что я им сделала? За что такая ненависть?..

Говорили о родных, как о чужих, почти о врагах. *Враги человеку домашние его*. – оба понимали, что это значит.

– Неужели вы думаете, Lise, что всё это может иметь на меня какое-нибудь влияние? – произнёс он ласково и взял её за руку.

Она молчала, потупившись.

– Не верите? – повторил он ещё ласковее.

– Верю, но если мне трудно, не моя вина...

– А чья? Говорите, говорите же всё, Lise, ради Бога!

– Я узнаю иногда от других то, что должна бы знать от вас, – сказала она и, подняв глаза, посмотрела на него решительно.

– Что же именно?

– Отречение от престола.

– Сколько раз я говорил вам. Забыли?

– Говорили в шутку.

– Ну не совсем...

– Да, не совсем: Константин уже отрёкся, и Николай – наследник.

– Откуда вы знаете? Ничего не решено. Может быть, после моей смерти...

– Нет, при жизни. Вы так и сказали им. Маменька спрашивала меня: «Не показывал ли он вам чего-нибудь?» Значит, есть что-то...

Наклонившись над кучей бирюлек, он старался выудить бочоночек.

– Скучные дела, мой друг! Вы знаете, я никогда не говорю с вами о политике...

– Тут не политика, а ваша судьба и моя. Как могли вы решить, не сказав мне? Им говорите, а от меня скрываете...

– Ну, вот вы теперь знаете, Lise! И разве не рады? Быть свободными, жить вместе, – помните, как мы мечтали детьми...

Она покачала головой.

– Нет, не то. Вы не хотите сказать, а я знаю. Тут другое...

– Что другое? Что вы знаете? – спросил он тихо и посмотрел на неё, молча, долго; разрушил кучу бирюлек, отвернулся и стал мешать угли в камине.

– Тайное общество, – сказала она также тихо, не отводя от него глаз.

Он быстро обернулся. Лицо исказилось, как от внезапной боли, и что-то промелькнуло в нём такое жалкое, трусливое, как у человека, который сходит с ума, знает это и боится, чтоб другие не узнали.

– Глупые сплетни! – сказал уже спокойно, овладев собою; встал, прошёлся по комнате, взял со стола книгу, прочёл заглавие: «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, – перелистал и бросил.

– Прошу вас, Lise, никогда не говорить со мной об этом. Ни со мной и ни с кем. Слышите?

– Не я говорю, а мне говорят, – ответила она, бледнея.

Старая обида заныла в душе, как старая рана. Что ему доставляются тайной полицией письма её и что он вскрывает их, так же как письма всех членов царской фамилии, – давно уже знала; но никогда не говорила с ним об этом – стыдилась; гнусным казался ей этот обычай, сохранившийся от времён Павловых. Теперь же вспомнила о нём и подумала, что он смотрит на неё такими же глазами, какие у него должны быть во время чтения вскрытых писем. В тысячный раз обманулась, поверив близости его, и в тысячный раз всё так же больно, как в первый; за тридцать лет не привыкла и никогда не привыкнет.

– Кто? Кто вам сказал? – повторял он всё настойчивей, всё подозрительней. – Мне нужно

знать, Lise! Ну будьте же рассудительны. Прошу вас, если вы меня любите...

И вдруг опять промелькнуло в лице его что-то трусливое, жалкое, подлое. «Да, подлое!» – подумала она с возмущением. Разве не подлость – выпытывать, допрашивать так, смотреть на неё глазами сыщика?

Отвернувшись, стала наливать чай; но руки так тряслись, что уронила чашку; заплакала.

– Что вы, Lise? О чём? Вы меня не так поняли. Я сам давно уже собирался сказать вам об этом. Но вы больны: я не хотел...

– Да разве лучше так? – воскликнула она горестно. – Хуже, хуже всего, не может быть хуже! Оттого и больна. Вы молчите, а я... Как же вы не видите, что я не могу, не могу больше, сил моих нет!

Он подошёл к ней и опустился на колени.

– Ну полно, Lise, ради Бога, не надо... – целовал ей руки. – Неужели я не сказал бы, если бы что-нибудь было? Но ничего нет; до крайней мере, я не знаю. Может быть, вы больше моего знаете? Мне иногда самому приходит в голову, нет ли тут поважнее лиц? – прибавил с хитростью.

Она вдруг перестала плакать; забыв о себе, думала только о нём, о грозящей ему опасности.

– Мне говорил Карамзин и мой секретарь Лонгинов.²⁴² Но, кажется, об этом знают все...

И рассказала всё, что слышала. Когда кончила, он посмотрел на неё с улыбкою.

– Охота же вам из-за таких пустяков мучиться!

Утешал её, успокаивал: всё это ему давно уже известно; в руках его все нити заговора; он даже знает по именам заговорщиков; истребить их ничего не стоит; если же медлит, то потому, что жалеет несчастных, «заблуждения коих суть заблуждения нашего века»; ждёт, чтобы сами одумались: впрочем, все меры приняты, и нет никакой опасности.

Говорил так искренно, что она почти поверила; умом верила, а сердцем знала, что он лжёт; в глазах его видела ту ясность, которой всегда боялась, – бездонно-прозрачную и непроницаемую, как у женщин, когда они лгут. Но не имела силы бороться с ложью; готова была на всё, только бы не увидеть опять того трусливого, подлого, что промелькнуло в лице его давеча. Изнемогла, покорилась.

Может быть, и прав он, думала, что на помощь её не надеется: где уж ей помогать, других поддерживать, когда сама от слабости падает?

Ничего не сказала, только посмотрела на него так, что вспомнились ему кроткие глаза загнанной лошади, которая издыхала на большой Петергофской дороге, уткнув морду в пыль, с кровавою пеною на удилах.

– А знаете, Lise, что больше всего меня мучает? То, что от меня несчастны все, кого я люблю, – заговорил он, и сразу почувствовала она, что он теперь не лжёт.

– Несчастны от вас?

– Да. Софьиная смерть, ваша болезнь – всё от меня. Вот чего я себе никогда не прошу. Знать, что мог бы любить и не любил, – больше этой муки нет на свете... О, как страшно, Lise, как страшно думать, что нельзя вернуть, искупить нельзя ничем... А всё-таки в последнюю минуту я к вам же приеду, и ведь вы меня...

Не дала ему кончить, охватила руками голову его и прижала к себе, без слов, без слёз, только чувствуя, что один этот миг вознаграждает её за всё, что было, и за всё, что будет.

Кто-то тихонько постучался в дверь, но они не слышали. Дверь приотворилась.

– Ваше величество...

Оба вскочили, как застигнутые врасплох любовники.

– Кто там? – воскликнула она. – Я же велела... Господи, ну что такое? Войдите.

– Ваше величество, их императорское величество, государыня императрица Мария Феодоровна, – доложили фрейлина Валуева.

Государыня взглянула на мужа с отчаянием; тот поморщился. Валуева смотрела на них с любопытством, как будто делала стойку и нюхала воздух.

²⁴² Лонгинов Николай Михайлович – секретарь императрицы Елизаветы Алексеевны, писатель, историк.

– Ну чего вы стоите? Не знаете ваших обязанностей? – прикрикнула на неё государыня. – Ступайте же, просите её величество.

– Не бойтесь, Lise, я как-нибудь спроважу её поскорее; скажу, что вы больны, и дело с концом.

Государыня вышла в уборную.

– Вот вы где, Alexandre! А мы вас ищем, ищем, думаем: куда пропал? – заговорила, входя, императрица Мария Феодоровна.

В шестьдесят пять лет – свежая, крепкая, гладкая, сдобная, румяная, как хорошо пропечённая булка из немецкой булочной; несмотря на полноту, затянута, зашнурована так, что, казалось, платье на круглой спине лопнет по швам; всё лицо в ямочках-улыбочках, которые хотят быть любезными, но иногда вдруг сладким ядом наливаются. Всегда в суете, впопыхах, «точно на пожар торопится», как покойный супруг её, император Павел, говаривал.

– А ведь я не одна, Alexandre: мы все вместе к вам, по-семейному, – и Нике, и Мишель, и Александрии, и Элен, и Мари. Они сейчас будут. Уж вы меня, дорогой, извините: я им позволила; сами не смеют, да и я сюда без доклада не смею. А мы все по вас так соскучились! – болтала, трещала без умолку на скверном французском языке с немецким выговором. – Да где же она? Где Lise?..

И все ямочки-улыбочки налились вдруг сладким ядом.

– Я, кажется, некстати? Если мешаю, вы скажите, мой друг, не стесняйтесь, пожалуйста...

– Что вы, маменька, помилуйте! Lise всегда вам рада. Только на минутку вышла в уборную. Да вот и она.

Вошла государыня. Императрица-мать поцеловала её долгим поцелуем, родственным, с присасыванием, и причмокиванием.

– Ну что? Как? Молодцом, а? А мы к вам все вместе, вечерок провести по-семейному... Ах, душенька, нельзя так близко к огню! Сколько раз я вам говорила: тут окно, тут камин, а вы на самом сквозняке, – оттого и простужаетесь.

– Ничего, маменька, я привыкла.

– Нет, нет, пересядьте! Вот так. А шаль где? Беречься надо. Как говорится по-русски: сберегаемого и Бог сберегает... Ах, да что это, право, милая, – вы как будто ещё похудели? Всё огорчаетесь, расстраиваете себя, много думаете, мало кушаете. Сколько раз я вам говорила: надо кушать яйца всмятку. Много, много яиц: три яйца к завтраку, три яйца к обеду, три яйца к ужину. И тогда молодцом, молодцом, вот как я...

У государыни от этой болтовни в глазах темнело, левый висок ныл привычною болью, и в голове как будто стучала, молола кофейная мельница. Но ничего нельзя было сделать: надо застыть, замереть и терпеть, пока не кончится.

Послышались шаги и голоса в соседней комнате.

– А вот и они! Сюда, сюда, дети мои! – закричала маменька.

Великие князья Николай Павлович и Михаил Павлович, великие княгини Александра Феодоровна, Елена Павловна, Мария Павловна – вошли все вместе, гурьбою; перецеловались, расселись; молчали: только императрица-мать болтала, трещала без умолку. И тщетно государь, думая, как бы спровадить гостей, пробовал её остановить.

Всё было томно, тошно, скучно до одури. Великие княгини сидели как в воду опущенные; великие князья – чинные, важные, с вытянутыми лицами. Николай Павлович, Нике, – прямой, сухой, как сосна, с необыкновенно правильными чертами лица, но с таким выражением, как будто вечно на кого-то дуется. «Аполлон, страдающий зубной болью», – сказал о нём кто-то. Михаил Павлович, Мишель, – добродушный, косолапый увалень, настоящий мишка-медведь, умеющий только плясать под бой барабана.

– Нике, Мишель, где вы? – оглянулась на них маменька. – Ах, какие несносные! Вот так всегда: забьются в угол и сидят буками. Это они вас боятся, Lise! А у меня, в Павловске, расшались – не уймёшь... Ну ступайте же, ступайте сюда, кавалеры, занимайте дам. Alexandrine, Helene, бедненькие, какие у вас мужья нелюбезные!

Оба сразу, как по команде, встали и вытянулись. В присутствии старших держали себя, как два кадета, отпущенные домой из корпуса.

– Ну что мне с ними делать? Просто беда. Совсем от рук отбились, – продолжала

маменька, – манеж да развод, ничего больше звать не хотят. А ведь вам, дети мои, не в казарме жить: надо привыкать к обществу... Хотя бы вы, Alexandre, поучили их, что ли? Вы, слава Богу, не так воспитаны: в своё время были кавалер очаровательный, да и теперь хоть куда. Не правда ли, в него ещё влюбиться можно, Lise? Ну что вы на меня так смотрите? Разве я дурное сказала? Уж вы меня простите, дружок; я всегда говорю, что думаю. После тридцати лет супружества жена, влюблённая в мужа, – это в наши дни редкость. И пусть другие смеются, а я счастлива. Когда я смотрю на счастье детей моих, я сама счастлива. Ведь мой дорогой Alexandre всё, всё для меня! – закатила глаза от умиления.

А государыня уже ничего не слышала; левый висок ныл нестерпимо, в голове молола кофейная мельница, и лицо так побледнело, что государь боялся, как бы ей дурно не сделалось.

– Маменька, Lise, кажется, устала. Доктора велели ей пораньше ложиться, – сказал и встал решительно; понял, что без него не уйдут.

– Ах, Боже мой, Lise, правда, мы вас утомили?

– Нисколько, маменька! Куда же вы? Посидите ещё.

– Нельзя: муж не велит, надо мужа слушаться. А я думала, проведём вечерок вместе, поболтаем, поиграем в птиже. Шарату бы в лицах Нике нам представил, ту, что намерены в Павловске, – мы так смеялись! Он ведь только притворяется букою, а если захочет, умеет быть душою общества. Как это, Нике? Моё первое – сог...

– Точно так, маменька: сог – охотничий рог.

– Да, да, заиграл на губах, как в рожок... Моё второе – рие...

– Рие – воняет, маменька, – подсказал Нике.

– Да, да, зажал нос и сморщился, как от дурного запаха... А моё третье – lance – копьё; замахнулся бильярдным кием на старушку Нелидову, так что она закричала от страха. А моё целое – сог-ри-lence – тучность: обвязался подушками и стал ходить с трудом, едва ногами двигаясь. Не правда ли, мило?

Государыне казалось, что ещё минута, и она упадёт в обморок.

– Ну пойдёмте же, дети мои! Надоели мы вам, Lise, а? Как говорится по-русски: незванный гость хуже... хуже чего, Нике?

– Хуже татарина, маменька!

– Да, хуже татарина.

И опять на лице все ямочки-улыбочки валились вдруг сладким ядом.

– Прощайте, душенька, – присодалась долгим поцелуем, родственным. – Поправляйтесь же скорее, будьте умницей. Молодцом, молодцом, вот как я! Помните, яйца всмятку. Много, много яиц: три яйца к завтраку, три яйца к обеду, три яйца к ужину...

Наконец ушли; и государь – с ними, чтоб не обиделись.

Оставшись одна, государыня упала на диван и долго лежала, закрыв глаза, не двигаясь, как в обмороке. Потом позвонила камермедхен, велела снять головной убор с райскою птичкою и подать душистого уксуса. Мочила виски, нюхали. Всё тело ныло, как избитое палками, и в голове молола кофейная мельница.

Когда легла в постель и потушила свечу, – вспомнив разговор с государем, ужаснулась: как могла поверить или сделать вид, что верит?

Вдруг поняла так ясно, как никогда, что он гибнет и что она спасти его не может.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В ту ночь она плохо спала. Голова болела, мучил жар, и в полусне чудилось ей, что выколачивают исполинские ковры исполинскими палками: то были пушечные выстрелы с Петропавловской крепости, возвещавшие прибыль воды.

Когда поутру затопили камин, пошёл дым.

– Говорила я вам, что печи испорчены, – сказала она с досадою дежурной фрейлине Валуевой.

– Никак нет, ваше величество: печи исправны, а это от ветра...

– От ветра... от ветра в вашей голове, сударыня! Я вам ещё третьего дня велела истопнику сказать.

– Не мне, а мадемуазель Саблуковой.

– Всё равно кому. Вы всегда отговорки находите!

– Чем же я виновата, помилуйте, ваше величество? Кто что ни сделает, всё на мою голову! – приготовилась плакать Валуева, и некрасивое, неумное, птичье лицо её сделалось ещё некрасивее. – Мадам Питт, княжна Волконская, мадемуазель Саблукова – все в милости. Только я одна, несчастная... Всё на меня, всё на меня! Я ведь знаю, ваше величество меня не изволите жаловать...

Такие сцены повторялись каждый день: фрейлины все перессорились, ревновали императрицу и мучили. Давно уже решила она, что этому надо положить конец.

Теперь, при виде плачущей Валуевой, хотелось ей вскочить, закричать, затопать ногами и выгнать её вон.

Но удержалась и проговорила с холодной злобою:

– Послушайте, Валуева, я знаю, что глаза у вас на мокром месте и что вы плакать умеете, но я этого больше терпеть не намерена, слышите! Если мой характер вам не нравится, уходите, пожалуйста, – никто вас не держит. Хороша или дурна, – я не переменюсь для вас. Находят же другие, что со мной жить можно... Ну ступайте, истопника позовите.

Валуева вышла, заливаясь слезами.

Пришёл истопник и, осмотрев камин, подтвердил, что всё исправно, а топить нельзя от ветра: такая буря, что трубы на крыше ломает.

Государыня перешла в кабинет; здесь было натоплено с вечера. Дрожа и кутаясь, но привычным усилием воли перемогая озноб, напилась чаю и занялась делами Патриотического Общества. Разбирала бумаги; одни подписывала, другие откладывала, чтобы обсудить их с Лонгиновым, секретарём своим.

Вспоминая сиену с Валуевой, стыдилась: за что обидела бедную девушку? Чем виновата она, что глупа? И разве другие лучше? Не права ли императрица-мать, когда жалуется на её, государыни, скверный характер? Вечно не в духе – «злая немка» – оттого и больна.

Думала, как бы позвать Валуеву, помириться с ней. Но та сама вбежала.

– Ваше величество, посмотрите, что это?

Государыня взглянула в окно и глазам не поверила: вода в Неве поднялась так, что почти сравнялась со стенкою набережной. Волны вздымались, огромные, серо-свинцовые, чёрно-чугунные, как злые чудовища, которых глядят против шерсти и они щетинятся. По тому, как тучи брызг неслись, подобные пару над кипящей водой, можно было судить о силе ветра.

Люди толпились на набережной. Дети смеялись и прыгали, любуясь, как вода сквозь решётки подземных труб бьёт фонтанами и заливает мостовую лужами.

Вдруг все побежали; в одну минуту опустела набережная. То там, то здесь перехлёстывали, переливались волны через гранитную стенку, как через край водоёма, слишком полного. Ещё минута – и скрылась под водою улица, и волны забились в стену дворца.

– Наводнение! Наводнение! – кричала Валуева с таким испугом, как будто вода сейчас вольётся в комнату.

А государыня радовалась той радостью, которая овладевает людьми при виде ночного пожара, заливающего тёмное небо красным заревом. Хотелось, чтобы вода подымалась выше и выше – всё затопила, всё разрушила, – и наступил конец всему.

Вошёл секретарь Лонгинов и рассказал свои приключения: едва не утонул; карету залило; он должен был сидеть на корточках; промочил ноги; только что переобулся; показывал, смеясь, чужие башмаки, не впору. И дамы смеялись.

– Ужасное бедствие! Под водой уже две трети города, – заключил Лонгинов. – Я всегда говорил: нельзя жить людям там, где могут быть такие бедствия. Когда-нибудь участь Атлантиды постигнет Петербург...

Ужасались, ахали, охали:

– Бедные люди! Сколько несчастий! Сколько жертв!

А государыне казалось, что им всем весело.

Весело смотреть, как фельдъегерь в почтовой тележке (колёса роют воду, точно маленькая водяная мельница) остановился, потому что вода вот-вот подымет тележку, как лодку; седок с

кучером вылезли, выпрягли и, держа лошадей за уши, поскакали – поплыли. Весело смотреть, как мужик лезет на фонарный столб; расшатанный напором ветра и волн, деревянный столб качается; мужик, сорвавшись, падает; нырнул, вынырнул; бежит, плывёт, – должно быть, утонет. А вон собака на крыше будки, подняв морду, воет. За двойными рамами окон звуков не слышно – ни рёва бури, ни шума волн, ни криков о помощи, как будто мёртвое молчанье – над мёртвою пустыней вод. От Зимнего дворца до крепости – один кипящий, клокочущий, бушующий омут, где несутся барки, лодки, галиоты, плоты, заборы, крыши, гауптвахты, рыбные садки, брёвна, доски, тюки товаров, трупы животных и кресты с могил размытого кладбища.

Шесть градусов выше нуля, а барометр опустился, как во время грозы.

Свет – тёмный, как у человека перед обмороком, когда в глазах темнеет; похоже на светопреставление; иногда выглядывает солнце сквозь тучи, как лицо покойника сквозь кисею гробовую, – и тогда ещё больше похоже на кончину мира.

У государыни лихорадка прошла. Она чувствовала себя бодрою, сильною, лёгкою, как в детстве, во время самых буйных игр. А иногда казалось ей, что вода опустится, войдёт в берега, и будет всё опять, как было – та же скука, пошлость и уродство жизни, те же глупые сцены с Валуевой, разговоры с императрицей-матерью, дела Патриотического Общества. И становилось жалко чего-то; озноб пробегал по телу, ноги бессильно подкашивались, и вся она опять – больная, слабая, старая.

– Ну, Николай Михайлыч, у нас много дел, – говорила секретарю.

Он читал ей доклад, и она слушала, стараясь не думать о наводнении.

Но Валуева кричала:

– Смотрите, смотрите, ваше величество? Вон уже где!..

И опять – ужас и радость конца.

– Пойдёмте в угольную, там лучше видно, – предложила государыня.

Проходя коридором, услышали крик:

– Утонули! Утонули? Светики, родимые!..

Степанида Петровна Голяшкина, камер-лакейская вдова, старуха лет восьмидесяти, плакала в толпе дворцовых служителей.

– Ваше величество, государыня-матушка, смилуйтесь! Приказать извольте лодку!.. – закричала, увидев императрицу и повалившись ей в ноги.

Не могла говорить. За неё объяснили другие, что Голяшкиной дочь за аудиторским чиновником замужем, в Чекушках живёт, на Васильевском острове, в маленьком домике, на самом берегу Невы; там теперь всё уже залило, потому что место низкое; поутру отец уходит в должность, мать – на рынок; люди – бедные, не могут держать прислуги; уходя запирают двух детей своих, мальчика и деточку, одних в доме. Вот и боится бабушка, чтобы внучки не утонули.

– Нельзя ли лодку? – сказала государыня Лонгинову.

– Не извольте беспокоиться, ваше величество, – заговорил седой, степенный камер-лакей. – Сама не знает, что говорит. Ума лишившись от горя. Какие тут лодки! Кто повезёт? Да и все уж, чай, разосланы... Ну полно, Петровна, может, ещё и живы. Молиться надо. Пойдём-ка, бабушка, не докучай государыне...

Старуху увели под руки; но долго ещё слышался крик её, и, как будто в одном этом крике соединились все бесчисленные вопли погибающих, – государыня вдруг поняла, что происходит.

– Ступайте, Николай Михайлыч, узнайте, где государь.

Лонгинов хотел было что-то сказать, но она закричала:

– Ступайте же, ступайте, делайте, что вам велят!

Вошла в уточную и стала смотреть в окно.

На Неве, против Адмиралтейской набережной, тонула плоскодонная барка, флашкот Исаакиевского моста. Водой подняло мост, как гору, и разорвало на части; они понеслись в разные стороны; на тонущем флашкоте люди, как муравьи, сновали, копошились, бегали. Государыня узнала плывший к ним на помощь дежурный восемнадцативесельный катер гвардейского экипажа, стоявший всегда у дворца на Неве. В белесовато-мутной мгле урагана

волны играли лодкою, как ореховой скорлупкою, – вот-вот опрокинется и пойдёт ко дну. Что, если там государь?

А Лонгинов пропал. Не послать ли Валуеву? Да нет, глупа, – ничего не сумеет.

Молоденький офицер пробежал через комнату. Вымок весь, – должно быть, только что был по пояс в воде. Простое, милое, как у деревенских мальчиков, лицо его посинела от холода, а в плазах был тот радостный ужас, который испытывала давеча сама государыня. Увидев её, остановился и отдал честь.

– Не знаете ли, где государь?

– Не могу знать, ваше величество, – ответил он, стуча зубами и стараясь удержать улыбку. – Кто говорит – здесь, во дворце, а кто – с генерал-адъютантом Бенкендорфом на катере.

– Ну хорошо, ступайте.

Он побежал, оставляя на паркете лужицы. Наконец вернулся Лонгинов.

– Никто ничего не знает. Просто беда! Толку не добьёшься. Все потеряли голову, мечутся как угорелые...

– Ах, Николай Михайлович, нельзя же так! – воскликнула она со слезами в голосе. – Боже мой! Боже мой!.. Ну, так я сама, если вы ничего не умеете...

– Ваше величество...

– Ступайте за мной!

И все трое побежали, – государыня, Валуева, Лонгинов. Встретили камердинера Мельникова. Он тоже не знал, где государь.

– Сами ищем. Её величество, государыня императрица Мария Феодоровна очень беспокоиться изволят. Никак найти не можем, – говорил Мельников, хлопая себя по ляжкам с таким видом, как будто пропала иголка.

– Дурак! – воскликнула государыня по-французски и побежала дальше.

Генерал-адъютант князь Меншиков немного успокоил её, сообщив, что государя видели внизу, на Комендантской лестнице. Чтобы попасть туда, надо было пробежать множество комнат.

Дворец напоминал разрытую кочку муравейника: люди бегали, кишели, суетились, метались, сталкивались, ссорились, ругались, кричали и не понимали друг друга. Государыне казалось, что всё это уже было когда-то во сне: так же лазила она по нескончаемым лестницам, искала государя, не находила – и никогда не найдёт.

Солдаты носили по лестнице из залитых комнат золочёную штофную мебель, картины, вазы, люстры, зеркала и кухонную посуду, домашнюю рухлядь дворцовой челяди. Великан с добродушным лицом, нагнувшись, как Атлас, под тяжестью, тащил на спине огромный кованый сундук, на нём кровать с подмоченной периною, а в зубах держал клетку с чижином.

По одному из коридоров нельзя было пройти. Слышался топот копыт и ржанье. Лонгинов ступил в навоз: коридор превращён был в конюшню. Лошадей великой княгини Марии Павловны, стоявших на Дворцовой площади, выпрягли и втащили сюда, в первый этаж, чтоб спасти от воды.

На крутой и тёмной лестнице кто-то крикнул снизу грубым голосом, не узнав государыни:

– Куда лезете? Ходу нет: вода.

И почудилось ей, что невидимые струйки в темноте лепечут, плещут, как будто сговариваясь о чём-то грозном, тоже как во сне.

Какие-то люди проносили что-то завёрнутое в белое.

– Что это? – спросила государыня.

– Утопленница, – ответили носильщики.

Валуева взвизгнула, готовая упасть в обморок: боялась покойников.

Когда прибежали на Комендантскую лестницу, то узнали, что государь здесь давеча был, но ушёл в Эрмитаж, где с Миллионной большое судно прибило. Надо было бежать наверх по тем же лестницам, а по дороге опять кто-то крикнул, что государя нет во дворце – только что уехал на катере.

Пробегая через собственные покои, государыня увидела стол, накрытый к завтраку, и удивилась, что можно есть. Но Лонгинов успел захватить хлебец с ломтиком сыру и на бегу

закусывал.

В больших парадных залах всё ещё было спокойно. За окном – кончина мира, а у окна два старичка камергера уютно беседуют о новом балете «Зефир и Флора».

Увидев государыню, склонили почтительно лысые головы.

Эти спокойные лица её утешили было; но тотчас подумала: «Такие лица у таких людей будут и при кончине мира».

В голубой гостиной великая княгиня Александра Феодоровна и фрейлина Плюскова стояли на диване, подобрав юбки.

– Ай! Ай! – визжала фрейлина. – Я сама видела, ваше высочество: тут их множество! По стенке ползут...

– Что такое?

– Крысы, ваше величество! Да какие злющие... Едва меня не укусили за ногу.

Валуева тоже взвизгнула и вскочила на диван: боялась крыс не меньше покойников.

– Снизу бегут, из подвалов да погребов, – шамкал старичок, сгорбленный, сморщенный, облезлый весь и как будто заплесневелый, похожий на мокрицу, отставной камер-фурьер Изотов.

– В бывшее семьсот семьдесят седьмое лета наводнение тоже крыс да мышей по всему дворцу столько размножилось, что блаженной памяти покойная государыня императрица Екатерина Алексеевна мышеловки сами ставить изволили...

– Вы то наводнение помните? – сказала государыня, которая хотела и не могла вспомнить что-то.

– Точно так, ваше величество! И лета семьсот пятьдесят пятое ноября восемнадцатого, и семьсот шестьдесят второго августа двадцать пятого, и семьсот шестьдесят четвёртого ноября двадцатого, – все наводнения помню. Сам тонул, и батюшка, и дедушка. Оттого воды и боюсь: от огня убежишь, а от воды куда денешься?

Помолчал и опять зашамкал про себя, точно забредил:

– Старики рассказывают, – на Петербургской стороне, у Троицы, ольха росла высокая, и такая тут вода была, лет за десять до построения города, что ольху с верхушкою залило, и было тогда прорицание: как вторая-де вода такая же будет, то Санкт-Петербургу конец, и месту сему быть пусту. А государь император Пётр Алексеевич, как сведали о том, ольху срубить велели, а людей прорицающих казнить без милости. Но только слово то истинно, по Писанию: не увидеша, дондеже прииде вода и взят вся...

С вешим ужасом слушали все, и казалось возможным пророчество: там, где был Петербург, – водная гладь с двумя торчащими, как мачты кораблей затопленных, шпицами Адмиралтейским и Петропавловским.

Вдруг вспомнила государыня и то другое, забытое пророчество: 1777 год – год рождения государева; тогда наводнение было великое, и такое же будет в год смерти его.

В комнату вбежала императрица-мать.

– Lise, Lise! Где он? Где государь?

– Не знаю, маменька, сама ишу...

– Herr Jesu!²⁴³ Что ж это такое?.. А Нике, бедняжка, там в Аничковом, и не знает, где мы, что с нами. Может быть, утонули, думает. И послать некого. Никто ничего не слушает, все нас покинули... И что вы тут стоите? Бежимте же, бежимте скорее к государю!

Все побежали. Один старичок Изотов остался и шамкал, точно бредил:

– Месту сему быть пусту, быть пусту...

Когда бежали по залам, выходявшим на Дворцовую площадь, послышался треск, как от разбитого стекла; двери захлопали, и завыл, засвистел, загудел сквозняк неистовый. Такова была сила бури, что железные листы, сорванные с крыши и свёрнутые в трубку, как бумага, носились по воздуху; один из них ударился в оконное стекло и разбил его вдребезги.

Императрица-мать остановилась, вскрикнула и побежала назад. Все – за нею, кроме государыни; никто не заметил, что она осталась одна. Вдуваемая ветром занавесь в дверях,

²⁴³ Господи Иисусе! (нем.).

окутав её, едва не сбила с ног. Когда она вбежала в соседнюю комнату, то увидела разбитое стекло; осколки ещё сыпались; пахнувший водою ветер врывался в окно. И в шуме близких вод, и в вое урагана чудился вопль утопающих.

Оглянувшись, увидела, что все её покинули; почти без памяти упала в кресло и закрыла глаза.

Когда очнулась, граф Милорадович, петербургский генерал-губернатор, говорил ей что-то, но она не слышала.

– Где государь? – спросила уже без надежды, только по привычке повторяя эти слова.

– Здесь, рядом, в Белой зале, ваше величество! Проводить прикажете?

– Прошу вас, граф, воды.

Он засуетился, отыскивая воду, не нашёл и побежал было в соседнюю комнату.

– Нет, не надо, – остановила она. – Пойдёмте.

– Воды слишком много, а нет воды! – пошутил он с любезностью и, молодцевато изгибаясь, расшаркиваясь, позвякивая шпорами, как на балу, подал ей руку.

У него была походка танцующая и одно из тех лиц, которые как будто вечно смотрятся в зеркало, радуясь: «какой молодец!»

И как это иногда бывает в минуту смятения, пришёл государыне на память глупый анекдот: любитель мазурки, граф учился танцевать у себя один в кабинете; выделявая па перед зеркалом, разбил его ударом головы и порезался так, что должен был носить повязку.

Идучи с ней, говорил о потопе, как о забавном приключении, вроде дождика во время увеселительной прогулки с дамами.

– Все кричат: ужас! ужас! А я говорю: помилуйте, господа, нам ли, старым солдатам, тонувшим в крови, бояться воды?

Вошли в Белую залу.

За столом, у стеклянной двери, выходившей на Неву, сидел государь, согнувшись, сгорбившись, опустив голову и полужакрыв глаза, как человек очень усталый, которому хочется спать.

В начале наводнения хлопотал, как все, бегал, суетился, приказывал. Когда никто не решился ехать на катере, – хотел сам; но Бенкендорф не допустил до этого, тут же, на глазах его, снял мундир, – по шею в воде, добрался до катера и уехал. За ним – другие, и никто не возвращался. Все сообщения были прерваны. Дворец – как утёс или корабль среди пустынного моря. И государь понял, что ничего нельзя сделать.

Не заметил, как вошла государыня. Она не смела подойти к нему и смотрела на него издали. В обморочно-тёмном свете дня лицо его казалось мёртвенно-бледным. Теперь, больше чем когда-либо, в нём было то, что заметила Софья, – кроткое, тихое, тяжкое, подъяремное: «телёночек беленький», агнец безгласный, жертва, которую ведут на заклание; и ещё что-то другое, – то самое, что промелькнуло в нём вчера, когда государыня говорила с ним о тайном обществе: лицо человека, который сходит с ума, знает это и боится, чтобы другие не узнали.

Глупым казался ей давешний страх: здесь, в безопасной комнате, страшнее за него, чем в волнах бушующих. Теперь уже не сомневалась, что он вчера не сказал ей всего, утаил самое главное.

Обер-полицеймейстер Гладков доносил государю о том, что происходит в городе.

На Петербургской стороне, на Выборгской и в Коломне, где почти все дома деревянные, – снесены целые улицы. В Галерной гавани вода поднялась до 16 футов и там почти всё разрушено.

Государь слушал, но как будто не слышал.

Через каждые пять минут подходили к нему один за другим флигель-адъютанты, донося о прибыли воды.

Одиннадцать футов два дюйма с половиною. Шесть дюймов. Восемь. Девять. Десять с половиною.

Теперь уже на 2 фута 4 дюйма – выше, чем в 1777 году. Такой воды никогда ещё не было с основания города.

Был третий час пополудни.

– Если ветер продолжится ещё два часа, то город погиб, – сказал кто-то.

Государь услышал, поднял голову, перекрестился, и все – за ним. Наступила тишина, как в комнате умирающего. В стоявшей поодаль толпе дворцовых служителей кто-то всхлипнул.

– Покарал нас Господь за наши грехи!

– Не за ваши, а за мои, – сказал государь тихо, как будто про себя, и опустил ещё ниже голову.

– Lise, вы здесь, а я и не знал, – увидел, наконец, государыню и подошёл к ней. – Что с вами?

– Ничего, устала немного, бегала, искала вас...

– Ну зачем? Какая неосторожность! Везде сквозняки, а вы и так простужены.

Бережно поправил на ней плащ, где-то на бегу накиннутый. И от мысли, что он может о ней беспокоиться в такую минуту, она покраснела, как влюблённая девочка.

– Вот какое несчастье, Lise, – проговорил он с такой жалобной, как будто виноватой, улыбкой, которая бывала у него часто во время последней болезни. – Помните, в Писании: *страшно впасть в руки Бога живаго...*

Хотел сказать ещё что-то, но почувствовал, что всё равно не скажет самого главного, – только повторил шёпотом:

– Страшно впасть в руки Бога живаго.

Кто-то указал на Неву. Все бросились к окнам. Там нёсся плот, а за ним – огромный сельдяной буян,²⁴⁴ сорванный бурей, – вот-вот настигнет и разобьёт. Люди на плоту одни стояли на коленях, – должно быть, молились; другие, протягивая руки к берегу, звали на помощь.

Государь велел открыть дверь на балкон и вышел. Может быть, погибавшие увидели его. Ему показалось, что сквозь вой урагана он слышит их вопль. Но буян столкнулся с плотом, и люди исчезли в волнах. Государь закрыл лицо руками.

Вернулся в комнату, опять сел, как давеча, согнувшись, сгорбившись, опустив голову. Слёзы текли по лицу его, но он их не чувствовал.

В начале наводнения флигель-адъютант, полковник Герман отправлен был из дворца в Коломну, в казармы гвардейского экипажа, для рассылки лодок. Он провёл весь день в спасенье утопающих. Проезжая по Торговой улице, усталый продрогший и вымокший, вспомнил, что здесь живёт его приятель, князь Одоевский, и заехал к нему напиться чаю. Отдохнув, предложил хозяину и гостю, князю Валерьяну Михайловичу Голицыну, поехать с ним на лодке.

Наступали ранние сумерки; фонарей нельзя было зажечь, и скоро затонувший город погрузился в ночную тьму; казалось, что это последняя ночь, от которой не будет рассвета.

По Офицерской, Крюкову каналу и Галерной выехали на Сенатскую площадь.

Здесь ещё сильнее выла буря, а над белеющей во мраке пеною возвышался памятник: на бронзовом коне гигант с протянутой рукой. И нельзя было понять, что значит это мановенье: укрощает или подымает бурю.

В это же время с другой стороны подъехал катер генерала Бенкендорфа с пылающим факелом. Красные блески, чёрные тени упали на Медного Всадника, и как будто ожил он, задвигался. Гранитное подножие залило водою; чёрная вода, освещённая красным огнём, стала как кровь. И казалось, он скачет по кровавым волнам.

Голицын смотрел в лицо его, и вдруг почудилось ему в шуме волн и в вое бури клики восстания народного.

Вспомнилось, как стоял он здесь, полгода назад, с Пестелем, и, думая о тайном обществе, спрашивал:

– С *ним* или против *него* ?

И теперь, как тогда, ответа не было.

Но вещий ужас охватил его, как будто всё это уже было когда-то, – было и будет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

²⁴⁴ Здесь: буян (устар.) – речная пристань, место для выгрузки товаров с судов (кож, сала, льна и т. п.)

После наводнения сразу начались морозы. Дома, уцелевшие от воды, сделались необитаемыми от холода; промокшие стены обледенели, покрылись инеем, а топить нельзя, печи водою разрушены, и воду нельзя откачивать, – замёрзла. Люди погибали без одежды, без крова, без пищи. А в Неве каждый день подымалась вода, угрожая новым бедствием. Казалось, Самим Богом обречён на гибель злополучный город.

Государь посетил наиболее пострадавшие местности: Коломну, Васильевский остров, Гавань, Чугунный завод.

– Я бывал в кровопролитных сражениях, но это ни чем сравниться не может, – говорил он спутникам.

Зашёл однажды в церковь на Смоленском кладбище. Во всю ширину её стояли гробы с телами утопленников. Он заплакал, и весь народ – с ним.

Учредили комитет для пособия пострадавшим от наводнения. Рассказывали чувствительные анекдоты: о бедной старушке, отказавшейся от шубы при раздаче тёплого белья: «Я свою шубёнку спасла, а мне чулочки пожалуйста»; о добродетельном чиновнике Иванове, хоронившем бедных на свой счёт; о младенце, приплывшем в сахарном ящике к старому холостяку, который взял дитя на воспитание.

А также – анекдоты весёлые: в одном доме окотившаяся кошка перенесла котят на ту именно ступеньку лестницы, где остановилась вода; в подвал Публичной библиотеки заплыл сиг, и библиотекарь Иван Андреевич Крылов поймал его, зажарил и съел; приезжий барин думал, что сошёл с ума, когда, встав поутру, увидел полицеймейстера Чихачёва,²⁴⁵ плывущего в лодке по двору; а графиня Толстая так рассердилась за наводнение на Петра I, что, проезжая мимо памятника его, высунула язык.

Цензурой запрещено было печатать о наводнении что бы то ни было, и в Москве уверяли, что вода поднялась выше Адмиралтейского шпица. В простом народе шли толки, что Божий гнев постиг столицу за военные поселения и зверства помещиков.

О. Феофосии Левицкий проповедовал, что наводнение – «не простое и слепое следствие природы, но, собственно, удар праведного суда Божия, воздающего нам по делам нашим, поелику не видно со стороны правительства ни малого движения к покаянию». Два фельдгегеря явились ночью к о. Федосу, усадили его в тележку и увезли неизвестно куда: оказалось потом – в Коневец на Ладожском озере.

Наконец Нева стала. Там, где бушевали волны потопа, белело теперь снежное поле, скрипели возы, на коньках бегали дети, плясали на морозе, ударяя валенком о валенок, весёлый сбитенщик, и чухны с кудластыми клячами везли с прорубей колотый лёд, сверкавший на солнце прозрачно-зелёными глыбами.

Намело сугробы по улицам; дребезжанье дрожек сменилось беззвучным бегом саней, и всё вдруг затихло, заглохло, замерло, только снег хрустел под ногами прохожих и голоса раздавались на улице, как в комнате.

Петербург стал похож на глухую деревню, занесённую вьюгами. Уснул, как дитя в колыбели под белым пологом; как мертвец в могиле под белым саваном. И тишина колыбельно-могильная сладко-жутко баюкала.

Государыня была больна: как простудилась во время наводнения, так и не смогла поправиться. Доктора опасались чахотки. «Та же болезнь, что у Софьи, – думал государь. – Две загнанных лошади; одна пала, и другая падёт».

Он проводил с нею целые дни. Доктора запретили ей говорить: от разговора кашляла. Говорил он, а она писала ответы.

Разговор о тайном обществе, в тот вечер накануне наводнения прерванный, не возобновлялся у них. Но когда она смотрела на него глазами загнанной лошади, он знал, о чём она думает. И оба молчали. Тихо в комнате, тихо на улице – тишина колыбельно-могильная.

Он оставил все дела: они казались ему ничтожными, как будто во время наводнения понял он бессилье власти. Той страшной смертной лени, с которой прежде боролся, предался теперь

²⁴⁵ Чихачёв Матвей Фёдорович – участник войны 1812 г., в 1824 г. младший петербургский полицмейстер.

окончательно; похож был на пловца изнеможённого, уносимого течением к омуту.

Новому министру народного просвещения, Александру Семёновичу Шишкову²⁴⁶ – за восемьдесят. Сед, как лунь, лицо мёртвенно-бледное, глаза впалые; голова трясётся; жуёт губами, шамкает. Однажды, явившись к государю с докладом, не мог отпереть портфель, – так дрожали руки от слабости. Государь помог ему, вынул бумаги и прочёл их сам.

Шишков был изувер в политике. Сочинённый им цензорный устав называли «чугунным», его самого – «гасильником», а министерство просвещения – «министерством затмения».

Доклады его были сплошными доносами.

– Так называемый дух времени есть дух безбожья, дух революции, дух, истреблением и убийствами дышащий, от коего гибнет власть, умолкает закон, потрясаются престолы и кровавое буйство свирепствует. Опасность сия ужаснее пожара и потопа...

Шамкает, шамкает, пока не заметит, что государь не слушает, тогда опустит голову, помолчит, пожует и вдруг захнычет жалобно:

– Государь всемилостивейший! Трудно мне, старику, нести на плечах столь тяжкое бремя; чувствую, что упаду под ним. Дух времени взял силу: везде – в сенате, в совете, в публике и при самом дворе – сей дух находит защиту. Что делать? Головой стену не прошибёшь... Бог доселе хранил Россию, но, кажется, ныне рука Его тяготеет на нас. Быть худу, быть худу...

Каркает, каркает, и от этого карканья ещё темнее тёмные зимние дни и тишина колыбельно-могильная ещё усыпительнее.

Военный министр Татищев,²⁴⁷ министр юстиции Лобанов, министр внутренних дел Ланской²⁴⁸ – все такие же старые, дряхлые, похожие на призраки.

«И вот кому отданы судьбы России, – думал государь, – какою молодостью начал, какою старостью кончает!»

А в народе не прекращались слухи о зловещих знамениях: то колокола на церквах сами звонили похоронным звоном; то неизвестная птица прилетела ночью на крышу дворца и выла жалобно; то рождались уроды: младенец с рыбьим хвостом, телёнок с головой человеческой.

В конце февраля сделалась оттепель; потемнел тлеющий снег, закапало с крыш, лёд загрохотал из водосточных труб, путая прохожих; зашлёпали лошади в зловонной слякоти. Люди стали умирать как мухи от гнилых горячек. Поползли туманы чёрно-жёлтые, и всё что-то мрежило, мрежило, пока не вышло из туманов смешное страшилище – поп с рогами.

Сначала у Троицы, во время обедни, выставил он морду из царских врат и заблеял по-козлиному; потом видели его у Николы Морского и, наконец, в Казанском соборе. Толпа собралась на площади. Полицеймейстер Чихаев убеждал разойтись, но толпа не расходилась и напирала на двери собора; уверенность, что там прячут попа с рогами, усиливалась тем, что двери были заперты и охранялись полицией, а духовенство не выходило; говорили, будто бы сам митрополит служит молебствие, дабы Господь помиловал попа и роги у него отпали.

В чёрно-жёлтом тумане, в тёмном свете ночного дня всё было так призрачно, что и этот призрак казался действительным. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы кто-то не пустил слух, что попа увезли подземным ходом.

А на следующий день собралось ещё больше народа у Невской лавры. Попа уже многие видели; одни уверяли, будто он похож на Аракчеева, другие – на Фотия. Монахи заперли ворота, а толпа шумела, чтоб отперли.

– Да вы что, братцы, смотреть? Сами отворим, тащи лестницу! – крикнул кто-то.

²⁴⁶ Шишков Александр Семёнович (1757–1841) – адмирал, министр народного просвещения в 1820-е гг., президент Российской Академии с 1813 г. до конца дней.

²⁴⁷ Татищев Александр Иванович (1763–1833) – военный министр в 1823–1827 гг., генерал от инфантерии, председатель следственной комиссии по делу о 14 декабря, по окончании её работы возведён в графское достоинство.

²⁴⁸ Ланской Василий Сергеевич (1754–1831) – сенатор, губернатор Саратова, Гродно, наместник Царства Польского в 1815 г., министр внутренних дел в 1825–1828 гг.

Но появилась рота солдат, и все разбежались. А вечером стало известно, что во многих соседних домах обворовано, пока прислуга бегала смотреть попа.

Из Петербурга поп исчез, зато начал являться в других городах Российской империи.

Когда доложили о том государю, сначала Шишков, а затем обер-полицеймейстер Гладков с таким видом, как будто начиналась революция, государь вышел из себя, обругал Гладкова старою бабою и велел исследовать дело Аракчееву.

Оказалось, что поп с рогами – не пустая выдумка. В глухом украинском селении один священник убил козла и надел шкуру с рогами, чтоб нарядиться чёртом «для соделания некоего неистовства». Клейкая шкура присохла к телу, и думая, что она приросла, поп взвыл от ужаса. Сбежался народ; слух дошёл до начальства; произведено следствие, дело поступило в Синод, а оттуда молва разнеслась по городу.

Только что поп исчез, появилось новое чудо: каждый день игла Петропавловской крепости начала светиться красным светом; думали, заря, но и в облачные дни был свет. Государь собственными глазами видел: игла светила, как будто лезвие тонкого ножа висело на тёмном небе, кровавое. Причина света так и осталась неизвестной; только много времени спустя узнали, что на пустыре, близ крепости, обжигали известь и свет из устья печи, заслоняемый домами и заборами, падал прямо на шпиг.

А начальник тайной полиции фон Фок²⁴⁹ заваливал государя доносами.

Среди белого дня на Невском проспекте кто-то кому-то сказал: «Скоро будет революция!» – сыщик бросился ловить злоумышленника, но тот исчез в толпе. По другому доносу предлагалось ставить на ночь караулы у всех колоколен, «дабы нельзя было ударить в набат, подавая тем сигнал к революции». А в грамматических таблицах сочинителя Греча для взаимного обучения нижних чинов найдены возмутительные изречения: «Императрица – перепелица. Где сила, там закон – ничто. Сила солому ломит. Воды и царь не уймёт». Таблицы запрещены, и Греч отдан под надзор полиции.

Когда же государь узнал, что и сам Аракчеев состоит под тем же надзором, то подумал, что фон Фок помешался, хотел было рассердиться, но махнул рукою: «Делайте что знаете».

Никто не смел говорить с ним о тайном обществе, а ему казалось, что все о нём знают и, думая, что он от страха ничего не делает, смеются над ним.

«Подозрительность его доходила до умоисступления, – рассказывала впоследствии Марья Антоновна Нарышкина, – достаточно ему было услышать смех на улице или увидеть улыбку на лице одного из придворных, чтобы вообразить, что над ним смеются».

Однажды вечером, когда у Марьи Антоновны сидела кузина её, приезжая молоденькая полька, и подали чай, государь налил одну чашку хозяйке, другую – гостье. А Марья Антоновна шепнула ей на ухо:

– Когда вы вернётесь домой, то будете, конечно, гордиться тем, кто наливал вам чай?

– О, да, ещё бы! – ответила та.

Государь, по глухоте, не слышал, но видел, что они улыбаются, и тотчас нахмурился, а оставшись наедине с Нарышкиной, сказал:

– Видите, я всюду делаюсь смешным... И вы, и вы, мой старый друг, которому я верил всегда, не можете удержаться от смеха! Скажите же мне, ради Бога, скажите, что во мне смешного?

Генерал-адъютанты Киселёв, Орлов и Кутузов, стоя у окна во дворце и рассказывая анекдоты, смеялись. Вдруг вошёл государь; они перестали, но на лицах ещё виден был смех. Государь взглянул на них и прошёл, не останавливаясь, а через несколько минут послал за Киселёвым. Тот, войдя в кабинет, увидел, что государь стоит перед зеркалом и вертится, оглядывая себя то с одной, то с другой стороны.

– Над чем вы смеялись? Что во мне смешного?

Киселёв остолбенел и едва мог пролепетать, что не понимает, о чём государь изволит спрашивать.

²⁴⁹ Фок Максим Яковлевич (Магнус Готтфрид) (1777–1831) – директор особой канцелярии при министерстве полиции и министерстве внутренних дел, позже – 3-го отделения императорской канцелярии.

– Ну полно, Павел Дмитриевич, – продолжал тот ласково, – я же видел, что вы надо мною смеялись. Скажи правду, будь добрым: нет ли сзади моего мундира чего-нибудь смешного?

Иногда снился ему гадкий сон: будто бы где-то на балу или на дворцовом выходе он – в полном мундире, с Андреевской лентой через плечо, но без штанов; все на него смотрят, и он чувствует, что осрамился навеки; такое же чувство было у него теперь наяву.

Не только в лицах человеческих, но и во всех предметах что-то подсмеивалось: из вечерних туманов, на небе клубившихся, глядело смешное страшилище – поп с рогами; в Летнем саду вороны каркали, как в ту страшную ночь, 11 марта, когда спугнули их батальоны семёновцев; и на тёмно-багровой зимней заре красные стены Михайловского замка, отражённые в чёрной воде канала, напоминали кровь.

От петербургских туманов и призраков спасался он в Царское.

Здесь, в уединении, было легче. Он жил зимой в трёх маленьких комнатках церковного флигеля – кабинете, спальне, столовой – очень простых, почти бедных. Ему казалось, что он уже отрёкся от престола и живёт в отставке.

Однажды, после обеда, он сидел один в кабинете, у камелька. День был серенький, но иногда из-за туч выглядывало солнце; пламя в камельке бледнело, водянисто-прозрачное, и на замёрзших окнах алмазный папоротник искривился. А за окнами, на грифельно-тёмном небе, белели деревья, одетые инеем; там, в снежном парке, – светло, бело и тихо, как за тысячи вёрст от города: тишина колыбельно-могильная. Он думал о предстоящем свидании с князем Валерьяном.

Помнил обещанье, данное Софье; помнил также лицо князя Валерьяна в тот вечный миг над гробом Софьи, когда вдруг почувствовал, что любовь к умершей соединяет их и что этот враг его – единственно нужный, близкий ему человек. Тогда ничего не стоило подойти к нему и заговорить, но потом чем больше думал об этом свиданье, тем труднее казалось оно. Проходили месяцы. Он всё откладывал. Голицын ждал и перестал ждать; хотел уехать, просил отпуска. Государь не пускал его, но теперь был уверен, что свиданье будет для обоих тягостно, лживо, унижительно и, главное, смешно тем страшным смехом, который всюду преследовал его.

А всё-таки думал об этом свиданье упорно, жадно и мучительно как будто растравлял с наслаждением рану свою. Воображал себе весь разговор в мельчайших подробностях, готовил свои вопросы и его ответы – говорил за обоих, иногда, увлекаясь, вслух, – как актёр учит роль свою перед зеркалом.

Сначала – о Софье.

– Я исполняю, – скажет, – её предсмертную волю, говоря с вами, князь! Она говорила мне, и я знаю, что это так: если вы любили её, то не можете быть мне врагом. Именем её прошу вас, говорите со мной не как с государем подданный, а как человек с человеком, как сын с отцом. Я верю, и мне хотелось бы, чтобы и вы поверили, что она слышит нас...

Помолчит и посмотрит ему в глаза, а тот не выдержит – потупится.

– Мне известно, Голицын, – заговорит опять, – что вы принадлежите к тайному обществу, и цели оно же известны мне: ограничение власти самодержавной, дарование конституции. Но разве вы не знаете, что это и моя цель?

Тут усмехнётся кротко.

– Вы хотите быть моими врагами, но вы друзья мои, дети, исчадьё, плоть и кровь моя. Без меня и вас бы не было. Я всегда думал и думаю, что свобода есть лучший дар Божий. Что же разделяет нас? Почему мы враги?

– Угодно знать правду вашему величеству?

– Правду, Голицын, одну правду.

– Государь, вы сами знать изволите, что тайное общество возникло только тогда, когда всякая надежда на дарование России свободы верховною властью была потеряна...

Если бы кто-нибудь заглянул в комнату, то подумал бы, что государь лишился рассудка. Против него стояло пустое кресло, и он обращался к нему, как будто там сидел кто-то невидимый; ему казалось, что он говорит шёпотом, но говорил так громко, что слышно было в соседней комнате; делал знаки руками, кивал головой, изменял голос; то улыбался, то хмурился – настоящий актёр перед зеркалом.

– Да неужели же, Голицын, неужели вся вина на мне одном? Таких, как я, как вы, –

десятки, ну сотни в России, а остальных – миллионы. Когда мы со Сперанским только начинали преобразования, то его объявили изменником, и я принуждён был пожертвовать им...

«Ну не совсем так, но всё равно, почти так, – подумал. – О Сперанском непременно что-нибудь надо сказать».

– И знаете, Голицын, что писал мне тогда Карамзин? Я до сих пор наизусть помню: «Одна из главнейших причин неудовольствия Россиян на нынешнее правление есть излишняя любовь его к преобразованиям, потрясающим империю, благотворность коих остаётся сомнительной». Уж если Карамзин, человек просвещёнейший, думал так, то что же другие? Зрелище единственное в мире – государь, дающий вольность народу, и народ, её не принимающий! Нельзя сделать людей из-под палки свободными. Один в поле не воин. А я – один, помощников нет. Кем я возьмусь? Кругом видишь обман. Можем ли мы, государи, знать всё, что у нас делается? Когда об этом подумаешь, волосы дыбом встают! Военная, гражданская, церковная часть – всё не так. Но что же делать? Человек не может всего. Надо войти и в моё положение. Войдите же в него, подумайте, что вы делаете, расскажите в преступных замыслах, и я приму раскаянье ваше с любовью отеческой. А главное, поймите же, поймите, наконец, что я хочу того же, чего и вы. Будем вместе, соединим усилия наши для блага отечества...

Что скажет ещё, хорошенько не знал, но чувствовал, что будет умирительно. И тот не устоит – заплачет, упадёт к ногам его. Сначала – он, а потом и другие. Все придут с повинной головой. И он простит их, как отец прощает блудных сынов своих. А если и казнит кого, то, среди ликования общего, никто не заметит.

Ну а что, если не поверят, подумают, что он просто боится, лукавит, играет двойную игру, заманивает их в ловушку, чтобы вернее уничтожить заговор? Что, если вспомнят слова Наполеона: «Александр тонок, как булава, остёр, как бритва, фальшив, как пена морская; если бы надеть на него женское платье, то вышла бы прехитрая женщина». Или слова Бабушки: «Господин Александр, по природе своей, актёр, великий мастер красивых телодвижений». Красивым телодвиженьям и теперь перед зеркалом учится. Но поздно: разбито зеркало. Никого не обманет. Только новый срам, новый смех. «Нет ли у меня сзади чего-нибудь смешного?»

Он – жертва, а они убийцы; или жертвы – они, а он – палач: этого никакими словами не скроешь. Не слова нужны, а дела. Казнить злодеев – вот что надо. «Надо и нельзя, нельзя и надо», – опять как тогда, 11 марта. Ничего не решит, ничего не сделает, пальцем не двинет. Как в летаргии – всё слышит, всё знает, чувствует и не может дать знак, чтоб его не хоронили живо.

– А они смеются! А они смеются!..

Камердинер Анисимов давно уже слышал из соседней комнаты, что государь говорит с кем-то. Не вошёл ли кто с другого хода? Подойдя к двери, приложил ухо к замочной скважине. Когда государь произнёс: «А они смеются! А они смеются!» – «Анисимов! Анисимов!» – послышалось ему. Он открыл дверь и вошёл.

– Чего тебе?

– Звать изволили, ваше величество?

– Вон! – закричал государь, вскочил и затопал ногами в ярости.

Через несколько минут, в шинели и фуражке, сошёл вниз по лестнице.

У крыльца стоял часовой. «И этот смеётся?» – подумал государь, остановился и, глядя на него в упор, спросил:

– Ты что?

– Здравия желаю, ваше императорское величество! – гаркнул тот, выпучив глаза, с таким усердием, что у государя отлегло от сердца.

– Как звать?

– Иван Охрамеенко, ваше величество!

– Ну, Иван, скажи ротному, что я тебя унтер-офицером жалую.

«Совсем, как батюшка, – подумал он, – яблочко от яблоньки недалеко падает».

Вошёл в парк.

Для прогулок его расчищались дороги от снега и усыпались жёлтым песком на несколько вёрст. Густой аллеей дремучих елей под белым саваном, по берегу Большого озера, шёл к Баболовской просеке.

Падал снег, сначала редкими звёздами, а потом – хлопьями, ещё не мокрый, но уже мягкий, липкий, предвещающий оттепель, как будто и сам тёплый, удушливый.

Дойдя до просеки, завернул по узенькой тропинке в чаще леса и вышел на площадку, окружённую высокими деревьями. Сел на скамью и долго смотрел, как падает снег – в темнеющем воздухе белая сетка, белая мгла, однообразно снующая, ослепляющая, головокружительная.

«Головокружение... – подумал он. – Что такое? Что я хотел?... Да...

*...Cet esprit de vertige et d'erreur,
De la chute des rois funeste avant-coureur.*

Головокружение, которое предвещает падение царей...»

То были стихи из французской трагедии, слышанной им с Наполеоном в Эрфурте.

– У меня голова закружилась бы на такой высоте, – смеялся однажды над маленькой бронзовой куколкой, кумиром кесаря, на победном столпе Вандомской площади; а когда, после взятия Парижа, побеждённые в честь победителя стаскивали верёвками ту куколку, под буйные клики толпы: «Долой Наполеона, виват Александр I!» – закружилась-таки голова у него самого, победителя. Но свой черёд каждому: сперва Наполеона, а теперь и его, Александра, спускают, при общем смехе, – маленькую, детскую, на ниточке вертящуюся куколку.

А ещё что? Да, после аустерлицкого разгрома, всеми покинутый, лежал ночью, в пустой избе, на соломе, с такою животною болью, что лейб-медик Виллие боялся за жизнь его и отпаивал красным вином, за которым ездил в австрийский лагерь и там на коленях полбутылки вымолил. А ему, государю, казалось, что эта животная боль – от страха – медвежья болезнь. Вот когда начался тот страшный смех, от которого он теперь сходит с ума.

И ещё, ещё что? Самое смешное, самое страшное? Не 11 марта, не тайное общество, – это только струпья проказы, – а сама она где, где корень всего? Знает где; знает что. Не хочет знать, а знает. Не то ли, о чём он говорил тогда, когда тащили его на кровавый престол, как тащат мясники телёнка на бойню, а он упирался, не шёл, «телёночек бедненький»? «Тут место проклятое, – говорил тогда, – станешь на него и провалишься; проваливались все до меня, и я провалюсь». Тогда это знал; потом забыл и вот опять вспомнил. Но поздно: голова под топором, верёвка на шее у бедного телёночка. Стал на место проклятое и провалился. Надо было тогда же уйти, бежать без оглядки, а теперь поздно: сложить корону – сложить голову. И все мечты о том – только красивые телодвижения, актёрское ломание перед зеркалом – ложь, срам, смех.

Закрыв лицо руками, хотел плакать – не мог.

Встал, скинул фуражку, сбросил шинель, опустился на колени, сложил руки и поднял глаза, хотел молиться, не мог. О чём? Кому? «Чтобы самодержавно царствовать, надо быть Богом» – это он сам говорил, это все ему говорили, – говорили и делали, – его, человека, делали Богом.

Опять закрыл лицо руками, повалился на снег и долго лежал так, недвижимый, бездыханный, как мёртвый.

А снег всё падал да падал в темнеющем воздухе и покрывал мёртвого саваном.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Дневник императрицы Елизаветы Алексеевны хранился в особой шкатулке, всегда запертой. Она вела его тридцать лет, никому не показывая, кроме старого друга своего, Карамзина.

Весною, готовясь к отъезду из Петербурга в Царское, а оттуда – в Таганрог, тяжелобольная и, как ей казалось, умирающая, она приводила в порядок свои бумаги. «Чтобы ко всему быть готовой, даже к смерти», – писала в тот же день матери.

Поздно ночью, оставшись одна в спальне, отперла шкатулку, вынула дневник и стала читать. Он был на французском языке, с отдельными русскими и немецкими фразами. Читала не сплошь, а лишь те страницы, которые были ей особенно памяты. В прошлые годы почти не

заглядывала, а только в два последние, 1824–1825.

Читала:

«От цветка – запах, от жизни – грусть; к вечеру запах цветов сильнее, и к старости жизнь грустнее.

Карамзин, узнав, что я родилась почти мёртвая, сказал:

– Вы сомневались, принять ли жизнь.

Кажется, я до сих пор сомневаюсь; никогда не умела принять жизнь, войти в неё как следует.

Страдания человеческие – тёмные, но точные зеркала; надо в них всмотреться, чтобы увидеть себя и узнать. Я вижу себя в своём тёмном зеркале не её величеством, императрицей всероссийской, а маленькой девочкой, которая не хотела рождаться, или старой старушкой, которая не может умереть.

11 марта. Каждый год в этот день мы ездим с государем в Петропавловский собор, на панихиду по императоре Павле. Государь вспоминает прошлые годы и вот уже много лет говорит мне всё с большею грустью:

– Где-то мы будем через год и будем ли вместе?

Годы проходят. Двадцать три года – двадцать три мига. Чем дальше, тем ближе. Всё, как вчера.

Мы не говорим, но об одном и том же думаем; вспоминаем тот разговор накануне страшной ночи 11 марта.

– А если кровь? – спросил он. – Что же ты молчишь? Или думаешь, что мы должны – через кровь?..

– Не знаю, – начала я, но он остановил меня.

– Нет, нет, молчи, не смей! Если скажешь, Бог не простит...

Но я всё-таки кончила:

– Не знаю, простит ли Бог, но мы должны.

Тогда я знала, что должны; теперь не знаю; или, как он тогда говорил: «Должны и не должны, надо и нельзя, нельзя и надо».

А потом в Москве, во время коронации, он сидел целыми часами не двигаясь, в оцепенении, уставившись глазами в одну точку бессмысленно. Боялись за его рассудок; никто не смел к нему войти; только князь Чарторыжский иногда входил и старался утешить, ободрить его.

– Нет, этому нельзя помочь, – отвечал государь. – Я должен страдать. Как вы хотите, чтобы я не страдал? Это всегда, всегда будет...

Да, всегда было; отступало на время, а потом возвращалось. Вот и теперь возвращается. Двадцать три года – двадцать три мига; чем дальше, тем ближе; всё, как вчера.

Меч прошёл душу его. Не этот ли меч разделил нас? Хотим сойтись, и не можем. Такие близкие – такие чуждые. Не эта ли кровь легла между нами чертой непереступною?

Если бы я тогда не сказала: «мы должны», то, может быть, ничего бы не было. Не он, а я виновата во всём, – я одна. Пусть же Бог не его, а меня казнит!

Вспоминаю болезнь его. Теперь, когда опасность миновала, от меня уже не скрывают, что он был на волосок от смерти: рожистое воспаление ноги могло перейти в антонов огонь. Я никогда не видела его таким кротким в страдании; это путало меня больше всего.

Теперь он почти здоров. Когда выехал в первый раз, 22 февраля, прохожие на улицах, увидев его, становились на колени, крестились и плакали от радости.

Я тоже радуюсь, а всё-таки жалею – чего? Неужели того времени, когда он был болен, страдал, и я вместе с ним? Да, мы были вместе, так близко, как уже давно не бывали. Помню, он сказал мне однажды с тою улыбкою больного ребёнка, которой у него никогда раньше не было, – я так боюсь её и так люблю.

– Вот увидите, Lise, если я поправлюсь, то буду этим обязан вам одной.

Как я была счастлива! Даже стыдно, что могла быть так счастлива, когда он страдал.

То было после первой ночи, которую он провёл спокойно, благодаря особой подушке моего изобретения. Он должен был спать сидя, потому что делались приливы крови к голове, только что ложился; подушка моя избавила его от этих приливов. Я придумала также для больной ноги его скамеечку, которая позволяла ему сидеть за столом в кресле.

Проводила с ним дни и ночи; не боялась ему, как всегда, помешать. Он был весь мой, и мы были одни, как будто за тысячи вёрст от всех, кто надоедает ему и мучает его, когда он здоров. Никто не смел к нам войти; хорошо, уютно, тихо.

– Как хорошо, Lise, всегда бы так! – говорил он.

Ухаживал за мной, любезничал. Мне казалось, что я не жена, а любовница.

Теперь всему конец. Опять одна, опять – ничто: ни жена, ни любовница. Сиделка, которая получила плату и может уйти. Опять боюсь ему помешать, стараюсь на глаза не попадаться; пробираюсь по стенке, так, чтобы никто не заметил; прихожу ночью украдкой и целую сонного: во сне он всё ещё мой.

Ну что ж, пусть так! Я ведь привыкла. Наяву – розно, во сне – вместе, может быть, и в последнем смертном сне. Всё в жизни разделяет нас, а когда выходим из жизни – соединяемся. Наш союз не от мира сего. Муж и жена – навеки разлучённые любовники.

Говорят, ночная кукушка дневную перекукует. Я всегда была для него ночью, но не умела перекуковать дневных. Я – зловещая птица: если я близко, – значит, худо ему; ему худо, а мне хорошо; чем хуже ему, тем лучше мне. Надо, чтобы он был в болезни, в несчастии, в опасности, чтобы я была с ним. Так было 11 марта; так было в 12-м году. Так и теперь. Неужели так всегда?

О, я понимаю, что он меня не любит, боится любить!

Дни проходят и приносят мне всё больше горечи, но я не жалуюсь: это в порядке вещей. Всё по-старому; всё, как должно быть. Стараюсь приучить себя к страданию так, чтобы оно казалось мне естественным. Но это не всегда удаётся. Софи Строганова²⁵⁰ права, когда упрекает меня за недостаток христианских чувств. Я хочу верить, что Господь воспитывает душу мою для вечной жизни скорбями здешней; хочу отдаться Ему со связанными руками и ногами. Я говорю: всё, что Он захочет; всё, как он захочет, – только бы я знала: что мне делать? что мне делать? Потому что я иногда не знаю, не понимаю многого. «Но если нельзя понять, значит, и не надо», – говорит Софи.

Должно быть, есть люди, которым не то что дано, а не позволено быть счастливыми. Когда я счастлива, мне кажется, что я взяла чужое, украдала; стыдно и страшно: знаю, что буду наказана.

Не надеяться здесь, на земле, ни на что, от всего отказаться, всему покориться, страдать молча, – мне иного нет спасения.

Я не должна быть счастлива . – вот тайна жизни моей, – я должна страдать. Господь знает, зачем это нужно, но Он не хочет, чтобы я это знала.

Да будет воля Его, да примет Он меня последней из последних, только бы не отверг!

Годовщина Лизанькиной смерти. Ей теперь исполнилось бы 18 лет.

Я была на кладбище Александро-Невской лавры, где похоронена Лизанька вместе с Машенькой – Мышкой моей (Mauschen). Тут же, рядом, Алёша. На его гробнице надпись: «Кавалергардского полку штаб-ротмистр, Алексей Яковлевич Охотников, умер 30 января 1807 года на 26-м году от рождения».

Никто никогда не узнает, что скрыто для меня под этою надписью.

Когда я в последний раз пришла к нему перед смертью, он сказал мне:

– Я умираю, счастливый, но дайте мне что-нибудь на память.

Я отрезала и дала ему прядь волос. Он велел положить её в гроб. Она и теперь там. Пусть Бог меня накажет, – я не раскаиваюсь и не отниму того, что дала.

²⁵⁰ Строганова Софья Владимировна, урожд. Голицына (1774–1845) – жена графа П. А. Строганова.

Долго ходила по кладбищу. В тени ещё был снег, а на солнце – трава зелёная и жёлтые цветы весенние. Я сорвала три пучка: один положила на могилу Лизаньки, другой – Мышки, третий – Алёши.

Не все, кого я люблю, но все, кто любил меня, – здесь. Все трое вместе – на кладбище, так же как в сердце моём.

Говорят, к непогоде старые раны болят. Болят мои старые раны – перед какою бурей?

Вспоминаю смерть Мышки, смерть Лизаньки, – и опять времени нет; чем дальше, тем ближе; всё, как вчера.

Мышке было очень плохо, а я всё ещё надеялась. В последнюю ночь, после ужасной рвоты и судорог, она перед утром затихла, как будто уснула. Я прилегла рядом, на диване, и тоже заснула, потому что не спала много ночей. А когда проснулась, – увидела, что она умирает. Может быть, звала меня, а я не слышала? Уже бездыханная, лежала на руках моих, а я всё ещё не верила. «Что это? Что это?» – повторяла бессмысленно.

Казалось тогда, что нельзя больше страдать. Но я и вполтину не страдала так, как потом от Лизанькиной смерти. Да, вот что страшно: никогда не знаешь, как ещё будешь страдать, как ещё можно страдать и есть ли конец страданию? Кажется, нет конца. Если бы я не верила в Бога, я тогда убила бы себя.

Все эти дни брожу по дворцу, как душа нераскаянная. Зашла намеренно в Лизанькину комнату и вспомнила всё. Ходила по комнате как безумная, повторяла все её словечки и старалась им подражать. «Не, не» вместо «нет», и по-английски: «Up, up!» – когда хотела быть поднятой на руки. И ещё говорила «так», когда я спрашивала её на ухо: «Ты моя, маленькая Лизанька?» – «Так! Так!» – отвечала с таким хитрым видом, как будто понимала в чём дело. А когда причащали её, отворачивалась и кричала тоже по-английски: «No! no!» К государю не могла привыкнуть, боялась его и плакала.

Последние слова её перед смертью: «Танцуй! Танцуй! Dance! Dance!» – потому что любила во время болезни, когда не спала, чтоб её сажали на подушку, носили по комнате и пели весёлую песенку. Сколько раз я пела ей, глотая слёзы! Вот вспомнила это, и через столько лет боль – всё такая же. Не первые минуты горя самые страшные, – их горечь опьяняет и заглушает боль, – а потом, когда опьянение проходит, всё возвращается к обычному порядку, как будто забываешь – и вдруг вспомнишь.

Лизанька умерла в десять дней от зубов. Доктора всё успокаивали и только в последнюю минуту испугались, потеряли голову. Дали ей мускусу. О, этот запах мускуса в полутёмной комнате с опущенными шторами! Началась рвота и судороги, точно такие же, как у Мышки. Потом окоченела, как будто задохлась. Подняли шторы, поднесли её к окну. Чтобы узнать, жива ли, я позвала: «Лизанька!» – и она, уже вся посиневшая, вдруг подняла ручку, прикоснулась к щеке моей. И в лице её было что-то такое жалкое, недетское, что у меня до сих пор душа разрывается.

А когда лежала в гробу, любимые птицы её запели в соседней комнате.

За что дети страдают? Ну, мы, взрослые, искупаем грехи свои. А дети за что? Первородный грех, что ли? Нет, ничего, ничего не понимаю.

Как Иов, могла бы я ответить утешителям: «Слышала я много такого; жалкие утешители – все вы, бесполезные врачи!»

Да, во мне сейчас меньше покорности, чем в первые минуты горя. Боже мой, Боже мой, какое нужно терпение, чтобы не спросить у Бога: зачем? за что? Вот я твержу себе: мы здесь, на земле, не для счастья, а для страданий, и Бог лучше нашего знает, зачем это нужно. «Всё к лучшему, всё к лучшему!» – как говорит государь. Но не помогает это.

Софи права: во мне мало христианских чувств. И я не хочу лицемерить, не хочу казаться лучше, чем я есть. Если бы я покорилась, то, может быть, меньше страдала бы; но мне казалось бы тогда, что я изменяю тем, кого люблю.

Не хочу страдать меньше, не хочу покоряться. Хочу спорить с Богом, как Иов:

«О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим. Вот я кричу: обида! – и никто не слушает; вопию, – и нет суда».

Зачем я всю жизнь люблю человека, который не любит меня? Зачем полюбила Алёшу?

Зачем он убит? Зачем умерла Мышка? Зачем умерла Лизанька? Зачем? Зачем?

А иногда кажется – знаю зачем; знаю за что.

Я слишком люблю, люблю людей больше, чем Бога, и за это Он меня наказывает. Стоит мне полюбить кого-нибудь, как Бог отнимает его у меня. Уж лучше бы никого не любила. Боюсь любить.

Копаться в душе своей, растравлять свои раны – дурная привычка.

– Вы слишком за собой следите, – говорила мне покойная императрица австрийская.

Лейб-медик Виллие советует, вместо всех лекарств, «глупо жить».

«Желаю вам покоя и равнодушия здорового, говоря языком философических медиков», – пишет мне Карамзин. А мой приятель, башкирец, который в Царском Селе готовил мне кумыс, говорил, бывало, поглядывая на меня с сожалением:

– Ты, matka, больна потому, что слишком умна, много думаешь; а лекарства дают – ещё хуже делают.

Ну что же, постараюсь «глупо жить». Фигаро, кажется, прав, что «все умные люди – дураки».

Зачем себе портить жизнь? Надо брать её, как она есть, – тогда самого горького не почувствуешь. Не надо *принюхиваться* к жизни, как к воздуху в комнате покойника.

Патриотическое Общество,²⁵¹ Сиротское училище, Эмеритальная касса, Дом Трудолюбия, лепка, живопись, карты, шашки, бирюльки, – вон сколько дел!

А летом – купаться, ездить верхом. Когда ныряю и, открывая глаза под водой, вижу полусвет таинственный или скачу верхом и ветер мне в уши свистит, – я забываю все горести жизни.

Однажды, в Ораниенбауме, с великою княгиней Анною, бывшей супругой Константина, мы голыми ногами в воде по взморью бегали, смеялись и шалили так, что статс-дама императрице-матери пожаловалась. Это четверть века назад, но есть во мне и теперь та же весёлая девочка.

Право, я ещё многое в жизни люблю: люблю в Петергофе сидеть на камне у моря вечером и следить, ни о чём не думая, за парусами и чайками; люблю гулять ранним утром на Каменном острове, когда ставни закрыты, всё ещё спят, – по той пустынной дорожке, где мы так часто гуляли с Алёшей; люблю соловьиное пение в белые ночи, такое странное; люблю запах весенних берёз под маленьким дождиком, тёплым и тихим, как слёзы счастья.

Все эти радости Софи называет «цветами у подножия креста». Зачем так пышно?

Давеча нашла я у себя в шкатулке вязальные спицы и долго не могла припомнить, откуда они; наконец вспомнила, что в 12-м году мы вязали шерстяные чулки для солдат.

Петля за петлёй, день за днём, буду вязать мою жизнь, как старая добрая немка шерстяной чулок.

Ещё одна смерть – Софьи Нарышкиной. Бедная девочка! Она была мне как родная дочь.

Государь опять несчастен и опять со мной. Надолго ли?

Поздно ночью вернулся с дачи Нарышкиных, где простился с умершею. Не зашёл ко мне, только прислал записку: «Она умерла. Я наказан за все мои грехи».

А я так боюсь сделать ему неприятное, что не посмела утром послать спросить, как он себя чувствует. Говорят, на больной ноге его опять открылась ранка.

Завтра уезжает в военные поселения с Аракчеевым. Всё равно вернётся ко мне; теперь ему деваться некуда.

Нет, есть куда: к госпоже Нарышкиной. Смерть Софьи сблизила их. Мы теперь обе нужны

²⁵¹ Имеются в виду благотворительные учреждения, существовавшие под эгидой возникшего в 1812 г. Общества патриотических дам (позже – Женского патриотического общества), шефом которого была императрица Елизавета Алексеевна.

ему: я – сиделка, любовница; она – супруга, мать. Этого ещё никогда не бывало, чтобы она была с ним в горе: всегда было так, что или она – в счастье, или я – в горе. Но вот мы вместе.

Слежу за ним, узнаю стороной, когда он бывает у неё. Мне, впрочем, не надо узнавать от других, – сама знаю: у меня на это нюх собачий. Кажется, слышу от него запах её, запах мускуса, напоминающий полутёмную комнату с опущенными шторами.

Неужели всё ещё ревную к этой твари? Именно: *тварь*; это – не бранное, а точное слово. Разве можно в лотерею разыгрывать женщину, как он разыграл её с Платоном Зубовым? Разве можно любить с презрением? Он-то, впрочем, думает, что иначе нельзя.

– Чтобы любить, надо немного презирать женщину, – сказал мне однажды, давным-давно, когда ещё мы с ним о любви говорили.

Это комплимент: он слишком уважает меня, чтобы любить. Всегда будто бы казалось ему, что мы – брат и сестра, близнецы духовные и между нами плотская любовь – кровосмешение...

Но кто кого из них больше презирает, – я не знаю.

Раз, на придворном балу (лет двадцать назад, а как сейчас помню), я спросила Нарышкину:

– Как ваше здоровье?

– Не совсем хорошо, – ответила она, глядя мне прямо в глаза, – я, кажется, беременна.

Знала, что я знаю от кого.

А ведь презренье ко мне – и к нему презренье.

– Я давно уже отказался от любви, даже платонической. Пора в отставку, – говорил государь наемни одной даме, за которой когда-то ухаживал.

Любит мне рассказывать о своих сердечных делах и всегда уверен в моём участии.

Если бы он кого-нибудь любил по-настоящему, мне было бы легче. Но ни одной любви, а сколько любей! Купчихи, актрисы, жёны адъютантов, жёны станционных смотрителей, белобрысые немки-менонитки,²⁵² и королева Луиза Прусская,²⁵³ и королева Гортензия.²⁵⁴ Со многими доходило только до поцелуев.

– Мужчины, – говорит, – не умеют останавливаться вовремя. Любовь – не геометрия: тут иногда часть больше целого.

Может быть, не любит женщин, потому что сам слишком женщина. «Кокетка», как называла его королева Гортензия. Неисправимый щёголь, в глазах женщин, как в зеркалах, только самим собой любит.

В Вене, во время конгресса, явившись на бал в чёрном фраке, чулках и башмаках, старался, чтобы дамы забыли в нём государя.

– Хотя я северный варвар, но умею быть любезным с дамами.

Любовь заменяет любезностью, как старинные кавалеры Людовика XIV.

Вот голубоглазая девочка Эмилия играет на клавесине, а он рядом стоит, правую ногу отставил вперёд с жеманною грацией, держит шляпу так, чтобы пуговица от галуна кокарды приходилась между двумя пальцами, смотрит в лорнет и перевёртывает ноты.

– Ни за что не поверю, что вы меня боитесь, – шепчет ей на ухо.

– Боюсь не угодить вашему величеству...

– О, ради Бога, забудьте моё величество! Позвольте мне быть просто человеком, – я так счастлив тогда.

А вот другая немочка (ему на них везёт), Амальхен, перед разлукой поёт ему: «Es war ein

²⁵² Менониты: 1) Одно из протестантских течений, выделившееся из анабаптизма в начале XVI в., проповедующее смирение, непротивление злу насилем и нравственное самоусовершенствование. 2) Представители этого течения как члены религиозной секты.

²⁵³ Луиза Прусская – (Августа-Вильгельмина-Амалия) (1776–1810) – прусская королева, супруга Фридриха – Вильгельма III.

²⁵⁴ Евгения Богарнэ (1783–1837) – жена брата Наполеона Людовика (голландского короля Константина), мать будущего Наполеона III.

Konig in Thule»²⁵⁵ – и роняет слезинку на вязаный голубой кошелек, прощальный подарок.

Однажды всё лето ездил верхом на ночные свидания в Парголово, для сокращения пути, прямо по засеянным полям. Крестьяне окопали их канавами. Но он и через них перескакивал. Тогда, не зная, кто этот всадник, они подали жалобу за потраву полей. Он велел заплатить и очень был доволен. Любил смешивать Боккачио с Вертером, игривое с чувствительным.

В 12-м году, в Вильно, где в госпиталях под кучами сваленных мёртвых тел иногда шевелились и стонали живые, раненые, – хорошенькая пани Доротея щипала корпию, а он, целуя ей ручки, сказал:

– Чтобы воспользоваться этой корпией, хочется быть раненым.

– Это не может иметь никаких последствий (*sa ne tire pas a consequence*), – утешал его Наполеон в Эрфурте, когда он каялся ему в своих любовных шалостях. – Но всё же, мой милый, вам следует подумать о наследнике...

И расспрашивал о моём физическом сложении, давал советы врачебные, должно быть, с таким же благосклонным видом, с каким адъютантов своих драл за ухо.

«На свете нет вечного, и самая любовь не может быть навсегда», – говорила нам, новобрачным, старая сводня, графиня Шувалова; он это запомнил и всю жизнь этому следовал; игра в любовь – игра в бирюльки.

Что же теперь случилось?

«Она умерла. Я наказан за все мои грехи».

Или понял, что это *может иметь последствия* ?

Все эти дни душа моя как сырое мясо.

Он всё ещё не решил, кто ему сейчас нужнее, я или Нарышкина. От меня – к ней, от неё – ко мне. Сегодня мне говорят: «Вы мой ангел-хранитель, главный по Боге» – а завтра дают понять, что в любви моей не нуждаются.

Вечные подъёмы и падения, – вот от чего душа моя устала до смерти.

Я терпела, терплю и буду терпеть. Но не бывает ли иногда терпение подлостью?

Я – как собака во время вивисекции, которая, под ножом издыхая, лижет руку хозяину?

Сегодня ночью, проходя по дворцу, я услышала музыку; остановилась и заглянула в открытые окна соседней залы; вспомнила, что у императрицы-матери – бал.

За мной был Георгиевский зал с царским тронном в глубине, а предо мной в освещённых окнах танцующие пары мелькали, как тени, одна за другой. Белая ночь; светло как днём. И ночные огни казались погребальными, а весёлые польки унылыми, как песни больных детей.

Если бы могли приходиться к людям выходцы с того света, они должны бы почувствовать то же, что я. Бедные люди! Бедные дети! Может быть, *там* мы будем смеяться, над чем плакали *здесь* . и годы печали, годы разлуки покажутся мигами.

Алёша, Мышка, Лизанька были со мной; мы смотрели все вместе *оттуда сюда* . И светла была ночь, как улыбка на лице умершего – отблеск дня невечернего. «Враги человеку – домашние его» – это я на себе испытала.

Карамзин говорит:

– Вы – между людьми как фарфоровая ваза между горшками чугунными.

Ну, положим, не фарфоровая ваза, а глиняный горшок несчастный. Зато те – какие счастливые, какие чугунные! И самая счастливая, самая чугунная – императрица-мать.

С некоторых пор её не узнать: всегда была чопорной, на этикетке помешанной, а тут вдруг на старости лет окружила себя фрейлинами-девчонками, офицерами-мальчишками и резвится с ними, как будто ей не шестьдесят, а шестнадцать лет: балы, пикники, маскарады, ужины, концерты, фейерверки, иллюминации. Сама скачет, и все за нею, высуня язык, из Петербурга в Павловск, из Павловска в Гатчину, из Гатчины в Царское. У меня голова кругом идёт, а ей – нипочём.

Выдумала недавно наряжаться для верховой езды в мужское платье: лиловый, шитый золотом кафтан, на голове шапочка с пером, на ногах белое трико в обтяжку. Так как при её

²⁵⁵ «Жил-был король в далёком заснеженном царстве...» – начало одной из баллад Гёте.

полноте это не очень пристойно, то публику в парк не пускают; дежурный камер-паж бежит впереди, вертя чугунной трещоткой.

Да, не очень пристойно, но зато как вкусно живёт! Вкусно пьёт свой крепкий кофе и раскладывает гран-пасьянс; вкусно дышит прохладой, открывая форточки и простужая всех; вкусно хозяйничает в Павловском молочном домике, такая румяная, белая, свежая, что, кажется, от неё самой, как от бабы-коровницы, пахнет парным молоком; вкусно говорит: «Мои милые коровки, телятки! Мой милый Павловск со всеми добрыми моими детьми!» А всего вкуснее спасает душу свою филантропией. «Я, – говорит, – в жизни своей не скоро могла бы иметь так много удовольствий, когда бы не было бедных!»

Уж не завидую ли я, потому что сама так невкусно живу? Иногда думаю: вот какой надо быть; вот кто вошёл в жизнь как следует; не сомневался, принять её или нет – родиться или нет? Без сомнения родилась, без сомнения рожала. «Право, сударыня, вы мастерица детей на свет производить!» – говорила ей Бабушка. И вот, может быть, истинная религия: так рассчитывать на милость Божию, чтобы не портить себе крови ничем.

А я – как дура!

Павловск рай, но меня тошнит от этого рая. Чистильщики прудов вытаскивают иногда из тины у Острова Любви дохлую кошку или газетный листок. В вечных туманах – сладкая гарь торфяного пожара с камфарною гнилью болот. Пахнет розами и пахнет лягушками. Тут царство лягушек. Императрица их любит, и придворный поэт её, Жуковский, умеет готовить мясо лягушечьих филейчиков в серебряной кастрюльке под кисленьким соусом. Все облизываются, а меня тошнит.

В Розовом павильоне, за чаем – разговор о крепостном состоянии крестьян.

Жуковский, Карамзин, Крылов, Нелединский, новый министр Шишков и ещё какие-то старые старички, сенаторы, из которых песок сыплется. Все были согласны, что не нужно вольности. Я имела глупость возражать; сказала то, что всегда думала:

– Уничтожить рабство крестьян – есть первая цель всего в России.

Они вдруг замолчали и сконфузились, как будто я сказала что-то неприличное; потом Карамзин начал потихоньку исправлять мою глупость, доказывая, что «народ наш, удалён бывши от того, чтобы почитать себя в рабстве, привязан душою к образу своего существования и находит в нём счастье»; когда же императрица-мать мнение сие одобрила, все вдруг на меня накинулись.

В саду – концерт молоденьких лягушек, а в Розовом павильоне – концерт старых жаб.

– Помилуйте, да русские мужики живут, как у Христа за пазухой! – воскликнул Жуковский. – То неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у доброго помещика нет во всей вселенной.

– Для мужиков, одним видом от скота отличающихся, вольность есть тунеядство и необузданность, – подхватил Нелединский.

– Господа помещики в государстве как пальцы у рук: высвободи вожжи из пальцев, то лошади куда занесут! – прошамкал один старичок.

– Не можно себе представить, какая каша будет из вольности, – прошамкал другой.

Шишков побледнел и затрясся.

– Неужели все ужасы Европы не научили нас, что вольность, сей идол чужеземных слепцов, ведёт к буйству, разврату и ниспровержению властей? Десница Вышнего хранит нас; чего нам лучше желать?

А самая толстая жаба, Крылов, молчал, но по лицу его видно было, что он о вольности думает.

Я чувствовала, что не выдержу, наговорю ещё больших глупостей, – встала и ушла.

Жуковский догнал меня. Он знает, что я его не очень люблю, и это беспокоит его: какая ни на есть, а всё же императрица.

Начал извиняться за несогласное мнение о вольности и спросил, не сержусь ли я на него.

– Полноте, Василий Андреевич... Посмотрите-ка лучше, какая луна!

Мы шли пустынной аллеей, по берегу озера.

– Ох, уж эта мне луна! – поморщился он. – Того и гляди *Отчёт* заставят писать...

О павловских лунных ночах пишет для императрицы отчёты в стихах.

Загляделся, однако, замечтался и зафилософствовал:

– Смерть, в её истинном смысле, лучше жизни. Нетленного нет на земле: оно ждёт нас за дверью гроба. А на земле всего верней – мечтать...

Я слушала и думала: за что я его не люблю? Он добр и умён; его стихи очаровательны. Но вот не люблю.

Толстенький, кругленький, лысенький, как тот фарфоровый китаец в окне чайной лавки, который кивает головой, как будто говорит: «Всё к лучшему!» На лице его превосходительства написано: «Слава царю земному и небесному, – а я всем доволен, и жалованьем, и наградами».

Только от застарелой романтической грусти у него завалы в печени, и он, по совету медиков, на деревянной лошадке для моциона качается.

Гёте, когда его спросили, что он о Жуковском думает, сказал: «Далеко пойдёт! Кажется, уже действительный статский советник?» О нём же словечко Вяземского: «Хотя Жуковский жив и здравствует, а хочется сказать: славный был покойник, царствие ему небесное!»

Придворный поэт, почивший на павловских розах, придворный повар Овсяного Киселя и лягушечьих филейчиков. Намедни, защищая смертную казнь, он доказывал, что из неё надо бы сделать «христианское таинство».

– Иной философии быть не может, как философия христианства: от Бога к Богу, – говорил он теперь, глядя на луну. – Желать чего-нибудь страстно – значит мешаться в дело Провидения. Середина есть то, что всякий человек избирать должен...

– Серединка-на-половинке? – не выдержала я, наконец, рассмеялась. – А помните, ваше превосходительство:

Дети, овсяный кисель на столе, читайте молитву...

– Грешен, ваше величество, люблю овсяный кисель, и вы когда-нибудь полюбите!

Я заглянула в его китайские глазки и ничего не ответила. Но он, кажется, понял, что меня тошнит.

Путешествие государя по восточным губерниям назначено осенью. Уедет в августе, вернётся в ноябре. Я останусь одна в Царском и думаю об этом с ужасом. С какой бы радостью я поехала с ним! Но он и слышать не хочет.

Эти вечные отъезды – бедствие жизни моей. Если не проехал он за год тысяч двенадцать вёрст – ему не по себе. А за всю жизнь сделал не меньше 200 000. Это настоящая болезнь. «Лучше всего, – говорит, – чувствую себя в коляске: там только я спокоен».

Как будто не находит себе места, от невидимой погони бежит, скачет сломя голову, так что лошадей загоняет. На малейшее промедление сердится. «Я уже и так, – говорит, – полчаса по маршруту промешкал!»

Вечно торопится, боится опоздать куда-то; уверяет, будто ему надо что-то осматривать; но это предлог: путешествует без всякой цели. Сам над собою смеётся:

– Я – Вечный Жид. Ни на что уже не годен, как только скитаться по белу свету, словно на мне отяготело пророчество: *и будет ти всякое место в передвижение*.

Он уехал. Я одна. Живу в Царском. Здесь хорошо осенью – пустынно, тихо. В ясные ночи в окна смотрит луна, моя единственная собеседница. А я, в сорок лет, как глупая девочка, грущу при луне о возлюбленном.

Карамзин тоже здесь. Мы с ним часто видаемся. Я ему читаю дневник. Иные места не хватает духу прочесть; тогда передаю ему, и он прочитывает молча. Иногда вижу слёзы на глазах его, но не стыжусь: он меня любит.

– Умею, – говорит, – издали смотреть на вас с тем чувством, которое возьму с собой и на тот свет: для истинной любви здешняя жизнь коротка.

Бродим вдвоём по пустынным аллеям, где жёлтые листья падают.

«Моя вечерняя жизнь», – сказал он однажды. Как хорошо сказано: вечерняя жизнь. Оба –

старые, усталые, вечерние. Жалуемся друг другу, кряхтим да охаем.

– Я, ваше величество, приобрёл в рюматизмах новую опытность. Несмотря на благоприятное действие атмосферического воздуха, чувствую в моих ежедневных прогулках почти болезненную томность, – говорит он, опираясь на палочку и прихрамывая.

И, как два старика, поддерживаем друг друга под руку, а жёлтые листья падают.

Здесь, в Царском, поздней осенью, как никогда и нигде, вспоминается мне моя молодость. Вот на этом лугу, – он тогда назывался Розовым Полем, потому что весь был обсажен розами, – сиживала императрица-бабушка; её, уже больную, катали в креслах на колёсиках, а мы перед нею бегали взапуски, играли в горелки, в пятнашки, в верёвочку. Мой жених – шестнадцатилетний мальчик, а я невеста – четырнадцатилетняя девочка.

Бабушка, недовольная тем, что по ночам крали розы, поставила здесь часового. Прошли годы, розы одичали, а часовой на том же месте, как полвека назад, сторожит несуществующие розы – розы воспоминаний. И кажется мне, что всё ещё бежит здесь шестнадцатилетний мальчик с четырнадцатилетней девочкой.

*Амуру вздумалось Психею,
Резвяся, поимать...*

Но пусто кругом – последние розы увяли, и лепестки на них осыпались, обнажая чёрные сердца.

– Всё кажется сном, а сердцу больно, как наяву, – говорит Карамзин голосом тихим, как шелест осенних листьев. – Мне и от радости бывает грустно. Свет гаснет для меня, или я для него гасну, – но так и быть: надо покинуть свет, прежде чем он нас покинет. Да здравствует Провидение! Почти хотелось бы сказать: да здравствует смерть!..

Намедни прочёл послание к *Элизе* – ко мне:

*Здесь – всё мечта, и сон, но будет пробуждение:
Тебя узнал я здесь в прелестном сновиденьи, –
Узнаю наяву.*

Заплакал и поцеловал мне руку, а я его – в лысую голову. И, глядя, как светлые паутинки осени соединяют чёрные сердца увядших роз, я повторяла:

– Всё кажется сном, сердцу больно, как наяву...

С Карамзиным в китайском домике живёт камер-юнкер, князь Валерьян Голицын, племянник бывшего министра. Он был болен, почти при смерти; теперь поправляется. Иногда я вижу его издали.

Карамзин мне сказал, что Голицын – член тайного общества.

– Какое тайное общество?

– Разве вы не знаете?

– Не знаю.

Он сперва замялся, не хотел говорить, но я упростила его, и он рассказал мне всё.

Существует заговор, здесь, в Петербурге, и в Южной армии, для введения в России конституции. Злодеи намерены произвести возмущение в войсках и, в случае надобности, посягнуть на жизнь государя.

Государь давно уже знает об этом. Как же мне не сказал?

Теперь вспоминаю, что у меня было предчувствие. Я всё старалась понять, что у него на душе, чем он мучается, о чём думает. Так вот о чём...

Ещё новость: великий князь Николай – наследник престола. Я узнала об этом из случайного разговора *Nixe* и *Alexandrine* с императрицей-матерью, в моём присутствии, – вообще мною не стесняются. Императрица спросила меня:

– Разве вам государь ничего не говорил?

Она видела, как мне стыдно и больно: может быть, для того и начала разговор.

Опять Карамзин рассказал мне всё под большим секретом: боится, что государь узнает и будет сердиться.

Николай – наследник, это дело решённое; Константин уже отрёкся от престола, и государь, может быть, ещё при жизни своей, отречётся в пользу Николая. Манифест, завещание или что-то в этом роде спрятано где-то, и пока никому ничего не известно... По тайному завещанию, передают из рук в руки Россию, как частную собственность. Судьба народа считается делом домашним: после смерти хозяина раскроют завещание и узнают, чья Россия.....

Не могу привыкнуть к этой новости. Николай, Нике – самодержец Российский!

Как сейчас помню драки маленького Никса с Мишелем. Нике был бедовый мальчишка: в припадке злости рубил топориком игрушки, бил палкой и чем попало бедного Мишеньку. Однажды, ласкаясь к учителю, укусил его за ухо; был, однако, трусишкой: от грозы под кровать прятался, а когда ему надо было вырвать кривой зуб, так боялся, что несколько дней плакал, не спал и не ел. Зато, ещё мальчиком, делал ружейные приёмы, как лучший ефрейтор. Я и впоследствии никогда не видывала книги в его руках: единственное занятие – фронт и солдаты.

– Я не думал вступать на престол, – говорит сам, – меня воспитывали как будущего бригадного.

Уже молодым человеком, в Твери, в саду великой княгини Екатерины Павловны, статую Аполлона взорвал порохом, *в виде забавы*. Он и сам хорош, как Аполлон, только всё что-то не в духе: Аполлон, страдающий зубной болью.

Недавно, на ученье, перед фронтом, обозвал офицеров «свиньями» и грозил всех «философов» вогнать в чахотку.

...Кто-то сказал о нём: «Il y a beaucoup de praporchique en lui et un peu de Pierre le Grand». ²⁵⁶

Как-то будет он царствовать?

Не знаю, впрочем, кто лучше, – Николай или Константин?

У того отвращение к престолу врождённое.

– Меня, говорит, – непременно задушат, как задушили отца.

Когда я смотрю на это курносое лицо с мутно-голубыми глазами навывкате, с светлыми насупленными бровями и светлыми волосиками на кончике носа, которые щетинятся в минуты гнева, – мне всегда чудится привидение императора Павла.

– Не понимаю, – говаривала Бабушка, – откуда вселился в Константине такой подлый *санкюлотизм*! ²⁵⁷

Однажды сказал он о беременной матери:

– В жизнь мою такого живота не видывал: тут место для четверых!

Я собственными глазами читала письмо его к Лагарпу ²⁵⁸ с подписью:.....Это, впрочем, может быть, искреннее смирение «санкюлота», потому что он искренен и добродушен по-своему.

Но, когда я думаю о нём, передо мною встаёт тень госпожи Араужо.....и тень Алёши, убитого из-за угла наёмным кинжалом злодея.

А всё-таки – лучше Константин, чем Николай.

Теперь понимаю, откуда у них у всех эта надменность: царствование императора

²⁵⁶ «В нём очень много от прапорщика и чуть-чуть от Петра Великого» (фр.).

²⁵⁷ Санкюлоты (от фр. *sans-cullotes* – голодранцы) – представители радикального парижского плебса, в более широком значении употребляется как синоним якобинцев.

²⁵⁸ Лагарп, Фредерик-Цезарь (1754–1838) – швейцарский генерал и политический деятель, воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей в юные годы.

Александра кончилось, царствование императора Николая началось.

Мне иногда кажется, что государь ими предан и продан.

Что-то будет с Россией?

Всё думаю о тайном обществе.

У этих злодеев есть правда, – вот что всего ужаснее. И почему «злодеи»? Не мы ли показали им пример 11 марта? Не я ли когда-то проповедовала революции, как безумная? Не говорила ли: «Мы должны – через кровь»?.. Тогда – мы, теперь – они: кровь за кровь.

Может быть, я ничего не понимаю в политике. Но, кажется, в России всё идёт не так, как следует.

Вспоминаю мой разговор с генералом Киселёвым, начальником штаба Южной армии, где главное гнездо заговорщиков. Говорят, будто бы и он – с ними, но я этому не верю: он государю предан.

– В течение двадцати четырёх лет само правительство питало нас либеральными идеями, – говорил Киселёв, – преследовать теперь за свободомыслие не то же ли значит, что бить слепого, у которого сняты катаракты, за то, что он видит свет? В 12-м году свободы проповедовали нам воззвания, манифесты и приказы. Манили народ, и он добрым сердцем поверил, не щадил ни крови своей, ни имущества. Наполеон низринут, Европа освобождена, государь возвратился, увенчанный славою. Но народ, давший возможность к славе, получил ли какую льготу? Нет. Ратники, возвратясь в дома свои, первые разнесли ропот: «Мы проливали кровь, а нас заставляют потеть на барщине; мы избавили родину от тирана, а нас тиранят господа». Все, от солдата до генерала, только и говорили: «Как хорошо в чужих землях, и почему не так у нас?»

– Вот начало свободомыслия в России, – заключил Киселёв. – Чтобы истребить корень его, надо истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в нынешнее царствование...

И вот, говорю от себя, основание тайного общества.

Да, есть у них правда. Государь это знает, – оттого так и мучается.

Но как же опять не сказал мне? Что он со мною делает?

Я должна говорить с ним, будь что будет.

...Всю зиму была больна; простудилась во время наводнения.

Теперь лучше, – говорят, что лучше. А я не знаю. Мне всё равно. Хожу, двигаюсь, но как будто это не я, а кто-то другой. Такая слабость, такой упадок сил, что, кажется, если бы я могла выпить немного жизни с ложки, как пьют лекарство, это бы мне помогло.

Опять – балы, маскарады, концерты, ужины и визиты, визиты и родственники, родственники, сорок тысяч родственников: Виртенбергские, Оранские, Веймарские, Российские – все на меня насаждают. Я должна быть любезна со всеми, но только что уйдут, падаю, как загнанная лошадь.

Вчера с головной болью одевалась на бал; стояла перед зеркалом; только что эту бедную голову убрали цветами и бриллиантами, меня начало рвать; вырвало – сделалось легче, и отправилась на бал: просидела до ужина, только от запаха блюд убежала. А когда осталась одна и взглянула на себя в зеркало, то испугалась: краше в гроб кладут.

Сегодня ждала на сквозняке, в холодной приёмной у Alexandrine, потом попала некстати с визитом к императрице, а ночью – маскарад. И при этом говорят: «Поправляйтесь!»

От государя записка: «Если вам нужна помощь моя, я готов прекратить все эти визиты; но умоляю вас, положите конец вашей пытке».

Лейб-медик Штофреген сказал ему прямо, что меня *убивают*.

Когда я вхожу по лестнице Зимнего дворца – 73 ступени, – у меня такое чувство, что я когда-нибудь тут же упаду бездыханною.

Я – как солдат на часах, который не смеет сойти с места. Не люблю даром есть хлеб, а главное, терпеть не могу, чтобы меня жалели. Сажу иногда с опущенной вуалью даже в собственной комнате, чтобы не чувствовать на себе сострадательных взоров: «Ах, бедная

женщина! Какая больная, несчастная!»

Это похоже на пытку, когда голого, обмазанного мёдом, выставляют на съедение насекомым.

Доктора думают, что у меня чахотка. Я им не верю. Вот уже много лет чувствую биение жилы под сердцем; что-то бьётся во мне, как подстреленная птица.

Не помню, кто сказал: «В жизни каждого человека наступает время, когда сердце должно окаменеть или разбиться».

Сердце моё не окаменело и должно разбиться. Бедный глиняный горшок между чугунами!

Доктора думают, что я больна, а мне кажется, что я умираю. Тело моё – как изношенное платье: всякая малость делает новую дыру, а починить нельзя, потому что живого места нет, – ещё хуже разлезается, как Тришкин кафтан.

Кажется, повезут меня в Таганрог осенью. Мне всё равно. Только бы не в Италию: зрелище больной императрицы, которую возят из города в город, очень противно.

Я не могла бы нигде жить, кроме России, даже если бы меня весь мир забыл. И умереть хочу в России.

Государь отвезёт меня в Таганрог и на зиму вернётся в Петербург. А я останусь одна, опять одна.

Я хотела бы пустынного зелёного уголка у моря, а главное – с ним. Но это слишком хорошо для меня. Всякий говорит: «Я еду туда и туда»; мой конюх говорит: «Я еду на морские купанья». А я не могу.

Я уже давно была бы здорова, если бы мне дали путешествовать, когда мне этого ещё хотелось. Но государь ни за что не соглашался, не знаю почему. А теперь поздно.

Я всегда просила Бога, чтобы Он помог мне сломить себя, уничтожить в себе всякое желание. Я жертвовала государю всем, как в малом, так и в большом. Сначала трудно было, но стоило ему сказать: «Вы такая рассудительная», – и я делала всё, что он хотел. Я смешивала покорность ему с покорностью к Богу, и это была моя религия. Я говорила себе: «Он этого хочет», – и трудное делалось лёгким, горькое – сладким; всё легче и легче, всё слаще и слаще.

Ну вот и сломила себя. Во мне больше нет желаний, нет воли, нет ничего, как будто меня самой нет.

Почему же вдруг стало страшно? Почему я не знаю, права ли я? прав ли он?

– У тебя ложный стыд, – часто говорила мне маменька, – когда тебя оттесняют, ты сейчас же сама прячешься, начинаешь стыдиться и по стенке пробираешься, чтобы тебя не заметили. Надо быть самоуверенней. Это необходимо в твоём положении.

Да, всю жизнь пробираюсь по стенке; делаю вид, что меня нет; стараюсь не быть. По Писанию: *жёны да безмолствуют*.

Я только женщина, я слишком женщина.

Правы ли я, что сломила, убила себя для него? Может быть, надо было возмутиться? Может быть, я была правее, когда возмущалась?

Но теперь поздно. Теперь я нужна ему; нужнее, чем когда-либо, воля моя, сила, помощь, – но вот ничего не могу ему дать, потому что во мне самой нет ничего. Мёртвая рядом с живым. Иногда он подходит ко мне, как будто всё ещё надеется, хочет что-то сказать и ждёт, чтобы я заговорила; но у меня нет слов, и мы оба молчим, а если говорим, то это как беседа глухонемых.

Я не знаю, что с ним, вижу только, что трудно ему, так трудно, как ещё никогда. И не могу помочь, ничего не могу сделать. Должна смотреть, как он гибнет, – и ничего, ничего не могу сделать.

Мы – как два утопающих; друг за друга цепляемся и тащим друг друга ко дну.

Если я одна виновата, прости меня, Господи! Ты Сам меня создал такою. Я ничего не могу, ничего не хочу, ничего не знаю, – я только люблю.

А если мы оба виноваты, – казни меня, а не его, возьми душу мою за него...»

Кончив читать, закрыла дневник с таким чувством, что конец его – её конец.

Красные капли сургуча на белую бумагу, как капли крови, закапали; старинною печатью с девичьим Баденским гербом запечатала; сделала надпись: «После моей смерти сжечь».

Спрятала дневник в шкатулку и заперла на ключ.

Закрыла лицо руками. Молилась всё о том же, – чтобы Господь казнил её одну, а его помиловал.

Была и другая молитва в душе её, но она сама почти не знала о ней, а если бы узнала, то удивилась бы, испугалась: молитва о том, чтобы Бог простил её, так же как она прощает Бога.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Батюшка, ваше величество! Всеподданнейше доношу вашему императорскому величеству, что посыльный фельдъегерский офицер Ланг привёз сего числа от графа Витта²⁵⁹ 3-го Украинского полка унтер-офицера Шервуда,²⁶⁰ который объявил мне, что он имеет донести вашему величеству касающееся до армии, а не до поселённых войск, – состоящее будто бы в каком-то заговоре, которое он не намерен никому более открыть, как лично вашему величеству. Я его более не спрашивал, потому что он не желает оно мне открыть, да и дело не касается военных поселений, а потому и отправил его в Санкт-Петербург к начальнику штаба, генерал-майору Клейнмихелю, с тем чтобы он содержал его у себя в доме и никуда не выпускал, пока ваше величество изволите приказать, куда его представить. Приказал я Лангу на заставе унтер-офицера Шервуда не записывать. Обо всём оном всеподданнейше вашему императорскому величеству доношу.

*Вашего императорского величества верноподданный
Граф Аракчеев».*

Это письмо из Грузина государь получил на Каменном острове, в середине июля. Ещё раньше писал ему Шервуд, помимо Аракчеева, через лейб-медика Виллие, прося, чтобы отвезли его в Петербург, по важному, касающемуся лично до государя императора делу.

Государь знал, что Шервуд – агент тайной полиции генерала Витта, главного начальника южных военных поселений, которому, ещё лет пять назад, поручено было следить за Южной армией, употребляя сыщиков, и доносить обо всём.

О генерале Витте ходили тёмные слухи.

– Витт есть каналья, каких свет не производил, и то, что по-французский называется висельная дичь (*gibier de potence*), – говорил великий князь Константин Павлович.

Проворовался будто бы, – не может дать отчёта в нескольких миллионах казённых денег и готов душу чёрту продать, чтобы выпутаться из этого дела. С тайным обществом играет двойную игру: доносит, а сам поступил в члены, замышляя предательство на ту или другую сторону, заговорщикам или правительству, – смотря по тому, чья возьмёт.

Государю казалось иногда, что доноски опаснее заговорщиков.

– Вы знаете, ваше величество, я враг всяких доносов, понеже самая ракалья может очернить и сделать вред честным людям, – вспоминал он слова Константина Павловича.

Всегда был брезглив: «чистюлькой» называла его Бабушка; похож на горноста, который

²⁵⁹ Витт Иван Осипович (1781–1840) – граф, начальник военных поселений в Новороссии.

²⁶⁰ Шервуд Иван Васильевич (1798–1867) – унтер – офицер 3-го Украинского уланского полка, за донос получил прозвище «Шервуд – верный». Позже, уже в чине полковника, за ложный донос был арестован и содержался в Шлиссельбургской крепости.

предпочитает отдаться в руки ловцов, нежели запятнать белизну свою – одежду царей.

Один из доносов – капитана Майбороды²⁶¹ – намеренно бросил в печку, сказав:

– Мерзавец, выслужиться хочет.

А всё-таки решил принять Шервуда: сильнее отвращения было любопытство ужаса.

Свидание назначено 17 июля, в пять часов дня, в Каменноостровском дворце.

Дворец напоминал обыкновенную петербургскую дачу. С балкона несколько ступенек, уставленных тепличными растениями, вели в сад. Весною дачники, катавшиеся на яликах по Малой Невке, могли видеть, как государь гуляет в саду, навевая на себя благоухание цветущей сирени белым платочком. Кроме часового в будке у ворот – нигде никакой стражи. Сад проходной: люди всякого звания, даже простые мужики, проходили под самыми окнами.

День был душный; парило, шёл дождь, перестал, но воздух насыщен был сыростью. Туман лежал белой ватой. Крыши лоснились, с деревьев капало, и казалось, что потеет всё, как больной в жару под пуховой периной. Где-то, должно быть, на той стороне Малой Невки, на Аптекарском острове (звук по воде доносился издали), кто-то играл унылые гаммы. И одинокая птица пела всё одно и то же: «тили-тили-ти», – как будто плакала, помолчит и опять: «тили-тили-ти». Та грусть была во всём, которая бывает только на петербургских дачах, в конце лета, когда уже в усталой, томной, почти чёрной зелени чувствуется близость осени.

Ровно в пять часов доложили государю о Клейнмихеле с Шервудом. Государь обедал; велел подождать и досидел до конца обеда с таким спокойным видом, что никто ничего не заметил; потом встал, вышел в приёмную, поздоровался с Клейнмихелем и, едва взглянув на Шервуда, велел ему пройти в кабинет. Клейнмихель остался в приёмной – соседней комнате.

Войдя в кабинет, государь запер дверь и закрыл окно, выходившее в сад; там всё ещё слышались гаммы, и птица плакала. Сел за письменный стол, взял карандаш, бумагу и, наклонившись низко, не глядя на Шервуда, начал выводить узор – палочки, крестики, петельки. Шервуд стоял против него, вытянувшись, руки по швам.

– Не того ли ты Шервуда сын, которого я знаю, – в Москве на Александровской фабрике служит?

– Того самого, ваше величество!

– Не русский?

– Никак нет, англичанин.

– Где родился?

– В Кенте, близ Лондона.

– Каких лет в Россию приехал?

– Двух лет, вместе с родителем. В 1800 году отец мой выписан блаженной памяти покойным государем императором Павлом Петровичем и первый основал в России суконные фабрики.

– Говорите по-английски?

– Так точно, ваше величество!

Вопрос и ответ сделаны были по-английски. «Кажется, не врёт», – подумал государь.

– Что же ты хотел мне сказать?

– Я полагаю государь, что против спокойствия России и вашего императорского величества существует заговор.

– Почему ты так полагаешь?

В первый раз, подняв глаза от бумаги, взглянул на Шервуда.

Ничего особенного: лицо как лицо; неопределённое, незначительное, без особых примет, чистое, как говорится в паспортах.

Шервуд начал рассказывать беседу двух членов Южного тайного общества, поручика графа Булгари²⁶² и прапорщика Вадковского, подслушанную у двери, в чужой квартире, в

²⁶¹ Майборода Аркадий Иванович (1800? – 1844) – капитан Вятского пехотного полка.

²⁶² Булгари Николай Яковлевич (1803–1841) – поручик кирасирского полка, член Союза Благоденствия и Южного общества, а также греческого общества этеристов.

городе Ахтырке, Полтавской губернии. Вадковский²⁶³ предлагал конституцию. Булгари смеялся: «Для русских медведей конституция? Да ты с ума сошёл! Верно, забыл, какая у нас династия, – ну куда их девать?» А Вадковский: «Как, говорит, куда девать?..»

Шервуд остановился.

– Простите, ваше величество... страшно вымолвить...

– Ничего, говори, – сказал государь, ещё раз взглянув на него: лицо бледное, мокрое от пота, безжизненно, как те гипсовые маски, что снимают с покойников; только левый глаз щурится, – должно быть, в нём судорога, – как будто подмигивает. И это очень противно. «Экий хам! – вдруг подумал государь и сам удивился своему отвращению. – Это потому, что я знаю, что доносчик».

Опустив глаза, опять принялся за крестики, палочки, петельки.

– «Как, говорит, куда девать? – подмигнул Шервуд. – Перерезать!»

Государь пожал плечами.

– Ну, что же дальше?

Он почему-то был уверен, что слово «перерезать» не было сказано.

– Когда остались мы одни, Вадковский подошёл ко мне и, немного изменившись в лице, говорит: «Господин Шервуд, будьте мне другом. Я вам вверю важную тайну». – «Что касается до тайн, говорю, прошу не спешить: я не люблю ничего тайного». – «Нет, говорит, общество наше без вас быть не должно». – «Здесь, говорю, не время и не место, а даю вам честное слово, что приеду к вам, где вы стоите с полком».

А на Богодуховской почтовой станции, ночью, с проезжею дамою, должно быть, его, Шервуда, любовницей, был такой разговор. «Дайте мне клятву, – сказала дама, – что никто в мире не узнает, что я вам сейчас открою». Он поклялся, а она: «Я, говорит, еду к брату; боюсь я за него: Бог их знает, затеяли какой-то заговор против императора, а я его очень люблю; у нас никогда такого императора не было...»

– Кто эта дама? – спросил государь.

– Ваше величество, я всегда шёл прямою дорогою, исполняя долг присяги, и готов жизнью пожертвовать, чтобы открыть зло; но умоляю ваше величество не спрашивать имени: я дал клятву...

«Тоже – рыцарь!» – подумал государь, делая усилие, чтобы не поморщиться, как от дурного запаха.

– Это всё, что ты знаешь? – сказал он и, перестав чертить узор, начал писать по-французски много раз подряд: «Каналья, каналья, каналья, висельная дичь...»

– Точно так, ваше величество, – всё, что знаю достоверного: слухов же и догадок сообщать не осмеливаюсь...

– Говори всё, – произнёс государь и начал ломать карандаш под столом, кидая на пол куски; чувствовал, что с каждым вопросом будет залезать всё дальше в грязь, – но уже не мог остановиться: как в дурном сне, делал то, чего не хотел.

– Как ты думаешь, велик этот заговор?

– Судя по духу и разговорам вообще, а в особенности офицеров 2-й армии, заговор должен быть распространён до чрезвычайности. В войсках очень их слушают.

– Чего же *они* хотят? Разве им худо?

– С жиру собаки бесятся, ваше величество!

«Он просто глуп», – подумал государь с внезапным облегчением. А всё-таки спрашивал:

– Как ты полагаешь, нет ли тут поважнее лиц?

Шервуд помолчал и покосился на дверь: должно быть, боялся возвышать голос, а что государь плохо слышит, – заметил.

– Подойди, сядь здесь, – указал ему тот на стул рядом с собою: сделал опять то, чего не хотел.

Шервуд сел и зашептал. Государь слушал, подставив правое ухо и стараясь не дышать

²⁶³ Вадковский Фёдор Фёдорович (1800–1844) – прапорщик конноегерского полка, принял в Южное общество провокатора Шервуда.

носом: ему казалось, что от Шервуда пахнет потом ножным, – запах, от которого государю делалось дурно. «И чего он так потеет: от страха, что ли?» – подумал с отвращением.

Шервуд говорил о двусмысленном поведении генерала Витта, который будто бы *всего* не доносит, – и генерала Киселёва, у которого главный заговорщик Пестель днюет и ночует; о неблагонадёжности почти всех министров и едва ли не самого Аракчеева.

– В военных поселениях людям дают в руки ружья, а есть не дают: при нынешних обстоятельствах такое положение дел очень опасно...

«Нет, не глуп; многое знает и меньше говорит, чем знает», – подумал государь.

– Полагаю, – заключил Шервуд, – что общество сие есть продолжение европейского общества карбонаров. Важнейшие лица участвуют в заговоре; всё войско – тоже. Не только жизнь вашего императорского величества, но и всей царской фамилии находится в опасности, и опасность близка. Произойдёт кровопролитие, какого ещё не бывало в истории. Ведь *они* хотят – всех...

«Всех перерезать», – понял государь.

– У них – чёрные кольца с надписью: 71.

– Что это значит?

– Извольте счесть, ваше величество: января – тридцать один день, февраля – двадцать девять, марта одиннадцать, итого – семьдесят один. 1801 года 11 марта и 1826 года 11 марта – двадцать пять лет с кончины блаженной памяти вашего родителя, государя императора Павла I, – подмигнул Шервуд. – Покушение на жизнь вашего императорского величества в этот самый день назначено...

«11 марта за 11 марта, кровь за кровь», – опять понял государь. Побледнел, хотел вскочить, закричать: «Вон, негодяй!» – но не было сил, только чувствовал, что холодеют и переворачиваются внутренности от подлого страха, как тогда, после аустерлицкого сражения, в пустой избе, на соломе, когда у него болел живот.

А глаза Шервуда блестели радостью: «Ключуло! ключуло!» Перестал пугать и как будто жалел, утешал:

– Зараза умов, возникшая от ничтожной части подданных вашего императорского величества, не есть чувство народа, непоколебимого в верности. Хотя и много времени упущено, но ежели взять меры скорые, то ещё можно спастись; только надобно, как баснописец Крылов говорит:

*С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой, –*

заклучил почти с развязностью, и что-то было в лице его такое гнусное, что государю вдруг почудилось, что это – не человек, а призрак: не его ли собственный дьявол-двойник – воплощение того смешного-страшного, что в нём самом?

– Хорошо, ступай, жди приказаний от Клейнмихеля. Ступай же! – проговорил он через силу, встал и протянул руку, как будто желая оттолкнуть Шервуда; но тот быстро наклонился и поцеловал руку.

Оставшись один, государь открыл настежь окно и дверь на балкон: ему казалось, что в комнате дурно пахнет. Вышел в сад, но и здесь в тёплом тумане был тот же запах как бы ножного пота и с мокрых, точно потных, листьев капало. На пустынной аллее долго стоял он, прислонившись головой к дереву; чувствовал тошноту смертную; казалось, что от него самого дурно пахнет.

На следующий день перешёл из кабинета в другую комнату, в верхнем этаже, под предлогом, что сыро внизу, а на самом деле потому, что неприятно было слышать близкие шаги прохожих.

В тот же день увидел часовых там, где их раньше не было, и новую белую решётку в саду, которой запирался ход мимо дворца; должно быть, распорядился Дибич: государь никому ничего не приказывал.

Вспомнил анекдот об уединённых прогулках своих по улицам Дрездена: старушка-крестьянка, увидев его, сказала: «Вон русский царь идёт один и никого не боится,

видно, у него чистая совесть!» А теперь – белая решётка...

Однажды ночью вбежал к нему дежурный офицер с испуганным видом:

– Беда, ваше величество!

– Что такое?

– Не моя вина, государь, видит Бог, не моя...

– Да что, что такое? Говори же!

– Апельсин... апельсин... – лепетал офицер, задыхаясь.

– Какой апельсин? Что с тобою?

– Апельсин, ваше величество, отданный в сдачу, свалился...

У дворца, на набережной, стояли апельсиновые деревья в кадках; на них зрелые плоды, и часовой охранял их от кражи. Один упал от зрелости. Часовой объявил о том ефрейтору, ефрейтор – караульному, караульный – дежурному, а тот – государю.

– Пошёл вон, дурак! – закричал он в ярости; потом вернул его, спросил, как имя.

– Скарятин.

Скарятин был в числе убийц²⁶⁴ 11 марта. Конечно, не тот. Но государь всё-таки велел никогда не назначать его в дежурные.

Переехал в Царское. Не потому ли, что там безопаснее? Об этом старался не думать. По-прежнему гулял в парке один, даже ночью, как будто доказывая себе, что ничего не боится.

В середине августа, ненастным вечером, шёл от каскадов к пирамиде, где погребены любимые собачки императрицы-бабушки: Том, Андерсон, Земира и Дюшесе.

Наступали ранние сумерки. По небу неслись низкие тучи; в воздухе пахло дождём, и тихо было тишиной предгрозною; только иногда верхушки деревьев от внезапного ветра качались, шумели уныло и глухо, уже по-осеннему, а потом умолкали сразу, как будто кончив разговор таинственный. Английская сучка государева Пэдди бежала впереди; вдруг остановилась и зарычала. У подножия пирамиды кто-то лежал ничком в траве; лица не видать, как будто прятался. Государь тоже остановился и вдруг почувствовал, что сердце его тяжело заколотилось, в висках закололо и по телу мурашки забегали: ему казалось, что тот, в траве, тихонько шевелится, приподымается и что-то держит в руке. Пэдди залаяла. Лежавший вскочил. Государь бросился к нему.

– Что ты делаешь? – крикнул голосом, который ему самому показался гадким, подлым от страха, и протянул руку, чтобы схватить убийцу.

– Виноват, ваше величество, – послышался знакомый голос.

– Это ты, Дмитрий Клементьич? Как ты...

Не кончил, – хотел сказать: «Как ты меня напугал!»

– Как ты здесь очутился? Что ты тут делаешь?

– Земиры собачки эпитафию списываю, – ответил лейб-хирург Дмитрий Клементьевич Тарасов.

Не нож убийцы, а перочинный ножик, который чинил карандаш, держал он в руке и с могильной плиты собачки Земиры списывал французские стихи графа Сегюра:²⁶⁵

«Здесь лежит Земира, и опечаленные Грации должны набросать цветов на её могильный памятник. Да наградят её боги бессмертием за верную службу».

– А знаешь, Тарасов, мне показалось, что это кто-нибудь из офицеров подгулявших расположился отдохнуть, – усмехнулся государь и почувствовал, что краснеет. – Ну, пиши с Богом. Только не темно ли?

– Ничего, ваше величество, у меня глаза хорошие.

Государь, свистнув Пэдди, пошёл. А Тарасов долго смотрел ему вслед с удивлением.

И государь удивлялся. Никогда не был трусом. В битве под Лейпцигом, когда пролетело

²⁶⁴ Скарятин Яков Фёдорович (1780–1850) – полковник лейб-гвардии Измайловского полка, вместе с графом Паленом, князем Яшвилем один из главных участников убийства Павла I. Двое из его сыновей привлекались по делу декабристов.

²⁶⁵ Сегюр д'Агессо, Луи-Филипп (1753–1830) – граф, писатель, посол Франции в России при Екатерине II.

ядро над головой его, сказал с улыбкою: «Смотрите, сейчас пролетит другое!» В той же битве, когда все считали дело проигранным и Наполеон говорил: «Мир снова вернется для нас!» – он, Александр, «Агамемнон сей великой брани», не потерял присутствия духа.

Что же с ним теперь? «С ума я схожу, что ли?» – думал с тихим ужасом.

В Павловском дворце, рядом со спальнею императрицы-матери, была запертая комната. Никто никогда не входил в неё, кроме самой императрицы да камер-фурьера Сергея Ивановича Крылова. Крылов был старичок дряхлый, из ума выживший, в красном мальтийском мундире времён Павловых, с такими неподвижными глазами, что казалось, если заглянуть в зрачки, можно увидеть то, что отразилось в них, как в зрачках мертвеца, в минуту предсмертную. Встречая государя, он кланялся издали и тотчас уходил, как будто убегал.

Маленький Саша, сын великого князя Николая Павловича, семилетний мальчик, с немного бледным хорошеньким личиком, проходил всегда с любопытством мимо запертой двери: она казалась ему такой же таинственной, как та страшная дверь в замке Синей Бороды, о которой он читал в сказках. Заглянуть бы хоть в щёлку, увидеть, что там такое. Однажды приснилось ему, что он вошёл туда и увидел что-то ужасное; проснулся с криком, но не мог вспомнить, что это было.

В конце августа, за несколько дней до отъезда в Таганрог, государь приехал в Павловск к императрице-матери и, не застав её, прошёл в кабинет, где никого не было, кроме Саши и старушки статс-дамы, княгини Ливен.²⁶⁶ У окна, за круглым столом, играли они в солдатики. Государь присел и тоже начал играть; так метко стрелял горохом из пушечек, что Саша кричал и хлопал в ладоши от радости.

В открытую дверь виднелась анфилада комнат. Вдруг, в последней из них, в спальне императрицы, мелькнул красный мальтийский мундир. Камер-фурьер Сергей Иванович Крылов стоял у запертой двери. Государь увидел его и быстро пошёл к нему.

В соседней комнате слышался голос императрицы-матери. Княгиня Ливен пошла к ней навстречу. Саша, оставшись один, поднял глаза и, забыв о солдاتيцах, с жадным любопытством следил за тем, что происходит у запертой двери.

Крылов, увидев государя, поклонился ему издали и хотел, как всегда, убежать. Но тот окликнул его и, подойдя, сказал:

– Дай ключ.

Старик уставился на него, как будто не расслышал, и забормотал что-то; можно было только понять:

– Её величество... приказать изволили...

– Ну давай же, давай скорее, тебе говорят! – прикрикнул на него государь и положил ему руку на плечо.

Старик затрясся, и зрачки его расширились, как зрачки мертвеца, видящие то, чего уже никто не видит; хотел подать ключ, но руки так тряслись, что уронил. Государь поднял, отпер и вошёл.

Пахнуло спёртым воздухом, запахом старых вещей: вещи покойного императора Павла I из его кабинета-спальни хранились в этой комнате. Государь увидел знакомые стулья, кресла, канапе красного дерева, с бронзовыми львиными головками; знакомые картины – архангел Гавриил и Богоматерь Гвидо Рени, висевшие над изголовьем постели; бюро, секретеры, письменный стол с чернильницей, перьями, как будто только что писавшими, с бумагами и письмами, – узнал почерк отца; ночной столик с нагоревшею, как будто только что потушенною свечкою; стенные часы со стрелкой, остановленной на половине первого, и полинялые шёлковые с китайскими фигурами спальные ширмочки.

Долго стоял, как будто в нерешимости; потом сделал слабый, падающий шаг вперёд и заглянул за ширмочки: там узкая походная кровать. Государь побледнел, и зрачки его расширились, как зрачки мертвеца, видящие то, чего уже никто не видит; вдруг наклонился и как будто с шаловливой улыбкой поднял одеяло. На простыне тёмные пятна – старые пятна

²⁶⁶ Ливен Шарлотта Карловна, урожд. фон Поссе (174? – 1828) – воспитательница дочерей Павла I и сыновей Николая и Михаила; титул княгини присвоен ей при коронации Николая в 1826 г.

крови.

Услышал шорох; рядом стоял Саша и тоже смотрел на пятна; потом взглянул на государя и, должно быть, увидел в лице его то, что тогда, в своём страшном сне, – закричал пронзительно и бросился вон из комнаты.

Над обоими, над сыном и внуком Павловым, пронёсся ужас, соединивший прошлое с будущим.

Отъезд государя в Таганрог назначен был первого сентября, а государыни третьего.

Накануне вернулся он в Петербург из Павловска, где простился с императрицей-матерью, и в назначенный день выехал из Каменноостровского дворца, в пятом часу утра, когда ещё горели фонари на тёмных улицах. Один, без свиты, заехал в Невскую лавру и отслужил молебен.

Когда миновал заставу, взошло солнце. Велел кучеру остановиться, привстал в коляске и долго смотрел на город, как будто прощался с ним. В утреннем тумане дома, башни, колокольни, купола церквей казались призрачно-лёгкими, готовыми рассеяться, как сновидение. Потом уселся и сказал:

– Ну, с Богом!

Колокольчик зазвенел, и тройка понеслась.

В Царском присоединились к нему пять колясок: ваген-мейстера полковника Соломки,²⁶⁷ метрдотеля Миллера, лейб-медика Виллие, генерал-адъютанта Дибича и одна запасная.

У государя была маленькая маршрутная книжка с названиями станций и числом вёрст. Всего от Петербурга до Таганрога 85 станций, 1894 3/4 версты. Он должен был сделать путешествие в 12 дней, а государыня – в 20.

Маршрут, по Белорусскому тракту, а с границы Псковской губернии – по Тульскому, нарочно миновал Москву: нигде никаких церемоний, ни парадов, ни встреч.

Проехали Гатчину, Выру, Ящеру, Долговку, Лугу, Городец. Государь заботливо осматривал приготовленные для императрицы ночлеги, но сам ехал, не останавливаясь, и спал ночью в коляске.

Стояли лучезарные дни осени. Каждый день солнце ясно всходило, ясно катилось по небу и ясно закатывалось, предвещая назавтра такой же безоблачный день. В воздухе – гарь, дымок из овинов, и нежность, и свежесть, как будто весенние. На гумнах – говор людской и стук цепов, а на пустынных полях – тишина, как в доме перед праздником; только журавлей в поднебесье курлыканье, туда же несущихся, куда и он.

Чем дальше он ехал, тем легче ему становилось, как будто спадала с души тяжесть, которая давила его все годы, и он просыпался от страшного сна. Казалось, что уже отрёкся от престола, покинул столицу и никогда не вернётся в неё императором; а там, куда едет, – разрешение, освобождение последнее. Не потому ли в кликах журавлиных – зов таинственный, надежда бесконечная?

В одну из первых ночей, проведённых в пути, приснился ему сон: маленький уездный городок, маленькие жёлтенькие, с чёрными оконцами, домики, точно игрушечные, плохо нарисованные. Небо – тёмно-лиловое, как бывает зимним вечером; но не зима и не вечер, а осень весенняя, утро вечернее; солнца не видно, но оно во всём, – как будто изнутри светится; и всё – такое счастливое, милое, детское, райское. А вот и Софья, и князь Валерьян Голицын; что-то говорят ему, он хорошенько не понимает что, но чувствует радость, какой никогда не испытывал. «Так вот оно как, а я и не знал!» – смеётся и плачет от радости; молиться хочет, но молиться не о чем: всё уже есть, – всегда было, есть и будет.

Проснулся: «Так вот оно как, а я и не знал!» – думал наяву, как во сне, и плакал от радости.

Оглянулся: темно ещё, но по тому, как звёзды дрожат, видно, что утро близко. Не узнавал местности: луговые скаты, а за ним – полукруг холмов лесистых в звёздном сумраке. Слышится

²⁶⁷ Соломка Афанасий Данилович (1786–1872) – полковник, обер-вагенмейстер Главного штаба. Позже генерал-лейтенант, инспектор арсеналов.

далёкий колокол, – должно быть, из Феофиловской пустыни:²⁶⁸ значит, близко Боровичи.

Коляска въезжала на холм. Вдруг, на краю неба, там, куда уходила дорога, увидел он звезду незнакомую, огромную, необычайно яркую; за нею тянулся по небу светящийся след, а сама она как будто стремительно падала вниз. И в этом падении был зов таинственный, надежда бесконечная.

Вспомнилась ему комета 1812 года. Как та казалась – гибели, а была спасения вестницей, – так, может быть, и эта?

Когда коляска поднялась на вершину холма, он велел кучеру остановиться; так же как намерен, на петербургской заставе, прощаясь с городом, встал, снял фуражку и перекрестился.

– «Небеса проповедуют славу Господню, и о делах рук Его вещает твердь», – прошептал благоговейным шёпотом и, радуясь, чувствовал, что радость эта у него уже никогда не отнимется. Ни о чём не молился, только благодарил Бога за всё, что было, и за всё, что будет.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Князь Валерьян Михайлович Голицын, приехав ночью в уездный городок Васильков, в тридцати верстах от Киева, остановился в скверной жидовской корчме, а поутру нанял хату у казака Омельки Барабаша.

– Вот моя хата, пане добродию, – говорил хозяин с ласковой важностью, приглашая гостя войти. – Вот у меня и куры ходят, вот и теля, вот и пасека, вот и жито растёт перед хатой, – выйди, да и жни: вся благодать Божья! А жинка моя варит борщ такой, что хоть бы самому городничему: у панов жила и понаучилась всяким панским роскошам.

Когда Голицын оглянул белую хатку под нахлобученною соломенною крышею с гнездом аиста и занесёнными ветром пучками полевых цветов, – в уютной тени вишнёвого садика с рядами белых ульев, то согласился с хозяином, что тут вся благодать Божья.

А внутри ещё лучше: выбеленные мелом стены, глиняный пол, расписная печка – под ней воркуют голуби, на ней мурлычет кот; образница с Межигорской Божьей Матерью, убранная сухими цветами – алым королевским цветом, жёлтым чернобрицем и зелёным барвинком.

Когда смуглая Катруся принесла ему студёной воды из криницы, а древняя бабуся Дундучиха, Омелькина мать, вытерла скамью подолом плахты,²⁶⁹ приглашая гостя сесть, и, глядя на него из-под морщинистой ладони подслеповатыми глазами, спросила:

– А та хиба не тутешний? – то гость почувствовал себя уже совсем дома.

В тот же день, вечером, узнав о приезде Голицына, – о чём весь городок уже знал, – явился к нему молоденький, лет 22-х, полтавского пехотного полка поручик, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, и пригласил его к директору васильковской управы Южного тайного общества, подполковнику Сергею Ивановичу Муравьёву-Апостолу. У Муравьёва, по словам Бестужева, два члена нового, никому из Южных не известного, тайного общества так называемых Славян ведут сейчас переговоры о соединении с Южными; Голицын был бы очень кстати на этих переговорах как представитель Северных.

Муравьёв жил на Соборной площади в деревянном ветхом сером домике с облупившимися белыми колонками. Хозяин с двумя гостями, артиллерийскими подпоручиками, Иваном Ивановичем Горбачевским и Петром Ивановичем Борисовым,²⁷⁰ пили

²⁶⁸ Феофиловская пустынь находилась в Лужском уезде, недалеко от С.-Петербурга, с 1396 по 1764 г. там существовал монастырь.

²⁶⁹ Плахта – здесь: украинская национальная одежда из четырёхугольного отреза такой ткани, обёртываемого вокруг талии, заменяющая юбку.

²⁷⁰ Борисов Пётр Иванович (1800–1854) – подпоручик артиллерии, основатель Общества соединённых славян, осуждён по 1-му разряду.

чай на крылечке, выходявшем в сад. В саду была заросшая тиной сажалка, а за нею бахча и пасека; душистой вечерней свежестью веяло оттуда – укропом, мятой, мёдом и зреющей дынею.

– Наш план таков, – говорил Бестужев, – в следующем, 1826 году, на высочайшем смотре, во время лагерного сбора 3-го корпуса, члены общества, переодетые в солдатские мундиры, ночью, при смене караула, вторгшись в спальню государя, лишают его жизни. Одновременно Северные начинают восстание в Петербурге увозом царской фамилии в чужие края и объявляют временное правление двумя манифестами – к войскам и к народу. Пестель, директор тульчинской управы, возмутив 2-ю армию, овладевает Киевом и устраивает первый лагерь; я начальствую третьим корпусом и, увлекая встречные войска, иду на Москву, где лагерь второй, а Сергей Иванович едет в Петербург, Общество вверяет ему гвардию, и здесь лагерь третий. Петербург, Москва, Киев – три укрепленных лагеря – и вся Россия в наших руках...

Маленький, худенький, рыженький, веснушчатый, то, что называется замухрышка, он, когда говорил, как будто вырастал; лицо умнело, хорошело, глаза горели, рыжий хохол на голове вспыхивал языком огненным. Верил в мечту свою, как в действительность; сам верил и других заставлял верить.

– Конная артиллерия вся готова, и вся гусарская дивизия; и Пензенский полк, и Черниговский – хоть сейчас в поход. Да и все командиры всех полков на всё согласны... Вождь Риего²⁷¹ прошёл Испанию и восстановил вольность в отечестве с тремястами человек, а мы чтобы с целыми полками ничего не сделали! Да начни мы хоть завтра же – и 60 000 человек у нас под оружием...

– Ну полно, Миша, какие шестьдесят тысяч? Дай Бог и одну, – остановил его Муравьев. – Иван Иванович, у вас чай простыл, хотите горячего?

Эти простые слова вернули всех к действительности.

– Так вот-с, господа, как: у вас всё готово, ну а у нас ещё нет, – проговорил Горбачевский²⁷² с недоверчивой усмешкой на своём широком, скуластом упрямом и умном лице. – Мы потихоньку да полегоньку. Объяснить солдатам выгоды переворота – дело трудное.

– Да разве вы им объясняете?

– А то как же-с? Мы полагаем, что не надобно от них скрывать ничего.

– Наш способ иной, – возразил Бестужев, – солдаты должны быть орудиями и произвести переворот, но не должны знать ничего. Можно ли с ними говорить о политике? Вы сами знаете, что за люди русские солдаты...

– Знаем, что люди как люди, все от ребра Адамова, – перестал вдруг усмехаться Горбачевский. – Мы ведь и сами не белая косточка, в большие господа не лезем. У нас демократия не на словах, а на деле. Равенство так равенство. С народом всё можно, без народа ничего нельзя – вот наше правило, – заключил он с вызовом.

Сын бедного священника, внук казака-запорожца, он имел право, казалось ему, говорить так.

Когда кончил, наступило молчание, и вдруг почувствовали все черту, разделяющую два тайных общества: в одном – люди знатные, чиновные, богатые, большею частью гвардейцы, генералы и командиры полков; в другом – бедняки, без роду без племени, армейские поручики и прапорщики; там – белая, здесь – чёрная кость.

Пётр Иванович Борисов всё время молчал, сидя в уголку, потупившись и покуривая трубку. Весь был серенький, как бы полинялый, стёршийся, выцветший, такой незаметный, что надо было вглядеться, чтобы увидеть худенькое личико, всё в мелких морщинках не по возрасту, большие голубые, немного навывкате, глаза, не то что грустные, а тихие; белокурые

²⁷¹ Риего-и-Нуньес, Рафаэль (1785–1823) – герой антифранцузской борьбы в Испании в 1808–1812 гг., в 1820 г., будучи командиром батальона в Кадисе, поднял восстание, послужившее началом испанской революции.

²⁷² Горбачевский Иван Иванович (1800–1869) – подпоручик 8-й артиллерийской бригады, член Общества соединённых славян и Южного общества, осуждён по 1-му разряду, срок отбывал в Нерчинских рудниках.

жидкие волосы, узкие плечи, впалую грудь. Он часто покашливал сухим чахоточным кашлем и закрывал при этом рот ладонью застенчиво.

Когда наступило молчание, – вдруг поднял глаза, улыбнулся, хотел что-то сказать, но покраснел, поперхнулся, закашлялся и ничего не сказал.

– Вы, господа, кажется, друг друга не понимаете, – вступился Муравьёв.

Голицыну, как это часто бывает, когда слишком много ждут от человека, лицо Муравьёва показалось менее значительным, чем он ожидал. Лет тридцати, но по виду моложе. Черты женственно-тонкие и неправильные: глаза слишком широко расставлены; длинный, заострённый, как будто книзу оттянутый, нос, до смешного маленький, как будто детский, рот; слишком полные, пухлые, тоже словно детские, щёки; густые, пушистые, тёмно-русые волосы, по военной моде зачёсанные с затылка на виски, как после бани взъерошенные. Всё лицо здоровое, гладкое, белое, круглое, как яичко, – ни одной морщинки, ни одной черты страдания. Только вглядываясь пристальней, заметил Голицын что-то болезненное в противоречии между улыбкою губ и скорбным взглядом никогда не улыбающихся глаз; а также в верхней губе, немного выдающейся над нижней, – что-то жалкое, как у маленьких детей, готовых расплакаться.

Странное подобие пришло ему в голову: если бы можно было увидеть на снегу, в лютый мороз, ветку с весенними листьями, то в ней было бы то беззащитное и обречённое, что в этом лице.

Впоследствии, думая о нём, он вспоминал стихи Муравьёва:

*Je passerai sur cette terre,
Toujours revcur et solitaire,
Sans que personne m'aie connu;
Ce n'est qu'au bout de ma carrière.
Que par un grand coup de lumière
On verra ce qu'on a perdu.*

«Я пройду по земле, всегда одинокий, задумчивый, и никто меня не узнает; только в конце моей жизни блеснёт над нею свет великий, и тогда люди увидят, что они потеряли».

– Вы, господа, кажется, не понимаете друг друга, – заговорил было Муравьёв по-французски, но тотчас же спохватился и продолжал по-русски: Горбачевский объявил в начале беседы, что плохо говорит по-французски, и просил изъясняться на русском языке. – Что без народа нельзя, мы тоже знаем. Но вы полагаете, что надо начинать с политики; мы же думаем, что рассуждений политических солдаты сейчас не поймут. А есть иной способ действия.

– Какой же?

– Вера.

– Вера в Бога?

– Да, в Бога.

Горбачевский покачал головою сомнительно.

– Не знаю, как вы, господа, но мы, Славяне, думаем, что вера противна свободе...

– Вот, вот, – подхватил Муравьёв радостно, – как вы это хорошо сказали: противна свободе. Вот именно так и надо спрашивать прямо и точно: противна ли вере свободе?

– Я не спрашиваю, а говорю утвердительно. И кажется, все...

– Все, все, – опять подхватил Муравьёв, – так все говорят, все так думают. Это и есть ложь, коей всё в христианстве ниспровергнуто. Но ложь всё-таки ложь, а не истина...

– Помилуйте, как же истина, когда в Священном Писании прямо сказано, что избрание царей от Бога?

– Ошибаетесь, в Писании совсем другое сказано.

– Что же?

– А вот что. Миша, принеси-ка...

Но прежде чем он договорил, Бестужев побежал в комнату и вернулся со шкатулкою. Муравьёв отпер её, порылся в бумагах, вынул листок, мелко исписанный, и подал

Горбачевскому.

– Вот, читайте.

– Я по-латыни не знаю. Да и дело не в том...

– Нет, нет, я переведу, слушайте. 1-я Книга Царств, глава 8-я: «Собрались мужи Израильские, и пришли к Самуилу, и сказали ему: ныне поставь нам царя, да судит нас. И было слово сие лукаво пред очами Самуила, и помолился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: послушай ныне голоса людей, что говорят тебе, ибо не тебя унижили они, а Меня унижит, дабы не царствовать Мне над ними; но возвести им правду царёву. – И сказал Самуилу: вот слова Господни к людям, просящим у Него царя. – И сказал им: сие будет правда царёва: сыновей ваших возьмёт, дочерей ваших возьмёт и земли ваши обложит данями, и будете рабами ему, и возопиёте в тот день от лица царя вашего, коего избрали себе, не услышит вас Господь, потому что вы сами избрали себе царя».

– Ну что ж, ясно, – кажется, ясно, яснее нельзя..... И неужели этого народ не поймёт?

– Да то в Ветхом Завете, а в Новом другое, – возразил Горбачевский, – там прямо сказано: царям повинуйтесь как Богу. Я сейчас не припомню, только много такого...

– Как может это быть? Подумайте, как может быть противоречие между откровениями единой истины Божеской? А если нам и кажется, то, значит, мы не понимаем чего-то.

– Где уж понять! Это-то попам на руку, что ничего понять нельзя: в мутной воде рыбу ловят, – подмигнул Горбачевский с тем вольнодумным ухарством, которое свойственно молодым поповичам.

– Нет, можно, можно понять! – воскликнул Муравьёв ещё радостнее, не замечая усмешки противника. – Надо только не буквы держаться, а духа... Вот вы этим шутите, а народ не шутит. Не пустое же это слово: *Мне дана всякая власть на небе и на земле*. Слышите: не только на небе, но и на земле. А ежели Он – Царь единый истинный на земле, как на небе, то восстание народов и свержение царей, похитители власти, как может быть Ему противным?

– Свержение царей во имя Христа! – покачал головой Горбачевский ещё сомнительней. – А знаете что, Муравьёв: я хоть сам в Бога не верую, но полагаю, что кто проникнут чувством религии, тот не станет употреблять столь священный предмет орудием политики...

– Нет, вы меня совсем, совсем не поняли! – всплеснул Муравьёв руками горестно, и в этом движении что-то было такое детское, милое, что все улыбнулись невольно, и черта разделяющая на мгновение сгладилась. – Ну кто же делает религию орудием политики? Да не я ли вам сейчас говорил, что нам думать надо больше всего о религии, а политика сама приложится? Именно у нас, в России, более, чем где-либо, в случае восстания, в смутные времена переворота, привязанность к вере должна быть надеждой и опорой нашей твердейшею, – вот всё, что я говорю. Вольность и вера вместе в России, погублены и восстановлены могут быть только вместе...

– Нет, господа, – объявил Горбачевский решительно, – никто из Славян не согласится таким образом действовать. Что же меня касается, то я первый отвергаю сей способ и не прикоснусь до этого листка, – указал он на выписку из Библии. – Может быть, для немцев оно и годится, но не для нас: кто русский народ знает, тот подтвердит, что способ сей несообразен с духом оного. Я хоть и сам попович, а попов не люблю. И народ их не любит. Взять хоть наших солдат: между ними, полагаю, вольнодумцев более, нежели фанатиков... Да и кто захочет вступать с ними в споры теологические? Кто решится быть новым Магометом-пророком в наш век, когда всякая религия пала совершенно и навеки?

– Ну, это ещё доказать надо, – заметил Голицын.

– Что доказать?

– А вот, что религия пала навеки.

– Полно, господа, нужно ли доказывать, в чём все просвещённые люди согласны? – что гибельная цепь заблуждений, человеческий род изнуряющих, идёт от алтаря, опоры трона царского; что надежда на воздаяние загробное угнетению способствует и мешает людям видеть, что счастье и на земле обитать может; что разум – светоч единственный, коим должны мы руководствоваться в жизни сей, а посему первый наш долг – внушить людям почтение к разуму, да будет человек рассудителен и добродетелен в юдоли сей и да оставит навсегда

младенческие вымыслы религии...

Говорил, как по книге читал, всё чужие слова, чужие мысли – Вольтера, Гольбаха, Гельвеция и других вольнодумных философов.

– Одного я в толк не возьму, – посмотрел на него из-под очков Голицын со своей тонкой усмешкой, – веру вы у них отнимете, а чем её замените?

Когда Горбачевский принялся доказывать, что просвящение заменит веру и философия – Бога, то Муравьёв и Голицын обменялись невольной улыбкой. Тот заметил её, замолчал и обиделся.

Чтобы скрыть улыбку, Муравьёв отвернулся и стал наливать стакан чаю, а когда подал его Горбачевскому, их руки на мгновение сблизилась: одна – большая, красная, жёсткая, с рыжими волосами и веснушками, с плоскими ногтями и короткими пальцами; другая – белая, тонкая, длинная, полная женственной прелестью.

«Нет, никогда не поймут они друг друга!» – подумал Голицын.

Опять, как давеча, наступило молчание, и почувствовали все черту разделяющую; опять Борисов хотел что-то сказать и не сказал.

Заговорил Бестужев. Ещё раньше Голицын заметил, что он подражает Муравьёву нечаянно, в словах, в движениях, в выражениях лица и в звуке голоса, как это бывает с людьми, долго жившими вместе. Казалось, можно было видеть и слышать одного сквозь другого; один – звук, другой – эхо, и эхо искажало звук.

– Философ Платон утверждает, – говорил Бестужев, – что легче построить город на воздухе, нежели основать гражданство без религии. Бог даровал человеку свободу; Христос передал нам начало понятий законно-свободных. Кто обезоружил длань деспотов? Кто оградил нас конституциями? Это с одной стороны, а с другой...

Горбачевский встал решительно, прицепил саблю и надел сюртук (было так жарко, что сняли мундиры).

– А столкнуться-то нам будет трудненько, господа, – сказал он и, наклонив немного голову набок, сделался похож на упрямого бычка, который хочет боднуть. – Мы люди простые, едим пряники неписанные. Вы вот всё о Боге, а мы полагаем, что не из-за Бога, а из-за брюха все восстания народные...

– Неужели только из-за брюха? – воскликнул Муравьёв.

– Знаю, знаю: не единым, хлебом... А вы-то сами, господин подполковник, голодать изволили?

– Случалось, в походе.

– Ну, это что! Нет, а вот как последние штаны в закладе, а жрать нечего... Эх, да что говорить! Сытый голодного не разумеет... Пётр Иванович, пойдём, что ли?

– Куда же вы, господа? Ведь мы ещё ни о чём как следует... – всполошился Бестужев.

– А вот уж в лагерях поговорим, там и наши все будут, а мы за них решать не можем, – сказал Горбачевский сухо.

Муравьёв подошёл к нему и подал руку:

– Иван Иванович, вы на меня не сердитесь? Если я что не так, простите ради Бога...

И опять промелькнуло в улыбке его что-то такое милое, что Горбачевский не выдержал, улыбнулся тоже и крепко пожал ему руку:

– Ну что вы, Муравьёв, полноте, как вам не совестно! Разве могут быть между нами личности?.. Пётр Иванович, а Пётр Иванович, да будет вам копать!

Борисов тщательно выбивал золу из трубочки, укладывал табак в мешочек и завязывал на нём тесёмочки; вдруг обернулся и, к удивлению всех, – никто ещё не слышал его голоса, – заговорил тихо, невнятно, косноязычно, заикаясь, путаясь и прибавляя чуть не к каждому слову нелепую поговорку: «Десятое дело, пожалуйста».

– А я вот что, десятое дело, пожалуйста... не надо о Боге. Хорошо, если Бог, но можно и так, без Бога, быть добродетельным. Я, впрочем, не атей. А только лучше не надо... Вот как жиды. Умницы: назвать Бога нельзя; говори о чём знаешь, десятое дело, пожалуйста, а о Боге молчок. И всяк сверчок знай свой шесток...

– Молодец, Иваныч! В рифму заговорил, – смеясь, похлопал его по плечу Горбачевский. – Ну пойдём, стихотворец, лучше не скажешь!

Гости ушли. Бестужев отправился их провожать.

Муравьёв, оставшись наедине с Голицыным, расспрашивал его о петербургских делах. Зашла речь о «Православном Катехизисе». Муравьёв принёс рукопись и показал её Голицыну.

Катехизис начинался так:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

«Вопрос. Для чего Бог создал человека?

«Ответ. Для того, чтобы он в Него веровал, был свободен и счастлив.

«Вопрос. Что это значит быть свободным и счастливым?

«Ответ. Без свободы нет счастья. Святой апостол Павел говорит: ценою крови куплены есте, не будете рабы человеком.

«Вопрос. Для чего же русский народ и русское воинство несчастны?

«Ответ. От того, что... похитили у них свободу.

«Вопрос. Что же святой закон нам повелевает делать?

«Ответ. Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклониться: да будет всем един Царь на небеси и на земли – Иисус Христос».

Голицын читал Катехизис ещё в Петербурге, но теперь, после давешней беседы, всё получило новый смысл.

– Скажите правду, Голицын, как вы думаете, поймут? – спросил Муравьёв.

– Не знаю, может быть, и не поймут сейчас, – ответил Голицын. – Но всё равно, – потом. Хорошо, что это написано. Знаете: написано пером, не вырубишь топором...

И как будто подтверждая то, что прочёл, рассказал он о Белом Царе, государе императоре Петре III, в котором пребывает «сам Бог Саваоф с ручками и с ножками».

– Ну вот-вот! – вскричал Муравьёв и всплеснул руками радостно. – Ведь вот есть же это у них! Не такие мы дураки, как Горбачевский думает... Ах, Голицын, как хорошо вы сделали, что приехали! Наконец-то будет с кем душу отвести, а то всё один да один...

Когда на прощанье Голицын подал ему руку, тот взял её и долго держал в своей. Молча стояли они друг против друга.

– Ну, значит, вместе, да? – сказал, наконец, Муравьёв, чуть-чуть краснея.

– Да, вместе, – отвечал Голицын, тоже краснея.

Муравьёв отпустил руку его, с минуту смотрел ему в глаза нерешительно, вдруг покраснел ещё больше, улыбнулся, обнял его и поцеловал.

Голицын почувствовал, что ему хочется плакать, как тогда, во сне, когда с ним была Софья. Он знал, что она и теперь с ним.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Наступили счастливые дни. Голицын почти ничего не делал, не читал, не писал, даже не думал, только наслаждался глубокою негою позднего украинского лета. Не бывал в этих местах, но всё казалось ему знакомым, как будто после долгих скитаний вернулся на родину или вспоминал забытый детский сон.

Васильков – запустевший уездный городок-слободка, разбросанный по холмам и долинам. Серые деревянные домики, белые глиняные мазанки; иногда крутая улица кончалась обрывом, как будто уходила прямо в небо. Внизу – речка Стугна, обмелевшая и заросшая тиной. Вдали синюющие горы; за ними Днепр; но он далеко, не видно. Белые хатки – в тёмной зелени вишнёвых садов; хатка над хаткою, садик над садиком, и между ними плетни, увитые тыквами. В домиках жили хуторяне, мелкоместные панки да подпанки, ели, пили, спали, играли в преферанс по маленькой, спорили о том, какой нюхательный табак лучше – шпанский, виолетный, бергамотный, рульный или полурульный, и действительно ли умер Бонапарт или только прикинулся мёртвым, чтобы снова напасть на Россию; ходили в церковь, гоняли водку на вишнёвых косточках да борова сажали в саж к розговенам. Барышни читали новые романы Жанлис²⁷³ и Радклифф,²⁷⁴ но старинный «Мальчик у ручья» господина Коцебу им больше

²⁷³ Жанлис, Стефани-Фелисите Дюкрест дю Сент-Обен (1746–1830) – французская писательница, автор романов и сочинений на педагогические и моральные темы.

нравился.

– Я люблю читать страшное и чувствительное, – признавалась одна из них Голицыну.

У полкового командира Густава Ивановича Гебеля²⁷⁵ устраивались вечеринки с танцами; дамы сидели за бостоном, а девицы с офицерами плясали под клавикорды. Бестужев на этих балах был весёлым кавалером и дамским любезником. Когда, падая на стул и обмахиваясь веером, одна, плотного сложения, дама воскликнула:

– Уф, как устала! Больше танцевать не могу.

– Не верю, сильфиды не устают! – возразил Бестужев.

В такие минуты трудно было узнать в нём заговорщика.

Время текло однообразно – в ученьях, караулах и разводах. Господа офицеры скучали, пили нежинский шато-марго, за удивительную крепость получивший прозвище *шатай-моргай*; стреляли в жидов солью, таскали их за пейсики; или, сидя под окном, с гитарой в руках, напевали:

*Кто мог любить так страстно,
Как я любил тебя?*

А ночью в еврейской корчме метали банк, стараясь обыграть заезжего поляка-шулера, который как-то раз в полночь вылетел из окна с воплем:

– Панове, протестую!

Каждое утро входила к Голицыну неслышно, босыми ногами, свежая и стройная, как тополь, Катруся, приносила студёной воды из криницы, такой же чистой, как её улыбка, и украшала свежими цветами образа.

Бабуся Дундучиха обкармливала его малороссийскими блюдами. Каждую ночь у него немного болел живот. «Надо есть меньше», – думал он, а на следующий день опять объедался. За один месяц так пополнил, что дорожный английский каррик,²⁷⁶ в Петербурге слишком широкий, теперь сделался узким. Так обленился, что целыми часами мог сидеть у окна, глядя, как старый дед-пасечник ходит по баштану, прикрывает лопухом арбузы от зноя; рыжий попovich тащит козу, а коза упирается; бабуся Дундучиха, с прялкой за поясом, гонит с горы тёлку и, медленно идучи за нею, прядёт шерсть. Тишина невозмутимая; только рядом, в хозяйской светлице, ткацкий стан шумит, веретено жужжит и прыгает да ветер за окном шелестит в вершине тополя.

Или, стоя на базарной площади, наблюдал он, как два жида спорят о чём-то, делая друг у друга под носом такие быстрые движения пальцами, как будто сейчас подерутся, а на ослепительно-белой стене их чёрные тени ещё быстрее движутся, как будто уже подрались. Тут же, на площади, перед единственным каменным домом присутственных мест, – привал чумаков; круторогий вол, лёжа на соломе, жуёт жвачку, и с глянцеви́то-чёрной морды слюна стекает светлую струйкою. А пьяный чумак, сидя на мазнице у воза, подперев щеку рукою и тихонько раскачиваясь, поёт жалобно:

Ой, запив чумак, запив,

²⁷⁴ Радклифф Анна (1764–1823) – английская писательница, автор «Удольфских тайнств» и других приключенческих романов.

²⁷⁵ Гебель Густав Иванович (? – 1856) – в 1825 г. подполковник, командир Черниговского пехотного полка. Во время восстания, при попытке арестовать своего мятежного подчинённого С. И. Муравьёва-Апостола, ранен. Вскоре после того произведён в полковники.

²⁷⁶ Каррик (гаррик) (англ. carrick), верхняя мужская одежда, по покрою похожая на редингот с двумя или тремя воротниками-пелеринами, покрывавшими плечи. Распространился в 18 в. как одежда для езды верхом или в экипаже. По одной из версий слово обязано своим происхождением английскому актёру Д. Гаррику – создателю этого типа костюма.

*Сидя на рыночку;
Той против чумака, против
Усю худобочку.*

И над всем городом – зной, лень, сон, тишина невозмутимая. Собаки не лают – спят; куры не бродят – в мягкую пыль зарылись и тоже спят. Шестерня волов под плугом остановилась на улице; хозяин уснул, волы спят, и всё неподвижно. Прохожий солдатик раскачал хохла; тот зевнул, почесался, выругался:

– Ну тебя к нечистой матери!

Махнул прутом: «Цоб-цобе!» – и волы двинулись, но, кажется, опять станут – уснут.

Только иногда в тишине бездыханного полдня надвинется туча, послышится гул. Уж не гром ли? Нет, телега стучит. А туча уходит, – зной, и сон, и лень, и тишина ещё невозмутимее.

– Действия скоро начнутся; нами принято непоколебимое решение начать революцию в 1826 году, – говорил Бестужев.

Голицын слушал и не знал, что это – гром или стук телеги? Но Муравьев однажды сказал:

– Бездейственность всех прочих членов, особенно Северных, столь многими угрожает нам опасностями, что я, может быть, воспользуюсь первым сбором войск, чтобы начать...

И Голицын сразу поверил, что так и будет, как он говорит. «Да, здесь начнут», – подумал то, чего никогда в Петербурге не думал. Чем тишина бездыханнее, тем грознее туча надвигается, и он уже знал, что дальний стук – не стук телеги, а гром.

Бестужев рассказывал ему о Славянах.

– Помните, у Радищева: «Я взглянул окрест меня, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Ну, вот с этого всё и началось у них. Братья Борисовы жили с отцом на хуторе и видели, как паны бедных людей до крови мучают. А потом на военной службе – палки, плети, шпицрутены; когда забили при них одного солдата до смерти, они поклялись умереть, чтобы этого больше не было... Ну, и книги тоже. Жизнеописание великих мужей Плутарха, греки да римляне поселили в них с детства любовь к вольности и народодержавию. Будучи в корпусе, вздумали составить таинственную секту, коей цель была спокойная и уединённая жизнь, изучение природы и усовершенствование себя в добродетелях, подобно древним пифагорейцам.²⁷⁷ Девизом сделали две руки, соединённые над пылающим жертвенником с надписью: *gloire, amour, amitie*,²⁷⁸ и назвали ту секту Обществом Первого Согласия. Сочиняли иероглифы, обряды, священнослужения. Раз, на вакациях, летом, в селе Решетиловке Полтавской губернии, устроили пифагорейское шествие в белых одеждах, с пением и музыкой, в честь восходящего солнца. А после производства в офицеры основали в Одессе масонскую ложу Друзья Природы, присоединив к прежней цели – очищение религии от предрассудков и основание известной республики Платона. Вот из этих-то двух обществ и вышли Славяне...

– Какая же их цель? – спросил Голицын.

– Соединение всех славянских племён в единую республику.

– Только-то!

– Не смейтесь, Голицын! Если бы вы знали, что это за люди! Настоящие, греки и римляне. Кажется, мы нашли в них то, чего искал Пестель, *обречённый отряд* людей, готовых на всякую жертву для блага отечества...

Когда Голицын узнал, что эти бедные армейские поручики и прапорщики постановили жертвовать десятую часть жалованья на выкуп крепостных людей и на учреждение сельских школ и что сами Борисовы с хлеба на квас перебиваются, а вносят положенные деньги в кассу Общества, то перестал смеяться.

Ему хотелось поговорить с Борисовым, но каждый раз, как заговаривал с ним, тот улыбался застенчиво, краснел, отвечал невнятно и косноязычно, со своим всегдашним присловием: «десятое дело, пожалуйста», и, видимо, так тяготился беседой, что у Голицына не

²⁷⁷ Пифагорейцы – члены тайного союза, основанного легендарным мудрецом VI в. до н. э. Пифагором.

²⁷⁸ Слава, любовь, дружба (фр.).

хватало духа продолжать её.

– Чудак! Что, он со всеми такой? – спрашивал он Бестужева.

– Да, такой скрытный, что никакого толку не добьёшься. А брат его, Андрей Иванович, тот ещё хуже: страдает меланхолией, что ли? Сидит, запершись, у себя в комнате и никуда ногой; только в поле цветы собирает да бабочек ловит...

Горбачевский, отложив переговоры с Южным обществом до осенних лагерей, собирался в Новград-Волынский, где стояла 8-я артиллерийская бригада, в которой он служил вместе с Борисовым. Борисов должен был ехать с ним, но всё не мог собраться. Бестужев подозревал, что ему не на что выехать.

Однажды Голицын увидел на перекрёстке двух дорог старого слепца-лирника; он играл на бандуре и пел о Богдане Хмельницком, о Запорожской Сечи, о древней казацкой вольности.

Голицын почти не понимал слов, но благоговейное внимание слушателей, всех простых казаков и казачек, вдохновенное лицо старика с высоко поднятыми бровями над слепыми, впалыми глазницами и дрожащий голос его, и тихое рокотание бандурных струн, и заунывные, хватающие за душу звуки песни говорили больше слов.

«Теперь бурьяном заросла Сечь, и вольные степи прокляты Богом: травы сохнут, воды входят в землю, и не стало древней вольности.

*Было, да поплыло, –
Его не вертати!» –*

заклучил певец.

Кто-то всхлипнул; кто-то вытер слёзы рукавом свитки; старый седуусый казак, опиравшийся обеими руками о палку, низко опустил голову и так тяжело вздохнул, как будто услышал весть о смерти любимого.

А голос певца зазвучал торжественно:

*Полягла казацка голова,
Як от витра на степу трава;
Слава не вмере, не поляже, –
Рыцарство казацке всякому розкаже.*

песня оборвалась. Последние слова Голицын понял, и опять родное, милое, как детский сон, нахлынуло в душу его. Древняя вольность, за которую умирали эти простые люди, не та же ли, что и новая, за которую умрут они, заговорщики?

Подошёл к певцу и вместе с медными грошами положил в руку его несколько серебряных монет. Тот, нащупав их, обернулся к нему:

– Панночку, лебёдушку! Нехай тебя так Господь призрит, как ты меня призрел!

– Давно ты слеп, старик? – спросил Голицын.

– Давно, родимый! Уж и не помню, сколько годов по Божьему свету брожу, а света не вижу...

И, уставившись прямо на солнце слепыми глазами, прибавил тем же заунывным голосом, которым только что пел, – казалось, что эти слова продолжение песни:

– Ох, свет, мой свет! Хоть и не видишь тебя, а помирать не хочется.

– Ну что, князь, как вам понравилось? – выходя из толпы, вдруг услышал Голицын голос Петра Ивановича Борисова.

– Удивительно!

– А я думал, вам не понравится.

– Почему же?

– Да вы в Петербурге-то, чай, итальянских опер наслушались, так нашим певцам где уж до них, десятое дело, пожалуйста...

– Ну что вы, разве можно сравнивать? Я не променяю это ни на какую оперу.

– Будто? А вы бы нашего Явтуха Шаповаленко послушали, – вот так поёт! – начал Борисов и не кончил, как будто испугался чего-то, съёжился, пробормотал поспешно: – Ну, моё

почтенье, князь! Нам не по дороге...

И подал ему руку, как-то странно, бочком, точно надеялся, что тот её не увидит и не возьмёт.

– А вас проводить нельзя, Пётр Иванович?

– Да уж не знаю, право, десятое дело, пожалуйста. Я ведь к жидам; нехорошо у них, вам тошно будет...

– Чудак вы, Борисов! Барышня я, что ли?

– Нет, я не к тому, десятое дело, пожалуйста, – окончательно сконфузился Борисов. – Ну, да всё равно, если угодно, пойдёмте.

Всю дорогу был молчалив, как будто раскаивался в своей давешней болтливости. Но Голицын решил не отставать от него. Борисов повёл его в жидовское подворье.

Так же, как во всех украинских местечках, евреи жили по всему городу, но ютились преимущественно в своём особом квартале. Тут были ветхие деревянные клетушки, едва обмазанные глиною, с острыми черепичными кровлями. Улицы – узкие, ещё более стеснённые выставными деревянными лавочками и выступами домов на гнилых, покосившихся столбиках. Всюду висящие из окон тряпье, копошащиеся на кучах отбросов вместе с собаками полунагие жиденята, и грязь, и вонь.

Борисов с Голицыным вошли в домик, где беременная жидовка с чахоточным румянцем на впалых щеках, с полосатым тюрбаном на бритой голове, хлопотала, примазывая глиной деревянную заслонку к жерлу раскалённой печи, куда задвинула шабашевые блюда (была пятница, день шабаша), так как в день субботний прикосновение к огню считается смертным грехом.

– Ну что, как Барух? – спросил Пётр Иванович.

– Ай-вай, панночку ясенький, плохо, совсем плохо...

– Ничего, Рива, даст Бог, вылечим, – сказал Борисов и сунул ей что-то в руку.

– Спасибо, спасибо, панночку добренький! Нехай вас Бог милует! – утёрла она концом тюрбана глаза и наклонилась, должно быть, хотела поцеловать руку его, но он отдёргнул её и поскорее ушёл.

По скользким ступеням спустились в тёмный подвал. На полу валялись кучи тряпья, стояли лохани и кадушки с помоями; от них шёл такой смрад, что дыхание спиралось. В красном углу, на восток, – завешенный полинялою парчою кивот, с пергаментными свитками Торы; на крюке – мешок из телячьей кожи с молитвенными принадлежностями; на гвоздике – плетёная свеча зелёного воску для зажигания после шабаша. На сундуке с тряпьем, заменявшим постель, лежал старик с длинной белой бородой, как Иов на гноище.

Барух Эпельбаум, великий ревнитель закона, был богатым купцом, но когда любимая дочка его сбежала с русским приказчиком, он заскучал, забросил дела, разорился и, не имея где приклонить голову, больной, почти умирающий, приехал в Васильков к дальним родственникам. Барух как-то выручил Борисова из большой беды, дав ему денег взаймы, и теперь, когда все старика покинули, тот утешал его и ухаживал за ним, как самая нежная сиделка.

– Десница Божия отяготела на мне! Нет целого места в плоти моей, нет мира в костях моих! Смердят, гноятся раны мои от безумья моего! – восклицал Барух по-еврейски, заунывно и торжественно, с таким видом, что нельзя было понять, молится он или богохульствует.

– Ну-ка, братец, снимай свитку, мазаться будем, – сказал Борисов, подходя к старику.

– Ох-ох-ох, панночку миленький! – простонал Барух жалобно. – Оставь ты меня, как все меня оставили! Не треба мне мази твоей. Нехай помру, як пёс... Проклят день рождения моего и ночь, когда сказали: зачался человек! – прибавил он опять по-еврейски, заунывно и торжественно.

– Ну, брат, полно кобениться! Вот намажу, легче будет.

Борисов помог ему снять грязную в лохмотьях свитку.

Голицын увидел мёртвенно-бледное тело с красными пятнами отвратительной сыпи и отвернулся невольно. «Барышня я, что ли?» – вспомнилось ему.

А Борисов делал своё дело, как хороший лекарь: достал баночку с мазью, засучил рукава и принялся тереть. Жид стонал, корчился от боли, потому что мазь была едкая.

Когда Борисов кончил, больной долго лежал, не шевелясь и закрыв глаза, как мёртвый; потом открыл их, посмотрел на Борисова и сказал, как будто продолжая разговор, только что прерванный:

– Вот вы говорили намеренно, ваше благородьице: Иешу Ганоцри добро людям сделал, а я говорю: зло. Ай-вай, такого зла никто людям не делал, как Иешу Ганоцри...

– Пустое ты мелешь, Барух! Какое же зло?

– А вот слушайте, ваше благородьице, я вам скажу. Я – пёс поганый, жид пархатый, а я лучше вашего знаю всё, – усмехнулся он тонкой усмешкой завязтого спорщика; мешал русский язык с украинским, польским и еврейским, но такая сила убеждения была в лице его, в движениях и в голосе, что Голицын почти всё понимал. – Вот гляжу я в окошечко: вот идёт Лейба из Бердичева, вот идёт Шмультка из Нежина, а вот идёт Иешу Ганоцри. Лейба – жидок, Шмультка – жидок, все жидки одинокие, а Иешу кто?

– Иешу Ганоцри – Иисус Назарей, – шепнул Борисов на ухо Голицыну.

– Слушайте, слушайте, я вам всё скажу, – продолжал старик, обращаясь уже к обоим вместе, видимо, польщённый вниманием Голицына. – Вы, христиане, не знаете, а мы, жидки, знаем, кто такой Иешу Ганоцри. Мы всю его фамилию знаем, и матку, и батьку, и сестричек, и братиков! – лукаво прищурился он и залился вдруг тоненьким смехом. – В Варшаве паночек один, такой же вот, как ваши милости, добренький да умненький, дал мне Евангелиум. «Читай, – говорит, – Барух, может, твоей душеньке польза будет». Стал я читать, да нет, не могу. «Ну и что же такое? – говорит, – отчего не можешь читать?.....»

Вдруг смех исчез. Он сжал кулаки и потряс ими в воздухе. Лицо исказилось, как у бесноватого.

– В Законе сказано: «Слушай, Израиль: Я есмь Господь Бог твой». А Он, Человек, Себя Богом сделал! Нет хуже того зла на свете..... – возопил он с тем же святым неистовством, с каким первосвященник Каиафа разорвал некогда одежды свои перед судилищем.....

– Ну что? Ведь не глуп мой жид, а? – сказал Борисов, когда они опять вышли на улицу.

– Настоящий философ, в тётку твоего, Баруха Спинозу! – ответил Голицын. – Только все они чего-то не понимают главного.

– А что главное?

– Ну, этого я вам не скажу: тут молчок, и всяк сверчок знай свой шесток, – усмехнулся Голицын.

– А я боялся, что скажете, – посмотрел на него Борисов, сначала серьёзно, а потом вдруг тоже с улыбкой, и спросил: – Вы куда?

– Домой, – ответил Голицын, чтобы узнать, не обрадуется ли он, по обыкновению, что его оставляют в покое.

– Заняты?

– Нет.

– Так пойдёте ко мне. Знаете что, Голицын? Я ведь с вами давно говорить хотел, да всё боялся...

– Чего же боялся?

– Да вот, как батька мой говорит; с важными господами вишен не ешь, как бы косточкой глаз не вышибли.

– Вы так обо мне думали?

– Ну не сердитесь. Я теперь не так...

– А как?

– Теперь, – засмеялся Борисов, – как дедуся-пасечник наш говорит: вижу по всему, что вы человек как человек, а не то, что называется пан.

– Ну и слава Богу!

– Не сердитесь?

– Да нет же, какой вы, право, чудак!

Голицын вдруг почувствовал, что Борисов тихонько жмёт ему руку.

– Вам Бестужев говорил о Славянах?

– Говорил.

– Не поняли?

– Не совсем.

– Да ведь просто?

– Иногда простое понять труднее всего.

– Вот именно, – подхватил Борисов, – самое простое – самое трудное. Но вы понять можете: слепенького поняли и жида поняли; значит, и нас поймёте...

Он говорил теперь связно и внятно, как будто совсем другой человек; и лицо – другое, новое. «Какое милое лицо, и как я его раньше не видел!» – удивился Голицын.

Борисов жил на выезде из города, у Богуславской заставы, в крошечной хатке с двумя каморками, почти без мебели. «С хлеба на квас перебивается», – вспомнилось Голицыну.

Когда они вошли, молодой человек, сидевший у окна и что-то рисовавший, с милым, грустным и больным лицом и с глазами, такими же тихими, как у Борисова, вскочил в испуге и, не здороваясь, убежал в соседнюю каморку, где заперся на ключ. Это был Андрей Иванович, брат Борисова.²⁷⁹

Хозяин показал гостю коллекции бабочек и других насекомых, а также рисунки животных, птиц, полевых цветов и растений.

– Это всё – Андрей Иванович. Не правда ли, мастер? – сказал он с гордостью.

В самом деле, рисунки были прекрасные.

– Жарко здесь, и мухи. Пойдёмте-ка в сад, – предложил Пётр Иванович.

Голицын понял, что он не хочет беспокоить больного брата.

У хатки не было сада, она стояла на пустыре. Перелезли через плетень в чужую дычковскую пасеку, забрались под густую тень черешен и уселись в высокой траве на сваленные колоды ульев. За плетнём, над белой дорогой, воздух дрожал и мерцал от зноя ослепительно; а здесь, в тени, было свежо; струйка воды журчала по мшистому жёлобу, и тихое жужжание пчёл напоминало дальний колокол.

– Ну говорите: чего же вы не поняли? – начал Борисов.

– Цель вашего общества – соединение славянских племён в единую республику? – спросил Голицын.

– Да. Федеративный союз, подобный древнегреческому, но гораздо его совершеннее.

– Какие же у вас средства к тому?

– Средства? Да те же, что и у вас, десятое дело, пожалуйста. Ну там, возмущенье, свержение династии... ну и прочее. Вы же знаете...

Говорил, видимо, чужое, заученное и для него самого не важное; помолчал и прибавил уже иначе, с усмешкой печальной и ласковой:

– Мы ведь сначала о средствах почти и не думали, мечтали сделать переворот с такою же лёгкостью, как парижане меняют старые моды на новые. Ни о чём не заботились, как в раю жили, ждали чудес, верили, скажем горе: «Сдвинься!» – и сдвинется. Только впоследствии увидели, как трудно всё... Да, многое придётся оставить, ежели соединимся с Южными. А жаль. Хорошо было; так уже больше не будет.

*Было, да поплыло,
Его не вертати...*

Он подал ему тоненькую, в синей обложке, как будто ученическую, тетрадку: захватил её с собою давеча из дому.

– Вот наши правила. Читайте сами. Может быть, лучше поймёте.

Голицын прочёл:

«Ты еси Славянин, и на земле твоей при берегах морей, её окружающих, построишь

²⁷⁹ Борисов Андрей Иванович (1798–1854) – отставной поручик, член Общества соединённых славян, осуждён по 1-му разряду и отбывал наказание на каторге, а затем на поселении. Страдал психическим расстройством, покончил с собой после смерти брата Петра.

четыре гавани, а в середине город и в нём богиню Просвещения на троне посадишь, и оттуда будешь получать себе правосудие, и ему повиноваться обязан ибо оное с путей, тобою начертанных, совращаться не будет.

Желаешь иметь сие, – с братьями твоими соединишь, от коих невежество предков отдалило тебя».

Между строк нарисован был восьмиугольный знак с пояснением:

«8 сторон означают 8 славянских народов: россияне, поляки, чехи, сербы, кроаты, далматы, трансильванцы, моравцы; 4 якоря – гавани: Балтийскую, Чёрную, Белую, Средиземную; единица в середине – единство сих народов».

А в примечании сказано:

«Можно сей знак употреблять на печатях».

Потом отдельные изречения:

«Дух рабства показывается напыщенным, а дух вольности простым».

«Будешь человеком, когда познаешь в другом человека, и гордость тиранов падёт перед тобою на колена».

«Ни на кого не надейся, кроме твоих друзей и твоего оружия; друзья тебе помогут, оружие тебя защитит».

«Свобода покупается не слезами, не золотом, а кровью».

«Обнаживши меч против тирана, должно отбросить ножны как можно далее».

И, наконец, клятва:

«С мечом в руках достигну цели, нами назначенной. Пройдя тысячи смертей, тысячи препятствий, посвящу последний вздох свободе. Клянусь до последней капли крови вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты. Если же нарушу клятву, то остриё меча сего, над коим клянусь, да обратится в сердце моё».

Голицын испытывал странное чувство: что такие люди, как Борисов, за каждое слово, каждую букву этой бедной тетрадки пойдут на смерть, – не сомневался и вместе с тем понимал, что эта славянская республика – такое же ребячество, как пифагорейское шествие в селе Решетиловке.

«А может быть, так и надо? *Если не обратитесь и не станете, как дети* », – подумал Голицын опять, как тогда в Петербурге на сходке у Рылеева.

Борисов молчал, потупившись, и, взяв у него тетрадку, тщательно разглаживал согнувшиеся уголки листков. Голицын тоже молчал, и молчание становилось тягостным.

– А знаете, Борисов, ведь это совсем не политика, – проговорил он наконец.

– А что же? – спросил тот и, быстро взглянув на него, опять потупился.

– Может быть, религия, – возразил Голицын.

– Какая же религия без Бога?

– А вы в Бога не верите?

– Нет, я... не знаю, я не могу. Я же говорил у Муравьёва, помните? Я, как жида, не могу назвать Его по имени, не могу сказать. Скажешь – и всё пропадёт. Вот и теперь: сказал вам о нашем – и всё пропало...

Лицо его побледнело, губы искривились болезненно, пальцы, всё ещё расправлявшие уголки листьев, задрожали.

И Голицыну вдруг стало жалко его нестерпимую жалостью, и больно, и страшно, как будто, в самом деле, всё пропало.

– Нет, не пропало, – начал он, думая, что обманывает его от жалости; но в то же мгновение, как человек тонущий, прикоснувшись ко дну, чувствует, что какая-то сила поднимает его, так он почувствовал, что не жалеет, не обманывает. – Да, ничего не пропало, – повторил он, – всё есть...

– Что же есть? – спросил Борисов.

– Есть главное, вот то, что у вас в клятве сказано: последний вздох отдать свободе. А если вы назвать Его, сказать о Нём не можете, то сделайте, – другие скажут.

Борисов поднял на него глаза со своей стыдливой улыбкой, но ничего не сказал, и Голицын тоже; как будто заразился от него, – почувствовал, что говорить не надо: «скажешь – и всё пропадёт».

Была тишина полдневная, ни ветерка, ни шелеста, – и такая же в ней тайна, близость ужаса, как в самую глухую ночь.

Вдруг почудилось Голицыну, что за ним стоит Кто-то и сейчас подойдёт, позовёт их, скажет имя Своё тому, кто не знает имени. Дуновение ужаса пронеслось над ним.

Он встал и оглянулся, – никого, только в тёмной чаше пасеки белела, освещённая солнцем, колода улья, и тихое жужжание пчёл напоминало дальний колокол.

И вспомнился Голицыну дальний колокол на пустынной петербургской улице, когда Рылеев сказал ему:

– А всё-таки надо начать!

Тогда ещё сомневался он, а теперь уже знал, что начнут.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Второй батальон Черниговского полка, которым командовал Муравьёв, считался образцовым во всём 3-м корпусе. Генерал Рот²⁸⁰ два раза представлял Муравьёва в полковые командиры, но государь не утверждал, потому что имя его находилось в списке заговорщиков.

«Предавшись попечению о своём батальоне, я жил с солдатами, как со своими детьми», – рассказывал впоследствии сам Муравьёв о своём васьковском житье. Телесные наказания – палки, розги, шпицрутены – были уничтожены, а дисциплина не нарушалась, и страх заменялся любовью. «Командир – наш отец: он нас просвещает», – говорили солдаты.

В Черниговском полку служило много бывших семёновцев, разжалованных и сосланных по армейским полкам после бунта 1819 года. Случайный бунт, вызванный жестокостью полкового командира, Меттерних представил государю как последствие всемирного заговора карбонаров – начало русской революции.

Государь не прощал бунта семёновцам, не забывал и того, что они были главными участниками в царевубийстве 11 марта. Офицеров и солдат жестоко наказывали за малейший проступок.

– Лучше умереть, нежели вести такую жизнь, – роптали солдаты.

На них-то и надеялись больше всего заговорщики.

До перевода в армию Муравьёв служил в Семёновском полку.

– Что, ребята, помните ли свой старый полк, помните ли меня? – спрашивал он солдат.

– Точно так, ваше высокородие, – отвечали те, – рады стараться с вашим высокородием до последней капли крови, рады умереть!

Наблюдая за ним, Голицын убеждался воочию, что восстание не только возможно, но и неизбежно

– Вот какой семёновцы имеют дух, что рядовой Апойченко поклялся привести весь Саратовский полк без офицеров и при первом смотре застрелить из ружья государя. Да и в прочих полках солдаты к солдатам пристанут, и достаточно одной роты, чтобы увлечь весь полк, – уверял Бестужев.

– Русский солдат есть животное в самой тяжкой доле, – объяснял он Голицыну, – мы положили действовать над ним, умножить его неудовольствие к службе и вышнему начальству, а главное, извлечь солдат из уныния и удалить от них безнадёжность, что жребий их переменить не может.

И на примере показывал, как это надо делать. Когда говорил им о сокращении службы с 25 лет на 15 или о том, что наказание палками «противно естеству человеческому», солдаты хорошо понимали его; хуже понимали, но слушали, когда он толковал им:

– Вот, ребята, скоро будет поход на Москву, где соберётся вся армия, чтобы требовать от государя нового положения и облегчения для войск, ибо служба теперь чрезмерно тяжела: вас тиранят, бьют палками, занимают беспрестанными ученьями и пригонкой амуниций, а всё это выдумывается вышним начальством, которое большею частью из немцев. Но о вас, так же как

²⁸⁰ Рот Логгин Осипович (1780–1851) – командир Полтавского пехотного полка, переправивший в Таганрог донос Майборода. Позже участвовал в подавлении выступления Черниговского полка.

вообще о нижнем сословии людей, заботятся многие значительные особы и стараются о том, дабы облегчить вам жребий. Есть люди, кои сами готовы принести жизнь свою в жертву для освобождения себя, а более вас, от рабства. Если у вас духу станет, то участь ваша скоро переменится. Вам не должно унывать, но быть твёрдыми и в случае нужды решиться умереть за свои права...

Когда же он доказывал им, что «не всякая власть от Бога», они совсем ничего не понимали.

– Точно так, ваше благородие, – соглашались неожиданно, – один Бог на небе, один царь на земле. Против царя да Бога не пойдёшь.

И тут же все слова как об стенку горох. А когда опять спрашивал их:

– Пойдёте, ребята, за мной, куда ни захочу?

– Куда угодно, ваше благородье! – отвечали в один голос, воображая, будто командиры задумали поход за рубеж, в Австрию, чтобы там собраться всем бывшим семёновцам, просить у царя милости, и царь непременно их помилует, возвратит в гвардию.

Доказывая, что «природа создала всех одинаковыми», Бестужев нюхал табак с фейерверкером Зюниным, целовался с вахмистром Швачкою, а тот конфузился и утирался рукавом стыдливо, как бы христосуясь.

Рядового Цыбуленко учил грамоте и долго бился с ним, пока не начал он корявыми пальцами выводить в прописи большими кривыми буквами «Брут. Кассий. Мирабо. Лафайет. Конституция».

Иногда Голицын присутствовал на этих уроках.

– Что такое свобода? – спрашивал Бестужев.

– Свобода есть дар Божий, – отвечал Цыбуленко.

– Все ли люди свободные?

– Точно так, ваше благородие!

– Нет, малое число людей поработило большее. Свободна ли Россия?

– Никак нет, ваше благородие!

– Отчего же?

.....

Цыбуленко молчал, краснел, потел и выпучивал глаза.

– Болван! Экий ты братец, болван! – выходил из себя Бестужев. – Ну что мне с тобою делать?

– Виноват, ваше благородье! – вытягивался Цыбуленко во фронт и моргал глазами так, как будто хотел сказать: «Отпустите душу на покаяние!»

– Ну ступай. Видно, от тебя сегодня толку не добьёшься. Приходи завтра.

И, чтобы утешить его, давал ему гривну меди на баню.

– И ребятам скажи, чтоб всегда приходили ко мне, если имеют какую нужду.

– Что за комедия! – смеялся Горбачевский. – Знаете, Бестужев, после французского похода один гвардейский генерал, подъезжая к полку, здоровался: «Bonjour, люди!» Так вот и вы; только не поймут они вашего бонжура.

– Нет, поймут, всё поймут! – не унывал Бестужев.

О том, чтобы поняли, старался полковой командир Гебель, выученик знаменитого «палочника», генерала Рота.

Густав Иванович Гебель был родом поляк и ненавидел русских, как будто мстил им за то, что сам изменил родине.

На Васильковской площади, где пролежала почтовая дорога из Бердичева в Киев, проезжие польские паны могли видеть, как соотечественник их бьёт русских солдат. Бил сам командир; били урядники, и фельдфебели, и ефрейторы; били так, что концы палок от побоев измочаливались.

Гебель ложился на землю, наблюдая, хорошо ли носки вытянуты; щупал у солдат под носом, «регулярно ли усы, за неимением натуральных, углём нарисованы», стягивал ремнями талии для выправки, а когда людям делалось дурно, бил их; бил их и за то, что «приметно дышат или кашляют». Приказывал им плевать друг другу в лицо. Старых ветеранов, чьи ноги исходили десятки тысяч вёрст и тело покрыто было ранами, учил наравне с

мальчишками-рекрутами.

*Мы – отечеству защита,
А спина всегда избита.
Кто солдата больше бьёт,
И чины тот достаёт, –*

пели они жалобно и сказывали сказку о том, как солдат душу чёрту продал, чтобы тот за него срок отслужил; начал было чёрт служить, но скоро так замучился, что от души отказался.

В последние дни Муравьев был сам не свой. Заметив это, Голицын спросил Бестужева, что с ним, и тот рассказал.

Фланговой первого батальона, старый солдат, испытанной храбрости, бывший во многих походах и сраженьях, Михаил Антифеев, начал совершать побег за побегом; а когда ротный командир после вынесенного им, Антифеевым, за новый побег жестокого истязания убеждал старика, вспоминая прежнюю службу его, не подвергать себя мучениям, – тот ответил, что, пока не накажут его кнутом и не сошлют в Сибирь, он не прекратит побегов. Случалось, что солдаты убивали первого встречного, даже детей, чтобы избавиться от службы. Антифеев добился своего: за то, что отлучился от полка, напился пьян и отнял у мужика два рубля серебром, – приговорён был к кнуту и каторге.

Муравьев хлопотал за него через генерал-майора, князя Сергея Волконского, члена тайного общества, имевшего большие связи, и просил полкового командира отложить наказание. Но командир написал донос в корпусной штаб и получил распоряжение исполнить приговор немедленно, а Муравьеву сделать строжайший выговор.

Казнь должна была происходить на военном поле, у Богуславской заставы, перед выстроенным полком. Накануне Бестужев послал тайно, через одного унтер-офицера, 25 рублей палачу, чтобы «легче бил».

Поутру, в день казни, Голицын занимался в кабинете у Муравьева, как часто делывал по приглашению хозяина; у Муравьева была хорошая библиотека. Сидя у окна, Голицын читал рукопись его на французском языке, философское исследование о пространстве и времени.

Голицын погружён был в глубины метафизики, когда подъехала к дому линейка с Муравьевым, Бестужевым и ещё несколькими офицерами Черниговского полка. На Муравьева лица не было. Ему помогли сойти с линейки и ввели в дом под руки. Голицын сначала думал, что он упал с лошади, расшибся или как-нибудь иначе ранен, и только впоследствии узнал всё от Бестужева.

Под кнутом палача Антифеев, пока был в сознании, молчал, пересиливая боль, но потом, в забытии, начал стонать и охать. Муравьев, всё время казавшийся спокойным, вдруг побледнел и упал без чувств. Произошло смятение. Несмотря на команды и угрозы Гебеля, стоявшие вблизи офицеры и солдаты, забыв дисциплину, бросились на помощь к любимому начальнику. Послышался ропот. Казалось, ещё минута – и вспыхнет бунт. Но Муравьев очнулся; его усадили в линейку и увезли. Кое-как порядок был восстановлен, и казнь продолжалась. Антифеев получил всё, что ему следовало.

Муравьев был болен. У него сделался сердечный припадок; он вообще страдал сердцем. Бестужев хотел послать за лекарем, но больной не позволил.

– Ничего, пустяки, всё прошло, – повторял он со стыдливой, как будто виноватой, улыбкой.

К вечеру стало ему легче. Он позвал к себе Голицына и Бестужева. Лежал на диване. Должно быть, был маленький жар; лицо было бледно, глаза горели. Вспомнилось Голицыну то странное подобие, которое пришло ему в голову при первом свидании с ним: в лютый мороз, на снежном поле, зелёная ветка с весенними листьями.

– Что вы сегодня читали, Голицын? – спросил Муравьев и начал разговор отвлеченнейший о пространстве и времени по Кантовой «Критике чистого разума»; мог говорить о таких метафизических предметах целыми часами, забывая всё на свете; но когда Бестужев вышел из комнаты, посмотрел на Голицына пристально и сказал: – Как глупо, Боже мой, как глупо! И срам-то какой! Хороши заговорщики: как барышни, в обморок падаем!

– Со всяким может случиться, – возразил Голицын, – кажется, и я бы не вынес.

– Да ведь мы же с вами бывали в сражениях, а там хуже.

– Нет, Муравьёв, там лучше.

– Да, пожалуй. А знаете что, Голицын? Это ведь у меня сделалось не от вида страданий, не от вопля истязуемого, а от чего-то другого. Когда тот, под кнутом, начал стонать, я взглянул на Гебеля... Случалось вам видеть во сне чёрта?

– Случалось.

– То есть не то что видишь, – продолжал Муравьёв, – а вдруг такая страшная тяжесть, и по этой тяжести знаешь, что это он. Ну, так вот и со мной давеча: когда тот начал стонать, я взглянул на Гебеля и вдруг почувствовал... Мы вот всё говорим об убийстве, а ничего не знаем о нём, как о пространстве и времени, то есть по-настоящему не знаем, что это такое. А ведь это тоже категория, как говорит Кант. «Не убий» – одна категория, а «убий» – другая. И можно перейти из одной в другую. Ну, вот я и перешёл. Понял вдруг, что можно убить. Всё думал, что нельзя, а тут понял, что можно. И не то что когда-нибудь потом, а вот сейчас, брошусь и тут же на месте.

Он привстал на постели, и лицо его исказилось ужасно; что-то в нём напоминало Голицыну жида Баруха, бесноватого.

– И вот ещё что, Голицын, – прошептал он задышающимся шёпотом, – я ведь непременно когда-нибудь убью его, убью как собаку!

– Серёжа, голубчик, не надо, ради Бога, не надо! – бросился к нему Бестужев, вбегая в комнату.

Начался новый припадок, но скоро прошёл. Ночью он уснул спокойно и к утру был почти здоров; только по просьбе Бестужева два дня не выходил из комнаты и соглашался иногда прилечь на постель.

Солдаты посещали его, особенно те, которых просветил Бестужев. Горбачевский, по обыкновению, смеялся над ними.

– Ну что, брат, в бане был? – спрашивал он Цыбуленку.

– Никак нет, ваше благородие!

– Куда же ты гривну девал, что получил намедни от господина подпоручика? Опять шинкарке снёс?

Тот молчал, потел, краснел, выпучивал глаза и переминался с ноги на ногу.

– Он, ваше благородье, свечку поставил Владычице и отцу Даниле на часточку подал за здоровье их высокоблагородья, – ответил за него Григорий Крайников, бойкий молодой солдат с весёлым и умным лицом.

– Правда, Цыбуленко? – спросил Муравьёв.

– Так точно, ваше благородье!

– Ну спасибо, голубчик. Поди же сюда.

Цыбуленко подошёл, и Муравьёв подал ему руку. Он ещё больше застыдился, но вдруг лицо его просветлело, как будто он понял что-то; неуклюжей, загорелой, заскорузлой мужичьей рукой взял женственно-тонкую бледную руку и крепко пожал. Отвернулся, сморщился, утёр глаза рукавом.

И все поняли. Не надо было говорить, – по лицам видно было, что «рады стараться до последней капли крови, рады умереть».

«Это пожатье двух рук – на веки веков: не сейчас, так потом опять соединятся они, и тогда, что надо сделать, сделают», – подумал Голицын.

Только теперь, во время болезни Муравьёва, понял он Бестужева.

– «Кто не азартует, тот не профитует», – как сказала мне одна полька, с которой мы играли в *цвик*, – любил повторять Бестужев. – Нам, заговорщикам, следует помнить это правило...

И сам он помнил его: много ли, мало ли, но всё, что имел, ставил на карту.

Когда старуха мать заболела и, уже при смерти, звала его к себе, он мучился, потому что любил её с нежностью, но, удержанный делами общества, так и не поехал к ней, и она умерла, не повидавшись с ним.

– Для приобретения свободы не нужно никаких сект, никаких правил, никакого принуждения, – нужен один восторг; восторг пигмея делает гигантом; он разрушает всё старое

и создаёт новое! – воскликнул он однажды, и Голицын почувствовал, что Бестужев весь – в этих словах.

Маленький, худенький, рыженький, огненный, напоминал он герб Франциска I – Саламандру в пламени с надписью: *горю и не сгораю*.

Понимал Голицын и то, откуда этот огонь.

– Муравьев и Бестужев – близнецы неразлучные, одна душа в двух телах, – говорили товарищи.

Бестужев, «пустой малый», сойдясь с Муравьевым, вдруг поумнел, расцвёл, преобразился, – откуда что взялось, как у влюблённой девушки.

В эти дни приехал в Васильков брат Сергея Муравьева, Матвей Иванович. Матвей участвовал в тайном обществе и долго был ревностным членом, но потом потерял веру в него и так мучился этим, что хотел покончить с собою.

Братья были похожи обратным сходством, как левая и правая рука, которые никогда не могут сойтись на одной плоскости. Бестужеву, который боялся и ненавидел Матвея Ивановича, казалось, что он – карикатура на брата, дьявольский двойник его, отражение в выпуклом зеркале, нелепо искажённое, раздавленное, расплющенное: что у того ввысь, то у этого вширь; один – весь лёгкий, тонкий, стройный, стремительный; другой – тяжёлый, широкий, ширококостный, приземистый.

Голицын слышал от Катруси сказку о Вии, подземном чудовище с железным лицом и длинными, до земли опущенными веками. «Матвей Иванович – Вий, Серёжин бес, бес тяжести, – вот чего боится Бестужев», – казалось иногда Голицыну.

– Я не могу их видеть вместе; он из него, как паук из мухи, кровь высасывает, – говорил Бестужев.

Что Матвей во многом прав, он понимал; но чем правее, тем ненавистнее.

Когда Сергей поникал, изнемогал под навалившейся Виевой тяжестью брата, а тот, казалось, весь оживлялся, веселился, шевелился, как паук, – Бестужев убил бы его тут же на месте.

Матвей Иванович пробыл в Василькове с неделю, и всё это время Сергей был болен.

Наконец Бестужев не выдержал и однажды, при Голицыне, спросил Матвея Ивановича в упор:

– Долго вы ещё здесь пробудете?

– Не знаю. Как поживётся, – ответил тот и, приподнимая свои сонно-тяжёлые Виевы веки, посмотрел на Бестужева пристально-злобно. Может быть, и ему казалось, что Бестужев – Серёжин бес, бес лёгкости.

– А что? – прибавил он с вызовом.

– А то, что ваше присутствие здесь мне кажется вредным.

– Кому? Не вам ли?

– Нет, не мне, а вашему брату.

– Да вы что, нянька его, что ли? – усмехнулся Матвей Иванович, пожал плечами и чуть-чуть побледнел. – По какому праву, сударь, становитесь вы между мной и братом?

– Не будем ссориться, Матвей Иванович, – возразил Бестужев. – Позвольте только дать вам совет: уезжайте поскорее.

– Позвольте ваш совет не принять. Я уеду, когда мне будет угодно.

– Не уедете?

– Убирайтесь к чёрту! – закричал Муравьев и не то что затрясся, а как-то зашевелился весь своим тяжёлым и подлым, на взгляд Бестужева, – «паучьим» шевеленьем.

– Не горячитесь, Муравьев, – произнёс Бестужев, тоже бледнея. – Уезжайте, когда вам угодно, а только ведь всё равно один конец. Помните, в Писании: «Что делаешь, делай скорее»?

Матвей Иванович помнил, что это сказано об Иуде Предателе. Он вдруг вскочил и схватил Бестужева за руку. Голицыну казалось, что они сейчас подерутся, и он уже встал, чтобы их разнять. Но вошёл Сергей. Лицо у него было такое больное, жалкое, что оба взглянули на него и опомнились. Закрыв лицо руками, Бестужев выбежал из комнаты.

На следующий день Матвей объявил, что завтра уезжает. В ночь перед отъездом у него был с братом последний разговор, нечаянно подслушанный Голицыным.

Голицын сидел так же, как намедни, один в кабинете Сергея. Матвей с братом ходили, разговаривая, взад и вперёд, всё по одной и той же дорожке сада, от крыльца к сажалке.

Ночь была тихая. Луна так ярко светила, что белые стены хат сияли почти ослепительно, больно для глаз; и всё затихло, замерло, как будто ожидая чего-то; только звёзды дрожали да верхушки тополей шелестели чуть слышным шелестом. И чем выше луна, тем ярче и ярче, тише и тише. И во всём – ожидание, напряжение, томление почти нестерпимое.

Сидя у окна, открытого в сад, Голицын то слышал, то не слышал разговор в саду, смотря по тому, приближались или удалялись голоса.

– Да, Серёжа, дело наше сверх сил, и времени, и всякого вероятия, – говорил Матвей Иванович. – Если бы уверяли меня сорок тысяч Пестелей, что произойдёт именно то, чего им хочется, я не поверил бы, потому что знаю, что эти вещи делаются в мире не как люди хотят, а как Бог велит...

Дальше Голицын не слышал, а потом опять:

– Ничего мы не сделаем, потому что и делать нечего... Да имеем ли мы право, наконец, ничтожная часть великого целого, налагать свой образ мыслей почти насильно на тех, кто, может быть, довольствуется настоящим и не ищет лучшего?

Присели у крыльца на завалинке, и теперь Голицыну не только слышно, но и видно было всё. Сергей слушал молча, опустив голову на руки в изнеможении, а Матвей Иванович весь оживлялся, шевелился, «как паук, сосущий кровь из мухи».

– И что мы можем обещать? – продолжил он. – Метафизические рассуждения о политике двадцатилетних прапорщиков, которые ведут разговоры вольные не для чего иного, как для выказки ума? И это будущие правители, решители судеб народных! Если бы я не знал, что одиночество способствует восторженности чувств, я счёл бы вас всех сумасшедшими. Никакая цель не оправдывает средств: кто дерзает на верное зло для неверного блага, тот злодей. Ничего из этого выйти не может, кроме гибели. И даже в случае успеха мы предали бы Россию бедствиям, о коих нельзя себе составить и понятия...

Сначала где-то вдали, а потом всё ближе и ближе послышалась грустная песня:

*Моя матинька, моя голубонька,
Як мени жити, як доживати?*

Голицын узнал Катрусин голос. Омелькина пасека было по соседству. Катруся часто заходила в сад к Сергею Ивановичу; он был с нею ласков; может быть, нравился ей, и она заигрывала с ним, невинно, нечаянно. Вот и теперь зашевелились тёмные кусты черёмухи, замелькала в них белая плахта, и на перелазе через плетень появилась высокая, стройная, как тополь, девушка в венке из маков и барвинка. В лунном свете виден был узор шитья на плахте и каждый лепесток в венке. Плетень скрипнул. Сергей Иванович оглянулся, увидел Катрусю, кивнул ей головой с улыбкой, и она тоже, улыбаясь ему, крикнула, загадала загадку русалочью:

– Полынь или петрушка?

– Петрушка! Петрушка! – ответил тот радостно.

– Ты моя душка! – засмеялась она, соскочила с плетня и нырнула из света в тень, как в чёрную воду русалка.

– Серёжа, ты меня не слушаешь? – произнёс голос Матвея Ивановича.

– Нет, слушаю, мой друг! Всё, что ты говоришь, правда, *почти* правда. Я иногда и сам так думаю...

Он хотел ещё что-то сказать, но брат не дал ему, опять заговорил уныло, упорно, мучительно, повторяя всё одно и тоже: «Погибнем, погибнем! Ничего не будет! Ничего не сделаем!»

– Мы жестоко ошиблись, – заключил он, – сунулись в воду, не спросясь броду: думали, что народ с нами; но не с нами народ, – я знаю, Серёжа, не спорь, я знаю, что это так! Вот, говорят, во время последнего проезда государева народ отовсюду сбегался к нему, становился на колени, бросался под колёса коляски его, так что приходилось останавливаться, чтобы не раздавить людей, – это республиканцев-то наших будущих! Да посмей мы только тронуть царя, – народ нас всех растерзает, как извергов, потому что любит его, верит в него, как в

Помазанника Божьего, как в Самого Бога!

Он замолчал, потом одной рукой обнял брата за шею, наклонился к нему, заглянул в лицо его и заговорил уже другим, детски-ласковым, вкрадчивым голосом:

– Помнишь, Серёжа, как в ту ночь, на Бородинском поле, лежали мы под одной шинелью, и молились, и плакали, и клялись умереть за отечество? Помнишь, потом, когда мы полюбили вместе Аннет, ты сказал мне однажды: «Я люблю её, но тебя ещё больше: ты друг души моей от колыбели». Разве я уже не друг тебе? Разве всё, что было, – не было? Серёжа, голубчик, ради Христа, ради покойной маменьки, послушай меня: не губи себя, не губи других. Хоть меня пожалей... не могу я больше... Гнусно, тошно, страшно, – не человеческого, Божьего суда страшно. Уйдём от них, уйдём, пока ещё не поздно...

Сергей долго молчал, опустив по-прежнему голову на руки в изнеможении.

– Что тебе сказать? – заговорил, наконец, и голос его звучал сперва глухо, как из-под страшной тяжести, но потом всё громче и громче, всё твёрже и твёрже. – Пусть так, как ты говоришь. Но если бы надо было всё начинать сызнова – я начал бы. Вот ты говоришь: народ любит царя, верит в него, как в Бога.....

Но ведь это гибель..... Не то, что народ тёмный, бедный, голодный, раб, а то, что он сделал человека Богом, – погибель России, погибель вечная!.....

– Чем же царь виноват? Ты сам говоришь: народ..... – начал было Матвей Иванович, но теперь уже Сергей не дал ему говорить.

– Нет! Народ не знал, что делает, а он знал. «Царство Божие на земле, как на небе», – это он сказал, а делал что? Благословенный, Спаситель России, Освободитель Европы, – что он сделал с Россией, что он сделал с Европой? Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы и не им ли потом она также жестоко удушена?..... Самое великое стало смешным, самое святое кощунственным..... Этого нельзя простить. Пусть прощает, кто может, – я не могу..... Да, да, молчи, знаю сам: «не убий». А вот убил бы, убил бы тут же на месте.....

Голицын не видел лица его, но по голосу угадывал, что оно ужасно, так же как намеренно, когда он говорил с ним о Гебеле; и всего ужаснее то, что, милое, доброе, детское, оно могло быть таким.

– Серёжа, Серёжа, что ты? Во Христа веруешь, а можешь так! – воскликнул Матвей Иванович.

Сергей, закрыв лицо руками, опустился на лавку в изнеможении, как будто опять раздавленный тою же, как давеча, страшной тяжестью.

Оба замолчали, потом заговорили шёпотом. Матвей Иванович плакал, а Сергей обнимал его, утешал, успокаивал с такой нежностью, что трудно было поверить, что это тот самый человек, который за минуту говорил об убийстве.

Была полночь; луна – в зените; свет ещё ярче, тишина ещё тише, и ожидание, напряжение, томление ещё нестерпимее.

И вдали опять, как давеча, послышалось:

*Моя матинька, моя голубонька,
Як мени жити, як доживати?*

Но печальная песнь оборвалась, и вдруг зазвенела – весёлая, буйная, звонкая, как русалочий смех:

*Та внадився журавель
До бабиних конопель...*

И всё на земле и на небе, как будто этого только ждало, – вдруг тоже запело, зазвенело, отозвалось смехом на смех, – весь яркий свет был звонкий смех.

– Ничего не будет! Ничего не сделаем! – плакал плачущий. «Будет! Будет! Сделаем!» – смеялось всё над плачущим.

И с такой радостью, как ещё никогда, повторил Голицын:
– Будет! Будет! Сделаем!

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Предстоящее свиданье с государем не давало покоя Голицыну. Получив наконец так долго жданный отпуск и уезжая из Петербурга, он был почти уверен, что свидания не будет. Но тотчас же по приезде Голицына в Киев генерал Витт, начальник южных поселений, вызвал его в корпусную квартиру, в Елисаветград, и объявил высочайшее повеление не отлучаться из Киевской губернии, не испросив на то разрешения губернатора, так как государь во всякую минуту может потребовать его к себе. «По всей вероятности, – прибавил Витт уже от себя, – свидание назначено будет во время осенней поездки императора на юг».

Если бы кто-нибудь сказал ему: «Для покушения на жизнь государя ваше свидание с ним случай единственный», – то он не знал бы, что ответить. «Пусть не я, а другой», – это не только сказать, но и подумать было стыдно, а между тем он чувствовал, что на государя рука у него не подымется: никогда не забудет он того взора, которым обменялись они над гробом Софьи; чувствовал, что тут неладно что-то, не решено окончательно, и как в последнюю минуту решится, ещё неизвестно.

Вскоре после ночной беседы Сергея Муравьёва с братом получена была в Василькове весть о доносе Шервуда и об открытии заговора. Муравьёв и Бестужев просили Голицына съездить в Тульчин, местечко Подольской губернии, где находилась главная квартира 2-й армии, чтобы предупредить двух директоров тамошней управы, Юшневского и Пестеля.

Голицын поехал в Тульчин. Пестеля там не застал, а Юшневский,²⁸¹ узнав о доносе, сказал:

– Это всё от генерала Витта идёт. Вы его знаете?

– Знаю.

– Ну что он, как?

– Претонкая бестия!

– Вот именно. Вы ведь с ним тоже приятели: всё лезет к нам в общество; в удостоверение своей искренности назвал уже нескольких шпионов: в том числе капитана Майбороду, который служит у Пестеля.

– Ради Бога, Юшневский, скажите ему, чтобы не сближался с Виттом: ведь это гибель!

– Да уж сколько раз говорил. Поезжайте сами к нему, Голицын, расскажите всё; может быть, вам больше поверит...

Голицын хотел ехать тотчас в местечко Линцы, где стоял Пестель, но Юшневский сообщил ему, что тот уехал в Бердичев, – обещал написать, чтобы скорей возвращался, и просил Голицына подождать в Тульчине.

Юшневский понравился Голицыну: в тонком, с тонкими чертами, лице – невозмутимое спокойствие, тихая ровность, тихая ласковость. Добродетельным республиканцем, древним стойком называли его товарищи. «Вот на кого положиться можно: за ним как за каменной стеною», – думалось Голицыну. Почти все остальные члены общества казались ему детьми; Юшневский – взрослым; и никогда ещё не чувствовал он так зрелости, взрослости самого дела.

Юшневский был любим всеми. В 30 лет – генерал-интендант 2-й армии; начальник штаба, генерал Киселёв, был ему приятелем; главнокомандующий, граф Витгенштейн, отличал его за деловитость и честность. Ему предстояла большая карьера.

Голицын остановился в доме Юшневского. Дом окружён был садом; перед окнами – свежие тополи, как занавески зелёные; в самые знойные дни свежо, уютно, успокоительно и, кажется, вся эта свежесть – от свежей, как ландыш, хозяйки, Марии Казимировны.

Всё, что нужно для счастья, было у Юшневского, – любовь, дружба, довольство, почести, – и он покидал всё это вольно и радостно.

²⁸¹ Юшневский Алексей Петрович (1786–1844) – генерал-интендант 2-й армии, директор Южного общества декабристов, осуждён по 1-му разряду к каторге.

– А знаете, Голицын, – сказал однажды после игры на скрипке (был хороший музыкант) с ещё не сошедшим с лица очарованием музыки, – я этому доносу рад: теперь уже, наверное, начнём, нельзя откладывать. Ведь всё равно умирать, – так лучше умереть с оружием в руках, чем изнывать в железах...

– А вы в успех верите? – спросил Голицын.

– По разуму, успеха быть не может, – возразил Юшневский, – но не всё в жизни по разуму делается. Говорят, на свете чудес не бывает, а 12-й год разве не чудо? То была не война, а восстание народное. Мы продолжаем то, что тогда началось; не нами началось, не нами кончится, а продолжать всё-таки надо...

«А ведь всё-таки надо начать», – вспомнились опять Голицыну слова Рылеева, и опять подумал он: «Да, здесь начнут».

В первый же день по приезде его Юшневский сообщил ему, что один из старейших членов общества, Михаил Сергеевич Лунин, желает повидаться с ним по какому-то важному делу.

Лет восемь назад, когда Голицын служил в Преображенском полку, встречался он с блестящим кавалергардским ротмистром Луниным. Много ходило слухов о безумной отваге его, кутежах, поединках и молодецких шалостях: то ночью с пьяной компанией переменял на Невском вывески над лавками; то бился об заклад, что проскачет верхом голый по петербургским улицам, и уверяли, будто бы выиграл; то прыгал с балкона третьего этажа, по приказанию какой-то прекрасной дамы. Но больше всего наделал шуму поединок его с Алексеем Орловым. Однажды за столом заметил кто-то шутя, что Орлов ни с кем ещё не дрался, Лунин предложил ему испытать это новое ощущение. От вызова, хотя бы шуточного, нельзя было отказаться по правилам чести. Когда противники сошлись, Лунин, стоя у барьера и сохраняя свою обычную весёлость, учил Орлова, как лучше стрелять. Тот бесился и дал промах. Лунин, выстрелив в воздух, предложил ему попытаться ещё раз и хладнокровно советовал целиться то выше, то ниже. Вторая пуля прострелила Лунину шляпу; он опять выстрелил в воздух и, продолжая смеяться, ручался за успех третьего выстрела. Но тут секунданты вступились и разняли их.

В удалстве Лунина было много ребяческого, но близко знавшие его уверяли, что он бесстрашием не хвастает. В походе 12-го года слезал с лошади, брал солдатское ружьё и становился в цепь застрельщиков, нарочно под самый огонь, для того, чтобы испытать наслаждение опасностью. А в мирное время, когда долго не было случая к тому, скучал, пил, злился, буянил и, наконец, уезжал в деревню, где ходил на волков с кинжалом или на медведя с рогатиной. Ходил и на зверя более страшного.

Однажды великий князь Константин Павлович отозвался так обидно об офицерах кавалергардского полка, в котором служил тогда Лунин, что все они подали в отставку. Государь был недоволен, и великий князь, в присутствии всего полка, извинился и выразил сожаление, что слова его показались обидными, прибавив, что если этого недостаточно, то он готов «дать сатисфакцию». Лунин, прищипорив лошадь, подскочил к нему, ударил по эфесу палаша и воскликнул: – *Trop d'honneur, votre altesse, pour refuser!* (Слишком много чести, чтоб отказаться, ваше высочество!)

В 12-м году служил он в ординарах у государя и сначала пользовался благоволением его, но потом впал в немилость за вольнодумные суждения о Бурбонской монархии. По возвращении гвардии в Петербург, будучи старшим ротмистром, ожидал производства в полковники; но производства в полку не было вовсе. Узнав, что это из-за него, сел на корабль в Кронштадте и уехал во Францию.

Поселился в Париже и провёл здесь несколько лет в нужде. Отец его был очень богат, но скуп и не в ладах с сыном. По смерти отца он получил наследство с доходом в 200 тысяч рублей. В Париже сошёлся с карбонарами и иезуитами, которые не могли простить русскому правительству своего изгнания из России.

– Такие люди, как вы, нам нужны, – говорили они Лунину, – вы должны быть мстителем за Рим.

Вернулся в Россию так же внезапно и без спроса, как уехал. Государь перевёл его тем же чином из гвардии в армию и отправил в Варшаву к цесаревичу.

Здесь Лунин отлично служил и приобрёл такое расположение великого князя, что сделался самым близким ему человеком.

– Я бы не решился спать с ним в одной комнате: зарежет, но на слово его можно положиться; человек благородный: я таких люблю, – говорил Константин Павлович.

А наедине происходили между ними беседы удивительные.

– Вы вполне принадлежите к вашей фамилии. *Vous etes bien de votre famille: tous les Romanoff sont revolutionnaires et niveleurs*,²⁸² – говорил ему Лунин.

– Спасибо, мой милый, ты так меня в якобинцы жалуешь? *Voila une reputation qui me manquait!*²⁸³

Вскоре по возвращении в Россию Лунин поступил в члены тайного общества и предложил выслать на царскосельскую дорогу «обречённый отряд» (*cohorte perdue*), – несколько человек в масках, чтобы убить государя. Пестель одобрял этот план, и он казался возможным всем, кто знал отвагу Лунина.

– Какое же у него дело ко мне? – спросил Голицын Юшневского.

– Не знаю, не говорит. Об одном прошу вас, Голицын: не обращайтесь внимания на странности его. Знаете, что он ответил государю, когда тот сказал ему: «Говорят, вы не совсем в своём уме, Лукин?» – «Ваше величество, о Колумбе говорили то же самое». Это шутка, но, кроме шуток, Лунин – человек ума огромного и силы духа беспредельной: что захочет, то и сможет. Такие люди нам нужны, – повторил Юшневский нечаянно слова святых отцов, иезуитов. – В последнее время охладел он к обществу; другим был занят: говорят, влюблён в какую-то польскую графиню, замужнюю женщину; духовники уговорили её уйти в монастырь, а его – вернуться в общество. И знаете, Голицын, вы сделали бы доброе дело, если бы помогли ему в этом.

Юшневский предложил пойти тотчас же к Лунину, и Голицын согласился.

Лунин жил в тульчинском предместье, Нестерварке. Тульчин – маленькое местечко, принадлежавшее графам Потоцким, – расположен был в котловине, у большого пруда-озера, образуемого медленными водами речки Сильницы, между степными холмами, последними отрогами Карпат, тянущимися от Днестра к Бугу. Кроме военных да чиновников, в городке почти не было русских: всё поляки, евреи, молдаване, армяне, греки и множество монахов католических. Вид военного лагеря в чужой стране: беленькие хатки, в зелени тополей, превращены в казармы; всюду артиллерийские обозы, палатки, ружья в козлах, коновязи и марширующие роты солдат; блеск штыков и тихий свет лампы перед Мадонною в каменной нише; бой барабана и звон колоколов на старинных костёлах и кляшторах.

Улицы немощёные; весной и осенью такая грязь, что люди и лошади тонут; а теперь, после долгой засухи, тучи пыли, взметаемые ветром, носились над городом, и солнце висело в них, как медный шар, без лучей, тускло-красное. Люди, истомлённые зноем, ходили, как сонные мухи; собаки бегали с высунутыми языками, и прохожие поглядывали на них с опаскою: бешеные собаки были казнью города.

Мимо базара, синагоги, костёла, дома главнокомандующего и великолепного, с мраморной колоннадой, дворца графа Потоцких вышли на плотину пруда, с тенистой аллеей вековых осокорей; на конце её шумела водяная мельница. За прудом начиналось предместье Нестерварк. Тут проходил почтовый шлях из Брацгсавы и Немирова. У самой дороги стоял деревянный домик, жидовская корчма Сруля Мошки, под вывеской: «Трактир Зелёный». На грязном дворе, с чумацкими возами, еврейскими балагулами и польскими бричками, молодцеватый гусар-денщик Гродненского полка чистил новый щёгольский английский дормез.

– Полковник дома? – спросил его Юшневский.

– Точно так, ваше превосходительство! Доложить прикажете?

– Нет, не надо.

²⁸² Вы подлинный представитель своей фамилии: все Романовы – революционеры и поборники равенства (фр.).

²⁸³ Только этой репутации мне ещё не хватало (фр.).

Поднимаясь по тёмной и вонючей лестнице, встретились они с католическим патером.

– Ксёндз Тибурций Павловский, духовник Лунина, – шепнул Юшневский Голицыну.

Такой же тёмной и вонючей галерейкой подошли к неплотно запертой двери и постучались в неё. Ответа не было. Приотворили дверь и заглянули в большую, почти пустую, вроде сарая, комнату. Остановились в недоумении: в соседней маленькой комнатке, вроде чулана, стоял на коленях перед аналоем с католическим распятием высокий человек, в длинном чёрном шлафроке, напоминавшем сутану, и громко читал молитвы по римскому требнику:

– Ave Maria, ave Maria, graciae plena, ora pro nobis...²⁸⁴

Половица скрипнула, молящийся обернулся и крикнул:

– Входите же!

– Не помешаем? – спросил Юшневский.

– С чего вы это взяли? Я так надоел Господу Богу своими молитвами, что он будет рад отдохнуть минутку, – ответил тот, усмехаясь.

– Князь Валерьян Михайлович Голицын, Михаил Сергеевич Лунин, – представил Юшневский.

– Наконец-то, князь! Мы вас ждём и не дождёмся, – проговорил Лунин, пожимая ему руку обеими руками, ласково, и, с усмешкою (усмешка не сходила с лица его) указывая на стул, продекламировал забавно-торжественным голосом, в подражание знаменитой трагической актрисе Рокур:

– Asseyez – vous, Neron, et prenez votre place...²⁸⁵ Нет, нет, на другой: у этого ножка сломана.

– Охота вам, Лунин, жить в этой дыре, – сказал Юшневский, оглядываясь.

– Не дыра, мой милый, а Трактир Зелёный. Да и чем плоха комната? Она напоминает мне мою молодость – мансарду в Париже, на улице Дю-Бак, у М-me Eugénie, где жили мы, шесть бедняков, голодных и счастливых, напевая песенку:

*И хижинка убога
С тобой мне будет рай.*

Я, впрочем, имею здесь всё, что нужно: уединение, спокойствие, чёрный хлеб, редьку и тюрю жидовскую, – рекомендую, кстати, блюдо превкусное...

– Плоть умерщвляет?

– Вот именно. Пощусь. Только постом достигается свобода духа, в этом господа отшельники правы.

– А где же вы спите? Тут и постели нет.

– Постель – предрассудок, мой милый. Сначала на диване спал, но там клопы заели, а теперь лежу вот на этом столе, как покойник; напоминает о смерти и для души полезно. Да, всё хорошо, только вот пауков множество: araignee du matin – chagrin.²⁸⁶

– Вы суеверны?

– Очень. Я давно убедился, что в неверии меньше логики и больше нелепости, чем в самой нелепой вере...

Что-то промелькнуло сквозь шутку не шуточное, но тотчас же скрылось.

– Господа, не угодно ли трубочки? Табак превосходный, прямо из Константинополя.

Благоуханное облако наполнило комнату.

– Жидовская тюря, а табак драгоценный – так-то вы плоть умерщвляет! – рассмеялся Юшневский.

²⁸⁴ Радуйся, Мария, радуйся, благодати полная, и молись за нас (лат.).

²⁸⁵ Присядьте же, Нерон, на стул (фр.).

²⁸⁶ Паук, увиденный поутру, – к несчастью (фр.).

– Грешен: не могу без трубочки! – рассмеялся и Луний простым, добрым смехом, удивившим Голицына: ему почему-то казалось, что Луний не может смеяться просто; он вообще не нравился ему, а между тем Голицын вглядывался в него с таким чувством, что, раз увидев, уже никогда не забудет.

Лет за сорок, но на вид почти юноша. Высокий, тонкий, строен, худ тою худобою жилистой, которая свойственна очень сильным и ловким людям, некомнатным. Голос резкий, пронзительный, тоже некомнатный. Небольшие карие глаза, немного исподлобья глядящие, зоркие, как у хороших стрелков и охотников.

От всегдашней усмешки – две морщинки около губ, как будто весёлые; а между бровями, чуть-чуть неровными, – левая выше правой, – две другие морщинки, на те, около губ, непохожие, внезапные, то неподвижность, как бы мёртвенность, такая же внезапная; а в слишком упорном взоре – что-то тяжёлое и вместе с тем ласковое, притягивающее. Голицын всё время чувствовал на себе этот взор и не мог от него отделаться: ему казалось, что если бы Луний глядел на него даже сзади, он тотчас обернулся бы.

Прохаживаясь по комнате и покуривая трубочку, Луний шутил, смеялся, болтал без умолку или напевал хриплым голосом:

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment .²⁸⁷

По поводу книжки французских стихов «Часы досугов Тульчинских», только что изданной в Москве и поднесённой Лунину автором, штаб-ротмистром князем Барятинским,²⁸⁸ зашла речь о стихах.

– Не люблю я стихов, – говорил Луний, – пленяют и лгут, мошенники. Мысли движутся в них, как солдаты на параде, а к войне не годятся: воюет и побеждает только проза; Наполеон писал и побеждал ею. А у нас, русских, как у всех народов младенческих, слишком много поэзии и мало прозы; мы все – поэты, и самовластие наше – дурного вкуса поэзия.

– А сами вы, Луний, никогда стихов не писали? – спросил Юшневский.

– Нет, Бог миловал, а прозой когда-то грешил: в Париже начал повесть о самозванце Лжедмитрии.

– По-русски?

– Ну что вы? Мы и сны-то видим по-французски.

Говорил умно, тонко, чуть-чуть старомодно-изысканно: такие беседы людям прошлого века нравились.

– Вот старичков моих, Корнеля да Мольера, люблю: стихи у них дельные, трезвые, почти та же проза. А романтиков нынешних, воля ваша, не понимаю. Может быть, из ума выжил от старости, что ли?

– Ну какой же вы старик, полноте кокетничать!

– Да я и в двадцать лет стариком себя чувствовал. Помните словцо Наполеона о русских: «Не созрели и уже сгнили». В нас во всех эта гниль «восемнадцатого века», как говорил Карамзин...

«Помается, юродствует. Знаем мы этих светских чудаков под лорда Байрона», – думал Голицын с досадою.

Послышался вечерний звон на башне соседнего монастыря. Луний отошёл к окну и забормотал молитвы.

Гости встали; хозяин их удерживал.

– Нет, пора. Князь, должно быть, с дороги устал, – возразил Юшневский. – А вот что, Луний, приходите-ка завтра ужинать, отдохните от вашего поста жидовского.

– Ох, не соблазняйте! У меня и то от Мошкиной редьки да кваса в животе революция. Ну

²⁸⁷ Радости любви мимолётны (фр.).

²⁸⁸ Барятинский Александр Петрович (1798–1844) – князь, адъютант командующего 2-й армией, осуждён как декабрист по 1-му разряду.

ладно, приду. На вашей душе грех, искунитель!

И уже серьёзно, пожимая на прощанье Голицыну руку опять обеими руками ласково, проговорил с тою, как будто сердечною, любезностью, по которой узнаются люди высшего света:

– А у меня к вам дело, князь. Я столько слышал о вас и так вас ждал, не из пустого любопытства, поверьте. Если бы вы могли мне уделить часок-другой...

– Когда прикажете?

– Ну хоть завтра, в семь часов вечера.

«Что ему от меня нужно?» – вернувшись домой, и ночью ложась, и утром вставая, и потом весь день думал Голицын, как будто продолжая чувствовать на себе его упорный, тяжёлый и ласковый взгляд.

К ужину собрались гости: штабс-ротмистр князь Барятинский, автор Тульчинских досугов, майор Лорер,²⁸⁹ поручик Бобрищев-Пушкин,²⁹⁰ поручик Басаргин и другие члены Тульчинской управы.

Пришёл и Лунин. Опять, как вчера, смеялся, шутил, болтал без умолку, и опять не понравился Голицыну: его утомлял и раздражал этот вечный смех, трескучий огонь мелких искр, похожих на те, что от сухих волос под гребнем сыплются. Когда говорил даже серьёзно, казалось, что смеётся над собеседником, над самим собою и над тем, что говорит.

– Вы ничего не пьёте, Барятинский, – заметил хозяин.

– А ещё сочинитель, – подхватил Лунин. – Разве не знаете, что атаман Платов сказал, когда ему Карамзина представили? «Очень рад, – говорит, – познакомиться, я всегда любил сочинителей: они все пьяницы».

– Доктора пить не велят, – извинился Барятинский, – вот разве воды с вином.

– «Кому воды, а мне водки!» – как на пожаре некто кричал, должно быть, тоже сочинитель, – подхватил опять Лунин.

Заговорили о политике.

– Общее благосостояние России... – начал кто-то по-французски на одном конце стола.

– А знаете, господа, – крикнул Лунин с другого конца, – как умный один человек переводил: *le bien etre general en Russie*?

– Ну как?

– «Хорошо быть генералом в России».

Шутил, а между шутками с видом серьёзнейшим доказывал Барятинскому, отъявленному безбожнику, истину католической веры; тот сердился, а Лунин донимал его с невозмутимой кротостью:

– Но, мой милый, вы слишком упрямы. Четверти часа достаточно, чтобы убедиться во всём...

И тут же – анекдот о вольтерьянце-помещике, думавшем, что Троица есть Бог Отец, Бог Сын и Матерь Божия: о ямщике, который, вольтерьянцев наслушавшись, на лошадей покрикивал: «Ой вы, Вольтеры мои!» – о графе Безбородке, глядевшем в лорнет на купальщиц и влюбившемся в одну из них, хотя лица её не видал (она стояла к нему спиною), но коса была чудесная, и что ж оказалось? о. протоиерей Воздвиженский.

После трёх бутылок лафита и двух клико Лунин признался, что хотя и пил «с воздержанием», так, чтобы на ногах держаться, как поэт Ермил Костров советует, но, должно быть, на Мошкином квасе отвык от вина; и, принимаясь за третью бутылку шампанского, затянул было пьяным голосом:

*Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,*

²⁸⁹ Лорер Николай Иванович (1795–1873) – майор Вятского пехотного полка, осуждён по 4-му разряду.

²⁹⁰ Бобрищев-Пушкин. – Имеется в виду Николай Сергеевич (1800–1871) или Павел Сергеевич (1802–1865). (Оба были поручиками квартирмейстерской части.)

*По бокалу осушали
И просили мудрость вон.*

Вдруг остановился, так же как вчера, прислушался к звону вечерних колоколов, встал из-за стола, пошатываясь, вышел в соседнюю комнату, вынул из кармана требник и зашептал молитвы.

– Обращаете нас в католичество, а сами вот что делаете, – поддразнил его Юшневский.

– А что?

– Нашли когда и где молиться!

Голицын тоже подошёл и прислушался.

– Э, мой милый, тут-то я и смиряюсь перед Богом, пьяненький, слабенький! – рассмеялся Лунин опять, как наемни, простым добрым смехом; и, помолчав, прибавил уже серьёзно: – Поверьте мне, люди только тогда и сносны, когда они в бессилии: человек всё может вынести, кроме силы. Бог творит из ничего: пока мы хотим и думаем быть чем-нибудь. Он в нас не начинал Своего дела. Гордыню разума сломить безумием веры, вот главное...

– Как же при таком смирении вы бунтуете?

– Бунт есть долг человека священнейший; смирение перед Богом – бунт против людей, – возразил Лунин всё так же серьёзно, вернулся к столу, и тут опять начались смешки да шуточки.

«Что значит этот вечный смех?» – думал Голицын. «Лунин глубоко таит в себе горечь своей смешной жизни», – сказал о нём как-то Юшневский. Это значит: смеётся, чтобы не быть смешным. А может быть, и от страха – чтобы успокоить, ободрить себя, как маленькие дети смеются в тёмной комнате. Чего же ему страшно? Ответа не было. Была загадка и в загадке – очарование.

На следующий день утром Лунин заходил опять к Юшневскому. На этот раз не болтал, не шутил, не смеялся; сказал два-три вежливых слова хозяйке, сел за рояль и начал играть сонату Бетховена; играл так, что все заслушались; лицо его было тихо и торжественно. Кончив играть, молча встал, попрощался и вышел.

Вечером Голицын отправился в трактир Зелёный. Лунин сидел на дворе, окружённый кучей жиденят, ребятишек хозяйских; показывал им книжку с картинками и угощал пряником. Ребятишки приставали к нему, называли тятенкой, теребили за серебряные тесьмы гусарского доломана, лезли на колени, вешались на шею, особенно одна маленькая замарашка, кудластая, рыжая, с хорошеньким личиком, должно быть, его любимица.

Увидев гостя, Лунин встал, стряхнул с себя жиденят и пошёл к нему навстречу.

– Извините, князь, что не могу вас принять, как следует: у моего почтенного Сруля Мошки по случаю какого-то праздника шука огромная, целый Левиафан, жарится, и такого чада напустили мне в комнату, что войти нельзя. Может быть, прогуляемся?

Вышли на дорогу, спустились к пруду, миновали плотину, дворец Потоцких и вошли в сад.

Сад был огромный, похожий на лес. В городе – пыль и зной, а здесь, в тени столетних грабов, буков и ясеней, – прохлада вечная; аллеи, как просеки, тихие лужайки, дремучие заводи с болотными травами и пугливыми взлётами утиных выводков.

Лунин расспрашивал спутника о делах тайного общества, о Васильковской управе, о Сергее Муравьёве и о его Катехизисе, но о своём собственном деле не заговаривал; казалось, хотел сказать что-то и не решался. Больше всех прочих неожиданностей удивила Голицына эта застенчивость.

– Вот, видите, как я отстал от общества, почти вышел из него, – заговорил он наконец, не глядя на Голицына. – А хотелось бы вернуться. Помогите мне...

– Буду рад, Лунин! Но чем я могу?

– А вот чем. Только пусть это между нами останется.

Помолчал, как будто собираясь с духом, и начал, всё так же не глядя на Голицына:

– Как вы полагаете, будет ли принято обществом содействие...

Посмотрел на него в упор и кончил решительно:

– Содействие святых отцов Иисусова ордена?

– Иезуитов?

– Да, иезуитов. А что? Удивляетесь, что умный человек говорит глупости? Погодите, не решайте сразу. Ваш ответ важен для меня, – важнее, чем вы, может быть, думаете. Скажите-ка сначала вот что: почему мы все говорим и не делаем?

– Не делаем чего?

– Главного, чем только и может начаться восстание.

– Вам лучше знать, Лунин! Вы один могли бы...

– Почему один? Почему не все? Не хотят? Или хотят и не могут? Не знаете? Ну так я вам скажу. На человека можно руку поднять, а на Бога нельзя. Вольнодумцы, безбожники, а как до дела дойдёт, – верят все, как отцы их верили, – все православные. А православие – схизма, от Христа отпадение, от церкви вселенской, католической. От Христа отпала Россия, от Царя Небесного, и земному царю поклонилась, земному богу – кесарю...

– Россия отпала, а Рим верен, что ли? – спросил Голицын.

– Верен, ежели слово Господа верно: «Ты еси Пётр – камень». Рим – свобода мира, на всех земных царей восстание вечное. Там, где кесарь Брутом убит, тираноубийство во имя Господне оправдано, знаете кем? Великим учителем Рима, Фомаю Аквинским. И в «*Dietatus papae*» Григория VII²⁹¹ сказано: «Первосвященник римский низлагает тиранов и освобождает от присяги подданных». Вот камень в праще Давидовой, который сразит Голиафа: имя же камня – Пётр...

– Неужели вы думаете, Лунин?..

– Погодите, погодите, не соглашаться успеете, дайте сказать до конца. Ну так вот: за судьбы мира борются сейчас две силы великие: грядущее восстание народное ещё небывалое, – всемирное войско рабочих, *le socialisme*... не знаю, как сказать по-русски. О Сен-Симоне²⁹² слышали?

– Кое-что слышал.

– Мы с ним в Париже виделись, – продолжал Лунин, – говорили о России, о тайном обществе, он тоже готов нам помочь и ждёт нашей помощи. Это – сила человеческая, а другая – божеская: непостижимая мысль, соединившая царство и священство в одном человеке: «Да будет един Царь на небеси и на земли – Иисус Христос», как в вашем же *Catechisme* сказано. А ведь это и наша мысль, Голицын, – мысль Рима...

– Нет, Лунин, мысль Рима не наша: наш царь Христос, а не папа.

– Не всё ли равно? Папа – церковь, а церковь – Христос... Ну потом, потом... Слушайте же: обе эти силы к нам идут, хотят соединиться в нас. И неужели не захотим? Неужели откажемся?..

Говорил ещё долго, объясняя свой, план: соединение церквей, и папа – вождь восстания русского, восстания всемирного, глава освобождённого человечества на пути к Царствию Божьему.

Голицын был так удивлён, что уже не пытался возражать, слушал молча и только иногда заглядывал в лицо его: уж не смеётся ли? Нет, лицо серьёзно, торжественно, как давеча, когда играл сонату Бетховена; глаза горят, как будто ледяная кора спадает с них и ядро обнажается огненное.

Вышли из сада и стали подыматься на один из холмов, обступавших город с запада. Дорога шла по дну размытой дождями балки. Красная глина оползней в лучах заката напоминала кровь; и раскиданные по небу красные тучки казались тоже кровавыми, как будто на небе совершилась какая-то казнь; а высокий чёрный латинский крест кальвария, посреди дороги, напоминал о том, что совершилась и на земле та же казнь.

За плетнём овчарки лаяли, загоняя на ночь овец в степные кошары. Пахло овечьим помётом, дымом кизяка и мятно-полынью свежестью трав.

Старый чабан-пастух окликнул путников, нагнулся через плетень и забормотал что-то

²⁹¹ Григорий VII Гильдебранд – римский папа в 1073–1085 гг., теоретик всемирной папской теократии.

²⁹² Сен-Симон, Клод-Анри де Рувруа (1760–1825) – граф, французский философ, социалист.

невнятное, смешивая слова русские, польские, молдавские и турецкие: все эти племена проходили когда-то по его родным холмам и оставили следы своих наречий в здешнем говоре. Кривым пастушьим посохом он указывал то на злую овчарку, заливавшуюся яростным лаем, то на дорогу, в ту сторону, куда они шли, как будто предостерегал их о какой-то опасности.

– Что он говорит? Не понимаете, Голицын?

– Не понимаю.

– Я тоже. Каким-то зверем пугает нас, что ли? Ну его к чёрту! Просто, подлец, на водку хочет.

Бросили ему несколько монет и пошли дальше. Но старик продолжал кричать им вслед, и в лице его, и в голосе была такая убедительность, что Голицыну вдруг стало страшно: в этом глухом овраге, в пустынной дороге и в красной глине, и в красном небе, и в чёрном кресте почудилось ему недоброе. «Не вернуться ли?» – подумал, но устыдился страха своего перед бесстрашным Луниным.

– Извините, Голицын, я так заговорился, что забыл всякую вежливость. Вы не устали?

– Нет, нисколько.

– Ну так пройдёте ещё немного. Я покажу вам место, откуда вид чудесный.

Поднялись на вершину холма, где возвышалась развалина сторожевой турецкой башни: турки когда-то владели Подолией. По крутым ступеням полуразрушенной лестницы взойшли на башню. С высоты открылась даль бесконечная; покатые, волнообразные степные холмы, уходившие до самого края неба, а там, на западе, в огненных тучах, видение исполинского города, как бы Сиона Грядущего.

Лунин молча глядел на закат.

– Не знаю, как вы, Голицын, а я люблю конец дня больше начала. Запад больше востока, – заговорил он опять, – «Свете тихий, святые славы... Придя на Запад солнца, увидя свет вечерний»... – как это поётся на всенощной? Когда-то с Востока был свет; ныне же последний свет вечерний – только с Запада. Кажется, моя Европа...

– Как это вы сказали, Лунин: *моя Европа*...

– А что?

– Разве не Россия – ваша?

– Да, и Россия... Ну так вот: у меня предчувствие, что Европа. – накануне благовестия нового, коим завершатся судьбы человечества, и что Россия, *моя Россия*, первая из всех народов примет это благовестие, первая скажет: да приидет царствие Твоё...

«Adveniat regnum tuum», – вспомнилась Голицыну молитва Чаадаева. «Чаадаев и Лунин, какие разные, какие схожие! – думалось ему. – Оба изменили России, но и в этой измене что-то навеки родное, единственно русское».

– Я верю, – говорил Лунин, и в лице его светилась, как отблеск угасающего запада, не то бесконечная грусть, не то надежда бесконечная, – не знаю, откуда во мне эта вера, но верю, что Бог спасёт Россию, а если и погибнет она, то гибель её будет спасением Европы, и зарево пожара, который испепелит Россию, – зарёй освобождения всемирного...

Закат потух, померкла степь, и разлилась по ней уже иная алость, тусклая, как в тёмной комнате свет сквозь красный занавес: то всходила в знойной дымке луна.

– Ну что же, Голицын, поняли?

– Понял.

– И не согласны?

– Нет. Вы на царя восстали, Лунин, а ведь ваш папа – тот же царь; из царства в папство – из огня да в полымя. Когда Наполеон с Пием VII²⁹³ из-за власти над церковью спорили, знаете, что сказал царь: «Я и сам папа!» Так не всё ли равно, папа – царь или царь – папа?

– Это как у Скаррона,²⁹⁴ что ли?

²⁹³ Пий (граф Кьярамонти) – папа римский в 1800–1823 гг. Вынужден был заключить с Наполеоном выгодный более для последнего конкордат и даже короновал его в 1804 г. в Париже. Однако после протестов папы против воцарения в Неаполе Жозефа Бонапарта Рим был занят французами, а папа арестован.

²⁹⁴ Скаррон, Поль (1610–1660) – французский писатель, поэт-сатирик.

*Don Pascal Zapata,
Ou Zapata Pascal: il n'importe guere,
Que Pascal soit devant ou qu'il soit derriere? 295 –*

вдруг засмеялся Лунин своим пронзительным хохотом.

– Вот именно, – согласился Голицын, – царь и папа – обратно-подобны, как две руки...

Лунин перестал смеяться так же внезапно, как начал.

– Чьи же это руки?

– Не того ли, – ответил Голицын, – о ком апостолу Петру сказано: *другой* перепояшет тебя и поведёт, куда не хочешь?

– Так уж не руки, а лапы?

– Да, может быть, и лапы, лапы Зверя...

– Лапа, папа, – в рифму выходит! – опять засмеялся Лунин тем же странным смехом и, помолчав, прибавил: – А если нет церкви ни у вас, ни у нас, то где же она? Или совсем нет?

– Может быть, *ещё* нет, – ответил Голицын.

– Ещё нет, а будет? – спросил опять Лунин.

Голицын молчал: говорить не хотелось; чувствовал, что он всё равно не поймёт.

– Ну а сейчас, сейчас-то как? – продолжал допытываться Лунин. – В пустоте, без точки опоры, на чём же строить, на землетрясенье, что ли? И вам не страшно, Голицын?

«Человек беспредельной силы духа», – вспомнились Голицыну слова Юшневского и слова самого Лунина: «Человек всё может вынести, кроме силы». Так вот чего ему страшно; вот почему от страха смеётся: чтобы успокоить, ободрить себя, как маленькие дети в тёмной комнате.

Возвращались по той же дороге. Спустились до половины холма, где возвышался кальварий, и дорога шла по дну оврага. Луна, уже не красная, а жёлтая, освещала степь.

Вдруг за плетнём послышался лай, крик, топот бегущих людей; сверкнул огонь, и грянул выстрел. С высоты холма по дороге неслось прямо на них что-то маленькое, чёрное, круглое, быстрое-быстрое, как ядро, из пушки летящее и постепенно растущее. Раздался ещё один выстрел. Стреляли, должно быть, в то чёрное, но не попадали.

– Что это? – спросил Голицын, вглядываясь в лунный сумрак.

– А пастух-то правду сказал, – проговорил Лунин. – На вас оружия нет, Голицын?

– Нет.

– На мне тоже. Вот что значит не по форме ходить... А ну-ка, лазать умеете? Давайте руку.

Схватил его за руку и потащил на обрыв к плетню. Голицын полез было, но рыхлая глина осыпалась; он оборвался и свалился назад на дорогу; очки его упали и разбились.

Лунин стоял уже наверху, у плетня, и мог бы перескочить, но, увидев Голицына одного на дороге, прыгнул к нему, оттолкнул его ко кресту кальвария и стал перед ним; обмотал левую руку плащом, выставил её вперёд, а правой поднял длинный острый кол, – из плетня его выдернул. Все его движения были точны, быстры, мгновенны и спокойны; только что-то играло в нём пьяное, как намердн, после третьей бутылки шампанского, или как, должно быть, тогда, когда он принял вызов цесаревича: «Слишком много чести, чтобы отказаться, ваше высочество!»

Теперь уже без очков видел Голицын то, что неслось на них: стоявшую дыбом шерсть, поджатый хвост, высунутый язык и тупую паучью морду с клубящейся пеною.

Зажмурил глаза, чтобы не видеть, и прижался спиной ко кресту; что произошло потом, – не помнил; только слышал вой, визг, рёв и, казалось, чувствовал на лице своём смрадное

²⁹⁵ Дон Паскаль Запата или наоборот,
И разница невелика, куда поставлен здесь Паскаль –
Назад или вперёд (фр.).

дыхание зверя.

Когда открыл глаза, люди толпились вокруг огромной издохшей собаки, с торчащим в горле колом. Пастухи восхищались отвагою Лунина.

– А славно, вы, молодцы, стреляете! – усмехнулся тот.

– Стреляем, пане добродию, не хуже других, да всем крещёным людям известно, что бешеного зверя надо бить пулею заговорённую; а кто настоящий заговор знает, – и палкою убьёт, как ваша милость.

Лунин попросил воды умыться. Пастухи повели их к перелазу через плетень и к степному загону-кошаре, где испуганные овцы толпились кучею, при свете костра, и вода журчала, стекая в водопойную колоду по жёлобу.

Лунин снял с руки плащ, прокушенный насквозь клыками зверя; снял также мундир, засучил рукав и осмотрел тщательно руку. У Голицына волосы на голове зашевелились от ужаса, а лицо Лунина было спокойно по-прежнему. На руке укусов не было. Бросил плащ в огонь, умылся, оделся, дал пастухам на водку, взял Голицына под руку и вышел с ним на дорогу.

– Испугались, князь?

– Испугался.

– Ну, ещё бы. Кажется, и я не меньше вашего.

– Этого не видно.

– Мало ли что не видно! Не верьте, мой милый, когда вам говорят, что есть на свете люди бесстрашные: страшно всем, только одни умеют побеждать страх, а другие не умеют. Победа над страхом и есть наслаждение опасностью, и кажется, нет ему равного: тут человек становится подобным Богу; подобие ложное, – но ничего не поделаешь: человек создан так, что всегда и во всём хочет быть Богом.

Голицын посмотрел на него внимательно: не хвастает ли? Нет, прост и спокоен; убивая и другого, более страшного Зверя, кажется, был бы так же прост и спокоен.

– На ловца и зверь бежит, – усмехнулся Лунин, как будто угадывая мысли его. – Мы только что о Звере, а он и тут как тут. Ну как же не быть суеверным? И заметьте, мы победили Зверя под знаменем креста латинского. На Зверя – Крест, не это ли наш *заговор* ?

Когда вернулись в корчму, Голицын хотел проститься, но Лунин попросил его зайти к нему. При тусклом свете сальной свечи огромная комната казалась ещё более сумрачною. На столе была постлана постель, и Голицын представил себе, как Лунин лежит на ней покойником. Чемоданы уложены: он уезжал на рассвете.

Усадив гостя, хозяин закурил трубку и начал, так же как намерен, ходить по комнате, взад и вперёд, напевая хриплым голосом:

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment.

– А знаете, Голицын, мне всё не верится, что сговориться нельзя. Мы ведь всё-таки в главном согласны?

– Согласны, но...

– Но две параллельные линии никогда не сойдутся, так, что ли?

– Или сойдутся в вечности, – возразил Голицын.

– Э, мой милый, далеко до вечности; лучше синица в руках, чем журавль в небе! – засмеялся Лунин.

Помолчал, остановился перед ним и заглянул ему в глаза пристально:

– Послушайте, Голицын, это моя последняя попытка вернуться в общество. Я знаю, что могу быть полезен: у меня – то, чего у вас нет, – точка опоры для рычага Архимедова, которым можно мир перевернуть. Ежели есть малейшая надежда сговориться, – я ваш, и что сказал, то сделаю: на Зверя – Крест. Решайте же. Только сейчас, сейчас, а не в вечности! Да или нет?

Почти мольба была в голосе его; та слабость сильных людей, которая иногда сильнее силы их.

– Нет, Лунин. Если бы я и пошёл с вами, никто не пойдёт...

– Ну что ж, на нет и суда нет. Не можем спастись вместе – будем погибать розно...

Прощайте, Голицын! Я еду далеко.

– В Варшаву?

– Может быть, и дальше. Пойшу на земле себе места, а не найду, то и под землёй люди живут.

– Как под землёю?

– Ну да, монахи Трапистского ордена, l'orde de la Trappe. знаете?

– Вы к ним?

– К ним, если деваться будет некуда.

– Не успеете, Лунин.

– Почему?

– У нас раньше начнётся. А ведь если начнётся, вы к нам пристанете?

– Пристану. В России жить нельзя, но умирать можно... Значит, не прощайте, а до свидания... Погодите, вот ещё последний вопрос, только уж очень, пожалуй, нескромный. Ну, всё равно, не захотите – не ответите. Или лучше так: я первый отвечу, а вы потом. Для меня главное в жизни – любовь, любовь к *Ней* ...

Обменялись быстрым взглядом, как сообщники, и Голицын понял, о ком он говорит.

– А для вас, Голицын, что?

– И для меня тоже.

– И к вольности любовь – через *Неё* ? – спросил Лунин.

– Да, через *Неё* .

Лунин молча стоял перед ним, как будто ждал чего-то.

И нелепая мысль промелькнула у Голицына: что, если опять, как давеча, он рассмеётся вдруг своим странным, жутким смехом? Гусарский подполковник и рыцарь Прекрасной Дамы, заговорщик и адъютант цесаревича, друг вольности и друг иезуитов, – да, тут поневоле будешь смеяться, чтобы не быть смешным.

– Как же вы не понимаете, Голицын, почему я ушёл к ним? – заговорил опять Лунин всё так же серьёзно и торжественно, – Ave Maria, gracie plena – эта молитва к *Ней* только у них. Чужбина стала мне родиной, потому что где любовь, там и родина. Я оставил веру отцов моих, я полюбил чужую больше родной, невесту – больше матери, как сказано: оставит человек отца своего и мать свою... Не понимаете? А если понимаете, если мы оба служим Одной, любим Одну, то почему же мы розно?..

Он смотрел на него своим тяжёлым, ласковым взором, и никогда ещё Голицын не чувствовал так очарование этого взора...

– Почему же не хотите вместе? Не Она ли сейчас зовёт вас, говорит вам через меня? А вы не хотите?..

– Не могу, – ответил Голицын, с бесконечным усилием побеждая очарование. – И не надо об этом, Лунин, не надо: ведь этого не скажешь, *а скажешь – и всё пропадёт* . – вспомнились ему слова Борисова.

Наступило опять молчание. И стало страшно. Так же, как тогда, в первое свидание с Муравьёвым, чувствовал Голицын, что она, Софья, – с ним; но почему же тогда было легко и радостно, а теперь тяжело и страшно?

Оба молчали.

– Может быть, вы и правы, – проговорил наконец Лунин. – Ну, до свидания, до свидания в вечности, мой друг. *Друг* ведь, так?

– Так, Лунин.

Голицын подал ему руку. Тот крепко пожал её и долго не отпускал, долго смотрел на него, как будто всё ещё надеясь. Под этим взглядом и вышел от него Голицын.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Извини, дорогой Юшневский, что не писал тебе из Бердичева. Знаешь, как я писать ленив, и оказии не было, – а по почте ненадёжно. Скажи Голицыну, что я рад видеть его, но о делах говорить не рад, потому что заранее знаю, что в разговорах

толку мало.

Ты спрашиваешь, что я поделяваю. Войсковые рапорты отписываю да занимаюсь шагистикой. Остепел от безлюдья, ибо кроме фрунтовиков да писцов никого и ничего не знаю. Устроил себе комнату, из которой почти не выхожу. Жизнь моя не забавна, она имеет сухость тяжкую. И здоровье не очень изрядно. Попроси доктора Вольфа хины прислать.

Спасибо Барятинскому за Досуги Тульчинские. Я наизусть затвердил посвящение:

*Sans doute il te souvient des tranquilles soirees,
Ou, par l'epanchement, nos limes resserees,
Trouvaient dans l'amitie tant de charmes nouveaux .²⁹⁶*

А насчёт моих «великих мыслей», кажется, лесть дружеская. Великие мысли рождают и дела великие. А наши где?

Будь счастлив, поцелуй от меня ручки – нашей милой разлучнице, Марии Казимировне, и не забудь твоего

Пестеля.

Линцы, 5 сентября 1824 года.

P.S. Рассуди хорошенько, стоит ли приезжать Голицыну. Дела не делать, а о деле говорить – воду в ступе толочь. Впрочем, как знаешь».

После этого письма Голицын колебался, ехать ли. Но Юшневский настоял, и он в тот же день отправился.

Местечко Линцы, стоянка Вятского полка, которым командовал Пестель, находилось верстах в шестидесяти от Тульчина, в Липовецком уезде Киевской губернии, почти на границе Подольской. Почтовая дорога шла на Брацлав, по долине Буга – на нижнюю Крапивну и на Жорнице, а отсюда – глухая просёлочная – по дремучему, на десятки вёрст тянущемуся, дубовому и сосновому лесу, недавнему приюту гайдамаков и разбойников. Лес доходил до самых Линцов, дальше была голая степь с ковылём да курганами.

Линцы – не то маленький городок, не то большое селение; на берегу многоводной, светлой и свежей Соби – хутора в уютной зелени, низенькие хатки под высокими очеретовыми²⁹⁷ крышами, ветхая церковка, синагога, костёл, гостинный двор с жидовскими лавчонками, штаб Вятского полка, полосатая гауптвахта, шлагбаум, а за ним голая степь: казалось, тут и свету конец. С полудня степь, с полуночи лес как будто нарочно заступили все дороги в это захолустье, людьми и Богом забытое.

Был ненастный вечер. Должно быть, прошла где-то далеко гроза, и как будто сразу кончилось лето, посвежело в воздухе, запахло осенью. Дождя не было, но порывистый, влажный ветер гнал по небу тёмные, быстрые тучи, такие низкие, что, казалось, клочья их за верхушки леса цепляются.

Наступали сумерки, когда ямщик подвёз Голицына к одноэтажному старому каменному дому – дворец князей Сангушко, владельцев местечка. Дом стоял необитаемый, окна заколочены, двор порос лопухом и крапивой. За домом – сад с большими деревьями. Их вершины угрюмо шумели, и чёрная воронья стая носилась над ним в ненастном небе со зловещим карканьем.

Пестель жил в одном из флигелей дома, уступленном ему княжеским управителем.

– Пожалуйста, пожалуйста, ваше сиятельство, – встретил Голицына, как старого знакомого,

²⁹⁶ Пусть напомнит тебе она тихие вечера,
Когда наши души, стиснутые ещё вчера,
Получили откровение и очарование в дружбе (фр.).

²⁹⁷ Очерет здесь: название тростника и камыша, распространённое на юге России.

денщик Пестеля, Савенко, хохол с добродушно-плутоватым лицом, и пошёл докладывать.

Кабинет – большая, мрачная комната, с двумя высокими окнами в сад; во всю стену, от потолка до полу – полки с книгами; письменный стол, заваленный бумагами; огромный камин-очаг с кирпичным навесом, какие бывают в старопольских усадьбах. Князь Сангушко, деда и прадеды, с почернелых полотен следили зловеще и пристально, как будто зрачки свои тихонько поворачивали за тем, кто смотрел на них. Пахло мышами и сыростью. В долгие осенние вечера, когда ветер воет в трубе, дождь стучит в окна и старые деревья сада шумят, – какая здесь, должно быть, тоска, какое одиночество. «Жизнь моя не забавна, она имеет сухость тяжкую», – вспомнилось Голицыну.

– Как доехали, князь? Не угодно ли умыться, почиститься? Вот ваша комната.

Хозяин провёл гостя в маленькую, за кабинетом, комнатку, спальню свою.

– Вы ведь у меня ночуете?

– Не знаю, право, Павел Иванович. Тороплюсь, хотел бы к ночи выехать.

– Ну что вы, помилуйте! Не отпущу ни за что. Хотите ужинать?

– Благодарю, я на последней станции ужинал.

– Ну так чай. Самовар, Савенко!

Старался быть любезным, но Голицын чувствовал, что приехал некстати.

Когда он вернулся в кабинет, почти стемнело. Пестель сидел, забившись в угол дивана, кутаясь в старую шинель, вместо шлафрока, скрестив руки, опустив голову и закрыв глаза, с таким неподвижным лицом, как будто спал. «А ведь на Наполеона похож: Наполеон под Ватерлоо, как говорит Бестужев», – подумалось Голицыну. Но если и было сходство, то не в чертах, а в этой каменной тяжести, сонности, неподвижности лица.

Денщик принёс лампу. Пестель взглянул на Голицына, как будто очнувшись. Только теперь, при свете, увидел тот, как он изменился, похудел и осунулся.

– Вам нездоровится, Пестель?

– Да, всё что-то знобит. Лихорадка, должно быть.

– А я вам хины привёз, доктор Вольф прислал.

– Ну вот спасибо. Давайте-ка, приму.

Налил воды в стакан, насыпал порошок и, прежде чем выпить, улыбнулся детски-беспомощно.

– Сразу?

– Да, сразу.

Выпил и поморщился.

– Экая гадость! Ну а теперь другую гадость, тоже сразу. Что новенького, князь?

Голицын рассказал ему о доносе Шервуда, о вероятном открытии заговора, о подозрениях на капитана Майбороду и генерала Витта.

Пестель слушал молча, уставившись на него исподлобья пристальным взглядом, с тою же окаменелою неподвижностью в лице. И казалось Голицыну, как некогда Рылееву, что собеседник не видит его, смотрит на лицо его, как на пустое место.

– Ну что ж, всё в порядке вещей, – проговорил Пестель, когда Голицын кончил. – Ждали, ждали и дождались. Вступая в заговор, думать, что не будет доносчиков, – ребячество. «Во всяком заговоре на двенадцать человек двенадцатый изменник», – говорил мне старик Пален, убийца императора Павла, а он в этих делах мастер.

– Что же вы намерены делать, Павел Иванович?

Пестель пожал плечами.

– Что делать? Кому быть повешенным, тот не утонет. Вот уже полгода я всякую минуту жду, что меня придут хватать, – и ничего, привык. Можно ко всему привыкнуть. А вам не скучно, Голицын?

– Что скучно?

– Да вот обо всём этом думать – о доносах, арестах, шпионах – «шпигонах», как говорит мой Савенко.

– Скучно, но как же быть? От этого зависит всё наше дело...

– А вы в наше дело верите?

– Что вы хотите сказать, Пестель?

– Ничего, пошутил, извините... Ну, будемте говорить серьёзно. Насчёт Майбороды вы, господа, ошибаетесь. Неужели вы думаете, что я его принял бы в общество, если бы не был уверен...

– А вы его приняли?

– Почти принял.

– Ради Бога, Павел Иванович, будьте осторожны...

– Не беспокойтесь, я людей знаю.

– Людей знаете и не видите, что это – негодяй отъявленный?

– Да, негодяй, – что ж из того? Негодяи-то нам, может быть, нужнее честных людей. Ведь это только на Страшном суде – овцы одесную, а козлища ошую; в сей же юдоли земной всё в куче, – не разберёшь; тот же человек сегодня негодяй, а завтра честный, или наоборот. Негодяи-то уж тем хороши, что знаешь, чего от них ждать, а от честных, подите-ка узнайте. «Кто из честных людей не достоин пощёчины?» – у Шекспира это, что ли? Я плохой христианин, но помню, что более радости на небесах об одном кающемся грешнике, нежели о девяносто девяти праведниках. Вот и генерал Витт тоже грешник и тоже кается; мы ему не верим... ну а если ошибаемся? 40 000 войска под командою, шутка сказать!

– Что вы говорите, Павел Иванович?

– А что? Не благородно? Ну ещё бы! Только о благородстве и думаем. От благородства погибаем. Какая уж тут политика! В политике нет благородного и подлого, а есть умное и глупое. И мы выбрали глупое: царя убить, революцию сделать в белых перчатках. Убить надо, но никто не хочет сам: перчатки мешают, – и все друг за друга хоронятся, ждут. А пока государь может быть спокоен, – даст Бог, нас всех переживёт. Так-то, Голицын: слово и дело не одно и то же; от суждений до совершений весьма далече. Люди говорят легко, а действуют, по мере опасности, если не для жизни, то для чести, для совести. Мы – люди храбрые, жизнью готовы жертвовать; да жизнью-то легко, а вот честью, совестью как? Кто хочет спасти душу свою, тот погубит её, – не о таких ли, как мы, это сказано?..

Он потупился, а когда опять поднял глаза, они засверкали злобным огнём.

– Вот вы всё предателей ищете, а главный-то предатель знаете кто? Я по ночам не сплю, думаю, думаю и вот до чего додумался: нам другого нет спасенья, как принести государю повинную. Он благородный, *почти* благородный человек, мы тоже *почти* благородные – отчего бы и не сговориться? Открыть ему всё и убедить, что лучший способ уничтожить революцию – дать России то, чего мы добиваемся. Вот поеду в Петербург и донесу... Ну, что скажете, Голицын? Подлость, а?

– Не подлость, а сумасшествие, – возразил Голицын.

– А у вас никогда этого сумасшествия не было? – спросил Пестель.

– Если и было, то прошло.

– Совсем прошло?

– Совсем.

– Жаль. А я думал – вместе. Вместе бы легче. На миру и смерть красна...

– Думали, что я считаю это подлостью и буду вместе с вами?

– Да, вот и поймали. Заврался, запутался, – усмехнулся Пестель и посмотрел на него с нескрываемым вызовом.

– Так о чём же вы-то с ним говорить будете?

– С кем?

– С государем. Ведь у вас свидание?

– Кто вам сказал?

– Слухом земля полнится. А вам не хотелось, чтоб я знал?

«Подозревает меня, испытывает, что ли?» – подумал Голицын с негодованием.

– Может быть, я и вправду с ума схожу, – продолжал Пестель, и усмешка его делалась всё более язвительной, – но у сумасшедших есть ведь тоже логика. Ну, так вот, по моей сумасшедшей логике, одно из двух: или уничтожить заговор, или уничтожить царя. Не хотите одного, значит, хотите другого? О другом-то мы с вами, кажется, были согласны, помните, у Рылеева?

– Помню.

– И теперь согласны?

Голицын молчал; сквозь негодование он чувствовал, что Пестель прав.

– Так как же, Голицын? Ваше свидание с государем в такую минуту, когда дело почти проиграно, вы сами понимаете?.. Или не хотите ответить?

– Не хочу. Это дело моей совести, Павел Иванович! Позвольте же мне одному быть в нём судьёю, – начал Голицын, бледнея, и не кончил.

Пестель смотрел на него молча, в упор. «Кто из честных людей не достоин пощёчины?» – вспомнилось Голицыну, и вся кровь прилила к лицу его, как от пощёчины. Пестель опять был прав, и в этой правоте – то неразрешимое, тёмное, страшное, о чём Голицын старался не думать все эти месяцы: «убить надо, но пусть не я, а другой».

У крыльца послышался колокольчик тройки. Голицын предчувствовал, что не придётся ему ночевать у Пестеля, и заказал лошадей на станции.

– Лошади поданы, ваше сиятельство, – доложил Савенко.

Голицын встал и покраснел: чувствовал, что отъезд его похож на бегство.

– До свиданья, Пестель!

– Куда вы?

– Еду.

Пестель тоже встал.

– Прошу вас, Голицын, останьтесь, – проговорил он вдруг изменившимся голосом, с тихой, странной улыбкой.

– Нет, Пестель, наш разговор бесполезен и тягостен. Вы были правы, что мне приезжать не следовало...

– Прошу вас, Голицын, останьтесь, – повторил Пестель всё тем же голосом, с тою же улыбкою.

Голицын взгляделся в неё и вдруг понял: что-то было в ней такое жалкое, что у него сердце упало.

– Если я обидел вас, простите, Голицын, ради Бога, не сердитесь на меня. Разве вы не видите, что я в таком положении, что на меня сердиться нельзя?

Что-то задрожало, задвигалось в неподвижном лице, как маска, готовая упасть.

– Лежачего не бьют, – прибавил он с усилием, опустил на диван и закрыл лицо руками.

Голицын с минуту подумал, вышел в переднюю, позвал денщика, велел сказать, чтоб лошадей откладывали, вернулся к Пестелю, сел рядом и положил ему руку на плечо.

– Я отвечу на ваш вопрос, Павел Иванович: я знаю, что надо делать, но не могу, и что это подлость – тоже знаю. Как видите, моё положение не лучше вашего...

Пестель посмотрел на него, как будто только теперь увидел лицо его.

– Прошу вас, Пестель, – продолжал Голицын, – ответьте и вы на мой вопрос. Зачем вы сказали мне давеча о вашем предательстве? Вы знали, что я не поверю. Зачем же? Или подозревали меня, испытывали?

– Нет, не вас, а себя испытывал...

– Ну и что же?

– Вы правы: я этого не сделаю. А как я дошёл до этого, хотите знать?

– Лучше не надо, Пестель! Потом когда-нибудь, а сейчас вам трудно.

– Думаете, стыдно? Нет, ничего. После того, что вы обо мне знаете, – мне уж стыдиться нечего...

Помолчал, подумал и начал:

– Помните, Гамлет говорит: «Совесть всех нас делает трусами». Я имею золотую шпагу за храбрость, но я трус, не перед смертью, а перед мыслью, перед совестью трус. Чтобы что-нибудь сделать, не надо слишком много думать. «Бледнеет румянец воли, когда мы начинаем размышлять» – это тоже Гамлет сказал, – я теперь всё Гамлета читаю. А я не могу не размышлять; люблю мысль без корысти, без пользы, без цели, мысль для мысли, чистую мысль. Я только в мысли и живу, а в жизни мёртв. Я не злодей и не герой, а обыкновенный человек, добрый, честный немец. Вот книжки читать люблю. Почитываю, пописываю; 12 лет писал Русскую Правду и мог писать ещё 12 лет. Как Архимед, делаю математические выкладки в осаённом городе; пропадай всё, только бы сошлись мои выкладки. Говорю, не думая: надо

царя убить. И как будто чувствую, что это так; как будто ненавижу его; а подумаю: за что ненавидеть? за что убивать? Обыкновенный человек, такой же, как все мы; средний человек в крайности. И ненависти нет, и воли нет. И так всегда со всеми чувствами. Никаких чувств, один ум; ум полон, а сердце – как пустой орех...

– Вы на себя клевете, Пестель: одно великое чувство есть у вас.

– Какое? Любовь к отечеству? Я и сам думал, что люблю. Но нет, не люблю. Да и что такое любовь? Полюбить – выйти из себя, войти в другого? Сделать так, чтобы я был не я? Фокус, что ли? Или вера? Чудо? По логике нельзя верить, нельзя любить: логика – дважды два четыре, а любовь – чудо, дважды два пять. В Евангелии: «любите, любите»... Ну а что же делать, если нет любви? Это как совет утопающему вытащить себя за волосы. Злая шутка. Хоть убей, не люблю. И чем больше стараюсь, тем меньше люблю... Нет, в самом деле, Голицын, что же делать, что делать, если нет любви? Молиться, что ли? Вы в Бога веруете?

– Верую.

– В какого? Что такое Бог? Говорят, Бог есть любовь. А у нас тут, в Линцах, наемни свинья двухлетней девочке голову отъела. Девочка невинна, и свинья тоже, а всё-таки Бог есть любовь? Мой друг Барятинский – плохой поэт, но он хорошо сказал, лучше Вольтера:

*En voyant de mal couvrir le monde entier,
Si Dieu meme existait il taudrait le nier.*²⁹⁸

Помните, я вам в Петербурге говорил, что умом знаю о Боге, а сердцем Его не хочу? И без Бога довольно мучений. Я видел под Лейпцигом предсмертные мучения раненых: мороз и сейчас продирает по коже, как вспомню. И ведь каждый-то из них знал, что волос с головы его не упадет без воли Отца Небесного... А по взятии Лейпцига нашёл я в одной аптеке яд, купил его и с тех пор всегда ношу при себе.

Отпер ящик в столе, вынул пузырёк и показал Голицыну.

– Вот свобода, кажется, большая, чем во всех республиках, – от всего, от всего, а главное – от себя свобода... Я говорил давеча: одно из двух – уничтожить заговор или уничтожить царя; но, может быть, есть и третье: уничтожить себя. Цицерон полагал в самоубийстве величие духа. И в Метропе у Вольтера,²⁹⁹ помните:

*Quand on a tout perdu, quand il n'y a plus d'espoir,
La vie est une honte et la mort un devoir.*³⁰⁰

Да, умереть с достоинством – последний долг... А вы и в бессмертье души, Голицын, верите?

– Верю.

– Я понимаю, что можно верить, но как желать бессмертия, не понимаю, – продолжал Пестель, – так устаёшь от жизни, что, кажется, мало вечности, чтобы отдохнуть. Это как ночлег, о котором думаешь, когда трясешься на почтовой телеге в знойный день: на простыни свежие лечь, протянуться, вздохнуть и уснуть...

Полузакрыв глаза, облокотился на стол, опустил голову и сжал её обеими руками.

– Что я хотел? Погодите-ка, что-то важное, да вот забыл, всё забываю. Должно быть, от жара мысли мешаются!.. Я двадцать лет молчал и вдруг заговорил. Я с вами говорю, Голицын, потому что вы слушать умеете. Слушать трудно, труднее, чем говорить, а вы умеете. Когда вы

²⁹⁸ Увидев столько зла, что в мире правит бал,
И мир отверг бы Бог, коль сам существовал (фр.).

²⁹⁹ «Метропа» – трагедия Вольтера, написанная в 1737 г. по сюжету, заимствованному у Еврипида.

³⁰⁰ Когда пропало всё; надежды нету боле,
То жизнь – позор и смерть – едина доля (фр.).

так в очки смотрите, то похожи на доктора или на доброго лютеранского пастора. Я ведь лютеранин. У меня был один учитель в Дрездене, господин фон Зейдель, добрый старый немец, гернгутер, большой мистик. Тоже в очках, немного на вас похож. Читал Апокалипсис и говорил, что понимает всё до точности. И Лютеров псалом пел: *Eine feste Burg ist unser Gott*.³⁰¹ Так хорошо пел, что нельзя было слушать без сл/з... А знаете, Голицын, когда жар и сидишь долго один, уставившись глазами в тёмный угол, то вс/ кажется, что там кто-то. Видишь, что нет никого, а кажется... Вот и теперь. Думаете, брежу? Нет... только не надо в угол смотреть... А вон там у меня, на столе, портрет: это Софи, сестра моя. Красавица, не правда ли?.. Я вам говорил, что никого не люблю. А её люблю. Но ведь это не та любовь. Христос говорит: «Кто мать Моя, кто братья Мои?» А кстати, Голицын, или некстати, ну, да всё равно, вы ведь в Тульчине с Луниным виделись?..

– Виделся.

– Рассказывал он вам, как умирающий отец его явился к нему в самую минуту смерти? Какой-то магнетизм, что ли? А может быть, и шарлатанство? Лунин верит насильно, сломал себя, чтобы верить, а вс/-таки не очень верит... Больные в жару видят то, чего нет. А по Канту, и здоровые: весь мир – то, чего нет, привидение... А хотел бы я увидеть хоть маленькое привиденьице. Если очень, очень желать, то, может быть, и увидишь... Э, чёрт, всё не о том... А не знаете ли, Голицын, что раньше написано: «Политика» или «Метафизика» Аристотеля? Кажется, надо бы раньше «Метафизику». *Eine feste Burg ist unser Gott*. У св. Августина политика – Град Божий. А у меня – Град без Бога. По *Русской Правде* . попы – те же чиновники. А ведь этого, пожалуй, мало?.. Я хоть и немец и лютеранин, а люблю православную службу, и ладан, и пение. Когда по Киевской лавре хожу, всё монахам завидую. О, *beata solitudo*, о, *sola beatitudo*!³⁰² После революции в лавру уйду и сделаюсь схимником. Кроме шуток, этим кончу... Только всё не о том, всё не о том...

Остановился, потёр лоб рукою, улыбнулся, поморщился детски-беспомощно, так же как давеча, когда глотал хину.

– Вам бы лечь, Пестель, вы больны, – сказал Голицын.

– Ничего, маленький жар. От этого мысли яснее, хотя и мешаются. Хотите чаю?.. Ах, да, наконец-то, вспомнил! Вы *Катехизис* Муравьёва знаете?

– Знаю.

– Странно. Муравьёв думает, что мы против царя со Христом, а царь думает, что он против нас со Христом. С кем же Христос? Или ни с кем? «Царство Моё не от мира сего». А как же Град Божий? Тут что-то неладно. Уж не лучше ли просто по-моему: попы – чиновники, политика – Град человеческий, – и дело с концом? Муравьёв, кажется, хочет свой Катехизис в народ пускать, всё о народе хлопочет, о малых сих. А народ ничего не поймёт. Да и что такое народ? Я полагаю, что он всегда будет тем, что хотят личности. Вы скажете: плохая демократия? Да, об этом говорить вслух не надо... А что вы думаете, Голицын, Муравьёв может убить?

– Думаю, может.

– Удивительно! Любит всех, любит врагов своих; кажется, мухи не обидит, а вот может убить. Убьёт, любя. Наполеон говорил: такому человеку, как я, плевать на жизнь миллиона людей. Это понятно и просто, слишком просто, почти глупо. Говорят, что я в Наполеоны лезу. Но я бы так не сказал, а если бы и сказал, не гордился бы этим. Но это понятно. А убивать, любя? Погубить душу свою, чтобы спасти её, – так, что ли?.. Вы по-немецки читаете?

– Читаю. Но, Пестель, зачем вы?..

– Нет нет, слушайте.

Он открыл лежавшую на столе большую, в кожаном переплёте с медными застёжками, ветхую Лютерову Библию.

– Я теперь всё Библию читаю – Шекспира да Библию. Говорят, кто Библию прочтёт, с ума

³⁰¹ Самая мощная крепость – наш Бог (нем.).

³⁰² О, блаженное уединение, о, единственное блаженство! (лат.).

сойдѣт. Может быть, я оттого и схожу с ума. Слушайте; «Можешь ли удою вытащить Левиафана? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсти его? Крепкие щиты его – великолепие; на шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Нет на земле подобного ему. Он царь над всеми сынами гордости». Левиафан был в Наполеоне, когда он говорил: «Мне плевать на жизнь миллиона людей». И в свинье, которая отъела девочке голову. И это верх путей Божьих? Да, можно с ума сойти! Английский философ Гоббс³⁰³ назвал государство своё Левиафаном, а св. Августин – Градом Божиим. А мой учитель, господин фон Зейдель, полагал, что Левиафан есть Зверь Апокалипсиса. Не разберёшь, где Бог, где зверь. Всё спутано, всё смешано... Это и значит – убивать с Богом, убивать любя... Так, что ли?

– Нет, Пестель, не так. Зачем вы смеётесь? Ну зачем, зачем вы мучаете себя?

– Я не смеюсь, Голицын, я только мучаюсь, или кто-то мучает меня, убивает, любя... Должно быть, я не понимаю тут чего-то главного... Муравьёв однажды сказал обо мне: «Есть вещи, которые можно понять лишь сердцем, но кои остаются вечною загадкою для самого пронизательного ума». Я ничего не понимаю сердцем, я сердцем глуп. А вот у Муравьёва сердце умное. Я мог его полюбить. Скажите ему это, когда увидите его. А ведь он не любит меня?..

– Не любит, потому что не знает, – возразил Голицын.

– А вы знаете?

– Знаю. Теперь знаю.

Голицын улыбнулся. Пестель – тоже, и от этой улыбки лицо его вдруг помолодело, похорошело, как будто мёртвая маска упала с живого лица, и он сделался похож на портрет шестнадцатилетней девочки, который стоял на столе.

– Вы сами себя не знаете. Пестель, – продолжал Голицын, – вы с Муравьёвым очень не похожи и очень похожи.

– И я мог бы убить, любя?

– Нет, не могли бы. Вы не другого, а себя убиваете. Но это всё равно. Вы тоже губите, уже почти погубили душу свою, чтобы спасти её... Слушайте.

Голицын взял Библию, открыл Евангелие от Иоанна и прочёл:

– «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час её; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но возрадуется сердце ваше»...

Пестель молчал и улыбался, но лицо его побледнело так, что Голицын боялся, что ему сделается дурно.

– Ну а теперь давайте спать, Павел Иванович! Мне завтра ехать рано.

Голицын позвал денщика и велел подавать лошадей на рассвете.

– Куда вы едете? – спросил Пестель.

– В Лещинский лагерь под Житомиром. Там сбор Васильковской Управы и Общества Соединённых славян.

– Зачем сбор?

– Решать, когда начинать.

– И вы думаете, начнут?

– Думаю.

– Как дважды два пять? – усмехнулся Пестель.

– Не знаю, – возразил Голицын. – Вы же сами говорите, что не надо слишком много думать, чтобы сделать.

– А если начнут, хотите быть вместе? – спросил Пестель.

– Хочу, – ответил Голицын.

– Скажите же им: пусть только начнут, а мы от них не отстанем, – сказал Пестель. – А из Лещинского лагеря приезжайте ко мне; мне хотелось бы ещё увидеться с вами.

– Постараюсь.

³⁰³ Гоббс, Томас (1599–1679) – английский философ.

- Нет, обещайте.
- Хорошо, Пестель, даю вам слово.
- Ну спасибо, за всё спасибо! Доброй ночи, Голицын!

Хозяин лёг на диван в кабинете, а гостю уступил свою постель. Как ни спорил тот, ни доказывал, что Пестелю, больному, нужнее покой, он настоял на своём.

В спальне на стене висела шпага, полученная им за храбрость под Бородином. Тут же стоял кованный сундук с большим замком. Голицыну казалось, что в этом сундуке – *Русская Правда*. Над изголовьем постели – распятие и другой маленький портрет Софи; здесь она была моложе, лет 12-ти; детское личико с пухлыми, как будто надутыми, губками, с большими чёрными, немного навывкате, как у Пестеля, глазами и с недетски тяжёлым взором. Под портретом подпись по-французски, ученическим почерком: «Моему дорогому Павлу – Село Васильевское, 13 июля 1819 года» На ночном столике – славянское Евангелие, тоже с надписью, подарок отца. Между страницами – сухие цветы, а на пожелтевшем от времени предзаглавном листе написано рукою Пестеля: «Сегодня, в день моего рождения, 2 мая 1824 года, Софи подарила мне крестик, а матушка – кольцо на память. Я с этими вещами никогда не расстанусь, и они будут со мною до последнего дыхания моего, как самое драгоценное, что я имею».

Из спальни была одна только дверь в кабинет. В пять часов утра денщик Савенко вошёл к Голицыну босыми ногами на цыпочках, принёс ему стакан чаю, разбудил, тихонько тронув за плечо, доложил шёпотом, что лошади поданы, и пока Голицын одевался, сообщил, что «их благородие, г. подполковник, разбудить себя велели, чтобы проститься с князем, да жаль: первую ночь изволят почивать хорошо»; сообщил также свои опасения о шпионах – «шпигонах» и о капитане Майбороде. Видно было, что он любит, жалеет барина.

Денщик вышел, чтобы уложить вещи в коляску. Голицын вошёл в кабинет, стараясь двигаться так же беззвучно, как Савенко. Пестель спал на диване. Проходя мимо, Голицын остановился и взглянул на лицо его. В тёмном свете утра оно казалось бледным мёртвенной бледностью; тонкие брови иногда сжимались, точно хмурились, как будто и во сне думал он упорно, мучительно.

Голицын наклонился и поцеловал его тихонько в лоб. Веки спящего дрогнули. Голицын боялся, что он проснётся; но нет, только улыбнулся, не открывая глаз, и от этой улыбки во сне – так же как наяву – лицо его помолодело, похорошело удивительно. Может быть, снилось ему, что Софья с ним.

И Голицын чувствовал, что его Софья тоже с ним.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лещинский лагерь находился в 15 верстах от большой почтовой дороги из Житомира в Бердичев, а 8-я артиллерийская бригада стояла в деревне Млинищах, в 3 верстах от Лещина. Квартиры были тесные: все крестьянские хаты битком набиты, так что большинство офицеров ютилось в палатках и балаганах, лёгких лагерных строениях, заменявших палатки.

В одном из таких балаганов лежали на койках два молоденьких артиллерийских подпоручика 8-й бригады, Саша Фролов,³⁰⁴ мальчик лет 19-ти, и Миша Черноглазов, немного постарше. Лёжа на спине, высоко закинув ногу на ногу и покуривая трубку-султанку, Миша напевал неестественно хриплым голосом:

*Я люблю кровавый бой,
Я рождён для службы царской.*

Балаган, построенный на живую нитку из прутника, обмазанного глиною, имел вид чердака; на земляном полу теснились койки; окон не было, свет проникал сквозь дверцу. Теперь она была закрыта, и в балагане – темно; один только солнечный луч падал сквозь щель в

³⁰⁴ Фролов Александр Филиппович (1805–1855) – подпоручик Пензенского пехотного полка.

крыше, над Сашиной койкой, и рисовал на стене маленькую живую картинку, опрокинутую, как в камере-обскуре; внизу – голубое небо с круглыми белыми облаками, а вверх – жёлтое жнивье, зелёные деревья, ветряные мельницы, белые палатки и марширующие вверх ногами солдатики; иногда картинка мутнела, расплывалась, а потом опять становилась яркою, и в темноте распространялся от неё полусвет радужный. Саша любовался ею. «Хорошо бы, – думал он, – если бы и вправду всё было так, вверх ногами. Страшно и весело»...

– Пойдём-ка к Славянам, Саша, – сказал Черноглазов. Если бы он сказал «пойдём к цыганам» или «к мадамкам», Саша понял бы; но что такое Славяне, не знал, а показать не хотел: стыдился не знать того, что знают все и что нужно знать, чтоб быть молодцом.

– Нет, Миша, сегодня у капитана Пыхачёва банк; отыгаться надо: намерни, после второй талии, поставил я мирандом, сыграл на руте и всё продул, – ответил он с напускною небрежностью и начал напевать, закинув ногу на ногу, точно так же, как Черноглазов, – подражал ему во всём:

*Напьюсь сви́нья сви́нью,
Пропью погоны с кошельком.*

– Пыхачёва дома не будет: он у Славян.

– Ну, так в Житомир, в театр, там одна в хоре есть недурненькая...

Саше вспомнились афишки, которые разбрасывали по городу развуженные цирковые наездницы: «В семь часов вечера будут пантомимы, игры гимнастические и балансёры». Театр или цирк – длинный дощатый сарай, освещаемый вонючими плошками, с деревянными скамьями вместо кресел и четырьмя жидями, игравшими на скрипках и цимбалах, вместо оркестра. Но господа офицеры охотно посещали театр, потому что там можно было встретить смазливых уездных панночек.

– Ну его к чёрту! Пойдём лучше к Славянам, – возразил Черноглазов.

– Какие Славяне? – спросил, наконец, Саша, не выдержав.

– Разве не знаешь? Об этом знают все. Только это большой секрет...

– Как же так? Секрет, а знают все?..

– Ну да, от начальства секрет, а товарищи знают. Славяне – это заговорщики...

Саша приподнялся на одном локте, и от любопытства глаза его сделались круглыми.

– Заговорщики? Фармазоны, что ли?

– Не фармазоны, а тайное общество благонамеренных людей, поклявшихся улучшить жребий своего отечества, – произнёс Миша как по писаному и умолк таинственно.

– Да ну? Врёшь?

– Зачем врать? Пойдём, увидишь сам.

– Разве можно так? Меня никто не знает.

– Ничего, представлю. Все наши там. Уж давно бы нужно и тебе по товариществу. Или боишься? Да, брат, за это может влететь. Мамахен-папахен что скажут? Ну, если боишься, не надо, Бог с тобою.

Саша покраснел, и слёзы обиды заблестели на глазах его.

– Что ты, Миша, как тебе не стыдно? Разве я когда-нибудь отказывался от товарищества? Пойдём, разумеется, пойдём!

Собрание Славян и Южного общества назначено было в 7 часов вечера на квартире артиллерийского подпоручика Андреевича 2-го.³⁰⁵ Место уединённое: хата на самом краю села, на высоком обрыве, над речкою Гуйвою, в сосновом лесу. Тут было заброшенное униатское кладбище с ветхою каплицею. Хозяин, дьячок, отдав хату внаём, сам перешёл жить в баню на огороде, так что никого постороннего не было в хате; даже денщика своего Андреевич услал в Житомир. Приезжавшие верхом из Лещинского лагеря заговорщики оставляли лошадей на селе и шли по лесу пешком, в одиночку, чтобы не внушать подозрений.

Всё приняло новый заговорщицкий вид, когда Саша с Мишей подходили к хате

³⁰⁵ Андреевич 2-й, Яков Максимович (1800–1840) – подпоручик 8-й артиллерийской бригады.

Андреевича. В темноте душного вечера, в предгрозном молчании неба и земли, проносилось иногда дуновение, слабое, как вздох, и верхушки сосен шушукали таинственно, а потом всё вдруг опять затихало ещё таинственней.

Когда они вошли в хату, знакомые лица товарищей показались Саше незнакомыми. «Так вот какие бывают заговорщики», – подумал он. И тусклые сальные свечи на длинном столе мерцали зловещим светом, и белые стены как будто говорили: будьте осторожны, и у стен есть уши; и в тёмных окнах зарницы мигали, подмигивали, как будто заговорщики небесные делали знаки земным.

Заседание ещё не началось. Черноглазов представил Сашу Петру Ивановичу Борисову, Горбачевскому и майору Пензенского пехотного полка Спиридову, только что избранному посреднику Славян и Южных.

– Милости просим, – сказал Горбачевский. – В какое же общество угодно вам поступить, к нам или в Южное?

Саша не знал, что ответить.

– В Южное, – решил за него Черноглазов.

– Вот прочтите, ознакомьтесь с целями общества, – подал ему Горбачевский тоненькую тетрадку в синей обложке, мелко исписанную чётким писарским почерком: *Государственный Завет*. краткое извлечение из Пестелевой *Русской Правды* для вновь поступающих в общество.

Саша сел за стол и стал читать, но плохо понимал, и было скучно. Никогда не думал о политике; не знал хорошенько, что значит конституция, революция, республика. Но понял, когда прочёл: «Цель общества – введение в России республиканского образа правления посредством военной революции с истреблением особ царствующего дома». – «Да, за это может влететь», – подумал, и стало вдруг весело – страшно и весело.

Притворяясь, что читает, – прислушивался, приглядывался. Много начальства: ротные, бригадные, батальонные, полковые командиры. От одного взгляда их во фронте зависела Сашина участь; каждый из них мог на него накричать, оборвать, распечь, отдать под суд: мог там, а здесь не мог; здесь все равны, как будто уже наступила республика; здесь всё по-другому: старшие сделались младшими, младшие – старшими; всё по-другому, по-новому, – в обратном виде, как в той маленькой живой картинке, которую солнечный луч рисовал на стене балагана: земля вверх, небо вниз. Голова кружится, но как хорошо, как страшно и весело! Не жаль, что отказался от карт и пантомим с балансёрами.

– Ну, пойдём водку пить, – позвал его Черноглазов.

Подошли к столику с закусками.

– Все благородно мыслящие люди решили свергнуть с себя иго самовластия. Довольно уже страдали, стыдно терпеть унижение, – говорил начальнически-жирным басом полковник Ахтырского гусарского полка Артамон Захарович Муравьёв,³⁰⁶ апоплексического вида толстяк, заедая рюмку водки селёдкой. Называл всех главных сановников, прибавляя через каждые два-три имени: – Протоканалы!

И жирный бас хрипел, жирный кадык трясся, толстая шея наливалась кровью, точно так же, как перед фронтом, когда он, бывало, на гусар своих покрикивал: «Седьмой взвод, протоканалы! Спачка на вас напала? Ну смотри, как бы я вас не разбудил!»

Бранил всех, а пуще всех государя. Вдруг сказал о нём такое, что у Саши дух захватило, и вспомнилось ему, как тот же Артамон Захарович намерен, на балу у пана Поляновского, хвастая любовью русских к царю и отечеству повторил слова свои, сказанные будто бы перед Бородинским боем: «Когда меня убьют, велите вскрыть мою грудь и увидите на сердце отпечаток двуглавого орла с шифром. А.П.» (Александр Павлович). А теперь вот что! Это, впрочем, Сашу не удивило, как не удивляло то, что в обратном ландшафте люди ходят вверх ногами.

– Веденяпочка, моя лапочка, налей-ка мне перцовочки, – попросил Артамон Захарович

³⁰⁶ Муравьёв Артамон Захарович (1794–1846) – полковник, член Союза Благоденствия и Южного общества, осуждён по 1-му разряду, отбыл 13 лет каторги, умер на поселении.

подпоручика Веденяпина,³⁰⁷ с которым только что познакомился и был уже на «ты».

Выпил, крикнул, закусил солёным рыжиком и перешёл нечувствительно от политики к женщинам:

– Намедни панна Ядвига Сигизмундовна сказывала: в Париже, говорит, изобрели какие-то прозрачные сорочки: как наденешь на себя да осмотришься, так всё насквозь и виднёхонько...

И, рассказав непристойный анекдот по этому поводу, засмеялся так, что, казалось, тяжёлая телега загрохотала по булыжнику.

Черноглазов представил Сашу Артамону Захаровичу, и тот через пять минут был с ним тоже на «ты», похлопывал по плечу и угощал водкою.

– Какой ты молоденький, а жизни своей не жалеешь за благо отечества! Эх, молодёжь, молодёжь, люблю, право! Выпьем, Сашенька...

И полез целоваться. От него пахло водкою, селёдкою и оделавандом, которым он обильно душился; на руках – грязные ногти и перстни с камнями, как будто фальшивыми; и во всей его наружности что-то фальшивое. Но Саше казалось, что таким и следует быть заговорщику.

– Ужасно мне эта жирная скотина не нравится, – произнёс чей – то голос так громко, что Саша обернулся, а Артамон Захарович не слышал или сделал вид, что не слышит.

Поручик Черниговского полка, член Южного общества Кузьмин Анастасий Дмитриевич, или, по-солдатски, Настасей Митрич, или ещё проще – «Настасьюшка», весь был жёсткий, шершавый, щетинистый, взъерошенный, жёсткие чёрные волосы копною, усы торчком, баки растрёпаны, как будто сильный ветер поддувает сзади; чёрные глаза раскосые, как будто свирепые, – настоящий «разбойничек муромский», как тоже называли его товарищи, а улыбка добрая, и в этой улыбке – «Настасьюшка».

Рядом с Кузьминым стоял молодой человек, стройный, тонкий, с бледным красивым лицом, напоминавшим лорда Байрона, подпоручик того же полка, Мазалевский.³⁰⁸

Когда Артамон Захарович сделал вид, что не слышит, и опять заговорил о политике, Кузьмин покосился на него свирепо и произнёс ещё громче:

– Фанфаронишка!

– Ну полно, Настасей Митрич, – унимал его Мазалевский и гладил по голове, как сердитого пса. – Экий ты у меня дикобраз какой! Ну чего ты на людей кидаешься, разбойничек муромский?

– Отстань, Мазилка! Терпеть не могу фанфаронишек...

– А знаете, господа, Настасьюшка-то наша человека едва не убила, – начал Мазалевский рассказывать, видимо, нарочно, чтобы отвлечь внимание и предупредить ссору.

Дело было так. Вообразив, что не сегодня завтра – восстание, Кузьмин собрал свою роту и открыл ей цель заговора. Солдаты, преданные ему, поклялись идти за ним куда угодно; тогда, явившись на собрание общества, он объявил, что рота его готова и ожидает только приказания идти. «Когда же назначено восстание?» – спрашивал он. «Этого никто не знает, ты напрасно спешишь», – отвечали ему. «Жаль, а я думал скорее начать: пустые толки ни к чему не ведут. Впрочем, мои ребята молчать умеют, а вот юнкер Богуславский как бы не выдал: я послал его в Житомир предупредить наших о революции». – «Что ты наделал! – закричали все. – Богуславский дурак и болтун: всё пересказывает дяде своему, начальнику артиллерии 3-го корпуса. Мы погибли!» – «Ну что ж, разве поправить нельзя? Завтра же вы найдёте его мёртвым в постели!» – объявил Кузьмин, взял шляпу и выбежал из комнаты. Все – за ним; догнали, схватили и кое-как уломали не лишать жизни глупца, которого легко уверить, что всё это шутка.

– И убью! Пикни он только, убью! – проворчал Кузьмин, когда Мазалевский кончил рассказ.

³⁰⁷ Веденяпин Аполлон Васильевич (1801 – после 1858) – подпоручик, осуждён по 8-му разряду по делу о декабристах (к ссылке).

³⁰⁸ Мазалевский (Мозалевский) Александр Евтихievич (1803–1851) – прапорщик Черниговского полка, после восстания приговорён к смертной казни, заменённой затем каторгой.

– Никого ты не убьёшь, Настасьюшка, ведь ты у меня добрая...

– Ну вас к чёрту! – продолжал Кузьмин в ярости. – Если не решат и сегодня, когда восстание, возьму свою роту и пойду один...

– Куда ты пойдёшь?

– В Петербург, в Москву, к чёртовой матке, а больше я ждать не могу!

Саша слушал, глядел, и сердце замирало в нём так, как в детстве, когда он катился стремглав на салазках с ледяной горы или когда снилось ему, что можно шалить, ломать вещи, бить стёкла и ничего не бояться – всё безнаказанно, всё позволено.

– А откуда, господа, мы денег возьмём, чтобы войска продовольствовать? – спрашивал полковник Василий Карлович Тизенгаузен,³⁰⁹ щеголеватый, белобрысый немец, с такоювечною брезгливостью в лице, как от дурного запаха.

– Можно взять из полкового казначейства, – предложил кто – то.

– А погреба графини Браницкой на что? – крикнул Артамон Захарович. – Вот где поживиться: 50 миллионов золотом, шутка сказать!

– Благородный совет, – поморщился Тизенгаузен с брезгливостью, – начать грабежом и разбоем, хорош будет конец. Нет, господа, это не моё дело: я до чужих денег не прикоснусь...

– Да уж знаем небось: немцы – честный народ, – проворчал опять Кузьмин.

– Да, клянусь честью, – продолжал Василий Карлович, – лучше последнюю рубашку с тела сниму, жёнины юбки продам...

– Люди жизнью жертвуют, а он жёниной юбкой!

Тизенгаузен услышал и обиделся.

– Позвольте вам заметить, господин поручик, что ваше замечание неприлично...

– Что же делать, господин подполковник, мы здесь не во фронте, и мне на ваши цирлих-манирлих плевать! А если вам угодно сатисфакцию...

– Да ну же, полно, Митрич...

Их обступили и кое-как разняли. Но тотчас началась новая ссора. Речь зашла о том, как готовить нижних чинов к восстанию.

– Этих дураков недолго готовить, – возразил капитан Пыхачёв, командир 5-й конной роты. – Выкачу бочку вина, вызову песенников вперёд и крикну: «Ребята, за мной!»

– А я прикажу дать им сала в кашницу, и пойдут куда угодно. Я русского солдата знаю, – усмехнулся Тизенгаузен с брезгливостью.

– Да я бы свой полк, если бы он за мной не пошёл, погнал палками! – загрохотал Артамон Захарыч, как тяжёлая телега по булыжнику.

– Освободить народ палкой – хороша демократия, – воскликнул Горбачевский. – Срам, господа, срам!

– Барчуки, аристократишки! – прошипел, бледнея от злобы, поручик Сухинов³¹⁰ с таким выражением в болезненно-жёлчном лице, как будто ему на мозоль наступили. – Вот мы с кем соединяемся, – теперь, господа, видите...

И опять, как некогда в Василькове, почувствовали все неодолимую черту, разделяющую два общества, в самом слиянии неслиянных, как масло и вода.

– Чего же мы ждём? – спросил Сухинов. – Назначено в восемь, а теперь уже десятый.

– Сергей Муравьёв и Бестужев должны приехать, – ответил Спиридов.

– Семеро одного не ждут, – возразил Сухинов.

– Что же делать? Нельзя без них.

– Ну, так разойдёмся, и конец!

³⁰⁹ Тизенгаузен Василий Карлович (1781–1857) – полковник Полтавского пехотного полка, декабрист, осуждённый по 7-му разряду (2 года каторги и затем поселение).

³¹⁰ Сухинов (Суханов) Иван Иванович (1797–1828) – поручик Черниговского полка, декабрист, после разгрома восстания бежал, но затем добровольно сдался в Кишинёве властям, «дабы разделить участь с товарищами». Отбывая наказание в Зерентуйском руднике, стал там главой заговора с целью освобождения. После жестокого следствия покончил с собой.

– Как же разойтись, ничего не решив? И стоит ли из-за такой малости?

– Честь, сударь, не малость! Кому угодно лакейскую роль играть, пусть играет, а я не желаю, слышите...

– Идут, идут! – объявил Горбачевский, выглянув в окно.

На крыльце послышались шаги, голоса, дверь отворилась, и в хату вошли Сергей Муравьев, Бестужев, князь Голицын и другие члены Южного общества, приехавшие из Лещинского лагеря.

Муравьев извинился: опоздал, потому что вызвали в штаб.

Уселись, одни – за стол посреди горницы, другие – по лавкам у стен; многим не хватило места и пришлось стоять. Председателем выбрали майора Пензенского полка Спиридова. У него было приятное, спокойное и умное лицо с двумя выражениями: когда он говорил, казалось, что ни в чём не сомневается, а когда молчал, в глазах были лень, слабость и нерешительность.

В кратких словах объяснив цель собрания – окончательное решение вопроса о слиянии двух обществ, – он предоставил слово Бестужеву.

Бестужев говорил неясно, спутанно, сбивчиво и растянuto. Но в том, как дрожал и звенел голос его, как он руками взмахивал, как бледнело лицо, блестели глаза и подымался рыжий хохол на голове языком огненным, была сила убеждения неодолимая. Великий народный трибун, соблазнитель и очарователь толпы, – маленький, слабенький, лёгонький, он уносился в вихре слов, не зная сам, куда унесётся, на какую высоту подымется, как перекасти-поле в степной грозе. «Восторг пигмея делает гигантом», – вспомнилось Голицыну.

Нельзя было повторить сказанного Бестужевым, как нельзя передать словами музыку, но смысл был таков:

«Силы Южного общества огромны. Уже Москва и Петербург готовы к восстанию, а также 2 – я армия и многие полки 3-го и 4-го корпуса. Стоит лишь схватить минуту – и всё готово встать. Управы общества находятся в Тульчине, Василькове, Каменке, Киеве, Вильне, Варшаве, Москве, Петербурге и во многих других городах империи. Многочисленное Польское общество, коего члены рассеяны не только в Царстве Польском, но и в Галиции и в воеводстве Познанском, готовы разделить с русскими опасность переворота и содействовать оному всеми своими силами. Русское Тайное общество находится также в сношениях с прочими политическими обществами Европы. Ещё в 1816 году наша конституция была возима князем Трубецким в чужие края, показывана там первейшим учёным и совершенно ими одобрена. Графу Полиньяку³¹¹ поручено уведомить французских либералов, что преобразование России скоро сбудется. Князь Волконский, генерал Раевский, генерал Орлов, генерал Киселёв, Юшневский, Пестель, Давыдов и многие другие начальники корпусов, дивизий и полков состоят членами Общества. Все сии благородные люди поклялись умереть за отечество», – заключил оратор.

Голицын знал, что никто никогда не возил конституцию в чужие края, что ни генерал Киселёв, ни генерал Раевский не участвуют в обществе, а Полиньяку до него такое же дело, как до прошлогоднего снега, и что почти всё остальное, что говорил Бестужев о силе заговора, – ложь. «Как может он лгать так бессовестно?» – удивлялся Голицын.

– Слово принадлежит Горбачевскому, – объявил председатель.

– Мы, Соединённые Славяне, дав клятву посвятить всю свою жизнь освобождению славянских племён, не можем нарушить сей клятвы, – начал Горбачевский. – А подчинив себя Южному обществу, будем ли мы в силах исполнить её? Не почтёт ли оно нашу цель маловажною и, для настоящего блага жертвуя будущим, не запретит ли нам иметь сношения с прочими племенами славянскими? И таковы ли силы Южного общества, как вы утверждаете?..

Всё, что он говорил, было умно, честно, правдиво; но правда его после лжи Бестужева резала ухо, как скрежет гвоздя по стеклу после музыки.

– Нет, Горбачевский, вы ошибаетесь. Преобразование России всем славянским народам

³¹¹ Полиньяк, Жюль-Огюст-Арман-Мари де (1780–1847) – граф, позже князь, французский государственный деятель.

откроет путь к вольности. Россия, освобождённая от тиранства, освободит Польшу, Богемию, Моравию, Сербию, Трансильванию и прочие земли славянские; учредит в оных республики и соединит их федеральным союзом, – заговорил Бестужев, и опять зазвучала музыка. – Да, цель у нас одна, и силы наши вам принадлежат под условием единственным – подчиняться во всём Державной Думе Южного общества, – прибавил он как бы вскользь.

– Какая Дума? Где она? Из кого состоит? – спрашивал Сухинов.

– Этого я не могу вам открыть, по правилам общества, – возразил Бестужев. – Но вот взглянуть не угодно ли?

Взял карандаш и лист бумаги, начертил круг, внутри его написал: *Державная Дума*. Провёл от него радиусы и на концах поставил кружки.

– Большой средний круг или центр есть Державная Дума; линии, от одного проведённые, суть посредники, а малые кружки – окружности, которые сносятся с Думою не прямо от себя, а через посредников...

Все столпились, слушали и глядели на чертёж с благоговением, как на магическое знамение. Саша вытянул шею и широко раскрыл глаза.

– Понимаете? – спросил Бестужев.

– Ничего не понимаю, – заговорил Сухинов опять с таким выражением лица, как будто ему на мозоль наступили. – К чёрту ваши иероглифы! Извольте же, наконец, объясниться, сударь, как следует! Нам нужны доказательства...

– Не нужно, не нужно! Верим и так! – закричали все.

– Верим! Верим! – крикнул Саша громче всех. – Зачем такое любопытство? Должно поставить себе счастьем в столь общепольном деле участвовать...

На него оглянулись, и он покраснел.

– А вот о военной революции, десятое дело, пожалуйста, – начал Борисов неожиданно; он всё время молчал, сидел, потупившись, точно ничего не видел и не слышал, покуривал трубочку да иногда ловил ночных мотыльков, летевших на пламя свечи, и осторожно, так, чтобы не помять им крылышек, выпускал их в окно. – Вы о военной революции говорили намеренно, Бестужев! А что значит военная революция, десятое дело, пожалуйста?

– Военная революция – значит возмущение начать от войск, – ответил Бестужев, – а когда войска готовы, то уже ничего не стоит свергнуть какое угодно правительство. Мы имеем в виду две революции: одну – французскую, которая произведена была чернью со всеми ужасами безначалия, а другую – испанскую, начатую обдуманно, силою военною, но оставившую власть короля. У нас же всё это будет лучше, потому что начнётся с того, что государь уничтожится...

– Когда один государь уничтожится, будет другой, – заметил Горбачевский.

– Другого не будет.

– Но по закону наследия...

– Никакого наследия: всё сие уничтожится, – махнул Бестужев рукою по столу.....

– Должно избегать одной капли пролития человеческой крови, – заметил полковник Тизенгаузен.

– Кровопролития почти не будет, – успокоил Бестужев.

– Ну зачем глупости, десятое дело, пожалуйста? Нет, будет кровь, кровь будет! – сказал Борисов и, поймав бабочку, выпустил её в окно так бережно, что не стряхнул пылинки с крылышек.

– По вашим словам, Бестужев, – начал опять Горбачевский, – революция имеет быть военная, и народ устранён вовсе от участия в оной. Какие же ограждения представите вы в том, что один из членов вашего правления, избранный воинством и поддержанный штыками, не похитит самовластия?

– Как не стыдно вам? – воскликнул Бестужев. – Чтобы те, кто для получения свободы решится умертвить своего государя, потерпели власть похитителей!..

– Господа, не угодно ли вернуться к вопросу главному? Время позднее, а мы ещё не решили: принято ли соединение обществ? – напомнил Спиридов. – Голосовать прикажете?

– Не надо! Не надо! Принято! – закричали все, и опять Саша громче всех.

– Господин секретарь, – обратился Спиридов к молодому человеку, тихому и скромному,

в потёртом зелёном фраке, провиантскому чиновнику Илье Ивановичу Иванову,³¹² секретарю Славян, – запишите в протокол заседания: общества соединяются.

Бестужев попросил слова и начал торжественно:

– Господа! Верховная Дума предлагает, и я имею честь сообщить вам сие предложение: начать восстание с будущего 1826 года и ни под каким видом не откладывать одного. В августе месяце государь будет производить смотр 3-го корпуса, и тогда судьба самовластья решится: тиран падёт под нашими ударами, мы подыдем знамя свободы и пойдём на Москву, провозглашая конституцию. Благородство должно одушевлять каждого к исполнению великого подвига. Мы утвердим навеки вольность и счастье России. Слава избавителям в позднейшем потомстве, вечная благодарность отечества!..

Обводя взором лица слушателей, Голицын остановился невольно на Сашином лице; оно было прекрасно, как лицо девочки, которая в первый раз в жизни, не зная, что такое любовь, слушает слова любви. «Не оправдана ли ложь Бестужева этим лицом?» – подумал Голицын.

– Принимается ли, господа, предложение Верховной Думы? – спросил председатель.

– Принято! Принято!

– Не принимаю! – закричал Кузьмин, ударяя кулаком по столу.

– Чего же вы хотите?

– Начинать немедленно!

– Ну что вы, Кузьмин, разве можно?

– Не спеши, Настасьюшка: поспешишь, людей насмешишь, – унимал его Мазалевский.

– Что же вы за душу тянете, чёрт бы вас всех побрал! Лови Петра с утра, а как ободняет, так провоняет! Голубчики, братцы, миленькие, назначьте день, ради Христа, назначьте день восстания! – кричал Кузьмин, и глаза у него сделались как у сумасшедшего.

– День, час и минуту по хронометру! – рассмеялся полковник Тизенгаузен.

Но остальным было не до смеху. Сумасшествие Кузьмина заразило всех. Как будто вихрь налетел на собрание. Повскакали, заговорили, закричали. Поднялся такой шум, что председатель звонил, звонил и, наконец, устал – бросил. В общем крике слышались только отдельные возгласы:

– Правду говорит Кузьмин!

– Начинать так начинать!

– Куй железо, пока горячо!

– В отлагательстве наша гибель!

– Лишь бы добраться до батальона, а там живого не возьмут!

– Умрём на штыках!

– Взбунтовать весь полк, всю дивизию!

– Арестовать генерала Толя и Рота!

– Овладеть квартирою корпусной!

– На Житомир!

– На Киев!

– На Петербург!

– 8-я рота начнёт!

– Нет, никому не позволю! Я начну, я!

– Десять пуль в лоб тому, кто не пристанет к общему делу! – кричал маленький, пухленький, кругленький, с лицом вербного херувима, прапорщик Бесчастный.

– Довольно бы и одной, – усмехнулся Мазалевский.

– Клянусь купить свободу кровью! Клянусь купить свободу кровью! – покрывая все голоса, однообразно гудел, как дьякон на амвоне, Артамон Захарович; потом вдруг остановился, взмахнул обеими руками в воздухе и ударил себя по толстому брюху.

– Да что, господа, – угодно, сейчас поклянусь на Евангелии: завтра же поеду в Таганрог и нанесу удар!

³¹² Иванов Илья Иванович (1800–1848) – секретарь Общества соединённых славян с марта 1825 г., после отбытия каторги умер на поселении на Ангаре.

– Слушайте, слушайте, Сергей Муравьев говорит!

Он почти никогда не говорил на собраниях, и это так удивило всех, что крики тотчас же смолкли.

– Господа, завтра мы не начнём, – заговорил Муравьев спокойным голосом, – начинать завтра – значит погубить всё дело. Говорят, солдаты готовы; но пусть каждый из нас спросит себя, готов ли он сам; ибо многие исподволь кажутся решительными, а когда настанет время действовать, то куда денется дух? Ежели слова мои обидны, простите меня, но, идучи на смерть, надо сохранять достоинство, а то, что мы сейчас делаем, недостойно разумных людей... Да, завтра мы не начнём; но вот что мы можем сделать завтра: дать клятву при первом знаке явиться с оружием в руках. Согласны ли вы?

Он умолк, и сделалось так тихо, что слышно было, как за тёмными окнами верхушки сосен шепчутся. Всё, что казалось лёгким, когда говорили, кричали, – теперь, в молчании, отяжелело грозной тяжестью. Как будто только теперь все поняли, что слова будут делами и за каждое слово дастся ответ.

Председатель спросил, принято или отвергнуто предложение Муравьева.

– Принято! Принято! – ответили немногие, но по лицам видно было, что приняли все.

Решив, когда и где сойтись в последний раз, чтобы дать клятву, – завтра в том же месте, в хате Андреевича, – стали расходиться.

– Как хорошо, Господи, как хорошо! А я и не знал... ведь вот живёшь так и не знаешь, – говорил Саша; лица его не видно было в темноте, но слышно по голосу, что улыбается; должно быть, сам не понимал, что говорит, – как во сне бредил.

Над светлым кругом, падавшим от фонаря на лесную дорожку с хвойными иглами, нависала чернота чёрная, как сажа в печи; а зарницы мигали, подмигивали, как будто небесные заговорщики делали знаки земным; и в мгновенном блеске видно было всё, как днём: белые хатки Млиниц на одном конце просеки, а на другом – внизу, под обрывом, за излучистой Гуйвою, белые палатки лагеря, далёкие луга, холмы, рощи и низко ползущие по небу тяжкие, грозные тучи. Свет потухал – и ещё чернее чёрная тьма. И страшны, и чудны были эти мгновенные прозренья, как у исцеляемого слепорождённого.

Впереди Голицына разговаривали, идучи рядом с Сашею, такие же молоденькие, как он, подпоручики и прапорщики 8-й артиллерийской бригады, только что поступившие в общество. Голоса то приближались, то удалялись, так что слышались только отдельные фразы, и казалось, что все они тоже не знают, что говорят, бредят, как сонные, и в темноте улыбаются.

– Цель общества – доставить одинаковые преимущества для всех людей вообще, те самые, что назначил Всевышний Творец для рода человеческого.

– Не творец, а натура.

– Только то правление благополучно, в котором соблюдены все права человечества.

– Республиканское правление – самое благополучное.

– Когда в России будет республика, всё процветёт – науки, искусства, торговля, промышленность.

– Переменится весь существующий порядок вещей.

– Всё будет по-новому.

Спустившись с обрыва на большую дорогу, где ждали их денщики с лошадьми, – Сергей Муравьев, Бестужев и Голицын поехали в Лещинский лагерь.

Бестужев молчал. Как это часто с ним бывало после вдохновенья, он вдруг устал, потух; светляк – днём: вместо волшебного пламени, червячок серенький. Муравьев тоже молчал. Голицын взглянул на лицо его при свете зарницы, и опять поразило его то беззащитное обречённое, что заметил он в этом лице ещё при первом свидании: в лютый мороз на снежном поле – зелёная ветка весенняя.

А Саша в ту ночь долго не мог заснуть, всё думал о завтрашнем, а когда заснул – увидел свой самый счастливый сон: золотых рыбок в стеклянной круглой вазе, наполненной светлой водою; рыбки смотрели на него, как будто хотели сказать: а ты и не знал, что всё по-новому? Проснулся, счастливый, и весь день был счастлив.

Собрание назначили в самый, глухой час ночи, перед рассветом, потому что заметили, что за ними следят. Ночь опять была чёрная, душная, но уже не зарницы блестели, а молнии с

тихим, точно подземным, ворчаньем далёкого грома, и сосны под внезапно налетавшим ветром гудели протяжным гулом, как волны прибоя; а потом наступала вдруг тишина бездыханная, и странно, и жутко перекликались в ней петухи предрассветные.

Когда Саша, войдя в хату Андреевича, взглянул на лица заговорщиков, ему показалось, что все так же счастливы, как он. Хата прибрана, пол выметен, скамьи и стёкла на окнах вымыты; стол накрыт чистою белою скатертью; на столе не сальные, а восковые свечи в ярко вычищенных медных подсвечниках, старинное масонское Евангелие в переплёте малинового бархата и обнажённая шпага: когда-то Славяне клялись на шпаге и Евангелии; Андреевич не знал, как будет сегодня, и на всякий случай приготовил.

На майоре Спиридове был парадный мундир с орденами, а на секретаре Иванове – новый круглый тёмно-вишнёвый фрак с белым кисейным галстуком. От вербного херувима Бесчастного пахло бердичевским «Парижским ландышем». У Кузьмина волосы, по обыкновению, торчали копною, но видно было, что он их пытался пригладить. «Милая Настасьюшка, ёжик причёсанный!» – подумал Саша с нежностью.

Говорили вполголоса, как в церкви перед обеднею; двигались медленно и неловко-застенчиво, старались не смотреть друг другу в глаза; стыдились чего-то, не знали, что надо делать. И на лицах была тихая торжественность, как у детей в большие праздники. Черта, разделяющая два общества, сгладилась, как будто всех соединил какой-то новый заговор, более страшный и таинственный.

Все были в сборе. Только Артамон Захарович да капитан Пыхачёв не пришли. А полковник Тизенгаузен пришёл, но объявил, что клясться не будет.

– Никакой клятвы не нужно: если необходимо начать, я начну и без клятвы: в Евангелии сказано: не клянись вовсе...

Ему не возражали, а только попросили уйти.

– Я никому, господа, мешать не намерен. Сделайте одолжение...

Это значило: если вам угодно валять дураков – валяйте!

– Уходите, уходите! – повторил Сухинов тихо, но так решительно, что тот посмотрел на него с удивлением, хотел что-то сказать, но только пожал плечами, усмехнулся брезгливо, встал и вышел.

Сергей Муравьёв сидел, опустив голову на руку и закрыв глаза. Когда Тизенгаузен ушёл, он вдруг поднял голову и посмотрел на Голицына молча, как будто спрашивал: «Хорошо ли всё это?» – «Хорошо», – ответил Голицын, тоже молча, взглядом.

Бестужев что-то писал на листках, грыз ногти, хмурился, ерошил волосы: должно быть, к речи готовился.

– Ну что ж, господа, начинать пора? – сказал кто-то.

Бестужев перебрал листки свои в последний раз, встал и начал:

– Век славы военной с Наполеоном кончился; теперь настало время освобождения народов. И неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне отечественной, – русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеонова, не свергнут собственного ига и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдёт о спасении отечества, счастливое преобразование коего...

«Не то, не то!» – чувствовал он и, не глядя на лица слушателей, знал, что и они это чувствуют. Стыдно, страшно: неужели Тизенгаузен прав?

Вдруг забыл, что хотел сказать, остановился и продолжал читать по бумажке:

– Взгляните на народ, как он угнетён; торговля упала, промышленности нет, бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки, войско ропщет. При сих обстоятельствах нетрудно было нашему Обществу прийти в состояние грозное и могущественное. Скоро восприимет оно свои действия, освободит Россию и быть может, целую Европу. Порывы всех народов удерживает русская армия; коль скоро она провозгласит свободу – все народы подымутся.

«Не то, не то!» Робел, глупел, проваливался, как плохой актёр на сцене или ученик на экзамене. Бросил бумажку, взмахнул руками, как утопающий, и воскликнул:

– На будущий год всему конец! Самовластье падёт, Россия избавится от рабства, и Бог нам поможет.

«Бог нам поможет», – сказал нечаянно, почти бессознательно, – но когда сказал, почувствовал, что это то самое.

– Бог нам поможет! Поможет Бог! – повторили все и сразу встали, как будто вдруг поняли, что надо делать.

И Бестужев понял. Расстегнул мундир и начал снимать с шеи образ. Руки его так тряслись, что он долго не мог справиться. Стоявший рядом секретарь Иванов помог ему.

Бестужев взглянул на тёмный лик в золотом окладе, лик Всех Скорбящих Матери. И вспомнилось ему лицо его старушки матери; вспомнилось, как она звала его к себе умирая. Что-то подступило к горлу его, и он долго не мог говорить, наконец произнёс:

– Клянусь... Господи, Господи... клянусь умереть за свободу.

Хотел ещё что-то сказать.

– Россия Мать... Всех Скорбящих Мать!.. – начал и не кончил, заплакал, перекрестился, поцеловал образ и передал его Иванову. Образ переходил из рук в руки, и все клялись.

Многие приготовили клятвы, но в последнюю минуту забыли их; так же, как Бестужев, начинали и не кончали, бормотали невнятно, косноязычно.

– Клянусь любить отечество паче всего!

– Клянусь вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты!

– Клянусь быть всегда добродетельным! – пролепетал Саша с рыданием.

– Клянусь, свобода или смерть! – сказал Кузьмин, и по лицу его видно было, что как он сказал, так и будет.

А когда очередь дошла до Борисова, что-то промелькнуло в лице его, что напомнило Голицыну разговор их в васильковской пасеке: «скажешь – и всё пропадёт». Не крестясь и не целуя образа, он передал его соседу, взял со стола обнажённую шпагу, поцеловал её и произнёс клятву Славян:

– Клянусь посвятить последний вздох свобода! Если же нарушу клятву, то оружие сие да обратится остриём в сердце моё!

– Сохрани, спаси, помилуй, Мать Пречистая! – повторил Голицын слова умирающей Софьи.

– Да будет един Царь на небеси и на земли – Иисус Христос! – проговорил Сергей Муравьёв слова *Катехизиса*.

Клятвы смешивались с возгласами:

– Да здравствует конституция!

– Да здравствует республика!

– Да погибнет различие сословий!

– Да погибнет тиран!

И все эти возгласы кончались одним:

– Умереть, умереть за свободу!

– Зачем умирать? – воскликнул Бестужев, забыв, что только что сам клялся умереть. – Отечество всегда признательно: оно щедро награждает верных сынов своих. Вы ещё молоды; наградою вашею будет не смерть, а счастье и слава...

– Не надо! Не надо!

– Говоря о наградах, вы оскорбляете нас!

– Не для наград, не для славы хотим освободить Россию.

– Сражаться до последней капли крови – вот наша награда!

И обнимались, целовались, плакали.

– Скоро будем счастливы! Скоро будем счастливы! – бредил Саша.

Такая радость была в душе Голицына, как будто всё уже исполнилось – исполнилось пророчество:

– Да будет один Царь на земле и на неба – Иисус Христос.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

– Будет вам шиш под нос! – воскликнул о. протопоп, накладывая себе на тарелку кусок кулебяки с вязигу.

– Не слушайте его, господа: он всегда, как лишнее выпьет, в меланхолии бывает, – возразил полицеймейстер, отставной гусар Абсентов.

– Врёшь, – продолжал о. протопоп, – меланхолии я не подвержен, а от водки пророческий дух в себе имею и всё могу предсказывать. Вот помяните слово моё: будет вам шиш под нос!

– Заладила сорока Якова... что это, право, отец Алексей? Даже обидно: мы самого лучшего надеемся, а вы нам шиш под нос, – вступился хозяин, городничий Дунаев.

Жена его была именинница. На именинную кулебяку собрались таганрогские чиновники и толковали о предстоящих наградах, по случаю приезда государева.

– За здоровье его императорского величества! – провозгласил хозяин, вставая, торжественно.

– Ура! Ура!

Пили сантуринское, пили цимлянское и так нагрузились, что городничий затянул было свою любимую песенку:

*Тщеты Россам все препоны,
Храбрость есть побед залог... –*

и свёл нечаянно на «барыню-сударыню». Тут гости окружили хозяина, подняли его на руки и стали качать. А о. протопоп, несмотря на почтенную наружность и белую бороду, собрался плясать, уже поднял рясу, но споткнулся, упал на колени к полицеймейстеру и стал целовать его с нежностью.

– Васенька, а Васенька, почему тебя Абсентовым звать? Absens по-латыни речётся *отсутствующий* : у нас-де в городе столь нарочитый порядок, что полицеймейстер якобы отсутствующий, так что ли, а?..

Но язык у него заплёлся; он обвёл всех мутным взором и воскликнул опять с таким зловещим видом, что стало жутко:

– А всё-таки будет вам шиш под нос!

«Почтеннейший братец, – писал в эти дни председатель таганрогского коммерческого суда Фёдор Романович Мартос, – государь изволил к нам пожаловать 13 числа сего сентября. Редкий день проходит, чтобы не было приказаania быть в башмаках и под пудрою, от чего я так устал, что едва держусь на ногах. Говорят, его величеству в Таганроге всё очень нравится, и он располагает пробыть здесь всю зиму, а может быть и долее. Учреждена экстра-почта; фонари поставлены по Московской и Греческой, 63 фонаря – настоящая иллюминация. Вчерашнего дня приехал генерал Клейнмихель, а скоро будет и граф Аракчеев. Что из всего этого выйдет, единому Богу известно. Однако столь неожиданное посещение высоких особ всех нас куражит».

Мартосов дом был окнами в окна с домом бывшего городничего Папкова, на Московской улице, рядом с Крепостною площадью, где жил государь. Хотя Фёдор Романович запретил домашним выглядывать в окна, но Ульяна Андреевна, госпожа Мартосова, была так любопытна, что не могла утерпеть, взбиралась на чердак, к слуховому окну, и поглядывала в подзорную трубку. По случаю тёплой погоды окна дворца открыты были настежь, и можно было видеть, что делается там. Государь хлопотал, устраивая императрицыны комнаты. Сам откупоривал ящик с посудой, вынимал фарфор и хрусталь из соломы, чтобы не разбилось что, не попортилось; расставлял мебель: велит поставить и отойдёт, посмотрит, хорошо ли, уютно ли; сам гвозди вбивал для зеркал и картин, шторы навешивал.

– Влезет, бывало, на лесенку, гвозди держит в зубах, да молоточком в стену тук-тук, как простой обойщик, – рассказывала впоследствии Ульяна Андреевна, – и такое у него личико доброе, такое ласковое, что я без слёз глядеть не могла. Сущий ангел!

– Мы его иначе не называли, как ангелом, – вспоминали другие таганрогские жители, – аккуратно, от семи до девяти утра, ходил пешком по городу, в лейб-гусарском сюртуке,

гусарских сапогах и походной фуражке, а в первом часу изволил ездить верхом в кавалергардском мундире и шляпе с плюмажем, и редко прогулка сия не была ознаменована какою-нибудь помощью бедному семейству, им самим отысканному, или каким-нибудь иным благодеянием; только о том и думал, как бы сделать добро кому, обласкать да обрадовать.

Вспоминали и о том, как во время этих прогулок государь любил вступать в беседу с простыми людьми – солдатами, матросами, крестьянами и даже с теми нищими странниками, что ходят по большим дорогам, на построение церквей собирают. Особенно один из них понравился ему, и он долго с ним наедине беседовал; бродяга бездомный, беспаспортный, родства не помнящий, по имени Фёдор Кузьмич.

Таганрог – уездный городок на берегу Азовского моря; на западе – Миусский лиман, на востоке – Донецкое гирло. Город – на мысу, с трёх сторон – море, и в конце почти каждой улицы оно голубеет, зеленеет, как стекло бутылки, мутно-пыльное.

Невесёлый городишко: пустыри-площади, товарные склады, пакгаузы и рассыпанные, как шашечки, низенькие, точно приплюснутые, домики с облупленную штукатуркою и вечно закрытыми ставнями; а кругом степь – тридцать лет скачи, никуда не доскачешь.

Но государю всё это нравилось, как в том счастливом сне, который снился ему в начале путешествия; та же осенняя вечность; та же комета, его неразлучная спутница, сиявшая каждую ночь здесь, на ясном небе юга, ещё лучезарнее; и в её падении стремительном – тот же звон таинственный, надежда бесконечная.

23 сентября он выехал встречать императрицу Елизавету Алексеевну на первую от Таганрога почтовую станцию – Коровий Брод, пересел к ней в дормез и прибыл в город в 7 часов вечера. Отслушав молебен в Греческой церкви, их величество отбыли во дворец.

Дворец – простенький, каменный, с жёлтым фасадом и зелёною крышею, одноэтажный, напоминавший подгородную усадьбу средней руки помещика. Из окон, выходящих на двор и садик, видно море, а из тех, что на улицу – пустынная площадь и земляные валы старой Петровской крепости.

Дом разделялся на две половины большим сквозным залом – приёмною или столовою. Направо – покои государевы, две комнатки; одна, побольше, угловая – кабинет-спальня; другая, маленькая, полукруглая, в одно окно, – уборная; за нею – тёмный коридор – закута для камердинера и лесенка вниз, в подвальную гардеробную. Налево – покои императрицыны – восемь комнаток, тоже маленьких, но немного получше убранных. Везде потолки низенькие, небольшие окошечки и огромные печи изразцовые, как в домах купеческих.

– Вам нравится, Lise, в самом деле нравится? – спрашивал государь, показывая комнаты. – Я ведь всё это сам устраивал и так боялся, что вам не понравится...

– Как хорошо, Господи, как хорошо! – восхищалась она. – А эта спальня – точь-в-точь маменькина красная комната...

По каждой мелочи видела, как он заботился о ней; вот любимый диван её из кабинета царскосельского; на стене старинные ландшафты родимых холмов Карлсруйских и Баденских, – она уже давно хотела их выписать; а на полочке – книги: мемуары Жанлис, Вальтер Скотт, Пушкин, – те самые, которые она собиралась читать.

– А вот и он, он! Где вы его отыскиали? Я думала, совсем пропал, – засмеялась она и захлопала в ладоши, как маленькая девочка.

Это был пастушок фарфоровый – столовые часики, незапамятно-давние, детские, подарок матери; лет тридцать назад ручка у него сломалась; вот и теперь сломана, а часики всё тикают да тикают.

– Как хорошо, Господи, как хорошо! – повторяла, опускаясь на диван и закрывая глаза с блаженной улыбкой.

К тишине прислушалась:

– А это что?

– Море: в гавани мелко, а дальше глубоко, и там настоящий прибой. Вот увидите, как хорошо спится под этот шум.

Он сидел рядом с нею и целовал её руки.

– Ну, вот мы и вместе, мой друг, вместе одни, как я обещал вам, помните?

– Не говорите, не надо...

– Отчего не надо?

Не ответила, но он понял, что она ещё боится, не верит счастью своему. В ту ночь уснула так сладко, как не спала уже многие годы; только от тишины просыпалась – и засыпала опять ещё слаще, убаюканная шумом волн, как колыбельною песенкой.

Так была больна при выезде из Царского, что доехать живой не надеялась; а тут, с первых же дней по приезде, стала вдруг оживать, расцветать, и доктора глазам своим не поверили, глядя на это исцеление чудесное.

Несмотря на конец октября, погода стояла почти летняя; тихие, тёплые дни, тихие, звёздные ночи. Когда она вдыхала воздух, пахнувший морем и степью, каждое дыхание было радостью. Но не солнце, не воздух были главною причиной исцеления, а то, что он был с нею, и такой спокойный, счастливый, каким она уже давно его не видела.

Не отходил от неё; казалось, ни о чём не думал, кроме неё, как будто после тридцати лет супружества наступил для них медовый месяц. Ухаживал за нею, раз десять на дню спрашивал: «Хорошо ли вам? не надо ли чего-нибудь ещё?» Угадывал её желания, прежде чем она успевала их высказать.

Гуляя с ним в городском саду, жалела, что моря не видно, а на следующее утро он привёл её на то же место и показал вид на море: ночью велел сделать дорожку. Другое место, за городом, близ карантина, тоже на берегу моря, понравилось ей, и он тотчас приказал поставить там скамейку, сам нарисовал план сада и выписал из Ропши учёного садовника.

Никогда никто из придворных не сопровождал их в этих уединённых прогулках, и если даже видел случайно издали, то спешил отвернуться, не кланяясь, чтобы не помешать «молодым супругам».

Однажды сидели они на той новой скамейке, близ карантина. Вечер был ясный. Солнце зашло, и в золотисто-розовом небе плыл, как тающая льдинка, тонкий серп новорождённого месяца. Внизу шумел прибой; разбивались волны мутно-зелёные, и чайки носились над ними с жалобными криками. С обрыва вела тропинка к морю; иногда они спускались по ней и собирали на песке ракушки. Берег был высокий; море расстилалось бесконечное. Перед ними – море, за ними – степь, и между этими двумя пустынями, здесь, на краю света, – они как будто в целом мире одни.

– Как вам к лицу этот розовый жемчуг, Lise, – сказал государь.

На ней было ожерелье из розового жемчуга, давнишний подарок персидского шаха. Много лет не надевала его; для чего же надела теперь? Уж не для того ли, чтоб ему понравиться? Неужели поверила в медовый месяц, старая, больная, полумёртвая? Подумала об этом и застыдилась, покраснела.

– Вечером розовый жемчуг ещё розовее, прекраснее; он похож на вас, – сказал государь, посмотрев на неё с улыбкою; помолчал и прибавил: – А знаете, как называют нас господа свитские?

– Как?

– Молодыми супругами.

Ничего не ответила, покраснела ещё больше: в самом деле, в бледно-розовеющем лице её была последняя прелесть, подобная вечернему отливу розовой жемчужины.

– Видите, смеются над нами, – наконец проговорила она. – Это всё вы: слишком балуете меня; берегитесь, избалуете так, что потом сами рады не будете...

– Когда потом?

– А вот когда уедете.

– Не думайте об этом, Lise!

– Не могу не думать. Мне надо подготовиться заранее, как больные к операции готовятся... Я давно хотела спросить вас: когда едете?

– Не знаю. Говорю всем, к новому году, а сам не верю. Кажется, никогда. Вот выйду в отставку, куплю тот уголок в Крыму у моря, Ореанду, и поселимся там навсегда...

Посмотрела на него молча, и в широко раскрытых глазах её засияла безумная радость, но тотчас потухла: знакомый страх – страх счастья напал на неё, подобный страху смертному. «Когда я счастлива, мне стыдно и страшно, как будто я взяла чужое, украла и знаю, что буду наказана», – вспомнилось ей то, что писала в дневнике своём.

– Не говорите, не надо, не надо! – сказала так же, как тогда, в первый день свидания, и он так же спросил:

– Отчего не надо? Отчего вы боитесь, не верите, Lise? О, если бы я мог сказать! Да вот не могу... Надо было тридцать лет назад. А я только теперь... Но как же вы сами не видите? Не видите? Не понимаете?..

Молчала, а сердце падало от страха счастья – страха смертного.

Одной рукой он держал её руку, другой обнимал её стан:

*Амуру вздумалось Психею,
Резвяся, поимать...*

– О, Lise, Use, как я был глуп всю жизнь! Точно спал и видел во сне, что люблю её, но не знал, кто она... И вот только теперь узнал...

*Здесь всё – мечта и сон, но будет пробуждение;
Тебя узнал я здесь в прелестном сновиденьи, –
Узнаю наяву...*

– Не надо, не надо, – закрыла лицо руками, заплакала; слёзы лились, неудержимые, неутолимые, бесконечно-горькие, бесконечно-сладкие, слёзы любви, которых за всю жизнь не успела выплакать.

Он опустился перед ней на колени, тоже заплакал и зашептал, как первое признание любви – шестнадцатилетний мальчик четырнадцатилетней девочке:

– Люблю, люблю!..

Повторял одно это слово и больше ничего не мог сказать. Она вдруг перестала плакать, наклонилась к нему, обняла голову его, и губы их слились в поцелуе. Никто не видел этого первого поцелуя любви, кроме степи, моря, неба и новорождённого месяца.

Не хотелось возвращаться в город; сели в коляску и поехали дальше за карантин.

Крутом была степь, поросшая пыльно-сизой полынью да сухим бурьяном; ни деревца, ни кустика; только вдали одинокая мельница махала крыльями, и дрофа длинноногая, чётко чернея в ясном небе, на степном кургане, ходила взад и вперёд, как солдат на часах. Изредка тянулся по пустынной дороге обоз чумаков с азовской таранью или крымской солью; перекопские татары шли с караваном верблюдов, нагруженных арбузами; полудикий нагаец-пастух, верхом на лошадке невзнузданной, гнал отару овец; и высоко в небе кружил над ними степной орлан-белохвост с хищным клёкотом. И опять ни души – пусто, мёртво. Как верная сообщница, степь уединяла их, охраняла от суеты человеческой, в которой оба они погибали всю жизнь.

Наступали сумерки; поднялся холодный ветер с моря.

– Холодно, Lise. Говорил я, что надо взять шубу. Ну что, если простудитесь?

– Да нет же, нет, тепло. Видите, какие руки горячие? Тепло, хорошо, лучше не надо...

Он обнимал её, кутал в шинель свою, и, чувствуя теплоту тела его, она прижималась к нему со стыдливой неловкостью. Да, хорошо, лучше не надо: долго бы, долго, вечно так!

– А что, мой друг, давно я вас хотел спросить, – начал он для себя самого неожиданно, – что вы думаете об Аракчееве?

– Об Аракчееве? – удивилась она и по старой привычке испугалась, насторожилась, ответила не прямо, а с невольной женской хитростью: – Вы же знаете, я плохой политик, ничего не понимаю в делах государственных...

Всегда боялась Аракчеева суеверным страхом. При покойном императоре Павле I, бывало, приходил он к ним в спальню рано, когда они ещё лежали в постели: батюшка требовал, чтобы наследник был на ногах до зари, а Сашеньке вставать не хотелось; тут же, в постели, принимал он рапорты и подписывал, а она закрывалась с головой одеялом, с таким чувством, что вот-вот Аракчеев залезет к ней в постель, как сороконожка огромная.

– Ну что же, Lise, не хотите сказать?

– Я его так мало знаю...

– Ну а всё-таки, как вам кажется, какой он человек – хороший или дурной?

– А вам очень нужно?

– Очень.

– Сейчас?

– Сейчас.

– Мне кажется... да нет, не могу. Помогите мне. Что именно вы хотите знать?

– Ну, как вы думаете, он меня...

Почему-то язык не повернулся сказать: «любит».

– Он мне предан?

– Предан? Да... нет, не знаю... Мне кажется, он вас не любит, он никого любить не может...

– Значит, злой, фальшивый?

– Нет, не злой и не добрый, а никакой... ну вот, не умею сказать. Никакой... пустой, ничтожный... Вы на меня сердиться не будете?

Взглянула на него: странная улыбка прошла по лицу его – и она поняла, что он не будет сердиться.

– Он, сам по себе, ничто, – продолжала уже смелее, – он ваша тень, куда вы, туда и он; что вы, то и он, – а его самого нет; кажется, что он есть, а его нет... Ну вот, видите, какие глупости...

– Нет, Lise, не глупости. Только не знаю, верно ли? Ведь быть чужою тенью тоже великая жертва...

Замолчал и подумал: «Да, тень моя; взял на себя всё моё дурное, тёмное, страшное. Когда солнце было высоко, тень лежала у ног моих, а когда солнце зашло, тень выросла...»

Недаром вспомнил об Аракчееве: много думал о нём в эти дни.

10 сентября в Грузии произошло убийство Настасьи Минкиной.

«Батюшка, ваше величество, – писал Аракчеев через два дня после убийства, – случившееся со мною несчастье, потерей верного друга, жившего у меня в доме 25 лет, здоровье и рассудок мой так расстроило и ослабило, что я одной смерти себе желаю, а потому и делами никакими не имею сил и соображения заниматься. Прощай, батюшка, вспомни бывшего тебе слугу! Друга моего зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю ещё, куда осиротевшую голову свою преклоню, но отсюда уеду».

Государь получил это письмо в Таганроге, 22 сентября, накануне приезда императрицы, и ответил ему в тот же день:

«Любезный друг, несколько часов, как я получил письмо твоё и печальное известие об ужасном происшествии, поразившем тебя. Сердце моё чувствует всё то, что твоё должно ощущать. Жаль мне свыше всякого изречения твоего чувствительного сердца. Но, друг мой, отчаяние есть грех перед Богом. Предайся слепо Его святой воле. Ты мне пишешь, что хочешь удалиться из Грузина, но не знаешь, куда ехать. Приезжай ко мне: у тебя нет друга, который бы тебя искреннее любил. Но заклинаю тебя всем, что есть святого, вспомни отечество, сколь служба твоя ему полезна и, могу сказать, необходима, а с отечеством и я неразлучен. Прощай, не покидай друга, верного тебе друга».

Отправив письмо, государь вызвал в Таганрог генерала Клейнмихеля, находившегося в то время в южных поселениях, и велел ему скакать в Грузино, разузнать обо всём и уговорить Аракчеева во что бы то ни стало приехать в Таганрог.

Что приедет – не сомневался, но, не получая ответа, написал другое письмо:

«Неужели тебе не придёт на мысль то крайнее беспокойство, в котором я должен находиться о тебе в такую важную минуту твоей жизни? Грешно тебе забыть друга, любящего тебя столь искренно и так давно, и ещё грешнее сомневаться в его участии. Убедительно тебя прошу, если сам не в силах, то прикажи меня подробно извещать на свой счёт. Я в сильном беспокойстве».

Беспокойство было, но была и странная беспечность, безболезненность: так параличного в бесчувственное тело колот иглою, а ему не больно, только жутко смотреть, как иглолка в тело втыкается.

Наконец пришёл ответ:

«Батюшка, ваше величество! После причастия св. Христовых Тайн, сего числа, получил

отцовское ваше письмо. Приношу за оное сыновнюю мою благодарность. Я, конечно, возлагаю моё упование на Бога, но силы мои меня оставляют: биение сердца, ежедневная лихорадка, и три недели не имею ни одной ночи покою, а единая тоска, уныние и отчаяние, – всё оное привело меня в такую слабость, что я потерял совсем память и не помню того, что делаю и говорю: следовательно, какие со мною будут последствия, единому Бог известно. Ах, Батюшка! если бы вы увидели меня в теперешнем моём положении, то вы бы не узнали вашего верного слугу. Вот положение человека в мире сём: единым моментом, во власти Божией, изменяется всё человеческое положение!

О поездке моей к вам ничего не могу ещё ныне сказать; благодарю и чувствую в полной мере ваши милости. Я прошу Бога не о себе, а о вашем здоровье, которое необходимо для отечества в нынешнее бурное время.

Описание о злодейском происшествии пришло после, если силы мои укрепятся. Легко может быть сделано сие происшествие и от постороннего влияния, дабы сделать меня неспособным служить вам и исполнять свято вашу, батюшка, волю, а притом, по стечению обстоятельств, можно ещё, кажется, заключить, что смертоубийца имел помышление и обо мне, но Богу угодно было, видно, за грехи мои оставить меня на мучение.

Обнимая заочно колени ваши и целуя руки, остаюсь несчастный, но верный ваш до конца жизни, слуга».

На следующий день после разговора с императрицей об Аракчееве, сидя у себя один в кабинете, государь перечёл это письмо и задумался. Нет, не приедет. Сколько бы ни звал, ни умолял, ни унижался, – не приедет. Из двух друзей своих – его, государя, и Настасьи Минкиной, – сделал выбор окончательный. «Никого любить не может; не злой и не добрый, а никакой, пустой, ничтожный. Кажется, что он есть, но его нет...»

Так вот кого тридцать лет он считал своим другом единственным. Ну что же, больно? Нет, не больно, а только жутко смотреть, как иголка в бесчувственное тело втыкается. А что, если вдруг почувствует боль? Ведь близко к сердцу? Не слишком ли к сердцу близко?

Да, «время бурное» – это и он, Аракчеев, знает. А вон и Клейнмихель доносит: «Я обращаю особенное внимание на следствие, дабы открыть начальный след злодеяния, уверен будучи, что здесь кроется много важного. Вчерашний день получил я с почтою из Петербурга записку, никем не подписанную, под заглавием: *О истинном и достоверном*. Записка сия заключает в себе мнение благомыслящих людей о происшествии, в Грузии бывшем, и злодейский заговор подполковника Батенкова».

Батенков – один из них, членов тайного общества. «Это – они – начинается!» – подумал государь при первом же известии об убийстве в Грузии.

Что начинается, знал и по другим доносам. Медлить нельзя: не сегодня завтра вспыхнет бунт. Хотел уничтожить заговор; для этого и звал Аракчеева – и вот Аракчеев сам уничтожен.

Когда ещё надеялся, что он приедет, начал писать для него записку о тайном обществе; теперь захотелось прочесть. Вынул её из шкатулки и стал читать.

Был четвёртый час пополудни, день солнечный, ясный. Вдруг потемнело, как будто наступили внезапные сумерки. Густой, чёрно-жёлтый туман шёл с моря. Так темно стало в комнате, что нельзя было читать. Позвонил камердинера, велел подать свечи.

Не заметил, как туман рассеялся, опять стало светло, а свечи горели, ненужные.

Вошёл камердинер Анисимов.

– Чего тебе, Егорыч?

– Не прикажете ли свечи убрать, ваше величество? Если кто со двора увидит, нехорошо подумает...

Глядя на дневное тусклое пламя свечей, государь старался что-то вспомнить. «Ах, да, свечи днём – к покойнику...»

– Ну что ж, убери, пожалуй.

Егорыч подошёл к столу, задул свечи и унёс.

Государь хотел было опять приняться за чтение, но уже не мог. Вдруг вспомнились ему петербургские чудеса и знамения, смешные страшилища.

– А туман-то какой, видели? Совсем как в Петербурге, – сказала государыня, входя в комнату.

– Да, совсем как в Петербурге, – повторил он задумчиво и, взглянув на неё, спросил: – Что с вами?

– Ничего... Я вам помешала? Вы заняты?

– Lise, что с вами? Вам нездоровится?

– Да нет же, нет, право, ничего. Утром гуляла пешком и, должно быть, устала немного...

Стояла перед ним, потупившись, не глядя на него, вся бледная, с поникшей головой, с руками, бессильно повисшими. Он взял их в свои и целовал, и смотрел на неё с тою вкрадчивою нежностью, которой она не умела противиться.

– Ну скажите правду, будьте умницей!

– Вы едете в Крым? – проговорила она и покраснела, как виноватая.

– В Крым? Да, может быть... Так вот что... А кто вам сказал?

– Волконский.

– Дурак, старая сплетница! Я нарочно вам не говорил. Сам ещё не знаю наверное... А уж теперь ни за что не поеду!

– Почему теперь? Из-за меня?

– Нет, мне самому не хочется. Не знаю отчего, но я не могу подумать об этой поездке без ужаса...

Посмотрела на него и вдруг поверила, обрадовалась.

– Зачем же едете?

– Да вот глупость сделал, Воронцову обещал, а он поторопился. Всё готово, ждут, съёмки сделаны, маршруты назначены...

Когда он сказал «маршруты» – слово заветное, – поняла, что он решил ехать.

– Ну и поезжайте, поезжайте, конечно, – сказала, улыбаясь через силу.

Быть ему в тягость, висеть у него на шее, – нет, лучше всё, чем это.

– Не надолго ведь?

– Я думал, дней на десять, на две недели, самое большее...

– Ну вот, видите, стоит говорить об этом? Уезжали на месяцы, – и я ничего, а теперь двух недель не могу. Полноте, что за баловство, право! Вы должны ехать, должны непременно, я хочу, чтоб ехали, слышите?

– Хорошо, Lise, только уж это в последний раз: без вас больше никуда ни за что не поеду...

Тень прошла по лицу её: слово «последний», так же, как все такие слова безвозвратные, внушали ей суеверный страх.

– А знаете, для чего я ещё в Крым хотел?

– Для чего?

– Чтобы купить Ореанду, выбрать место для домика.

– Ну вот, как хорошо! Ну и поезжайте с Богом!

Положила ему руки на плечи, наклонилась и поцеловала его в лоб. Слёзы заблестели на глазах её. Он думал, что это слёзы счастья.

– Ну, я пойду, занимайтесь.

– Я сейчас к вам, Lise, вот только письмо допишу.

Никакого письма не было, но не хотел оставлять на столе записки о тайном обществе: как бы Дибич не увидел; всё ещё скрывал от всех эту муку свою, как постыдную рану. Когда записывал бумаги в шкатулку, внезапно, его самого удивившая мысль пришла ему в голову: всё сказать ей, государыне. Вспомнилось, как вчера умно говорила об Аракчееве и какой была в ту страшную ночь, 11 марта: когда все покинули его, перетрусили, – она одна сохранила присутствие духа; спасла его тогда, – может быть, и теперь спасёт? Хотя бы только не быть одному, разделить муку, хоть с кем-нибудь, – это уже половина спасения.

Обрадовался. Но знакомый стыд и страх заглушили радость, – нет, не сейчас, лучше потом, когда она поправится, – обманул себя, как всегда обманывал.

Отъезд государя назначен был 20 октября. Последние дни были для обоих тягостны. Она сама не понимала, что с нею, почему ей так страшно; убеждала себя, что это болезнь. Ум убеждался, а сердце не верило. И хуже всего было то, что ей казалось, что ему тоже страшно.

Накануне отъезда была такая буря, что государыня надеялась, что отъезд в последнюю

минуту отложат. С этой мыслью легла спать. Проснулась рано – чуть брезжило; вскочила босиком с постели и подбежала к окну посмотреть, какая погода. Густой, чёрно-жёлтый туман, такой же, как намедни, но тихо, как будто никакой бури и не было. Прислушалась, чтобы узнать по звукам в доме, едут ли. Но было ещё слишком рано. Опять легла и заснула. Что-то страшное приснилось ей; сердце вдруг перестало биться, и казалось во сне, что она умирает. Проснулась, посмотрела в окно: туман исчез; голубое небо, солнце. У крыльца – колокольчики: должно быть, тройку подали. Его шаги за дверью; дверь открылась, он вошёл.

– Не спите, Lise?

Ничего не ответила, лежала, не двигаясь, глядя на него широко раскрытыми глазами, вся бледная, как мёртвая. Сердце опять, как давеча во сне, вдруг перестало биться.

– Что с вами? – проговорил он в испуге.

Сделала усилие, перевела дыхание и улыбнулась.

– Ничего, голова немного болит: ночью душно было, от тумана, должно быть. А теперь какая погода чудесная!

– Lise, ради Бога, позвольте, я позову Виллие...

– Не надо, прошу вас. Не бойтесь, буду умницей... Ну, Господь с вами. Дайте перекрещу. Ну, ещё поцелуйте, вот так... А теперь ступайте, вам пора, а я ещё посплю.

– Ах, Lise, право же, лучше бы...

– Нет, нет, ступайте, ступайте же!

Оторвалась от него, почти оттолкнула его, упала на подушки и закрыла глаза. Он постоял, посмотрел, подумал: «Спит» – и тихонько на цыпочках пошёл к двери, но остановился и ещё раз обернулся. Лежала, не двигалась и широко раскрытыми глазами смотрела на него, вся бледная, как мёртвая. Вдруг вспомнилось ему, как он уходил от умирающей Софьи, и она так же смотрела на него, так же в последний раз он обернулся и подумал: «Не остаться ли?»

Когда ушёл, ей стало легче; как будто очнулась, опомнилась и удивилась, что это было. «Болезнь», – подумала опять и мало-помалу успокоилась. Страх исчез, осталась только тоска привычная. Как всегда, с его отъездом всё потускнело, потухло, потеряло вкус, «как суп без соли», шутила она.

Только теперь заметила, что Таганрог – прескверный городишко. На улицах – всё какие-то заспанные приказные, нищие в лохмотьях, обшарпанные солдатики, черномазые греки-маклеры да зловещие турки-матросы с разбойничьими лицами. От сушилен азовской тарани тухлою рыбою несёт. В гавани так мелко, что, когда ветер из степи, илистое дно обнажается и наполняет воздух испарениями зловонными. Северо-восточный ветер похож на сквозняк пронзительный. И даже в тихие, ясные дни вдруг находит с моря туман чёрно-жёлтый, пахнувший могильною сыростью. А на соседней церкви св. Константина и Елены колокола звонят уныло, как похоронные.

Дворец тоже не так хорош, как сначала казалось. Из окон дует, печи дымят. Множество крыс и мышей. Мышь вскочила на колени к фрейлине Валуевой, и та чуть не умерла от страха. Крысы утащили государынин платок. По ночам возились, стучали, бегали, как будто выживали гостей непрошенных. А под окнами были собаки; их отгоняли, но не могли отогнать. Валуева была уверена, что это к худу: всё чего-то боялась, куксилась, плакала, сама была, как собака, и так, наконец, надоела государыне, что та запретила ей на глаза к себе являться.

Дня через два после отъезда государя императрица получила известие о кончине короля баварского, мужа Каролины, сестры своей. Любила её, горевала о ней, а где-то в глубине души была радость, как у солдата в огне сражения, когда просвистела пуля мимо ушей и товарищ рядом упал: «Слава Богу, он, а не я!» Ужаснулась этой радости. «А что, если бы?..» – начала и не кончила; вдруг сердце перестало биться, как тогда, во сне.

На следующий день получила от государя письмо из Перекопа:

«Смерть короля баварского, такая неожиданная, ещё раз напоминает нам, как всякий из нас, во всякую минуту, должен быть готов. И надо же, чтоб это известие пришло к вам именно тогда, когда меня нет с вами! Я знаю, вы умница, а всё-таки лучше бы, если бы я при вас был. Напишите, как вы себя чувствуете. Я боюсь больше всего, что вы отождествите себя с Каролиною (vous vous identifierez a Caroline)».

«Буду спокоен только тогда, когда опять увижу вас, что будет, надеюсь, через неделю», –

писал он 30 октября из Бахчисарая.

Она следила по карте за его путешествием: Перекоп, Симферополь, Алушта, Гурзуф, Ореанда, Алупка, Байдары, Балаклава, Георгиевский монастырь, Севастополь, Бахчисарай, Евпатория и опять Перекоп, уже на возвратном пути. По мере того как он приближался, всё опять оживало, освещалось, как будто солнце всходило; опять делалось вкусным – «посолили суп».

«Нет, нельзя любить так, это грешно, за это Бог накажет!» – думала с ужасом.

Государь должен был вернуться в Таганрог 5 ноября. Накануне был день почти летний, как в конце петербургского августа. Днём по небу ходили барашки, и солнце светило сквозь них, лунно-бледное, а к ночи облака рассеялись и вызвездило так, как это бывает только поздней южной осенью.

Оставшись в спальне одна, перед тем чтобы лечь, она открыла окно и полною грудью вдохнула воздух, свежий и тихий, как вздох ребёнка во сне. Дышала, дышала и не могла насытиться. Не только в душе, но и в теле было успокоение блаженное. «Даже и плоть моя упокоится в уповании», вспомнился ей стих псалма. «Как хорошо, Господи, как хорошо! И отчего это?» Оттого, что он завтра будет с нею? Нет, не только от этого, а от всего, от тишины, от моря, от неба, от звёзд. Всё, что было, есть и будет, всё хорошо. И то, что она всю жизнь так мучилась, и то, что теперь так счастлива, всё хорошо на веки веков.

Стала на колени, подняла глаза к небу, улыбнулась и заплакала. Лучи звёзд преломлялись в слезах её, голубые, острые, длинные, как будто сверкали уже не над нею, а в ней, как будто она и они были одно.

Плакала, молилась, благодарила Бога. «А муж-то у Каролины умер, – вдруг вспомнила. – Ну что ж, воля Божья. У неё умер...» «А у меня жив», – едва не подумала и ужаснулась опять: «Что это, что это, Господи! Вот я какая подлая... Ну, прости же, прости меня, Господи!»

Опять улыбнулась и заплакала: знала, что Бог простит, уже простил, и всё хорошо на веки веков.

ГЛАВА ВТОРАЯ

– У меня маленькая лихорадка, должно быть, крымская...

– С какого времени, ваше величество?

– С Бахчисарая. Приехал туда поздно вечером, пить захотелось; Фёдоров подал барбарису; я подумал, не прокис ли, в Крыму жара была, но Фёдоров сказал, что свеж. Я выпил стакан и лёг, а ночью сделалась боль в животе ужасная; однако же прослабило, и я полагал, что этим всё кончится. Но в Перекопе опять зазнобило, и с тех пор вот всё трясёт...

Подумал и прибавил:

– А может быть, и раньше, ещё с Севастополя: верхом ездил в Георгиевский монастырь, в одном сюртуке; днём-то жарко, а ночью в степи ветер холодный, ну, вот и продуло.

– Значит, уже с неделю больны?

– Да, с неделю, пожалуй. А впрочем, не знаю...

– Хины принимать изволили?

– Нет, я лекарств не люблю; само пройдёт.

– Как же само, ваше величество, помилуйте! Вы всё забывать изволите, что, приближаясь к пятому десятку, мы уже не то, что в 20 лет...

– Да, брат, старость не радость, это я не хуже твоего знаю. А насчёт лихорадки не бойся, пустяки, ничего не будет.

В маленькой уборной, рядом с кабинетом-спальнею, государь переодевался и умывался с дороги. Всегда любил холодную воду для умыванья, но теперь попросил тёплой: должно быть, боялся, чтоб озноб не усилился. Волконский, с полотенцем через плечо, лил ему из кувшина воду на руки. Бывший начальник главного штаба, теперешний императрицын гофмаршал, генерал-адъютант, князь Пётр Михайлович Волконский часто служил государю камердинером. Тридцать пять лет был ему дядькою, сопровождал его во всех путешествиях, видел во всех состояниях души и тела, самых торжественных и самых унижительных. Государь не баловал князя. «Что я терплю от него, этого никто себе и представить не может», – говаривал

Волконский и много раз хотел выйти в отставку, но всё не выходил; был слаб и добр; любил его, жалел, как старая няня – дитя своё.

Жалел и теперь: видел, что он очень болен и только, по обыкновению, скрывает болезнь, перемогается.

– Эк начали! – сказал государь, вытирая руки полотенцем и глядя в окно на дымное зарево иллюминации.

– К приезду вашего величества.

– Верноподданные! – поморщился государь с брезгливостью. – Ну, а тут у вас что?

– Всё слава Богу.

– Императрица как?

– Тоже, слава Богу, здоровы, только по вас очень соскучились.

Устал от умывания, присел, держа в руках полотенце, забыл его отдать Волконскому и опустил голову на руку; по этому движению видно было, как он болен.

– Лечь бы изволили, а её величество я к вам попрошу...

– Нет, что ты! Напугаешь. Пожалуйста, братец, не говори ей.

– Да ведь сами увидят...

– Пусть видит, а ты не говори. Зачем беспокоить? Сказано, вздор: отлежусь и буду здоров... Ну, давай же сюртук. Надо к ней, – ждёт небось.

Волконский подал сюртук; государь надел, взглянул на себя в зеркало поспешно и неуверенно, как больные глядят, провёл щёткою по волосам, зачёсанным вверх, от висков на плешивый лоб, застегнулся, оправил сюртук, чтобы складок не было, и пошёл; и по тому, как шёл, согнувшись, сгорбившись, опять видно было, что очень болен. Волконский, глядя ему вслед, бормотал себе что-то под нос, как старая няня, которая смотрит на больного ребёнка с ворчливою нежностью.

Императрица ждала государя к пяти часам, по маршруту; но прошло пять, шесть, семь, половина восьмого, а его не было; наконец, без четверти восемь, увидела в окно коляску, которая ехала шагом, с поднятым верхом. Уж не пустая ли? Нет, вот он, в тёплую шинель закутан, ноги прикрыты медвежьей полстью. Никогда не ездил шагом. Не случилось ли чего-нибудь? Не болен ли? Хотела бежать навстречу, но не посмела: он не любил, чтоб здоровались с ним, когда ещё не умылся. Решила ждать, сидела одна у себя в кабинете, прислушивалась, часики – фарфоровый пастушок со сломанною ручкою – тикают да тикают. Каждая минута казалась вечностью. Наконец позвала секретаря своего, Лонгинова, и велела ему пойти узнать, что случилось. Лонгинов пошёл и пропал. Вспомнилось ей, как во время наводнения так же посылала его, и он так же пропал. Сил больше не было ждать; встала, пошла к двери. В эту минуту слышались шаги: он! он!

Ничего не помнила, не видела, не слышала, – только чувствовала, что он с нею.

– Lise, наконец-то! Ну, слава Богу, слава Богу!

Всегда, бывало, чувствовала себя счастливее, чем он, в такие минуты свиданий, и в этом неравенстве была капля отравы; теперь её не было: первый раз в жизни почувствовала, что оба одинаково счастливы.

Опомнилась и посмотрела на него внимательно.

– Больны?

– Пустяки, не стоит об этом думать: завтра буду здоров... Ну, а вы как?

Не ответила и посмотрела на него ещё внимательнее: «Да, похудел, осунулся; но ничего; насколько было хуже в прошлом году, когда начиналась рожа на ноге, а теперь ничего, ничего не будет»...

– Ну право же, Lise, ничего не будет, – проговорил он, как будто угадал её мысли; улыбнулся ей – и она опять забылась, прижалась к нему, закрыла глаза с блаженной улыбкой; не могла быть несчастною: он с нею – и всё хорошо на веки веков.

– Ну что же мы? Садитесь же, – увидела вдруг, что ему трудно стоять. – Вот здесь, на диван. Прилягте, хотите подушку? Знобит? Наденьте шаль. Ничего, что гадкая, – никто не увидит. Это шаль моей бедной Амальхен; смешная, гадкая, а я её люблю: тёплая, милая. «Моя милая тётушка» – так и называется. Всегда в неё кутаюсь, когда озноб. Чаю хотите?

Говорила, сама хорошенько не зная что, только чувствуя, что не надо молчать.

– Да, чайку бы с лимонцем, горяченького, – сказал он детски-жалобно, и промелькнуло что-то в глазах. Что это? Нет, ничего, ничего; только не надо молчать и думать не надо.

– Ну, рассказывайте, как простудились, когда и где? Только правду, всю правду...

Он рассказал ей то же, что и Волконскому, но ещё успокоительней; торопился кончить о болезни и заговорить о другом.

– Погодите-ка, Lise, я что-то хотел?... Да, Ореанда: я ведь купил Ореанду...

Вынул из бокового кармана и разложил на столе план маленького дачного домика, только для них двоих; показывал и объяснял:

– Комнатки маленькие, пожалуй, ещё меньше этих, но уютные, светленькие, беленькие, большая терраса с колоннами, лестница к морю – всё в греческом вкусе – к месту идёт. А места-то какие, настоящий рай! Кипарисы, лавры, мирты вечнозелёные, у синего моря, у самого синего моря, как в сказках говорится. Теперь, в ноябре, ещё розы цветут.

Достал из маршрутной книжки и подал ей засушенную чайную розу.

– Понюхайте: до сих пор пахнет. И какая тишина, какая пустыня! Как хорошо нам будет вдвоём...

Помолчал и прибавил с тихой грустью:

– А я ведь когда-то думал – втроём. Ну да ничего, скоро...

Едва не сказал: «Скоро будем вместе», – слова умирающей Софьи.

Посмотрел на государыню молча, и опять промелькнуло что-то в глазах. Ей стало страшно; хотела заговорить, нарушить молчание, но уже не могла, только чувствовала, что счастье уходит из сердца, как вода из стакана с трещиной.

Вошёл князь Волконский и доложил о лейб-медице Виллие.

– Экий ты, братец! Я же говорил, не пускать. Надоел он мне со своими лекарствами, – сказал государь шёпотом. – Ну, делать нечего, пусть войдёт.

Виллие вошёл, поцеловал руку императрицы и спросил государя, как он себя чувствует.

– Отлично, мой друг! Вот чаю напился и согрелся. Озноба, кажется, нет, только маленький жар.

Виллие пощупал пульс и ничего не сказал.

– Сделай милость, Яков Васильевич, – продолжал государь, – успокой ты её, скажи, что пустяки. Не верит мне...

– Пустяки, разумеется. А всё-таки лечиться надо, ваше величество! Вы вот лекарств не хотите...

– Ну, знаю, брат, знаю... Поди-ка сюда, – подозвал он князя Волконского. – Ты думаешь, это что? – указал ему на план.

– Дом какой-то.

– А чей дом?

– Не знаю.

– Отставного генерала Александра Павловича Романова. Я ведь скоро в отставку.

– Не рано ли будет, ваше величество?

– Что за рано, помилуй: 25 лет службы, – и солдату за этот срок отставку дают. Выходи-ка и ты, брат, будешь у меня библиотекарем...

Говорили спокойно, весело; но почему-то от этого спокойствия государыне опять стало страшно: чувствовала, как вода всё уходит и уходит из стакана с трещиной.

Виллие посмотрел на часы и заметил, что государю ложиться пора.

– Так и знал, что погонишь. А мне здесь так хорошо. Ну, ладно, сейчас, – только вот простимся.

Виллие с Волконским вышли.

– Ну что, Lise, успокоились? – спросил государь, вставая.

Она хотела ответить, но опять не могла.

– Что это, право, Lise? Нельзя же так. Друг друга изводим: то вы больны, и я убиваюсь, то я болен, и вы убиваетесь. Как медведь и коза в той игрушке, знаете? – потянешь направо, медведь на козу валится; потянешь налево, коза – на медведя...

– Да нет, я ничего... А только я была так счастлива... – начала и не кончила: слёзы душили её.

– А теперь несчастны?

Обнял и поцеловал её с такою нежностью, что дух у неё захватило от счастья: стакан, хоть и с трещиной, опять до краёв наполнился.

– Милый, милый! – прижалась к нему и заплакала. – Да наградит вас Бог за всю вашу... дружбу ко мне!

Не посмела сказать: «любовь»!

– Ну, Господь с вами, – хотела перекрестить его.

– Нет, Lise, потом. Зайдите, когда лягу.

Прошёл к себе в кабинет, сел за стол и начал разбирать почту. Нашёл донесение генерала Клейнмихеля: «Описание злодейского происшествия в Грузине».

Голова болела, в глазах темнело от жара; не мог читать сплошь, только просматривал.

«По показанию смертоубийцы, покойница упала и закричала; в которое время он совершенно перерезал ей горло и отрезал ей голову, так что она осталась на одной кости...»

А в заключение: «О делах и думать ещё не возможно, но я в полной надежде, что граф не покинет их, лишь бы успеть успокоить его некоторым образом в домашнем быту».

Усмехнулся, подумал: как же его успокоить? Другую девку найти ему, что ли? Да нет, такой не найдёшь: вон отец Фотий называет «великомученицей» эту звериху в человеческом образе, которая одной своей горничной за то, что нехорошо подвила ей волосы, раскалёнными щипцами обожгла лицо.

Бросил читать; затошнило, и казалось, тошнит от того, что читает.

Увидел письмо Аракчеева, распечатал и тоже не стал читать, а только заглянул.

«Ах, батюшка, летел бы я к вам в Таганрог, ибо мне ничего так не хочется, как видеть моего благодетеля; но боль в груди так велика становится, что боюсь в сию дурную погоду и в дорогу пуститься; кажется, я не перенесу оно. Обнимаю заочно ваши колени и целую руки».

Опять усмехнулся: как бы встретил он Аракчеева, если бы тот вздумал приехать? А впрочем, за что же сердиться? «Куда вы, туда и он; что вы, то и он, а его самого нет: он ваша тень». «Да, тень моя: когда солнце было высоко, тень лежала у ног, а когда солнце зашло, тень выросла...» Исполинская тень, смешное страшилище. «Военные поселения суть жесточайшая несправедливость, какую только разъярённое зловластие выдумать могло», – вспомнился донос Алилуева и тихий плач народа: «Спаси, государь, крещёный народ от Аракчеева!» Мечтал о царстве Божьем, и вот – царство Аракчеева, царство Зверя... Да, правы *они* ...

Голова кружилась и в глазах темнело так, что казалось, вот-вот сделается дурно. Встал, подошёл к дивану и лёг; закрыл глаза; не спал, но, как во сне, видел: почтовая дорога на станции Васильевке, в 25 верстах от города Орехова, где проезжал третьего дня; тут встретил его фельдгегерь Масков с депешами из Петербурга и Таганрога; государь велел ему ехать за ним, хотел послать вперёд со следующей станции в Таганрог с письмом к государыне; сел в коляску и поехал. Дорога поворачивала круто, с горы вниз, к мосту на речке. Масков тоже сел на курьерскую тройку, крикнул ямщику: «Пошёл!» и замахнулся на него саблею с тем ошалелым ухарством, которое свойственно фельдгегерям; должно быть, выпил на станции. Ямщик погнался; тройка подхватила с места и понесла с горы; но при повороте на мост ямщик не управил, налетел на кочку; телега подпрыгнула, так что Масков вылетел, кувыркнулся в воздухе и со всего размаха ударился тычком головою о камень. Государь увидел, ахнул и велел Тарасову бежать на помощь к упавшему. А на следующей станции, в Орехове, Тарасов доложил, что Масков умер на месте от сотрясения мозга с переломом черепа. Тогда уже начинался озноб, а при докладе Тарасова усилился так, что зуб на зуб не попадал. «А что, если бы я, – подумал государь, отправил Маскова вперёд с письмом к государыне? Написал бы так: «Je vous envoie Maskoff et je le suis de pres. Посылаю вам Маскова и следую за ним тотчас». Ведь было бы то же, как свечи днём, к покойнику...»

Теперь, лёжа на диване с закрытыми глазами, видел, как Масков падает, и слышит костяной стук, треск черепа. «Вот отчего голова так болит, от этого костяного треска трещит голова... Какая гадость! Уж лучше встать...»

Встал, подошёл к столу и опять начал разбирать бумаги; долго чего-то искал; наконец нашёл: безымянное письмо, один из тех нелепых доносов, которых он так много получал в последнее время. Помнил его почти наизусть; не надо бы больше читать; но не мог удержаться.

«Ваше императорское величество! В Священном Писании, а именно в 81-м псалме о владыках и царях земных, сказано: бози есте и сынове Вышняго вси; вы же яко Чловецы умрёте. Государь! верноподданным себя не почитаете и даже воспретили то указом Св. Синоду во всех церквах, публично, ибо смертный час помните.

Ваше величество, как верноподданный и хотя тайный, но истинный друг ваш и сын отечества, умоляю вас именем Вышнего, помните сей час, – помните ныне больше, чем когда-либо, ибо оный уже наступает: адские замыслы извергов уже совершаются.

До сих пор написано было по-русски, а дальше – по-французски, безграмотно:

«Долго сомневались убийцы, какое именно оружие избрать, – пулю, кинжал или яд; наконец избрали последнее. Может быть, уже поздно, – уже отравы течёт в ваших жилах. Но, если не поздно, берегитесь всех, кто вас окружает; берегитесь вашего камердинера, вашего повара, вашего доктора; никому не верьте; все – изменники, все подкуплены; вы окружены убийцами. Хлеб, который вы едите, отравлен; лекарства, которые вам дают, отравлены. Прежде чем есть или пить, заставляйте отведывать подающих вам. Помните об этом днём и ночью, каждый день, каждый час, каждую минуту; помните, что отравы может быть везде. Мало ли от чего умирают люди? От угара, от нелужёной посуды, от толчёного стекла в хлебе. Убьют вас, отравят медленным ядом и скажут потом, что вы естественной смертью умерли.

Пишу сие от чистого и верноподданныческим жаром пламенеющего сердца, познав ужас адских замыслов. Да поможет вам Бог!

Раскаившийся изверг и отныне по гроб жизни верноподданный ваш».

Да, не надо было читать: глупо, гадко, тошно тошнотой смертной. Вдруг вспомнил что-то и удивился: как же так, ведь сжёг письмо? Полно, сжёг ли? Да ясно помнил, как это было: получил письмо, а на следующий день, утром, за чаем, нашёл в сухаре камешек; послал за Дибичем, показал ему сухарь и велел узнать, что это и как могло попасть в хлеб. «Я не хочу, – сказал, – поручать это Волконскому, потому что он старая баба и ничего не сумеет сделать, как следует». Дибич позвал Виллие; тот нашёл, что это простой камешек; а пекарь извинился, что он попал в сухарь по неосторожности. Государь хотел показать Дибичу донос об отраве, но стало стыдно и страшно не того, чем грозил донос, а того, что он мог ему поверить; пошёл к себе в кабинет, отыскал письмо и сжёг.

Откуда же оно теперь взялось? «С ума я схожу, что ли?» Вертел его в руках, шупал, рассматривал, как будто надеялся, что оно исчезнет; нет, не исчезло. Поднёс к свече, хотел сжечь, не горит; бросил, не падает; липнет, липнет, не отстаёт, точно клеем намазано. А свечи тускло горят, как тогда, днём – к покойнику, и чёрно-жёлтый туман наполняет комнату; и кто-то стоит за спиной. Не глядя, не оборачиваясь, он знает кто: старичок белобрысенький, лысенький; голубенькие глазки, «совсем как у телёночка», как у него самого в зеркале; бродяга бездомный, беспаспортный, родства не помнящий, Фёдор Кузьмич.

Вскрикнул, очнулся и увидел, что лежит на диване; понял, что не вставал и что всё это бред.

Отворилась дверь, вошла государыня.

– Не легли ещё?

– Нет, Lise, я вас жду.

– Я стучалась, не слышали?

– Не слышал, оглох, всегда от жара глохну. Помните, в прошлом году, когда рожа начиналась, тоже оглох? As dief as pots. (Глух, как горшок.) Ну, поцелуйте меня. Сейчас лягу. Мне теперь хорошо, совсем хорошо, – улыбнулся он так искренно, что она почти поверила, – не беспокойтесь же, мой друг, спите с Богом...

Перекрестила его и поцеловала.

Когда ушла, Егорыч постучался в дверь. Стучался долго, но государь опять не слышал, и тот, наконец, вошёл.

– Раздеваться прикажете, ваше величество?

– Раздеваться? Да... нет, потом. Позвоню.

Егорыч подошёл к столу и стал снимать со свечей.

– А знаешь, Егорыч, я ведь очень болен, – сказал государь.

– Пользоваться надо, ваше величество!

«Он всегда знает, что надо», – подумал государь; но спокойствие Егорыча было ему приятно.

– Нет, брат, где уж, – продолжал, помолчав. – А свечи-то помнишь?

– Какие свечи?

– Ну как же, ты сам говорил: свечи днём – к покойнику...

– Избави Господи, ваше величество! – пробормотал Егорыч, бледнея, и начал креститься.

– Ну, чего ты, дурак? Пошутить нельзя. Небось тебя хоронить буду... Ступай.

Егорыч вышел, всё ещё крестясь; лица на нём не было: любил государя.

А тот встал и начал ходить взад и вперёд по комнате, хотя ещё сильнее знобило и каждый шаг отдавался в больной голове; но лечь было страшно, как бы опять не забредить. И надо было что-то обдумать, решить окончательно. Что с ним? Да, болен, – может быть, очень болен. Но чего же так испугался? Смерти? Нет, не смерти. Да и не верит, что умрёт. Егорыча только испытывал и удивился, что он так легко поверил. Нет, не смерти, а чего-то страшнее, чем смерть... «Хлеб, который вы едите, отравлен; вода, которую вы пьёте, отравлена; воздух, которым вы дышите, отравлен; лекарства, которые вам дают, отравлены...» А кстати, был ли донос? Был, конечно, был, и он сжёг его тогда же, после камешка в хлебе: это не бред, это он и сейчас, наяву, помнит. Но неужели же, неужели поверил тогда и теперь ещё верит? А бумажка-то, видно, в бреду к пальцам прилипла недаром, – вот и к душе липнет... Какая гадость! Остановился, поднёс руки к глазам, посмотрел, как ногти посинели от озноба, а может быть, от чего-нибудь другого; языком почмокал, пробуя, какой вкус во рту: да, всё то же, как будто металлический, и слюна, и тошнота, и гнилая отрыжка, эта медленно-медленно, отвратительно сосущая боль в животе; совсем как тогда, в Бахчисарае, когда выпил прокисший сироп. «Может быть, уже поздно; может быть, отрава уже течёт в ваших жилах...» Вдруг злоба охватила его. Неужели же он в самом деле дошёл до того? Камешек в хлебе, прокисший сироп – да ведь это сумасшествие!

Ну конечно, отравлен. О, какой медленный, медленный яд! Ещё тогда, в ту страшную ночь 11 марта, отравился им. И они это знают. Правы они – вот в чём сила их, вот чем они убивают его издали; ведь есть такое колдовство: сделать человека из воска, проколоть ему сердце иголкой, – и враг умирает. Да, яд течёт в жилах его: этот яд – страх. Страх чего? О, если бы чего-нибудь. Но давно уже – понял, что страх безотчётный, бессмысленный, тот подлый животный страх, от которого холодеют и переворачиваются внутренности и озноб трясёт так, что зуб на зуб не попадает. Страх страха. Это как два зеркала, которые, отражаясь одно в другом, углубляются до бесконечности. И свет сознания, как свет свечи между двумя зеркалами, тускнеет, меркнет, уходя в глубину бесконечную, – и темнота, темнота, сумасшествие...

Вдруг вспомнилось, как брат Константин, ещё мальчиком, из шалости, отравил собаку, дав ей проглотить иголку в хлебном шарике. «Ну что ж, собаке собачья смерть!» – усмехнулся со спокойным презрением. И в этом презрении всё потонуло – боль, стыд, страх.

Позвонил камердинера, быстро, молча разделся и лёг. Ночь провёл дурно, без сна, но к утру сделался пот, и он заснул.

На следующий день встал почти без жара; только был слаб и жёлт, «жёлт, как лимон», пошутил, взглянув на себя в зеркало. Оделся, умылся, побрился, всё как всегда. Войдя в кабинет, стал у камина греться; Волконский по бумагам докладывал, а государь всё просил его говорить громче: плохо слышал. «As dief as pots», – опять пошутил.

Весь день был на ногах, в сюртуке. К обеду сделался жар. Виллие хотел ему дать лекарства, но он сказал, что примет вечером, а когда тот настаивал, прикрикнул на него:

– Ступай прочь!

Обедал с государыней; суп с перловой крупой; съел и сказал:

– У меня больше аппетита, чем я думал.

Потом – лимонное желе. Отведал и поморщился:

– Какой странный вкус! Попробуйте.

– Может быть, кисло?

– Да нет же, нет, какой-то вкус металлический. Разве не слышите?

Велел позвать метрдотеля Миллера, заставил и его попробовать.

– Я уж не в первый раз замечаю. Смотри, брат, хорошо ли лудят посуду?

После обеда дремал на диване, а государыня читала книгу. Виллие опять завёл речь о лекарстве.

– Завтра, – сказал государь.

– Вы обещали сегодня.

– Экий ты, братец! Ну, что мне с тобою делать? Ведь если на ночь приму, спать не буду.

– Будете. До ночи подействует.

Государыня смотрела на него с умоляющим видом.

– Вы думаете, Lise?..

– Да, прошу вас.

– Ну ладно, давай.

Виллие пошёл готовить лекарство и через полчаса принёс восемь пилюль.

– Что это? – спросил государь.

– Шесть гран каломели³¹³ и полдрахмы корня ялалпы.³¹⁴ Ваше обыкновенное слабительное.

– Каломель – ртуть?

– Да, сладкая ртуть.

– Яд?

– Все лекарства суть яды, ваше величество: по русской пословице, одно дерево другим деревом...

– Клин клином вышибай?

– Вот именно: яд – ядом; яд болезни – ядом лекарства.

Проглотил пилюли и пошёл к себе. Вечер провёл опять с государыней. Болтали весело или как будто весело, о таганрогских сплетнях, о председательше, Ульяне Андреевне, которую поймали с подзорною трубкою на чердаке, когда она в окна дворца заглядывала; вспомнили, что сегодня – 6 ноября, канун годовщины петербургского наводнения. «Даст Бог, этот год будет счастливее!»

Вдруг встал и попросил её выйти.

– Что с вами?

– Ничего. Кажется, лекарство действует.

Отлично подействовало; стало легче, жар уменьшился.

– Ну вот видите, Lise, говорил вам, что вздор, ничего не будет.

– Слава Богу! А вы ещё принимать не хотели.

Но на следующий день признался ей, что вчера просил её уйти не потому, что лекарство подействовало, а такая тоска вдруг напала, что не знал, куда деваться, и не хотел, чтобы кто-нибудь видел его в этом состоянии.

Приехал в Таганрог в четверг; пятницу, субботу, воскресенье всё ещё был болен; ни хуже, ни лучше или то хуже, то лучше; а когда спрашивали, как он себя чувствует, отвечал всегда одно и то же:

– Хорошо, совсем хорошо!

Не изменял порядка жизни. Весь день – на ногах, в сюртуке; а если уж очень знобило, кое-как примащивался на диване, укрываясь одеялом или старой меховой шинелью. В те же часы вставал, ложился, обедал, ужинал. Садясь за стол, чтобы выпить стакан хлебной или яблочной воды с черносмородинным соком, крестился, как перед настоящим обедом; пил и похваливал:

– Прекрасный напиток, освежающий! Волконский мне дал, а ему сестра, а ей какой-то знакомый, в дороге. Очень, говорят, от жёлчи пользует, лучше всех лекарств...

³¹³ Каломель – однохлористая ртуть, средневековое лекарство-«панацея» от множества болезней (сифилис, брюшной тиф, понос и т. д.).

³¹⁴ Корень ялалапы настоящей, мексиканского растения семейства вьюнковых, использовался как слабительное средство.

А на Виллие смотрел волком; когда тот предлагал ему самое невинное слабительное, – молчал, хмурился или отшучивался:

– Эх, Яков Васильевич, надоел ты мне хуже горькой редьки!

И, наконец, сердился:

– Оставь меня в покое! И как вы не видите, что я от ваших лекарств болен? Стоит принять, чтобы сделалось хуже... Продолжал заниматься делами или притворялся, что занимается.

– Поменьше бы бумаг читали, ваше величество! Вам хуже от того, – говорил Волконский.

– Рад бы, мой друг, да не могу: привычка. Как не позаймусь – пустота в голове. Если выйду в отставку, буду целые библиотеки прочитывать, а то с ума сойду от скуки.

В обычные часы отсылал государыню гулять:

– Отчего вы не гуляли сегодня? Погода такая прекрасная. Вам надо пользоваться воздухом.

Она не смела сказать, что ей страшно уйти от него. Когда несколько часов не видела его и вдруг вглядывалась в лицо его, – страх жалил ей сердце не очень больно, тупо; так злые осенние мухи кусаются. А потом опять надежда; то страх, то надежда, – как летнюю ночью в тихом воздухе, то тёплая струя, то холодная. Но и сквозь страх – знакомое счастье, та особенная уютность, которую всегда испытывала во время болезни его: точно он маленький, а она нянчится с ним.

Приносила ему газеты, журналы. Особенно любил он модные: понимал толк в женских модах. Рассматривали вместе картинки: раскладывали ракушки, которые собрали на морском берегу, у карантина.

– Вы приносите мне игрушки, как ребёнку, моя милая маменька! – смеялся он.

Только что становилось легче, болтал, шутил, строил планы, как они будут жить в Ореанде, или рассказывал анекдоты таганрогские: о депутации калмыцких князей, которые, услышав клавесин у полковника Фредерикса, дворцового коменданта, сначала испугались, а потом пришли в такой восторг, что нельзя было на них смотреть без смеха; об уездном лекаре, французе Менье, хвастунишке ужасном, который носит какой-то персидский орден вместо звезды и зелёную ленту через плечо, уверяя, будто бы лечил самого шаха и весь его гарем, «*et que peut etre on verra un jour un chach de ma facon*».³¹⁵

Однажды зашла у них речь о Байроне; государыня в то время читала последние песни Дон Жуана, где говорится о русском царе не совсем уважительно.

– Гений его уподобляется блеску зловредного метеора, – сказал государь, – поэзия Байронов родит Зандов и Лувелей. Прославлять её есть то же, что восхвалять убийственное оружие, изощрённое на погибель человечества. Такое употребление таланта не заслуживает чести, приписываемой гению, и достоинства иметь не может, особенно между христианами...

Она возражала, доказывала, что Байрон – заблудший, но не злой человек.

– А кстати, – заметил он, – нынче завелись у нас свои Байроны. Ваш любимый Пушкин...

– Да, любимый! А вы его за что не любите? Он – слава России, слава вашего царствования...

– Ну, полно, мой друг, избави нас Бог от такой славы! Наводнил Россию стихами возмутительными. Этот человек на всё способен. Говорят, отца своего чуть не убил...

– Неправда! Неправда! Клевета презренная! Как вы можете? Ведь вы же сами знаете, вам Жуковский говорил!.. – закричала она и вдруг испугалась: «Что это я? На больного кричу!» – испугалась и обрадовалась: значит, не очень болен.

А когда делалось хуже, – уходил к себе в кабинет, прятался от неё или, ложась на диван, просил её читать книгу и не обращать на него внимания. Она делала вид, что читает, но смотрела на него из-за книги, украдкой, и опять страх жалил ей сердце не очень больно, тупо, как злая осенняя муха.

Однажды он спал, а она сидела рядом, с книгою; вдруг он открыл глаза, поглядел вокруг, как будто с весёлою улыбкою, и тотчас же опять закрыл их, заснул. Только впоследствии, в

³¹⁵ И что, может быть, однажды увидят и шаха с таким же орденом (фр.).

ужасные минуты, поняла она, что значила эта улыбка.

В ночь с воскресенья на понедельник был сильный пот, так что несколько раз пришлось менять бельё. На следующий день лихорадки не было. Виллие торжествовал и объявил, что болезнь можно считать пресечённой: если даже вернётся лихорадка, то сделается перемежающейся и скоро совсем пройдёт. «*Febris gastrica biliosa* – лихорадка желудочно-жёлчная», – назвал он болезнь, и все успокоились.

Государь запрещал писать в Петербург о том, что он болен.

– Боюсь я экстрапocht, как бы не напугали матушку.

Последняя почта была задержана, а. со следующей, в понедельник, когда ему стало лучше, он велел написать императрице Марии Феодоровне и цесаревичу, что был болен и что болезнь проходит; велел также Дибичу послать курьера за князем Валерьяном Михайловичем Голицыным.

«Слава Богу, ему гораздо лучше, – писала в тот же день государыня матери своей, герцогине Баденской. – Даст Бог, когда вы получите это письмо, не будет больше и речи о его болезни».

Но в тот же день к вечеру опять сделалось хуже. Всё ещё бодрился, начал рассказывать анекдот о калмыках, – должно быть, забыл, что она уже знает.

– А почему вы не носите траура по короле Баварском?³¹⁶ – спросил неожиданно.

– Я сняла по случаю вашего приезда, а потом не захотелось надевать.

– Почему не захотелось? – опять спросил и посмотрел на неё так, как на Егорыча, когда спрашивал его о свечах.

Покраснела; сама не понимала, почему, – не думала об этом и только теперь, когда он спросил, поняла.

– Я завтра надену, – сказала поспешно.

– Нет, всё равно...

Вошёл Виллие, и по тому, как лицо его вытянулось, когда он взглянул на больного, она увидела, что плохо.

Лежал на диване, под старой шинелью, с фланелевым набрюшником на животе, и, закрыв глаза, думал, надо ли будет ещё раз вставать за нуждою или так обойдётся. Думал об этом и смотрел на выплывавшее из мутно-красной мглы воспалённых век недвижимое, как из меди изваянное, лицо Наполеона; оно приближалось к нему, и крепко сжатые, тонкие губы раскрывались, шевелились, говорили; он знал, что что-то важное, нужное, от чего зависит его спасение или погибель, но расслышать не мог: был «глух, как горшок».

Вдруг лицо Наполеона исчезло, и на месте его появилось лицо Егорыча. Губы его так же раскрывались, шевелились беззвучно.

Очнулся и понял, что Егорыч действительно стоит перед ним.

– Ну чего тебе? Громче, громче! Что это, право, всё вы шепчетесь?

– Полковник Николаев, ваше величество! Принять прикажете? – прокричал Егорыч.

Государь вспомнил, что вчера, когда ему лучше было, велел прийти Николаеву. Но теперь чувствовал себя так плохо, что не знал, хватит ли сил. Наконец сказал Егорычу:

– Принять.

Ещё в первые дни по приезде в Таганрог заметил государь лейб-гвардии казачьего полка полковника Николаева, командира таганрогского дворцового караула; ему понравилось лицо его, обыкновенное, не очень красивое, не очень умное, но такое открытое, честное, доброе, что когда, представляясь государю, крикнул он по-солдатски: «Здравия желаю, ваше императорское величество!» – государь невольно улыбнулся и подумал: «Какой молодец!» И потом, встречаясь с ним, всегда улыбался, а Николаев смотрел ему прямо в глаза с тою восторженно-преданной влюблённостью, которую государь ценил в людях больше всего.

В конце сентября, получив от Аракчеева письмо Шервуда с просьбой выслать в Харьков надёжное лицо для принятия окончательных мер к открытию заговора, – решил послать Николаева, но всё откладывал, а потом, уже больной, мучился, что не успеет, пропустит

³¹⁶ Баварский король Максимилиан-Иосиф умер 13/25 октября 1825 г.

назначенный срок – 15 ноября. Вот почему принял его теперь: сегодня 10-е – только пять дней до 15-го.

Когда Николаев вошёл, государь велел ему запереть дверь на ключ и сесть поближе; начал расспрашивать, кто его родители, где он воспитывался, где служил и в каких походах участвовал: чем больше вглядывался в него, тем больше он ему нравился.

– У меня к тебе важное дело, Николаев!

– Рад стараться, ваше величество!

Государь закрыл глаза и вдруг почувствовал, что говорить не может. Кровь застучала в виски, и в глазах потемнело так, что, казалось, вот-вот лишится чувств. Долго молчал; наконец, с таким усилием, как смертельно раненный вытаскивает железо из раны, начал:

– В России существует политический заговор...

И рассказал всё, что нужно было знать Николаеву о тайном обществе.

– Поезжай в Харьков; надобно быть там не позже пятнадцатого, дабы схватить бумаги, посланные в Петербург прапорщиком Вадковским с поручиком графом Николаем Булгари; в бумагах найдёшь список заговорщиков. А что делать потом, Шервуд скажет.

Подумал и прибавил:

– Советы и объяснения Шервуда принимай с осторожностью... Ну, что ещё? Да, смотри, чтоб никто не узнал. Никому не говори, слышишь?

– Слушаю-с, ваше величество!

Государь встал и пошатнулся. Николаев бросился к нему, поддержал его и помог дойти до стола. Он отпер шкатулку, вынул деньги, подорожную на имя Николаева и предписание начальника главного штаба, генерала Дибича, унтер-офицеру Шервуду. Со вчерашнего дня всё было готово. В предписании сказано:

«По письму вашему от 20 сентября к господину генералу от артиллерии графу Аракчееву, отправляется, по высочайшему повелению, в город Харьков лейб-гвардии казачьего полка полковник Николаев с полною высочайшею доверенностью действовать по известному вам делу».

Отдал ему всё, вернулся на диван и лёг.

– Понял?

– Точно так, ваше величество, – ответил Николаев и, подумав, спросил: – Заговорщиков арестовать прикажете?

Государь ничего не ответил, опять закрыл глаза; знал, что стоит ему произнести одно слово: «арестовать», – и всё сделано, кончено, железо из раны вынуто – и он спасён, исцелён; знал – и не мог сказать этого слова; чувствовал, что железо перевернулось в ране, но не вышло.

– Заговорщиков арестовать прикажете, ваше величество? – повторил Николаев, думая, что государь не расслышал.

Тот открыл глаза и посмотрел на него так, что ему страшно стало.

– Как знаешь. Я тебе верю во всё...

– Слушаю-с, – проговорил Николаев, бледнея.

– Ну, с Богом... Нет, погоди, дай руку.

Николаев подал ему руку, и государь долго держал её в своей, долго смотрел ему в глаза молча.

– Верный слуга? – произнёс наконец.

– Точно так, ваше величество! – ответил Николаев, и в глазах его засияла восторженно-влюблённая преданность. – Об одном Бога молю: жизнь положить за ваше величество...

– Ну, вот ты какой хороший... Спасибо, голубчик! Помоги тебе Бог! Дай перекрещу.

Николаев стал на колени и заплакал; государь обнял его и тоже заплакал.

В тот же день вечером он лежал у себя в кабинете. Государыня сидела рядом, как всегда, с книгою и, как всегда, не читая, смотрела на него украдкой.

– Отчего у вас глаза красные, Lise?

– Голова болит. Рано закрыли печку в спальне; должно быть, угорела...

Сконфузилась, лгать не умела; глаза были красны, потому что плакала. Он посмотрел на неё и подумал: «Не сказать ли всего? Нет, поздно... И зачем мучить? Вон у неё какие глаза, –

как у той загнанной лошади с кровавою пеною на удилах. Бедная! Бедная!»

– Дайте руку.

Поцеловал руку и улыбнулся.

– Ну полно, полно, будьте же умницей!

Виллие готовил питьё в стакане, подошёл к нему и подал.

– Что это?

– Несколько капель *acidum muriaticum*. Вы на дурной вкус во рту всё жаловаться изволите, так вот, прочистит.

Государь молча отвёл руку его; но Виллие опять подал.

– Извольте выпить, ваше величество!

– Не надо.

– Прошу вас, выпейте...

– Не надо! Ступай прочь!

Виллие продолжал совать стакан. Государь схватил его и бросил на пол.

– К чёрту! Убирайтесь все к чёрту! Убийцы! убийцы! отравители! – закричал он, и лицо его, искажённое бешенством, сделалось похоже на лицо императора Павла I.

Государыня выбежала из комнаты. Виллие отошёл и закрыл лицо руками. Егорыч, ползая по полу, подбирая осколки стекла.

Государь упал в изнеможении на подушки и несколько минут лежал, не двигаясь; потом взглянул на Виллие и сказал:

– Яков Васильич, а Яков Васильич, где же ты? Поди сюда. Ну, не сердись, помиримся... Как же ты не видишь, что я имею свои причины так действовать?

– Какие же причины, ваше величество? Если вы мне не доверяете, позовите другого врача. Но не могу, не могу я видеть, как вы себя убиваете...

Заплакал. Государь посмотрел на него с удивлением: никогда не видел его плачущим.

– Послушай, мой друг, я не хуже твоего знаю, что мне вредно и что полезно. Мне нужно только спокойствие...

Помолчал и прибавил по-французски:

– Обратите внимание на мои нервы, они очень расстроены. Не раздражайте же их пустыми лекарствами...

Виллие ничего не ответил и задумался.

– Замучил я тебя, Яков Васильевич, – улыбнулся государь своей доброй улыбкой и пожал ему руку. – Скажи Тарасову, пусть посидит у меня, а ты ступай, отдохни.

«Не верит мне», – подумал Виллие и обиделся; но заглушил обиду: любил, жалел его, так же как Волконский и Анисимов.

– Ваше величество, лечитесь у кого угодно, – только, ради Бога, лечитесь! Ну, если не хотите лекарств, можно кровь пустить...

– Кровь пустить? – повторил государь и посмотрел на него, усмехаясь. – А тебе не страшно?

– Что же тут страшного? Пустое дело...

– Пустое дело – кровь? – продолжал государь усмехаться. – Страшно видеть кровь человеческую, а кровь царя – ещё страшнее? Или всё равно – одна кровь?.. Знаю, брат, ты мастер кровь пускать. Дело мастера боится, но есть дела, которых сам мастер боится... Нет, не надо крови!

Сложил руки молитвенно и прошептал:

– Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего!

И опять посмотрел на него.

– Какое дело, мой друг, какое ужасное дело! – произнёс так, что Виллие подумал: «Бредит», – потихоньку встал, вышел и послал к нему Тарасова.

– Я ни за что не отвечаю, – говорил Виллие Волконскому. – Всё идёт худо, и надо ждать самого худшего. Никого не хочет слушаться. Упрям...

Едва не повторил слова Наполеона: «Упрям, как мул».

– Самодержавный, – да ведь болезнь ещё самодержавнее. И что с ним? что с ним? – Прибавил задумчиво: – Если бы только знать, что с ним такое?..

– Не лихорадка, вы думаете? – Волконский.

– Нет, я не о том, – возразил Виллие, – тут не болезнь, не только болезнь...

Говорили в проходной зале-приёмной, рядом с кабинетом государевым. Было темно, и в самом тёмном углу государыня, стоя лицом к стене, плакала. Они её не видели. Она прислушалась и вдруг перестала плакать; вышла потихоньку из комнаты и прошла к себе в кабинет; легла ничком на диван, уткнув лицо в подушку. Всё застыло в ней, окаменело, замерло.

«Что с ним? Что с ним? Заговор! Тайное общество – вот что. А я и забыла, о себе думала, а о нём забыла. Он умирает от этого, и я ничего, ничего, ничего не могу сделать!»

Вдруг вспомнила, как в ту последнюю ночь перед его возвращением из Крыма была счастлива и, глядя на звёзды, плакала, молилась, благодарила Бога. Да, Бог наказывает её за то, что она слишком любит. Но зачем же именно тогда, когда она была так счастлива? Зачем? За что?

Следующие три дня, от 11 до 13 ноября, всё было по-прежнему; опять ни хуже, ни лучше или то хуже, та лучше. Болезнь играла с ним, как кошка с мышью. Всё ещё утром вставал, одевался, но уже ходил с трудом и большую часть дня лежал на диване. Видимо слабел. Жар не прекращался. Лихорадка из перемежающейся сделалась непрерывной. О *febris gastrica biliosa* доктора уже не говорили, боялись горячки; особенно пугала их сонливость больного; не позволяли ему много спать, будили.

– Не будите меня, дайте поспать, – просил он жалобно. – Оставьте меня в покое, ради Бога, оставьте! Мне нужно только спокойствие. И мне так хорошо, спокойно...

И опять засыпал.

«А ведь это смерть? – подумал однажды. – Ну что ж, смерть так смерть, и слава Богу!»

Страха не было, а было разрешение, освобождение последнее; была надежда бесконечная, тот зов таинственный, который слышался ему когда-то в кликах журавлиных и в падении кометы стремительном.

В одну из редких минут полного сознания позвал Дибича и спросил:

– Послан ли курьер за Голицыным?

– Точно так, ваше величество, – ответил Дибич и хотел ещё что-то сказать, но государь был так плох, что он вышел, ничего не сказав.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром, в субботу, 14 ноября, в обычный час, в половине седьмого, государь встал, оделся, перешёл из кабинета в уборную с помощью Егорыча, потому что был очень слаб, сел за маленький туалетный столик с круглым зеркалом и велел подать бриться. Егорыч подал тёплой воды, тазик с мылом и бритвы. Государь начал бриться; руки у него тряслись от слабости; сделал порез на подбородке, увидел кровь, побледнел, пошатнулся, не удержался на стуле и свалился на пол. Столик опрокинулся, зеркало разбилось.

Егорыч, вышедший на минуту из комнаты, вбежал на грохот падения и, увидев государя, лежавшего на полу без чувств, бросился из уборной в кабинет, залу и дальше по всем комнатам.

– Помогите! Помогите! Государь кончается!

Весь дом всполошился. Люди закричали, забегали, заметались без толку.

Прибежал Виллие; увидев кровь на подбородке и шее государя, подумал, что он зарезался, и так перепугался, что сам едва не лишился чувств.

А государь всё ещё лежал на полу, и никто ничего не делал, только ахали да охали. Анисимов крестился и всхлипывал. Императрицын лейб-медик, старичок Штофреген, старался откупорить склянку с одеколоном, но всё не мог. Волконский, в одном белье, в шлафроке, стоя в дверях и остолбенев от ужаса, загораживал вход. Государыня, вбегая в комнату, должна была оттолкнуть его. Полураздетая, в сбившемся ночном чепчике, только что вскочила она с постели. Взглянув на государя, подумала, что он умирает, но не потерялась, как все: лицо её сделалось вдруг спокойным и решительным. Велела поднять его и перенести в спальню.

Перенесли и уложили на узкую походную кровать, на которой он всегда спал. Когда Виллие стёр мыло с подбородка и увидел, что кровь сочится из ничтожной царапины,

сделанной бритвою, то успокоился и успокоил государыню, что это простой обморок от слабости. В самом деле, государь скоро очнулся.

– Что это было, Lise?

– Ничего, мой друг, вам сделалось дурно, и мы перенесли вас на постель.

– Напугал я вас? Какие глупости... Зачем?.. – говорил он, видимо ещё не совсем понимая, что говорит, – А где же он?..

– Кто он?

Но государь ничего не ответил и оглянулся, как будто только теперь пришёл в себя.

– Ступайте же, ступайте все! Скажите им, Lise, чтоб ушли. Никого не надо. Я хочу спать...

Закрыв глаза и впав в забытё. Оно продолжалось весь день. Был сильный жар. Тяжело дышал, стонал и метался, жаловался на головную боль, особенно в левом виске. Кожа на затылке и за ушами покраснела; лицо подёргивала судорога; глотал с трудом.

Доктора опасались воспаления мозга; предложили поставить за уши пиявки, но он и слышать не хотел, кричал:

– Оставьте, оставьте, не мучьте меня, ради Бога!

В тот же день ночью, в приёмной зале, рядом с кабинетом, доктора совещались, в присутствии государыни и князя Волконского.

– Он в таком положении, что сам не понимает, что говорит и что делает. Надо употребить силу, иного средства нет, – говорил Виллие.

– Есть ещё одно, – возразил Волконский.

– Какое же?

– Предложить его величеству причаститься, наставя духовника, дабы старался увещевать его к принятию лекарств.

Все замолчали, ожидая, что скажет государыня.

– Вы думаете, Виллие?.. – начала она и не кончила.

– Да, если бы, ваше величество...

– Сейчас?

– Чем скорее, тем лучше.

Лицо её сделалось таким же спокойным и решительным, как давеча. Перекрестилась, вошла в комнату больного и села к нему на постель. Он посмотрел на неё внимательно.

– Что вы, Lise?

– У меня к вам просьба, – заговорила она по-французски. – Так как вы отказались от всех лекарств, то, может быть, согласитесь на то, что я вам предложу?

– Что же?

– Причаститься.

Он знал, что умирает, а всё же удивился:

– Разве я так плох?

– Нет, мой друг, – ответила она, и лицо её сделалось ещё спокойнее. – Но всякий христианин употребляет это средство в болезнях...

– Позовите Виллие, – сказал государь.

Виллие вошёл.

– Разве я так болен, что причаститься надо? Говори правду, не бойся.

– Не могу скрыть от вашего величества, что вы находитесь в опасном положении...

– Хорошо, позовите священника.

Послали за соборным протоиереем, о. Алексеем Федотовым, тем самым, что на именинной кулебяке у городничего Дунаева предсказывал: «Будет вам всем шиш под нос!»

О. Алексей любил выпить и в эту ночь, после четырёх купеческих свадеб в городе, был пьян. Когда пришли за ним из дворца, мать-протопопица долго не могла его добудиться; когда же наконец он очнулся и понял, куда и зачем его зовут, то испугался так, что руки, ноги затряслись. «Кондрашка едва не хватил», – рассказывал впоследствии. Вылив себе ушат холодной воды на голову, кое-как оправился и поехал во дворец.

В это время у больного сделался пот с такой изнуряющей слабостью, что доктора сочли нужным подождать с причастием.

В пять часов утра он спросил:

– Где же священник?

О. Алексея ввели в комнату.

– Поступайте со мною, как с христианином, забудьте моё величество, – сказал ему государь то, что говорил всем духовникам своим.

Началась исповедь.

Сколько раз думал он об этой минуте и хотел представить себе, что будет чувствовать, когда наступит она, но вот наступила, и ничего не почувствовал. Говорил о самом стыдном, страшном, тайном в жизни своей и, глядя на седую, почтенную бороду о. Алексея, замечал, как она гладко, волосок к волоску, расчёсана; смотрел на жиром заплывшие, всегда весёлые и плутоватые, а теперь испуганные глазки его и думал: «Нет, не забудет он моё величество»; заметил также, что петельки на тёмно-лиловой шёлковой рясе его неровно застёгнуты, должно быть, второпях; самый верхний крючок остался без петельки; смотрел на красно-сизые жилки на носу его и думал: «Должно быть, пьёт». И вдруг опомнился: «Что это я, что это я, Господи! в такую минуту!..» Хотел ужаснуться, но ужаса не было, – ничего не было, кроме скуки и желания поскорее отделаться.

Когда исповедь кончилась, все вошли в комнату, и государь причастился.

Подходили, поздравляли его. И глядя на торжественные лица, он чувствовал, что надо сказать что-то, чтоб соблюсти приличие. Оглянувшись, нашёл глазами государыню и произнёс внятно, раздельно, нарочно по-русски, чтобы все поняли:

– Я никогда не был в таком утешительном положении, как теперь. Благодарю вас, мой друг!

«Ну, кажется, всё? – подумал. – Нет, ещё что-то».

О. Алексей опустил на колени, держа в одной руке крест, в другой – чашу. Государь посмотрел на него с недоумением.

– Что ещё? Что такое? Встаньте же, встаньте! Разве можно на коленях с чашею?..

Коленопреклонение перед ним священников всегда казалось ему кощунственным. Сколько раз приказывал, чтоб этого не было, – и вот опять, в такую минуту.

– Вы ухаживали душу, государь; от лица всей церкви и всего народа молю вас: ухаживайте же и тело, – говорил о. Алексей, видимо, слова заученные.

– Встаньте, встаньте, – повторял государь с отвращением.

Но о. Алексей не вставал.

– Не отказывайтесь от помощи медиков, ваше величество, извольте пиявки...

– Не надо, не надо, оставьте! – начал государь и не кончил, махнул рукою с бесконечною скукою: – Ну хорошо, делайте что знаете...

Духовник отошёл, и врачи приступили. Поставили 35 пиявок к затылку и за уши; к рукам и к бёдрам – горчичники; холодные примочки на голову; поставили также клистир и начали давать лекарства внутрь. Возились часа два. Он уже ничему не противился. Когда кончили, так ослабел, что впал в забытие, похожее на обморок.

Поздно ночью дежурный лекарь Тарасов вышел посоветоваться о чём-то с Виллие; в комнате больного никого не было, кроме Анисимова. Государь очнулся и велел Егорычу снять горчичники.

– Доктора не велят, ваше величество! Потерпите...

– Сам потерпи! – крикнул государь и начал срывать горчичники.

Егорыч помог ему; он опять забылся; потом вдруг открыл глаза и заговорил изменившимся голосом:

– Егорыч, а Егорыч, где же он?

– Кого изволите, ваше величество?

– Кузьмич, Фёдор Кузьмич, будто не знаешь? – шептал государь быстрым, слабым шёпотом. – На базаре тут старичок один, странничек; по большим дорогам ходит, на построение церквей собирает, – Фёдор Кузьмич... Сходи узнай. Да поскорей, поскорей, а то поздно будет. Поговорить с ним надо, Егорыч, голубчик, ради Бога! Только чтоб никто не знал, слышишь? Сохрани Боже, Дибич узнает – плетью заперет, скажет: бродяга беспаспортный...

Егорыч бледнел и крестился; понимал, что он бредит; но казалось, что это неспроста и что

не всё в этом бреде бред.

– Ну, чего ты? Чего боишься? – продолжал государь. – Сказано: человек Божий. Куда лучше нас с тобой. Вот бы кого на царство-то! Помазанник Божий, воистину... Да нет, не пойдёт, что ему? Он и без царства царь. Нищий, да царь. Ну как этакое-то плетью? Царя-то плетью? Всё равно, что меня бы... Ведь и лицом похож на меня. Не так чтобы очень, а сходство есть. Белобрысенький, лысенький, голубенькие глазки, совсем как у телёночка, как у меня самого в зеркале... В зеркале-то давеча, как брился да со стула упал, я ведь его увидел, ты что думаешь? – его, его, Фёдора Кузьмича, право! Только ты, брат, никому не говори, я тебе по секрету...

– Ваше величество! Ваше величество! – лепетал Егорыч в ужасе.

Государь хотел ещё что-то сказать, приподнялся, но упал на подушки и закрыл глаза в изнеможении; потом опять раскрыл их и посмотрел на Егорыча как будто с удивлением.

– Ну что, что такое? Что ты на меня так смотришь? Что я сейчас говорил?..

– Не могу знать, ваше величество! О Фёдоре Кузьмиче...

– Вздор! А ты зачем слушаешь? Дурак! Ступай вон, позови Тарасова.

Всю ночь бредил, стонал и метался. Спрашивал о Софье, как о живой, и о князе Валерьяне Михайловиче Голицыне – скоро ли приедет?

К утру сделалось так худо, что думали – кончается. Четвёртый день не принимал пищи, – всё время тошнило, только съедал иногда ложечку лимонного мороженого; почти не говорил, на когда подходила к нему государыня, улыбался ей молча, брал её руку в свои, целовал, клал себе на голову или на сердце.

– Устали? Отчего не гуляете? – сказал однажды в два часа ночи: должно быть, дни и ночи для него уже спутались.

Иногда складывал руки и молился шёпотом.

Утром, во вторник, 11 ноября, доктора ставили ему на затылок мушку. Он кричал; потом уже не мог кричать и только стонал однообразным, бесконечным стоном:

– Ох-ох-ох-ох!..

Государыня не узнавала голоса его: что-то было в этом стоне ужасное, похожее на вой собаки. Заткнула уши, бросилась вон из комнаты. Но и сквозь стены слышала. Выбежала в сад.

Было ясное утро; лучезарное солнце, голубое небо, голубое море с белым парусом; тишина, прозрачность и звонкость хрустальная. Она смотрела на всё с удивлением. Между этим ясным утром и тем воющим, лающим стоном противоречие было нестерпимое. Подняла глаза к небу, вспомнила: просите и дастся вам. «Ну, вот прошу, прошу, прошу! сделай, сделай, сделай!» – как будто не молилась, а приказывала.

Вернулась в комнаты. Стон затих. В приёмной Виллие говорил что-то дежурным лекарям, Тарасову и Добберту. Подошла и прислушалась:

– Кажется, мушка действует; смотрите же, чтоб не сорвал, как намедни горчичники. А если надо будет, в крайнем случае...

Кончил шёпотом. Она не расслышала, но поняла. «Руки ему свяжут, что ли, как сумасшедшему? Нет, нет, лучше я сама»...

Вошла в кабинет. Лицо у него было как у ребёнка, которого обидели и который только что перестал плакать. Узнал её и, как всегда, улыбнулся ей.

– Est-ce que cela ne vous fatiguera pas, chere amie?³¹⁷

Шторы на окнах были спущены. Он взглянул на них и сказал:

– Подымите шторы.

Подняли. Солнце залило комнату:

– Какая погода! – сказал он громко, внятно, почти обыкновенным своим голосом.

Хотел поднять руку к затылку. Она удержала её.

– Что это? – спросил он. – Отчего так больно?

– Вам поставили мушку, чтоб кровь оттянуть.

Опять поднял руку, она опять удержала, – и так много раз. Умоляла, ласкала, боролась;

³¹⁷ Вас это ещё не утомило, мой друг? (фр.).

и в этом нежном насилии было что-то давнее – давнее, напоминавшее первые ласки любви:

*Амуру вздумалось Психею,
Резвяся, поимать...*

Увидел Егорыча и тоже улыбнулся ему:

– Что, брат, устал? Поди отдохни.

– Ничего, ваше величество, только бы вам полегче...

– Мне лучше, разве не видишь?

– Слава тебе, Господи! – перекрестился Егорыч. – Выбаливается, здоров будет! – шепнул он государыне с такою верою, что и она вдруг поверила.

«Сделай, сделай, сделай!» – молилась и уже знала, что сделал, – чудо совершилось.

«Дорогая матушка, – писала в тот день императрице Марии Феодоровне, – сегодня, да будет воздано за то тысячи благодарений Всевышнему, – наступило улучшение явное. О Боже мой, какие минуты я пережила! Могу себе представить и ваше беспокойство. Вы получаете бюллетень; следовательно, должны знать, что состояние больного удовлетворительно. Я едва помню себя и больше ничего не могу вам сказать. Молитесь с нами...»

В 5 часов вечера сидела у него на постели и держала руку его в своей; рука его опять пылала: жар усилился. Он забывался и говорил с трудом:

– Ne pourrait-on pas, élites moi un peu...³¹⁸ – начинал и не кончал; потом – по-русски: – Дайте мне...

Пробовали давать чаю, лимонаду, мороженого, но по глазам его видели, что всё не то. Наконец подозвал Волконского.

– Сделай мне...

– Что прикажете сделать, ваше величество?

Государь посмотрел на него и сказал:

– Полосканье.

Волконский начал делать, хотя знал, что государю уже нельзя полоскать рта от слабости. Он, впрочем, опять забылся. Ещё несколько раз начинал:

– Ne pourrait-on pas? Il faudrait...

Наконец прибавил чуть слышно:

– Renvoyer tout le monde.³¹⁹

Но никого не было в комнате, кроме государыни и Волконского, который стоял в углу, так что больной не мог его видеть.

– О, пожалуйста, пожалуйста!.. – повторял он с мольбою, как будто не хотели сделать того, о чём он просил.

И вдруг опять, как давеча, внятно, громко, почти обыкновенным своим голосом:

– Я хочу спать.

Это были последние слова его, которые она слышала.

Он лежал высоко на подушках, почти сидел; когда сказал: «Я хочу спать», – опустил голову и закрыл глаза, попробовал сложить руки, как для молитвы, но уже не мог: руки упали на одеяло, бессильные. Улыбнулся, как тогда, в начале болезни, когда она ещё не понимала, что значит эта улыбка, – теперь поняла. Лицо тихое, светлое и такое прекрасное, каким она никогда не видела его. «Ангел, которого мучают, – подумала. – И как я сделаю, чтоб его ещё больше любить, когда...» Хотела подумать: «когда он будет здоров», – и вдруг поняла, только теперь за всю болезнь, в первый раз поняла, что не будет здоров, что это – смерть.

Он открыл глаза и посмотрел на неё. Она увидела, что он хочет ей что-то сказать, и наклонилась.

– Не страшно, Lise, не страшно... – прошептал так тихо, что она не расслышала; хотел

³¹⁸ Нельзя ли, скажите хоть немного... (фр.).

³¹⁹ Удалите всех (фр.).

сказать: «не страшно впасть в руки Бога живаго», но, взглянув на неё, понял, что говорить не надо, – она уже знает всё.

В это время в приёмной Волконский шептался с Дибичем.

– Положение моё, князь, весьма затруднительно: мне, как начальнику штаба, необходимо знать, к кому относиться в случае кончины его величества, – говорил Дибич.

– Я полагаю, к государю наследнику, Константину Павловичу, – ответил Волконский.

Об отречении Константина оба ничего не знали, но и у них, как у всех, при этом имени мелькало сомнение.

– Да, к Константину Павловичу, – продолжал Дибич. – Однако последняя воля его величества нам неизвестна...

– О чём же вы раньше думали? – проговорил Волконский с нетерпением.

– А позвольте вам напомнить, князь, что я неоднократно о сём имел честь докладывать вашему сиятельству, – возразил Дибич тоже с нетерпением.

– Отчего же мне докладывали, а сами не делали?

– Я полагал, что неприлично...

– И хотели, чтобы я за вас неприличие сделал?

Стояли друг против друга, как два петуха, готовые к бою. Волконский смотрел на него свысока, потому что иначе не мог: голова Дибича приходилась едва по плечо собеседнику; карапузик маленький, толстенький, с большой головой и кривыми ножками; когда маршировал в строю, должен был бегать вприпрыжку; движения кособокие, неуклюжие, ползучие, как у краба; вид заспанный, неряшливый; на сюртуке вечно какой-нибудь пух или пёрышко; рыжие волосы взъерошены; лицо налитое, красное: уверяли, будто бы пьёт. Но наружность его была обманчива: неутомимо-деятелен, горяч, кипуч, вспыльчив до самозабвения (недаром впоследствии, в турецком походе, солдаты прозвали его «самовар-паша») и вместе с тем хладнокровен, тонок, умён, проницателен. Государю потакал во всём, а тот почти боялся его. «Дибичу пальца в рот не клади», – говаривал.

Дибич и Волконский друг друга ненавидели. Один – русский князь, вельможа с головы до ног; другой – прощелыга, выскочка, сын бедного капрала из Прусской Силезии, пришедший в Россию чуть не пешком, с котомкой за плечами. Дибич называл князя «старой калошей», тот его – «аракчеевской тварью, порождением ехидниным». Но как ни презирал он Дибича, а втайне чувствовал, что не ему, русскому князю, а этому немецкому выскочке принадлежит будущее.

– Чего же вы от меня желаете, ваше превосходительство? – проговорил, наконец, Волконский, едва сдерживаясь.

– Не будете ли так добры, князь, доложить её величеству?

– Ну нет, слуга покорный! Сами извольте докладывать...

Стальные глаза Дибича сверкнули злобою, лицо вспыхнуло, «самовар» закипел.

– Воля ваша, князь, но если что случится – не моя вина. Обращаясь к вашему сиятельству, я полагал, что в такую минуту следует оставить всякие личности, памятуя токмо о долге службы перед царём и отечеством. Но, видно, ошибся... Честь имею кланяться!

– Погодите, – остановил его Волконский, – хотите, сделаем так: вместе войдём, и вы при мне доложите её величеству?

Дибич согласился. Вошли в кабинет. Больной лежал в забытьи. Государыня стояла на коленях, опустив голову на край постели и закрыв лицо руками. Когда вошли, обернулась и встала; по лицам их увидела, что хотят ей что-то сказать, и подошла к ним.

Дибич заговорил, но она долго не могла понять.

– Бог один может помочь и спасти государя; однако же спокойствие и безопасность России требуют, чтобы, на всякий случай, прилеты были надлежащие меры. Прошу ваше величество сказать мне, к кому, в случае несчастья, должно будет относиться?..

Поняла, наконец, и почувствовала такое оскорбление, что хотелось закричать, затопать ногами, выгнать, вытолкать его из комнаты: казалось, что он снимает с государя мерку гроба заживо.

– Разумеется, к наследнику Константину Павловичу, – проговорила, едва сознавая, что говорит, только бы от него отделаться. При имени Константина ей что-то смутно вспомнилось,

но не могла теперь думать об этом.

– Слушаю-с, ваше величество, – сказал Дибич и хотел ещё что-то прибавить, но она остановила его:

– Прошу вас, оставьте меня...

И отошла к постели больного. А Дибич всё ещё стоял, как будто ждал чего-то; смотрел на государя, и ему казалось, что тот на него тоже смотрит. «Не спросить ли?» – подумал, но махнул рукою и вышел из комнаты.

Пятую ночь никто во дворце не ложился. Виллие был болен от усталости; Волконскому несколько раз делалось дурно; Егорыч едва на ногах держался. Одна государыня казалась бодрою; всегда больная, слабая, теперь была сильнее всех.

В окнах светлело, в окнах темнело; огни зажигались, огни потухали, – но для неё уже не было времени.

Больной всегда чувствовал её прикосновение; говорить уже не мог, только шевелил губами беззвучно, и она тотчас понимала, чего он хочет: клала ему руку на сердце, на голову и целыми часами держала так. Однажды почувствовала на щеке своей два слабых движения губ: то был его последний поцелуй.

В другой раз, увидев Волконского, он улыбнулся ему; а когда тот стал целовать ему руки, – сделал знак глазами: не надо целовать руки.

С минуту на минуту ждали конца. 18 ноября, в среду утром, начались опять судороги в лице. Дышал так тяжело и хрипло, что слышно было из соседней комнаты. Лицо помертвело, кончик носа заострился, глаза ввалились и заткались паутиною смертною. Думали – конец. Позвали священника читать отходную. Но судороги мало-помалу затихли. Часы пробили 9. Он перевёл на них глаза, и взор был полон жизни; потом взглянул на дежурного гофмедика Добберта, которого не привык видеть у себя в комнате, и долго смотрел на него с удивлением, как будто хотел спросить, зачем он здесь.

И вдруг опять начали надеяться. Чтобы не умер от истощения, так как давно уже глотать не мог, – поставили два клистира из бульона, сваренного на смоленской крупе.

Но не долго надеялись: в тот же день, около полуночи, началась агония.

Государыня держала голову его в руках своих, иногда мочила пальцы в холодной воде и проводила ими внутри воспалённых губ его, чтобы освежить их. Он сосал пальцы её, и она улыбалась ему, как мать ребёнку, которого кормит.

Агония длилась всю ночь до утра. Утро в четверг, 19 ноября, было пасмурное. Во всех церквях служились молебны об исцелении государя. На площади перед дворцом толпился народ.

Умиравший был в полном сознании; часто открывал глаза и смотрел то на распятие в золотом медальоне, висевшее на стене, благословение отца, то на государыню. Дыхание становилось всё реже и реже и с каждым разом слабее, короче; несколько раз совсем останавливалось и потом опять начиналось; наконец в последний раз вдохнул в себя воздух и уже не выдохнул.

Виллие пощупал пульс и молча взглянул на государыню. Она перекрестилась. Было 10 часов 47 минут утра.

Все плакали, не плакала одна государыня. Опустилась на колени, поклонилась в ноги усопшему, встала, закрыла ему глаза и долго держала пальцы на веках, чтоб не открылись; сложила носовой платок тщательно, подвязала покойнику нижнюю челюсть, перекрестила его и поцеловала в лоб, как всегда делала на ночь; ещё раз поклонилась в ноги и вышла из комнаты.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

– Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, благочестивейшего государя императора Александра Первого всея России! – слышалось надгробное пение, и никто не удивлялся, что царя называют рабом.

Обмытый, убранный, в чистом белье и белом шлафроке, он лежал там же, где умер, в кабинете-спальне, на узкой железной походной кровати. В головах – икона Спасителя, в ногах – аналой с Евангелием. Четыре свечи горели дневным тусклым пламенем, как тогда, месяц назад,

когда он читал записку о тайном обществе. В лучах солнца (погода разгулялась) струились голубые волны ладана.

Нижняя челюсть покойника всё ещё была подвязана, чтоб рот не раскрывался; узелок затянут тщательно, и на макушке торчали два белых кончика. Лицо помолодело, похорошело, и такое выражение было в нём, как будто он сделал то, что надо было сделать, и теперь ему хорошо, – «всё хорошо на веки веков».

На первой панихиде присутствовала государыня; всё ещё не плакала; лицо её было так же спокойно, как лицо усопшего.

На другой день, 20 ноября, в пятницу, в семь часов вечера, в присутствии начальника штаба, генерала. Дибича, генерал-адъютанта Чернышёва и девяти докторов, в том числе Виллие, Штофрегена и Тарасова, произведено было вскрытие тела.

Доктора нашли, что мозг почернел с левой стороны, именно там, где государь жаловался на боль. В протоколе было сказано: «По отделении пилою верхней части черепа из затылочной стороны вытекло два унца венозной крови, а при извлечении мозга из полости одного найдено прозрачной сукровицы (serositas) до двух унцов. Сие анатомическое исследование очевидно доказывает, что августейший наш монарх был одержим острою болезнью, коею первоначально поражена была печень и прочие к отделению жёлчи служащие органы; болезнь сия в продолжении своём постепенно перешла в жестокую горячку с воспалением мозга и было, наконец, причиною смерти его императорского величества».

Чтобы тело перевезти в Петербург, почти за две тысячи вёрст, надо было набальзамировать его. Дибич поручил бальзамирование лейб-хирургу Тарасову, когда же тот отказался «из сыновнего чувства и благоговения к покойнику императору», то – гофмедикам Рейнгольду³²⁰ и Добберту.

Тотчас по вскрытии, тут же, в кабинете государя, приступили к делу: велено было кончить в ту же ночь до утра.

Во втором часу ночи Дибич отправил своего адъютанта, молоденького штабного офицера, Николая Ивановича Шенига, во дворец, чтобы узнать, как идёт бальзамирование.

Шениг не нашёл во дворце никого, кроме стоявшего на часах у входа казачьего офицера. На время бальзамирования и установки катафалка государыня выехала в соседний дом Шихматова.

Пройдя по пустынным и тёмным комнатам, Шениг подошёл к двери кабинета, дверь была заперта; постучался; изнутри окликнули, опросили и, наконец, отперли.

Когда он вошёл, на него пахнуло удушливым запахом лекарств, ароматических трав, уксуса, спирта и ещё чем-то тяжёлым – только потом понял он, что это трупный запах. Посередине комнаты стоял большой кухонный стол; вокруг него толпились люди в запачканных фартуках; что-то длинное, белое лежало на столе. Он знал что, но не хотел вглядываться; зажмурив глаза, стараясь не дышать носом, подошёл к гофмедикам, Рейнгольду и Добберту.

Они сидели у пылавшего камина и варили что-то на огне в двух котелках, иногда снимая пену и помешивая варево оловянными ложками. Курили сигары. Рейнгольд – худой, длинный, Добберт – низенький, толстенький; освещённые красным пламенем, похожи были на двух колдунов, которые варят волшебное снадобье.

– Честь имею явиться от его превосходительства, генерала Дибича, дабы узнать, в каком положении находится тело покойного государя императора, – отрапортовал Шениг.

Рейнгольд ничего не ответил и продолжал мешать в котелке, а Добберт вынул изо рта сигару, держа её между двумя пальцами, большим и безымянным, – руки у него были запачканы, – и посмотрел из-под очков брюзгливо.

– В каком положении тело? А вот взглянуть не угодно ли? – кивнул на стол, где лежало то белое, длинное.

Шениг делал вид, что смотрит, но опять невольно зажмурил глаза и потупился.

³²⁰ Рейнгольд Эмилий Иванович (1787–1867) – медик кавалергардского полка, затем придворный лейб-медик, член многих медицинских научных обществ.

– Говорите по-немецки?

– Говорю.

– Ну так вот, господин офицер, генерал Дибич требует, чтобы мы кончили всё в одну ночь – раз, два, три – по-военному. Но это невозможно, это против всех правил науки. Бальзамирование – дело трудное: для того, чтобы произвести его как следует, должно погрузить всё тело в спирт на несколько суток, а мы для сего и спирта не имеем в потребном количестве: скверной русской водки сколько угодно, а хорошего спирта нет, не говоря уже о прочих специях. Тут ничего достать нельзя, даже чистых простынь и полотенец. Во дворце – ни души: все разбежались. Давно ли трепетали одного взгляда его, а только что закрыл глаза – покинули его...

– Русские свиньи! – процедил сквозь зубы Рейнгольд и засосал, зажевал свой вонючий окурок.

– Я доложу обо всём его превосходительству немедленно, – проговорил Шениг и хотел раскланяться: его всё больше мучило от запаха.

– Нет, погодите, извольте сами взглянуть.

Добберт взял Шенига под руку, подвёл к столу, и он должен был увидеть то, чего не хотел видеть: бесстыдно оголённое тело покойника. Хотя выражение лица очень изменилось, когда при наложении отпиленной верхней части черепа на нижнюю натягивали кожу с волосами, он тотчас же узнал его, – узнал, но не поверил, что это он.

С таким учёным видом, как будто читал лекцию, Добберт объяснял, как производится бальзамирование. По вскрытии вынули мозг, сердце и прочие внутренности и уложили в серебряный круглый ящик, похожий на обыкновенную жестянку из-под сахара, с крышкой и замком, почему-то называвшийся кивотом. Добберт тут же запер ящик и отдал ключ Шенигу для передачи генералу Дибичу.

– Ключик от сердца его величества, – пошутил он и спохватился, насупился, продолжал лекцию.

По удалении внутренностей вырезали мясистые части и начали набивать образовавшиеся полости бальзамическими травами, тщательно разваренными (их-то и варили в котелке Рейнгольд с Доббертом), и забинтовывать широкими полотняными тесьмами, наподобие свивальников.³²¹

Фельдшера, возившиеся над телом, остановились на минуту, когда подошли к столу Добберт с Шенигом.

– Ну, живо, живо, господа! – прикрикнул на них Добберт. – Эй, Васильев, крепче стягивай, аккуратнее: две тысячи вёрст не шутка для покойника!

Фельдшера опять принялись за работу, начали бинтовать, как будто пеленать покойника.

– А посмотрите-ка, какое тело прекрасное, – сказал Добберт.

– Да, здоров был покойник, – заметил Рейнгольд, тоже подходя к столу, – сложение атлетическое; если бы не эта глупая горячка, ещё сорок лет прожил бы.

– Никогда я не видывал человека, лучше сотворённого, – продолжал Добберт, – руки, ноги, все части могли бы служить образцом для ваятеля. А кожа-то, кожа – как у молодой девушки.

Шениг тоже смотрел, и страх его исчезал: нет, не страшно это голое, чистое, мёртвое тело – живые люди в их грязных одеждах, с их беспокойными лицами – страшнее.

Когда перевёртывали тело, рука покойника, упав со стола, бессильно свесилась. Шениг взглянул на неё, и вспомнилось ему, как однажды, на военном смотре, государь скакал перед фронтом, и когда тридцатитысячная громада войск кричала «ура!» – он, здороваясь, поднял руку к шляпе со своей прелестной улыбкой. О, как Шениг любил его тогда и как хотелось ему, чтобы эта рука одним мановением послала их всех на смерть! И вот теперь сама она – мёртвая.

Слёзы подступили к горлу его; он поскорей распрощался и вышел из комнаты.

В тёмных сенях зашёл в угол, закрыл лицо руками и заплакал. Плакал не от горя, не от жалости, а от умиления, от восторга, от влюблённой нежности.

³²¹ Свивальник (устар.) – матерчатый пояс, которым обвивали младенца поверх пелёнок.

Обряда царских похорон никто из придворных не знал. К счастью, в бумагах покойного нашли церемониал погребения императрицы Екатерины II, взятый государем по секрету, перед отъездом в Таганрог, из церемониймейстерского департамента. Думал ли он, что государыне живой не вернуться, или свою собственную смерть предчувствовал?

Большую приёмную залу, рядом с кабинетом, обили чёрным сукном, воздвигли высокий, со ступенями в виде трона катафалк и поставили на нём гроб. Первый, внутренний – свинцовый; за неимением свинца в достаточном количестве сделали гроб из доменной крыши, купленной покойным для ремонта дворца; кровля дома послужила домовиной вечною; второй – внешний гроб – дубовый, обитый золотою парчою. С орлами двуглавыми.

Тело по окончании бальзамирования одели в парадный общий генеральский мундир, с Андреевской звездой и прочими орденами в петлице, только без ленты и шпаги, с царскою порфиною на плечах и с золотою короною на голове, – положили в гроб и покрыли кисеёю.

Днём и ночью дежурили у гроба донского лейб-гвардии казачьего полка один генерал, один штаб-офицер и два обер-офицера, с обнажёнными шпагами. Священники всё время читали Евангелие. Екатеринославский архиерей с греческим архимандритом из монастыря Варвация и с прочим духовенством служили панихиды соборне, два раза в день, утром и вечером.

После каждой панихиды гофмаршал князь Волконский уводил из залы всех, кроме священника и двух караульных офицеров, которым велено было стоять, не шевелясь и не подымая глаз. В залу входила государыня, вся в чёрных плерезах³²² и с длинною чёрною вуалью на лице, неслышно, как тень, подымалась на ступени катафалка, молилась и целовала тело сквозь кисею гробовую. За несколько дней похудела и осунулась так, что живое над гробом лицо казалось мертвее мёртвого.

В эти дни писала она матери своей, герцогине Баденской:

«Пишу вам только для того, чтобы сказать, что я жива. Но не могу выразить того, что чувствую. Я иногда боюсь, что вера моя в Бога не устоит. Ничего не вижу пред собою, ничего не понимаю, не знаю, не во сне ли я. Я буду с ним, пока он здесь; когда его увезут, уеду за ним, не знаю, когда и куда. Не очень беспокойтесь обо мне, я здорова. Но если бы Господь сжалился надо мною и взял меня к Себе, это не слишком огорчило бы вас, маменька, милая? Знаю, что я не за него, я за себя страдаю; знаю, что ему хорошо теперь, но это не помогает, ничего не помогает. Я прошу у Бога помощи, но, должно быть, не умею просить...»

Когда из дома Шихматова вернулась она во дворец, такая тоска напала на неё, что, казалось, не вынесет, сойдёт с ума. Ходила по комнатам, так же как тогда, с ним, по приезде своём в Таганрог; «Вам нравится, Lise, в самом деле нравится? Я ведь всё это сам устраивал и так боялся, что вам не понравится...» Вот её любимый царскосельский диван, на котором они тогда сидели вместе: «Ну, вот мы и вместе, Lise, теперь уже навсегда вместе!» А вот и он, пастушок фарфоровый со сломанною ручкою, – столовые часики всё тикают да тикают. Слушала их и вдруг забывала всё; он жив, здоров; только что вышел из комнаты и сейчас войдёт; видела лицо его, слышала голос: «Хорошо ли вам, Lise? Всё ли у вас есть? Не надо ли чего-нибудь ещё?...»

– Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего! – доносилось надгробное пение, ей казалось, что она спит и видит дурной сон, – вот-вот закричит и проснётся.

И ночью, в постели, думала, глядя широко раскрытыми глазами в темноту: «Ну, вот опять, опять этот сон! Когда же, наконец, проснусь?...»

Как человек, у которого отняли ногу, очнувшись, хватается за неё и, увидев, что нет ноги, удивляется, – так она удивлялась; и от этого удивления сходила с ума. Но никогда не теряла сознания; напротив, чем сильнее боль, тем яснее сознание; чем яснее сознание, тем сильнее боль, – и этому нет конца. Вспомнила то, что писала в дневнике своём: «Никогда не знаешь, как ещё будешь страдать, как ещё можно страдать и есть ли конец страданию...» Теперь знала, что нет конца.

³²² Плерезы (франц. pleureuses от pleurer – плакать), здесь – траурные белые, иногда чёрные на белом нашивки, количество и ширина которых определяются положением в обществе.

Целовать мёртвое тело, чувствуя холод на губах своих сквозь кисею гробовую, – вот всё, что ей оставалось от любимого здесь, на земле, а что там, на небе, – об этом старалась не думать: знала по опыту, что это не помогает.

Иногда хотелось поднять кисею, чтоб увидеть лицо, но не смела: казалось, что ему, который при жизни так заботился о своей наружности, был таким щёголем, неприятно, чтоб видели, как он изменился, а что изменился так, что почти узнать нельзя, – это и сквозь кисею было видно. «Что с ним сделали? – думала. – Не он! Не он!..»

Однажды, подойдя к гробу и почувствовав сквозь привычно-приторный запах спирта, уксуса, бальзамических трав ещё какой-то другой, – долго не могла понять, что это, – и вдруг поняла; не потеряла сознания, не сошла с ума, но казалось, что если бы могла сойти с ума, – было бы легче.

В тот же день сидела у себя одна в спальне, поздно вечером. Слушала, как ветер воет в трубе, стучит косым дождём в окна, как деревья сада шумят и где-то рядом, должно быть на крыше садовой беседки, флюгер, неистово под ветром вертящийся, скрипит, визжит и стонет, подумала и почему-то вспомнила тот давешний запах, и вдруг поняла, – так и теперь долго слушала этот бесконечный стон железа, всё не понимая, – и вдруг поняла.

– Сейчас! Сейчас! Сейчас! – как будто ответила на чей-то зов; заторопилась, подошла к столу, выдвинула ящик, вынула два ключа, сорвала с головы длинную чёрную вуаль, накинула старый платок Амальхен, тот самый, который назывался «милой тётушкой», взяла свечу, вышла из комнаты на цыпочках, остановилась, прислушалась, – всё тихо, только за стеной слышится тонкий храп, должно быть, фрейлины Валуевой, и далеко гудит, как пчела, однообразный голос священника; пройдя ещё несколько комнат, вошла в сени с отдельным, нарочно для неё устроенным ходом в сад; поставила свечу на подоконник, выбрала из висевшего на вешалке платья самую старую, облезлую шубейку одной из своих камер-медхен, надела её, отперла дверь, вышла на крыльцо и сошла в сад. Неистовый ветер охватил её и едва не свалил с ног; где-то очень близко, как будто над самым ухом её завизжало, заскрежетало ржавое железо флюгера. В темноте, оступаясь и натываясь на цветочные клумбы, кусты и стволы деревьев, добралась до забора, нащупала калитку, вставила ключ, отперла и уже хотела переступить порог, когда кто-то схватил её за руку.

– Ваше величество! Ваше величество! – проговорил голос князя Петра Михайловича Волконского.

Ноги у неё подкосились; тихо вскрикнула и почти упала на руки его.

Когда опомнилась – опять сидела у себя, одна, в спальне, как будто ничего не случилось. Волконского не было с нею: поспешил уйти; ничего не говорил, ни о чём не расспрашивал, когда вёл её, почти нёс на руках домой. Неужели понял, куда и зачем она шла? Ну, всё равно: не сейчас, так потом, а это будет; только не здесь, не рядом с ним, лежащим в гробу, а где-нибудь подальше, чтоб никто не увидел, не помешал; хорошо бы в такую ночь, как эта, или потом, когда наступит зима и начнутся вьюги, – идти, идти, без дорог, без следа, по голой степи, по снегу, пока не упадёт и не замёрзнет где-нибудь на дне оврага, под сугробом, так чтобы никто не нашёл, не узнал, или с кручи над морем – прямо вниз головой в волны прибоя... Да, всё равно, когда, и где, и как, но это будет, – что решила, то сделает; только об этом и не страшно думать, только это и спасает от того, что страшнее, чем безумие, чем смерть, чем его смерть, – от мысли, что всё, во что она верила, – ложь, проклятая ложь и что единственная правда в том давешнем запахе и в этом стоне, плаче, скрежете ржавого железа под бурею; «там будет плач и скрежет зубов», и там, как здесь, – вечная мука, вечная смерть...

Долго смотрела на пламя свечи невидящим взором, потом опустила взор и что-то увидела. На столе – книга, старая, в потёртом кожаном переплёте, хорошо знакомая – французский перевод Библии.

Государь уже много лет никогда не расставался с нею, брал её с собою всюду, в походы, в путешествия, и каждый день прочитывал одну главу из Ветхого и одну из Нового Завета, по расписанию, составленному князем Александром Николаевичем Голицыным.

Вспомнила, что намедни Волконский обещал ей отыскать и принести эту книгу; должно быть, и приходил для этого давеча, несмотря на поздний час: спешил, думая, что ей хочется поскорей иметь её.

Открыла книгу. Уголки страниц потемнели от перелистывания; на полях – отметки его рукою и кое-где строки подчёркнуты. Читала, не понимая и не думая о том, что читает.

«Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мёртвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут».

– Что это? Что это? – хотела и не могла вспомнить; закрыла глаза, прислушалась к дальнему, однообразно, как пчела, гудевшему голосу, – и вдруг вспомнила.

Он лежал тогда уже в гробу, но ещё не в зале, на катафалке, а у себя в комнате; служили панихиду; был ясный день, и лучи солнца падали прямо в окна, так же, как за два дня до смерти, когда, очнувшись, он взглянул на окно и сказал:

– Какая погода!

И она тогда, на панихиде, тоже в окно взглянула: «Это для него такой праздник на небе!» – подумала и прислушалась к тому, что читает священник:

– «Аминь, аминь глаголю вам, яко грядёт час и ныне есть, егда мертвии услышат глас Сына Божия и услышавше оживут».

И вдруг увидела, что стоит между гробом и крышкою гроба, прислонённой к стене; с ним и в гробу – в смерти, как в жизни. Обрадовалась, начала молиться, чтоб в день воскресения так же стоять, как сейчас. Молилась и знала, что молитва услышана: так будет.

«Так будет!» – хотела сказать и теперь, когда прочла эти подчёркнутые строки в книге, – но уже не могла, только спрашивала: «Будет ли, будет ли так?» Ответа не было, а всё-таки ждала ответа и знала, что теперь уже недолго ждать.

С каждым днём доктора убеждались всё более, что бальзамирование плохо удалось и что тело разлагается. Неотлучно дежурили при нём один из двух гофмедиков, Рейнгольд или Добберт, чтобы смачивать лицо покойника губкою, напитанной остропахучим уксусом; чаши, наподобие урн, с тем же составом стояли у гроба. Но это не помогало. Все окна и двери были заперты, и от горящих свечей жар в комнате доходил до 20 градусов. Тяжёлые испарения бальзамической жидкости, смешанные с ещё более тяжёлым трупным запахом, наводили дурноту; даже мундиры караульных офицеров пропахли так, что потом недели три сохраняли запах.

Лицо покойника темнело, чернело и делалось неузнаваемым; сами доктора, глядя на эту страшную чёрную куклу в царской порфире и золотом, венце, думали: «Кто это?»

Однажды стоявший на карауле Шениг указал Добберту, когда тот поднял кисею для примочки лица, что из-под воротника торчит кончик галстука. Добберт потянул, увидел, что это не галстук, а кожа, и в ужасе бросился к Виллие.

Думали, думали и решили заморозить тело. В это время, после осенних бурь, сразу наступила зима. Открыли окна и двери настежь, поставили под гроб корыто со льдом и на стене повесили градусник, чтобы стужа была не менее 10 градусов. Только для панихид, вечерних и утренних, на которых присутствовала императрица, согревали комнату.

После смерти государя бедный Егорыч начал выпивать с горя. На выпивке сошлись они с о. Алексеем Федотовым. После каждой панихиды заходил он подкрепиться к Егорычу в тёмный, рядом с бывшею государевой уборною, коридор-закуту, где всегда накрыт был столик. Выпивали, закусывали, поминая покойника, и вели беседу шёпотом.

– Говорил я, будет вам шиш под нос! – начинал о. Алексей своим любимым изречением. – Не верили мне, а вот на моё и выходит...

– Отчего же вы так полагаете, батюшка, и какой такой шиш под нос?

О. Алексей отвечал не сразу: сперва выпивал рюмку перцовки, закусывал горячим блином поминальным, выпивал ещё рюмку дулилки, вторым блином закусывал, прищуривал глаз, подмигивал и, наконец, шептал, наклоняясь к самому уху Егорыча:

– А во гробе кто лежит, ты как думаешь, а?

Егорыч, видимо предчувствуя этот вопрос, начинал дрожать и бледнеть уже заранее.

– Ну, что это, право, отец Алексей, опять вы за своё! Кому же в гробе лежать, как не его величеству, ангелу нашему и благодетелю? Надрываете вы сердце моё, не жалеете меня, сироту...

– Нет, я тебя жалею, я тебя даже очень жалею, потому и говорю: смотри, говорю, кого

хоронишь, того ли самого?

– Как же не того? Как же не того? Отец Алексей, помилосердствуйте! Сами же исповедовать, причащать изволили...

– Ну, нет, ты это, брат, оставь, оставь, говорю, в это дело не путай меня. В ту ночь, как за мной из дворца-то пришли, я того... на третьем взводе был: у купца Вахрамеева на свадьбе здорово клюкнули. Ежели меня о чём спросят, я так и скажу: ничего, мол, не помню, знать не знаю, ведать не ведаю...

– Что вы говорите? Что вы говорите, отец Алексей?..

– Не я говорю, а поди-ка, послушай, что говорит: глас народа – глас Божий: в гробу-то не тело, кукла – воцанка лежит аль беглый солдат из гошпиталя здешнего острожного, а государь будто жив; извести его хотели изверги, а он убежал и неизвестно где скрывается, ныне скрывается, а может быть, и явится некогда... О Кузьмиче-то, о Фёдоре слышал?

– О каком, о каком ещё Фёдоре?.. – начал Егорыч и онемел, раскрыл рот, вытаращил глаза от удивления, от ужаса: вдруг вспомнил предсмертный бред государя. – Господи помилуй! Господи помилуй! Матерь Царица Небесная!.. – шептал, крестясь; ему казалось, что он сходит с ума.

– Ничего, брат, не робей: наше дело – сторона, только знай помалкивай, – утешал его о. Алексей. – А ведь ловкую штуку удрали, а? «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего...» А где раб, где царь, – не поймёшь. По Писанию, значит, из крепкого вышло сладкое, а может, и опять из сладкого выйдет крепкое да горькое... Вот тебе и фокус-покус! Вот тебе и шиш под нос!

На третий день по кончине государя в таганрогском Успенском соборе присягали государю наследнику, Константину Павловичу. В тот же день отправлен был к нему в Варшаву курьер с рапортом от начальника главного штаба генерала Дибича. На пакетах надписано: «Его императорскому величеству, государю императору Константину Первому».

В Таганрог со дня на день ждали прибытия нового императора; особенно ждал Волконский.

«Я так ослабел, был тридцать дней и ночей без пищи и без сна, что едва шатаюсь, – писал он одному из своих петербургских приятелей. – Совершенно один, в ужасной горести, занимаюсь учреждением печальной церемонии. За две тысячи вёрст от столицы, в углу империи, без малейших способов и с большою трудностью доставать самые необходимые вещи, по сему случаю нужные, за всякою безделицею принуждён посылать во все стороны курьеров. Ежели бы меня здесь не было, не знаю, как бы сие пошло, ибо все прочие совершенно потеряли голову. С нетерпением ожидаю прибытия императора Константина Павловича и не знаю, чем всё это кончится».

В меньшей тревоге был Виллие.

Однажды, осмотрев тело и выйдя из ледяной комнаты, грелись они с Волконским у камина в бывшем кабинете государевом.

– Довезём, Яков Васильевич, как вы полагаете? – спрашивал Волконский.

– Ежели морозы будут, доведём, пожалуй; ну, а ежели оттепель, то дело дрянь.

День был солнечный; белые цветы мороза на окнах чуть-чуть оттаяли. Виллие взглянул на них с досадою: всё боялся, что начнётся оттепель.

– Вот тоже гроб, – заговорил он опять, – едва втиснули покойника; извольте-ка упаковать на две тысячи вёрст. Того и гляди свинец раздавит голову... Ну можно ли делать гроба из домовых крыш?

– Ох, не говорите! – простонал Волконский. – Что-то будет, что-то будет, Господи!..

– Давно я хотел вам сказать, князь, – продолжал Виллие, помолчав. – Тут по городу ходят слухи возмутительные.

– Какие слухи?

– Повторять гнусно...

– Это насчёт куклы?

– Вы тоже слышали? Да, насчёт куклы, и будто бы государь не своею смертью умер...

– Ах, мерзавцы! – воскликнул Волконский с негодованием. – Но что же с ними, дураками, делать?

– Как что? Схватить, в острог посадить, выпороть, особенно этого святого-то ихнего, как его? Фёдора Кузьмича, что ли?

– Да, пожалуй... А вы говорили Дибичу?

– Говорил.

– Ну, что же?

– Да вы сами знаете его. Дует свой пунш и ухом не ведёт. «С меня, – говорит, – и так дела довольно: некогда мне заниматься бабьими сплетнями». Но посудите, князь: это чести моей касается и памяти моего благодетеля. Я этого так оставить не могу. Прошу ваше сиятельство, по прибытии государя наследника, доложить немедленно...

– Да, да, конечно... Только бы приехал! Только бы приехал! – простонал опять Волконский.

– А что, разве не скоро?

– Ничего не известно. Курьера за курьером шлю, и всё ответа нет. Сегодня и Дибич с минуты на минуту ждёт. Хотел быть здесь, да что-то не идёт. Уж не послать ли за ним?.. А вот и он, лёгок на помине.

Открылась дверь из погребальной залы, и повеяло оттуда ледяною стужей, как будто замороженная мумиядохнула смертным холодом.

– Ну что, ваше превосходительство, какие новости? – поднялся Волконский навстречу Дибичу.

Тот ничего не ответил, подошёл к столу, где всегда стояла для него бутылка рому, налил, выпил и тяжело опустился в кресло у камина. В движениях его, кособоких, ползучих, как у краба, который под камень прячется, в искажённом лице («вся рожа накосо», – вспоминал впоследствии Волконский), в рыжих волосах взъерошенных и в бегающих глазках было что-то зловещее.

«Уж не пьян ли?» – подумал Волконский.

– Какие новости? – проговорил, наконец, Дибич сдавленным голосом и расстегнул воротник мундира, как будто задохся. – А вот какие: курьер из Варшавы вернулся ни с чем...

– Как ни с чем?

– А так, что поворот от ворот: депеш моих не распечатали и курьера не приняли, тотчас же ночью спровадили вон из города, запретив, чтобы с кем-нибудь виделся...

– Что вы говорите? Что вы говорите? – воскликнули вместе Виллие и Волконский.

– Не верите, господа? Я и сам не поверил. Да вот прочесть не угодно ли?

Дибич подал письмо. Волконский стал читать и побледнел.

– Что такое? Что такое, Господи?

Виллие тоже прочёл, и лицо у него вытянулось.

Письмо было от великого князя Константина Павловича. Он сообщал, что, с соизволения покойного государя императора, уступил право своё на наследие младшему брату, великому князю Николаю Павловичу, в силу рескрипта его величества от 2 февраля 1822 года.

«Посему ни в какие распоряжения не могу войти, а получите вы оныя из С.-Петербурга, от кого следует. Я же остаюсь на теперешнем месте моём и нового государя императора таким же, как вы, верноподданным. А засим желаю вам лучшего».

– Какой же рескрипт? – спросил Виллие, опомнившись.

– Не могу знать, – ответил Дибич.

– Государь ничего не говорил вам?

– Ничего.

– Но последняя воля?..

– Последняя воля его неизвестна.

– Как же перед смертью не вспомнил?

– Да вот, не вспомнил, – должно быть, забыл.

– И вы забыли?

– Я? Нет, я не забыл, я имел честь докладывать его сиятельству неоднократно, – злобно посмотрел Дибич на Волконского.

Но тот ничего не ответил: сидел, как в столбняке.

– Что такое? Что такое, Господи?.. – шептал, точно бредил; вдруг вскочил, всплеснул

руками и вскрикнул: – А присяга-то как же, присяга-то?..

– Ну, что ж. Вчера присягнули одному, завтра присягнём другому. С присягой, видно, не церемонятся, – усмехнулся Дибич, и лицо его ещё больше перекосилось. – Только вот примет ли Николай Павлович корону, это ведь тоже ещё неизвестно... Ну, а пока – междуцарствие. Государь умер, наследника нет, и неизвестно, чья Россия...

Дибич встал, подошёл опять к столу, налил и поднял стакан:

– Честь имею поздравить, господа, с двумя государями... или ни с одним...

И выпил. Виллие хотел что-то сказать, но Дибич остановил его:

– Стойте, ещё не всё, это сюрприз – номер первый, а вот и номер второй. В бумагах покойного я нашёл донос о политическом заговоре обширнейшем, распространённом в войсках по всей империи. Не сегодня завтра начнётся революция. Может быть, уже и началась где-нибудь, а мы тут сидим и не знаем...

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – пролепетал Волконский и хотел ещё что-то прибавить, но язык отнялся, голова закинулась, лицо помертвело: он лишился чувств.

– Э, чёрт! Этого ещё не доставало, – проворчал Дибич. – Что с ним? Удар, что ли?

Когда Виллие смочил ему виски водою, развязал галстук и дал понюхать соли, Волконский очнулся, но размяк, раскис окончательно.

«Калоша старая!» – подумал Дибич с презрением.

Вдруг обе половинки двери из уборной с шумом распахнулись, высунулась голова Егорыча внезапно, как будто нечаянно, но тотчас же спряталась, и, шурша шёлковой рясой, вошёл в комнату о. Алексей, такой величавый, благообразный и торжественный, что никто не подумал бы, что он с пьяным лакеем у дверей подслушивал. Проходя мимо сидевших у камина трёх собеседников, поклонился низко, почтительно. Не до него им было, но если бы взгляделись пристальней в лицо его, то увидели бы, что он усмехается в свою белую бороду такой язвительной усмешкой, как будто хотел сказать:

– Ну, вот вам и шиш под нос!

В то же день и час выходил за таганрогскую заставу, по большому почтовому екатеринославскому тракту, человек лет под пятьдесят, с котомкой за плечами, с посохом в руках и образом Спасителя на шее, белокурый, плешивый, голубоглазый, сутулый, рослый, бравый молодец, какие бывают из отставных солдат; лицом на государя похож, «не так чтобы очень, а сходство есть», как сам покойный говорил Егорычу; бродяга бездомный, беспаспортный, родства не помнящий, один из тех нищих странников, что по большим дорогам ходят, на построение церквей собирают.

Имя его было Фёдор Кузьмич.

ГЛАВА ПЯТАЯ

– Похоронили?

– Похоронили.

– Как же это произошло, Голицын, расскажите.

– А вот как. Вы знаете, Пестель, что *Русскую Правду* вместе с прочими бумагами взял к себе на хранение подпоручик Заикин?

– Знаю: я сам их отдал ему, когда стало известно, что заговор открыт, и я всякую минуту ждал, что меня придут хватать. Куда же он их спрятал?

– Под пол, у себя в доме, в местечке Немирове, а потом зашил в подушку и привёз в Тульчин. «Делайте, – говорит, – с ними, что знаете, а у меня ненадёжно: шпионы завелись и мыши...»

– Мыши Русскую правду едят, это аллегория, что ли, Голицын?

– Да, Пестель, пожалуй, аллегория...

– Как же вы решили?

– Долго решить не могли: одни говорят: «Сжечь», а другие: «Помилуйте, можно ли этикетки сжечь? Надо зарыть в землю». На том и решили. Думали сперва на Тульчинском кладбище; да тут народу много и к начальству близко. Опять упаковали, отвезли в село Кирнасовку, что по Балтской дороге от Тульчина верстах в 15-ти; хотели на огороде или в поле

зарыть, но и тут опасно: мужики увидят, подумают – клад (все кладов ищут), выкоплют и отнесут к начальству. Опять думали, думали, и решили: на пустыре, подальше за околицей. Собрались в Шлемкину корчму на выезде, за полночь, точно контрабандисты иди фальшивомонетчики, и когда жид со своей жидовкой заснули, – заперлись в горнице и начали укладывать бумаги в ящик, сначала свинцовый артиллерийский, из-под пороха, а потом – деревянный...

– Значит, два гроба, как для важных покойников?

– Вот именно. Ящик продолговатый, не очень большой, так, вроде детского гробика; как забивать стали крышку гвоздями, очень похоже было, что гроб заколачивают. А я к *Русской Правде* и *Катехизис* Муравьёва приложил, на всякий случай: пусть вместе найдут...

– Вот как, – значит, мы с Муравьёвым вместе в гробу?

– Да, вместе... Ну, ящик тяжёл, на руках не снести, положили в тележку и поехали. Фонарей взяли: ночь тёмная, зги не видать; снег валил; заблудились... Вы в тех местах бывали?

– Бывал.

– Пустырь – по левую руку от Балтского шляха, так, в полуверсте, за поповой левадою, у речки Козярихи. Место дикое, всё буераки да чертополох. Когда-то тут, говорят, разбойники вельможную панну резали; крест над нею стоит; мужики обходят, боятся; по ночам будто бы панночка из гроба встаёт. Недалеко от креста и вырыли ямку, тоже вроде детской могилки, опустили ящик, да как засыпать землёй начали и первые комья о крышку ударились, – опять совсем точно гроб. Вот бы панихиду спеть: «Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоея!» – пошутил кто-то. А как зарыли, снегом замело, ровно, гладко, – ничего не видать, – только крест...

– Вы, Голицын, аллегории любите?

– Люблю не люблю, да куда от них денешься?.. Ну так вот, рядом со мною поручик Бобрищев-Пушкин стоял; перед тем как уходить, снял шляпу, перекрестился и пожал мне руку; ничего мы друг другу не сказали, но поняли: обещали, что сделаем всё, чтобы мёртвая встала из гроба...

– Как та зарезанная панночка?

– Нет, живая.

– Ну, не скоро дождётесь.

– Пусть не скоро, а всё-таки... Помните, Пестель, о горчичном зерне: когда сеется – меньше всех семян, а когда вырастет – больше всех злаков?

– Опять аллегория? Ну, полно, давайте-ка лучше о другом...

Разговаривали там же, в кабинете Пестеля, во флигеле опустелого княжеского дома в Линцах, где и тогда, в первый раз, два с половиной месяца назад. Голицын исполнил своё обещание заехать к Пестелю после Лещинского лагеря только теперь, в последних числах ноября.

В кабинете всё было по-прежнему: князя Сангушко, деды и прадеды, с почернелых полотен следили так же зловеще и пристально, как будто зрачки свои тихонько поворачивали за тем, кто смотрел на них; так же пахло мышами и сыростью; такая же тоска и одиночество.

Лампа тускло горела. Камин потухал. На дворе мела метелица; снежные столбы проносились мимо окон, как бледные призраки, и старые деревья сада шумели, гудели, махали ветвями, как руками, – в отчаянии.

Слушая вой ветра в камине, Голицын вспоминал, как, едучи в Линцы, заблудился, едва не замёрз, а ямщик, старый казак Радько, под вой бурана, а может быть, и волчий вой, сказывал ему сказку о св. Юрке – Егорье, волчьем хозяине, который бьёт нечистую силу громовыми стрелами, а волки ему помогают – жрут дохлых чертей: «А если бы их гром не бил да волки не ели, то их бы таково расплодилось, что и свету не было б видно»...

– Как бы не забыть, кстати: тут у меня ещё кое-какие бумажонки есть, – проговорил Пестель и, выдвинув ящик стола, вынул пачку бумаг. – Ну, уж эти без похорон обойдутся, – прямо в огонь!

Начал кидать в камин, одну за другою. Пламя вспыхнуло, и бледные призраки прильнули к стёклам, как будто заглянули в комнату слепыми очами. Ветер выл в трубе, как стая голодных волков. «Юркины волки жрут дохлых чертей», – подумал Голицын. Какая тоска, какое одиночество!

– Вы тут всю зиму пробудете, Пестель?

– Всю зиму.

– Не скучно?

– Нет, ничего, привык. Нынче зима, слава Богу, стала ранняя. Вот заметёт сугробами, – ни мы никуда, ни к нам ниоткуда. Хорошо, спокойно: как медведь в берлоге, буду сидеть, лапу сосать, себя познавать, по совету оракула. Новую *Русскую Правду* сочинить можно: я буду сочинять, а вы – хоронить, так жизнь и пройдёт, не заметишь.

Голицын посмотрел на него внимательно: здоров, лихорадки нет, но как будто ещё больше осунулся, и лицо опять, как тогда, – недвижимое, застывшее, похожее на маску.

Разговор не клеился: каждый думал о своём и чувствовал, что другой тоже о своём думает. И обоим было неловко, как в одной постели двум раненым: не пошевелиться бы, не сделать себе или другому больно.

Пестель вяло расспрашивал о Лещинском лагере, о соединении Славян с Южными, о клятве.

– И вы клялись, Голицын?

– Клялся.

– Зачем же, если нельзя исполнить?

– Почему нельзя?

– Вы сами знаете: нельзя сделать второго шага без первого; пока государь жив, никто не начнёт... А вы опять торопитесь, Голицын, погостить у меня не хотите?

– Не могу, ехать надо.

– Экий непоседа! Куда же теперь?

– В Киев.

Пестель посмотрел на него в упор, как будто хотел что-то сказать, но не сказал. Голицын потупился. Опять замолчали с осторожностью, с неловкостью.

– Одного я в толк не возьму, – начал Пестель после молчания, – почему не арестуют нас? Мы тут сидим и дрожим, бумаги жжём, хороним, а может быть, всё попусту.

Ведь вот уже три месяца, как заговор открыт, и сколько доносчиков – Шервуд, Витт, Майборода (да, и он, вы были правы), – а все целы, ни одного ареста. Чего ж они ждут? О чём думают? Ловушка, хитрость или... или сумасшествие?.. Помните, Голицын, вы говорили тогда, что идти к государю с повинною, ждать от него милости – не подлость, а просто сумасшествие?..

Опять не кончил, замолчал, как будто о чём-то задумался, и начал о другом:

– А государь очень был болен?

– Он и теперь болен.

– Кажется, лучше теперь?

– Нет, опять хуже.

– Разве? Ну, всё равно, будет здоров. Маленькая лихорадка, пустяки...

Пестель бросил в огонь последний листок; он догорел; догорала и лампа: должно быть, масло кончилось. Всё чернее чёрные тени в углах, всё бледнее бледные призраки в окнах.

Дверь из кабинета в соседнюю большую тёмную комнату была открыта, и оттуда слышались, как всегда по ночам в опустелых домах, слабые шорохи, шёпоты, шелесты, треск и скрип половиц, как будто ходил по ним кто-то крадучись.

– Мыши, да дерево сухое от погоды скрипит, – сказал Пестель, когда Голицын оглянулся на один из этих шорохов, – Савенко говорит – привидения, но я ничего не видел. А дверь открываю нарочно: ежели закрыть, то кажется всё, что кто-то подслушивает... шпионы, «шпигоны». Должно быть, от нечистой совести...

А лампа всё гасла да гасла; пламя задрожало, вспыхнуло в последний раз и потухло; только слабый отблеск догоравшего камина освещал комнату.

– Эй, Савенко, Савенко! – крикнул Пестель. – Сколько раз говорил я тебе, чтобы на ночь лампу доливал! Не слышит, подлец, теперь его не разбудишь и пушками...

– Послушайте, Пестель, – вдруг начал Голицын, как будто в темноте легче стало говорить, чем при свете, – я вам неправду сказал: я еду не в Киев...

– А куда же?

- В Таганрог.
- В Таганрог? К государю?
- Да, к государю.
- Вот что! – удивился Пестель, но как будто не очень.

Лица его Голицын почти не видел, но слышал по голосу, что он усмехается.

Курьер, отправленный Дибичем по повелению государя, долго не мог отыскать Голицына, потому что тот всё время был в разъездах – в Тульчине, в Житомире, в Киеве, а когда отыскал наконец, в селе Кирнасовке, то не хотел отпустить, требуя, чтобы он ехал с ним. Но генерал Юшневский поручился за него, и курьер поскакал вперёд, а Голицын выехал вслед за ним тотчас же, и хотя Линцы были ему не по дороге, – не захотел нарушить слова, данного Пестелю, заехать к нему ещё раз перед началом действий, а что теперь начало или конец всего – предчувствовал.

– Так вот что, в Таганрог, к государю, – повторил Пестель всё с тою же усмешкою в голосе. – Отчего же раньше не сказали? Чудаки мы с вами, право: точно в жмурки играем. А ведь я знал, Голицын, что вы в Таганрог едете...

– Знали, Пестель?

– Ну, пожалуй, и не знал, а так, будто предчувствовал. С этим и ждал вас, всё думал об этом, только об этом и думал. Ведь мы того разговора не кончили, о подлости... или сумасшествии. А надо бы кончить, – не подлецы же мы с вами, в самом деле, и не сумасшедшие, не так ли, а?..

Голицын молчал и, не глядя на Пестеля, чувствовал, что взор его тяжелеет на нём невыносимою тяжестью.

– Ну так вот что, Голицын, – начал он вдруг изменившимся голосом, – поедemте вместе...

– Вместе? Куда?

– В Таганрог.

– Зачем?

– Будто не знаете?

Голицын знал, – но вдруг стало ему страшно, как во сне; всё хотел и не мог вспомнить что-то о Софье, о государе и о том, что мучило все эти месяцы: «Убить надо, но пусть не я, а другой».

– Вы тогда сказали, – продолжал Пестель, – что мы с вами квиты: оба знаем, что надо делать, и не делаем, не можем, – значит, подлецы оба. Но ведь это вы сказали мне из жалости, а себе не скажете?.. Ну не надо, не надо, ничего не будем решать, – только вместе поедem, посмотрим, попробуем... Не отказывайте, Голицын, не отказывайте! – повторял он с мольбою грозящей, и взор его всё тяжелеел невыносимою тяжестью. – Не хотите?.. – прошептал и приблизил лицо к лицу его.

«Если он сейчас в лицо мне плюнет, то будет прав», – подумал Голицын.

– Хорошо, поедemте, – сказал и почувствовал, что не только сказано, но и сделано что-то невозвратимое: убьёт или не убьёт, – всё равно что убил.

– Ну слава Богу, слава Богу! Я так и знал, что не откажете, – вздохнул Пестель с облегчением.

И опять молчание, только волчий вой в трубе да в соседней комнате – шелесты, шорохи, шёпоты, треск и скрип половиц, как будто ходит кто-то, крадучись. Шаги послышались так явственно, что оба вдруг оглянулись «и увидели, что кто-то, в белом, стоит в дверях: не один ли из тех бледных призраков, что проносились мимо окон, вошёл в дом?

– Кто это? Кто это? – вскрикнули оба.

– Это вы, Пестель? – сказал по-французски стоявший в дверях.

– Э, чёрт тебя побери, мой милый! Вот напугал... Я уж думал, привидение, – смеясь, ответил Пестель тоже по-французски.

Голицын узнал князя Александра Ивановича Барятинского, лейб-гвардии гусарского полка штаб-ротмистра, члена Тульчинской Управы Южного тайного общества.

Внезапному появлению гостя хозяин не удивился. «Он и стакана воды не может выпить иначе как с видом заговорщика», – говорил в шутку о Барятинском. Приезжая часто в Линцы к Пестелю, тот всегда останавливался в том же доме, но в другом флигеле, с отдельным ходом;

у него был свой ключ. Только что приехал и вошёл потихоньку, чтобы не будить прислуги.

– Ну входи же, входи, раздевайся. Ты очень кстати: я уж хотел посылать за тобою. Знакомы, господа? Князь Валерьян Михайлович Голицын...

– Как же, у Юшневского встречались, – ответил Барятинский, снимая шапку, шубу, шарф и валенки, всё запушённое снегом так, что в самом деле похоже было на привидение.

Барятинский был красавец несколько восточного облика; человек светский, адъютант главнокомандующего, графа Виттенштейна, поэт, математик, философ-безбожник и республиканец отъявленный; очень добрый и не очень умный, Пестелю был предан так, что, если бы тот и вправду мечтал «сделаться императором», как многие думали, Барятинский не возмутился бы.

– Что это вы, господа, в темноте сидите? – удивился он.

– Да вот лампа потухла, а денщик спит, не разбудишь. Тут где-то свеча, посмотри, – сказал Пестель.

Барятинский отыскал свечу на столе, вышел в переднюю и осторожно, так, чтобы не будить храпевшего Савенко, зажёл свечу о теплившийся в углу ночник.

– Господа, важные новости! – начал он, вернувшись в кабинет. Вообще заикался (его так и прозвали Заика, Le Begue), а теперь особенно, должно быть от волнения. Долго не мог выговорить, наконец, произнёс: – Скончался... государь скончался...

– Что ты говоришь? Не может быть? – воскликнул Пестель с тем удивлением, которое всегда рождает в людях внезапная весть о смерти. – Государь скончался? – всё ещё не верил и удивлялся он. – Да правда ли? Откуда ты знаешь?

– Вчера, в 9 часов вечера, в штабе получено известие с курьером из Таганрога от генерала Дибича.

– Странно, странно! – сказал Пестель тихо и как будто задумчиво. – Мы тут только что о нём, – и вдруг... Уж не аллегория ли тоже, Голицын, а?

Голицын ничего не ответил, побледнел и закрыл лицо руками. Наконец-то вспомнил он то, что хотел и не мог вспомнить.

Дача Нарышкиных по Петергофской дороге; ясное утро; тишина, какая бывает только раннею весною на пустынных дачах; щебет птиц, скрежет граблей, далёкий-далёкий топор, – должно быть, рыбак чинит лодку на взморье. Уютная комнатка – «настоящее гнёздышко любви, *nid d'amour* для моей бедненькой, бедненькой девочки», как говорила Марья Антоновна. Открыла дверь на балкон; запах весеннего утра, берёзовых почек, смешанный с душным запахом лекарств. Он стоит перед Софьей на коленях; она наклонилась и шепчет ему на ухо:

«Намедни-то что мне приснилось. Будто мы входим с тобой в эту самую комнату, а у меня на постели кто-то лежит, лица не видать, с головой покрыт, как мертвец саваном. А у тебя в руках будто нож, убить хочешь того на постели, крадёшься. А я думаю: что, если мёртв? – живых убивать можно, – но как же мёртвого? Крикнуть хочу, а голоса нет, только не пускаю тебя, держу за руку. А ты рассердился, оттолкнул меня, бросился, ударил ножом... саван упал... Тут мы и увидели, кто это...»

– Убить мёртвого, убить мёртвого! – прошептал Голицын, очнулся, медленно – медленно поднял руку, – она была тяжела, как во сне, – и перекрестился.

Барятинский, в волнении бегая по комнате и заикаясь отчаянно, рассказывал.

Ещё накануне жида в Тульчине, на базаре, говорили о кончине государя. Никто им не верил, но что происходит что-то неладное, чувствовали все, потому что не было дня, чтобы в Варшаву и обратно не проскакало три-четыре фельдъегеря. Когда же наконец известие получено было в штабе с курьером от Дибича, – велено приводить войска к присяге Константину. Но это ещё не верно: ходят слухи, будто бы Константин отрёкся и по секретному завещанию императора законный наследник – младший брат, Николай. Ежели войска присягнут и потом присяга объявлена будет недействительной, то неизвестно, чем всё это кончится.

– Такого случая и в 50 лет не дождёмся, – заключил Барятинский. – Если и его потеряем, то подлецами будем!

– Вы что думаете, Голицын? – спросил Пестель.

– Думаю, что всегда думал: начинать надо.

– Ну что ж, с Богом! Начинать так начинать! – проговорил Пестель и улыбнулся; лицо его, как всегда, от улыбки помолодело, похорошело удивительно.

И, взглянув на него, Голицын почувствовал, что неимоверная тяжесть, которая давила его все эти месяцы, вдруг упала с души.

Принялись обсуждать план действий. Решили так: Пестель с Барятинским едут в Тульчин, чтобы приготовить членов тамошней Управы; Голицын – в Петербург, чтобы постараться соединить Северных с Южными, что теперь нужнее, чем когда-либо. Пестель был уверен, что в Петербурге начнётся.

– Вы, господа, там начинайте, а мы здесь: когда в Тульчине караулы займёт Вятский полк, арестуем главную квартиру, начальника штаба и главнокомандующего, – этим и начнём...

– Мятёжные войска пойдут сначала на Киев, потом на Москву и Петербург. С первыми успехами восстания Синод и Сенат, если не подчинятся добровольно, принуждены будут силою издать два манифеста: первый – от Синода, с присягой временному верховному правлению из директоров тайного общества; второй – от Сената, с объявлением будущей республики.

Проговорили всю ночь до утра.

К утру вьюга затихла; солнце встало ясное. Замёрзшие окна поголубели, порозовели; солнце заиграло в них, – и вспомнилось Голицыну, как на сходке у Рылеева, слушая Пестеля, он сравнивал мысли его с ледяными кристаллами, горящими лунным огнём: не загорятся ли они теперь уже не мёртвым, лунным, а живым огнём, солнечным?

В передней денщик завозился: топил печку и ставил самовар.

– Хотите чаю? – предложил Пестель.

– Шампанское бы выпить на радостях, – сказал Барятинский. – Эй, Савенко, сбегай, братец, отыщи у меня в возке кулёк с бутылками.

Савенко принёс две бутылки. Откупорили, налили. Барятинский хотел произнести тост.

– За во-во... – начал заикаться; хотел сказать: «за вольность».

– Не надо, – остановил его Голицын, – всё равно не сумеем сказать, так лучше выпьем молча...

– Да, молча, молча! – согласился Пестель.

Подняли бокалы и сдвинули молча.

Когда выпили, Голицын почувствовал, что без вина были пьяны ещё давеча, когда говорили о предстоящих действиях; не потому ли говорили о них с такою лёгкостью, что пьяному и море по колено? «Ну что ж, пусть, – подумал он, – в вине – правда, и в нашем вине – правда вечная...»

Солнце в замёрзших окнах играло, как золотое вино. Но он знал, что недолг зимний день и скоро будет золотое вино алою кровью.

– Лошади поданы, ваше сиятельство, – доложил Савенко.

Голицын стал прощаться. Пестель отвёл его в сторону.

– Помните, как вы прочли мне из Евангелия: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час её, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости». Наш час пришёл. Я себя не обманываю: может быть, всё, что мы говорили давеча, – вздор: погибнем и ничего не сделаем... А всё-таки радость будет, будет радость!

– Да, Пестель, будет радость! – ответил Голицын.

Пестель улыбнулся, обнял его и поцеловал.

– Ну, с Богом, с Богом!

Вынул что – то из шкатулки и сунул ему в руку.

– Вы сестры моей не знаете, но мне хотелось бы, чтоб вы вспоминали о нас обоих вместе...

В руке Голицына был маленький кошелек вязаный, по голубой шерсти белым бисером вышито: Sophie. Вышли на крыльцо.

– Значит, прямо в Петербург, Голицын? – спросил Барятинский.

– Да, в Петербург, только в Васильков к Муравьёву заеду.

– По первопутку, пане! На осьмушечку бы с вашей милости, – сказал ямщик.

Пестель в последний раз обнял Голицына.

– Ну, с Богом, с Богом!

Голицын уселся в возок.

– Готово?

– Готово, с Богом!

Возок тронулся, полозья заскрипели, колокольчик зазвенел.

– Эй, кургузка, пять вёрст до Курска! – свистнул ямщик, помахивая кнутиком.

Тройка понеслась, взрывая на гладком снегу дороги неезженной две колеи пушистые. Беззвучный бег саней был как полёт стремительный, и морозно-солнечный воздух пьянил, как золотое вино. Голицын снял шапку и перекрестился, думая о предстоящей великой скорби, великой радости:

– С Богом! С Богом!

ПРИЛОЖЕНИЯ

Об авторах

ДМИТРИЕВ ДМИТРИЙ САВВАТЕЕВИЧ (1848–1915), прозаик, драматург. Купеческий сын, занимался самообразованием. После разорения и смерти отца (1870) поступил писцом в библиотеку Московского университета, где прослужил более пятнадцати лет. Первая публикация – 1874 год. Писал юморески, рассказы, сценки, очерки. В 80-е годы подрабатывал билетёром в театре Ф. А. Корша, писал мелодрамы из крестьянской и провинциальной жизни. С конца 80-х годов работает в жанре исторического романа. Не обладая яркими литературными достоинствами, его произведения увлекали обилием фактологического материала, разнообразными картинками из жизни исторических личностей. К историческим произведениям Дмитриева относятся: «Зачало Москвы и боярин Кучка» (1886), «Два императора» (1896), «Государева невеста» (1899), «Боярыня Морозова» (1901), «Золотой век» (1902), «Полудержавный властелин» (1905), «Осиротевшее царство» (1913) и проч.

Повесть «Два императора» печатается по изданию: Дмитриев Д. С. «Два императора». Москва, О. И. Лашкевич и К^о., 1896.

МЕРЕЖКОВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1866–1941), писатель, литературовед, философ. Родился в семье дворцового служащего – столоначальника придворной канторы. Воспитывался в классической гимназии. В 1880 г. познакомился с Ф. М. Достоевским и С. Я. Надсоном. Первое стихотворение напечатал в 1881 году в сборнике «Отклик». В 1884 г. поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, увлекался позитивной философией – Спенсером, Кантом и т. д. В 90-е годы Мережковский начал писать самое значительное своё прозаическое произведение – трилогию «Христос и Антихрист», в которой выражал философские взгляды на историю. После первой революции пишет пьесы «Павел I» (1908), «Царевич Алексей» (1920), а также романы «Александр I» и «14 декабря» (1918). В 1920 г. Мережковский эмигрировал. В Париже им был создан литературный салон, но радикальные политические взгляды Мережковского отталкивали интеллигенцию. Скончался в Париже в 1941 году.

Текст романа «Александр Первый» печатается по изданию: Мережковский Д. С. «Павел I. Александр I». М., Слово, 1991.

Хронологическая таблица

1777 год

12 декабря ³²³ – в семье цесаревича Павла Петровича и великой княгини Марии

³²³ Даты даны по старому стилю.

Фёдоровны родился великий князь Александр.

1793 год

28 сентября – вступил в брак с баденской принцессой Луизой-Марией-Августой (Елизаветой Алексеевной).

1796 год

6 ноября – после смерти Екатерины и восшествия на престол отца стал наследником-цесаревичем.

1799 год

18 мая – рождение дочери Марии Александровны.

1801 год

12 марта – вступление на престол.

15 марта – указ об амнистии по делам тайной экспедиции.

5 июня – создание комиссии составления законов во главе с графом Завадовским.

15 сентября – коронация в Москве.

26 сентября – мирный договор с Францией.

27 сентября – указ об уничтожении пытки.

1802 год

8 сентября – указ об учреждении министерств.

1803 год

20 февраля – указ о вольных хлебопашцах.

1804 год

Начало войны с Персией.

1805 год

Создание антинаполеоновской коалиции, подписание договоров:

2 января – со Швецией.

30 марта – с Англией.

28 июля – с Австрией.

9 сентября – император выехал к армии в Австрию.

20 ноября – Аустерлицкое сражение.

8 декабря – Александр возвращается в Петербург.

1806 год

Октябрь – начало войны с Турцией.

3 ноября – рождение дочери Елизаветы.

14 декабря – сражение под Пултуском и Голымином.

1807 год

13 января – учреждение Комитета охранения общей безопасности (Лобанов, Новосильцев, Макаров).

27 января – сражение под Прейсиш – Эйлау.

2 июня – сражение при Фридланде.

12 июня – перемирие.

13 июня – свидание двух императоров на р. Неман.

25 июня – подписание Тильзитского мира.

1808 год

13 января – назначение А. А. Аракчеева министром внутренних дел (вместо С. К. Вязьмитикова).

9 февраля – начало войны со Швецией.

22 марта – манифест о присоединении Финляндии.

15 сентября – встреча Александра и Наполеона в Эрфурте.

1809 год

Апрель – июль – «бескровная война» с Австрией.

5 сентября – подписание Фридрихсгамского мира со Швецией.

Декабрь – указ об учреждении Государственного совета.

1810 год

30 мая – взятие крепости Силистрия на Дунае.

1811 год

7 апреля – Кутузов принял командование Дунайской армией.

23 ноября – капитуляция турок при Спободзее.

1812 год

17 марта – опала Сперанского, его высылка в Нижний Новгород.

16 мая – подписание мира с Турцией.

12 июня – французы перешли Неман.

6 июля – манифест о всеобщем ополчении.

27 июля – соединение 1-й и 2-й армий в Смоленске.

8 августа – назначение Кутузова главнокомандующим.

26 августа – Бородинская битва.

2 сентября – оставление Москвы.

23 сентября – переговоры Лористона с Кутузовым.

6 октября – Тарутинское сражение.

12 октября – сражение при Малоярославце.

14–17 ноября – сражение при Березине.

28 ноября – занятие Вильны.

25 декабря – манифест об окончании войны.

1813 год

16 февраля – подписание союза России и Пруссии.

16 апреля – смерть М. И. Кутузова.

29 апреля – сражение при Люцене.

17 мая – назначение командующим Барклая де Толли.

15 июня – подписание конвенции с Австрией.

17 августа – победа при Кульме.

4–7 октября – «битва народов» под Лейпцигом.

12 октября – Гюлистанский мир с Персией.

1814 год

Февраль – март – конгресс в г. Шатильоне.

19 марта – капитуляция Парижа.

25 марта – отречение Наполеона.

Сентябрь – июнь 1815 г. – Венский конгресс.

1815 год

20 декабря – указ о высылке иезуитов из Петербурга.

5 августа – создание военных поселений в Новгородской губернии.

1816 год

28 мая – отмена крепостного права в Эстляндии.

1817 год

12 октября – закладка храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах.

1818 год

Сентябрь – ноябрь – Аахенский конгресс Священного союза.

1819 год

22 марта – Сперанский назначен сибирским генерал-губернатором.

1820 год

Октябрь – ноябрь – конгресс в Троппау.

16–17 октября – бунт Семёновского полка.

1822 год

1 августа – рескрипт о запрещении тайных обществ.

Октябрь – ноябрь – Веронский конгресс.

1823 год

16 августа – тайный манифест о престолонаследии.

Август – ноябрь – поездка Александра по центральным и западным губерниям.

1824 год

7 ноября – наводнение в С. – Петербурге

Август – октябрь – поездка Александра по восточным губерниям.

1825 год

14 сентября – прибытие Александра в Таганрог.

19 ноября – объявление о смерти императора.